



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

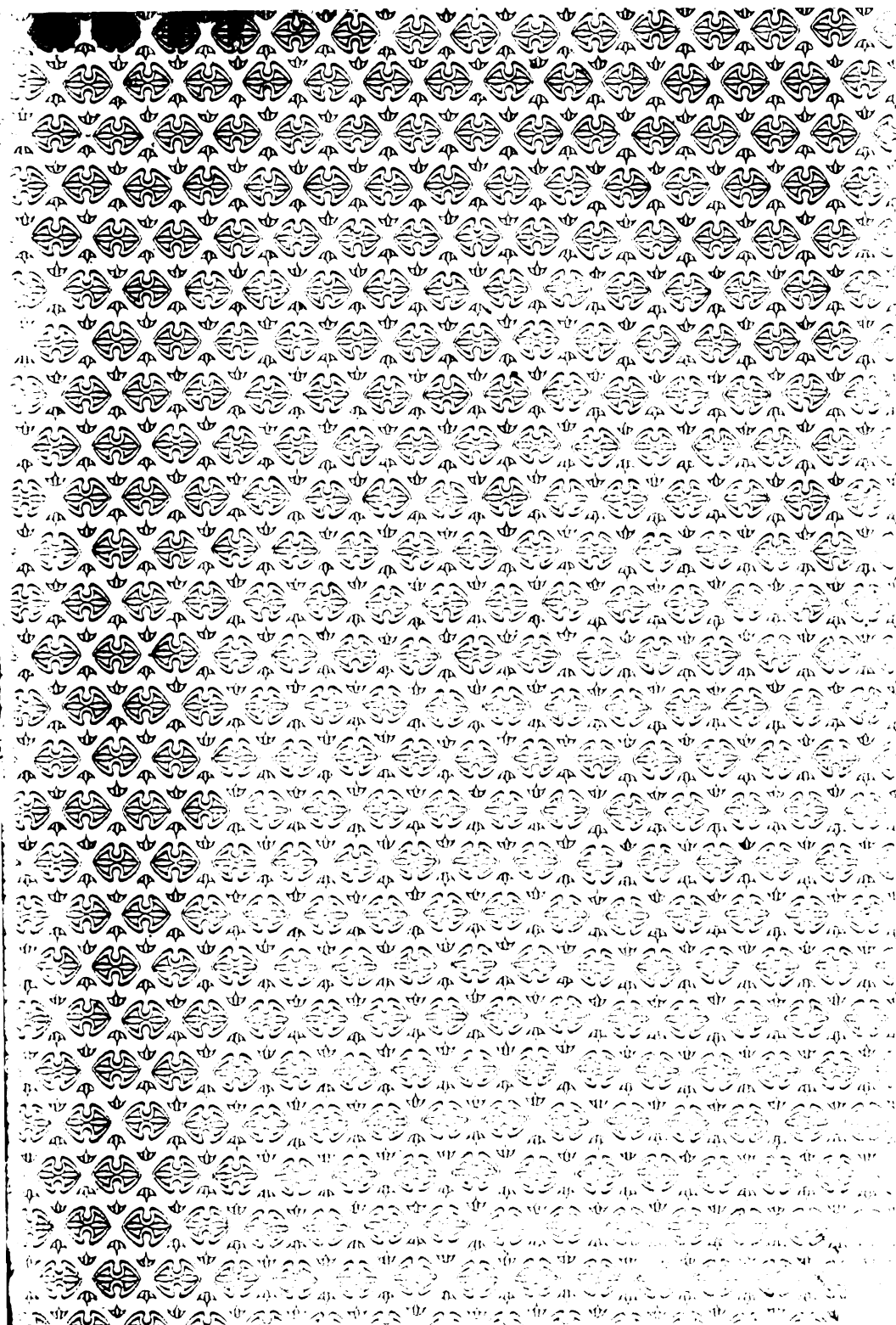
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

B 1,201,127







Ж. Страховъ.

Strakhov, Nikolai Nikolaevich

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

Kriticheskie Statii
ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Объ

И. С. ТУРГЕНЕВЪ и Л. Н. ТОЛСТОМЪ.

(1862—1885)

ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ.

Издание И. П. МАТЧЕНКО.



КІЕВЪ.

Типографія И. И. Чоколова. Фундуклеевская 22.
1908.

891.78

5896 kr.

1908


ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
Предисловіе къ первому изданію	I—VII
Предисловіе ко второму изданію	VII—XIII
Предисловіе къ третьему изданію	XIII—XV
Къ четвертому изданію. Отъ издателя	XV
И. С. ТУРГЕНЕВЪ	1—144
I. <i>Отцы и Дети</i>	1—39
II. <i>Дымъ</i>	40—68
III. <i>Два письма Н. Косицы</i>	69—97
За Тургенева	69—79
Еще за Тургенева	80—97
IV. <i>Послѣднія произведенія Тургенева (1871)</i>	98—131
V. <i>Поминки по Тургеневѣ</i>	132—144
—	
Л. Н. ТОЛСТОЙ	145—387
I. <i>Собраніе сочиненій (1864)</i>	145—178
II. <i>Война и Миръ</i> , т. I, II, III и IV. <i>Статья первая.</i>	179—218
III. <i>Война и Миръ</i> , т. I, II, III, и IV. <i>Статья первая.</i>	219—268
IV. <i>Литературная новость (появленіе V-го тома)</i>	269—270
V. <i>Война и Миръ</i> , т. V и VI	271—310
VI. <i>Нѣсколько словъ къ предыдущимъ статьямъ</i>	311—313
VII. <i>Обученіе народа (О народномъ образованіи)</i>	314—331
VIII. <i>Чѣмъ люди живы</i>	332—334
IX. <i>Взглядъ на текущую литературу (Объ Аннѣ Карениной)</i>	335—365
X. <i>Французская статья о гр. Л. Н. Толстѣ</i>	366—387

6 томовъ
м. 1864 г.

Предисловіе къ первому изданію.

Часто мнѣ совѣтовали издать мои критическія статьи, и я давно бы послѣдовалъ этому совѣту, если бы самъ былъ такъ же ими доволенъ, какъ нѣкоторые изъ моихъ читателей. Но критика въ тѣсномъ смыслѣ, то есть оцѣнка и характеристика художественныхъ произведеній литературы, всегда казалась мнѣ дѣломъ чрезвычайно труднымъ; я всегда думалъ, что едва-ли могу исполнять его въ совершенствѣ. Мои статьи этого рода были писаны большею частію по желанію журналовъ, въ которыхъ я участвовалъ; и хотя я прилагалъ къ этому писанію всяческую точность и добросовѣстность, всегда я чувствовалъ, что къ мыслямъ, изложеннымъ мною, слѣдовало бы прибавить еще другія черты и поясненія. Хорошая критика требуетъ не только горячей любви къ художественнымъ произведеніямъ, но и особенной чуткости къ формѣ художества, такъ чтобы общее впечатлѣніе и крупныя черты произведенія не заслоняли, въ глазахъ критика, частныхъ и второстепенныхъ развитій идеи. Кромѣ того, критикъ долженъ обладать глубокимъ и многостороннимъ чуткомъ жизни, то есть всякаго рода сердечныхъ движеній, различныхъ типовъ душевнаго склада людей, различныхъ видовъ красоты и безобразія, силы и слабости въ человѣческомъ образѣ дѣйствій. Въ такой чуткости къ жизни и къ художеству никто у насъ не превзошелъ *Аполлона Григорьева*. Вотъ почему, прежде чѣмъ издавать свои статьи, я приложилъ заботы о томъ, чтобы издать сочиненія этого



у насъ несравненнаго критика; *) да и теперь, такъ какъ я обращаюсь къ читателямъ, интересующимся критикою русской литературы, прежде всего посоветую имъ читать прилежно Ап. Григорьева, и лучшаго совѣта дать не могу.

Впрочемъ, хотя мои статьи не достигаютъ идеала критики, хотя въ нихъ больше господствуютъ мысли общія и отвлеченныя, однакоже, настоящій критическій элементъ въ нихъ также есть и, можетъ быть, иные читатели одобрятъ меня за ясность и опредѣленность тѣхъ чертъ, на которыхъ я останавливаюсь.

Прибавлю еще, что моя книга, вѣроятно, никогда бы не явилась на свѣтъ, если бы мнѣ не довелось и въ последнее время написать нѣсколькихъ критическихъ статей. Содержаніе ихъ настолько важно въ моихъ глазахъ, и я настолько доволенъ ихъ изложеніемъ, что съ большею смѣлостью рѣшаюсь предложить ихъ читателямъ въ отдѣльномъ изданіи. Прошу не упускать этого изъ вида, такъ какъ статьи расположены въ строго хронологическомъ порядкѣ и, слѣдовательно, къ моему огорченію, впереди стоятъ тѣ, на которыя я всего менѣе надѣюсь. Но читатель менѣе нетерпѣливый увидитъ пользу этой послѣдовательности. По этимъ статьямъ, писаннымъ во время перваго появленія различныхъ произведеній Тургенева и Толстаго, можно въ извѣстной мѣрѣ судить, какого рода интересъ связывался тогда съ этими произведеніями, каково было настроеніе публики и литературы и какъ оно измѣнялось. Въ точности же моихъ указаній я до сихъ поръ не имѣю повода сомнѣваться.

Изъ своихъ критическихъ статей я издаю здѣсь только относящіяся къ двумъ названнымъ писателямъ. Причина, во-первыхъ, та, что это—главныя мои статьи, что въ теченіе этого долгаго времени я преимущественно писалъ о Тургеневѣ и Толстомъ и, слѣдовательно, тутъ именно и могу полагаться на ясность и выработку своего сужденія. А во-вторыхъ, эти два ряда статей представляютъ не только нѣко-

*) *Сочиненія Аполлона Григорьева. Томъ первый (съ портретомъ).* Изданіе Н. Н. Страхова. Спб. 1876.

тору ю полноту, но и контрастъ, поясняющій все дѣло. Во многихъ отношеніяхъ, Тургеневъ и Толстой противоположны другъ другу. Одного можно назвать западникомъ, другого славянофиломъ, хотя въ строгомъ смыслѣ эти названія къ нимъ не приложимы; художество, по самой своей природѣ, слишкомъ свободно, чтобы вполнѣ подходить подъ опредѣленія нашихъ партій. Далѣе, одинъ — подражатель и идетъ по теченію; другой — чрезвычайно самобытенъ и независимъ отъ всякихъ теченій; одинъ обнаружилъ слабость въ своихъ отношеніяхъ къ общественному мнѣнію, другой очевидную нравственную силу, и т. д. Мнѣ слѣдуетъ предупредить читателей, что они найдутъ въ настоящей книгѣ рѣзкія страницы противъ Тургенева. Пусть, однако, его поклонники обратятъ вниманіе на то, что и всѣ его достоинства здѣсь не упущены изъ вида.

Но главный центръ моей книги, отъ котораго зависятъ наибольшій ея вѣсъ, есть, конечно, Толстой. Тутъ помѣщены въ полномъ составѣ статьи, которыя могли бы подать мнѣ поводъ къ большой гордости. Задолго до нынѣшней славы Толстаго, до восторговъ, вызванныхъ его произведеніями за границей и повторенныхъ у насъ, въ то время, когда даже еще не была кончена *Война и миръ*, я почувствовалъ великое значеніе этого писателя и старался объяснить его читателямъ. Во всякомъ случаѣ, я могу сослаться на этотъ фактъ, какъ на доказательство живости и независимости чувства, внушившаго мнѣ поклоненіе, которое я съ тѣхъ поръ исповѣдую. Долго я подвергался за него насмѣшкамъ, но наконецъ сила вещей побѣдила и теперь, вѣроятно, тотъ самъ заслужитъ похвалу, кто превзойдетъ другихъ въ похвалахъ Толстому.

Дѣло, конечно, не въ томъ, что я первый, и уже давно, печатно провозгласилъ Толстаго геніальнымъ и причислилъ его къ великимъ русскимъ писателямъ. Главное всегда — въ пониманіи духа писателя, въ томъ внутреннемъ сочувствіи, которое открываетъ намъ самую глубину его произведеній. Пусть судятъ читатели, насколько вѣрно и полно я, уже тогда, понялъ смыслъ Толстаго.

До сихъ поръ это необычайное явленіе, чѣмъ больше

уясняется въ моихъ глазахъ, тѣмъ дороже и выше становится въ силу того же самаго смысла. Все въ немъ цѣльно и связано, какъ въ настоящемъ существѣ. Его художество вполне своеобразно; оно представляетъ сліяніе самой яркой объективности съ самой глубокой субъективностью и, слѣдовательно, осуществляетъ идеалъ *современнаго* художества, не прежняго, античнаго, а нашего, христіанскаго. Что такое для насъ художество? Мы, вѣдь, уже не можемъ, какъ древніе греки, уходить вполне въ созерцаніе красоты и, напримѣръ, смотрѣть на формы человѣческаго тѣла, какъ на ея божественное воплощеніе. Для насъ искусство, какъ и все другое, есть только пища для духа. Мы не сливаемся съ предметами нашего созерцанія, а становимся отъ нихъ въ сторонѣ, стремимся стать выше ихъ. Возможность подняться надъ явленіями, расширить свой горизонтъ, ничего не потерявъ въ немъ, получить отъ предметовъ наиболѣе духовное воздѣйствіе—вотъ, что мы цѣнимъ въ искусствѣ. Такимъ образомъ, субъективность есть необходимый элементъ нашего искусства, какъ-будто душа этого тѣла. Существенная разница между художниками для насъ будетъ заключаться не только въ мастерствѣ ихъ объективности, но и въ силѣ и въ качествѣ ихъ субъективности. Въ приложеніи къ Толстому можно сказать, что едва-ли есть художникъ, созерцающій съ такимъ живымъ чувствомъ тѣ самые образы, которые онъ творитъ. Всѣ усилія безподобной объективности, очевидно, дѣлаются лишь для удовлетворенія глубокой субъективной потребности, и художникъ иногда даже прерываетъ работу, уходя въ область отвлеченной мысли (напримѣръ, въ концѣ *Войны и мира*).

Но разрыва, противорѣчія у него нѣтъ. Настоящее искусство никогда не можетъ быть ни орудіемъ, ни помѣхою, оно, какъ и другія духовныя области человѣческой дѣятельности, имѣетъ свои неизмѣнные законы, но ведетъ, какъ и всѣ эти области, къ одной и той же цѣли, совмѣщающей въ себѣ лучшія человѣческія задачи, сливающей ихъ въ одно высшее стремленіе.

Какое дѣйствіе искусство производитъ въ душѣ человека? Созерцая свой предметъ во всей полнотѣ его существа,

художникъ стремится не погрузиться въ него, а, напротивъ, *освободиться* отъ него, покорить его себѣ. Этотъ процессъ, то есть, какъ извѣстные чувства и явленія не даютъ покоя художнику, поглощаютъ его душу, пока онъ наконецъ не воплотитъ ихъ въ ясныя формы, хорошо знакомъ людямъ, одареннымъ творческою силою, и на него указывалъ, напри- мѣръ, Гёте, а у насъ Гоголь. Понятно, что вообще должно происходить нѣкоторое отрѣшеніе отъ того предмета, которымъ наша мысль вполне овладѣла и который поставила *передъ* собою.

Итакъ, художникъ есть человекъ *свободный* душою. Не даромъ поэтовъ восхваляютъ за высоту ихъ взгляда, за то, что передъ ними наше великое оказывается ничтожнымъ, а наше малое открываетъ свою невидимую намъ красоту; не даромъ имъ приписываютъ также и олимпійское равнодушіе и даже пантеистическое безразличіе, смѣшеніе добра и зла.

Но свобода, этотъ опасный даръ, не сама сбиваетъ насъ съ истиннаго пути; она есть только просторъ для дѣйствія существующихъ силъ. Поэтому, она есть необходимое условіе и для того, чтобы въ душѣ человека раскрылось самое чистое чувство, самое высокое разумѣніе, все, что подавляется и заглушается своекорыстною и будничною жизнью. Поэтъ вполне свободный, вполне чистый, непременно найдетъ въ себѣ путь къ Богу.

Произведенія Толстаго поразительны тою искренностію и серіозностію, съ которою въ нихъ совершается дѣло художе- ства, и потому могутъ служить наилучшимъ примѣромъ, по- ясняющимъ сущность этого дѣла. Всякій предметъ, за кото- рый онъ берется, онъ стремится проникнуть насквозь, и вмѣ- стѣ съ тѣмъ вы ясно видите, что онъ отвергаетъ его, ухо- дить отъ него неудовлетворенный. Нѣтъ писателя, который бы съ большою охотою останавливался на картинахъ человѣче- скаго счастья, у котораго было бы столько сценъ мирныхъ, идиллическихъ; и нѣтъ писателя, у котораго было бы такъ ясно, что онъ не увлеченъ этими радостями, что онъ ихъ не воспѣваетъ, а, напротивъ, изображаетъ ихъ измѣнчивость и пустоту. Сколько различныхъ формъ жизни онъ изобразилъ,

сколько формъ быта, занятій, забавъ и дѣлъ,—и всё онъ отвергнулъ, ни за одною не призналъ полной законности.

Люди съ художественнымъ даромъ часто дѣлаютъ изъ своего добра забаву; они живутъ двойною жизнью, то подымаясь въ область поэтической свободы, то опускаясь въ ту сѣть интересовъ, страстей и привычекъ, которая составляетъ ихъ настоящую жизнь. Читая Толстаго, можно почувствовать, что для него такая двойственность невозможна, что здѣсь человѣкъ дѣйствительно страстно ищетъ свободы и, когда найдетъ для нея точку, уже никогда не покинетъ ея.

Какой же идеаль постоянно раскрывается въ этой освобождающей душѣ? Отъ самаго начала ея борьба и трудъ имѣютъ ясный смыслъ, видимо направляются къ извѣстной цѣли. Не скептицизмъ, не обманутая жадность къ жизни, не холодъ гордости и себялюбія составляютъ главный нервъ этихъ исканій. Всѣмъ теперь очевидно, что, отъ самаго начала, сочувствія Толстаго устремлялись къ *простому и доброму*, что эта освобожденная душа, умѣющая видѣть жизнь не въ отвлеченныхъ формахъ и не съ частныхъ точекъ зрѣнія, а во всей ея полнотѣ и цѣльности, упорно доискивается *истинной жизни* среди всякаго рода фальшивыхъ явленій, и что она находитъ ее только въ томъ, что представляетъ самую чистую нравственную красоту, что бываетъ просто и смиренно до самоуниженія и въ то же время твердо и спокойно до степени высочайшаго великодушія. Пусть это называютъ пантеизмомъ, или фатализмомъ, или буддизмомъ, но во всякомъ случаѣ пусть признаютъ, что это путь, идущій къ Богу, и что Толстой, вышедши на него, до сихъ поръ идетъ прямо, а не въ обратномъ направленіи.

Не буду и не могу здѣсь, въ предисловіи, останавливаться дольше на такомъ плодovitомъ вопросѣ. Прибавлю только, что ни на какомъ писателѣ не лежитъ такъ ясно печать *русскаго духа*, какъ на Толстомъ. Это та самая форма нравственныхъ понятій, которую внушило нашему народу христіанство, или, если угодно, та, въ которую нашъ народъ воплотилъ религіозныя понятія. Духъ этотъ въ насъ живетъ, какъ мы ни заглушаемъ и не отрицаемъ его, и если бы онъ покинулъ насъ, то Россія рушилась бы, какъ

трупъ, оставленный жизнью. Поэтому не можетъ быть писателя болѣе намъ любезнаго, болѣе соотвѣтственнаго самымъ глубокимъ позывамъ нашего сердца, чѣмъ Толстой. Можно находить въ немъ много недостатковъ: можно быть недовольнымъ размѣрами его творческихъ силъ, признавать въ его произведеніяхъ неполноту и незаконченность, слабая мѣста, безтактности, пробѣлы; но я одно хочу сказать: по своему *качеству* онъ писатель несравненный и единственный, стоящій на высотѣ, которую теперь намъ даже трудно и опредѣлить. Одно уже и теперь ясно: не только *намъ* онъ кровно дорогъ, но, по величайшей цѣнности своего качества и по высокой степени, въ которой онъ проявилъ его, онъ долженъ занять мѣсто въ первыхъ рядахъ всемірной литературы.

22 сент. 1885 г.

Предисловіе ко второму изданію.

Ich sah des Ruhmes heil'ge Kränze
Auf der gemeinen Stirn entweiht.
Schiller.

И въ печати и на словахъ меня упрекали въ томъ, что статьи мои о Тургеневѣ противорѣчатъ одна другой, и что вмѣсто того, чтобы предложить читателямъ опредѣленное сужденіе, я передъ ихъ глазами перехожу отъ одного взгляда къ другому. Въ извиненіе можно бы сказать, что, для внимательныхъ и соображающихъ читателей, основаніе и, слѣдовательно, смыслъ такого перехода можетъ не нуждаться въ толкованіяхъ. Но, конечно, мнѣ самому это дѣло вообще должно быть яснѣе, чѣмъ читателямъ; поэтому на мнѣ лежитъ обязанность изложить его, и я постараюсь сдѣлать это, хотя бы лишь въ самыхъ главныхъ чертахъ.

Собственно разногласіе есть только между первою статьею объ *Отцахъ и дѣтяхъ* и остальными статьями. Въ то

время, когда я писалъ разборъ знаменитаго романа *Отцы и дети*, Тургеневъ стоялъ на верху своей славы, а нигилизмъ проходилъ лучшую пору своего развитія. Живю помню, съ какимъ сердечнымъ благоговѣніемъ, почти непростительнымъ для тридцатилѣтняго человѣка, смотрѣлъ я на Тургенева въ 1859, или въ 1860 году, на университетскомъ обѣдѣ. Онъ уже написалъ тогда *Дворянское гнѣздо* и совмѣщалъ въ себѣ, для меня, все очарованіе, какое я привыкъ связывать съ мыслью о литературѣ и великихъ писателяхъ. Въ тѣ годы онъ былъ, по общему признанію, первый между своими сверстниками и, казалось, далеко выше другихъ. Думаю, что нѣтъ нужды описывать мои чувства; они такъ понятны и обыкновенны.

Другое дѣло — нигилизмъ. То, что творилось въ умахъ въ 1860, 1861, 1862 годахъ, есть нѣчто совершенно особенное, о чемъ едва-ли многіе ясно помнятъ, или имѣютъ ясное понятіе. Было что-то фантастическое въ томъ радостномъ возбужденіи и движеніи, которое господствовало тогда въ образованномъ классѣ, и всего больше въ литературѣ. Освобожденіе крестьянъ какъ-будто подало лозунгъ ко всяческому освобожденію умовъ. Обновленіе, обновленіе во всемъ, обновленіе до самыхъ основъ жизни и мысли,—таково было общее стремленіе, неудержимо захватывавшее не однихъ юношей, а и людей пожилыхъ, и извѣстныхъ ученыхъ, и сановниковъ.

Работа языковъ и перьевъ шла неумоимо, кипѣла ключемъ. Никогда въ Петербургѣ не было такихъ оживленныхъ собраній, такого множества шумныхъ и интересныхъ кружковъ по понедѣльникамъ, вторникамъ и по всѣмъ днямъ недѣли. Литература была коноводомъ всего движенія и росла не по днямъ, а по часамъ. Общюю же цѣлью литературы считался переворотъ въ умахъ, и вся она безпощадно гнала и ломала старое и стремилась проповѣдывать новыя идеи. Журналисты задавались цѣлью раскрыть и разработать въ своемъ журналѣ нѣкоторое новое направленіе, еще неслыханное, но единое истинное. Писатели стремились дать—кто новую педагогію, кто новую эстетику, новую исторію рода человѣческаго, новую философію, и т. п. Это происходило публично; въ частныхъ же разговорахъ можно было услышать

предложеніе сочинить и новую религію. Въ сущности, во всемъ этомъ уже сказывался нигилизмъ, но еще въ самыхъ широкихъ и общихъ своихъ формахъ, еще полный надежды и чреватый неизвѣстнымъ будущимъ. Для болѣе зоркаго взора тутъ обнаруживалось только то, какъ мало крѣпкихъ корней имѣли всѣ понятія, весь обиходъ мыслей нашей интеллигенціи. При малѣйшемъ толчкѣ люди отрывались отъ почвы и носились своимъ умомъ по волѣ вѣтра. Но я тогда не былъ расположенъ къ такимъ низменнымъ взглядамъ.

Прямого участія въ тогдашнемъ кипучемъ движеніи я никакого не принималъ, да и никогда не чувствовалъ я въ себѣ ни охоты, ни способности выступать предводителемъ, поучать, направлять умы. Поэтому я стоялъ въ сторонѣ и только наблюдалъ, только судилъ о томъ, что дѣлаютъ другіе. Естественно, что я смотрѣлъ на нихъ съ ихъ лучшей стороны и охотно готовъ былъ отдавать имъ справедливость. Мнѣ казалось, что это огромное возбужденіе умовъ не можетъ не принести какихъ-нибудь хорошихъ плодовъ. Отрицаніе, сомнѣвіе, пытливость—это лишь первый шагъ, думаю я, это—неизбѣжное условіе свободной работы мысли. А затѣмъ второй шагъ будетъ уже—выходъ изъ отрицанія, положительная мысль, подъемъ на болѣе высокую степень пониманія. Такъ, вѣдь, выходитъ и по Гегелю. И мнѣ приходили на умъ всякіе философы съ ихъ глубокими запросами и отрицаніями. Такимъ образомъ, я вообразилъ, что въ родной литературѣ совершается важное движеніе мысли. По уваженію къ литературѣ, еще не охладѣвшему у новичка, я не могъ прійти къ деревой мысли, что вся она дастъ одинъ пустоцвѣтъ въ огромныхъ размѣрахъ. Несмотря на всѣ безобразія, рѣзавшія мнѣ глаза и противъ которыхъ я уже сталъ полемизировать, я все продолжалъ думать, что живу не въ будни, а въ праздникъ, что передъ моими глазами русскій умъ, такъ или иначе, вступить въ какой-то новый фазисъ.

Вотъ объясненіе того настроенія, въ которомъ написана статья объ *Отцахъ и дѣтяхъ*. На Тургенева я въ ней смотрѣлъ какъ на чистаго художника, руководящаго своимъ высшимъ даромъ и потому обладающаго такою проницатель-

ностію и многосторонностію взгляда, какой не бываетъ у простыхъ смертныхъ. Роль художества состоитъ именно въ томъ, что оно выводитъ «на всенародныя очи» самую глубину и ширину жизни, почему оно сильнѣе и правдивѣе всякихъ умствованій. Такую самостоятельность и высоту приписывалъ я Тургеневу. Въ *Отцахъ и дѣтяхъ* онъ, очевидно, преклоняется передъ Базаровымъ, точно такъ, какъ въ послѣдствіи въ *Нови* преклонился передъ Соломинымъ. И я послѣдовалъ за поэтомъ и подробно указалъ на всѣ черты его героя, которыми онъ превосходитъ окружающія лица. Исповѣданіе Базарова, нигилизмъ, я также выставилъ съ самой сильной его стороны, какъ чистое отрицаніе, какъ порывъ мысли освободиться отъ старыхъ понятій, какъ послѣдовательное исканіе новаго пути для жизни и дѣятельности ума. Однакоже, такъ какъ это исканіе есть лишь минута перехода, незаконченный процессъ, такъ какъ весь Базаровъ, въ самомъ его изображеніи въ романѣ, есть только зачатокъ, эмбрионъ какого-то будущаго дѣятеля (такихъ эмбрионовъ вообще не мало изобразилъ Тургеневъ), то мнѣ казалось, что Тургеневъ не просто преклоняется передъ нимъ, а стремится взять его объективно. Приписывая Тургеневу всю силу поэтической зоркости и поэтического возвышенія надъ изображаемымъ предметомъ, я думалъ, что свѣтлыя и нѣжныя краски, которыми писана вся картина, окружающая Базарова, употреблены въ романѣ вслѣдствіе чувства художественнаго контраста между душевнымъ складомъ этого упорнаго теоретика, и теплою, истинно-живою жизнью. Поэтому я и написалъ, что, по смыслу романа, жизнь въ настоящемъ значеніи этого слова, стоитъ выше, одерживаетъ верхъ надъ Базаровымъ. Думаю, что это сужденіе вѣрное, даже независимо отъ романа. Можно было предполагать, что изъ тогдашняго нигилизма выродится и нѣчто положительное; но самъ по себѣ этотъ нигилизмъ никакъ не могъ считаться прогрессомъ, еще не имѣлъ въ себѣ ничего зиждительнаго; потому-то онъ, такъ или иначе, былъ подавленъ и подавляется истинно-живыми началами.

Такимъ образомъ, разбирая *Отцевъ и дѣтей*, я, очевидно, идеализировалъ и Тургенева, и, слѣдуя за Тургене-

вымъ, самый нигилизмъ; на автора я смотрѣлъ, какъ на настоящаго поэта, а на нигилизмъ, какъ на настоящій поворотъ умовъ. Мнѣ кажется, что я имѣлъ нѣкоторое право на такую идеализацію. Если потомъ стало ясно, что я ошибся и въ томъ, и въ другомъ, и въ Тургеневѣ, и въ нигилизмѣ, то, вѣдь, источникъ ошибки не во мнѣ одномъ; поворачивая обвиненіе, я могъ бы сказать, что виноваты и самъ Тургеневъ, и самъ нигилизмъ; они меня обманули, они выступили съ притязаніями, которыхъ не выдержали, и съ надеждами, которыхъ не исполнили.

Уже при первыхъ разговорахъ съ Тургеневымъ въ 1862 году, и потомъ въ 1864, я замѣтилъ въ немъ безпокойство, которое мнѣ было не по душѣ. Онъ, видимо, боялся той брани, которая тогда сыпалась на него въ журналахъ. По моей наивности, я воображалъ, что онъ долженъ былъ бы оставаться въ томъ олимпійскомъ спокойствіи, которое прилично художнику, и развѣ только радоваться шуму, какъ доказательству вниманія къ его произведенію. Передъ нашими глазами такъ поступалъ и поступаетъ Л. Н. Толстой, — блистательный примѣръ, который, къ нашему счастью, существуетъ въ нашей литературѣ, и на который можно сослаться, когда рѣчь идетъ о самостоятельности писателей.

Впрочемъ, время *Отцевъ и дѣтей* и тогдашнее положеніе Тургенева было особенное и, можетъ быть, я судилъ его слишкомъ строго. Это было время *литературнаго террора*, когда писателей казнили, лишая ихъ, такъ сказать, гражданской чести. Но я, по вольнодумству, которое не прошло мнѣ даромъ, никакъ не могъ, даже въ самый разгаръ этого террора, принять его за серіозное дѣло. Тургеневъ, болѣе опытный и близко знакомый съ литературными кружками, очевидно, лучше понималъ опасность и не совсѣмъ напрасно тревожился.

Нѣкоторое время, однако, онъ держался въ приличномъ спокойствіи, хотя и видно было, что онъ чѣмъ-то пораженъ. *Призраки* (1863), *Довольно* (1864), *Дымъ* (1867) — все это отзывается тоскою и раздумьемъ. «Все русское — дымъ», говоритъ себѣ Тургеневъ, какъ-будто желая утѣшиться, желая считать пустякомъ и то осужденіе, которому подвергся. Но онъ не выдержалъ такого напряженнаго положенія и

скоро склонилъ голову и призналъ себя виноватымъ. «На мое имя легла тѣнь; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдегь!»—напечаталъ онъ въ 1869 году.

Итакъ, Тургеневъ, въ сущности, не хотѣлъ и не могъ быть тѣмъ художникомъ, свободу и высоту котораго я такъ восторженно восхвалялъ въ *Отцахъ и дѣтяхъ*. Онъ былъ неисцѣлимо зараженъ вѣрою въ прогрессъ, и прогрессомъ для него было то движеніе, которое совершалось въ литературномъ кружкѣ, когда-то его воспитавшемъ. Это отсутствіе всякихъ твердыхъ опоръ внутри человѣка, эта боязнь, при которой онъ уже не можетъ самъ различить, правъ ли онъ, или виноватъ, наконецъ, это очевидное желаніе загладить свою минимую вину и заслужить прощеніе, все это было поразительно въ такомъ талантливомъ и знаменитомъ человѣкѣ и, мнѣ кажется, невозможно было смотрѣть на это безъ горькаго чувства. Тургеневъ, вѣдь, кончилъ тѣмъ, что воспѣлъ намъ Соломина (*Ночь*, 1877), какъ нѣчто положительное, какъ послѣдній фазисъ нашего прогресса, послѣднюю ступень нашего развитія.

Непонятное, слѣпое суевѣріе! Какъ можно было такъ упорно коснѣть въ этомъ предразсудкѣ, когда этотъ прогрессъ давно уже обнаружилъ свою сущность? Нигилизмъ ничего не произвелъ и не могъ произвести; онъ оказался простымъ подражаніемъ и только повторилъ давнишніе ходы мысли, приводящіе ко всякому злу, но ничего не созидающіе. Грустно подумать, въ какихъ огромныхъ размѣрахъ тутъ проявилось безплодіе русскихъ умовъ. Нигилизмъ есть новая черта въ русской литературѣ; эта черта составляетъ главную характеристику большаго періода, всей литературы прошлаго царствованія, *) и эта черта, къ величайшему нашему горю, имѣетъ отрицательный показатель, она есть признакъ подражательности и безплодія. Когда въ 1866 году разнеслась вѣсть о покушеніи Каракозова, мнѣ живо представилось, что циклъ всего содержанія нигилизма закончился. Вмѣсто литературнаго террора наступалъ уже терроръ физическій. Послѣдовательность была очевидная, и меня только изумило, что за первымъ злодѣйствомъ такъ долго не наступали новыя по-

*) Императора Александра II. Иад.

пытки. Но смыслъ нигилистическаго движенія былъ уже окончательно ясень. Оно было запоздалою реакціею противъ Николаевскаго царствованія, и никакихъ сѣмянъ мысли въ немъ не было. Это былъ не умственный поворотъ, а безплодное шатаніе мыслей, не умѣющихъ и не стремящихся во что-нибудь сложиться. Это шатаніе быстро пошло по давно пробитымъ коленямъ революціонаризма и анархизма, то есть пошло въ отрицательную сторону, какъ самую легкую и всегда открытую, но оно не дало намъ никакого положительнаго плода. Мы остались на томъ же мѣстѣ, гдѣ и прежде были, потому что мы не любимъ медленно строить, не хотимъ трудиться и думать, а предпочитаемъ говорить и дѣйствовать.

Пусть же чигатели мяѣ простятъ, что я когда-то не хотѣлъ повѣрить такому печальному взгляду на наше литературное движеніе, а также, что приписалъ сперва Тургеневу силу, которой у него не было.

27 сент. 1887.

Предисловіе къ третьему изданію.

Этой книгѣ посчастливилось: она выходитъ третьимъ изданіемъ. Причина такого успѣха, конечно, не въ особенныхъ качествахъ книги, а въ ея предметѣ. Каждый желаетъ имѣть сужденіе о Тургеневѣ и о Толстомъ, а потому нашлись читатели и для моихъ статей.

Таково направленіе современной образованности. Она стремится къ знакомству со всякими выдающимися предметами, со всѣми славными дѣятелями науки, искусства, религіи, политики, и прошлыми и настоящими. А кто хочетъ дать полноту своему образованію, тому, по нынѣшнему взгляду, слѣдуетъ не только знать нѣсколько языковъ и читать самому великихъ писателей, но, сверхъ того, поѣздить по знаменитымъ городамъ и мѣстностямъ, взглянуть на знамени-

тыя собранія художественныхъ произведеній, на памятники и слѣды древности, даже, если можно, объѣхать вокругъ земного шара.

Все это очень сложно, очень трудно и необыкновенно разсѣиваетъ нашъ умъ и нашу душу. Для облегченія составляются энциклопедическіе словари, сборники, историческіе обзоры, біографіи и т. д. Эта межеумочная литература имѣетъ огромный успѣхъ, случается даже большій, чѣмъ иные писатели, художники, композиторы, которымъ она посвящена. Дѣло кончается, однакоже, какъ извѣстно, тѣмъ, что мы бываемъ со всѣмъ знакомы, но ничего хорошенько не знаемъ, что мы перестаемъ путать имена безчисленныхъ знаменитостей, но почти ни объ одной изъ нихъ не имѣемъ основательнаго понятія.

Что же касается до разсѣянія нашихъ мыслей, то это уже дѣйствительное зло, противъ котораго нужно вооружаться всѣми мѣрами. Нужно откинуть заботу объ энциклопедизмѣ и болѣе всего добиваться во всякой области сознательнаго и строгаго усвоенія хотя бы не многихъ главныхъ предметовъ. Недавно знаменитый современный философъ Спенсеръ объявилъ, что онъ вовсе не знакомъ съ сочиненіями Ренана. Вотъ намъ поученіе; изъ него можно смѣло вывести, что образованному человѣку не стоитъ непремѣнной надобности читать всѣхъ знаменитостей, напримѣръ, что позволительно не читать и самого Спенсера. Какъ жалко было бы наше просвѣщеніе, если бы главнымъ предметомъ его было то, что появилось лишь въ послѣдніе годы!

Русская литература въ настоящее время, кажется, больше всего другого привлекаетъ вниманіе нашихъ читателей. Нѣтъ конца изданіямъ полныхъ собраній сочиненій нашихъ писателей и старыхъ и новыхъ, и даже самоновѣйшихъ. Тѣмъ больше тутъ нужно отличать главное и существенное отъ побочнаго и неважнаго. Позволительно не читать всѣхъ изданныхъ авторовъ; но не будетъ никогда свѣдущимъ въ русской литературѣ тотъ, кто не читалъ прилежно Пушкина, кто не вчитался въ него, не дошелъ до нѣкотораго пониманія его силы и прелести. А теперь, съ велькой гордостью, мы можемъ присоединить здѣсь къ имени Пушкина еще имя

Толстаго. Если настоящая моя книга помогаетъ читателямъ понимать произведенія автора *Войны и мира*, то я имѣю право считать ее безполезною и искренно этому радоваться.

Н. Страховъ.

25 февр. 1885. Спб

Къ четвертому изданію.

Переиздавая, четвертымъ изданіемъ, настоящую книгу Н. Н. Страхова безъ измѣненій, я назвалъ ее первымъ томомъ, такъ какъ въ непродолжительномъ времени предполагаю приступить къ изданію второго тома, въ который войдутъ другія критическія статьи покойнаго писателя, невошедшія въ настоящій сборникъ.

И. Матченко.

6 ноября 1900 г.

Пятое изданіе перепечатывается безъ измѣненій.

И. Матченко.

1 сентября 1908 г.

Критическія статьи.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

И. С. ТУРГЕНЕВЪ.

I.

Отцы и дѣти. Русскій Вѣстникъ 1862 г., № 2.

Чувствую заранее (да это, вѣроятно, чувствуютъ и всѣ, кто у насъ нынче пишетъ), что читатель всего больше будетъ искать въ моей статьѣ поученія, наставленія, проповѣди. Таково настоящее положеніе, таково наше душевное настроеніе, что насъ мало интересуютъ какія-нибудь холодныя разсужденія, сухіе строгіе анализы, спокойная дѣятельность мысли и творчества. Чтобы занять и расшевелить насъ, нужно нѣчто болѣе ѣдкое, болѣе острое и рѣжущее. Мы чувствуемъ нѣкоторое удовлетвореніе только тогда, когда хоть ненадолго въ насъ вспыхиваетъ нравственный энтузіазмъ, или закипаетъ негодованіе и презрѣніе къ господствующему злу. Чтобы насъ затронуть и поразить, нужно заставить заговорить нашу совѣсть, нужно коснуться до самыхъ глубокихъ изгибовъ нашей души. Иначе мы останемся холодны и равнодушны, какъ бы ни были велики чудеса ума и таланта. Живѣе всѣхъ другихъ потребностей говорить въ насъ потребность нравственнаго обновленія, и потому потребность обличенія, потребность бичеванія собственной плоти. Къ каждому, владѣющему словомъ, мы готовы обратиться съ тою рѣчью, которую нѣкогда слышалъ поэтъ:

**Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;**

Мы сердцемъ хладные скопцы,
 Клеветники, рабы, глупцы;
 Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки...

 Давай намъ смѣлые уроки!

Чтобы убѣдиться во всей силѣ этого запроса на проповѣдь, чтобы видѣть, какъ ясно чувствовалась и выражалась эта потребность, достаточно вспомнить хотя немногіе факты. Пушкинъ, какъ мы сейчасъ замѣтили, слышалъ это требованіе. Оно поразило его страннымъ недоумѣніемъ. «Таинственный пѣвецъ», какъ онъ самъ называлъ себя, то есть пѣвецъ, для котораго была загадкою его собственная судьба, поэтъ, чувствовавшій, что «ему нѣтъ отзыва», онъ встрѣтилъ требованіе проповѣди какъ что-то непонятное и никакъ не могъ отнестись къ нему опредѣленно и правильно. Много разъ онъ обращался своими думами къ этому загадочному явленію. Отсюда вышли его полемическія стихотворенія, нѣсколько неправильныя и, такъ сказать, фальшивяція въ поэтическомъ отношеніи (большая рѣдкость у Пушкина!), на примѣръ *Чернь*, или

Не дорого цѣню я громкія права.

Отсюда произошло то, что поэтъ воспѣвалъ «мечты невольныя», «свободный умъ» и приходилъ иногда къ энергическому требованію *свободы* для себя, какъ для поэта:

Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи...
 Вотъ счастье, вотъ права!..

Отсюда, наконецъ, та жалоба, которая такъ грустно звучитъ въ стихотвореніяхъ «Поэту», «Памятникъ», и то негодование, съ которымъ онъ писалъ:

Подите прочь! Какое дѣло
 Поэту мирному до васъ?
 Въ развратъ наменѣйте смѣло,
 Не оживить васъ лиры гласъ.

Пушкинъ умеръ среди этого разлада и, можетъ быть, этотъ разладъ не мало участвовалъ въ его смерти.

Вспомнимъ потомъ, что Гоголь не только слышалъ требованіе проповѣди, но и самъ уже былъ зараженъ энтузіазмомъ проповѣдыванія. Онъ рѣшился выступить прямо, открыто, какъ проповѣдникъ въ своей «Перепискѣ съ друзьями». Когда же онъ увидѣлъ, какъ страшно ошибся и въ тонѣ и въ текстѣ своей проповѣди, онъ уже ни въ чемъ не могъ найти спасенія. У него пропалъ и творческій талантъ, исчезло мужество и довѣріе къ себѣ, и онъ погибъ, какъ будто убитый неудачею въ томъ, что считалъ главнымъ дѣломъ своей жизни.

Въ то же самое время Бѣлинскій находилъ свою силу въ пламенномъ негодованіи на окружающую жизнь. Подъ конецъ онъ сталъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ смотрѣть на свое призваніе критика; онъ увѣрялъ, что рожденъ публицистомъ. Справедливо замѣчаютъ, что въ послѣдніе годы его критика вдалась въ односторонность и потеряла чуткость, которою отличалась прежде. И здѣсь, потребность проповѣди помѣшала спокойному развитію силъ.

Какъ бы то ни было, но только требованіе урока и поученія, какъ нельзя яснѣе, обнаружилось у насъ при появленіи новаго романа Тургенева. Къ нему вдругъ приступили съ лихорадочными и настоятельными вопросами: кого онъ хвалитъ? кого осуждаетъ? кто у него образецъ для подражанія? кто предметъ презрѣнія и негодованія? какой это романъ—прогрессивный или ретроградный?

И вотъ, на эту тему поднялись безчисленные толки. Дѣло дошло до мелочей, до самыхъ тонкихъ подробностей. Базаровъ пьетъ шампанское! Базаровъ играетъ въ карты! Базаровъ небрежно одѣвается! Что это значитъ? спрашиваютъ въ недоумѣніи. *Должно* это, или *не должно*? Каждый рѣшилъ по своему, но всякій считалъ необходимымъ вывести нравоученіе и подписать его подъ загадочною баснею. Рѣшенія однакоже вышли совершенно разногласныя. Одни нашли, что «Отцы и дѣти» есть сатира на молодое поколѣніе, что всѣ симпатіи автора на сторонѣ *отцовъ*. Другіе говорятъ, что осмѣяны и опозорены въ романѣ *отцы*, а молодое поколѣніе, напротивъ, превознесено. Одни находятъ, что Базаровъ самъ виноватъ въ своихъ несчастныхъ отно-

шеніяхъ къ людямъ, съ которыми онъ встрѣтился; другіе утверждаютъ, что, напротивъ, эти люди виноваты въ томъ, что Базарову такъ трудно жить на свѣтѣ

Такимъ образомъ, если свести всѣ эти разнорѣчивыя мнѣнія, то должно прійти къ заключенію, что въ баснѣ или вовсе нѣтъ правдоученія, или же, что правдоученіе не такъ легко найти, что оно находится совсѣмъ не тамъ, гдѣ его ищутъ. Несмотря на то, романъ читается съ жадностью и возбуждаетъ такой интересъ, какого, смѣло можно сказать, не возбуждало еще ни одно произведеніе Тургенева. Вотъ любопытное явленіе, которое стоитъ полнаго вниманія. Романъ, повидимому, явился не во-время; онъ какъ-будто не соотвѣтствуетъ потребностямъ общества; онъ не даетъ ему того, чего онъ ищетъ. А между тѣмъ, онъ производитъ сильнѣйшее впечатлѣніе. Г. Тургеневъ во всякомъ случаѣ можетъ быть доволенъ. Его *таинственная* цѣль вполне достигнута. Но мы должны отдать себѣ отчетъ въ смыслѣ его произведенія.

Если романъ Тургенева повергаетъ читателей въ недоумѣніе, то это происходитъ по очень простой причинѣ: онъ приводитъ къ сознанію то, что еще не было замѣчено. Главный герой романа есть Базаровъ; онъ и составляетъ теперь яблоко раздора. Базаровъ есть лицо новое, котораго рѣзкія черты мы увидѣли въ первый разъ; понятно, что мы задумываемся надъ нимъ. Если бы авторъ вывелъ намъ опять помѣшниковъ прежняго времени, или другія лица, давно уже намъ знакомыя, то, конечно, онъ не подалъ бы намъ никакого повода къ изумленію, и всѣ бы дивились развѣ только вѣрности и мастерству его изображенія. Но въ настоящемъ случаѣ дѣло имѣетъ другой видъ. Постоянно слышатся даже вопросы: да гдѣ же существуютъ Базаровы? кто видѣлъ Базаровыхъ? кто изъ насъ Базаровъ? наконецъ, есть ли дѣйствительно такіе люди, какъ Базаровъ?

Разумѣется, лучшее доказательство дѣйствительности Базарова есть самый романъ; Базаровъ въ немъ такъ вѣренъ самому себѣ, такъ полонъ, такъ щедро снабженъ плотью и кровью, что назвать его *сочиненнымъ* человекомъ нѣтъ никакой возможности. Но онъ не есть ходячій типъ, всѣмъ

знакомый и только схваченный художникомъ и выставленный имъ «на всенародныя очи». Базаровъ во всякомъ случаѣ есть лицо созданное, а не только воспроизведенное, предугаданное, а не только разоблаченное. Такъ это должно было быть по самой задачѣ, которая возбуждала творчество художника. Тургеневъ, какъ уже давно извѣстно, есть писатель, усердно слѣдящій за движеніемъ русской мысли и русской жизни. Онъ заинтересованъ этимъ движеніемъ необыкновенно сильно; не только въ «Отцахъ и дѣтяхъ», но и во всѣхъ прежнихъ своихъ произведеніяхъ онъ постоянно схватывалъ и изображалъ отношенія между отцами и дѣтьми. Последняя мысль, послѣдняя волна жизни—вотъ, что всего болѣе приковывало его вниманіе. Онъ представляетъ образецъ писателя, одареннаго совершенной подвижностью и вмѣстѣ глубокою чуткостью, глубокою любовью къ современной ему жизни.

Таковъ онъ и въ своемъ новомъ романѣ. Если мы не знаемъ полныхъ Базаровыхъ въ дѣйствительности, то, однакоже, всѣ мы встрѣчаемъ много базаровскихъ чертъ, всѣмъ знакомы люди, то съ одной, то съ другой стороны напоминающіе Базарова. Если никто не проповѣдуетъ всей системы мнѣній Базарова, то, однакоже, всѣ слышали тѣ же мысли поодионочкѣ, отрывочно, несвязно, нескладно. Эти бродячіе элементы, эти неразвившіеся зародыши, недоконченныя формы, несложившіеся мнѣнія Тургеневъ воплотилъ цѣльно, полно, стройно въ Базаровѣ.

Отсюда происходитъ и глубокая занимательность романа, и то недоумѣніе, которое онъ производитъ. Базаровы на половину, Базаровы на одну четверть, Базаровы на одну сотую долю—не узнаютъ себя въ романѣ. Но это ихъ горе, а не горе Тургенева. Гораздо лучше быть полнымъ Базаровымъ, чѣмъ быть его уродливымъ и неполнымъ подобіемъ. Противники же базаровщины радуются, думая, что Тургеневъ умышленно исказилъ дѣло, что онъ написалъ карикатуру на молодое поколѣніе: они не замѣчаютъ, какъ много величія кладетъ на Базарова глубина его жизни, его законченность, его непреклонная и послѣдовательная своеобразность, принимаемая ими за безобразіе.

Напрасныя обвиненія! Тургеневъ остался вѣренъ своему художественному дару: онъ не выдумываетъ, а создаетъ, не искажаетъ, а только освѣщаетъ свои фигуры.

Подойдемъ къ дѣлу ближе. Система убѣжденій, кругъ мыслей, которыхъ представителемъ является Базаровъ, болѣе или менѣе ясно выражались въ нашей литературѣ. Главными ихъ выразителями были два журнала: «Современникъ» и «Русское Слово», недавно заявившее ихъ съ особенною рѣзкостью. Трудно сомнѣваться, что отсюда, изъ этихъ чисто теоретическихъ и отвлеченныхъ проявленій извѣстнаго образа мыслей взять Тургеневымъ складъ ума, воплощенный имъ въ Базаровѣ. Тургеневъ взялъ извѣстный взглядъ на вещи, имѣвшій притязанія на господство, на первенство въ нашемъ умственномъ движеніи; онъ послѣдовательно и стройно развилъ этотъ взглядъ до его крайнихъ выводовъ и—такъ какъ дѣло художника не мысль, а жизнь—онъ воплотилъ его въ живыя формы. Онъ далъ плоть и кровь тому, что явно уже существовало въ видѣ мысли и убѣжденія. Онъ придалъ наружное проявленіе тому, что уже существовало, какъ внутреннее основаніе.

Отсюда, конечно, должно объяснить упрекъ, сдѣланный Тургеневу, что онъ изобразилъ въ Базаровѣ не одного изъ представителей молодого поколѣнія, а скорѣе главу кружка, порожденіе нашей оторванной отъ жизни литературы.

Упрекъ былъ бы справедливъ, если бы мы не знали, что мысль, рано или поздно, въ большей или меньшей степени, но непремѣнно переходитъ въ жизнь, въ дѣло. Если базаровское направленіе имѣло силу, имѣло поклонниковъ и проповѣдниковъ, то оно непремѣнно должно было порождать базаровыхъ. Такъ что остается только одинъ вопросъ: вѣрно ли схвачено базаровское направленіе?

Въ этомъ отношеніи для насъ существенно важны отзывы тѣхъ самыхъ журналовъ, которые прямо заинтересованы въ дѣлѣ, именно «Современника» и «Русскаго Слова». Изъ этихъ отзывовъ должно вполне обнаружиться, насколько вѣрно Тургеневъ понялъ ихъ духъ. Довольны ли они, или нѣдовольны, поняли ли Базарова, или не поняли,—каждая черта здѣсь характеристична.

Оба журнала поспѣшили отозваться большими статьями. Въ мартовской книжкѣ «Русскаго Слова» явилась статья г. Писарева, а въ мартовской книжкѣ «Современника» — статья г. Антоновича. Оказывается, что «Современникъ» весьма недоволенъ романомъ Тургенева. Онъ думаетъ, что романъ написанъ въ укоръ и поученіе молодому поколѣнію, что онъ представляетъ клевету на молодое поколѣніе и можетъ быть поставленъ на ряду съ «Асмодеемъ нашего времени», соч. Асоченскаго.

Совершенно очевидно, что «Современникъ» желаетъ убить г. Тургенева во мнѣніи читателей, убить наповаль, безъ всякой жалости. Это было бы очень страшно, если бы только такъ легко было бы это сдѣлать, какъ воображаетъ «Современникъ». Не успѣла выйти въ свѣтъ его грозная книжка, какъ явилась статья г. Писарева, составляющая столь радикальное противоядіе злобнымъ намѣреніямъ «Современника», что лучше ничего не остается желать. «Современникъ» разсчитывалъ, что повѣрять на слово въ этомъ дѣлѣ. Ну, можетъ быть, найдутся такіе, что и усумнятся. Если бы мы стали защищать Тургенева, насъ тоже, можетъ быть, заподозрили бы въ заднихъ мысляхъ. Но кто усумнится въ г. Писарева? Кто ему не повѣритъ?

Если чѣмъ извѣстенъ г. Писаревъ въ нашей литературѣ, такъ именно прямою и откровенностью своего изложенія. Г. Писаревъ никогда не лукавитъ съ читателями; онъ договариваетъ свою мысль до конца. Благодаря этому, драгоценному свойству, романъ Тургенева получилъ блистательнѣйшее подтвержденіе, какого только можно было ожидать.

Г. Писаревъ, человѣкъ молодого поколѣнія, свидѣтельствуешь о томъ, что Базаровъ есть дѣйствительный типъ этого поколѣнія и что онъ изображенъ совершенно вѣрно. «Все наше поколѣніе» — говоритъ г. Писаревъ — «со своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа». «Базаровъ — представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массы, и образъ этого человѣка ярко и отчетливо обрисовывается передъ воображеніемъ читателей». «Тургеневъ вду-

«мался въ типъ Базарова и понялъ его такъ вѣрно, какъ «не пойметъ ни одинъ изъ молодыхъ реалистовъ». «Онъ не «покривилъ душою въ своемъ послѣднемъ произведеніи». «Общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ «отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго». Тургеневъ «есть «искренній художникъ, не уродующій дѣйствительность, «а изображающій ее, какъ она есть». Вслѣдствіе этой «честной, чистой натуры художника», «его образы живутъ своею жизнью; онъ любитъ ихъ, увлекается ими, онъ привязывается къ нимъ во время процесса творчества, и ему «становится невозможнымъ помыкать ими по своей прихоти «и превращать картину жизни въ аллегорію съ нравственною цѣлью и съ добродѣтельной развязкою».

Всѣ эти отзывы сопровождаются тонкимъ разборомъ дѣйствій и мнѣній Базарова, показывающимъ, что критикъ понимаетъ ихъ и вполне имъ сочувствуетъ. Послѣ этого понятно, къ какому заключенію долженъ былъ прийти г. Писаревъ, какъ членъ молодого поколѣнія.

«Тургеневъ» — пишетъ онъ — «оправдалъ Базарова и одѣялъ его по достоинству. Базаровъ вышелъ у него изъ «испытанія чистымъ и крѣпкимъ». «Смыслъ романа вышелъ «такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ «крайности; но въ самыхъ увлеченіяхъ сказываются свѣжая «сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ даютъ себя «знать въ минуту тяжелыхъ испытаній; эта сила и этотъ «умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ «молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержать ихъ «въ жизни».

«Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрасную «мысль, тотъ не можетъ не изъяснить ему глубокой и «горячей признательности, какъ великому художнику и «честному гражданину Россіи»!

Вотъ искреннее и неопровержимое свидѣтельство того, какъ вѣренъ поэтический инстинктъ Тургенева; вотъ полное торжество всепокоряющей и всепримиряющей силы поэзіи!

Въ подражаніе г. Писареву, мы готовы воскликнуть: честь и слава художнику, который дождался такого отзыва отъ тѣхъ, кого онъ изображалъ.

Восторгъ г. Писарева вполне доказываетъ, что Базаровы существуютъ если не въ дѣйствительности, то въ возможности, и что они поняты г. Тургеневымъ по крайней мѣрѣ въ той степени, въ какой сами себя понимаютъ. Для предотвращенія недоразумѣній замѣтимъ, что совершенно неумѣстна придирчивость, съ которою нѣкоторые смотрятъ на романъ Тургенева. Судя по его заглавію, они требуютъ, чтобы въ немъ было *вполнѣ* изображено все старое и все новое поколѣніе. Почему же такъ? Почему не удовольствоваться изображеніемъ *нѣкоторыхъ* отцовъ и *нѣкоторыхъ* дѣтей? Если же Базаровъ есть, дѣйствительно, *одинъ* изъ представителей молодого поколѣнія, то другіе представители должны необходимо находиться въ родствѣ съ этимъ представителемъ.

Доказавъ фактами, что Тургеневъ понимаетъ Базаровыхъ по крайней мѣрѣ настолько, насколько они сами себя понимаютъ, мы теперь пойдемъ дальше и покажемъ, что Тургеневъ понимаетъ ихъ гораздо лучше, чѣмъ они сами себя понимаютъ. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго и необыкновеннаго: таково всегдашнее преимущество, неизмѣнная привиллегія поэтовъ. Поэты вѣдь—пророки, провидцы; они проникаютъ въ самую глубину вещей и открываютъ въ нихъ то, что оставалось скрытымъ для обыкновенныхъ глазъ. Базаровъ есть типъ, идеалъ, явленіе, «возведенное въ перлъ созданія»; понятно, что онъ стоитъ выше дѣйствительныхъ явленій базаровщины. Наши Базаровы.—только Базаровы отчасти, тогда какъ Базаровъ Тургенева есть Базаровъ по превосходству, по преимуществу. И слѣдовательно, когда о немъ станутъ судить тѣ, которые не доросли до него, они во многихъ случаяхъ не поймутъ его.

Наши критики, даже и г. Писаревъ, недовольны Базаровымъ. Люди отрицательнаго направленія не могутъ помириться съ тѣмъ, что Базаровъ въ отрицаніи дошелъ до конца. Въ самомъ дѣлѣ, они недовольны героемъ за то, что онъ отрицаетъ: 1) извѣстество жизни, 2) эстетическое наслажде-

ніе, 3) науку. Разберемъ эти три отрицанія подробнѣе; такимъ образомъ намъ уяснится самъ Базаровъ.

Фигура Базарова имѣетъ въ себѣ нѣчто мрачное и рѣзкое. Въ его наружности нѣтъ ничего мягкаго и красиваго; его лицо имѣло другую, не виѣшнюю красоту: «оно оживлялось спокойною улыбкою и выражало самоувѣренность и умъ». Онъ мало заботится о своей наружности и одѣвается небрежно. Точно также, въ своемъ обращеніи онъ не любитъ никакихъ излишнихъ вѣжливостей, пустыхъ, неимѣющихъ значенія формъ, виѣшняго лаку, который ничего не покрываетъ. Базаровъ *простъ* въ высшей степени и отъ этого, между прочимъ, зависитъ та легкость, съ которою онъ сходится съ людьми, начиная отъ дворцовыхъ мальчишекъ и до Анны Сергѣевны Одинцовой. Такъ опредѣляетъ Базарова самъ юный другъ его Аркадій Кирсановъ:

«Ты съ нимъ пожалуй не церемонься», — говоритъ онъ своему отцу; — «онъ чудесный малый, такой простой, ты увидишь».

Чтобы рѣзче выставить простоту Базарова, Тургеневъ противопоставилъ ей изысканность и щепетильность Павла Петровича. Отъ начала до конца повѣсти авторъ не забываетъ подсмѣяться надъ его воротниками, духами, усами, ногтями и всѣми другими признаками нѣжнаго ухаживанія за собственной особой. Не менѣе юмористически изображено обращеніе Павла Петровича, его *прикосновеніе усами* вмѣсто поцѣлуя, его ненужныя деликатности и проч.

Послѣ этого очень странно, что почитатели Базарова-недовольны его изображеніемъ въ этомъ отношеніи. Они находятъ, что авторъ придалъ ему *грубыя манеры*, что онъ выставилъ его *неотесаннымъ, дурно воспитаннымъ*, котораго *нельзя пустить въ порядочную истинную*. Такъ выражается г. Писаревъ и на этомъ основаніи приписываетъ г. Тургеневу *коварный умыселъ уронить и опозилить* своего героя въ глазахъ читателей. По мнѣнію г. Писарева, Тургеневъ поступилъ весьма несправедливо; «можно быть крайнимъ материалистомъ, полнѣйшимъ эмпирикомъ и въ то же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно-вѣжливо со своими знакомыми, быть любезнымъ со-

бесѣдникомъ и совершеннымъ джентльменомъ. Это я говорю» — прибавляетъ критикъ — «для тѣхъ читателей, которые, придавая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, съ отвращеніемъ посмотрятъ на Базарова, какъ на чловѣка *mal élevé* и *mauvais ton*. Онъ, дѣйствительно, *mal élevé* и *mauvais ton*, но это нисколько не относится къ сущности типа...».

Разсужденія объ изяществѣ манеръ и о тонкости обращенія, какъ извѣстно, предметъ весьма затруднительный. Нашъ критикъ, какъ видно, большой знатокъ въ этомъ дѣлѣ, и потому мы не станемъ съ нимъ тягаться. Это тѣмъ легче для насъ, что мы вовсе не желаемъ имѣть въ виду читателей, которые *придаютъ важное значеніе утонченнымъ манерамъ и заботамъ о туалетѣ*. Такъ какъ мы не сочувствуемъ этимъ читателямъ и мало знаемъ толку въ этихъ вещахъ, то понятно, что Базаровъ ни мало не возбуждаетъ въ насъ отвращенія и не кажется намъ ни *mal élevé*, ни *mauvais ton*. Съ нами, кажется, согласны и всѣ дѣйствующія лица романа. Простота обращенія и фигуры Базарова возбуждаютъ въ нихъ не отвращеніе, а скорѣе внушаютъ къ нему уваженіе; онъ радушно принятъ въ *юстиной* Анны Сергѣевны, гдѣ засѣдала даже какая-то плохенькая княжна.

Изящныя манеры и хорошій туалетъ, конечно, суть вещи хорошія; но мы сомнѣваемся, чтобы они были къ лицу Базарову и шли къ его характеру. Чловѣкъ, глубоко преданный одному дѣлу, предназначившій себя, какъ онъ самъ говоритъ, для «жизни горькой, терпкой, бобыльной», онъ ни въ какомъ случаѣ не могъ играть роль утонченнаго джентльмена, не могъ быть собесѣдникомъ. Онъ легко сходится съ людьми; онъ живо интересуется всѣмъ, кто его знаетъ; но этотъ интересъ заключается вовсе не въ тонкости обращенія.

Глубокій аскетизмъ проникаетъ собою всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая. Характеръ этого аскетизма совершенно особенный, и въ этомъ отношеніи должно строго держаться настоящей точки зрѣнія, то есть той самой, съ которой смотритъ Тургеневъ. Базаровъ отражается отъ благъ этого міра, но онъ дѣлаетъ

между этими благами строгое различіе. Онъ охотно ѣсть вкусныя обѣды и пьетъ шампанское; онъ не прочь даже поиграть въ карты. Г. Антоновичъ въ «Современникѣ» видитъ здѣсь тоже коварный умыселъ Тургенева и увѣряетъ насъ, что поэтъ выставилъ своего героя *обжорой, пьянчужкой и картежникомъ*. Дѣло, однакоже, имѣетъ совсѣмъ не такой видъ. Базаровъ понимаетъ, что простыя или чисто тѣлесныя удовольствія гораздо законнѣе и простибельнѣе наслажденій иного рода. Базаровъ понимаетъ, что есть соблазны болѣе гибельныя, болѣе растлѣвающіе душу, чѣмъ, напримѣръ, бутылка вина, и онъ бережется не того, что можетъ погубить тѣло, а того, что погубляетъ душу. Наслажденіе тщеславіемъ, джентльменствомъ, мысленный и сердечный развратъ всякаго рода для него гораздо противнѣе и ненавистнѣе, чѣмъ ягоды со сливками или пулька въ преферансъ. Вотъ отъ какихъ соблазновъ онъ бережетъ себя; вотъ тотъ высшій аскетизмъ, которому преданъ Базаровъ. За чувственными удовольствіями онъ не гоняется, онъ наслаждается ими только при случаѣ; онъ такъ глубоко занятъ своими мыслями, что для него никогда не можетъ быть затрудненіе отказаться отъ этихъ удовольствій; однимъ словомъ, онъ потому предается этимъ простымъ удовольствіямъ, что онъ всегда выше ихъ, что они никогда не могутъ завладѣть имъ. Зато тѣмъ упорнѣе и суровѣе онъ отказывается отъ такихъ наслажденій, которыя могли бы стать выше его и завладѣть его душою.

Вотъ откуда объясняется и то болѣе разительное обстоятельство, что Базаровъ отрицаетъ эстетическія наслажденія, что онъ не хочетъ любоваться природою и не признаетъ искусства. Обоихъ нашихъ критиковъ это отрицаніе искусства привело въ великое недоумѣніе.

«Мы отрицаемъ» — пишетъ г. Антоновичъ — «только ваше искусство, вашу поэзію г. Тургеневъ; но не отрицаемъ «и даже требуемъ другого искусства и поэзіи, хоть такой «поэзіи, какую представилъ, напримѣръ, Гёте». «Были люди», — замѣчаетъ критикъ въ другомъ мѣстѣ — «которые изучали природу и наслаждались ею, понимали смыслъ ея явленій, знали, движеніе волнъ и травъ прозябанье, читали «звѣздную книгу ясно, научно, безъ мечтательности, и были «великими поэтами».

Г. Антоновичъ, очевидно, не хочетъ приводить стиховъ, которые всѣмъ извѣстны:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозабанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Дѣло ясное: г. Антоновичъ объявляетъ себя поклонникомъ Гёте и утверждаетъ, что молодое поколѣніе признаетъ поэзію *великаго старца*. Отъ него, говорить онъ, мы научились «высшему и разумному наслажденію природой». Вотъ неожиданный и, признаемся, весьма сомнительный фактъ! Давно ли же это «Современникъ» сдѣлался поклонникомъ тайнаго совѣтника Гёте? «Современникъ», вѣдь, очень много говоритъ о литературѣ; онъ особенно любитъ стихишки. Чуть бывало появится сборникъ какихъ-нибудь стихотвореній, ужъ на него непременно пишется разборъ. Но чтобы онъ много толковалъ о Гёте, чтобы ставить его въ образецъ,—этого, кажется, вовсе не бывало. «Современникъ» бранилъ Пушкина: вотъ это всѣ помнятъ; но прославлять Гёте,—ему случается, кажется, въ первый разъ, если не поминать давно прошедшихъ и забытыхъ годовъ. Что же это значитъ? Развѣ уже очень понадобился?

Да и возможное ли дѣло, чтобы «Современникъ» восхищался Гёте, эгонистомъ Гёте, который служить вѣчною ссылкой для поклонниковъ искусства для искусства, который представляетъ образецъ олимпійскаго безучастія къ земнымъ дѣламъ, который пережилъ революцію, покореніе Германіи и войну освобожденія, не принимая въ нихъ сердечнаго участія, глядя на всѣ событія свысока!..

Не можемъ мы также думать, чтобы молодое поколѣніе училось наслажденію природой, или чему-нибудь другому у Гёте. Дѣло это извѣстное; если молодое поколѣніе читаетъ поэтовъ, то ужъ никакъ не Гёте; вмѣсто Гёте оно много-много читаетъ Гейне, вмѣсто Пушкина—Некрасова. Если г. Антоновичъ столь неожиданно объявилъ себя приверженцемъ

Гёте, то это еще не доказываетъ, что молодое поколѣніе расположено упиваться гётевскою поэзіею, что оно учится у Гёте наслаждаться природою.

Гораздо прямѣе и откровеннѣе излагаетъ дѣло г. Писаревъ. Онъ также находитъ, что, отрицая искусство, Базаровъ *завирается*, отрицаетъ вещи, *которыхъ не знаетъ или не понимаетъ*. «Поэзія»—говоритъ критикъ—«по его мнѣнію ерунда; читать Пушкина—потерянное время; заниматься музыкою—смѣшно; наслаждаться природою—нелѣпо». Для опроверженія такихъ заблужденій г. Писаревъ не прибѣгаетъ къ авторитетамъ, какъ сдѣлалъ г. Антоновичъ, но старается собственноручно объяснить намъ законность эстетическихъ наслажденій. Отвергать ихъ, говоритъ онъ, нельзя: вѣдь, это значило бы отвергать наслажденіе «пріятнымъ раздраженіемъ зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ». Вѣдь, на примѣръ, «наслажденіе музыкою есть чисто физическое ощущеніе». «Послѣдовательные матеріалисты, въ родѣ Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера, не отказываютъ поденщику «въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ въ употребленіи «наркотическихъ веществъ. Они смотрятъ снисходительно даже на нарушенія должной мѣры, хотя признаютъ подобныя «нарушенія вредными для здоровья». «Отчего же, допуская «употребленіе водки и наркотическихъ веществъ вообще, не «допустить наслажденія природою? И точно такъ, если можно пить водку, то отчего же нельзя читать Пушкина? Отсюда мы уже должны ясно видѣть, что такъ какъ Базаровъ допускалъ питье водки и самъ ее пилъ, то онъ поступаетъ непослѣдовательно, смѣясь надъ чтеніемъ Пушкина и надъ игрою на віолончели.

Очевидно, Базаровъ смотритъ на вещи не такъ, какъ г. Писаревъ. Г. Писаревъ, повидимому, признаетъ искусство, а на самомъ дѣлѣ онъ его отвергаетъ, то есть не признаетъ за нимъ его настоящаго значенія. Базаровъ прямо отрицаетъ искусство, но отрицаетъ его потому, что глубже понимаетъ его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто физическое занятіе и читать Пушкина не все равно, что пить водку. Въ этомъ отношеніи герой Тургенева несравненно выше своихъ послѣдователей. Въ мелодіи Шуберта и въ стихахъ Пуш-

кина онъ ясно слышалъ враждебное начало; онъ чуетъ ихъ всеувлекающую силу и потому вооружается противъ нихъ.

Въ чемъ же состоитъ эта сила искусства, враждебная Базарову? Выражаясь какъ можно проще, можно сказать, что искусство есть нѣчто слишкомъ *сладкое*, тогда какъ Базаровъ никакихъ сладостей не любитъ, а предпочитаетъ имъ горькое. Выражаясь точнѣе, но нѣсколько старымъ языкомъ, можно сказать, что искусство всегда носитъ въ себѣ элементъ *примиренія*, тогда какъ Базаровъ вовсе не желаетъ примиряться съ жизнью. Искусство есть идеализмъ, созерцаніе, отрѣшеніе отъ жизни и поклоненіе идеаламъ; Базаровъ же реалистъ, не созерцатель, а дѣятель, признающій одни дѣйствительныя явленія и отрицающій идеалы.

Все это вѣрно чувствовалось и чувствуется многими, между прочимъ и «Современникомъ». «Современникъ» стужалъ себѣ не мало лавровъ въ борьбѣ противъ искусства, начиная отъ хвалебной рецензіи на диссертацию Чернышевскаго: *«Эстетическія отношенія искусства къ действительности»* (1854) и до послѣднихъ экономическихъ соображеній самого г. Чернышевскаго, по которымъ художники не заслуживаютъ *никакого вещественнаго вознагражденія* за свои произведенія, а наслаждаться этими произведеніями позволительно только тогда, когда уже ничѣмъ полезнымъ заняться невозможно («Современникъ» 1861 г., № 11).

Вражда къ искусству составляетъ важное явленіе и не есть мимолетное заблужденіе; напротивъ, она глубоко коренится въ духѣ настоящаго времени. Искусство всегда было и всегда будетъ областью *отъчнаго*: отсюда понятно, что жрецы искусства, какъ жрецы вѣчнаго, легко начинаютъ презрительно смотрѣть на все временное; по крайней мѣрѣ, они иногда считаютъ себя правыми, когда предаются вѣчнымъ интересамъ, не принимая никакого участія во временныхъ. И, слѣдовательно, тѣ, которые дорожатъ временнымъ, которые требуютъ сосредоточенія всей дѣятельности на потребности настоящей минуты, на насущныхъ дѣлахъ, — необходимо должны стать во враждебное отношеніе къ искусству.

Что значитъ, напримѣръ, мелодія Шуберта? Попробуйте объяснить, какое дѣло дѣлалъ художникъ, создавая эту ме-

люди, и какое дѣло дѣлають тѣ, кто ее слушаетъ? Искусство, говорятъ иные, есть суррогатъ науки; оно косвенно способствуетъ распространенію свѣдѣній. Попробуйте же разсмотрѣть, какое знаніе или свѣдѣніе содержится и распространяется въ этой мелодіи? Что-нибудь одно изъ двухъ: или тотъ, кто передается наслажденію музыки, занимается совершенными пустяками, *физическимъ ощущеніемъ*; или же его восторгъ относится къ чему-то отвлеченному, общему, безпредѣльному и, однакоже, живому и до конца овладѣвающему человѣческой душою.

Восторгъ—вотъ зло, противъ котораго идетъ Базаровъ и котораго онъ не имѣетъ причины опасаться отъ рюмки водки. Искусство имѣетъ притязаніе и силу становиться гораздо выше *пріятнаго раздраженія зрительныхъ и слухательныхъ нервовъ*; вотъ этого-то притязанія и этой власти не признаетъ законными Базаровъ.

Какъ мы сказали, отрицаніе искусства есть одно изъ современныхъ стремленій. Напрасно г. Антоновичъ испугался Гёте или по крайней мѣрѣ пугаетъ имъ другихъ: можно отрицать и Гёте. Не даромъ нашъ вѣкъ называютъ антиэстетическимъ. Конечно, искусство необходимо и содержитъ въ себѣ неистощимую, вѣчно обновляющуюся силу; тѣмъ не менѣе, вѣяніе новаго духа, которое обнаружилось въ отрицаніи искусства, имѣетъ, конечно, глубокое значеніе.

Оно особенно понятно для насъ русскихъ. Базаровъ въ этомъ случаѣ представляетъ живое воплощеніе одной изъ сторонъ русскаго духа. Мы вообще мало расположены къ изящному; мы для этого слишкомъ трезвы, слишкомъ практичны. Сплось и рядомъ можно найти между нами людей, для которыхъ стихи и музыка кажутся чѣмъ-то или приторнымъ, или ребяческимъ. Восторженность и высокопарность намъ не по нутру; мы больше любимъ простоту, ѣдкій юморъ, насмѣшку. А на этотъ счетъ, какъ видно изъ романа, Базаровъ самъ великій художникъ.

Пойдемъ далѣе. Базаровъ отрицаетъ науку. На этотъ разъ наши критики раздѣлились Г. Писаревъ вполне понимаетъ и одобряетъ это отрицаніе, г. Антоновичъ принимаетъ его за клевету, возведенную Тургеневымъ на молодое поколѣніе.

«Курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ, прослушанный Базаровымъ»,—говоритъ г. Писаревъ,—«развилъ его природный умъ и отучилъ его принимать на вѣру какія бы то ни было понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чистымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познания, личное ощущеніе—единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. Я придерживаюсь отрицательнаго направленія—говоритъ онъ—въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ—и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія—это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу». Итакъ» — заключаетъ критикъ—«ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя Базаровъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого (теоретическаго) принципа».

Что касается до г. Антоновича, то такое умственное настроеніе Базарова онъ считаетъ весьма нелѣпымъ и позорнымъ. Весьма жаль только, что, какъ онъ ни усиливается, онъ никакъ не можетъ показать, въ чемъ же состоитъ эта нелѣпость.

«Разберите» — говоритъ онъ—«приведенныя выше воззрѣнія и мысли, выдаваемыя романомъ за современныя: развѣ они не походятъ на кашу? Теперь нѣтъ принциповъ, то есть ни одного принципа не принимаютъ на вѣру; да самое же это рѣшеніе не принимать ничего на вѣру и есть принципъ!»

Конечно, такъ. Однакоже, какой хитрый человекъ г. Антоновичъ: нашель противорѣчіе у Базарова! Тотъ говоритъ, что у него нѣтъ принциповъ,—и вдругъ оказывается, что есть!

«И ужели этотъ принципъ не хорошъ?» продолжаетъ г. Антоновичъ.—«Ужели человекъ энергическій будетъ отставать и проводить въ жизнь то, что онъ принялъ извнѣ, отъ другого, на вѣру, и что не соответствуетъ всему его настроенію и всему его развитію?».

Ну вотъ это странно. Противъ кого вы говорите, г. Антоновичъ? Вѣдь вы, очевидно, защищаете *принципъ* Базарова; а, вѣдь, вы собрались доказывать, что у него каша въ головѣ. Что же это значитъ?

Но чѣмъ дальше, тѣмъ удивительнѣе.

«И даже» — пишетъ критикъ — «когда принципъ принимается на вѣру, это дѣлается не безпричинно, а вслѣдствіе какого-нибудь основанія, лежащаго въ самомъ же человѣкѣ. Есть много принциповъ на вѣру; но признать тотъ или другой изъ нихъ зависить отъ личности, отъ ея расположенія и развитія; значитъ, все сводится къ авторитету, который заключается въ личности человѣка (*т. е., какъ говоритъ г. Писаревъ, личное ощущеніе есть единственное и послѣднее убѣдительно доказательство?*); онъ самъ опредѣляетъ и внѣшніе авторитеты, и значеніе ихъ для себя. И когда молодое поколѣніе не принимаетъ вашихъ *принциповъ* *), значитъ, они не удовлетворяютъ его натурѣ; внутреннія побужденія (*ощущенія?*) располагаютъ въ пользу другихъ *принциповъ*».

Ясно же дня, что все это суть базаровскія идеи. Г. Антоновичъ, очевидно, противъ кого-то ратуетъ: но противъ кого, неизвѣстно; потому что все, что онъ говоритъ, служитъ подтвержденіемъ мнѣній Базарова, а никакъ не доказательствомъ, что они представляютъ кашу.

Должно быть самъ г. Антоновичъ почувствовалъ, наконецъ, что изъ его словъ выходитъ не совсѣмъ то, что нужно, и потому онъ заключаетъ такъ: «Что значитъ невѣріе въ науку и признаніе науки вообще, — объ этомъ нужно спросить у самого г. Тургенева; гдѣ онъ наблюдалъ такое явленіе, и въ чемъ оно обнаруживается, нельзя понять изъ его романа».

По этому случаю мы могли бы многое вспомнить, на примѣръ, хотя бы то, какъ «Современникъ» смѣялся надъ исторіей, какъ онъ потомъ намекалъ, что можно обойтись и безъ философіи и что нѣмцы нынче дошли до такой премудрости, что опровергли нѣкоторыя науки цѣликомъ. Говоримъ это для примѣра, а не то чтобы мы указывали важнѣйшіе случаи. Но — не станемъ отвлекаться отъ дѣла.

*) По произношенію Павла Петровича.

Не говоря о проявленіи образа мыслей Базарова въ цѣломъ романѣ, укажемъ здѣсь на нѣкоторые разговоры, которые поясняютъ дѣло.

— Это вы все стало-быть отвергаете? (говорить Базарову Павелъ Петровичъ).— Положимъ. Значить, вы вѣрите въ одну науку?

— Я уже доложилъ вамъ, отвѣчалъ Базаровъ,—что ни во что не вѣрю; и что такое наука, наука вообще? Есть науки, какъ есть ремесла, званія, а науки вообще не существуетъ вовсе.

Въ другой разъ не менѣе рѣзко и отчетливо возразилъ Базаровъ своему сопернику.

— Помилуйте (сказать тотъ),—логика исторіи требуетъ...

— Да на что намъ эта логика? отвѣчалъ Базаровъ:—мы и безъ нея обходимся.

-- Какъ такъ?

— Да такъ-же. Вы, я надѣюсь, не нуждаетесь въ логикѣ для того, чтобы положить себѣ кусокъ хлѣба въ ротъ, когда вы голодны. Куда намъ до этихъ отвлеченностей!

Уже отсюда можно видѣть, что воззрѣнія Базарова не представляютъ кашу, какъ старается увѣрить критикъ, а, напротивъ, образуютъ твердую и строгую цѣпь понятій. Вражда противъ науки есть также современная черта, и даже болѣе глубокая и болѣе распространенная, чѣмъ вражда противъ искусства. Подъ наукою мы разумѣемъ именно то, что разумѣется подъ *наукою вообще* и что, по мнѣнію нашего героя, не существуетъ вовсе. Наука для насъ не существуетъ, какъ скоро мы признаемъ, что она не имѣетъ никакихъ общихъ требованій, никакихъ общихъ методовъ и общихъ законовъ, что каждое знаніе существуетъ само по себѣ. Такое отрицаніе отвлеченности, такое стремленіе къ конкретности въ самой области отвлеченія, въ области знанія, составляетъ одно изъ вѣяній новаго духа. Представителемъ его былъ и есть тотъ знаменитый философъ, котораго нѣкоторые мыслители у насъ провозгласили *последнимъ* философomъ, а себя при этомъ случаѣ его вѣрными учениками*). Ему принадлежить отрицаніе науки въ ея чистѣйшей формѣ, въ формѣ

*) Фейербахъ.

философіи: «*моя философія*—говорить онъ—*состоитъ въ томъ, что я отвергаю всякую философію*».

Конечно, г. Антоновичъ легко бы поймалъ его, точно такъ, какъ онъ поймалъ Базарова: «ну вотъ,—сказалъ бы онъ:—вы отрицаете всякую философію, а между тѣмъ самое это отрицаніе уже и составляетъ философію!» Дѣло это, однакоже, не разрѣшается такъ легко.

Отрицаніе отвлеченныхъ понятій, отрицаніе мысли составляетъ слѣдствіе болѣе крѣпкаго, болѣе прямого признанія дѣйствительныхъ явленій, признанія жизни. Это разногласіе между жизнью и мыслью никогда такъ сильно не чувствовалось, какъ теперь. Оно проявляется въ безчисленныхъ формахъ и есть важное современное явленіе. Никогда философія не играла такой жалкой роли, какъ въ настоящее время. Надъ нею, кажется, сбывается пророчество Шеллинга (1860): «тогда»—говорить онъ—«пресыщеніе отвлеченностями и голыми понятіями само укажетъ намъ единственное средство исцѣлить душу—именно погрузиться въ частныя явленія». И дѣйствительно, всего болѣе разрабатываются, всего болѣе уважаются всѣми естественныя науки, т. е. науки, для которыхъ исходомъ служатъ факты, частныя явленія. Другія науки потеряли то уваженіе, которымъ нѣкогда пользовались. Мы даже привыкли къ мысли, что онѣ нѣсколько портятъ человѣка, уродуютъ его, а не возвышаютъ. Мы знаемъ, что занятія науками отвлекаютъ отъ жизни, порождаютъ доктринеровъ, мѣшаютъ живому сочувствію къ современности.

Ученость стала для насъ подозрительною; кафедра потеряла свое значеніе, исторія—свой авторитетъ. Это *обратное движеніе* ума, это самоотверженіе мысли совершается съ глубокою силою и составляетъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ современной умственной жизни.

Чтобы еще указать нѣкоторыя его характеристическія черты, приведемъ здѣсь мѣста изъ романа, поразившія насъ необыкновенною пронизательностью, съ которою Тургеневъ понималъ духъ базаровскаго направленія.

— Мы ломаемъ, потому что мы сила, замѣтилъ Аркадій.

Павелъ Петровичъ посмотрѣлъ на своего племянника и усмѣхнулся.

— Да, сила, такъ и не даетъ отчета,—проговорилъ Аркадій и выпрямился.

— Несчастный!—возопилъ Павелъ Петровичъ—хоть бы ты подумалъ, что въ Россіи ты поддерживаешь твоею пошлою сентенціей?.. Но васъ—раздавать!

— Коли раздавать, туда и дорога!—промолвилъ Базаровъ,—только бабушка еще надвое сказала. Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете.

Это прямое и чистое признаніе силы за право есть не что иное, какъ прямое и чистое признаніе *дѣйствительности*; не оправданіе, не объясненіе или выводъ ея,—все это здѣсь лишнее,—а именно простое *признаніе*, которое такъ крѣпко само по себѣ, что не требуетъ никакихъ постороннихъ поддержекъ. Отреченіе отъ мысли, какъ отъ чего-то совершенно ненужнаго, здѣсь исполнѣ ясно. Разсужденія ничего не могутъ прибавить къ этому признанію.

«Нашъ народъ—(говорить въ другомъ мѣстѣ Базаровъ)—русскій, а развѣ я самъ не русскій?» «Мой дѣдъ землю пахалъ». «Вы порицаете мое направленіе, а кто вамъ сказалъ, что оно случайно, что оно не вызвано тѣмъ самымъ народнымъ духомъ, во имя котораго вы ратуете?»

Такова эта простая логика, сильная именно тѣмъ, что не разсуждаетъ тамъ, гдѣ разсужденія ненужны. Базаровы, какъ скоро они стали, дѣйствительно, Базаровыми, не имѣютъ никакой нужды оправдывать себя. Они не фантазмагорія, не миражъ: они суть нѣчто крѣпкое и дѣйствительное; имъ нѣтъ нужды доказывать свои права на существованіе, потому что они уже, дѣйствительно, существуютъ. Оправданіе нужно только явленіямъ, которыя подозрѣваются въ фальши, или которыя еще не достигли дѣйствительности.

«Я пою, какъ птица поетъ», говоритъ въ свое оправданіе поэтъ.—«Я, Базаровъ, точно такъ, какъ липа есть липа, а береза—береза», могъ бы сказать Базаровъ. Зачѣмъ ему подчиняться исторіи и народному духу, или какъ-нибудь сообразоваться съ ними, или даже, просто, думать о нихъ, когда онъ самъ и есть исторія, самъ и есть проявленіе народнаго духа?

Вѣруя *такимъ образомъ* въ себя, Базаровъ несомнѣнно увѣренъ въ тѣхъ силахъ, которыхъ часть онъ составляетъ. «Насъ не такъ мало, какъ вы полагаете».

Изъ такого пониманія себя послѣдовательно вытекаетъ еще одна важная черта въ настроеніи и дѣятельности истинныхъ Базаровыхъ. Два раза горячій Павелъ Петровичъ приступаетъ къ своему противнику съ сильнѣйшимъ своимъ возраженіемъ и получаетъ одинаковый многознаменательный отвѣтъ.

— Матеріализмъ — (говоритъ Павелъ Петровичъ), — который вы проповѣдуете, былъ уже не разъ въ ходу и не разъ оказывался несостоятельнымъ...

— Опять иностранное слово! — перебилъ Базаровъ. — Во первыхъ, *мы ничего не проповѣдуемъ*: это не въ нашихъ привычкахъ...

Черезъ нѣсколько времени Павелъ Петровичъ попадаетъ на эту же тему.

— За что же — (говоритъ онъ) — вы другихъ-то, хоть бы тѣхъ же обличителей честите? Не такъ же ли вы болтаете, какъ и всѣ.

— Чѣмъ другимъ, а *этимъ грѣхомъ не грѣшны*, — произнесъ сквозь зубы Базаровъ.

Чтобы быть вполне и до конца послѣдовательнымъ, Базаровъ отказывается отъ проповѣдыванія, какъ отъ праздно-болтовни. И въ самомъ дѣлѣ, проповѣдь, вѣдь, была бы ничѣмъ инымъ, какъ признаніемъ правъ мысли, силы идей. Проповѣдь была бы тѣмъ оправданіемъ, которое, какъ мы видѣли, для Базарова излишне. Придавать важность проповѣди, значило бы признать умственную дѣятельность, признать, что людьми управляютъ не *ощущенія* и нужды, а также мысль и облекающее ее слово. Пуститься проповѣдывать, значитъ пуститься въ отвлеченности, значитъ призвать въ помощь логику и исторію, значитъ сдѣлать себѣ дѣло изъ того, что уже признано пустяками въ самой своей сущности. Вотъ почему Базаровъ не охотникъ до споровъ и разглагольствій и не придаетъ имъ большой цѣны. Онъ видитъ, что логикой много взять нельзя; онъ старается больше дѣйствовать личнымъ примѣромъ и увѣренъ, что Базаровы сами собою народятся въ изобиліи, какъ раждаются извѣстныя

растенія тамъ, гдѣ есть ихъ сѣмена. Прекрасно понимаетъ этотъ взглядъ г. Писаревъ. Напримѣръ, онъ говоритъ: «негодованіе противъ глупости и подлости вообще понятно, но впрочемъ оно также плодотворно, какъ негодованіе противъ осенней сырости или зимняго холода». Точно также онъ судитъ и о направленіи Базарова: «если базаровщина болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ, какъ угодно—это ваше дѣло, а остановить не остановите; это та же холера».

Отсюда понятно, что всѣ Базаровы-болтуны, Базаровы-проповѣдники, Базаровы, занятые не дѣломъ, а только своею базаровщиною,—идутъ по ложному пути, который приводитъ ихъ къ непрерывнымъ противорѣчіямъ и нелѣпостямъ, что они гораздо непослѣдовательнѣе и стоятъ гораздо ниже настоящаго Базарова.

Вотъ какое строгое настроеніе ума, какой твердый складъ мыслей воплотилъ Тургеневъ въ своемъ Базаровѣ. Онъ одѣлъ этотъ умъ плотью и кровью, и исполнилъ эту задачу съ удивительнымъ мастерствомъ. Базаровъ вышелъ человѣкомъ простымъ, чуждымъ всякой изломанности, и вмѣстѣ крѣпкимъ, могучимъ душою и тѣломъ. Все въ немъ необыкновенно идетъ къ его сильной натурѣ. Весьма замѣчательно, что онъ, такъ сказать, *болѣе русскій*, чѣмъ всѣ остальные лица романа. Его рѣчь отличается простотою, мѣткостью, насмѣшливостью и совершенно русскимъ складомъ. Точно также, между лицами романа онъ всѣхъ легче сближается съ народомъ, всѣхъ лучше умѣетъ держать себя съ нимъ.

Все это, какъ нельзя лучше, соответствуетъ простотѣ и прямотѣ того взгляда, который исповѣдуется Базаровымъ. Человѣкъ, глубоко проникнутый извѣстными убѣжденіями, составляющій ихъ полное воплощеніе, необходимо долженъ выйти и естественнымъ, слѣдовательно, близкимъ къ своей народности, и вмѣстѣ человѣкомъ сильнымъ. Вотъ почему Тургеневъ, создававшій до сихъ поръ, такъ сказать, раздвоенныя лица, напримѣръ Гамлета Щигровскаго уѣзда, Рудина,

Лаврецького, достигъ, наконецъ, въ Базаровъ до типа цѣльнаго человѣка. Базаровъ есть первое сильное лицо, первый цѣльный характеръ, явившійся въ русской литературѣ изъ среды, такъ называемаго, образованнаго общества. Кто этого не цѣнить, кто не понимаетъ всей важности такого явленія, тотъ пусть лучше не судить о нашей литературѣ. Даже г. Антоновичъ это замѣтилъ, какъ можно судить по слѣдующей странной фразѣ: «повидимому, г. Тургеневъ хотѣлъ изобразить въ своемъ героѣ, какъ говорится, *демоническую или байроническую натуру, что-то въ родѣ Гамлета*». Гамлетъ — демоническая натура! Это указываетъ на смутныя понятія о Байронѣ и Шекспирѣ. Но дѣйствительно, у Тургенева вышло *что-то въ родѣ демоническаго*, то есть натура богатая силою, хотя эта сила и не чистая.

Въ чемъ же состоитъ дѣйствіе романа?

Базаровъ вмѣстѣ съ своимъ пріятелемъ Аркадіемъ Кирсановымъ, оба студенты, только что окончившіе курсъ — одинъ въ медицинской академіи, другой въ университетѣ, — призываютъ изъ Петербурга въ провинцію. Базаровъ, впрочемъ, человѣкъ уже не первой молодости; онъ уже составилъ себѣ нѣкоторую извѣстность, успѣлъ заявить свой образъ мыслей. Аркадій же — совершенный юноша. Все дѣйствіе романа происходитъ въ одни *каникулы*, можетъ быть для обоихъ первые каникулы послѣ окончанія курса. Пріятели гостятъ большею частью вмѣстѣ, то въ семействѣ Кирсановыхъ, то въ семействѣ Базарова, то въ губернскомъ городѣ, то въ деревнѣ вдовы Одинцовой. Они встрѣчаются со множествомъ лицъ, съ которыми или видятся только въ первый разъ, или давно уже не видались; именно: Базаровъ не ѣздилъ домой цѣлыхъ три года. Такимъ образомъ, происходитъ разнообразное столкновеніе ихъ новыхъ воззрѣній, вывезенныхъ изъ Петербурга, съ воззрѣніями этихъ лицъ. Въ этомъ столкновеніи заключается весь интересъ романа. Событій и дѣйствій въ немъ очень мало. Подъ конецъ каникулъ Базаровъ почти случайно умираетъ, заразившись отъ гнойнаго трупа, а Кирсановъ женится, влюбившись въ сестру Одинцовой. Тѣмъ и кончается весь романъ.

Базаровъ является при этомъ истиннымъ героемъ, не

смотря на то, что въ немъ нѣтъ, повидимому, ничего блестящаго и поражающаго. Съ перваго его шагу къ нему приковывается вниманіе читателя, и всѣ другія лица начинаютъ вращаться около него, какъ около главнаго центра тяжести. Онъ всего меньше заинтересованъ другими лицами; зато другія лица тѣмъ больше имъ интересуются. Онъ никому ненавязывается и не напрашивается и, однакоже, вездѣ, гдѣ появляется, возбуждаетъ самое сильное вниманіе, составляетъ главный предметъ чувствъ и размысленій, любви и ненависти.

Отправляясь гостить у родныхъ и пріятелей, Базаровъ не имѣлъ въ виду никакой особенной цѣли; онъ ничего не ищетъ, ничего не ждетъ отъ этой поѣздки; ему, просто, хотѣлось отдохнуть, проѣздиться; много-много, что онъ желаетъ иногда *посмотрѣть людей*. Но при томъ превосходствѣ, которое онъ имѣетъ надъ окружающими его лицами, и вслѣдствіе того, что всѣ они чувствуютъ его силу, сами эти лица напрашиваются на болѣе тѣсныя отношенія къ нему и запутываютъ его въ драму, которой онъ вовсе не хотѣлъ и даже не предвидѣлъ.

Едва онъ явился въ семействѣ Кирсановыхъ, какъ онъ тотчасъ возбуждаетъ въ Павлѣ Петровичѣ раздраженіе и ненависть, въ Николаѣ Петровичѣ уваженіе, смѣшанное со страхомъ, расположеніе Оенички, Дуняши, дворовыхъ мальчишекъ, даже грудного ребенка Мити, и презрѣніе Прокофьяча. Впослѣдствіи дѣло доходитъ до того, что онъ самъ на минуту увлекается и цѣлуетъ Оеничку, а Павелъ Петровичъ вызываетъ его на дуэль. «Экая глупость! экая глупость!» повторяетъ Базаровъ, никакъ не ожидавшій такихъ *событій*.

Поѣздка въ городъ, имѣвшая цѣлью *смотреть народъ*, также не обходится ему даромъ. Около него начинаютъ вертѣться разные лица. За нимъ ухаживаютъ Ситниковъ и Кукшина, мастерски изображенные лица фальшиваго прогрессиста и фальшивой эманципированной женщины. Они, конечно, не смущаютъ Базарова; онъ относится къ нимъ съ презрѣніемъ, и они служатъ только контрастомъ, отъ котораго еще рѣзче и рельефнѣе выступаютъ его умъ и сила, его полная неподдѣльность. Но тутъ же встрѣчается и ка-

мень преткновенія—Анна Сергѣевна Одинцова. Несмотря на все свое хладнокровіе, Базаровъ начинаетъ колебаться. Къ величайшему удивленію своего поклонника Аркадія, онъ разъ даже сконфузился, а другой разъ покраснѣлъ. Не подозрѣвая, однакоже, никакой опасности, твердо надѣясь на себя, Базаровъ ѣдетъ гостить къ Одинцовой въ Никольское. И дѣйствительно, онъ владѣетъ собою превосходно. И Одинцова, какъ и всѣ другія лица, заинтересовывается имъ такъ, какъ, вѣроятно, никѣмъ не интересовалась во всю свою жизнь. Дѣло оканчивается, однакоже, плохо. Въ Базаровѣ загорается слишкомъ сильная страсть, а увлеченіе Одинцовой не достигаетъ до настоящей любви. Базаровъ уѣзжаетъ почти отвергнутый совершенно, и опять начинаетъ дивиться себѣ и бранить себя. «Чортъ знаетъ, что за вздоръ! Каждый человѣкъ на ниточкѣ виситъ, бездна подъ нимъ ежеминутно разверзнуться можетъ, а онъ еще самъ придумываетъ себѣ всякія непріятности, портитъ свою жизнь».

Но, несмотря на эти мудрыя разсужденія, Базаровъ все-таки продолжаетъ невольно портить свою жизнь. Уже послѣ этого урока, уже во время вторичнаго посѣщенія Кирсановыхъ онъ увлекается Феничкою и принужденъ выйти на дуэль съ Павломъ Петровичемъ.

Очевидно, Базаровъ вовсе не желаетъ и не ждетъ романа, но романъ совершается помимо его желѣзной воли; жизнь, надъ которою онъ думалъ стоять властелиномъ, захватываетъ его своею широкою волною.

Подъ конецъ разсказа, когда Базаровъ гоститъ у своихъ отца и матери, онъ, очевидно, нѣсколько потерялся послѣ всѣхъ вынесенныхъ потрясеній. Не настолько онъ потерялся, чтобы не могъ поправиться, не могъ черезъ короткое время воскреснуть въ полной силѣ; но все-таки тѣнь тоски, которая и въ самомъ началѣ лежала на этомъ желѣзномъ человѣкѣ, подъ конецъ становится гуще. Онъ теряетъ охоту заниматься, худѣетъ, начинаетъ трунить надъ мужиками уже не дружелюбно, а жалчно. Отъ этого и выходитъ, что на этотъ разъ онъ и мужикъ оказываются непонимающими другъ друга, тогда какъ прежде взаимное пониманіе было до извѣстной степени возможно. Наконецъ, Базаровъ нѣсколько

оправляется и увлекается медицинскою практикой. Зараженіе, отъ котораго онъ умираетъ, все-таки какъ-будто свидѣтельствуеть о недостаткѣ вниманія и ловкости, о случайномъ отвлеченіи душевныхъ силъ.

Смерть—такова послѣдняя проба жизни, послѣдняя случайность, которой не ожидалъ Базаровъ. Онъ умираетъ, но и до послѣдняго мгновенія остается чуждымъ этой жизни, съ которою такъ странно столкнулся, которая всеревожила его такими *пустяками*, заставила его надѣлать такихъ *глупостей* и, наконецъ, погубила его вслѣдствіе такой *ничтожной* причины.

Базаровъ умираетъ совершеннымъ героемъ и его смерть производитъ потрясающее впечатлѣніе. До самого конца, до послѣдней вспышки сознанія, онъ не измѣняетъ себѣ ни единымъ словомъ, ни единымъ признакомъ малодушія. Онъ сломленъ, но не побѣжденъ.

Такимъ образомъ, несмотря на короткій срокъ дѣйствія романа и несмотря на быструю смерть Базарова, онъ успѣлъ высказаться вполне, вполне показать свою силу. Жизнь не погубила его,—этого заключенія никакъ нельзя вывести изъ романа,—а пока только дала ему поводы обнаружить свою энергію. Въ глазахъ читателей Базаровъ выходитъ изъ искупленія побѣдителемъ. Всякій скажетъ, что такіе люди, какъ Базаровъ, способны много сдѣлать, что при этихъ силахъ отъ нихъ можно многого ожидать.

Базаровъ, собственно говоря, показанъ только въ узкой рамкѣ, а не во всю ширину человѣческой жизни. Авторъ ничего почти не говоритъ о томъ, какъ развился его герой, какимъ образомъ могло сложиться такое лицо. Точно также, быстрое окончаніе романа оставляетъ совершенною загадкою вопросъ: остался ли бы Базаровъ тѣмъ же Базаровымъ, или вообще,—какое развитіе суждено ему впереди? И, однакоже, то и другое умолчаніе имѣетъ, какъ намъ кажется, свою причину, свое существенное основаніе. Если не показано постепенное развитіе героя, то, безъ сомнѣнія, потому, что Базаровъ образовался не медленнымъ накопленіемъ вліяній, а, напротивъ, быстрымъ, крутымъ переломомъ. Базаровъ три года не былъ дома. Эти три года онъ учился, и вотъ онъ

вдругъ является намъ напитаннымъ всѣмъ тѣмъ, чему онъ успѣлъ выучиться. На другое утро послѣ пріѣзда, онъ уже отправляется за лягушками, и вообще онъ продолжаетъ *учебную* жизнь при каждомъ удобномъ случаѣ. Онъ—человѣкъ теоріи, и его создала теорія, создала незамѣтно, безъ событій, безъ всего такого, что можно бы было рассказать, создала однимъ умственнымъ переворотомъ.

Базаровъ скоро умираетъ. Это нужно было художнику для простоты и ясности картины. Въ своемъ теперешнемъ, напряженномъ настроеніи Базаровъ остановиться надолго не можетъ. Рано или поздно онъ долженъ измѣниться, долженъ перестать быть Базаровымъ. Мы не имѣемъ права сѣтовать на художника за то, что онъ не взялъ болѣе широкой задачи и ограничился болѣе узкою. Онъ рѣшилъ остановиться только на одной ступени въ развитіи своего героя. Тѣмъ не менѣе, на этой ступени развитія, какъ вообще бываетъ въ развитіи, передъ нами явился *весь человекъ*, а не отрывочныя его черты. Въ отношеніи къ полнотѣ лица задача художника исполнена превосходно.

Живой, цѣльный человѣкъ схваченъ авторомъ въ каждомъ дѣйствіи, въ каждомъ движеніи Базарова. Вотъ великое достоинство романа, которое содержитъ въ себѣ главный его смыслъ и котораго не замѣтили наши поспѣшные нравоведы. Базаровъ—теоретикъ; онъ человѣкъ странный, односторонне-рѣзкій; онъ проповѣдуетъ необыкновенныя вещи; онъ поступаетъ эксцентрически; онъ школьникъ, въ которомъ вмѣстѣ съ глубокою искренностью соединяется самое грубое *ломанье*; какъ мы сказали—онъ человѣкъ чуждый жизни, то есть онъ самъ чуждается жизни. Но подъ всѣми этими внѣшними формами льется теплая струя жизни; при всей рѣзкости и дѣланности своихъ проявленій—Базаровъ человѣкъ вполне живой, не фантомъ, не выдумка, а настоящая плоть и кровь. Онъ отрицается отъ жизни, а между тѣмъ живетъ глубоко и сильно.

Послѣ одной изъ самыхъ удивительныхъ сценъ романа, именно послѣ разговора, въ которомъ Павелъ Петровичъ вызываетъ Базарова на дуэль и тотъ принимаетъ его предложеніе и условливается съ нимъ, Базаровъ, изумленный не-

ожиданнымъ поворотомъ дѣла и странностью разговора, восклицаетъ: «Фу ты чортъ! Какъ красиво и какъ глупо! Экую «мы комедію отломали! Ученныя собаки такъ на заднихъ лапкахъ танцуютъ!» Мудрено сдѣлать болѣе ядовитое замѣчаніе; и однакоже, читатель романа чувствуетъ, что разговоръ, который такъ характеризуется Базаровымъ, въ сущности весьма живой и серьезный разговоръ; что, несмотря на всю уродливость и фальшивость его формъ, въ немъ отчетливо выразилось столкновеніе двухъ энергическихъ характеровъ.

То же самое съ необыкновенною ясностью указываетъ намъ поэтъ въ пѣломъ своемъ созданіи. Безпрестанно можетъ показаться, что дѣйствующія лица, и особенно Базаровъ, *комедію ломаютъ*, что они, какъ ученые собаки, *танцуютъ на заднихъ лапкахъ*; а между тѣмъ изъ-подъ этой видимости, какъ изъ-подъ прозрачнаго покрывала, читателю отчетливо видно, что чувства и дѣйствія, лежащія въ основаніи, совсѣмъ не собачьи, а чисто и глубоко человѣческія.

Вотъ съ какой точки зрѣнія всего вѣрнѣе можно оцѣнить дѣйствія и событія романа. Изъ-за всѣхъ шероховатостей, уродливостей, фальшивыхъ и напускныхъ формъ слышна глубокая жизненность всѣхъ явленій и лицъ, выводимыхъ на сцену. Если, напримѣръ, Базаровъ овладѣваетъ вниманіемъ и сочувствіемъ читателя, то вовсе не потому, что каждое его слово свято и каждое дѣйствіе справедливо, но именно потому, что въ сущности всѣ эти слова и дѣйствія вытекаютъ изъ живой души. Повидимому, Базаровъ человѣкъ гордый, страшно самолюбивый и оскорбляющій другихъ своимъ самолюбіемъ; но читатель примиряется съ этой гордостью, потому что въ то же время въ Базаровѣ нѣтъ никакого самодовольства, самоуслажденія; гордость не приноситъ ему никакого счастья. Базаровъ пренебрежительно и сухо обходится со своими родителями; но никто ни въ какомъ случаѣ не заподозритъ его въ услажденіи чувствомъ собственного превосходства, или чувствомъ своей власти надъ ними; еще менѣе его можно упрекнуть въ злоупотребленіи этимъ превосходствомъ и этою властью. Онъ, просто, отказывается отъ нѣжныхъ отношеній къ родителямъ, да и отказывается невольнѣ. Выходитъ что-

то странное: онъ неразговорчивъ съ отцомъ, подсмѣивается надъ нимъ, рѣзко уличаетъ его либо въ невѣжество, либо въ нѣжничаньи; а между тѣмъ отецъ не только не оскорбляется, а радъ и доволенъ. «Насмѣшки Базарова нисколько не смущали Василя Ивановича; онъ даже утѣшали его. «Придерживая свой засаленный шлафрокъ двумя пальцами «на желудкѣ и покуривая трубочку, онъ съ наслажденіемъ «слушалъ Базарова, и чѣмъ болѣе злости было въ его вы-«ходкахъ, тѣмъ добродушнѣе хохоталъ, выказывая всѣ свои «черные зубы, его осчастливленный отецъ». Таковы чудеса любви! Никогда мягкій и добродушный Аркадій не могъ такъ *осчастливить* своего отца, какъ Базаровъ ослепилъ своего. Базаровъ, конечно, самъ очень хорошо чувствуетъ и понимаетъ это. Зачѣмъ же ему было еще нѣжничать съ отцомъ и измѣнять своей непреклонной послѣдовательности!

Базаровъ вовсе не такой сухой человѣкъ, какъ можно бы думать по его внѣшнимъ поступкамъ и по складу его мыслей. Въ жизни, въ отношеніяхъ къ людямъ Базаровъ не послѣдователенъ себѣ; но въ этомъ самомъ и обнаруживается его жизненность. Онъ любитъ людей. «Странное существо человѣкъ», говоритъ онъ, замѣтивъ въ себѣ присутствіе этой любви,—«хочется съ людьми возиться, хоть ругать ихъ, да возиться съ ними». Базаровъ не есть отвлеченный теоретикъ, порѣшившій всѣ вопросы и совершенно успокоившійся на этомъ рѣшеніи. Въ такомъ случаѣ онъ былъ бы уродливымъ явленіемъ, каррикатурою, а не человѣкомъ. Вотъ почему, несмотря на всю свою твердость и послѣдовательность въ словахъ и дѣйствіяхъ, Базаровъ легко волнуется, все его задѣваетъ, все на него дѣйствуетъ. Эти волненія не измѣняютъ ни въ чемъ его взгляда и его намѣреній; большею частью, они только возбуждаютъ его желчь, озлобляютъ его. Однажды онъ держитъ своему другу Аркадію такую рѣчь: «вотъ ты сегодня сказалъ, проходя мимо избы вашего «старосты Филиппа—она такая славная, бѣлая—вотъ, ска-«залъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у «послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій «изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненави-«дѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для

«котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже «спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, «будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти «будетъ; ну, а дальше?» Не правда ли, какія ужасныя, возмутительныя рѣчи?

Черезъ нѣсколько минутъ послѣ нихъ Базаровъ дѣлаетъ еще хуже; онъ обнаруживаетъ поползновеніе задушить своего нѣжнаго пріятеля, Аркадія, задушить такъ, ни съ того, ни съ сего, и въ видѣ пріятной пробы уже растопыриваетъ свои длинные и жесткіе пальцы...

Отчего же все это ни мало не вооружаетъ читателя противъ Базарова? Казалось бы, чего хуже? А между тѣмъ, впечатлѣніе, производимое этими случаями, служить не во вредъ Базарову, до того не во вредъ, что самъ г. Антоновичъ (разительное доказательство!), который для того, чтобы доказать коварное намѣреніе Тургенева очернить Базарова, съ чрезмѣрнымъ усердіемъ перетолковываетъ въ немъ все въ дурную сторону,—совершенно упустилъ изъ виду эти случаи!

Что же это значить? Очевидно, Базаровъ, столь легко сходящійся съ людьми, столь живо интересующійся ими и столь легко начинающій питать къ нимъ злобу, самъ страдаетъ отъ этой злобы болѣе, чѣмъ тѣ, къ кому она относится. Эта злоба не есть выраженіе нарушеннаго эгоизма или оскорбленнаго себялюбія, она есть выраженіе страданія, томленія, производимое отсутствіемъ любви. Несмотря на всѣ свои взгляды, Базаровъ жаждетъ любви къ людямъ. Если эта жажда проявляется злобою, то такая злоба составляетъ только обратную сторону любви. Холоднымъ, отвлеченнымъ человекомъ Базаровъ быть не могъ; его сердце требовало полноты, требовало чувствъ; и вотъ онъ злится на другихъ, но чувствуетъ, что ему еще больше слѣдуетъ злиться на себя.

Изъ всего этого видно, по крайней мѣрѣ, какую трудную задачу взялъ и, какъ мы думаемъ, выполнилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ Тургеневъ. Онъ изобразилъ жизнь подъ мертвящимъ вліяніемъ теоріи; онъ далъ намъ живого человека, хотя этотъ человекъ, повидимому, самъ себя безъ остатка воплотилъ въ отвлеченную формулу. Отъ этого романъ, если его судить поверхностно, мало понятенъ, пред-

ставляетъ мало симпатическаго и какъ-будто весь состоитъ изъ неяснаго логическаго построения; но въ сущности, на самомъ дѣлѣ,—онъ великолѣпно ясенъ, необыкновенно увлекателенъ и трепещетъ самою теплою жизнью.

Почти нѣтъ нужды объяснять, почему Базаровъ вышелъ и долженъ былъ выйти теоретикомъ. Всѣмъ извѣстно, что наши *живые* представители, что «носители думъ» нашихъ поколѣній уже съ давняго времени отказываются быть *практиками*, что дѣятельное участіе въ окружающей ихъ жизни для нихъ издавна было невозможно. Въ этомъ смыслѣ Базаровъ есть прямой, непосредственный подражатель Онегинныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, Лаврецкихъ. Точно такъ, какъ они, онъ живетъ пока въ умственной сферѣ и на нее тратитъ душевныя силы. Но въ немъ жажда дѣятельности уже дошла до послѣдней, крайней степени; его теорія вся состоитъ въ прямомъ требованіи дѣла; его настроеніе таково, что онъ неизбежно схватится за это дѣло при первомъ удобномъ случаѣ.

Лица, окружающія Базарова, безсознательно чувствуютъ въ немъ живого человѣка; вотъ почему къ нему обращено столько привязанностей, сколько не сосредоточиваетъ на себѣ ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ романа. Не только отецъ и мать вспоминаютъ и молятся о немъ съ безконечной и невыразимой нѣжностью; воспоминаніе о Базаровѣ, безъ сомнѣнія, и у другихъ лицъ соединено съ любовью; въ минуту счастья Катя и Аркадій чокаются «въ память Базарова».

Таковъ образъ Базарова и для насъ. Онъ не есть существо ненавистное, отталкивающее своими недостатками; напротивъ, его мрачная фигура величава и привлекательна.

Какой же смыслъ романа? спросятъ любители голыхъ и точныхъ выводовъ. Составляетъ ли, по вашему, Базаровъ предметъ для подражанія? Или же, скорѣе, его неудачи и шероховатости должны научить Базаровыхъ не впадать въ ошибки и крайности настоящаго Базарова? Однимъ словомъ, написанъ ли романъ за молодое поколѣніе, или *противъ* него? Прогрессивный онъ, или ретроградный?

Если ужъ дѣло такъ настоятельно идетъ о намѣреніяхъ

автора, о томъ, чему онъ хотѣлъ научить и отчего отучить, то на эти вопросы слѣдуетъ, какъ кажется, отвѣчать такъ: дѣйствительно, Тургеневъ хотѣлъ быть поучительнымъ, но при этомъ онъ выбираетъ задачи, которыя гораздо выше и труднѣе, чѣмъ вы думаете. Написать романъ съ прогрессивнымъ или ретрограднымъ направленіемъ еще вещь нетрудная. Тургеневъ же имѣлъ притязанія и дерзость создать романъ, имѣющій *всевоможныя* направленія; поклонникъ вѣчной истины, вѣчной красоты, онъ имѣлъ гордую цѣль во временномъ указать на вѣчное и написалъ романъ не прогрессивный и не ретроградный, а, такъ сказать, *всегдашній*. Въ этомъ случаѣ его можно сравнить съ математикомъ, старающимся найти какую-нибудь важную теорему. Положимъ, что онъ нашелъ, наконецъ, эту теорему; неправда ли, что онъ долженъ быть сильно удивленъ и озадаченъ, если бы къ нему вдругъ приступили съ вопросами: да какая твоя теорема—прогрессивная или ретроградная? Сообразна ли она съ *новымъ* духомъ, или же угождаетъ *старому*?

На такія рѣчи онъ могъ бы отвѣчать только такъ: ваши вопросы не имѣютъ никакого смысла, никакого отношенія къ моему дѣлу: моя теорема есть *точная истина*.

Увы! на жизненныхъ браздахъ,
По тайной волѣ провидѣнья,
Мгновенной жатвой—поколѣнья
Восходить, вѣять и падуть;
Другія имъ во слѣдъ идуть...

Смѣна поколѣній—вотъ наружная тема романа. Если Тургеневъ изобразилъ не всѣхъ отцовъ и дѣтей, или не *тѣхъ* отцовъ и дѣтей, какихъ хотѣлось бы другимъ, то *вообще* отцовъ и *вообще* дѣтей, и отношеніе между этими двумя поколѣніями онъ изобразилъ превосходно. Можетъ быть, разница между поколѣніями никогда не была такъ велика, какъ въ настоящее время, а потому и отношеніе ихъ обнаружилось особенно рѣзко. Какъ бы то ни было, для того, чтобы измѣрять разницу между двумя предметами, нужно употреблять одну и ту же мѣрку для обоихъ; чтобы рисовать картину, нужно взять изображаемые предметы съ одной точки зрѣнія, общей для всѣхъ ихъ.

Эта одинаковая мѣра, эта общая точка зрѣнія у Тургенева есть *жизнь человѣческая*, въ самомъ широкомъ и полномъ ея значеніи. Читатель его романа чувствуетъ, что за миражомъ внѣшнихъ дѣйствій и сценъ льется такой глубокой, такой неистощимый потокъ жизни, что всѣ эти дѣйствія и сцены, всѣ лица и событія ничтожны передъ этимъ потокомъ.

Если мы такъ пойдемъ романъ Тургенева, то, можетъ быть, передъ нами всего яснѣе обнаружится и то правоученіе, котораго мы добиваемся. Правоученіе есть, и даже весьма важное, потому что истина и повѣія весьма поучительны.

Глядя на картину романа спокойнѣе и въ нѣкоторомъ отдаленіи, мы легко замѣтимъ, что, хотя Базаровъ готовою выше всѣхъ другихъ лицъ, хотя онъ величественно проходитъ по сценѣ, торжествующій, покланяемый, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однакоже, что-то, что въ цѣломъ стоитъ выше Базарова. Что же это такое? Всматриваясь внимательнѣе, мы найдемъ, что это вышнее—не какія-нибудь лица, а та *жизнь*, которая ихъ воодушевляетъ. Выше Базарова—тотъ страхъ, та любовь, тѣ слезы, которыя онъ внушаетъ. Выше Базарова—та сцена, по которой онъ проходитъ. Обаяніе природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская, *даже* религія, все это—живое, полное, могущественное,—составляетъ фонъ, на которомъ рисуется Базаровъ. Этотъ фонъ такъ ярокъ, такъ сверкаетъ, что огромная фигура Базарова вырѣзывается на немъ отчетливо, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мрачно. Тѣ, которые думаютъ, что, ради умышленнаго осужденія Базарова, авторъ противопоставляетъ ему какое-нибудь изъ своихъ лицъ, напримѣръ, Павла Петровича, или Аркадія, или Одинцова,—страшно ошибаются. Всѣ эти лица ничтожны въ сравненіи съ Базаровымъ. И, однакоже, жизнь ихъ, человѣческій элементъ ихъ чувствъ—не ничтожны.

Не будемъ говорить здѣсь объ описаніи природы, той русской природы, которую такъ трудно описывать и на описаніе которой Тургеневъ такой мастеръ. Въ новомъ романѣ онъ таковъ же, какъ и прежде. Небо, воздухъ, поля, деревья, даже лошади, даже цыплята—все схвачено живописно и точно.

Возьмемъ прямо людей. Что можетъ быть слабѣе и незначительнѣе юнаго пріятеля Базарова, Аркадія?—Онъ, повидимому, подчиняется каждому встрѣчному влиянію; онъ—обыкновеннѣйшій изъ смертныхъ. Между тѣмъ, онъ милъ чрезвычайно. Великодушное волненіе его молодыхъ чувствъ, его благородство и чистота—подмѣчены авторомъ съ большою тонкостью и обрисованы отчетливо. Николай Петровичъ, какъ и слѣдуетъ,—настоящій отецъ своего сына. Въ немъ нѣтъ ни единой яркой черты и хорошаго только одно, что онъ человѣкъ, хотя и простѣйшій человѣкъ. Далѣе, что можетъ быть пустѣе Фенички? «Прелестно было»—говоритъ авторъ—«выраженіе ея глазъ, когда она глядѣла какъ бы исподлобья, «да посмѣивалась ласково и немножко глупо». Самъ Павелъ Петровичъ называетъ ее *пустымъ существомъ*. И, однако же, эта глупенькая Феничка набираетъ чуть ли не больше поклонниковъ, чѣмъ умница Одинцова. Ее не только любитъ Николай Петровичъ, но въ нее, отчасти, влюбляется и Павелъ Петровичъ, и самъ Базаровъ. И, однакоже, эта любовь и эта влюбленность суть истинныя и дорогія человѣческія чувства. Наконецъ, что такое Павелъ Петровичъ, щеголь, франтъ съ сѣдыми волосами, весь погруженный въ заботы о туалетѣ? Но и въ немъ, несмотря на видимую извращенность, есть живыя и даже энергически звучащія сердечныя струны.

Чѣмъ дальше мы идемъ въ романѣ, тѣмъ ближе къ концу драма, тѣмъ мрачнѣе и напряженнѣе становится фигура Базарова, но вмѣстѣ съ тѣмъ, все ярче и ярче фонъ картины. Созданіе такихъ лицъ, какъ отецъ и мать Базарова, есть истинное торжество таланта. Повидимому, что можетъ быть ничтожнѣе и негоднѣе этихъ людей, отжившихъ свой вѣкъ и со всѣми предразсудками старины уродливо дряхлѣющихъ среди новой жизни? А между тѣмъ, какое богатство *простыхъ* человѣческихъ чувствъ! Какая глубина и ширина душевныхъ явленій—среди обыденнѣйшей жизни, не поднимающейся ни на волосъ выше самаго низменнаго уровня!

Когда же Базаровъ заболѣваетъ, когда онъ заживо гниетъ и непреклонно выдерживаетъ жестокую борьбу съ бо-

лѣзнью, жизнь, его окружающая, становится тѣмъ напряженнѣе и ярче, чѣмъ мрачнѣе самъ Базаровъ. Одинцова прѣзжаетъ проститься съ Базаровымъ! вѣроятно, ничего великодушнѣе она не сдѣлала и не сдѣлаетъ во всю жизнь. Что же касается до отца и матери, то трудно найти что-нибудь болѣе трогательное. Ихъ любовь вспыхиваетъ какими-то молніями, мгновенно потрясающими читателя; изъ ихъ простыхъ сердець какъ-будто вырываются бесконечно жалобные гимны, какіе-то безпредѣльно глубокіе и нѣжные вопли, неотразимо хватающіе за душу.

Среди этого свѣта и этой теплоты умираетъ Базаровъ. На минуту въ душѣ его отца закипаетъ буря, страшнѣе которой ничего быть не можетъ. Но она быстро затихаетъ, и снова все становится свѣтло. Самая могила Базарова озарена свѣтомъ и миромъ. Надъ нею поютъ птицы, и на нее льются слезы...

Итакъ, вотъ оно, вотъ то таинственное нравоученіе, которое вложилъ Тургеневъ въ свое произведеніе. Базаровъ отворачивается отъ природы; не коритъ его за это Тургеневъ, а только рисуетъ природу во всей красотѣ. Базаровъ не дорожитъ дружбою и отрекается отъ романтической любви; не порочитъ его за это авторъ, а только изображаетъ дружбу Аркадія къ самому Базарову и его счастливую любовь къ Катѣ. Базаровъ отрицаетъ тѣсныя связи между родителями и дѣтьми; не упрекаетъ его за это авторъ, а только развертываетъ передъ нами картину родительской любви. Базаровъ чуждается жизни; не выставляетъ его авторъ за это злодѣемъ, а только показываетъ намъ жизнь во всей ея красотѣ. Базаровъ отвергаетъ поэзію; Тургеневъ не дѣлаетъ его за это дуракомъ, а только изображаетъ его самого со всею роскошью и проницательностью поэзіи.

Однимъ словомъ, Тургеневъ стоитъ за вѣчныя начала человѣческой жизни; за тѣ основные элементы, которые могутъ бесконечно измѣнять свои формы, но въ сущности всегда остаются неизмѣнными. Что же мы сказали? Выходитъ, что Тургеневъ стоитъ за то же, за что стоятъ всѣ поэты, за что необходимо стоитъ каждый истинный поэтъ. И, слѣдовательно, Тургеневъ въ настоящемъ случаѣ поставилъ себя вы-

ше всякаго упрека въ задней мысли; каковы бы ни были частныя явленія, которыя онъ выбралъ для своего произведенія, онъ разсматриваетъ ихъ съ самой общей и самой высокой точки зрѣнія.

Общія силы жизни—вотъ на что устремлено все его вниманіе. Онъ показалъ намъ, какъ воплощаются эти силы въ Базаровъ, въ томъ самомъ Базаровъ, который ихъ отрицаетъ; онъ показалъ намъ, если не болѣе могущественное, то болѣе открытое, болѣе явственное воплощеніе ихъ въ тѣхъ простыхъ людяхъ, которые окружаютъ Базарова. Базаровъ—это титанъ, возставшій противъ своей матери-земли; какъ ни велика его сила, она только свидѣтельствуетъ о величій силы, его породившей и питающей, но не равняется съ матернею силою.

Какъ бы то ни было, Базаровъ все-таки побѣжденъ; побѣжденъ не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни. Такая идеальная побѣда надъ нимъ возможна была только при условіи, чтобы ему была отдана всевозможная справедливость, чтобы онъ былъ возведенъ настолько, насколько ему свойственно величіе. Иначе въ самой побѣдѣ не было бы силы и значенія.

Гоголь объ своемъ «Ревизорѣ» говорилъ, что въ немъ есть одно честное лицо—смѣхъ; такъ точно объ «Отцахъ и дѣтяхъ» можно сказать, что въ нихъ есть лицо, стоящее выше всѣхъ лицъ и даже выше Базарова—жизнь. Эта жизнь, поднимающаяся выше Базарова, очевидно, была бы тѣмъ мельче и низменнѣе, чѣмъ мельче и низменнѣе былъ бы Базаровъ—главное лицо романа.

Перейдемъ теперь отъ поэзіи къ прозѣ: нужно всегда строго различать эти двѣ области. Мы видѣли, что, какъ поэтъ, Тургеневъ на этотъ разъ является намъ безукоризненнымъ. Его новое произведеніе есть истинно поэтическое дѣло и, слѣдовательно, носить въ себѣ самомъ свое полное оправданіе. Всѣ сужденія будутъ фальшивы, если они основываются на чемъ-нибудь другомъ, кромѣ самого творенія поэта. Между тѣмъ поводовъ къ такимъ фальшивымъ сужденіямъ въ настоящемъ случаѣ скопилось много. И до выхода, и послѣ выхода романа дѣлались болѣе или менѣе явственные намеки,

что Тургеневъ писалъ его съ заднею мыслію, что онъ недо-
воленъ новымъ поколѣніемъ и хочетъ покарать его. Публич-
нымъ же представителемъ новаго поколѣнія, судя по этимъ
указаніямъ, служилъ для него «Современникъ». Такъ что
романъ представляетъ будто бы не что иное, какъ отырытую
битву съ «Современникомъ».

Все это, новидимому, похоже на дѣло. Конечно, Турге-
невъ ничѣмъ не обнаружилъ ничего похожего на полемику;
самый романъ такъ хорошъ, что на первый планъ побѣдо-
носно выступаетъ чистая поэзія, а не постороннія мысли.
Но зато, тѣмъ явственнѣе обнаружился въ этомъ случаѣ
«Современникъ». Вотъ уже цѣлтора года, какъ онъ враждуетъ
съ Тургеневымъ и преслѣдуетъ его выходами, или прямыми,
или даже незамѣтными для читателей. Наконецъ, статья
г. Антоновича объ «Отцахъ и дѣтяхъ» есть уже не просто
разрывъ, а полная баталія, данная Тургеневу «Современ-
никомъ».

Положимъ, что «Современникъ» имѣетъ въ себѣ много
базаровскаго, что онъ можетъ принять на свой счетъ то, что
относится къ Базарову. Если даже такъ, если даже принять,
что весь романъ написанъ только въ пику «Современнику»,
то и въ такомъ превратномъ и недостойномъ поэта смыслѣ
все-таки побѣда остается на сторонѣ Тургенева. Въ самомъ
дѣлѣ, если въ чемъ могла существовать вражда между Тур-
геневымъ и «Современникомъ», то, конечно, въ нѣкоторыхъ
идеяхъ, во взаимномъ непониманіи и несогласіи мыслей. По-
ложимъ (все это, просимъ замѣтить, одни предположенія),
что разногласіе произошло въ разсужденіи искусства и за-
ключалось въ томъ, что Тургеневъ цѣнилъ искусство гораздо
выше, чѣмъ это допускали основныя стремленія «Современ-
ника». Отъ этого «Современникъ» и началъ, положимъ, пре-
слѣдовать Тургенева. Что же сдѣлалъ Тургеневъ? Онъ создалъ
Базарова, т. е. онъ показалъ, что понимаетъ идеи «Современ-
ника», и при томъ онъ постарался блескомъ поэзіи, глубо-
кими отзывами на теченіе жизни подняться на болѣе свѣт-
лую и высокую точку зрѣнія.

Очевидно, побѣда на сторонѣ Тургенева. Трудно, вѣдь,
справиться съ поэтомъ! Вы отвергаете поэзію? Это возможно

только въ теоріи, въ отвлеченіи, на бумагѣ. Нѣтъ, попробуйте отвергнуть ее въ дѣйствительности, когда она васъ самихъ схватитъ, живьемъ воплотитъ васъ въ свои образы и покажетъ васъ всѣмъ въ своемъ неотразимомъ свѣтѣ! Вы думаете, что поэтъ отсталъ, что онъ дурно понимаетъ ваши высокія мысли? Попробуйте же сказать это тогда, когда поэтъ изобразитъ васъ не только въ вашихъ мысляхъ, но и во всѣхъ движеніяхъ вашего сердца, во всѣхъ тайнахъ вашего существа, которыхъ вы сами не замѣчали!

Все это, какъ мы уже говорили, одни чистыя предположенія. Въ самомъ дѣлѣ, мы не имѣемъ причины обижать Тургенева, предполагая въ его романѣ заднія мысли и постороннія цѣли. Эти мысли и эти цѣли до тѣхъ поръ недостойны поэта, пока онѣ не просвѣтлѣютъ, не проникнутся поэзіею, не потеряютъ своего чисто временнаго и частнаго характера. Если бы этого не было, то не было бы и никакой поэзіи.

(Время 1862. Апрель).

II.

Дымъ, повѣсть. Русскій Вѣстникъ 1867, мартъ.

Главный герой этой повѣсти есть, очевидно, Литвиновъ; его чувствамъ, волненіямъ и дѣйствіямъ отведено въ рассказѣ самое большое мѣсто; ему достается то, что достается только избраннымъ, именно, любовь—даже не одной, а двухъ, далеко выдающихся надъ общимъ уровнемъ женщинъ, ослѣпительной Ирины и ангельской Татьяны; наконецъ, изъ его мыслей, изъ его разсужденій о собственныхъ его приключеніяхъ, взятое и самое слово «Дымъ», которымъ такъ много-знаменательно обозначена повѣсть.

Итакъ, хотя ошибка невольно напрашивается, но ошибиться невозможно: Литвиновъ—главное лицо. Что же это за герой!

Подобно прежнимъ гороямъ г. Тургенева, это мелкопомѣстный владѣлецъ, человекъ средней руки; подобно прежнимъ гороямъ, онъ ваятъ въ цвѣтущую эпоху жизни—главыя событія совершаются съ нимъ, когда ему наступаетъ тридцать лѣтъ. Но затѣмъ начинается новое. Литвиновъ, какъ оказывается, человекъ *положительный* (стр. 127), *предусмотрительный*, *благоразумный* (стр. 108), *честный и справедливый* (стр. 95), *человекъ прямой и всегда говорящій правду* (стр. 72), *человекъ живой, а не мертвая кукла* (стр. 67 и стр. 74), *дѣльный, нѣсколько самоуверенный малый* (стр. 8), *спокойный и простой* (стр. 11).

Вотъ какими похвальными чертами рисуется герой. Онъ стоитъ далеко выше окружающей его толпы юношей, такъ что и смѣло обрываетъ ихъ, какъ власть имущій, и возбуж-

даетъ ихъ удивленіе. Восторженный Бамбаевъ такъ говорить о немъ съ пріятелями: «Видите вы этого человѣка? Это камень! Это скала!! Это гранитъ!!!» (стр. 86).

Ну, а дальше? Какіе взгляды, какіе вкусы у этого человѣка? По тщательномъ изслѣдованіи оказывается, что Литвиновъ не имѣетъ никакихъ политическихъ убѣжденій (стр. 19) и равнодушенъ къ родной словесности (стр. 147). У этого положительнаго человѣка существуетъ, однакоже, одно пристрастіе. «Поживъ въ деревнѣ, онъ пристрастился къ хозяйству» и потому отправился за границу и тамъ четыре года изучалъ агрономію и технологию (стр. 10).

Вотъ вамъ и весь герой. Въ немъ ничего нѣтъ, кромѣ благоразумія и честности. Этому человѣку нѣ о чемъ думать и нѣчего говорить, и онъ, дѣйствительно, ничего не говорить, а только слушаетъ, что говорятъ другіе. Совершенно ясно, что, несмотря на похвалы, расточаемыя Литвинову и авторомъ, и другими лицами, авторъ не могъ даже порядочно заинтересоваться такою будничною, безцвѣтною личностію. Тургеневу ли не знать, какъ рисуются интересныя лица, Рудины, Базаровы, какъ схватывается въ нихъ каждая черта, каждое слово, каждое движеніе и какъ все вмѣстѣ составляетъ отчетливый, ясный образъ! Въ отношеніи къ Литвинову авторъ и не пытается сдѣлать что-либо подобное, и образа передъ нами никакого нѣтъ.

Между тѣмъ, вѣдь, ясно, что въ немъ авторъ хотѣлъ изобразить одного изъ представителей современной молодежи, изъ тѣхъ трезвыхъ или отрезвленныхъ людей, которые теперь нужны для Россіи, которые имѣютъ принести пользу своимъ землякамъ (стр. 10), которымъ въ настоящую минуту принадлежитъ дѣятельность, жизнь, будущность. Но, какъ видно, не знаетъ этихъ людей художникъ, или и знаетъ, да нѣтъ у него къ нимъ сердечнаго вниманія.

Съ Литвиновымъ, судя по его натурѣ, не должно бы случаться никакихъ особыхъ приключеній; «но», какъ замѣчаетъ авторъ, «природа не справляется съ логикой, съ нашею человѣческою логикой; у ней есть своя, которой мы не понимаемъ и не признаемъ до тѣхъ поръ, пока она насъ, какъ колесомъ, не переѣдетъ» (стр. 127). Вотъ въ силу та-

кого-то, таинственного, но всецѣльнаго и неотразимаго дѣйствія природы (мысль истинно-поэтическая!) и сбылись съ Литвиновымъ происшествія, о которыхъ рассказываетъ повѣсть.

Представительницею таинственной природы является нѣкоторая Ирина и по справедливости приковывается къ себѣ все вниманіе художника и все сочувствіе читателей. Ирина весьма сильно заинтересовалась Литвиновымъ—гораздо сильнѣе, чѣмъ интересуются имъ и авторъ и читатели,—и тѣмъ чуть-было не погубила героя. Два раза она сходится съ Литвиновымъ: въ первый разъ она чуть не вышла за него замужъ, во второй разъ чуть не убѣжала съ нимъ отъ своего мужа. И въ томъ и въ другомъ случаѣ гибель Литвинова была бы неизбежна. Въ самомъ дѣлѣ, и въ томъ и въ другомъ случаѣ Литвиновъ отдается Иринѣ весь, всѣмъ существомъ своимъ; Ирина же скоро чувствуетъ, что не можетъ отдаться Литвинову, вся, всѣми своими мыслями, чувствами и потребностями. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, Литвиновъ цѣлкомъ зацѣпленъ только частью Ирины, только внѣшнею ея прелестью, обаяніемъ красоты; души ея онъ не понимаетъ и по складу своего ума совершенно не способенъ понять ее и сродниться съ нею. Такимъ образомъ, послѣ того, какъ два раза эта женщина обращала на него порывы своей страсти, послѣ того, какъ онъ даже владѣлъ ею, она все-таки не стала для него понятною и знакомою: черезъ два года въ его душѣ Ирина «поблѣднѣла и скрылась, и только *смутно* чувствовалъ Литвинову *что-то опасное* подъ туманомъ, постепенно окутавшимъ ея образъ» (стр. 153).

Въ первый разъ, когда Иринѣ довелось сойтись съ Литвиновымъ, она была семнадцатилѣтней дѣвушкой, а онъ двадцатилѣтнимъ юношей, студентомъ. Красота Ирины была такъ поразительна, что «онъ влюбился въ нее, какъ только увидалъ ее» (стр. 36). Съ ея стороны, вѣроятно, было не то: любовь къ Литвинову явилась какъ отзывъ на его любовь, какъ первое пробужденіе женскаго сердца. Какъ бы то ни было, онъ счастливъ, онъ ея женихъ. Но въ дѣвушкѣ говорить еще другіе инстинкты. Она возмущается тѣмъ; что сама ходитъ замарашкой, что Литвиновъ часто бываетъ вовсе не distingué. Не то съ Литвиновымъ: «Ирина вполне завладѣла

«своимъ будущимъ женихомъ, да и онъ самъ охотно отдался ей въ руки. Онъ словно попалъ въ водоворотъ, словно потерялъ себя... Размышлять о значеніи, объ обязанностяхъ «сунружества, о томъ, *можетъ ли онъ, столь безвозвратно покоренный, быть хорошимъ мужемъ, и какая выйдетъ изъ Ирины жена, и правильны ли отношенія между ними*, онъ не могъ рѣшительно: *провъ его загорѣлась, и онъ зналъ одно: идти за нею, съ нею, впередъ и «безъ конца, а тамъ будь, что будетъ!»* (стр. 39).

И все-таки—какая сила и нѣжность въ чувствахъ Ирины! Наступаетъ минута испытанія—балъ въ дворянскомъ собраніи, гдѣ будетъ и дворъ. Ирина отказывается ѣхать. Такъ вѣрно знаетъ она себѣ цѣну, такъ хорошо понимаетъ, что можетъ случиться на этомъ балѣ. Для Литвинова она отказывается отъ дороги, открытой ей *изъ высшій сѣтъ*.

Литвиновъ ничего не понимаетъ. Онъ самъ уговариваетъ Ирину ѣхать на балъ. Вѣроятно, и тогда уже мечтавшій объ агрономіи и равнодушный къ русской словесности, онъ не имѣетъ настолько воображенія, чтобы представить, что дѣлается и можетъ сдѣлаться въ душѣ Ирины, чтобы приревновать ее къ этому блеску, въ которомъ она будетъ жить нѣсколько часовъ, въ которомъ не онъ, а что-то другое можетъ до конца наполнить ея душу.

Его непониманіе раздражаетъ Ирину.

«— Помните», говоритъ она ему, «вы сами этого желали». Затѣмъ она требуетъ, чтобы не было его на балѣ.

«— Покоряюсь», отвѣчаетъ со вздохомъ Литвиновъ и, спохватившись, прибавляетъ:—«Ирина, ты какъ-будто сердяшься?»

«— О, нѣтъ, я не сержусь. Только ты... Она вперила въ «него свои глаза, и ему показалось, что онъ еще никогда не «видалъ въ нихъ такого выраженія» (стр. 42).

Очевидно, въ этомъ недоконченномъ «ты»... и въ этомъ взглядѣ содержится приговоръ Литвинову. Ирина ищетъ надъ собою власти и управы и ясно чувствуетъ, что она не найдетъ ихъ въ Литвиновѣ. Уже совсѣмъ одѣтая на балъ, она еще разъ отдается во власть и распоряженіе его и опять встрѣчаетъ покорный отказъ. Тогда она уже перестаетъ и слушать его и глядѣть на него.

Несмотря на все это, Ирина ужасно страдает; она плачетъ цѣлую ночь, она во всемъ обвиняетъ себя и пишетъ Литвинову, чтобы онъ простилъ ее, что она его не стоитъ.

Литвиновъ же, уже на третій день постѣ была, послѣ того, какъ Ирина дважды отказалась его видѣть, все еще ничего не понимаетъ.

«Ирина не хочетъ меня видѣть, безпрестанно вертѣлось «у него въ головѣ:—это ясно; но почему же? *Что такое «могло произойти на этомъ злополучномъ балѣ?»*

И понимаетъ все только тогда, наконецъ, когда прочиталъ ея записку.

«Все это естественно», думаетъ онъ; «я всегда этого ожидалъ... (Онъ лгалъ передъ самимъ собою, замѣчаетъ авторъ: «онъ никогда ничего подобнаго не ожидалъ»)».

Онъ сомнѣвается въ ея страданіяхъ:

«Плакала?... Она плакала... О чемъ она плакала? Вѣдь, «она не любила меня!» (стр. 47).

Но и въ самомъ порывѣ отчаянія онъ чувствуетъ ея превосходно.

«Она, она меня не стоитъ... Вотъ какъ!» (стр. 48).

Очевидно, еслибъ она рѣшилась удовольствоваться Литвиновымъ, то онъ былъ бы въ ея рукахъ, никогда бы ея не понять и былъ бы несчастливъ.

Проходитъ десять лѣтъ. Литвиновъ оиатъ счастливъ. Онъ изучилъ агрономію и технологію; у него есть невѣста, подруга его дѣтства, Татьяна Шестова, которая, неизвѣстно зачѣмъ, можетъ быть, ради нѣкотораго довершенія образованія, тоже находится за границею, въ Дрезденѣ, гдѣ и приняла его предложеніе. Литвинову предстоитъ жениться и вступить на новое поприще, къ которому онъ вполне готовъ. Онъ спокоенъ и веселъ.

А Ирина? Ирина не нашла себѣ счастья. Она вступила въ высшій свѣтъ, и даже, въ силу какихъ-то странныхъ обстоятельствъ, на которыя авторъ набрасываетъ покровъ, заняла въ этомъ свѣтѣ высокое и твердое мѣсто. Это видно изъ того, какъ она помыкаетъ своимъ мужемъ, посылая его къ какому-то графу, котораго называетъ дуракомъ (стр. 70), изъ того, что презрительно смѣется надъ мужемъ, когда тотъ вадутъ

малъ приревновать ее (стр. 93), изъ того, что она общается Литвинову, если тотъ хочетъ, найти занятія въ Петербургѣ (стр. 134). Но, занимая высокое и твердое положеніе въ высшемъ свѣтѣ, Ирина глубоко несчастлива, потому что находитъ этотъ свѣтъ пустымъ, глупымъ и бездушнымъ. У нея нѣтъ въ немъ никакихъ привязанностей; единственный ея пріятель, Потугинъ, взятъ ею изъ другого міра. Это мелкій чиновникъ изъ семиваристовъ, человѣкъ, надломленный жизнью и глубоко симпатичный.

И вотъ они случайно встрѣчаются послѣ десятилѣтней разлуки. Литвиновъ все забылъ, душа его полна новыми чувствами и заботами. Ирина ничего не забыла; «среди блеска, который ее окружаетъ», она слѣдила за судьбою Литвинова, и никто не успѣлъ загладить и вытѣснить изъ ея души этого воспоминанія. Поэтому Литвиновъ встрѣчается съ нею холодно, а она ужасно ему обрадовалась.

Но при первой встрѣчѣ пустые аристократы, среди которыхъ онъ застаётъ ее, возмущаютъ его гордость, «его честную, плебейскую гордость» (стр. 58), въ которой, однако, слишкомъ много щекотливости и слишкомъ мало самоуверенности, и онъ рѣшается нейти къ ней. Однакоже и тутъ, несмотря на свою холодность и отвращеніе, онъ не могъ не замѣтить душевной силы и прелести Ирины. «Почему», думаетъ онъ, «на ней не лежитъ того противнаго свѣтскаго отпечатка, которымъ такъ рѣзко отмѣчены всѣ тѣ другіе? Почему, ему сдается, она какъ-будто скучаетъ, или груститъ, или тяготится своимъ положеніемъ? Она въ ихъ станѣ, но «она не врагъ» (стр. 59).

Литвиновъ опять ничего не понимаетъ. «Литвиновъ взялся за книгу», пишетъ авторъ, вѣроятно, за агрономическую и, конечно, не нашелъ въ ней разъясненія своихъ мыслей.

А какъ должно было поразить Ирину то, что онъ неидетъ къ ней! Когда, наконецъ, Потугинъ привелъ къ ней Литвинова, она такъ выражаетъ свою радость: «Наконецъ-то, наконецъ, одинъ человѣкъ, живой человѣкъ, который нашего ничего не знаетъ! И по русски можно съ нимъ говорить, хоть дурнымъ русскимъ языкомъ, да русскимъ, а не этимъ

вѣчнымъ, приторнымъ, противнымъ, петербургскимъ французскимъ языкомъ!» (стр. 67).

Но Литвиновъ начинаетъ чувствовать опасность и тяжело упирается. Онъ не кланяется Иринѣ, встрѣтивъ ее въ горахъ. Больно подстрекаетъ это Ирину.

«Мнѣ стало», говоритъ она ему на третьемъ свиданіи, «уже слишкомъ невыносимо, нестерпимо, душно въ этомъ свѣтѣ, въ этомъ завидномъ положеніи, о которомъ вы говорите; встрѣтивъ васъ, живого человѣка, послѣ всѣхъ этихъ мертвыхъ куколъ, я обрадовалась, какъ источнику въ пустынѣ»... (стр. 74).

«Я протягиваю къ вамъ руку, какъ нищая, я милостыни прошу, а вы...»

«Я требую малаго, очень малаго, только немножко участія, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести...» (стр. 75).

А что же Литвиновъ? «Онъ не могъ себѣ дать яснаго отчета въ томъ, что онъ ощущалъ». Чудачки эти свѣтскія женщины, думалъ онъ; никакой въ нихъ нѣтъ послѣдовательности»... (стр. 76).

Происходитъ еще свиданіе, на которомъ Ирина показываетъ Литвинову большой свѣтъ, и затѣмъ все кончено Литвиновъ не спитъ ночь въ тяжелыхъ думахъ. «Онъ еще удивлялся и недоумѣвалъ», пишетъ авторъ, «а вотъ уже передъ нимъ, словно изъ мягкой душистой мглы, выступалъ плѣнительный обликъ, поднимались дучистыя рѣсницы—и тихо, неотразимо вонзались ему въ сердце волшебные глаза, и голосъ звенѣлъ сладостно, и блестящія плечи молодой царицы дышали свѣжестію и жаромъ вѣги»... (стр. 96).

Литвиновъ влюбленъ, какъ говорится, по уши.

Все ясно, все отчетливо въ душѣ Ирины. Пусть читатели перечтутъ тѣ немногія, но удивительныя страницы, гдѣ она является на сцену. Она не даромъ говоритъ Литвинову при первой же встрѣчѣ, что она «ни въ чемъ не перемѣнилась». Какая искренность, простота въ каждомъ ея словѣ! Сколько задушевности, теплоты, живой, такъ сказать, горячей прелести!

Напротивъ, все смутно и тяжело въ душѣ Литвинова.

Онъ отдается страстному чувству не свободно, не радуясь этому наплыву и избытку жизни, а стараясь подавить его и сохранить свое спокойствіе. Дѣло въ томъ, что любовь Литвинова только половинчатая. Онъ не сочувствуетъ, не сострадаетъ Иринѣ, онъ скорѣе боится ея и смотреть на нее, какъ на существо болѣе сильное. Его покорила одна ея красота. Опять онъ чувствуетъ, какъ въ Москвѣ, что онъ попалъ въ руки Ирины, что онъ «тотчасъ попалъ въ водоворотъ» (стр. 97).

Литвиновъ понимаетъ, что ему слѣдуетъ уѣхать, но онъ хитритъ самъ съ собою, какъ хитрятъ люди влюбленные, и идетъ къ Иринѣ, повидимому, съ тѣмъ, чтобы проститься, а втайнѣ съ тѣмъ, чтобы признаться ей въ любви и посмотреть, что будетъ. Дѣйствіе, произведенное признаніемъ на Ирину, опять совершенно ясное и отчетливое; на лицѣ ея, закрытомъ руками, происходило вотъ что: «и страхъ и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможеніе и тревогу; глаза едва мерцали изъ-подъ нависшихъ вѣкъ, и протяжное, прерывистое дыханіе холодно раскрытыя, словно жаждавшія губы...»

Когда, черезъ два часа, онъ вернулся къ ней, она съ своей стороны признается ему въ любви. Дѣйствіе, произведенное на него признаніемъ, вполне сообразно съ его состояніемъ. «Литвиновъ пошатнулся, словно кто его въ грудь ударилъ». И далѣе: «онъ задышался: восторгъ, но восторгъ безотрадный и безнадежный, давилъ и рвалъ его грудь» (стр. 103).

Послѣ признаній Литвиновъ рѣшается ѣхать, потому что, какъ сказала Ирина, оставаться опасно, страшно... Литвиновъ, конечно, и уѣхалъ бы, точно такъ, какъ онъ уѣхалъ черезъ три дня. Но не такъ рѣшила Ирина. Она идетъ къ Литвинову, и тотъ «побѣжденъ, побѣжденъ внезапно...» (стр. 105).

Въ ней загорѣлась удивительная нѣжность къ этому человеку. Ей было ужасно жаль его и тогда, въ Москвѣ, и теперь, и вотъ она рѣшилась всѣмъ пренебречь, всѣмъ пожертвовать, чтобы только его осчастливить (стр. 129). Чувства Ирины вполне выражаются въ словахъ, сказанныхъ ею Литвинову на другой день.

«— О, мой милый! ты не знаешь, какъ я тебя люблю, но вчера я только долгъ свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ахъ! я не могла отдать тебѣ мою молодость, какъ бы я хотѣла, но никакихъ обязанностей я не наложила на тебя, ни отъ какого обѣщанія я не разрѣшила тебя, мой милый! Дѣлай, что хочешь; ты свободенъ, какъ воздухъ, ты ничѣмъ, ничѣмъ не связанъ; знай это, знай!» (стр. 114).

Какая беззащитная, безконечная нѣжность! Въ отвѣтъ на эти слова Литвиновъ говоритъ:

«Но я не могу жить безъ тебя, Ирина; я твой на вѣки и навсегда со вчерашняго дня... Только у ногъ твоихъ я могу дышать»...

«Онъ трепетно припалъ къ ея рукамъ. Ирина посмотрѣла на его наклоненную голову».

«— Ну, такъ знай же, что и я не пожалѣю никого и ничего. Какъ ты рѣшишь, такъ и будетъ. Я тоже на вѣкъ твоя.. твоя».

Итакъ, любовь, всецѣльная страсть покорила себѣ эти существа и взяла верхъ надъ всѣми прежними связями и отношеніями. Литвиновъ отказывается отъ своей невѣсты и своей будущности. Ирина нарушила свой супружескій долгъ и готова покинуть свое блестящее положеніе.

Но что же дѣлать дальше? На минуту страсть покрыла все и не даетъ любящимся видѣть своего положенія. Но безвыходность этого положенія должна же раскрыться, и она раскрывается очень быстро, благодаря душевному разладу, происходящему въ душѣ Литвинова. Ирина весьма справедливо замѣчаетъ, что это «человѣкъ, который самъ не знаетъ, что происходитъ въ его душѣ» (стр. 130). И художникъ, правдиво изображающій безобразіе его чувствъ, невольно приходитъ къ заключенію, что «людямъ положительнымъ, въ родѣ Литвинова, не слѣдовало бы увлекаться страстью» (стр. 127). Въ самомъ дѣлѣ, Литвиновъ не хотѣлъ любить Ирину и полюбить; не хотѣлъ овладѣть ею и владѣть; не хотѣлъ отказываться отъ Татьяны и отказался. Надѣлавши такихъ дѣлъ, которыхъ не слѣдовало бы дѣлать, и весьма послѣдовательно считая себя за то воромъ и подлецомъ, Литвиновъ думаетъ поправить все тѣмъ, что увезетъ Ирину и навсегда

соединится съ нею, то есть думаетъ все поправить дѣломъ, которое всего менѣе слѣдуетъ ему дѣлать, которое окончательно погубило бы и его и Ирину.

Ирина согласна. Она первая написала ему, что готова пойти за нимъ на край свѣта. Но гдѣ же ему, такому слабому, «безвозвратно покоренному», съ такой сумятицею въ головѣ и сердцѣ, увлечь за собою такую сильную женщину! И потомъ, чѣмъ онъ наполнить ея жизнь, чѣмъ замѣнить тотъ блескъ, который теперь ее окружаетъ?

Литвиновъ колеблется и пишетъ Иринѣ письмо, въ которомъ проситъ подумать и «не брать на себя ношу не по плечамъ». Когда онъ потомъ приходитъ къ ней и заставши ее въ слезахъ, проситъ объявить ему приговоръ, она невольно мѣрзаетъ глазами его душу.

«— Не гляди на меня такими глазами», говоритъ онъ ей... «Они напоминаютъ мнѣ прежніе московскіе глаза».

«Ирина вдругъ покраснѣла и отвернулася, какъ-будто сама чувствуя что-то неладное въ своемъ взорѣ» (стр. 139).

Литвиновъ, по обычаю, не понимаетъ, что приговоръ уже сказанъ. Но Иринѣ не хочется выйти изъ-подъ обаянія; она, плача, все общается Литвинову и начинаетъ ласкать его. «День нашъ—вѣкъ нашъ», говоритъ она благоразумному юношѣ, и тотъ ничего не возражаетъ на такое неблагоразумное правило.

И до того потерялся Литвиновъ, до того его отуманила страсть, что онъ не видитъ практической несбыточности дѣла, которое затѣялъ. Онъ попадаетъ въ комическое положеніе человѣка, несмѣющаго самому себѣ сознаться въ нелѣпости своихъ плановъ. По художественной правдивости, авторъ, столь много восхваляющій своего героя, изобразилъ, однако, его и въ эту минуту, изобразилъ съ сожалѣніемъ, но не безъ язвительности. Литвиновъ, положительный, практическій Литвиновъ идетъ къ банкиру занимать деньги! Потомъ играетъ въ рулетку; «и онъ, дѣйствительно», замѣчаетъ авторъ, «округлилъ свой капиталъ, спустивъ излишніе двадцать восемь гульденовъ» (стр. 142). Разумъ его не былъ, однако, заглушенъ до конца, до полной слѣпоты. «Противъ его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало,

просачивалось сквозь всё его размышленія, точно самое его предпріятіе было шуточнымъ».

Такимъ оно и оказалось. Ирина написала ему, что не можетъ бѣжать съ нимъ, не въ силахъ оставить свѣтъ, въ которомъ она живетъ.

Послѣ бури, поднятой въ немъ этимъ письмомъ, Литвиновъ, наконецъ, принимаетъ твердое рѣшеніе уѣхать. (Вообще рѣшительности въ немъ очень много, по словамъ автора). Онъ извѣщаетъ Ирину, что отказывается отъ нея и, дѣйствительно, уѣзжаетъ, то есть онъ поступаетъ, наконецъ, такъ, какъ слѣдуетъ и перестаетъ дѣлать то, чего дѣлать не слѣдовало.

Проходитъ два года. Литвиновъ опять счастливъ, какъ и слѣдуетъ быть счастливымъ человѣку положительному. Онъ мирится со своею прежнею невѣстою, женится на ней и благоденствуетъ, прилагая къ дѣлу свои агрономическія познанія.

А Ирина? Ирина по прежнему несчастлива, по прежнему блистаетъ въ большомъ свѣтѣ, по прежнему ненавидитъ и язвить его. Можетъ быть, она по прежнему даже слѣдитъ за Литвиновымъ; но только никого нѣтъ, кто-бы занялъ въ ея сердцѣ какое-нибудь мѣсто. Литвиновъ очень ошибся, когда въ порывѣ негодованія думалъ, что «его замѣнить тучный генералъ, или господинъ Финиковъ» (стр. 144).

Вотъ и вся басня новой повѣсти г. Тургенева. Чему же сія басня научаетъ? Кому въ ней сочувствовать и кого осуждать?

Не пожалѣть ли Литвинова? Но за что же? Очевидно, такимъ людямъ легко живется на бѣломъ свѣтѣ. Обыкновенное ихъ состояніе есть состояніе спокойствія, веселости и нѣкоторой самоувѣренности. Конечно, Ирина заставляетъ его нѣсколько страдать. Но у благоразумнаго юноши достало духу тотчасъ (черезъ три дня) оторваться отъ своей соблазнительницы, и затѣмъ вся эта исторія не оставила на немъ никакой мрачной тѣни, никакого неизгладимаго слѣда.

Другое дѣло Ирина. Она гораздо памятливей, и не питаетъ особенно свѣтлаго взгляда на жизнь. Когда Литвиновъ приходитъ къ ней послѣ своего мучительно-вырвавшегося признанія, она говоритъ ему:

«—Жить, вообще, не легко, Григорій Михайловичъ, какъ вы полагаете?» (стр. 102).

«—Какъ кому!» грубо отвѣчаетъ непроницательный юноша, желая намекнуть, что ей, вѣроятно, жить легко, а вотъ ему—такъ очень тяжело. Но, судя по правдивому изображенію художника, Ирина не обошлась безъ страданій ея встрѣчи съ Литвиновымъ, и даже нѣтъ сомнѣнія, что на ея долю выпали болѣе жгучія, болѣе живыя мученія. Вспомните сцены, когда Потугинъ уводитъ ее отъ квартиры Литвинова, и когда она прибѣгаетъ къ отвѣжающему вагону. Литвиновъ постоянно считаетъ себя правымъ и имѣющимъ на Ирину какія-то права; она же всегда кается, какъ виноватая, какъ нанесшая рану любимому существу.

Но Тургеневъ давно уже научилъ насъ, какъ судить въ подобныхъ случаяхъ. Мораль, которую онъ такъ долго проповѣдывалъ, которую онъ развилъ и разъяснилъ въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ произведеній, заключается въ томъ, что если мужчина не успѣваетъ вполне овладѣть женщиною, добиться отъ нея полной, беззавѣтной любви, то значитъ, онъ ей не стоитъ, онъ такъ слабъ, такъ малъ, что не можетъ наполнить собою ея душу. Слѣдовательно, Литвинову по дѣломъ досталось. Онъ пигмей передъ Ириной, какъ весьма выразительно и намекаетъ ему на это философствующій Потугинъ: «человѣкъ слабъ, женщина сильна» *), говоритъ онъ ему въ видѣ предостереженія (стр. 84).

Человѣкъ слабъ, женщина сильна; природа имѣетъ свою непостижимую для насъ логику — вотъ единственная мораль нашей басни. Она извлечена изъ нашей русской жизни и показываетъ намъ, что у насъ бываютъ женщины, въ которыхъ природа воплощаетъ свою таинственную силу, женщины съ такимъ обиліемъ душевной мощи и прелести, съ такою сіяющею внутреннею и вѣнницею красотою, что передъ ними все покоряется, и высшій и низшій свѣтъ, какъ будто передъ урожденными дарицами, что Потугины и Литвиновы внезапно теряютъ передъ ними все свое благоразуміе

*) Это неправильный переводъ съ французскаго *l'homme est faible* etc. Правильно нужно перевести: *мужчина слабъ* и пр.

и рѣшительность. Эти женщины иногда изливаютъ избытокъ своей душевной жизни на такихъ людей, какъ Литвиновъ; но онѣ не могутъ навсегда остановиться на Литвиновыхъ, какъ-бы искренно этого ни хотѣли; надъ Финиковыми же и изящными генералами онѣ смѣются въ глаза, и потому остаются всю жизнь несчастными и страдающими, такъ какъ нигдѣ не находятъ себѣ полного отвѣта равноправной силы.

Итакъ, Тургеневъ къ числу прежнихъ своихъ женскихъ образовъ, которые онъ одинъ умѣетъ рисовать съ такимъ глубокимъ пониманіемъ, присоединилъ новый, который, по прелести и по несчастливой судьбѣ, станетъ рядомъ съ Наташей (въ «Рудинѣ»), Асей, Лизой (въ «Дворянскомъ гнѣздѣ»), Еленой (въ «Наканунѣ»)...

Но что же это? Куда мы зашли, слѣдуя, однако, по стопамъ поэта, руководясь его ясными указаніями? Мы пришли къ заключеніямъ, которыя прямо противорѣчатъ словамъ поэта, буквальныймъ выраженіямъ его повѣсти. Насколько всѣ лица повѣсти хвалятъ Литвинова, настолько же они осуждаютъ Ирину. Только самъ поэтъ, самъ рассказчикъ не рѣшился коснуться ея ни единымъ словомъ. Но, по словамъ Потугина, эта женщина *испорчена до мозга костей* (стр. 84); ея недовольство своимъ положеніемъ Литвиновъ называетъ *развращенною меланхоліею модной дамы* (стр. 142); наконецъ, сама она, вѣчно виноватая и вѣчно кающаяся Ирина, пишетъ, что *людѣ слишкомъ глубоко проникъ въ нее, что видно нельзя безнаказанно въ теченіе многихъ лѣтъ дышать этимъ воздухомъ* (стр. 143). И такимъ образомъ, вся повѣсть превращается, въ глазахъ Литвинова, въ разсказъ о *безнравственности высшаго свѣта и о гибели, уготовляемой свѣтскими дамами неопытнымъ юношамъ* (стр. 118).

Посмотримъ, однако, въ чемъ состоитъ эта испорченность, этотъ ядъ. Образъ Ирины далеко не дорисованъ художникомъ, но тѣ черты, которыя онъ успѣлъ набросать, очень ясны. Ирина любитъ роскошную, блестящую свѣтскую жизнь. Но роскошь, какъ замѣчаетъ одна изъ героинь г. Тургенева (Зинаида въ «Первой любви») — красива, слѣдовательно, имѣетъ непререкаемое право на любовь. Въ самомъ «Дымѣ»

графъ Рейзенбахъ весьма остроумно замѣчаетъ по поводу этого, что «медъ сладокъ» (стр. 48). Что же касается до пустоты и цоплости, скрывающейся подъ блескомъ и роскошью въ высшемъ свѣтѣ, то Ирина ихъ ненавидитъ всею душою. На ней самой не лежитъ «противнаго свѣтскаго отпечатка» (стр. 59); «она никогда не гнушалась людей, низко поставленныхъ, и графиня не разъ цемядя ей за ея излишнюю, *московскую фамиллярность*» (стр. 120); Ирина даже равнодушна къ русскому языку (стр. 67).

Итакъ, гдѣ же испорченность? Не въ томъ ли, что она полюбила Литвинова? Да, вѣдь, это—новое доказательство правильности ея симпатій, если судить по словамъ автора. Итакъ все обвиненіе противъ Ирины заключается въ томъ, что она не ушла съ Литвиновымъ. Но спрашивается, взаимнѣй той, хотя призрачной, но блестящей жизни, которую она любила, что предлагалъ ей съ своей стороны Литвиновъ? Какой миръ, какую жизнь, какую дѣятельность, какую пищу для жадной, души? Ничего, кромѣ собственной особы. Ну, если этого оказалось мало, то не другіе же виноваты. Литвиновъ даже не Рудинъ съ его неистощимымъ, увлекательнымъ энтузіазмомъ, не Базаровъ, съ которымъ, по выраженію Одинцовой, «говоришь — точно по краю пропасти ходишь»; Литвиновъ просто — потерявшійся мальчикъ; изъ-за чего же тутъ жертвовать жизнью?

А, вѣдь, она чуть не пожертвовала! Чѣмъ жалѣть Литвинова, не лучше ли немножко ее пожалѣть? Мы рѣшительно становимся на сторону почтеннаго Сазонтова Ивановича, который такъ хорошо знаетъ Ирину; замѣтивъ отношенія ея къ Литвинову, онъ говоритъ ему: «Но я за нее боюсь... я боюсь за нее» (стр. 119).

«— Много чести, господинъ Потугинъ», иронически отвѣчаетъ Литвиновъ.

Но, какъ бы то ни было, честь эта досталась господину Литвинову. Возьмемъ дѣло съ этой, такъ сказать, мужской точки зрѣнія. Тогда окажется, что «Дымъ» повѣствуетъ о томъ, какъ обольстительные юноши, подобные Литвинову, опасны для свѣтскихъ дамъ, какъ одинъ изъ нихъ чуть не

погубилъ до конца одну изъ блистательнѣйшихъ царицъ великосвѣтскаго общества.

Вотъ мы и довели до конца это трудное разбирательство. Мы изложили дѣло подробно для того, чтобы читатель могъ отчетливо судить, насколько правильно заключеніе, выводимое изъ рассказанныхъ событій самимъ авторомъ. Это заключеніе онъ влагаетъ въ размышленія Литвинова, которымъ тотъ предается, уѣзжая изъ Бадена и глядя на дымъ, вылетающій изъ трубы паровоза.

«Онъ глядѣлъ-глядѣлъ, и странное напало на него размышленіе... Онъ сидѣлъ одинъ въ вагонѣ; никто не мѣшалъ ему. «Дымъ, дымъ», повторилъ онъ нѣсколько разъ; и все вдругъ показалось ему дымомъ, все, *собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское*» (стр. 150).

Положительно нѣтъ ничего въ повѣсти, что оправдывало бы такое странное размышленіе, даже ничего такого, что вязалось бы съ нимъ.

Не дымъ ли выпій свѣтъ? Конечно, не дымъ, если въ немъ являются такія сильныя и прелестныя женщины, какъ Ирина. Обладая всѣмъ, что есть хорошаго въ этомъ свѣтѣ, онъ протестуетъ противъ его пошлости и пустоты, онъ неустанно язвятъ его и ищутъ для себя какого-нибудь выхода. Эти ищущія и страдающія силы, конечно, представляютъ прекрасный задатокъ. Какъ искренни онъ къ своимъ исканіямъ, видно изъ того, что, будь Литвиновъ крошечку пошире и покрѣпче, Ирина отдалась бы ему безвозвратно.

Что же касается до низшаго свѣта, то тутъ дѣла обстоятъ еще благополучнѣе. Оказывается, что тутъ, при помощи одного изученія агрономіи и технологіи, можно быть веселымъ, спокойнымъ и нѣсколько самоувѣреннымъ, можно почти неотразимо привлекать къ себѣ царицъ высшаго общества, не видящихъ вокругъ себя подобныхъ свѣтлыхъ личностей, и наконецъ, можно достигнуть полного счастья, можно найти дѣвушку, у которой «золотое сердце, истинно ангельская душа» (стр. 116), и навсегда соединить съ нею свою судьбу.

Серьезно, мы находимъ въ повѣсти Тургенева слишкомъ много счастья; на этотъ разъ онъ слишкомъ на него расточителенъ. Ни одного изъ прежнихъ своихъ героевъ онъ не

надѣлялъ счастьемъ такъ легко и такъ надолго, какъ Литвинова. Кромѣ несчастнаго Инсарова, такъ быстро умершаго, Тургеневъ даже не женилъ ни одного изъ своихъ героевъ и не давалъ имъ удачи въ любви. Мы уже говорили, какая здѣсь крылась мораль. Мораль все та же со временъ Онѣгина и Татьяны. Русское общество имѣетъ такъ мало крѣпкихъ основъ, такъ сильно поражено различными недугами, что въ немъ трудно быть счастливымъ, ибо для счастья требуется прочный строй жизни, требуется атмосфера, въ которой бы спокойно и свободно могли раскрываться душевныя силы.

Какъ не сказать послѣ этого, что Литвинову дешево досталось его счастье! Современные недуги прошли мимо него, и никакое сильное внутреннее стремленіе не беспокоило его.

Итакъ, откуда же отчаянная мысль, что все человеческое дымъ? Нужно говорить правду, это мысль не Литвинова, а самого г. Тургенева. Вотъ уже третье произведеніе, въ которомъ проглядываетъ эта мысль. «Призраки», «Довольно», «Дымъ» — все это варіаціи на старинную тему: *суета суетъ и всяческая суета!* Въ «Дымѣ» авторъ развиваетъ ее почти такъ же, какъ древній Экклезіастъ:

«Все дымъ и паръ; все какъ-будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же, да то же; все торопится, спѣшитъ куда-то, и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая».

Не то же ли говорить Экклезіастъ:

«Что пользы человѣку во всемъ трудѣ его, которымъ онъ трудится подъ солнцемъ? То, что было, есть то же, что будетъ; и то, что сдѣлано было, есть то же, что сдѣлано будетъ; и нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ».

Мысль хотя не новая, какъ видитъ читатель, но хорошая; нельзя запретить поэту смотрѣть на вещи съ этой стороны, если къ тому влечетъ его душевное настроеніе. Нужно только, чтобы мысль была выражаема съ надлежащею силою и поэтическою ясностью. Къ сожалѣнію, этого нѣтъ. «Призраки» есть наиболѣе правильное изъ этихъ произведеній. Эллисъ, сама воплощенная поэзія, носитъ поэта по землѣ, показываетъ ему современный міръ и воскрешаетъ передъ нимъ грозныя картины исторіи. Съ тоскою и уныніемъ отворачи-

вается поэтъ отъ настоящаго и прошедшаго и, наконецъ, встрѣчаетъ смерть и отдается ужасу при мысли о ничтожествѣ всего на свѣтѣ.

Въ «Довольно» мысль о суетѣ суетъ выражена наголо, и не оправдана поэтически, а обставлена холодными и слабыми разсужденіями.

Наконецъ, въ «Дымъ», какъ мы видѣли, она ни мало не связана съ предметомъ, которому посвященъ разсказъ. Литвиновъ и проповѣдь о ничтожествѣ всего земного—можно ли не видѣть здѣсь явнаго разногласія?

Что не связано, то такъ несвязнымъ и остается. Разсуждая о суетѣ мірской, Литвиновъ ни мало не думаетъ пояснить свои разсужденія событіями своей жизни, но вдругъ начинаетъ говорить о совершенно другихъ вещахъ, совершенно до него не касающихся. Вотъ продолженіе его страннаго размысленія:

«Другой вѣтеръ подулъ, и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная—и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что съ громомъ и трескомъ совершалось на его глазахъ въ послѣдніе годы... дымъ, шепталъ онъ, дымъ; вспомнились горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ, высоко и низко поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... дымъ, повторялъ онъ, дымъ и паръ; вспомнился, наконецъ, и знаменитый пиквикъ, вспомнились и другія сужденія и рѣчи другихъ государственныхъ людей—и даже все то, что проповѣдывалъ Потушицъ... дымъ, дымъ и больше ничего» (тамъ же).

Вѣтеръ перемѣнился! Вотъ отчего все и показалось дымомъ, показалось опять-таки не въ глазахъ Литвинова, а въ глазахъ г. Тургенева; вотъ слово, объясняющее весь смыслъ романа, настоящій ключъ къ его загадкѣ.

Что же это за вѣтеръ? Конечно, дѣло здѣсь не о томъ, что Ирина измѣнила Литвинову, или что онъ измѣнилъ Татьянѣ и т. п. Нѣтъ, Литвиновъ ни съ того, ни съ сего начинаетъ размышлять о тѣхъ партіяхъ, спорахъ и крикахъ, въ которыхъ не принималъ ни малѣйшаго участія, которые не имѣли никакого отношенія къ исторіи его любви, и о ко-

торыхъ поэтому, намъ и не пришлось до сихъ поръ говорить. Въ романѣ выведена на сцену цѣлая толпа лицъ всевозможныхъ оттѣнковъ, консерваторовъ, либераловъ, радикаловъ и пр.; есть даже одинъ спиритъ. Консерваторы, спириты и т. п. группируются около Ирины; радикалы и революціонеры около нѣкотораго Губарева. Сказать что-нибудь объ этихъ лицахъ, нѣтъ никакой возможности, до того слабо они обрисованы; объ иномъ ничего и не узнаешь, кромѣ того, что у него *инусный затылокъ*; три генерала различаются тѣмъ, что одинъ тучный, другой раздражительный, а третій снисходительный и т. д. По справедливому замѣчанію одного человека со вкусомъ, повѣсть г. Тургенева представляетъ большую картину, на которой не вполне дописано прекрасное лицо Ирины, другихъ же лицъ совсѣмъ нѣтъ, и тамъ, гдѣ имъ слѣдуетъ быть, поставлены мѣломъ кружки вмѣсто головъ и линиями обозначено положеніе тѣла. Вотъ эти-то люди и составляютъ *дымъ*, а отнюдь не Ирина и Литвиновъ, которые не имѣютъ съ ними ничего общаго.

Куда же несется этотъ дымъ? И какая случилась перемѣна вѣтра, въ силу которой дымъ, какъ и подобаетъ дыму, похвещая въ другую сторону? Къ сожалѣнію, едва ли кто найдетъ въ повѣсти ясные отвѣты на эти вопросы. Одно только ясное и определенное указаніе нашли мы по сему предмету. Продолжая утѣшать себя размышленіями о важныхъ матеріяхъ, Литвиновъ между прочимъ думаетъ:

«Вотъ въ Гейдельбергѣ теперь (1862) болѣе сотни русскихихъ студентовъ; всѣ учатся химіи, физикѣ, физиологіи, ни о чемъ другомъ и слышать не хотятъ... а пройдетъ пять-шесть лѣтъ, и пятнадцати человекъ на курсахъ не будетъ у тѣхъ же знаменитыхъ профессоровъ... Вѣтеръ перемѣнится, дымъ хлынетъ въ другую сторону... дымъ... дымъ... дымъ!» (стр. 152).

«Предчувствія Литвинова сбылись» — прибавляетъ авторъ. «Въ 1866 году было въ Гейдельбергѣ учащихся въ лѣтній семестръ 13, въ зимній 12».

Другое указаніе авторъ сдѣлалъ неволью, обмолвившись. Именно, потугинъ очень горячится въ одномъ мѣстѣ противъ повѣсти г-жи Кохановской *Рой на спокойе*. Но эта

повѣсть появилась въ 1864 году, а г. Потугинъ, предполагается, философствуетъ противъ нея въ 1862 г. Итакъ, эпохи нѣсколько смѣшаны въ повѣсти, и все показываетъ, что ея тенденціи ничуть не ограничиваются чертою 1862 года, а простираются и до настоящихъ дней. Вслушайтесь еще разъ въ рѣчи Потугина, вникните въ намеки, разсѣянные въ повѣсти, и вы, наконецъ, поймете, о какой *перемѣнѣ вѣтра* глубокомысленно разсуждаетъ Литвиновъ.

Да вотъ оно что! Дѣйствительно, вѣтеръ-то перемѣнился, дѣйствительно, несетъ въ другую сторону. Это фактъ очевидный, обширный, ясный, общезвѣстный. До 1862 года движеніе, постепенно возрастая, шло въ одну сторону, послѣ 1862 года оно поворотило и пошло въ другую. Если ужъ говорить о перемѣнахъ вѣтра, то сейчасъ же придетъ на мысль эта перемѣна, передъ которой всѣ другія ничтожны; опустить ее, или не имѣть ея въ виду невозможно.

Увидѣвъ эту перемѣну, столь крутую, неожиданную, поразительную, г. Тургеневъ воскликнулъ изъ своего прекраснаго далека: суета суеть и всяческая суета! Все человѣческое—дымъ, а все русское—дымъ по преимуществу!

Теперь, когда мы вскрыли внутреннюю подкладку повѣсти, такъ сказать, ея нервъ, намъ легко уже будетъ судить о тѣхъ ея мѣстахъ, гдѣ выражаются не поэтическія, а публицистическія мнѣнія. Въ этой повѣсти все задѣто, всѣ наши партіи, почти всѣ явленія нашей жизни, и высшій свѣтъ, и учащаяся молодежь, и Глинка, и Телушкинъ, и проч., и проч. Можно подумать, что для отвѣта на всѣ эти бранчивые и брезгливые отзывы придется воевать съ г. Тургеневымъ цѣлые годы, придется спорить безъ конца. Но дѣло гораздо проще и не требуетъ особенно сильныхъ военныхъ приготовленій.

Не мало въ «Дымѣ» выходокъ противъ людей и мнѣній, принадлежащихъ къ движенію до 1862 года; но несравненно многочисленнѣе, продолжительнѣе и сравнительно сильнѣе выходки противъ мнѣній и настроеній, получившихъ верхъ послѣ 1862 года. Увы! Не равнодушенъ нашъ поэтъ и не до конца искренно онъ исповѣдуетъ, что все прахъ и суета. Вѣтеръ перемѣнился, и все понесло въ другую сторону; «все

дымъ», шепчетъ поэтъ; но, несмотря на это успокоительное изреченіе, переѣна, очевидно, раздражила поэта, и онъ написалъ повѣсть *противъ господствующаго вѣтра*.

Ясно, какъ день, что въ повѣсти слышна раздражительность; ясно, какъ день, что эта раздражительность направлена противъ господствующаго вѣтра. Этотъ вѣтеръ, вѣроятно, слышится г. Тургеневу, какъ и всякому, въ каждомъ листкѣ любой русской газеты. Это вѣтеръ противный обличительному и самооплевательному, вѣяніе нѣкоторой народной гордости, самоувѣренности, большее уваженіе къ нашей исторіи, большая вѣра въ насущныя силы Россіи, большая надежда на ея будущность. Говоря литературными формулами, всѣ мы до 1862 года были болѣе или менѣе западниками, а послѣ этого года всѣ болѣе или менѣе стали славянофилами. Вотъ та превратность земныхъ вещей, которая не нашла себѣ сочувствія въ душѣ нашего поэта.

Но—трудно плыть противъ вѣтра! Кто же обратить вниманіе на эти брезгливыя и мелкія выходки, когда жизнь, сама жизнь, сама исторія увлекаетъ насъ, когда то, надъ чѣмъ издѣвается г. Тургеневъ, не находится вдалекѣ отъ насъ, не составляетъ предмета нашихъ наблюденій со стороны, а составляетъ часть насъ самихъ, составляетъ то, чѣмъ мы живемъ и волнуемся?

Мы, напримѣръ, прилежно изучаемъ расколъ; литература по расколу растетъ, и мы вникаемъ въ нравственныя причины, которыя его породили и такъ тѣсно связаны съ самою глубио нашего народнаго духа, а намъ вдругъ предлагаютъ такое остроумное мнѣніе: «Видятъ люди: большого мнѣнія о себѣ человекъ, вѣрить въ себя, приказываетъ—главное приказываетъ; стало быть, онъ правъ, и слушаться его надо. *Всѣ наши расколы, наши Онуфриевичины да Акулиновичины точно такъ и основались. Кто палку взялъ, тотъ и направилъ*» (стр. 27).

Мы, напримѣръ, оказались способными къ естественнымъ наукамъ. Имена нашихъ натуралистовъ почетно извѣстны въ ученномъ мірѣ; въ нашихъ университетахъ катедры по этимъ наукамъ всѣ заняты, заняты людьми, стоящими на уровнѣ современныхъ знаній, а объ этомъ ризсуждается такъ:

«теперь мы всё къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Почему, въ силу какихъ резонансовъ мы записываемся въ кабалу, это дѣло темное; такая уже видно наша натура. Но главное дѣло, чтобы былъ у насъ баринъ» (стр. 26).

Мы, напимѣръ, любимъ музыку Глинки; серьёзный, строгій музыкальный вкусъ развивается изъ нашей публикѣ; являются композиторы съ своеобразными, неподдѣльными талантами; мы встрѣчаемъ ихъ съ восторгомъ и будущность русской музыки намъ кажется несомнѣнною. А намъ говорятъ на это: «о, убогіе дурачки-варвары, для которыхъ не существуетъ преимущество искусства!» (79). То есть, какъ же, дескать, вы надѣетесь, что у васъ будетъ русская музыка, когда ея еще нѣтъ? Забавное разсужденіе! Вѣдь, только на то и можно надѣяться, чего еще нѣтъ. Но она есть, русская музыка! Самъ Созонтъ Ивановичъ говоритъ, что Глинка чуть было не «основалъ русской оперы». А что, какъ въ дѣйствительности онъ ее основалъ, и вы ошибаетесь? Съ какимъ вы длиннымъ тогда останетесь носомъ! Шутка ли—*русская опера!*

Вообще, замѣчанія г. Потугина иногда остроумны, но въ цѣломъ удивительно малки и поверхностны и доказываютъ, что русская жизнь можетъ показаться дымомъ только тому, кто этою жизнью не живетъ, кто не участвуетъ ни въ единомъ ея интересѣ. Темна, бѣдна русская жизнь—кто говорить! Но отъ этого русскимъ людямъ, какъ людямъ живымъ, бываетъ трудно и тяжело жить, а не летать они по вѣтру съ легкостію дыма. Въ самыхъ шатаніяхъ и увлеченіяхъ, которыя, повидимому, хочетъ казнить г. Тургеневъ своею повѣстью, мы очень серьёзны, доводимъ дѣло до конца, часто дорого-дорого за него платимся и, слѣдовательно, доказываемъ, что мы живемъ и хотимъ жить, а не несемся, куда вѣтеръ повѣетъ.

Если же смутно и странно наше умственное и нравственное настроеніе, если все бродитъ у насъ, какъ чреватый хаосъ, то это не значитъ еще, что все это одинъ дымъ. Внимательный наблюдатель долженъ признать, что, благодаря нынѣшнему царствованію*), дѣйствительно вскрылись всѣ язвы, которыя мы носили въ своемъ тѣлѣ, воображая себя вполне

*) Александра II. Изд.

здоровыми; мы знаемъ теперь свои болѣзни, и еще болѣе;— появились нѣкоторыя черты, обозначились извѣстныя точки, указывающія намъ на складъ въ будущемъ нашего постепенно обновляющагося нравственнаго организма. Еще много дыму пускается на эти черты; но онѣ все яснѣе и яснѣе проступаютъ изъ-подъ него.

Собственно, здѣсь мы могли бы кончить нашъ разборъ. Мы видѣли изъ самой повѣсти, что жизнь русская въ ней нimalo не казнится, и знаемъ, что выходки дѣйствующихъ лицъ относятся къ такому важному перелому и перевороту въ этой жизни, что никакъ не могутъ представлять собою серьезное сужденіе о немъ. Но положимъ, что въ «Дымѣ», дѣйствительно, казнится русская жизнь, какъ полагаетъ самъ авторъ. Тогда спрашивается, во имя чего же она казнится? Передъ какимъ свѣтлымъ и опредѣленнымъ идеаломъ ея явленія оказываются мутнымъ дымомъ, летящимъ по вѣтру? Въ повѣсти есть очень бойкія указанія на этотъ идеалъ, такъ что ихъ невозможно оставить безъ вниманія. Возьмемъ главное, центральное мѣсто, которое, повидимому, должно объяснить всѣ остальные замѣчанія, разсѣянные въ повѣсти.

Бесѣдуютъ Потугинъ и Литвиновъ, то есть два лица, къ которымъ авторъ относится совершенно сочувственно, и въ бесѣдѣ своей касаются самыхъ общихъ вопросовъ. Потугинъ весьма жестоко отозвался о славянофилахъ вообще и о г-жѣ Кохановской въ особенности; тогда Литвиновъ замѣчаетъ:

«— Послѣ того, что вы сейчасъ сказали, мнѣ нечего спрашивать, къ какой вы принадлежите партіи и какого вы мнѣнія о Европѣ» (стр. 29).

Итакъ, Потугинъ принадлежитъ къ нѣкоторой партіи, и Литвиновъ нimalo надъ нимъ за это не смѣется, хотя, по его мнѣнію, *русскимъ еще рано имѣть политическія убѣжденія или воображать, что мы ихъ имѣемъ* (стр. 20). Притомъ Литвиновъ такъ проникателенъ, что даже вполне угадываетъ *мнѣніе Потугина о Европѣ*. Любопытно! Въ чемъ же состоитъ это мнѣніе?

«Потугинъ приподнялъ голову» (*очевидно, движеніе гордости и увѣренности*).

«— Я удивляюсь ей (Европѣ) и предаю ея началамъ

до чрезвычайности, и нисколько не считаю нужнымъ это скрывать».

Казалось бы, за этою смѣлою и открытою рѣчью немедленно должно было послѣдовать хотя какое-нибудь указаніе на предметы, передъ которыми преклоняется Потугинъ. Онъ долженъ былъ бы хоть намекнуть, въ чемъ онъ удивляется Европѣ, и какими началамъ онъ такъ преданъ. Вѣдь, Европа велика, и чего-чего въ ней нѣтъ! Какія начала разумѣетъ Потугинъ? Англійское начало самоуправленія, или французское начало администраціи? Свободу печати, или систему предостереженій? Народность, или космополитизмъ? Соціализмъ, или политическую экономію? Ужъ не начала ли 89 года, на которыя любить ссылаться французскій императоръ? Что-нибудь и какъ-нибудь да долженъ бы былъ обозначить Потугинъ.

Ничуть не бывало. Онъ совершенно довольствуется тѣмъ, что сказалъ. Онъ начинаетъ хвалиться тѣмъ, что смѣло всѣмъ высказываетъ это свое мнѣніе (какое?желательно бы знать), и съ нѣкоторымъ азартомъ такъ продолжаетъ рѣчь:

«Да-съ, да-съ, я западникъ, я преданъ Европѣ; то есть, «говоря точнѣе (посмотримъ!), я преданъ образованности, той «самой образованности, надъ которою такъ мило у насъ те-«перь потѣшаются, цивилизаціи—да, да, это слово еще луч-«ше,—и люблю ее всѣмъ сердцемъ, и вѣрю въ нее, и дру-«гой любви, другой вѣры у меня нѣтъ и не будетъ
«(Видите, какъ горячо!). Это слово: ци...ви. ли...зація (Поту-«гинъ отчетливо, съ удареніемъ произнесъ каждый слогъ), «и понятно, и чисто, и свято, а другіе всѣ, народность тамъ, «что-ли, слава,—кровью пахнуть... Богъ съ ними!»

Итакъ, г. Потугинъ преданъ той цивилизаціи, которая противоположна народности, славѣ и другимъ словамъ, пахнущимъ кровью. Кто пойметъ подобную складную рѣчь? *Народность* есть начало, какъ извѣстно, заправляющее современною исторіею Европы. Но этому началу г. Потугинъ не преданъ. *Слава* никогда никакимъ началомъ не была. Ужъ не разумѣетъ ли здѣсь г. Потугинъ la gloire militaire французовъ, которая, дѣйствительно, пахнетъ кровью? Если такъ, то значить, воинственности французовъ онъ не сочувствуетъ. Но чему же онъ сочувствуетъ и чему преданъ?

Цивилизаціи, ци-ви-ли-заціи.

Признаемся, это намъ невольно напомнило то, какъ г. Анучкину, любителю французскаго языка и тонкаго обращенія, понравилось слово Сицилія (въ «Женитьбѣ» Гоголя). «Сицилія» — обращается онъ къ Жевакину — «вотъ вы говорите Сицилія, какъ же это Сицилія...»

Да, хорошія бываютъ слова!

Между тѣмъ, собесѣдникъ Потугина вполне удовлетворяется его словами. Онъ какъ-будто до тонкости узналъ мнѣнія Потугина о Европѣ, и потому, оставляя исчерпанный сюжетъ, обращаетъ разговоръ на любезное отечество.

«— Ну, а Россію Созонтъ Иванычъ, свою родину, вы любите?»

«Потугинъ провелъ рукой по лицу.

— «Я ее страстно люблю и сраство ее ненавижу».

Прекрасно. Спрашивается, послѣ подобныхъ словъ какой вопросъ долженъ быть предложенъ Созонту Ивановичу? Казалось бы, любопытствующій Литвиновъ долженъ былъ спросить: что же вы въ Россіи страстно любите, и что вы въ ней ненавидите? Какія стороны вы находите свѣтлыя, и какія темныя?

Но ничуть не бывало. Можно подумать, что опять Литвиновъ какъ-будто до тонкости узналъ мнѣнія Потугина о Россіи, что онъ угадалъ ихъ. Однако, нѣтъ.

Литвиновъ пожалъ плечами.

— «Это старо, Созонтъ Иванычъ, это — общее мѣсто».

Совершенно справедливое замѣчаніе. Литвиновъ ничего не узналъ и не могъ узнать изъ такого общаго мѣста, что Россія имѣетъ и темныя и свѣтлыя стороны. Собесѣдникамъ, очевидно, слѣдуетъ пуститься въ частности; тогда разговоръ будетъ интереснѣе. Но не тутъ-то было. Созонтъ Ивановичъ возражаетъ.

— «Такъ что-жъ такое? Что за бѣда? Вѣтъ испугались! Общее мѣсто! Я знаю много хорошихъ общихъ мѣстъ». И проч.

На это, конечно, слѣдовало бы отвѣчать, что никто общихъ мѣстъ не пугается, и никто не отрицаетъ ихъ достоинствъ; но только никто же на общихъ мѣстахъ не останавли-

ливается и не считаетъ ихъ выраженіемъ яснаго и опредѣленнаго мнѣнія о частномъ вопросѣ.

Вмѣсто того, Литвиновъ нападаетъ на Потугина съ той точки, будто взглядъ его устарѣлъ.

— «Байроновщина, перебилъ Литвиновъ,—романтизмъ тридцатыхъ годовъ».

На это Потугинъ побѣдоносно отвѣчаетъ цитатою изъ Катутла, которая неопровержимо доказываетъ, что его общее мѣсто есть, дѣйствительно, очень общее мѣсто. Затѣмъ онъ начинаетъ горячиться по поводу Россіи точно такъ, какъ прежде горячился по поводу Европы.

«Да-съ»—говорятъ онъ—«я и люблю и ненавижу свою «Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я «теперь вотъ ее покинулъ: нужно было провѣтриться немного «послѣ двадцатилѣтняго сидѣнья за казеннымъ столомъ, въ «казенномъ зданіи; я покинулъ Россію, и здѣсь мнѣ очень «пріятно и весело: но я скоро назадъ поѣду, я это чувствую. «Хороша садовая земля... да не расти на ней морошкѣ!»

Вотъ и понимайте, какъ знате! Литвинскій, однако, исполнѣ довольствуется этою тирадою, и разговоръ переходитъ на другіе предметы.

Какъ не подивиться послѣ этого русскимъ людямъ! Вотъ изъ толпы набитыхъ дураковъ и безпардонныхъ болтуновъ выходятъ двое умныхъ людей. Одинъ изъ нихъ только-что язвительно подсмѣялся надъ своими соотечественниками за то, что у нихъ вѣчно «возникаетъ вопросъ о значеніи, о будущности Россіи, да въ такихъ общихъ чертахъ, отъ лица Леды, бездоказательно, безвыходно» (стр. 26). Но о чемъ-же бесѣдуютъ сами два умника?

— Какого вы мнѣнія о Европѣ?—спрашиваетъ одинъ.

— Хорошаго мнѣнія—отвѣчаетъ другой.—Только вотъ не люблю, когда что-нибудь кровью пахнетъ.

— А о Россіи?

— Многое одобряю, но многое и порицаю.

Ну можетъ ли быть еще что-нибудь общаго этихъ общихъ чертъ и общихъ мѣстъ?

Приглядитесь еще немножко, и вы увидите, что разговаривающіе сами не понимаютъ своего отношенія къ предме-

тамъ рѣчи. Что за вопросъ: какого вы мнѣнія о Европѣ? Развѣ на европейской точкѣ зрѣнія можно быть какого-нибудь, хорошаго или дурного, мнѣнія разомъ о всей Европѣ, о всѣхъ ея государствахъ, дѣлахъ и партіяхъ? Вопросъ есть нелѣпость для всякаго, кто не считаетъ Европу особымъ міромъ, развившимся изъ особыхъ началъ, напримѣръ, положимъ изъ римской цивилизаціи, и кто не противопоставляетъ этому міру нѣкотораго другого міра. Для настоящаго европейца Европа есть все, всецѣлый міръ, и онъ называетъ и чувствуетъ себя европейцемъ только передъ людьми, которыхъ считаетъ чуждыми настоящей исторической жизни, передъ китайцами, малайцами, неграми. Среди же Европы никто себя европейцемъ не величаетъ и если питаетъ какія-нибудь мнѣнія о Европѣ вообще, то эти мнѣнія для него равнозначительны съ мнѣніями о состояніи и развитіи человѣчества вообще.

Точно такъ, никакой настоящій западникъ не называетъ себя западникомъ. Слово это придумано славянофилами и означаетъ людей, отрицающихъ существованіе у насъ народныхъ началъ. Но никто не станетъ опредѣлять себя однимъ отрицаніемъ. Всякій западникъ назоветъ себя вамъ или конституціоналистомъ, или республиканцемъ, демократомъ, социалистомъ и т. д., но никто не назоветъ себя, просто, западникомъ. Никто не скажетъ, что онъ держится *западныхъ* началъ; всякій скажетъ, что онъ держится общечеловѣческихъ началъ, и именно такихъ-то и такихъ-то.

Итакъ, о чемъ же разсуждаютъ умные люди г. Тургенева? Согласно съ славянофильскими понятіями, они вообразили, что можно отнести къ Европѣ, какъ къ особому *единому* міру и, согласно съ славянофильской терминологіей, именуютъ себя *западниками*. Въ смыслѣ славянофиловъ, какой бы вы западной теоріи ни держались, вы будете западникъ, человѣкъ, держащійся началъ особаго европейскаго міра. Вотъ почему Потугинъ вмѣсто всякихъ мнѣній твердить только одно:—я западникъ, я европеецъ!

Вотъ, слѣдовательно, въ чемъ разгадка: умные люди не столько пылаютъ любовью къ цивилизаціи, сколько нерасположеніемъ къ славянофильской теоріи. Они разсуждаютъ о вопросахъ этой теоріи, употребляютъ ея же формулы, но

заявляютъ свое полное несогласіе съ нею. Своего же за душой у нихъ пока ничего нѣтъ.

Приведемъ еще одно поясненіе. Ни одинъ французъ, ни одинъ нѣмецъ, конечно, не задастъ своему соотечественнику такого неопредѣлительнаго и въ сущности ничего незначащаго вопроса: какого вы мнѣнія о Европѣ? Но есть одинъ народъ,—въ настоящую минуту, конечно, первый изъ народовъ міра,—въ которомъ встрѣчается нѣчто подобное нашимъ русскимъ разговорамъ. Это англичане. Когда англичанинъ въ первый разъ отправляется съ своего острова на материкъ Европы, то по возвращеніи, или среди самаго материка, онъ слышитъ отъ своихъ соотечественниковъ вопросъ: ну что вы скажете о континентѣ? Какъ вы находите континентальную жизнь, континентальные порядки?

Понятно, на какомъ взглядѣ опираются подобные вопросы. Все не англійское, все чуждое тѣхъ широкихъ, крѣпкихъ, правильно развитыхъ, ясно сознаваемыхъ началъ, которыми проникнута англійская жизнь, должно являться англичанину чужимъ міромъ, міромъ, держащимся на какихъ-то иныхъ началахъ, слѣдующихъ въ жизни иной, не англійской логикѣ. Тутъ является такая опредѣленная противоположность, что континентъ сливается въ глазахъ англичанина въ одно цѣлое, все его разнообразіе покрывается однимъ общимъ колоритомъ.

Спрашивается теперь, въ такомъ ли смыслѣ Потугинъ и Литвиновъ сообщаютъ другъ другу свои *мнѣнія о Европѣ*? Увы! Оказывается, что передъ нами не два образованныхъ европейца, изъ которыхъ каждый имѣетъ свое опредѣленное мнѣніе, свое *profession de foi*, осуществленію котораго и посвящаетъ свои мысли и труды; но это также и не два образованныхъ русскихъ, сознающихъ своеобразіе своей народности и размышляющихъ объ отношеніи ея къ иному міру, къ Европѣ. Нѣтъ, они всего скорѣе похожи на какихъ-нибудь попавшихъ въ Европу сіамцевъ, или японцевъ, которые въ каждой странѣ ея одинаково чувствуютъ себя не европейцами; это, дѣйствительно, *убогіе дурачки-варзары*, которые столбѣютъ въ тупомъ и неопредѣленномъ удивленіи къ зрѣлищу, раскрывающемуся передъ ними, люди, восхи-

щающіеся цивилизаціею вообще—въ противоположность варварству, господствующему въ ихъ темномъ отечествѣ.

Но неужели же мы, русскіе, находимся въ такомъ положеніи? Опять замѣтимъ, что, только глядя на русскую жизнь со стороны, можно было такъ поверхностно понять это отношеніе. Въ дѣйствительности, въ настоящую минуту ни одинъ русскій челоѣкъ не можетъ стоять въ такомъ отношеніи къ Европѣ, въ какое ставитъ себя почтенный Созонтъ Ивановичъ. Потому что, вѣдь, скоро будетъ двѣсти лѣтъ, какъ мы явились въ Европу такими точно «варварами-дурачками», и съ той поры много воды утекло. Съ тѣхъ поръ, какихъ вліяній мы не пережили, кому не подражали, кого не передразнивали! Мы и передъ гробомъ Ринелье преклонялись, и писали «Наказъ» въ духѣ энциклопедистовъ, мы проникались и началами 89 года, и началами первой имперіи, мы когда-то «Гегеля изучали и знали Гёте наизусть», мы были бойцами республики 48 года, и потомъ дѣлали о ея паденіи, какъ о гибели кровныхъ нашихъ надеждъ; мы всегда сочувствовали лучшимъ, избраннѣйшимъ умамъ Европы, но вообще, каждому ея крупному явленію мы непременно платили и платимъ дань; мы платимъ ее, напримѣръ, теперь и Наполеону III, и свободной торговлѣ Англіи, и т. д.

И чѣмъ дальше, тѣмъ шире и глубже этотъ наплывъ, какъ это и въ порядкѣ вещей. Этотъ вѣтеръ вѣетъ сильно. И мы все яснѣе понимаемъ его дѣйствіе, потому что переживаемъ это дѣйствіе на себѣ, на своихъ костяхъ и своей плоти. Мы знаемъ, что вліяніе Европы вызываетъ не одни свѣтлыя явленія; мы перенесли отъ него и переносимъ не только явленія жалкія, смѣшныя, пустыя и безплодныя, но и мрачныя и грустныя до высочайшей степени и, слѣдовательно, мы не можемъ стоять въ такомъ идеалистическомъ отношеніи къ вліянію Европы, какъ Созонтъ Ивановичъ.

Но есть у насъ другой вѣтеръ, тоже постепенно усиливающийся, но далеко еще недостигшій силы для равноправной борьбы съ западнымъ вѣтромъ. Это—вѣяніе того, что г. Тургеневъ нѣкогда остроумно назвалъ «черноземною силою», вѣяніе духа нашей народности. Отъ времени до времени, мы, гнушіеся, какъ тростникъ, отъ западнаго вѣтра,

обнаруживаемъ силу упругости, выпрямляемся и даже наклоняемся въ другую сторону отъ вѣтра, потянуvшаго съ востока. Естественная реакція умовъ и душъ, но главное—столкновенія съ Европою, ходъ событій, неизбежно заставляющій дѣйствовать насъ, насъ, въ другое время готовыхъ стереться съ лица земли, слетѣть съ нея подобно дыму,—даютъ у насъ просторъ этому вѣтру. Его дѣйствія мы тоже знаемъ, ибо переносимъ ихъ на себѣ, на своей плоти и своихъ костяхъ, и все яснѣе различаемъ темныя и свѣтлыя явленія, имъ порождаемыя.

Эти два вѣтра не случайны, какъ видить читатель. Существованіе именно ихъ, а не какихъ другихъ вѣтровъ, всего лучше показываетъ, что не *дымъ* все русское, что не капризъ случая вертитъ нами. Напротивъ, кто живетъ среди борьбы этихъ направленій, для кого она составляетъ насущную задачу, радость и горе, для того должны показаться дымомъ слова и разсужденія, отрицающія серьезность нашей жизни.

(„Отечественныя Записки“ 1867, май).

III.

ДВА ПИСЬМА Н. КОСИЦЫ *).

ЗА ТУРГЕНЕВА

(Письмо въ редакцію «Заря»).

Вотъ уже восемь лѣтъ, милостивый государь, какъ я выступилъ на литературное поприще, и мое несчастное положеніе не только не улучшается, а съ каждымъ днемъ становится хуже и хуже. Увлекаемый пагубнымъ, но непреодолимымъ пристрастіемъ къ нашей литературѣ, я съ каждымъ днемъ живѣе чувствую горечь и тяжесть участи, которую самъ себѣ уготовилъ. Подумайте обо мнѣ и пожалѣйте. Я постоянно читаю книги, которыя вовсе не заслуживаютъ чтенія; я задаю себѣ вопросы, рѣшеніе которыхъ не имѣетъ никакой дѣйствительной важности; я по цѣлымъ днямъ, и недѣлямъ, и мѣсяцамъ упражняю свою проницательность на предметахъ, не заключающихъ въ себѣ никакого серьезнаго значенія. Эти книги, вопросы и предметы закрываютъ отъ меня міръ, не даютъ мнѣ видѣть того, что, дѣйствительно, заслуживаетъ вниманія, чѣмъ волнуются люди разумные и любящіе свое отечество. Читали ли вы, напримѣръ, романъ

*) Н. Косица—былъ мой псевдонимъ, подѣ которымъ явился рядъ писемъ, подобныхъ этимъ двумъ. „Заря“—ежемесячный журналъ В. В. Каширева, выходившій въ 1869—72 годахъ. Н. С.

г. Авдѣева «Межъ двухъ огней» и романъ Марка Вовчка «Живая душа»? Если и принимались читать, то вѣрно не дочитали; а я прочелъ эти романы отъ первой строки до послѣдней, изучалъ, сравнивалъ. Вникали вы въ отношенія Камышлинцева къ Ольгѣ Мытищевой, или Маши къ Загайному? Едва ли вы нашли ихъ достойными продолжительнаго вниманія; а я вникалъ, я прослѣдилъ всѣ слова, всѣ дѣйствія и душевныя движенія этихъ героевъ и героинь; я создалъ эти лица въ своемъ воображеніи, и отдалъ себѣ отчетъ въ образѣ ихъ мыслей и поступковъ.

Не думаете ли вы, что это весело и занимательно? О, какая тяжелая работа, что за зѣвота, по выраженію Байрона, *неутолимая никакимъ сномъ!* Часто бросаю я книгу, часто собираюсь съ силами, чтобы вновь пуститься въ этотъ бѣднѣйшій хаосъ лицъ, сценъ, разговоровъ—и только изрѣдка, среди этого мрачнаго плаванія, я вдругъ обрадуюсь, когда натолкнусь на какое-нибудь мѣсто, на сценку, на замѣчаніе, гдѣ, наконецъ, наголо, на чистоту высказалась у автора вся пошлость его взгляда на жизнь, все чудовищное искаженіе истинныхъ отношеній къ предмету. Помните ли, напримѣръ, то мѣсто, когда герой приходитъ къ барынѣ, которая по его милости находится въ интересномъ положеніи, и обращаетъ вниманіе...? Но я совершенно увѣренъ, что вы давно забыли эти пошлости, которыя лишь я осужденъ носить въ своей памяти. Могу васъ увѣрить только, что тутъ среди потока безсвязныхъ и ничего не выражающихъ звуковъ вдругъ слышится рѣзкій, отчетливый диссонансъ,—вдругъ ясно открывается вся бездна пустоты и безсердечія, выдаваемыхъ авторомъ за душевную глубину и сердечную теплоту.

Несчастный! замѣтите вы, чему же тутъ радоваться? И вообще, изъ-за чего все это волненіе, всѣ эти труды и усилія? Я буду съ вами вполне откровененъ, милостивый государь. Все это я дѣлаю для достиженія весьма незначительнаго результата. Все это для того, чтобы иногда, ходя по своей комнатѣ, я могъ сказать себѣ съ совершенной увѣренностію: «я ихъ понимаю; я знаю, что такое пишется въ русской литературѣ; для меня вполне ясны: смыслъ, источникъ, глубочайшій корень этихъ писаній». Вы спросите меня:

что же такого сладкого и утѣшительнаго я нахожу въ этой мысли? Ужъ не гордость ли? Повѣрьте, что нѣтъ. Да и какая можетъ быть гордость въ томъ, что русскій человѣкъ понимаетъ русскія книги, при томъ книги, писанныя для огромнаго большинства читателей, для дамъ, для дѣвицъ? А я, вѣдь, человѣкъ давно бородатый и даже съ сѣдиною.

Нѣтъ, дѣло не въ гордости; если я добиваюсь полнаго и яснаго уразумѣнія русской литературы, то единственно для моего душевнаго спокойствія. Дѣло въ томъ, что эта литература вотъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ занимается предметомъ, который затрогиваетъ меня въ высокой степени. Именно, она постоянно ищетъ какихъ-то *новыхъ, старыхъ, живыхъ* мыслей, она постоянно увѣряетъ, что она находитъ такія мысли, что она обладаетъ ими вполнѣ, что она *затѣмъ* и существуетъ, чтобы проводить ихъ, развивать и *вкоренять* въ обществѣ. Посудите сами, какъ это раздражаетъ любопытство! Несмотря на то, что во всѣхъ этихъ мысляхъ я еще ни разу не нашелъ (при тщательномъ изслѣдованіи) ни новости, ни свѣжести, ни даже особой живости,—я до сихъ поръ не могу отдѣлаться отъ этой завлекательной игры. Несмотря на постоянныя разочарованія, я вотъ уже болѣе десяти лѣтъ хватаюсь съ жадностію за новыя книги и тотчасъ принимаюсь разыскивать, не явилась ли въ нихъ какая-нибудь новая, свѣжая, живая мысль? И до тѣхъ поръ я не успокоюсь, пока не дойду до полнаго убѣжденія, что все это мыльный пузырь, и что я тревожился понапрасну. Читали ли вы, напримѣръ, статью г. Алкандрова о Тургеневѣ? А я читалъ, именно потому, что въ одномъ журналѣ говорилось, будто въ этой статьѣ есть свѣжая мысль. Замѣтили ли вы, что г-жа Конради въ своихъ критическихъ приемахъ начинаетъ подражать г. Писареву? А я замѣтилъ. Читали ли вы...! Но, милостивый государь, мнѣ, наконецъ, совѣстно становится указывать, что я читаю, во что вникаю, на что трачу свое время и свои силы.

Но дѣло не въ одной раздраженной любознательности; русская литература затрогиваетъ сверхъ того и мое нравственное чувство. Невозможно выразить, съ какою самоувѣренностью, съ какимъ пророческимъ воодушевленіемъ выступали,

а многіе и до сихъ поръ выступаютъ у насъ съ проповѣдью новыхъ идей. Можно подумать, что они первые открыли различіе между добромъ и зломъ, что имъ выпала доля просвѣтить въ этомъ отношеніи родъ человѣческій. «Начнешь читать», говаривалъ одинъ изъ моихъ пріятелей—«и тотчасъ видишь, что авторъ обращается съ тобой, какъ съ дуракомъ; читаешь дальше,—и чувствуешь, что онъ считаетъ тебя не только дуракомъ, но и подлецомъ».

Вы знаете, къ чему повели эти заносчивыя наставленія, эти наглыя посягательства на человѣческое достоинство читателей. Они имѣли необыкновенный успѣхъ. Нашлось множество читателей, которые вполне подчинились впечатлѣнію, потеряли всякую вѣру въ себя и стали мало-по-малу считать себя дѣйствительно дураками и дѣйствительно подлецами. Они усумнились въ самыхъ простыхъ и, повидимому, натуральныхъ своихъ дѣйствіяхъ; они вдругъ, стали стыдиться своихъ всегдашнихъ мнѣній и своего образа жизни. Понятно, что отсюда произошло. Изъ дураковъ и подлецовъ они вдругъ пожелали сдѣлаться умниками и добродѣтельными,—и вы найдете теперь множество людей, которые вполне увѣрены, что они совершили надъ собой столь дивное и полезное для нашего отечества превращеніе. Они были прежде глупы, а теперь блистаютъ умомъ,—были прежде себялюбивы и малодушны, а теперь преисполнены великодушія и благородства.

Но что касается до меня, то дѣло происходило совершенно иначе. Представьте—едва смѣю высказать этотъ фактъ, безъ котораго мнѣ, однакоже, невозможно изъяснить свою мысль,—представьте, что я никогда не считалъ себя дуракомъ и подлецомъ. Прошу васъ понять меня, какъ слѣдуетъ. Конечно, случалось мнѣ говорить и дѣлать глупости, конечно, есть грѣхи на моей совѣсти; но потерять всякое самоуваженіе, почувствовать, что вплоть до настоящей минуты я разсуждалъ, какъ дуракъ и дѣйствовалъ, какъ подлецъ,—такого несчастія, благодареніе небу, я никогда не испытывалъ.

Вы понимаете теперь, въ какой разладъ я пришелъ съ нашею литературой. Когда ко мнѣ обращаются съ такою нахальною рѣчью, какъ-будто я ровно ничего не знаю и не

умѣю разобрать, что хорошо и что дурно,—то, несмотря на всю свою скромность, я не могу воздержаться отъ нѣкотораго волненія. Скажу откровенно—меня немножко злитъ это непомѣрное самодовольство и самовозношеніе. Вотъ почему для меня составляетъ нѣкоторое удовольствіе—добратъся до корня этихъ ярыхъ нравоученій, вотъ почему я и радуюсь, когда найду мѣсто, обличающее тѣхъ, кто такъ гордо признаетъ себя свѣтильниками правды и добра. Мнѣ пріятно видѣть, что гордость и легкомысліе наказываютъ сами себя, что истинная нравственная чистота (какъ тому и подобаетъ) не мирится съ ними; я убѣждаюсь, что все идетъ надлежащимъ образомъ, что вѣчные законы души человѣческой соблюдаются,—и успокаиваюсь.

Таковы странныя и, по правдѣ сказать, почти безполезныя какъ для ума, такъ и для сердца занятія, которымъ я предаюсь по своему пристрастію къ нашей литературѣ. По счастью, не всѣ мои изслѣдованія безплодны,—и если я рѣшился писать къ вамъ, то лишь потому, что, какъ вы сейчасъ увидите, я встрѣтилъ нѣчто, можетъ быть, не совсѣмъ недостойное вашего вниманія.

Вы понимаете, что я говорилъ до сихъ поръ не обо всей нашей литературѣ, а только объ одной ея части, о той, которая у насъ всего больше процвѣтаетъ, имѣетъ наибольшее число органовъ и составляетъ пищу главной массы читателей.

Но не думаете ли вы, что объ остальной, такъ сказать, болѣе правильной и спокойной части нашей литературы можно судить безъ особыхъ затрудненій,—что она допускаетъ простое и ясное пониманіе? Вы жестоко ошибаетесь; по моему мнѣнію, эта часть литературы требуетъ еще большихъ, еще напряженнѣйшихъ усилій. Она такъ темна, такъ тревожна, воодушевлена такими глубокими и неопредѣленными стремленіями, порождаетъ свои произведенія съ такими болями и муками, что передъ нею ничего не значатъ всѣ шалости новыхъ идей, обыкновенно отличающіяся соблазнительною ясностію. Вообще русскую литературу я считаю однимъ изъ самыхъ непонятныхъ явленій, какія только есть на свѣтѣ.

Хотите доказательства? Возьмите появленіе «Войны и Мира». Какое неожиданное, ошеломляющее впечатлѣніе! Кто

былъ готовъ къ этому произведенію? Кто понялъ его, какъ слѣдуетъ? Не говорю о вашемъ журналѣ, о которомъ можно сказать, по крайней мѣрѣ, что онъ не посрамилъ себя въ этомъ случаѣ. Но какъ осрамились другіе! Съ одной стороны, великое произведеніе гр. Л. Н. Толстого подобно нѣкоторой бомбѣ обрушилось въ нигилистическій муравейникъ—и этотъ муравейникъ до сихъ поръ не можетъ прійти въ себя, не постигая, что за предметъ ихъ давить, и не имѣя возможности ни обозрѣть этотъ предметъ своими крошечными глазами, ни искушать его своими крошечными челюстями. Съ другой стороны, такой заслуженный журналъ, какъ «Русскій Вѣстникъ», не только не сумѣлъ въ этомъ случаѣ побѣдить свое обыкновенное равнодушіе и высокомеріе относительно русской литературы, но даже — *credite posteris!* — ничего лучшаго не нашелъ сказать по поводу «Войны и Мира», какъ обвинить гр. Л. Н. Толстого въ какомъ-то «историческомъ нигилизмѣ!» Чего же вамъ больше подобной сумятицы!

Возьму другой случай, который собственно я и хочу разобрать въ этомъ письмѣ. Припомните то недоумѣніе, которое возбудилъ «Дымъ» г. Тургенева, припомните до сихъ поръ продолжающіеся толки объ этой повѣсти. Какая туча недоразумѣній! Какое глубокое непониманіе писателя, давно любимаго! Кончилось дѣло тѣмъ, что читатели вознегодовали на автора, и авторъ возропталъ на свою судьбу, утверждая, что карьера писателя вовсе не можетъ быть названа карьерою, такъ какъ при каждомъ новомъ произведеніи самый знаменитый авторъ испытываетъ тѣ же непріятности, какъ и новичекъ, въ первый разъ появляющійся на литературномъ поприщѣ *).

Вотъ этотъ-то горестный случай былъ моимъ истиннымъ торжествомъ, милостивый государь, былъ одною изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ въ моей жизни. Оказалось, что я недаромъ трудился, что есть хоть какой-нибудь прокъ въ моихъ плачевныхъ занятіяхъ. Именно, я убѣдился, что я понимаю Тургенева, что я его совершенно понимаю, и что для

*) См. «Дымъ», отдѣльное изданіе, предисловіе. Это предисловіе не перепечатано въ собраніи сочиненій Тургенева.

меня не существуетъ тѣхъ недоумѣній, съ которыми возятъся другіе.

Притомъ, — не лестное ли обстоятельство? — оказалось, что я его понимаю давно и что давно напечаталъ, какъ слѣдуетъ его понимать. Слѣдовательно, не можетъ быть и сомнѣнія въ моей проникательности. Не угодно ли прочесть? Когда поднялся шумъ и гвалтъ изъ-за романа «Отцы и Дѣти», я тогда же написалъ слѣдующее:

«За что раздаются эти нескончаемые упреки, за что сыплются на Тургенева эти безчисленные обиды, за что чуть ли не ежедневно порицается онъ не въ одномъ, такъ въ другомъ мѣстѣ? Все это за то, что самъ онъ забравалъ Базарова, — что въ своемъ послѣднемъ романѣ онъ развѣнчалъ и казнилъ его. До этого романа Тургеневъ былъ предметомъ всеобщаго почтенія, считался первымъ русскимъ литераторомъ: впечатлительные люди изъ его знакомыхъ часто видали его во снѣ*), и въ цѣлой литературѣ онъ не встрѣчалъ ни одного враждебнаго голоса».

«Что же такое случилось? Что такое сдѣлалъ Тургеневъ? Пересталъ онъ что-ли быть прежнимъ Тургеневымъ? Измѣнилъ самому собѣ? Сталъ признавать то, что прежде отвергалъ, и осуждать то, что прежде хвалилъ?»

«Нисколько и ничуть не бывало. Конечно, онъ разоблачилъ, развѣнчалъ и казнилъ Базарова; но наша критика была, значить, совершенно слѣпа, если не замѣчала, что онъ занимается подобными дѣлами давно, — что развѣнчиваніе и казнѣ разныхъ представителей составляетъ даже главное его занятіе. Передовой человѣкъ, носитель думъ поколѣнія — составляетъ постоянную тему его созданій, и несостоятельность передового человѣка — постоянный выводъ, который въ нихъ таится. Тургеневъ казнилъ иногда даже жестоко, безчеловѣчно: вспомните «Гамлета Щигровскаго» уѣзда; вѣдь, этотъ юноша былъ также передовымъ человекомъ въ Москвѣ, былъ ораторомъ и звѣздой тамошнихъ

*) Намекъ на одно совершенно забытое дѣло, на письмо г. Некрасова къ г. Тургеневу, въ которомъ писемъ редакторъ «Современника», если не ошибаемся, убѣждалъ г. Тургенева отдать въ этотъ журналъ романъ, «Отцы и Дѣти». См. «С.-Петербург. Вѣдом.» 1863 года.

«кружковъ. Другіе были казнены мягче, но все-таки казнены. «Одинъ за другимъ были разоблачены и сведены съ пьедесталовъ: и *Веретъевъ* — сильная натура, и *Рудинъ* — энтузіастъ, и *Инсаровъ* — человѣкъ дѣла; та же судьба, наконецъ, постигла и *Базарова*. Съ напряженнымъ вниманіемъ Тургеневъ всматривается въ эти типы, но, по страшной силѣ своего анализа и изумительной тонкости пониманія, онъ не можетъ на нихъ успокоиться и развѣнчиваетъ ихъ одного за другимъ. Онъ постоянно не увлеченъ до конца, постоянно смотритъ скептически».

«Если же такъ, то какъ же могло случиться, что послѣднее его дѣло, послѣдняя казнь, совершенная надъ послѣднимъ героемъ, показалась какою-то удивительною новостью? Кто могъ быть до того ослѣпленъ, чтобы ожидать пощады отъ такого пронизательнаго человѣка? Кто могъ быть до того простодушенъ и самодоволенъ, что ожидать похвалы отъ Тургенева? Нечего сказать, куда какъ пристало Тургеневу — расточать похвалы! Ждите отъ него восклицаній — скоро дождетесь!»

«Есть, конечно, вещи, которыя хвалить Тургеневъ, но всякій долженъ бы давно уже замѣтить, что это за вещи. Онъ чутокъ къ красотамъ природы; онъ восхищается лѣсомъ, лугомъ, рѣкою, и притомъ съ удивительнымъ мастерствомъ умѣетъ рисовать *нашу* природу, «эту бѣдную природу». Въ человѣческомъ же мірѣ онъ съ невозмутимою любовью останавливается на томъ, что попроще, — на томъ, что прежде называлось «непосредственнымъ»; онъ любитъ на какого-нибудь Касьяна съ Красивой Мечи, на какую-нибудь глупенькую Оеничку, на старушку-мать Базарова... Но, какъ скоро дѣло идетъ о представителѣ, о человѣкѣ развитомъ и передовомъ, — на сочувствіи и любви дѣло не останавливается; мирныя отношенія начинаютъ колебаться, Тургеневъ вдумывается, разлагаетъ, анализируетъ и кончаетъ тѣмъ, что осуждаетъ».

«По поводу матери Базарова, наша критика со злобою укорила поэта, зачѣмъ онъ похвалилъ эту женщину. Что же дѣлать! Похвала не вамъ досталась — и Богъ знаетъ, когда еще достанется. Вы думаете, я говорю о Тургеневѣ?

«Вовсе нѣтъ; я говорю о поэзіи; не скоро вы дождетесь, чтобы поэзія возвела васъ въ свѣтлый идеалъ».

«Въ самомъ дѣлѣ, что же значить вся эта дѣятельность Тургенева? Ужъ нѣтъ ли тутъ умышленной вражды къ прогрессу? Ужъ не пишетъ ли онъ своихъ романовъ съ заднею мыслью? Не осуждаетъ ли своихъ героевъ нарочно, «алонамѣренно? Какое странное предположеніе! Нѣтъ, не такъ дѣлаются поэтическія дѣла; невозможно ихъ объяснять такимъ образомъ. Поэты менѣе властны надъ собою, чѣмъ другіе люди; они могутъ создавать только то, что вытекаетъ изъ самой глубины ихъ души, въ чемъ они участвуютъ цѣлымъ своимъ существомъ; нарочно они ничего *поэтическаго* произвести не могутъ. И на Тургеневѣ, какъ на истинномъ поэтѣ, это подтверждается наяснѣйшимъ образомъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, на то, какъ онъ относится къ своимъ героямъ. Если онъ привязывается къ нимъ съ такимъ настойчивымъ вниманіемъ, то это прямо зависитъ отъ его расположенія любить ихъ и вѣрить въ нихъ. И онъ, дѣйствительно, иногда успѣвалъ обмануть себя до того, что вѣрилъ въ нихъ,—вѣдь, онъ явно вѣрилъ въ своего Инсарова. Онъ, дѣйствительно, любитъ своихъ героевъ; это совершенно ясно въ отношеніи къ Рудину и замѣтно даже въ отношеніи къ Базарову. Но что же выходитъ? Страшная сила анализа и изумительная тонкость пониманія не даютъ примиренія поэту и идутъ на переکورъ его симпатіи: онъ постоянно одерживаютъ верхъ— и за ними остается послѣднее слово, окончательный приговоръ. Вспомните, въ самомъ дѣлѣ, Рудина; вѣдь, Тургеневъ самъ не свой, вѣдь, онъ чуть не плачетъ, разоблачивъ и развѣнчавъ эту любимую фигуру. Но не быть искреннимъ и правдивымъ настоящимъ поэтъ не можетъ,—и вотъ онъ, хоть и плачетъ, а казнитъ своего героя. Нѣчто подобное было и съ Базаровымъ. Скажу болѣе: даже и «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда», мнѣ кажется, не обошелся поэту безъ нѣкоторой боли».

«Если же мы убѣдимся въ этомъ (а, кажется, это ясно), то мы увидимъ, что *Тургеневъ есть одинъ изъ людей, наиболѣе болѣющихъ своими вѣкомъ, что онъ представитель и выразитель одной изъ глубочайшихъ сторонъ нашей*

«жизни. Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ до страсти, до болѣзни увлеченный идеею прогресса. Онъ слѣдитъ за нею со всею зоркостью своего поэтическаго ума; онъ безпрестанно ищетъ, онъ ждетъ съ минуты на минуту—вотъ—вотъ эта идея воплотится, вотъ она приметъ живыя черты. Но, пожираемый желаніемъ видѣть свой идеаль въ дѣйствительности, поэтъ въ то же время полонъ безпощаднаго анализа и самаго пронзительнаго скептицизма. Имъ обладаетъ въ высшей степени тотъ бѣсъ, о которомъ одинъ изъ критиковъ говоритъ въ шуточныхъ стихахъ, намекаящихъ, впрочемъ, на серьезныя мысли:

«Бѣсъ отрицанья, бѣсъ сомнѣнья,
«Бѣсъ, отвергающій прогрессъ».

«Многіе радостно подчинялись этому бѣсу и усердно одобряли все, что совершалось по его внушеніямъ. Но когда этотъ самый бѣсъ внушилъ Тургеневу коснуться и этихъ многихъ, тогда они вдругъ стали уверять, что у насъ есть прогрессъ, котораго нельзя отвергать, котораго никакой бѣсъ не смѣетъ подвергать отрицанію и въ которомъ сомнѣваться—сущее святотатство...»

«И оказалось, слѣдовательно, то, что давно извѣстно: сомнѣніе для людей трудно и невыносимо; для нихъ легче и пріятнѣе вѣра; скептицизмъ у нихъ только на губахъ, въ сердцахъ же, навѣрное, поклоненіе не тѣмъ, такъ другимъ идоламъ».

«Во всякомъ случаѣ, нельзя не признать крайне забавнымъ то, что наша критика такъ поздно спокватилась отъносительно Тургенева. Занятая разными важными предметами, она только тутъ, только въ послѣднемъ романѣ увидѣла, что онъ—человѣкъ вольнодумный, дерзкій, неуважительный. Между тѣмъ, онъ всегда былъ такой, онъ постоянно отличался самымъ яркимъ вольнодумствомъ. Какъ же можно было не замѣчать этого такъ долго?» («Время» 1863, № 2).

Ну что скажете, милостивый государь? Не правда ли, что мною совершенно вѣрно указана одна изъ главныхъ чертъ таланта г. Тургенева? Не правда ли, что мои слова мо-

жно вполне примѣнить и къ «Дыму»? Не та же ли это исторія? Г. Тургеневъ скептически отнесся къ нашему новому прогрессу,—къ тому направленію, лозунгомъ котораго стала *народность*,—и мы разсердились на него, какъ-будто не знали свойствъ его таланта. Нѣкогда, когда на первомъ планѣ стоялъ нигилизмъ, Тургеневъ не преклонился передъ нимъ, а напротивъ—назвалъ его по имени и разоблачилъ его. Теперь другія времена. 1'. Тургеневъ, въ силу своей изумительной чуткости, хорошо видитъ, что наиболѣе значительное явленіе въ нашей умственной жизни за послѣдніе годы есть поворотъ къ народности. И къ этому явленію онъ отнесся точно такъ же, какъ и ко всѣмъ другимъ; онъ пытался разоблачить и развѣнчать его.

Многіе упрекали г. Тургенева въ измѣнчивости,--въ томъ, что онъ подчинялся всѣмъ колебаніямъ и волненіямъ нашего умственнаго движенія; вы видите, какъ это несправедливо. Въ сущности, онъ всегда оставался однимъ и тѣмъ же; въ сущности, онъ никогда ничему не отдавался до конца и всегда относился отрицательно къ тѣмъ самымъ явленіямъ, къ которымъ, повидимому, питалъ такой живой и чуткій интересъ. Такова его натура, такова существенная черта его умственнаго настроенія, подъ вліяніемъ которой работаетъ его талантъ. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣло совершается здѣсь искренно и серіозно. Тургеневъ, какъ подобаетъ всякому истинному поэту, обнаруживаетъ въ своихъ произведеніяхъ свою душу. Давно уже намъ слѣдовало бы это понять; давно уже намъ слѣдовало бы не ждать отъ него того, чего онъ дать не можетъ.

Вотъ, милостивый государь, понятіе о дѣятельности Тургенева, которое я уже давно себѣ составилъ, но которое, конечно, вслѣдствіе слабости моихъ силъ и дарованій, или забыто читателями, или осталось имъ вовсе неизвѣстнымъ. Буду весьма вамъ благодаренъ, если вы напечатаніемъ настоящаго письма распространите въ читающей публикѣ эти соображенія, касающіяся столь немаловажныхъ предметовъ.

7-го сентября.

Н. Косица.

(Заря 1869, сентябрь).

ЕЩЕ ЗА ТУРГЕНЕВА.

(Письмо въ редакцію «Зари» по поводу выхода перваго тома его сочиненій *).

Пишу къ вамъ, милостивый государь, весьма грустный и печальный. Я уже не вполне доволенъ быть тѣми замѣчаніями, которыми сопровождается въ сентябрьской книжкѣ «Зари» мое послѣднее письмо; мнѣ былъ не по душѣ тотъ рѣзкій и черезчуръ опредѣленный вопросъ, который задавала себѣ «Заря»: что такое г. Тургеневъ, западникъ или славянофилъ? По свойственному людямъ самолюбію я полагалъ, что высказать свое мнѣніе о г. Тургеневѣ вполне ясно, что по самому существу дѣла его нельзя признавать ни западникомъ, ни славянофиломъ, и что всѣ достоинства его славной дѣятельности заключаются не въ какихъ-либо опредѣленныхъ мнѣніяхъ и стремленіяхъ, а въ той *поэтической правдѣ*, которая не давала ему фальшивить ни въ какомъ случаѣ, ни передъ какими явленіями. Насколько Тургеневъ поэтъ, настолько онъ правъ вездѣ и во всемъ,—ибо поэзія есть правда. Вотъ, милостивый государь, какую простую и давнишнюю истину я рѣшился примѣнить къ Тургеневу; вотъ съ какой точки зрѣнія, какъ мнѣ казалось, слѣдовало судить его. Поэтовъ нельзя подводить подъ готовые формулы извѣ-

*) Вотъ полное заглавіе этого изданія: *Сочиненія И. О. Тургенева (1844—1868)*. Изданіе братьевъ Салазевыхъ. Москва. Тип. Грачева. Семь томовъ. Т. II и IV. 1868. Томы I, III, V, VI и VII. 1869. При первомъ томѣ портретъ автора.

стныхъ ученій, раздѣляющихъ на враждебные лагери нашу литературу; поэты не могутъ быть слугами и нособниками опредѣленнаго литературнаго лагеря; мѣсто ихъ выше и почетнѣе: изъ нихъ всѣ должны черпать поученіе и отъ нихъ ожидать откровеній, озаряющихъ смыслъ жизни.

Такъ я думалъ, милостивый государь, и такъ мысленно возражалъ на то мѣсто «Зари», гдѣ прямо сказано, что Тургеневъ есть западникъ. Но вскорѣ меня ожидалъ ударъ несравненно болѣе тяжкій и чувствительный. Явился, наконецъ, первый томъ новаго изданія сочиненій Тургенева, а въ немъ явились тѣ «Литературныя воспоминанія» г. Тургенева, которыхъ такъ давно ждали, и отрывокъ изъ которыхъ былъ напечатанъ въ «Вѣстникѣ Европы». Съ величайшей жадностію я прочелъ это новое произведеніе знаменитаго нашего писателя—и былъ потрясенъ имъ до глубины души. Г. Тургеневъ излагаетъ тутъ мнѣніе о своей дѣятельности, повидимому, глубоко различающееся отъ того, которое я изложилъ.

Кто бы могъ подумать? Кто могъ этого ожидать? Г. Тургеневъ объявляетъ, что онъ всегда былъ и теперь остается западникомъ (см. стр. IX), что ученіе славянофиловъ онъ признаетъ ложнымъ и бесплоднымъ (см. стр. XCIII). Этого мало. Говоря о томъ, какъ создались у него «Отцы и Дѣти», г. Тургеневъ всячески увѣряетъ и доказываетъ, что онъ сочувствовалъ Базарову, и почти раскисается, что изобразилъ его слишкомъ объективно. «Это многихъ обидо съ толку»,—говоритъ онъ,—«и кто знаетъ! въ этомъ была—быть можетъ—если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ, по крайней мѣрѣ, столько же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы» (стр. XCV).

Но и этого мало. Приводя замѣчаніе одной дамы, которая, по прочтеніи «Отцовъ и Дѣтей», сказала ему: *вы сами нигилисты*, г. Тургеневъ говоритъ: «не берусь возражать; быть можетъ, эта дама и правду сказала» (стр. XCVI). Наконецъ, и этого мало. Г. Тургеневъ прямо объявляетъ, что «за исключеніемъ возрѣвѣвшаго Базарова на художество» онъ, г. Тургеневъ, «почти раздѣляетъ всѣ его убѣжденія» (стр. XCIV).

«Вѣроятно», пишетъ г. Тургеневъ, «многіе изъ моихъ

читателей удивятся, если я имъ это скажу». Еще бы не удивиться! Еще бы не прійти въ крайнее изумленіе! Тургеневъ — нигилистъ! Тургеневъ раздѣляетъ убѣжденія Базарова! Да что же можетъ быть удивительнѣе подобной новости? Не затѣмъ ли она и написана, не затѣмъ ли и напечатана въ десяти тысячахъ экземпляровъ, во главѣ полнаго собранія его сочиненій, чтобы произвести какъ можно больше удивленія, чтобы оглушить, поразить, раздавить читателей?

А я-то, я-то, несчастный! Не я ли проповѣдывалъ о Тургеневѣ самое высокое мнѣніе, расточалъ ему тончайшія похвалы и заносился въ самыя выспреннія соображенія, толкуя о его твореніяхъ? Не я ли говорилъ, что Тургеневъ постоянно развѣнчиваетъ своихъ героевъ въ силу своей неподкупной поэтической искренности и правдивости, которая ясно показываетъ ему, что эти герои со всѣми своими притязаніями далеко не воплощаютъ въ себѣ идеала человеческой жизни? Не я ли по этому случаю распространялся о «страшной силѣ анализа и изумительной тонкости пониманія», свойственной Тургеневу, о томъ, что онъ «полонъ безпощаднаго анализа и самаго пронзительнаго скептицизма?»

И вдругъ оказывается, что эта поэтическая зоркость, о которой я мечталъ, эти чудеса проникательности и мѣткости, что все это — моя выдумка, что Тургеневъ есть, просто, нигилистъ, да притомъ и не самаго высокаго разбора, не изъ чистыхъ, а изъ, такъ называемыхъ, *пестрыхъ нигилистовъ*, которые, напримѣръ, любятъ искусство, или во время грозы читаютъ «Отче нашъ», не замѣчая, что подобными склонностями и дѣйствіями противорѣчатъ своимъ началамъ. Какое для меня посрамленіе! Какой тяжкій ударъ для моей репутаціи любителя русской литературы и скромнаго, но безукоризненнаго и безошибочнаго истолкователя ея произведеній!

Признаюсь вамъ, что я былъ почти испуганъ столь неожиданнымъ, столь рѣзкимъ оборотомъ дѣла, и только по-немногу сталъ приходить въ себя и собираться съ мыслями. Вообще замѣчу, что, несмотря на волненіе, съ которымъ я слѣжу за всякими подвигами и переворотами русской литературы, я очень упоренъ въ своихъ мнѣніяхъ, и живость

моихъ впечатлѣній не должна внушать мысли о какой-либо шаткости въ моихъ убѣжденіяхъ. Я сталъ понемножку размышлять, сравнивать, наведъ кой-какія справки, и вотъ результаты, до которыхъ я достигнулъ.

Возьмемъ сначала то, что говоритъ г. Тургеневъ о своей любви къ Базарову, о томъ, что онъ отнесся къ выведенному въ этомъ лицѣ типу «не только безъ предубѣжденія, а также съ сочувствіемъ» (стр. XCII). Невозможно представить, какъ тщательно и подробно г. Тургеневъ доказываетъ это. Онъ ссылается на самые различные и неопровержимые документы.

1) На свой дневникъ: 30 іюля (должно быть 1861 года) въ немъ было записано: *«Современникъ, вѣроятно, обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова—и не повѣритъ, что во все время писанія я чувствовалъ къ нему невольное влеченіе»* (стр. XCII).

2) На нѣмецкую газету (Vossische Zeitung, 10. Juni *), гдѣ было сказано о Базаровѣ: *«всякій новѣйшій радикалъ съ чувствомъ радостнаго удовольствія признаетъ изображеніе свое и своихъ единомышленниковъ въ такомъ гордомъ образѣ, одаренномъ такою силою характера и такою полною независимостію отъ всего мелкаго, пошлаго, вялаго и ложнаго»* (стр. XCIV).

3) На даму, слова которой мы приводили.

4) На письмо какого-то мужчины, который писалъ г. Тургеневу: *«вы ползаете у ногъ Базарова! вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки»* (стр. XCVI).

5) На письмо Каткова, который, получивъ рукопись г. Тургенева, писалъ ему: *«Если и не въ апофеозу возведенъ Базаровъ, то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ, дѣйствительно, не-*

*) Какого года—неизвѣстно. Г. Тургеневъ въ своемъ волненіи указалъ даже отдѣлъ и страницу, Zweite Beilage, Seite 3, но годъ забылъ указать. Впрочемъ, любопытные могутъ добраться до этой важной даты по слѣдующему признаку: г. Тургеневъ не забылъ упомянуть, что 10 іюня было Donnerstag, т. е. четвергъ.

«давить все окружающее. Все передъ нимъ или ветошь, или слабо и зелено. *Такого ли впечатлѣнія нужно было «ожелать?»* (стр. ХСVII). Каткову, очевидно, и въ голову не могло прийти, что г. Тургеневъ втайнѣ придерживается нигилизма и вовсе не намѣренъ его осуждать.

Итакъ, впечатлѣнія, испытанныя дамами и мужчинами, свидѣтельство собственнаго дневника автора, сужденія писателей отечественныхъ и иностранныхъ—все доказываетъ, что г. Тургеневъ написалъ «Отцовъ и Дѣтей» безъ всякаго злого умысла, безъ малѣйшей коварной мысли. Оправданіе полное и блистательное! Г. Тургеневъ можетъ надѣяться, что теперь самые упрямые и задорные нигилисты признаютъ его совершенную невинность и, наконецъ, сознаются, какъ жестоко и несправедливо они поступили съ писателемъ, столь сочувственно отнесшимся къ ихъ мнѣніямъ, питавшимъ *несвольное влеченіе*, родъ недуга къ Базарову.

Но, милостивый государь, не одни нигилисты будутъ торжествовать по поводу этихъ неожиданныхъ открытій; я тоже торжествую, я тоже могу счесть первый томъ Тургенева за одяу изъ самыхъ славныхъ своихъ побѣдъ. Припомните, въ самомъ дѣлѣ, что я вамъ писалъ. Не говорилъ ли я вамъ развѣ о постоянной нѣжности, которую питаетъ къ своимъ героямъ г. Тургеневъ? Не говорилъ ли я о томъ, что онъ постоянно расположенъ любить ихъ и вѣрить въ нихъ? Его герои суть его любимцы, предметы его поклоненія. Я утверждалъ, что если онъ ихъ казнить и развѣнчиваетъ, то дѣлаетъ это только въ силу высшихъ требованій, во исполненіе своего высокаго служенія поэту, такъ что подобныя жертвы, приносимыя имъ на алтарѣ правды, даже обходятся ему не безъ нѣкотораго страданія, не безъ тяжкаго чувства, вызываемаго борьбою со своими симпатіями. «Даже *Гамлетъ Штирковского утѣда*», смѣло восклицалъ я, «не обошелся, мнѣ кажется, поэту безъ нѣкоторой боли».

Итакъ, я никогда не отрицалъ сочувствія г. Тургенева къ мнѣніямъ и характерамъ его героев! я, напротивъ, настаивалъ на живости и глубинѣ этого сочувствія, и думалъ только въ своемъ простодушіи, что нашъ знаменитый писатель болѣе свободно относится къ своимъ твореніямъ, что

онъ, какъ это бываетъ съ поэтами, умѣетъ подниматься въ сферу идей и воззрѣній, стоящую выше уровня его героевъ, что онъ глядитъ на изображаемыхъ имъ явленія съ нѣкоторой поэтической высоты, съ которой они открываются ему въ своемъ истинномъ свѣтѣ и въ своихъ надлежащихъ размѣрахъ. И вдругъ—какое разочарованіе! Оказывается, что ничего подобнаго нѣтъ у Тургенева, что онъ, напротивъ, влагаетъ героямъ свои собственные мысли и чувства, что онъ не въ силахъ отдѣлиться отъ своихъ созданій и сливается съ ними въ своемъ настроеніи и міросозерпаніи.

Если бы это было сполнѣ справедливо, то я, конечно, долженъ бы былъ признаться въ глубокой ошибкѣ относительно Тургенева. Но, несмотря на собственные его завѣренія, я, кажется, имѣю нѣкоторое право не признавать себя обманеннымъ. Поэтамъ не всегда слѣдуетъ вѣрить, когда они принимаютъ сами истолковывать свои творенія. Тутъ возможны всякаго рода самообманыванія, для которыхъ нѣтъ причинъ у человѣка посторонняго и обсуждающаго дѣла съ хладнокровіемъ и безъ торопливости, какъ, напримѣръ, дѣлаю это я. Обратите вниманіе, милостивый государь, на то, какія жестокия слѣдствія можно вывести, если мы повѣримъ г. Тургеневу безпрекословно, если признаемъ, что онъ отождествляетъ себя съ своими героями.

Можно, напримѣръ, сказать, что онъ напрасно думаетъ, что по своему душевному настроенію онъ всего ближе подходитъ или подходитъ къ Рудину, къ Инсарову, или къ Базарову. Если въ характерахъ и мнѣніяхъ героевъ Тургенева искать того лица, съ которымъ онъ имѣетъ наибольшее сходство, то безъ сомнѣнія это лицо есть Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Вотъ нѣкоторыя черты этого разительнаго сходства. Гамлетъ Щигровскаго уѣзда:

1. Былъ за границею для своего образованія,—тогда какъ Базаровъ не выѣзжалъ изъ Россіи.

2. Изучалъ Гегеля и знаетъ наизусть Гёте,—тогда какъ Базаровъ этихъ писателей презираетъ.

3. Пришелъ къ тому же отчаянію, какое выражается въ «Призракахъ», «Довольно» и пр.,—тогда какъ Базаровъ чуждъ подобныхъ слабостей.

4. Быть нѣкогда передовымъ человекомъ и оракуломъ молодыхъ кружковъ, но «не сумѣть удержаться на высотѣ своей славы», не сумѣть «спокойно переждать напасть», тогда какъ Базаровъ едва ли бы сплеховалъ въ этомъ случаѣ.

5. Умѣть превосходно описывать природу и житейскія сцены (см. описаніе вечеровъ у невѣсты и смерти жены), тогда какъ Базаровъ вовсе къ этому не расположенъ и не способенъ.

6. Заѣденъ рефлексіей, и пр. и пр.

Вотъ какую злобную параллель можно бы было сдѣлать, и сдѣлать не безъ основанія, если мы признаемъ, что Тургеневъ отражается въ своихъ герояхъ. Всякій безпристрастный читатель, я полагаю, согласится, что или самъ Тургеневъ вовсе не похожъ ни на Базарова, ни на Гамлета Щигровскаго уѣзда, или же онъ несравненно больше похожъ на этого Гамлета, чѣмъ на Базарова. Самъ г. Тургеневъ замѣчаетъ, что онъ не раздѣляетъ мнѣній Базарова объ искусствѣ. А развѣ это шутка или мелочь? Развѣ отрицаніе искусства не связано тѣснѣйшимъ образомъ съ другими убѣжденіями Базарова? Развѣ можно быть нигилистомъ, какъ объявляетъ себя г. Тургеневъ, и не отрицать искусства? Посмотрите при этомъ на то, какъ странны и нерѣшительны выраженія, въ которыхъ г. Тургеневъ заявляетъ свое сочувствіе нигилизму. Въ дневникѣ онъ замѣчаетъ, что чувствуетъ къ Базарову *несколько* влеченіе. Отъ невольнаго влеченія до сознательнаго сочувствія очень далеко. Дама назвала г. Тургенева нигилистомъ: *можетъ быть*, говоритъ славный авторъ «Отцовъ и Дѣтей», *она и правду сказала*. Если правду, то кому же это ближе знать, какъ не г. Тургеневу. Затѣмъ тутъ *можетъ быть*? Говоря о томъ, что, по его милости, Базаровскій тигъ уже не могъ быть идеализированъ, нашъ загадочный писатель выражаетъ о томъ свое сожалѣніе весьма загадочнымъ образомъ. «Кто знаетъ»,—говоритъ онъ,—«въ этомъ была—быть можетъ—если не ошибка, то несправедливость». Вотъ тутъ и разбирайте! Была, можетъ быть, ошибка, а, можетъ быть, ея и не было; но если ошибки и не было, то, можетъ быть, было хуже ошибки—несправедливость; а

кто все это знает и может разрешить, о томъ ничего неизвѣстно.

Итакъ, несмотря на все желаніе г. Тургенева выставить себя нигилистомъ и записаться въ послѣдователи лица, созданнаго имъ самимъ и, по давнишнему замѣчанію, гораздо болѣе умнаго, чѣмъ тѣ юноши, съ которыхъ это лицо списано, я принимаю на себя смѣлость — отказать г. Тургеневу въ его притязаніяхъ. Въ виду опасности, грозящей общему дѣлу литературы, въ виду соблазна, могущаго увлечь собою, можетъ быть, многихъ неопытныхъ и малосвѣдущихъ читателей, я рѣшаюсь защищать г. Тургенева противъ него самого, я хотѣлъ бы доказать, что тотъ пестрый нигилизмъ, который онъ теперь исповѣдуетъ, нисколько не согласуется съ его поэтической дѣятельностью, что заслуги и смыслъ этой дѣятельности гораздо выше, чѣмъ полагаетъ самъ г. Тургеневъ. Крайне прискорбно было бы, если бы имя нашего повѣствователя, занимавшаго столь долго первое мѣсто между отечественными писателями и стяжавшаго не малую славу и въ просвѣщенной Европѣ, перешло въ потомство съ такою злополучною памятью, что это былъ тайный нигилистъ, который въ сущности не вѣрилъ ни въ философію, ни въ исторію, ни въ народность, ни въ какіе общіе и частные авторитеты, который изъ всѣхъ наукъ уважалъ однѣ естественныя, который на любовь, на дружбу, на семейство, на красоты природы и вдохновенія искусства смотрѣлъ отнюдь не тѣмъ благоговѣйнымъ взглядомъ, какой свойственъ поэтамъ по нашему обыкновенному представленію. Этотъ нигилистъ сперва скрывалъ свои отчаянныя мнѣнія, прикидывался совершенно инымъ человекомъ, такъ что успѣлъ обмануть даже проищательнаго и наподкупнаго г. Каткова, думавшаго, что авторъ «Отцовъ и Дѣтей» искренно желаетъ совершенно иного впечатлѣнія, желаетъ въ своей повѣсти обличить и казнить нигилизмъ. Когда же повѣсть явилась на свѣтъ, когда множество юношей и во главѣ ихъ знаменитый молодой критикъ Писаревъ признали въ ней настоящій кодексъ своихъ мыслей и правилъ, когда нигилизмъ, нашедшій себѣ имя и выраженіе, распространился, укрѣпился и былъ истолкованъ читателямъ въ тысячѣ всякаго рода статей и критикъ, сло-

вомъ, когда произошло именно то *впечатлѣніе*, котораго Катковъ боялся и котораго втайнѣ добивался г. Тургеневъ, тогда маститый нигилистъ откровенно объявилъ, что онъ сыграть съ русскимъ обществомъ штуку и что онъ въ сущности раздѣляетъ мѣнія Базарова. Сѣдые безстыдники!... Я вспоминаю грозныя слова Каткова, еще недавно имъ произнесенныя относительно нѣкоторыхъ нигилистовъ: «А эти», говорилъ онъ, «сѣдые безстыдники, которые причисляютъ себя къ молодому поколѣнію, конечно, хорошо знаютъ, что они дѣлаютъ!» Вотъ какъ обманулся г. Катковъ, безъ сомнѣнія никогда не предполагавшій, что, произнося столь рѣзкое осужденіе, онъ можетъ хотя бы въ самой слабой степени коснуться этимъ осужденіемъ и своего бывшего сотрудника.

Нѣтъ,—оправдать г. Тургенева противъ его поклеповъ на самого себя, вывести его изъ столь безвыходнаго и по истинѣ жалостнаго положенія,—вотъ цѣль, которая, по моему мнѣнію, достойна самаго блестящаго и искуснаго пера, а не только моихъ слабыхъ силъ. Но честь отечественной литературы и моя неліцемерная любовь къ поэзіи такъ сильно вдохновляютъ меня, что я безъ всякаго колебанія рѣшаюсь на эту смѣлую попытку.

Давно уже я расхожусь съ г. Катковымъ въ нѣкоторыхъ своихъ воззрѣніяхъ на внутреннія наши дѣла. Именно, говоря о всякаго рода людяхъ, онъ чаще всего судитъ такъ, какъ я упоминалъ, то есть полагалъ, что они *знаютъ*, что они *дѣлаютъ*. Я же питаю болѣе мягкій взглядъ на человѣческія дѣйствія, именно полагаю, что совсѣмъ не такъ рѣдки случаи, когда люди сами хорошенько не знаютъ, что они дѣлаютъ. Это снисходительное воззрѣніе на человѣческіе поступки, мнѣ кажется, во всей своей силѣ можетъ быть приложено къ г. Тургеневу. По всей справедливости можно сказать, что, создавая «Отцевъ и Дѣтей», онъ самъ не зналъ, что дѣлаетъ, и такое убѣжденіе укрѣпится въ душѣ каждаго безпристрастнаго читателя по прочтеніи статьи г. Тургенева, озаглавленной: «по поводу Отцевъ и Дѣтей» (4-я глава «Литературныхъ воспоминаній»). Изъ всѣхъ объясненій, заключающихся въ этой статьѣ, слѣдуетъ, что авторъ до сихъ поръ не можетъ понять, виноватъ ли онъ или не виноватъ,

хорошее ли онъ сдѣлать дѣло или дурное, радоваться ему или печалиться? Онъ совершенно и *вполнѣ* не разумѣетъ, почему его романъ могъ быть принятъ за сатиру на молодое поколѣніе. Свои отношенія къ Базарову онъ объясняетъ слѣдующимъ непонятнымъ образомъ. «Эти отношенія», говоритъ онъ, «были свойства очень неопредѣленнаго: авторъ самъ не зналъ, любить ли онъ или нѣтъ выставляемый характеръ: ибо то «невольное влеченіе», о которомъ упоминается въ дневникѣ, — *не любовь*» (стр. ХCV). Такимъ образомъ, свой романъ г. Тургеневъ признаетъ неяснымъ, непонятнымъ, *сбивающимъ съ толку* (см. на той же страницѣ, строки 8 и 9). Но самъ онъ все-таки не виноватъ, а виноваты будто-бы другіе, какіе-то «спасители отечества», которые воспользовались словомъ *нигилистъ*, сдѣлали изъ этого слова орудіе доноса, клеймо позора и, такимъ образомъ, «обратили *Отцовъ и Дѣтей* въ предлогъ, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ» (стр. ХCVII). И вотъ какъ случилось, что, нисколько не желая мѣшать этому отрадному движенію, невинный поэтъ, не знавшій самъ, любить онъ или не любить Базарова, былъ обвиненъ въ ненависти къ этому типу и способствовалъ тому, что «общественное мнѣніе хлынуло обратной волной» и что *на его имя легла тѣнь, которая съ него не сойдетъ!* (стр. ХCVIII).

Смотрите, милостивый государь, смотрите, съ какою ясностію отсюда видно, что г. Тургеневъ и не подозреваетъ, какія страшныя вины онъ вводитъ на себя въ глазахъ нигилистовъ своими оправданіями. Онъ, изволите видѣть, не знаетъ, любить онъ или нѣтъ Базарова! Да не заключается ли уже въ этомъ жесточайшее преступленіе передъ тѣми, кто всею душою и всѣмъ сердцемъ преданъ нигилизму? Онъ — объективенъ, онъ равнодушенъ, онъ холоденъ, какъ ледъ — и еще удивляется, что люди, пламенно преданные извѣстному дѣлу, покрыли его презрѣніемъ и осыпали насмѣшками! Да какъ же могло быть иначе? Онъ сочувствуетъ втайнѣ, а явно насмѣхается; онъ въ душѣ исповѣдуетъ извѣстныя мнѣнія, а на дѣлѣ выставляетъ ихъ на общее обсужденіе и порицаніе, какъ что-то постороннее, ни мало ему не дорогое,

несколько до него не касающагося! кому и въ какомъ дѣлѣ можетъ быть пріятно, когда на васъ смотрятъ со стороны и съ высока? Только какой-нибудь наивный нѣмецъ могъ обмануться въ этомъ случаѣ, такъ какъ для него непонятна иронія и онъ сарказмы принимаетъ за чистую монету.

А откуда вся бѣда? Отчего все вышло? Оттого, что г. Тургеневъ занимается поэзіей, старается создавать поэтическія произведенія. Не лучший ли это примѣръ того, какъ вредна и опасна поэзія? Не ясно ли, что она приводитъ къ равнодушію въ самыхъ важныхъ дѣлахъ и вопросахъ? Не очевидно ли, что она только сбиваетъ съ толку и путаетъ и авторовъ и читателей? Не лучше ли было бы, если бы г. Тургеневъ пошелъ по слѣдамъ любимаго имъ критика Писарева и писалъ бы критическія и публицистическія статьи? Тогда бы мы давно знали его убѣжденія, никто бы не былъ сбитъ съ толку и никакой тѣни на его имени не легло бы, а, напротивъ, слава его была бы столь же чиста и безупречна, какъ слава Писарева и многихъ другихъ...

Между тѣмъ г. Тургеневъ упорствуетъ и, несмотря на ясное заявленіе своихъ убѣжденій, въ противность сознанію, что онъ принесъ вредъ русскому обществу, въ противность тому, что самъ же уличилъ себя въ глубочайшей винѣ—въ равнодушіи къ общественнымъ интересамъ, продолжаетъ настаивать, что онъ правъ, что можетъ считать себя не только невиннымъ, а даже полезнымъ писателемъ. Обративъ вниманіе на эти оправданія, и мы, какъ я надѣюсь, найдемъ въ нихъ точку опоры для разрѣшенія странныхъ противорѣчій, опутавшихъ собою нашего славнаго соотечественника.

... «Господа критики»,—пишетъ онъ,—«вообще не совсѣмъ вѣрно представляютъ себѣ то, что происходитъ въ душѣ автора, то, въ чемъ именно состоятъ его радости и горести, его стремленія, удачи и неудачи. Они, напримѣръ, и не подозреваютъ того наслажденія, о которомъ упоминаетъ Гоголь «и которое состоитъ въ казненіи самого себя, своихъ недостатковъ въ изображаемыхъ вымышленныхъ лицахъ»; они «вполнѣ убѣждены, что авторъ только и дѣлаетъ, что проводитъ свои идеи; не хотятъ вѣрить, что *точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни, есть* высо-

«чайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадаетъ съ его собственными симпатіями» (стр. ХСІІ).

«Я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правды-вымъ» (тамъ же).

«Совѣсть не упрекала меня: я хорошо зналъ, что я честно отнесся къ выведенному мною типу; я слишкомъ уважалъ призваніе художника, литератора, чтобы покривить душою въ такомъ дѣлѣ» (стр. ХСІІ).

Не правда ли, милостивый государь, что это другого рода рѣчи, которыя весьма пріятно слушать? Итакъ, есть нѣчто, что должно для поэта стоять выше его личныхъ симпатій, выше всякаго желанія провести ту или другую любимую идею. Это нѣчто, этотъ высшій авторитетъ, передъ которымъ все другое ничтожно, есть истина, поэтическая правда, есть та реальность жизни, противъ которой никогда не долженъ кривить душою художникъ. Художникъ, слѣдовательно, признаетъ для себя руководствомъ нѣчто недонятное и таинственное, независимое отъ его идей и убѣжденій, превышающее его разумъ, его частныя соображенія, нѣчто абсолютное, не нуждающееся ни въ какихъ оправданіяхъ, не пользу, не наслажденіе, не патріотизмъ, не общественное мнѣніе и т. д., а правду, благоговѣйное прониканіе въ то, чѣмъ и какъ обнаруживаетъ себя жизнь. Этотъ авторитетъ, широкій и неуловимый для не художническаго смысла, очевидно, освобождаетъ художника отъ всѣхъ другихъ авторитетовъ, даетъ ему полнѣйшую независимость отъ нихъ.

Въ такомъ смыслѣ, конечно, слѣдуетъ понимать и тѣ немногія, но краснорѣчивыя слова г. Тургенева, въ которыхъ онъ, нѣсколько далѣе, ратуетъ за художническую свободу. «Нигдѣ, говоритъ онъ, «такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи». «Можетъ ли человѣкъ *свѣтлѣе* вать, *уловлять* то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; недаромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ сонетѣ, который «каждый начинающій писатель долженъ вытвердить наизусть и помнить какъ заповѣдь—онъ сказалъ:

«Дорогою свободной

Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...»

«Безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ,—въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и «системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи,—не «мыслимъ истинный художникъ» (стр. ХСІХ и С).

Вотъ, милостивый государь, прекрасныя оправданія! Вотъ ссылка на права поэта самыя священныя, самыя непререкаемыя! И никакихъ другихъ ссылокъ, никакихъ другихъ оправданій намъ не нужно! Если поэтъ правъ передъ лицомъ поэзіи, то онъ правъ передъ всѣмъ, что есть хорошаго и высокаго на свѣтѣ; зачѣмъ же было пускаться въ унизительныя объясненія своей благонамѣренности относительно нигилизма? Зачѣмъ было толковать о своихъ идеяхъ и симпатіяхъ, когда поэтъ, по собственнымъ словамъ Тургенева, долженъ отрѣшиться отъ своихъ симпатій и остерегаться всякаго *проведенія идеи*.

Кажется мнѣ, что теперь дѣло начинается нѣсколько уясняться. Поэзія сыграла злую шутку съ г. Тургеневымъ, заставила его надѣлать вещей, которыхъ онъ самъ не понимаетъ, въ которыхъ готовъ раскаиваться и просить прощенія. Онъ теперь не знаетъ, что ему дѣлать,—держаться ли за поэзію и отказаться отъ своего нигилизма, или же держаться за нигилизмъ и отказаться отъ своей поэзіи. По нелогичности, вполне объясняемой затруднительностію столь сложныхъ обстоятельствъ, г. Тургеневъ не усмотрѣлъ необходимости выбрать одно изъ двухъ и, очевидно, волнуемый пламеннымъ желаніемъ оправдаться, ссылается въ одно время и на свой нигилизмъ и на свою поэзію. Какое униженіе для поэзіи!

Собственно говоря, эти «Литературныя воспоминанія», красующіяся во главѣ полного собранія сочиненій Тургенева, имѣютъ одну главную цѣль—доказать читателямъ, что авторъ есть искренній нигилистъ. Поэзія же, со всѣми ея высокими правами, служитъ только извиненіемъ въ тѣхъ безпокойствахъ и непріятностяхъ, которыя г. Тургеневъ надѣлалъ нигилистамъ. Извѣстно, напримѣръ, что лучшее произведеніе нашего автора есть «Дворянское Гнѣздо». Смыслъ этого пре-

краснаго романа, наиболѣе теплаго, наиболѣе поэтическаго изъ всѣхъ произведеній г. Тургенева—славянофильскій. Мы помнимъ, какъ нѣкогда проникательные люди радовались этому повороту въ воззрѣнiяхъ и симпатiяхъ поэта. Но что же оказывается? Г. Тургеневъ объявляетъ нынче, что самъ онъ тутъ нисколько не виноватъ, а виновата одна поэзія: онъ считаетъ нужнымъ поставить это читателямъ на видъ, чтобы кто-нибудь не подумалъ, что онъ сочувствуетъ тому, что тогда написалъ; словомъ, ради нигилизма онъ отрекается отъ лучшаго созданія своей поэзіи. «Я,—говоритъ онъ,—ко-ренной, неисправимый западникъ, и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Паншина (въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ») всѣ комическія и пошлыя стороны «западничества; я заставилъ славянофила Лаврецкаго «разбить «его на всѣхъ пунктахъ». «Почему я это сдѣлалъ—я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ и безплоднымъ? «Потому, что въ данномъ случаѣ такимъ именно образомъ, по моимъ понятіямъ, сложилась жизнь, а я «прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ» (стр. ХСІІІ).

Не грустное ли, не смѣшное ли зрѣлище представляетъ подобное оправданіе съ точки зрѣнія нигилизма? Западникъ вдругъ написалъ романъ въ славянофильскомъ духѣ,—и еще оправдывается! Опять повторимъ—не ясный ли это примѣръ того, какъ вредна поэзія? Два раза, какъ видно изъ словъ самого г. Тургенева, онъ самымъ непростительнымъ образомъ сбивалъ съ толку своихъ читателей; одинъ разъ онъ расточилъ самую глубокую симпатію на славянофила Лаврецкаго, на человѣка, душевное настроеніе котораго должно быть омерзительно для всякаго западника; другой разъ онъ равнодушно и скептически отнесся къ Базарову, къ человѣку, весь строй мысли котораго составляетъ лучшій цвѣтъ западнаго направленія. И послѣ этого онъ думаетъ еще оправдаться! Да пропадай ода вся поэзія со всѣми ея высокими претензіями, если она приводитъ къ подобнымъ медвѣжьимъ услугамъ обществу, развитію, молодому поколѣнію!

Нѣтъ, милостивый государь, ни въ какомъ случаѣ и

никакимъ образомъ не можетъ быть правъ Тургеневъ, если мы станемъ судить его по основаніямъ, на которыя онъ самъ ссылается. Посмотрите въ самомъ дѣлѣ:

Онъ виноватъ передъ своими убѣжденіями, которыя въ Базаровѣ вывалъ на общій судъ не какъ ихъ защитникъ и послѣдователь, а какъ дѣло для него чужое, какъ нѣчто сомнительное, дерзкое и дикое.

Онъ виноватъ передъ читателями, которыхъ дважды сбивалъ съ толку, «Дворянскимъ Гнѣздомъ» и «Отцами и Дѣтьми». Въ послѣднемъ случаѣ онъ успѣлъ отвести глаза даже столь проницательному человѣку, какъ г. Катковъ.

Онъ виноватъ передъ нашимъ прогрессомъ, такъ какъ снособствовалъ тому, что этотъ прогрессъ замедлился и пріостановился.

Онъ виноватъ передъ молодымъ поколѣніемъ, такъ какъ въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» выступилъ не его сторонникомъ, а его строгимъ судьей и хладнокровнымъ цѣнителемъ.

Онъ виноватъ, наконецъ, передъ поэзіею, такъ какъ въ «Воспоминаніяхъ» не умѣлъ постоять за ея священные права и сталъ прибѣгать къ другимъ оправданіямъ, отречься отъ мысли своихъ произведеній и увѣрять, что онъ больше дорожитъ своимъ нигилизмомъ, чѣмъ своею поэзіею.

Такъ что, милостивый государь, если я не вступлюсь за Тургенева противъ него самого, если я не покажу его истинныхъ заслугъ, то слава его, какъ мнѣ кажется, будетъ омрачена на вѣки, къ истинному прискорбію всѣхъ любителей отечественной литературы. Къ такой защитѣ я, наконецъ, и приступаю. Я полагаю, что о Тургеневѣ можно и необходимо судить съ иныхъ точекъ зрѣнія, и именно слѣдующимъ образомъ:

Не своими поэтическими произведеніями провинился передъ нами г. Тургеневъ, а развѣ всѣмъ тѣмъ, что у него является помимо поэзіи, напримѣръ, тѣми вставочными разсужденіями, которыми онъ наполнилъ «Дымъ», тѣми «Воспоминаніями», которыя лежатъ теперь передъ нами. Впрочемъ, и тутъ—какая вина? Себѣ самому, кажется, г. Тургеневъ повредилъ всего больше. Но вездѣ, гдѣ онъ оставался поэтомъ, онъ былъ правъ и чистъ и полезенъ. Итакъ, мы раз-

личаемъ Тургенева-мыслителя и Тургенева-художника. Для спасенія славы одного изъ нашихъ знаменитыхъ писателей нужно твердо держаться этого различія; ибо оказывается, что въ одномъ и томъ же человѣкѣ поэтъ и мыслитель могутъ приходить въ крайнее противорѣчiе. Въ настоящемъ случаѣ, какой разумный человѣкъ усумнится, что ради Тургенева-поэта намъ слѣдуетъ пожертвовать Тургеневымъ-мыслителемъ? Поэтъ онъ хорошій, но мыслитель... не составляющій украшенія нашей литературы. Въ немъ съ удивительною ясностью обнаружилось то явленіе, что поэзія даетъ людямъ проворливость и глубину, далеко превышающія силу ихъ разума. И потому, да будетъ поэзія прославлена во вѣки! Какъ же подивиться въ самомъ дѣлѣ тому, наприимѣръ, что сдѣлано Тургеневымъ? Если повѣрить его словамъ, то онъ все время былъ искреннимъ западникомъ; а между тѣмъ, чему онъ послужилъ своими произведеніями? Онъ безпрестанно казнилъ и развѣчивалъ западничество. Вслѣдствіе чудесной правдивости, свойственной поэзіи, выходило такъ, что явленія, передъ которыми онъ готовъ былъ преклониться, обнаруживали въ его произведеніяхъ свою истинную натуру, ту гнилость, которою они были поражены. Такъ случилось съ Базаровымъ. Да и съ однимъ ли Базаровымъ? Что такое всѣ семь томовъ Тургенева, законченные только-что вышедшимъ первымъ томомъ? Это пространнѣйшій *лазаретъ*, какъ выразился одинъ изъ моихъ знакомыхъ; это правдивая картина людей, искалѣченныхъ внутреннею-духовною болѣзнію. Мы видимъ передъ собою цѣлые ряды *мишихъ людей*, *Гамлетовъ*, *Рудиныхъ*, *Базаровыхъ*, то есть всевозможныхъ представителей нашего западничества послѣднихъ двадцати лѣтъ. Передъ нами происходитъ длинная комедія, повѣствующая объ ихъ жалкой участи, о слабости ихъ силъ и несостоятельности во всѣхъ дѣлахъ, начиная отъ любовныхъ. Это уныніе, этотъ внутренній разладъ и разрывъ съ окружающимъ міромъ, это отсутствіе прочныхъ и ясныхъ основъ жизни—все это болѣзненные черты, которыми отличались наши западники. И слѣдовательно, всѣми своими произведеніями г. Тургеневъ достигъ одного результата—изобразилъ наше западничество въ его истинномъ свѣтѣ и, слѣдовательно, казнилъ и развѣчивалъ его. Такова благотворная сила поэзіи!

Нынѣ г. Тургеневъ удивляется, почему его Базаровъ не нравится молодому поколѣнію. Что касается до меня, то я искренно готовъ радоваться за нашихъ юношей, не нашедшихъ ничего для себя лестнаго въ этомъ изображеніи. Еще бы они были довольны! Кому же не ясно, что, напримѣръ, глупенькая Феничка, или старушка-мать Базарова представляютъ людей въ тысячу разъ болѣе симпатичныхъ, чѣмъ высокоумный Базаровъ? Кому не ясно, что та оторванность отъ жизни, которая отличаетъ героя «Отцовъ и Дѣтей», его отчужденіе отъ всего живого и теплаго, его гордость, самолюбіе, его медицинскій цинизмъ и матеріализмъ, наконецъ, тоска и пустота его собственной души—должны были оттолкнуть отъ этой фигуры не только холодную Одинцову, но еще болѣе всякаго не черстватаго человѣка? Мнѣ кажется, г. Тургеневъ ошибается въ своемъ чувствѣ къ Базарову; онъ не сочувствуетъ ему, а онъ его *боится*. Написавши портретъ страшнаго для себя человѣка, г. Тургеневъ теперь никакъ не можетъ понять, почему и тѣ, которыхъ онъ предполагалъ испугать, и тѣ, которымъ онъ надѣялся польстить, находятъ такъ мало страшнаго и величественнаго въ этой фигурѣ. Недоумѣніе нашего автора можно сравнить съ изумленіемъ мыши, которая, изображая Геркулеса, придала бы ему черты кошки, и потомъ убѣдилась бы, что это изображеніе ни львовъ не пугаетъ, ни самому Геркулесу не льститъ. Между тѣмъ бѣды бы никакой не было, если бы мышь только никому не сказывала, что она непремѣнно хотѣла изобразить могучаго и непобѣдимаго Геркулеса; всѣ любовались бы прекраснымъ портретомъ и дивились бы только мѣткости, съ которою схвачена кошачья фізіономія. Это замѣчаніе можно расширить и распространить на всю дѣятельность г. Тургенева. Изображая жизнь нашего образованнаго класса, онъ видѣлъ въ ея волненіяхъ и представителяхъ нѣчто великое и важное, онъ думалъ, что живетъ въ мірѣ геройскихъ лицъ и дѣяній и изображалъ ихъ съ благоговѣніемъ и правдивостью. Вдругъ оказывается, что это міръ фальшивый, чуждый настоящей здоровой жизни; тѣмъ не менѣе, изображенія нашего поэта должны быть признаны прекрасными и добросовѣстными, хотя они получаютъ для насъ совершенно не тотъ смыслъ, ка-

кой имѣли для него, даютъ намъ иное поученіе, приводятъ къ инымъ выводамъ.

Итакъ, вотъ мое заключеніе. Если бы у г. Тургенева не было поэтического дара, онъ представилъ бы собою одного изъ самыхъ жалкихъ нигилистовъ. Но по милости небесъ онъ одаренъ былъ зоркостью поэта и потому оказалъ не малыя услуги русскому обществу. Онъ способствовалъ разъясненію и правильной постановкѣ многихъ хаотическихъ и трудно-уловимыхъ явленій. Правда, что истинный смыслъ этихъ явленій остался недоступнымъ для него самого; но для насъ они явились въ живыхъ, яркихъ образахъ, и всякій разумѣющій можетъ изслѣдовать ихъ дѣйствительную сущность.

И если въ концѣ концовъ мы откроемъ, что г. Тургеневъ въ сущности скептикъ, что онъ въ томъ мірѣ, который составлялъ законную область его поэзіи, ни къ чему не могъ отнестись вполне любовно, что, слѣдовательно, чудесная сила поэзіи помимо его воли и разума поднимала его выше этого міра, что онъ нигилистъ не потому, что будто-бы любитъ Базарова и раздѣляетъ его убѣжденія, а потому, что онъ не нажилъ никакихъ убѣжденій и умѣетъ лишь ко всему относиться отрицательно,—то вы убѣдитесь, что я былъ правъ въ своемъ прошломъ письмѣ, и согласитесь, что въ этой характеристикѣ г. Тургенева выходитъ несравненно лучше, чѣмъ онъ самъ себя рекомендуетъ въ своемъ первомъ томѣ.

10 декабря.

Н. Косица.

(Заря 1869, декабрь).

IV.

ПОСЛѢДНІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ ТУРГЕНЕВА (1871).

Призраки. Фантазія. 1863.
Довольно. Отрывокъ изъ записокъ умершаго художника. 1864.
Собака. 1866.
Дымъ. 1867.
Исторія лейтенанта Ергунова. 1867.
Бригадиръ. 1867.
Неокая. 1868. (См. Сочиненія И. С. Тургенева. Ч. V и VI. Москва, 1869).
Странная исторія. Разсказъ. (Вѣстн. Европы 1869, янв.).
Степной король Лиръ. (Вѣстн. Европы. 1870, окт.).
Стукъ, стукъ, стукъ! Студія. (Вѣстн. Европы 1871, янв.).

I.

Литературная судьба г. Тургенева очень интересна. Въ его дѣятельности на нашихъ глазахъ совершился нѣкоторый переворотъ, переломъ; неожиданно-негаданно (какъ это всегда бываетъ) упалъ на него какой-то ударъ судьбы, и Тургеневъ, повидимому, утратилъ въ одно время и вліяніе на читателей, и прежнюю творческую силу. Его нынче всѣ бранятъ, никто имъ недоволенъ, всѣ наперерывъ удивляются слабости его послѣднихъ произведеній. И дѣйствительно, въ этихъ произведеніяхъ нѣтъ прежней силы, нѣтъ прежней значительности.

Что же случилось? Дѣло, кажется, такое, что о немъ стоитъ подумать. Наша литература, вѣдь, не пустякъ. Она нынче процвѣтаетъ въ полномъ смыслѣ этого слова; она процвѣтаетъ, ширится и развертывается, тогда какъ, напри-

мѣръ, литература французская, нѣмецкая, англійская—или падаютъ, или находятся въ застоѣ. Мы говоримъ здѣсь, разумѣется, о литературѣ въ тѣсномъ смыслѣ, то есть о художественной словесности. Какъ бы строго мы ни стали судить о нашихъ художникахъ слова (а мы, русскіе, всегда расположены строго судить о самихъ себѣ), нельзя не согласиться, что у насъ не мало хорошихъ писателей, что они много сдѣлали, много дѣлаютъ теперь и много общаются въ будущемъ. Европейскіе критики, нѣмцы и англичане, находятъ, что наши писатели по силѣ и мастерству своего искусства *не уступаютъ никакимъ европейскимъ*. А что сказали бы эти критики, если бы они могли понять внутреннюю задачу русскихъ писателей, ту задачу, которая составляетъ душу нашей литературы и разрѣшается ею съ такимъ напряженіемъ и успѣхомъ, съ такою глубокою и неутомимою серіозностію! У насъ нѣтъ установившихся, окрѣпшихъ формъ и возрѣній; у насъ все растетъ, все вновь складывается. Большею частію наши писатели даже не останавливаются въ своемъ развитіи, а продолжаютъ дѣлать все новые и новые шаги до тѣхъ поръ, пока пишутъ. Такъ Тургеневъ выросъ безмѣрно въ сравненіи съ тѣмъ, чего ожидалъ отъ него Бѣлинскій. Такъ Левъ Толстой поднимался еще правильнѣе и неуклоннѣе, и возшелъ еще выше. Такъ Достоевскій, несмотря на колебанія, все еще продолжаетъ подыматься и для русскаго критика ясно, что, на примѣръ, въ повѣсти «Вѣчный мужъ» этотъ писатель, работающій такъ давно, сдѣлалъ новый шагъ въ развитіи своихъ идей. Этихъ примѣровъ довольно. Въ силу этого непрерывнаго роста—наша литература теперь уже не та, что была пять лѣтъ назадъ; она растетъ быстро, какъ сказочный богатырь. Уловить душу этого развитія, его движущую силу—вотъ задача нашей критики; этой критикѣ есть надъ чѣмъ поработать—предметъ ея достигъ огромной значительности, даже европейской славы (если ужъ непременно нужно мнѣніе Европы), а важность его непонятна только тому, кто не имѣетъ достаточно смысла, чтобы интересоваться духовнымъ развитіемъ своего народа.

Итакъ, въ нашей процвѣтающей литературѣ случился фактъ самыхъ крупныхъ размѣровъ. Писатель, безспорно за-

нимавшій долгое время первое мѣсто, любимецъ всего общества и молодого поколѣнія, вдругъ подвергся гоненію журналистики и публики. Это подѣйствовало на него такъ, что онъ, повидимому, потерялъ свою прежнюю силу и хотя продолжаетъ писать, но, очевидно, понизилъ свой голосъ. Вотъ уже девять лѣтъ, какъ дѣло находится въ такомъ положеніи. Казалось бы смыслъ его давно долженъ быть ясенъ, а между тѣмъ едва ли это такъ.

Вотъ, между прочимъ, свидѣтельство, какое трудное и жестокое дѣло наша литература. Тургеневъ не первый лишается внезапно благоволенія нашей капризной публики; нѣчто подобное, и даже въ гораздо большихъ размѣрахъ, случилось съ Пушкинымъ, Гоголемъ, Герценомъ... Исслѣдованіе этихъ случаевъ весьма любопытно, можетъ дать нѣкоторыя откровенія относительно нашего духовнаго роста, умственнаго склада нашего общества. Есть, очевидно, какая-то странная зыбкость, какая-то неустойчивость и лихорадочность въ развитіи нашего общества и нашей литературы. Обыкновенно дѣло идетъ такъ, что писатели *перерастаютъ* своихъ читателей. Они нравятся толпѣ и бываютъ ея любимцами, пока не вполне обнаружили себя, не достигли своего высшаго развитія. Пока толпа можетъ понимать ихъ по своему, можетъ находить въ нихъ пищу для своихъ нравственныхъ вкусовъ, она ихъ превозноситъ и балуетъ. Но, когда понемногу оказывается, что идолъ совсѣмъ не то думаетъ и не туда смотритъ, куда хотѣлось бы толпѣ,—она безжалостно, какъ истинная толпа, свергаетъ свое божество и топчетъ его въ грязь. Вотъ жестокая игра, безпрестанно повторяющаяся въ нашей литературѣ и приносящая столько страданій нашимъ писателямъ. Толпа обыкновенно увѣряетъ, что писатели отстаютъ отъ ея движенія, что будто они остаются назади, а она впереди; но этому трудно повѣрить и вообще, судя по обыкновеннымъ свойствамъ толпы, и въ частности, по свойству и подробностямъ тѣхъ случаевъ, о которыхъ мы говоримъ. *Люди понимаютъ только то, что имъ нравится*; для всего остального они слѣпы и глухи. Поэтому мы мало расположены довѣрять пониманію толпы и, въ случаѣ недоразумѣнія и разногласія, заранее становимся на сторону писателей.

II.

Относительно Тургенева можно впрочемъ замѣтить, что онъ и самъ виноватъ. Едва ли бы онъ подвергся такимъ жестокимъ и долгимъ нападеніямъ, если бы онъ самъ не старался всячески дразнить общественное мнѣніе, дерзко касаться его любимыхъ идей и вкусовъ, дотрогиваться до самыхъ больныхъ и чувствительныхъ мѣстъ. Эта опасная игра не прошла Тургеневу даромъ, но онъ долженъ сознаться, что съ своей стороны онъ подвергалъ терпѣніе общества значительному испытанію. Какъ-будто онъ не чувствовалъ, что онъ дѣлаетъ, когда писалъ *Отцовъ и Дѣтей*, или *Дымъ*? Желаніе противорѣчить общему настроенію, взглянуть объективно, со стороны, на послѣдній фазисъ нашего прогресса, не участвовать въ немъ, а судить и даже прямо осуждать его,—это желаніе очень ясно видно въ названныхъ произведеніяхъ. Кому же это могло быть пріятно? Въ самую горячую минуту, когда люди лихорадочно увлечены извѣстными стремленіями, вдругъ раздается скептическій, недовольный, охлаждающій голосъ. Когда все общество бредило *Современникомъ*, вдругъ появляются *Отцы и Дѣти*, въ которыхъ мѣтко, ясно, съ плотью и кровью выставленъ на всенародныя очи *нигилизмъ*. Когда вѣтеръ перемѣнился, и все общество затолковало о народности, о величіи нашего государства и о будущности Россіи, вдругъ появляется *Дымъ*, въ которомъ безпощадно, въ рѣзкихъ и животрепещущихъ образахъ осуждается нашъ *патриотизмъ*. Не это ли называется крикнуть людямъ подъ руку, или неожиданно облить ихъ холодной водою?

Но что же изъ этого? Можно сказать только, что Тургеневъ въ значительной мѣрѣ воспользовался правами писателя. Права писателя, какъ извѣстно, столь велики и обширны, что съ ними ничьи другія не сравнятся. По давнишнему ученію, писатель можетъ говорить о чемъ угодно, когда угодно и какъ ему угодно. Онъ можетъ не отвѣчать ни на какіе вопросы, ни на общественные, ни на лично къ нему обращенные, и можетъ говорить о томъ, о чемъ его вовсе не спрашиваютъ. Онъ можетъ заниматься тѣмъ, что никого не

занимаетъ, и молчать о томъ, о чемъ всѣ говорятъ. Онъ можетъ смѣяться надъ тѣмъ, что всѣ уважаютъ, сомнѣваться въ томъ, во что всѣ вѣрятъ, и вѣрить въ то, чего никто не признаетъ, и что онъ самъ выдумалъ. Своимъ мыслямъ онъ можетъ придавать такую форму, какая ему заблагоразсудится. Онъ можетъ излагать ихъ въ ясныхъ и связанныхъ разсужденіяхъ, или въ художественныхъ образахъ, или въ видѣ фантазій и иносказаній: можетъ говорить прямо, или одними намеками, загадками, капризными выходками, отрывочными и безсвязными. Онъ можетъ говорить сегодня одно, а завтра другое, объявивши, что онъ перемѣнилъ свое мнѣніе, или даже не объявляя этого. Все дозволяется писателю, и что бы онъ ни дѣлалъ, ему воздается честь и слава, если онъ успѣетъ сдѣлать то, что задумалъ. Если онъ возбудилъ недоумѣніе и сомнѣніе въ томъ, что было выше всякихъ недоумѣній и сомнѣній,—слава. Если пошатнулъ кумиръ, которому всѣ поклонялись,—слава. Если заставилъ читателей сегодня думать не такъ, какъ они думали вчера,—слава. Если нашелъ то, чего никто не зналъ, и сталъ на точку зрѣнія, на которой никто не стоялъ,—слава. Словомъ, если только писатель успѣлъ что-нибудь создать, или что-нибудь погубить, то, не разбирая, что и какъ создано, что и какъ погублено,—слава и слава.

Таковы общепризнанныя права писателей, и въ этомъ либерализмъ относительно литературы, обыкновенно проповѣдываемомъ и защищаемомъ самою же литературой, есть нѣкоторый важный смыслъ. Этотъ либерализмъ основывается на вѣрѣ въ разумъ, въ законность и неизбежность его развитія. Предполагается, что всѣ явленія мысли имѣютъ разумность, что есть неизбежная логика въ развитіи мнѣній и сужденій, ведущая ихъ непременно *впередъ*, непременно *къ лучшему*. Такъ точно, защитники свободной торговли и всяческой свободы обмѣна увѣрены, что эта свобода ведетъ къ большому накопленію богатствъ и къ лучшему ихъ распредѣленію. Въ литературѣ предполагается, что какой бы кавардакъ мы ни сочинили, какого бы туману ни напустили въ глаза, какъ бы сильно и неожиданно ни сбивали людей съ толку и ни приводили ихъ въ недоумѣніе, изъ этого безпорядка самъ со-

бою возникает новый порядокъ, еще лучшій, чѣмъ прежній, такъ какъ онъ и побѣдитъ и сохранить въ себѣ всѣ элементы, внесенные безпорядкомъ. Вѣра, побѣдившая сомнѣнія, станетъ выше прежней несомнѣвавшейся вѣры; истина, выдержавшая критику, станетъ еще яснѣе и обогатится всѣмъ содержаніемъ вынесенной борьбы, и т. д.

Вотъ тотъ оптимистическій взглядъ на явленія литературы, на который можетъ сослаться Тургеневъ, и который, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ когда-нибудь къ нему примѣнить. Не довольно ли мы его бранили и не пора ли перестать?

Оказывается однакоже, что либеральная теорія, столь прекрасная и ясная въ отвлеченномъ видѣ, на практикѣ прилагается вовсе не такъ удобно и порождаетъ явленія весьма некрасивыя, смутныя и печальныя. На дерзкія произведенія Тургенева, непочтительно затрогивавшія наши любимыя идеи, общество и литература отвѣчали такъ запальчиво, съ такимъ живымъ и долгимъ негодованіемъ, что художникъ, хорошо знавшій свои права на свободу мнѣній, смутился однакоже до глубины души. Объ этомъ смущеніи свидѣлствуютъ—упадокъ дѣятельности Тургенева со времени *Отцовъ и Детей*, и еще прямѣе—тѣ оправданія, въ которыя онъ вляется въ своихъ «Воспоминаніяхъ» и въ предисловіи къ отдѣльному изданію *Дымъ*. Такимъ образомъ, ни общество, ни художникъ не выдержали игры въ свободу творчества и въ терпимость всякихъ литературныхъ явленій. Тургеневу объявили, что онъ *ересникъ*; не нашлось почти никого, кто бы попытался стать выше раздраженія и извлечь пользу изъ произведеній, на которыя положено было столько тонкаго, упорнаго чутія, столько талантливой работы. Самъ Тургеневъ готовъ признать, что, напримѣръ, *Отцы и Дети*, гдѣ онъ былъ такъ объективенъ, такъ безпристрастенъ, такъ искренно стремился къ правдѣ и точному воспроизведенію жизни, не принесли пользы, а повели къ одному вреду. «На мое имя», горестно замѣчаетъ онъ, «легла тѣнь. Я себя не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ» (Соч. Тург. Т. I, стр. ХСVІІІ).

Вотъ до чего доводитъ вѣра въ разумъ, теорія литературной свободы, тотъ взглядъ, что чѣмъ больше кутерма умовъ

и мнѣній, тѣмъ быстрѣе совершается прогрессъ, и что все непремѣнно пойдетъ къ лучшему! Вотъ вамъ примѣръ, неопытные, еще не знающіе осторожности юноши! Судьба Тургенева да научить васъ: не довѣряйтесь теченію вашихъ думъ и чувствъ; не смѣйте идти, куда васъ повлекутъ *невольныя мечты*, какъ говоритъ Пушкинъ; берегитесь, чтобы и на ваше имя не легла тѣнь, какъ она легла на имя Тургенева!

Такое заключеніе мы находимъ, однакоже, слишкомъ печальнымъ, и потому не расположены ему вѣрить. Неужели же до этого дошло? Неужели мы должны отречься отъ свободы въ литературѣ и дѣлить нашихъ писателей не на умныхъ и глупыхъ, а на полезныхъ и вредныхъ? Мы этого не думаемъ. Не даромъ же мы построили безмѣрно-огромное государство, ревниво берегли свою независимость, боролись съ Европою, и вообще составляемъ народъ самостоятельный, желающій жить своею жизнью. Мы можемъ, кажется, дать волю своему уму и воображенію, можемъ свободно пометчать и философствовать. Нетерпимость, которая появилась у насъ въ литературѣ, и отъ которой пострадалъ Тургеневъ, кажется, есть явленіе временное, есть слѣдствіе того, что наши партіи слишкомъ разгорячились въ недавній періодъ своего усиленнаго развитія. Было бы слишкомъ печально, если бы мы всѣхъ нашихъ писателей, всѣ наши умственные силы принуждены были запрягать въ государственное или какое-нибудь другое тягло, если бы постановили правиломъ, какъ это было у грековъ, что всякій человѣкъ долженъ принадлежать къ извѣстной партіи, а иначе онъ намъ бесполезенъ, или даже вреденъ.

Какъ бы то ни было, какъ бы мы ни смотрѣли вообще на теорію литературной свободы, мы во всякомъ случаѣ сдѣлаемъ хорошо, если *сумѣемъ* ей слѣдовать, если *сможемъ* приложить ея правила. Есть случаи, когда на насъ не лежитъ прямой обязанности сдѣлать извѣстное дѣло, и когда, однакоже, мы будемъ и счастливы, и достойны похвалы, если успѣемъ сдѣлать это дѣло. Если мы попробуемъ отдѣлаться отъ случайнаго и минутнаго настроенія, если не поддадимся раздраженію, возбуждаемому въ насъ извѣстными произведеніями, если сумѣемъ стать выше этихъ произведеній и раз-

смагивать ихъ какъ возраженіе, какъ поясненіе и дальнѣйшее развитіе вопроса, то мы поступимъ наилучшимъ образомъ. Высокія дарованія Тургенева, его основательная образованность, его искренность и добросовѣстность, даже его любовь къ Россіи—не подлежатъ сомнѣнію. Трудно допустить, чтобы при такихъ условіяхъ онъ былъ вреднымъ писателемъ, чтобы творческая работа такого человѣка не приносила прямой пользы, не способствовала развитію нашихъ идей, не была цѣннымъ вкладомъ въ сокровищницу нашей литературы.

Посмотримъ ближе, въ чемъ дѣло.

III.

Тургеневъ задѣлъ и раздражилъ обѣ наши главные партіи, западниковъ и славянофиловъ; первыхъ преимущественно *Отцами и Дѣтьми*, вторыхъ преимущественно *Дымомъ*. Говоримъ преимущественно, потому что и въ другихъ его произведеніяхъ обѣ партіи находили не мало поводовъ къ неудовольствію.

Что касается до западниковъ, до нигилистовъ, которымъ Тургеневъ далъ имя и образъ, то причины раздора между ними и нашимъ романистомъ до сихъ поръ остаются покрытыми густымъ мракомъ. Покойный Писаревъ совершенно справедливо называлъ это дѣло *Неръшеннымъ вопросомъ*. До послѣднихъ дней не понимаетъ этого дѣла самъ Тургеневъ, не хотятъ понимать «Отечественныя Записки», никакъ не могутъ понять нѣмецкіе критики. Въ газетѣ *Vossische Zeitung*, какъ указываетъ Тургеневъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», было сказано, что въ Базаровѣ «всякій новѣйшій радикалъ долженъ бы съ чувствомъ радостнаго удовлетворенія признать свой портретъ» (Соч. Тург. т. I, стр. XCIV). Юліанъ Шмидтъ пришелъ къ такому же заключенію. «Молодое поколѣніе русскихъ, говоритъ онъ, безъ основанія разсердилось на *Отцовъ и Дѣтей*» *), и критикъ даже ни на

*) Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit, von Julian Schmidt. Leipzig. 1870, стр. 407.

минуту не останавливается надъ вопросомъ, откуда произошелъ этотъ неосновательный гнѣвъ. Вообще, какъ свидѣтельствуемъ Тургеневъ, «иностранцы никакъ не могутъ понять безпощадныхъ обвиненій, возводимыхъ на автора *Отцовъ и Детей* за Базарова» (Соч. Тург. т. I, стр. XCIV).

Эти свидѣтельства много значатъ. Они показываютъ, что нашъ нигилизмъ есть, дѣйствительно, плодъ нашего европейничанья, что Европа узнаетъ въ немъ свое дитя, плоть отъ своей плоти. Мать, какъ оно и естественно, находитъ свое дѣтище очень милымъ и красивымъ и чрезвычайно удивлена, что варвары, обладающіе такими образчиками европейской цивилизаціи, не почитаютъ ихъ и недовольны ими. Между Россіей и Европою обнаружилось, такимъ образомъ, замѣчательное разногласіе во взглядѣ на вещи.

Русскій нигилизмъ, по нашему мнѣнію, нѣсколько отличается отъ европейскаго; но несомнѣнно правъ Н. Я. Данилевскій, замѣчая, что Европа имѣла своихъ нигилистовъ раньше Россіи и что эти нигилисты суть нѣмцы.

«Для жившей заднимъ умомъ «официальной Россіи»,—говоритъ онъ,—«все еще Франція, по старой памяти, казалась олицетвореніемъ всѣхъ антисоціальныхъ, антирелигіозныхъ, противоправственныхъ ученій, а скромная, глубокомысленная Германія олицетворяла собою противодѣйствующій этимъ зловернымъ направленіямъ спасительный идеализмъ». «Не такъ еще давно молодымъ людямъ, отправлявшимся за границу, строго возбранялся вѣздъ во Францію, какъ въ страну нравственно-зачумленную, тогда какъ *зараза давно уже оставила французскую почву и перешла въ Германію*. Безъ самобытнаго развитія, привыкши вѣрить на слово нашимъ иностраннымъ учителямъ, и въ послѣднее время будучи обучаемы исключительно нѣмецкою наукою, мы заразились самоновѣйшимъ и самооднѣйшимъ ея направленіемъ, которое не встрѣчало ни внутреннего, ни внѣшняго противодѣйствія. Къ какой націи принадлежать: Фохтъ, Молешоттъ, Фейербахъ, Бруно Бауэръ, Вухнеръ, Максъ Штирнеръ—эти корифеи новѣйшаго матеріализма? *)».

Подобно другимъ молодымъ людямъ и Тургеневъ прожилъ два года (1838—1840) въ Берлинѣ и старался усво-

*) *Россія и Европа*, Н. Я. Данилевскаго. Спб. 1871 г., стр. 308.

ить себѣ всѣ тайны нѣмецкой мудрости. Юліанъ Шмидтъ по поводу слова *нигилизмъ* дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія:

«Какъ ни зорко видѣть Тургеневъ свой предметъ, однакоже, въ его взглядѣ на русскія партіи отзываются иногда воспоминанія его юности, его нѣмецкаго образованія. Онъ жилъ въ Берлинѣ въ то время, когда на мѣсто *благородства убѣжденныхъ* стала *критика*, когда *Бруно Бауэръ* выставилъ догматъ, что образованный человѣкъ не долженъ имѣть никакихъ убѣжденій, когда *Максъ Штирнеръ* доказывалъ юнымъ Гегельянцамъ, считавшимъ идеи обязательными для человѣка, что идеи суть дымъ, паръ, романтика, и сводилъ всю реальность на я, на «единичнаго и его собственность»; когда, наконецъ, еще дальше пошедшій прогрессивный мыслитель показалъ *Максу Штирнеру*, что я и вѣра въ я есть корень всяческой романтики. *Вотъ кто были настоящіе нигилисты*» *).

Но, по мнѣнію Юліана Шмидта, Базаровъ есть нигилистъ не въ этомъ смыслѣ, а въ гораздо высшемъ, составляющемъ еще новый, сдѣланный впослѣдствіи шагъ европейскаго прогресса. Именно, Шмидтъ, подобно Писареву, называетъ Базарова *реалистомъ*. «Ничто», говоритъ онъ, «не есть результатъ, къ которому онъ стремится; онъ хочетъ только очистить мѣсто, отдѣлаться отъ пустыхъ отвлеченій, чтобы видѣть вещи, какъ онѣ есть,—отбросить условныя правила» и пр. Однимъ словомъ, Шмидтъ совершенно доволенъ Базаровымъ и разсыпается въ похвалахъ ему.

Изъ всего этого слѣдуетъ—и то, что Германія имѣла влияние на Тургенева, на его взгляды, творчество и самую терминологию, и то, что русскій нигилизмъ имѣетъ несомнѣнное сродство съ нѣмецкимъ, предупредившимъ его своимъ развитіемъ. Такъ и вышло, что Тургеневъ теперь заодно съ нѣмцами недоумѣваетъ и удивляется: отчего русскимъ не понравился нигилизмъ, воплощенный въ Базаровѣ?

Попробуемъ отвѣчать. Нѣмцы—народъ грубый и наивный, мы—народъ чуткій и чуждый наивности; что годится для однихъ, то другимъ вовсе не по нутру. Почему Тургеневъ такъ крѣпко вѣритъ въ теорію прогресса, которую въ юности услышалъ въ Берлинѣ? Почему онъ думаетъ, что мы

*) Bilder etc., стр. 464.

съ такою же наивностію, какъ нѣмцы, примемъ въ сурьезъ, сочтемъ за шагъ впередъ, за новый фазисъ человѣческаго духа,—последнюю народившуюся глупость, последнее умственное повѣтріе, настроеніе последней минуты? На святой Руси никогда этого не будетъ; ни французская *мода*, ни нѣмецкій *прогрессъ* никогда у насъ не будутъ имѣть большой власти, серьезнаго значенія. Не такой мы народъ, чтобы повѣрить, что глубокія основы жизни могутъ быть сегодня открыты, завтра передѣланы, послѣ завтра радикально измѣнены.

Тургеневъ ошибся, полагая, что къ намъ вполне прила-гаются формы европейскаго развитія. Теперь онъ сердится, почему на его Базарова не смотрятъ уважительно, какъ на героя, какъ на нѣчто солидное и серьезное. Увы! въ той сферѣ, которая породила Базарова, ничего не можетъ быть для насъ солиднаго и серьезнаго. Напрасно Тургеневъ думалъ, что къ намъ такъ или иначе привьется европейская цивилизація; вотъ ему примѣръ и собственный опытъ: не прививается! Базаровъ есть лучшій плодъ европейскаго прогресса на русской почвѣ. Что же вышло? За исключеніемъ наивныхъ писаревцовъ никто въ немъ не видитъ у насъ ни серьезнаго врага, ни серьезнаго друга.

Да наконецъ, и въ самомъ Тургеневѣ сказалась русская жилка. Развѣ Базаровъ изображенъ съ тою наивностію, съ тѣмъ благоговѣніемъ, какое подобаетъ мужу прогресса и какое мы видѣли потомъ въ настоящихъ нигилистическихъ романахъ? Несмотря на западничество Тургенева и его усердіе къ нашему *движенію*, очевидно, что-то не даетъ ему вполне примкнуть къ этому движенію. Онъ, очевидно, стоитъ въ сторонѣ, смотреть со стороны; онъ полонъ недовѣрія и какихъ-то иныхъ, болѣе глубокихъ требованій, передъ которыми лица, имъ описываемыя, оказываются мелкими и некрасивыми. Помимо его воли, онъ осуждаетъ своихъ героевъ, онъ ихъ развѣнчиваетъ, снимаетъ съ нихъ ореолъ, и—прибавимъ мы—прекрасно дѣлаетъ.

Вся сфера нашего прогресса, все, что у насъ родится и растетъ подъ влияніемъ Европы,—все это шелуха и дымъ. Лица, изображаемыя Тургеневымъ, какъ нельзя лучше, доказываютъ этотъ тезисъ, и самъ Базаровъ, котораго онъ такъ

уважають, оказался, въ силу неумолимой правдивости поэзіи, принадлежащимъ все къ той же категоріи лишнихъ и больныхъ духомъ людей, которыхъ столько и съ такимъ мастерствомъ нарисовалъ намъ Тургеневъ. Онъ *обличилъ* наше западничество, хотя не хотѣлъ этого слѣлать. Дѣло сдѣлалось само собою.

IV.

Разобидѣвши неумышленно западничество, Тургеневъ уже совершенно умышленно не остался въ долгу и передъ славянофильствомъ. И точно такъ, какъ *Отцы и Дети* явились въ ту минуту, когда наше западническое движеніе, такъ называемая нами *воздушная революція*, достигло своей кульминаціонной точки, такъ и *Димъ* явился въ ту минуту, когда нашъ разгорѣвшійся патріотизмъ имѣлъ еще свѣжесть и жаръ недавно распространившагося увлеченія.

Первое замѣчаніе, которое здѣсь представляется, будетъ то, что Тургеневымъ, очевидно, владѣетъ неукротимый *духъ противоречія*, что онъ, очевидно, жадно слѣдилъ за измѣненіями вкусовъ и умовъ въ нашемъ обществѣ, непремѣнно желаетъ сказать свое слово въ нашемъ прогрессѣ, и непремѣнно осуждаетъ, даже когда о томъ вовсе не думаетъ. Такимъ образомъ, война съ славянофильствомъ, начавшаяся у Тургенева съ *Дыма* и продолжающаяся до сихъ поръ, доказываетъ прежде всего, что славянофильство стало самымъ сильнымъ, самымъ значительнымъ направленіемъ въ нашемъ обществѣ, подобно тому, какъ появленіе *Отцовъ и Детей* показывало, что нигилизмъ уже созрѣлъ, уже достигъ наибольшей силы. Проницательность Тургенева поистинѣ безпримѣрна. Напримѣръ, многіе въ минуту появленія *Отцовъ и Детей* не имѣли ни малѣйшаго чаянія о существованіи нигилизма. Какъ потомъ они были удивлены, когда направленіе Базарова развернулось и обнаружилось, когда малѣйшая черта Тургеневскаго романа повторилась въ безчисленныхъ отраженіяхъ!

Итакъ, смѣло можно сказать, что славянофильство получило въ послѣднее время особенную силу и значительность,

если Тургеневъ считаетъ нужнымъ нападать на него. Это во первыхъ. А во вторыхъ, самое нападеніе далеко не имѣло той мѣткости и силы и не произвело такого дѣйствія, какъ прежде обличеніе нигилизма. Стоитъ того, чтобы разобрать это дѣло подробно.

Въ сущности, *Дымъ* есть вещь прекрасная, первостепенная, могущая стать на ряду со всѣмъ лучшимъ, что написалъ Тургеневъ. При этомъ мы разумѣемъ именно сущность *Дыма*, то есть исторію Ирины и Литвинова. Эта исторія чрезвычайно похожа на ту, которая рассказана въ *Евгеніи Онегинѣ*; только на мѣсто мужчины поставлена женщина и наоборотъ. Онегинъ, любимый Татьяною, сперва отказывается отъ нея, а потомъ, когда та замужемъ, влюбляется въ нее и страдаетъ. Такъ и въ *Дымѣ*—Ирина, любимая студентомъ Литвиновымъ, отказывается отъ него; а потомъ, когда сама она замужемъ, а у Литвинова есть невѣста, влюбляется въ него и причиняетъ большія страданія и ему и себѣ. Въ обоихъ случаяхъ первоначально происходитъ ошибка, которую потомъ герои сознаютъ и стараются поправить, да уже нельзя. Правоченіе изъ той и другой басни вытекаетъ одинаковое:

А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!

Онегинъ и Ирина не видятъ, въ чемъ ихъ настоящее счастье; они ослѣплены какими-то ложными взглядами и страстями,—за что и наказываются.

Ко всему этому въ *Дымѣ* прибавлена еще одна грустная черта. Татьяна Пушкина не поддается преслѣдованіямъ Онегина; она остается чиста и безупречна и олицетворяетъ передъ нами *милый идеалъ* русской женщины, непонятой тѣмъ, кого она полюбила. Литвиновъ же, играющій роль бабы, не устоялъ передъ Ириною, и нанесъ тѣмъ новыя муки себѣ, Ирину, своей невѣстѣ.

Таковы печальныя картины русской жизни, которыя оба поэта выставили для обнаруженія какого-то внутренняго разлада въ духовномъ строѣ нашего общества. Какъ у Пушкина, такъ и у Тургенева женщина поставлена выше мужчины—давно замѣченная черта нашей жизни. Но Ирина придана

не только первенствующая, но и прямо дѣятельная роль, чтобы тѣмъ яснѣе была ничтожность нашихъ мужчинъ и нѣкоторое дурное начало, присутствующее въ нашихъ женщинахъ. Тургеневъ какъ бы хотѣлъ сказать: въ высшемъ кругу у насъ господствуютъ не Пушкинскія Татьяны, а Ирины, испорченныя до мозга костей.

Нельзя не согласиться, что въ *Дымѣ* рассказана чисто русская исторія, что характеры дѣйствующихъ лицъ и ходъ событій носятъ рѣзкій, отчетливый отпечатокъ русской жизни. И слѣдовательно, *обличеніе*, заключающееся въ повѣсти Тургенева, имѣетъ полную силу. Русское безволіе въ Литвиновѣ, искаженіе богатыхъ и прекрасныхъ силъ въ Иринѣ, грубость и непреодолимость страсти, возникающей между ними, и какая-то смутная окружающая ихъ нравственная атмосфера, лишенная ясныхъ идеаловъ и прочныхъ началъ,—все это наше родное.

Къ этой-то печальной исторіи Тургеневъ присоединилъ, въ видѣ подходящей для нея обстановки, сцены и разговоры, имѣющіе уже чисто полемическій характеръ. Онъ вывелъ толпу, такъ называемыхъ нами, *нигилистическихъ славянофиловъ*, и заставилъ Потугина изливать насмѣшки и возраженія противъ настоящихъ славянофиловъ. Все вмѣстѣ образовало *дымъ*, нѣчто зыбкое и туманное, клочекъ хаоса, на которомъ ясно вырѣзывается только фигура Ирины, въ одно время и чарующая, и отталкивающая. «Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу», говоритъ Потугинъ объ Россіи; вѣроятно, то же самое онъ сказалъ бы объ Иринѣ; и конечно, это самое отношеніе къ родинѣ составляетъ руководящую мысль автора въ цѣломъ рассказѣ.

Смыслъ *Дыма* совершенно ясенъ, и въ то же время совершенно ясна односторонность, несправедливость этого нападенія на всякіе виды вѣры въ Россію, начиная отъ вѣры г-жи Кохановской и кончая мечтами какого-нибудь яраго нигилиста. На этотъ разъ и нѣмцы могли вполне понять, въ чемъ дѣло. Юліанъ Шмидтъ, вообще говоря ревностный поклонникъ Тургенева, считающій его ни больше ни меньше,

какъ лучшимъ представителемъ современной, новѣйшей поэзіи *), пишетъ слѣдующее:

«Если молодое поколѣніе русскихъ безъ основанія разсердилось на «Отцовъ и Дѣтей», то нельзя отрицать, что въ *Дымъ* (1866) поэтъ самъ вызвалъ негодованіе. Фигуры фантастическихъ болтуновъ, Губарева, Бамбаева и пр., конечно, выхвачены изъ жизни и именно потому раздражили русскую публику. Если Литвиновъ, Потугинъ, Тургеневъ утверждаютъ, что въ идеяхъ и стремленіяхъ этой компаніи все дымъ и паръ, то, конечно, здѣсь не можетъ имѣть мѣста никакое сомнѣніе. Но, чтобы объявить дымомъ все стремленіе молодого поколѣнія, для этого недостаточно характеризовать общество Бадень-Бадена. Легко было бы набрать столь же многочисленную компанію нѣмцевъ въ Лондонѣ или въ Парижѣ, въ Берлѣ или въ любомъ изъ берлинскихъ окружныхъ союзовъ, которая болтаетъ о будущности Германіи еще ужаснѣе, чѣмъ Губаревъ и его приверженцы: тѣмъ не менѣе, созданіе Сѣверо-Германскаго Союза есть фактъ, и освобожденіе крестьянъ въ Россіи остается фактомъ. Литвиновъ, Потугинъ, Тургеневъ сердятся на своихъ юныхъ соотечественниковъ за то, что у нихъ не сходитъ съ языка внутренняя сила (*Urkraft*) Русскаго государства и что они поносятъ европейскую цивилизацію, тогда какъ все хорошее, что сдѣлано въ Россіи, должно быть приписано влиянію европейской культуры. Но въ этомъ случаѣ Тургеневъ съ Литвиновымъ и Потугинымъ правы только на половину. Если они спрашиваютъ своихъ противниковъ: чѣмъ вы докажете вашу вѣру въ будущность Россіи? то эти могутъ съ полнымъ правомъ оборотить вопросъ: а чѣмъ вы докажете ваше неутріе? Прежде всего нужно попытаться. Фанфаронады нѣмецкихъ буршей о величіи нѣмецкаго народа были, конечно, смѣшны; но развѣ заявленіе Арнольда Руге, что сущность нѣмецкаго народа есть подлость, была философская истина? Вѣра не только приноситъ блаженство, она внушаетъ и дѣятельность; неутріе есть чувство непроизводительное».

«Почти всѣ характеры этой повѣсти страдаютъ чрезмѣрною мягкостію и вялостію, не одни только идеалисты. Иногда спрашивается себя, действительно ли передъ нами русскіе, члены народа, изъ котораго вышелъ Суворовъ, Растопчинъ. Объ гладкомъ Ратмировѣ мимоходомъ сказано, что онъ засѣлъ до смерти нѣсколькихъ крестьянъ, а демократъ Губаревъ обнаруживаетъ большую грубость; но въ своей дѣятельности онъ, однакоже, напоминаетъ Рудина: какъ

*) So empfinden wir die Nbtur bei Turgeniew, dem modernsten aller Poeten; so empfindet sie Schopenhauer, der modernste aller Philosophen Bildeer, S. 446.

тотъ рѣчами, такъ онъ краснорѣчивымъ молчаніемъ умѣетъ, безъ опредѣленной цѣли, собирать вокругъ себя толпу незначительныхъ людей. Въ чѣмъ, однакоже, ничего не выходитъ ни для него, ни для другихъ. Тургеневъ, конечно, вѣрно и проникательно передалъ намъ отдѣльныя черты русской жизни, но это—лишь отрывки; никакъ мы не чувствуемъ цѣлаго народа, который, хотя не представляетъ ничего связнаго въ мелочахъ своей жизни, но однако обладаетъ несознательной для него самого субстанціальной жизнью, жизнью, которая при сильномъ возмущеніи можетъ раскрыть дотошъ дремавшую силу, какъ это разъ уже случилось въ образѣ Петра Великаго^{*)}.

Вотъ наставленіе Тургеневу, идущее не отъ насъ или кого-нибудь другого, а отъ его любезныхъ нѣмцевъ. Тургеневъ оказался почему-то невѣрнымъ, непослушнымъ послѣдователемъ германской мудрости. Для ученаго нѣмца, притомъ сильно проникнутаго чувствомъ собственной народности, непонятно, какъ можетъ русскій писатель отвергать (или не замѣчать) *субстанціальную жизнь русскаго народа*, какъ можетъ онъ проповѣдывать невѣріе въ будущность Россіи, во внутреннюю, коренную силу Русскаго государства? Тургеневъ противорѣчитъ въ этомъ случаѣ нѣмецкой философіи, утверждающей, что каждый народъ обладаетъ «субстанціальною жизнію», противорѣчитъ и исторіи, въ которой мы находимъ Суворова, Растопчина, Петра Великаго. Нѣмецъ указываетъ, какъ на примѣръ, на успѣхъ собственной народности, на созданіе Сѣверо-Германскаго союза; а что сказалъ бы онъ теперь, послѣ взятія пруссаками Парижа?

Славянофильство развилось у насъ подъ вліяніемъ Германіи; Германія теперь и вступаетъ за свою идею и защищаетъ ее отъ нападеній Тургенева.

V.

Предметъ любопытнѣйшій. Дѣло собственно стоитъ такъ: знаменитый писатель, мастеръ литературнаго художества, че-

^{*)} Bilder, S. 147 fg.

ловѣкъ высокаго образованія и огромнаго таланта, почуялъ распространеніе славянофильства и вооружился противъ него, и сталъ проповѣдывать западничество. Что же онъ сказалъ? Очевидно, это одно изъ послѣднихъ и самыхъ значительныхъ усилій западничества, и если эта его новая битва неудачна, то дѣло плохо. Если тутъ, послѣ столькихъ размышленій, опытовъ, споровъ, послѣ цѣлой исторіи, западническая партія не высказала чего-нибудь твердаго и яснаго, то значить ей нечего больше сказать.

Всякая мысль опровергается, если мы найдемъ въ ней внутреннее противорѣчіе; но настоящее, полное возраженіе противъ какой-нибудь мысли есть *другая* мысль.

Замѣтки Тургенева противъ славянофильства не лишены мѣткости и силы, но, очевидно, не составляютъ ничего цѣлаго. Самымъ существеннымъ въ этомъ отношеніи нужно считать то мѣсто, которое Тургеневъ *вставилъ* въ отдѣльное изданіе *Дыма*; приведемъ здѣсь это мѣсто, вѣроятно, вовсе неизвѣстное тѣмъ, кто прочиталъ *Дымъ* въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Говорить Потугинъ:

«Кто же васъ заставляетъ перенимать зря? Вѣдь, вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно, стало быть, вы соображаете, выбираете. *А что до результатовъ—такъ вы не извольте беззаботиться: своеобразность въ нихъ будетъ въ силу самыхъ этихъ мѣстныхъ, климатическихъ и прочихъ условий, о которыхъ вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудокъ ее перевариваетъ по своему; и со временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ свой сокъ. Возьмите примѣръ хоть съ нашего языка. Петръ Великій наводнилъ его тысячами чужеземныхъ словъ, голландскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ: слова эти выражали понятія, съ которыми нужно было познакомить русскій народъ; не мудрствуя и не церемонясь, Петръ вливалъ эти слова цѣликомъ, ушатами, бочками въ нашу утробу. Сперва—точно вышло нѣчто чудовищное, а потомъ началось именно то перевариваніе, о которомъ я вамъ докладывалъ. Понятія прижились и усвоились; чужія формы постепенно испарились, языкъ въ собственныхъ нѣдрахъ нашелъ, чѣмъ ихъ замѣнить, и теперь вашъ покорнѣйшій слуга, стилистъ весьма посредственный, берется перевести любую страницу изъ Гегеля... да-съ, да-съ, изъ Гегеля, не употребивъ ни одного не-славянскаго слова. Что произошло съ языкомъ, то, должно надѣяться, произойдетъ и въ другихъ сферахъ. *Весь вопросъ въ**

тожъ—крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передрыгatz. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы: точно также, какъ восторгаться до пѣны у рта тому, что мы, молъ, русскіе—способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своемъ здоровьи, но въ восторгъ отъ него не прихожу: совѣстно-съ».

«— Все такъ, заговорилъ въ свою очередь Литвиновъ; но за чѣмъ же непременно подвергать насъ подобнымъ испытаніямъ? Сами жъ вы говорите, что сначала вышло нѣчто чудовищное! ну—а коли это чудовищное такъ-бы и осталось? Да оно и осталось, вы сами знаете».

«— Только не въ языкѣ—а ужъ это много значить! А нашъ народъ не я дѣлалъ, не я виноватъ, что ему суждено проходить черезъ такую школу. «Нѣмцы правильно развивались», кричатъ славянофилы, — «подавайте и намъ правильное развитіе!» Да гдѣ жъ его взять, когда самый первый историческій поступокъ нашего племени—призваніе себѣ князей изъ-за моря—*есть уже неправильность, аномальность*, которая повторяется на каждомъ изъ насъ до сихъ поръ; каждый изъ насъ хотъ разъ въ жизни непременно чему-нибудь чужому, не русскому, сказалъ: *иди владѣти и княжити надо мною!*—Я, пожалуй, готовъ согласиться, что, вкладывая иностранную суть въ собственное тѣло, мы никакъ не можемъ навѣрное знать напередъ, что такое мы вкладываемъ: *кусокъ хлѣба, или кусокъ яда?* да, вѣдь, извѣстное дѣло: отъ худого къ хорошему никогда не идешь черезъ лучшее, а всегда черезъ худшее, — и *идъ въ медицину бываетъ полезенъ*. Однимъ только тушцамъ или пройдохамъ прилично указывать съ торжествомъ на бѣдность крестьянъ послѣ освобожденія, на усиленное ихъ пьянство послѣ уничтоженія откуповъ... черезъ худшее къ хорошему?» (Соч. Тург. т. VI, стр. 51—53).

Вотъ, какое внутреннее противорѣчіе нашелъ въ славянофильствѣ Тургеневъ. Славянофильство, хочеть онъ сказать, есть напрасная забота, ненужная идея; ибо именно тотъ, кто вѣритъ въ своеобразіе русскаго народа, въ его здоровый желудокъ, тотъ не долженъ бояться заимствованій. Человѣкъ, вѣрующій въ народъ, не можетъ думать, что отъ кого-нибудь зависить то, каковъ этотъ народъ и что изъ него будетъ; слѣдовательно, не станетъ напрасно беспокоиться. Самая подражательность естъ народная черта и, слѣдовательно, славянофилы, возстава противъ нея, возстаютъ противъ самихъ себя, противъ своеобразія русскаго народа. Словомъ, славяно-

фильство приходитъ къ какому-то невѣрію въ народныя силы, тогда какъ западничество будто-бы въ нихъ твердо вѣритъ.

Мысли эти такъ понравились Тургеневу, что онъ повторилъ ихъ потомъ въ началѣ своихъ «Воспоминаній», явившихся въ концѣ 1869 года.

«Неужели же, говоритъ онъ, мы такъ мало самобитны, такъ слабы, что должны бояться всякаго посторонняго вліянія и съ дѣтскимъ ужасомъ отмахиваться отъ него, какъ бы оно насъ не испортило? Я этого не полагаю: я полагаю, напротивъ, что насъ хоть въ семи водахъ мой—нашей русской сути изъ насъ не вывести. Да и что бы мы были въ противномъ случаѣ за плохенькій народецъ!» (Соч. Тург. т. I, стр. X.

Однакоже, рассуждая подобнымъ образомъ, мы едва ли придемъ къ ясному выводу. Точка зрѣнія, выбранная Тургеневымъ, очевидно, такова, что съ нея ничего нельзя рѣшить. Не онъ ли самъ называетъ наше вѣчное подчиненіе чужимъ элементамъ—явленіемъ *неправильнымъ, аномальнымъ*? Не онъ ли самъ говоритъ, что изъ заимствованій выходитъ нѣчто *чудовищное*, что, вкладывая въ свое тѣло чужую суть, мы вкладываемъ, можетъ быть, *ядъ*?

Выходитъ, слѣдовательно, что подражать Европѣ бываетъ и очень вредно, но что, *такъ какъ напередъ ничего знать нельзя*, то приходится жить спустя рукава, въ надеждѣ, что русскій желудокъ все переваритъ. Изъ вѣры въ русскій народъ Тургеневъ заключаетъ, что ему все въ прокъ пойдетъ, что *чѣмъ хуже, тѣмъ лучше* (по извѣстной формулѣ прогресса, придуманной нѣмцами), и что, слѣдовательно, не зачѣмъ обороняться отъ яда западной цивилизаціи.

VI.

Но истинные западники такъ не говорятъ, и подобныя рассужденія не составляютъ возраженія противъ истинныхъ славянофиловъ. Истинные западники исповѣдуютъ извѣстныя *начала*, признаваемые ими непреложными и годными для *всѣхъ народовъ*. Они вѣрують въ разумъ и его развитие,

видятъ въ Европѣ представительницу этого развитія и *на этомъ основаніи* считаютъ необходимымъ внести тѣ же начала въ Россію. Положительные, несомнѣнные идеалы— вотъ настоящая точка опоры западниковъ, а не та мысль, что авось наша натура выдержитъ; была, молъ, и не въ такихъ *передрыгахъ*.

Точно также, славянофилы не просто боятся за свою самостоятельность, какъ люди слабые волею, а стоятъ за извѣстныя начала нашей народной жизни и стараются ихъ предохранить отъ искажающихъ вліяній. Славянофиловъ можно сравнить съ людьми, которые нѣкогда заботились о чистотѣ и развитіи нашего языка; они не потому только возставали противъ чужого вліянія, что боялись за свой языкъ, а главнымъ образомъ потому, что его любили, чувствовали его силу и красоту, и за эту силу и красоту стояли.

Итакъ, приведенныя нами разсужденія Тургенева ничего еще не доказываютъ; споръ нужно перенести на другое поле, на поприще положительныхъ убѣжденій. Тургеневъ, Потугинъ и Литвиновъ только тогда имѣютъ право назваться западниками, если исповѣдуютъ какія-нибудь начала западной жизни. «Я удивляюсь Европѣ и *преданъ ея началамъ* до чрезвычайности»,—говоритъ Потугинъ (Т. VI, стр. 53). «Преданность моя»—говоритъ Тургеневъ—«*началамъ, выработаннымъ западною жизнью, не помѣшала мнѣ*», и проч. (Т. I, стр. X). Ну вотъ, что же это за начала? Что выработано Европою?

Читатели видятъ, что здѣсь главный пунктъ всего дѣла. Что намъ будетъ проповѣдывать такой знаменитый и искушенный западникъ, какъ Тургеневъ? Какія ученія, какіе научные взгляды, политическія и нравственные правила онъ намъ предложить? Не правда ли, что это любопытно, и не правда ли, что это законное любопытство въ этомъ случаѣ обманывается самымъ жестокимъ образомъ?

Въ образахъ—Тургеневъ нигдѣ и никогда не рѣшался противопоставить западную жизнь русской жизни. Онъ ни разу не выводилъ на сцену Европейцевъ съ тою цѣлью, чтобы противопоставить ихъ, какъ примѣръ и поученіе, русскимъ людямъ. (Въ такомъ смыслѣ выведенъ у гр. Алексѣя Тол-

стаго въ «Царѣ Борисѣ» королевичъ, женихъ Ксеніи, у Лажечникова «Басурманъ»). Напротивъ, вездѣ, гдѣ у Тургенева являются западные люди, Нѣмцы, Французы, Поляки и даже другіе наши братья Славяне, онъ вездѣ съ величайшею тонкостью схватываетъ тѣ неуловимыя отвлеченными понятіями черты, по которымъ душевный складъ этихъ чужихъ людей намъ непремѣнно является ниже русскаго душевнаго склада. Чѣмъ, кажется, дурень Болгарь Инсаровъ въ «Наканунѣ»? А между тѣмъ и онъ развѣнчанъ, какъ всѣ другіе герои Тургенева, и даже болѣе другихъ. Въ немъ отсутствуетъ та русская мягкость сердца и широта ума, которыми отличаются Берсеневи и Шубинъ. Вспомните нѣмокъ и нѣмцевъ, выводимыхъ на сцену Тургеневымъ; они всѣ жалки и грубы, сообразно нашему народному представленію, всегда находящему въ нѣмцѣ что-то смѣшное. Вспомните поляка графа Малевскаго въ «Первой любви»; да, наконецъ, вспомните весь Парижъ въ «Призракахъ» и весь Баденъ-Баденъ въ самомъ «Дымѣ»: Потугинъ не даромъ называетъ Баденъ *противнымъ*; противенъ онъ, очевидно, и Тургеневу; противнымъ онъ и нарисованъ. Гдѣ же тутъ поученіе для русскихъ людей? Гдѣ та западная жизнь, которой намъ слѣдуетъ подражать, которая должна быть намъ примѣромъ?

А съ какою любовью, съ какою нѣжною симпатіею нарисованы у Тургенева многія лица, въ которыхъ нѣтъ ничего ни западнаго, ни западническаго! Лиза «Дворянскаго Гнѣзда», Маша «Затишья», «Ася», «Хоръ и Калиничъ», «Касьянъ съ Красивой Мечи», и проч. и проч.—гдѣ же тутъ западныя начала, при чемъ тутъ жизнь Европы и выработанные ею результаты? Тайное сочувствіе къ русскому складу ума и сердца, къ нравственнымъ началамъ, которыми сложилась и держится русская жизнь, безпрестанно сквозитъ у Тургенева.

И вообще, если взять въ цѣломъ произведеніи Тургенева, то ихъ придется истолковать въ смыслѣ отнюдь не благопріятномъ западничеству. Рисуя наше общество, давая образы представителей нашего прогресса, Тургеневъ, въ силу правдивости, всегда присущей поэзіи, изобразилъ намъ общество больное и представителей несостоятельныхъ. Онъ не про-

славилъ людей, оторвавшихся отъ своей почвы, а скорѣе обличилъ ихъ; его «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда» и «Лишніе люди» вошли въ пословицу.

Но поэзія—дѣло темное и мудреное. Поэтъ часто самъ не знаетъ, что онъ хочетъ сказать, часто говоритъ больше, чѣмъ хотѣлъ. Глубина и правда поэтического творчества такова, что нерѣдко превосходитъ объемъ и дальность сознательныхъ убѣжденій поэта. Тургеневъ можетъ оставаться западникомъ въ противность элементамъ своей поэзіи. Итакъ, нельзя ли отыскать его взгляды помимо его поэзіи? Нельзя ли найти указаній на то, чему онъ поклоняется въ Европѣ, какихъ ея началъ держится?

Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, мы напрасно стали бы перебирать тѣ вставочныя разсужденія о западной цивилизаціи, изъ которыхъ состоятъ рѣчи Потугина. Ничего определеннаго мы въ нихъ не найдемъ. Въ «Воспоминаніяхъ» Тургеневъ считалъ нужнымъ уже прямо отъ себя настаивать на своемъ западничествѣ. Но какъ же онъ опредѣляетъ свои убѣжденія? Онъ прямо говоритъ, что онъ—почти нигилистъ, почти во всѣхъ взглядахъ, кромѣ взгляда на искусство, сходится со своимъ Базаровымъ. Вотъ какое западничество предлагаетъ намъ Тургеневъ, вотъ начала, которымъ онъ преданъ.

Скажемъ два слова объ этомъ нигилизмѣ. Во первыхъ, онъ есть, дѣйствительно, западничество, такъ какъ нигилисты явились у нѣмцевъ гораздо раньше, чѣмъ у насъ, и такъ какъ до сихъ поръ передовые нѣмцы остаются все тѣми же нигилистами, хотя Юліанъ Шмидтъ и увѣряетъ, что сдѣланъ будто-бы новый шагъ впередъ и что теперь они уже не нигилисты, а реалисты. Свидѣтельство Тургенева, объявляющаго себя въ одно время и западникомъ и нигилистомъ, есть важное доказательство того, что нашъ русскій нигилизмъ нашелъ себѣ главную пищу, главную поддержку въ ученіяхъ нашихъ давнишнихъ наставниковъ нѣмцевъ.

Во вторыхъ, изъ своего нигилизма Тургеневъ исключаетъ отрицаніе искусства и, вѣроятно, готовъ исключить и многія другія вещи, напримѣръ, отрицаніе любви, отверженіе важности и многозначительности отношеній между полами. Нигилизмъ Тургенева, конечно, нужно разумѣть въ са-

момъ чистомъ и умномъ смыслѣ. Но если такъ, то это будетъ просто-на-просто—невѣріе, сомнѣніе, скептицизмъ, не тотъ положительный, яркій матеріализмъ, который иногда исповѣдуютъ послѣдовательные нѣмцы, а, просто, отсутствіе живыхъ вѣрованій, прочныхъ основъ для мысли.

Спрашивается, гдѣ же тутъ *начала*, *выработанныя европейскою жизнью*? Объявляя себя нигилистомъ, не говорить ли намъ прямо Тургеневъ, что Европа потеряла всякія руководящія нити, что она не выработала себѣ началъ, а напротивъ, утратила всякія начала? Понятно теперь, почему Потугинъ, приходящій въ восторгъ отъ Европы, не знаетъ собственно, чѣмъ ему восторгаться, и ни однимъ словомъ не обнаруживаетъ какихъ-нибудь положительныхъ сочувствій. Понятно, почему Тургеневъ, настаивающій на своемъ западничествѣ, не проповѣдуетъ, однакоже, никакихъ началъ, никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ.

Къ нигилизму, то есть къ сомнѣнію и отрицанію, у Тургенева присоединяется еще одно западное вліяніе: слегка отзывается у него мрачная философія Шопенгауэра, глубокаго пессимизма которой Тургеневъ опять-таки не раздѣляетъ до конца. Итакъ, легкій нигилизмъ и легкій шопенгауэризмъ—вотъ все, что даетъ намъ нынѣ Европа, все, что заимствовалъ изъ нея такой просвѣщенный и чуткій западникъ, какъ Тургеневъ. Онъ, какъ термометръ, показываетъ намъ, до какого градуса опустилась теперь Европа. Западникамъ, очевидно, нечего проповѣдывать.

VII.

Нашу тему, то есть, что нѣтъ такихъ началъ, которыя могли бы быть исповѣдуемы западниками, или, по крайней мѣрѣ, что такихъ началъ не имѣется у Тургенева, мы можемъ доказать еще косвеннымъ образомъ. Когда вышелъ *Дымъ* и посыпались всяческія нареканія на эту повѣсть, П. В. Анненковъ, большой поклонникъ Тургенева, написалъ статью, въ которой защищалъ *Дымъ* и старался растолковать его смыслъ. При этомъ толкованіи критикъ неизбѣжно нат-

кнулся на вопросъ: чему же поклоняется Потугинъ? Какія начала Европы Тургеневъ рекомендуетъ намъ въ *Дымѣ*? И вотъ что написалъ П. В. Анненковъ:

«Потугинъ говорить не о той Европѣ, которой мы подражаемъ, а о той, которую мало видимъ и почти не знаемъ. Боже мой! Какая же это малоизвѣстная намъ Европа, намъ исколесившимъ ее во всѣхъ направленіяхъ и изучившимъ ее болѣе своей родины? Да вотъ та самая, на которую авторъ романа только и указываетъ своимъ читателямъ черезъ посредство Потугина. Отличіе ея отъ видимой Европы состоитъ въ томъ, что посреди множества отрицательныхъ, часто возмутительныхъ явленій своего быта, иногда подъ гнетомъ грубаго давленія матеріальной силы, еще далеко не устраненной ею, иногда въ пылу національных увлеченій, подвигающихъ ее на вопіющія несправедливости, — она занята устройствомъ *человѣческой личности, ближайшей среды, ее окружающей, и возвышеніемъ духовной природы челоѣка вообще*. Нашимъ туристамъ по Европѣ (да и однимъ ли туристамъ?) кажется, что знаменитые ея университеты, богатѣйшая литература и музеи, сохраняющіе геніальныя произведенія искусствъ, направлены къ тому, чтобы украшать жизнь, и безъ того достаточно красивую, избранныхъ классовъ, или производить какъ можно больше ораторовъ, депутатовъ, профессоровъ, ученыхъ и писателей, между тѣмъ какъ они служатъ орудіемъ у той *малоизвѣстной намъ Европы*, о которой говоримъ, — поднять мысль самаго послѣдняго челоѣка въ государствѣ. Генрихъ IV, по свидѣтельству, впрочемъ крайне подозрительному, своихъ современниковъ, опредѣлилъ назначеніе внутренней и внѣшней политики Франціи единственно цѣлю — доставить каждому изъ его подданныхъ возможность имѣть по праздникамъ «курицу» на своемъ столѣ. Съ тѣхъ поръ, кромѣ этой «курицы», вошедшей въ программы всѣхъ партій и всѣхъ европейскихъ правительствъ, *малоизвѣстная намъ Европа* нашла и другое назначеніе для политики *государствъ*. Главной ея задачей она поставляетъ *точное, общедоступное опредѣленіе идей нравственности, добра и красоты*, и такое распространеніе ихъ, которое помогло бы самому скромному и темному существованію выйти изъ сферы животныхъ инстинктовъ, воспитать въ себѣ чувства справедливости, благорасположенія и состраданія къ другимъ, понять важность разумныхъ отношеній между людьми и, наконецъ, получить способность къ прозрѣнію *«идеаловъ»* *единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія*. Послѣдняя часть задачи, не во гнѣвъ будь сказано нашимъ реалистамъ, считается при этомъ и самой важной, существенной ея частью. Насколько успѣла эта, въ половину скрытая отъ насъ, Европа осуществить свою неписанную, нигдѣ не заявленную, но тѣмъ не менѣе страстно исполняемую программу — составляетъ другой вопросъ,

хоть признаки *таинственной работы*, ею производимой, обнаруживаются уже и для глазъ, мало различающихъ предметы, которые имъ сначала не указаны. Появленіе у насъ такихъ энтузіастовъ иноземщины, какъ Потугинъ, объясняется именно тѣмъ, что они успѣли прозрѣть эту, а не другую какую-либо Европу; да подъ ея же влияніемъ написать и разбираемый нами романъ». (*Вѣстникъ Европы*, 1867, іюнь, стр. 110).

Вотъ одинъ изъ яркихъ образчиковъ той непоколебимой фанатической вѣры, которую внушаетъ западникамъ Европа! Отъ Европы ждутъ всего хорошаго; въ ней не сомнѣваются и другимъ не позволяютъ сомнѣваться. Вѣра такъ крѣпка, что намъ обѣщанія выдаютъ за очевидные факты и надежды за неопровержимыя доказательства! А вспомните-ка, что говоритъ Потугинъ? «Славянофилы», говоритъ онъ, «прекраснѣйшіе люди, а та же (какъ у другихъ моихъ соотечественниковъ) смѣсь отчаянія и задора, *тоже живутъ буквой «буки»*. Все, молъ, *будетъ, будетъ*. Въ наличности ничего нѣтъ, и Русь въ цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала... Но постойте, *потерпите: все будетъ*. А почему будетъ, позвольте полюбопытствовать?» (т. VI, стр. 50).

Очевидно, толки о будущности Европы, въ которые пустился П. В. Анненковъ, о «таинственной работѣ», «незаявленной программѣ» и пр., имѣютъ тотъ же смыслъ, какъ и толки о будущности Россіи, надъ которыми такъ потѣшались Тургеневъ и его Потугинъ. Эти толки значатъ, что въ *наличности ничего нѣтъ* у Европы. Въ сущности, слова П. В. Анненкова показываютъ, что Европа тоже *ничего не выработала* (или, что тоже, все потеряла), что она только исполнена добрыхъ стремленій, благихъ намѣреній. Напирая такъ сильно на неписанныя программы и таинственныя задачи, критикъ только даетъ уразумѣть, что явныя и имѣющія силу въ дѣйствительности начала Европейской жизни никуда не годятся. Онъ прибѣгъ къ будущему потому, что принужденъ отречься отъ настоящаго. Онъ вынужденъ сдѣлать поправку къ словамъ Тургенева, растолковывать читателямъ, что поклоненіе должно относиться не къ нынѣшней, видимой и извѣстной Европѣ (таковъ однакоже прямой и несомнѣнный смыслъ *Дыма*), а къ будущей, возможной, вѣроятной, таинственно-работающей, невидимой, неизвѣстной...

Въ идеалахъ, которые г. Анненковъ приписываетъ этой Европѣ, мы не находимъ, однакоже, ничего таинственнаго, ничего специально-европейскаго, наконецъ, ничего опредѣленнаго. Заботы о благѣ недѣлимыхъ и меньшей братіи вовсе не новость. Уже Соломонъ, царь Іудейскій и Израильскій, хвалился, какъ извѣстно, что у него *каждый подданный сидитъ сладко подъ смоковницею своею и подъ виноградомъ своимъ*. Ужели мы должны считать за новое открытіе *возвышеніе духовной природы чело­вѣка вообще или курицу въ супѣ*? Ужели только недавно, и ото всѣхъ тайно, чело­вѣчество стало заботиться объ *идеалахъ единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія*? Мы не думаемъ и не вѣримъ, чтобы *точное общедоступное опредѣленіе идей нравственности, добра и красоты*, составляло въ нынѣшней Европѣ *главную задачу для политики государствъ*; не думаемъ, главнымъ образомъ, потому, что смѣшно было бы государствамъ братья за такую стародавнюю задачу и вообразить себѣ, что они сумѣютъ разрѣшить ее лучше, чѣмъ рѣшали религія, искусство, философія. Всѣ эти рѣчи скорѣе всего показываютъ одно: что Европа утратила всякія прочныя понятія о нравственности, добрѣ и красотѣ, о задачахъ государства, о значеніи чело­вѣческой личности и *устройствѣ ближайшей среды, ее окружающей*, объ идеалахъ единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія; она утратила всѣ начала, которыми нѣкогда жила, которыя составляли ея силу и славу, блистательно проявились въ ея исторіи. Теперь она находится въ періодѣ блужданія и исканія, въ періодѣ нигилизма,—и вотъ что намъ выставляютъ за образецъ, вотъ на что указываютъ, какъ на примѣръ, достойный подражанія, какъ-будто безъ этого примѣра мы сами не въ состояніи пожелать даже курицы въ супѣ, какъ-будто наша жизнь лишена всякихъ началъ и даже всякихъ стремленій къ нравственности, добру и красотѣ!

Итакъ, поправка г. Анненкова не годится. Намъ нечему поклоняться въ будущей и неизвѣстной Европѣ, и указаніе на эту Европу только доказываетъ, что ужъ настоящей и извѣстной Европѣ ни въ какомъ случаѣ невозможно покло-

няться, хотя именно это поклоненіе и проповѣдывалъ Тургеневъ въ своемъ *Дымъ*.

VIII.

Мы видимъ теперь, какой западникъ Тургеневъ; это западничество не содержитъ въ себѣ дѣйствительной *преданности началамъ, выработаннымъ европейской жизнью*; оно есть не что иное, какъ нѣкотораго рода нигилизмъ, заимствованный изъ отрицательныхъ и мрачныхъ ученій современной Европы, нигилизмъ, положимъ, и вѣрующій въ свою плодотворность, надѣющийся перейти въ нѣчто положительное, но, во всякомъ случаѣ, въ настоящую минуту не представляющій возможности другой проповѣди, кромѣ отрицанія. Этотъ выводъ для насъ очень важенъ. Мы видимъ опять на живомъ примѣрѣ, на славномъ и высокодаровитомъ писателѣ, что западъ въ настоящую минуту не даетъ вѣры, что въ самомъ чистомъ видѣ вліяніе, имъ производимое, есть скептицизмъ.

Всего лучше, намъ кажется, назвать Тургенева именно скептикомъ. Какъ скептикъ, онъ естественно долженъ былъ одинаково оттолкнуться отъ обѣихъ нашихъ партій, и отъ славянофиловъ, и отъ западниковъ. Оторванный вліяніемъ Европы отъ своего родного, онъ не могъ всею душою примкнуть къ чему-нибудь чужому, онъ выбралъ въ этомъ чужомъ только элементы отрицанія и невѣрія. Но и тутъ оберегаемый своими поэтическими инстинктами, своимъ живымъ чувствомъ, онъ не ушелъ далеко, не вдался въ крайности. Напрасно Тургеневъ недоумѣваетъ, почему къ нему такъ холодны и даже отчасти враждебны наши западники; онъ во все не похожъ на нихъ: въ немъ нѣтъ не только фанатическаго проповѣдыванія какой-нибудь новой жизни, но и фанатическаго отрицанія старой. Не только онъ не проповѣдывалъ намъ фаланстера, но не сказалъ ни единого слова противъ искусства, любви, брака; онъ не написалъ ни разу повѣсти даже за облегченіе развода или противъ излишней силы родительской власти. Этого мало: къ людямъ *старой* жизни, къ людямъ, живущимъ старыми понятіями, наполнен-

нымъ всякими предразсудками—отношенія Тургенева очень мягки, часто любовны. Какъ же онъ хочетъ, чтобы его любили западники? Пусть онъ сравнитъ себя съ г. Авдѣевымъ или съ Маркомъ Вовчкомъ,—писателями, которые усердно ему подражали, которыхъ можно назвать его дѣтищами, и онъ увидитъ, куда нужно зайти, чтобы понравиться нашему западническому лагерю.

Въ «Воспоминаніяхъ» Тургеневъ указываетъ какъ на заслугу своего западничества на то, что онъ былъ постоянно врагомъ крѣпостного состоянія. Дѣйствительно, «Записки Охотника» сослужили намъ прекрасную службу; да и вообще на произведеніяхъ Тургенева лежитъ тотъ чудесный демократическій отпечатокъ, который составляетъ общую черту нашей литературы отъ Ломоносова и до Льва Толстого. Но изъ одного отрицанія крѣпостного права нельзя составить всего содержанія своихъ убѣжденій, а многихъ другихъ отрицаній нашего новѣйшаго западничества Тургеневъ, очевидно, не раздѣляетъ.

Кстати: Юліанъ Шмидтъ остался не совсѣмъ доволенъ картинами Тургенева, изображающими крѣпостное состояніе. Иностранцамъ очень по душѣ всякое обличеніе Россіи; но у Тургенева Шмидтъ находитъ мало подробностей, или, какъ онъ выражается, малое раскрытіе *чувственного момента вещи*. А подробности нѣмцу воображаются очень занимательныя.

«Въ чувственный моментъ вещи»—говоритъ онъ—«поэтъ мало входитъ. Кажется, что въ Россіи не было въ обычаѣ сжигать крѣпостныхъ живьемъ, сдирать съ нихъ кожу, или морить ихъ голодомъ въ ящикахъ, какъ это дѣлалось въ Америкѣ. Въ Россіи все идетъ монотонно, безъ изобрѣтательности: только сѣкутъ, да сѣкутъ. Но главное дѣло есть полное подавленіе всѣхъ духовныхъ силъ состояніемъ абсолютнаго безправія. Человѣкъ юридически разсматривается, какъ вещь; но такъ какъ онъ не есть вещь, то онъ и обращается въ скота;—какъ рабъ, такъ и его господинъ» *).

Нѣмецъ не вполне увѣренъ въ томъ, что крѣпостныхъ у насъ не жгли и не сдирали съ нихъ кожу; но если этого

*) Bilder, S 432.

и не было, то, думаетъ онъ, только *по недостатку изобрѣтательности*, въ которой русскіе, само собою разумѣется, не могли поравняться съ американцами. •

Да! Гдѣ же намъ съ вами поравняться, наши старшіе братья! На вашей сторонѣ больше преимуществъ; но что вы превосходите насъ въ изобрѣтательности зла—это, конечно, самое яркое, самое несомнѣнное ваше превосходство надъ нами.

Если бы нѣмецъ былъ не такъ ослѣпленъ своимъ презрѣніемъ къ Россіи, то онъ нашелъ бы у того же Тургенева примѣры крѣпостныхъ отношеній совершенно мягкихъ, совершенно человѣческихъ, и понялъ бы, что строй нашего общества не имѣетъ никакого сходства съ чувствами и нравами Южныхъ Штатовъ. Подобно Юліану Шмидту судять и наши западники, которые, гуляя по Невскому проспекту, нисколько не лучше его знаютъ Россію, не менѣе презрительно къ ней относятся. Тургеневъ для нихъ слишкомъ мягкій обличитель, его тенденціозность не достаточно ярка, слишкомъ смягчена художественною многосторонностію взгляда.

Вообще, напрасно мы будемъ дѣлать изъ Тургенева обличителя. Осмѣлимся ли сказать? Его задача выше, чѣмъ изображеніе вреда извѣстнаго государственнаго учрежденія, обличеніе тѣхъ нравственныхъ искаженій, которыя этимъ учрежденіемъ порождены. Скептицизмъ и отрицаніе Тургенева имѣютъ болѣе высокую область. Онъ хотѣлъ бы обличить не одну несостоятельность извѣстныхъ учреждений и порядковъ; онъ хотѣлъ бы обличить *несостоятельность русской души*.

IX.

Тургеневъ есть прежде всего художникъ. Его скептицизмъ есть художественный скептицизмъ, его отрицаніе имѣетъ художественное направленіе—то есть: касается не частныхъ фактовъ и временныхъ порядковъ, а строя души человѣческой вообще, ея уклоненій отъ красоты, отъ истиннаго благородства и истиннаго изящества. Тургеневъ—западникъ преимущественно въ томъ, что онъ воспитанъ на западномъ художествѣ, что онъ носитъ въ себѣ его идеалы и съ ихъ.

высоты смотритъ на жизнь. Вотъ что всего больше отрываетъ его отъ Россіи, что поддерживаетъ его скептицизмъ относительно русской жизни.

Тургеневъ сомнѣвается въ силахъ и красотѣ русской души. Въ чемъ состоятъ главныя нападенія *Дыма*? Не въ томъ, что у насъ невѣжество, безпорядокъ, притѣсненія; а главнымъ образомъ въ такихъ замѣткахъ: «Зачѣмъ вретъ русскій человѣкъ?» (Т. VI, стр. 115). «Таковъ предѣлъ судьбы на Руси: *скучны у насъ превосходные люди*» (стр. 90). «Зачѣмъ же онъ далъ ему денегъ? спросить читатель. А чортъ знаетъ зачѣмъ! *на это русскіе тоже молодцы*» (стр. 90). «Удивляюсь я своимъ соотечественникамъ. Всѣ унываютъ, всѣ повѣсивши носъ ходятъ, и въ то же время всѣ исполнены надеждой, *чуть что, такъ на стѣну и лѣзутъ*» (стр. 50). И. т. д., и т. д.

Вездѣ слышится чуткое, раздражительное недовольство нашимъ народнымъ характеромъ, невѣріе въ изящество его проявленій. Такъ мы объясняемъ себѣ въ особенности его *послѣднія произведенія*. Съ тѣхъ поръ, какъ ему измѣнило молодое поколѣніе, и онъ пересталъ выводить намъ представителей нашего прогресса, этихъ героевъ нашего общества, Тургеневъ, очевидно, обобщилъ свою задачу и сталъ вообще изображать, какъ въ русской жизни проявляются сильныя страсти, какія въ ней встрѣчаются *исторіи*, болѣе или менѣе романическія, болѣе или менѣе *странныя*. Передъ поэтомъ какъ бы постоянно носятъ образцы западнаго искусства, Лиръ, Вертеръ и пр., и онъ ищетъ имъ подобій въ нашей скудной и блѣдной жизни. Пошлость русскаго быта, общая низменность нравовъ и характеровъ составляетъ необыкновенно яркій контрастъ съ порывами сильныхъ страстей, съ исключительными событіями и лицами, въ которыхъ какъ бы открывается иная природа, міръ явленій болѣе высокаго порядка. Вотъ дѣвушка, исполненная самоотверженія и пламенной религіозности. Куда же ушли эти силы? Она стала спутницею грязнаго и дикаго юродиваго. Вотъ фантастическое явленіе *Собаки*, достойное воплотить въ себѣ глубокій смыслъ, быть страшнымъ откровеніемъ человѣческихъ тайнъ. Съ кѣмъ же оно случилось? Съ пошлякомъ помѣщикомъ,

въ которому оно такъ же идетъ, какъ изъ коровѣ сѣдло. Да мало того—въ этомъ чудѣ нѣтъ никакого смысла, ни для него, ни для насъ. Вотъ примѣръ неизмѣнной, неугасающей любви—*Бригадиръ*. Боже мой! Что за фигура, что за обстановка, какая неизмѣримая, безвыходная пошлость! Самыя формы этой любви, просительныя письма Бригадира, его толки о подаркахъ, даже его фамилія—*Гуськовъ*—все представляетъ картину, оскорбляющую чувство красоты, все даетъ чувствовать нестерпимый диссонансъ между безобразіемъ дѣйствительности и тою искрою идеальной жизни, которая попала въ эту грязь. А вотъ и самъ *Король Лиръ*, вотъ величіе въ образѣ Мартына Харлова. Его двѣ дочери—такія же красавицы и такія же злодѣйки, какъ Гонерилля и Регана. Есть и Эдмундъ—Слѣткинъ, плѣвившій обѣихъ сестеръ. Шутъ—это Сувениръ. Кентъ—казачекъ Максимка и т. д. Тургеневъ самымъ серіознымъ образомъ переложилъ Шекспира на русскіе нравы, пародировалъ одну изъ чудеснѣйшихъ его драмъ. Искусство, съ которымъ это сдѣлано, натуральность этого сочиненія—выше всякихъ похвалъ. Вообще во всемъ, что создаетъ Тургеневъ—онъ до высочайшей степени вѣренъ русской жизни; онъ не вноситъ въ нее чужихъ элементовъ; напротивъ, тщательно объективируетъ ее, тщательно отличаетъ ее отъ всякой другой жизни, съ тѣмъ, чтобы вѣрнѣе и явственнѣе выступала противоположность ея съ идеалами страстей, съ мощными и изящными проявленіями души человеческой.

Лейтенантъ Ергуновъ. Въ этой повѣсти есть любовь, убійство, восточная красавица, пѣсни, пляски, волшебныя грезы... Но подставку для этихъ событій и картинъ, нить, на которую они нанизаны, составляетъ пустѣйшій и прозаичнѣйшій въ мірѣ человекъ, морякъ Ергуновъ (одна фамилія чего стоитъ!). Въ этой противоположности заключается вся соль, вся пикантность этого разсказа.

Въ *Несчастной* мы видимъ передъ собою еврейку, отецъ которой, живописецъ, былъ вывезенъ изъ-за границы, и дочь этой еврейки Сусанну.—женщинъ иного племени, иного душевнаго склада, окруженныхъ русскою жизнью, и чистыми русскими, и русскими съ нѣмецкой кровью, и обру-

сѣвшими чехами. Какія мастерскія фигуры—Колтовской, Фустовъ, Рачъ, Викторъ!

«Помнится», говоритъ Тургеневъ, «гдѣ-то у Шекспира говорится о *бѣломъ голубѣ въ стаѣ черныхъ вороновъ*»; подобное впечатлѣніе произвела на меня вопедшая дѣвушка: между окружающими ее црмъ и ею было слишкомъ мало общаго; оказалось, она сама втайнѣ недоумѣвала и дивилась, какъ она попала сюда» (Т. VI, стр. 290).

Вотъ смыслъ этого разсказа. Попавши въ чужой міръ, мать и дочь невыразимо страдаютъ и, наконецъ, гибнутъ. Мать любила когда-то Колтовскаго, чему не мало удивляется Сусанна; Колтовской, не умѣвшій любить и, по знаменитому выраженію, только *пребывавшій благосклоннымъ* къ своей любовницѣ, измучилъ и ее дочь. Дочь, любившая Фустова, находитъ въ немъ холодность и недовѣрчивость, отъ которой и гибнетъ. Это двѣ души, глубоко оскорбленныя дѣйствительностію, два бѣлыхъ голубя среди вороновъ.

Въ *Стукъ, стукъ, стукъ!* выставленъ полный, тупой, неуклюжій и бездушный офицеръ, который вздумалъ разыгрывать изъ себя героя. Ни въ немъ самомъ, ни вокругъ него нѣтъ ничего героическаго, необыкновеннаго, способнаго возбудить и питать фантазію. Но онъ выдумываетъ, сочиняетъ себѣ несчастія, дѣйствія судьбы, чудесныя явленія. Эти безмѣрно-упрямыя попытки *подняться въ идеальный міръ* оканчиваются тѣмъ, что герой убиваетъ себя безъ всякой на то причины, единственно изъ желанія выдержать роль рокового человѣка. Тутъ изображенъ контрастъ между низменною и тупою натурою и идеальными стремленіями. Вотъ какъ русскіе люди иногда пытаются быть героями! Они не имѣютъ на это ни правъ, ни способностей.

Дымъ въ сущности есть такая же исторія. Тутъ развѣнчана русская страсть, русская любовь, которая (мы разумѣемъ связь между Ириною и Литвиновымъ) бесплодно пытается облечься въ поэзію, подняться на какія-то ходули; она не можетъ прійти въ гармонію съ дѣйствительностію, не можетъ обратиться въ прочное и живое явленіе, и остается на степени безобразнаго, грубаго увлеченія. Русскія страсти

не имѣютъ и не могутъ имѣть тѣхъ блестящихъ формъ, той поэтической значительности, которую представляютъ страсти европейскія.

Такимъ образомъ, вездѣ и повсюду мы находимъ у нашего художника то, что Апполонъ Григорьевъ называлъ бы *борьбою съ хищнымъ типомъ*; вездѣ мысль объ идеальныхъ, мощныхъ и изящныхъ проявленіяхъ души и о контрастѣ этихъ проявленій съ русскою жизнью. Чужіе идеалы, идеалы хищной жизни, сильныхъ страстей, романическихъ событій носятъ передъ художникомъ, и онъ примѣриваетъ ихъ къ нашей дѣйствительности, повидимому, такой блѣдной и чуждой красоты.

Напряженный, безмѣрно-чуткій и раздражительный идеализмъ слышится намъ у Тургенева, и онъ-то придаетъ его реальнымъ картинамъ колоритъ отталкивающій, выражающій и возбуждающій брезгливость къ ихъ дѣйствующимъ лицамъ. Сквозь видимую міру брезгливость незримое міру сочувствіе... Скажемъ прямо: у Тургенева все вѣрно русской жизни и, однакоже, постоянно чувствуется въ этой вѣрности односторонность, неполнота изображенія. Въ *Дымъ* присутствуетъ, по крайней мѣрѣ, Татьяна Шустова, которая должна насъ утѣшать за нашихъ Иринъ. Но въ другихъ вещахъ не видать даже издали этого свѣта, горящаго подъ спудомъ русской дѣйствительности.

Что же? Ужели мы станемъ упрекать въ этомъ нашего художника? Нимало не думаемъ: мы хотѣли только указать на борьбу и работу, совершающуюся въ его душѣ. Дадимъ ему свободу духа и слова и будемъ пользоваться тѣмъ, что онъ намъ даетъ. Работаетъ онъ съ достойной всякаго уваженія добросовѣстностію. Мастерство его рассказовъ безукоризненно. Въ нихъ нѣтъ ни единой невѣрной черты, ни единого лишняго слова. Публика бранитъ Тургенева, но читаетъ его по-прежнему съ жадностію, по-прежнему не пропускаетъ ни одной его страницы. На него устремлены *полныя ожиданія* очи. Его потомъ и бранятъ, что онъ какъ-будто обманываетъ ожиданія; но ожидать все-таки не перестаютъ. И какъ знать? Душевный процессъ, совершающійся въ художникѣ,

можетъ разрушиться новымъ наплывомъ бодрости и творчества.

Самый идеализмъ Тургенева намъ очень по душѣ. Пусть онъ развитъ и подогрѣтъ созданіями чужого художества, мечтами и формами иной, не нашей жизни: намъ все-таки слышится въ немъ родное, русское свойство. Мы, русскіе, кажется, носимъ на себѣ задатки идеализма необычайно высокого, такъ сказать, нѣжнаго. Отъ этого зависитъ наша впечатлительность, наша отзывчивость на всякіе идеалы, и вмѣстѣ наша вѣчная неудовлетворенность и своимъ и чужимъ, своимъ даже преимущественно и всего сильнѣе. Въ самой первой молодости бываетъ у людей нѣчто подобное: нѣкоторое чувство отвращенія ко всему своему и даже къ себѣ (Вспомните Наташу въ «Войнѣ и Мирѣ», когда она скучаетъ на праздникахъ въ селѣ Отрадномъ). Такъ и мы, юный народъ на сценѣ міра, часто бываемъ расположены отворачиваться отъ того, съ чѣмъ связаны, однакоже, всѣми нервами нашей души. Это—время идеаловъ, сходящихъ сверху, идеаловъ на воздухѣ, передъ которыми меркнетъ и является безобразною всякая дѣйствительность.

Въ силу подобнаго идеализма Тургеневъ скептически отнесся къ нашимъ партіямъ. Тотъ же идеализмъ составляетъ душу его послѣднихъ произведеній.

16 февр.

(Заря 1871, февраль).

V.

ПОМИНКИ ПО ТУРГЕНЕВЪ.

Похороны Тургенева оставили по себѣ самое грустное впечатлѣніе. Чѣмъ пынѣе было зрѣлище, чѣмъ въ болѣе-шемъ порядкѣ и чинности совершалась длиннѣйшая процессія, тѣмъ яснѣе была ея искусственность и холодность. Чѣмъ больше было вѣнковъ, тѣмъ виднѣе было, что провожавшіе были въ скудномъ числѣ, конечно, сравнительно. Нельзя сказать, чтобы весь Петербургъ провожалъ Тургенева,—многія и многія сферы изъ самыхъ видныхъ были или едва замѣтны, или блистали полнѣйшимъ отсутствіемъ*). А что много было зрителей—значило только то, что было большое зрѣлище, на которое цѣлый мѣсяцъ приглашали газеты. Надъ гробомъ покойника, очевидно, разыгралась какая-то борьба, и насколько, съ одной стороны, похороны были непомерно раздуты, настолько, съ другой—они были непомерно оборваны.

То же повторилось и въ области литературы, во всѣхъ этихъ безчисленныхъ отзывахъ, восхваленіяхъ, спорахъ, которыми два мѣсяца наполнялись газеты и журналы. Одни видѣли въ Тургеневѣ великаго писателя, гениальнаго вождя,

*) Военныхъ вовсе не было, по совѣту, который былъ имъ данъ начальствомъ.

указывавшаго истинные пути для нашей мысли и дѣятельности; другіе негодовали на такое преувеличеніе и упорно хотѣли ограничить всё его заслуги—областью художества, по ихъ мнѣнію, совершенно *невинною*. Это разногласіе дошло до необыкновеннаго ожесточенія съ обѣихъ сторонъ. Имя Тургенева сдѣлалось знаменемъ опредѣленныхъ мнѣній, опредѣленной партіи, и ревностные поклонники его, часто совершенно вопреки своему желанію, были всё зачислены въ эту партію. Поэтому ихъ осыпали упреками и злобными насмѣшками; память Тургенева старались защитить, охранить отъ его превозносителей, и для этого сводили его значеніе до наименьшей возможной величины.

Бѣдный Тургеневъ! Бѣдная русская публика! Всѣ умы въ такомъ напряженіи, въ такой тревогѣ, что самыя ясныя мысли и чувства искажаются, и ни одинъ предметъ не являеся въ своемъ истинномъ видѣ.

Тургеневъ былъ любимцемъ публики въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ. Двадцать пять лѣтъ онъ считался первымъ русскимъ писателемъ, прямымъ и достойнымъ преемникомъ Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Никто изъ его современниковъ не имѣлъ такой свѣтлой, общепризнанной и широкой славы. Чѣмъ же объясняется это первенство, это долгое и живое обаяніе.

Художественнымъ мастерствомъ, отвѣчаютъ тѣ цѣнители, которыхъ можно назвать въ одно время и хвалителями и хулителями Тургенева. Но это вполнѣ невѣрно. По художественности, то есть по жизненности, яркости и глубинѣ образовъ, Тургеневъ уступить не только Л. Н. Толстому, не только Гончарову, или Островскому, но и Достоевскому, и Писемскому. Настоящаго художества, то есть творчества въ полномъ смыслѣ этого слова, мало у Тургенева. Его фигуры, обыкновенно, представляютъ довольно блѣдныя очерки; черты ихъ вѣрны, проведены осторожно, изящно; композиція проста и опрятна; но выпуклости, плоти, душевной глубины нѣтъ въ этихъ *аквареляхъ*, какъ остроумно называлъ кто-то писанія Тургенева. Во множествѣ случаевъ, даже просто намѣчено нѣсколько отдѣльныхъ штриховъ и нѣтъ полного рисунка, тогда какъ у настоящаго творческаго писателя фигура всегда является ра-

вомъ во всей полнотѣ жизни, и съ десяти строкъ читатель чувствуетъ, съ какимъ существомъ онъ встрѣтился.

Было бы очень жалъ, если бы пониманіе художества у насъ стояло такъ низко, что мы Тургенева признавали бы за великаго художника и серьезно сравнивали бы его произведенія съ Пушкинымъ или Гоголемъ.

Но, несмотря на то, сочиненія Тургенева въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ представляли для публики такую занимательность, такую прелесть, что онъ бралъ верхъ надъ самыми даровитыми изъ своихъ совмѣстниковъ по литературѣ. Часто указываютъ на то, что онъ всегда держался современныхъ вопросовъ, выводилъ героевъ дня. Но кто же не пытался дѣлать то же самое? Сколько было усилій схватить самую современную современность!

Давно уже художество заражено тою идеею, которою теперь все заражено,—идеею политическою; давно уже вѣра въ прогрессъ, въ развитіе почти вытѣснила вѣру въ вѣчныя истины и замѣнила собою самое исканіе этихъ истинъ. Тургеневъ вовсе не составляетъ исключенія въ этой общей погонѣ за современностью, въ стремленіи отзывать на вопросы минуты. Его отличительная черта состоитъ не въ выборѣ предметовъ, а въ томъ, какъ онъ относился къ предметамъ.

Это отношеніе было—полное *подчиненіе*, подчиненіе искреннее, естественное, вытекающее не изъ расчета или увлеченія, а прямо изъ мягкой натуры писателя. Тургеневъ шелъ постоянно рядомъ и вмѣстѣ съ самою большою толпою публики, съ главною массою нашихъ образованныхъ людей. Онъ не хотѣлъ отдѣляться отъ этой массы (то есть и не могъ отдѣляться), онъ ни въ чемъ не расходился съ ея вкусами и мыслями, и потому никогда не противорѣчилъ этимъ вкусамъ и мыслямъ. Такого отношенія не выдерживалъ и не могъ выдержать никто изъ другихъ писателей. Всякій изъ нихъ, въ томъ или другомъ пунктѣ, становился въ сторонѣ отъ толпы, бралъ себѣ другія точки зрѣнія, подымался на высоты, съ которыхъ объективнѣе и крупнѣе являлась картина. Одинъ Тургеневъ не дѣлалъ ничего подобнаго.

Возьмемъ дѣло съ внѣшней стороны, самой ясной. Возьмемъ языкъ. Сверстники Тургенева, нимало не задумываясь,

писали такимъ языкомъ, какимъ каждому вздумается. Оригинальность языка считалась достоинствомъ, заслугою. Одинъ Тургеневъ писалъ общелитературнымъ языкомъ, избѣгая всякой шероховатости и особенности. Онъ писалъ языкомъ образованнаго русскаго общества и, естественно, былъ за то милъ этому обществу.

Точно такъ—одинъ Тургеневъ соблюдалъ то изящество, ту граціозность, къ которой стремится нашъ образованный классъ. Вы не найдете у него грубыхъ образовъ, дикихъ нравовъ, рѣзкихъ выраженій. Все опрятно и умѣренно; скорѣе встрѣтится жеманство, чѣмъ отступленіе отъ приличія.

Но и это лишь внѣшность. По внутреннему содержанию своихъ произведеній Тургеневъ долженъ былъ имѣть главную и несравненную привлекательность для нашихъ образованныхъ людей. Кого онъ выводилъ на сцену? Онъ изображалъ представителей нашей образованности, «современныхъ героевъ», и онъ одинъ умѣлъ это дѣлать, потому что стоялъ наравнѣ съ этими героями, нисколько не думалъ отъ нихъ отдѣлаться. Ни у какого другого писателя русскій образованный человѣкъ не встрѣчалъ себя самого, или людей, стоящихъ съ нимъ на одной доскѣ, ягодъ съ того же поля. И *лишніе люди*, и Рудины, и Базаровы, Литвиновы и т. д., все это—люди представляющіе нашу образованность. Если иные изъ нихъ недовольно типичны, то зато весь кругъ ихъ понятій, нравовъ и интересовъ былъ именно кругъ передового слоя, та самая атмосфера, въ которой вращались наши образованные люди.

Подумайте, какъ это должно было привлекать и занимать! Послѣ великаго переворота, произведеннаго Гоголемъ, наша литература потеряла вѣру въ *прекраснаго челоѣтика*; она оторвалась отъ общества и смотрѣла на все съ идеальной высоты, съ которой реальныя явленія или обнаруживаютъ свое безобразіе, или составляютъ типы живые и крѣпкіе, но объективируемые художествомъ холодно и, такъ сказать, высокоумѣрно. Въ одномъ Тургеневѣ не было этого высокоумѣрія. Онъ одинъ продолжалъ старыя преданія. Какъ Пушкинъ писалъ Онегина, Лермонтовъ Печорина, такъ и Тургеневъ писалъ своихъ героевъ, то есть: почти переносясь въ нихъ ду-

пою, не пытаюсь даже выходить въ другія сферы мысли, въ которыя подъ конецъ подымались его предшественники.

Рисуя задачи и стремленія нашего образованнаго класса, возводя въ перлъ созданія его радости и горести, Тургеневъ никогда не впадалъ въ противорѣчіе съ духомъ того общественнаго слоя, которому служилъ. Если бы онъ увлекся религіозностью, или патріотизмомъ, или славянствомъ, или задался бы чисто нравственными стремленіями, то онъ сталъ бы въ разрѣзъ съ общепринятыми понятіями, съ ходячими вкусами. Русскій образованный слой, заимствуя свое просвѣщеніе отъ Европы, естественно расположенъ не придавать вѣса различію народности, расположенъ къ общимъ мѣстамъ, къ неопредѣленности, или, если позволительно такъ выразиться, ко *всеядности* мнѣній и вкусовъ; и всегда инстинктивно уклоняется отъ строгой и рѣшительной постановки вопросовъ*). Вотъ гдѣ источникъ и того единственнаго случая, когда Тургеневъ попалъ въ разладъ съ западническою литературой. Нигилисты, въ жару своей проповѣди и первыхъ успѣховъ, вознегодовали на него, вѣрно понявъ, что онъ отъ нихъ отдѣлился. Эта единственная неудача на литературномъ поприщѣ больно поразила Тургенева. Но грубая и фанатическая односторонность была рѣшительно противна всѣмъ его умственнымъ и эстетическимъ привычкамъ; хотя онъ готовъ былъ въ этомъ случаѣ даже насиловать себя, онъ не успѣлъ найти твердой почвы для примиренія и остался неопредѣленнымъ, общимъ западникомъ. Неудачная «Новь» представляетъ лишь отвлеченное и холодное преклоненіе передъ нигилизмомъ.

Таковъ былъ Тургеневъ. Съ удивительною мягкостью, съ женственной отзывчивостію онъ подчинялся всѣмъ луч-

*) Неопредѣленность мнѣній Тургенева видна всего болѣе изъ той важности, которую онъ придавалъ своему протесту противъ крѣпостнаго права. Роль такого протеста сыграли, какъ извѣстно, „Записки Охотника“,—не станемъ разбирать, основательно или ошибочно, намѣренно или случайно имъ досталась эта роль. Интересно то, что Тургеневъ очень крѣпко держался за такую свою услугу прогрессу; между тѣмъ, противъ крѣпостнаго права стояли лучшіе люди всякаго рода мнѣній, никакъ не одни западники. Явный знакъ скудости катихизиса людей, мечтающихъ, что они черпаютъ изъ самой сокровищницы просвѣщенія.

шимъ стремленіямъ, господствовавшимъ въ нашемъ просвѣщеніи. Поэтому онъ былъ самымъ чистымъ, полнымъ и искреннимъ представителемъ этого просвѣщенія. Въ немъ не было ничего оригинальнаго, никакой упорной послѣдовательности, никакой глубокой задачи, но при этомъ было столько ума, образованности, вкуса и художественнаго таланта, сколько можетъ совмѣститься съ настроеніемъ и умственной жизнью нашихъ просвѣщенныхъ людей.

Какъ же было имъ не любить его? Какъ не любить писателя, до такой степени имъ сочувственнаго и однороднаго? Поэтому понятно, что никакой другой писатель не могъ имѣть столько поклонниковъ; поэтому странно было бы винить все это множество въ какомъ-нибудь преувеличеніи, въ какихъ-нибудь заднихъ мысляхъ. Развѣ они не идутъ по главному руслу нашего просвѣщенія, нашего умственнаго движенія? Развѣ до сихъ поръ не съ Запада почерпается нами образованіе? Большинство у насъ слѣдуетъ вкусу, образу мыслей и примѣру образованныхъ странъ, и потому Тургеневъ, какъ самый европейскій изъ русскихъ писателей, долженъ пользоваться наибольшими симпатіями этого большинства. Развѣ есть другое такое же широкое русло? Развѣ можно указать другое направленіе, столь же распространенное, столь же правильно вытекающее изъ положенія вещей, столь же неизбежно увлекательное?

Нельзя упрекать людей за то, что они не обладаютъ самостоятельностью въ мысляхъ и твердостью въ чувствахъ. По существу дѣла, людямъ всегда нуженъ авторитетъ, нужна опора и руководство. Если нѣтъ вполне достойной того опоры, они хватаются за менѣе достойную, лишь бы она была близка и ясна. Нужно имѣть снисхожденіе къ жаждущимъ авторитета, а плакать развѣ о томъ, что мы не успѣли до сихъ поръ создать для нихъ авторитетъ болѣе высокій и твердый, чѣмъ тотъ, за который они хватаются.

Очень поразительно и характерно для Тургенева, что онъ до конца такъ и не вернулся духовно къ своей родинѣ. Онъ, очевидно, искалъ, но такъ и не нашелъ пути къ этому возвращенію. Внутреннія силы, которыми живетъ Россія, оставались ему чуждыми, и онъ съ какимъ-то отчаяніемъ хва-

тался за одно лишь понятное ему проявленіе народной души — за нашъ языкъ. Восхищеніе отъ русскаго языка не могло мѣшать никакому западничеству, и Тургеневъ настойчиво предавался этому восхищенію, считая, конечно, и себя самого большимъ мастеромъ языка. Но, намъ кажется, есть иныя, болѣе значительныя черты, въ которыхъ сказывалась въ Тургеневѣ родственная любовь къ духовной жизни Россіи. Его симпатіи въ отношеніи къ людямъ были чисто-русскія. Простота, хрустальная ясность души, золотое сердце — вотъ что добрый и мягкій Тургеневъ ставитъ, очевидно, выше всякихъ другихъ достоинствъ, на чемъ любовно останавливается, какіе бы высокоумные герои ни играли главную роль въ разсказѣ. Иностранцы всегда изображаются, если не съ враждебностью, то съ тѣмъ отчужденіемъ, которое такъ трудно побѣдимо въ русскомъ человѣкѣ, которое очень часто составляетъ нашъ недостатокъ, но которое въ чистой формѣ есть черта самаго тонкаго патріотизма. Религіозная жизнь, такъ глубоко проникающая духъ нашего народа, отразилась у Тургенева въ нѣсколькихъ разсказахъ, имѣющихъ и типичность и прелесть, хотя отношеніе автора къ предмету иногда переходитъ въ простое изумленіе.

Вообще, Тургеневъ до конца любовно обращался къ русской природѣ, къ русскому быту, къ тѣмъ преданіямъ, случаямъ, нравамъ, которыми окружена была его юность. Позволю себѣ сослаться на нѣчто личное: въ разсказахъ Тургенева, особенно въ небольшихъ, безпритязательныхъ, меня часто поражали мелкія частности, живо напоминающія что-то давно знакомое, слышанное или видѣнное въ дѣтствѣ. Мнѣ трудно было бы точно и прямо указать эти черты, но онѣ вдругъ переносили меня въ среднюю полосу Россіи, въ атмосферу такихъ привычекъ, такого склада жизни, который свойственъ только этой мѣстности. Еще сильнѣе дѣйствовали на меня въ этомъ отношеніи разсказы г-жи Кохановской. Это сохраненіе въ душѣ мѣстной умственной и бытовой, пожалуй исторической, атмосферы возможно только у писателей, обладающихъ живою *памятью сердца*, неизмѣнно любящихъ то, что ихъ нѣкогда окружало, тѣмъ питалась ихъ душа.

При всемъ этомъ, Тургенева нельзя назвать писателемъ, выражающимъ духъ своего народа, или нѣкоторыя стороны этого духа. Ренанъ, который все больше и больше впадаетъ въ фразу и теряетъ ту тонкость и отчетливость, которая была въ немъ такъ привлекательна, напрасно приложилъ къ Тургеневу общую характеристику великаго поэта, именно сказать, что нашъ писатель есть выразитель безчисленныхъ поколѣній, умѣвшихъ жить и чувствовать, но не умѣвшихъ высказывать свою жизнь и чувства. Тургеневъ есть пѣвецъ только нашего культурнаго слоя, только послѣднихъ формаций этого слоя. Если бы въ «Евгеніи Онегинѣ» не было безподобнаго образа Татьяны, не было той черты смиренія, скорби и чистоты, которая составляетъ смыслъ этой поэмы, то включенія самого Онегина едва ли бы имѣли для насъ особенно высокій интересъ. Тургеневъ повторилъ, отчасти, этотъ мотивъ въ своей Лизѣ, въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ», повторилъ слабѣе и лишь въ очеркѣ; но «Дворянское Гнѣздо» именно поэтому, по общей широтѣ точки зрѣнія, и остается лучшимъ его произведеніемъ. Но въ другихъ разсказахъ, несмотря на то, что и въ нихъ фигуры дѣвушекъ изображены съ тонкимъ пониманіемъ (эти фигуры нужно признать, вѣроятно, лучшею стороною его писаній), интересъ движущихъ мотивовъ, источникъ коллизій и контрастовъ, вообще говоря, не имѣетъ большой глубины и серьезности, или, по крайней мѣрѣ, не захватывается авторомъ во всей глубинѣ. Вѣчные разсказы о томъ, какъ молодой человѣкъ хотѣлъ жениться и почему-то сплосчалъ, былъ отвергнутъ, или же самъ измѣнилъ невѣстѣ,—эти разсказы не возведены на ту высоту, которой можно желать отъ поэтическаго озаренія жизни. Самое лучшее въ нихъ, конечно,—встрѣчающееся иногда яркое изображеніе слѣпой страсти, покоряющей героевъ противъ ихъ воли. Другія пружины состоятъ въ мелкихъ чувствахъ самолюбія, тщеславія, упадка духа, въ слабыхъ зачаткахъ любви и вражды, но не въ развитыхъ до конца чувствахъ. Тургеневъ знаменитъ своими изображеніями *слабыхъ* людей, но едва ли гдѣ достигаетъ вполне яркаго ихъ освѣщенія. Можетъ быть, лучшее въ этомъ отношеніи представляютъ тѣ жалобные стоны, которые онъ влагаетъ инымъ изъ этихъ

героевъ, вообще та струна меланхоли, которая звучить у него довольно часто и не даромъ замѣчена иностранцами.

Этотъ полубольной, жидкій и шаткій міръ, эти дѣтища и герои нашего культурнаго слоя невольно сами обличаютъ свою несостоятельность. Они не стоятъ на твердой землѣ, они рѣются по воздуху, они похожи на *дымъ*, какъ выразился одинъ изъ нихъ въ минуту тоски.

Брандесъ очень хорошо понялъ этотъ смыслъ Тургеневскихъ писаній и излагаетъ его такъ:

«Тургеневъ глубоко убѣжденъ, что въ Россіи все какъ-то идетъ вкривъ и вкосъ; никакая любовная исторія не кажется ему чисто-русской, если она не имѣетъ несчастнаго исхода, благодаря непостоянству мужчины или безсердечности женщины; никакое стремленіе не кажется ему чисто-русскимъ, если оно не превышаетъ силъ людей, или не погибаетъ, встрѣтивъ равнодушіе. Въ его глазахъ современная Россія—это страна, гдѣ все не удается, страна всеобщихъ крушеній».

«Онъ былъ патріотъ, грустящій о своемъ отечествѣ и сомнѣвающійся въ его судьбахъ. Онъ не раздѣлялъ энтузіазма своихъ болѣе наивныхъ и менѣе знающихъ соотечественниковъ къ русскому народу. Онъ находилъ, что у него (т. е. у этого народа) нѣтъ великаго прошлаго. Когда авторъ этихъ строкъ стоялъ однажды на Римскомъ Форумѣ, ему пришла въ голову мысль, что тамъ у cadaго фута земли есть болѣе богатая исторія, чѣмъ у всей русской имперіи. Хотя и русскій человѣкъ, Тургеневъ думалъ почти также. Онъ описываетъ гдѣ-то печаль, охватившую его на всемірной выставкѣ, при видѣ ничтожности выклада Россіи въ общую сумму промышленныхъ изобрѣтеній человѣчества» («Новое Время», 1883 г. 12 сент.).

Такіе взгляды и мнѣнія, конечно, очень по душѣ иностранцамъ и дѣлаютъ изъ Тургенева одного изъ самыхъ ясныхъ представителей западничества. Ослѣпленіе почти невѣроятное, но оно существовало и существуетъ, къ нашему стыду и поученію. Онъ не вѣрилъ во внутреннюю силу Россіи и думалъ, что это страшно-громадное тѣло выросло безъ души, не развивалось, а какъ-то случайно скопилось. Это

море народа, этотъ океанъ людей, глубоко и спокойно растущій, будто-бы не имѣетъ исторіи, будто-бы еще не живетъ могущественною нравственною жизнью, а только еще ищетъ себѣ души, есть только безформенная стихія, которую долженъ со временемъ оживить духъ, откуда-то имѣющій явиться.

Есть, однако, иностранцы, которые понимаютъ насъ болѣе правильно: такъ Юліанъ Шмидтъ, какъ немѣцъ, которому вполне привычны философскіе приемы, дѣлаетъ слѣдующія замѣчанія.

Указавъ сперва на ужасы нигилизма, онъ затѣмъ обобщаетъ свои разсужденія и, съ тою провицательностью, въ которой, можетъ быть, участвуетъ страхъ и ненависть, пишетъ:

«Русскій народъ, какъ это теперь доказано, способенъ «отдаться великой страсти. Если эта страсть возвысится на «степень культа, — чего-то въ родѣ религіознаго изступленія, — «она можетъ сдѣлаться опасною для Европы. Здѣсь, по моему, Тургеневу, какъ и прочимъ европейски-образованнымъ «русскимъ, недостаетъ надлежащаго общенія съ душою народа. Въ народѣ словно дремлютъ силы, совершенно чуждыя «европейской цивилизаціи и непонятныя ей. Тургеневъ въ «своихъ разсказахъ неоднократно описываетъ странные феномены русской религіи: какъ молодая нѣжная барышня «скитается по деревнямъ, прислуживая юродивому; какъ сынъ «попа, человѣкъ неглупый и способный, страдаетъ отъ дьявольскаго навожденія... Писатель повѣствуетъ все это съ чарующимъ реализмомъ, но замѣтно, что ему самому становится страшно».

Затѣмъ Ю. Шмидтъ старается показать, почему Европейцы, будто-бы, ближе стоятъ къ религіи и лучше могутъ ее понимать, чѣмъ образованные русскіе.

Причина состоитъ въ самомъ ходѣ нѣмецкой образованности, въ Лейбницѣ, Лессингѣ, Кантѣ, Гердерѣ и т. д., которые не давали произойти полному раздвоенію въ духовной жизни Германіи. У русскихъ не то.

«Русскій идеалистъ», говоритъ критикъ, «ничего не «знаетъ о религіи народа, потому что она никогда не преподавалась ему въ просвѣщенной формѣ; идеализмъ, заим-

«сформированный имъ изъ-за границы, не вполне усваивается имъ, не растворяется въ его крови, ибо онъ не самъ выработалъ его».

«Поэтому образованный русскій, почерпавшій свои идеалы изъ чужбины, находится въ известной изолированности».

«Быть можетъ, это—смѣлое мнѣніе, но я нахожу связь между этой полной отчужденностью отъ всякихъ религиозныхъ преданій и безнадежной меланхоліей, которая проявляется у нашего поэта внезапно тамъ, гдѣ ея менѣе всего ожидаешь; она придаетъ его картинамъ своеобразную прелесть, но она поражаетъ насъ: какъ могъ такъ чувствовать писатель, обладавшій такимъ свободнымъ, такимъ богатымъ, такимъ любовнымъ пониманіемъ всего прекраснаго?» («Новое Время», 9 сент. 1883 г.).

Для Ю. Шмидта, какъ для протестанта и питомца высокой нѣмецкой культуры, очевидно, наша религія и душа нашего народа суть нѣчто хотя и могущественное, но дикое и темное; тѣмъ не менѣе, главные черты Тургеневскаго строенія замѣчены имъ вѣрно и поставлены правильно. Нельзя не чувствовать себя потеряннымъ, оторвавшимся отъ родной почвы и не найдя для себя другой твердой опоры. И таковъ былъ Тургеневъ, слишкомъ слабый для того, чтобы выйти изъ того неправильнаго положенія, въ которое ставитъ насъ наше отношеніе къ Европѣ.

Западники должны вполне гордиться Тургеневымъ и съ великимъ почетомъ вписать его имя въ исторію нашей литературы. Изъ всѣхъ значительныхъ писателей онъ одинъ остался почти вовсе чуждъ того, что въ нашемъ обществѣ принято называть «элементами славянофильства». Онъ первый не подходитъ подъ общій законъ, по которому наши писатели сперва подчиняются вліянію Запада, но, по мѣрѣ созрѣванія своихъ силъ, начинаютъ обнаруживать стремленія, вытекающія изъ самобытнаго духовнаго строя ихъ родины. Причины такого исключенія довольно ясны. Во первыхъ, Тургеневъ сознательно держался своихъ мыслей. Въ его время различіе и противоположеніе западничества и славянофильства вполне опредѣлилось и высказалось. Каждый писатель, если имѣлъ желаніе и силу быть послѣдовательнымъ, былъ

обязанъ стать на ту или на другую сторону, не могъ уйти отъ этой дилеммы. И Тургеневъ даже хвалился тѣмъ, что «не измѣнилъ убѣжденіямъ своей молодости», т. е. западничеству 40-хъ годовъ. Во вторыхъ, Тургеневъ и вообще не имѣлъ столько силы и оригинальности, чтобы быть самостоятельнымъ. Аполлонъ Григорьевъ любилъ говорить, что Тургеневъ есть *повтореніе Пушкина*, разумѣется, не полное, а отчасти. И въ самомъ дѣлѣ, и языкъ и всѣ художественныя приемы Тургенева—Пушкинскіе. Эта прелестная форма, отличающаяся простотою и ясностью, трезвостью реализма и одушевленіемъ творчества, эта форма, приводившая въ такое восхищеніе иностранцевъ, которые сами всегда чересчуръ плодовиты и рѣдко не злоупотребляютъ художествомъ,—она завѣщана намъ Пушкинымъ, она составляетъ привычный и неизмѣнный образецъ для нашихъ художниковъ слова.

За тѣмъ, ни яркаго своеобразія языка и быта, какъ, на примѣръ, у Островскаго, ни постоянно господствующей мысли, какъ, положимъ, у Достоевскаго,—нельзя найти у Тургенева. Можетъ быть, высшее мѣрило жизни для его дѣйствующихъ лицъ есть мечта о какомъ-то счастьи, обыкновенно съ любимымъ существомъ, счастья иногда какъ-будто близко стоящемъ передъ глазами, но, большею частью, только мелькающемъ издали, вѣчно манящемъ и вѣчно исчезающемъ, такъ что подъ конецъ у нихъ остается лишь тоска ненаполненной или разбитой жизни и страхъ смерти. Да и этотъ мотивъ, сказывающійся довольно часто, не выступаетъ съ полной силою, не воплощенъ съ художественною яркостью, а звучитъ какъ-то робко и жалобно.

Тургеневъ до конца дней не обладалъ никакимъ авторитетомъ. Его очень любили и жадно читали; всякая мысль, всякое чувство, которое онъ вздумалъ бы вложить въ свое созданіе, были бы приняты публикою съ отверстыми душами. Но ему нечего было сказать; не было въ немъ струны, которая, издавая господствующій звукъ, вносила бы ясность и гармонію во всѣ его звуки. Понятно, что Западъ, передъ которымъ онъ такъ преклонялся, не могъ дать ему какого-нибудь руководящаго начала; Западъ внушилъ ему только вѣру въ прогрессъ, заставлявшую вѣчно оглядываться на другихъ

и ждать чего-то впереди; но для насъ всего прискорбнѣе должно быть то, что такой добросовѣстный, талантливый и мягкій душою человѣкъ равно не нашелъ себѣ твердыхъ опоръ и среди того хаоса, въ которомъ ему явился нашъ русскій нравственный міръ. Мудрено винить такихъ людей, какъ Тургеневъ; они—дѣти своего времени, но, очевидно, изъ тѣхъ дѣтей, которыя способны были бы применить къ самымъ высокимъ стремленіямъ времени.

(Русь, 1 дек. 1883).

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

I.

Сочиненія гр. Л. Н. Толстаго. Въ двухъ частяхъ. Спб.
1864. (Изданіе Ө. Стелловскаго).

— А что, баринъ, ваше дѣло—
господское.

— Что—спросилъ я.

— Дѣло-то, дѣло—господское,
повторилъ онъ, шамкая беззубы-
ми губами.

А. Н. Толстой (*Юность*).

Статья первая.

Что дѣлаетъ въ послѣднее время наша поэзія? Чѣмъ
заняты умы нашихъ людей, одаренныхъ творческою силою?

Работа нашихъ творческихъ силъ заслонена и отодви-
нута на задній планъ всякаго рода историческимъ движеніемъ,
такъ шумно совершающимся теперь на нашей родинѣ. Но,
тѣмъ не менѣе, эта работа продолжается: поэзія дѣлаетъ свое
дѣло. И должно считать даже весьма замѣчательнымъ явле-
ніемъ, что среди той шумной сумятицы мнѣній и направле-
ній, которая у насъ недавно господствовала, среди того об-
щаго упадка вниманія къ литературѣ, того все болѣе и бо-
лѣе возрастающаго равнодушія читателей, которое послѣдовало
за этой сумятицей, наша поэзія дѣлала свое дѣло, свое на-
стоящее дѣло.

Это дѣло всегда одинаково; оно во всѣ времена устремлено на раскрытіе, какъ говорится, тайнъ души человѣческой. Такъ было и въ наше послѣднее время. Внутренній вопросъ души, уясненіе себѣ идеала душевной красоты—вотъ куда были обращены помыслы нашихъ творческихъ умовъ. И если мы внимательно взглянемъ въ то, какіе отвѣты даны на вопросъ, какъ поставлено его рѣшеніе, то найдемъ не мало достойнаго размышленія. Тутъ сказалось вѣрное слово, можетъ быть, слабымъ и неполнымъ образомъ, но сказалась боль и радость русской души, отразилась и наша всегдашняя сущность, и та минута, которую эта сущность переживаетъ въ ходѣ нашей исторіи.

Возьму здѣсь, пока, трехъ нашихъ писателей: Тургенева, Писемскаго и гр. Л. Толстаго, при чемъ нисколько не думаю равнять ихъ по таланту. Дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что всѣ они несомнѣнно одарены поэтической силою. Тургеневъ въ прошломъ году напечаталъ свое «Довольно», а Писемскій «Русскихъ лгуновъ». Оба эти произведенія незначительны по объему, но они очень замѣчательны потому, что и то и другое даетъ ключъ къ уразумѣнію остальныхъ произведеній этихъ двухъ писателей. Такъ, иногда невольно вырвавшееся слово или восклицаніе объясняетъ намъ многія дѣйствія и рѣчи человѣка. Что касается до гр. Л. Толстаго, то полное собраніе его сочиненій, вышедшее въ позапрошломъ году, мнѣ кажется, всего удобнѣе можетъ подтвердить главную мысль настоящей статьи, почему мы остановимся на нихъ въ особенности.

Что изображаетъ намъ Тургеневъ въ своемъ «Довольно»? Русскаго человѣка, художника, у котораго гаснетъ *свѣтъ, исходящій изъ сердца чело́вѣка*, который скрещиваетъ *не-нужныя* руки на *пустой* груди. Какъ же это случилось? Какъ возможно, чтобы этотъ человѣкъ, мыслившій, любившій, создавшій художественныя произведенія, вдругъ почувствовалъ, что грудь у него пуста, что источникъ желаній и радостей у него изсякъ, что ему нечѣмъ жить и не для чего жить? Если такія явленія есть въ русской жизни, если эта сгруща въ ней отзывается, то стоитъ объ этомъ подумать.

Не сломала ли тургеневскаго художника жизнь? Не под-

вергся ли онъ тяжкимъ страданіямъ и несчастіямъ? Вовсе нѣтъ. Въ прошломъ, по его собственному увѣренію, все свѣтло у него. Его жизнь, какъ онъ самъ говоритъ, проходила въ томъ, что онъ *нѣжился сладкой нѣгой неопредѣленными, но плѣнительными ощущеніями, бѣжась за каждымъ новымъ образомъ красоты, ловилъ каждое трепетаніе ея тонкихъ и сильныхъ крылъ.*

Нѣтъ, онъ не страдалъ и не страдаетъ. Еслибъ у него было горе, то грудь его не была бы пуста: ее наполняло бы это горе, хотя бы и терзая эту грудь. Но самое горькое, какъ видно, не то, что у человѣка есть горе, есть то, что обыкновенно называется горемъ; самое горькое то, когда человѣкъ почувствуетъ себя неспособнымъ страдать, неспособнымъ носить въ себѣ горе. Вотъ въ чемъ его горькая бѣда. Точно такъ—самъ онъ говоритъ, ему *страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что ему нечего бояться.*

Человѣку не по чемъ страдать и нечего бояться—да это ужасно! Значить, нѣтъ для него ничего дорогого, о чемъ бы радовалась и печалилась душа, что было бы источникомъ и надеждъ и страха.

Но откуда же могло возникнуть такое душевное настроеніе? Какъ возможна такая мертвенность души? Люди гонятся, пишутъ художникъ, за *вздоромъ, дѣтъ тысячи лѣтъ назадъ осмѣяннымъ Аристофаномъ...*

Смѣхъ? Отчего же нѣтъ? Смѣхъ—тоже живое явленіе. Если человѣкъ можетъ смѣяться яро, съ увлеченіемъ, если грудь его полна злобы, веселости или насмѣшки, то это не будетъ пустая грудь. Но самый великій вадоръ выходитъ тогда, когда человѣку нечего называть вздоромъ, такъ какъ все уравнилось передъ его глазами; самую горькую насмѣшку вызываетъ тотъ, для кого уже ничто не горько и не смѣшно.

Итакъ, откуда намъ сіе? Коротенькій рассказъ художника прекрасно изображаетъ намъ это настроеніе духа, но, къ сожалѣнію, ни мало не исчерпываетъ вопроса. Разсужденія, въ которыя онъ пускается, нисколько не помогаютъ объяснить недостатокъ жизни въ его сердцѣ. Его міросозерцаніе интересно лишь потому, что вполне гармонируетъ съ его душевной пустотой. Вотъ оно въ его собственныхъ словахъ:

«Бессознательно и неуклонно покорная законамъ, при-
рода не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ
не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка прехо-
дящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неиз-
мѣннаго»...

«Человѣкъ—дитя природы; но она—всеобщая мать,
и у ней нѣтъ предпочтенія: все, что существуетъ въ ея
лонѣ, возникло только на счетъ другого и должно въ свое
время уступить мѣсто другому».

«Гдѣ же намъ, бѣднымъ людямъ, сладить съ этой
глухо-нѣмой, слѣпорожденной силой, которая даже не тор-
жествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все по-
жирая; какъ устоять противъ этихъ тяжелыхъ, грубыхъ,
безконечно и безустанно надвигающихся волнъ?»

Итакъ, міръ есть слѣпорожденная, глухо-нѣмая сила,
которая, не вѣдая ни искусства, ни свободы, ни добра, отъ
вѣка движется своими тяжелыми, грубыми, но неотразимыми
волнами, а человѣкъ—дитя этой силы, нравнѣ съ другими
ея дѣтьми, безъ всякаго предпочтенія отъ всеобщей матери.
Въ концѣ концовъ выходитъ, что наше искусство, наша сво-
бода, наше добро—призракъ, обманъ, которымъ мы только
тѣшимся.

И здѣсь, какъ въ тысячи другихъ случаевъ, нужно
помнить, что не мысль создаетъ человѣка, а человѣкъ мысль;
не это міросозерцаніе опустошило грудь нашего художника, а
наоборотъ, пустая грудь подсказала ему такой безотрадный
взглядъ. Прекрасно выразился объ этомъ предметѣ покойный
Аполлонъ Григорьевъ:

«Наши мысли вообще», пишетъ онъ,—«если онѣ точно
мысли, а не балоовство одно—суть плоть и кровь наша, суть
наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій.
Немногіе въ этомъ сознаются, ибо немногіе имѣютъ счастье
или несчастье *рождать* изъ себя собственныя, а не чужія
мысли» (*Эпоха* 1865, февр. Нов. Письма, стр. 164).

Такимъ образомъ, Тургеневъ, послѣ цѣлаго ряда людей,
пораженныхъ душевною пустотою, послѣ всѣхъ *лишнихъ*
людей, незнающихъ, что дѣлать съ жизнью, или, какъ
Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, *живущихъ въ потъ лица*,

словно въ подражаніе разнымъ изученнымъ ими сочинителямъ, послѣ всѣхъ этихъ комическихъ и жалкихъ фигуръ, Тургеневъ, наконецъ, выставилъ намъ грандіозную фигуру, изображающую, однакоже, ту же самую пустоту души, то же самое малодушіе.

Отъ Тургенева, отъ этихъ страницъ, которыя все еще благоухаютъ, гдѣ все еще слышно *трепетаніе тонкихъ и сильныхъ крылъ красоты*, обратимся къ Писемскому. У этого писателя есть своя опредѣленная задача, которой онъ остается вѣренъ. Онъ самъ такъ ясно сознавалъ служеніе этой задачѣ и столько гордился имъ, что съ великою смѣлостію называлъ однажды свой путь *единственно честнымъ путемъ*. Читатель найдетъ это мѣсто въ той части «Взбаломученнаго моря,» гдѣ авторъ выводитъ на сцену самого себя и заставляетъ другое лицо произносить сужденіе о своей повѣсти «Старческій грѣхъ». Тутъ же встрѣчаются и насмѣшки надъ Майковымъ, Полонскимъ и въ особенности надъ Тургеневымъ.

Путь Писемскаго—изображать пошлость пошлаго человека, и въ особенности изображать ее тамъ, гдѣ она прикрыта фальшивымъ блескомъ благородства, ума, изящества и т. д. Писемскій постоянно изображаетъ фальшь и безпощадно обнажаетъ то, что подъ нею скрывается. Поэтому такая тема, какъ «Русскіе лугуны», совершенно въ его духѣ, непременно совпадаетъ съ его *единственно честнымъ путемъ*. Но на этотъ разъ обнаружилась странность, которая, какъ мнѣ кажется, прекрасно объясняетъ, откуда идетъ этотъ единственно честный путь, откуда такое упорное и неутомимое исканіе фальши. Г. Писемскій пробовалъ искать фальши даже въ сферѣ такихъ событій, какъ Крымская война, или освобожденіе крестьянъ, и ему замѣчено было, что это исканіе, безъ пониманія самаго смысла великихъ событій,—дѣло не умѣстное. Въ настоящемъ случаѣ, сущность единственно честнаго пути обнаружилась еще проще и опредѣленнѣе. Именно, совершенно неожиданно въ число «Русскихъ лугуновъ» попалъ Ромео, извѣстный герой извѣстной Шекспировской трагедіи. Въ заключеніе разсказа «Красавецъ», гдѣ изображается фальшь

страстной любви, г. Писемскій обращается къ своимъ читательницамъ такимъ образомъ:

«Смѣю васъ завѣрить, что самъ пламенный Ромео «покраснѣлъ бы до конца ушей своихъ, или взбѣсилъ бы «до нелѣзя, если бы ему напомнили, буква въ букву, тѣ слова, «которыя онъ расточалъ своей божественной Юліи, стоя передъ ея балкономъ,—особенно, если бы жестокіе родители «не разлучили ихъ, а женили!»

Итакъ, самая любовь Ромео и Юліи есть фальшь, такая же фальшь, какую напускали на себя герои и героини г. Писемскаго и подъ которою, какъ это весьма искусно показываетъ г. Писемскій относительно своихъ героевъ и героинь, скрывается одно простое живое сластолюбіе. Человѣкъ, впадшій въ такую фальшь, долженъ потомъ всю жизнь бѣситься и краснѣть при воспоминаніи о ней, и въ особенности будетъ бѣситься и краснѣть, если женщина, которую онъ любилъ, станетъ потомъ его женою, матерью его дѣтей, и проживетъ съ нимъ долгіе годы.

Дѣло весьма замѣчательное. Великій поэтъ Шекспиръ изобразилъ намъ любовь; онъ записалъ, отъ слова до слова, рѣчи, которыя Ромео расточалъ Юліи передъ балкономъ. Русскій писатель г. Писемскій находитъ, что все это фальшь, что за эти рѣчи вчужѣ становится совѣстно и стыдно. Итакъ, образъ прекрасныхъ мыслей и чувствъ, данный Шекспиромъ, не годится. Но есть ли у русскаго писателя свой образъ, которымъ онъ вправѣ былъ бы замѣнить шекспировскій? Увы! какъ ни ищите въ сочиненіяхъ г. Писемскаго, тамъ не найдется ни единой черты этого образа; въ дѣйствительности, которой онъ такъ усердно держится, существуетъ, по его изображенію, одно животное влеченіе.

Бѣдная русская жизнь! Она порождаетъ людей съ пустою грудью, которымъ нечѣмъ жить и незачѣмъ жить, а шекспировскіе образы для созерцателей этой жизни кажутся пустымъ ломаньемъ, несносною фальшью! Не думаю вполне соглашаться съ этими печальными заключеніями, но полагаю, что важно и любопытно изслѣдовать тотъ недугъ, который отзывается въ настроеніяхъ и взглядахъ, дающихъ поводъ къ такимъ заключеніямъ. Есть, очевидно, какое-то зло, по

которому намъ смѣшонъ и страненъ любой шекспировскій герой, по которому мы не можемъ подчасъ дать себѣ отчета, зачѣмъ человекъ живетъ на свѣтѣ.

Особенно удобно заняться разборомъ этого дѣла на про-изведеніяхъ гр. Л. Толстаго. У Тургенева зло, о которомъ идетъ рѣчь, сквозить, очевидно, помимо его воли; оно не составляетъ прямого объекта, который онъ имѣетъ въ виду; Тургеневъ, насколько могъ, искалъ и изображалъ красоту нашей жизни. Писемскій изображалъ ея безобразіе и фальшь, но совершенно обратно, не сознавая отчетливо, во имя какихъ идеаловъ онъ казнить это безобразіе, такъ что иногда выходило, что безобразіе имѣетъ всѣ права существовать, такъ какъ оно-то и есть истинное и дѣйствительное явленіе, а все остальное только фальшь и призракъ. Только у гр. Толстаго задача, которая насъ занимаетъ, поставлена прямо, то-есть прямо рисуются люди, у которыхъ идеалъ оскудѣлъ, которые ищутъ прекраснаго образа мыслей и чувствъ, и страдаютъ среди этого исканія.

Сочиненія гр. Л. Толстаго представляютъ, въ этомъ отношеніи, книгу прекрасную и въ то же время глубоко-печальную. Она прекрасна по мастерству, которое можно сравнить съ тургеневскимъ, по правдивости, которая не уступаетъ Писемскому, и по душевной теплотѣ и силѣ, которою, можетъ быть, превосходить того и другого. Любовь есть та сторона жизни, которая, своею красотою, всего доступнѣе людямъ; любовь можетъ хотя на время наполнить самую опустошенную грудь, оживить самую мертвенную душу. Поэтому понятно и то, что *художникъ* Тургенева отыскалъ-таки въ своей груди слѣды любви, ее наполнявшей. Графъ Л. Толстой, мнѣ кажется, еще теплѣе и живѣе Тургенева понимаетъ это чувство, еще правильнѣе къ нему относится. Въ его любовной поэмѣ «Семейное счастье», несмотря на нѣкоторую дробность и, такъ сказать, напряженность анализа, чувство любви и вся его исторія выяснены въ живыхъ и полныхъ чертахъ.

Есть у графа Л. Толстаго еще и другія страницы, въ которыхъ красота жизни уловлена съ необыкновенною ясно-

стію. Это — описаніе дѣтства. И опять, прелесть дѣтства, этихъ свѣжихъ ощущеній, когда новому жителю міра

НОВЫ
Всѣ впечатлѣнія бытія,

эта прелесть рѣдко бываетъ заглушена въ ребенкѣ даже самымъ тяжелымъ положеніемъ, и потому знакома всѣмъ даже въ такомъ обществѣ, которое страдаетъ пустотою и мертвенностію.

Любовь и дѣтство нашли себѣ выраженіе въ книгѣ гр. Л. Толстаго. Но не въ нихъ заключается главный центр, тяжести книги; эти свѣтлыя стороны изображены правдивою рукою художника именно для того, чтобы рѣзче отгнѣнить его главную мысль, его глубокую и печальную думу. Въ книгѣ много разнообразія, но главная ея мысль постоянно царить надъ рассказомъ, чего бы этотъ рассказъ ни касался, и сообщаетъ всей книгѣ отпечатокъ тяжелой грусти.

Въ чемъ же дѣло? Толстой каждому, конечно, извѣстенъ, какъ большой мастеръ въ анализѣ душевныхъ явленій. Но какой характеръ имѣетъ этотъ анализъ? Въ чемъ заключается его источникъ, его первая движущая причина, отъ которой необходимо зависитъ его направленіе и цѣль? На это можно бы отвѣчать, что анализъ нашего автора — просто, его художественная потребность, просто, преобладающая черта его таланта. Отвѣтъ этотъ, дѣйствительно, годится для нѣкоторыхъ мѣстъ книги, именно для тѣхъ, гдѣ, какъ въ «Семейномъ счастьѣ» и въ «Дѣтствѣ», художественная сила идетъ наравнѣ съ анализомъ, вполне имъ владѣетъ, употребляетъ его какъ орудіе, дающее полноту образамъ и краскамъ. Но въ другихъ мѣстахъ анализъ, очевидно, играетъ другую роль и служить самъ по себѣ удовлетвореніемъ какой-то потребности, говорящей въ душѣ художника помимо его стремленія создавать образы.

Во первыхъ, этотъ анализъ постоянно имѣетъ въ виду совершенную *правдивость*, постоянно вооруженъ противъ всякой фальши. Что бы ни рассказывалъ художникъ, его явнымъ образомъ томить забота не отступать ни на іоту отъ

вѣрности дѣйствительности и не поддаться никакой, даже самой тонкой и едва уловимой фальши. Въ этой чертѣ гр. Л. Толстой сроденъ съ Писемскимъ, и это весьма характеристическая черта ихъ, какъ русскихъ писателей. Нашъ художникъ, какъ-будто, прежде всего боится впасть въ обманъ, прежде всего чувствуетъ недостатокъ истинной красоты, вообще истиннаго содержанія въ окружающихъ его явленіяхъ и потому постоянно на сторожѣ, постоянно озабоченъ и затрудненъ и думаетъ уже не о красотѣ, а только о правдивости, о томъ, чтобы самому какъ-нибудь не сфальшивить, не принять миража за дѣйствительность.

Мы, русскіе, вообще—люди серіозные и не любимъ ничего внѣшняго, никакой риторики, никакой шумихи и высокопарности. Для насъ кажется лишнимъ всякій избытокъ въ проявленіи внутренняго чувства. Тѣмъ болѣе намъ противно всякое выраженіе, преувеличенное въ сравненіи съ содержаніемъ. Мы—народъ скептическій и насмѣшливый, и вмѣсто того, чтобы находить наслажденіе во внѣшнемъ изліяніи внутреннихъ движеній, готовы подсмѣяться даже надъ самымъ искреннимъ и истиннымъ ихъ выраженіемъ. Эта черта, съ одной стороны, представляетъ нѣкоторую *душевную стыдливость*, то есть постоянную боязнь профанировать свои чувства, такое ощущеніе ихъ святости и красоты, при которомъ всякая внѣшняя форма кажется негодною, несоотвѣтствующею. Такимъ образомъ, при постоянной насмѣшливости и отсутствіи всякихъ внѣшнихъ проявленій, у насъ сохраняется въ душѣ огромный запасъ энтузіазма, тѣмъ болѣе сосредоточеннаго, чѣмъ меньше онъ проявляется. Но, съ другой стороны, невѣріе въ форму, въ выраженіе, и неумѣнье найти эту форму и это выраженіе граничатъ съ *цинизмомъ*, то есть съ отрицаніемъ всякаго энтузіазма, съ невѣріемъ въ самую законность и дѣйствительную силу душевныхъ движеній. Постоянно колеблясь между этимъ цинизмомъ и этимъ энтузіазмомъ, мы, очевидно, можемъ быть удовлетворены только совершенною *правдою* и *простотою*, какъ въ жизни, такъ и въ художественныхъ произведеніяхъ.

Вотъ коренная черта нашей литературы, и она съ большою силою отзывается въ произведеніяхъ графа Л. Н. Толстаго. Посмотримъ же, что онъ нашелъ въ нашей жизни,

приступивъ къ ней съ этимъ требованіемъ русской правдивости. Если вникнуть во всѣ подробности этихъ мастерскихъ произведеній, то окажется, что они съ поразительной яркостью рисуютъ намъ *душевную пустоту*, которою страдаютъ русскіе люди, и которою они, безъ сомнѣнія, еще долго будутъ страдать. Анализъ гр. Толстаго весь направленъ къ тому, чтобы отыскать истинно-живыя явленія въ душахъ людей. Это не простая поэзія, которая свободно сочувствуетъ каждому живому явленію и свободно воплощаетъ его въ художественныя формы. Нѣтъ, это упорное исканіе красоты и жизни и, слѣдовательно, непремѣнно—анализъ, разсѣченіе, доискивающееся до живыхъ частей и отбрасывающее мертвыя. Въ этомъ случаѣ, свойства таланта оказались вполне соответствующими предмету. Пустота и малодушіе, если составляютъ не комическое явленіе, а дѣйствительное страданіе, такъ сказать, серіозное состояніе человѣка, — не даютъ пищи поэзіи, не могутъ быть источникомъ художественныхъ произведеній, но именно всего лучше выразятся въ анализѣ; это ихъ настоящая форма.

Въ этомъ отношеніи гр. Л. Н. Толстой весьма замѣчателенъ и стоить прилежнаго изученія. Въ немъ сказалась съ большою силою жажда истинной, правдивой жизни, ея исканія и обнаруженія пустоты того, что выдаетъ себя за жизнь. Отсюда нужно объяснять и форму, и весь циклъ его произведеній. Центральную часть ихъ составляютъ рассказы о личной судьбѣ героевъ, которые всѣ—молодые люди и, что называется, вступаютъ въ жизнь, впервые знакомятся съ нею. Эти лица обыкновенно принадлежать къ высшему классу, нѣкоторые даже называются князьями, слѣдовательно, вообще принадлежать къ сословію помѣщиковъ, тому сословію, о которомъ до недавняго времени можно было сказать, что оно одно *жило* въ Россіи, и изъ котораго поэтому брали свои картины и Гоголь, и Тургеневъ, и Писемскій. Герои гр. Л. Н. Толстаго обыкновенно *протестанты*, то есть они очень скоро отказываются отъ своего сословія, скоро находятъ, что въ немъ невозможно искать удовлетворенія своей души. Затѣмъ они пускаются въ жизнь, исполненные очень благородныхъ, но совершенно смутныхъ стремленій. Собственно, это

люди, потерявшіе свой идеалъ, и которымъ жизнь, ихъ окружающая, не представляетъ никакой точки опоры, никакого руководства. Они не имѣютъ никакой определенной цѣли, никакого твердаго желанія. Они совершенно на воздухѣ и не знаютъ, что имъ любить и что имъ дѣлать. Стараясь жить, то есть вступить въ живыя отношенія къ людямъ, они съ изумленіемъ замѣчаютъ, что имъ жить *нечѣмъ*, то есть, что они въ своей душѣ не находятъ живыхъ связей, не находятъ того сродства съ окружающею жизнью, того притяженія къ ней, которыя нужны для образованія этихъ связей. И вотъ, они рассказываютъ свои приключенія, имѣя постоянно въ виду свою томящую думу, рассказываютъ, чтобы показать, какъ ничтожны и пусты были въ ихъ душѣ всѣ начатки любви, дружбы и вообще всякихъ живыхъ отношеній къ людямъ. Даже смѣшныя вещи, которыя съ ними случаются, они принимаютъ серьезно. Имъ больно и не до смѣха.

Таковъ центръ, точка зрѣнія. Понятно, что при такомъ душевномъ настроеніи въ людяхъ должно проявиться большое уваженіе къ явленіямъ настоящей, правдивой жизни. Исканіе жизни даетъ понять, оцѣнить и полюбить тѣ явленія, въ которыхъ жизнь проявляется несомнѣнно. Отсюда возникаетъ у гр. Л. Н. Толстаго, какъ и у другихъ нашихъ писателей, очень тонкое пониманіе простаго народа. Въ простомъ народѣ есть, такъ называемая, непосредственная жизнь, которая, какова бы она ни была, все-таки есть настоящая жизнь. Народъ знаетъ, зачѣмъ онъ живетъ и какъ ему слѣдуетъ жить. То же самое отношеніе, по которому такъ прекрасно изображена Наталья Савишна въ «Дѣтствѣ», руководило гр. Л. Толстымъ и въ картинахъ изъ жизни казаковъ и черкесовъ.

Затѣмъ есть еще сфера, гдѣ присутствіе жизни несомнѣнно; это—явленіе исторической жизни народа, это великія событія, въ которыхъ внутренняя сила вещей проявляется помимо людской воли. Уваженіе къ исторіи и умѣнье понимать ее—вотъ самый трудный, но правильный результатъ исканія жизни.

Но исторія совершается передъ нами. На нашихъ глазахъ происходила страшная борьба нѣсколькихъ государствъ.

съ Россією и узломъ этой борьбы былъ Севастополь. Была, слѣдовательно, возможность увидѣть историческую жизнь лицомъ къ лицу, такъ близко, какъ только возможно. Позволимъ себѣ сказать, что это желаніе входило въ число побужденій, приведшихъ гр. Толстаго на бастионы Севастополя. Поэтъ былъ при оборонѣ Севастополя и разсказалъ намъ это событіе если не вполне, то все же въ нѣкоторыхъ чертахъ, достойныхъ самого событія.

Но, повторяемъ, главный центръ не здѣсь: главный центръ въ томительной думѣ объ истинной жизни и красотѣ, и о душевномъ безсиліи, не дающемъ людямъ доступа къ этой жизни и красотѣ. Мы попробуемъ въ слѣдующей статьѣ анализировать эту думу и подтвердить выписками наши общія положенія.

Статья вторая.

Въ заключеніе одной изъ мастерскихъ своихъ повѣстей (*Севастополь въ мѣсяцъ 1855*) гр. Л. Н. Толстой какъ-бы невольно высказалъ глубочайшій мотивъ своей поэзіи.

«Герой моей повѣсти»,—говорить онъ—«котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его, и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—*правда*» (Ч. II, стр. 61).

Тутъ разомъ высказывается и то, что поэтъ ищетъ героя, ищетъ прекрасныхъ явленій жизни, и то, что онъ приступаетъ къ жизни съ требованіями неподкупной правды, и то, что въ своемъ строгомъ исканіи онъ не находитъ героя, не находитъ прекрасной жизни. Ему остается одно—признать свое исканіе за прекрасную черту, свои требованія за нормальное явленіе. Такъ онъ и сдѣлалъ, восхваляя свою правдивость.

Какъ мы уже сказали, поэтъ въ своихъ поискахъ за жизнью и красотой приходилъ на бастионы Севастополя во время его обороны. И что же? Повидимому, онъ и тутъ не

нашелъ героическихъ чертъ. Оканчивая повѣсть, изъ которой мы привели заключеніе, онъ говоритъ:

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны».

Если бы это было послѣднимъ словомъ автора, то отсюда слѣдовало бы, что всѣ явленія, какія поэтъ нашелъ въ русской жизни, безразличны, всѣ имѣютъ, такъ сказать, одну степень и всѣ одинаково далеки отъ явленій прекрасной, героической жизни. Мы увидимъ однакоже, что не таковъ окончательный выводъ, что тяжелымъ трудомъ нашъ авторъ достигъ до другихъ, болѣе отрадныхъ взглядовъ.

Но вотъ постановка дѣла. Требуется открыть героя на русской землѣ, то есть героя въ смыслѣ поэзіи, такое лицо, которое можно было бы воспѣвать, которому бы можно было сочувствовать. И вотъ авторъ выводитъ намъ цѣлую вереницу лицъ, могущихъ имѣть притязаніе на сочувствіе, и со своею безпощадною правдивостію доказываетъ намъ, что они не герои, а люди малодушные и пустые, несмотря на употребляемые ими старанія быть вполне хорошими людьми.

Что же это за люди? Одного изъ нихъ авторъ опредѣляетъ весьма отчетливымъ образомъ:

«Оленинъ былъ юноша, нигдѣ не кончившій курса, нигдѣ не служившій (только числившійся въ какомъ-то присутственномъ мѣстѣ), промотавшій половину своего состоянія, и до двадцати-четырехъ лѣтъ не избравшій еще себѣ никакой карьеры и никогда ничего не дѣлавшій. Онъ былъ то, что называется «молодой человѣкъ» въ московскомъ обществѣ» (ч. II, ст. 153).

Всякій замѣтитъ, что это старая исторія. Это тотъ же Онѣгинъ, который,

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ
До двадцати-пяти годовъ,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ.

Но процессъ тоски, снѣдавшей Онѣгина, у этихъ людей сталъ глубже и опредѣленнѣе, то есть симптомы болѣзни раскрылись въ несравненно большей степени.

Воспитаніе—вполнѣ похожее на онѣгинское. Николай Иртеньевъ съ величайшею живостію разсказалъ намъ свое «дѣтство» и «отрочество», и тутъ видно, что эти люди росли, не испытывая никакихъ нравственныхъ и умственныхъ вліяній, которыя бы помогли развитію ихъ души и наложили бы на нее свою печать. Что до нравственнаго вліянія, то Иртеньевъ прямо говоритъ:

«Заботою о насъ отца было не столько нравственность и образованіе, сколько свѣтскія отношенія» (ч. I, стр. 102).

Что касается до умственнаго развитія, то нельзя не обратить вниманія на замѣчаніе Иртеньева, что *исторія всегда казалась ему самымъ скучнымъ, тяжелымъ предметомъ*, и нельзя не найти комическимъ слѣдующій урокъ изъ исторіи:

«—Позвольте перышко, сказалъ мнѣ учитель, протягивая руку.—Оно пригодится. Ну-съ.

—Людю... Кар... Людовикъ святой былъ... былъ... былъ... добрый и умный царь...

—Кто-съ?

—Царь. Онъ вздумалъ пойти въ Іерусалимъ и передалъ бразды правленія своей матери.

—Какъ ее звали-съ?

—Б...б...ланка.

—Какъ-съ? Буланка?

Я усмѣхнулся какъ-то криво и неловко.

—Ну-съ, не знаете ли еще чего-нибудь? сказалъ онъ съ усмѣшкой» (ч. I, стр. 63).

При этомъ разсказѣ невольно чувствуется, что изъ чужеземной исторіи, какъ она у насъ до сихъ поръ передается, намъ всего доступнѣе

Лишь дней минувшихъ анекдоты.

При такомъ ходѣ дѣла, было, однакоже, одно вліяніе, которое обнаруживала окружающая среда на этихъ отроковъ и которое, разумѣется, дѣйствовало на нихъ очень сильно. Именно, на мѣсто различенія добра и зла, свѣта и тьмы,

красоты и безобразія, въ душахъ ихъ было развиваемо понятие *comme il faut*, понятие—говорить Николай Иргеньевъ—

«которое въ моей жизни было однимъ изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ мнѣ и воспитаніемъ и обществомъ.

«Родъ человѣческій можно раздѣлять на множество отдѣловъ—на богатыхъ и бѣдныхъ, на добрыхъ и злыхъ, на военныхъ и статскихъ, на умныхъ и глупыхъ и т. д.; но у каждаго человѣка есть непремѣнно свое любимое, главное подраздѣленіе, подъ которое онъ безсознательно подводитъ каждое новое лицо. Мое любимое и главное подраздѣленіе людей, въ то время, о которомъ я пишу, было на людей *comme il faut* и *comme il ne faut pas*.

«*Comme il faut* было для меня не только важной заслугой, прекраснымъ качествомъ, совершенствомъ, котораго я желалъ достигнуть, но это было необходимое условіе жизни, безъ котораго не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошаго на свѣтѣ. Я не уважалъ бы ни знаменитаго артиста, ни ученаго, ни благодѣтеля рода человѣческаго, если бы онъ не былъ *comme il faut*. Человѣкъ *comme il faut* стоялъ выше и внѣ сравненія съ ними; онъ предоставлялъ имъ писать картины, ноты, книги, дѣлать добро—онъ даже хвалилъ ихъ за это,—отчего же и не похвалить хорошаго, въ комъ бы оно ни было?—но онъ не могъ становиться съ ними подо одинъ уровень; онъ былъ *comme il faut*, а они нѣтъ—и довольно. Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ братъ, мать или отецъ, которые бы не были *comme il faut*, я бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужъ тутъ между мной и ими не можетъ быть ничего общаго» (ч. I, стр. 123).

Вотъ катихизисъ, который былъ внушаемъ этимъ людямъ средою, ихъ окружавшею. Какъ не вспомнить здѣсь Онѣгина, который не прежде влюбился въ Татьяну, какъ увидѣвши ее блестящей свѣтской дамой, такою, что

Она, казалось,—вѣрный снимокъ
Du *comme il faut*,

и который былъ очень удивленъ, когда подъ этою внѣшностію нашелъ настоящую Татьяну, Татьяну не *comme il faut*, честную русскую женщину.

И большой Онѣгинъ, и маленькій Печоринъ, несмотря на тоску, ихъ грызущую, остаются однако въ томъ обществѣ, среди котораго родились. Съ героями гр. Толстаго дѣло происходитъ иначе. У нихъ рано начинается разладъ съ по-

нятіями, привитыми обществомъ, и они уходятъ изъ своего круга и пускаются по всевозможнымъ путямъ, ища иныхъ людей и иной жизни для себя. Нехлюдовъ уходитъ въ деревню, Оленинъ въ казацкую станицу, другіе на Кавказъ въ дѣйствующіе отряды, или въ Севастополь, или даже, какъ Делесовъ, на петербургскіе шпиг-балы, чтобы встрѣтиться тамъ съ Альбертомъ.

Разладъ происходитъ не у всѣхъ, а именно только у тѣхъ, кого гр. Толстой избираетъ своими героями. Другіе юноши легко сливаются съ своею средою. Такъ, братъ Николая Иртеньева, Володя, спокойно вступаетъ на путь своего отца. Такъ Бѣлецкій, встрѣтившійся съ Оленинымъ среди казаковъ, не чувствуетъ ни малѣйшаго разлада съ жизнью.

«Общее мнѣніе о Бѣлецкомъ было то, что онъ милый и добродушный малый. Можетъ быть, онъ и дѣйствительно былъ такой; но Оленину онъ показался, несмотря на добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно непріятель». (Ч. II, стр. 187).

Немудрено: между этими людьми нѣтъ ничего общаго. Одинъ принадлежитъ окружающей жизни, другой отъ нея оторвался. Одинъ легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явленіе составляетъ задачу.

«Бѣлецкій» — разсказывается далѣе — «сразу вошелъ въ обычную жизнь богатаго кавказскаго офицера въ станицѣ. Онъ подпивалъ стариковъ, дѣлалъ вечеринки» и пр. «Казакъ, ясно опредѣлившій себя этого человѣка, любившаго вино и женщинъ, привыкли къ нему и даже полюбили его больше, чѣмъ Оленина, который былъ для нихъ загадкой».

Прибавимъ — загадкой и для самого себя. Далѣе, въ разговорѣ съ Бѣлецкимъ, Оленинъ самъ выражаетъ сознаніе своей разнородности съ нимъ и съ цѣлымъ міромъ, къ которому тотъ принадлежитъ. Оленинъ говоритъ:

«— Я знаю, что я составляю исключеніе (онъ, видимо, былъ смущенъ). Но жизнь моя устроилась такъ, что я не вижу не только никакой потребности измѣнять свои правила, но я бы не могъ жить здѣсь, не говоря уже жить такъ счастливо, какъ живу, ежели бы я жилъ по вашему. И потому, я совсемъ другого ища, другое вижу въ нихъ (женщинахъ), чѣмъ вы». (Ч. II, стр. 189).

Вотъ эти-то загадки для себя и другихъ, эти исключенія изъ общаго правила и составляютъ главныхъ лицъ, выводимыхъ у гр. Толстаго. Лица эти—несчастные, страдающіе люди, въ противоположность счастливымъ и довольнымъ собою Володямъ, Бѣлецкимъ, Дубковымъ и всему множеству вообще. У нашихъ героевъ есть только одно счастливое время жизни—не юность, которая, по ходячему романическому мнѣнію, составляетъ лучшую пору каждаго человѣка, не мужество, которое по сущности дѣла должно бы представлять полное раскрытіе жизни, а *дѣтство*, первоначальная пора, когда человѣка еще нѣтъ, а есть только зачатки человѣка. Дѣтство является для нихъ единственною свѣтлою точкою. Вотъ какъ они говорятъ объ немъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, какъ не желать воспоминаній объ ней? Воспоминанія эти освѣжаютъ, возвышаютъ мою душу и служатъ для меня источникомъ лучшихъ наслажденій». (Ч. I, стр. 24).

«Вернутся ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и силы вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? *Какое время можетъ быть лучше* того, когда двѣ лучшія добродѣтели, невинная веселость и безпредѣльная потребность любви, были единственными побужденіями въ жизни?»

«Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучший даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію».

«Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?» (Тамъ же, стр. 25)

Конечно, можно считать очень несчастливymi людей, у которыхъ есть дѣтство, но нѣтъ юности и мужества въ настоящемъ смыслѣ. Жизнь, имѣющая такой ходъ—очевидно, поражена глубокой неправильностію.

Что же случается? Какъ мы уже сказали, у героевъ гр. Толстаго возникаетъ разладъ съ окружающимъ міромъ. Процессъ возникновенія этого разлада описанъ у гр. Толстаго со всею отчетливостію. Не то, чтобы окружающая дѣйствительность поражала этихъ людей своимъ безобразіемъ, или производила на нихъ давленіе, изъ-подъ котораго они старались

выбиться; не то, чтобы въ душѣ ихъ существовали стремленія, которыя не находили себѣ пищи, существовала жажда дѣятельности, для которой не оказывалось простора: нѣтъ—дѣло здѣсь имѣло совершенно иной видъ.

Среди той пустоты, того отсутствія влияній, въ которомъ эти люди провели свое дѣтство и отрочество, у нихъ въ известную пору, въ силу внутренняго развитія души, возникали идеальныя стремленія, чрезвычайно сильныя и совершенно неопредѣленныя. Въ этомъ была ихъ бѣда, пощадившая другихъ юношей. Свѣтъ возникашаго идеала былъ такъ силенъ, что міръ *somme il faut* исчезалъ передъ нимъ безъ слѣда; идеалъ почти не удостоивалъ бороться съ этимъ міромъ. Такимъ образомъ, эти люди оставались наединѣ съ собою, отрѣзанные отъ своей дѣйствительности. Но въ то же время молодой позывъ къ идеалу не успѣваетъ сформироваться въ опредѣленныя требованія и желанія. Недостаетъ руководства, примѣровъ, формъ, словъ и очертаній, которыя помогли бы широкому и сильному идеалу, такъ сказать, сложиться въ опредѣленный организмъ. Поэтому душа, если можно такъ выразиться, недорастаетъ; являются страдающіе люди, которые не знаютъ, что имъ дѣлать и какъ имъ дѣлать, которые и въ себѣ и въ другихъ постоянно отыскиваютъ идеальную сторону жизни, мучатся ея отсутствіемъ и иногда доходятъ до совершеннаго сомнѣнія въ ея существованіи.

Переломъ, которымъ начинается этотъ разладъ, наступаетъ въ юности.

«Подъ влияніемъ Неклюдова»—рассказываетъ Николай Иртеньевъ—«я невольно усвоилъ и его направленіе, сущность котораго составляло *восторженное обожаніе идеала добродѣтели* и убѣжденіе въ назначеніи человека совершенствоваться. Тогда исправить все человѣчество, уничтожить всѣ пороки и несчастія людскія казалось удобоисполнимою вещью,—очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всѣ добродѣтели и быть счастливымъ»... (Ч. I, стр. 80).

Совершенно опредѣленно эта эпоха обозначена нѣсколько далѣе:

«Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали съ обожаемымъ другомъ моимъ Дмитріемъ, чудеснымъ Митей, какъ я самъ съ собою шепотомъ иногда называю его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такой свѣжей силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, ту же секунду, захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ.

«И съ этого времени я считаю начало юности.

«Мнѣ былъ тогда шестнадцатый годъ въ исходѣ».

Тутъ же сказывается и неопредѣленность этихъ порывовъ, пробудившихся съ такою силою.

«Этотъ пахучій сырой воздухъ и радостное солнце—говорили мнѣ внятно, ясно о чѣмъ-то новомъ и прекрасномъ, которое, хотя я не могу передать такъ, какъ оно сказывалось мнѣ, а постараюсь передать такъ, какъ я воспринималъ его—все мнѣ говорило про красоту, счастье и добродѣтель, говорило, что какъ то, такъ и другое легко и возможно для меня, что одно не можетъ быть безъ другого, и даже, что красота, счастье и добродѣтель—одно и то же»

Иртеньевъ мечтаетъ о своей новой жизни:

«... въ точности буду исполнять все (что было это «все», я никакъ бы не могъ сказать тогда, но я живо понималъ и чувствовалъ это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни)».

А вотъ описаніе подобнаго пробужденія идеала у другого героя, двадцатичетырехлѣтняго юноши Оленина—лица, къ которому авторъ отнесся болѣе строго, чѣмъ къ Иртеньеву. Оленинъ въ лѣсу задаетъ себѣ вопросъ: «какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ и отчего онъ не былъ счастливъ прежде?»

И вдругъ ему какъ-будто открылся новый свѣтъ. «Счастье вотъ что»—сказалъ онъ самъ себѣ,—«счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть, отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можешь случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно

будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Следовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на вѣщныя условія? Какія? Любовь, самоотверженіе! Онъ такъ обрадовался и взволновался, отерывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскопчилъ, и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого-бы любить». (Ч. II, стр. 183).

Какъ все это молодо и благородно! Несмотря на то, что авторъ не только не льститъ этимъ юношамъ, а напротивъ, почти готовъ отнести къ нимъ комически (чистаго комическаго отношенія, какъ мы замѣтили, у него не бываетъ, потому что это—не свободное, самообладающее творчество), нельзя не сочувствовать этимъ порывамъ. «Богъ одинъ знаетъ»—говорить съ сомнѣніемъ авторъ—*точно ли смѣшны были эти благородныя мечты юности*; но въ другомъ болѣе *объективномъ* мѣстѣ гр. Толстой ясно высказываетъ, какую цѣну имѣютъ эти мечты.

«Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ душевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій. Благій, отрадный голосъ, столько разъ съ тѣхъ поръ, въ тѣ грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдругъ смѣло возстававшій противъ всякой неправды, злостно обличавшій прошедшее, указывавшій, заставляя любить ее, ясную точку настоящаго и обѣщавшій добро и счастье въ будущемъ—благій, отрадный голосъ! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?» (Ч. I, стр. 86).

Есть люди, у которыхъ никогда не звучалъ этотъ голосъ; есть такіе, у которыхъ онъ звучитъ въ извѣстную пору, но легко заглушается голосомъ нуждъ, страстей, привычекъ и примѣровъ окружающей жизни; чаще же всего люди, подавляемые жизнью, чувствуютъ смиреніе передъ нею, не смѣютъ становиться выше ея и предлагать ей требованія, считаютъ дерзостію возложить и на себя большія надежды, и потому слѣпо влекутся обстоятельствами, смутно сознавая, что должна быть какая-то другая жизнь, которая, однако, имъ не по силамъ.

Но у героевъ гр. Толстаго голосъ идеала звучитъ громко

и не даетъ имъ никогда успокоиться. Одинъ изъ нихъ, чувствуя, что мелкія страсти и привычки совершенно завладѣли его душою, сталъ такъ для себя гадокъ, что застрѣлился («Разсказъ маркера»). Всѣ они приступаютъ къ себѣ и къ жизни съ огромными требованіями; у всѣхъ постоянно шевелится въ душѣ вопросъ, который рано задать себѣ Николай Иртеньевъ: «Зачѣмъ все такъ прекрасно, ясно у меня на душѣ и такъ безобразно выходитъ на бумагѣ и вообще въ жизни, когда я хочу примѣнять къ ней что-нибудь изъ того, что думаю?...»

Тутъ намъ слѣдовало бы привести цѣлый рядъ комическихъ явленій съ молодыми людьми гр. Толстаго—явленій, впрочемъ, очень обыкновенныхъ у всякаго рода молодыхъ людей. Явленія эти состоятъ въ томъ, что юноши прикидываются взрослыми людьми, обнаруживаютъ интересы, желанія, потребности, которыхъ не имѣютъ, волнуются чувствами, которыхъ не питаютъ, однимъ словомъ, *напускаютъ* на себя всякаго рода содержаніе, котораго еще лишены ихъ юныя души. Николай Иртеньевъ рассказываетъ про себя:

«Я продолжалъ считать своею непремѣнною обязанностію скрывать отъ всего общества Нехлюдовыхъ, и въ особенности отъ Вариньки, свои настоящія чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другимъ молодымъ человѣкомъ отъ того, какимъ я былъ въ дѣйствительности, и даже такимъ, какого не могло быть въ дѣйствительности» (Ч. I, стр. 136).

Подобныхъ обезьяничаній приведено множество въ разсказахъ гр. Толстаго. Смыслъ явленій такъ простъ, что не нуждается ни въ какомъ поясненіи. Комизмъ—вотъ единственное правильное отношеніе къ нимъ; но замѣчательно, что именно этого-то отношенія и не устанавливается у гр. Толстаго. Очевидно, комизмъ былъ бы возможенъ только въ томъ случаѣ, если бы у юношей, о которыхъ идетъ рѣчь, на ряду съ фальшивыми проявленіями, постепенно возрастали и усиливались дѣйствительныя чувства, желанія и потребности. Тогда эта дѣйствительная душевная жизнь могла бы утѣшить человѣка въ томъ, что онъ въ иныхъ случаяхъ поддался фальши, и дать ему надежду, что онъ, наконецъ, навсегда

избавится отъ фальши. Но, къ несчастію, здѣсь нѣтъ этого утѣшенія и этой надежды. Герои гр. Толстаго чувствуютъ, что въ душѣ ихъ нѣтъ живыхъ движеній, и потому съ горестію и уныніемъ видятъ въ себѣ одну фальшь. Прекрасный идеаль, который они носятъ въ душѣ, заставляетъ ихъ страдать отъ той фальши, которой другіе предаются съ увлеченіемъ и о которой вспоминаютъ потомъ со смѣхомъ. Какое глубокое недовольство собою долженъ былъ чувствовать Николай Иртеньевъ, на примѣръ, при такомъ собственномъ поведеніи:

«Вспомнивъ, какъ Володя цѣловалъ прошлаго года кошелекъ своей барышни, я попробовалъ сдѣлать то же; и дѣйствительно, когда я одинъ вечеромъ въ своей комнатѣ сталъ мечтать, глядя на цѣлѣтокъ, и прикладывать его къ губамъ, я почувствовалъ нѣкоторое пріятно-слезливое расположеніе и снова былъ влюбленъ, или такъ предполагалъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней». (Ч. I, стр. 132).

Бѣдный мальчикъ! Онъ, очевидно, ясно чувствуетъ фальшь, которой Володя, конечно, предавался, не задумываясь, какъ-будто дѣло дѣлалъ.

Откуда же, спрашивается, такое отсутствіе живыхъ интересовъ и потребностей у этихъ юношей? Мы уже указывали на отсутствіе умственныхъ и нравственныхъ вліяній, среди которыхъ они развивались. Внѣшнія ихъ обстоятельства давали имъ полную возможность жить особнякомъ, не связывая себя тѣсно ни съ какими людьми, ни съ какимъ опредѣленнымъ дѣломъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ положеніе Оленина:

«Въ восемнадцать лѣтъ Оленинъ былъ такъ свободенъ, какъ только бывали свободны русскіе богатые молодые люди сороковыхъ годовъ, съ молодыхъ лѣтъ оставшіеся безъ родителей. Для него не было никакихъ, ни физическихъ, ни моральныхъ оковъ; онъ все могъ сдѣлать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни отечества, ни вѣры, ни нужды. Онъ ни во что не вѣрилъ и ничего не признавалъ». (Ч. II, стр. 153).

Другой герой слѣдующимъ образомъ указываетъ на то, какъ понятія, среди которыхъ онъ воспитывался, отрывали его отъ дѣйствительности:

«Ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всѣхъ трудныхъ для меня условий *сomme il faut*, *исключающихъ всякое серьезное увлеченіе*, ни ненависть и презрѣніе къ девяти-десятымъ рода человѣческаго, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внѣ кружка *сomme il faut*, все это еще было не главное зло, которое мнѣ причинило это понятіе. *Главное зло состояло въ томъ убѣжденіи, что *сomme il faut* есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ *сomme il faut*, что, достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе, и даже становится выше большей части людей.*

«Въ извѣстную пору молодости, послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно *становится въ необходимость дѣятельнаго участія въ общественной жизни, выбирать какую-нибудь отрасль труда и посвящать себя ей; но съ человѣкомъ *сomme il faut* это *редко случается*. Я зналъ и знаю очень, очень много людей старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣшкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой? И что ты тамъ дѣлалъ?» не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ: *je fus un homme très comme il faut*.*»

«Эта участь ожидала меня». (Ч. I, стр. 124).

Изъ этого видно, что пустая, безсодержательная среда не давала этимъ юношамъ никакой точки опоры, никакого живаго, теплаго прикосновенія къ дѣйствительности. Но это — только внѣшнее условіе или возможность для ихъ особаго развитія. Внутреннее, существенное условіе, по которому они не стали въ ряды *очень и очень многихъ*, почему они были выброшены изъ своей среды и почуяли въ себѣ такую страшную пустоту, заключается въ ихъ душевномъ пробужденіи, въ томъ порывѣ къ идеалу, отъ котораго начинается разладъ ихъ жизни.

«Бываютъ люди» — замѣчаетъ авторъ — «лишенные этого порыва, которые сразу, входя въ жизнь, надѣваются на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни».

Вся бѣда нашихъ героевъ въ томъ и заключается, что они ни мало на такихъ людей не похожи и, на примѣръ, прежде всего сбрасываютъ съ себя хомутъ *сomme il faut*, въ которомъ многіе чувствуютъ себя такъ счастливо.

«Оленинъ» — рассказываетъ авторъ — раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ, тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть *сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ и, какъ ему кажется, и изъ всего міра все, что ему хочется*.

«Оленинъ слишкомъ оозначалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачѣмъ».

Итакъ, вотъ каковы герои гр. Толстаго. Это не худшіе наши люди, а скорѣе лучшіе. Это исключенія изъ нашей жизни, но исключенія, порожденные самою нашею жизнью, ея пустотою и безсодержательностію. Въ нихъ проснулася неумирающая душа человѣческая, они почувствовали въ себѣ порывъ къ идеалу, услышали его зовущій голосъ. Они пошли за нимъ и пѣпали въ тотъ тяжелый разладъ съ самимъ собою и съ окружающими людьми, который составляетъ главную тему гр. Толстаго. При свѣтѣ своего идеала они сами себѣ кажутся пустыми и мертвенными, а окружающая ихъ жизнь является имъ темною и мелкою.

Что же дѣлаютъ герои графа Толстаго? Они буквально бродятъ по свѣту, нося въ себѣ свой идеалъ, и *ищутъ идеальной стороны жизни*. Они мучительно заняты рѣшеніемъ самыхъ общихъ и, повидимому, очень наивныхъ вопросовъ такого рода: существуетъ ли на свѣтѣ истинная дружба? существуетъ ли истинная любовь къ женщинамъ? существуетъ ли высокое наслажденіе природою или искусствомъ? существуетъ ли истинная доблесть, напр., храбрость на войнѣ? Эти вопросы, которые мы, обыкновенно, считаемъ признакомъ пошлости человѣка, ихъ задающаго, пошлости у насъ очень обыкновенной и всѣмъ знакомой, эти вопросы не стыдятся задавать себѣ юноши гр. Толстаго, потому что для нихъ это мучительные вопросы, потому что они во что бы то ни стало хотятъ увидѣть собственными глазами ту прекрасную сторону жизни, о которой они слышали и къ которой ихъ влечетъ внутреннее чувство. Двадцатичетырехлѣтній Оленинъ подбѣгаетъ къ Кавказскимъ горамъ.

«Оленинъ съ жадностію сталъ вглядываться, но было пас-

мурно, и облака до половины застилали горы. Олейнику видѣлось что-то сѣрое, бѣлое, курчавое; какъ онъ ни старался, онъ не могъ найти ничего хорошаго въ видѣ горъ, про которыя столько читалъ и слышалъ. Онъ подумалъ, что горы и облака имѣютъ совершенно одинаковый видъ, и что особенная красота сѣроватыхъ горъ есть такая же выдумка, какъ музыка Баха и любовь къ женщинамъ, въ которыя онъ не вѣрилъ.

Но не даромъ же онъ поѣхалъ на Кавказъ, а не остался въ Москвѣ, вмѣстѣ съ Сашкой Б...—флигель-адъютантомъ, и княземъ Д... На другое же утро онъ почувствовалъ всю безконечность красоты горъ. Но если горы достались такъ легко, то въ другихъ случаяхъ приходилось вынести долгое исканіе и тысячи тяжелыхъ колебаній, прежде чѣмъ жизнь открывала свою таинственную красоту.

Бѣдная, бѣдная жизнь! Такъ ли ты уже дурна и темна на самомъ дѣлѣ, что каждую прекрасную черту твою нужно отыскивать, какъ кладъ, зарытый въ глубокомъ подземельѣ? Или же эти люди, жаждущіе твоей красоты, почему-то поражаются слѣпотою и не способны увидѣть то, что прямо передъ ихъ глазами? Они слышатъ, они читаютъ про какой-то дивный міръ, гдѣ есть любовь къ женщинамъ, музыка Баха, красота природы; но, хотя женщинъ вокругъ нихъ много,—они не любятъ кого-нибудь изъ нихъ, музыка звучитъ—они не чувствуютъ восторга, природа передъ глазами—они ея не видятъ.

Отыскивая по свѣту идеальную сторону жизни, герои графа Толстаго нерѣдко приходятъ въ отчаяніе, нерѣдко теряютъ вѣру въ то, что они когда-нибудь достигнутъ цѣли. Въ сочиненіяхъ графа Толстаго много есть мѣстъ, выражающихъ полное невѣріе въ жизнь, признаніе ея совершеннаго ничтожества, совершеннаго отсутствія въ ней идеала. У него встрѣчается, напримѣръ, отрицаніе любви, ни мало не уступающее тому невѣрію, которое г. Писемскій выразилъ относительно Ромео и Юліи. Въ «Юности» есть глава, которая называется *Любовь*. Въ ней Николай Иртенъевъ порѣшаетъ дѣло такъ:

«Есть три рода любви:

1) Любовь красивая,

2) Любовь самоотверженная и

3) Любовь дѣятельная.

«Я говорю не о любви молодого мужчины къ молодой дѣвушкѣ и наоборотъ; я боюсь этихъ нѣжностей, я былъ такъ несчастливъ въ жизни, что никогда не видалъ въ этомъ родѣ любви ни одной искры правды, а только ложь, въ которой чувственность, супружескія отношенія, деньги, желаніе связать или развязать себѣ руки, до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было».

Это настоящій взглядъ г. Писемскаго. Отвергается именно та любовь, къ разряду которой относится любовь Ромео и Юліи. Остальные три рода любви тоже оказываются фальшью. Вотъ, напримѣръ, замѣтка о *любви красивой*:

«Смѣшно и странно сказать, но я увѣренъ, что было очень много и теперь есть много людей навѣстнаго общества, въ особенности женщинъ, которыхъ любовь къ друзьямъ, мужьямъ, дѣтямъ, сейчасъ бы уничтожилась, ежели бы имъ только запретили про нее говорить по французски» (Ч. I, стр. 112).

Во второмъ разсказѣ о Севастополѣ—разсказѣ, гдѣ авторъ съ поразительнымъ мастерствомъ изобразилъ сцены мелочныхъ страстей, тщеславія, зависти, трусости, скупости и т. д., которыя онъ нашелъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ, казалось бы, можно было найти только невыразимо-величественную и грозную эпопею, гр. Толстой усумнился въ достоинствѣ души человѣческой и заключаетъ свой разсказъ такъ:

«Вотъ я и сказалъ, что хотѣлъ сказать на этотъ разъ. Но тяжелое раздумье одолеваетъ меня. Можетъ быть, не надо было говорить этого; можетъ быть, то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ злыхъ истинъ, которыя, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его».

Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать, гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны (Ч. II, стр. 61).

Злая истины, о которыхъ говорить здѣсь авторъ, встрѣчаются у него безпрестанно. Это—больное мѣсто въ душѣ

его героевъ, до котораго они любятъ дотрагиваться. Тема этихъ злыхъ истинъ одна—ничтожество и малодушіе человѣческаго племени. Доказывается эта тема всегда одинаковымъ образомъ, именно тѣмъ, что герои ловятъ себя постоянно на отступленіи отъ своего идеала, на томъ, что не выдерживаютъ своихъ благороднѣйшихъ плановъ и предположеній. Они такъ любятъ свои высокія мечтанія, что ни за что не хотятъ отъ нихъ отказаться, такъ что противорѣчіе жизни этимъ мечтаніямъ огорчаетъ ихъ до глубины души и наводитъ на самыя мрачныя идеи. Иногда это выходитъ комически, какъ огорченіе отъ неисполненія совершенно чуждыхъ дѣйствительности желаній. Вотъ, напримѣръ, мрачныя размышленія Николая Иртеньева:

«Мой другъ былъ совершенно правъ; только гораздо, гораздо поодиѣе, и я изъ опыта жизни убѣдился въ томъ, какъ вредно думать и еще вреднѣе говорить многое, кажущееся очень благороднымъ, но что навсегда должно быть спрятано отъ всѣхъ въ сердцѣ каждою челоѣтка,—и въ томъ, что благородныя слова рѣдко сходятся съ благородными дѣлами. Я убѣжденъ въ томъ, что уже по одному тому, что хорошее намѣреніе высказано, трудно, даже болѣею частію невозможно, исполнить это хорошее намѣреніе. Но какъ удержатъ отъ высказыванія благородно-самодовольныя порывы юности? Только гораздо поодиѣе вспоминаешь объ немъ, какъ о цвѣтничѣ, который—не удержался, сорвалъ нераспустившимся и потомъ увидѣлъ на землѣ завялымъ и затоптаннымъ.

«Я, который сейчасъ только говорилъ Дмитрію, своему другу, о томъ, чѣмъ деньги портятъ отношенія, на другой день утромъ, передъ нашимъ отъѣздомъ въ деревню, когда оказалось, что я промоталъ всѣ свои деньги на разныя картинки и стамбулки, взялъ у него двадцать пять рублей ассигнаціями на дорогу, которые онъ предложилъ мнѣ, и потомъ очень долго оставался ему долженъ».

Экая бѣда, въ самомъ дѣлѣ, эти двадцать пять рублей! И какъ отсюда ясно слѣдуетъ, что благородныхъ намѣреній не слѣдуетъ высказывать, а если разъ выскажешь, то уже потомъ никакъ не исполнишь!

Эти фантастическія страданія тѣмъ не менѣе суть страданія; они свидѣтельствуютъ все о томъ же—о силѣ идеальныхъ стремленій, которымъ преданы эти юноши, слишкомъ много требующіе отъ себя и отъ жизни. Они строго судятъ

людей и себя; но у нихъ нѣтъ никакого руководства, которое бы научило ихъ различать добро отъ зла, давало бы имъ ясно видѣть, что любить и что презирать. Юноша, который мучится избыткомъ благородныхъ чувствъ и намѣреній—собственно есть очень милое явленіе, разумѣется, какъ задатокъ. Но если этотъ задатокъ не развивается, если его мечты не получаютъ со временемъ опредѣленныхъ формъ, если въ душѣ его не возникаетъ живыхъ потребностей, которыя подсказали бы ему, что любить и что ненавидѣть, то это будетъ болѣзненное явленіе пустой, холодной жизни. Для князя Д. Нехлюдова въ «Люцернѣ», міръ все еще представляется хаосомъ:

«Какъ опредѣлить мнѣ»—спрашиваетъ онъ—«что свобода, что деспотизмъ, что цивилизація, что варварство? И гдѣ границы одного и другого? У кого въ душѣ такъ непоколебимо это *мирило добра и зла*, что бы онъ могъ мѣрять имъ бѣгущіе факты?».

Чѣмъ же оканчиваются, и оканчиваются ли вообще, всѣ эти волненія, сомнѣнія и колебанія? Находятъ ли, наконецъ, эти люди въ себѣ и въ другихъ ту идеальную сторону жизни, по которой они такъ мучатся? Какъ мы уже замѣтили, дѣло не останавливается на полномъ отчаяніи, къ которому они иногда приходятъ. Для нихъ открываются проблески истинной жизни, истинной духовной красоты, большею частію не въ нихъ, а въ другихъ людяхъ, которыхъ они въ своемъ упорномъ исканіи идеала, наконецъ, начинаютъ цѣнить и любить. Такимъ образомъ, они пріобрѣтаютъ вѣру, что красота жизни существуетъ, что есть души, вполне сохраняющія достоинство чловѣка, вполне достойныя сочувствія.

Особенно подробно и полно разработаны у графа Толстаго вопросъ о *храбрости*, о томъ, какъ дѣлается война, по выраженію одного изъ лицъ его севастопольскихъ разсказовъ, Козельцова, т. е. какъ она дѣлается по отношенію къ недѣлимымъ, къ душѣ лицъ, тѣмъ или другимъ путемъ попавшихъ на театръ войны. Начинается разработка этого вопроса съ повѣсти «Набѣгъ», а концомъ разработки можно считать «1805 годъ» *), гдѣ, во второй части, война

*) Вотъ полное заглавіе этой книги: *Тысяча восемьсотъ пятый годъ, Гр. Льва Толстаго. Дѣтъ части. Москва 1866.* Это нѣчто иное, какъ начало „Войны и Мира“, до Шенграбенскаго сраженія включительно.

изображена уже съ полнымъ мастерствомъ, съ полнымъ знаніемъ дѣла, съ полнымъ обладаніемъ предметовъ. Центръ же, поворотную точку, гдѣ достигнута, наконецъ, *суть дѣла*, гдѣ храбрость найдена лицомъ къ лицу, составляетъ *последній севастопольскій* разсказъ.

Въ «Набѣгѣ» выведенъ на сцену *волонтеръ*, который, какъ подобаетъ герою графа Толстаго, ищетъ проявленій истинной жизни и потому просится въ дѣло, чтобы видѣть, проявляется ли и какъ проявляется храбрость. Его отговариваютъ.

— «И чего вы не видали тамъ? продолжалъ убѣждать меня капитанъ. — *Хочется вамъ узнать, какія сраженія бывають?* Прочтите Михайловскаго-Данилевскаго «Описаніе войны» — прекрасная книга: тамъ все подробно описано — и гдѣ какой корпусъ стоялъ, и какъ сраженія происходили.

— «Напротгивъ, *это-то* меня и не занимаетъ, стѣбчалъ я.

— «Ну, такъ что же? вамъ просто хочется, видно, понасмотрѣть, какъ людей убиваютъ!... Вотъ въ тридцать второмъ году былъ тутъ же неслужащій какой-то, изъ испанцевъ, кажется. Два похода съ нами ходилъ, въ синемъ плащѣ въ какомъ-то... такъ ухлопали молодца. Здѣсь, батюшка, никого не удивини!»

Немудрено, что этотъ истинно-прекрасный человѣкъ, капитанъ Хлоповъ, не понимаетъ, чего хочется волонтеру. Для него не существуетъ душевнаго вопроса, который мучить молодого человѣка. Для него *храбрость* такое же простое и ясное понятіе, какъ и всѣ другія, и онъ понимаетъ «Описаніе» Михайловскаго-Данилевскаго. Волонтеръ же не понимаетъ этого слова, какъ и многихъ другихъ, о которыхъ *слышалъ и читалъ*. Это сейчасъ и оказывается изъ его разспросовъ.

«— Что онъ *храбрый* былъ? спросилъ я капитана (про испанца).

«— А Богъ его знаетъ; все бывало впередъ вѣдять; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.

«— Такъ, стало быть, храбрый, сказалъ я.

«— Нѣтъ, это не значить храбрый, что суется туда, гдѣ его не спрашиваютъ.

«— Что же вы называете храбрымъ?

«— Храбрый? храбрый? повторилъ капитанъ съ видомъ чело-
вѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ...
(Ч. II, стр. 7).

Вопросъ этотъ никогда не беспокоилъ капитана, между
тѣмъ какъ онъ глубоко тревожитъ волонтера. И вотъ, волон-
теръ напряженно присматривается къ тому, какъ держать
себя различные лица во время похода и дѣла.

«Я съ любопытствомъ вслушивался въ разговоры солдатъ и
офицеровъ и внимательно всматривался въ выраженія ихъ физионо-
мій; но рѣшительно ни въ комъ я не могъ замѣтить и тѣни того
безпокойства, которое испытывалъ самъ: шутки, смѣхи, рассказы
выражали общую беззаботность и равнодушіе къ предстоящей опас-
ности». (Ч. II стр. 11).

Испытывая самъ нѣкоторое чувство страха, онъ видитъ
лицомъ къ лицу всѣ проявленія мужества и удивляется имъ,
но еще не понимаетъ ихъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ прямо и
говорить: *я совершенно ничего не понималъ* (Тамъ же,
стр. 12).

Стараясь, однакоже, рѣшить, которое изъ этихъ различ-
ныхъ явленій храбрости достигаетъ совершенной полноты, ко-
торое представляетъ настоящее воплощеніе идеала, волонтеръ
останавливается въ заключеніе на капитанѣ Хлоповѣ.

«Въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго; но зато
въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно
поразила меня. *«Вотъ кто истинно храбръ»*, сказалось мнѣ невольно.

«Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видѣлъ его.

«Легко сказать: такимъ же, какъ и всегда; но сколько различ-
ныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться
спокойнѣе, другой суровѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; по
лицу же капитана замѣтно, что капитанъ *и не понимаетъ, зачѣмъ
казаться»*.

Вотъ первое рѣшеніе вопроса, очевидно, весьма слабое
и недостаточное. Капитанъ Хлоповъ, конечно, прекрасный и
храбрый человекъ; но не всѣ же могутъ быть такъ просты,
какъ онъ. Можетъ быть, храбрыми могутъ быть и люди, ко-
торые понимаютъ нѣсколько больше его, которые понимаютъ,

зачѣмъ казаться, задавали себѣ вопросъ: что такое храбрый, равно какъ и многіе другіе вопросы, никогда не приходившіе въ голову капитана Хлопова.

Итакъ, требуются новыя этюды. Авторъ рисуетъ множество людей, менѣе спокойныхъ, чѣмъ капитанъ, волнуемыхъ страхомъ при видѣ опасности, иныхъ совершенно поддающихся этому страху, другихъ успѣшно борющихся съ нимъ, и многихъ вполне и блистательно подавляющихъ это чувство и владѣющихъ собою. Среди этого анализа попадаетъ и *злая истина* на своемъ надлежащемъ мѣстѣ. Въ «Рубкѣ лѣса», юнкеръ рассказываетъ свой разговоръ съ ротнымъ командиромъ Болховымъ, который «имѣлъ состояніе, служилъ прежде въ гвардіи и говорилъ по французски». Этотъ Болховъ объявляетъ юнкеру, что онъ неспособенъ къ кавказской службѣ.

«Я», говоритъ онъ, «не могу переносить опасности... просто, я не храбръ»...

«Онъ остановился и посмотрѣлъ на меня безъ шутокъ» (Ч. II, стр. 27).

Болховъ, очевидно, трусъ, до того падающій духомъ, что уже не можетъ владѣть собою. Казалось бы, подобное малодушіе должно было непріятно подѣйствовать на юнкера. Между тѣмъ, вотъ разговоръ, который происходитъ между ними въ тотъ же день:

«Болховъ съ улыбкой посмотрѣлъ на меня.

—А я думаю, вамъ очень страннымъ показался нашъ разговоръ утромъ? сказалъ онъ.

—Нѣтъ, *отчего же?* Мнѣ только показалось, что вы слишкомъ откровенны: *есть вещи, которыя мы всѣ знаемъ, но которыхъ никогда говорить не надо.*

То есть, всѣ мы трусы, да только нельзя же объ этомъ рассказывать. Бѣдный юноша! Онъ, очевидно, испуганъ не опасностію, а тѣмъ, что чувствуетъ въ душѣ своей страхъ, несмотря на все отвращеніе отъ этого чувства и желаніе подавить его. Стыдливо скрываетъ онъ свою внутреннюю благородную борьбу, и когда малодушный и мелочной Болховъ от-

крываетъ ему свою трусость, онъ не смѣетъ укорить его, ставить себя съ нимъ наравнѣ и называетъ и себя трусомъ.

Много и другихъ проявленій малодушія анализировано авторомъ съ его необыкновеннымъ мастерствомъ. Черты тщеславія и другихъ мелкихъ страстей, разыгрывающихся среди самаго разгара битвъ и великихъ событій, тоже выставлены, какъ явленія, подрывающія вѣру въ достоинство души человѣческой. Человѣкъ доблестный среди битвы—черезъ минуту становится мелочнымъ въ обыкновенной жизни. Что же такое эта доблесть, такъ быстро уступающая мѣсто малодушію? На эту тему, какъ мы уже упоминали, написанъ второй севастопольскій рассказъ. Но Севастополь взялъ-таки свое. Въ третьемъ, последнемъ севастопольскомъ рассказѣ, уже вполне разрѣшенъ вопросъ: что такое храбрость. Этотъ рассказъ писанъ уже полною художественною манерою, тою же самою, которою писанъ «1805 годъ». Въ рассказѣ «Севастополь въ августѣ 1855 года» уже твердо записано важное замѣчаніе,

«что страхъ, какъ и каждое сильное чувство, не можетъ въ одной степени продолжаться долго». (Ч. II, стр. 79).

Замѣчаніе весьма важное для того наивно-идеальнаго взгляда, который готовъ потребовать, чтобы человѣкъ постоянно питалъ весьма сильныя и весьма благородныя чувства.

По обыкновенію, авторъ и здѣсь рисуетъ свои лица со всею правдивостію, изображаетъ всѣ ихъ мелочныя слабости, всевозможные переходы отъ доблести къ малодушію. Онъ рассказываетъ, напримѣръ, какъ, наканунѣ битвы, офицеры въ оборонительной казармѣ играютъ въ карты. Они жадничаютъ, злятся, наконецъ, завязывается ссора. Авторъ перестаетъ рассказывать.

«Опустимъ»—говоритъ онъ—«скорѣе занавѣсу надъ этой сценой. Завтра, нынче же, можетъ быть, каждый изъ этихъ людей весело и гордо пойдетъ на встрѣчу смерти и умретъ твердо и спокойно; но одна отрада жизни въ тѣхъ ужасающихъ самое холодное воображеніе условіяхъ отсутствія всего человѣческаго и безнадёжности выхода изъ нихъ, одна отрада есть—забвеніе, уничтоженіе сознанія. На дни души каждого лежитъ та благородная искра,

которая сдѣлаетъ изъ него героя; но искра эта устаетъ горѣть ярко—придетъ роковая минута, она остынетъ пламенемъ и ослѣтитъ великія дѣла.

Итакъ, вотъ разгадка! Вотъ объясненіе возможности героизма и признаніе его дѣйствительнаго существованія. Стыдливый юнкеръ и безстыдный трусъ Болховъ уже никого не заставятъ усумниться въ возможности доблести въ душѣ человѣческой.

Само собою разумѣется, что присутствіе душевной доблести не могло быть подвергнуто сомнѣнію гр. Толстымъ—въ простомъ народѣ, не въ средѣ юнкеровъ, волонтеровъ и офицеровъ, а въ средѣ простыхъ солдатъ. Здѣсь дѣло было столь же ясное, какъ и относительно капитана Хлопова. Храбрость была на лицо, и оставалось только изучать ее. Въ этомъ отношеніи найдется немало прекрасныхъ изображеній у гр. Толстаго. Величіе народнаго духа особенно поражаетъ въ *первомъ* севастопольскомъ разсказѣ «Севастополь въ декабрѣ 1854 г.» Это какъ-будто первое неотразимое впечатлѣніе, которое потомъ забылось въ силу постояннаго и неизмѣннаго присутствія предмета, его производившаго, такъ что явилась возможность возникнуть колебаніямъ и грусти *этого* разсказа. Но, очевидно, заключеніе перваго разсказа годится и для всѣхъ трехъ.

«Надолго»—оканчиваетъ авторъ—«оставить въ Россіи великіе слѣды эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ русскій...

Итакъ, герой найденъ, наконецъ. Герой несомнительный, въ которомъ ни разу не приходилось усумниться, рассказывая о которомъ, нельзя было ни разу окончить правдивую повѣсть грустнымъ вопросомъ: «кто же герой этой повѣсти?»

Намъ довелось бы долго черпать въ книгѣ, столь богатой поэзіею и наблюдательностію, какъ сочиненія гр. Толстаго, если бы мы вздумали прослѣдить другія черты душевной жизни тѣхъ героев, автора, на которыхъ устремлено его главное вниманіе, то естъ дѣтей нашего общества, Иртеньевыхъ, Олениныхъ, князей Нехлюдовыхъ и пр. Они больны, эти люди, одною болѣзнію—пустотою и мертвенностію души.

Но у нихъ въ душѣ несомнѣнно таится *благородная искра*, которая стремится *вспыхнуть пламенемъ*, и только потому не находятъ пищи для своего огня. Если бы эта искра вспыхнула, она озарила бы прекрасную душевную жизнь; стремленіе къ этой жизни составляетъ мученіе этихъ душъ.

Насколько нашъ общій духовный складъ, наше образованіе, образъ мыслей и чувствъ, или отсутствіе мыслей и чувствъ въ нашемъ обществѣ—содѣйствуютъ порожденію такихъ болѣзненныхъ явленій,—вопросъ, который мы не будемъ рѣшать, но который ясно затрагивается этими явленіями.

Но еще интереснѣе вопросъ: какія живыя начала обнаруживаетъ здѣсь русская душа, какой нравственный и эстетическій складъ она проявляетъ, выбиваясь изъ-подъ какого-то давящаго ее недуга?

(Отечественныя Записки 1866, декабрь).

II.

Война и миръ. Сочиненіе Графа Л. Н. Толстаго. Томы I, II, III, и IV. Изданіе второе. Москва, 1868.

Статья первая.

Все, что дѣлается у насъ въ литературѣ и литературной критикѣ, забывается быстро и, такъ сказать, поспѣшно. Таковъ, впрочемъ, вообще удивительный ходъ нашего умственного прогресса; сегодня мы забываемъ то, что сдѣлали вчера, и каждую минуту чувствуемъ себя такъ, какъ-будто за нами нѣтъ никакого прошедшаго—каждую минуту готовы начинать все съизнова. Число книгъ и журналовъ, число читающихъ и пишущихъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ; между тѣмъ, число установившихся понятій—такихъ понятій, которыя получили бы ясный и опредѣленный смыслъ для большинства, для массы читающихъ и пишущихъ, повидимому, не только не увеличивается, а даже уменьшается. Наблюдая, какъ, въ продолженіе десятковъ лѣтъ, на сценѣ нашего умственного міра фигурируютъ все одни и тѣ же вопросы, постоянно поднимаемые и постоянно недѣлающіе ни шагу впередъ,—какъ одни и тѣ же мнѣнія, предразсудки, заблужденія повторяются безъ конца, каждый разъ въ видѣ чего-то новаго,—какъ, не только статья или книга, а цѣлая дѣятельность многого человѣка, горячо и долго работавшаго надъ извѣстной областію и успѣвшаго внести въ нее нѣкоторые свѣтъ, исчезаетъ, повидимому, безъ всякаго слѣда, и опять безконечною вереницею появляются все тѣ же мнѣнія, все тѣ же ошибки, тѣ же недоразумѣнія, та же путаница и безсмы-

слица, — наблюдая все это, можно подумать, что мы вовсе не развиваемся, не движемся впередъ, а только толчемся на одномъ мѣстѣ, вертимся въ заколдованномъ кругу. «Мы растемъ», говорилъ Чаадаевъ, «но не зрѣемъ».

Со временъ Чаадаева дѣло не только не улучшилось, а ухудшилось. Тотъ существенный порокъ, который онъ замѣтилъ въ нашемъ развитіи, раскрывался все съ большею и съ большею силою. Въ тѣ времена дѣло шло медленно и касалось сравнительно небольшого числа людей; нынче припадки болѣзни ускорились и охватили огромную массу. «Наши умы», писалъ Чаадаевъ, «не браздятся неизгладимыми чертами послѣдовательнаго движенія идей»; и вотъ, по мѣрѣ внѣшняго развитія литературы, все больше и больше растетъ число пишущихъ и читающихъ, которые чужды всякихъ основъ, не имѣютъ для своихъ мыслей никакихъ точекъ опоры, не чувствуютъ въ себѣ ни съ чѣмъ никакой связи. Отрицаніе, бывшее нѣкогда смѣлостію и дѣлавшее первые шаги съ усиліемъ, сдѣлалось, наконецъ, общимъ мѣстоимъ, рутинною, казенщиною; какъ общая подкладка, какъ исходная точка для всевозможныхъ блужданій и шатаній мысли, образовался нигилизмъ, то есть почти прямое отрицаніе всего прошедшаго, — отрицаніе всякой надобности какого бы то ни было историческаго развитія. «У каждаго человѣка, когда бы и гдѣ бы онъ ни родился, есть мозгъ, сердце, печенька, желудокъ: чего же еще нужно для того, чтобы онъ мыслить и дѣйствовать по-человѣчески?» Нигилизмъ, имѣющій тысячи формъ и проявляющійся въ тысячахъ пополюбовеній, намъ кажется, есть только пробившееся наружу сознаніе нашей интеллигенціи, что ея образованность не имѣетъ никакихъ прочныхъ корней, — что въ ея умахъ никакія идеи не оставили слѣдовъ, — что прошедшаго у нея вовсе нѣтъ.

Многіе негодуютъ на такой ходъ дѣлъ, да и какъ возможно иногда сдержатъ негодованіе? Какъ не окрестить глупостію и нелѣпостію всѣ эти безобразнѣйшія мнѣнія, формирующіяся, повидимому, безъ всякаго участія правильной мысли? Какъ не назвать грубымъ и дикимъ невѣжествомъ это полное непониманіе и забвеніе прошлаго, — эти разсужденія, не только не опирающіяся на изученіе предмета, но явно

дышащія совершеннымъ презрѣніемъ ко всякому изученію? И однакоже, мы были бы совершенно неправы, если бы приписывали плачевныя явленія нашего умственного міра этимъ двумъ причинамъ, то есть слабости русскіихъ умовъ и господствующему между ними невѣжеству. Умы слабые и невѣжественные не суть еще по этому самому умы блуждающіе и забывчивые. Очевидно, причина здѣсь другая, болѣе глубокая. Скорѣе же бѣда въ томъ, что мы не только не считаемъ, но даже имѣемъ нѣкоторое право не считать себя невѣжественными; бѣда въ томъ, что мы, дѣйствительно, обладаемъ какимъ-то образованіемъ, но что это образованіе внушаетъ намъ только смѣлость и развязность и не вноситъ никакого толку въ наши мысли. Другая же причина, параллельная первой и составляющая главный, коренной источникъ зла, очевидно, та, что у насъ, при этой ложной образованности, недостаетъ дѣйствительнаго, *настоящаго* образованія, которое своимъ дѣйствіемъ парализовало бы всѣ уклоненія и блужданія, порождаемыя какими бы то ни было причинами.

Итакъ, дѣло гораздо сложнее и глубже, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Общая формула, *намъ нужно больше образованія*, подобно другимъ общимъ формуламъ, не разрѣшаетъ вопроса. Пока всякій новый наплывъ образованія будетъ имѣть слѣдствіемъ только наращеніе нашей безсодержательной, неимѣющей никакихъ корней, словомъ, *фальшивой* образованности, образованіе не будетъ приносить намъ никакой пользы. А это не прекратится и не можетъ прекратиться до тѣхъ поръ, пока у насъ не разовьются и не укрѣпятся ростки и побѣги настоящаго образованія, — пока не получить полной силы движеніе идей, «оставляющее въ умахъ неизгладимыя черты».

Дѣло трудное до высокой степени. Ибо для того, чтобы образованіе заслуживало своего имени, — чтобы его явленія имѣли надлежащую силу, надлежащую связь и послѣдовательность, — чтобы мы сегодня не забывали того, что дѣлали и о чемъ думали вчера, — для этого необходимо требуется весьма тяжелое условіе, требуется самостоятельное, самобытное, умственное развитіе. Необходимо, чтобы мы жили не чужою, а своею умственною жизнью, — чтобы чужія идеи не просто

отпечатлѣвались, или отражались на насъ, а превращались бы въ нашу плоть и кровь, перерабатывались бы въ части нашего организма. Мы не должны быть воскомъ, отливающимся въ готовыя формы, а должны быть живымъ существомъ, которое всему, имъ воспринимаемому, даетъ свои собственные формы, образуемыя имъ по законамъ своего собственного развитія. Такова высокая цѣна, которою одною мы можемъ купить дѣйствительное образованіе. Если мы станемъ на эту точку зрѣнія, если подумаемъ, какъ неизбежно это условіе, какъ оно трудно и высоко,—то намъ многое объяснится въ явленіяхъ нашего умственного міра. Мы не будемъ уже дивиться тѣмъ безобразіямъ, которыя наполняютъ его и не станемъ надѣяться на скорое очищеніе его отъ этихъ безобразій. Всему этому слѣдовало быть и слѣдуетъ быть еще долго. Развѣ можно требовать, чтобы наша интеллигенція, не выполняя существеннаго условія правильнаго развитія, произвела что-нибудь хорошее? Развѣ не должна естественно, необходимо возникнуть эта призрачная дѣятельность, это мнимое движеніе, этотъ прогрессъ, не оставляющій послѣ себя никакихъ слѣдовъ? Зло, для того чтобы прекратиться, должно быть истерпано до конца; слѣдствія будутъ продолжаться, пока будутъ существовать причины.

Весь нашъ умственный міръ давно уже раздѣляется на двѣ области, только изрѣдка и ненадолго сливающимися между собою. Одна область, самая большая, объемлющая большинство читающихъ и пишущихъ, есть область прогресса, не оставляющая слѣдовъ,—область метеоровъ и миражей, — *дымъ, несущійся по тѣтру*, какъ выразился Тургеневъ. Другая область, несравненно меньшая, заключаетъ въ себѣ все, что дѣйствительно *дѣлается* въ нашемъ умственномъ движеніи,—есть русло, питаемое живыми рудниками,—струя нѣкотораго преемственнаго развитія. Это та область, въ которой мы не только растемъ, но и зрѣемъ,—въ которой, слѣдовательно, такъ или иначе совершается трудъ нашей самостоятельной духовной жизни. Ибо дѣйствительнымъ дѣломъ въ этомъ случаѣ можетъ быть только то, что носить на себѣ печать самобытности, и (по справедливому замѣчанію, давно сдѣланному нашей критикой) каждый замѣчательный дѣятель

нашего развитія непременно обнаруживалъ въ себѣ вполнѣ русскаго человѣка. Понятно теперь противорѣчіе, существующее между этими двумя областями,—противорѣчіе, которое должно возрастать по мѣрѣ уясненія ихъ взаимныхъ отношеній. Для первой, господствующей области, явленія второй не имѣютъ почти никакого значенія. Она или не обращаетъ на нихъ никакого вниманія, или понимаетъ ихъ превратно и искаженно; она ихъ или вовсе не знаетъ, или узнаетъ поверхностно и быстро забываетъ.

Они забываютъ и имъ естественно забывать; но кто же помнить? Какалось бы, у насъ должны существовать люди, для которыхъ столь же естественно помнить, какъ для тѣхъ—забывать,—люди, способные оцѣнить достоинство какихъ бы то ни было явленій умственного міра, не увлекающіеся минутными настроеніями общества и умѣющіе, сквозь дымъ и туманъ, видѣть настоящее движеніе впередъ и отличать его отъ пустого, безплоднаго броженія. Дѣйствительно, у насъ есть люди, повидимому, вполнѣ способные для этого дѣла; но, по несчастію, такова сила вещей, что они этого дѣла не дѣлаютъ, не желаютъ дѣлать, да въ сущности и не могутъ. Наши серьезные и основательно-образованные люди неизбѣжно находятся подъ злополучнымъ вліяніемъ общаго порока нашего развитія. Прежде всего—ихъ собственное образованіе, обыкновенно составляющее нѣкоторое исключеніе, и хотя высокое, но большею частью одностороннее, внушаетъ имъ высокомѣріе къ явленіямъ нашего умственного міра; они не удостоиваютъ его пристальнаго вниманія. Затѣмъ, по своимъ отношеніямъ къ этому міру, они раздѣляются на два разряда: одни питаютъ къ нему полнѣйшее равнодушіе, какъ къ явленію, для нихъ болѣе или менѣе чуждому; другіе, теоретически признавая свое родство съ этимъ міромъ, останавливаются въ немъ на кой-какихъ единичныхъ явленіяхъ и тѣмъ съ большимъ презрѣніемъ смотрятъ на все остальное. Первое отношеніе—космополитическое, второе національное. Космополиты—грубо, невнимательно, безъ любви и проникательности,—подводятъ наше развитіе подъ европейскія мѣрки и не умѣютъ въ немъ видѣть ничего особеннаго хорошаго. Националы, съ меньшею грубостію и невнима-

тельностью, прилагаютъ къ нашему развитію требованіе само-бытности и, на этомъ основаніи, отрицаютъ въ немъ все, кромѣ немногихъ исключеній.

Очевидно, вся трудность заключается въ умѣнн цѣнить проявленія самобытности. Одни вовсе не желаютъ и не умѣютъ ихъ находить; немудрено, что они ихъ не видятъ. Другіе именно ихъ и желаютъ; но, будучи слишкомъ скоры и требовательны въ своихъ желаніяхъ, вѣчно недовольны тѣмъ, что есть на самомъ дѣлѣ. Такимъ образомъ, дѣло, безцѣнное и совершаемое съ тяжкимъ трудомъ, постоянно остается въ пренебреженіи. Одни цовѣрятъ въ русскую мысль только тогда, когда она произведетъ великихъ всемірныхъ философовъ и поэтовъ; другіе—только тогда, когда всѣ ея созданія примутъ яркій національный отпечатокъ. А до тѣхъ поръ тѣ и другіе считаютъ себя въ правѣ съ презрѣніемъ относиться къ ея работѣ,—забывать все, что она ни сдѣлаетъ,—и по прежнему подвѣлять ее все тѣми же высокими требованіями.

Такія мысли пришли намъ на умъ, когда мы рѣшились приступить къ разбору «Войны и Мира». И намъ кажется, эти мысли всего умѣстнѣе, когда дѣло идетъ именно о новомъ художественномъ произведеніи. Съ чего начать? Къ чему намъ применить свои сужденія? На что бы мы ни сослались, на какія бы понятія ни оперлись, все будетъ темно и непонятно для большинства нашихъ читателей. Новое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, одно изъ прекраснѣйшихъ произведеній русской литературы, составляетъ, во первыхъ, плодъ движенія этой литературы, ея глубокаго и труднаго прогресса; во вторыхъ, оно есть результатъ развитія самого художника, его долгой и совѣстливой работы надъ своимъ талантомъ. Но кто же имѣетъ ясное понятіе о движеніи нашей литературы и о развитіи таланта гр. Л. Н. Толстаго? Правда, наша критика нѣкогда внимательно и глубокомысленно оцѣнила особенности этого удивительнаго таланта*); но кто же объ этомъ помнить?

*) Здѣсь разумѣется статья Аполтона Григорьева.

Недавно одинъ критикъ объявилъ, что передъ появленіемъ «Войны и Мира» всѣ уже забыли о гр. Л. Н. Толстомъ, и никто о немъ больше не думалъ. Замѣчаніе совершенно справедливое. Конечно, вѣроятно, были еще отсталые читатели, которые продолжали восхищаться прежними произведеніями этого писателя и находить въ нихъ безцѣнные откровенія души человѣческой. Но наши критики не принадлежали къ числу этихъ наивныхъ читателей. Наши критики, конечно, меньше всѣхъ другихъ помнили о гр. Л. Н. Толстомъ и думали о немъ. Мы будемъ правы, если даже распространимъ и обобщимъ это заключеніе. Есть у насъ, вѣроятно, читатели, которые дорожатъ русской литературой, — которые помнятъ и любятъ ее; но это отнюдь не русскіе критики. Критиковъ же наша литература не столько занимаетъ, сколько беспокоитъ своимъ существованіемъ; они вовсе не желаютъ объ ней помнить и думать, и только досаждаютъ, когда она напоминаетъ имъ о себѣ новыми произведеніями.

Таково, дѣйствительно, было впечатлѣніе, произведенное появленіемъ «Войны и Мира». Для многихъ, съ наслажденіемъ занимавшихся чтеніемъ послѣднихъ книжекъ журналовъ и въ нихъ своихъ собственныхъ статей, было чрезвычайно непріятно убѣдиться, что есть какая-то другая область, о которой они не думали и думать не хотѣли, и въ которой, однакоже, создаются явленія огромныхъ размѣровъ и блистательной красоты. Каждому дорого свое спокойствіе, — самолюбивая увѣренность въ своемъ умѣ, въ значеніи своей дѣятельности, — отсюда объясняются тѣ озлобленные вопли, которые у насъ поднимаются — въ частности на поэтовъ и художниковъ, а вообще на все, что уличаетъ насъ въ невѣжествѣ, забвеніи и непониманіи.

Изъ всего этого мы выведемъ сперва одно заключеніе: у насъ трудно говорить о литературѣ. Вообще замѣчено, что у насъ трудно говорить о чемъ бы то ни было, не возбуждая безчисленныхъ недоразумѣній, не вызывая самыхъ невѣроятныхъ извращеній своей мысли. Но всего труднѣе говорить о томъ, что называется литературой по преимуществу, о художественныхъ произведеніяхъ. Тутъ намъ слѣдуетъ не предполагать у читателей никакихъ сколько-нибудь устано-

вленныхъ понятій; слѣдуетъ писать такъ, какъ-будто никто ничего не знаетъ ни о нынѣшнемъ состояніи нашей литературы и критики, ни объ историческомъ развитіи, которое привело ихъ къ этому состоянію.

Такъ мы и поступимъ. Не ссылаясь ни на что, мы будемъ прямо заявлять факты, описывать ихъ съ возможною точностію, анализировать ихъ значеніе и связь, и отсюда уже выводить свои заключенія.

I.

Фактъ, которымъ вызвано настоящее изслѣдованіе, и за объясненіе котораго, вслѣдствіе его огромности, мы беремся не безъ сомнѣнія въ своихъ силахъ, заключается въ слѣдующемъ:

Въ 1868 году появилось одно изъ лучшихъ произведеній нашей литературы, «Война и Миръ». Успѣхъ его былъ необыкновенный. Давно уже ни одна книга не читалась съ такою жадностію. Притомъ, это былъ успѣхъ самаго высокаго разряда. «Войну и Миръ» внимательно читали не только простые любители чтенія, до сихъ поръ восхищающіеся Дюма и Февалемъ, но и самые взыскательные читатели,—всѣ, имѣющіе основательное или неосновательное притязаніе на ученость и образованность; читали даже тѣ, которые вообще презираютъ русскую литературу и ничего не читаютъ по русски. И такъ какъ кругъ нашихъ читателей съ каждымъ годомъ возрастаетъ, то вышло, что ни одно изъ нашихъ классическихъ произведеній,—изъ тѣхъ, которыя не только имѣютъ успѣхъ, но и заслуживаютъ успѣха,—не расходилось такъ быстро и въ такомъ количествѣ экземпляровъ, какъ «Война и Миръ». Прибавимъ къ этому, что еще ни одно изъ замѣчательныхъ произведеній нашей литературы не имѣло такого большаго объема, какъ новое произведеніе г-а Л. Н. Толстаго.

Приступимъ же прямо къ анализу совершившагося факта. Успѣхъ «Войны и Мира» есть явленіе чрезвычайно простое

и отчетливое; не заключающее въ себѣ никакой сложности и запутанности. Этого успѣха нельзя приписать никакимъ побочнымъ, постороннимъ для дѣла причинамъ. Гр. Л. Н. Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключеніями, ни описаніемъ грязныхъ и ужасныхъ сценъ, ни изображеніемъ страшныхъ душевныхъ мукъ, ни, наконецъ, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденціями,—словомъ, ни однимъ изъ тѣхъ средствъ, которыя дразнятъ мысль или воображеніе читателей, болѣзненно раздражаютъ любопытство картинами неизвѣданной и неопытанной жизни. Ничего не можетъ быть проще множества событій, описанныхъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Всѣ случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братомъ и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свиданіе родныхъ, охота, святки, мазурка, игра въ карты и пр.,—все это съ такою же любовью возведено въ перлъ созданія, какъ и Бородинская битва. Простые предметы занимать въ «Войнѣ и Мирѣ» также много мѣста, какъ, напримѣръ, въ «Евгеніи Онѣгинѣ» безсмертное описаніе жизни Лариныхъ, зимы, весны, поѣздки въ Москву и т. п.

Правда, рядомъ съ этимъ гр. Л. Н. Толстой выводитъ на сцену великія событія и лица огромнаго историческаго значенія. Но никакъ нельзя сказать, чтобы именно этимъ былъ возбужденъ общій интересъ читателей. Если и были читатели, которыхъ привлекло изображеніе историческихъ явленій, или даже чувство патріотизма, то, безъ всякаго сомнѣнія, было не мало и такихъ, которые вовсе не любятъ искать исторіи въ художественныхъ произведеніяхъ, или же сильнѣйшимъ образомъ вооружены противъ всякаго подкупа патріотическаго чувства, и которые, однакоже, прочли «Войну и Миръ» съ живѣйшимъ любопытствомъ. Замѣтимъ мимоходомъ, что «Война и Миръ» вовсе не есть историческій романъ, т. е. вовсе не имѣетъ въ виду дѣлать изъ историческихъ лицъ романическихъ героевъ и, рассказывая ихъ похождения, соединять въ себѣ интересъ романа и исторіи.

Итакъ, дѣло чистое и ясное. Какія бы цѣли и намѣренія ни были у автора, какихъ бы высокихъ и важныхъ предметовъ онъ ни касался, успѣхъ его произведенія зави-

ситъ не отъ этихъ намѣреній и предметовъ, а оттого, что онъ сдѣлалъ, руководясь этими дѣлами и касаясь этихъ предметовъ, то есть отъ *высокаго художественнаго выполненія*.

Если гр. Л. Н. Толстой достигъ своихъ цѣлей, если онъ заставилъ всѣхъ вперить глаза на то, что занимало его душу, то только потому, что исполнилъ владѣть своимъ орудіемъ, искусствомъ. Въ этомъ отношеніи примѣръ «Войны и Мира» чрезвычайно поучителенъ. Едва ли многие отдали себѣ отчетъ въ мысляхъ, руководившихъ и одушевлявшихъ автора, но всѣ одинаково поражены его творчествомъ. Люди, приступавшіе къ этой книгѣ съ предвзятыми взглядами, — съ мыслию найти противорѣчіе своей тенденціи, или ея подтвержденіе, — часто недоумѣвали, не успѣвали рѣшить, что имъ дѣлать — негодовать или восторгаться, но всѣ одинаково признавали необыкновенное мастерство загадочнаго произведенія. Данно уже искусство не обнаруживало въ такой степени своего всепобѣднаго неотразимаго дѣйствія.

Но художественность не дается даромъ. Да не подумаетъ кто-нибудь, что она можетъ существовать отдѣльно отъ глубокихъ мыслей и глубокихъ чувствъ, — что она можетъ быть явленіемъ не серьезнымъ, не имѣющимъ важнаго смысла. Въ этомъ случаѣ нужно отличать истинную художественность отъ ея фальшивыхъ и уродливыхъ формъ. Попробуемъ анализировать творчество, обнаружившееся въ книгѣ гр. Л. Н. Толстаго, и мы увидимъ, какая глубина лежитъ въ его основаніи.

Чѣмъ всѣ были поражены въ «Войнѣ и Мирѣ»? Конечно, объективностію, образностію. Трудно представить себѣ образы болѣе отчетливыя, — краски болѣе яркія. Точно видишь все то, что описывается, и слышишь всѣ звуки того, что совершается. Авторъ ничего не рассказываетъ отъ себя; онъ прямо выводитъ лица и заставляетъ ихъ говорить, чувствовать и дѣйствовать, при чемъ каждое слово и каждое движеніе вѣрно до изумительной точности, то есть вполнѣ носитъ характеръ лица, которому принадлежитъ. Какъ-будто имѣешь дѣло съ живыми людьми, и притомъ видишь ихъ гораздо яснѣе, чѣмъ умѣешь видѣть въ дѣйствительной жизни. Можно различать не только образъ выраженій и

чувствъ каждаго дѣйствующаго лица, но и манеры каждаго, любимыя жесты, походку. Важному князю Василию пришлось однажды, въ необыкновенныхъ и трудныхъ обстоятельствахъ, пройти на цыпочкахъ; авторъ въ совершенствѣ знаетъ, какъ ходитъ каждое изъ его лицъ. «Князь Василій», говоритъ онъ, «не умѣлъ ходить на цыпочкахъ и неловко подпрыгивалъ всѣмъ тѣломъ» (т. I-й, стр. 115). Съ такою же ясностію и отчетливостію авторъ знаетъ всѣ движенія, всѣ чувства и мысли своихъ героевъ. Когда онъ разъ вывелъ ихъ на сцену, онъ уже не вмѣшивается въ ихъ дѣла, не помогаетъ имъ, предоставляя каждому изъ нихъ вести себя сообразно со своею натурой.

Изъ того же стремленія соблюсти объективность происходятъ, что у гр. Толстаго нѣтъ картинъ или описаній, которыя онъ дѣлалъ бы отъ себя. Природа у него является только такъ, какъ она отражается въ дѣйствующихъ лицахъ; онъ не описываетъ дуба, стоящаго среди дороги, или лунной ночи, въ которую не спалось Наташѣ и князю Андрею, а описываетъ то впечатлѣніе, которое этотъ дубъ и эта ночь произвели на князя Андрея. Точно такъ, битвы и событія всякаго рода рассказываются не по тѣмъ понятіямъ, которыя составилъ себѣ о нихъ авторъ, а по впечатлѣніямъ лицъ, въ нихъ дѣйствующихъ. Шенграбенское дѣло описано болѣею частію по впечатлѣніямъ князя Андрея; Аустерлицкая битва—по впечатлѣніямъ Николая Ростова; пріѣздъ императора Александра въ Москву изображенъ въ волненіяхъ Пети, и дѣйствіе молитвы о спасеніи отъ нашествія—въ чувствахъ Наташи. Такимъ образомъ, авторъ нигдѣ не выступаетъ изъ-за дѣйствующихъ лицъ и рисуетъ событія не отвлеченно, а, такъ сказать, плотью и кровью тѣхъ людей, которые составляли собою матеріалъ событій.

Въ этомъ отношеніи «Война и Миръ» представляетъ истинныя чудеса искусства. Схвачены не отдѣльныя черты, а цѣликомъ—та жизненная атмосфера, которая бываетъ различна около различныхъ лицъ и въ разныхъ слояхъ общества. Самъ авторъ говоритъ о *любвонной и семейной атмосферѣ* дома Ростовыхъ; но припомните другія изображенія того же рода: атмосфера, окружавшая Сперанскаго;

атмосфера, господствовавшая около *дядюшки* Ростовых; атмосфера театральной залы, въ которую подала Наташа; атмосфера военного госпиталя, куда зашелъ Ростовъ, и пр. и пр. Лица, вступающія въ одну изъ этихъ атмосферъ, или переходящія изъ одной въ другую, неизбежно чувствуютъ ихъ вліяніе, и мы переживаемъ его, вмѣстѣ съ ними.

Такимъ образомъ, достигнута высшая степень объективности, т. е. мы не только видимъ передъ собою поступки, фигуру, движенія и рѣчи дѣйствующихъ лицъ, но и вся ихъ внутренняя жизнь предстаетъ передъ нами въ такихъ же отчетливыхъ и ясныхъ чертахъ; ихъ душа, ихъ сердце ничѣмъ не заслоняются отъ нашихъ взоровъ. Читая «Войну и Миръ», мы въ полномъ смыслѣ слова *созерцаемъ* тѣ предметы, которые избралъ художникъ.

Но что же это за предметы? Объективность есть общее свойство поэзіи, которое должно всегда въ ней присутствовать, какіе бы предметы она ни изображала. Самыя идеальныя чувства, самая высокая жизнь духа должны быть изображаемы объективно. Пушкинъ совершенно объективенъ, когда вспоминаетъ о нѣкоторой *величавой женѣ*; онъ говоритъ:

Ея чела я помню покрывало
И очи, свѣтлыя, какъ небеса.

Онъ слышалъ ея голосъ:

Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесѣдуетъ она.

Точно такъ, онъ вполне объективно изображаетъ ощущенія «Пророка»:

И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводныхъ ходъ,
И дольной лозы прозябанье.

Объективность г-на Л. Н. Толстаго, очевидно, обращена въ другую сторону,—не на идеальные предметы, а на то,

что мы противопоставляемъ,—на, такъ называемую, дѣйствительность, на то, что не достигаетъ идеала, уклоняется отъ него, противорѣчить ему и, однакоже, существуетъ, какъ бы свѣдѣтельствуя о его безсиліи. Гр. Л. Н. Толстой есть *реалистъ*, то есть принадлежитъ къ давно господствующему и весьма сильному направленію нашей литературы. Онъ глубоко сочувствуетъ стремленію нашихъ умовъ и вкусовъ къ реализму, и его сила заключается въ томъ, что онъ умѣетъ вполне удовлетворить этому стремленію.

Въ самомъ дѣлѣ, реалистъ онъ великолѣпный. Можно подумать, что онъ не только изображаетъ свои лица съ неподкупной вѣрностію дѣйствительности, а какъ-будто даже умышленно совлекаетъ ихъ съ идеальной высоты, на которую мы, по вѣчному свойству человѣческой природы, такъ охотно и легко ставимъ людей и событія. Безжалостно, безпощадно гр. Л. Н. Толстой обнаруживаетъ всѣ слабыя стороны своихъ героевъ; онъ не утаиваетъ ничего, не останавливается ни передъ чѣмъ, такъ что наводитъ даже страхъ и тоску о несовершенствѣ человѣка. Многія чувствительныя души не могутъ, напр., переварить мысли объ увлеченіи Наташи Курагинымъ; не будь этого,—какой вышелъ бы прекрасный образъ, нарисованный съ изумительной правдивостію! Но поэтъ реалистъ безпощаденъ.

Если смотрѣть на «Войну и Миръ» съ этой точки зрѣнія, то можно принять эту книгу за самое ярое *обличеніе* александровской эпохи,—за неподкупное разоблаченіе всѣхъ язвъ, которыми она страдала. Обличены—своекорыстіе, пустота, фальшивость, развратъ, глупость тогдашняго высшаго круга; бессмысленная, лѣнивая, обжорливая жизнь московскаго общества и богатыхъ помѣщиковъ въ родѣ Ростовыхъ; затѣмъ, величайшіе беспорядки вездѣ, особенно въ арміи, во время войнъ; повсюду показаны люди, которые, среди крови и битвъ, руководятся личными выгодами и приносятъ имъ въ жертву общее благо; выставлены страшныя бѣдствія, происходившія отъ несогласія и мелочнаго честолюбія начальниковъ, — отъ отсутствія твердой руки въ управленіи; выведена на сцену цѣлая толпа трусовъ, подлецовъ, воровъ, развратниковъ, шулеровъ; ярко показана грубость и дикость народа (въ Смоленскѣ мужъ, бьющій жену; бунтъ въ Богучаровѣ).

Такъ что, если-бы кто-нибудь вздумалъ написать по поводу «Войны и Мира» статью, подобную статьѣ Добролюбова «Темное царство», то нашелъ бы въ произведеніи гр. Л. Н. Толстаго обильные матеріалы для этой темы. Одинъ изъ писателей, принадлежащихъ къ заграничному отдѣлу нашей литературы, Н. Огаревъ, когда-то подвелъ всю нашу нынѣшнюю литературу подъ формулу обличенія,—именно сказалъ, что Тургеневъ есть обличитель помѣщиковъ, Островскій—купцовъ, а Некрасовъ—чановниковъ. Слѣдуя такому взгляду, мы могли бы порадоваться появленію новаго обличителя и сказать: гр. Л. Н. Толстой есть обличитель военныхъ,—обличитель нашихъ воинскихъ подвиговъ, нашей исторической славы.

Весьма знаменательно, однако, что подобный взглядъ нашелъ себѣ только слабыя отголоски въ литературѣ,—явное доказательство, что самые пристрастные глаза не могли не видѣть его несправедливости. Но что подобный взглядъ возможенъ, на это мы имѣемъ драгоцѣнное историческое свидѣтельство: одинъ изъ участниковъ войны 1812 года, ветеранъ нашей литературы, А. С. Норовъ, увлеченный пристрастіемъ, внушающимъ къ себѣ невольное и глубокое уваженіе, принялъ гр. Л. Н. Толстаго за обличителя. Вотъ подлинныя слова А. С. Норова:

«Читатели поражены, при первыхъ частяхъ романа («Война и Миръ»), сначала грустнымъ впечатлѣніемъ представленнаго имъ въ столицѣ пустого и почти безправсвеннаго высшаго круга общества, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣющаго вліяніе на правительство; а потомъ, отсутствіемъ всякаго «смысла въ военныхъ дѣйствіяхъ и едва не отсутствіемъ «военныхъ доблестей, которыми всегда такъ справедливо гордилась наша армія». «Громкій славою 1812 годъ, какъ въ военномъ, такъ и въ гражданскомъ быту представленъ намъ «мыльнымъ пузыремъ; цѣлая фаланга нашихъ генераловъ, «которыхъ боевая слава прикована къ нашимъ военнымъ «лѣтописямъ, и которыхъ имена переходятъ доселѣ изъ устъ «въ уста новаго военного поколѣнія, будто-бы составлена была изъ бездарныхъ, слѣпыхъ орудій случая, дѣйствовавшихъ «иногда удачно, и объ этихъ даже ихъ удачахъ говорится

«только малькомъ и часто съ иронією. Неужели таково было наше общество, неужели такова была наша армія?» «Будучи въ числѣ очевидцевъ великихъ отечественныхъ событій, я не могъ безъ оскорбленнаго патріотическаго чувства дочитать этотъ романъ, имѣющій претензію быть историческимъ» *).

Какъ мы сказали, эта сторона произведенія гр. Л. Н. Толстаго, столь больно затронувшая А. С. Норова, не произвела замѣтнаго впечатлѣнія на большинство читателей. Отчего же? Оттого, что ее слишкомъ сильно заслоняли другія стороны произведенія,—что на первый планъ выступали въ немъ другіе мотивы, болѣе поэтическаго свойства. Очевидно, гр. Л. Н. Толстой изображалъ темныя черты предметовъ, не потому, чтобы желалъ ихъ выставить на видъ, а потому, что хотѣлъ изображать предметы вполнѣ, со всѣми ихъ чертами, слѣдовательно, и съ темными. Цѣлью его была *правда* въ изображеніи,—неизмѣнная вѣрность дѣйствительности, и эта-то правдивость и приковывала къ себѣ все вниманіе читателей. Патріотизмъ, слава Россіи, нравственные правила, все забывалось, все отходило на задній планъ передъ этимъ реализмомъ, выступившимъ во всеоружіи. Читатель жадно слѣдилъ за этими картинами; какъ-будто художникъ, ничего не пропуская, никого не обличая, подобно нѣкоторому волшебнику, переносилъ его изъ одного мѣста въ другое и давалъ ему самому видѣть, что тамъ дѣлалось.

Все ярко, все образно и въ то же время все реально, все вѣрно дѣйствительности, какъ дагерротипъ или фотографія; вотъ въ чемъ сила гр. Л. Н. Толстаго. Чувствуешь, что авторъ не хотѣлъ преувеличить ни темныхъ, ни свѣтлыхъ сторонъ предметовъ, не хотѣлъ набросить на нихъ никакого особеннаго колорита или эффектнаго освѣщенія,—что онъ всею душою стремился передать дѣло въ его настоящемъ, дѣйствительномъ видѣ и свѣтѣ,—вотъ неодолимая прелесть, побѣждающая самыхъ упорныхъ читателей! Да, мы, русскіе

*) „Война и миръ“ (1805—1812) съ исторической точки зрѣнія и по воспоминаніямъ современника. По поводу сочиненія графа Л. Н. Толстаго „Война и Миръ“. А. С. Норова. Спб. 1868. Стр. 1 и 2.

читатели, давно уже упорны въ отношеніи къ художественнымъ произведеніямъ, давно уже вооружены сильнѣйшимъ образомъ противъ того, что называется позыію, идеальными чувствами и мыслями; мы какъ-будто потеряли способность увлекаться идеализмомъ въ искусствѣ и упрямо упираемся противъ малѣйшаго соблазна въ эту сторону. Мы или не вѣримъ въ идеалъ, или (что гораздо вѣрнѣе, такъ какъ не вѣрить въ идеалъ можетъ частное лицо, но не народъ) ставимъ его такъ высоко, что не вѣримъ въ силу художества, — въ возможность какого-либо воплощенія идеала. При такомъ положеніи дѣла художеству осталась одна дорога — реализмъ; что вы сдѣлаете, чѣмъ вооружитесь противъ правды, противъ изображенія жизни, какъ она есть?

Но реализмъ реализму рознь; искусство въ сущности никогда не отказывается отъ идеала, всегда стремится къ нему; и чѣмъ яснѣе и живѣе слышно это стремленіе въ созданіяхъ реализма, тѣмъ они выше, тѣмъ ближе къ настоящей художественности. Не мало у насъ людей, которые понимаютъ это дѣло грубо, именно — воображаютъ, что они должны для наилучшаго успѣха въ искусствѣ превратить свою душу въ простой фотографическій приборъ и снимать съ него тѣ картинки, какія попадутся. Наша литература представляетъ множество подобныхъ картинокъ; зато простодушные читатели, воображавшіе, что передъ ними выступаютъ дѣйствительные художники, немало потомъ удивлялись, видя, что изъ этихъ писателей ровно ничего не выходитъ. Дѣло, однакоже, понятное; эти писатели вѣрны были дѣйствительности не потому, чтобы она у нихъ ярко была озарена ихъ идеаломъ, а потому, что сами не видѣли дальше того, что писали. Они стояли въ уровень съ тою дѣйствительностью, которую описывали.

Гр. Л. Н. Толстой не реалистъ-обличитель, но онъ и не реалистъ-фотографъ. Тѣмъ и дорого его произведеніе, въ томъ его сила и причина успѣха, что, удовлетворяя вполне всѣмъ требованіямъ нашего искусства, онъ выполнилъ ихъ въ самомъ чистомъ ихъ видѣ, въ самомъ глубокомъ ихъ смыслѣ. Сущность русскаго реализма въ искусствѣ никогда еще не обнаруживалась съ такой ясностію и силою; въ «Войнѣ и

Миръ» онъ поднялся на новую ступень, вошелъ въ новый періодъ своего развитія.

Сдѣлаемъ еще шагъ въ характеристикѣ этого произведенія, и мы уже будемъ близко къ цѣли.

Въ чемъ заключается особенная, ярко выступающая черта таланта гр. Л. Н. Толстаго? Въ необыкновенно тонкомъ и вѣрномъ изображеніи душевныхъ движеній. Гр. Л. Н. Толстаго можно назвать по преимуществу *реалистомъ-психологомъ*. По прежнимъ своимъ произведеніямъ онъ давно извѣстенъ, какъ изумительный мастеръ въ анализѣ всякаго рода душевныхъ перемѣнъ и состояній. Этотъ анализъ разрабатываемый съ какимъ-то пристрастіемъ, доходилъ до мелочности, до неправильной напряженности. Въ новомъ произведеніи всѣ крайности его отпали, и осталась вся его прежняя точность и проницательность; сила художника нашла свои предѣлы и улеглась въ свои берега. Все вниманіе его устремлено на душу человѣческую. У него рѣдки, кратки и неполны описанія обстановки, костюмовъ, словомъ—всей внѣшней стороны жизни; но зато нигдѣ не упущено впечатлѣніе и вліяніе, производимое этою внѣшнею стороною на душу людей, а главное мѣсто занимаетъ ихъ внутренняя жизнь, для которой внѣшняя служитъ только поводомъ или неполнымъ выраженіемъ. Малѣйшіе оттѣнки душевной жизни и самыя глубокія ея потрясенія изображены съ одинаковою отчетливостію и правдивостію. Чувство праздничной скуки въ Отраденскомъ домѣ Ростовыхъ и чувство всего русскаго войска въ самый разгаръ Бородинской битвы, молодыя душевныя движенія Наташи и волненія старика Болконскаго, теряющаго память и близкаго къ удару паралича,—все ярко, все живо и точно въ разсказѣ гр. Л. Н. Толстаго.

Итакъ, вотъ гдѣ сосредоточивается весь интересъ автора, а въ силу того и весь интересъ читателя. Какія бы огромныя и важныя событія ни происходили на сценѣ,—будетъ ли это Кремль, захлебнувшійся народомъ вслѣдствіе пріѣзда Государя, или свиданіе двухъ императоровъ, или страшная битва съ громомъ пушекъ и тысячами умирающихъ,—ничто не отвлекаетъ поэта, а вмѣстѣ съ нимъ и читателя отъ пристального взглядыванія во внутренній міръ отдѣльныхъ лицъ.

Художника какъ-будто вовсе не занимаетъ событіе, а занимаетъ только то, какъ дѣйствуетъ при этомъ событіи чело-вѣческая душа,—что она чувствуетъ и вноситъ въ событіе?

Спросите теперь себя, чего же ищетъ поэтъ? Какое упорное любопытство заставляетъ его слѣдить за малѣйшими ощущеніями всѣхъ этихъ людей, начиная отъ Наполеона и Кутузова до тѣхъ маленькихъ дѣвочекъ, которыхъ князь Андрей засталъ въ своемъ разоренномъ саду?

Отвѣтъ одинъ: художникъ ищетъ слѣдовъ красоты души чело-вѣческой,—ищетъ въ каждомъ изображаемомъ лицѣ той искры Божіей, въ которой заключается чело-вѣческое достоинство личности,—словомъ, старается найти и опредѣлить со всею точностію, какимъ образомъ и въ какой мѣрѣ идеальныя стремленія чело-вѣка осуществляются въ дѣйствительной жизни.

II.

Очень трудно изложить, даже въ главныхъ чертахъ, идею глубокаго художественнаго произведенія; она воплощается въ немъ съ такою полнотою и многосторонностію, что отвлеченное изложеніе ея всегда будетъ чѣмъ-то неточнымъ, недостаточнымъ,—не будетъ, какъ говорятъ, вполне исчерпывать предмета.

Идею «Войны и Мира» можно формулировать различнымъ образомъ.

Можно сказать, напримѣръ, что руководящая мысль произведенія есть *идея героической жизни*. На это намекаетъ самъ авторъ, когда, среди описанія Бородинской битвы, дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: «Древніе оставили намъ образцы «героическихъ поэмъ, въ которыхъ герои составляютъ весь *«интересъ исторіи»*, и мы все еще не можемъ привыкнуть «къ тому, что для нашего чело-вѣческаго времени исторія такого рода не имѣетъ смысла». (т. IV, стр. 236).

Художникъ, такимъ образомъ, прямо заявляетъ намъ, что онъ хочетъ изобразить намъ такую жизнь, которую мы

обыкновенно называемъ героическою, но—изобразить въ ея настоящемъ смыслѣ, а не въ тѣхъ неправильныхъ образахъ, которые завѣщаны намъ древностію; онъ хочетъ, чтобы мы *отыски* отъ этихъ ложныхъ представленій и для этого даетъ намъ истинныя представленія. На мѣсто идеальнаго, мы должны получить реальное.

Гдѣ же искать героической жизни? Конечно, въ исторіи. Мы привыкли думать, что люди, отъ которыхъ зависить исторія, которые совершаютъ исторію,—суть герои. Поэтому—мысль художника остановилась на 1812 годѣ и войнахъ ему предшествовавшихъ, какъ на эпохѣ по преимуществу героической. Если Наполеонъ, Кутузовъ, Багратіонъ—не герои, то кто же послѣ того герой? Гр. Л. Н. Толстой взялъ громадные историческія событія, страшную борьбу и напряженіе народныхъ силъ, для того, чтобы уловить высшія проявленія того, что мы называемъ героизмомъ.

Но въ наше человѣческое время, какъ пишетъ гр. Л. Н. Толстой, одни герои не составляютъ всего интереса исторіи. Какъ бы мы ни понимали героическую жизнь, требуется опредѣлить отношеніе къ ней обыкновенной жизни, и въ этомъ заключается даже главное дѣло. Что такое обыкновенный человѣкъ—въ сравненіи съ героемъ? Что такое частный человѣкъ—въ отношеніи къ исторіи? Въ болѣе общей формѣ это будетъ тотъ же вопросъ, который давно разрабатывается нашимъ художественнымъ реализмомъ: что такое обыкновенная, будничная дѣйствительность—въ сравненіи съ идеаломъ, съ прекрасною жизнью?

Гр. Л. Н. Толстой старался разрѣшить вопросъ, какъ можно полнѣе. Онъ представилъ намъ, напримѣръ, Багратіона и Кутузова въ величіи несравненномъ, поразительномъ. Они какъ-будто обладаютъ способностію становиться выше всего человѣческаго. Въ особенности это ясно въ изображеніи Кутузова, слабого отъ старости, забывчиваго, лѣниваго,—человѣка дурныхъ нравовъ, сохранившаго, по выраженію автора, *всѣ привычки страстей, но самыя страсти уже вовсе неимѣющаго*. Для Багратіона и Кутузова, когда имъ приходится дѣйствовать, исчезаетъ все личное; къ нимъ даже вовсе не примѣнимы выраженія: храбрость, сдержанность,

спокойствіе, — такъ какъ они не храбрыя, не сдерживаются, не напрягаются и не погружаются въ покой. Естественно и просто они дѣлаютъ свое дѣло, какъ-будто они — духи, способные только созерцать и безошибочно руководиться чистѣйшими чувствами долга и чести. Они прямо глядятъ въ лицо судьбы, и для нихъ невозможна самая мысль о страхѣ, — невозможно никакое колебаніе въ дѣйствіяхъ, потому что они дѣлаютъ все, *что могутъ*, покоряясь теченію событій и своей собственной человѣческой слабости.

Но, сверхъ этихъ высокихъ сферъ доблести, достигающей своихъ высшихъ предѣловъ, художникъ представилъ намъ и весь тотъ міръ, гдѣ требованія долга борются со всѣми волненіями страстей человѣческихъ. Онъ изобразилъ намъ *всѣ виды храбрости и всѣ виды трусости*. Какое разстояніе отъ первоначальной трусости юнкера Ростова до блестящей храбрости Денисова, до твердаго мужества князя Андрея, до безсознательнаго героизма капитана Тушина! Всѣ ощущенія и формы битвы — отъ паническаго страха и бѣгства при Аустерлицѣ до непобѣдимой стойкости и яркаго горѣнія *скрытаго душевнаго огня* при Бородинѣ — описаны намъ художникомъ. Эти люди являются намъ — то *мерзавцами*, какъ называлъ Кутузовъ бѣгущихъ солдатъ, то безтрепетными, самоотверженными воинами. Въ сущности же, всѣ они — простые люди, и художникъ, съ изумительнымъ мастерствомъ, показываетъ, какъ, въ различной мѣрѣ и степени, въ душѣ каждаго изъ нихъ возникаетъ, потухаетъ или разгорается искра доблести, обыкновенно присущая человѣку.

И главное — показано, что значатъ всѣ эти души въ ходѣ исторіи, — что онѣ вносятъ въ великія событія, — какую долю участія имѣютъ въ героической жизни. Показано, что цари и полководцы тѣмъ и велики, что составляютъ какъ бы центры, въ которыхъ стремится сосредоточиться героизмъ, живущій въ душахъ простыхъ и темныхъ. Пониманіе этого героизма, сочувствіе ему и вѣра въ него составляютъ все величіе Багратионовъ и Кутузовыхъ. Непониманіе его, пренебреженіе имъ или даже презрѣніе къ нему составляютъ несчастіе и малость Барклая де-Толли и Сперанскихъ.

Война, государственныя дѣла и потрясенія — составляютъ

поприще исторіи, поприще героическое по преимуществу. Изобразивъ съ безупречною правдивостію, какъ люди ведутъ себя, что чувствуютъ и что дѣлаютъ на этомъ поприщѣ, художникъ, для полноты своей мысли, хотѣлъ показать намъ тѣхъ же людей въ частной ихъ сферѣ, гдѣ они являются, просто, какъ люди. «Жизнь, между тѣмъ», пишетъ онъ въ одномъ мѣстѣ, «настоящая жизнь людей съ своими существенными интересами здоровья, болѣзни, труда, отдыха, съ своими интересами мысли, науки, поэзіи, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, какъ и всегда, независимо и внѣ политической близости или вражды съ Наполеономъ Бонапарте, и внѣ всѣхъ возможныхъ преобразованій» (т. III, стр. 1 и 2).

За этими словами слѣдуетъ описаніе того, какъ князь Андрей ѣздилъ въ Отрадное и встрѣтился тамъ въ первый разъ съ Наташей.

Князь Андрей и его отецъ въ сферѣ общихъ интересовъ суть настоящіе герои. Когда князь Андрей уѣзжаетъ изъ Брюнна въ армію, находящуюся въ опасности, насмѣшливый Вилибинъ два раза, безъ всякой насмѣшки, даетъ ему титулъ героя (т. I, стр. 78 и 79). И Вилибинъ совершенно правъ. Переберите всѣ дѣйствія и мысли князя Андрея во время войны, и вы не найдете на немъ ни единой укоризны. Вспомните его поведеніе въ Шенграбенскомъ дѣлѣ; никто лучше его не понималъ Багратіона, и онъ одинъ и видѣлъ и оцѣнилъ подвигъ капитана Тушина. Но Багратіонъ мало зналъ князя Андрея; Кутузовъ знаетъ его лучше, и къ нему обращается во время Аустерлицкаго сраженія, когда нужно было остановить бѣгущихъ и повести ихъ впередъ. Вспомните, наконецъ, Бородино,—когда князь Андрей долгіе часы стоитъ со своимъ полкомъ подъ выстрѣлами (онъ не хотѣлъ остаться при штабѣ и не попалъ въ ряды сражающихся); всѣ человѣческія чувства говорятъ въ его душѣ, но онъ ни на мгновеніе не теряетъ полнаго самообладанія и кричитъ прилегшему на землѣ адъютанту: «стыдно, господинъ офицеръ!» въ тотъ самый мигъ, когда разрывается граната и наноситъ ему тяжкую рану. Дорога такихъ людей дѣйствительно—*дорога чести*, какъ выразился Кутузовъ, и они

могутъ, не колеблясь, сдѣлать все, что требуется самымъ строгимъ понятіемъ мужества и самоотверженія.

Старикъ Болконскій не уступаетъ своему сыну. Вспомните то спартанское напутствіе, которое онъ даетъ сыну, идущему на войну и любимому имъ съ кровною отеческою нѣжностью: «Помни одно, князь Андрей, воли тебя убьютъ, мнѣ старику больно будетъ... А коли узнаю, что ты повелъ себя «не какъ сынъ Николая Болконскаго, мнѣ будетъ... стыдно!»

И сынъ его таковъ, что имѣлъ полное право возразить своему отцу: «этого вы могли бы не говорить мнѣ, батюшка» (т. I, стр. 165).

Вспомните потомъ, что всѣ интересы Россіи становятся для этого старика какъ-будто его собственными, личными интересами,—составляютъ главную часть его жизни. Онъ жадно слѣдилъ за дѣлами изъ своихъ Лысыхъ Горъ. Его постоянныя насмѣшки надъ Наполеономъ и надъ всеми военными дѣйствіями, очевидно, внушены чувствомъ оскорбленной народной гордости; онъ не хочетъ вѣрить, чтобы могучая его родина вдругъ утратила свою силу; онъ желаетъ бы приписать это одной случайности, а не силѣ противника. Когда же началось нашествіе, и Наполеонъ подвинулся до Витебска, дряхлый старикъ совсѣмъ теряетъ: сперва онъ даже не понималъ того, что читаетъ въ письмѣ сына: онъ отталкиваетъ отъ себя мысль, которой ему перенести невозможно,—которая должна сокрушить его жазнь. Но пришлось убѣдиться,—пришлось, наконецъ, повѣрить: и тогда старикъ умираетъ. Вѣрнѣ пули, его сразила мысль объ общемъ бѣдствіи.

Да, эти люди—дѣйствительные герои; такими людьми бываютъ крѣпки народы и государства. Но отчего же, спросить, вѣроятно, читатель, героизмъ ихъ какъ-будто лишенъ всего поражающаго, и они скорѣе являются намъ обыкновенными людьми? Оттого, что художникъ изобразилъ ихъ намъ *только*,—показалъ намъ не только то, какъ они дѣйствуютъ по отношенію къ долгу, къ чести, къ народной гордости, но и ихъ частную, личную жизнь. Онъ показалъ намъ домашнюю жизнь старика Болконскаго съ его болѣзненными отношеніями къ дочери, со всѣми слабостями одряхлѣвшаго че-

ловѣна,—невольнаго мучителя своихъ ближнихъ. Въ князѣ Андрѣ гр. Л. Н. Толстой открылъ намъ порывы страшнаго самолюбія и честолюбія, холодныя и вмѣстѣ ревнивыя отношенія къ женѣ, вообще весь его тяжелый характеръ, своею тяжестью напоминающій характеръ его отца. «Я его боюсь», говоритъ наташа о князѣ Андрѣ, передъ самымъ его предложеніемъ.

Старикъ Болконскій поражалъ постороннихъ лицъ величіемъ; явившись въ Москву, онъ сталъ главою тамошней оппозиціи и возбуждалъ во всѣхъ чувство почтительнаго уваженія. «Для посѣтителей весь этотъ старинный домъ съ огромными трюмо, дореволюціонной мебелью, этими лакеями «въ пудрѣ, и самъ *прошлаго вѣка крутой и унылый старикъ съ его кроткою дочерью и хорошенькою французской, которая благодетели передъ нимъ,—представлялъ «величественно-пріятное зрѣлище»* (т. III, стр. 190). Точно также, князь Андрей внушаетъ всѣмъ невольное уваженіе, играетъ въ свѣтѣ какую-то царственную роль. Его ласкаютъ Кутузовъ и Сперанскій, его боготворятъ солдаты.

Но все это имѣетъ полную силу для постороннихъ, а не для насъ. Насъ художникъ ввелъ въ самую сокровенную жизнь этихъ людей; онъ посвятилъ насъ во всѣ ихъ думы, во всѣ волненія. Человѣческая слабость этихъ лицъ,—тѣ минуты, въ которыя они становятся наравнѣ съ обыкновеннѣйшими смертными,—тѣ положенія и душевныя движенія, въ которыхъ всѣ люди одинаково чувствуютъ, одинаково—люди,—все это открыто намъ ясно и полно; и вотъ отчего героическія черты лицъ какъ-будто тонуть въ массѣ чертъ, просто, челоуѣческихъ.

Это слѣдуетъ отнести ко всѣмъ лицамъ «Войны и Мира», безъ исключенія. Вездѣ та же исторія, что съ дворникомъ Отрапоновымъ, который безчеловѣчно бьетъ свою жену, просившуюся уѣхать,—скаредно торгуется съ извозчиками въ самую минуту опасности, а потомъ, когда увидѣлъ въ чемъ дѣло, кричитъ: «Рѣшилась! Россія!» и самъ зажигаетъ свой домъ. Такъ точно въ каждомъ лицѣ авторъ изображаетъ всѣ стороны душевной жизни—отъ животныхъ пополюно-

веній до той искры героизма, которая часто таится въ самыхъ малыхъ и извращенныхъ душахъ.

Но да неподумаетъ кто-нибудь, что художникъ, такимъ образомъ, хотѣлъ унижить героическія лица и дѣйствія,—разоблачивъ ихъ мнимое величіе; напротивъ, вся цѣль его заключалась въ томъ, чтобы только показать ихъ въ настоящемъ свѣтѣ и, слѣдовательно, скорѣе научить насъ видѣть ихъ тамъ, гдѣ мы ихъ прежде не умѣли видѣть. Человѣческія слабости не должны заслонять отъ насъ человѣческихъ достоинствъ. Другими словами—поэтъ учитъ своихъ читателей проникать въ ту поэзію, которая скрыта въ дѣйствительности. Она глубоко закрыта отъ насъ пошлостію, мелочностію, грязною и безтолковою суетою ежедневной жизни, она не проницаема и недоступна для нашего собственнаго равнодушія, сонливой лѣни и эгоистической хлопотливости; и вотъ поэтъ оваряетъ передъ нами *всю истину, опутывающую людскую жизнь*, для того, чтобы мы умѣли видѣть въ самыхъ темныхъ ея закоулкахъ искру божественнаго пламени,—умѣли понимать тѣхъ людей, въ которыхъ это пламя горитъ ярко, хотя его и не видятъ близорукіе глаза,—умѣли сочувствовать дѣламъ, которыя казались непонятными для нашего малодушія и себялюбія. Это не Гоголь, озаряющій яркимъ свѣтомъ идеала всю *пошлость пошлаю* человѣка; это художникъ, который, сквозь всю видимую міру пошлость, умѣетъ разглядѣть въ человѣкѣ его человѣческое достоинство. Съ неслыханною смѣлостію художникъ взялся изобразить намъ самое героическое время нашей исторіи,—то время, отъ котораго собственно начинается сознательная жизнь новой Россіи; и кто не скажетъ, что онъ вышелъ побѣдителемъ изъ состязанія со своимъ предметомъ?

Передъ нами картина той Россіи, которая выдержала нашествіе Наполеона и нанесла смертельный ударъ его могуществу. Картина нарисована не только безъ прикрасъ, но и съ рѣзкими тѣнями всѣхъ недостатковъ,—всѣхъ уродливыхъ и жалкихъ сторонъ, которыми страдало тогдашнее общество въ умственномъ, нравственномъ и правительственномъ отношеніи. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, во очію показана та сила, которая спасла Россію.

Мысль, которая составляет военную теорию гр. Л. Н. Толстого, надѣлавшую столько шуму, заключается въ томъ, что каждый солдатъ не есть простое матеріальное орудіе, а силенъ преимущественно своимъ духомъ — что въ концѣ концовъ, все дѣло зависитъ отъ этого духа солдатъ, могущаго или упасть до паническаго страха, или возвыситься до геройства. Полководцы бываютъ сильны тогда, когда они управляютъ не одними передвиженіями и дѣйствіями солдатъ, а умѣютъ управлять ихъ духомъ. Для этого полководцамъ самимъ необходимо стоять духомъ выше всего своего войска, выше всякихъ случайностей и несчастій, — словомъ, имѣть силу нести на себѣ всю судьбу арміи и, если нужно, всю судьбу государства. Таковъ, напримѣръ, дряхлый Кутузовъ во время Бородинскаго сраженія. Его вѣра въ силу русскаго войска и русскаго народа, очевидно, выше и тверже вѣры каждаго воина; Кутузовъ какъ бы сосредоточиваетъ въ одномъ себѣ все ихъ воодушевленіе. Судьба битвы рѣшается собственно его словами, сказанными Вольцогену: «вы ничего не знаете. Непріятель побѣжденъ, и завтра погонимъ его изъ священной земли русской». Въ эту минуту Кутузовъ, очевидно, стоитъ неизмѣримо выше всѣхъ Вольцогеновъ и Барклаевъ; онъ стоитъ наравнѣ съ Россіей.

Вообще, описаніе Бородинской битвы — вполне достойное своего предмета. Похвала не малая, которую гр. Л. Н. Толстой успѣлъ вырвать даже у такихъ пристрастныхъ цѣнителей, какъ А. С. Норовъ. «Графъ Толстой», пишетъ А. С. Норовъ, «въ главахъ 33—35 *прекрасно и вѣрно* изобразилъ общіе фазисы Бородинской битвы» *). Замѣтимъ въ скобкахъ, что если Бородинская битва изображена хорошо, то уже нельзя не повѣрить, что такой художникъ сумѣлъ хорошо изобразить и всякаго рода другія военныя событія.

Сила описанія этой битвы вытекаетъ изъ всего предыдущаго разсказа; это какъ бы высшая точка, пониманіе которой подготовлено всѣмъ предыдущимъ. Когда мы доходимъ до этой битвы, то мы уже знаемъ всѣ виды храбрости и всѣ виды трусости, — знаемъ, какъ ведутъ себя или могутъ себя

*) Тамъ же, стр. 36.

вести всѣ члены войска, отъ полководца до послѣдняго солдата. Поэтому въ разсказѣ о битвѣ авторъ такъ сжатъ и кратокъ; тутъ дѣйствуетъ не одинъ капитанъ Тушинъ, подробно описанный въ Шенграбенскомъ дѣлѣ; тутъ цѣлыя сотни такихъ Тушиныхъ. По немногимъ сценамъ,—на курганѣ, гдѣ былъ Безухій,—въ полку князя Андрея,—у перевязочнаго пункта,—мы чувствуемъ все напряженіе душевныхъ силъ каждаго солдата, понимаемъ тотъ единый и непоколебимый духъ, который оживлялъ собою всю эту странную массу людей. Кутузовъ же является намъ какъ-будто связаннымъ какими-то невидимыми нитями съ сердцемъ каждаго солдата. Едва-ли была когда-нибудь другая такая битва, и едва-ли что-нибудь подобное было разсказано на какомъ-нибудь другомъ языкѣ.

Итакъ, героическая жизнь изображена въ самыхъ возвышенныхъ проявленіяхъ и въ своемъ дѣйствительномъ видѣ. Какъ дѣлается война, какъ дѣлается исторія,—эти вопросы, глубоко занимавшіе художника, разрѣшены имъ съ мастерствомъ и проницательностію, которая выше всякихъ похвалъ. Нельзя не вспомнить при этомъ объясненій самого автора на счетъ его пониманія исторіи*). Съ наивностію, которую по всей справедливости можно назвать гениальной, онъ почти прямо утверждаетъ, что историки по самому свойству своихъ приемовъ и изслѣдованій, могутъ изображать событія только въ ложномъ и превратномъ видѣ,—что настоящій смыслъ, настоящая правда дѣла доступны только художнику. И что же? Какъ не сказать, что гр. Л. Н. Толстой имѣетъ немалыя права на подобную дерзость относительно исторіи? Всѣ историческія описанія двѣнадцатаго года, дѣйствительно, являются какою-то *ложью*, въ сравненіи съ живою картиною «Войны и Мира». Несомнѣнно, что наше художество въ этомъ произведеніи стоитъ безмѣрно выше нашей исторической науки, и потому имѣетъ право учить ее пониманію событий. Такъ нѣкогда Пушкинъ своею *Литписью села Горюхина* хотѣлъ выставить на видъ ложныя черты, ложный

*) См. *Русскій Архивъ*, 1868 г. № 3. Нѣсколько объяснительныхъ словъ, гр. Л. Н. Толстого.

тонъ и духъ первыхъ томовъ *Истории Государства Россійскаго* Карамзина.

Но героическая жизнь не исчерпываетъ собою задачи автора. Предметъ его, очевидно, гораздо шире. Главная мысль, которою онъ руководится при изображеніи героическихъ явленій, состоитъ въ томъ, чтобы открыть ихъ *человѣческую* основу,—показать въ герояхъ—*людей*. Когда князь Андрей знакомится со Сперанскимъ, авторъ замѣчаетъ: «если бы «Сперанскій былъ изъ того же общества, изъ котораго былъ «князь Андрей,—того же воспитанія и нравственныхъ привычекъ, то Болконскій *скоро бы нашелъ его слабыя, чело- «вѣческія, не героическія стороны*; но теперь этотъ стран- «ный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ «ему уваженія, что онъ не вполне понималъ его» (т. III, стр. 22). То, что не давалось въ этомъ случаѣ Болконскому, художникъ съ величайшимъ мастерствомъ умѣетъ дѣлать относительно всѣхъ своихъ лицъ: онъ открываетъ намъ ихъ чело- вѣческія стороны. Такимъ образомъ, весь его рассказъ получаетъ не героическій, а чело- вѣческій характеръ; это не исторія подвиговъ и великихъ событій, а исторія людей, ко- торые въ нихъ участвовали. Итакъ, болѣе обширный предметъ автора есть, просто, *человѣкъ*; люди, очевидно, интересуютъ автора совершенно независимо отъ ихъ положенія въ обще- ствѣ и тѣхъ великихъ или малыхъ событій, которыя съ ни- ми случаются.

Посмотримъ же, какъ гр. Л. Н. Толстой изображаетъ людей.

III.

Душа чело- вѣческая изображается въ «Войнѣ и Мирѣ» съ реальностію, еще небывалою въ нашей литературѣ. Мы видимъ передъ собою не отвлеченную жизнь, а существа вполне опредѣленныя со всѣми ограниченіями мѣста, време- ни, обстоятельствъ. Мы видимъ, напри- мѣръ, какъ *растутъ* лица гр. Л. Н. Толстого. Наташа, выбѣгающая съ куклой въ

гостинную въ первомъ томѣ, и Наташа, входящая въ церковь въ четвертомъ,—это, дѣйствительно, одно и то же лицо, въ двухъ различныхъ возрастахъ—дѣвочки и дѣвушки, а не два возраста, только приписанные одному лицу (какъ это часто бываетъ у другихъ писателей). Авторъ показалъ намъ при этомъ и всѣ промежуточные ступени этого развитія. Точно такъ—передъ нашими глазами растетъ Николай Ростовъ, Петръ Безухій изъ молодого человѣка превращается въ московскаго барина, дряхлѣетъ старикъ Болконскій и пр.

Душевные особенности лицъ гр. Л. Н. Толстого такъ ясны, такъ запечатлѣны индивидуальностію, что мы можемъ слѣдить за *родственнымъ сходствомъ* тѣхъ душъ, которыя связаны родствомъ по крови. Старикъ Болконскій и князь Андрей явно одинаковыя натуры; только одна—молодая, другая старая. Семейство Ростовыхъ, несмотря на все разнообразіе своихъ членовъ, представляетъ удивительно схваченныя общія черты,—доходящія до тѣхъ оттѣнковъ, которые можно чувствовать, но не выразить. Почему-то чувствуется, напри- мѣръ, что и Вѣра есть настоящая Ростова, тогда какъ Соня явно имѣетъ душу другого корня.

Объ иностранцахъ и говорить нечего. Вспомните нѣмцевъ: генерала Мака, Пфуля, Адольфа Берга, француженку М-ше Bourienne, самого Наполеона и пр. Психическое отличіе національностей схвачено и выдержано до тонкости. Относительно же русскихъ лицъ не только ясно, что каждое изъ нихъ—лицо вполне русское, но мы можемъ различать даже и классы и состоянія, къ которымъ они принадлежатъ. Сперанскій, являющійся въ двухъ небольшихъ сценахъ, оказывается семинаристомъ съ головы до ногъ, при чемъ особенности его душевнаго строя выражены съ величайшей яркостью и безъ малѣйшаго преувеличенія.

И все, что происходитъ въ этихъ душахъ, имѣющихъ столь опредѣленныя черты,—каждое чувство, страсть, волненіе,—имѣетъ точно такую же опредѣленность, изображено съ такою же точно реальностію. Нѣтъ ничего обыкновеннаго отвлеченнаго изображенія чувствъ и страстей. Герою обыкновенно приписывается какое-нибудь *одно* душевное настроеніе,—любовь, честолюбіе, жажда мщенія,—и дѣло разсказывается

такъ, какъ-будто это настроеніе постоянно существуетъ въ душѣ героя; такимъ образомъ, дѣлается описаніе явленій известной страсти, взятой отдѣльно, и приписывается выведенному на сцену лицу.

Не то у г-на Л. Н. Толстаго. У него каждое впечатлѣніе, каждое чувство усложняется всѣми тѣми отзвуками, которые оно находитъ въ различныхъ способностяхъ и стремленіяхъ души. Если представить себѣ душу въ видѣ музыкальнаго инструмента со множествомъ различныхъ струнъ, то можно будетъ сказать, что художникъ, изображая какое-нибудь потрясеніе души, никогда не останавливается на преобладающемъ звукѣ одной струны, а схватываетъ всѣ звуки, даже самые слабые и едва замѣтные. Припомните, напр., описаніе Наташи, существа, въ которомъ душевная жизнь имѣетъ такую напряженность и полноту; въ этой душѣ все говоритъ разомъ: самолюбіе, любовь къ жениху, веселость, жажда жизни, глубокая привязанность къ роднымъ и пр. Припомните князя Андрея, когда онъ стоитъ надъ дымящеюся гранатою.

«Неужели это смерть», думалъ князь Андрей, совершенно новымъ, завистливымъ взглядомъ глядя на траву, на песокъ и на струйку дыма, вьющуюся отъ вертящагося «чернаго мячика». «Я не могу, не хочу умереть; я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздухъ»... Онъ думалъ это «и вмѣстѣ съ тѣмъ помнилъ о томъ, что на него смотрятъ» (т. IV, стр. 323).

И далѣе—какое бы чувство ни владѣло человѣкомъ, оно изображается у г-на Л. Н. Толстаго со всѣми его измѣненіями и колебаніями,—не въ видѣ какой-то постоянной величины, а въ видѣ только способности къ известному чувству,—въ видѣ искры, постоянно тлѣющей, готовой вспыхнуть яркимъ пламенемъ, но часто заглушаемой другими чувствами. Вспомните, напримѣръ, чувство ялобы, которое князь Андрей питаетъ къ Курягину,—доходящія до странности противорѣчія и перемѣны въ чувствахъ княжны Марьи, религиозной, влюбчивой, безгранично любящей отца и т. п.

Какую же цѣль имѣлъ при этомъ авторъ? Какая мысль его руководить? Изображая душу человѣческую въ ея зависимости и измѣчивости,—въ ея подчиненіи собственнымъ

ея особенностямъ и временнымъ обстоятельствамъ, ее окружающимъ,—онъ какъ-будто умаляетъ душевную жизнь, какъ-будто лишаетъ ее единства,—постояннаго, существеннаго смысла. Несостоятельность, ничтожество, суетность человѣческихъ чувствъ и желаній,—вотъ, повидимому, главная тема художника.

Но мы и здѣсь ошибаемся, если остановимся на реалистическихъ стремленіяхъ художника, выступающаго съ такою необыкновенною силою, и забудемъ объ источникѣ, которымъ внушены эти стремленія. Реальность въ изображеніи души человѣческой необходима была для того, чтобы тѣмъ ярче, тѣмъ правдивѣе и несомнѣннѣе являлось передъ нами хотя бы слабое, но дѣйствительное осуществленіе идеала. Въ этихъ душахъ, волнующихъ и подавляемыхъ своими желаніями и внѣшними событіями, рѣзко запечатлѣнныхъ своими неизгладимыми особенностями, художникъ умѣетъ уловить каждую черту, каждый слѣдъ истинной душевной красоты,—истиннаго человѣческаго достоинства. Такъ что, если мы попробуемъ дать новую, болѣе широкую формулу для задачи произведенія гр. Л. Н. Толстаго, мы должны будемъ, кажется, выразить ее такъ:

Въ чемъ заключается человѣческое достоинство? Какъ слѣдуетъ понимать жизнь людей, отъ самыхъ сильныхъ и блестящихъ до самыхъ слабыхъ и ничтожныхъ, чтобы не упускать изъ виду ея существенной черты—человѣческой души въ каждомъ изъ нихъ?

На эту формулу мы нашли намекъ у самого автора. Разсуждая о томъ, насколько мало было участіе Наполеона въ Бородинскомъ сраженіи, насколько несомнѣнно въ немъ участвовалъ своею душою каждый солдатъ,—авторъ замѣчаетъ: *«человѣческое достоинство говоритъ мнѣ, что всякій изъ насъ, ежели не больше, то никакъ не меньше человекъ, чѣмъ великій Наполеонъ»*. (Т. IV стр. 282).

Итакъ, изобразить то, чѣмъ каждый человекъ бываетъ не меньше всякаго другого,—то, въ чѣмъ простой солдатъ можетъ равняться Наполеону, человекъ ограниченный и тупой—величайшему умнику,—словомъ, то, что мы должны уважать въ человекѣ. въ чемъ должны поставлять его цѣну—вотъ широкая цѣль художника. Для этой цѣли онъ

Человѣческое достоинство людей закрывается отъ насъ или ихъ недостатками всякаго рода, или же тѣмъ, что мы слишкомъ высоко цѣнимъ другія качества и потому измѣряемъ людей ихъ умомъ, силою, красотою и пр. Поэтъ научаетъ насъ проникать сквозь эту внѣшность. Что можетъ быть проще, дюжиннѣе, такъ сказать, смиреннѣе фигуръ Николая Ростова и княжны Марьи? Ничѣмъ они не блестятъ, ничего не умѣютъ сдѣлать, ни въ чемъ не выдаются изъ самаго низкаго уровня обыкновеннѣйшихъ людей; а между тѣмъ, эти простые существа, безъ борьбы идущія по самымъ простымъ жизненнымъ путямъ, суть, очевидно, существа прекрасныя. Неотразимая симпатія, которую художникъ успѣлъ окружить эти два лица, повидимому, столь малыя, а въ сущности никому не уступающія душевною красотою,—составляетъ одну изъ самыхъ мастерскихъ сторонъ «Войны и Мира». Николай Ростовъ—очевидно, человѣкъ по уму весьма ограниченный; но, какъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ авторъ, «у него былъ здравый смыслъ посредственности, который показывалъ ему, что было должно» (т. III, стр. 113).

Говорить ли о княжѣ Марѣ? Несмотря на всѣ ея слабости, этотъ образъ достигаетъ почти ангельской чистоты и кротости; и по временамъ кажется, что его окружаетъ святое сіяніе.

Тутъ насъ невольно останавливаетъ страшная картина, — отношенія между старикомъ Болконскимъ и его дочерью. Если Николай Ростовъ и княжна Марья представляютъ лица явно симпатическія, то, повидимому, нѣтъ возможности простить

тому старику всѣхъ мученій, которыя переносить отъ него дочь. Изъ всѣхъ лицъ, выведенныхъ художникомъ, ни одно, повидимому, не заслуживаетъ большаго негодованія. А между тѣмъ, что же оказывается? Съ изумительнымъ мастерствомъ авторъ изобразилъ намъ одну изъ самыхъ страшныхъ человѣческихъ слабостей, —неодолимыхъ ни умомъ, ни волей,— и болѣе всего способныхъ возбудить искреннее сожалѣніе. Въ сущности, старикъ безпредѣльно любитъ свою дочь, —въ буквальномъ смыслѣ *не могъ бы безъ нея жить*; но эта любовь у него извратилась въ желаніе наносить боль себѣ и любимому существу. Онъ какъ-будто безпрестанно дергаетъ ту неразрывную связь, которая соединяетъ его съ дочерью, и находитъ болѣзненное наслажденіе въ *такомъ* ощущеніи этой связи. Всѣ отгѣнки этихъ странныхъ отношеній схвачены у гр. Л. Н. Толстаго съ неподражаемою вѣрностію, и развязка, —когда старикъ, сломленный болѣзнію и близкій къ смерти, выражаетъ, наконецъ, всю нѣжность къ дочери, —производитъ потрясающее впечатлѣніе.

И до такой степени могутъ извратиться самыя сильныя, самыя чистыя чувства! Столько мученій могутъ наносить себѣ люди по собственной винѣ! Нельзя представить картины, болѣе ясно доказывающей, какъ мало иногда человѣкъ можетъ владѣть самъ собою. Отношенія величаваго старика Болконскаго къ дочери и сыну, основанныя на ревнивомъ и извращенномъ чувствѣ любви, составляютъ образецъ того зла, которое часто гнѣздится въ семействахъ, и доказываютъ намъ, что самыя святыя и естественныя чувства могутъ получить безумный и дикій характеръ.

Эти чувства составляютъ, однакоже, корень дѣла, и ихъ извращеніе не должно закрывать отъ насъ ихъ чистаго источника. Въ минуты сильныхъ потрясеній, ихъ, истинная, глубокая натура часто вполне выступаетъ наружу; такъ, любовь къ дочери овладѣваетъ всѣмъ существомъ умирающаго Болконскаго.

Видѣть то, что таится въ душѣ человѣка подъ игрою страстей, подъ всѣми формами себялюбія, своекорыстія, животныхъ влеченій, —вотъ на что великій мастеръ графъ Л. Н. Толстой. Очень жалки, очень неразумны и безобразны увле-

ченія и похождения такихъ людей, какъ Пьеръ Безухій и Наташа Ростова; но читатель видитъ, что, за всѣмъ тѣмъ, у этихъ людей *золотыя сердца*, и ни на минуту не усумнится, что тамъ, гдѣ бы дѣло шло о самопожертвованіи,—гдѣ нужно было бы беззаветное сочувствіе доброму и прекрасному,—изъ этихъ сердецъ нашелся бы полный отзывъ, полная готовность. Душевная красота этихъ двухъ лицъ поразительна. Пьеръ—взрослый ребенокъ, съ огромнымъ тѣломъ и страшною чувственностію, какъ дитя непрактичный и неразумный, соединяетъ въ себѣ дѣтскую чистоту и нѣжность души съ умомъ наивнымъ, но по тому самому высокимъ,—съ характеромъ, которому все неблагородное не только чуждо, но даже и непонятно. Этотъ человекъ, какъ дѣти, ничего не боится и не знаетъ за собою зла. Наташа—дѣвушка, одаренная такой полнотою душевной жизни, что (по выраженію Безухова) *она не удостоивается быть умною*, т. е. не имѣетъ ни времени, ни расположенія переводить эту жизнь въ отвлеченныя формы мысли. Безмѣрная полнота жизни (приводящая ее иногда въ *состояніе ослѣпленія*, какъ выражается авторъ) вовлекаетъ ее въ страшную ошибку, въ безумную страсть къ Курагину,—ошибку, искушаемую потомъ тяжкими страданіями. Пьеръ и Наташа—люди, которыхъ, по самой ихъ натурѣ, должны постигать въ жизни ошибки и разочарованія. Какъ бы въ противоположность имъ, авторъ вывелъ и счастливую чету, Вѣру Ростову и Адольфа Берга,—людей, чуждыхъ всякихъ ошибокъ, разочарованій, и вполне удобно устранившихся въ жизни. Нельзя не подивиться той мѣрѣ, съ которою авторъ, выставляя всю низменность и малость этихъ душъ, ни разу не поддался искушенію смѣха или гнѣва. Вотъ настоящій реализмъ, настоящая правдивость. Такова же правдивость и въ изображеніи Курагиныхъ, Эленъ и Анатоля; эти безсердечныя существа выставлены безащадно, но безъ малѣйшаго желанія бичевать ихъ.

Что же выходитъ изъ этого равнаго, яснаго, дневнаго свѣта, которымъ авторъ озарилъ свою картину? Передъ нами нѣтъ ни классическихъ злодѣевъ, ни классическихъ героев; душа человѣческая является въ чрезвычайномъ разнообразіи типовъ, является—слабая, подчиненная страстямъ и обсто-

ятельствамъ, но, въ сущности, въ массѣ руководимая чистыми и добрыми стремленіями. Среди всего разнообразія лицъ и событій, мы чувствуемъ присутствіе какихъ-то твердыхъ и везыблемыхъ началъ, на которыхъ держится эта жизнь. Обязанности семейныя—ясны для всѣхъ. Понятія о добрѣ и злѣ отчетливы и прочны. Изобразивъ съ величайшею правдивостію фальшивую жизнь высшихъ слоевъ общества и разныхъ штабовъ, окружающихъ высокія лица, авторъ противопоставилъ имъ двѣ крѣпкія и истинно живыя сферы—семейную жизнь и настоящую военную, то есть армейскую жизнь. Два семейства, Болконскихъ и Ростовыхъ, представляютъ намъ жизнь, руководимую ясными, несомнѣнными началами, въ соблюденіи которыхъ члены этихъ семействъ поставляютъ свой долгъ и честь, достоинство и утѣшеніе. Точно также, армейская жизнь (которую гр. Л. Н. Толстой въ одномъ мѣстѣ сравниваетъ съ раемъ) представляетъ намъ полную определенность понятій о долгѣ, о достоинствѣ человека; такъ что простодушный Николай Ростовъ даже предпочелъ однажды остаться въ полку, а не ѣхать въ семью, гдѣ онъ не совсѣмъ ясно видитъ, какъ ему слѣдуетъ вести себя.

Такимъ образомъ, въ крупныхъ и ясныхъ чертахъ изображена намъ Россія 1812 года, какъ масса людей, которые знаютъ, чего отъ нихъ требуетъ ихъ человѣческое достоинство,—что имъ слѣдуетъ дѣлать по отношенію къ себѣ, къ другимъ людямъ и къ родинѣ. Весь рассказъ гр. Л. Н. Толстаго изображаетъ только всякаго рода борьбу, которую это чувство долга выдерживаетъ со страстями и случайностями жизни, а также—борьбу, которую этотъ крѣпкій, наиболѣе многолюдный слой Россіи выдерживаетъ съ верхнимъ, фальшивымъ и несостоятельнымъ слоемъ. Двѣнадцатый годъ былъ минутой, когда нижній слой взялъ верхъ и, въ силу своей твердости, выдержалъ напоръ Наполеона. Все это прекрасно видно, напримѣръ, на дѣйствіяхъ и мысляхъ князя Андрея, который ушелъ изъ штаба въ поле и, разговаривая съ Пьеромъ наканунѣ Бородинской битвы, безпрестанно вспоминаетъ объ отцѣ, убитомъ вѣстью о нашествіи. Чувства, подобныя чувствамъ князя Андрея, спасли тогда Россію. «Французы разорили мой домъ», говорить онъ, «и идутъ разо-

рить Москву, оскорбили и оскорбляютъ меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники всё по моимъ понятіямъ» (т. IV, стр. 267).

Послѣ этихъ и подобныхъ рѣчей, Пьеръ, какъ сказано у автора, «понялъ весь смыслъ и все значеніе этой войны и предстоящаго сраженія».

Война была со стороны русскихъ оборонительная и, слѣдовательно, имѣла святой и народный характеръ; тогда какъ со стороны французовъ она была наступательная, то-есть насильственная и несправедливая. При Бородинѣ всё другія отношенія и соображенія сгладились и исчезли; другъ противъ друга стояли два народа—одинъ нападающій, другой защищающійся. Поэтому, тутъ съ величайшей ясностію обнаружилась сила тѣхъ двухъ идей, которыя на этотъ разъ дѣйствовали этими народами и поставили ихъ въ такое взаимное положеніе. Французы явились, какъ представители космополитической идеи,—способной, во имя общихъ началъ, прибѣгать къ насилію, къ убійству народовъ; Русскіе явились представителями идеи народной,—съ любовью, охраняющей духъ и строй самобытной, органически-сложившейся жизни. Вопросъ о національностяхъ былъ поставленъ на Бородинскомъ полѣ, и Русскіе рѣшили его здѣсь въ первый разъ въ пользу національностей.

Понятно поэтому, что Наполеонъ не понялъ и никогда не могъ понять того, что совершилось на Бородинскомъ полѣ; понятно, что онъ долженъ былъ быть объятъ недоумѣніемъ и страхомъ при зрѣлищѣ неожиданной и невѣдомой силы, которая возстала противъ него. Такъ какъ дѣло, однакоже, было, повидимому, очень простое и ясное, то понятно, наконецъ, что авторъ считъ себя въ правѣ сказать о Наполеонѣ слѣдующее:

«И не на одинъ только этотъ часъ и день были *«помрачены умъ и совесть* этого человѣка, тяжеле всѣхъ *«другихъ участниковъ* этого дѣла носившаго на себѣ всю тяжесть совершающагося, но и никогда, до конца жизни своей, *«не могъ понимать онъ ни добра, ни красоты, ни истины, ни значенія своихъ поступковъ,* которые были *«ешкомъ* противоположны добру и правдѣ, слишкомъ далеки

«отъ всего человѣческаго, для того, чтобы онъ могъ понимать ихъ значеніе. Онъ не могъ отречься отъ своихъ поступковъ, восхваляемыхъ половиною свѣта, и потому долженъ былъ отречься отъ *правды и добра и всего чело-вѣчества*» (т. IV, стр. 330, 331).

Итакъ, вотъ одинъ изъ окончательныхъ выводовъ: въ Наполеонѣ, въ этомъ героѣ изъ героевъ, авторъ видитъ чело-вѣка, дошедшаго до совершенной утраты истиннаго чело-вѣческаго достоинства,—человѣка, постигнутаго помраченіемъ ума и совѣсти. Доказательство на лицо. Какъ Барилла де Толли навсегда уроненъ тѣмъ, что не понялъ положенія Бородинской битвы,—какъ Кутузовъ превознесенъ выше всякихъ похвалъ тѣмъ, что совершенно ясно понимаетъ, что дѣлается во время этой битвы,—такъ Наполеонъ на вѣки осужденъ тѣмъ, что не понялъ того святаго, простого дѣла, которое мы дѣлали при Бородинѣ и которое понималъ каждый нашъ солдатъ. Въ дѣлѣ, такъ громко вопіявшемъ о своемъ смыслѣ, Наполеонъ не понялъ, что правда была на нашей сторонѣ. Европа хотѣла задушить Россію и въ своей гордости мечтала, что дѣйствуетъ прекрасно и справедливо.

Итакъ, въ лицѣ Наполеона художникъ какъ-будто хотѣлъ представить намъ душу чело-вѣческую въ ея слѣпотѣ, хотѣлъ показать, что героическая жизнь можетъ противорѣчить истинному чело-вѣческому достоинству,—что добро, правда и красота могутъ быть гораздо доступнѣе людямъ простымъ и малымъ, чѣмъ инымъ великимъ героямъ. Простой чело-вѣкъ, простая жизнь, поставлены поэтому выше героизма—и по достоинству и по силѣ; ибо простые русскіе люди съ такими сѣрдцами, какъ у Николая Ростова, у Тимохина и Тушина, побѣдили Наполеона и его великую армию.

IV.

До сихъ поръ мы говорили такъ, какъ-будто авторъ имѣлъ совершенно опредѣленные цѣли и задачи,—какъ-будто онъ хотѣлъ доказывать или разъяснять извѣстныя мысли

и отвлеченныя положенія. Но это только приблизительный способъ выраженія. Мы говорили такъ только для ясности, для выпуклости рѣчи; мы умышленно придавали дѣлу грубыя и рѣзкія формы, чтобы онѣ живѣе бросились въ глаза. Въ дѣйствительности же художникъ не руководится такими голыми соображеніями, какія мы ему приписали; творческая сила дѣйствовала шире и глубже, проникла въ самый сокровенный и высокій смыслъ явленій.

Такимъ образомъ, мы могли бы дать еще нѣсколько формулъ цѣли и смысла «Войны и Мира». *Истина* есть сущность каждаго дѣйствительно-художественнаго произведенія, и потому, на какую бы философскую высоту созерцанія жизни мы ни поднялись, мы найдемъ въ «Войнѣ и Мирѣ» точки опоры для своего созерцанія. Много было говорено объ *исторической теоріи* графа Л. Н. Толстаго. Несмотря на чрезмерность нѣкоторыхъ его выраженій, люди самыхъ различныхъ мнѣній согласились, что онѣ, если не вполне правы, то на одинъ шагъ отъ правды.

Эту теорію можно бы обобщить и сказать, напримѣръ, что не только историческая, но и всякая человѣческая жизнь управляется не умомъ и волею, т. е. не мыслями и желаніями, достигшими ясной сознательной формы, а чѣмъ-то болѣе темнымъ и сильнымъ, такъ называемою *натурою* людей. Источники жизни (какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ народовъ) гораздо глубже и могущественнѣе, чѣмъ тотъ сознательный произволъ и сознательное соображеніе, которыми, повидимому, руководятся люди. Подобная *вѣра въ жизнь*,—признаніе за жизнью большаго смысла, чѣмъ тотъ, какой способенъ уловить нашъ разумъ,—разлита по всему произведенію графа Л. Н. Толстаго; и можно бы сказать, что на эту мысль написано все это произведеніе.

Приведемъ небольшой примѣръ. Послѣ своей побѣдки въ Отрадное, князь Андрей рѣшается ѣхать изъ деревни въ Петербургъ. «Цѣлый рядъ», говоритъ авторъ, «разумныхъ логическихъ доводовъ, почему ему необходимо ѣхать въ Петербургъ и даже служить, ежеминутно былъ готовъ къ его услугамъ. Онъ даже теперь не понималъ, какъ могъ онъ когда-нибудь сомнѣваться въ необходимости принять дѣятель-

«ное участіе въ жизни, точно такъ же, какъ мѣсяцъ тому назадъ онъ не понималъ, какъ могла бы ему прійти мысль «ѣхать изъ деревни. Ему казалось ясно, что всё его опыты жизни должны были пропасть даромъ и быть безсмыслицей, «ежели бы онъ не приложилъ ихъ къ дѣлу и не принялъ «опять дѣятельнаго участія въ жизни. Онъ даже не помнилъ «того, какъ прежде, на основаніи *такихъ же бѣдныхъ «разумныхъ доводовъ, очевидно было, что онъ бы унижалъ «ся, ежели бы теперь, послѣ своихъ уроковъ жизни, опять «бы повѣрилъ въ возможность приносить пользу и въ воз- «можность счастья и любви» (т. III, стр. 10).*

Такую же подчиненную роль играетъ разумъ и у всѣхъ другихъ лицъ гр. Л. Н. Толстаго. Вездѣ жизнь оказывается шире бѣдныхъ логическихъ соображеній, и поэтъ превосходно показываетъ, какъ она обнаруживаетъ свою силу помимо воли людей. Наполеонъ стремится къ тому, что должно погубить его; безпорядокъ, въ которомъ онъ засталъ наше войско и правительство, спасаетъ Россію; потому что привлекаетъ Наполеона къ Москвѣ,—даетъ созрѣть нашему патриотизму,—вызываетъ необходимость назначить Кутузова и вообще измѣнить весь ходъ дѣлъ. Истинныя, глубокія силы, управляющія событіями, берутъ верхъ надъ всѣми расчетами.

Итакъ, таинственная глубина жизни—вотъ мысль «Войны и Мира».

Но съ такимъ же правомъ мы могли бы взять и какое-нибудь другое высокое созерцаніе явленій и приписать его этому произведенію. Можно, напримѣръ, сказать, что высшая точка зрѣнія, на которую подымается авторъ, есть религиозный взглядъ на міръ. Когда князь Андрей,—невѣрующій, какъ и его отецъ,—тяжело и больно испыталъ всё превратности жизни и, смертельно раненый, увидѣлъ своего врага Анатоля Курагина, онъ вдругъ почувствовалъ, что ему открывается новый взглядъ на жизнь.

«Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ, да, та «любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой «меня учила княжна Марья и которой я не понималъ,—

«вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ» (т. IV, стр. 329).

И не одному князю Андрею, но и многимъ лицамъ «Войны и Мира» открывается, въ различной степени это высокое пониманіе жизни, напимѣрь, многострадальной и многолюбящей княжнѣ Марьѣ, Пьеру послѣ измѣны жены, Наташѣ послѣ ея измѣны жениху и пр. Съ удивительною ясностію и силою поэтъ показываетъ, какъ религіозный взглядъ составляетъ всегдашнее прибѣжище души, измученной жизнью, —единственную точку опоры для мысли, пораженной измѣнчивостію всѣхъ человѣческихъ благъ. Душа, отрекающаяся отъ міра, становится выше міра и обнаруживаетъ новую красоту—всепрощеніе и любовь.

Въ одномъ мѣстѣ авторъ замѣчаетъ въ скобкахъ, что люди ограниченные любятъ говорить «*вз наше время, вз наше время*, такъ какъ воображаютъ, что они нашли и «*отънили особенности нашего времени, и думаютъ, что свойства людей измѣняются со временемъ*» (т. III, стр. 85). Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, отвергаетъ это грубое заблужденіе, и, на основаніи всего предыдущаго, мы, кажется, имѣемъ полное право сказать, что въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ повсюду вѣренъ неизмѣннымъ, *вѣчнымъ свойствамъ души человѣческой*. Какъ въ героѣ онъ видитъ человѣческую сторону, такъ въ человѣкѣ извѣстнаго времени, извѣстнаго круга и воспитанія, онъ прежде всего видитъ человѣка,—такъ въ его дѣйствіяхъ, определенныхъ вѣкомъ и обстоятельствами, видитъ неизмѣнные законы человѣческой природы. Отсюда происходитъ, такъ сказать, *общечеловѣческая* занимательность этого удивительнаго произведенія, соединяющаго въ себѣ художественный реализмъ съ художественнымъ идеализмомъ, историческую вѣрность съ общепсихическою правдою,—яркую народную своеобразность съ общечеловѣческою шириною.

Таковы нѣкоторыя общія точки зрѣнія, подъ которыя подходитъ «Война и Миръ». Но всѣ эти опредѣленія еще не указываютъ *частнаго* характера произведенія гр. Л. Н. Толстаго,—его особенностей, дающихъ ему, сверхъ общаго смысла, еще опредѣленный смыслъ для нашей литературы. Эту част-

ную характеристику возможно сдѣлать не иначе, какъ показавъ мѣсто «Войны и Мира» въ нашей литературѣ, объяснить связь этого произведенія съ общимъ ходомъ нашей словесности и съ исторіей развитія самаго таланта автора. Мы попытаемся сдѣлать это въ слѣдующей статьѣ.

1868 г. 13 дек.

✍

(Заря 1869, ян.).

III.

Война и Миръ. Сочиненіе Графа Л. Н. Толстаго. Томы I, II, III и IV. Изданіе второе. Москва, 1868.

Статья вторая и послѣдняя.

Окончательное сужденіе о «Войнѣ и Мирѣ» составить теперь едва-ли возможно. Пройдутъ многіе годы, прежде чѣмъ вполне уяснится значеніе этого произведенія. И это мы говоримъ не въ особенную ему похвалу, не ради его превознесенія; нѣтъ, такъ вообще судьба фактовъ слишкомъ къ намъ близкихъ, что мы слабо и дурно понимаемъ ихъ смыслъ. Но, разумѣется, всего плачевнѣе такое непониманіе и всего яснѣе открывается его источникъ, когда дѣло идетъ о важныхъ явленіяхъ. Часто великое и прекрасное проходитъ передъ нашими глазами, но мы, въ силу нашей собственной малости, не вѣримъ и не замѣчаемъ, что намъ дано быть свидѣтелями и очевидцами великаго и прекраснаго. Мы обо всемъ судимъ по себѣ. Поспѣшно, небрежно, невнимательно мы судимъ о всемъ современномъ, какъ-будто все оно намъ по плечу, какъ-будто имѣемъ полное право обращаться съ нимъ за панибрата; больше всего мы любимъ даже не просто судить, а именно осуждать; такъ такъ этимъ думаемъ несомнѣнно доказать наше умственное превосходство. Такимъ образомъ, о самомъ глубокомъ и свѣтломъ явленіи являются равнодушные или высокомерные отзывы, которыхъ изумительной дерзости и не подозреваютъ тѣ, кто ихъ произносятъ. И хорошо еще, если мы опомнимся и уразумѣемъ, наконецъ,

о чемъ мы смѣли судить, съ какими великанами равняли себя въ своей наивности. Большою частію и этого не бываетъ, и люди держатся своихъ мнѣній съ упорствомъ того столоначальника, у котораго нѣсколько мѣсяцевъ служилъ Гоголь, и который потомъ уже до конца жизни не могъ повѣрить, что его подчиненный сталъ великимъ русскимъ писателемъ.

Мы слѣпы и близоруки для современнаго. И хотя художественныя произведенія, какъ назначенныя прямо для созерцанія и употребляющія всѣ средства, какими можно достигнуть ясности впечатлѣнія, повидимому, должны бы болѣе другихъ явленій бросаться намъ въ глаза, но и они не избѣгаютъ общей участи. Безпрестанно обывается замѣчаніе Гоголя: «поди ты, сладъ съ человѣкомъ! не вѣрить въ Бога, а вѣрить, что если почешется переносье, то непременно умреть; пропустить мимо созданіе поэта, ясное какъ день, все проникнутое согласіемъ и высокою мудростію простоты, а бросится именно на то, гдѣ какой-нибудь удалецъ напутаетъ, наплететъ, изломаетъ, выворотитъ природу, и ему оно понравится, и онъ станетъ кричать: вотъ оно, вотъ настоящее знаніе тайнъ сердца!»

Есть, впрочемъ, въ этомъ неумѣнии цѣнить настоящее и близкое къ намъ другая, болѣе глубокая сторона. Пока человѣкъ развивается, стремится впередъ, онъ не можетъ правильно цѣнить то, чѣмъ онъ обладаетъ. Такъ дитя не знаетъ прелести своего дѣтства, и юноша не подозрѣваетъ красоты и свѣжести своихъ душевныхъ явленій. Только потомъ, когда все это сдѣлается прошлымъ, мы начинаемъ понимать, какими великими благами мы обладали; тогда мы находимъ, что этимъ благамъ и цѣны нѣтъ, такъ какъ возвратитъ ихъ, вновь приобрѣсти невозможно. Минувшее, неповторимое становится единственнымъ и незамѣнимымъ, и потому всѣ его достоинства выступаютъ передъ нами ясно, ничѣмъ не заслоняемая, не помрачаемая ни заботами о настоящемъ, ни мечтами о будущемъ.


Поятно поэтому, отчего, переходя въ область исторіи, все получаетъ болѣе ясный и опредѣленный смыслъ. Со временемъ, значеніе «Войны и Мира» перестанетъ быть вопросомъ, и это произведеніе займетъ въ нашей литературѣ то

незамѣнимое и единственное мѣсто, которое современникамъ трудно разглядѣть. Если же мы хотимъ теперь же имѣть нѣкоторыя указанія на это мѣсто, то мы можемъ добыть ихъ не иначе, какъ разсмотрѣвъ историческую связь «Войны и Мира» съ русскою литературою вообще. Если мы найдемъ живыя нити, связывающія это современное явленіе съ явленіями, смыслъ которыхъ для насъ уже сталъ яснѣе и опредѣленнѣе, то и его смыслъ, его важность и особенности станутъ для насъ понятнѣе. Точкой опоры для нашихъ сужденій будутъ въ этомъ случаѣ уже не отвлеченныя понятія, а твердые историческіе факты, имѣющіе вполне опредѣленную фізіономію.

Итакъ, переходя къ историческому взгляду на произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, мы вступаемъ въ область болѣе ясную и отчетливую. Говоря такъ, мы однакоже должны прибавить, что это справедливо лишь вообще и сравнительно. Ибо исторія нашей литературы, въ сущности, есть одна изъ исторій наиболѣе покрытыхъ мракомъ, наименѣе общензвѣстныхъ, и пониманіе этой исторіи,—какъ этого и слѣдовало ожидать отъ общаго состоянія нашего просвѣщенія,—въ высшей степени искажено и запутано предразсудками и ложными взглядами. Но, по мѣрѣ движенія нашей литературы, смыслъ этого движенія долженъ, однакоже, уясняться, и такое важное произведеніе, какъ «Война и Миръ», конечно, должно открывать намъ многое относительно того, чѣмъ внутренне живетъ и питается наша литература, куда стремится ея главное теченіе.

I.

Есть въ русской литературѣ классическое произведеніе, съ которымъ «Война и Миръ» имѣетъ больше сходства, чѣмъ съ какимъ бы то ни было другимъ произведеніемъ. Это—«Капитанская дочка» Пушкина. Сходство есть и во вѣшной манерѣ, въ самомъ тонѣ и предметѣ разсказа; но главное сходство—во внутреннемъ духѣ обоихъ произведеній. «Капитанская дочка» тоже не историческій романъ, то есть вовсе



не имѣеть въ виду въ формѣ романа рисовать жизнь и нравы, уже ставшіе для насъ чуждыми, и лица, игравшія важную роль въ исторіи того времени. Историческія лица, Пугачевъ, Екатерина, являются у Пушкина медкомъ въ немногихъ сценахъ, совершенно такъ, такъ въ «Войнѣ и Мирѣ» являются Кутузовъ, Наполеонъ и пр. Главное же вниманіе сосредоточено на событіяхъ частной жизни Гриневыхъ и Мирновыхъ, историческія событія описаны лишь въ той мѣрѣ, въ какой они прикасались къ жизни этихъ простыхъ людей. «Капитанская дочка», собственно говоря, есть *хроника семейства Гриневыхъ*; это—тотъ рассказъ, о которомъ Пушкинъ мечталъ еще въ третьей главѣ Онегина,—рассказъ, изображающій

Преданья русскаго семейства.

Впослѣдствіи у насъ явилось не мало подобныхъ рассказовъ, между которыми высшее мѣсто занимаетъ *Семейная хроника* С. Т. Аксакова. Критики замѣтили сходство этой хроники съ произведеніемъ Пушкина. Хомяковъ говоритъ: «простота формъ Пушкина въ повѣстяхъ и особенно Голая, съ которыми С. Т. былъ такъ друженъ, подѣйствовали на него» *).

Стоитъ немножко взглянуть въ «Войну и Миръ», чтобы убѣдиться, что это—тоже нѣкоторая *семейная хроника*. Именно—это хроника двухъ семействъ: семейства Ростовыхъ и семейства Болконскихъ. Это—воспоминанія и рассказы о всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ въ жизни этихъ двухъ семействъ и о томъ, какъ дѣйствовали на ихъ жизнь современныя имъ историческія событія. Разница отъ простой хроники заключается только въ томъ, что рассказу дана болѣе яркая, болѣе живописная форма, въ которой всего лучше художникъ могъ воплотить свои идеи. Голаго рассказа нѣтъ; все—въ сценахъ, въ ясныхъ и отчетливыхъ краскахъ. Отсюда—видимая отрывочность рассказа, въ сущности чрезвычайно связнаго; отсюда же то, что художникъ по необходи-

*) Сочин. Хомякова. Т. I, стр. 685.

мости ограничился немногими годами описываемой имъ жизни, а не сталъ рассказывать ее постепенно отъ самаго рожденія того или другого героя. Но и въ этомъ—сосредоточенномъ для большей художественной ясности—рассказѣ, не выступаютъ ли чередъ глазами читателей всѣ «семейныя праданія» Болконскихъ и Ростовыхъ?

Итакъ, руководясь сравненіемъ, мы нашли, наконецъ, тотъ родъ словесныхъ произведеній, къ которому слѣдуетъ отнести «Войну и Миръ». Это не романъ вообще, не историческій романъ, даже не историческая хроника; это—*хроника семейная*. Если прибавимъ, что мы непрямѣнно разумѣемъ при этомъ художественное произведеніе, то наше опредѣленіе будетъ готово. Этотъ своеобразный родъ, котораго нѣтъ въ другихъ словесностяхъ, и идея котораго долго тревожила Пушкина и, наконецъ, была осуществлена имъ, можетъ быть характеризованъ двумя особенностями, на которыя указываетъ его названіе. Во первыхъ, это—*хроника*, т. е. простой, безхитростный рассказъ, безъ всякихъ завязокъ и запутанныхъ приключеній, безъ наружнаго единства и связи. Эта форма, очевидно, проще, чѣмъ романъ,—ближе къ дѣйствительности, къ правдѣ: она хочетъ, чтобы ее принимали за быль, а не за простую возможность. Во вторыхъ, это—быль *семейная*, т. е. не похиженія отдѣльнаго лица, на которомъ должно сосредоточиваться все вниманіе читателя, а событія, такъ или иначе важныя для цѣлаго семейства. Для художника какъ-будто одинаково дороги, одинаково герои—всѣ члены семейства, хронику котораго онъ пишетъ. И центръ тяжести произведенія всегда въ семейныхъ отношеніяхъ, а не въ чемъ-нибудь другомъ. «Капитанская дочка» есть рассказъ о томъ, какъ Петръ Гриневъ женился на дочери капитана Миронова. Дѣло вовсе не въ любопытныхъ ощущеніяхъ, и всѣ приключенія жениха и невесты касаются не измѣненія ихъ чувствъ, простыхъ и ясныхъ отъ самаго начала, а составляютъ случайныя препятствія, мѣшавшія простой развязкѣ,—не помѣхи страсти, а помѣхи женитьбѣ. Отсюда—такая естественная простота этого рассказа; романической нити въ немъ собственно нѣтъ.

Нельзя не подивиться геніальности Пушкина, обнару-

жившейся въ этомъ случаѣ. «Капитанская дочка» имѣетъ всѣ внѣшнія формы романовъ Вальтеръ-Скотта, эпиграфы, раздѣленіе на главы и т. п. (Такъ, внѣшняя форма «Исторіи Государства Россійскаго» взята у Юма). Но, задумавши подражать, Пушкинъ написалъ произведеніе въ высшей степени оригинальное. Пугачевъ, напримѣръ, выведенъ на сцену съ такою удивительною осторожностію, какую можно найти только у гр. Л. Н. Толстаго, когда онъ выводитъ передъ нами Александра I-го, Сперанскаго и пр. Пушкинъ, очевидно, считалъ дѣломъ легкомысленнымъ и недостойнымъ поэтическаго труда малѣйшее уклоненіе отъ строгой исторической истины. Точно также, романическая исторія двухъ любящихъ сердецъ доведена у него до простоты, въ которой исчезаетъ все романическое.

И такимъ образомъ, хотя онъ считалъ необходимымъ—и основать завязку на любви, и ввести въ эту завязку историческое лицо, но, въ силу своей неуклонной поэтической правдивости, онъ написалъ намъ не историческій романъ, а семейную хронику Гриневыхъ.

Но мы не можемъ показать всего глубокаго сходства между «Войною и Миромъ» и «Капитанской дочкой», если не вникнемъ во внутренній духъ этихъ произведеній,—не покажемъ того многозначительнаго поворота въ художественной дѣятельности Пушкина, который привелъ его къ созданію нашей первой семейной хроники. Безъ пониманія этого поворота, отразившагося и развившагося въ гр. Л. Н. Толстомъ, намъ не будетъ понятенъ полный смыслъ «Войны и Мира». Внѣшнее сходство ничего не значитъ въ сравненіи съ сходствомъ того духа, которымъ внушены оба сравниваемые нами произведенія. Тутъ, какъ и всегда, оказывается, что Пушкинъ есть истинный родоначальникъ нашей самобытной литературы,—что его гений постигалъ и совмѣщалъ въ себѣ всѣ стремленія нашего творчества.

II.

Итакъ, что же такое «Капитанская дочка»? Всѣмъ извѣстно, что это—одно изъ драгоцѣннѣйшихъ достояній нашей

литературы. По простотѣ и чистовѣ своей поэзіи, это произведение одинаково доступно, одинаково привлекательно для взрослыхъ и дѣтей. На «Капитанской дочкѣ» (такъ же, какъ на «Семейной хроникѣ» С. Аксакова) русскія дѣти воспитываютъ свой умъ и свое чувство, такъ какъ учителя, безъ всякихъ постороннихъ указаній, находятъ, что нѣтъ въ нашей литературѣ книги болѣе понятной и занимательной, и вмѣстѣ съ тѣмъ столь серіозной по содержанію и высокой по творчеству. Что же такое «Капитанская дочка»?

Рѣшеніе этого вопроса мы уже не имѣемъ права брать только на себя. У насъ есть литература, и есть также критика. Мы желаемъ показать, что въ нашей литературѣ существуетъ постоянное развитіе, — что въ ней въ различной степени и разныхъ формахъ раскрываются все тѣ же основные задатки; міросозерцаніе гр. Л. Н. Толстаго мы связываемъ съ одною изъ сторонъ поэтической дѣятельности Пушкина. Точно такъ, мы обязаны и хотѣли бы связать наши сужденія со взглядами, уже высказанными нашей критикой. Если у насъ есть критика, то она не могла не оцѣнить того важнаго направленія въ нашемъ художествѣ, которое началось съ Пушкина, жило до настоящаго времени (около сорока лѣтъ) и, наконецъ, породило такое огромное и высокое произведение, какъ «Война и Миръ». На фактъ подобнаго размѣра всего лучше можно провѣрить провѣщающую критику и глубину ея пониманія.

О Пушкинѣ у насъ писано много, но изъ всего писаннаго рѣзко выдаются два произведенія; у насъ есть двѣ книги о Пушкинѣ, конечно, извѣстныя всѣмъ читателямъ: одна — 8-й томъ сочиненій *Бѣлинскаго*, заключающій въ себѣ десять статей о Пушкинѣ (1843—1846), другая — «Матеріалы для біографіи Пушкина» П. В. *Анненкова*, составляющіе 1-й томъ его изданія сочиненій Пушкина (1855). Обѣ книги весьма замѣчательны. У *Бѣлинскаго* въ первый разъ въ нашей литературѣ (у *Нѣмцевъ* о Пушкинѣ уже писалъ достойнымъ поэта образомъ *Варнгагенъ фонъ Энзе*) сдѣлана отчетливая и твердая оцѣнка художественнаго достоинства произведеній Пушкина; со всею ясностію *Бѣлинскій* понимаетъ высокое достоинство этихъ произведеній и съ точ-

ностью указать, какія изъ нихъ ниже, какія выше, какія достигаютъ высоты, по словамъ критика, *утомляющей всякое удивленіе*. Приговоры Бѣлинскаго относительно художественной цѣнности произведеній Пушкина остаются вѣрны до сихъ поръ и свидѣлствуютъ объ удивительной чуткости эстетическаго вкуса нашего критика. Извѣстно, что наша литература въ то время не понимала великаго значенія Пушкина; Бѣлинскому принадлежитъ слава, что онъ твердо и сознательно стоялъ за его величіе, хотя ему и не было дано постигнуть всю мѣру этого величія. Такъ точно ему досталась слава—понять высоту Лермонтова и Гоголя, съ которыми тоже за панибрата обращались современные имъ литературные судьи. Но иное дѣло—эстетическая оцѣнка, и другое—оцѣнка значенія писателя для общественной жизни, его нравственнаго и народнаго духа. Въ этомъ отношеніи книга Бѣлинскаго о Пушкинѣ рядомъ съ вѣрными и прекрасными мыслями заключаетъ много ошибочныхъ и смутныхъ взглядовъ. Такова, напримѣръ, статья IX-я о Татьянѣ. Какъ бы то ни было, эти статьи представляютъ полный и, въ эстетическомъ отношеніи, чрезвычайно вѣрный обзоръ произведеній Пушкина.

Другая книга, «Матеріалы» П. В. Анненкова, содержитъ такой же обзоръ, изложенный въ тѣсной связи съ біографіею поэта. Менѣе оригинальная, чѣмъ книга Бѣлинскаго, но болѣе зрѣлая, составленная съ величайшею тщательностію и любовью къ дѣлу, эта книга даетъ всего больше пищи для того, кто хочетъ изучать Пушкина. Она превосходно написана; какъ-будто духъ Пушкина сошелъ на біографа и далъ его рѣчи простоту, краткость и опредѣленность. «Матеріалы» необыкновенно богаты содержаніемъ и чужды всякихъ разглагольствій. Что касается до сужденій о произведеніяхъ поэта, то, руководясь его жизнью, близко держась обстоятельствъ, его окружавшихъ, и перемѣнъ, въ немъ происходившихъ, біографъ сдѣлалъ драгоцѣнныя указанія и начертилъ съ большою вѣрностію, съ любовнымъ пониманіемъ дѣла исторію творческой дѣятельности Пушкина. Ошибочныхъ взглядовъ въ этой книгѣ нѣтъ, такъ какъ авторъ не отклонялся отъ своего предмета, столько имъ любимаго и такъ хорошо по-

нимаемого: есть только неполнота, вполне оправдываемая скромнымъ тономъ и слишкомъ скромнымъ названіемъ книги.

И вотъ, къ такимъ-то книгамъ мы естественно обращаемся за рѣшеніемъ нашего вопроса о «Капитанской дочкѣ». Что же оказывается? И въ той и въ другой книгѣ этому удивительному произведенію посвящено лишь нѣсколько небрежныхъ строчекъ. Мало того, обо всемъ циклѣ произведеній Пушкина, примыкающихъ къ «Капитанской дочкѣ» (каковы: *Повѣсти Блжкіна, Лѣтопись села Горохина, Дубровский*), оба критика отзываются или съ неодобреніемъ, или съ равнодушными, вскользь сказанными похвалами. Такимъ образомъ, цѣлая сторона въ развитіи Пушкина, завершившаяся созданіемъ «Капитанской дочки», упущена изъ вида и вниманія, признана маловажною и даже *недостойною* имени Пушкина. Оба критика пропустили то, что существеннымъ образомъ повліяло на весь ходъ нашей литературы и отразилось, наконецъ, въ такихъ произведеніяхъ, какъ «Война и Миръ».

Фактъ—знаменательный въ высшей степени и объясняемый только внутреннею исторіей нашей критики. Весьма понятно, что для пониманія столь многосторонняго и глубокаго поэта, какъ Пушкинъ, нужно было долгое время, и что не одному человѣку досталось на долю потрудиться на этомъ поприщѣ; много труда предстоитъ еще и впереди. Сперва мы должны были понять ту сторону Пушкина, которая всего доступнѣе, всего больше сливается съ общимъ направленіемъ нашей образованности. Уже до Пушкина и въ его время мы понимали европейскихъ поэтовъ—Шиллера, Байрона и другихъ; Пушкинъ явился ихъ соперникомъ, сореонобателемъ; такъ мы на него и смотрѣли, измѣряя его достоинства знакомомъ намъ мѣркою, сравнивая его произведенія съ произведеніями западныхъ поэтовъ. И Бѣлинскій и Анненковъ—западники; поэтому они и могли хорошо чувствовать только общечеловѣческія красоты Пушкина. Тѣ же черты, въ которыхъ онъ являлся самобытнымъ русскимъ поэтомъ,—въ которыхъ его русская душа обнаруживала нѣкотораго рода реакцію противъ западной поэзіи, должны были остаться для нашихъ двухъ критиковъ малодоступными, или вовсе непо-

нятыми. Для пониманія ихъ нужно было другое время, когда появились бы иные взгляды, кромѣ западническихъ, и другой человѣкъ, который пережилъ бы въ своей душѣ поворотъ, подобный повороту пушкинскаго творчества.

III.

Этотъ человѣкъ былъ Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ. Имъ былъ въ первый разъ указанъ важный смыслъ той стороны поэтической дѣятельности Пушкина, лучшимъ плодомъ которой была «Капитанская дочка». Взгляды Григорьева на этотъ предметъ, и вообще на значеніе Пушкина, были часто имъ повторяемы и развиваемы, но въ первый разъ были изложены въ «Русскомъ Словѣ» 1859 года. То былъ первый годъ этого журнала, имѣвшаго тогда трехъ редакторовъ: гр. Г. А. Кушелева-Безбородко, Я. П. Полонскаго и Ап. А. Григорьева. Передъ этимъ, Григорьевъ года два ничего не писалъ и жилъ за границею, большею частію въ Италіи и большею частію въ созерцаніи художественныхъ произведеній. Статьи о Пушкинѣ были плодомъ его долгихъ заграничныхъ размышленій. Этихъ статей собственно шесть; двѣ первыя подъ заглавіемъ: *Взглядъ на русскую литературу со смерти Пушкина*; четыре остальные называются — *И. С. Тургеневъ и его дѣятельность, по поводу романа «Дворянское гнездо»*, и содержатъ развитіе тѣхъ же взглядовъ и приложеніе ихъ къ Тургеневу*)

Въ чемъ же состоитъ мысль Григорьева? Постараемся высказать ее ясно, ограничиваясь тѣмъ вопросомъ, который мы разбираемъ. Григорьевъ нашелъ, что дѣятельность Пушкина представляетъ душевную борьбу съ различными идеалами, съ различными вполне сложившимися историческими типами, тревожившими его натуру и пережитыми ею. Идеалы

*) Эти статьи перепечатаны въ первомъ томѣ сочиненій Ап. Григорьева, заключающаго въ себя его общія статьи. *Сочиненія Аполлона Григорьева. Т. 1 Спб. 1876, стр. 230—248.*

эти или типы принадлежали чуждой, не русской жизни; это были — мутно-чувственная струя ложнаго классицизма, туманный романтизмъ, но всего больше байроновскіе типы Чайльд-Гарольда, Донъ Жуана и т. д. Эти формы иной жизни, иныхъ народныхъ организмовъ, вызывали сочувствіе въ душѣ Пушкина, находили въ ней стихіи и силы для созданія соотвѣствующихъ идеаловъ. Это не было подражаніе, внѣшнее передразниваніе извѣстныхъ типовъ; это было ихъ дѣйствительное усвоеніе, ихъ переживаніе. Но исполнѣ и до конца природа поэта покориться имъ не могла. Обнаружилось то, что Григорьевъ называетъ *борьбою* съ типами, то есть, съ одной стороны, стремленіе отозваться на извѣстный типъ, дойти до него своими душевными силами и, такимъ образомъ, помѣряться съ нимъ; съ другой стороны, неспособность живой и самобытной души исполнѣ отдаться типу, неудержимая потребность отнестись къ нему критически и даже обнаружить и признать въ себѣ законными сочувствія, вовсе несогласныя съ типомъ. Изъ такого рода борьбы съ чуждыми типами Пушкинъ всегда выходилъ *самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ*. Въ немъ въ первый разъ обособилась и ясно обозначилась наша русская фizioномія, истинная мѣра всѣхъ нашихъ общественныхъ, нравственныхъ и художественныхъ сочувствій, полновѣй типъ русской души. Обособиться, характеризоваться — этотъ типъ могъ только въ томъ человѣкѣ, который, дѣйствительно, *жилъ* другими типами, но имѣлъ силу имъ не поддаться и поставить наравнѣ съ ними свой собственный типъ, смѣло узаконить желанія и требованія своей самобытной жизни. Оттого Пушкинъ и есть творецъ русской поэзіи и литературы, что въ немъ наше типовое не только сказалось, но и выразилось, то есть облеклось въ высочайшую поэзію, поравнялось со всѣмъ великимъ, что онъ зналъ и на что отзывался своею великою душою. Поэзія Пушкина есть выраженіе идеальной русской натуры, помѣрившейся съ идеалами другихъ народовъ.

Пробужденіе *русскаго душевнаго типа* съ его правами и требованіями можно найти во многихъ произведеніяхъ Пушкина. Одно изъ самыхъ важныхъ мѣстъ представляетъ тотъ отрывокъ изъ путешествія Онѣгина, въ которомъ говорится о *Таверидѣ* (попросту — о Крымѣ):

Воображенью край священный!
Съ Атридомъ спорилъ тамъ Пиладъ,
Тамъ закололся Митридатъ,
Тамъ тлъ Мицкевичъ вдохновенный
 И посреди прибрежныхъ скалъ
 Свою Литву воспоминалъ.
 Прекрасны вы, берега Тавриды,
 Когда васъ видѣшь съ корабля,
При сѣтѣ утренней Киприды,
 Какъ васъ въ первой увидѣтъ я!
 Вы мнѣ предстали въ блескѣ брачномъ:
 На небѣ синемъ и прозрачномъ
 Сіяли груди вашихъ горъ;
 Долинъ, деревъекъ, селъ узоръ
 Разостланъ былъ передо мною.
 А тамъ, межъ хиженокъ татаръ...
Какой во мнѣ проснулся жаръ!
Какой волшебною тоскою
Стѣснялась пламенная грудь!
 Но, Муза! прошлое забудь.
 Какія-бъ чувства ни таились
 Тогда во мнѣ—теперь ихъ нѣтъ:
 Они прошли иль измѣнились...
 Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!
 Въ ту пору мнѣ казались нужны
 Пустыни, волнъ края жемчужны,
 И моря шумъ, и груди скалъ,
 И гордой дѣвы идеалъ,
 И безымянныя страданья...
 Другіе дни, другіе сны!
 Смирились вы, моей весны
 Высокопарныя мечтанья,
 И въ поэтическій бокалъ
 Воды я много подмѣшалъ.
 Иныя нужны мнѣ картины;
 Люблю песчаный косогоръ,
 Передъ избушкой двѣ рябины,
 Калитку, сломанный заборъ,
 На небѣ спрѣнькія тучи,
 Передъ гумномъ соломы кучи,
 Да прудъ подъ тѣнью ивъ густыхъ—
 Раздолье утокъ молдыхъ;
 Теперь мила мнѣ балалайка,
 Да пьяный топотъ трепака
 Передъ пороюмъ кабака;

Мой идеалъ теперь—хозяйка,
 Мои желанія—покой,
 Да щей горшокъ, да сама большой.
 Порой дождливою наведни,
 Я, завернувъ на скотный дворъ...
 Тьфу! прозаическія бредни,
 Фламандской школы пестрый соръ!
 Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?
 Слажи, фонтанъ Бахчисарая,
 Таки-ль мысли мѣ на умъ
 Навѣтъ твой безконечный шумъ,
 Когда безмолвно предъ тобою
 Зарему я воображалъ?

(Изд. Исакова, 1-е, т. III, стр. 217).

Что происходитъ въ душѣ поэта? Мы, очень ошибемся, если найдемъ здѣсь какое-нибудь горькое чувство; бодрость и ясность духа слышны въ каждомъ стихѣ. Точно также, неправильно видѣть здѣсь насмѣшку надъ изменчивостію русской природы и русскаго быта; иначе можно бы, пожалуй, истолковать это мѣсто и совершенно наоборотъ, какъ насмѣшку надъ *высокопарными мечтаніями* юности, надъ тѣми временами, когда поэту казались нужны *безымянныя страданія*, и онъ *воображалъ себя* Зарему, слѣдую Байрону, «отъ котораго тогда съ ума сходилъ» (см. тамъ же, т. IV, стр. 44).

Дѣло гораздо сложнее. Очевидно, въ поэтѣ рядомъ съ прежними идеалами возникаетъ что-то новое. Много есть предметовъ, которые издавна *священны для его воображенія*; и міръ греческій съ его Кипридою, Атридомъ, Пиладомъ; и римское геройство, съ которымъ боролся Митридатъ; и пѣсни чуждыхъ поэтовъ, Мицкевича, Байрона, внушившія ему *иордой дѣвы идеалъ*; и картины южной природы, представляющей глазамъ въ *блескъ брачномъ*. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, поэтъ чувствуетъ, что въ немъ заговорила любовь къ иному быту, къ иной природѣ. Этотъ *прудъ подъ стѣною изъ густыхъ вѣроятно, тотъ самый прудъ, надъ которымъ онъ бродилъ,*

Тоской и рѣчками томимъ,

и съ котораго спугивалъ утокъ *пѣньемъ сладкозвучныхъ стробъ* (см. Евг. Он. гл. четв. XXXV); этомъ простой бытъ,

въ которомъ веселье выражается *топотомъ трепака*, котораго идеаль—*хозяйка*, а желанія—*щей горшокъ*, да самъ большой; весь этотъ міръ, столь непохожій на то, что священно для воображенія поэта, имѣеть, однакоже, для него неотразимую привлекательность. «Поразительна», говоритъ Ап. Григорьевъ, — «эта простодушнѣйшая смѣсь спущеній *самыхъ* разнородныхъ—негодования и *желанія набросить на картину колоритъ самый странный съ* невольной любовью къ картинѣ, съ чувствомъ ея особенной, самобытной «красоты!» Эта выходка поэта—негодование на прозаизмъ «и мелочность окружающей его обстановки, но вмѣстѣ и невольное сознаніе того, что этотъ прозаизмъ имѣетъ неотъемлемыя права надъ душою,—что онъ въ душѣ остался какъ остатокъ послѣ всего броженія, послѣ всѣхъ «напряжений, послѣ всѣхъ тщетныхъ попытокъ окамениться въ байроновскихъ формахъ» (соч. Ап. Григорьева, т. I, стр. 249, 250).

Въ этомъ процессѣ, совершавшемся въ душѣ поэта, нужно отличать три момента: 1) пламенное и широкое сочувствіе всему великому, что онъ встрѣтилъ готовымъ и даннымъ, сочувствіе всѣмъ свѣтлымъ и темнымъ сторонамъ этого великаго; 2) невозможность вполнѣ уйти въ эти сочувствія, окаменѣть въ этихъ чуждыхъ формахъ; поэтому—критическое отношеніе къ нимъ, протестъ противъ ихъ преобладанія; 3) любовь къ своему, къ русскому типовому, къ «своей почвѣ», какъ выразился Ап. Григорьевъ.

«Когда поэтъ», говоритъ этотъ критикъ,—«въ эпоху зрѣлости самосознанія привелъ для самого себя въ очевидность всѣ эти, повидимому, совершенно противоположныя явленія, совершавшіяся въ его собственной натурѣ,—то, прежде всего правдивый и искренній, онъ *умалилъ* себя, когда-то Пльнника, Гирея, Алеко, до образа Ивана Петровича Бѣлкина...» (тамъ же, стр. 251).

«Типъ Ивана Петровича Бѣлкина былъ почти любимымъ типомъ поэта въ послѣднюю эпоху его дѣятельности. Въ тонѣ и взглядѣ этого типа онъ рассказываетъ намъ многія добродушныя исторіи, между прочимъ, «Лѣтопись села

«Горохина» и семейную хронику Гриневыхъ, эту родоначалъ-
ницу всѣхъ теперешнихъ «семейныхъ хроникъ» (стр. 248).

Что же такое Пушкинскій Бѣлкинъ?

«Бѣлкинъ есть простой здравый толкъ и здравое чув-
ство, кроткое и смиренное,—вопиющее законно противъ зло-
употребленія нами нашей широкой способности понимать и
«чувствовать» (стр. 252). «Въ этомъ типѣ узаконивалась, и
«притомъ только на время, только *отрицательно, крити-
чески*, чисто типовая сторона» (тамъ же).

Протестъ противъ *высокопарныхъ мечтаній*, противъ
увлеченія мрачными и блестящими типами, выразился у Пуш-
кина любовью къ простымъ типамъ, способностію къ умѣрен-
ному пониманію и чувствованію. Одной поэзіи Пушкинъ про-
тивопоставилъ другую, Байрону—Бѣлкина; будучи великимъ
поэтомъ, онъ спустился со своей высоты и сумѣлъ такъ
подойти къ бѣдной дѣйствительности, его окружавшей и не-
волью имъ любимой, что она открыла ему всю поэзію, какая
только въ ней была. Поэтому Ап. Григорьевъ вполне спра-
ведливо могъ сказать:

«Всѣ простыя, не *преувеличенныя юмористически* и
«не *идеализированныя трагически* отношенія литературы
«къ окружающей дѣйствительности и къ русскому быту—по
«прямой линіи ведутъ свое начало отъ взгляда на жизнь
«Ивана Петровича Бѣлкина» (тамъ же, стр. 248).

Такимъ образомъ, Пушкинъ въ созданіи этого типа со-
вершилъ величайшій поэтический подвигъ; ибо, чтобы пони-
мать предметъ, нужно стать къ нему въ надлежащее отно-
шеніе, и Пушкинъ нашелъ такое отношеніе къ предмету, ко-
торый былъ вовсе неизвѣстенъ и требовалъ всей силы его
зоркости и правдивости. «Капитанскую дочку» нельзя расска-
зывать въ иномъ тонѣ и съ инымъ взглядомъ, чѣмъ какъ
она рассказана. Иначе все въ ней будетъ искажено и извра-
щено. Наше русское типовое, нашъ душевный типъ здѣсь въ
первый разъ былъ воплощенъ поэзіею, но явился въ столь
простыхъ и малыхъ своихъ формахъ, что потребовалъ осо-
быго тона и языка; Пушкинъ долженъ былъ *измѣнить*
возвышенный строй своей лиры. Для тѣхъ, кто не пони-
малъ смысла этой перемѣны, она показалась шалостью по-

эта, недостойною его гения; но мы видимъ теперь, что тутъ-то и обнаружилась гениальная широта взгляда и вполне самобытная сила творчества нашего Пушкина.

IV

Для ясности мы должны еще нѣсколько времени остановиться на этомъ предметѣ. Открытіе значенія Бѣлкина въ пушкинскомъ творествѣ составляетъ главную заслугу Ап. Григорьева. Вмѣстѣ съ тѣмъ это была для него исходная точка, съ которой онъ объяснялъ внутренній ходъ всей послѣ-пушкинской художественной литературы. Такимъ образомъ, уже тогда, въ 1859 году, онъ видѣлъ въ настроеніи нашей литературы слѣдующіе главные элементы:

1) «Тщетныя усилія насильственно создать въ себѣ и утвердить въ душѣ обаятельные призраки и идеалы чужой жизни».

2) «Столь же тщетная борьба съ этими идеалами и столь же тщетныя усилія вовсе отъ нихъ оторваться и замѣнить ихъ чисто-отрицательными и смиренными идеалами».

Уже тогда Аполлонъ Григорьевъ, слѣдуя своей точкѣ зрѣнія, такъ опредѣлилъ Гоголя: «Гоголь явился только мѣрною нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности. *«поэтомъ чисто-отрицательнымъ: симпатій-же нашихъ кровныхъ, племенныхъ, жизненныхъ онъ олицетворить не могъ, «во первыхъ, какъ малороссъ, а во вторыхъ, какъ уединенный и болѣзненный аскетъ»* (тамъ же, стр. 240).

Весь же общій ходъ нашей литературы, ея существенное развитіе выражены Григорьевымъ такъ: «Въ Пушкинѣ на-долго, если не навсегда, завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, весь нашъ душевный процессъ—и тайна этого процесса въ его слѣдующемъ, глубоко-душевномъ и благоухающемъ стихотвореніи (Возрожденіе):

Художникъ варваръ кистью сонной
Картину гения чернитъ,
И свой рисунокъ беззаконный

На ней бессмысленно чертить.
Но краски чуждыя съ лѣтами
Спадають ветхой чешуей,
Созданье генія предъ нами
Выходить съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденія
Съ измученной души моей,
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

«Этотъ процессъ со вѣками нами въ отдаленности и съ нашею общественною жизнью—совершался и понынѣ совершается. Кто не видитъ могучихъ произрастаній типоваго, кореннаго, народнаго—того природа обдѣлила зрѣніемъ и вообще чувствомъ» (тамъ же, стр. 246).

Итакъ, изъ взгляда на Бѣлкина, изъ проникновенія въ смыслъ борьбы, совершавшейся въ Пушкинѣ, у Ап. Григорьева вытекаетъ взглядъ на русскую литературу, которымъ всѣ ея произведенія связуются въ одну цѣпь. Каждое звено этой цѣпи можетъ служить доказательствомъ и повѣркою того, что дѣйствительно найдена ихъ взаимная связь. Каждый послѣ-пушкинскій писатель можетъ быть вполне объясненъ не иначе, какъ если мы примемъ въ основаніе общую мысль Ап. Григорьева. Уже тогда, отношеніе нашихъ современныхъ писателей къ Пушкину было формулировано нашимъ критикомъ въ слѣдующихъ общихъ чертахъ:

«Пушкинскій Бѣлкинъ», пишетъ Ап. Григорьевъ, «это тотъ Бѣлкинъ, который плачется въ повѣстяхъ Тургенева «о томъ, что онъ—вѣчный Бѣлкинъ, что онъ принадлежитъ къ числу «липнихъ людей» или «куцыхъ»,—которому въ «Писемскомъ смерть хотѣлось бы (но совершенно тщетно) «подсмѣяться надъ блестящимъ и страстнымъ типомъ,—котораго хочетъ не въ мѣру и насильственно поэтизировать Толстой, и передъ которымъ даже Петръ Ильичъ драмы «Островскаго: «Не такъ живи, какъ хочется»—смирятся... по «крайней мѣрѣ до новой масляницы и до новой Груши» (тамъ же, стр. 252).

V.

Мы говоримъ вещи, которыя многимъ должны показаться странными и неслыханными, которыя идутъ противъ предразсудковъ, давно установившихся и очень распространенныхъ. Но намъ кажется, что настало время высказать правду,—что мы уже можемъ сдѣлать это, не прибѣгая ни къ какимъ преувеличеніямъ и гаданіямъ, а основываясь на фактахъ, на томъ, что уже отошло въ исторію литературы, хотя и очень недавнюю. Для того, чтобы дать дѣлу полную опредѣленность и ясность, мы прервемъ здѣсь, однакоже, аналитическій ходъ нашего разсужденія, и прямо выскажемъ нѣсколько общихъ положеній, способныхъ къ гораздо большому развитію, чѣмъ какое мы можемъ имъ дать въ настоящей статьѣ.

Ап. Григорьева мы считаемъ лучшимъ нашимъ критикомъ, дѣйствительнымъ основателемъ русской критики. Ему принадлежитъ единственный существующій у насъ *полный* взглядъ на русскую литературу, т. е. взглядъ, объемлющій одною мыслью всѣ ея явленія и направленія,—взглядъ, вѣрный до сихъ поръ, блистательно подтверждаемый такими произведеніями, какъ «Война и Миръ».

Обыкновенное понятіе, составившееся о нашей критикѣ,—другое. Лучшимъ нашимъ критикомъ признаютъ Бѣлинскаго, а продолжателями его дѣла считаютъ Добролюбова, Писарева и пр. Намъ слѣдуетъ хотя въ общихъ чертахъ характеризовать эту школу критиковъ, для того, чтобы яснѣе выставить, чѣмъ отличается отъ нея Григорьевъ и въ чемъ его заслуги.

Бѣлинскій сдѣлалъ чрезвычайно много для нашей критики. Онъ былъ первый необыкновенно чуткій и безгранично пламенный поклонникъ литературы; своимъ глубокимъ восторгомъ ко всему истинно-великому въ литературѣ и безпощадной враждою ко всему посредственному и мелкому, онъ поднималъ значеніе литературы, придалъ ей небывалый вѣсъ въ умахъ читателей, сдѣлалъ изъ художественной словесности и ея критики серьезнѣйшее изъ серьезныхъ дѣлъ; но—по

несчастію—онъ же самъ, своими руками, сталъ разрушать зданіе, построенное съ такою любовью и составлявшее его истинную славу; а его усердные послѣдователи постарались довести до конца это разрушеніе, начатое ихъ учителемъ.

Если кто хочетъ видѣть Вѣлинскаго во всей силѣ его таланта, во всей правильности приложенія этого таланта, тотъ долженъ обратиться не къ послѣднимъ томамъ его сочиненій, а именно къ самымъ первымъ. Тутъ дышетъ безъ примѣси та страстная любовь къ художеству, которая составляла лучший даръ критики. Онъ одинъ смѣлъ и умѣлъ относиться съ восторгомъ къ тому, на что другіе смотрѣли холодно или небрежно. Съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ Ап. Григорьевъ приводитъ въ своей статьѣ, на которую мы ссылались, одно мѣсто изъ «Литературныхъ Мечтаній»; писанныхъ Вѣлинскимъ еще въ 1834 году. Остановившись надъ стихами Пушкина:

Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,

Вѣлинскій говоритъ:

«Да, я свято вѣрю, что онъ (Пушкинъ) вполне «раздѣлялъ безотрадную муку отверженной любви чернокной черкешенки или своей Татьяны, этого лучшаго «и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою тоскою души, пресыщенной наслажденіями и все еще не въдавшейся наслажденій; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности вмѣстѣ съ Заремою и Алехо, и упивался дикою любовью Земфиры, что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... Пусть скажутъ, что это—пристрастіе, «идолопоклонство, дѣтство, глупость; но я лучше хочу вѣрить «тому, что Пушкинъ мистифируетъ «Библіотеку для чтенія», «чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ «отраднѣе вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ «новыми созданіями, которыя будутъ выше прежнихъ»...

Какъ глубоко проникнуть критикъ созданіями поэта!

Какая вѣра въ то, что душа самого поэта разлита въ этихъ созданіяхъ и живетъ ихъ жизнью! Вотъ настоящее *живое* сочувствіе, которое требуется для пониманія поэтовъ и для ихъ критики!

Но прошло десять или одиннадцать лѣтъ, и какъ измѣнились отношенія критика къ поэту! Бѣлинскій уже толкуетъ о томъ, что человѣкъ развитой не можетъ чувствовать ревности,—уже не понимаетъ Татьяны, уже отвергаетъ самыя простыя и ясныя сочувствія поэта. По отношенію къ предмету нашей статьи, безъинтересно привести адѣсь сужденіе Бѣлинскаго о семействѣ Лариныхъ, съ которымъ мы уже ставили въ параллель семейство Ростовыхъ. Вотъ что говорилъ Бѣлинскій въ 1845 году:

«Вездѣ видите вы въ немъ (въ Пушкинѣ) человѣка, «душею и тѣломъ принадлежащаго къ основному принципу, «составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, «вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ нападаетъ въ этомъ «классѣ на все, что противорѣчитъ гуманности; но принципъ «класса для него—вѣчная истина... И потому въ самой сатирѣ «его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ похоже на «одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ во второй главѣ и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ «Онѣгинѣ» многое устарѣло теперь» (соч. Бѣлинск., т. 8, стр. 8, 604).

Какое непониманіе! Какой рѣзкій и несправедливый выводъ, будто для Пушкина крѣпостное право—было вѣчною истиною! Въ какомъ дурномъ и мелкомъ смыслѣ была истолкована критикомъ та любовь къ простымъ и смиреннымъ типамъ, которая у Пушкина имѣла столь высокое значеніе и была вовсе независима отъ всякихъ правъ и сословныхъ принциповъ!

Что же случилось? Очевидно, умъ и вкусъ Бѣлинскаго были омрачены тѣмъ-то такимъ, что заслоняло отъ него дѣйствительный смыслъ произведеній поэта. Самъ критикъ даетъ намъ разгадку, замѣчая, что «Онѣгинъ» *устарѣлъ*. Очевидно, Бѣлинскій уже подвелъ Пушкина подъ какія-то требованія прогресса, уже пересталъ видѣть въ поэтѣ откровенія неизмѣнныхъ законовъ души, откровенія тайнъ человѣческаго

сердца вообще и русскаго въ особенности, а сталъ смотрѣть и намѣрять, насколько произведенія Пушкина *пригодны для потребностей настоящей минуты*. Критикъ, очевидно, жалѣетъ, что Пушкинъ не сталъ обличителемъ крѣпостнаго права; между тѣмъ, тутъ нѣтъ ничего страннаго и досаднаго; у Пушкина были другія задачи, осмѣлился сказать, гораздо болѣе широкія и важныя, и Бѣлинскій оказался въ положеніи того нѣмца, который, какъ рассказываетъ Карлейль, жаловался на солнце за то, что отъ него нельзя закурить сигарки.

Бѣлинскому выпала на долю та несчастная судьба, которой очень обыкновенно подвергаются русскіе люди. Онъ не имѣлъ твердыхъ взглядовъ, какихъ-нибудь прочныхъ основаній для своей умственной дѣятельности. Единственная его сила заключалась въ любви къ литературѣ и удивительномъ эстетическомъ вкусѣ. Когда же онъ пересталъ руководиться этой любовью и этимъ вкусомъ, онъ потерялъ всякую точку опоры и сталъ блуждать по вѣянію вѣтра.

Служеніе требованіямъ времени—вотъ то направленіе, которое тогда свирѣпствовало въ Европѣ и увлекло собою нашего критика. Это было нѣкоторое идолопоклонство передъ настоящимъ минутою,—слѣдствіе того узко-историческаго взгляда, который былъ извлеченъ изъ перетолкованной и доведенной до крайности системы Гегеля. Все прошлое тогда разсматривалось только, какъ приготовленіе къ настоящей минутѣ, и, какъ скоро не имѣло значенія *теперь же, сейчасъ*, считалось вздоромъ, который слѣдовало отбрасывать и забывать. Люди воображали себя полными представителями всего разума, который содержится въ исторіи, полными распорядителями всего будущаго, къ которому идетъ человѣчество. Для нихъ ни въ чемъ не было тайнъ, и они ни откуда не ждали откровеній; они считали себя мѣрою всѣхъ желаній, всѣхъ потребностей, всѣхъ ожиданій человѣчества. Они вѣрили въ *общій разумъ* и въ *общій прогрессъ* этого разума. Отсюда, какъ необходимое слѣдствіе—невѣріе во все то, гдѣ дѣйствуютъ таинственныя силы, болѣе широкія и глубокія, чѣмъ разумъ съ его *блѣдными логическими доводами* (слова Л. Н. Толстаго),—невѣріе въ жизнь, которую они готовы были ломать и перестраивать по своимъ понятіямъ,—невѣріе въ на-

родное творчество, въ литературу, въ искусство, въ національность.

Вотъ къ этому-то направленію, господствовавшему на Западѣ, и по существу дѣла космополитическому, примкнулъ Бѣлинскій въ послѣднее время своей дѣятельности, примкнулъ по той жаждѣ истины, которая его отличала, и по отсутствію какихъ-нибудь иныхъ твердыхъ основъ для своей мысли. Понятно, что ничего добраго собственно для критики отсюда выйти не могло. Слѣдствіемъ было то, что Бѣлинскій не успѣлъ развить въ себѣ и не оставилъ намъ никакого полнаго, цѣльнаго взгляда на нашу литературу; онъ не завѣщаль намъ мысли, которую слѣдовало бы развивать. Сужденіями его слѣдуетъ дорожить, такъ какъ они часто были внушаемы, помимо всякихъ теорій, живою любовью къ дѣлу и живымъ его пониманіемъ; но эти сужденія лишены связи и потому — силы. Прямое же наслѣдство, оставленное намъ Бѣлинскимъ, заключается въ той злополучной теоріи прогресса, которую онъ такъ жарко проповѣдывалъ и которую его послѣдователи разработали съ величайшимъ усердіемъ. Для одного не только кое-что устарѣло въ Пушкинѣ, а весь Пушкинъ никуда не годится, другой забраковалъ Лермонтова, третій — Тургенева, четвертый — Кольцова и т. д. Словомъ, вся наша литература устарѣла, отстала, не содержитъ ничего годнаго и полезнаго *для настоящей минуты*, и современный русскій человѣкъ имѣетъ право наслаждаться только одними стихотвореніями г. Минаева и романами г. Рѣшетникова.

Люди, идущіе противъ силы вещей, становятся жертвами этой силы. Жизнь покрываетъ посмѣяніемъ тѣхъ, кто не вѣритъ въ нее. не прислушивается къ ней, а дерзко думаетъ согнуть ее подъ свою мѣрку. Бѣлинскій отказался отъ вѣры въ русскую литературу, и литература его не послушалась, она пошла путями, которыхъ онъ не ожидалъ и оставила въ сторонѣ своихъ мнимыхъ вожатаевъ. Самъ Бѣлинскій еще избѣгъ большихъ промаховъ и не испыталъ разочарованія; въ самые послѣдніе годы его великое критическое чутье подсказало ему вѣрную оцѣнку Тургенева, Гончарова, Ф. Достоевскаго, какъ значительныхъ талантовъ. Но что сдѣлали по-

слѣдователи Бѣлинскаго? Какъ они цѣнили старые и новые таланты, дѣйствовавшіе послѣ его смерти?

Явился, напримѣръ, Островскій и сразу занялъ видное мѣсто въ литературѣ. Когда, послѣ долгаго молчанія, западническая критика, наконецъ, возродилась подъ перомъ Добролюбова, что она сдѣлала съ этимъ новымъ писателемъ? Она его *перетолковала* на свой ладъ. Въ знаменитой статьѣ «Темное царство» Добролюбовъ сдѣлалъ изъ Островскаго обличителя купцовъ, обнажителя тѣхъ безобразій, которыя наполняютъ ихъ бытъ. Такимъ образомъ, былъ совершенно искаженъ характеръ дѣятельности писателя. Островскій, какъ извѣстно, стремился вывести на сцену тѣ самобытные русскіе типы, которые—въ грубыхъ и искаженныхъ формахъ, но все-таки сохранились въ купеческомъ быту. И вся критическая дѣятельность Добролюбова была подобнымъ же перетолкованіемъ смысла художественныхъ произведеній въ пользу своей теоріи. Онъ подводилъ писателя подъ свою идею, но дѣлалъ видъ, что писатель самъ подъ нее подходитъ и къ ней стремится.

Впослѣдствіи, однакоже, дѣло на этомъ не могло остановиться. Оказалось такое противорѣчіе между нашими художественными писателями и ихъ критиками, что о согласіи, хотя бы внѣшнемъ, и думать было невозможно. Нѣкоторые попробовали было поступать такъ: отрицать у того художника, который имъ не нравился, всякій художественный талантъ. Но этотъ смѣлый критическій пріемъ не имѣлъ успѣха. Такъ, напр., хотя и было напечатано, что г. Тургеневъ въ «Отцахъ и Дѣтяхъ» обнаружилъ полное отсутствіе художественности, но это мнѣніе не нашло себѣ послѣдователей. Наконецъ, г. Писаревъ считъ за болѣе простое и разумное—совершенно сбросить маску. Онъ сталъ прямо говорить: мнѣ нѣтъ никакого дѣла до направленія художника, до его взглядовъ и сочувствій, а также и до его таланта; я, просто, возьму тѣ же жизненные явленія, о которыхъ онъ говоритъ, и буду излагать читателю *свои* мысли.

Такимъ образомъ, между нашею художественною литературою и нашею критикою произошелъ полный разрывъ: фактъ давно замѣченный и совершенно выяснившійся. Работа на-

шихъ творческихъ талантовъ стала непонятною и чуждою для нашей критики; литература, по крайней мѣрѣ въ главныхъ, крупныхъ своихъ представителяхъ, не подчинилась тому направленію, которое ей указывали и, несмотря на яростные крики и вопли, дѣлала свое дѣло, гораздо болѣе глубокое, чѣмъ то, которое ей указывали ея недовольные руководители.

Писатель, о которомъ мы теперь говоримъ, гр. Л. Н. Толстой, сталъ являться со своими произведеніями также послѣ Бѣлинскаго, незадолго до упомянутаго возрожденія западной критики. Разумѣется, онъ такъ же мало былъ понятъ, какъ и другіе, но замѣчательно и характеристично, что разрывъ между литературою и критикою здѣсь выступилъ еще явственнѣе. Гр. Л. Н. Толстаго не только не поняли, но даже вовсе о немъ не говорили. Несмотря на то, что онъ былъ сразу замѣченъ, и каждое новое его произведеніе читалось съ жадностію, критика даже не перетолковала его, даже не чувствовала позова говорить по поводу его свои мысли.

Былъ однакоже человекъ, который все это время зорко видѣлъ движеніе литературы, правильно цѣнилъ дѣйствовавшіе таланты и понималъ смыслъ ихъ работы. Это былъ Ап. Григорьевъ. Въ 1862 году онъ написалъ двѣ статьи о гр. Толстомъ (см. *Время* 1862, янв. и сент.); а такъ какъ западная критика въ это время продолжала господствовать, то онъ, въ укоръ ей, поставилъ надъ этими статьями заглавіе: *явленія нашей литературы, пропущенныя критикой*. Въ своемъ письмѣ въ редакцію (см. *Эпоха* 1864, авг.) онъ настаивалъ, чтобы непременно статьи шли подъ этимъ заглавіемъ, а надъ первой статьею выставилъ эпиграфъ; *Vox clamantis in deserto*, т. е. *Гласъ вопіющаго въ пустынь!*

VI.

Общія начала критики Ап. Григорьева очнь просты и общезвѣстны, или, по крайней мѣрѣ, должны быть почитаемы общезвѣстными. Это тѣ глубокія начала, которыя за-

вѣщаны намъ нѣмецкимъ идеализмомъ, единственною философіею, къ которой до сихъ поръ должны прибѣгать всѣ, желающіе понимать исторію или искусство. Этихъ началъ держатся, на примѣръ, Ренанъ, Карлейль; эти самыя начала въ послѣднее время съ такимъ блескомъ и съ немалымъ успѣхомъ приложилъ Тэнъ къ исторіи англійской литературы. Такъ какъ нѣмецкая философія, въ силу нашей отзывчивости и слабости нашего самобытнаго развитія, у насъ принялась гораздо раньше, чѣмъ во Франціи или въ Англіи, то немудрено, что нашъ критикъ давно уже держался тѣхъ взглядовъ, которые въ настоящую минуту составляютъ новостъ для Французовъ и впервые успѣшно распространяются между ними.

Въ общихъ чертахъ, какъ мы сказали, взгляды эти просты. Они состоятъ въ томъ, что каждое художественное произведеніе представляетъ отраженіе своего вѣка и своего народа, — что есть существенная неразрывная связь между настроеніемъ народа, его своеобразнымъ душевнымъ складомъ, событіями его исторіи, его нравами, религіею и пр. и тѣми созданіями, которыя производятъ художники этого народа. Принципою національности господствуетъ въ искусствѣ и литературѣ, какъ и во всемъ. Видѣть связь литературы съ племенемъ, которому она принадлежитъ, найти отношеніе между литературными произведеніями и тѣми жизненными элементами, среди которыхъ они явились, — значитъ, понимать исторію этой литературы.

Замѣтимъ здѣсь же существенную разницу, которая отличаетъ Ал. Григорьева отъ другихъ критиковъ, ближайшимъ образомъ, на примѣръ, отъ Тэна. Для Тэна всякое художественное произведеніе есть не болѣе, какъ нѣкоторая *сумма* всѣхъ тѣхъ явленій, подъ которыми оно явилось: свойствъ племени, историческихъ обстоятельствъ и пр. Каждое явленіе есть не болѣе, какъ слѣдствіе предыдущихъ и основаніе послѣдующихъ. Григорьевъ же, вполне признавая эту связь, видѣлъ еще, что всѣ явленія литературы имѣютъ одинъ общій корень, — что всѣ они суть частныя и временныя проявленія одного и того же духа. Въ данномъ народѣ художественныя произведенія представляютъ какъ бы многообразныя попытки

выразить все одно и то же—душевную сущность этого народа; въ цѣломъ же человѣчествѣ они составляютъ выраженіе вѣчныхъ требованій души человѣческой, ея неизмѣнныхъ законовъ и стремленій. Такимъ образомъ, въ частномъ и временномъ мы всегда должны видѣть только обособившееся и воплотившееся выраженіе общаго и неизмѣннаго.

Все это очень просто; эти положенія давно стали, особенно у насъ, ходячими фразами; отчасти сознательно, а большею частію безсознательно, они признаются почти всѣми. Но отъ общей формулы до ея приложенія еще далеко. Какъ бы твердо ни былъ убѣжденъ физикъ, что всякое явленіе имѣетъ свою причину, это убѣжденіе не можетъ быть намъ порукою, что онъ откроетъ причину хотя бы одного, самаго простаго явленія. Для открытія требуется изслѣдованіе, нужно близкое и точное знакомство съ явленіями.

Ап. Григорьевъ, рассматривая новую русскую литературу съ точки зрѣнія народности, видѣлъ въ ней *постоянную борьбу европейскихъ идеаловъ, чуждой нашему духу поэзіи, съ стремленіемъ къ самобытному творчеству, къ созданію чисто русскихъ идеаловъ и типовъ*. Олѣть—мысль въ своемъ общемъ видѣ очень ясная, очень простая и вѣроподобная. Зачатки этого взгляда можно найти у другихъ, у И. Кирѣевскаго, у Хомякова, ясно указывавшихъ на преобладаніе у насъ чуждыхъ идеаловъ, на необходимость и возможность для насъ своего искусства. У Хомякова въ особенности встрѣчаются истинно-глубокомысленныя, поразительно вѣрныя замѣчанія о русской словесности, рассматриваемой съ точки зрѣнія народности. Но это не болѣе, какъ общія замѣчанія, притомъ не чуждыя односторонности. Странное дѣло! Отъ глазъ этихъ мыслителей, въ силу самой высоты ихъ требованій, ускользнуло именно то, что должно бы ихъ всего болѣе радовать; они не видѣли, что борьба своего съ чужеземнымъ уже давно началась,— что искусство, въ силу своей всегдашней чуткости и правдивости, предупредило отвлеченную мысль.

Для того, чтобы видѣть это, недостаточно было глубокихъ общихъ взглядовъ, яснаго теоретическаго пониманія существенныхъ вопросовъ; нужна была непоколебимая вѣра въ

искусство, пламенная страсть къ его произведеніямъ, сліяніе своей жизни съ тою жизнью, которая разлита въ нихъ. Таковъ и былъ Ап. Григорьевъ, человѣкъ до конца своей жизни оставшійся неизмѣнно преданнымъ искусству, не подчинявшій его чуждымъ для него теоріямъ и взглядамъ, а напротивъ—отъ него ждавшій откровеній, въ немъ искавшій *новаго слова*.

Трудно представить себѣ человѣка, у котораго бы его литературное призваніе еще тѣснѣе сливалось съ самою жизнью. Въ своихъ «Литературныхъ Скитальчествахъ» вотъ что онъ говоритъ о своихъ университетскихъ годахъ:

«Юность, настоящая юность, началась для меня поздно, «а это было что то среднее между отрочествомъ и юностію. «Голова работаетъ, какъ паровая машина, скачетъ во всю «прыть къ оврагамъ и безднамъ, а сердце живетъ только «мечтательною, книжною, напускною жизнью. *Точно не я «это живу, а разные образы литературы во мнѣ жи- «вутъ*. На входномъ порогѣ этой эпохи написано: «Москов- «скій университетъ» послѣ преобразованія 1836 года,—уни- «верситетъ Рѣдкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, универ- «ситетъ таинственнаго гегелизма съ тяжелыми его формами «и стремительной, рвущейся неодолимо впередъ силой,—уни- «верситетъ Грановскаго»...

За Московскимъ университетомъ слѣдовалъ Петербургъ и первая эпоха литературной дѣятельности, затѣмъ—опять Москва и вторая эпоха дѣятельности, болѣе важная. Объ ней онъ говоритъ такъ:

«Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая «молодость, съ жаждой настоящей жизни, съ тяжкими уро- «ками и опытами. Новыя встрѣчи, новые люди,—люди, въ «которыхъ нѣтъ ничего или очень мало книжнаго,—люди, «которые «продергиваютъ» въ самихъ себѣ и въ другихъ «все напускное, все подогрѣтое, и носятъ въ душѣ безпри- «тязательно, наивно до безсознательности, вѣру въ народъ и «народность. *Все «народное», даже мѣстное (т. е. Москов- «ское), что окружало мое воспитаніе, все, что я на время «успѣлъ почти заглушить въ себѣ, отдавшись могу- «щественнымъ влѣяніямъ науки и литературы, подни- «мается въ душѣ съ нежданною силою и растетъ, растетъ*

«до фанатической исключительной вѣры, до нетерпимости, до пропаганды...»

Двухгодичное пребываніе за границею, слѣдовавшее за этою эпохою, произвело новый *переломъ* въ душевной и умственной жизни критика.

«Западная жизнь», говоритъ онъ,—«во очію развертывается предо мною чудесами своего великаго прошедшаго, и «вновь дразнить, поднимаетъ, увлекаетъ. *Но не сломилась и въ этомъ живомъ столкновеніи вѣра въ свое, въ народное. Смягчило оно только фанатизмъ вѣры*». (Время 1862, дек.).

Вотъ въ краткихъ чертахъ тотъ процессъ, въ которомъ сложились убѣжденія нашего критика и по окончаніи котораго были имъ написаны первыя статьи о Пушкинѣ. Ап. Григорьевъ пережилъ увлеченіе западными идеалами и возвращеніе къ своему, къ народному, неистребимо жившему въ его душѣ. Поэтому, онъ съ величайшею ясностію видѣлъ въ развитіи нашего искусства всѣ явленія, всѣ фазисы той *борьбы*, о которой мы говорили. Онъ превосходно знаетъ, какъ дѣйствуютъ на душу типы, созданные чужимъ художествомъ,—какъ душа стремится принять формы этихъ типовъ и въ какомъ-то снѣ и броженіи живетъ ихъ жизнью,—какъ вдругъ она можетъ очнуться отъ этого лихорадочно-тревожнаго сна и, оглянувшись на божій свѣтъ, *встряхнуть кудрями и почувствовать себя свяжею и молодою, такою же, какою она была до увлеченія призраками...* Искусство приходитъ затѣмъ въ нѣкоторый разладъ съ самимъ собою; оно то подсмѣивается, то сожалеетъ, то даже впадаетъ въ яркое негодование (Гоголь), но съ непобѣдимую силою обращается къ русской жизни и начинаетъ въ ней искать своихъ типовъ, своихъ идеаловъ

Ближе и точнѣе процессъ этотъ обнаруживается въ тѣхъ результатахъ, которые изъ него получились. Григорьевъ показалъ, что къ чужимъ типамъ, господствовавшимъ въ нашей литературѣ, принадлежитъ почти все то, что носить на себѣ печать *героическаго*,—типы блестящіе или мрачные, но во всякомъ случаѣ сильные, страстные, или, какъ выражался нашъ критикъ, *хищные*. Русская же натура, нашъ душевный

типъ явился въ искусствѣ прежде всего въ типахъ *простыхъ и смиренныхъ*, повидимому, чуждыхъ всего героическаго, какъ Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, Максимъ Максимычъ у Лермонтова и пр. Наша художественная литература представляетъ непрерывную борьбу между этими типами, стремленіе найти между ними правильныя отношенія, — то развѣнчиваніе, то превознесеніе одного изъ двухъ типовъ, хищнаго или смирнаго. Такимъ образомъ, напримѣръ, одна сторона дѣятельности Гоголя сводится А. П. Григорьевымъ на слѣдующую формулу:

«Героическаго нѣтъ уже въ душѣ и жизни: что кажется героическимъ, то въ сущности — Хлестаковское или Поприщинское...»

«Но странно», прибавляетъ критикъ, «что никто не потрудился спросить себя, *какою* именно героическаго нѣтъ больше въ душѣ и въ натурѣ — и въ *какой* натурѣ его нѣтъ? Предпочли нѣкоторые или стоять за героическое, уже осмѣянное (и замѣчательно, что за героическое стояли господа, болѣе склонныя къ практически-юридическимъ толкамъ въ литературѣ), или стоять за натуру».

«Не обратили вниманіе на обстоятельство весьма простое. Со временъ Петра Великаго народная натура примѣривала на себя выдѣланныя формы героическаго, выдѣланныя не ею. Кафтаны оказывались то узокъ, то коротокъ; наплась горсть людей, которые кое-какъ его напялили и стали переважно въ немъ рассказывать. Гоголь сказалъ всѣмъ, что они щеголяютъ въ чужомъ кафтанѣ — и этотъ кафтанъ сидитъ на нихъ, какъ на коровѣ сѣдло. Изъ этого слѣдовало только то, что нуженъ другой кафтанъ по мѣркѣ толщины и роста, а вовсе не то, чтобы вовсе остаться безъ кафтана, или продолжать пилить на себя кафтанъ изношенный» (соч. *А. П. Григорьева*, I, стр. 332).

Что же касается до Пушкина, то онъ не только первый почувствовалъ вопросъ во всей его глубинѣ, не только первый вывалъ во всей правдѣ русскій типъ смирнаго и благодушнаго человѣка, но, въ силу высокой гармоніи своей гениальной натуры, первый же указалъ правильное отношеніе къ хищному типу. Онъ не отрицалъ его, не думалъ его развѣнчивать; какъ примѣры чисто-русскаго страстнаго и силь-

наго типа, Григорьевъ приводилъ Пугачева въ «Капитанской дочкѣ», «Русалку». Въ Пушкинѣ борьба имѣла самый правильный характеръ, такъ какъ его гений ясно и спокойно чувствовалъ себя равнымъ всему великому, что было и есть на землѣ; онъ былъ, какъ выражается Григорьевъ, «заклинатель и властелинъ» тѣхъ многообразныхъ стихій, которыя въ немъ возбуждались чуждыми идеалами.

Вотъ въ краткомъ очеркѣ направленіе Григорьева и тотъ взглядъ, котораго онъ достигъ, слѣдуя этому направленію. Взглядъ этотъ до сихъ поръ сохраняетъ свою силу, до сихъ поръ оправдывается всѣми явленіями нашей литературы. Русскій художественный реализмъ начался съ Пушкина. Русскій реализмъ не есть слѣдствіе оскуднѣнія идеала у нашихъ художниковъ, какъ это бываетъ въ другихъ литературахъ, а напротивъ—слѣдствіе усиленнаго исканія чисторусскаго идеала. Всѣ стремленія къ натуральности, къ строжайшей правдѣ, всѣ эти изображенія лицъ малыхъ, слабыхъ, больныхъ, тщательное уклоненіе отъ преждевременнаго и неудачнаго созданія героическихъ лицъ, казнь и развѣнчиваніе разныхъ типовъ, имѣющихъ притязаніе на героизмъ, всѣ эти усилія, вся эта тяжелая работа, имѣютъ себѣ цѣлью и надеждою—узрѣть нѣкогда русскій идеалъ во всей его правдѣ и въ необманчивомъ величіи. И до сихъ поръ идетъ борьба между нашими сочувствіями къ простому, и доброму человѣку и необходимыми требованіями чего-то высшаго, съ мечтою о могучемъ и страстномъ типѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое «Дымъ» Тургенева, какъ не отчаянная новая схватка художника съ хищнымъ типомъ, который онъ такъ явно хотѣлъ бы заклеить и унизить въ лицѣ Ирины? Что такое Литвиновъ, какъ не типъ смирнаго и простаго человѣка, на сторонѣ котораго, очевидно, всѣ сочувствія художника, и второй однакоже, въ сущности, позорно пасуетъ въ столкновеніи съ хищнымъ типомъ?

Наконецъ, самъ гр. Л. Н. Толстой не явно ли стремится возвести въ идеалъ именно простаго человѣка? «Война и Миръ», эта огромная и пестрая эпопея—что она такое, какъ не апоэозъ смирнаго русскаго типа? Не тутъ ли рассказано, какъ, наоборотъ, хищный типъ спасовалъ передъ смиреннымъ,—

какъ на Бородинскомъ полѣ простые русскіе люди побѣдили все, что только можно представить себѣ самаго героическаго, самаго блестящаго, страстнаго, сильнаго, хищнаго, т. е. Наполеона I и его армію?

Читатели видятъ теперь, что наши отступленія, касавшіяся Пушкина, нашей критики и Ап. Григорьева, были не только умѣстны, а даже совершенно необходимы, такъ какъ все это тѣснѣйшимъ образомъ связано съ нашимъ предметомъ. Скажемъ прямо, что, объясняя *частный* характеръ «Войны и Мира», то есть самую существенную и трудную сторону дѣла, мы не могли бы быть оригинальными, даже если бы этого желали. Такъ вѣрно и глубоко указаны Ап. Григорьевымъ существеннѣйшія черты движенія нашей литературы, и такъ мало мы чувствуемъ себя въ силахъ тягаться съ нимъ въ критическомъ пониманіи.

VII.

Исторія художественной дѣятельности гр. Л. Н. Толстаго, которую всю вплоть до «Войны и Мира» еще засталъ и успѣлъ оцѣнить нашъ единственный критикъ, замѣчательна въ высокой степени. Теперь, когда мы видимъ, что эта дѣятельность привела къ созданію «Войны и Мира», мы еще яснѣе понимаемъ ея важность и характеръ, яснѣе можемъ видѣть и правильность указаній Ап. Григорьева. И обратно, прежнія произведенія гр. Л. Н. Толстаго всего прямѣе приводятъ насъ къ пониманію частнаго характера «Войны и Мира».

Это можно сказать вообще о каждомъ писателѣ; у каждаго есть связь настоящаго съ прошлымъ, и одно другимъ поясняется. Но оказывается, что ни у одного изъ нашихъ художественныхъ писателей эта связь не имѣетъ такой глубины и крѣпости,—что ничья дѣятельность не представляетъ большей стройности и цѣльности, чѣмъ дѣятельность гр. Л. Н. Толстаго. Онъ выступилъ на свое поприще вмѣстѣ съ Островскимъ и Писемскимъ: онъ явился со своими произве-

деніями немногимъ позже Тургенева, Гончарова, Достоевскаго. Но между тѣмъ, какъ всѣ его сверстники по литературѣ давно уже высказались, давно обнаружили наибольшую силу своего таланта, такъ что можно было вполнѣ судить о его мѣрѣ и направленіи, — гр. Л. Н. Толстой все продолжалъ упорно работать надъ своимъ дарованіемъ и вполнѣ развернулъ его силу только въ «Войнѣ и Мирѣ». Это было медленное и трудное созрѣваніе, которое дало тѣмъ болѣе сочный и огромный плодъ.

Всѣ предыдущія произведенія гр. Л. Н. Толстаго суть не болѣе, какъ *этюды*, наброски и попытки, въ которыхъ художникъ не имѣлъ въ виду какого нибудь цѣльнаго созданія, полного выраженія своей мысли, законченной картины жизни, какъ онъ ее понималъ, — а только разработку частныхъ вопросовъ, отдѣльныхъ лицъ, особенныхъ характеровъ, или даже особенныхъ душевныхъ состояній. Возьмите, на примѣръ, рассказъ «Мятель»; очевидно, все пониманіе художника и весь интересъ рассказа сосредоточивается на тѣхъ странныхъ и едва уловимыхъ ощущеніяхъ, которыя испытываетъ человекъ, заносимый снѣгомъ, безпрестанно засыпающій и просыпающійся. Это простой этюдъ съ натуры, подобный тѣмъ этюдамъ, на которыхъ живописцы изображаютъ клочекъ поля, кустарникъ, часть рѣчки при особенномъ освѣщеніи и трудно передаваемомъ состояніи воды и пр. Такой характеръ, въ большей или меньшей степени, имѣютъ всѣ прежнія произведенія гр. Л. Н. Толстаго, даже тѣ, которыя имѣютъ нѣкоторую внѣшнюю цѣльность. «Казаки», на примѣръ, повидимому, представляютъ полную и мастерскую картину жизни казацкой станицы; но гармонія этой картины, очевидно, нарушена тѣмъ огромнымъ мѣстомъ, которое въ ней дано чувствамъ и волненіямъ Оленина; вниманіе автора слишкомъ односторонне направленно въ эту сторону и, вмѣсто стройной картины, выходитъ *этюдъ изъ душевной жизни* нѣкотораго московскаго юноши. Такимъ образомъ, «совершенно органическими, живыми созданіями» Ап. Григорьевъ признавалъ у гр. Л. Н. Толстаго только «Семейное счастье» и «Военные рассказы». Но, теперь, послѣ «Войны и Мира», мы должны измѣнить это мнѣніе. «Военные рассказы», казав-

пиеса критику *вполнѣ-органическими* произведеніями, оказываются, въ сравненіи съ «Войною и Миромъ», тоже не болѣе, какъ этюдами, приготовительными набросками. Остается, слѣдовательно, только одно, «Семейное счастье», романъ, который по простотѣ своей задачи, по ясности и отчетливости ея разрѣшенія, дѣйствительно, составляетъ вполнѣ живое цѣлое. «Это произведеніе—тихое, глубокое, простое и высокопоэтическое, съ отсутствіемъ всякой эффектности, съ прямымъ и неломаннымъ поставленіемъ вопроса о переходѣ чувства страсти въ иное чувство». Такъ говоритъ Ап. Григорьевъ.

Если же это справедливо, если дѣйствительно, за однимъ исключеніемъ. до «Войны и Мира» гр. Л. Н. Толстой дѣлалъ только этюды, то спрашивается, изъ-за чего бился художникъ, какія задачи его задерживали на пути творчества? Легко убѣдиться, что въ немъ все это время происходила нѣкоторая борьба, совершался нѣкоторый трудный душевный процессъ. Ап. Григорьевъ хорошо это видѣлъ и въ своей статьѣ утверждалъ, что этотъ процессъ еще не кончился; мы видимъ теперь, какъ справедливо это мнѣніе: душевный процессъ художника завершился или, по крайней мѣрѣ, значительно созрѣлъ не прежде, какъ съ созданіемъ «Войны и Мира».

Въ чемъ же дѣло? Существенною чертою внутренней работы, происходившей въ гр. Л. Н. Толстомъ, Ап. Григорьевъ считаетъ *отрицаніе* и относить эту работу къ тому *отрицательному процессу*, который начался уже въ Пушкинѣ. Именно—отрицаніе *всего наноснаго, напускнаго въ нашемъ развитіи*,—вотъ что господствовало въ дѣятельности гр. Л. Н. Толстаго вплоть до «Войны и Мира».

Итакъ, внутренняя борьба, совершавшаяся въ нашей поэзіи, получала отчасти новый характеръ, котораго она еще не имѣла во время Пушкина. Критическое отношеніе прилагается уже не просто къ «высокопарнымъ мечтаніямъ», не къ тѣмъ душевнымъ настроеніямъ, когда поэту «казались нужны»

Пустыни, волнъ края жемчужны,
И гордой дѣвы идеаль,
И безымянныя страданья.

Теперь правдивый взгляд поэзии устремленъ уже на самое наше общество, на дѣйствительныя явленія, въ немъ совершающіяся. Въ сущности, впрочемъ, это тотъ же самый процессъ. Люди никогда не жили и никогда не будутъ жить иначе, какъ подъ властью идей, подъ ихъ руководствомъ. Какое бы ничтожное по содержанію общество мы ни вообразили, заправлять его жизнью всегда будутъ нѣкоторыя понятія, можетъ быть, извращенныя и смутныя, но все-таки не могущія утратить своей идеальной природы. Итакъ, критическое отношеніе къ обществу есть въ сущности борьба съ идеалами, которые въ немъ живутъ.

Процессъ этой борьбы ни у кого изъ нашихъ писателей не изложенъ съ такою глубокою искренностію и правдивою отчетливостію, какъ у гр. Л. Н. Толстаго. Герои его прежнихъ произведеній обыкновенно мучатся этою борьбою, и рассказъ о ней составляетъ существенное содержаніе этихъ произведеній. Для примѣра возьмемъ то, что одинъ изъ нихъ, Николай Иртенъевъ, пишетъ въ главѣ, носящей французское заглавіе «*comme il faut*».

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ то время, о которомъ я пишу, было—на людей *comme il faut* и «на *comme il ne faut pas*. Второй родъ подраздѣлялся еще «на людей собственно не *comme il faut* и простой народъ. «Людей *comme il faut* я уважалъ и считалъ достойными «имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, «что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая «къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи «для меня не существовали—я ихъ презиралъ совершенно».

«Мнѣ кажется даже, что ежели бы у насъ былъ «братъ, мать или отецъ, которые бы не были *comme il faut*, я бы сказалъ, что это несчастіе, но что ужасъ тутъ «между мной и ими не можетъ быть ничего общаго».

Вотъ какова можетъ быть сила французскихъ и иныхъ понятій, и вотъ одинъ изъ яркихъ образцовъ той общественной фальши, среди которой росли герои гр. Л. Н. Толстаго.

«Я зналъ и знаю», заключаетъ Николай Иртенъевъ,

«очень, очень много людей *старыхъ, гордыхъ, самоуверенныхъ, рязкихъ въ сужденіяхъ*, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой? И что ты тамъ дѣлалъ?», не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ: *je fus un homme très comme il faut*».

«Эта участь ожидала меня» *)

Вышло, однакоже, совершенно другое, и въ этомъ внутреннемъ поворотѣ, въ томъ тяжкомъ перерожденіи, которое совершаютъ надъ собою эти юноши, заключается величайшая важность. Вотъ что говорить объ этомъ Ап. Григорьевъ:

«Душевный процессъ, который раскрывается намъ въ «Дѣтствѣ и Отрочествѣ» и первой половинѣ «Юности», — процессъ *необыкновенно-оригинальный*. Герой этихъ замѣчательныхъ психологическихъ этюдовъ родился и воспитался «въ средѣ общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она въ сущности не имѣетъ реальнаго бытія, — въ сферѣ, такъ называемой, аристократической, въ сферѣ высшаго свѣта. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина — самый крупный свой фактъ — и нѣсколько болѣе мелкихъ явленій, каковы герои разныхъ великосвѣтскихъ повѣстей. Удивительно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и знаменательно то, что изъ нея, этой узкой сферы, выходитъ, т. е. отрывается отъ нея посредствомъ анализа, герой «разсказовъ Толстаго. Вѣдь не вышелъ же изъ нея, несмотря на весь свой умъ, Печоринъ; не вышли же изъ нея герои «графа Саллогуба и г-жи Евгеніи Туръ!.. А съ другой стороны, становится понятнымъ, когда читаешь этюды Толстаго, какимъ образомъ, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила въ себѣ живую струю «народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать, и временами даже съ нею отождествляться».

Итакъ, внутренняя работа художника имѣла необыкновенную силу, необыкновенную глубину и дала результатъ не

*) Сочиненія гр. Л. Н. Толстаго. Спб. 1864, ч. I, стр. 123.

сравненно высшій, чѣмъ у многихъ другихъ писателей. Зато какая же это была тяжелая и продолжительная работа! Укажемъ здѣсь хотя на главнѣйшія ея черты.

Прежніе герои гр. Л. Н. Толстаго обыкновенно питали въ себѣ очень сильный и совершенно неопредѣленный идеализмъ, т. е. стремленіе къ чему-то высокому, прекрасному, доблестному безъ всякихъ формъ и очертаній. Это были, какъ выражается Ап. Григорьевъ, «идеалы на воздухѣ, созиданіе «сверху, а не снизу,—то, что погубило нравственно и даже «физически Гоголя». Но этими воздушными идеалами герои гр. Л. Н. Толстаго не удовлетворяются, не останавливаются на нихъ, какъ на чемъ-то несомнѣнномъ. Напротивъ, начинается двойная работа: во первыхъ, анализъ существующихъ явленій и доказательство ихъ несостоятельности передъ идеалами; во вторыхъ, *упорное, неутомимое исканіе такихъ явленій дѣйствительности, въ которыхъ бы идеалъ осуществлялся.*

Анализъ художника, направленный къ обличенію всякаго рода душевной фальши, поразителенъ своею тонкостію, и онъ-то преимущественно бросился въ глаза читателямъ. «Анализъ», пишетъ Ап. Григорьевъ, «развивается рано въ «героѣ «Дѣтства», «Отрочества» и «Юности» и подкапывается «глубоко подъ основы всего того условнаго, чѣмъ онъ окруженъ,—того условнаго, что въ немъ самомъ». «Онъ роется «терпѣливо и безпощадно-строго въ каждомъ собственномъ «чувствѣ, даже въ томъ самомъ, которое по виду кажется со «вершено святымъ (глава *Исповѣдь*), — уличаетъ каждое «чувство во всемъ, что въ чувствѣ *сдѣлано*, даже напередъ «ведетъ каждую мысль, каждую дѣтскую или отроческую мечту «до ея крайнихъ граней. Вспомните, напримѣръ, мечты героя «*Отрочества*, когда его заперли въ темную комнату за не- «послушаніе гувернеру. Анализъ въ своей безпощадности за- «ставляетъ душу признаться себѣ въ томъ, въ чемъ стыдно «себѣ самому признаться».

«Та же безпощадность анализа руководитъ героя и въ «*Юности*. Поддаваясь своей условной сферѣ, принимая даже «ея предразсудки, онъ постоянно *казнитъ самого себя* и изъ «этой казни выходитъ побѣдителемъ».

Такимъ образомъ, сущность этого процесса заключается въ «казни, совершаемой имъ надъ всѣмъ фальшивымъ, чисто «сдѣланнымъ въ ощущеніяхъ современнаго человѣка, которыя «Лермонтовъ суевѣрно обоготворилъ въ своемъ Печоринѣ». «Анализъ Толстаго дошелъ до глубочайшаго невѣрія во всѣ «*приподнятыя, необыденныя чувства души человѣческой* «въ извѣстной сферѣ. Онъ разбилъ готовые, сложившіеся, «отчасти чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи».

По отношенію къ такимъ чисто-фальшивымъ явленіямъ, анализъ Толстаго, замѣчаетъ далѣе Ап. Григорьевъ, «правъ «вполнѣ,—правѣе, чѣмъ анализъ Тургенева, иногда, и даже «нерѣдко, кадящій нашимъ фальшивымъ сторонамъ, и съ «другой стороны—правѣе, чѣмъ анализъ Гончарова, ибо *каз- «нитъ во имя глубокой любви къ правдѣ и искренности «ощущеній*, а не во имя узкой бюрократической практич- «ности».

Такова чисто-отрицательная работа художника. Но сущность его таланта обнаруживается гораздо яснѣе въ положительныхъ сторонахъ его работы. Идеализмъ не внушаетъ ему ни презрѣнія къ дѣйствительности, ни вражды къ ней. Напротивъ, художникъ смиренно вѣритъ, что дѣйствительность содержитъ въ себѣ истинно прекрасныя явленія; онъ не довольствуется созерцаніемъ воздушныхъ идеаловъ, существующихъ только въ его душѣ, а упорно ищетъ хотя бы частнаго и неполнаго, но на дѣлѣ во очію существующаго воплощенія идеала. На этомъ пути, по которому онъ идетъ съ неизмѣнной правдивостію и зоркостію, онъ приходитъ къ двумъ выходамъ: или ему—въ видѣ слабыхъ искръ попадаются явленія, большею частію, слабыя и мелкія, въ которыхъ онъ готовъ видѣть осуществленіе своихъ завѣтныхъ думъ, или же онъ не довольствуется этими явленіями, утомляется своими безплодными исканіями и приходитъ въ отчаяніе.

Герои графа Л. Н. Толстаго иногда прямо представлены какъ-будто бродящими по свѣту, по казацкимъ станицамъ, деревнямъ, петербургскимъ шпицъ-баламъ и пр. и старающимися разрѣшить вопросъ: есть ли на свѣтѣ истинная доблесть, истинная любовь, истинная красота души человѣческой? И вообще, начиная даже съ дѣтства, они невольно останав-

ливаютъ свое вниманіе на случайно попадающихся имъ явленійхъ, въ которыхъ имъ открывается какая-то другая жизнь, простая, ясная, чуждая испытываемаго ими колебанія и раздвоенія. Эти явленія они принимаютъ за то, чего искали. «Анализъ», говоритъ Ап. Григорьевъ, «доходя до явленій, ему неподдающихся, передъ ними останавливается. Въ этомъ «отношеніи въ высокой степени замѣчательны главы о *явнѣ*, о *любви Маши къ Василью*, и въ особенности глава о «*юридивомъ*, въ которой анализъ сталкивается съ явленіемъ, «составляющимъ и въ самой народной простой жизни нѣчто «рѣдкое, исключительное, эксцентрическое. Всѣ эти явленія «анализъ противопоставляетъ всему условному, его окружающему».

«Въ *Военныхъ разсказахъ*, въ разсказѣ *Встрѣча въ отрядѣ*, въ *Двухъ гусарахъ*—анализъ продолжаетъ свое дѣло. Останавливаясь передъ всѣмъ, что ему не поддается, «и переходя тутъ—то въ павось передъ громадно-грандіознымъ, какъ Севастопольская эпопея, то въ изумленіе передъ «всѣмъ смиренно-великимъ, какъ смерть Валенчука, или «капитанъ Хлоповъ, онъ безпощаденъ ко всему искусственному и сдѣланному, является ли оно въ буржуазномъ штабс-капитанѣ Михайловѣ, въ кавказскомъ ли героѣ à la Марлинскій, въ совершенно ли ломанной личности юнкера въ «разсказѣ *Встрѣча въ отрядѣ*».

Эта трудная, копотливая работа художника, это упорное исканіе истинно-свѣтлыхъ точекъ въ сплошномъ сумракѣ сѣрой дѣйствительности долго, однакоже, не даетъ никакого прочнаго результата, даетъ только намеки и отрывочныя указанія, а не цѣльный, ясный взглядъ. И часто художникъ утомляется, часто на него находитъ отчаяніе и невѣріе въ то, чего онъ ищетъ, часто онъ впадаетъ въ апатію. Оканчивая одинъ изъ севастиопольскихъ разсказовъ, въ которомъ онъ жадно искалъ и, повидимому, не нашелъ явленій *истинной доблести* въ людяхъ, художникъ съ глубокой искренностію говоритъ:

«*Тяжелое раздумье одолеваетъ меня. Можетъ быть, «не надо было говорить этого, можетъ быть то, что я ска-
«залъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ злыхъ истинъ,*

«которые, безсознательно таясь въ душѣ каждаго, не должны быть высказываемы, чтобы не сдѣлаться вредными, какъ осадокъ вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его».

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? *«Кто злодей, кто герой ея? Въ хороши и въ дурны»* *).

Поэтъ часто и съ удивительною глубиною высказывать свое отчаяніе, хотя этого и не замѣтили читатели, вообще мало расположенные къ подобнымъ вопросамъ и чувствамъ. Такъ, напримѣръ, отчаяніе слышно въ «Люцернѣ», въ «Альбертѣ» и еще раньше—въ «Запискахъ маркера». «Люцернѣ», какъ замѣчаетъ Ап. Григорьевъ, «представляетъ очевидное выраженіе пантеистической скорби за жизнь и ея идеалы, за все сколько-нибудь искусственное и сотланное въ душѣ человеческой». Еще яснѣе и рѣче та же мысль высказана въ «Трехъ смертяхъ». Тутъ смерть дерева является для художника самою нормальною, «Она поставлена сознаниемъ», говоритъ Ап. Григорьевъ, «выше смерти не только развитой барыни, но и выше смерти простаго человѣка». Наконецъ, само «Семейное счастье» выражаетъ, по замѣчанію того же критика, «суровую покорность судьбѣ, не щающей цвѣта человѣческихъ чувствъ».

Такова тяжкая борьба, совершавшаяся въ душѣ поэта, таковы физисы его долгаго и неутомимаго исканія идеала въ дѣйствительности. Немудрено, что посреди этой борьбы онъ не могъ производить стройныхъ художественныхъ созданий,—что его анализъ имѣлъ часто характеръ напряженный до болѣзненности. Только великая художественная сила была причиной, что этюды, порожденные столь глубокою внутреннею работою, сохранили на себѣ печать незыблительной художественности. Художника поддерживало и укрѣпляло высокое стремленіе, съ такою силой высказанное имъ въ концѣ того самаго разсказа, изъ котораго мы выписали его *тяжелое раздумье*.

*) Сочин. гр. Л. Н. Толстаго, т. II, стр. 61.

«Герой моей повести, говорит онъ, *«герой несомненный, которого я люблю всеми силами души, которого «старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда».*

Правда есть лозунгъ нашей художественной литературы; правда руководить ее и въ критическомъ отношеніи къ чужимъ идеаламъ и въ исканіи своего.

Какой же окончательный выводъ изъ этой исторіи развитія таланта гр. Л. Н. Толстаго; исторія столь поучительной и въ такихъ яркихъ и правдивыхъ художественныхъ формахъ лежащей передъ нами въ его произведеніяхъ? Къ чему пришелъ, на чемъ остановился художникъ?

Когда Ап. Григорьевъ писалъ свою статью, гр. Л. Н. Толстой замолкъ на нѣкоторое время, и критикъ приписалъ эту остановку той апатіи, о которой мы говорили. «Апатія», писалъ Ап. Григорьевъ, «ждала непременно на серединѣ такого глубоко-искренняго процесса, но что она не кончилась,—въ этомъ, вѣроятно, никто изъ вѣрующихъ въ силу таланта Толстаго даже не сомневается». Вѣра критика не обманула его, и предсказаніе его оправдалось. Талантъ развернулся со всею своею силою и далъ намъ «Войну и Миръ».

Но куда клонится этотъ талантъ въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ? Какія симпатіи въ немъ выработались и окрѣпли среди его внутренней борьбы?

Уже въ 1859 году Ап. Григорьевъ замѣчалъ, что гр. Л. Н. Толстой не въ мѣру и насильственно стремится опозитизировать типъ Бѣлкина; въ 1862 году критикъ пишетъ:

«Анализъ Толстаго разбить готовые, сложившіеся, отчасти чужіе намъ идеалы, силы, страсти, энергіи. Въ русской жизни онъ видитъ только отрицательный типъ *«простаго и смиреннаго человека»* и привязался къ нему всею душою. Вездѣ слѣдитъ онъ идеалъ простоты душевныхъ движеній: въ горести няни (въ «Дѣтствѣ и Отрочествѣ») о смерти матери героя,—горести, противопоставляемой имъ—нѣсколько эффектной, хотя и глубокой скорби старой графини; въ смерти солдата Валентука, въ честной и про-

«силой храбрости капитана Хлопова, явно превосходящей въ сего плаваха — несомнѣнную же, но крайне эффектную храбрость одного изъ кавказскихъ героев à la Маринскій; въ «покорной смерти простого челоуѣка, противопоставленной смерти — страдающей, но капризно страдающей барыни»».

Вотъ самая существенная черта, самая важная особенность, которою характеризуется художественное міросозерцаніе гр. Л. Н. Толстаго. Понятно, что въ этой особенности заключается и нѣкоторая односторонность. Ап. Григорьевъ находить, что гр. Л. Н. Толстой дошелъ до любви къ смирному типу: *преимущественно по исторіи въ дѣйствіи и типичный типъ*, — что онъ иногда и пересаливаетъ въ своей строгости къ «приводнымъ» чувствамъ. «Немногіе», говоритъ критикъ, «будутъ, напримѣръ, съ нимъ согласны на «счетъ болѣе глубокой нѣжности передъ горемъ старухи-трафимы»».

Пристрастіе къ простому типу, впрочемъ, есть общая черта нашей художественной литературы; поэтому, какъ относительно гр. Л. Н. Толстаго, такъ и вообще относительно нашего искусства имѣетъ огромную важность и заслуживаетъ величайшаго вниманія слѣдующее общее заключеніе критики:

«Не правъ анализъ Толстаго потому, что не придаетъ значенія блестящему *дѣйствительно* и страстному *дѣйствительно* и типичному *дѣйствительно* типу, который и въ природѣ и въ исторіи имѣетъ свое оправданіе, т. е. оправданіе своей возможности и реальности».

«Не только мы были бы народъ весьма не шцдро одаренный природою, если бы мы видѣли свои идеалы въ «однихъ смирныхъ типахъ, — будь это Максимъ Максимычъ, или капитанъ Хлоповъ; даже и смирные типы Островскаго; но пережиты нами съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ типы — чужіе намъ только отчасти, только, можетъ быть, по своимъ формамъ и по своему, такъ сказать, лоску. Пережиты они нами потому собственно, что къ воспринятію нашихъ наша природа столь же способна, какъ и всякая европейская. Не говоря уже о томъ, что у насъ въ исторіи были типичные типы, и не говоря уже о томъ, что *Отечественная Разина* изъ міра *эпическихъ* сказаній народа не вы-

«ослабилъ»; нѣтъ, самые въ чуждой жизни сложившіеся типы «не чужды намъ», и у нашихъ поэтовъ облекались въ своеобразныя формы. Вѣдь, Тургеневскій Василій Лукичъ—XVIII вѣкъ, но русскій XVIII вѣкъ, а ужъ его, напримеръ, страстный и беззаботно-проснѣгающій жизнь Вѣретьевъ—и подавно.

Вотъ тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ мы можемъ судить о *настроѣніи* характерѣ «Войны и Мира». Покойный критикъ поставилъ ихъ ясно, и намъ остается сдѣлать только ихъ приложеніе къ новому произведенію таланта, такъ вѣрно и глубоко имъ понято.

Вотъ тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ мы можемъ судить о *настроѣніи* характерѣ «Войны и Мира». Покойный критикъ поставилъ ихъ ясно, и намъ остается сдѣлать только ихъ приложеніе къ новому произведенію таланта, такъ вѣрно и глубоко имъ понято.

Онъ угадалъ, что апатія и лихорадочная напряженность анализа должны пройти. Онъ миновали совершенно. Въ «Войнѣ и Мирѣ» талантъ вполне владѣетъ своими силами; спокойно распоряжается приобрѣтенными долгою и тяжкаго труда. Какая твердость руки, какая свобода, увѣренность, простая и огнечувствительная ясность въ изображеніи! Для художника, кажется, нѣтъ ничего труднаго, и куда бы ни обратился онъ свой взоръ, въ шалатку Наполеона, или въ верхній этажъ дома Ростовыхъ,—ему все открывается до малѣйшихъ подробностей, какъ будто онъ имѣетъ силу видѣть по своей волѣ во всѣхъ мѣстахъ и то, что есть, и то, что было. Онъ ни перады чѣмъ не останавливается; трудныя сцены, гдѣ въ душѣ борются разнообразныя чувства или пробѣгаютъ едва уловимыя ощущенія, онъ, какъ будто шутя и нарочно, дорисовываетъ до самаго конца, до малѣйшей черточки. Мало того, напримеръ, что онъ съ величайшею правдою изобразилъ намъ безсознательно-геройскія дѣйствія капитана Тушина; онъ еще загнулъ ему въ душу, промолвилъ тѣ слова, которыя тотъ шепталъ, самыя того не замѣчавшя, и т. д. и т. д. Онъ, въ «Войнѣ и Мирѣ», разсказываетъ художникъ, такъ же просто и свободно, какъ будто дѣло идетъ объ обыкновеннѣйшей въ мирѣ вещи; «у него въ головѣ установился свой фантастическій міръ, который составляетъ его наслажденіе въ

«эту минуту. Непріятельскія пушки въ его воображеніи были не пушки, а трубы, изъ которыхъ рѣдкими клубами выпускался дымъ невидимый курильщикъ».

«—Выше, пыхнулъ опять—проговорилъ Тучинъ еще потомъ про себя, въ то время, какъ съ горы выскочилъ валъ клубъ дыма и влѣво плеской отвесился вѣтромъ,—то перь мячикъ жди, отсылать назадъ».

«Звукъ то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрѣлки надъ горою представлялся ему такимъ то дыханіемъ. Онъ прислушивался къ затиханію и разгоранію этихъ звуковъ».

«—Ишь, задыхалась опять, задыхалась, говорилъ онъ про себя. Самъ онъ представлялся себѣ оракомъ роста, мощнымъ мужчиной, который обѣими руками тыряетъ французамъ ядра» (т. I, ч. 2-я, стр. 122).

Итакъ, это—тотъ же тонкій, всепроникающій анализъ, но получившій уже полную свободу и твердость. Мы видимъ, что отсюда вышло. Художникъ спокойно, ясно относится ко всѣмъ своимъ лицамъ и ко всѣмъ чувствамъ своихъ лицъ. Борьбы въ немъ нѣтъ, и онъ—какъ не вооружается усиленно противъ «приподнятыхъ» чувствъ, такъ и не останавливается съ изумленіемъ передъ простыми чувствами. И тѣ, и другія онъ умѣетъ изображать во всей ихъ правдѣ, въ равномъ дневномъ свѣтѣ.

Въ «Ляцернѣ», въ одну изъ минутъ того тоскасто раздумья, о которомъ мы упоминали, художникъ съ отчаяніемъ спрашиваетъ себя: «У кого въ душѣ такъ непоколебимо это мѣрило добра и зла, чтобы онъ могъ мѣрить имъ бѣгущіе факты?»

Въ «Войнѣ и Мирѣ» это мѣрило, очевидно, найдено, имѣется въ полномъ обладаніи художника, и онъ съ увѣренностію измѣряетъ имъ всякіе факты, какіе только вѣдуμαστε взять.

Изъ предыдущаго понятно, однакоже, какіе должны быть результаты этого измѣренія. Все фальшивое, блестящее только но выѣтѣ, беспощадно разоблачается художникомъ. Подъ искусственными, наружно-связанными отношеніями высшего общества онъ открываетъ намъ цѣлую бездну пустоты, низ-

нихъ страстей и чисто-животныхъ влеченій. Напротивъ, все простое и истинное, въ какихъ бы низменныхъ и грубыхъ формахъ оно ни проявлялось, находить въ художникѣ глубокое сочувствіе. Какъ ничтожны и пошлы салоны Анны Павловны Шереръ и Эленъ Безухой, и какой поэзіей обличенъ смиренный бытъ *дядюшки*!

Мы не должны забывать, что семейство Ростовыхъ, хотя они и графы, есть простое семейство русскихъ помещиковъ, тѣсно связанное съ деревнею, сохраняющее весь строй, все преданія русской жизни и только случайно соприкасающееся съ большимъ свѣтомъ. Большой свѣтъ есть сфера, совершенно отъ нихъ отдѣльная, тлетворная сфера, прикосновение которой такъ губительно дѣйствуетъ на Наташу. По своему обыкновению, авторъ рисуетъ эту сферу по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя испытываетъ отъ нея Наташа. Натану живо поражаетъ та фальшь, то отсутствіе всякой естественности, которое господствуетъ въ нарядѣ Эленъ, въ пѣніи Итальянцевъ, въ танцахъ Дюпора, въ декламации Mlle George; но вместе съ тѣмъ пылкую дѣвушку невольно увлекаетъ атмосфера искусственной жизни, въ которой ложь и аффектація составляютъ блестящій покровъ всякихъ страстей, всякой жажды наслажденій. Въ большомъ свѣтѣ мы неминуемо наталкиваемся на французское, на итальянское искусство; идеалы французской и итальянской страстности, столь чуждые русской натурѣ, дѣйствуютъ на нее въ этомъ случаѣ развращающимъ образомъ.

Другое семейство, къ хроникѣ котораго принадлежитъ то, что разсказывается въ «Войнѣ и Мирѣ», семейство Волконскихъ точно также не принадлежитъ къ большому свѣту. Скорѣе можно сказать, что оно *выше* этого свѣта, но во всякомъ случаѣ оно внѣ его. Припомните княжну Марью, не имѣющую никакого подобія свѣтской дѣвушкѣ, припомните враждебное отношеніе старика и его сына къ мадонской княгинѣ Лизѣ, самой очаровательной свѣтской женщинѣ.

Итакъ, несмотря на то, что одно семейство — графское, а другое — княжеское, «Война и Мирѣ» не имѣетъ и тѣни великосвѣтскаго характера. «Великосвѣтскость» нѣкогда очень соблазнила нашу литературу и породила въ ней цѣлый рядъ фальшивыхъ произведеній. Лермонтовъ не успѣлъ освоб-

даться отъ этого увлеченія, которое Ап. Григорьевъ называлъ «болѣзнью моральнаго лакейства». Въ «Войнѣ и Мирѣ» русское искусство явилось совершенно свободнымъ отъ всякаго признака этой болѣзни; эта свобода имѣетъ тѣмъ большую силу, что здѣсь искусство захватило тѣ самыя сферы, гдѣ, повидимому, господствуетъ большой свѣтъ.

Семья Ростовыхъ и семья Болконскихъ, по ихъ внутренней жизни, по отношеніямъ ихъ членовъ,—суть такія же русскія семьи, какъ и всякія другія. Для лицъ той и другой семьи, семейныя отношенія имѣютъ существенную, господствующую важность. Вспомните Печорина, Онегина; у этихъ героевъ нѣтъ семьи, или по крайней мѣрѣ семья не играетъ въ ихъ жизни никакой роли. Они заняты и поглощены своею личною, индивидуальною жизнью. Сама Татьяна, оставаясь вполне вѣрною семейной жизни, не измѣняя ей ни въ чемъ, нѣсколько чуждается ея:

Она въ семьѣ своей родной
Кавалась дѣвочкой чужой.

Но, какъ только Пушкинъ сталъ изображать простую русскую жизнь, напр. въ «Капитанской дочкѣ», семья тотчасъ взяла всѣ свои права. Гриневы и Мироновы являются на сцену, какъ два семейства, какъ люди, живущіе въ тѣсныхъ семейныхъ отношеніяхъ. Но нигдѣ съ такою яркостью и силою не выступала русская семейная жизнь, какъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Юноши, какъ Николай Ростовъ, Андрей Болконскій, живутъ и своею особою, личною жизнью, честолюбіемъ, кутежомъ, любовью и пр.; они часто и надолго отрываются отъ дома своего службою и занятіями, но домъ, отецъ, семья—составляетъ для нихъ святыню и поглощаетъ лучшую половину ихъ думъ и чувствъ. Что касается до женщинъ, княжны Марья, Наташа, онѣ вполне погружены въ сферу семейства. Описание счастливой семейной жизни Ростовыхъ и несчастной—Болконскихъ, со всѣмъ разнообразіемъ отношеній и случаевъ, составляетъ существеннѣйшую и классически-превосходную сторону «Войны и Мира».

Позволимъ себѣ сдѣлать еще одно сближеніе. Въ «Капитанской дочкѣ», какъ и въ «Войнѣ и Мирѣ», изображено

столкновеніе частной жизни съ государственною. Оба художника, очевидно, чувствовали желаніе подсмотреть и показать то отношеніе, въ которомъ русскій человѣкъ находится къ своей государственной жизни. Не въ правѣ ли мы отсюда заключить, что къ числу существеннѣйшихъ элементовъ нашей жизни принадлежитъ двоякая связь: связь съ семействомъ и связь съ государствомъ?

Итакъ, вотъ какая жизнь изображена въ «Войнѣ и Мирѣ»,—не личная эгонистическая жизнь, не исторія индивидуальныхъ стремленій и страданій; изображена жизнь общинная, связанная во всѣхъ направленіяхъ живыми узами. Въ этой чертѣ, намъ кажется, обнаруживается истинно-русскій, истинно-самобытный характеръ произведенія гр. Л. Н. Толстаго.

А что же страсти? Какую роль играютъ личности, характеры въ «Войнѣ и Мирѣ»? Понятно, что страстямъ адѣсь не можетъ ни въ какомъ случаѣ принадлежать первенствующее мѣсто, и что личные характеры не будутъ выдаваться изъ общей картины огромностію своихъ размѣровъ.

Страсти не имѣютъ въ «Войнѣ и Мирѣ» ничего блестящаго, картиннаго. Возьмемъ для примѣра любовь. Это—или простая чувственность, какъ у Пьера въ отношеніи къ женѣ, какъ у самой Эленъ къ ея обожателямъ; или наоборотъ, это—совершенно спокойная, глубоко-человѣчественная привязанность, какъ у Софьи къ Николаю, или какъ постепенно возникающія отношенія между Пьеромъ и Наташею. Страсть, въ чистомъ своемъ видѣ, является только между Наташею и Курагинымъ; и тутъ она—со стороны Наташи представляетъ какое-то безумное опьяненіе и только со стороны Курагина оказывается тѣмъ, что называется *passion* у французовъ, понятіе не русское, но, какъ извѣстно, сильно привившееся къ нашему обществу. Припомнимъ, какъ Курагинъ восхищается своею *богинею*, какъ онъ, «съ приемами знатока, разбираетъ передъ Долоховымъ достоинство ея рукъ, плечь, ногъ и волосъ» (т. III, стр. 236). Не такъ чувствуетъ и выражается истинно-любящій Пьеръ: «она обворожительна», говоритъ онъ о Наташѣ, «а отчего, я не знаю: вотъ все, что можно про нее сказать» (тамъ же, стр. 203).

Точно такъ и всѣ другія страсти, все то, въ чемъ раскрывается отдѣльная личность человѣка, злоба, честолюбіе, мщеніе—все это или проявляется въ видѣ мгновенныхъ вспышекъ, или переходитъ въ постоянныя, но уже болѣе спокойныя отношенія. Вспомните отношенія Пьера къ его женѣ, къ Друбецкому и пр. Вообще, «Война и Миръ» не возводитъ страстей въ идеалъ; надъ этой хроникой, очевидно, господствуетъ *сила въ селю* и столь же очевидно *несправедливость въ страсти*, то есть невѣріе въ ихъ продолжительность и прочность,—убѣжденіе, что какъ бы сильны и прекрасны ни были эти личныя стремленія, они со временемъ поблекнутъ и исчезнутъ.

Что касается до характеровъ, то совершенно ясно, что сердцу художника остались попрежнему неизмѣнно мило типы простые и смиренные,—отраженіе одного изъ любимѣйшихъ идеаловъ нашего народнаго духа. Благодушные и смиренные герои, Тимохинъ, Тушинъ, благодушные и простые люди, княжна Марья, графъ Илья Ростовъ,—обрисованы съ тѣмъ пониманіемъ, съ тою глубокою симпатіею, которая намъ знакома изъ прежнихъ произведеній гр. Л. Н. Толстаго. Но всякій, кто слѣдилъ за прежнею дѣятельностію художника, не можетъ быть не пораженъ тою смѣлостію и свободою, съ которою гр. Л. Н. Толстой сталъ изображать и типы сильные, страстные. Въ «Войнѣ и Мирѣ» художникъ какъ-будто въ первый разъ овладѣлъ тайною сильныхъ чувствъ и характеровъ, къ которымъ прежде всегда относился съ такою недоувѣрчивостію. Белконскіе—отецъ и сынъ уже никакъ не принадлежатъ къ смирному типу. Наташа представляетъ очаровательное воспроизведеніе страстнаго женскаго типа, въ одно время сильнаго, пылкаго и нѣжнаго.

Свою кельбовъ къ кельбому типу художникъ, впрочемъ, заявилъ въ изображеніи цѣлаго ряда такихъ лицъ, какъ Эленъ, Анатоль, Долоховъ, ямщикъ Балага и пр. Все это—натуры по преимуществу хищныя; художникъ отбѣлалъ изъ нихъ представителей зла и разврата, отъ котораго страдаютъ главные лица его семейной хроники.

Но самый интересный, самый оригинальный и мастерской типъ, созданный гр. Л. Н. Толстымъ, есть лицо Пьера

Безухаго. Это, очевидно, сочетаніе обоихъ типовъ, смирнаго и страстнаго, чисто русская натура, одинаково исполненная добродушія и силы. Мягкій, застѣнчивый, дѣтски-простодушный и добрый, Пьеръ по временамъ обнаруживаетъ въ себѣ (какъ говоритъ авторъ) натуру своего отца. Кстати—этотъ отецъ, богатъ и красавецъ Екатерининскаго времени, который въ «Войнѣ и Мирѣ» является только умирающимъ и не произноситъ ни одного слова, составляетъ одну изъ поразительнѣйшихъ картинъ «Войны и Мира». Это вполне—умирающій левъ; до послѣдняго издыханія поражающій могуществомъ и красотой. Натура этого-то льва порой и отзывается въ Пьерѣ. Вспомните, какъ онъ трясетъ за шиворотъ Анатоля, этого буяна, главу повѣсь, дѣлавшихъ штуки, которые обыкновенному человеку давно бы заслужили Сибирь (т. III, стр. 259).

Кановы бы, впрочемъ, ни были сильныя русскіе типы, изображенные гр. Л. Н. Толстымъ, все-таки очевидно, что въ совокупности этихъ лицъ мало блестящаго, дѣятельнаго, и что сила тогдашней Россіи гораздо болѣе опиралась на стойкость смирнаго типа, чѣмъ на дѣйствія сильнаго. Самъ Кутузовъ, величайшая сила, изображенная въ «Войнѣ и Мирѣ»,—не имѣетъ въ себѣ блестящихъ сторонъ. Это—мелителный старикъ, главная мощь котораго обнаруживается въ той легкости и свободѣ, съ которою онъ носитъ на себѣ тяжелое бремя своей опытности. *Терпѣніе и время* его лезунгъ (т. IV, стр. 221).

Самыя двѣ битвы, въ которыхъ съ наибольшей ясностію показаны разиѣры, какихъ можетъ достигать сила русскихъ душъ,—Шенграбенское дѣло и Бородинская битва,—имѣютъ, очевидно, характеръ оборонительный, а не наступательный. По мѣтнію князя Андрея, успѣхомъ при Шенграбенѣ мы обязаны болѣе всего героической стойкости капитана Тушина (т. I, ч. I, стр. 132). Сущность же Бородинской битвы заключалась въ томъ, что атакующая армія французовъ была поражена ужасомъ передъ врагомъ, который, «потерявъ половину войска, стоялъ такъ же ровно въ концѣ, какъ и въ началѣ сраженія» (т. IV, стр. 337). Итакъ, здѣсь повторилось давнишнее замѣчаніе историковъ, что русскіе не

сильны въ нападеніи, но что въ оборонѣ имъ нѣтъ равныхъ на свѣтѣ.

Мы видимъ, слѣдовательно, что все геройство русскихъ сводится на силу типа самоотверженнаго и безтрепетнаго, но нѣтъ смирнаго и простаго. Типъ же истинно блестящій, исполненный дѣятельной силы, страстности, хищности,—очевидно, представляють, и по сущности дѣла должны представлять,—французы со своимъ предводителемъ Наполеономъ. По дѣятельной силѣ и блеску, русскіе ни въ какомъ случаѣ не могли поравняться съ этимъ типомъ, и, какъ мы уже замѣтили, весь разсказъ «Войны и Мира» изображаетъ столкновение этихъ двухъ столь различныхъ типовъ и побѣду типа простаго надъ типомъ блестящимъ.

Такъ какъ мы знаемъ коренное, глубокое нерасположеніе нашего художника къ блестящему типу, то здѣсь именно намъ слѣдуетъ искать пристрастнаго, неправильнаго изображенія; хотя съ другой стороны, пристрастіе, имѣющее столь глубокіе источники, можетъ повести къ безцѣннымъ открытіямъ,—можетъ достигнуть правды, незамѣчаемой равнодушными и холодными глазами. Въ Наполеонѣ художникъ какъ-будто прямо хотѣлъ разоблачить, развѣнчать блестящій типъ,—развѣнчать его въ величайшемъ его представителѣ. Авторъ положительно относится враждебно къ Наполеону, какъ-будто вполнѣ раздѣляя чувства, которыя въ ту минуту витала въ немъ Россія и русская армія. Сравните то, какъ держать себя на Бородинскомъ полѣ Мутузовъ и Наполеонъ. Какая чисте-русская простота у одного и сколько аффектаціи, ломанья, фальши у другого!

При такого рода изображеніи, нами овладѣваетъ невольное недовѣріе. Наполеонъ у г. Л. Н. Толстаго не довольно уменъ, глубоко и даже не довольно страшенъ. Художникъ схватилъ въ немъ все то, что такъ противно русской натурѣ, такъ возмущаетъ ея простые инстинкты; но нужно думать, что эти черты въ своемъ, то-есть французскомъ мірѣ, не представляютъ той неестественности и рѣзкости, какую въ нихъ видятъ русскіе глаза. Должно быть, въ томъ мірѣ была своя красота, свое величіе.

И однакоже, такъ какъ это величіе уступило величію

русского духа, — такъ какъ на Наполеонѣ лежалъ грѣхъ насилія и угнетенія, — такъ какъ доблесть французовъ была, дѣйствительно, помрачена сіяніемъ русской доблести, — то нельзя не видѣть, что художникъ былъ правъ, набрасывая тѣнь на блестящій титъ императора, нельзя не сочувствовать чистотѣ и правильности тѣхъ инстинктовъ, которыми онъ руководился. Изображеніе Наполеона все-таки изумительно вѣрно, хотя мы и не можемъ сказать, чтобы внутренняя жизнь его и его арміи была захвачена въ такой глубинѣ и полнотѣ, въ какой намъ во очію представлена тогдашняя русская жизнь.

Таковы нѣкоторыя черты частной характеристики «Войны и Мира». Изъ нихъ, надѣмся, будетъ ясно по крайней мѣрѣ, сколько чисто-русского сердца положено въ это произведение. Еще разъ каждый можетъ убѣдиться, что настоящія, дѣйствительныя созданія искусства глубочайшимъ образомъ связаны съ жизнью, душою, всею натурою художника; они составляютъ исповѣдь и воплощеніе его душевной исторіи. Какъ созданіе вполне живое, вполне искреннее, проникнутое лучшими и задушевнѣйшими стремленіями нашего народного характера, «Война и Миръ» есть произведеніе несравненное, составляетъ одинъ изъ величайшихъ и своеобразнѣйшихъ памятниковъ нашего искусства. Значеніе этого произведенія въ нашей художественной литературѣ мы выразимъ словами Ап. Григорьева, которыя были сказаны имъ десять лѣтъ тому назадъ и ничѣмъ такъ блистательно не подтверждены, какъ появленіемъ «Войны и Мира»:

Кто не видитъ могучихъ произрастаній тиньковаго, коренного, народного — того природа обдѣлана, враньемъ и вообще чуждымъ.

1869 г. 24 янв.

(Заря 1869, февраль).

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОВОСТЬ

(0, появленні 5-го ерму).

3-го марта появился въ Петербургѣ давно жданный 5-й томъ «Войны и Мира» и производить сильнѣйшее впечатлѣніе. Читатели уже были подготовлены къ этому впечатлѣнію четырьмя предыдущими томами; они уже научились понимать автора, знали его манеру разсказа, были знакомы со всѣми его лицами. И потому пятый томъ, гдѣ гр. Л. Н. Толстой, вслѣдствіе тѣхъ событій, которыя ему пришлось въ немъ разсказывать, долженъ былъ развернуть всю силу своего таланта,—гдѣ ему нужно было сдѣлать новыя и глубочайшія откровенія душевной жизни своихъ героев,—поразилъ читателей съ большою силой, тѣмъ всѣ прежніе томы. Это была капля, переполнившая чашу,—новый восторгъ, тѣмъ болѣе всѣхъ изумившій, что и прежнему восторгу, казалось, не было мѣры. Читатели, глубоко увлеченные и потрясенные прежними томами, не могутъ надивиться, откуда взялась у автора сила—увлечь и потрясти ихъ еще глубже, раскрыть передъ ними еще болѣе серіозныя, еще труднѣе постижимыя тайны жизни и исторіи. Пятымъ томомъ разсказъ не кончается; но уже теперь совершенно ясно, что, каковы бы ни были послѣдующіе томы, и даже будутъ они или нѣтъ,—«Война и Миръ» есть произведеніе *гениальное*, равное всему лучшему и истинно-великому, что произвела русская литература. Каждый читавшій и уразумѣвшій не можетъ не чувствовать, что такая

сцены, какъ свиданіе Наташи съ княземъ Андреемъ, встрѣчи Николая Ростова съ княжною Марьею въ Воронежѣ, смерть князя Андрея, Кутузовъ, получающій вѣсть объ оставленіи Москвы французами, и пр.—суть сцены безсмертныя. Немногія страницы, гдѣ является солдатъ Каратаевъ, имѣющій столь важный смыслъ во внутренней связи цѣлаго разсказа, едва-ли не заслоняютъ собою всю ту литературу, которая была у насъ посвящена изображеніямъ быта и внутренней жизни простаго народа. Однимъ словомъ, съ появленіемъ 5-го тома «Войны и Мира» невольно чувствуется и сознается, что русская литература можетъ причислить *еще одного* къ числу своихъ *великихъ писателей*. Кто умѣетъ цѣнить высокія и строгія радости духа, кто благоговѣетъ передъ гениальностію и любитъ освѣжать и укрѣплять свою душу созерцаніемъ ея произведеній, тотъ пусть порадуется, что живетъ въ настоящее время.

(Заря 1869; мартъ).

V.

Война и Миръ. Сочиненія гр. Л. Н. Толстаго. Томы V и VI.
Москва, 1869.

„Нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ
простоты, доброты и правды“.
Война и Миръ, т. VI, стр. 62.

I.

Наконецъ, великое произведеніе кончено. Наконецъ, оно передъ нами, оно навсегда наше, и исчезли всякія наши волненія. Въ то время, какъ гр. Л. Н. Толстой, какъ-будто замедливъ окончаніемъ своего труда, мы невольно мучились страхомъ и надеждой. Художникъ, какъ мы видимъ теперь, спокойно и увѣренно продолжалъ свою работу; твердою рукою онъ доканчивалъ ея послѣднія части; но мы, простые смертные, съ невольнымъ замираніемъ сердца ждали совершенія таинственнаго дѣла. Мы дивились до изумленія, какъ могла творческая сила, не ослабѣвая ни на минуту, дѣйствовать въ такихъ громаднѣхъ размѣрахъ и, еще не сумѣвъ понять всего величія открывшихся передъ нами силъ, не успѣвъ привыкнуть къ этому величію, малодушно страшились за окончаніе великаго и безцѣннаго дѣла. Самыя нехѣныя опасенія приходили намъ въ голову.

Но, наконецъ, картина готова, и вся передъ нами. Красота ея открывается съ новою, съ поразительною силой. Только теперь всѣ подробности заняли свое надлежащее мѣсто, ясно обозначился центръ, ясно выступили calorité судѣбныхъ частей, и, обнимая картину однимъ взглядомъ,

мы можем отчетливо видѣть ея общее освѣщеніе, связь всѣхъ ея фигуръ и неотразимую мысль, которая составляетъ душу всего произведенія, которая даетъ ему полное единство, полную жизнь. Всмотритесь, вчитайтесь, попробуйте обозрѣть весь рассказъ, какъ одно цѣлое, — впечатлѣніе будетъ усиливаться и возрастать по мѣрѣ вашего вниманія и изученія.

Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не представляетъ намъ ни одна литература. Тысячи лицъ, тысячи сценъ, всевозможныя сферы государственной и частной жизни, исторія, война, всѣ ужасы, какіе есть на землѣ, всѣ страсти, всѣ моменты человѣческой жизни, отъ крика новорожденнаго ребенка до послѣдней вспышки чувства умирающаго старика, всѣ радости и горести, доступныя человѣку, всевозможныя душевныя настроенія, отъ ощущеній вора, укравшаго червонецъ у своего товарища, до высочайшихъ движеній героизма и думъ внутренняго просвѣтленія, — все есть въ этой картинѣ. А между тѣмъ, ни одна фигура не заслоняетъ другой, ни одна сцена, ни одно впечатлѣніе не мѣшаютъ другимъ сценамъ и впечатлѣніямъ, все на мѣстѣ, все ясно, все раздѣльно и все гармонируетъ между собою и съ цѣлымъ. Подобнаго чуда въ искусствѣ, притомъ чуда, достигнутаго самыми простыми средствами, еще не бывало на свѣтѣ. Эта простая и въ то же время новообразно-искусная группировка не есть дѣло вѣчныхъ соображеній и прилаживаній; она могла быть только плодомъ гениальнаго прозрѣнія, которое однимъ взглядомъ, простымъ и яснымъ, объемлетъ и проникаетъ все многообразное теченіе жизни.

Резииво осматриваямъ мы наше современище, это несомнѣнное богатство нашей литературы, честь и украшеніе ея современнаго періода! Нѣтъ ли гдѣ недостатковъ? Нѣтъ ли пропусковъ, противорѣчій? Нѣтъ ли какихъ-нибудь важныхъ несовершенствъ, за которыя мы, конечно съ избыткомъ были бы вознаграждены сильными сторонами «Войны и Мира», но которыя намъ все-таки больно было бы видѣть въ этомъ произведеніи? Нѣтъ, нѣтъ ничего, что могло бы помѣшать полной радости, что смущало бы наше вострогъ. Всѣ лица выдержаны, всѣ стороны дѣла хвалены, и художникъ до послѣдней сцены не отступилъ отъ своего безмѣрно широкаго

плана, не опустил ни одного существеннаго момента и довелъ свой трудъ до конца безъ всякаго признака измѣненія въ тонѣ, взглядѣ, въ приѣмахъ и силѣ творчества. Дѣло по истинѣ изумительное!

Для ясности попробуемъ сдѣлать коротенькій очеркъ двухъ послѣднихъ томовъ.

Пятый томъ содержитъ занятіе Москвы французами и все время ихъ пребыванія въ ней. Шестой—бѣгство французовъ и эпилогъ—развязку всѣхъ событій, государственныхъ и частныхъ. Надъ пятымъ томомъ царить ужасъ, а надъ шестымъ, несмотря на всѣ его мрачныя картины, уже носится вѣяніе мира, уже ясно, что все стихаетъ, борьба кончена и скоро наступитъ обыкновенное теченіе жизни.

Пятый томъ, начинающійся совѣтомъ въ Филяхъ, на которомъ рѣшено было отдать Москву, и оканчивающійся сценою, когда Кутузовъ получаетъ извѣстіе о выступленіи французовъ изъ столицы, поразителенъ изображеніемъ того страшнаго удара, который былъ нанесенъ русскимъ душамъ потерей Москвы. Люди потерялись, опалѣли, обезумѣли отъ жестокаго потрясенія. Растопчинъ, Пьеръ, посѣтители питейнаго дома на Варваркѣ,—все потеряли голову, все чувствовали и дѣйствовали подъ давленіемъ неописаннаго ужаса. Самъ Кутузовъ, до конца вѣрившій и ни разу не колебавшійся, задумался, какъ никогда онъ не задумывался. Главное лицо пятаго тома, Пьеръ, на которомъ всего яснѣе отражается нравственный процессъ, совершавшійся въ русскихъ душахъ, своими похождениями всего лучше изображаетъ чувства, овладѣвшія тогда всѣми. Его бѣгство изъ своего дворца, переодѣваніе, попытка убить Наполеона, и пр., все свидѣлствуетъ о глубокомъ душевномъ потрясеніи, о страстномъ желаніи—такъ или иначе раздѣлить бѣдствія своей родины, страдать тогда, когда всѣ страдаютъ. Онъ, наконецъ, добивается своего и въ плѣну—успокаивается. Въ плѣну онъ сливается съ массою престонародныхъ лицъ, и въ этой массѣ встрѣчаетъ человѣка, который всего яснѣе, всего глубже показываетъ ему силу и красоту русскаго народа,—Платона Каратаева. Убѣжавши съ Бородинскаго поля, Безухій размышлялъ такъ: «Какъ ужасенъ страхъ, и какъ позорно я отдался! А

«они... они все время до конца были тверды, спокойны»... Они «въ понятіи Пьера были солдаты, тѣ, которые были на ба-старей, и тѣ, которые его кормили, и тѣ, которые молились «на икону. Они—эти странные, невѣдомые ему доселѣ, «они ясно и рѣзко отдѣлялись въ его мысли отъ дру-гихъ людей» (стр. 35, т. V). Затѣмъ во снѣ ему видится масонъ-благодѣтель, говорящій о добрѣ, о возможности быть тѣмъ, чѣмъ были они. «И они со всѣхъ сторонъ, съ свои-ми простыми, добрыми лицами, окружили благодѣтеля». Такъ образъ народа съ неизгладимой силою отпечатлѣлся въ душѣ Пьера на Бородинскомъ полѣ. Но это впечатлѣніе еще разъ, съ болѣею силою, въ болѣе конкретныхъ формахъ, повторилось для Пьера тогда, когда онъ всего способнѣе былъ его принять,—въ плѣну, среди величайшихъ страданій. «Пла-тонъ Каратаевъ», говоритъ авторъ, «остался навсегда въ душѣ Пьера самымъ сильнымъ и дорогимъ воспоминаніемъ «и олицетвореніемъ всего русскаго, добраго и круглаго» (тамъ же, стр. 233). Въ лицѣ Каратаева Пьеръ видѣлъ то, какъ русскій народъ мыслить и чувствуетъ при самыхъ крайнихъ бѣдствіяхъ, какая великая вѣра живетъ въ его простыхъ сердцахъ. Душевная красота Каратаева поразительна, выше всякой похвалы. Вспомнимъ, какъ долго наша литература занималась простымъ народомъ, сколько попытокъ было сдѣ-лано, чтобы уловить его духъ и силу, сколько подобныхъ по-пытокъ есть у самого гр. Л. Н. Толстаго. Вся эта литера-тура, всѣ эти попытки превзойдены и навсегда заслонены несравненною фигурою Каратаева, показывающею, какъ глу-боко овладѣлъ художникъ труднѣйшими задачами, волновав-шими цѣлый литературный періодъ, и его самого вмѣстѣ съ другими.

Итакъ, внутренній смыслъ пятаго тома сосредоточенъ на Пьерѣ и Каратаевѣ, какъ на лицахъ, которыя, страдая вмѣ-стѣ со всѣми, но оставаясь безъ дѣйствія, имѣли возможность продумать и выносить въ душѣ впечатлѣніе великаго общаго бѣдствія. Для Пьера глубокій душевный процессъ окончился нравственнымъ обновленіемъ; Наташа говоритъ, что Пьеръ морально очистился, что плѣнъ былъ для него нравственною банею (т. VI, стр. 136). Каратаеву нечему было учиться; онъ

словомъ и дѣломъ училъ другихъ, и умеръ, запѣщавъ свой духъ Пьеру.

Рядомъ съ этими событіями внутренней духовной жизни стоятъ въ пятомъ томѣ всякаго рода внѣшнія событія. Отъѣздъ Ростовыхъ, хлопоты и порыванія Растопчина, убійство Верецагина, капитанъ Рамбаль со своими разсказами, Мишо, доносящій Царю о взятіи Москвы, разстрѣливаніе русскихъ поджигателей и т. д. Всѣ эти сцены съ изумительною живостію рисуетъ намъ ходъ всего дѣла въ эту тяжелую эпоху, тогдашнюю жизнь Москвы, Россіи, отъ Паря до послѣдняго солдата.

Но творчество нашего художника достигаетъ своей высшей силы тамъ, гдѣ оно касается вѣчныхъ, непреходящихъ интересовъ души человѣческой. Участіе князя Андрея въ общихъ дѣлахъ кончилось на Бородинскомъ полѣ, гдѣ онъ былъ смертельно раненъ. Ему предстояли теперь уже однѣ частныя его дѣла—свиданіе съ Наташею и смерть. Изображеніе этого свиданія и внутренняго просвѣтленія, испытаннаго княземъ Андреемъ передъ смертію, есть верхъ художественнаго совершенства, дѣйствительное откровеніе тайнъ человѣческаго сердца, потрясающее насъ своею неизмѣримою глубиною. Другой разсказъ не менѣе поразителенъ. Въ пятомъ же томѣ разсказывается, какъ среди всеобщихъ бѣдствій завязалась любовь между княжною Марьею и Николаемъ Ростовымъ. Чистота и нѣжность этихъ отношеній невыразимы, безконечны. Невольно изумляешься тому, какъ просты и вмѣстѣ, какъ чисты оба эти существа, какой ясный свѣтъ можетъ горѣть въ самыхъ обыкновенныхъ людяхъ. Итакъ, князь Андрей—умираетъ, Николай Ростовъ влюбляется въ свою будущую жену, Пьеръ страдаетъ—вся гамма человѣческой жизни еще разъ взята художникомъ въ пятомъ томѣ.

Шестой томъ—развязка,—конецъ страшныхъ событій и начало новой жизни. Характеръ отступленія французской арміи и образъ дѣйствій нашихъ войскъ показанъ съ такою же ясностію и вѣрностію, какъ и смыслъ Бородинской битвы и значеніе гибели Москвы для насъ и для французовъ. Событія идутъ быстро, но не опущено ничего, требуемаго полнотою картины. Обрисована партизанская война, положеніе бѣ-

гущихъ французовъ, жестокость однихъ русскихъ, благодушіе другихъ, «чувство величественнаго торжества въ соединеніи «съ жалостью къ врагамъ и сознаніемъ своей правоты», какъ говоритъ авторъ (т. VI, стр. 91). Наконецъ, Кутузовъ, подобно тому, какъ въ пятомъ томѣ, является въ началѣ, «когда уже стало ясно, что непріятель вездѣ бѣжитъ» (стр. 88), и въ концѣ, когда онъ въ Вильнѣ выслушиваетъ выговоръ Государя (стр. 107).

Мы видимъ при этомъ, какъ погибали юноши (смерть Пети Ростова), какъ невѣсты горевали объ женихахъ и сестры о братьяхъ (Наташа и княжна Марья о князѣ Андрѣ), какъ матери убивались объ дѣтяхъ (графиня Ростова объ Петѣ). Когда же кочилась война, наступаютъ свиданія въ Москвѣ тѣхъ лицъ, которыя были разлучены войною, начинаются рассказы и разпросы, завязываются новыя отношенія и начинается новая жизнь.

Внутренній смыслъ хроники заканчивается послѣдними поученіями, преподаваемыми Пьеру его собственными страданіями и предсмертными рѣчами и смертью Каратаева. Живо и глубоко изображаетъ художникъ обновленіе Пьера. Въ этомъ обновленіи олицетворено обновленіе всей Россіи, то раскрытіе духовныхъ силъ, которое должно было послѣдовать за испытаніями и борьбою. Для Пьера, какъ и для Россіи, начался новый, лучшій періодъ. Очистившійся, укрѣпленный и просвѣтленный страданіемъ, Пьеръ заслуживаетъ любовь Наташи и испытываетъ все счастье, къ какому только способенъ.

Тутъ опять художникъ вступаетъ въ область неизмѣнныхъ, непреходящихъ интересовъ человѣческой жизни, и опять поднимается до высоты удивительной и несравненной. Онъ рисуетъ намъ двѣ семьи, двѣ новыя семьи, сложившіяся подъ вліяніемъ всѣхъ рассказанныхъ имъ событій и составляющія какъ бы вѣнецъ дѣла, какъ бы плодъ на одной изъ безчисленныхъ вѣтокъ дерева, выдержавшаго благотворную бурю,—Россіи. Никогда еще не было на свѣтѣ подобнаго описанія русской семьи, т. е. самой лучшей изъ всѣхъ семей на свѣтѣ. Любовь между мужемъ и женою въ полномъ разцвѣтѣ ихъ силъ, чистая, нѣжная, твердая, неизблемо глубо-

кая,—въ первый разъ изображена намъ во всей ея высокой силѣ и безъ единой прикрасы.

Картина двухъ новыхъ семействъ удивительно гармонически заканчиваетъ всю хронику. Когда начинался рассказъ, передъ нами открывались два семейства, уже давно сложившіяся,—семейство Болконскихъ, въ которомъ были взрослые сынъ и дочь, и семейство Ростовыхъ, въ которомъ Николай былъ еще студентомъ, а Наташѣ было двѣнадцать лѣтъ. Черезъ пятнадцать лѣтъ (таковъ періодъ обнимаемый хроникой), передъ нами являются двѣ молодые семьи съ маленькими дѣтьми. Съ гениальнымъ тактомъ художникъ началъ свою семейную хронику съ людей настолько взрослыхъ, что мы можемъ ими заинтересоваться, и кончилъ картинами, въ которыхъ даже грудныя дѣти намъ бесконечно милы, такъ какъ принадлежатъ къ семействамъ, съ которыми мы жили во время разсказа.

Полная картина человѣческой жизни.

Полная картина тогдашней Россіи.

Полная картина того, въ чемъ люди полагаютъ свое счастье и величіе, свое горе и униженіе.

Вотъ что такое «Война и Миръ».

II.

Но какой же смыслъ великаго произведенія? Нельзя ли въ короткихъ словахъ изобразить существенную мысль, разлитую въ этой огромной эпопее, указать на ту душу, для которой всѣ подробности разсказа составляютъ только воплощеніе, а не сущность?

Дѣло трудное. Скажемъ здѣсь нѣсколько словъ по этому поводу, для разъясненія кое-какихъ недоразумѣній.

«Война и Миръ» испытываетъ на себѣ судьбу всего истинно-великаго. Истинно-великое часто вовсе не признается людьми; иногда оно увлекаетъ ихъ, покоряетъ ихъ своей силѣ; но не понимается оно почти всегда, почти безъ всякаго исключенія. Обыкновеннѣйшій ходъ дѣла таковъ, что люди чувствуютъ величіе, но его не понимаютъ. Такъ

это было съ Пушкинымъ въ послѣднюю эпоху его дѣятельности; такъ это продолжается съ Пушкинымъ до сихъ поръ, несмотря на удивительнѣйшій прогрессъ, который мы у себя сочинили; такъ это случилось, и необходимо должно было случиться, и съ «Войною и Миромъ». Неотразимая прелесть художественнаго разсказа всѣхъ поразила, всѣхъ покорила; но въ то же время обнаружилось повальное недоумѣніе, совершенная неспособность понять самый смыслъ произведенія. Читатели, подобно *черни* въ стихотвореніи Пушкина, никакъ не могли рѣшить вопросъ:

Зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ?
Напрасно ухо поражая,
Къ какой онъ цѣли насъ ведетъ?
О чемъ бренчить? Чему насъ учить?
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучить
Какъ своеправный чародѣй?

Можно сказать, что «Война и Миръ» есть самое непонятное изъ всѣхъ произведеній русской литературы, столь же непонятное, какъ самъ Пушкинъ.

Но что же тутъ мудренаго, и какъ же иначе могло быть? Чѣмъ выше явленіе само по себѣ, тѣмъ оно труднѣе для пониманія. Въ отношеніи къ «Войнѣ и Миру» нельзя даже сваливать всю вину на дурное состояніе нашей литературы и вообще нашихъ читателей; главная вина непониманія и недоумѣнія заключается въ той страшной высотѣ, на которую поднялся гр. Л. Н. Толстой и которая недоступна для большинства.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, «Война и Миръ» подымается до высочайшихъ вершинъ человѣческихъ мыслей и чувствъ, до вершинъ, обыкновенно недоступныхъ людямъ. Вѣдь, гр. Л. Н. Толстой есть поэтъ въ старинномъ и наилучшемъ смыслѣ этого слова; онъ носитъ въ себѣ глубочайшіе вопросы, къ какимъ только способенъ человѣкъ; онъ прозрѣваетъ и открываетъ намъ сокровеннѣйшія тайны жизни и смерти. Какъ вы хотите, чтобы его поняли люди, для которыхъ подобныхъ вопросовъ вовсе не существуетъ, и которые такъ тупы, или, если хотите, такъ умны, что никакихъ тайнъ ни въ себѣ,

ни вокругъ себя не находятъ? Смыслъ исторiи, сила народовъ, таинство смерти, сущность любви, семейной жизни и т. п.—вотъ, вѣдь, предметы гр. Л. Н. Толстаго. Что же? Развѣ всѣ эти и подобные предметы—такія легкія вещи, что ихъ можетъ понимать первый попавшійся человѣкъ? Развѣ есть что-нибудь мудреное въ томъ, что для пониманія ихъ у многихъ и многихъ не хватаетъ ни ширины ума, ни жизненнаго опыта.

Если мы только сообразимъ обыкновенное умственное состояніе не столько простыхъ читателей, сколько, главнымъ образомъ, «цѣнителей и судей», то мы перестанемъ удивляться кривымъ и пустымъ толкамъ, которыми было встрѣчено произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, и которые будутъ, конечно, раздаваться около него еще нескончаемые годы. Есть, вѣдь, множество людей, которые никогда не мыслили и не чувствовали, а только всю жизнь прикидываются мыслящими и чувствующими. Всю жизнь они, собственно говоря, мошеничаютъ, то есть постоянно обманываютъ другихъ, надѣвая на себя маску мыслей и чувствъ, которыхъ вовсе не имѣютъ. Многіе изъ нихъ даже вовсе не вѣрятъ, что на свѣтѣ существуетъ мысль и чувство, и простодушно считаютъ людей мыслящихъ и чувствующихъ за такихъ же обманщиковъ, какъ они сами. Они судятъ какъ Пандалевскій (благодаримъ васъ, г. Тургеневъ), который, послушавъ Рудина, призналъ его въ глубинѣ души только «очень ловкимъ человѣкомъ», т. е. гораздо ловчѣе себя (соч. Тург. т. III, стр. 274).

И такіе люди судили, судятъ и будутъ судить о «Войнѣ и Мирѣ».


Есть другой болѣе современный типъ «судей», также очень распространенный и игравшій даже важнѣйшія роли въ нашемъ прогрессѣ. Это люди—чрезвычайно тупые и въ то же время чрезвычайно самоувѣренные. Не имѣя ни ума, ни сердца, они, однакоже, воображаютъ себя все понимающими, способными сочувствовать всему хорошему. Самолюбіе ихъ такъ велико и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ слѣпо и простодушно, что имъ кажется смѣшнымъ и обиднымъ, когда что-нибудь становится выше ихъ. Они питаютъ самую дѣтскую, са-

мую заразительную увѣренность, что для ихъ образованія и ихъ ума все доступно, все понятно. Первое слѣдствіе отсюда то, что они съ полной важностію, съ неописаннымъ увлеченіемъ и жаромъ проповѣдываютъ величійшія пошлости, сообразныя мелкости ихъ ума и сердца. Второе слѣдствіе— что все, чего они не понимаютъ, они признаютъ за совершенную глупость.

И такіе люди судили, судягъ и будутъ судить о «Войнѣ и Мирѣ».

Говорить ли о множествѣ другихъ? Большою частью, повѣя, наука, всѣ области мысли и творчества являются людямъ какимъ-то дремучимъ и безпредѣльнымъ лѣсомъ, въ которомъ они, боясь заблудиться, ходятъ только по тропинкамъ, уже протоптаннымъ другими, а чаще всего держатся большой, давно изъѣженной дороги. Большою частью, люди, для собственнаго удобства и собственной безопасности, смотрятъ въ землю, а не на небо, замѣчаютъ только то, что приходится по ихъ росту, успѣваютъ разглядѣть на своемъ жизненномъ пути только подножія великихъ явленій нравственнаго міра и никогда не становятся на точку зрѣнія, съ которой бы ясно открывались истинные размѣры этихъ явленій. А если люди и попадались случайно на такую точку, то они слишкомъ близоруки, чтобы видѣть то, что открывается передъ ними.

Какъ бы то ни было, безмѣрная высота «Войны и Мира» необходимо должна была повести къ непониманію. Въ нашей молодой и слишкомъ быстро движущейся литературѣ еще мало распространено понятіе о тѣхъ опасностяхъ, которыя предстоятъ людямъ, публично объявляющимъ свои мысли. «Война и Миръ» естественно должна была стать камнемъ преткновенія для тѣхъ, кто брался судить объ этомъ произведеніи. Многимъ суждено было по этому случаю собственными руками наложить на свой лобъ клеймо тупости и непонятливости, соединенной съ самодовольствомъ и дерзостію. Постараемся же избѣжать подобнаго позора и быть почтительными и понятливыми, сколько можемъ.



III.

Итакъ, какой же смыслъ «Войны и Мира»?

Всего яснѣе, намъ кажется, этотъ смыслъ выражается въ тѣхъ словахъ автора, которыя мы поставили эпиграфомъ: «Нѣтъ величія», говоритъ онъ, «тамъ, гдѣ нѣтъ *простоты, добра и правды*».

Задача художника состояла въ томъ, чтобы изобразить истинное величїе, какъ онъ его понимаетъ, и противопоставить его ложному величїю, которое онъ отвергаетъ. Эта задача выразилась не только въ противопоставленіе Кутузова и Наполеона, но и во всѣхъ малѣйшихъ подробностяхъ борьбы, вынесенной цѣлою Россією, въ образъ чувствъ и мыслей каждаго солдата, во всемъ нравственномъ мірѣ русскихъ людей, во всемъ ихъ бытѣ, во всѣхъ явленіяхъ ихъ жизни, въ ихъ манерѣ любить, страдать, умирать. Художникъ изобразилъ со всею ясностію, въ чемъ русскіе люди полагаютъ человѣческое достоинство, въ чемъ тотъ идеалъ величія, который присутствуетъ даже въ слабыхъ душахъ и не оставляетъ сильныхъ даже въ минуты ихъ заблужденій и всякихъ нравственныхъ паденій. Идеалъ этотъ состоитъ, по формулѣ данной самимъ авторомъ, въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Простота, добро и правда побѣдили въ 1812 году силу, не соблюдавшую простоты, исполненную зла и фальши. Вотъ смыслъ «Войны и Мира».

Другими словами — художникъ далъ намъ новую, русскую формулу героической жизни, ту формулу, подъ которую подходитъ Кутузовъ и подъ которую никакъ не можетъ подойти Наполеонъ. О Кутузовѣ авторъ прямо говоритъ: «*Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла уলেখся въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія*» (т. VI, стр. 88). Но то же самое слѣдуетъ разумѣть обо всѣхъ русскихъ людяхъ, обо всѣхъ фигурахъ, выведенныхъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Ихъ чувства, мысли и желанія, насколько въ нихъ есть героическаго, насколько въ нихъ проявляется стремленіе къ героическому и пониманіе героическаго, не укладываются въ тѣ чужія и лживыя фор-

мы, которыя созданы Европою. Весь русскій душевный строй *проще, скромнѣе*, представляетъ ту гармонію, то равновѣсіе силъ, которыя одни согласны съ истиннымъ впечатлѣніемъ, и нарушеніе которыхъ мы ясно чувствуемъ въ величіи другихъ народовъ. Обыкновенно насъ плѣняютъ и долго еще будутъ плѣнять блескъ и мощь тѣхъ формъ жизни, которыя создаются силами, не соблюдающими гармоніи, вышедшими изъ взаимнаго равновѣсія. Этихъ яркихъ формъ всякаго рода страстей, всякаго рода душевныхъ напряженій, разрастающихся до ослѣпляющаго величія, — много создала Европа, много создалъ древній миръ. Мы, младшій изъ великихъ народовъ, невольно увлекаемся этими формами чуждой жизни; но въ глубинѣ души у насъ хранится другой, своеобразный идеалъ, въ сравненіи съ которымъ часто меркнутъ и являются безобразіемъ — воплощенія въ дѣйствительности и искусствѣ идеаловъ, несогласныхъ съ нашимъ душевнымъ строемъ.

Чисто-русскій героизмъ, чисто-русское героическое во всевозможныхъ сферахъ жизни, — вотъ что далъ намъ гр. Л. Н. Толстой, вотъ главный предметъ «Войны и Мира». Если мы оглянемся на нашу прошлую литературу, то намъ будетъ ясно, какую огромную заслугу оказалъ намъ художникъ, и въ чемъ состоитъ эта заслуга. Основатель нашей самобытной литературы, Пушкинъ, одинъ только въ своей великой душѣ носилъ сочувствіе всѣмъ родамъ и видамъ величія, всѣмъ формамъ героизма, почему и могъ онъ постигнуть русскій идеалъ, почему и могъ стать основателемъ русской литературы. Но въ его дивной повѣи этотъ идеалъ проступалъ только чертами, только указаніями, безошибочными и ясными, но неполными и неразвитыми.

Явился Гоголь и не совладать съ безмѣрною задачею. Раздался плачъ по идеалъ, полились «сквозь видимый міру смѣхъ незримыя слезы», свидѣтельствовавшія, что художникъ не хочетъ отказаться отъ идеала, но и не можетъ достигнуть его воплощенія. Гоголь сталъ отрицать эту жизнь, которая такъ упорно не выдавала ему своихъ положительныхъ сторонъ. «Нѣтъ у насъ героическаго въ жизни; мы всѣ или Хлестаковы, или Поприцины» — вотъ заключеніе, къ которому пришелъ несчастный идеалистъ.

Задача всей литературы послѣ Гоголя состояла только въ томъ, чтобы отыскать русскій героизмъ, сгладить то отрицательное отношеніе, въ которомъ сталъ къ жизни Гоголь, уразумѣть русскую дѣйствительность болѣе правильнымъ, болѣе широкимъ образомъ, чтобы не могъ отъ насъ укрыться тотъ идеалъ, безъ котораго народъ такъ же не могъ бы существовать, какъ тѣло безъ души. Для этого требовалась тяжкая и долгая работа, и ее-то сознательно и бессознательно несли и совершали всѣ наши художники.

Но первый разрѣшилъ задачу гр. Л. Н. Толстой. Онъ первый одолѣлъ всѣ трудности, выносилъ и побѣдилъ въ своей душѣ процессъ отрицанія и, освободившись отъ него, сталъ творить образы, воплощающіе въ себѣ положительныя стороны русской жизни. Онъ первый показалъ намъ въ неслыханной красотѣ то, что ясно видѣла и понимала только безупречно-гармоническая, всему великому доступная душа Пушкина. Въ «Войнѣ и Мирѣ» мы опять нашли свое героическое, и теперь его уже никто отъ насъ не отниметъ.

Попробуемъ частнѣе и опредѣленнѣе указать, что сдѣлано гр. Л. Н. Толстымъ. Не вся задача рѣшена, не вся широкая область русской души исчерпана гр. Л. Н. Толстымъ, но та половина задачи, которая въ настоящую минуту была всего настоятельнѣе и важнѣе, получила въ «Войнѣ и Мирѣ» рѣшеніе, по своей силѣ и ясности не уступающее никакому другому созданію поэзіи, принадлежащее къ высшимъ ея проявленіямъ, какія только существуютъ и будутъ существовать.

Не весь русскій идеалъ воплотился у гр. Л. Н. Толстаго, но съ неотразимою силою и прелестію у него раздался «голосъ за простое и доброе, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго». Этотъ голосъ въ первый разъ послышался у Пушкина, а смыслъ его въ первый разъ понять и засвидѣтельствованъ Ап. Григорьевымъ, употребившимъ и приведенное нами въ кавычкахъ выраженіе (соч. Ап. Григорьева I, стр. 326, 333 и др.). Замѣчательно то буквальное сходство, которое оказывается въ формулѣ Григорьева и въ опредѣленіи гр. Л. Н. Толстымъ истиннаго величія. Это величіе должно совмѣщать *простоту, добро и правду*, т. е. быть чуждо всего *ложнаго*.

Голосъ за простое и доброе противъ ложнаго и хищнаго—вотъ существенный, главнѣйшій смыслъ «Войны и Мира». Это тотъ прекрасный и своеобразный элементъ нашей литературы, который былъ открытъ въ ней и прослѣженъ съ великою чуткостію Ап. Григорьевымъ. Но критикъ, столь вѣрно понимавшій глубочайшія струны нашей поэзіи, едва ли предвидѣлъ и ожидалъ, что этотъ голосъ послѣ его смерти раздастся несравненно сильнѣе, чѣмъ онъ когда-либо его слышалъ, что могучій звукъ этого прекраснаго голоса нѣкогда покроетъ весь гамъ нашей литературы и примкнетъ, по своей несравненной чистотѣ и силѣ, къ дивнымъ звукамъ Пушкинской поэзіи.

Особенный смыслъ этого голоса—вотъ что намъ слѣдуетъ опредѣлить. Если мы для этого прослѣдимъ всѣ лица и событія «Войны и Мира», то мы ясно увидимъ, что симпатіи автора имѣютъ нѣкоторую односторонность, выкупаемую тѣмъ большею проницательностію и глубиною относительно той стороны, въ которую обращены эти симпатіи. Существуетъ на свѣтѣ какъ-будто два рода героизма: одинъ—дѣятельный, тревожный, порывающійся, другой—страдательный, спокойный, терпѣливый. Ап. Григорьевъ замѣтилъ въ нашей литературѣ появленіе лицъ, представляющихъ въ своей натурѣ это различіе, и называлъ ихъ двумя различными типами, *хищнымъ* и *смирнымъ*. Гр. Л. Н. Толстой, очевидно, съ величайшимъ сочувствіемъ относится къ страдательному или смирному героизму, и—очевидно же—мало питаетъ сочувствія къ героизму дѣятельному и хищному. Въ пятомъ и шестомъ томѣ эта разница въ симпатіи выступила еще рѣзче, чѣмъ въ первыхъ томахъ. Къ категоріи дѣятельнаго героизма относятся не только французы вообще и Наполеонъ въ особенности, но и множество русскихъ лицъ, напр., Растопчинъ, Ермоловъ, Милорадовичъ, Долоховъ и пр. Къ категоріи смирнаго героизма принадлежитъ прежде всего—самъ Кутузовъ, величайшій образецъ этого типа, потомъ Тушинъ, Тимохинъ, Дохтуровъ, Коновницынъ и пр., вообще—вся масса нашихъ военныхъ и вся масса русскаго народа. Весь разсказъ «Войны и Мира» какъ-будто имѣетъ цѣлью доказать превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ, ко-

торый повсюду оказывается не только побѣжденнымъ, но и смѣшнымъ, не только безсильнымъ, но и вреднымъ. Самая ясная и живая фигура, въ которой гр. Л. Н. Толстой съ удивительной силой очертилъ типъ людей, думающихъ быть дѣйтельными героями, есть Растопчинъ. Мы слышали, что это лицо угадано авторомъ совершенно вѣрно, что самыя подробныя и многолѣтнія историческія изысканія только подтверждаютъ поэтическую проникательность гр. Л. Н. Толстого *). Передъ величіемъ совершающихся событій, люди, подобные Растопчину, являются ничтожными и жалкими, не потому, чтобы это были личности очень слабыя сами по себѣ, а потому, что они порываются вмѣшаться въ ходъ событій, неизмѣримо превышающихъ собою размѣры ихъ силъ. Въ этомъ преувеличеніи своего значенія, въ этомъ налѣпомъ и дерзкомъ самообольщеніи, у автора оказываются виновными не только отдѣльныя лица, но цѣлые народы, непримѣръ, французы, приведшіе на насъ Европу, и цѣлыя сферы въ самой Россіи, на примѣръ, придворная сфера, сфера военныхъ штабовъ и т. д. Авторъ показываетъ, какъ повсюду — увѣренность въ своей силѣ, признаніе за своею личностію способности измѣнять и направлять событія ведетъ только къ ошибкамъ и неизбежно соединяется съ игрою самыхъ дурныхъ страстей, самолюбія, тщеславія, зависти, ненависти и пр.

Такимъ образомъ, по смыслу всего разсказа, у хищнаго типа отнято всякое поприще дѣйствія. Между тѣмъ, вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы люди рѣшительные, смѣлые — не имѣли никакой важности въ ходъ дѣла, чтобы русскій народъ не порождалъ людей, дающихъ просторъ своимъ личнымъ взглядамъ и силамъ. Совершенно справедливо, что при такомъ развитіи личности она, большею частью, отличается весьма непривлекательными чертами; но несомнѣнно также, что въ этихъ людяхъ проявляются и прекрасныя свойства русской душевной силы.

Итакъ, есть сторона русскаго характера, которая не вполне схвачена и изображена авторомъ. Нужно ждать еще художника, который бы сумѣлъ такъ отнести къ этой сторонѣ, какъ на примѣръ, Пушкинъ относился къ Петру I:

*) Такъ отзывался покойный Александръ Николаевичъ Поповъ.

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
 Какая дума на челѣ,
 Какая сила въ немъ сокрыта!
 А въ семъ конѣ какой огонь!
 Куда ты скачешь, гордый конь,
 И гдѣ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
 Не такъ-ли ты надъ самой бездной,
 На высотѣ уздой желѣзной
 Россію вздернулъ на дыбы?

(Млѣдный всадникъ).

Но пока нѣтъ у насъ чистыхъ и ясныхъ образовъ дѣятельнаго героизма, пока этотъ героизмъ не нашелъ себѣ своего поэта-выразителя, мы должны смиренно преклониться передъ поэтомъ, прославившимъ и воплотившимъ передъ нами героизмъ смиренія. Мы только можемъ гадать и смутно прозрѣвать черты иного величія, также свойственнаго русской натурѣ, а то величіе, которое изображено гр. Л. Н. Толстымъ, мы уже видимъ воочию, въ ясномъ воплощеніи.

И въ существенномъ пунктѣ мы не можемъ не согласиться съ поэтомъ, то есть мы вполне признаемъ превосходство смирнаго героизма надъ героизмомъ дѣятельнымъ. Гр. Л. Н. Толстой изобразилъ намъ если не самыя сильныя, то во всякомъ случаѣ самыя лучшія стороны русскаго характера, тѣ его стороны, которымъ принадлежитъ и должно принадлежать верховное значеніе. Какъ нельзя отрицать, что Россія побѣдила Наполеона не дѣятельнымъ, а смирнымъ героизмомъ, такъ вообще нельзя отрицать, что *простота, добро и правда* составляютъ высшій идеалъ русскаго народа, которому долженъ подчиняться идеалъ сильныхъ страстей и исключительно сильныхъ личностей. Мы сильны *естемъ народомъ*, сильны тою силою, которая живетъ въ самыхъ простыхъ и смирныхъ личностяхъ, — вотъ, что хотѣлъ сказать гр. Л. Н. Толстой, и онъ совершенно правъ. Прибавимъ, что мы должны бы были преклониться передъ лучшими чертами нашего народнаго идеала и въ томъ случаѣ, если бы намъ не было доказано, что простота, добро и правда могутъ побѣдить всякую ложную, злую и неправую силу. Если вопросъ идетъ о силѣ, то онъ рѣшается тѣмъ, на какой сто-

ронъ побѣда; но простота, добро и правда намъ милы и дороги сами по себѣ, все равно, побѣдятъ они или нѣтъ.

Всѣ сцены частной жизни и частныхъ отношеній, введенныя гр. Л. Н. Толстымъ, имѣютъ одну и ту же цѣль, — показать, какъ страдаетъ и радуется, любитъ и умираетъ, ведетъ свою семейную и личную жизнь тотъ народъ, высшій идеалъ котораго заключается въ простотѣ, добрѣ и правдѣ. Разница, столь ясно изображенная, между Кутузовымъ и Наполеономъ, та же самая разница существуетъ между Пьеромъ и капитаномъ Рамбалемъ, толкующими о своихъ любовныхъ приключеніяхъ, между Бурьенкой и княжной Марьей, и т. д. Тотъ же народный духъ, который проявился въ Бородинской битвѣ, проявляется въ предсмертныхъ думахъ князя Андрея, и въ душевномъ процессѣ Пьера, и въ разговорахъ Наташи съ матерью, и въ складѣ вновь образовавшихся семействъ, словомъ, во всѣхъ душевныхъ движеніяхъ частныхъ лицъ «Войны и Мира».

Вездѣ и повсюду или господствуетъ духъ простоты, добра и правды, или является борьба этого духа съ уклоненіями людей на иные пути, и рано или поздно—его побѣда. Въ первый разъ мы увидѣли несравненную прелесть чисторусскаго идеала, смиреннаго, простого, безконечно нѣжнаго и въ то же время незыблемо-твердаго и самоотверженнаго. Огромная картина гр. Л. Н. Толстаго есть достойное изображеніе русскаго народа. Это—дѣйствительное неслыханное явленіе,—эпопея въ современныхъ формахъ искусства.

IV.

Необходимо сказать здѣсь хотя нѣсколько словъ о предметѣ, который мы охотно отложили бы до другого времени, —именно о философскихъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго на исторію. Есть много читателей, для которыхъ эти взгляды составляютъ помѣху впечатлѣнію самой хроники, слишкомъ рѣзко выдаваясь впередъ и отвлекая вниманіе, недостаточно живо заинтересованное самимъ художественнымъ произведе-

ніемъ. Въ этомъ отношеніи авторъ, кажется, вполне достигъ своей цѣли, то есть, дѣйствительно, всѣхъ заставилъ обратить вниманіе на свои любимыя мысли. Читая его полемическія выходки, замѣчая какъ онъ начинаетъ горичиться, чуть только дѣло доходитъ до его философскихъ идей, можно подумать, что онъ гораздо меньше занятъ и увлеченъ своимъ существеннымъ предметомъ, то есть изображеніемъ Россіи, побѣдившей Наполеона, чѣмъ нѣкоторыми общими соображеніями относительно исторіи. Такъ, говорятъ, Бетховенъ считалъ своимъ главнымъ призваніемъ юриспруденцію и почти жалѣлъ, что слишкомъ много времени посвятилъ музыкѣ.

Прежде всего сознаемся со всею откровенностію, что одно дѣло вредить другому. Философскія разсужденія гр. Л. Н. Толстаго сами по себѣ чрезвычайно хороши; если бы онъ выступилъ съ ними въ отдѣльной книгѣ, то его нельзя было бы не признать отличнымъ мыслителемъ, и книга его была бы одною изъ тѣхъ немногихъ книгъ, которыя вполне заслуживаютъ названіе философскихъ. Но въ сосѣдствѣ съ хроникою «Войны и Мира», наряду съ ея животрепещущими картинами, эти разсужденія кажутся слабыми, мало занимательными, мало соответствующими величію и глубинѣ предмета. Въ этомъ отношеніи гр. Л. Н. Толстой сдѣлалъ большую ошибку противъ художественнаго такта: его хроника, очевидно, подавляетъ собою его философію, и его философія мѣшаетъ его хроникѣ. Многіе «цѣнители и судьи», изъ тѣхъ, которые

Имѣютъ даръ одно худое видѣть,

обрадовались этой ошибкѣ и тотчасъ напали на «Войну и Миръ» со слабаго мѣста, со стороны разсужденій объ исторіи, очевидно, воображая, что тутъ-то они побѣдятъ навѣрное. Эти господа, намъ кажется, очень ошиблись; мы не помнимъ ни единого дѣльнаго замѣчанія со стороны тѣхъ, кто весьма презрительно отзывался объ философскихъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго, и полагаемъ вообще, что авторы этихъ отзывовъ еще далеко не доросли до своего подудимаго.

Вся бѣда, впрочемъ, заключается только въ первомъ

впечатлѣніи; пройдетъ немного времени, и наши глаза привыкнутъ ясно различать два предмета, которые смѣшиваются только на первый взглядъ: хронику «Война и Миръ» и ея философію. Хроника сама по себѣ составляетъ такое стройное, ясное, законченное цѣлое, что для всякаго, сколько-нибудь способнаго понимать художественныя произведенія, никакія приставки и вводныя мысли не могутъ ослабить неотразимаго впечатлѣнія, не затемнить въ ней ни одной черты, такъ какъ всѣ ея черты чисты, просты и вполне отчетливы. Что же касается до философіи гр. Л. Н. Толстаго, то когда мы привыкнемъ разсматривать ее отдѣльно отъ хроники, — и она обнаружитъ тѣ неотъемлемыя достоинства, которыя теперь теряются въ слишкомъ блестящемъ сосѣдствѣ хроники.

Философскіе взгляды гр. Л. Н. Толстаго тѣсно связаны съ содержаніемъ его хроники; они содержатъ въ себѣ замѣчательно точную и глубокую формулировку нѣкоторыхъ вопросовъ, касающихся исторіи вообще, но они не захватываютъ, не исчерпываютъ въ отвлеченной формѣ всего содержанія, которое «Война и Миръ» представляетъ въ формѣ художественной. Вотъ наше сужденіе, которое мы постараемся подтвердить кое-какими замѣчаніями и ссылками.

Мысль о томъ, что исторія совершается помимо людскаго произвола, что въ ней, неожиданно для разума и усилій людей, обнаруживается дѣйствіе другихъ, болѣе могучихъ и глубокихъ силъ; — вотъ главная мысль и философія и хроники гр. Л. Н. Толстаго. Что движетъ народами? Отчего зависятъ ихъ страшныя столкновенія, ихъ побѣды и пораженія? Вотъ вопросы, на которые отвѣчаетъ гр. Л. Н. Толстой своими разсужденіями, и на эти же вопросы еще яснѣе, еще вразумительнѣе отвѣчаетъ вся хроника «Войны и Мира», излагающая въ лицахъ и картинахъ, какъ Наполеонъ оказался «ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи» (т. VI, стр. 84), какъ онъ ничего не могъ сдѣлать противъ той силы, которою дѣйствительно управляются событія. Высокоумные господа, считающіе возможнымъ восхищаться поэзіею гр. Л. Н. Толстаго и глумиться надъ его философіею, очевидно, не замѣчаютъ этой связи между темъ и другимъ, то есть не замѣчаютъ, какъ говорится, слова, чѣмъ ясно показываютъ, что

и ихъ глумленіе, и ихъ восхищеніе одинаково бессмысленны. Нельзя восхищаться безукоризненно-правдивымъ художественнымъ разсказомъ гр. Л. Н. Толстаго и не видѣть, что этимъ разсказомъ вполнѣ подтверждаются его мысли о великихъ людяхъ, о власти, о значеніи каждаго отдѣльнаго человѣка въ общемъ ходѣ событій, о томъ, что недостаточны и лживы объясненія историковъ, и т. д. Это цѣлый рядъ прекрасныхъ истинъ, тѣсно связанныхъ между собою и лишь иногда выраженныхъ преувеличенно, что очень легко исправить, держась несомнѣннаго руководства, даннаго намъ самимъ гр. Л. Н. Толстымъ, т. е. его хроники.

Пусть, на примѣръ, кто-нибудь попробуетъ отрицать то положеніе, которое мы только что привели, именно, что Наполеонъ былъ *ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи*. По смыслу хроники это, вѣдь, не значить, что Наполеонъ былъ человѣкъ тупой умомъ и слабый волею; напротивъ, все дѣло въ томъ, что онъ былъ необычайно пронырливъ и энергиченъ, и однакоже, *не могъ ничего уразумѣть и ничего сдѣлать*, когда на сцену выступили дѣйствительныя силы исторіи; въ самой ссылкѣ, на островѣ св. Елены, какъ доказываетъ гр. Л. Н. Толстой, онъ не понималъ того, что съ нимъ случилось въ Россіи и, слѣдовательно, онъ былъ вполнѣ слѣпымъ орудіемъ высшихъ судебъ, обнаружилъ самымъ разительнымъ образомъ свое ничтожество, такъ какъ столкнулся съ силою безмѣрно превышавшею его волю и его разумъ.

Изъ «Войны и Мира» ясно, что каждый солдатъ, повиновавшійся силѣ исторіи и потому содѣйствовавшій событію, которое она совершала, былъ въ этомъ отношеніи выше Наполеона, который ничего не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать ни въ пользу событія, ни противъ него. Дѣятельность солдата была направлена на возможное, которое и совершалось; дѣятельность Наполеона была направлена на невозможное—и слѣдовательно, была совершенно безцѣдна. Вотъ смыслъ, въ которомъ Наполеонъ оказался *ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи*.

Люди сами не знаютъ, чему они служатъ орудіемъ; побольшее посланіе «выпадать» на долю тѣхъ, которые

живуть притязаніе на наибольшее величіе. Вотъ простыя истины, къ которымъ сводятся многія разсужденія гр. Л. Н. Толстаго. Въ этихъ разсужденіяхъ такъ много вѣрнаго и яснаго, что они въ большей своей части не составляютъ новыхъ открытій, а представляютъ только оригинальное развитіе мыслей, давно уже высказанныхъ, хотя далеко не общераспространенныхъ.

Фатализмъ—вотъ какъ называли философскій взглядъ гр. Л. Н. Толстаго на исторію, не догадываясь, что это названіе само по себѣ ничего еще не выражаетъ. Фатализмъ, точно такъ же, какъ пантеизмъ, идеализмъ—суть общіе термины, подъ которые подходитъ всякая философія, что не мало удивляетъ тѣхъ, которые въ первый разъ знакомятся съ философскими системами. Вы хотите объяснить, какъ міръ произошелъ отъ божества, держится имъ и зависитъ отъ него,—это будетъ пантеизмъ. Вы хотите объяснить сущность явленій, смыслъ, для котораго вселенная составляетъ оболочку,—это будетъ идеализмъ. Вы, наконецъ, хотите понять причины, по которымъ исторія необходимо должна была совершаться такъ, а не иначе,—это будетъ—фатализмъ.

Итакъ, мы не находимъ чего-либо совершенно новаго, или чего-либо рѣзко уклоняющагося отъ истины въ основныхъ взглядахъ гр. Л. Н. Толстаго; но всякій безпристрастный читатель долженъ, по нашему мнѣнію, признать, что эти взгляды развиты съ необыкновенной оригинальностью, съ настоящимъ философскимъ талантомъ, и изложены мастерскимъ языкомъ, соединяющимъ чрезвычайную простоту и ясность съ силою и выразительностью.

Послѣдняя половина эпизода вся посвящена гр. Л. Н. Толстымъ изложенію его философіи исторіи. Тутъ же порядкѣ и связи изложены его мнѣнія; и мы были удивлены многими превосходными, чисто классическими страницами этихъ разсужденій. Вопросъ о свободѣ воли тутъ поставленъ съ замѣчательною глубиною, которой мы не найдемъ и малой доли у Вольтера, или Милля, или другихъ, нынѣ у насъ любимыхъ, философовъ.

Приведемъ нѣкоторыя, наиболѣе выдающіяся мѣста.

«Если бы сознание свободы», говорит г-р Л. Н. Толстой, «не было *отдельным и независимым от разума источником самопознания*, оно бы подчинялось разсуждению и опыту; но въ действительности такое подчинение никогда не бывает и не мыслимо».

«Рядъ опытовъ и разсуждений показываетъ человеку, что онъ, какъ предметъ наблюдения, подлежитъ известнымъ законамъ, а человекъ подчиняется имъ и никогда не борется съ разъ указаннымъ имъ закономъ тяготѣнія или непроницаемости. Но тотъ же рядъ опытовъ и разсуждений показываетъ ему, что полная свобода, которую онъ сознаетъ въ себѣ, невозможна, что всякое дѣйствіе его зависитъ отъ организаціи, отъ его характера и дѣйствующихъ на него мотивовъ; но человекъ никогда не подчиняется выводамъ этихъ опытовъ и разсуждений».

«Сколько бы разъ опытъ и разсужденіе ни показывали человеку, что въ тѣхъ же условіяхъ, съ тѣмъ же характеромъ онъ дѣлаетъ то же самое, что и прежде, онъ въ таинный разъ приступая въ тѣхъ же условіяхъ, съ тѣмъ же характеромъ къ дѣйствію, всегда кончавшемуся одинаково, несомнѣнно чувствуетъ себя столь же увѣреннымъ въ томъ, что онъ можетъ поступать, какъ онъ захочетъ, какъ и до опыта. Всякій человекъ, дикій и мыслитель, какъ бы неотразимо ему ни доказывали разсужденіе и опыты то, что невозможно представить себѣ два поступка въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ жизни, чувствуетъ, что безъ этого бессмысленнаго представления (составляющаго сущность свободы), онъ не можетъ себя представить жизни. Онъ чувствуетъ, что, какъ бы это ни было невозможно, это есть; ибо безъ этого представления свободы онъ не только не понимаетъ бы жизни, но не могъ бы жить ни одного мгновенія».

«Если понятіе о свободѣ для разума представляется бессмысленнымъ противорѣчіемъ, какъ возможность совершить два поступка къ одинъ и тотъ же моментъ, то это доказываетъ только то, что сознание свободы не подлежитъ разуму» (т. VI, стр. 267 и 268).

Итакъ, свобода и вопросы о ней составляютъ область, не подлежащую обыкновенному познанію, обыкновеннымъ приемамъ и выводамъ разсуждений и опытовъ. Обыкновенное знаніе есть нечто иное, какъ отыскиваніе необходимости и, слѣдовательно, отрицаніе свободы. Мы получаемъ, слѣдовательно, двѣ области мышленія: одна — вполне подчинена разуму, а другая вѣдетъ къ фатализму; другая имѣетъ источники познанія, независимые отъ разума, и обнимаетъ вопросы о свободѣ.

«Только въ наше самоуниженное время контипривации иланий», продолжаетъ г-нъ Л. Н. Толстой, «благодаря общедоступному орудію массовой — распространению книгопечатанія, вопросъ о свободѣ воли сведенъ на такую почву, на которой и не можетъ быть самаго вопроса. Въ наше время большинство, такъ называемыхъ, передовыхъ людей, т. е. толпа невольно приняла работы естественнаго опыта; занимаясь одной стороной вопроса, въ разрѣшеніе всего вопроса».

«Души и свободы нѣтъ, потому что жизнь человека выражается мускульными движеніями, а мускульныя движенія обусловливаются нервной дѣятельностью; души и свободы нѣтъ, потому что мы въ неизвѣстный періодъ времени произошли отъ обезьянъ, — говорятъ, пишутъ и печатаютъ они, вовсе не подозревая того, что тысячелѣтія тому назадъ, всеми религіями, всеми мыслителями не только признавъ, но нигде и не были отрицаемы тотъ самый законъ необходимости, который съ такими стараніями они стремятся доказать теперь физиологіей и сравнительной зоологіей. Они не видятъ того, что роль естественныхъ наукъ въ этомъ вопросѣ состоитъ только въ томъ, чтобы служить орудіемъ для освѣщенія одной стороны его. Ибо то, что съ точки зрѣнія наблюденія, разумъ и воля суть только отдѣленія (sécrétions) мозга, и то, что человекъ, слѣдуя общему закону, могъ развиться изъ низшихъ животныхъ въ неизвѣстный періодъ времени, усомниться только съ новой стороны тысячелѣтія тому назадъ признанную всеми религіями и философскими теоріями, кинуть о томъ, что съ точки зрѣнія разума человекъ подлежитъ законамъ необходимости, — но ни на какомъ не поднимаетъ разрѣшеніе вопроса, имѣющаго другую, противоположную сторону, основанную на сознаніи свободы».

«Если люди произошли отъ обезьянъ въ неизвѣстный періодъ времени, то это столь же понятно, какъ и то, что люди произошли отъ горсти земли въ неизвѣстный періодъ времени (въ первомъ случаѣ X есть время, во второмъ происхожденіе), и вопросъ о томъ, какимъ образомъ соединится сознаніе свободы человека съ закономъ необходимости, которому подлежитъ человекъ, не можетъ быть разрѣшенъ сравнительною физиологіей и зоологіей, ибо въ животныхъ, кроликъ и обезьяна мы можемъ наблюдать только мускульную нервную дѣятельность, а въ человекѣ — и мускульную нервную дѣятельность и сознаніе».

«Естественныя науки и ихъ полномочники, думавшіе разрѣшить вопросъ этотъ, подобны штукатурамъ, которыхъ бы пристрастие штукатуривать одну сторону стѣны держитъ и которые, пользуясь отсутствіемъ главнаго распорядителя работъ, въ моряхъ усердія замаскированными своей штукатуркой и окомъ, и образами, и лѣсами и утвержденными еще стѣны, и радовались бы на то, что съ ихъ штукатурной точки зрѣнія все выходитъ ровно и гладко» (гл. VI, стр. 269 и 270).

Вотъ истинно-глубокомысленная, превосходно выраженная и до конца выдержанная постановка различия, существующаго между изслѣдованіями, для которыхъ верховнымъ закономъ можетъ быть только необходимость, и между совершенно иною областью мысли, — вопросами о свободѣ. Происхожденіе человека отъ обезьяны, столь сильно смущавшее многихъ, адѣсь поставлено на настоящее мѣсто, правильно и точно отнесено къ тѣмъ положеніямъ, которыя ни мало не касаются главной сущности дѣла.

Итакъ, гр. Л. Н. Толстой отнюдь не фаталистъ въ строго-опредѣленномъ смыслѣ этого слова, и никакъ фаталистомъ быть не можетъ. Онъ отличаетъ исторію, какъ науку фаталистическую (подобно всѣмъ другимъ частнымъ наукамъ), отъ тѣхъ умозрѣній, которыя содержатъ глубочайшія начала наукъ и высшіе вопросы о свободѣ.

«Точно такъ же», говоритъ онъ, «какъ предметъ всякой науки есть проявленіе неизвѣстной сущности, сама же эта сущность можетъ быть только предметомъ метафизики, — точно такъ же проявленіе силы свободы людей въ пространствахъ, времени и зависимости отъ причинъ, составляетъ предметъ исторіи; *сама же свобода есть предметъ метафизики*» (т. VI, стр. 284).

Въ другомъ мѣстѣ онъ указываетъ на то, что метафизическіе вопросы составляютъ главные центры наукъ нравственнаго міра. Въ самомъ простомъ видѣ онъ излагаетъ эти вопросы такъ:

«Человѣкъ есть твореніе всемогущаго, всеблагаго и всевѣдущаго Бога. Что же такое есть грѣхъ, понятіе о которомъ вытекаетъ изъ сознанія свободы человека? Вотъ вопросъ богословія».

«Дѣйствія людей подлежатъ общимъ, неизмѣннымъ законамъ, выражаемымъ статистикой. Въ чемъ же состоитъ отвѣтственность человека передъ обществомъ, понятіе о которой вытекаетъ изъ сознанія свободы? Вопросъ права».

«Дѣятели, челоѣкъ, вытекаютъ изъ его природнаго характера и мотивовъ, дѣйствующихъ на него. Что такое есть савѣсть и сознаніе добра и зла и неуклонно, вытекающее изъ сознанія свободы? Вотъ вопросъ этики».

«Человѣкъ, въ связи съ общей жизнью человечества, представляется подчиненнымъ законамъ, опредѣляющимъ эту жизнь. Но

тотъ же человекъ, независимо отъ этой связи, представляется свободнымъ. Какъ должна быть рассматриваема прошедшая жизнь народовъ и человечества, — какъ произведеніе свободной, или несвободной дѣятельности людей? Вотъ вопросъ исторіи» (VI, стр. 269).

Итакъ, безъ понятія свободы нравственнымъ науки не имѣли бы никакого смысла. Вопросы, относящіеся къ свободѣ, составляютъ самую душу этихъ наукъ, несмотря на то, что и тутъ господствуетъ фатализмъ, который вообще свойственъ знанію. Подводя поступки людей подъ законы статистики, ихъ душевныя свойства подъ законы образованія характера, развитіе народовъ подъ общіе законы жизни человечества, мы стремимся внести фатализмъ въ эти науки; но весь интересъ ихъ заключается не въ этомъ фатализмѣ, а въ томъ, что держится подъ нимъ, какъ подъ оболочкой. Чѣмъ рѣче и глубже въ нихъ проводится фатализмъ, тѣмъ опредѣленнѣе и отчетливѣе выступаетъ передъ нами область свободы, тѣмъ громче звучитъ противорѣчіе и явнѣ слышенъ голосъ, возвѣщающій намъ нравственный смыслъ явленій.

Прекрасно слыша этотъ голосъ, хорошо понимая, что въ немъ одномъ заключается значеніе исторіи, авторъ, однакоже, посвятилъ весь конецъ своего труда задачѣ чисто-формальной; его заинтересовала не дѣйствительный смыслъ исторіи, а только вопросъ о примиреніи необходимости и свободы, то есть о томъ, какимъ образомъ исторія возможна, какъ наука въ тѣсномъ смыслѣ. Цѣлый рядъ остроумныхъ и тонкихъ разсужденій опредѣляетъ отношенія между необходимостью и свободой, и авторъ приходитъ къ заключенію, что въ исторіи, не отвергая дѣйствительной свободы и не пытаясь проникнуть въ ея сущность, мы должны *отказаться отъ несуществующей*) свободы и признать несомнѣваемую нами зависимость*.

Этими словами оканчивается «Война и Миръ». Какое — скажемъ прямо — художественное заключеніе! Скучно и странно читать, хотя превосходныя, но совершенно сухія разсужденія послѣ живыхъ лицъ и картинъ хроники. А что плохо въ художественномъ отношеніи, то непремѣнно будетъ

*) То есть такой, какою мы обыкновенно въ себя воображаемъ.

нехорошо и въ другихъ отношеніяхъ. Тамъ случилось и здѣсь. Конечно, были бы не скучны такіа разсужденія, которыя бы вполне стояли на высотѣ хроники, вполне исчерпывали ея предметъ. Но этого здѣсь нѣтъ. Читатель, слѣдя за философскими мыслями автора, все ждетъ, что авторъ приложитъ свои общія соображенія къ главному своему предмету, къ борьбѣ росіянъ съ Европой. Но авторъ какъ-будто вовсе забылъ о томъ, что составляетъ весь интересъ его произведенія. Ошибка заключается не въ неправильности мысли, а въ ея неполнотѣ. Очевидно, всё разсужденіе автора ни мало не показываютъ намъ, какой смыслъ имѣла борьба, изображенная въ хроникѣ, какія силы въ ней проявились. Такъ, справедливо оказывается ученіе Канта и другихъ философовъ, что связь причинъ и слѣдствій, изысканіе *необходимаго* хода вещей, — въ чемъ состоятъ все дѣла науки въ тѣсномъ смыслѣ, — не исчерпываетъ содержанія явленій, что причинность есть не что иное, какъ форма нашего ума, которая, въ качествѣ формы, не можетъ захватить собою сущности. Между тѣмъ, вопросъ о свободѣ воли, о нравственномъ смыслѣ явленій есть вопросъ о сущности.

Сущность дѣла передъ нами живо и ясно выступаетъ въ хроникѣ, и вовсе не затрогивается въ разсужденіяхъ автора объ исторіи. Если бы художникъ закончилъ свою книгу философскими или какими угодно мыслями, изъ которыхъ намъ сталъ бы ясенъ смыслъ Бородинскаго сраженія, сила русскаго народа, тотъ идеалъ, который насъ тогда опасъ и живить насъ до сихъ поръ, — мы были бы довольны. Но формулы обыкновеннаго знанія сами по себѣ холодны, безстрастны, безразличны; они не уловляютъ ни красоты, ни добра, ни правды, то есть того, что всего выше на свѣтѣ, въ чемъ заключается самый существенный интересъ нашей жизни. Для науки — самое отвратительное явленіе, никъ и самое высокое, есть только слѣдствіе известныхъ причинъ; но для живыхъ людей это не все равно. Для науки міръ превращается въ мертвую, однообразную игру причинъ и слѣдствій; но для живого человека міръ имѣетъ красоту, жизнь, составляетъ предметъ отчаянія или восторга, благоговѣнія или отвращенія, — и въ этомъ состоитъ для насъ су-

материальная сторона дѣла. Умъ не находитъ въ мирѣ ничего, кромѣ какой-то безконечной и безсмысленной механики, но сердце указываетъ намъ другой смыслъ, который въ сущности одинъ только и важенъ.

Итакъ, главной мысли «Война и Миръ», нельзя искать въ философскихъ формулахъ гр. Л. Н. Толстаго, а нужно искать въ самой хроникѣ, гдѣ жизнь исторіи изображена съ такой изумительной полнотою, гдѣ для нашего сердца столько высокихъ откровеній. Тутъ очевидно, что вопросъ о нашей борьбѣ съ Европою есть совершенно особый вопросъ; тутъ ясно свѣтится тотъ чисто-русскій идеалъ, который намъ дороже всего на свѣтѣ и въ которомъ, наконецъ, «все дѣло».

Самъ авторъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приходитъ къ отвлеченнымъ положеніямъ, очевидно, не вытекающимъ изъ его заключительныхъ разсужденій. Называя войну 1812 года *величайшею изъ всѣхъ извѣстныхъ войнъ* (т. VI, стр. 2), онъ замѣчаетъ, что она была въ то же время войною, не подходящею ни подъ какія прежнія преданія войны» (стр. 4). Бородинское сраженіе онъ называетъ *однимъ изъ самыхъ поучительныхъ явленій исторіи* (стр. 1) именно потому, что оно представляетъ какое-то противорѣчіе обыкновенному ходу историческихъ явленій.

«Всѣ факты исторіи», говоритъ онъ, «подтверждаютъ справедливость того, что большіе или меньшіе успѣхи войска одного народа противъ войска другого народа суть причины или, по крайней мѣрѣ, существенные признаки увеличенія или уменьшенія силы народовъ. Войско одержало побѣду, и тотчасъ же увеличились права побѣдившаго народа въ ущербъ побѣжденному. Войско понесло поражение—и тотчасъ же по степени поражения народъ лишается правъ, а при совершенномъ пораженіи своего войска—совершенно покоряется».

Такъ было (по исторіи) съ древнѣйшихъ временъ и до настоящаго времени. Всѣ войны Наполеона служатъ подтвержденіемъ этого правила. По степени пораженія австрійскихъ войскъ, Австрія лишается своихъ правъ и увеличиваются права и силы Франціи. Побѣда Французовъ подъ Іеною и Ауерштедтомъ уничтожаетъ самостоятельное существованіе Пруссіи».

«Но вдругъ, въ 1812 году, французы одержали побѣду подъ Москвою. Москва взята, и вслѣдъ за этимъ, безъ новыхъ сраженій, не Россія перестала существовать, а перестала существовать 600-ты-

свѣдѣнія о сраженіи, потому—Наполеоновская Франція. *Напомнимъ фактъ на правахъ исторіи*, сказать, что подѣ сраженія въ Бородинѣ осталась за русскими, что подлѣ Москвы были сраженія, уничтожившія армію Наполеона,—*невозможно* (т. V, стр. 12).

Выводъ, къ которому приходитъ авторъ и въ которомъ содержится *поучительность* Бородинскаго сраженія и *новый* результатъ, не подходящій подѣ преданія исторіи, состоитъ въ слѣдующемъ:

«Періодъ кампаніи 1812 года отъ Бородинскаго сраженія до изгнанія французовъ доказалъ, что выигранное сраженіе не только не есть причина завоеванія, но даже и не постоянный признакъ завоеванія;—доказалъ, что *сила, рѣшающая участь народовъ, лежитъ не въ завоевателяхъ, даже не въ арміяхъ и сраженіяхъ, а въ чемъ-то другомъ*» (тамъ же, стр. 3).

Итакъ, исторія не есть однообразная игра однѣхъ и тѣхъ же силъ, не есть безконечная вереница повторяющихся причинъ и слѣдствій; въ ней есть событія *особенныя*, представляющія *особенный* смыслъ, особенную поучительность, такъ какъ они обнаруживаютъ дѣйствіе силъ дотолѣ неясныхъ или не существовавшихъ. Въ исторіи раскрывается и обнаруживается что-то закрытое и глубокое, является нѣчто новое, воплощается то, что еще никогда не было воплощено. Если такъ, то въ этомъ одномъ и состоитъ интересъ и поучительность исторіи.

Гр. Л. Н. Толстой въ своей великолѣпной эпопее показалъ намъ, что обнаружилось въ нашей борьбѣ съ Наполеономъ. Въ первый разъ отъ начала исторіи ясно и грозно проявился русскій идеалъ, и передъ этимъ идеаломъ сломилась и померкла вся сила Наполеона и Наполеоновской Франціи. Вотъ примѣръ того смысла, который заключается въ исторіи и составляетъ ея существенное содержаніе. Дѣло вовсе не въ побѣдѣ, не въ томъ, что случилась новая комбинація единичныхъ силъ, вслѣдствіе которой рушилось могущество, до тѣхъ поръ все покорявшее и побуждавшее; сущность дѣла въ томъ, что скрывается подъ этою механическою игрою причинъ и слѣдствій. Подъ нею скрывается пробужденіе, си-

ды, еще не действовавшей въ мирѣ,—духа простоты, добра и правды.

Простота есть высшее изящество, высшая красота человека.

Добро и правда—суть высшія цѣли, для которыхъ долженъ жить и действовать человекъ.

Таковы лучшія черты идеала, хранящагося въ русскомъ народѣ. Этотъ духъ смиренія и доброты много принесть и приносить намъ всякаго вреда и всякихъ бѣдъ; но этотъ же духъ побѣдилъ Наполеона, разрушилъ его армию и государство.

V.

Мы старались рассмотреть «Войну и Миръ» съ главныхъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ, какъ мы думаемъ, слѣдуетъ разсматривать это произведеніе. Мы старались быть краткими и опускали множество замѣчаній, которыя напрашивались подъ перо и которыя, можетъ быть, окажется нужнымъ высказать. Мы не говорили ни объ удивительномъ языкѣ, ни о несравненной твердости и чистотѣ художественныхъ приемовъ автора, хотя во всѣхъ этихъ отношеніяхъ «Война и Миръ» есть произведеніе образцовое, такъ что его долженъ прилежно изучать всякій русскій писатель по художественной словесности. Все это приходится отложить до другаго времени, и мы посвящаемъ къ заключенію нашей статьи, которая, какъ мы это предчувствуемъ, и безъ того покажется нашимъ рецензентамъ необыкновенно длинной и донельзя туманной.

Но прежде заключенія, сдѣлаемъ еще одно небольшое отступленіе; оно, быть можетъ, будетъ кстати и не помѣшаетъ дѣлу. Именно—подымаемъ здѣсь камушекъ, брошенный въ «Войну и Миръ», нѣмецкою рукою (какъ говорятъ нѣмецкіе фельетонисты) г. Тургенева. Въ одно время съ появленіемъ VI тома г. Л. Н. Толстаго, появился первый томъ новаго изданія сочиненій г. Тургенева, и въ этомъ томѣ, въ «Литературныхъ воспоминаніяхъ», между многими личностями

заклѣчается одна весьма любопытная, — взгляды г. Тургенева на всю нашу современную изящную словесность. Тутъ вы найдете отзывы обо всѣхъ нашихъ знаменитостяхъ, даже о самой новѣйшей, о г. Рышетиновѣ; есть отзывъ и о «Войнѣ и Мирѣ».

Какъ это случилось, т. е. какимъ образомъ г. Тургеневъ, говоря о своей прошлой дѣятельности, успѣлъ не оставить безъ краткой оцѣнки ни одного изъ своихъ нынѣшнихъ собратьевъ по поэзии, — это понять не совсѣмъ легко. Повидимому, дѣло простое; отзывы пришлось къ слову, вызваны связью съ тѣмъ или другимъ предметомъ рѣчи. Но если мы сообразимъ полноту этихъ отзывовъ, ихъ характеръ, оригинальность и вѣскость сужденій, въ нихъ заключающихся, то мы невольно станемъ подозрѣвать г. Тургенева въ хитрости и подумаемъ, что онъ только прикидывается простодушно-разболтавшимся писателемъ, которому случайно попадаютъ на языкъ самыя разнообразныя имена.

Есть вещи, о которыхъ говорить вскользь, мимоходомъ — нельзя. Есть слова, въ которыхъ долженъ быть извѣстенъ всякому, и которыхъ произносить нельзя, прикидываясь, что мы не знаемъ этого рѣш. Такъ какъ г. Тургеневъ учился нѣмецкой философiи, такъ какъ въ «Воспоминанiяхъ» онъ самъ много толкуетъ объ авторитетахъ и объ отношенiяхъ къ нимъ, то мы позволимъ себѣ здѣсь маленькое отвлеченное разсужденiе на тему Гоголя: *обращаться съ словомъ нужно честно*; другими словами, это будетъ такой вопросъ: почему писатель долженъ и какимъ образомъ онъ можетъ избѣгать всякаго злоупотребленiя своимъ авторитетомъ?

Мы вовсе не принадлежимъ къ строгимъ моралистамъ, которые готовы возложить на писателей тяжкую и едва ли выполнимую отвѣтственность. Многие, какъ, напримеръ, Гоголь, думаютъ, что писатель долженъ отвѣчать за впечатлѣнiе, производимое его словами. Слѣдовательно, онъ долженъ взвѣсить понятiя и умственныя силы читателей и говорить такъ, чтобы его слова были понятны въ ихъ настоящемъ смыслѣ и не породили бы никакого заблужденiя, не возбудили бы никакихъ дурныхъ страстей. Но мнѣнiе этихъ моралистовъ

писатель виновать во всякомъ своемъ послѣднемъ, недодуманномъ, неумѣло сказанномъ словѣ.

Подобныя требованія мы находимъ слишкомъ высокими и потому приемлемыми только въ рѣдкихъ случаяхъ. Сказать писателю: ты долженъ быть умѣе и дальновиднѣе всѣхъ твоихъ читателей, — не значитъ ли это возложить на писателя долгъ, котораго они въ большинствѣ случаевъ выполнить не могутъ? Если даже многіе охотно принимаютъ на себя такіе обязанности и воображаютъ себя свѣтилми и наставниками, то болѣею частію мы справедливо видимъ въ этомъ одно ихъ величайшее самолюбіе.

Итакъ, обязанности писателя, по нашему мнѣнію, проще и легче. Отъ него, строго говоря, требуется только одно — полная искренность. Требуется не то, чтобы онъ самъ строго и точно взвѣшивалъ свои слова (этотъ даръ не всякому дается), а чтобы онъ намъ, читателямъ, давалъ полную возможность произвести это взвѣшиваніе. Требуется не то, чтобы онъ самъ никогда не обманывался и не ошибался (кто за себя поручится?), а чтобы онъ насъ не обманывалъ, насъ не вводилъ въ ошибку. А для этого нужно не только не лгать заведомо, не только не писать того, чего не думаешь, но каждую свою мысль высказывать открыто и ясно, не скрывая *тѣхъ оснований и побужденій, по которымъ она возникла и сказана*. Когда мы знаемъ, что человекъ говоритъ искренно, и видимъ, съ какою цѣлью онъ говоритъ, чего хочетъ, чѣмъ заинтересованъ, — мы можемъ быть вполне довольны добросовѣстностію такого человека, и уже сами разберемъ, есть ли толкъ въ его словахъ, или нѣтъ.

Поэтому мы считаемъ, что писатель погрѣшаетъ противъ своихъ обязанностей, если онъ говоритъ намеками, если онъ умышленно пользуется своимъ авторитетомъ и какъ-будто, назаначай роняетъ иныя, вѣскія слова, надѣясь, что они произведутъ въ такой формѣ болѣе дѣйствія. Писатель, который подобно старушечьей бабѣ, говоритъ объ одномъ, а думаетъ о другомъ, который въ мягкую и ласковую рѣчь вставляетъ шипы для тѣхъ или другихъ слушающихъ, который льститъ подъ видомъ общихъ разсужденій и жадитъ, нали-

ваясь любовію въ литературѣ, — такой писатель преступаетъ самыя простыя и скромныя свои обязанности

Совершенно мимоходомъ, занятый, повидимому, очень важными соображеніями, г. Тургеневъ называетъ гр. Л. Н. Толстаго писателемъ пристрастнымъ и невѣжественнымъ. Вотъ слова г. Тургенева: «Самый печальный примѣръ *отсутствія истинной свободы, протекающая изъ отсутствія истиннаго знанія* представляетъ намъ послѣднее произведеніе гр. Л. Н. Толстаго «Война и Миръ», которое въ то же время, по силѣ творческаго, поэтическаго дара, стоитъ едва ли не во главѣ всего, что явилось въ нашей литературѣ съ 1840 года». (Соч. Тург., т. I, 1869 г., стр. С).

И только! Г. Тургеневъ прикидывается наивнымъ и простодушнымъ и дѣлаетъ видъ, что ему нуженъ былъ этотъ отзывъ только для примѣра, только ради небольшого поясненія его собственныхъ мыслей, какъ-будто о такихъ вещахъ можно говорить мимоходомъ! Какъ-будто, признавши «Войну и Миръ» выше всего, что явилось у насъ съ 1840 г., то есть съ «Мертвыхъ душъ», и слѣдовательно выше собственныхъ своихъ твореній, г. Тургеневъ имѣть право говорить о произведеніи гр. Л. Н. Толстаго вскользь, мелькомъ, и съ улыбкой на устахъ и взоромъ, устремленнымъ на созерцаніе высшихъ истинъ, произнести объ этомъ произведеніи сколь возможно тяжкій приговоръ!

Намъ и читателямъ теперь приходится разбирать и догадываться, какой смыслъ имѣетъ эта *циплетка*, такъ искусно вставленная въ изящныя «Воспоминанія» г. Тургенева. Что значитъ, на примѣръ, *отсутствіе истиннаго знанія* у гр. Л. Н. Толстаго, заявляемое г. Тургеневымъ такъ положительно и безъ малѣйшихъ околѣностей, какъ-будто это дѣло самое ясное и не подлежащее никакому сомнѣнію? Это значитъ, во первыхъ, вообще, что г. Тургеневъ считаетъ себя несравненно образованнѣе гр. Л. Н. Толстаго, а во вторыхъ, въ частности, что г. Тургеневъ, вѣроятно, недоволенъ невѣжественными, по его мнѣнію, взглядами гр. Л. Н. Толстаго на исторію, на Наполеона, на войну 1812 года.

Предметъ любопытный, и если бы г. Тургеневъ поступилъ согласно съ обязанностями всякаго писателя, большаго

и малого, то есть выразить бы ясно мысль, какую ему Бог послалъ, то мы могли бы по мѣрѣ силъ и сами разсудить объ этомъ предметѣ. Теперь же обратимся слѣдующими замѣчаніями.

Образованіе само по себѣ, безъ ума, безъ сердца, есть вздоръ. Можно долго учиться философіи, всю жизнь читать умнѣйшія книги, знать множество языковъ и все-таки не только не сдѣлать ничего путнаго, а даже не быть умнымъ человѣкомъ. Все дѣло въ истинномъ знаніи, какъ выразился г. Тургеневъ весьма неудачно для себя и очень удачно для насъ. Мы ничего не знаемъ объ образованіи гр. Л. Н. Толстаго, кромѣ только того, что, какъ писатель съ высочайшѣмъ настроеніемъ ума, онъ никогда, ни въ одной строчкѣ своихъ произведеній не вдумалъ ни похвалиться надѣйшей чертой своего образованія, ни въ какомъ бы то ни было смыслѣ унижить, дѣйствительно, умныя вещи. Что же касается до истиннаго знанія, то чрезвычайное обиліе этого знанія у гр. Л. Н. Толстаго есть дѣло, не подлежащее никакому сомнѣнію и для всякаго очевидное. Чего только не знаетъ этотъ человѣкъ! И притомъ, чего только не знаетъ онъ—не по книгамъ, а этимъ истиннымъ знаніемъ, котораго часто ни въ какихъ книгахъ не дойдешь! Не только душа человѣческая—истинная область поэта—ему знакома лучше, чѣмъ всякимъ ученымъ психологамъ; безчисленныя сферы жизни и дѣятельности известны ему такъ, какъ одной изъ нихъ не знаетъ иной человѣкъ, вращающійся въ ней цѣлую жизнь.

Сверхъ художественной гениальности мы должны признать за гр. Л. Н. Толстымъ огромную способность знанія, сверхъ поэтическаго дара—философскій талантъ, сверхъ изумительнаго умѣнья понимать смыслъ того, что пишется въ книгахъ и того, что еще ни въ какихъ книгахъ не написано,—огромную начитанность по предмету нашихъ войнъ съ Наполеономъ.

Въ словахъ г. Тургенева не вѣдается гр. Л. Н. Толстаго намъ слышится всего одно—страхъ передъ авторитетомъ западной науки, страхъ, весьма распространенный въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ. Р. Тургеневъ

вздумаю насъ: попутать своею образованностію и ссылкой на какое-то *знаніе*, по которому, мы увѣрены, онъ и самъ не имѣеть яснаго понятія. Эти вѣчныя *пуганья* какою-то неопредѣленною и неизвѣстно гдѣ существующею *западною наукою* — приличны только тому, кто самъ не знаетъ, что ему думать и чаго держаться. У кого же есть собственная мысль, того ничѣмъ не испугаешь.

Мы переходимъ, такимъ образомъ, къ второму упреку, заключающемуся въ примѣлѣ г. Тургенева; именно — г. Тургеневъ называетъ Толстаго человекомъ *несвободнымъ*, конечно, разумѣя подъ этимъ то, что Толстой будто-бы пристрастенъ къ своему народу и своей исторіи, что онъ подчиняется этимъ великимъ авторитетамъ. Но умственная свобода и умственное рабство вовсе не этимъ опредѣляется, вовсе не состоитъ въ независимости отъ всякихъ авторитетовъ, а заключается въ томъ, чтобы и наше подчиненіе и наше возстаніе исходили изъ насъ самихъ, были яснымъ и сознательнымъ дѣломъ *нашего* ума и *нашего* сердца. Не подчиняться никакимъ авторитетамъ есть сущая глупость, ибо это значило бы, ничего не уважать и ничего не любить. «Есть, скажутъ, одинъ умный человекъ, свобода разнаго рода: есть, напримѣръ, свобода отъ здраваго смысла; да только каково же тогда въ подобной свободѣ?» Истинно свободенъ не тотъ, кто не имѣеть силы или во что повѣрить, не имѣеть ума, чтобы познать верховную важность извѣстныхъ началъ, а тотъ, кто, вѣря и понимая, дѣйствуетъ при этомъ *своимъ* умомъ, *своею* душою, а не подъ чужимъ вліяніемъ, не подъ страхомъ общественнаго мнѣнія, не ради постороннихъ дѣлу причинъ. Собственное убѣжденіе — вотъ истинная свобода.

Если мы взглянемъ съ этой точки зрѣнія, — то безъ сомнѣнія убѣдимся, что нѣтъ человека болѣе свободнаго, чѣмъ Толстой, и что, если мы захотимъ найти примѣръ рабства, то самый разительный примѣръ представляетъ г. Тургеневъ, тотъ самый, который теперь поднялъ толки о свободѣ писателя. Кто, въ самомъ дѣлѣ, можетъ укорить г. И. И. Толстаго въ томъ, что онъ когда-нибудь пытался вѣтру, что онъ подчинялся чужимъ мнѣніямъ или минутнымъ настроеніямъ общества и литературы? Ни на одномъ произведеніи

этого писателя не лежит отпечатка какого бы то ни было подчинения. Вездѣ слышна упорная, *независимая* работа его собственного ума. Повторимъ то, что мы доказывали въ «Зарѣ» прошлаго года: ни одинъ изъ нашихъ писателей не представляетъ такого длиннаго и дѣльнаго, воистинѣ органическаго развитія, какъ г. Л. Н. Толстой. Вспомните, что дѣлалось въ это время въ литературѣ, какія въ ней совершались воздушныя революціи, какими метеорами напоиленъ былъ воздухъ, какими обманчивыми миражами заслоненъ былъ весь горизонтъ. Чего-чего только у насъ не было! Люди самые провинциальные готовы были обмануться и признать важность и существенность того, что въ дѣйствительности было жѣной и брызгами. Гр. Л. Н. Толстой во все это время не подпалъ ни единому изъ многихъ вліяній. Глубокая, упорная внутренняя работа дѣлала его совершенно независимымъ отъ всякихъ вліяній минуты. Каждое его произведеніе свидѣтельствуетъ, что онъ писатель *свободный* въ лучшемъ, въ высочайшемъ смыслѣ этого слова,—то есть писатель самостоятельный, имѣющій *свои* мысли, *свои* задачи.

Возьмите же теперь, для контраста и поясненія, г. Тургеневъ, который самъ напросился на невыгодное для себя сравненіе. Чѣмъ только не былъ г. Тургеневъ, какими вліяніями онъ ни подчинялся? Каждое минутное настроеніе нашихъ журналовъ и нашихъ литературныхъ кружковъ отражалось на немъ съ такою быстротою и силою, какой мы едва ли найдемъ другой примѣръ. Вотъ истинный *рабъ* минуты, человекъ, какъ-будто не имѣющій ничего своего, а все заимствующій отъ другихъ. Изъ нему больше, чѣмъ къ кому-нибудь, идутъ слова, сказанныя вообще о поэтахъ:

Вы все на колоколъ похожи,
Въ который можетъ зазвонить
На площади любой прохожий.

Самостоятельности и, следовательно, независимости нѣтъ въ Л. Тургеневѣ: живая, будучи акомъ чужихъ взглядовъ и настроеній, г. Тургеневъ не сумѣлъ до сихъ поръ выработать собою точнаго вѣрія, которая подымалась бы выше изъбражаемыхъ имъ явленій. Что изъ того, что во время разгара

нигилизма онъ написалъ «Отцовъ и Дѣтей», а во время разгара патриотизма — «Дѣло». Если человѣкъ руководится желаніемъ противорѣчить настроенію минуты, онъ все-таки зависитъ отъ минуты, онъ говоритъ не свое, а то, что въ немъ вызывается этимъ противорѣчіемъ. Нѣкоторое время можно было думать, что у г. Тургенева есть какіе-нибудь высшіе взгляды, изъ-за которыхъ онъ осуждаетъ мимолетныя явленія нашего прогресса. Но теперь платонная истина исполнѣ обнаружилась; оказалось, что г. Тургеневъ стоитъ даже ниже этихъ явленій; не зная, что ему дѣлать, гдѣ установить свою точку опоры, онъ рѣшился, наконецъ, объявить себя приверженцемъ нигилизма, т. е. самой послѣдней и, по нашему мнѣнію, самой уродливой формы нашего прогресса. И этотъ человѣкъ объявляетъ себя свободнымъ! И онъ имѣетъ смѣлость укорять другихъ въ рабствѣ, да еще кого — Л. Н. Толстого!

VI.

Предыдущее разбирательство оказалось вовсе не лишнимъ дѣломъ: оно прямо приводитъ насъ къ нѣкоторымъ общимъ замѣчаніямъ относительно нашей литературы, которыми мы и закончимъ нашу статью. Совершенно ясно, что съ 1868 года, т. е. съ появленія «Войны и Мира», составъ того, что собственно называется русскою литературою, то есть составъ нашихъ художественныхъ писателей получилъ иной видъ и иной смыслъ. Гр. Л. Н. Толстой занялъ первое мѣсто въ этомъ смыслѣ, мѣсто неизмѣримо высое, поставившее его далеко выше уровня остальной литературы. Писатели, бывшіе прежде первостепенными, обратились теперь во второстепенныхъ, отошли на задній планъ. Если мы взглянемъ въ это перемѣщеніе, совершившееся самымъ безобиднымъ образомъ, т. е. не въ силу чьего-нибудь пониженія, а въ силу огромной высоты, на которую возмалъ раскрывшій свои силы талантъ, то намъ невозможно будетъ не радоваться этому дѣлу отъ всего сердца. До сихъ поръ, что были предположеніями

русской литературы, кто занималъ въ ней первое мѣсто, и для насъ, и для иностранцевъ? Конечно, Тургеневъ, Островскій, Некрасовъ. Вотъ тѣ таланты, которые своею дѣятельностью, своимъ успѣхомъ, своимъ неотразимымъ обаяніемъ господствовали надъ массою читателей. И что же? Ни одинъ изъ нихъ, но несчастно, не заслужилъ полнаго сочувствія, ни одинъ не былъ человѣкомъ вполне свободнымъ—такъ какъ ужъ пошла рѣчь о свободѣ,—ни одинъ не былъ чистъ отъ важныхъ недостатковъ. О колебаніяхъ г. Тургенева мы уже говорили; колебанія г. Островскаго не менѣе многочисленны, хотя менѣе были замѣчены и истолкованы читателями нашею критикою. Что же касается до г. Некрасова, то о немъ давно извѣстно, что онъ отдалъ свою музу въ крѣпостное рабство извѣстнымъ идеямъ и направленіямъ. Это самый талантливый изъ нашихъ стихотворцевъ, но вмѣстѣ наименѣе смѣлый, наиболее уродующій и пригибающій свои чувства въ угоду стремленіямъ, которымъ подчинился.

Такимъ образомъ, наша литература представляла жалкое зрѣлище. Вслѣдствіе неправильности нашего умственнаго развитія, люди самые талантливые были испорчены; они или шли по ложной дорогѣ, покоряясь общему теченію, или сами не знали, что дѣлать и метались изъ стороны въ сторону. Но явился, наконецъ, батыръ, который не поддался никакимъ нашимъ язвамъ и повѣтріямъ, который разметалъ, какъ щепки, всякіе тараны, отшибающіе у русскаго образованнаго человѣка ясный взглядъ и ясный умъ, всѣ тѣ авторитеты, подъ которыми мы гнемся и ежимся. Изъ тяжелой борьбы съ хаосомъ нашей жизни и нашего умственнаго міра (мы говорили объ этой борьбѣ въ прошломъ году) онъ вышелъ только мѣтуче и здоровѣе, только развилъ и укрѣпилъ въ ней свои силы, и разомъ поднялъ нашу литературу на высоту, о которой она и не мечтала.

Какъ же не радоваться! Теперь мы будемъ даже смѣлѣе относиться къ нашимъ прежнимъ представителямъ литературы; мы не станемъ испытывать той печали и злобы, которыми, бывало, волновали насъ, когда мы видѣли, что руководство толпы принадлежитъ людямъ или упорно коснѣющимъ на ложномъ пути, или не знающимъ хорошенько, чего

имъ держаться и потому утѣшительнѣе посподствующему вѣтру. Богъ съ ними! Ихъ царство миновало!

Какъ же не радоваться? После долгихъ уклоненій отъ настоящей дороги, после всякихъ заразъ, которыя русская литература выносила въ своемъ тѣлѣ со всеми ихъ послѣдовательными симптомами, она, наконецъ, возвращается въ своему прежнему здоровью. Та могучая гармоническая сила, которая нѣкогда сказалась въ Пушкинѣ и съ тѣхъ поръ какъ-будто обмелѣла, разбилась на мелкіе ручьи, затерялась въ трясинахъ и болотахъ, вдругъ снова во очію явилась намъ, вдругъ показала намъ въ новыхъ формахъ, но съ тою же печатью восторженной прелести, здоровая, чистая, но своей простотѣ и внутреннему равновѣсію превосходящая самыя высокія поэтическія силы другихъ народовъ. Какъ же не радоваться!

Если теперь иностранцы спросятъ у насъ о нашей литературѣ, то мы не скажемъ имъ въ отвѣтъ, что она подаетъ прекрасныя надежды, что она заключаетъ величолѣпныя задатки, не станемъ лускаться въ оговорки и приводить разныя смягчающія обстоятельства, чтобы объяснить уродливость и односторонность современныхъ нашихъ литературныхъ авторитетовъ; мы прямо укажемъ на «Войну и Миръ», какъ на зрѣлый плодъ нашего литературнаго движенія, какъ на произведение, передъ которымъ мы сами преклоняемся, которое для насъ дорого и важно не аз. *неименитѣмъ лучшимъ*, а потому, что оно принадлежитъ къ самымъ великимъ, самымъ лучшимъ созданіямъ поэзіи, какія мы только знаемъ и можемъ вообразить. Западныя литературы въ настоящее время не представляютъ ничего равнаго, и даже ничего близко подходящаго къ тому, чѣмъ мы теперь обладаемъ.

Если братья славяне попросятъ теперь у насъ книгъ, то мы не будемъ, *скупая сердце*, посылать имъ Тургенева, Островскаго, Некрасова; нѣтъ, мы пошлемъ имъ *стихъ*, *ни-скакой* спокойно и безбоязненно, потому что *вмѣстѣ съ ни-ми* пошлемъ и «Войну и Миръ». Свѣтъ, которымъ сияетъ произведеніе г. Л. Н. Толстаго, такъ сияетъ, что *приведемъ*

не страши всѣ эти мѣшкіе свѣтила, озаряющія нашу жизнь такими слабыми и неровными, а часто даже совершенно неправильными свѣтами. Всѣ слабыя и больныя стороны нашей литературы теперь сами собою болѣютъ; у насъ есть мѣрка здоровой и могучей поэзіи, и, въ сравненіи съ этимъ образцомъ, получаютъ свое настоящее значеніе тѣ неполныя и искаженные проблески поэзіи, съ которыми мы такъ долго возились, которымъ по неволѣ приписывали больше важности, чѣмъ они ея имѣютъ на самомъ дѣлѣ.

Но главное, конечно, не въ томъ, что мы скажемъ Европѣ, или что пошлемъ славянамъ; главное—въ насъ самихъ, въ томъ благотворномъ влияніи, которое можетъ имѣть «Война и Миръ» на духовное развитіе нашего общества,—этого больного общества, пораженнаго недугами, приводящими иногда въ ужасъ и отчаяніе людей, преданныхъ своему народу. Въ изящной литературѣ, въ журналистикѣ, въ массѣ читающихъ и пишущихъ людей,—ведѣ господствуетъ такая слабость мысли, такое искаженіе инстинктовъ и понятій, такое обиліе предразсудковъ и заблужденій,—что невольно является страхъ за наше духовное развитіе, невольно приходится въ голову мысль, не поражены ли мы какою-нибудь неизлѣчимою болѣзью, не суждено ли русскому уму и сердцу заглухнуть и вымереть подъ язвами, разъѣдающими нашъ духовный строй. Вотъ то существенное дѣло, въ которомъ «Война и Миръ» можетъ принести намъ помощь и отраду. Эта книга есть прочное приобрѣтеніе нашей культуры, столь же прочное и непоколебимое, какъ, напримѣръ, сочиненія Пушкина. Пока жива и здорова наша поэзія, до тѣхъ поръ нѣтъ причины сомнѣваться въ глубокомъ здоровьи русскаго народа и можно принимать за миражъ всѣ болѣзненные явленія, совершающіяся, такъ сказать, на окраинахъ нашего духовнаго царства. «Война и Миръ» скоро станетъ настольною книгою каждаго образованнаго русскаго, классическимъ чтеніемъ нашихъ дѣтей, предметомъ размышленія и поученія для юношей. Съ появленіемъ великаго произведенія г. Л. Н. Толстаго наша поэзія опять займетъ подобающее ей мѣсто, сдѣлается правильнымъ и важнымъ элементомъ воспитанія, какъ въ тѣсномъ смыслѣ—воспитанія подрастающаго по-

коғніня, такъ и въ обширномъ смыслѣ — воспитанія всего общества. И все крѣпче и крѣпче, все сознательнѣе, мы будемъ питать приверженность къ прекрасному идеалу, проникающему собою книгу г-на Д. Н. Толстаго, къ идеалу *честности, добра и правды*.

5634 1911 11 9 1970 (9 мая 1970, январь).

1870. 10 апр.

SECRET
EX-106
VI
CONFIDENTIAL

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ КЪ СТАТЬЯМЪ О
«ВОЙНѢ И МИРѢ» *).

*) Эти несколько словъ были напечатаны подъ именемъ *Предислова къ книжкѣ Архимандрита Григорія „Вѣры и Мира“*. Спб. 1821. Книжка, состояла изъ отгисковъ четырехъ предыдущихъ статей.

отношеніе къ дѣлу. Не только я награжденъ тѣмъ, что скоро понялъ безмѣрно-великую цѣнность «Войны и Мира», но мнѣ думается, я заслужилъ и болѣе важную награду: въ нѣкоторой мѣрѣ я понялъ душу этого произведенія; я нашелъ тѣ точки зрѣнія, тѣ категоріи, съ которыхъ его слѣдуетъ судить, и мнѣ открылась связь его съ исторіею и ходомъ нашей литературы.

Что такое литература? Что такое искусство? Вопросы темные и мало кѣмъ понимаемые. Напримѣръ, ходячее мнѣніе, составившееся о «Войнѣ и Мирѣ», заключается въ томъ, что это произведеніе очень высокое по своимъ художественнымъ достоинствамъ, но будто бы не содержащее глубокой мысли, не имѣющее большого внутренняго значенія. Такимъ образомъ, искусству еще разъ нанесено жестокое оскорбленіе, еще разъ заявлено, что даже гениальный художественный даръ можетъ остановиться на пустякахъ, можетъ ограничиться праадною, чуждою жизни игрою своихъ силъ. Какъ-будто возможна подобная бессмыслица! Какъ-будто могутъ существовать живыя явленія, не соблюдающія существенныхъ условий жизни!

Въ томъ же смыслѣ меня бранятъ эстетикомъ, то есть (на ихъ языкѣ) человекомъ, который вообразилъ, что художественныя красоты могутъ существовать отдѣльно отъ внутренняго, живаго, серьезнаго смысла, и который гоняется за такими красотами и наслаждается ими. Вотъ какую непоимѣрную глупость мнѣ приписываютъ! И эту глупость собственнаго сочиненія объясняютъ, между прочимъ, и мой восторгъ отъ «Войны и Мира».

Прощу, вниманія разумѣющихъ и желающихъ разумѣть читателей; въ настоящей брошюрѣ они увидятъ, въ чемъ дѣло. Въ такихъ великихъ произведеніяхъ, какъ «Война и Миръ», всего яснѣе открывается истинная сущность и важность искусства. Поэтому «Война и Миръ» есть также превосходный пробный камень всякаго критическаго и эстетическаго пониманія, а вмѣстѣ и жестокой камень преткновенія для всякой глупости и всякаго нахальства. Кажется, легко понять, что не «Войну и Миръ» будутъ цѣнить по вашимъ

...и ...
...
...
...
...

VII.

ОБУЧЕНИЕ НАРОДА.

О народномъ образованіи (статья гр. Л. Н. Толстого въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1874, сентябрь).

I.

Немудрено, что эта статья возбудила всеобщее вниманіе; таково уже свойство всего, что пишетъ гр. Л. Н. Толстой. Сила его заключается не въ необычности содержанія, не въ эффектѣ изложенія, а въ такой простотѣ и искренности, которая дѣйствуетъ въ тысячу разъ сильнѣе всякихъ эффектовъ, и которою каждая его страница сейчасъ же рѣзко отличается отъ всей обыкновенной литературы. Чтобы писать такъ, нужно, прежде всего, очень любить свой предметъ; читатели чувствуютъ, что гр. Л. Н. Толстой заговорилъ о дѣлѣ, которое близко его душѣ, которому онъ посвятилъ много силъ и времени.

Съ своей стороны, мы хотимъ здѣсь только указать читателямъ всю великую важность вопроса, поставленнаго гр. Л. Н. Толстымъ. Многіе могутъ ошибиться, принявъ поднимающійся споръ за одно изъ тѣхъ безчисленныхъ разногласій, которыя появляются въ педагогическомъ мірѣ; между тѣмъ дѣло гораздо важнѣе. Это—коренной, главный споръ педагогівъ, это—самый существенный вопросъ, какой только есть въ этой области. Надъ спорами объ обученіи грамотѣ легко посмѣяться и, вѣроятно, многіе посмѣиваются. Не все ли равно, въ сущности, по какой методѣ учить? Вѣдь, дѣль

одна — грамотность и скорое или медленное, а она достигается. Точно так можно сказать, что, кѣмъ бы ни были завелены училища, самими ли крестьянами, или земствомъ и министерствомъ, — все равно, лишь бы были завелены. Школы, учрежденныя сверху, и школы, возникшія снизу имѣютъ одну цѣль, одинъ смыслъ, и если ведомства, стоящія надъ народомъ, хлопотутъ о правильномъ надзорѣ и правильномъ обученіи, то, вѣдь, это же не дурное дѣло. Итакъ, больше грамотности, больше школы — вотъ все, чего надобно желать, чего все одинаково желаютъ. Если же выходятъ разногласія о средствахъ и приемахъ, то это неизбежно по слабости самой человѣческой природы; но при одинаковости цѣли эти споры не могутъ повредить сущности дѣла.

Такъ могутъ говорить и, вѣроятно, говорятъ многие, вѣрующіе въ твердость и простоту дѣла человѣческихъ. Между тѣмъ все насъ убѣждаетъ, что тамъ, гдѣ возможно благо, возможно и саразмѣнное ему зло; такъ и въ настоящемъ случаѣ, проявляется такое искаженіе дѣла, которое тѣмъ печальнѣе, чѣмъ это дѣло важнѣе. Грамотность и образованіе сами по себѣ суть вещи безразличныя; что народу нужно учить, объ этомъ никто не споритъ; но весь вопросъ въ томъ, чему учить? И такъ какъ въ этомъ вопросѣ возможны разногласія, то и оказывается, что, молъ, школы могутъ быть различны и, слѣдовательно, споръ идетъ о самомъ существѣ дѣла.

Гр. Л. Н. Толстой превосходно поставилъ этотъ вопросъ. Онъ настоятельно утверждаетъ, какъ утверждаетъ и пятнадцать лѣтъ назадъ, что существуетъ разногласіе и недоумѣніе относительно *содержанія* обученія, и что выйти изъ этого разногласія и недоумѣнія можно не иначе, какъ разрѣшивши новый вопросъ: *Кому* нужно предоставить опредѣленіе этого содержанія? *Кто* здѣсь рѣшитъ?

Въ самомъ дѣлѣ, если мы предположимъ, что содержаніе народнаго образованія можетъ быть опредѣляемо всѣмъ, на основаніи какихъ-нибудь общихъ соображеній, то мы этимъ самымъ предоставимъ каждому свободу рѣшать дѣло по своему. Кто что задумаетъ, тотъ то и сдѣлаетъ и, слѣдовательно, въ настоящемъ случаѣ, все дѣло будетъ зависеть

отъ утредителей школъ и отъ учителей. Мы имъ даемъ, такимъ образомъ, чрезвычайное право и прямо отказываемся отъ общаго рѣшенія вопроса. Мы говоримъ какъ-будто такъ: кто учитъ, тотъ пускай и рѣшаетъ вопросъ, чему и какъ учить.

И всѣмъ извѣстно, что есть множество самоувѣренныхъ людей, которые охотно принимаютъ на себя это право и даже считаютъ его своею естественною и неотъемлемою собственностью. Такъ называемые *просвѣщенные* люди обыкновенно такъ горды своимъ образованіемъ, такъ вѣрятъ въ него, что и не задумываются надъ вопросомъ о достаточности своего авторитета. Они думаютъ, что въ своемъ просвѣщеніи стоятъ на совершенно твердой почвѣ, и что всѣ ихъ безчисленные разногласія ничего не значатъ въ сравненіи съ той, будто бы ясной и единой, цѣлью, къ которой они одинаково стремятся. Вотъ увелъ дѣла. Гр. Л. Н. Толстой описываетъ свое положеніе въ этомъ отношеніи слѣдующимъ образомъ:

«Вопросъ этотъ (о чемъ состоитъ критеріумъ того, чему и какъ должно учить), какъ тогда (15 лѣтъ тому назадъ), такъ и теперь представляется мнѣ краеугольнымъ камнемъ всей педагогикъ, и разрѣшенію этого вопроса я посвятилъ изданіе педагогическаго журнала «Исная Поляна». Въ нѣсколькихъ статьяхъ я старался поставить этотъ вопросъ во всей его значительности и, сколько умѣлъ, старался разрѣшить его. Въ то время я не нашелъ въ педагогической литературѣ не только сочувствія, не нашелъ даже и противорѣчій, но совершеннѣйшее равнодушіе къ поставленному мною вопросу. Были нападки на нѣкоторые подробности, мелочи, но самый вопросъ, очевидно, никто не интересовалъ. И тогда былъ молодъ, и это равнодушіе огорчало меня. Я не понималъ, что я съ своимъ вопросомъ: почему вы знаете, какъ учить? былъ подобенъ тому чело-вѣку, который бы, положимъ, хотъ въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ бы побольше съ народа собрать податей, предложилъ бы имъ слѣдующее: ит., чтобы знать, съ кого сколько податей, надо разобрать вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія? Очевидно, всѣ наши продолжали бы свое обсужденіе о мѣрахъ взима-

«нія и только молчаніемъ отвѣтили бы на неумѣстный вопросъ. Но обойти вопроса нельзя, 15 лѣтъ тому назадъ на него не обратили вниманія, и педагоги каждой школы, увѣренные, что всѣ остальные врутъ, а они правы, преспокойно подписывали свои законы, основывая свои положенія на философін весьма сомнительнаго свойства, которую они подкладывали подъ свои теорійки» (стр. 178, 179).

Какъ ни рѣзко сравненіе педагоговъ съ турецкими пашами, и права просвѣщать народъ съ правомъ взиманія податей, но это сравненіе вполне справедливо, вполне выражаетъ сущность дѣла. Для многихъ педагоговъ народъ не имѣетъ въ этомъ дѣлѣ никакого голоса, никакого значенія, а они, напротивъ, имѣютъ такое же неограниченное право просвѣщать его и образовывать по своему, какъ турецкій паша собирать подати съ своего пашадька.

Все это вытекаетъ изъ того понятія, которое составилось о просвѣщеніи. Просвѣщенію приписываются всѣ тѣ права, какія мы придаемъ истинѣ, когда разумѣемъ ее въ самомъ чистомъ и совершенномъ видѣ. Нѣтъ авторитета, который бы стоялъ выше авторитета, такъ называемаго, просвѣщенія. Оно, будто бы, всегда нужно, всегда полезно, и притомъ не только въ полномъ своемъ составѣ, а и въ каждой малѣйшей части, и въ каждой самой слабой степени. Можно подумать, что мы нашли, наконецъ, то высочайшее и несомнѣнное благо, ради котораго нужно пренебрегать и даже жертвовать всѣмъ остальнымъ. Всякій шагъ на пути къ, такъ называемому, просвѣщенію, всякое движеніе въ его сторону считается уже приближеніемъ къ такому благу.

Весьма важно здѣсь то, что сторонники этого блага суть вмѣстѣ и его обладатели, такъ что на нихъ переходитъ тотъ авторитетъ, который приписывается просвѣщенію. Просвѣщеніе не есть авторитетъ, стоящій выше самихъ просвѣщенныхъ людей; по самому понятію своему, оно въ нихъ и заключается, и нигдѣ въ иномъ мѣстѣ и быть не можетъ. По крайней мѣрѣ, таково обыкновенное понятіе объ этомъ дѣлѣ. Намъ увѣряютъ, что просвѣщеніе въ дѣйствительности вполне соответствуетъ своей идѣ; что оно дѣлаетъ человека вполне самостоятельнымъ, освобождаетъ его умъ отъ вся-

кихъ путь, дать ему возможность самому изслѣдовать вещи, самому черпать изъ источниковъ истины и, следовательно, дать ему право на, такъ называемыя, *убожденія*, на свое собственное рѣшеніе вопросовъ. Вотъ почему просвѣщенный человѣкъ не есть *служитель* просвѣщенія, а есть, какъ говорятъ, его *носитель*.

Понятна отсюда та увѣренность, съ которою поступаютъ просвѣщенные люди, когда вздумаютъ обучать народъ, то есть массу, не имѣющую, по ихъ мнѣнію, никакого просвѣщенія. Они, во первыхъ, ни мало не сомнѣваются, что, трудясь надъ этимъ дѣломъ, принесутъ народу самую существенную пользу, какая только возможна, а во вторыхъ, что каждый изъ нихъ имѣетъ право самъ рѣшить, чему именно слѣдуетъ учить народъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, они должны передавать народу то просвѣщеніе, которое въ нихъ самихъ заключается, и слѣдовательно, каждый будетъ сообщать ему то пониманіе вещей, въ которомъ убѣжденъ, и будетъ вести его тѣмъ путемъ, который считаетъ несомнѣннымъ. Вотъ отчего такіе учителя народа являются нѣкотораго рода проповѣдниками, дающими отвѣты на всякіе вопросы и употребляющими всякій предметъ, всякій случай для вразумленія своихъ духовныхъ дѣтей. Гр. Л. Н. Толстой дѣлаетъ по этому поводу очень глубокое замѣчаніе. Выписавши наставленіе одного педагога о томъ, какъ вести такого рода бесѣды, онъ говоритъ:

«Невольно представляется вопросъ,—знаютъ, или не знаютъ дѣти все то, что имъ такъ хорошо разсказывается въ этой бесѣдѣ? Если ученики все это знаютъ, то къ чему, на улицѣ или дома, тамъ, гдѣ не нужно поднимать лѣвой руки, вѣрно умѣютъ все сказать болѣе красивымъ и русскимъ языкомъ, чѣмъ имъ велятъ это тутъ сдѣлать; никакъ не скажутъ, что лошадь *покрыта* шерстью; если такъ, то для чего имъ приказано повторять эти отвѣты такъ, какъ ихъ сдѣлать учитель? Если же они не знаютъ этого, (чего, кромѣ любимаго суслика, нельзя допустить), то является вопросъ: чѣмъ будетъ *учитель руководствоваться* въ такъ важно называемой программѣ вопросовъ? *Наукой ли зоологической или логической или наукой краснорѣ-*

«что? Если же никак не так, а только желанием разговаривать о видимомъ въ предметахъ, то видимого въ предметахъ такъ много и такъ оно разнообразно, что необходима путеводная нить, о чемъ говорить, а при неглядномъ обученіи нить и не можетъ быть этой нити».

«Все знанія человѣческія только затѣмъ и подраздѣлены, чтобы можно было ихъ удобнѣе собирать, привести въ связь и передавать, и эти подраздѣленія называются науками. Говорить же о предметахъ есть научный разнообразій можно что хотите и всякій вѣдоръ, какъ это мы и видимъ» (стр. 159, 160).

Вотъ превосходное указаніе на самый существенный пунктъ. Гр. Л. Н. Толстой справедливо находитъ нелѣпнымъ право учителя говорить о всевозможныхъ предметахъ, ничѣмъ не руководясь, кромѣ своихъ собственныхъ соображеній. А откуда это право? Очевидно, изъ того преувѣченного понятія о дѣлѣ, которое имѣютъ педагоги. Они очень расположены воображать учителя въ роли просвѣщеннаго чловѣка, попавшаго въ страну дикихъ. Учитель—это маленькое свѣтило во тьмѣ, свѣтило, которому и подобаетъ свѣтить уже собственнымъ свѣтомъ. Онъ учить и говорить, и мыслить, и открывать истину въ вещахъ. Вотъ почему онъ и можетъ выбирать всякіе предметы, какіе вѣдуютъ.

Между тѣмъ естественно, что несостоятельность такихъ претензій должна обнаруживаться на каждомъ шагу. Не только учителя, но и наставники этихъ учителей не умѣютъ ни образцово говорить, ни образцово мыслить, ни вѣрно открывать истину. Они—люди обыкновенные и не могутъ обладать силами, которыя и людямъ необыкновеннымъ доступны только отчасти. Между тѣмъ учителя пытаются сыграть свою роль, и вотъ выходитъ комедія—являются безчисленныя нелѣпости, недочины, употребленіе словъ, неточныя логическіе выводы, извращенныя и спутанныя свидѣнія. Выходитъ вѣдоръ всякаго рода и вида, а истинъ безчисленнаго вѣдорья утонцаются ученики, и это называется просвѣщеніемъ народа.

Устранить это нелѣпство, очевидно, только одне средство, именно—предложить народу образцовую рѣчь, образцовое

мысли, правильное знаніе. Такия сокровища у насъ есть, хотя немногія и немногія, и гр. Л. Н. Толстой правильно указываетъ, гдѣ ихъ искать:—въ наукахъ, т. е. въ тѣхъ систематическихъ совокупностяхъ знаній, которыя, въ болшемъ или меньшемъ совершенствѣ, выработаны человѣческимъ умомъ въ теченіе долгихъ вѣковъ его дѣятельности. Странно, что педагоги какъ-будто забыли дѣйствительное значеніе наукъ, забыли, что эти произведенія человѣческаго духа суть очень опредѣленные и своеобразныя органы, которыми нельзя распиряться по произволу, и которые нужно или брать, какъ они есть, или вовсе ихъ не брать. Если я хочу учить народъ, то я еще могу предлагать ему механику, или химию, или анатомію,—смотря по своимъ соображеніямъ; но мнѣ всего я имѣю право перенутать все это вмѣстѣ, или оставить что-нибудь новое и воображать, что создамъ, такимъ образомъ, наилучшую пищу для ума народа. Между тѣмъ педагоги, воображивши себя какими-то воплощеніями научнаго духа, такъ именно и поступаютъ. У нихъ появились какія-то новыя науки: *природовѣдѣніе*, *отечествовѣдѣніе*, *мировѣдѣніе* и т. п. Даже не разбирая этихъ явленій, а только судя по общимъ условіямъ образованія наукъ, можно заранѣе сказать, что эти попытки должны браконечно грѣшить противъ истиннаго научнаго духа, то есть, что въ нихъ нѣтъ именно того, что одно нужно—правильнаго развитія мысли и точнаго пониманія. Фразерство, поверхность умственной работы, вотъ необходимыя плоды этихъ мнимыхъ наукъ. Въ газетахъ сѣялись надъ тѣмъ, что ученики народныхъ школъ называли пшеницу воздушными *зелеными*, человека *растениемъ*, а картофеля *мохотасемъ*; но если бы ученики были вынуждены такъ, что не путали бы множества сообщаемыхъ имъ терминовъ, они не успѣли бы отъ болѣе глубокаго вѣдѣнія отъ воображанія, что они что-нибудь знаютъ, тогда какъ ничему не учились, какъ слѣдуетъ.

Итакъ, но учителя нужно брать мѣрой обученія, а какіе-нибудь помиме его существующіе предметы и явленія. Если мы скажемъ: учитель долженъ научить дѣтей ариметикѣ, правильно писать, понимать Евангеліе и т. д., то мы, очевидно, даемъ ему задачу совершенно опредѣленную и

притомъ такую, которой смыслъ и достоинства не отъ него зависятъ, а заключаются въ ней самой. Точно такъ, если отъ школы требуется, чтобы ученики знали геометрію Эвклида, или могли читать Цезаря и Тацита, то мы заранее увѣрены, что дѣтямъ будетъ предложена настоящая наука, и что они будутъ изучать образцовую рѣчь, а не одни соображенія и способы выраженія учителя, въ достоинствѣ которыхъ нельзя быть увѣренными. Такая постановка дѣла всего естественнѣе, всего сообразнѣе съ обыкновенными силами людей, и одна можетъ вести къ цѣли, то есть къ распространенію настоящаго образованія и къ избѣжанію всякаго фальшиваго и половинчатаго знанія, всѣхъ тѣхъ уродливостей, которыя въ этомъ дѣлѣ возможны, чѣмъ во многихъ другихъ. Но если принять этотъ взглядъ, то учителю уже нельзя будетъ толковать о всевозможныхъ вещахъ; придется отказаться отъ энциклопедизма, отъ общихъ понятій, и ограничиться немногими *избранными* предметами. И слѣдовательно, во всей силѣ явится вопросъ гр. Л. Н. Толстаго: *чему слѣдуетъ учить, и кто долженъ выбирать предметы обученія?*

Главный же принципъ, который нужно признать въ этомъ случаѣ, состоитъ, какъ мы видѣли, въ томъ, что педагогія должна отказаться отъ верховнаго авторитета въ дѣлѣ народнаго образованія, точно такъ, какъ каждый учитель долженъ отказаться отъ своего личнаго авторитета просвѣщеннаго человѣка въ пользу авторитета той науки, того языка, которымъ онъ учитъ. Не педагогія должна рѣшать, чему учить народъ; это рѣшеніе принадлежитъ высшей области—той культурѣ, религіозной, умственной, художественной, которая существуетъ на лицо въ настоящую минуту. Педагогія любитъ разсматривать народъ, какъ *tabula rasa*, какъ массу человѣческихъ душъ, въ которой ничего нѣтъ, гдѣ все нужно начинать съ самаго начала. Между тѣмъ въ народѣ есть культурныя начала, и педагогія должна имъ *служить*, какъ учитель служить той наукѣ, которую преподаетъ. У народа есть языкъ, религія, есть даже своя любимая литература—церковно-славянская; слѣдовательно, нужно учить народъ читать и писать, нужно дать ему ариметику, потребность въ которой ему ясна, какъ нельзя болѣе, и прибавить сюда цер-

ковно-славянское чтеніе. Въ этомъ будетъ состоять *русская грамотность*, первая степень образованія,—задача вовсе не легкая, если бы мы вздумали выполнить ее съ совершенной полнотою и отчетливостію.

Если теперь мы вздумаемъ пойти дальше, то предметы *среднихъ и высшихъ* степеней образованія мы точно также должны опредѣлять не по отвлеченнымъ соображеніямъ, а согласно съ существующей культурой, съ тѣмъ самымъ принципомъ, на которомъ основывается, напримѣръ, раздѣленіе кафедръ въ университетахъ и въ академіяхъ наукъ. Для каждаго возраста нужно только *выбирать*, а не создавать вновь предметы обученія.

II.

Мы говорили о предметахъ обученія; теперь поговоримъ о его способахъ.

Въ этомъ отношеніи, мы находимъ у педагоговъ такія же преувеличенныя мнѣнія, какъ и въ ихъ понятіяхъ о томъ, что просвѣщеніе составляетъ какой-то цѣльный взглядъ на міръ, который возможно и должно передавать сперва учителямъ, а черезъ нихъ и учащимся. Относительно методовъ обученія у педагоговъ есть столь же высокій идеалъ, котораго они мечтаютъ достигнуть; они стремятся найти—а многіе увѣрены, что уже нашли—такой методъ, по которому могутъ *развивать* человѣческую душу, даже болѣе—*растить* ее, то есть совершать дѣло, обыкновенно приписываемое самой природѣ. Гр. Л. Н. Толстой приводитъ слѣдующія слова г. Егупшевскаго:

«Не вдаваясь въ широкую область спорнаго вопроса о *врожденныхъ способностяхъ* человѣка, мы видимъ только, что ребенокъ не можетъ имѣть врожденныхъ представлений и понятій о предметахъ реальныхъ,—*ихъ нужно образовывать*, и отъ искусства образованія *ихъ со стороны воспитателя и учителя* зависитъ, какъ ихъ правильность,

«такъ и прочность. Въ уходѣ за развитіемъ души ребенка «нужно быть гораздо осторожнѣе, нежели въ уходѣ за его тѣломъ. Если пища для тѣла и различныя тѣлесныя упражненія подбираются, какъ по количеству, такъ и по качеству, сообразно съ возрастаніемъ человѣка, тѣмъ болѣе «нужно быть осторожнымъ въ выборѣ пищи и упражненій «для ума. Разъ положенное дурно основаніе будетъ шатко «поддерживать: все на немъ укрѣпляющееся» (*Отечеств. Зап.* 1874. Сентябрь, стр. 155).

Вотъ довольно ясное изложеніе господствующихъ мнѣній. Педагоги почему-то увѣрены, что надъ душою они имѣютъ гораздо больше силы, чѣмъ надъ тѣломъ человѣка. Относительно тѣла никто не рѣшится отрицать прирожденные особенности въ каждомъ недѣлнмомъ, но относительно души вопросъ кажется «спорнымъ», такъ что не будетъ нелѣпости держаться и того мнѣнія, что всѣ душевныя свойства человѣка зависятъ отъ воспитанія. Поэтому относительно тѣла можно еще надѣяться, что человѣкъ и безъ всякихъ особыхъ заботъ, безъ тщательнаго выбора пищи и гимнастическихъ упражненій, вырастетъ не калѣкою, не уродомъ, что у него всѣ члены разовьются хорошо; но относительно души надобно быть гораздо осторожнѣе: «разъ положенное дурно основаніе», говоритъ г. Евтушевскій, «будетъ шатко поддерживать все на немъ укрѣпляющееся». Это значитъ, что педагогъ какъ-будто самъ строить какія-то части въ душевномъ организмѣ ребенка; строить безъ пособія силъ природы, и потому возведетъ шаткое зданіе, если положить непрочное основаніе.

Въ этихъ мнѣніяхъ, конечно, есть доля справедливости. Дѣйствительно, душа многообразнѣе, подвижнѣе, впечатлительнѣе, богаче формами, чѣмъ тѣло человѣка. Всѣ вліянія принимаются ею быстрѣе и дѣйствуютъ на нее глубже, чѣмъ на тѣло. Однакоже, самостоятельности, самобытности, упругости, вѣрности внутреннимъ законамъ развитія — въ ней не меньше. Размѣры и характеръ нравственныхъ и умственныхъ силъ человѣка опредѣляются природою, а не воспитаніемъ. Уходъ за душою ребенка, какъ выражается г. Евтушевскій, не можетъ имѣть большихъ результатовъ, чѣмъ уходъ за какимъ-нибудь растеніемъ. Листья сдѣлаются больше, сте-

белъ укоротится, плоды станутъ сочнѣе; но форма листьевъ и плодовъ, всѣ ихъ видовыя особенности, всѣ существенныя свойства останутся тѣ же. Такъ и человѣкъ: *каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилѣ*. Только для поверхностнаго взгляда, для посторонняго наблюдателя можетъ показаться, что человѣкъ измѣнился въ своей натурѣ, въ существенныхъ чертахъ; спросите мать, отца, которые знаютъ каждую минуту его жизни,—они часто вамъ скажутъ: да онъ таковъ съ трехъ лѣтъ.

Итакъ, *прирожденные способности* нельзя считать «спорнымъ вопросомъ», это дѣло очевидное и несомнѣнное. Воспитатель не можетъ надѣяться и не долженъ брать на себя—передѣлать душу человѣка, измѣнить ея силы; эти силы, нравственная и умственная природа человѣка, составляютъ для педагога нѣчто *данное*, отъ него независящее; самое развитіе ихъ точно также совершается помимо его усилій, само собою; ему предстоитъ только способствовать этому развитію, оберегать его, давать ему просторъ и пищу, устранять препятствія, а не создавать и направлять его по своему.

Есть, однакоже, область душевной жизни, въ которой воспитаніе имѣетъ, повидимому, больше силы и которая, поэтому, внушаетъ педагогѣ ея преувеличенныя притязанія; это область *умственной дѣятельности*, самая подвижная, самая измѣнчивая и многообразная. Натуру человѣка измѣнить нельзя; но можно укрѣпить данныя ему силы, и всего больше, повидимому, силу ума, которую такъ легко упражнять; мало того,—не будучи въ состояніи дать воспитываемому умъ высшаго качества, чѣмъ у него есть, мы можемъ, однакоже, сообщить ему множество *познаній*, можемъ *обогащать* ими даже слабый умъ. Понятно, что здѣсь открывается для педагогѣ самое широкое поприще.

«Ребенокъ», пишетъ г. Евтушевскій, «не можетъ имѣть врожденныхъ представленій и понятій о предметахъ реальныхъ—ихъ нужно образовывать». Еще общѣе это можно выразить такъ: положимъ, качества ума ребенка отъ насъ не зависятъ, но отъ насъ зависитъ то, въ какомъ порядкѣ и какіе предметы будетъ познавать этотъ умъ; словомъ—умъ есть пу-

стая форма; наполнить ее надлежащимъ содержаніемъ—вотъ важная задача воспитателя.

Эту задачу—самую доступную, самую очевидную,—преимущественно и разрабатываетъ современная педагогія. Но она зашла въ своихъ понятіяхъ объ этой задачѣ до самыхъ странныхъ преувеличеній. Она вообразила, что она можетъ и должна дать учащемуся *все содержаніе*, какое способенъ получить его умъ, и что она знаетъ тотъ *наилучшій* порядокъ, при которомъ одною это содержаніе пріобрѣтается надлежащимъ образомъ. Такое притязаніе слышится и въ словахъ г. Евтушевскаго: «нужно», говоритъ онъ, «*образовать понятія*» (подразумѣвается: въ головѣ ученика); «правильность ихъ и прочность (въ головѣ ученика) зависятъ отъ искусства образованія ихъ со стороны воспитателя и учителя» (стр. 155).

Такимъ образомъ, педагогъ готовъ смотрѣть на ребенка, какъ на существо, неимѣющее *никакихъ понятій*, по крайней мѣрѣ, никакихъ «правильныхъ и прочныхъ» понятій и беретъ на себя *образовать* *изъ нежъ* такія понятія. Умъ учащагося разсматривается не только, какъ *tabula rasa*, а даже какъ доска, Богъ-знаетъ чѣмъ засоренная и испачканная, которую нужно обметать, вымывать и чертить на ней, что слѣдуетъ. Порядокъ этого начертыванія вполнѣ зависитъ отъ педагога и долженъ быть послѣдовательный и постепенный, сообразный плану, заранѣе утвержденному педагогомъ.

Вотъ взглядъ на дѣло, который прямо ведетъ къ мученію дѣтей, къ безплоднымъ усиліямъ учителей, къ фальши и безтолковщинѣ, и который основывается на явной ошибкѣ въ пониманіи природы человѣка. Положимъ, что умъ есть сила формальная: но эта сила не можетъ не дѣйствовать, ни даже существовать безъ нѣкотораго содержанія. Педагоги напрасно воображаютъ, что ученикъ къ нимъ является, не имѣя никакого содержанія въ своемъ умѣ, и также, что они могутъ распоряжаться этимъ умомъ, вложить въ него все, что имъ вздумается. И въ томъ и другомъ случаѣ они очень заблуждаются. Умъ принимаетъ только то, что самъ хочетъ, что для него интересно, и онъ наполняется содержаніемъ по-

стоянно, съ первой минуты сознанія. Тѣтъ впадетъ въ величайшую нелѣпость, кто подумаетъ, что вполнѣ овладѣлъ таинственнымъ процессомъ познанія, этимъ сочетаніемъ умственной формы и умственного матеріала въ нераздѣльное и неслиянное единство.

Послѣдствія, проистекающія отъ неправильнаго взгляда, всего нагляднѣе доказываютъ его неправильность. Гр. Л. Н. Толстой возмущается тѣмъ, что съ крестьянскими дѣтьми педагоги бесѣдуютъ такъ, какъ-будто въ умѣ этихъ дѣтей была совершенная пустота.

«Можетъ быть», говоритъ онъ, «дѣти готтентотовъ, негровъ, можетъ быть, иныя нѣмецкія дѣти могутъ не знать того, что имъ сообщаютъ въ такихъ бесѣдахъ; но русскія дѣти, кромѣ блаженныхъ, всѣ, приходя въ школу, знаютъ не только, что *снизу*, что *сверху*, что лавка, что столъ, что двое, что одинъ и т. п., но, по моему опыту, крестьянскія дѣти, посылаемыя родителями въ школу, всѣ умѣютъ хорошо и правильно выражать свои мысли, умѣютъ понимать чужую мысль (если она выражена по-русски) и знаютъ считать до 20-ти и болѣе; играя въ бабки, считаютъ парами, шестерами и знаютъ, сколько бабокъ и сколько шаръ въ шестерѣ. Очень часто приходившіе ко мнѣ въ школу ученики приносили съ собой задачу гусей и разъясняли ее» (стр. 157, 158).

Итакъ, дѣти являются съ готовыми понятіями, съ готовымъ языкомъ, съ зачатками ариметики.

«Въ Россіи», замѣчаетъ далѣе гр. Л. Н. Толстой, «мы часто говоримъ дурнымъ языкомъ, а народъ всегда хорошимъ». «Мужикъ и крестьянскій мальчикъ скажутъ совершенно справедливо, что весьма трудно понимать, что говорятъ эти существа—подразумѣвая учителей. Незнаніе народа такъ полно въ этомъ мірѣ педагоговъ, что они смѣло говорятъ, будто бы въ крестьянскую школу приходятъ диакри, и потому смѣло учатъ ихъ тому, что *снизу* и что *сверху*; что классная доска стоитъ на подставкѣ и подъ нею лоточекъ. Они не знаютъ того, что если бы ученики спрашивали учителя, то очень много бы оказалось вещей, кото-

«рыхъ не знаетъ учитель; что если, напимѣрь, стереть краску съ доски, то всякій почти мальчикъ скажетъ, изъ какого дерева эта доска: еловая, липовая или осиновая,—чего не скажетъ учитель; что про кошку и курицу мальчикъ расскажетъ всегда лучше учителя, потому что наблюдалъ ихъ больше учителя; что вмѣсто задачи о возахъ мальчикъ знаетъ задачи о воронахъ, о скотинѣ, о гусяхъ. Педагоги нѣмецкой школы и не подозреваютъ той смѣтливости, того настоящего жизненнаго развитія, того отвращенія отъ всякой фальши, той готовой насмѣшки надъ всѣмъ фальшивымъ, которыя такъ присущи русскому крестьянскому мальчику» (стр. 173, 174).

И всѣмъ этимъ умственнымъ богатствомъ педагоги пренебрегаютъ, какъ будто оно ни къ чему не годится; этихъ самыхъ дѣтей они принимаютъ *развивать*, они выдумали искусство образовывать въ маленькихъ головкахъ правильныя, настоящія понятія. На этомъ основаны всякаго рода *миллионныя обученія*, разныя бесѣды, въ которыхъ непрерывнымъ спрашиваніемъ дѣти наводятся на признаки желаемого понятія и будто бы получаютъ его въ первый разъ въ надлежащей ясности. Въ дѣтахъ, будто бы, совершается при помощи учителя вполне отчетливый и раздѣльный умственный процессъ.

Какъ мы уже замѣтили, тутъ большая ошибка. Умъ не можетъ быть приведенъ въ дѣйствіе чисто *механически*, одними внѣшними возбужденіями или побужденіями. Настоящимъ образомъ онъ начинаетъ дѣйствовать только тогда, когда имѣетъ къ тому свой собственный, *внутренній* интересъ. Въ самомъ чистомъ видѣ этотъ интересъ является въ видѣ определеннаго *вопроса*, вытекающаго изъ того, что уже есть въ умѣ, и требующаго разрѣшенія. Вообще, умственные операціи совершаются не иначе, какъ если впереди видна *цѣль* этой дѣятельности; въ этомъ состоитъ отличіе ума отъ слѣпыхъ бессознательныхъ силъ. При обученіи самымъ простымъ и очевиднымъ интересомъ является *новость* предметовъ, возбуждающая и поддерживающая уже существующую въ дѣтскихъ душахъ любознательность. Ребенокъ увѣренъ заранее, что онъ многого не знаетъ, что учитель умнѣе и

свѣдущіе его; но эта вѣра возбуждаетъ только вниманіе ученика, которое, если оно долго понапрасну напрягается, обращается въ недоумѣніе и скуку; дѣятельность же ума возбуждается въ ученикѣ только тогда, когда онъ завидѣлъ цѣль, когда онъ самъ по себѣ, безъ помощи учителя, чувствуетъ въ себѣ интересъ къ предмету обученія.

Между тѣмъ, что дѣлается при томъ обученіи, которымъ добиваются, такъ называемаго, развитія? Гр. Л. Н. Толстой привелъ нѣсколько примѣровъ этихъ хитрыхъ бесѣдъ, и эти примѣры поразили читателей своею бессодержательностью, отсутствіемъ въ нихъ всякаго интереса для познанія. Онъ справедливо замѣчаетъ, что «всякій ученикъ 6-ти, 7-ми, 8-ми и 9-ти лѣтъ *ничего не пойметъ* изъ этихъ вопросовъ именно «потому, что онъ все это знаетъ и не можетъ понять, о чемъ говорить» (стр. 157). «Русскій ребенокъ не можетъ и не «хочетъ вѣрить (онъ имѣетъ слишкомъ большое уваженіе къ учителю и къ себѣ), чтобы его серьезно спрашивали: *потолокъ внизу или наверху? или—сколько у него ногъ?*» (стр. 165)

Но такъ какъ, однакоже, отъ учениковъ требуется, чтобы они отвѣчали, то умъ ихъ направляется къ этой цѣли, и смышленные мальчики, не зная сами для чего, научаются говорить, что нужно. «Результатъ бесѣды будетъ тотъ», говоритъ гр. Л. Н. Толстой, «что дѣтямъ или велѣтъ выучить «слова учителя, или свои слова передѣлать, помѣстить въ «извѣстномъ порядкѣ (и порядкѣ не всегда правильномъ), за- «помнить и повторить» (стр. 160).

Поэтору, элементъ принужденія и механическаго затверживанія необходимо долженъ войти въ такое обученіе. Гр. Л. Н. Толстой съ особенною настойчивостію указываетъ и объясняетъ это слѣдствіе методы, которая, повидимому, кладетъ въ основаніе самое свободное дѣйствіе ума учащихся.

«Въ школѣ», говоритъ онъ, «царствуетъ постоянный «внѣшній порядокъ, и дѣти находятся подъ постояннымъ «страхомъ и могутъ быть руководимы только при величайшей строгости. Г. Королевъ упомянулъ вскользь о томъ, «что при звуковомъ обученіи не пренебрегаются колотушки.

«Я видѣлъ это въ школахъ нѣмецкой манеры и полагаю, что безъ колотушекъ невозможно обойтись въ новой нѣмецкой школѣ, такъ какъ она, точно такъ же, какъ церковная школа, учить, не спрашиваясь о томъ, что интересно знать ученику, а учить тому, что по убѣжденію учителя кажется «нужнымъ», и потому школа эта можетъ основываться только «на принужденіи» (стр. 176).

Вотъ то живое, непосредственное и ясное отношеніе, которое гр. Л. Н. Толстой принялъ за исходную точку своихъ разсужденій. Необходимость принужденія доказываетъ, что тѣ готовые мѣрки развитія, которыя употребляются педагогами, не годятся для учащихся, что онѣ остаются безъ отклика въ душѣ учениковъ, или даже встрѣчаютъ противодѣйствіе. Чтобы достигнуть непринужденности, остается одно средство—дать свободу уму ученика и, слѣдовательно, примѣняться къ его движеніямъ.

«Никто, вѣроятно, не станетъ спорить, что наилучшее «отношеніе между учителемъ и учениками есть отношеніе «естественности, что противоположное естественному отношенію есть отношеніе принудительности. Если это такъ, то «мѣрило всѣхъ методовъ состоитъ въ большей или меньшей «естественности отношеній, и потому въ меньшемъ или большемъ принужденіи при ученіи».—«Въ той мысли, что для «успѣшнаго обученія нужно не принужденіе, а *возбужденіе «интереса къ ученику*, согласны всѣ педагоги противной мнѣ «школы. Разница между нами только та, что это положеніе «о томъ, что ученіе должно возбуждать интересъ ребенка, у «нихъ затеряно въ числѣ другихъ противорѣчащихъ этому «положеній о *развитіи*, въ которомъ они *утверждены и из которому принуждаютъ*; тогда какъ я возбужденіе интереса въ «ученикѣ, наибольшее облегченіе, и потому непринужденность и естественность ученія, считаю *основнымъ и единственнымъ мѣриломъ* хорошаго и дурнаго ученія» (стр. 183).

Вотъ плодотворное начало, которымъ нужно руководиться при обученіи. Ученикъ не долженъ быть разсматриваемъ, какъ безформенный матеріалъ, какъ пустой сосудъ, въ кото-

ромъ учитель строитъ и образуетъ тѣ понятія, какія захочетъ. Ученикъ есть живое существо, самостоятельно развивающееся, и отъ насъ требуется давать ему то, на что у него есть требованіе, а не то, что мы хотимъ. Какъ таинственно растетъ и развивается его тѣло, такъ точно таинственно растетъ и развивается его умъ. Учитель не производитъ этого развитія и не управляетъ имъ, онъ только даетъ ему пищу, онъ только упражняетъ тѣ органы, которыя уже выросли и окрѣпли. Явилась у ребенка способность образовать *понятія*, явилась въ его умѣ категория *числа*—пусть учитель упражняетъ эту способность и укрѣпляетъ эту категорію, никакъ не мечтая, будто онъ самъ ихъ создалъ, или еще долженъ создать. То, что само растетъ въ душѣ, то одно живо и сильно; нужно только слѣдить за этимъ ростомъ и имъ пользоваться.

Но если такъ, то оказывается, что роль педагога гораздо проще, скромнѣе и естественнѣе, чѣмъ ее обыкновенно воображаютъ. Его главная потребность—*живой тактъ*, который бы давалъ ему понимать то, что дѣлается въ душѣ ученика. Не въ томъ дѣло, чтобы по своему образовать понятія въ головѣ ребенка—задача едва ли достижимая,—а въ томъ, чтобы только наблюдать, какъ они у него образуются, и помогать этому образованію. Такимъ образомъ, учитель вовсе не есть господинъ развитія учащихся,—онъ его слуга. Роль педагога во всѣхъ отношеніяхъ—служебная. Не онъ создаетъ и даже не онъ выбираетъ предметы обученія—эти предметы даны ему существующею культурою, опредѣлены умственными потребностями народа. Точно такъ, не онъ создаетъ способности воспитываемаго лица и опредѣляетъ порядокъ и степень ихъ развитія; онъ только даетъ имъ пищу, только открываетъ имъ поприща, на которыхъ они могутъ дѣйствовать. Педагогу слѣдуетъ не изобрѣтать новыя задачи, не мечтать о томъ, какъ дать новое направленіе душевной и умственной жизни человѣчества, ему нужно только сознать задачи, даваемые сущностію дѣла, и подчиняться имъ. Тогда его трудъ сдѣлается опредѣленнѣе, проще и по тому самому возможнѣе и полезнѣе: онъ будетъ отъ себя требовать не столько проникновенія въ тайны душевной природы человѣка, сколько терпѣнія и любви; и вмѣстѣ будетъ чувствовать, что

служить нѣкоторому великому дѣлу, одинаково стоящему какъ выше учениковъ, такъ и выше его самого.

Читавшіе статью гр. Л. Н. Толстаго, намъ кажется, согласятся, что она проникнута именно этимъ духомъ. Искренняя и чуткая любовь къ народу не могла не указать нашему поэту на самыя правильныя и естественныя отношенія въ этомъ практическомъ, жизненномъ вопросѣ.

(Гражданинъ 1874, № 48 и 50).

VIII.

Чѣмъ люди живы (Въ журналѣ «Дѣтскій Отдыхъ». Москва, 1881, т. III, стр. 407—434).

Новое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго, на которое, конечно, съ жадностію бросились всѣ его почитатели, произвело на этотъ разъ особенно сильное впечатлѣніе. Когда этотъ голосъ раздается среди шума нашей литературы, онъ всегда покрываетъ этотъ шумъ, покрываетъ не блескомъ и трескомъ, а тѣмъ тономъ искренности и простоты, передъ которымъ всѣ другія, и даже громкія рѣчи вдругъ начинаютъ казаться напускною риторикой, умыленною шумихой. Но на этотъ разъ въ маленькомъ разсказѣ Л. Н. Толстаго послышалась еще особая нота, такая глубокая и нѣжная, что она схватила за сердце самыхъ равнодушныхъ. Самое главное достоинство всего разсказа есть, конечно, удивительная сердечная теплота, и легко видѣть, что эта теплота находится въ прямой связи съ занятіями гр. Л. Н. Толстаго въ послѣднее время, о которыхъ, вѣроятно, знаютъ многіе читатели, съ занятіями тою книгой, изъ которой взяты восемь эпиграфовъ, стоящіе передъ разсказомъ. Евангельскій духъ, евангельская точка зрѣнія, — вотъ что поразило читателей, поразило неожиданно и неотразимо. Неожиданно потому, что этотъ духъ едва въ насъ теплится, давно заглушенъ и ежедневно заглушается другими вліяніями; неотразимо потому, что онъ явился въ дѣйствительно художественной формѣ, т. е. самой ясной и выразительной изъ всѣхъ формъ.

Чѣмъ люди живы? Они живы любовью, и разсказъ состоитъ въ изображеніи этой животворной любви.

Бѣдный сапожникъ даетъ у себя пріютъ голому нищему; женщина, имѣющая грудного ребенка, беретъ къ себѣ двухъ только что родившихся дѣвочекъ, у которыхъ умерла мать.

И любовь скрѣпляется и растетъ; нищій оказывается ангеломъ, а дѣвочки замѣняютъ самыхъ лучшихъ дочерей для своей воспитательницы.

И вотъ, эти подвиги и дѣйствія любви изображены со-всѣю ясностію, то есть изображены не одни внѣшніе поступки, а самыя души людей и то, что происходитъ въ этихъ душахъ. Въ нихъ проявилось чувство дѣйствительной любви, чистой, безкорыстной и простой, и оно-то приводитъ читателя въ умиленіе.

Замѣтимъ, однакоже, что нѣтъ ничего необыкновеннаго въ томъ, что тутъ рассказано. Городскому жителю, и вообще достаточному человѣку съ удобной квартирой и правильнымъ хозяйствомъ, конечно, покажется труднымъ взять бѣдняка съ улицы и раздѣлить съ нимъ и свое жилье и свои занятія. Но между бѣдняками, и простыми и даже образованными. такіе случаи гораздо возможныѣе и не въ диковинку. Точно также дамѣ, имѣющей грудного ребенка, не придетъ и въ голову кормить еще другихъ дѣтей, когда она, можетъ быть, не хочетъ кормить и своего. Обставяя свою жизнь удобствами и усложняя ее, мы, очевидно, ставимъ помѣхи сближенію людей и дѣлаемъ тяжелымъ и даже невозможнымъ то взаимное участіе, которое совершенно просто дѣлается у крестьянъ и бѣдняковъ.

Итакъ, въ рассказѣ Л. Н. Толстаго не совершаются какіе-нибудь чрезвычайныя жертвы и подвиги. Да и люди, которые здѣсь дѣйствуютъ, не имѣютъ въ себѣ ничего героическаго; это—самые обыкновенные люди, скорѣе маленькіе, чѣмъ большіе люди, по размѣрамъ своихъ душъ. Сапожникъ Семень—добрый, но простой малый, любящій иногда выпить, какъ всѣ сапожники. Матрена — женщина хозяйственная, говорливая, любопытная и немножко сварливая,—словомъ, обыкновеннѣйшая женщина. Купчиха тоже отличается только добродушіемъ и мягкостію, развившимися среди менѣ заботливой и трудной жизни. Во всемъ этомъ нашъ авторъ остался вѣренъ самому себѣ. Главный фонъ всѣхъ произведеній Л. Н.

Толстаго есть описаніе самыхъ обыкновенныхъ людей и самыхъ обыкновенныхъ событій.

Но откуда же неотразимое впечатлѣніе этого разсказа? Въ чемъ его сила? Безъ сомнѣнія въ томъ, что художникъ сталъ совершенно въ уровень съ этими людьми, что онъ смотритъ на нихъ не сверху и не снизу, а прямо, какъ на равныхъ, какъ на братьевъ, какъ на своихъ. Онъ даже сталъ говорить ихъ языкомъ, такъ же, какъ онъ здѣсь думаетъ ихъ мыслями и чувствуетъ ихъ чувствами. Тонъ разсказа поэтому нѣсколько уклоняется отъ прямого тона самого художника; это собственно—*народный разсказъ, пересказанный Л. Н. Толстымъ*. Пересказъ этотъ, однако, таковъ, что народное сказаніе дѣлается въ немъ для насъ вполне понятнымъ, исполненнымъ глубокаго смысла, какого мы никогда не сумѣли бы найти въ простомъ народномъ сказаніи. Мы вдругъ начинаемъ понимать, чѣмъ живутъ эти люди, на чемъ держится эта простая жизнь, какія чувства и мысли составляютъ ея опору, руководство, отраду, ея главное зерно. Они живутъ—духомъ Христовымъ; они въ немъ видятъ главный смыслъ жизни; они искренно исповѣдуютъ ученіе любви, какъ верховное правило дѣйствій и мыслей; они слѣдуютъ наставленіямъ ангеловъ. Словомъ, они хотя и малые и слабые люди, но истинные христіане. Вотъ что обнаруживается для насъ изъ разсказа съ неотразимою художественною выпуклостію. Въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ сказать, что художникъ не только не заставляетъ насъ смотрѣть на описанные лица сверху внизъ, но, напротивъ, поднимаетъ насъ до уровня этихъ лицъ, даетъ намъ чувствовать въ ихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ вѣяніе истинной жизни, внушаетъ намъ, что отъ насъ самихъ, пожалуй, постоянно несетъ «мертвымъ духомъ», и что сапожникъ Семенъ со своею семьей болѣе достоинъ общества ангеловъ, чѣмъ мы съ вами, любезный читатель.

Вотъ въ чемъ, мнѣ кажется, главная прелесть и новость разсказа Л. Н. Толстаго.

(Гражданинъ, 1882, № 10—11).

IX.

ВЗГЛЯДЪ НА ТЕКУЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ.

! Вы расчесываете у себя зудъ вашего
мнѣнія до тѣхъ поръ, пока не станете
паршивыми съ головы до ногъ.

Шекспиръ.

I.

Отличительная черта русской литературы, и черта очень печальная, есть ее очевидная *искусственность*, т. е. что она не растетъ естественно изъ нашихъ духовныхъ силъ и жизненныхъ потребностей, а развивается больше всего въ силу побочныхъ влiянiй, изъ подражанiя, изъ тщеславiя, для развлечения, или изъ расчета. Таковъ, впрочемъ, общiй характеръ всей нашей умственной дѣятельности и отъ этого происходитъ, что объемъ этой дѣятельности гораздо шире, чѣмъ ее содержанiе. У насъ есть Академiя Наукъ, университеты и другiя ученые учрежденiя, но ученыхъ и учености очень мало. Точно также, пишется и печатается несравненно больше, чѣмъ слѣдуетъ, т. е. пропорцiя дѣльныхъ книгъ, настоящаго умственнаго труда, необыкновенно мала сравнительно съ другими просвѣщенными странами. Читающая публика растетъ съ каждымъ днемъ, но число серьезныхъ, истинно просвѣщенныхъ читателей ничтожно и, можно думать, не только не растетъ, а убываетъ. У насъ множество газетъ, но политической силы, т. е. настоящаго государственнаго и общественнаго значенiя, онѣ почти не имѣютъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое русская газета? Стоить ли

за нею какое-нибудь определенное дѣло, определенная партія? Очевидно, нѣтъ, такъ какъ нѣтъ у насъ дѣлъ и партій, имѣющихъ обязанность и право говорить самостоятельно. Поэтому, въ сущности, у насъ газета есть личный органъ ея редактора, и «Московскія Вѣдомости» однажды весьма правильно объявили себя такимъ органомъ. Въ другихъ странахъ определенная партія или известное направленіе общественнаго мнѣнія создаютъ себѣ органъ въ газетѣ; у насъ на оборотъ—газета стремится возбудить общественное мнѣніе, образовать себѣ партію. Такъ точно, въ другихъ странахъ университетъ есть созданіе той учености, которая уже развилась въ обществѣ; у насъ наоборотъ—университетъ стремится насадить ученость въ обществѣ, еще чуждомъ учености. Преимущественно правительство у насъ заботится объ успѣхахъ наукъ и распространеніи просвѣщенія, такъ точно, оно же сочло нужнымъ вызывать въ известной мѣрѣ развитіе общественнаго мнѣнія. Но, въ сущности, правительство придаетъ значеніе не партіямъ, а голосамъ отдѣльныхъ лицъ, и наши публицисты—не выразители мнѣній общества, а внушители этихъ мнѣній, руководители общества.

Въ новомъ журналѣ «Устой» мы встрѣтили слѣдующія сѣтованія:

«Въ то время, когда западно-европейскія партіи вырабатываютъ свои программы на основаніи богатаго опыта жизни, русскіе должны ихъ созидать чисто математическимъ путемъ, оперируя надъ отвлеченными величинами, или того хуже—надъ иксами. Западно-европейскій публицистъ, утверждая, положимъ, что необходимы такія-то и такія-то реформы, такія-то и такія-то законодательныя мѣры, прямо вамъ сошлетъ на резолюцію такого-то и такого-то митинга, на постановленіе такой-то и такой-то ассоціаціи, на прессу, не имѣющую надобности скрывать истину, и т. д. За него, слѣдовательно, говорить, и въ большинствѣ случаевъ громко и ясно, сама жизнь и на его долю остается, такимъ образомъ, только нетрудная задача регистраціи. Но что прикажете дѣлать публицисту русскому?» и т. д. («Устой», 1882, № 9 и 10, стр. 82).

Все это довольно вѣрно. Но вотъ вопросъ, кто же насъ

просить быть русскимъ публицистомъ? Откуда такое призваніе? Какъ случилось, что вы избрали себѣ дѣятельность, для которой нѣтъ никакихъ прямыхъ требованій, никакихъ надлежащихъ условий? Что это за партія, не имѣющая программы, но во что бы то ни стало желающая ее составить? Очевидно, роль публициста выбирается только по наслышкѣ, по подражанію, изъ желанія стать руководителемъ, но неизвѣстно въ чемъ и неизвѣстно кого.

И этому отвлеченному публицисту соответствуетъ его публика, точно такая же отвлеченная. Публика у насъ не просвѣщенная, не проникнутая какими-нибудь опредѣленными идеями, вкусами, ученіями, а только еще стремящаяся къ просвѣщенію, только еще жаждущая идей, ищущая убѣжденій и вкусовъ. Всѣ стараются быть образованными, но никто еще не знаетъ, въ чемъ состоитъ истинное образованіе. Просвѣщеніе у насъ почти не растетъ само собой, изъ своихъ естественныхъ корней, а распространяется сверху, преимущественно усиліями правительства. Молодежь мужская и женская постоянно стекается въ столицы и большіе города, отчасти изъ отвлеченнаго честолюбиваго желанія чему-нибудь учиться, еще больше изъ желанія куда-нибудь дѣвать себя, но главное — изъ расчета на чины и мѣста, для которыхъ образованіе поставлено непремѣннымъ условіемъ. Правительство имѣло сперва въ виду приготовить себѣ нужныхъ людей и, приготовивши, размѣщало ихъ по назначенію; но потомъ оно вполне расширило свою задачу и стало хлопотать о всякаго рода просвѣщеніи и въ размѣрахъ неограниченныхъ. вмѣстѣ съ тѣмъ оно отказалось отъ размѣщенія своихъ питомцевъ, отъ доставленія имъ поприща дѣятельности. Оно вводило къ намъ патентованные на Западѣ программы и порядки, посылало за границу молодыхъ людей, но не могло само давать направленіе нашему образованію, вливать въ него нѣкоторый духъ; а еще меньше могла быть во власти правительства серіозность и глубина, съ которою принималось просвѣщеніе. Нельзя даровать того, чего не существуетъ; очевидно, само общество, самъ народъ долженъ создать свою серіозную науку, твердое и ясное направленіе своего просвѣщенія. Такъ Ломоносовъ, Державинъ и т. д. создали русскую художественную литера-

туру не въ силу правительственныхъ программъ и указаній, а по внушенію своего генія. Въ научной же сферѣ у насъ не укрѣпилось и не развилось ничего самостоятельнаго. Мы особенно отличились въ тѣхъ наукахъ, гдѣ самостоятельность почти невозможна—въ математикѣ, химіи и т. п. Не нужно, однако, забывать главнаго. Пусть нашъ Чебышевъ одинъ изъ первыхъ математиковъ, пусть Мендѣлевъ даже первый химикъ въ мірѣ—Кеплеръ химіи; но тѣ народы, съ которыми мы желаемъ соперничать, не только производятъ великихъ химиковъ и математиковъ, они могутъ гордиться большимъ—они создали самую химию и самую математику.

Въ наукахъ же нравственнаго міра, то есть въ тѣхъ, гдѣ есть просторъ для установленія самобытныхъ точекъ зрѣнія, для открытія своихъ особыхъ горизонтовъ, мы ничего почти не одѣляли. Поэтому тутъ мы подвергаемся непрерывному и жалкому колебанію. Каждое поколѣніе учится по новымъ европейскимъ книжкамъ философіи, исторіи, юриспруденціи; но далеко еще не успѣютъ наши профессора выслужить свой двадцатипятилѣтній срокъ, какъ оказываются давно уже отсталыми въ сравненіи съ движеніемъ Европы; тогда молодые люди устремляются на вновь явившіяся книги, или на новыхъ европейскихъ профессоровъ, и становятся на нѣкоторое время современными и передовыми, а затѣмъ въ свою очередь запаздываютъ и отстаютъ. Такъ мы вѣчно гонимся за Европой и вѣчно отъ нея отстаемъ. Очевидно, только въ томъ случаѣ, если бы у насъ совершалось свое собственное движеніе, мы могли бы поравняться съ нею, или даже перегнать ее.

При такомъ положеніи дѣлъ, что же такое наша публика, нашъ читающій міръ? Это—масса людей, потерявшихъ всякія точки опоры, не приуроченныхъ ни къ какому дѣлу или интересу, не имѣющихъ никакихъ умственныхъ преданій и авторитетовъ, но сильно возбужденныхъ и вмѣстѣ подавленныхъ требованіемъ образованія. Всякая публика во всѣхъ странахъ міра жаждетъ авторитета, ищетъ готовыхъ мнѣній, печатныхъ указаній, которые бы каждое утро выводили ее изъ нерѣшительности, помогали ей мыслить и говорить. Газета въ этомъ случаѣ такъ же необходима, какъ обѣдъ. Но

нѣтъ въ мірѣ публики такой боязливой и нерѣшительной, какъ русская; тутъ истинно: кто палку возьмѣтъ, тотъ и каплетъ. Полуобразованные съ робостію затверживаютъ слова и мысли, выдаваемые имъ за выраженіе просвѣщенныхъ взглядовъ, а наши публицисты—большіе мастера терроризовать свою публику и, вмѣсто разъясненія дѣла, пугать ее отсталостію и измѣною разнымъ священнымъ знаменамъ.

Прибавьте къ этому ту зыбкость ума и ту склонность къ идеализму, которыя составляютъ наши природныя черты, и даже преимущественно черты Великорусскаго племени. Способность доходить до послѣднихъ краевъ каждой мысли, отрицать самое заветное и легкое, бросаться отъ одной крайности въ противоположную, порождаетъ въ насъ ту умственную шаткость, отъ которой мы обыкновенно спасаемъ себя какимъ-нибудь упорнымъ старовѣрствомъ, или же безпрекословной, радостной покорностью родинѣ, государству. Склонность къ идеализму я называю здѣсь то погруженіе въ себя, въ свои мысли, въ силу котораго мы чрезвычайно мало способны къ объективности. Мы ненормально дальнозорки и видимъ въ окружающей дѣйствительности только то, что намъ указываютъ наши мысли; для остального же мы совершенно слѣпы. Отъ этого происходитъ, что мы въ нѣкоторыхъ вещахъ очень щепетилы, очень требовательны, но вообще—небрежны и неряшливы; мы бываемъ при случаѣ такими энтузіастами, или наоборотъ—такими циниками, какихъ еще міръ не производилъ; но мы почти неспособны видѣть предметы въ надлежащемъ свѣтѣ и въ ихъ дѣйствительныхъ размѣрахъ.

При такой подвижности умовъ, при отсутствіи корней въ нашемъ просвѣщеніи, при господствѣ полуобразованія, естественно, что власть надъ умами существуетъ только одна—авторитетъ Запада. Не тѣ или другія частности, а общее направленіе западной жизни дѣйствуетъ на насъ, не встрѣчая своему вліянію никакихъ серіозныхъ препятствій. А въ чемъ состоитъ теперь это направленіе? На Западѣ, очевидно, одна идея заслонила собою всѣ другія и усиливается съ каждымъ днемъ—*идея политическая*. Религія, искусство, наука отодвинуты на задній планъ, и политика стремится обратить ихъ

въ свои служебныя силы. Въ политикѣ ищутъ себѣ исхода нравственныя потребности человѣчества; энергія людей все больше и больше устремляется въ эту сторону, и Западъ, съ свойственной ему послѣдовательностію и твердостію, конечно, будетъ развивать свою идею, пока не изживетъ ее вполнѣ.

Политическая идея выступила на смѣну религіозной идеи, которою до XVIII-го вѣка жила Европа. Новое направленіе жизни, разумѣется, встрѣтило себѣ сопротивленіе въ другихъ историческихъ стихіяхъ, и изъ этого сопротивленія развились различныя реставраціи, иногда высокаго значенія, напр., въ искусствѣ—романтика, въ философіи—гегелизмъ, въ государственной сферѣ—начало національностей. Но политическая идея, какъ такой принципъ, который устанавливалъ новое *единое на потребу*, или обращала эти реставраціи въ свою пользу, или понемногу брала верхъ надъ ними и совершенно ихъ устраняла. Исторія намъ постоянно показываетъ подобное преобладаніе одной стороны жизни надъ всѣми другими, и прогрессъ заключается какъ-будто въ томъ, что люди, переработавши эти стороны одну за другою, возвращаются къ началу одного и того же круга.

Всѣмъ этимъ теченіямъ европейской жизни мы подчинились въ нашемъ умственномъ и литературномъ развитіи. Романтика дала намъ нашу поэзію, нѣмецкая философія возбудила у насъ первое движеніе самостоятельной мысли, движеніе самосознанія. Съ славянофиловъ начинается поворотъ въ нашей умственной жизни. Какъ извѣстно, они—націоналы въ смыслѣ отрицанія космополитическихъ идей; они—самобытники, какъ противники подражательности; они—консерваторы, какъ защитники тѣхъ живыхъ началъ, на которыхъ выросла, окрѣпла и держится Россія. Съ тѣхъ поръ, какъ это направленіе выступило съ такою силою мысли и слова, которая дала ему мѣсто въ высшемъ разрядѣ литературныхъ явленій, направленія въ нашей умственной жизни установились, и началось не только логическое, но и сознательное ихъ развитіе, которое имѣетъ верховное значеніе въ литературѣ и которому предстоитъ далекая будущность. Всѣ наши *русскія партіи*, всякіе консерваторы и патріоты, не только не имѣютъ права отрекаться отъ славянофильства, а обязаны

признавать его существенные принципы и могут расходиться только въ частностяхъ, слѣдовательно, работать лишь въ пользу болѣе правильнаго и полнаго раскрытія и приложенія этихъ принциповъ. У насъ много бессознательныхъ славянофиловъ и, какъ не разъ было сказано, весь нашъ простой народъ—такіе славянофилы. Но мы говоримъ здѣсь не о бессознательныхъ явленіяхъ, а объ литературѣ; въ ней мы имѣемъ право требовать сознанія.

Съ появленіемъ славянофильства, и западничество должно было получить настоящій сознательный характеръ; оно также обязано—и стать въ отчетливыя, ясныя отношенія къ *русской идее*, выставляемой славянофилами, и сознательно держаться той *западной идеи*, которая все сильнѣе и сильнѣе проникаетъ собою умственную жизнь Европы. Вопросъ поставленъ, формулированъ; уйти отъ него некуда, развѣ только въ легкомысліе или равнодушіе.

II.

Вотъ тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ, намъ кажется, слѣдуетъ разсматривать движеніе нашей литературы. Эта литература, представляющая столько отвлеченности и искусственности, разыгрывающая роль образованной, взрослой литературы, плодящая все больше и больше не только поэтовъ и романистовъ, но и партій и ихъ программъ и публицистовъ, приобретающая съ каждымъ годомъ все большее число читателей, которые жаждутъ идей и руководства и заимствуютъ отъ нея и всѣ опоры для сужденій и самыя слова для ихъ выраженія,—эта литература естественно должна имѣть преимущественно теоретическій характеръ, должна быть, главнымъ образомъ, поприщемъ общихъ мѣстъ, общихъ вопросовъ. Но изъ всѣхъ вопросовъ самый существенный и господствующій надъ всѣми другими есть вопросъ объ авторитетѣ Запада, такъ какъ этотъ авторитетъ, непрерывно гнетущій и непрерывно возбуждающій, есть единственный ясный авторитетъ въ нашей умственной средѣ. Противъ него поднялась реакція,

заявленъ протѣстъ, и всѣ наши вражды и партіи сводятся къ этому главному раздвоенію, къ борьбѣ этихъ двухъ началъ.

Давно уже наша умственная исторія совершается одинаковымъ порядкомъ. Со временъ Грибоедова и до нашихъ дней, наши мальчики набираются «какихъ-то новыхъ правилъ», а отцы въ глумомъ самодовольствѣ восклицаютъ:

Извольте посмотрѣть на нашу молодежь,
На юношей, сынковъ и внучатъ:
Журимъ мы ихъ, а если разберешь,
Въ пятнадцать лѣтъ учителя научатъ!

До нашихъ дней, что дѣлаютъ образованные и достаточные люди?

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ...

До нашихъ дней, люди серьезные молятся все о томъ же:

Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ
Пустаго, рабскаго, слѣпаго подражанья,
Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ нибудь съ душой,
Кто могъ бы словомъ или примѣромъ
Насъ удержать, какъ вѣрною воиной,
Отъ жалкой тошноты по оскорбѣ чужой.


И, со временъ Грибоедова и до нашихъ дней, мы слышимъ о своихъ общественныхъ порядкахъ все тотъ же возгласъ:

Дохматьевъ Алексѣй чудесно говоритъ,
Что радикальныя потребны тутъ лѣкарства:
Желудокъ больше не варить!

Въ теченіе шестидесяти лѣтъ, прошедшихъ съ тѣхъ поръ, когда указаны эти черты, существенное положеніе дѣлъ осталось то же, и если мы станемъ подводить итоги того, что сдѣлано у насъ въ наукѣ и литературѣ по этому главнѣйшему вопросу, то нельзя будетъ воздержаться отъ глубокаго унынія. Повидимому, все такъ же обстоитъ, какъ и

прежде, и мы только толчемся на одномъ мѣстѣ. Умственный міръ нашъ *растетъ, но не растетъ*, какъ выражался Чаадаевъ. Даже, наоборотъ, можно думать, что нынче западная идея получила нѣкоторый перевѣсъ. Вліяніе ея отчасти обострилось и породило то въ высшей степени злокачественное явленіе, которое называется *нигилизмомъ*. Нигилизмъ есть очень характерное порожденіе нашей земли, въ которомъ равно сказались и западное вліяніе, и нашъ русскій умъ съ его быстротою и отчаянностію. Это—самая послѣдовательная, самая опредѣленная и потому наиболѣ оригинальная и поучительная изъ нашихъ партій. Теперь, когда Бакуннины и Крапоткины стали словомъ и дѣломъ работать въ самой Европѣ, мы могли бы злобно посмѣяться и сказать, что уже платимъ Западу долгъ, что уже вносимъ свою долю участія въ его политическое развитіе.

Но какіе же у насъ другіе, болѣе отрадныя успѣхи? Мудрено сказать. Не будемъ несправедливы; задача—совладать съ западною идеею, конечно, громадная задача, и естественно, что она подавляетъ наши силы. Однакоже, если мы точно великій народъ, то было, кажется, достаточно времени, чтобы совершить какіе-нибудь изъ умственныхъ подвиговъ, которыхъ требуетъ эта задача. Между тѣмъ, мы до сихъ поръ не только въ математикѣ и химіи, а и во всѣхъ другихъ наукахъ, имѣющихъ на Западѣ свое особенное, одностороннее направленіе, рабски слѣдуемъ Европейцамъ. Появились, правда, нѣкоторые прекрасныя зачатки, нѣкоторыя довольно твердыя указанія самобытныхъ путей и постановокъ; но нѣтъ ничего цѣлаго, завершеннаго. А что всего печальнѣе—постоянно обнаруживается чрезвычайная слабость научнаго духа, поразительная неспособность къ общимъ идеямъ, къ ихъ ясному и твердому развитію. Все идетъ порывами, скачками, брыгами, и ничего не выходитъ послѣдовательнаго, полнаго и сознательнаго. Эта черта грустна потому, что отнимаетъ надежду на будущее, заставляетъ сомнѣваться въ годности нашихъ силъ для цѣли имъ поставленной. Собственно говоря, въ литературѣ теперь не господствуютъ опредѣленные теченія, а царитъ полный хаосъ; существуютъ лишь поползованія, порыванія, а не убѣжденія. Чтобы увѣриться въ этомъ, стоитъ



только обратить вниманіе на то, какъ у насъ одинъ пишущій понимаетъ мысли другого пишущаго. Онъ всегда такъ ихъ искажаетъ, что, очевидно, не имѣетъ яснаго представленія ни о своей, ни о чужой точкѣ зрѣнія. Между тѣмъ восторги и негодованія происходятъ великіе, и все усиливаются. Наши публицисты, какъ мы видѣли, никакъ не могутъ составить своихъ программъ; но пугать публику, дразнить ее, подзадоривать и науськивать они умѣютъ превосходно и занимаются такимъ дѣломъ съ величайшимъ усердіемъ. Читатели, даже и тѣ, которые могли бы еще кое-что ясно видѣть, совершенно дурѣютъ отъ этихъ непрестанныхъ возбужденій и уже ничего не видятъ въ правильномъ свѣтѣ и видѣ. Есть люди, которые занимаются такимъ омраченіемъ или мороченіемъ публики долгіе годы, и со стороны невозможно не удивляться, какъ совѣсть ни разу не подсказала имъ, что они сами слѣпы, сами не имѣютъ опредѣленной мысли и, слѣдовательно, не дѣлаютъ ничего хорошаго, упражняясь въ напусканіи въ чужія головы той путаницы, какая царитъ въ ихъ собственной. Вѣроятно, они извиняютъ себя извѣстнымъ ученіемъ, что всякое движеніе, всякая кутерьма лучше, чѣмъ застой и спокойствіе, т. е. что въ разсужденіи прогресса дѣль оправдываетъ средства.

Но не только чужды умственной работѣ люди мало добросовѣстные и легкомысленные; и тѣ, за которыми нужно признать и сильный умъ и высокія чувства, страдаютъ у насъ какою-то *мыслеболѣзью*. Они нерѣдко отличаются великою чуткостію относительно всего враждебнаго дорогимъ для нихъ интересамъ; но ограничиваются только указаніями своего чувства, а не стремятся къ раскрытію идеи этихъ драгоценныхъ интересовъ, къ возведенію своихъ чувствъ въ ясныя и твердыя мысли. Они питаются только своимъ фанатизмомъ и готовы видѣть что-то кощунственное и святотатственное въ попыткахъ анализа и логической формулировки, обращенныхъ на предметы ихъ уваженія. Понятно, что при такомъ ходѣ дѣла, положительныя ученія не дѣлаютъ никакихъ успѣховъ, и смута умовъ только увеличивается. Ссылаясь на самыя священные знамена, на заветнѣйшіе интересы души человѣческой, русскіе люди, и прямо и восторженно, называютъ другъ

друга мерзавцами, измѣнниками, еретиками, извергами и сумасшедшими, и забываютъ, или лучше—знать не хотятъ, что эти ихъ любимые масштабы не годятся для дѣйствительныхъ явленій. Сѣмена злобы сѣются усердно и успѣшно, а сѣмена мыслей такъ скудно, что страшно подумать, каковъ будетъ созрѣвшій посѣвъ.

Другое дѣло отрицательныя ученія. Они, дѣйствительно, у насъ дѣлаютъ успѣхи въ своемъ сознательномъ развитіи, потому что всякая смута имъ идетъ въ прокъ, потому что они требуютъ не широкой и ясной мысли, а только отрицанія, потому что нигилизмъ есть самое естественное исповѣданіе людей, у которыхъ нѣтъ преданій, нѣтъ авторитетовъ, нѣтъ никакихъ опоръ для чувствъ и мыслей. Нигилизмъ есть прямое выраженіе умственной и нравственной скудости нашего образованнаго слоя, и можно считать большимъ прогрессомъ, что эта скудость, наконецъ, высказалась въ такой ясной, сознательной формулѣ. Задача поставлена ясно, безповоротно, но большинство, вмѣсто того чтобы содрогнуться и задуматься, остается попрежнему довольнымъ пестрою смѣсью своихъ нанесенныхъ вѣтромъ понятій, не имѣющихъ ни корней, ни взаимной гармоніи, или же избираетъ своимъ дѣломъ—гнѣтъ и пылатъ, но никакъ не думать. Между тѣмъ, если уже навсегда прекратилась безсознательная жизнь Русской земли, если мы приняли въ себя закваску западнаго просвѣщенія, то намъ не остается другого выхода, какъ самостоятельно работать мыслию; мы сильны, молоды, здоровы, но намъ не достаетъ умственного труда, и намъ угрожаютъ бѣды, отъ которыхъ только онъ одинъ насъ можетъ спасти.

За послѣдніе годы въ нашей литературѣ занимало большое, даже огромное мѣсто одно явленіе, о которомъ здѣсь встаетъ сказать. Покойный Ф. М. Достоевскій въ своемъ «Дневникѣ Писателя» дѣйствовалъ, какъ публицистъ, касался всякихъ вопросовъ дня, возводя ихъ къ общимъ вопросамъ, и имѣлъ необыкновенный успѣхъ, возбуждалъ симпатію, какой мало можно найти примѣровъ. Если мы вспомнимъ прежнюю журнальную дѣятельность Достоевскаго, начинающуюся съ 1861 г., съ начала «Временн», то можно вообще сказать, что онъ былъ главнымъ дѣятелемъ и представителемъ нѣко-

того *петербургскаго славянофильства*, составившаго совершенно особую струю въ потокъ петербургской журналистики, струю, расширявшуюся съ каждымъ годомъ. Его «Дневникъ», его рѣчь на Пушкинскомъ праздникѣ, его публичныя чтенія были рядомъ истинныхъ побѣдъ надъ публикою; когда онъ умеръ, уваженіе и любовь къ нему вспыхнули яркимъ пламенемъ, котораго не забудетъ никто изъ видѣвшихъ.

Огромное вліяніе Достоевскаго нужно причислить, конечно, къ самымъ отраднымъ явленіямъ, и въ немъ есть одна черта, заслуживающая величайшаго вниманія. Эта черта — отсутствіе злобы въ постановкѣ нашей великой распри между западной и русской идеею. Эта черта поразила всѣхъ въ Пушкинскій рѣчи Достоевскаго, но она же характеризуетъ собою и его «Дневникъ», и его романы. При всей рѣзкости, съ какою онъ писалъ, при всей вспыльчивости его слогъ и мыслей, нельзя было не чувствовать, что онъ стремится найти выходъ и примиреніе для самыхъ крайнихъ заблужденій, противъ которыхъ ратуетъ. «Смирись, гордый человекъ, потрудиись, праздный человекъ!» Эти слова, которыя съ такою неизобразимою силою прозвучали въ Москвѣ надъ толпою, эти слова звучали не угрозою, не ненавистью, а задушевнымъ, братскимъ увѣщаніемъ. Та же нота постоянно слышалась въ «Дневникѣ», который поэтому съ жадностію читался даже многими нигилистами и направлялъ ихъ на лучшій путь. Молодые люди, именно тѣ, которые искали выхода изъ своихъ мрачныхъ и страшныхъ убѣжденій, не только охотно читали Достоевскаго, но и обращались къ нему частнымъ образомъ, ожидая опоры и руководства. Достоевскій, однако, не былъ ни мыслителемъ, ни публицистомъ въ настоящемъ смыслѣ слова; больше всего онъ былъ художникомъ, и своимъ художническимъ чутьемъ онъ различалъ правду и заблужденіе, добро и зло. Онъ проповѣдывалъ не столько логически, сколько психологически, и въ своихъ романахъ онъ всего полнѣе выразилъ свои стремленія и свои взгляды на состояніе русскихъ умовъ и душъ. Никто съ такою вѣрностью и глубиною не изображалъ всякаго рода нигилистовъ, и при этомъ онъ обнаруживалъ въ отношеніи къ однимъ презрѣніе и негодованіе,

но въ отношеніи къ другимъ—участіе и состраданіе. Онъ понималъ то, что совершается въ людяхъ, сбившихся съ прямого пути. Главною темою его былъ—*раскалявшійся нигилистъ*; таковы: Раскольниковъ, Шатовъ, Карамазовъ и пр.

Вотъ примѣръ и поученіе для всѣхъ нашихъ партій. Противъ чего бы мы ни боролись и какъ бы горячо мы ни возставали, намъ нужно не косить въ одной враждѣ и злобѣ, а стремиться къ пониманію своихъ противниковъ и отыскивать ту болѣе высокую сферу, въ которую мы могли бы вывести ихъ изъ ихъ мрака и духовнаго извращенія. Прежде всего и больше всего нужно искать свѣта, потому что,

Увидя свѣтъ, ужъ никому
Назадъ не хочется во тьму.

III.

Настоящая литература, въ тѣсномъ смыслѣ, есть литература художественная, творческая. Художество представляетъ возможность такого полного и широкаго выраженія идей, какого неспособны дать никакіе другіе приемы и изложенія. Русскій характеръ, достоинства и недостатки русскаго ума и сердца и смыслъ движеній нашей жизни—яснѣе выражаются въ произведеніяхъ Пушкина, Гоголя, Л. Н. Толстаго, чѣмъ во всѣхъ разсужденіяхъ нашихъ историковъ и публицистовъ. Художество создаетъ живыя лица, воплощаетъ явленія жизни со всѣмъ ихъ содержаніемъ, съ корнями и задатками. Поэтому главнымъ предметомъ литературнаго обозрѣнія всегда должна быть художественная словесность. У насъ она, какъ извѣстно, процвѣтаетъ: мы можемъ, кажется, прямо сказать, что словесное художество у насъ болѣе серіозно, исполнено большей жизни и глубины, чѣмъ въ другихъ странахъ Европы. Эта словесность, какъ и другія отрасли литературы, состоитъ у насъ изъ нѣсколькихъ очень крупныхъ и важныхъ явленій и затѣмъ изъ великаго множества подражательныхъ и очень слабыхъ, т. е. и у нея объемъ несравненно шире

содержанія; но на этотъ разъ содержаніе такъ вѣско, что жаловаться не приходится.

Возьмемъ настоящую минуту. Что теперь въ рукахъ читателей? Во первыхъ, сочиненія Достоевскаго, которыхъ полное собраніе, четырнадцать очень большихъ томовъ, быстро выходитъ томъ за томомъ; конечно, только теперь эти сочиненія получаютъ наибольшее свое распространеніе и дѣйствіе. Потомъ—усердно читается Некрасовъ; недавно напечатанъ третій десятокъ тысячъ посмертнаго собранія его сочиненій. Съ этими двумя покойниками по успѣху можно сопоставить Л. Н. Толстаго, котораго рассказъ «Чѣмъ люди живы» безъ конца перепечатывается, и непрерывно пишущаго г. Салтыкова, котораго въ послѣдніе два-три года многіе прямо провозглашаютъ *великимъ сатирикомъ*. Намъ кажется, эти четыре имени представляютъ уже очень серьезное содержаніе для читателей, и если требуется, чтобы изящная литература питала умы и сердца, то въ настоящую минуту она у насъ производить довольно обильное питаніе. Какого рода это питаніе, есть ли въ немъ ясность и гармонія,—это другой вопросъ; можно страшиться этого питанія, или печалиться о немъ, но нельзя не признать, что у насъ есть серьезная словесность, нельзя не задуматься надъ глубиною ея загадочныхъ явленій. Вспомните, напримѣръ, сочиненія Достоевскаго; это цѣлая туча самыхъ живыхъ и разнообразныхъ задачъ.

Конечно, нынѣшняя минута есть развитіе и продолженіе предыдущихъ годовъ. Чтобы взять нашу мысль полнѣе и яснѣе, мы думаемъ остановиться на трехъ явленіяхъ, которыя рассмотримъ въ связи: это—«Новъ» г. Тургенева (1877 г.), романъ очень поучительный, хотя и неудачный по своей вялости и безсвязности. «Анна Каренина» гр. Толстаго (1877 г.), романъ, въ которомъ слѣдуетъ видѣть прологъ къ рассказу «Чѣмъ люди живы», и наконецъ «Братья Карамазовы» (1881 г.), послѣдній романъ Достоевскаго. Намъ кажется, изъ этихъ трехъ произведеній можно извлечь любопытныя указанія на духовное состояніе нашихъ образованныхъ классовъ.

IV.

Одинъ Гоголь умѣлъ изображать русскую *глупость*. Геніальный малороссъ, серьезный, глубокій, поэтический, онъ былъ пораженъ тѣмъ вѣтромъ въ голокъ, тѣмъ отсутствіемъ всякой твердости мысли, которая такъ часто у насъ встрѣчается, и изобразилъ его въ своихъ Хлестаковыхъ, Ноздревыхъ, Бочкаревыхъ и т. д. Онъ изумительно уловлялъ пустоту ума, неспособность мысли видѣть дѣйствительность, и дважды, въ *Ревизорѣ* и въ *Мертвыхъ душахъ*, представилъ намъ грандіозное комическое зрѣлище, какъ цѣлый городъ волнуется нелѣпѣйшими представленіями. Очень жаль, что мы не вспоминаемъ этихъ картинъ каждый разъ, когда случится съ нами то, что называется *пороть горячку*. Если бы мы внимательно всмотрѣлись въ то, что тогда съ нами происходитъ, мы увидѣли бы, какъ поразительно всѣ наши горячки похожи на волненія, возбужденныя нѣкогда Чичиковымъ и Хлестаковымъ.

Послѣ Гоголя никто уже не умѣлъ смѣяться такъ, какъ онъ, смѣяться такъ отъ души, безъ всякой примѣси другого чувства, ибо смѣхъ былъ полнымъ отвѣтомъ на изображенныя фигуры и сцены. Наше настроеніе измѣнилось, мы ударились въ печаль и тоску и разучились смѣяться. Теперь случается слышать, что Гоголь скученъ, что въ немъ нѣтъ серьезнаго содержанія; удивительное художество перестало на насъ дѣйствовать, и комическія картины мы принимаемъ за дѣйствительныя глупости. Этотъ переломъ начался давно и слѣды его можно найти, напр., у Аполлона Григорьева. Сначала онъ былъ восторженнымъ поклонникомъ Гоголя, говорилъ, что только у Гоголя отношеніе къ предметамъ вполне правильно, что, напр., у Достоевскаго возводится въ трагедію то, что заслуживаетъ лишь комедіи (направленіе Достоевскаго Ап. Григорьевъ вообще называлъ *сентиментальнымъ натурализмомъ*). Но потомъ взгляды критика измѣнились; увлеченный движеніемъ литературы, ея попытками выставить положительные типы, онъ охладѣлъ къ Гоголю и въ 1861 году писалъ: «Чѣмъ болѣе я въ него на досугъ вчитываюсь,

«тѣмъ болѣе дивлюсь нашему бывалому ослѣпленію, ставившему его не то что въ уровень съ Пушкинымъ, а, пожалуй, и выше его. Вѣдь, Федоръ-то Достоевскій—будь онъ «художникъ, а не фельетонистъ,—и глубже, и симпатичнѣе его по взгляду,—и главное, гораздо проще и искреннѣе. Вѣдь, прямое, хотя нѣсколько грубое послѣдствіе Гоголя—«Писемскій, а косвенное Гончаровъ»... *)».

Критикъ разумѣетъ здѣсь свой давнишній упрекъ этимъ двумъ писателямъ, именно: что у нихъ мало идеальности. Точно такъ, какъ извѣстно, Гоголю приписывалось порожденіе «натуральной школы» и далѣе—«обличительной литературы». Но эта генеалогія, равно какъ и предпочтеніе Гоголю другихъ талантовъ, представлявшихъ уже не мнимое развитіе его недостатковъ, а какъ бы ихъ восполненіе,—едва ли справедливы. Можно согласиться, что послѣдовавшая литература полнѣе, шире захватила предметъ, но по художественной силѣ, а слѣдовательно, и по глубинѣ внутренней правды она не подымалась выше Гоголя. Что же касается до дурныхъ *послѣдствій*, которыя ему приписываютъ и которыхъ онъ самъ испугался, то виновать въ нихъ не онъ, несчастный художникъ, потерявшій силы, но въ сущности никогда не измѣнявшій *возвышеннаго строя своей лиры*, а виновата сама жизнь, постоянно дѣйствующая такъ, что высокія явленія въ ней понижаются въ своихъ формахъ, вырождаются и искажаются. Ясный примѣръ этому можно видѣть въ той судьбѣ гоголевскаго смѣха, о которой мы сказали. Этотъ удивительный смѣхъ, представляющій одно изъ высочайшихъ явленій художества, исчезъ у насъ почти безъ слѣда. Тяжелое настроеніе духа лишило прямого, правильнаго дѣйствія эти чудесные образцы. Историкъ и критику, который всегда долженъ воздерживаться отъ современныхъ пристрастій и смотрѣть на дѣло съ высоты, въ настоящее время потребенъ извѣстный трудъ, чтобы оживить въ себѣ и показать другимъ то, что такъ далеко отъ нынѣшнихъ литературныхъ вкусовъ и привычекъ.

*) Эпоха 1864, окт.

Нынѣшній смѣхъ, котораго представителемъ нужно считать г. Щедрина, есть совершенно особенная потѣха, очень характерная для нашего времени. Всѣ называютъ г. Щедрина *сатирик*омъ, то есть относятъ его къ межеумочному роду, не принадлежащему къ настоящему художеству, и даже ярые его приверженцы самымъ естественнымъ образомъ пропускаютъ его имя, когда вздумаютъ говорить о нашихъ художественныхъ писателяхъ. Но и понятіе *сатиры* есть нѣчто слишкомъ точное и опредѣленное, въ сравненіи съ тѣмъ, что пишетъ г. Щедринъ. Это не сатира, а переходящая всякую мѣру карриатура, не иронія, а нахальная издѣвка, неистовое глумленіе, не насмѣшка, а надругательство надъ всякимъ предметомъ, за который берется этотъ сатирикъ. Все это совершается съ несомнѣннымъ талантомъ; скажемъ болѣе—несомнѣнный талантъ нахальства и глумленія одинъ только и руководитъ автора въ его долгой дѣятельности; онъ давно уже забылъ требованія мысли и художества, давно уже обдумываетъ не лица, а только прозвища, не дѣйствія, а только сильныя выраженія и явительные обороты рѣчи. Но художество не дастъ понирать себя безнаказанно; та *правда*, которой мы въ немъ ищемъ и въ которой состоитъ его сущность, не открывается писателю, который не служитъ искусству добросовѣстно. Вотъ почему этотъ фельетонистъ, конечно, не стоящій имени сатирика, такъ успѣшно потѣшаетъ свою публику, но невообразимо скученъ, почти невозможенъ для чтенія, для людей сколько-нибудь серьезныхъ. Изрѣдка можно полюбоваться тѣми чертами нашей ноздревщины и хлестаковщины, которыя схватываетъ г. Щедринъ, но въ цѣломъ изъ этого ничего не выходитъ, и внимательный читатель скоро убѣждается, что тутъ не только нѣтъ самаго отдаленнаго *последствія* Гоголя; а даже наоборотъ, что вся эта пресловутая сатира сама есть нѣкотораго рода ноздревщина и хлестаковщина, съ большою прибавкою Собакевича.

V.

Какъ бы то ни было, въ русской словесности, очевидно, все больше и больше утрачивается художественная свобода. Замокъ карающий, но ясный и твердый смѣхъ Гоголя, и слышится шипѣніе злобныхъ издѣвокъ. И во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, свѣтлый міръ искусства потерялъ свою свѣтлость, потускнѣлъ и исказился. Литература подавлена какими-то требованіями и не можетъ избавиться отъ думы, нагоняющей мракъ на всѣ его созданія. Часто случается слышать, что литература нынче стала серьезнѣе, и что этой большей серьезности слѣдуетъ радоваться. Между тѣмъ общій ходъ дѣла, если взять его въ существѣ, вовсе не радостный. Всѣ наши крупные таланты, какіе есть на лицо, образовались и заявили себя еще въ Николаевское время. Прошлое царствованіе*), когда наша литература такъ непомѣрно расширилась, не произвело ни одного значительнаго таланта. Очевидно, было какое-то вліяніе, подавляющее развитіе художественныхъ силъ, не дававшее имъ зрѣть и складываться, сбивавшее ихъ съ ихъ естественной дороги. Если мы вѣдуемъ присмотрѣться къ новымъ и новѣйшимъ произведеніямъ нашей литературы, то мы сейчасъ и увидимъ, гдѣ корень зла. Невособразимая распушенность, полная небрежность формы указываетъ, что авторы очень мало интересуются идеями тѣхъ предметовъ, о которыхъ вѣдумали писать, что у нихъ есть другія, постороннія цѣли, ради которыхъ они каждую минуту готовы пожертвовать требованіями искусства. Это даже не тенденціозность, а одна голая тенденція, безъ всякаго закрѣпленія сбрасывающая съ себя форму, въ которую она какъ-будто только ради шутки вѣдумала воплощаться. Никакое дѣло не можетъ хорошо дѣлаться, если его не дѣлаютъ серьезно. Нельзя служить разомъ двумъ господамъ, и вотъ почему литературная школа, господствовавшая до 1855 года и исповѣдовавшая, что художникъ долженъ всецѣло предаваться искусству, воспитала цѣлый рядъ талантовъ, тогда какъ послѣ зари обновленія всѣ явившіеся таланты неизбѣжно исказились, не успѣвая созрѣть и окрѣпнуть. Нѣтъ ничего

*) Александра II. Изд.

мудреного, что и теперь писатели, болѣе другихъ сохранившіе или усвоившіе старыя преданія, напр. Марквичъ, Авсеенко, Стахѣвъ, Боборыкинъ и т. д., даютъ намъ произведенія наиболѣе цѣльныя и колоритныя. У автора такого рода можетъ недостатать опредѣленности и высоты взгляда, но и въ такомъ случаѣ ихъ фигуры бываютъ выпуклыѣ и интереснѣе, чѣмъ у писателей, задающихъ самой выпренокней, по ихъ мнѣнію, тенденціей, но ради этой тенденціи пренебрегающихъ и попирающихъ искусство.

Искусство требуетъ свободнаго служенія себѣ, и оно даетъ свободу тому, кто ему служить. Оно не стѣсняетъ насъ въ выраженіи нашихъ думъ и чувствъ, а, напротивъ, даетъ средства выразить ихъ въ такой полнотѣ и глубинѣ, какая недоступна ни для какого другого способа выраженія. И потому счастливы тѣ, кому выпалъ на долю даръ художества; имъ нѣтъ нужды оглядываться по сторонамъ; искренно служа своему дѣлу, они могутъ быть увѣрены, что выскажутъ въ своихъ произведеніяхъ все лучшее, что хранится въ самой глубинѣ ихъ сердца, о чемъ они сами не знаютъ и не могутъ судить, и что безъ искусства осталось бы навсегда сокрытымъ и несказаннымъ.

Таковъ идеалъ художественной дѣятельности; но онъ рѣдко и слабо осуществляется въ дѣйствительности. Внутренняя свобода, всегда и вездѣ возможная, является у людей, какъ рѣдкое исключеніе и, къ нашему стыду, возникаетъ иногда лишь въ видѣ отпора вѣшнему стѣсненію. (Прошлое царствованіе, исполненное такого шума и движенія, глубоко потрясшее весь русскій бытъ, было неблагоприятно для искусства, очевидно, въ силу чрезвычайнаго возбужденія умовъ, устремленія ихъ вниманія на практическіе вопросы и интересы. Началось это время радостнымъ ликованіемъ, розовыми мечтами и надеждами; но, странно!—только что стали отчасти сбываться эти мечты и надежды, обнаружился какой-то внутренній разладъ, ясная и прямая дорога понемногу стала казаться туманною и ненадежною; появилось общее недоумѣніе и растерянность, нагонявшіе на умы все болѣшую и болѣшую тоску. Напрасно говорятъ, что тутъ происходила правительственная *реакція*; такъ говорить журналы, не имѣю-

шіе у себя никакого другого слова и понятія для названія совершавшагося и судяшіе лишь по поверхности; въ дѣйствительности, покойный Государь, очевидно, несмотря ни на что, не хотѣлъ измѣнять и не измѣнялъ своему разъ принятому пути. Въ тотъ періодъ, который кончился гибелью великодушнаго *Освободителя*, происходила не реакція, а нѣчто несравненно болѣе сложное и поучительное; а именно, въ нашихъ образованныхъ слояхъ обнаружилась шаткость, несостоятельность всякихъ идей и принциповъ, сказавшаяся крайній, томительный недостатокъ высшаго руководства, прямыхъ цѣлей и надежныхъ путей для дѣятельности. Жизнь какъ-будто потеряла свои животворящіе начала, и несмотря на то, что Россію слѣдуетъ признать не только крѣпкою, на здоровомъ корню сидящею, но и непрестанно возрастающею изъ силы въ силу, несмотря на то, что надъ нами не виситъ никакого внѣшняго бѣдствія, не душитъ насъ никакое насиліе,—мы не можемъ разогнать мрачной думы, твердящей намъ о нашей внутренней растерянности. Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ; мы мучительно страдаемъ нравственнымъ и умственнымъ голодомъ.

VI.

Искусству, вообще, свойственна чуткость и отзывчивость, такъ что, собственно говоря, художникамъ нужно поставить въ обязанность воздерживаться отъ слишкомъ легкой отзывчивости, держать въ рукахъ свою впечатлительность и направлять ее отъ случайныхъ и минутныхъ предметовъ на предметы болѣе общіе и глубокіе. Но есть школа, которая, напротивъ, обязанностію художниковъ считаетъ—гоняться за современными явленіями, уловлять послѣдніе народившіеся типы людскихъ характеровъ и положеній. Къ такой школѣ принадлежали Тургеневъ и Достоевскій; разница между ними въ этомъ отношеніи только та, что Тургеневъ очень твердо держался указаннаго правила, тогда какъ Достоевскій, по нѣкоторой счастливой непослѣдовательности, соединялъ съ этимъ

правиломъ стремленіе; къ чистому искусству, т. е. къ глубочайшимъ и вѣковѣчнымъ задачамъ. Какъ бы то ни было, произведенія этихъ писателей, отражая въ себѣ духъ минуты, представляютъ чрезвычайный современный интересъ, которому они и обязаны значительною долей своего успѣха.

Романъ *Ночь* есть, можетъ быть, самый чистый образчикъ произведеній этого рода. Онъ очень любопытенъ и важенъ по содержанію и если не имѣлъ никакого успѣха, то это только доказываетъ, что никакое содержаніе не спасетъ произведенія, грѣшащаго противъ художества, не поднимающагося на высоту дѣйствительнаго поэтическаго созерцанія.

Дѣло было такъ. Романомъ *Отцы и Дети* авторъ провинился передъ молодымъ поколѣніемъ. Въ этомъ романѣ онъ съ великою чуткостію угадалъ народившійся типъ нигилиста и, изображая его съ полною свободою художника, положилъ на него всѣ тѣни, какія слѣдуетъ. Юноши, узнавшіе себя въ зеркалѣ, были неприятно поражены, и самъ авторъ призналъ себя потомъ, какъ говорится, безъ вины виноватымъ. Чтобы поправить эту вину, очень тяготившую художника, онъ и написалъ *Ночь*. Онъ очень усердно слѣдилъ за всѣми нарождавшимися типами молодыхъ людей (ибо такъ уже завелось и утвердилось, что у насъ только молодые люди даютъ новые типы, а люди въ лѣтахъ, очевидно, возвращаются въ типы давно отжившіе), и наконецъ, когда явились *опросталые*, то есть тѣ, которые шли въ народъ и старались *опроститься*, слиться съ народомъ во всемъ своемъ бытѣ, романистъ рѣшилъ нарисовать большую картину, которая захватывала бы всякаго рода типы этой *ночи*, но въ которой была бы и черта совершенно образцовыхъ опростѣлыхъ (Соломинъ, Маріанна), могущихъ быть принятыми за идеалы. Для контраста и ясности картины, главнымъ лицомъ разсказа выбранъ *Неждановъ*, юноша тоже безупречный по образу мыслей, но носящій въ себѣ уже отжившія свойства и наклонности; онъ сознаетъ это самъ, борется самъ съ собою и погибаетъ въ этой борьбѣ, рѣшившись на самоубійство. Замыселъ, какъ видите, очень недурной, и даже глубокой. Внутренняя борьба *Нежданова* со своими художественными наклонностями, съ особенною тонкостію понима-

нія, могла бы быть очень интересною, и, вѣроятно, въ мечтахъ автора смерть его должна была заставить расплакаться читающую Россію.

Отчего же произошла неудача? Отчего никто не плакалъ, а всѣ скучали? Очевидна вялость и безсвязность романа, въ которомъ лица безъ достаточнаго основанія мечутся изъ одного мѣста въ другое, и внутренніе мотивы ихъ дѣйствій выясняются очень слабо, зависятъ, намъ кажется, отъ слабости того интереса, который авторъ нитаетъ къ предмету. Авторъ *сочинялъ*, а не вдохновлялся широкою и свободною точкою зрѣнія. Въ *Нови* наголо выступаетъ та мораль, которую мы знаемъ по всѣмъ другимъ произведеніямъ автора. Она состоитъ въ томъ, что Рудиныхъ смѣняютъ Лаврецыи, Лаврецыи Базаровы, Базаровыхъ Соломины и т. д., и что, при каждой смѣнѣ, все человѣческое достоинство (а потому и героиня романа) принадлежитъ новому типу, старый же типъ отступаетъ на задній планъ и на низшую ступень. При такой точкѣ зрѣнія нельзя было не почувствовать, наконецъ, совершеннаго равнодушія къ этому великолѣпному прогрессу, въ которомъ каждая ступень одинаково законна и, слѣдовательно, въ сущности всѣ ступени одинаково незаконны. Трагедія, совершающаяся въ душѣ Нежданова, была бы очень интересна, если бы авторъ сталъ на одну изъ сторонъ, то есть или на сторону художественной чуткости, или на сторону революціоннаго задора; она была бы еще интереснѣе, если бы авторъ разомъ стоялъ за обѣ стороны, то есть самъ бы мучился этимъ противорѣчіемъ, ища ему примиренія въ чемъ-то высшемъ; но она теряетъ всякую занимательность, если намъ показываютъ, что обѣ стороны законны, но что позднѣйшая ступень, исключая собою предыдущую, вполне и съ избыткомъ замѣняетъ ее и превосходитъ.

Какъ бы то ни было, картина, изображаемая *Новию*, поразительна, если въ нее вдуматься, преодолевая скуку романа. Чѣмъ держится эта жизнь? Гдѣ въ ней струи той нравственной стихіи, которая одна дѣлаетъ возможнымъ общежитіе людей, одна имѣетъ связующую и примиряющую силу? Въ видѣ какихъ-то свѣтлыхъ точекъ эта стихія мелькаетъ въ главныхъ лицахъ романа; все остальное кругомъ—

мракъ и хаосъ, съ которымъ онъ борется. Изображеніе это нельзя назвать невѣрнымъ; авторъ старательно изучалъ свой предметъ и всячески тщился быть точнымъ въ подробностяхъ. Но изображеніе вѣрно только до тѣхъ поръ, пока мы ищемъ однихъ *сознательныхъ* нравственныхъ началъ и въ нихъ однихъ способны видѣть нѣчто свѣтлое; *безсознательную* нравственную стихію авторъ вовсе упустилъ изъ виду, не умѣвъ ни разглядѣть, ни изобразить ее,—а это великое горе, потому что доказываетъ намъ, что, хотя бы она была и велика и прекрасна, она, однакоже, дѣйствительно глубоко безсознательна.

VII.

Анна Каренина есть произведеніе не чуждое художественныхъ недостатковъ, но представляющее и высокія художественныя достоинства. Во первыхъ, предметъ такой простой и общій, что многіе, и долго, не могли найти его интереснымъ, не воображали, чтобы въ романѣ могла оказаться современность и поучительность. Разсказъ распадается на двѣ части, или на два слоя, слишкомъ слабо связанныхъ внѣшнимъ образомъ, но внутри имѣющихъ тѣсную связь. На первомъ планѣ городская, столичная жизнь, и разсказывается, какъ Каренина влюбилась въ Вронскаго, вошла съ нимъ въ связь, ушла къ нему отъ мужа, но, живя съ Вронскимъ, такъ измучилась своею страстью, что бросилась подъ вагонъ. На второмъ планѣ, болѣе широкомъ и имѣющемъ болѣе существенное значеніе, исторія деревенскаго жителя Левина; разсказывается, какъ онъ объяснялся въ любви, дѣлалъ предложеніе, говѣлъ, вѣнчался, какъ у него родился сынъ и сталъ, наконецъ, узнавать отца и мать. Величайшая оригинальность автора обнаруживается въ томъ, что эти обыкновенныя событія по ясности и глубинѣ, съ которою онъ ихъ изображаетъ, получаютъ поражающій смыслъ и интересъ. Общая идея романа, хотя выполненнаго не вездѣ съ одинаковою силою, выступаетъ очень ясно; читатель не можетъ уйти отъ невыразимо тяжелаго впечатлѣнія, несмотря на отсутствіе ка-

кихъ-нибудь мрачныхъ лицъ и событій, несмотря на обиліе совершенно идиллическихъ картинъ. Не только Каренина приходитъ къ самоубійству безъ яркихъ *опытныхъ* поводовъ и страданій, но и Левинъ, благополучный во всемъ Левинъ, ведущій такую нормальную жизнь, чувствуетъ подъ конецъ расположеніе къ самоубійству и спасается отъ него только религіозными мыслями, вдругъ пробудившимися въ немъ, когда мужикъ сказалъ, что нужно Бога помнить и жить для души. Это и есть то нравоученіе романа, по которому онъ составляетъ введеніе къ разсказу *Чѣмъ люди живутъ*.

Каренина живетъ своею страстью. До этой страсти она была голодна душою; съ удивительной тонкостію и ясностію намъ изображена эта столичная и придворная жизнь, въ которой нѣтъ никакой душевной пищи, гдѣ интересы искусственные, миражные. Анна и Вронскій чуть ли не лучшіе люди этой среды, потому что въ нихъ естественныя чувства взяли верхъ надъ всѣми искусственными влеченіями, составляющими радость и горе ихъ круга. Они вполне отделились своей любви; и для Анны эта любовь до конца осталась единственною жизнью, почему и погубила ее. *Анна Каренина* принадлежитъ къ числу чрезвычайно рѣдкихъ произведеній, въ которыхъ, дѣйствительно, изображена страсть любви. Несмотря на то, что любовь и сладострастіе составляютъ неизмѣнную тему повѣстей и романовъ, обыкновенно авторы довольствуются тѣмъ, что выведутъ на сцену молодую пару и, разсказывая всякаго рода встрѣчи и разговоры, предоставляютъ воображенію читателя подсказать ему чувства и волненія, сопровождающія эти встрѣчи и разговоры. Въ *Аннѣ Карениной*, напротивъ, точно описанъ самый душевный процессъ страсти,—дѣло столь новое и необыкновенное, что многіе критики и читатели даже не могли понять его и печатно выразили свое недоумѣніе. Страсть здѣсь возникаетъ съ перваго взгляда, безъ предварительныхъ разговоровъ о вкусахъ и убѣжденіяхъ. По стариннымъ романамъ это такъ и должно быть, но мы почему-то почти уже забыли эти старыя исторіи. Затѣмъ страсть расцвѣтъ, и авторъ разсказываетъ каждый ея фазисъ такъ же ясно и понятно, какъ этотъ первый взглядъ

влюбившихся. Все полнѣе и полнѣе раскрывается чувство; Анна начинаетъ ревновать,—

Кто любить, тотъ ревность невольно питаетъ,

какъ поется въ *Русланъ*. Сущность ревности, внутренняя борьба Анны и Вронскаго рассказаны такъ убѣдительно и отчетливо, что ужасно видѣть неизбежную послѣдовательность этого развитія. Несчастная Анна, положившая всю душу на свою страсть, необходимо должна была сгорѣть на этомъ огнѣ. Когда она почувствовала, что ей измѣняетъ ея единственное благо, она позвала смерть. Она не стала дожидаться полного охлажденія, или измѣны Вронскаго; она умерла не отъ оскорбленій или несчастій, а отъ своей любви. Исторія трогательная и жестокая, и если бы авторъ не былъ такъ безпощаденъ къ своимъ героямъ, если бы онъ могъ измѣнить своей неподкупной правдивости, онъ могъ бы заставить насъ горько плакать надъ несчастной женщиной, погибшей отъ безповоротной преданности своему чувству. Но авторъ взялъ дѣло полнѣе и выше. Тонкими, но совершенно ясными чертами онъ обрисовалъ намъ *нечистоту* этой страсти, не покоренной высшему началу, не одухотворенной никакимъ подчиненіемъ. Мало того. У Карениной и у ея мужа, въ минуты потрясеній и болѣзни, совершаются сознательные проблески чисто духовныхъ началъ (вспомните больную послѣ родовъ Анну и Каренина, прощающаго Вронскаго). проблески, быстро затянутае тиною другихъ враждебныхъ имъ чувствъ и мыслей. Одинъ Вронскій остается *плотнымъ* съ начала и до конца.

Такимъ образомъ, съ ужасающею правдою намъ показанъ этотъ міръ полной слѣпоты, полного мрака. Контрастъ ему составляетъ міръ, повидимому, гораздо болѣе свѣтлый, міръ Левина, человека искренняго, простаго, со многими недостатками, но съ чистымъ сердцемъ. Каренинъ и Вронскій—типы чиновника и военнаго, Левинъ—типъ помѣщика. Ихъ собственно три брата: старшій, отъ другого отца, Кознышевъ—славянофилъ; второй, Николай Левинъ,—нигилистъ; третій, Константинъ Левинъ, герой романа, — представляетъ, какъ бы,

просто, русскаго чловѣка безъ готовыхъ теорій. Это сопоставленіе очень поучительно; оно даетъ намъ образчики главнѣйшихъ умственныхъ настроеній въ нашемъ обществѣ, картину нашего умственнаго броженія. Наилучшій представитель этого броженія, имѣющій на своей сторонѣ всѣ симпатіи автора, есть Константинъ Левинъ, вѣчно умствующій о самыхъ общихъ вопросахъ и не принимающій ходячихъ рѣшеній. Конечно, это расположеніе къ умствованію есть чисто русская черта, и вся наша современная литература единогласно свидѣтельствуетъ, что такое умствованіе никогда не было въ большемъ ходу, чѣмъ теперь.

Но романъ изображаетъ намъ не умствованія, а жизнь Левина, даже самый полный расцвѣтъ его жизни, и авторъ, именно, хотѣлъ намъ показать, какъ возникаютъ мысли Левина изъ событій его жизни, изъ неотрѣзимыхъ чувствъ его сердца. Повидимому, это совершенно благополучная жизнь; Левинъ чловѣкъ достаточный, онъ молодъ, силенъ, онъ забавляется охотой и очень преданъ своимъ занятіямъ хозяйствомъ, онъ женится на той, которую любитъ, и становится счастливымъ отцемъ семейства. Картины всѣхъ этихъ удовольствій и радостей принадлежать къ лучшимъ и истинно удивительнымъ страницамъ романа. Спрашивается, откуда же могли взяться мрачныя мысли, и даже мысль о самоубійствѣ? Если всмотрѣться, то мы почувствуемъ пустоту этой жизни, и намъ станетъ понятенъ душевный голодъ Левина. Авторъ приводитъ Левина въ столкновение съ различнѣйшими сферами людей и дѣлъ, и вездѣ съ своей чудесной ясностію показываетъ, какъ Левинъ не могъ примкнуть ни къ одной изъ этихъ сферъ. Онъ страшно одинокъ, и одинокъ въ силу своей чуткости, своей правдивости и искренности, не допускающей никакихъ компромиссовъ, отвергающей всякую фальшь. Такимъ образомъ, лучший изъ людей, выведенныхъ въ романѣ, менѣе всего способенъ слиться съ окружающей жизнью. Онъ ее отвергаетъ, и это отверженіе тѣмъ сильнѣе, что оно совершается безъ раздраженія и невольно; Левинъ ничего не обличаетъ, ни на что не нападаетъ,—онъ, просто, уходитъ отъ того, что ему противно. Въ концѣ романа изображена волна общественнаго одушевленія, пробѣжавшая во время серб-

ской войны; Левинъ и тутъ устранивается, уходя отъ волны въ тѣ глубокіе народные слои, которые остались незатронутыми, хотя вполне подчинились ей по общему теченію своей жизни. Въ свое время этотъ эпизодъ надѣлалъ шума, и даже журналъ, печатавшій *Анну Каренину*, отказался его напечатать. Но въ сущности, романъ содержитъ много картинъ, гораздо болѣе безотрадныхъ. Несмотря на полнѣйшую мягкость пріемовъ, едва ли было когда-нибудь сдѣлано болѣе мрачное изображеніе всего русскаго быта. Только міръ крестьянъ, лежащій на самомъ дальнемъ планѣ и лишь изрѣдка ясно выступающій, только этотъ міръ сіяетъ спокойною, ясною жизнью, и только съ этимъ міромъ Левину иногда хочется слиться. Онъ чувствуетъ, однако, что не можетъ этого сдѣлать.

Что же остается Левину? Что остается человѣку, который подпалъ такому жестокому разобщенію съ окружающею жизнью? Ему остается онъ самъ, его личная жизнь. Но личная жизнь есть всегда игральное случая. Когда смертельно заболѣлъ братъ Николай, когда жена мучится родами, когда громъ упалъ на дерево, подъ которымъ спалъ малютка-сынъ, и въ тысячѣ другихъ, болѣе мелкихъ событій, въ самыхъ своихъ радостяхъ и удачахъ, Левинъ чувствуетъ, что онъ во власти случайностей, что самая нить его жизни ежеминутно можетъ порваться такъ же легко, какъ тонкая паутинка. Вотъ откуда его отчаяніе. Если моя жизнь и радость есть единственная цѣль жизни, то эта цѣль такъ ничтожна, такъ хрупка, такъ очевидно недостижима, что можетъ внушать лишь отчаяніе, можетъ лишь давить человѣка, а не воодушевлять его. И вотъ гдѣ начинается поворотъ Левина къ религіознымъ мыслямъ.

VIII.

Таковъ очевидный смыслъ *Анны Карениной*. Задача взята глубоко, взятъ вѣчный вопросъ человѣческой жизни, а не одинъ лишь современный типъ и современный интересъ. Если бы авторъ на расточилъ на Левина столько ре-

лизма, столько безпощадно-правдивой растушовки, онъ могъ бы сдѣлать изъ Левина не простого смертнаго, неловкаго и колеблющагося, исполненнаго слабостей,—а какого-нибудь новаго Гамлета, замученнаго своими мыслями не вслѣдствіе горя и поражающихъ его преступленій, а, напротивъ, среди полного внѣшняго благополучія. Но этотъ романъ, дѣйствительно, изображаетъ наяву современность; на горе намъ (или, можетъ быть, на радость?) вѣчные вопросы у насъ волнуютъ обыкновенныхъ людей и при обыкновенныхъ обстоятельствахъ. У насъ совершается какое-то колебаніе человѣческой совѣсти, заражающее цѣлыя толпы всевозможныхъ людей, конечно, изъ образованныхъ классовъ. Помѣщикъ, не вѣрящій въ свое право владѣть землею; чиновникъ, не вѣрящій въ свое дѣло и полагающій, что его трудъ никакъ не можетъ стоять получаемаго имъ жалованья; образованный и достаточный человѣкъ, завидующій мужику; отецъ, отрекающійся отъ всякой собственной жизни ради своихъ дѣтей; человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ силъ и среди молодой семьи, не находящій смысла въ своей жизни и преслѣдуемый мыслью о самоубійствѣ,—эти и подобные черты свидѣлствуютъ, что въ этомъ бытѣ исчезли твердыя начала, что почва колеблется подъ ногами этихъ людей. Левинъ нашелъ спасеніе въ религіозныхъ мысляхъ, но *Анна*, принадлежавшая къ міражному верхнему слою, несмотря на всѣ свои мученія, не образумилась ни на минуту, не знала даже, куда обратиться, чтобы искать спасенія. Это отсутствіе всякой серьезности въ понятіяхъ, такъ называемыхъ, образованныхъ людей, отсутствіе того, что собственно называется нравственностію, съ великимъ мастерствомъ изображено въ картинахъ большого свѣта. Весь же романъ есть изображеніе общаго душевнаго хаоса, господствующаго во всѣхъ слояхъ, кромѣ самаго нижняго.

Этотъ же нравственный хаосъ, очевидно, есть главный предметъ *Братьевъ Карамазовыхъ*. Тема этого романа отчасти есть повтореніе темы *Преступленія и наказанія*, но слегка напоминаетъ и *Анну Каренину*. Здѣсь совершается уже не простое убійство, а *отцеубійство*, къ которому приводятъ нигилистическія мысли о томъ, что все позволено, что самоуправство, имѣющее ясныя, разумныя основанія и

цѣли, можетъ быть простираемо на все, что не существуетъ никакой границы, которой бы оно не имѣло права переступить. Выведены на сцену три брата, какъ представители трехъ различныхъ направленій: младшій, Алексѣй, исповѣдуетъ славянофильскія убѣжденія въ высокой религіозной ихъ формѣ; средній, Иванъ, есть нигилистъ, тоже самаго высокаго разряда; старшій, Дмитрій, есть простой малообразованный русскій человѣкъ, съ большой склонностью умятовать, но безъ опредѣленнаго образа мыслей. Въ началѣ авторъ говоритъ, что настоящій герой его разсказа есть Алексѣй; но по мѣрѣ писанія романа, первая часть его разрослась сама въ цѣлый огромный романъ, а остальные двѣ части, которыя должны были вполнѣ выразить мысль разсказа, къ несчастію унесены авторомъ въ могилу. Такимъ образомъ, главнымъ героемъ *Братьевъ Карамазовыхъ* оказался не Алексѣй, а пока старшій братъ Дмитрій. По обыкновенію автора, весь романъ имѣетъ нѣсколько фантастическій колоритъ, состоящій въ томъ, что событія и встрѣчи слѣдуютъ другъ за другомъ съ ненатуральною быстротою и отчасти произвольно, но еще болѣе въ томъ, что всѣ дѣйствующія лица исполнены слишкомъ сложныхъ и слишкомъ быстро смѣняющихся чувствъ. Любовь и ненависть, подозрѣніе и вѣра, радость и отчаяніе и т. д., говорятъ въ душѣ cadaго лица почти въ одно время; при взаимныхъ сношеніяхъ эти лица почти не могли бы понимать другъ друга, если бы всѣ не имѣли равно этого особеннаго душевнаго строя. Хотя, такимъ образомъ, внутренніе и внѣшніе элементы разсказа сочетаются ненормально и, сверхъ того, непрерывно повторяются въ новыхъ варіаціяхъ, но сами по себѣ эти элементы глубоко реальны, въ чемъ и состоитъ сила Достоевскаго и на чемъ основано было его собственное убѣжденіе въ реализмъ создаваемыхъ имъ картинъ. Внутренняя правда душевныхъ движеній, которыя онъ выставилъ на показъ, неотразимо увлекала читателей, несмотря на всѣ внѣшніе недостатки разсказа.

Въ *Карамазовыхъ* разсказывается, какъ грустный отецъ, Федоръ Павловичъ, убитъ ради грабежа своимъ незаконнымъ сыномъ, Смердяковымъ, одною изъ грустѣйшихъ и фантастичѣйшихъ фигуръ романа. Смердякова посвятилъ въ ни-

главнѣе и почти подбилъ на убійство Иванъ Карамазовъ. Оба они, какъ *Раскольниковъ* въ *Преступленіи и Наказаніи*, неожиданно для себя чувствуютъ странныя угрызенія совѣсти, до того, что Иванъ впалъ въ нервную горячку, а Смердяковъ повѣсился. Между тѣмъ обвиненіе и кара за убійство по ошибкѣ падаетъ на Дмитрія, который тоже ненавидѣлъ отца, не только вообще за его гнусность, но и изъ-за недоданныхъ денегъ, а особенно изъ ревности къ гуляющей дѣвушкѣ Грушѣ. Существенная черта разсказа заключается въ томъ, что Дмитрій, несмотря на свою злобу, несмотря на отчаяніе, къ которому его привели страсти и всякіе проступки и въ которомъ онъ мечтаетъ уже о самоубійствѣ,—Дмитрій воздерживается отъ убійства отца. При всѣхъ своихъ кутежахъ и буйствахъ, онъ исполненъ идеальныхъ порывовъ, онъ вѣритъ въ Бога и безсмертіе души, и этотъ строй мыслей спасаетъ его отъ злодѣйства, для котораго у него были всяческіе поводы и возможности. Когда же на него обрушивается приговоръ въ каторгу, онъ не ропщетъ, онъ понимаетъ, что несетъ наказаніе не только за другихъ, но и за свои вины, онъ чувствуетъ въ себѣ поворотъ къ обновленію, къ воскрешенію въ себѣ новаго, чистаго человека.

Фонъ для этой хаотической картины поставленъ авторомъ самый опредѣленный и свѣтлый, именно—монастырь, олицетворяющій въ себѣ религію, православіе, разрѣшеніе всякихъ вопросовъ и несокрушимую надежду на побѣду истинно-живыхъ началъ. Къ послушнику Алешѣ и теперь всѣ обращаются, ища душевнаго успокоенія и руководства. Въ слѣдующемъ романѣ Алешѣ предстояли, вѣроятно, еще большія волненія и испытанія. Иванъ Карамазовъ, судя по всему, долженъ былъ выйти на дорогу политическаго преступника и совершить какое-нибудь страшное покушеніе (не даромъ *Карамазовъ* такъ похожъ на *Каракозовъ*). И все оканчивалось, вѣроятно, побѣдой свѣтлыхъ началъ и ихъ яркимъ откровеніемъ въ лицѣ Алеши.

Въ настоящемъ же романѣ изображена, главнымъ образомъ, душевная шалость, доходящая до крайнихъ предѣловъ. Какъ-будто авторъ вообще задавался мыслью о, такъ называемой, ширинѣ русской натуры, объ этомъ поразительномъ

сочетаніи въ той же душѣ великаго добра съ великимъ зломъ, объ готовности въ одно время и къ подвигу и къ злодѣянію, о равной способности и всѣмъ жертвовать и все поправить. Въ *Легендѣ объ великомъ инквизиторѣ* нигилизмъ возведенъ на свою высшую точку, до мыслей грандіозныхъ въ своей кощунственности; чувствуется, что этотъ Иванъ Карамазовъ долженъ повернуть, и если повернетъ, съ такою же силою уѣдетъ въ противоположную сторону.

Таковы три самыя крупныя произведенія нашей литературы за послѣднее время. Въ каждомъ изъ нихъ есть по самоубійству, и вообще много отчаянія; каждое изъ нихъ изображаетъ нравственный хаосъ, жестокое колебаніе человеческой совѣсти; два послѣднія—*Анна Каренина* и *Братья Карамазовы* указываютъ на религію, какъ на выходъ изъ хаоса и отчаянія.

Очевидно, мы переживаемъ нѣкоторый внутренній переломъ, имѣющій, судя по указаннымъ чертамъ, величайшую важность и глубину. Безпокойное чувство этого нравственного переворота смутно отзывается въ душахъ. Но до сознанія, до настоящаго пониманія далеко; для господствующихъ понятій и вкусовъ, для того, что нынче называется *образованіемъ* и *просвѣщеніемъ*, разумѣніе дѣла трудно, почти недоступно; и *вѣтренное племя*, какъ выразился Гоголь, еще не содрогается...

6 янв.

(Русь 1883, январь).

IX.

ФРАНЦУЗСКАЯ СТАТЬЯ ОБЪ Л. Н. ТОЛСТОМЪ.

Читатели «Руси», вѣроятно, сохранили особенное впечатлѣніе отъ *Зимнихъ разсказовъ* г. Вогюэ (см. «Русь», 1884 г., №№ 4, 5, 6). Не говоримъ о мастерствѣ разсказа, которое такъ обыкновенно у французовъ; самое пріятное и даже удивительное то, что этотъ иностранецъ относится къ русской жизни не только не безъ пріязни, не только съ серьезнымъ пониманіемъ, а даже съ явнымъ пристрастіемъ, что онъ умѣетъ сочувствовать очень глубокимъ, доступнымъ только сердечному вниманію, свойствамъ русской природы. Къ такой искренней ласкѣ мы не привыкли.

Лѣтомъ нынѣшняго года явилась статья Вогюэ объ Л. Н. Толстомъ *), очень замѣчательная въ томъ же отношеніи; авторъ цѣнитъ нашего писателя съ величайшей любовью, съ такимъ пониманіемъ, какого можно пожелать каждому русскому. Онъ готовъ поставить Л. Н. Толстаго наравнѣ съ величайшими писателями всѣхъ временъ; онъ восхищается имъ, вѣрно и тонко оцѣнивая его художественныя достоинства. Но кромѣ того, Вогюэ подымается въ своей статьѣ до самыхъ высокихъ и общихъ точекъ зрѣнія; для него Л. Н. Толстой есть лучшій показатель не только современнаго искусства, но вмѣстѣ, и потому самому, и русскаго духа, и даже отчасти

*) Les écrivains russes contemporains. Le comte Léon Tolstoi. *Revue des deux Mondes*, 15 juill 1884.

духа современной Европы. Замѣчанія, сдѣланныя въ этомъ отношеніи въ статьѣ Вогюэ, чрезвычайно заинтересовали насъ, и мы подѣлимся ими съ читателями. Мы увѣрены, что даже простыя выписки изъ этой статьи прочитаются съ живѣйшимъ интересомъ. У насъ рѣдко встрѣчаются разсужденія, имѣющія такую широту. Главное дѣло тутъ — чувство того нравственнаго переворота, того колебанія совѣсти, которое слышится теперь и въ Европѣ, и у насъ. Это чувство выражено въ статьѣ очень ясно и сильно; въ то же время, какъ намъ кажется, оно обсуждается съ точекъ зрѣнія не вполне вѣрныхъ, и авторъ какъ-будто готовъ искать гдѣ-нибудь спасенія отъ самыхъ благородныхъ и глубокихъ своихъ симпатій.

I.

По общему направленію мыслей, по душевному строю Л. Н. Толстаго, французскій писатель называетъ его *нигилистомъ*. Очевидно, тутъ отчасти виновато происхожденіе этого слова nihil, и въ статьѣ часто повторяется звучное французское слово néant, съ отгѣнкомъ, который трудно передать по-русски. Вотъ главные въ этомъ отношеніи слова статьи:

«Прежде всякаго другого и больше всякаго другого, Толстой есть въ одно время и выразитель, и распространитель этого состоянія русской души, которое получило имя *нигилизма*. Въ религиозной исповѣди, которую онъ написалъ, романистъ, обратившійся въ богослова, въ пяти строчкахъ даетъ намъ исторію своей души: «Я прожилъ на свѣтѣ пятьдесятъ пять лѣтъ; за исключеніемъ четырнадцати или пятнадцати лѣтъ дѣтства, я тридцать пять лѣтъ прожилъ *нигилистомъ*, въ прямомъ и настоящемъ значеніи этого слова, — не социалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно принимаютъ это слово, но я былъ *нигилистомъ* въ смыслѣ отсутствія всякой вѣры». Мы вовсе не нуждались въ этомъ позднемъ признаніи: оно громко вопіяло изъ всѣхъ писаній этого автора, хотя страшное слово въ нихъ ни разу не произнесено. — Тургеневъ распозналъ болѣзнь и изучалъ ее объективно; Толстой страдалъ ею отъ первыхъ дней, не имѣя

«сначала вполне яснаго сознанія своего состоянія; его пораженная душа высказываетъ на каждой страницѣ тоску, тиготвующую надъ всѣми душами его племени. Если всего интереснѣе тѣ книги, которыя вѣрно выражаютъ жизнь известной части человѣчества въ данный моментъ, исторіи, то нашъ вѣкъ не произвелъ ничего болѣе интереснаго, чѣмъ «сочиненія Толстаго» (стр. 267, 268).

Тутъ—явное смѣшеніе двухъ разнородныхъ вещей, и нельзя оставить этого смѣшенія безъ разъясненія. То, что Вогуэ называетъ нигилизмомъ, есть не что иное, какъ полный практическій скептицизмъ, не теорія, а жизнь, не держащая никакихъ твердыхъ основъ для мысли и дѣятельности, бессознательная духовная пустота. Это вовсе не то, что принято называть нигилизмомъ, не та болѣзнь, которую нѣсколько анализировалъ Тургеневъ и который далъ это названіе. Настоящій нигилистъ есть именно социалистъ и революціонеръ, то есть человѣкъ увѣренный, знающій, что ему дѣлать, нисколько не сомнѣвающійся ни въ своихъ познаніяхъ, ни въ правилахъ своей нравственности. Положимъ, нигилизмъ вырастаетъ на почвѣ духовной пустоты; но эта пустота не всегда разрѣшается этимъ узкимъ и скуднымъ исходомъ. Дѣло для насъ чрезвычайно важное. Люди, глубоко страдающіе болѣзнію пустоты, когда сознаютъ ее и переболѣютъ ею, очевидно, имѣютъ возможность подняться до высочайшихъ душевныхъ проявленій, до самаго свѣтлаго пониманія и великой нравственной красоты. Этого нельзя сказать о тѣхъ, кто уже попалъ въ колею давно окрѣпшихъ западныхъ ученій. Тургеневъ не имѣлъ взгляда настолько широкаго, чтобы уразумѣть и оцѣнить все значеніе русской подвижности и глубины, сказывающейся въ душахъ, страдающихъ пустотою, и потому его нигилистъ есть самый обыкновенный нигилистъ, то есть человѣкъ, имѣющій вполне готовый кодексъ и думающій очень мало.

Итакъ, неправильно Л. Н. Толстой называлъ себя нигилистомъ, и неправильно называетъ его такъ авторъ статьи, придавая этому слову слишкомъ широкій смыслъ. Слѣдующее мѣсто статьи, какъ намъ кажется, очень хорошо поясняетъ этотъ вопросъ.

«Князь Андрей», рассказывает г. Вогюэ, «принять у «Сперанского; известно, каково было непонятное счастье этого «семинариста.—Это былъ какой-то Сіэсъ, чуть было не на- «дѣлившій Россію конституціею и управлявшій нѣкоторое вре- «мя имперіею во имя чистаго разума, силлогизмовъ доктора «каноническаго права». И Вогюэ приводитъ выписку изъ Л. Н. Толстаго:

«Главная черта ума Сперанскаго, поразившая князя «Андрея, была несомнѣнная, непоколебимая вѣра въ силу «и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому «не могла прійти въ голову та обыкновенная для князя Ан- «дрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что «думаешь, и никогда не приходило сомнѣніе въ томъ, что не «вздоръ ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю? «И этотъ-то особенный складъ ума Сперанскаго всего болѣе «привлекъ къ себѣ князя Андрея». (*Война и Миръ*, т. 3, въ началѣ).

«Вотъ она», замѣчаетъ сейчасъ Вогюэ, «та черта, по «которой вы узнаете нигилиста (*въ князь Андрея*); онъ «увертывается и уходитъ въ свою пустоту (*néant*) до потери «всякой увѣренности. Последнее замѣчаніе (*Л. Н. Толстаго*) «очень вѣрно; оно вполне объясняетъ власть, которую Сперанскій имѣлъ надъ своимъ государемъ и надъ своею стра- «ною и, если взять дѣло общіе, ту силу, которая постоянно «подчиняетъ эти нерѣшительные умы западному положитель- «ному складу ума» (*ib.* p. 284).

Истолкованіе очень тонкое, сдѣланное французскимъ пи- сателемъ вслѣдствіе яснаго чувства и сознанія разницы, су- ществующей между умами западными и русскими. И тутъ мы можемъ прямо сказать: именно Андрей Болконскій съ его нерѣшительностію и не похожъ на нигилиста въ точномъ смыслѣ слова; наоборотъ, именно Сперанскій представляетъ складъ ума, свойственный настоящимъ нигилистамъ, ихъ непоколебимую вѣру въ сдѣланные разъ выводы, ихъ опредѣ- ленность въ пониманіи вещей. Достоевскій когда-то ихъ на- зывалъ *прямолинейными умами*, а еще прежде Аполлонъ Григорьевъ, ради журнальныхъ приличій, далъ имъ имя *теоретиковъ* и подъ этимъ именемъ выводилъ нигилисти-

ческія ученія, противъ которыхъ боролся. Припомнимъ встати, что многихъ изъ главныхъ *теоретиковъ* дало намъ то самое сословіе, изъ котораго вышелъ Сперанскій. Есть эпоха въ недавней исторіи нашей литературы, которую въ грубыхъ чертахъ можно описать такъ: у насъ долго одни дворяне занимались литературою; поэтому и Пушкинъ когда-то замѣтилъ, говоря о писателяхъ:

Въ Россіи же мы всё—дворяне,
Всё, кромѣ двухъ или трехъ; за то
Мы ихъ и ставимъ ни во что.

Но вдругъ явились семинаристы, быстро добились главной, руководящей роли, и почти всё дворяне-литераторы смиренно покорились и пошли слѣдомъ за этими увѣренными теоретиками.

II.

Несравненно яснѣе характеризуетъ Вогюэ умственное строеніе и все душевное развитіе Л. Н. Толстаго въ слѣдующемъ мѣстѣ, которое, по его важности, мы приведемъ вполнѣ, не прерывая своими замѣчаніями.

«Въ силу страннаго и часто встрѣчающагося противорѣчія, этотъ возмущенный и колеблющійся умъ, тонущій въ туманѣ нигилизма, одаренъ несравненною зоркостью и проницательностью для научнаго изслѣдованія явленій жизни; онъ ясно, быстро, аналитически видитъ все, что ни бываетъ на землѣ, и наружность и внутренность человѣка: во первыхъ, реальности, доступныя чувствамъ, потомъ—игру страстей, самые летучіе мотивы дѣйствій, самыя легкія смущенія совѣсти. Можно бы сказать: умъ англійскаго химика въ душѣ индійскаго буддиста; пусть кто хочетъ берется объяснить это удивительное сочетаніе: кто сумѣетъ это сдѣлать, тотъ объяснитъ современную Россію. Толстой ходитъ среди человѣческаго общества съ тою простотою и естественностію, въ которой, повидимому, отказано французскимъ писателямъ; онъ смотритъ, слушаетъ, онъ сохраняетъ въ себѣ

«образъ и удерживаетъ эхо того, что видѣлъ и слышалъ; и «это—навсегда, съ такою точностію, которая вынуждаетъ насъ громкое подтвержденіе. Не довольствуясь тѣмъ, что собралъ разсѣянные черты общественной физіономіи, онъ ихъ разлагаетъ на ихъ послѣдніе элементы съ какимъ-то утонченнымъ ожесточеніемъ; вѣчно занятый вопросомъ, какъ и почему совершается данный поступокъ, онъ за видимымъ дѣйствіемъ преслѣдуетъ начальную мысль, онъ не выпускаетъ изъ виду, пока не обнажить ея, извлеки ея изъ сердца съ самыми сокровенными и тонкими ея корнями. Къ несчастію, его любопытство на этомъ не останавливается. Эти явленія представляютъ ему очень твердую почву, когда онъ изучаетъ ихъ въ отдѣльности, но онъ хочетъ узнать ихъ общія связи, хочетъ подняться до законовъ, управляющихъ этими связями, до недостижимыхъ причинъ. Тутъ его отчетливое зрѣніе отуманивается; безстрашный изслѣдователь теряетъ опору и падаетъ въ бездну философскихъ противорѣчій; въ себѣ и вокругъ себя онъ чувствуетъ только пустоту и мракъ; лица, которыя онъ заставляетъ говорить, предлагаютъ жалкія метафизическія объясненія; и вдругъ раздраженные этими школьными глупостями, они сами уходятъ изъ-подъ своихъ истолкованій».

«По мѣрѣ того, какъ онъ подвигается въ своемъ писаніи и въ своей жизни, все больше и больше колеблемый сомнѣніемъ обо всемъ, Толстой расточаетъ свою холодную иронию на созданія своего воображенія, усиливающіяся въ-рять въ какую-нибудь послѣдовательную систему и выполнять ее на дѣлѣ; но подъ этимъ внѣшнимъ холодомъ слышатся рыданія сердца, алчущаго вѣчныхъ предметовъ. Наконецъ, утомясь сомнѣніемъ и исканіемъ, убѣдись, что всѣ исчисленія разума приводятъ только къ позорной несостоятельности, попавъ подъ чары мистицизма, который уже давно сторожилъ его безпокойную душу, нигилистъ вдругъ повергается къ ногамъ Бога,—какого Бога, мы сейчасъ увидимъ. Я долженъ буду говорить въ концѣ этого этюда о странномъ фазисѣ, который приняла мысль этого писателя; надѣюсь сдѣлать это со всею сдержанностію, какая слѣдуетъ живому, со всѣмъ уваженіемъ, какое слѣдуетъ искреннему

«убѣжденію. Я не знаю ничего болѣе занимательнаго, какъ «нынѣшнія заявленія г. Толстаго о томъ, что творится въ «глубинѣ его души; это цѣлый кризисъ, которому подвергается теперь русская душа, кризисъ, являющійся въ ракурсѣ, «въ полномъ освѣщеніи, на высотѣ. Этотъ мыслитель есть «законченный типъ, вліятельный вождь множества умовъ; онъ «пробуетъ высказать то, что смутно чувствуютъ эти умы» (ib. p. 268—269).

Тутъ, какъ видятъ читатели, вопросъ о складѣ ума и направленіи мыслей Л. Н. Толстаго во всей ширинѣ. Французскій критикъ чрезвычайно вѣрно замѣчаетъ, что это направление составляетъ главный нервъ всѣхъ произведеній Толстаго, что оно находится въ тѣсной связи съ самыми приѣмами его творчества. Далѣе, что это—направление глубокое, захватывающее самые важные интересы человѣческой жизни. Наконецъ, что отсюда же объясняется и тотъ послѣдній поворотъ мыслей Толстаго, который такъ удивилъ и удивляетъ многихъ. Тутъ утверждается и связь писателя съ человѣкомъ, и единство всего, что писано Толстымъ отъ начала до послѣдней строчки. Почему же этотъ процессъ, такой правильный и такой важный, процессъ, приведшій великаго художника къ Богу, почему онъ не встрѣчаетъ полного сочувствія со стороны французскаго критика? Это сомнѣніе, это исканіе—что можетъ быть естественнѣе? Не тѣмъ ли и поражаетъ насъ Толстой, что величайшая пытливость и серіозность чувствуется во всемъ, что онъ ни изображаетъ?—Эти *рыданія алчущаго сердца*, которыя подслушалъ критикъ въ картинахъ, написанныхъ съ такой несравненной яркостію и точностію, ужели это не законное явленіе человѣческой души, не лучшій ея откликъ на все, что она испытываетъ въ жизни? И наконецъ, порывъ къ Богу есть, безъ сомнѣнія, единый правильный исходъ изъ всей борьбы.

Между тѣмъ критикъ, такъ вѣрно установившій общую формулу развитія Толстаго, такъ ясно видящій связь между фазисами этого развитія, вполне признаетъ, и хотѣлъ бы удержать для себя, только одно художество нашего писателя. Пружину, двигавшую этимъ художествомъ, ту думу, которая его воодушевляла, онъ называетъ *нигилизмомъ*, а исходъ

изъ всѣхъ сомнѣній и исканій—*мистицизмомъ*,—два слова, очевидно, имѣющія для критика значеніе порицанія, хотя бы и не такого страшнаго, какъ для многихъ. Такъ называемый нигилизмъ и такъ называемый мистицизмъ Толстаго критикъ отвергаетъ, какъ нѣкоторую болѣзнь, или уродливость. Онъ хотѣлъ бы, какъ и многое множество читателей, чтобы Толстой ограничился однимъ творчествомъ.

Невозможное и странное требованіе! Глубокая и серьезная мысль разлита во всѣхъ произведеніяхъ Толстаго, и выдѣлать ее изъ нихъ, выдернуть изъ нихъ этотъ стержень невозможно. Не ясно ли, что эта страшная чуткость, эта небывалая ясность изображенія связаны съ упорнымъ исканіемъ правды и не могутъ помириться ни на чемъ половинчатомъ, не могутъ быть обмануты никакою видимостію? Такого художника могла удовлетворить только истинная жизнь, только вѣчная правда; онъ всегда стремился къ ней, всегда ее одну имѣлъ въ виду.

Когда онъ замолкъ и разнеслись слухи, что онъ не хочетъ болѣе писать романовъ, всѣ принялись сокрушаться о томъ, что будутъ впередъ лишены такого великаго удовольствія. Но удовольствія онъ, кажется, достаточно принесть читателямъ и имѣетъ уже нѣкоторое право негодовать на нихъ за то, что они продолжаютъ требовать отъ него забавы, но остались совершенно чужды его задушевнымъ стремленіямъ, нимало не приняли той мысли, которая составляетъ душу его произведеній. Если бы они вникали въ эту мысль, можетъ быть, они поняли бы, что для человѣка бываютъ дѣла и занятія, которыя выше художества, что прежде всего нужно найти такое дѣло и дѣлать его, а уже потомъ думать или не думать о художествѣ.

III.

Французскій критикъ очень ясно видитъ цѣльность всѣхъ писаній Толстаго. Онъ дѣлаетъ подробный разборъ «Войны и Мира» и «Анны Карениной», съ восторгомъ выставляетъ на видъ ихъ художественныя достоинства и показываетъ,

что основная мысль въ томъ и другомъ произведеніи одинакова.

Главными выразителями этой мысли онъ справедливо считаетъ Левина и Пьера, называя ихъ *нигилистами* въ томъ неправильномъ смыслѣ, который онъ придаетъ этому слову. Свой рассказъ о Пьерѣ онъ оканчиваетъ такъ: «Тотъ же Пьеръ олицетворяетъ чувства русскаго народа въ 1812 г., національное возстаніе противъ чужеземца, мрачное безуміе, которое овладѣло побѣжденною Москвою и изъ котораго вышелъ этотъ навсегда необъяснимый пожаръ, зажженный неизвѣстно чьими руками. Это безуміе—составляетъ высшую точку книги: непроницаемый образъ дѣйствій Растопчина, Верещагинъ, отданный на жертву толпѣ, сумасшедшіе и преступники, выпущенные на волю, входъ французовъ въ Кремль, таинственное пламя, поднявшееся ночью, и то, какъ его видятъ и толкуютъ о немъ длинные ряды бѣглецовъ, покрывающіе собою дороги, все это—картины, поражающія трагическимъ величіемъ, написанныя чертами простыми и красками трезвыми. Про себя, въ глубинѣ души, я думаю, что ничего выше этого я не знаю ни въ какой литературѣ».

«Графъ Пьеръ остался въ городѣ, пожираемомъ пламенемъ; онъ, какъ въ галлюцинаціи, оставляетъ свой дворецъ и въ крестьянскомъ платьѣ смѣшивается съ чернью; онъ бродитъ безъ цѣли, съ смутною мыслью убить Наполеона, быть мученикомъ, искупительною жертвой своего народа».

«Два одинаково-сильныя чувства (говоритъ Толстой) не отразимо привлекали Пьера къ его намѣренію. Первое было чувство потребности жертвы и страданія при сознаніи обшлаго несчастія, то чувство, вслѣдствіе котораго онъ 25-го поѣхалъ въ Можайскъ и заѣхалъ въ самый пылъ сраженія, теперь убѣжалъ изъ своего дома и, вмѣсто привычной роскоши и удобствъ жизни, спалъ, не раздѣваясь, на жесткомъ диванѣ и ѣлъ одну пищу съ Герасимомъ; другое было то неопредѣленное, исключительно-русское чувство презрѣнія ко всему условному, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра. Въ первый разъ Пьеръ испыталъ это странное и обаятельное чувство въ Слободскомъ дворцѣ, когда онъ вдругъ почувствовалъ, что и богатство, и власть, и

«жизнь, все то, что съ такимъ стараніемъ устраиваютъ и берегутъ люди, все это, ежели и стоитъ чего-нибудь, то только по тому наслажденію, съ которымъ все это можно бросить» («Война и Миръ», т. 5, стр. 123).

«И вотъ», говоритъ г. Вогюэ, «идутъ страницы за страницами, гдѣ авторъ развиваетъ эту мысль, подмѣченную нами уже въ первыхъ изліяніяхъ его юности, этотъ гимнъ нирванѣ, который не иначе поется на Цейлонѣ, или въ Тибетѣ. Нужно прямо сказать, Пьеръ Безуховъ есть старшій братъ тѣхъ богатыхъ и ученыхъ людей, которые нѣкогда *пойдутъ въ народъ*, станутъ по доброй волѣ раздѣлять его страданія, понесутъ динамитную бомбу подъ своимъ кафтаномъ, какъ Пьеръ несетъ кинжалъ, — движимые двойной потребностію: принять участіе въ общемъ страданіи и насладиться уничтоженіемъ другихъ и самихъ себя».

«Безуховъ, ставши плѣнникомъ французовъ, встрѣчаетъ между товарищами своего несчастія бѣднаго солдата, крестьянина съ душею темною, едва мыслящую, Платона Каратаева. Этотъ человѣкъ перенеситъ бѣдствія этихъ страшныхъ дней съ смиреніемъ и самоотреченіемъ (*l'humble résignation*) вьючнаго животнаго, онъ смотритъ на графа Пьера съ доброю невинною улыбкою, обращаясь къ нему съ нѣсколькими наивными словами, съ народными пословицами мало определеннаго смысла, проникнутыми отреченіемъ, братствомъ, особенно же фатализмомъ; разъ вечеромъ, когда онъ не въ силахъ идти далѣе, конвой его разстрѣливаетъ подъ сосной, среди снѣга, и онъ принимаетъ эту смерть съ тѣмъ же самымъ безразличнымъ воспріятіемъ всякаго рода вещей, какъ больная собака, — да, скажемъ прямо, какъ безсловесное животное (*la brute*). Съ этой встрѣчи начинается возрожденіе Пьера. Тутъ я уже не берусь ничего растолковать моимъ соотечественникамъ; я говорю то, что есть. Безуховъ, знатный, цивилизованный, ученый, идетъ въ ученики къ этому первобытному созданію, онъ нашелъ, наконецъ, для себя идеалъ жизни, рациональное объясненіе міра въ этомъ нищемъ духомъ. Онъ хранитъ память и имя Каратаева какъ талисманъ; съ того времени ему стоитъ лишь подумать о смиренномъ мужикѣ (*moûjik*), чтобы почувствовать себя

«успокоеннымъ, счастливымъ, расположеннымъ понимать и любить все, что создано. Умственное развитіе нашего философа закончено, онъ достигъ до высшаго *аватара*, до мистическаго безразличія» (стр. 285—286).

Эта страница—самая поучительная въ статьѣ; она всего лучше показываетъ и глубокое пониманіе смысла «Войны и Мира», и ту границу, на которой останавливается это пониманіе. Нѣсколько далѣе критикъ пытается, однако, уменьшить свое изумленіе и недоумѣніе примѣрами изъ исторіи. «Не правда ли», говоритъ онъ, «вы узнаете здѣсь ходъ мысли и вѣковое помѣшательство восточнаго аскетизма, культъ іюги, неподвижнаго факира, созерцающаго свой пупокъ? Мы не далеко отъ него съ добрымъ Каратаевымъ, который медленно разувался, —... отдѣляя отъ себя при всякомъ движеніи крѣпкій запахъ пота и, получше усѣвшись, обнажалъ свои поднятыя колѣни и прямо уставился на Пьера» *). «Западъ не всегда былъ застрахованъ отъ этой болѣзни; и онъ тоже, въ блужданіяхъ аскетизма, восхвалялъ скота (*la brute*) и искажалъ божественную притчу о нищихъ духомъ. Но истинное отечество этого заразительнаго отреченія—Азія; мать его—Индія и ея ученія; эти ученія воскресаютъ, съ очень малыми видоизмѣненіями, въ томъ неистовствѣ, которое увлекаетъ часть Россіи въ это умственное и нравственное отреченіе, иногда тупое по своему квіетизму, иногда высокое по своей преданности, какъ евангеліе Будды. Все свяzano между собою» (стр. 287).

Итакъ, все это—болѣзнь, по мнѣнію критика; весь смыслъ «Войны и Мира» заключается въ нѣкоторомъ извращеніи души, столь жестокомъ, что его даже не могутъ понять люди, наслаждающіеся душевнымъ здоровьемъ. Это извращеніе, съ одной стороны, примыкаетъ къ безумнымъ анархистамъ, съ другой, къ безсмысленнымъ факирамъ. Впрочемъ, эти

*) Въ этой выдержкѣ изъ описанія, какъ разувался Каратаевъ, есть явная ошибка: слова *медленно* (*lentement*) вовсе нѣтъ въ подлинникѣ; напротивъ, сказано, что онъ разувался аккуратно, круглыми, спорыми, безъ замедленія слѣдовавшими одно за другимъ движеніями (стр. 228).

крайніе образчики, повидимому, еще нѣсколько понятны для критика; самое удивительное, самое непостижимое для него, это—Платонъ Каратаевъ. Каратаевъ, очевидно, не факирь и не анархистъ; по опредѣленію критика, онъ просто—*la brute*, скотъ, безсловесное животное. А между тѣмъ, онъ-то составляетъ для Пьера (а потому и для Толстаго) примѣръ челоуѣческаго достоинства, образецъ душевной красоты!

Тутъ—граница пониманія умнаго и глубоко просвѣщеннаго иностраннаго писателя, и тутъ же—разрѣшеніе всего узла. Дѣлая очень правильныя сближенія съ разными историческими явленіями, критикъ забылъ объ одномъ, которое казалось всего ближе,—о христіанствѣ. Платонъ Каратаевъ, мы знаемъ, что такое,—это крестьянинъ, т. е. христіанинъ. Не стародавнее помѣщательство Азіи, не Индія со своимъ буддизмомъ, а именно христіанство сдѣлало Каратаева «лицетвореніемъ духа простоты и правды», какъ выразился о своемъ героѣ Толстой (т. 5, стр. 236). Казалось бы, съ этой стороны дѣло должно быть для насъ и всего понятнѣе. Между тѣмъ, критикъ только вскользь упоминаетъ о европейскихъ *блужданіяхъ аскетизма*, но и не думаетъ останавливаться на существенномъ и истинномъ духѣ христіанства. Онъ съ отвращеніемъ смотритъ на фигуру Каратаева, нарисованную съ ясностью и глубиной. Это отвращеніе уже само по себѣ противно христіанскимъ чувствамъ, и очевидно,—оно вытекаетъ изъ двухъ причинъ: во первыхъ, изъ аристократической гордости просвѣщеніемъ, и во вторыхъ, изъ совершеннаго незнанія того, въ чемъ заключается истинный духъ христіанской религіи. Во Христѣ всѣ равны, и послѣдніе станутъ первыми—вотъ что непонятно для насъ, просвѣщенныхъ людей, воображающихъ, что просвѣщеніе подняло насъ на новую ступень челоуѣческаго достоинства. Въ дѣйствительности, наше просвѣщеніе только отвело насъ въ сторону отъ главнаго пути; мы выработали себѣ какое-то новое язычество, при которомъ раздѣленіе между людьми свободно разрасталось и приняло тысячу разнообразныхъ формъ, и мы почти вовсе забыли сущность той религіи, которая нѣкогда была источникомъ всей нашей духовной жизни. Ничего не можетъ быть поразительнѣе и поучительнѣе того презрѣнія, съ которымъ просвѣщенные люди смотрятъ на Каратаева, и

ни въ чемъ недостатки нашего просвѣщенія не выражаются такъ ясно, какъ въ томъ полномъ забвеніи христіанства, которое обнаруживается въ писаніяхъ даже корифеевъ современной мысли, положимъ, напримѣръ, Ренана или Тэна. Индійская религіозность, этотъ недавній предметъ европейскаго любопытства, для насъ какъ-будто понятнѣе и занимательнѣе, чѣмъ ученіе Христа *).

Но въ русскомъ простомъ народѣ это ученіе сохранилось, вошло въ плоть и кровь и составляетъ единственное руководящее правило нравственности. Эти души оправдали изреченіе Тертуліана: большею частью онѣ «по природѣ христіанки», и среди глубокой тьмы, въ которой часто живутъ, легко находятъ свѣтъ и вступаютъ на истинный путь. Для нашего крестьянина мужикъ и Царь—вполнѣ равны предъ Богомъ, то есть равны въ самомъ главномъ и высшемъ отношеніи. Эта высшая свобода и это высшее равенство незыблемо сохраняются въ душахъ, несмотря на все, что противорѣчитъ имъ во внѣшнемъ порядкѣ и ходѣ дѣлъ, тогда какъ онѣ, очевидно, изгладились до конца въ умахъ той страны, которая такъ часто провозглашала себя страной *свободы, равенства и братства*.

Въ русскомъ художникѣ, выведшемъ на сцену Каратаева, очевидно, сказалось христіанское чувство, проникающее собою весь русскій народъ, безсознательно живущее и въ тѣхъ классахъ, которые пытаются идти по другимъ путямъ. Симпатія, которую Л. Н. Толстой окружилъ Каратаева, и зна-

*) Невольно вспоминаются стихи Тютчева къ „Краю русскаго народа“ (который онъ называетъ: „край родной долготерпѣнья“), оканчивающіеся такими строфами:

Не поймешь и не замѣтишь
Гордый взоръ иноплемennyй,
Что сквозить и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Сходилъ благословляя.

(Примѣчаніе И. С. Аксакова).

ченіе, которое далъ ему въ своей эпопеѣ, ясно доказываютъ, что поворотъ художника къ религіознымъ мыслямъ, обнаружившійся въ послѣднее время, не былъ внезапною вспышкою, не совершился случайно, подъ какимъ-нибудь внѣшнимъ вѣдѣніемъ, а есть только настроеніе, которое жило въ немъ всегда и все яснѣе и яснѣе раскрывалось въ его произведеніяхъ.

IV.

Приведемъ теперь главное мѣсто, гдѣ критикъ характеризуетъ и обсуждаетъ тѣ заявленія религіозности, которыя въ послѣднее время сдѣланы были авторомъ «Войны и Мира».

«Толстой», говоритъ критикъ, «поетъ радостный гимнъ и утверждаетъ тономъ несомнѣнной искренности, что онъ «нашелъ, наконецъ, покой души, цѣль жизни, твердыню вѣры. И онъ зоветъ насъ за собою. Очень опасаясь, что «закоренѣлые скептики Запада, упорные противъ дѣятельной «благодати, вовсе откажутся вступать въ обсужденіе новой «религіи. Они напрасно будутъ искать въ ней оригинальной «мысли; они увидятъ въ ней только первый лепетъ раціона- «лизма, старую мечту о миллениумѣ, преданіе постоянно во- «обновлявшееся съ начала среднихъ вѣковъ—у вальденцевъ, «доллардовъ, анабаптистовъ. Счастливая Россія—для нея еще «новы эти прекрасныя фантазіи! Одно только должно уди- «вить Западъ—то, что такія ученія оказались подъ перомъ «великаго писателя, несравненнаго наблюдателя человѣческаго сердца» (стр. 299).

Вотъ первое возраженіе противъ религіозныхъ мыслей Толстаго. Оно основано на томъ, что это уже старыя мысли, давно знакомыя и ясно напоминающія такое древнее для насъ время, какъ средніе вѣка.

Если бы мы не были способны, вслѣдствіе привычки, совершенно равнодушно слышать современные предрассудки, то такое возраженіе должно бы было чрезвычайно удивить насъ. Почему же старыя мысли непремѣнно мысли слабыя, невѣрныя? Почему Западъ такъ пораженъ, встрѣчая ихъ

подъ перомъ великаго писателя? Не правильнѣе ли думать наоборотъ, что именно старыя мысли бываютъ очень хороши, что даже наилучшія мысли—вѣчныя, всегдашнія, неизмѣнно возникающія въ человѣческой душѣ? Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ о христіанскихъ мысляхъ, которыя уже двѣ тысячи лѣтъ назадъ проповѣданы и живутъ среди насъ. А если держаться положенія Тертуліана, что душа человѣческая по природѣ христіанка, то въ той или другой формѣ мы найдемъ сѣмя и слѣды этихъ мыслей въ другихъ религіяхъ, а особенно ясно во всѣхъ лучшихъ представителяхъ нравственной природы человѣка, не только средневѣковыхъ, но и до-христіанскихъ. Чему же удивляться, что именно подобными мыслями былъ возбужденъ и увлеченъ Л. Н. Толстой?

Исторія нерѣдко сбиваетъ насъ съ пути въ нашихъ сужденіяхъ. Мы не умѣемъ рассмотреть новаго, потому что старое своими привычными образами заслоняетъ намъ новизну. Въмѣсто того, чтобы судить о томъ, есть ли жизнь и истина въ мысляхъ, которыя намъ проповѣдуютъ, мы пускаемся въ сближенія, мы говоримъ: это похоже на мысли Платона, или Лейбница, или Спинозы, и потомъ уже ничего отличить не можемъ. Мы совершенно отвыкаемъ судить *по существу дѣла* и вполнѣ довольствуемся одною своею эрудиціею.

Такъ и здѣсь. Въмѣсто того, чтобы въ новомъ явленіи давнишняго стремленія увидѣть жизненность и силу этого элемента человѣческой души, вмѣсто того, чтобы съ жаждою слѣдить за новымъ раскрытіемъ этого элемента, мы напередъ рѣшаемся ничего не видѣть, кромѣ того, что давно уже знаемъ. Еще хуже: мы не знаемъ и не хотимъ хорошенько знать этого стараго, но напередъ вѣримъ, что оно навсегда пережито человечествомъ, навсегда уже мертво, а потому и самое живое современное явленіе признаемъ по аналогіи мертворожденнымъ. Мы становимся равнодушными и невнимательными къ жизни.

Французскій критикъ замѣтилъ, однако, что есть что-то особенное, своеобразное въ настроеніи, которое онъ подверга-

еть своему анализу. Свои опредѣленія онъ оканчиваетъ слѣдующими замѣчаніями:

«Впрочемъ, эти ученія принимаютъ у славянъ особенный характеръ, или, по крайней мѣрѣ, этотъ характеръ все-го явственнѣе у этого племени. Подъ совокупнымъ влияніемъ древняго арійскаго духа въ народѣ и ученій Шопенгауэра въ образованныхъ классахъ, въ Россіи передъ нашими глазами происходитъ настоящее воскресеніе буддизма:—иначе я не могу назвать этихъ стремленій. Передъ нами здѣсь опять древнее индійское противорѣчіе между нигилизмомъ, или пантеистическою метафизикою, и чрезвычайно высокою нравственностью. Этотъ духъ буддизма, въ своихъ отчаянныхъ усиліяхъ—расширить еще далѣе евангельское милосердіе, наплатъ русскую литературу беззавѣтною нѣжностью къ природѣ, къ самымъ низменнымъ созданіямъ, къ страждущимъ и обездоленнымъ; онъ подсказываетъ отреченіе отъ разума предъ скотомъ и внушаетъ безконечное сердечное соболѣзнованіе. Эта братская простота и безпредѣльная нѣжность придаетъ русской литературѣ нѣчто чрезвычайно трогательное» (стр. 299, 300).

Итакъ, братская простота, безпредѣльное страданіе, беззавѣтная нѣжность къ людямъ и къ природѣ—все это—Шопенгауэръ, индійскій буддизмъ, духъ арійскаго племени, но никакъ не христіанство. Почему же нѣтъ? Для самого Толстаго всего важнѣе, всего драгоцѣннѣе то, чтобы согласовать свои мысли съ ученіемъ Христа, вполне проникнуться этимъ ученіемъ. Таково, по крайней мѣрѣ, его стремленіе. Но мы не хотимъ этому вѣрить. Наши понятія о христіанствѣ такъ сузились, что мы не опознаемъ его, когда оно является намъ не вполне въ привычныхъ формахъ, что мы не умѣемъ представить себѣ, какъ оно можетъ превышать всякій буддійскій обще-арійскій духъ, не потому, что отрицаетъ ихъ безусловно, а потому, что объемлетъ ихъ собою и доводитъ до настоящей полноты и опредѣленности. Мы обращаемъ вниманіе на частности, на мелочныя различія и изъ-за нихъ упускаемъ изъ виду самое существенное, потому что давно

потеряли чутье къ этому существенному, давно забыли корень того дѣла, о которомъ судимъ.

V.

Критикъ подъ конецъ выставляетъ еще одно важное и рѣшительное возраженіе противъ мыслей Толстаго и вообще противъ русской литературы. Оно состоитъ въ слѣдующемъ:

«Сначала», говоритъ онъ, «насъ трогаетъ и очаровываетъ эта широкая симпатія. Къ несчастію, я начинаю вспоминать и размышлять; я вспоминаю, что у насъ, у французовъ, тоже былъ свой вѣкъ чувствительности и простонародности: за двадцать лѣтъ до 93 года всѣ любили всѣхъ, мы возвращались къ полямъ, дѣлались вновь простыми, проливали слезы надъ земледѣльцемъ, — пока онъ не сталъ проливать кровь. Почти математическій законъ историческихъ колебаній таковъ, что за этими изліяніями слѣдуютъ страшныя реакціи, что жалость ожесточается и чувствительность обращается въ неистовство. *«Di avertant omen!»* (стр. 300).

Опять мы находимъ здѣсь сближеніе съ историческимъ явленіемъ, сбивающее нашу мысль на давно знакомую колею. Настроеніе русской литературы здѣсь приравнивается къ той идиличности и сентиментальности, которая господствовала передъ Французской революціей. Между тѣмъ, такое приравниваніе совершенно несправедливо, если современный духъ русской литературы имѣетъ болѣе глубокий источникъ, если онъ шире простой мечты о счастья на лонѣ природы, о новомъ золотомъ вѣкѣ, если мы находимъ въ этомъ духѣ воздѣйствіе религіозной идеи, вѣковѣчныя стремленія Азии, а главное — воздѣйствіе христіанства.

Исторія есть, конечно, разсказъ о постоянныхъ неудачахъ человѣчества, о постоянномъ разрушеніи самыхъ свѣтлыхъ и благородныхъ надеждъ. И Европа такъ напугана своею исторіею, что уже боится во что нибудь вѣрить; она готова поэтому отрицать и самые источники жизни и вѣры.

VI.

Приведемъ, наконецъ, общее заключеніе критика, въ которомъ онъ не только подводитъ итогъ сказаннаго имъ о русской литературѣ, но и обращается къ себѣ, къ современному настроенію Европы.

«Изъ моего этюда я желаю вывести только одно заключеніе, въ которомъ мы, французы, прямо заинтересованы. Въ умѣ превосходнаго писателя и, слѣдовательно, въ болѣе смутномъ сознаніи читателей, слѣдующихъ за нимъ и его подталкивающихъ, мы прошли чрезъ четыре точки роковой ливніи: чрезъ пантеизмъ, нигилизмъ, пессимизмъ, мистицизмъ. Русскіе, быстрые во всякомъ дѣлѣ, однимъ скачкомъ дошли до послѣдняго предѣла. Да и мы, французы, какъ мы уйдемъ отъ нигилизма, отъ этихъ столь мало французскихъ явленій, которыя въ послѣднія пятнадцать лѣтъ завладѣли нашею литературою и бросаются въ глаза самыхъ неопытныхъ зрителей? Еще болѣе, чѣмъ природа, духъ человѣчскій боится пустоты; онъ не можетъ долго держаться въ равновѣсіи на небытіи. Не кончимъ ли мы скептицизмомъ? Можно думать, что нашъ національный характеръ предохранитъ насъ отъ этого; позволительно надѣяться, что нѣкоторая религіозная идея, какъ необходимый предѣлъ прогресса, явится и утѣшитъ эти молодые таланты, съ такою горечью отрицающіе и страдающіе, или же воздвигнетъ новые таланты, если эти потерпятъ крушеніе.

«Мистицизмъ! Мнѣ говорили, что графъ Толстой, хорошо чувствуя, гдѣ опасность, энергически защищается отъ этого слова, которое, по его мнѣнію, не приложимо къ человеку, признающему царство небесное на землѣ. Нашъ языкъ не представляетъ мнѣ другого термина для этого случая. Знаменитый писатель, котораго я не имѣю чести знать, благоволитъ простить меня» (стр. 301).

Итакъ, мистицизма еще нѣтъ во Франціи, тогда какъ русскіе, быстрые во всякомъ дѣлѣ, уже дошли до него. Мистицизмъ—такое печальное и жалкое явленіе, что критикъ извиняется предъ Толстымъ въ употребленіи этого тер-

мина, но настаиваетъ на томъ, что, однакоже, это—точный терминъ для характеристики направленія Толстаго. Поэтому же, хотя Франція движется по той же *роковой линіи*, критикъ надѣется для нея лучшаго, не позорнаго мистицизма, а чего-нибудь заслуживающаго имени настоящей *религіозной идеи*.

Вопросы—важные выше всякой мѣры! Мы ищемъ религіи, Европа ея ищетъ; мы чувствуемъ эту глубочайшую потребность и ждемъ, что откуда-то придетъ восполненіе этого мучащаго насъ недостатка, что оно должно когда-нибудь прійти, что такъ жить, какъ мы теперь живемъ, нельзя. Говоря образно, но совершенно опредѣленно, это можно выразить такъ: мы ищемъ Бога и не находимъ Его; Богъ отъ насъ скрылся, и мы въ тоскѣ ждемъ, когда Онъ вновь намъ откроется.

Но какъ же это возможно? Какъ могло возникнуть такое невѣроятное состояніе? Мы называемъ что-то религіею и увѣряемъ, что мы ея не можемъ найти, несмотря на всѣ исканія, и что кто-то долженъ открыть намъ путь къ ней. Но развѣ вокругъ насъ уже не существуетъ никакой религіи? Развѣ намъ неизвѣстны великія формы религіознаго стремленія, которыми жили и живутъ сотни миллионѣвъ людей? Но мы, искатели религіи, ничего этого не хотимъ; мы не хотимъ ни пантеизма, ни буддизма, ни христіанства, ни мистицизма. Мы жаждемъ того, чего и сами не знаемъ, вопреки правилу: *ignoti nulla cupido*. Очевидно, состояніе нашихъ умовъ гораздо хуже, чѣмъ мы его выставаемъ. У насъ въ головѣ *винтъ свернулся* и нейдетъ впередъ, а вертится на мѣстѣ (выражеіе Л. Н. Толстаго).

Не Богъ скрылся отъ насъ, а мы упорно отворачиваемся отъ Бога. Если бы не это упорство, то мы легко нашли бы Его, потому что Онъ вездѣ и всегда. И если бы мы сколько-нибудь знали путь къ Богу, то для насъ открылась бы великая поучительность во всѣхъ религіозныхъ формахъ, въ которыя человѣчество облекало и облекаетъ свое вѣковѣчное стремленіе. Тогда и мистицизмъ, лучшій цвѣтъ этого стремленія, не пугалъ бы насъ, и, можетъ быть, мы согласились бы съ давнишнимъ положеніемъ, что *всякій истин-*

*ный христіанинъ есть мистикъ (иногда безсознательный), хотя бы мы при этомъ и отвергли обратное положеніе, по которому и всякій мистикъ (сознательный) есть истинный христіанинъ *).*

VII.

Такъ встрѣтила Европа вѣсть о религіозныхъ стремленіяхъ, овладѣвшихъ Толстымъ. А какъ были встрѣчены эти вѣсти у насъ? Французскій критикъ, какъ мы видѣли, толкуетъ о Шопенгауэрѣ, о буддизмѣ, о религіозныхъ движеніяхъ среднихъ вѣковъ, о душевныхъ особенностяхъ русскаго народа, даже о *древнемъ арійскомъ духѣ*. Онъ глубоко заинтересованъ и не столько судить о предметѣ, сколько задумывается надъ нимъ и отказывается судить. У насъ дѣло было проще. Религіозными вопросами у насъ почти никто не занимается. Трудно указать у насъ даже маленький слой людей, которые интересовались бы вопросами, подобными тѣмъ, какіе затрагиваетъ г. Вогюе; напрасно онъ думаетъ, напри- мѣръ, что Шопенгауэръ имѣетъ у насъ много поклонниковъ. Въ отношеніи къ религіи наши просвѣщенные люди раздѣляются на два ясныхъ класса. Одни не занимаются религіею потому, что считаютъ ее позорнымъ и не стоящимъ вниманія заблужденіемъ людей; другіе, напротивъ, считаютъ религіозные вопросы дѣломъ святымъ, но, въ силу этого самаго, признаютъ себя совершенно недостойными столь высокаго дѣла и потому тоже имъ не занимаются. Изученіе и уразумѣніе религіи предоставлено особому классу людей, получающихъ за то приличное, а часто и неприлично малое вознагражденіе. Такъ что, когда прошли слухи, что Толстой читаетъ и объясняетъ Евангеліе, даже пишетъ на него толкованіе, то поднялось великое изумленіе. «Да онъ съ ума сошелъ!» сказали вольнодумцы: «развѣ можетъ здравомыслящій человѣкъ заниматься этими давно отжившими предраз-

*) Эти формулы часто повторяются у Лабзина.

судками?» «Да онъ съ ума сошелъ!» стали говорить вѣрующіе: «развѣ онъ можетъ, какъ слѣдуетъ, понимать Евангеліе? Для этого нужно быть архіереемъ и кончить курсъ въ духовной академіи!» Такъ и пошло ходить это сужденіе въ «обществѣ», и до сихъ поръ можно неожиданно услышать непріятный вопросъ: «не знаете ли, какъ *теперь* здоровье Толстаго?» — вопросъ, обыкновенно предлагаемый людьми, дѣйствительно, здоровыми, такъ какъ они не обременяютъ себя никакимъ мышленіемъ, а только повторяютъ тѣ слова, какія придется услышать.

Мѣжду тѣмъ если взять дѣло серіозно, то обращенію Толстаго къ Евангелію слѣдовало бы очень радоваться и видѣть въ немъ самое здоровое душевное явленіе. Если бы онъ даже впалъ въ ересь, то это было бы все же въ тысячу разъ лучше, чѣмъ то мертвенное равнодушіе и отчужденіе, съ которымъ мы относимся къ религіи. Какимъ образомъ будутъ у насъ раскрываться истины религіи и развиваться богословскія занятія, если все общество отшатнется отъ нихъ навсегда? Если бы писанія Толстаго имѣли смыслъ только одного возбужденія и толчка къ дѣятельности въ этой области, то и тогда слѣдовало бы только имъ радоваться.

Дѣло въ томъ, что напрасно мы будемъ ссылаться на архіереевъ и на духовныя академіи. По тѣмъ или другимъ причинамъ, наше духовное сословіе преимущественно занималось до сихъ поръ практическою стороною христіанства. Мы можемъ указать на хорошихъ проповѣдниковъ, и у насъ существуетъ проповѣдническая литература. Но богословской литературы у насъ почти нѣтъ. Сошлемся на недавнія заявленія г. Н. Гилярова-Платонова, конечно, вполне авторитетнаго судьи въ этомъ дѣлѣ.

«Православной богословной науки», говоритъ онъ, «вообще не начиналось еще; все, что имѣемъ мы, продолжаетъ «быть компіляціей съ западныхъ богослововъ, у однихъ болѣе удачною, у другихъ менѣе, но компіляціей — не далѣе. «Въ самое послѣднее время явившіяся диссертациі магистровъ и докторовъ богословія — тѣ же компіляціи, хотя и «высматривающія съ высока, съ цитатами изъ первоисточни-

«ковъ. Знакомый съ западною литературой, однако, легко «открываетъ, что ученые изысканія авторовъ идутъ не да-
«лѣе вторыхъ рукъ и во всякомъ случаѣ черезъ нихъ» *).

Не грустно ли, что въ такомъ положеніи находится ум-
ственная жизнь страны, въ которой народъ проникнутъ хри-
стіанскимъ духомъ больше, чѣмъ въ какой нибудь другой?
Ибо не даромъ французскому писателю, сумѣвшему такъ
сочувственно отнестись къ душевному настроенію нашего на-
рода, вспоминается и средневѣковой аскетизмъ, и индійскій
буддизмъ, и обще-арійскій духъ — всякія формы сильнѣйшей
религіозности. Религія есть, дѣйствительно, душа нашего наро-
да, и *святой человекъ* — его высшій идеалъ.

Въ этой глубокой народной жизни наша сила и наше
спасеніе. Мы должны всячески стремиться примкнуть къ ней
и сердцемъ, и умомъ, привести ее себѣ къ сознанію, про-
никнуться ею, цѣнить и беречь ее во всѣхъ ея проявленіяхъ.
Л. Н. Толстой несомнѣнно одинъ изъ ея прямыхъ вырази-
телей и представителей, и потому, какъ бы его дѣятельность
ни представлялась намъ неясною, одностороннею и даже оши-
бочною, она должна быть для насъ въ высшей степени важ-
на и поучительна.

6 дек. 1884.

(Русь. 1885, № 2).

К О Н Е Ц Ъ.

*) Изъ *прожитаго*, Н. Гилярова-Платонова. „Русскій Вѣстникъ“. 1884, стр. 225.

Н. Н. Страховъ.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

(1861—1894)

**Бѣдность нашей литературы.—Замѣтки о текущей литературѣ.—
Матеріалы для характеристики современной литературы.—За-
падничество и славянофильство.—Карамзинъ.—«Египетскія ночи»
Пушкина.—Писемскій, Добролюбовъ и др.**

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Изданіе И. П. Матченко.

КІЕВЪ.

Типографія И. И. Чоколова, Фундуклеевская, № 22.

1902.

Дозволено цензурою. Київ, 12 іюля 1902 года.

Предисловіе.

Исполняю свое обѣщаніе (см. «Предисловіе» къ 4 изд. «Критическихъ статей объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ») — издать второй томъ «Критическихъ статей» Н. Н. Страхова. Исполнить это обѣщаніе явилась возможность лишь теперь, спустя почти два года, такъ какъ собраніе разбросанныхъ по разнымъ журналамъ статей представило мнѣ, провинціальному жителю, немало затрудненій.

Въ предисловіи къ первому изданію «Критическихъ статей объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ» авторъ говоритъ: «Изъ своихъ критическихъ статей я издаю здѣсь только относящіяся къ двумъ названнымъ писателямъ. Причина, во первыхъ, та, что это — *главныя мои статьи*, что въ теченіе этого долгаго времени я преимущественно писалъ о Тургеневѣ и Толстомъ и, слѣдовательно, тутъ именно и могу полагаться на ясность и выработку своего сужденія. А во вторыхъ, эти два ряда статей представляютъ не только *нѣкоторую полноту*, но и»... и т. д. (Изд. 4, стр. II).

По заявленію, такимъ образомъ, самого автора другія критическія статьи его — второстепенныя и не отличаются такой разработкой и полнотой содержанія. Но я смѣю однако думать, что почитатели покойнаго писателя не посѣтуютъ на меня за то, что я собралъ и эти второстепенныя статьи, такъ какъ думаю, что и онѣ, хотя бы и давно писанныя, имѣютъ

II

также немалый интерес и значеніе. Одинъ почтенный редакторъ, которому я предложилъ для напечатанія посмертную статью Н. Н. Страхова, писалъ мнѣ, что «*все*, написанное Николаемъ Николаевичемъ, безспорно имѣетъ цѣну».

Въ размѣщеніи матеріала я придерживался и хронологическаго порядка и вмѣстѣ содержанія статей. Такимъ образомъ, вначалѣ идутъ статьи общаго характера, а затѣмъ частныя, касающіяся того или иного отдѣльнаго случая; въ концѣ же книги помѣщены статьи научныя.

Разумѣется, настоящее изданіе далеко не чуждо недостатковъ, и я напередъ прошу читателей отнестись снисходительно къ моей неумѣлости и неопытности въ этомъ дѣлѣ.

11 іюля 1902 г.

Ив. Матченко.

КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

I.

Бѣдность нашей литературы *).

I. Различныя стороны нашей бѣдности.

Бѣдна наша литература и скудно наше умственное развитіе:

Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu.

Эта старая пѣсня — нѣтъ-нѣтъ да и отзовется у насъ особенно громко, какъ-будто что-то новое. Непонятною для насъ самихъ силою держится Русь, съ непонятною для насъ самихъ крѣпостію выдерживаетъ она разныя испытанія и дѣлаетъ успѣхи и приобрѣтенія. И при каждомъ такомъ случаѣ, при каждомъ испытаніи, при каждомъ успѣхѣ, въ насъ болѣзненно пробуждается сознаніе нашей духовной несостоятельности, и мы восклицаемъ: «какъ мы бѣдны мыслію и духомъ!»

Мы чувствовали себя почти польщенными, когда, по случаю нашихъ успѣховъ въ Средней Азіи, какой-то англійскій журналъ замѣтилъ, что нужно радоваться нашимъ приобрѣтеніямъ въ этихъ дикихъ странахъ, ибо-де русскіе все-таки народъ цивилизованный и принесутъ порядокъ и миръ въ эти дикія населенія. Во время послѣдняго польскаго воз-

*) Изъ брошюры „Бѣдность нашей литературы“, Спб. 1868 г. Другія статьи этой брошюры вошли — „Нигилизмъ“ во II кн. „Ворьбы съ Западомъ“, „Нѣчто о Пушкинѣ“ въ кн. „Замѣтки о Пушкинѣ“. Изд.

станія долго мы перебирали оружіе нашего *духовнаго арсенала*, какъ выражался одинъ журналъ, и остались весьма недовольны его скудностію. Вотъ и теперь прїѣздъ къ намъ славянъ и успѣхи нашего языка и нашего вліянія въ славянскихъ земляхъ опять возбудили въ насъ стыдъ и смущеніе. Газета «Москва» уже не одинъ разъ напоминаетъ намъ, что мы должны печалиться и чувствовать себя униженными. Почему Россія и русскій языкъ такъ притягиваютъ славянъ? Чтò мы для нихъ? «Многочисленное племя, отвѣчаетъ «Москва» (см. 1867 г. № 86), — независимая держава, внѣшняя сила, возможность вещественной защиты отъ угнетеній — и только!» «Но гдѣ же самостоятельное притяженіе, которое долженъ бы оказывать нашъ языкъ на соплеменные народности въ силу своего историческаго призванія?» «Нравственно покорить можетъ только внутреннее содержаніе языка, духовная жизнь, въ немъ проявляющаяся, отраженіе въ немъ общественныхъ нравовъ, науки, искусства, словомъ — литература. Итакъ, какой печальный приговоръ надъ нашей литературой произносится настоящими событіями, а съ тѣмъ вмѣстѣ какой приговоръ произносится и надъ всею жизнію, въ ней отражаемою! Какой урокъ, какое предостереженіе дается намъ на будущее время!»

Итакъ, и радость намъ не въ радость, а въ стыдъ; лестное, повидимому, событіе не подымаетъ нашей народной гордости, не прибавляетъ намъ самоувѣренности, а напротивъ, наводитъ уныніе... Явленіе, надъ которыхъ стòитъ остановиться. Нельзя сказать, чтобы оно было слишкомъ просто, чтобы мы вполне ясно понимали его источники и хорошо видѣли, къ чему должны насъ вести подобныя печальныя настроенія.

Нѣтъ сомнѣнія, важную роль играетъ здѣсь та постоянная потребность самоосужденія, самообличенія и даже самооплеванія, которая составляетъ одну изъ чертъ русскаго характера. Самодовольство и самовосхваленіе для насъ нестерпимы; напротивъ, для насъ составляетъ пріятное препровожденіе времени всячески казнить самихъ себя, не давая себѣ ни въ чемъ пощады, прилагать къ себѣ самыя высокія требованія. Малымъ насъ не удовлетворишь; шагъ за шагомъ

мы идти не умѣемъ; подавай намъ все сразу, а не то мы и слушать, и смотрѣть не станемъ. И такъ какъ за маленькимъ гониться не стоить, а большое не такъ-то легко дается, то мы и предпочитаемъ сидѣть сложа руки и — ругаться.

Куда насъ приведетъ подобное настроеніе, это одинъ Богъ вѣдаетъ. Требовательность къ самому себѣ, недовольство собою — конечно, черты прекрасныя, подающія хорошую надежду. Но оставимъ эту таинственную точку зрѣнія, съ которой особенность народнаго характера можетъ быть истолкована равно и въ хорошую и въ дурную сторону. Возьмемъ дѣло съ точекъ зрѣнія болѣе общихъ и простыхъ.

Чувство нашей духовной несостоятельности еще не есть доказательство такой несостоятельности. Оно, вѣдь, прежде всего свидѣтельствуетъ только, что мы не можемъ рассмотреть, состоятельны мы или нѣтъ. Можетъ быть, мы вполне состоятельны въ духовномъ отношеніи; русскому человѣку хочется въ это вѣрить; даже, въ сущности, онъ не можетъ этому не вѣрить, если не желаетъ лишиться всякой опоры для своей мысли и дѣятельности. Но вполне достоверно то, что мы не сознаемъ этой состоятельности и, если она есть, не умѣемъ ни видѣть ее ясно и отчетливо, ни выражать ее опредѣленно и твердо. Сколько было писано, напримѣръ, по польскому вопросу! Казалось, всѣ стороны его были взвѣшены и разобраны. А между тѣмъ, едва-ли сдѣлались ходячими и прочно утвердились въ нашихъ умахъ тѣ черты его, въ силу которыхъ видно, что польское дѣло рѣшено исторіею въ нашу пользу вслѣдствіе нашего *нравственнаго превосходства* надъ поляками, а не въ слѣдствіе одного перевѣса внѣшней силы. Еще недавно, на славянскомъ съѣздѣ, какимъ яркимъ и неожиданно-рѣшительнымъ показался простой аргументъ князя Черкаскаго: пусть поляки въ Галиціи сдѣлаютъ для крестьянъ то, что русскіе сдѣлали для польскихъ крестьянъ въ Польшѣ!

Итакъ, первая наша бѣдность есть *бѣдность сознанія* нашей духовной жизни. Мы одинаково не знаемъ ни ея дурныхъ, ни ея хорошихъ сторонъ, и осуждаемъ ее огуломъ, безъ разбора. Драгоцннѣйшія черты этой жизни, прекраснѣйшіе ея зачатки для насъ неясны, и потому все равно что не существуютъ.

Легко видѣть, что изъ недовѣрія къ своей духовной жизни, изъ сомнѣній въ ея состоятельности, должны возникнуть нѣкоторыя печальныя слѣдствія. Необходимо возникаетъ пренебреженіе къ ея явленіямъ, высокомерное и невнимательное отношеніе къ нимъ. Что бы ни совершалось вокругъ насъ, какія бы формы ни принимала та трудная, глубокая и медленная борьба, которая называется жизнью, мы ничего не удостоиваемъ полнаго вниманія, все считаемъ пустяками. Презрительно смотримъ мы на движеніе, вокругъ насъ совершающееся; ни къ чему у насъ нѣтъ теплаго, живаго участія. Такимъ образомъ, вторая наша бѣдность есть бѣдность *уваженія* и безпристрастія, совершенная потеря способности цѣнить явленія по ихъ достоинствамъ; а на мѣсто ея намъ дана одна способность—пренебрегать и осуждать.

При этомъ обнаруживается почти полный недостатокъ *чувства собственной ответственности*, того чувства, которое одно можетъ быть плодотворно при такомъ положеніи вещей. При мысли о нашей духовной бѣдности, казалось бы, каждому должна приходить на умъ его собственная духовная бѣдность; казалось бы, каждый долженъ былъ смиряться и употреблять всѣ усилія, чтобы накопить кой-какія богатства и уйти отъ общаго приговора. Но ни чуть не бывало. Роль судьи такъ легка и соблазнительна, что всѣ лѣзутъ въ судьи, и эти судьи забываютъ, что они въ то же время и подсудимые. Никто не припоминаетъ предложенія, нѣкогда посрамившаго строгихъ судей: «кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ пусть броситъ первый камень». Невозможно иногда надивиться при видѣ того, изъ какихъ тучъ летятъ у насъ камни и громы. Не люди, богатые духовными силами, укоряютъ другихъ въ бѣдности и бездѣйствіи, а напротивъ, бѣднѣйшіе изъ бѣдняковъ поднимаютъ хулу на тѣхъ, кто еще кой-что имѣетъ и кой-что дѣлаетъ.

Такимъ образомъ, чувство нашей духовной бѣдности, при обыкновенномъ ходѣ дѣлъ, порождаетъ у насъ явленія, не подстрекающія и усиливающія наше развитіе, а напротивъ такія, которыя его задерживаютъ и подавляютъ. По евангельской притчѣ о талантахъ, всякому имѣющему дастся и приумножится, а у неимѣющаго отымется и то, что онъ имѣетъ.

Будучи бѣдны духовною жизнью, мы въ то же время оказываемся бѣдными ея сознаніемъ, уваженіемъ къ ея явленіямъ и чувствомъ собственной ответственности.

Дѣло будетъ яснѣе, если мы приложимъ эти сужденія къ болѣе опредѣленному предмету. Заговоривъ о нашемъ духовномъ безсиліи, «Москва», въ частности, коснулась нашей литературы, и вотъ какими чертами характеризуетъ она ея бѣдность (см. 1867 г. № 97):

«Приступить славянину къ нашему письменному богатству—что же онъ найдетъ? Два-три истинно-великихъ художника; два-три писателя съ порывами къ истинно-самостоятельному мышленію; нѣсколько дѣльныхъ изслѣдованій—больше изъ диссертаций, обезпечивающихъ вступленіе въ профессиру; нѣсколько произведеній изъ жанра, въ роляхъ разсказовъ г. Успенскаго и отчасти драмъ самого г. Островскаго—этихъ попытокъ дагеротипировать уродства быта и рѣчи и возвести карикатуру въ перлъ созданія. Затѣмъ довольно переводовъ, не отличающихся вѣрностію подлинникамъ; еще болѣе беллетристическихъ произведеній, не отличающихся дарованіемъ, наконецъ творенія Бѣлинскаго, Чернышевскаго и tutti quanti — недоваренные объѣдки чужихъ мыслей. И только. Академія издаетъ свои труды на французскомъ и нѣмецкомъ; университеты съ благоразумной экономіей остерегаются давать публикѣ, пропорціонально числу своихъ профессоровъ, хотя бы двадцатую долю того, что даютъ пропорціонально числу своихъ дѣятелей заграничные университеты. Словомъ, наука даже не въ дѣтствѣ, а въ младенчествѣ; не можетъ до сихъ поръ покончить споръ даже о томъ, *съ чего должно начинать учиться*; публицистика не въ аванжѣ обрѣтается... Немного и непривлекательно...»

Затѣмъ «Москва» начинаетъ мечтать, что будетъ, если русская рѣчь, какъ теперь можно надѣяться, получить въ славянскихъ земляхъ полное гражданство, и русскій языкъ распространится въ населеніяхъ этихъ земель.

«Съ тѣмъ вмѣстѣ — говоритъ «Москва» — разовьется и русская письменность, но разовьется *тамъ*. Оттуда будемъ мы получать увѣсистые волюмы самостоятельныхъ научныхъ произведеній; тамъ будутъ лучшіе органы самостоятельной

периодической печати; тамъ явятся блестящія баллетристическія произведенія; словомъ, тамъ будутъ наши и мыслители, и публицисты, и поэты. Мы окажемся въ хвостѣ, въ положеніи Бельгіи относительно Франціи; и самый нашъ языкъ, по неизбѣжному закону, подчинится вліянію наиболѣе дѣятельной среды. вмѣсто того, чтобы наложить свою печать на другія племена, мы будемъ обречены понести на себѣ чужой отпечатокъ, и стихъ Пушкина вмѣстѣ съ его прозой нами же самими будутъ отнесены въ разрядъ ученическихъ попытокъ, недостигшихъ умѣнья владѣть вполне образованною рѣчью!»

Сдѣлаемъ сперва оговорку.

Мы вовсе не хотимъ, что называется, *отдѣлать* «Москву» за легкость ея мнѣній относительно русской литературы вообще и Пушкина въ особенности. Въ настоящемъ случаѣ, насъ ни мало не обуреваютъ полемическій задоръ. Притомъ легкая газетная замѣтка, вызванная текущими событіями, не можетъ быть обсуждаема, какъ обстоятельное, отчетливое мнѣніе; да въ ней нѣтъ и той опредѣленности, съ какою выразилось бы подобное мнѣніе. Признаемся откровенно: мы, просто, придираемся къ случаю, чтобы поговорить о предметѣ, сильно насъ интересующемъ.

Прежде всего въ словахъ уважаемой нами газеты, конечно, слѣдуетъ видѣть выраженіе того высокомерія и невниманія, съ которымъ славянофилы всегда смотрѣли на нашу литературу—высокомерія и невниманія, давно заявляемаго и всѣмъ извѣстнаго. Источникъ этого пренебреженія также извѣстенъ. Всѣ знаютъ, какъ высоко ставятъ славянофилы русскій народъ, какія великія ожиданія они на него возлагаютъ, какія огромныя силы ему приписываютъ. И вотъ именно въ силу этихъ великихъ ожиданій и требованій, наше настоящее умственное движеніе является имъ мелкимъ и скуднымъ. Славянофилы не вѣрятъ въ нигилистическій переворотъ Петра; они думаютъ, что Россія крѣпка и живетъ все еще старыми началами, на которыхъ складывалась и развивалась ея прежняя жизнь. И вотъ именно изъ-за уваженія къ прошедшему, изъ желанія придать большій смыслъ и большую цѣльность русской исторіи, они недовѣрчиво смотрятъ на явленія новаго времени.

Но мы не будемъ останавливаться на этихъ особенныхъ взглядахъ, не станемъ разсматривать того, на сколько ли правильно дѣлается приложеніе ихъ къ русской литературѣ, на сколько они вѣрны въ своихъ основахъ. Возьмемъ дѣло проще, съ обыкновенныхъ точекъ зрѣнія.

Въ приведенныхъ нами словахъ «Москвы» есть факты, поразительно обнаруживающіе нашу умственную бѣдность. И во первыхъ, слова эти, конечно, еще не всякому вполнѣ докажутъ скудость и слабость нашей литературы; но несомнѣнно доказываютъ они скудость и слабость нашего пониманія своей литературы; изъ нихъ ясно, что мы не знаемъ своей литературы, что у насъ не выработано прочныхъ, ясныхъ понятій о тѣхъ, хотя бы и скудныхъ и неблистательныхъ явленіяхъ, которыя составляютъ эту литературу. Сопоставленіе г. Островскаго съ г. Успенскимъ и Бѣлинскаго съ Чернышевскимъ, сопоставленіе лукавое, сдѣланное по той же манерѣ и съ тѣми же цѣлями, какія въ сильномъ ходу въ нашихъ юмористическихъ журналахъ, представляющее явное подражаніе тому остроумію, которое такъ часто сводитъ на одну доску г. Аксакова и г. Асоченскаго, г. Каткова и г. Скарятина, подобное сопоставленіе въ такомъ серьезномъ органѣ, какъ «Москва», — фактъ достопримѣчательный. Оно показываетъ, что даже самыя крупныя явленія нашей литературы не получили надлежащей оцѣнки, не разграничены, не выяснены въ своемъ значеніи. Газета «Москва» въ приведенныхъ словахъ какъ-будто дѣлаетъ слѣдующій вызовъ: а ну-те-ка, покажите намъ, какое различіе между вашимъ хваленымъ Островскимъ и г. Успенскимъ, между прославленнымъ Бѣлинскимъ и г. Чернышевскимъ?

Бѣдная литература! Бѣдная критика! Ни одного твердо сложившагося мнѣнія, ни одного общепризнаннаго авторитета! У славянофиловъ и у западниковъ мы вездѣ находимъ одинаковое незнаніе нашего умственного и художественнаго движенія. Одинъ журналъ ссылагается на Бѣлинскаго, какъ на столпъ просвѣщеннаго западничества, и по прямой линіи производитъ отъ него тургеневскаго Потугина, стремящагося спасти Россію во время сказаннымъ *нужнымъ словомъ*; другой журналъ видитъ въ Бѣлинскомъ истинно-русскаго чело-

вѣка и толкуеть его слова въ совершенно славянофильскомъ духѣ; третій, наконецъ, ставитъ его на одну доску съ утопистомъ Чернышевскимъ. Мы могли бы привести не мало и другихъ примѣровъ, если бы не боялись, что они, относясь къ такому темному и смутному дѣлу, будутъ совершенно неясны для читателей.

Ясно одно: наша критика, то есть сознаніе нашего движенія, оцѣнка различныхъ его явленій, находится въ жалчайшемъ положеніи; она не выработала никакихъ точныхъ, общепринятыхъ результатовъ.

И опять вѣдь не то! Пожалуй, критика и не виновата. Читатели согласятся съ нами, что если порыться въ нашей бѣдной литературѣ, то найдется въ ней не мало страницъ, въ которыхъ отчетливо и обстоятельно излагаются значеніе г. Островскаго, отношеніе его къ прежнимъ писателямъ, сущность того переворота, который онъ сдѣлалъ въ русской сценѣ, сила или слабость тѣхъ возраженій, которыя можно противъ него сдѣлать. Найдутся также страницы, въ которыхъ по заслугамъ оцѣнивается дѣятельность Бѣлинскаго, указываются періоды этой дѣятельности, вліянія, подъ которыми она находилась, и отдѣляется то, что въ ней было напускного и фальшиваго, отъ чистаго золота, добытаго этимъ талантомъ. Что касается до г. Чернышевскаго, то, по особымъ обстоятельствамъ, о немъ мало было писано; но и о немъ кое-что найдется, во всякомъ случаѣ на столько-то найдется, чтобы провести различіе между нимъ и Бѣлинскимъ.

Да, эти страницы найдутся; но только—кто же ихъ станетъ искать? У кого окажется на столько сильно уваженіе къ нашей литературѣ и на столько слабо пренебреженіе въ ней, что онъ займется этимъ, какъ серьезнымъ дѣломъ, что онъ не побрезгаетъ имъ, какъ брезгаетъ всѣмъ русскимъ тургеневскій Потугинъ? Не покажется ли большинству даже смѣшнымъ человѣкъ, которому бы вздумалось взяться за столь маловажное занятіе? Мы помнимъ, какъ одинъ московскій журналъ, изъ самыхъ серьезныхъ и уважаемыхъ, укорялъ другой журналъ, петербургскій, между прочимъ и за то, что тотъ «все толкуеть о русской литературѣ, да объ Островскомъ». И когда еще сдѣланъ былъ упрекъ? Въ самый раз-

гарь толковъ и споровъ. Теперь же положеніе дѣла въ десять разъ хуже. Если имена Островскаго и Бѣлинскаго, случайно приходя на умъ, вызываютъ лишь высокомерное пренебреженіе, то кто же вспомнить объ ихъ цѣнителяхъ и критикахъ? Бѣдная литература, бѣдная критика!

Наконецъ, насъ смущаетъ еще одно обстоятельство весьма яркаго свойства. Г. Чернышевскій считается у насъ писателемъ вреднымъ и сочиненія его нелѣпыми фантазіями. Другое дѣло — Бѣлинскій. Слава его, какъ знатока и вѣрнаго цѣнителя произведеній нашей литературы, имѣетъ у насъ большую прочность и большое распространеніе; кстати, въ нынѣшнемъ году печатается третье изданіе полного собранія его сочиненій. Безъ сомнѣнія, эти сочиненія составляютъ настольную книгу каждаго учителя русской словесности въ каждой русской гимназіи. Спрашивается теперь, какъ переварить въ своей головѣ такой учитель или его питомецъ сопоставленіе Бѣлинскаго съ г. Чернышевскимъ? Какой смыслъ онъ можетъ найти въ этомъ сопоставленіи и какъ выйдетъ изъ путаницы понятій, которая въ немъ неминуемо возбудится? Если онъ повѣритъ «Москвѣ», то онъ долженъ будетъ думать, что Бѣлинскій если не столь же вреденъ, то по крайней мѣрѣ столь же неоснователенъ, какъ г. Чернышевскій. А гдѣ же основанія? Куда онъ обратится для того, чтобы съ сознаніемъ дѣла отречься отъ своего прежняго руководителя и замѣнить его указанія новыми? Гдѣ онъ найдетъ книги и статьи, которыя бы замѣнили ему двѣнадцать томовъ ясной, отчетливой рѣчи Бѣлинскаго?

Мы не имѣемъ здѣсь въ виду заступаться за Бѣлинскаго и выставить его заслуги; мы завели рѣчь о немъ для того только, чтобы выяснить слѣдующій фактъ: существуютъ у насъ люди, пожалуй, цѣлая партія мыслящихъ людей, для которыхъ сочиненія прославленнаго Бѣлинскаго суть не что иное, какъ *недоваренные обглодки чужихъ мыслей*. Въ этомъ, конечно, нѣтъ ничего прискорбнаго. Даже пріятно вообразить, что есть у насъ люди, имѣющіе право на подобное высокомеріе, что есть такіе взгляды на русскую литературу, которые своею глубиною, жизненностью и цѣльностью совершенно затмѣваютъ взгляды Бѣлинскаго. Понятно, что такіе

люди должны враждебно относиться къ авторитету Бѣлинскаго, считать его славу за фальшивое явленіе, которое должно современемъ пасть и развѣяться. Но вотъ что непонятно и прискорбно: почему же не пишутъ эти люди? Не составляетъ ли это прямого ихъ долга, не лежитъ ли это на ихъ отвѣтственности? Слава Бѣлинскаго растетъ и укрѣпляется; изданіе слѣдуетъ за изданіемъ, а враждебная партія молчитъ. Нѣтъ въ нашей литературѣ ни изложенія взглядовъ этой партіи на литературу, ни ея суда надъ Бѣлинскимъ, такого суда, который бы основательно и отчетливо опредѣлялъ значеніе знаменитаго критика и не давалъ бы увлекаться его, по мнѣнію партіи, неосновательными сочиненіями.

Только иногда, когда случайно приведетъ ихъ къ тому теченіе рѣчи, люди, враждебно относящіеся къ славі Бѣлинскаго, дѣлаютъ о немъ пренебрежительный отзывъ, до такой степени пренебрежительный, какъ-будто больше говорить о немъ они почитаютъ даже ниже своего достоинства. Точно они только нарочно дразнятъ его почитателей, только желаютъ вызвать въ нихъ недоумѣніе и негодованіе...

И вотъ въ какомъ положеніи дѣло относительно такой огромной знаменитости, какъ Бѣлинскій, относительно человека, памяти котораго нашъ первый современный писатель г. Тургеневъ посвятилъ своихъ *Отцовъ и Дѣтей*, подобно тому, какъ нѣкогда *Бориса Годунова* Пушкинъ посвящалъ *драгоценной для Россіянъ* памяти Карамзина...

Какъ тутъ не скажешь: бѣдная литература! бѣдная критика! *).

*) Кстати, объ изданіяхъ сочиненій Бѣлинскаго: обращаемъ вниманіе почтенныхъ издателей на то, что эти изданія все больше и больше переполняются опечатками самыми грубыми и досадными, а именно—искажающими не одни слова, но и смыслъ рѣчи. Положимъ, что это *недоваренные объѣдки чужихъ мыслей*, но такъ какъ наша литература еще не переварила ихъ, то желательно было бы читать ихъ, не спотыкаясь на каждой страницѣ и не разыскивая того, гдѣ наборщику угодно было пропустить частицу *не* и тѣмъ дать рѣчи обратный смыслъ, и дѣйствительно ли онъ вмѣсто слова *ручаться* поставилъ болѣе модный глаголъ *ругаться*. Изданія Бѣлинскаго представляютъ одно изъ самыхъ плачевныхъ доказательствъ того, что *перепечатки постепенно искажаютъ текстъ* и что, слѣдовательно, гуттенбергово изобрѣтеніе еще не осво-

2. О произведеніяхъ, «недостойныхъ» хорошей литературы.

Бѣдна наша литература, но какого рода эта бѣдность? Бѣдность ли это старика, котораго всѣ труды были безплодны, или бѣдность юноши, еще мало успѣвшаго испробовать свои силы? Бѣдность ли это внутренняя, то есть скудость духовнаго содержанія, которая можетъ сочетаться съ довольно блестящимъ внѣшнимъ обиліемъ, или же это бѣдность внѣшняя, подъ которой скрываются богатые и глубокіе задатки?

Каждый согласится, что на сколько легко указывать *вообще* на бѣдность нашей литературы, на столько трудно характеризовать эту бѣдность *въ частности*, опредѣлить ея дѣйствительныя черты, настоящее положеніе дѣла. Бѣлинскій, который знаменитъ тѣмъ, что лишилъ нашу литературу многихъ *мнимыхъ* богатствъ и, въ силу своего удивительнаго эстетическаго пониманія, строго опредѣлилъ ея дѣйствительныя богатства, часто указывалъ на особенности этихъ немногихъ сокровищъ. Онъ говорилъ, напримѣръ, что мы гораздо богаче крупными талантами, чѣмъ второстепенными, которые могли бы, повидимому, являться чаще первыхъ, что у насъ много является писателей, подающихъ надежды, но рѣдко эти надежды сбываются, что самыя большіе наши дѣятели, по какой-то таинственной судьбѣ, рано умираютъ, чему доказательство—Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, что, наконецъ, наша литература развивается необыкновенно быстро, что въ какія-нибудь десять лѣтъ вкусы и требованія читателей успѣваютъ совершенно измѣниться. Все это совершенно вѣрно; и каждая изъ этихъ чертъ имѣетъ глубокій смыслъ, представляетъ указаніе на существенныя особенности нашего литературнаго развитія. Ясно, что это развитіе имѣетъ нѣкоторый судорожный, неправильный, какъ бы чѣмъ-то подавленный и однако неудержимо рвущійся ходъ; это—литература, почему-то не могущая ни на чемъ остановиться, не дающая зрѣть своимъ талантамъ, не успѣвающая крѣпнуть и разви-

бождаетъ печатающихъ отъ необходимости слѣдить за смысломъ печатаемаго и вполне понимать его. Н. Ст—въ.

Особая статья Н. Н. Страхова о Бѣлинскомъ находится въ 3-ей кн. „Борьбы съ Западомъ“ подъ заглавіемъ—„Замѣтки о Бѣлинскомъ“ (изд. 2-е, стр. 275). Изд.

ваться въ опредѣленныхъ формахъ. Только сильные таланты, крѣпкіе сами собою, успѣваютъ дѣлать свое дѣло въ такой литературѣ; мелкіе она сбиваетъ съ толку, ибо не даетъ образоваться никакой рутинѣ и быстро доходитъ до конца всякій разъ проторенной дороги.

Итакъ, эта бѣдность есть бѣдность совершенно особенная, своеобразная. Разсматривая ея черты, можетъ быть, можно открыть весьма серьезныя основанія для надеждъ на будущее. Если мы, напримѣръ, убѣдимся, что та безостановочность и быстрота развитія, о которой такъ часто говорилъ Бѣлинскій, имѣетъ мѣсто и до сихъ поръ, то уже это одно будетъ свидѣтельствомъ сильной живучести нашей литературы. Если мы взвѣсимъ всѣ препятствія, которыя эта литература встрѣчала въ своемъ развитіи, то, можетъ быть, найдемъ, что она не мало и сдѣлала. Можетъ быть, окажется, что удивительнымъ образомъ въ этой литературѣ сказалась душевная мощь великаго народа, того народа, который Европа до сихъ поръ считаетъ варварами и который въ лицѣ своихъ образованныхъ представителей самъ впадаетъ иногда въ сомнѣніе и сокрушеніе относительно своихъ духовныхъ силъ.

Собственно говоря, вотъ полный объемъ задачи для того, кто заговорилъ о нашей духовной бѣдности. Если мы дѣйствительно великій народъ, если таковы наши надежды и притязанія, то наша литература должна представлять задатки великой литературы. Такъ или иначе, въ ней должны найтись черты той силы, которую мы за собою признаемъ, должны открываться широкія и могучія стремленія, достойныя великаго народа. Открыть и уяснить эти задатки и стремленія—вотъ задача, хотя, можетъ быть, и весьма трудная, но *настоящая* задача для того, кто хотѣлъ бы вполне объяснить намъ нашу бѣдность.

Каждая вещь должна быть судима на основаніи ея самой. Ничего нельзя понять ни въ какомъ дѣлѣ, если мы будемъ становиться на чуждыя ему точки зрѣнія, если будемъ прикидывать къ нему чуждыя ему мѣрки. Бѣлинскій потому и вѣренъ во многихъ своихъ сужденіяхъ, потому и приобрѣлъ свою славу, имѣлъ сильное вліяніе и многое сдѣлалъ, что онъ—несчастный!—сливался душой съ этою бѣдною литера-

турую, жить ея скудною жизнью, принималъ ея дѣла въ сурьезъ самый сурьезнѣйшій. Но только такъ и можно исполнѣть вѣрно литературныя стремленія. Не будемъ брезгать ими и смотрѣть на нихъ свысока; только тогда мы поймемъ ихъ настоящее значеніе. Литература есть дѣло органическое; ея недостатки тѣсно граничатъ съ ея достоинствами, и тамъ, гдѣ высокоумный взглядъ видитъ лишь больное мѣсто, въ дѣйствительности, можетъ быть, окажется здоровое и глубокое усиліе организма избавиться отъ худосочія.

Такъ на сей разъ случилось съ «Москвою». Какъ на какое-то темное пятно въ нашей литературѣ, она указываетъ на драмы *самого* (ея слово) Островскаго. Эти драмы, какъ извѣстно, составляютъ самую значительную и, пропорціонально объему, самую лучшую часть нашего репертуара; имъ, главнымъ образомъ, пробавляются наши столичныя и провинціальныя театры. Но что же это за богатство? Что въ нихъ хорошаго? По словамъ «Москвы», это не болѣе, какъ «попытки дагеротипировать *уродства быта и рѣчи* и возвести карикатуру въ перлъ созданія».

Упрекъ, повидимому, мѣткій. Въ самомъ дѣлѣ, вообще говоря, нельзя не согласиться съ Добролюбовымъ, что міръ драмъ г. Островскаго есть *темное царство*, царство, изобилующее *уродствами быта и рѣчи*. Нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что не думалъ г. Островскій обличать это царство, какъ полагалъ Добролюбовъ, а именно хотѣлъ нѣкоторымъ образомъ возвести его въ перлъ созданія. По выраженію Ап. Григорьева, это былъ *культъ* изображаемаго быта, попытка схватить всѣ его живые и поэтическіе моменты.

Многимъ это не нравилось. Обыкновенный, ходячій упрекъ г. Островскому заключается въ низменности изображаемаго имъ быта. Все купцы, да купцы!.. И вотъ этотъ давнишній упрекъ, какъ нарочно, повторяется при такихъ обстоятельствахъ, которыя, казалось бы, должны были очень поразить упрекающихъ и подсказать имъ болѣе правильное пониманіе дѣла.

Кому неизвѣстно, что г. Островскій съ нѣкотораго времени измѣнилъ свою дѣятельность? Онъ какъ-будто послушался своихъ всегдашнихъ корителѣй. Онъ бросилъ презрѣнную

прозу и писать стихами; онъ покинулъ своихъ купцовъ и выводитъ намъ на сцену дворянъ, бояръ, воеводъ, царей; онъ уже не изображаетъ намъ семейныхъ драмъ темнаго царства, а представляетъ историческія событія, государственные перевороты.

Что же, лучше вышло? Обогадилась русская литература? Увы! «Москва» говоритъ такъ, какъ-будто этихъ стихотворныхъ драмъ, изображающихъ высокія лица и дѣянія, вовсе не существуетъ на свѣтѣ; «Москва» помнитъ только бытовые драмы, возводящія въ перлъ созданія уродства быта и рѣчи. И это совершенно справедливо; именно этими драмами былъ и будетъ извѣстенъ г. Островскій; именно онѣ составляютъ его главную и неотъемлемую заслугу. А изъ этого слѣдуетъ, что не даромъ онъ прежде такъ упорно держался этой области, не даромъ избралъ ее и въ ней работалъ. Это было правильное, правдивое, а потому и плодотворное приложеніе его таланта.

Для ясности припомнимъ нѣкоторые аналогическіе факты изъ исторіи нашей литературы—ибо, вѣдь, наша бѣдная литература уже имѣетъ свою исторію, и притомъ весьма поучительную, хотя и мало извѣстную и мало понимаемую. Когда Пушкинъ издалъ «Повѣсти Бѣлкина», то ему дѣлали упрёки, совершенно подобные упрёкамъ, дѣлаемымъ г. Островскому за бытовые драмы. Юный тогда Бѣлинскій приходилъ въ отчаяніе. «Вотъ передо мною лежатъ, пишетъ онъ, *Повѣсти, изданныя Пушкинымъ*: неужели Пушкинымъ же и написанныя? Пушкинымъ, творцомъ «Кавказскаго Плѣнника», «Бахчисарайскаго фонтана», «Цыганъ», «Полтавы», «Онѣгина» и «Бориса Годунова»? Правда, эти повѣсти занимательны, ихъ нельзя читать безъ удовольствія; это происходитъ отъ прелестнаго слога, отъ искусства рассказывать; но онѣ не художественныя созданія, а просто *сказки и побасенки*». «Словомъ,—прибавляетъ опечаленный критикъ,—

...Прозаическія бредня,
Фламандской школы пестрый соръ!»

«Изъ повѣстей, собственно только первая—*Выстрѣлъ* достойна имени Пушкина» (Соч. Бѣлинскаго, т. I, стр. 323).

Итакъ, эти повѣсти признаны *недостойными* имени Пушкина, и ясно изъ-за чего: изъ-за низменности лицъ и событий, ими изображаемыхъ, изъ-за того, что критикъ видитъ въ нихъ фламандской школы *пестрый соръ*. Такъ точно г. Островскому говорятъ въ наши дни, что сочиненія его недостойны русской литературы, недостойны именно по причинѣ *быта*, имъ изображаемаго.

Извѣстна затѣмъ исторія съ Гоголемъ. Даже мало свѣдущимъ въ нашей словесности, конечно, памятны упреки, которые дѣлались Гоголю за сальность его изображеній, за то, что въ его произведеніяхъ нѣтъ лицъ добродѣтельныхъ и свѣтлыхъ, а одни только подлецы и дураки. Но тутъ сила того таинственнаго процесса, который порождаетъ у насъ произведенія, повидимому, недостойныя великой литературы, обнаружилась гораздо яснѣе. Извѣстно, что Гоголь самъ пытался покинуть ту низменную сферу явленій, которая выпала на долю его таланта, пытался подняться въ болѣе высокія области и изобразить намъ людей добродѣтельныхъ и свѣтлыхъ, представителей «несмѣтнаго богатства русскаго духа». Попытка эта должна была совершиться во второй части «Мертвыхъ Душъ». Извѣстно далѣе, что Гоголь не совладалъ съ этою попыткою и умеръ въ то самое время, когда она лежала на его душѣ, такъ что неудача въ его усиліяхъ въ той или другой степени, очевидно, содѣйствовала его смерти.

Тайну своей борьбы и своей неудачи Гоголь хотѣлъ унести съ собою въ могилу, и потому сжегъ уже вполнѣ готовую рукопись второй части своей поэмы. По счастью, сохранился однако же списокъ нѣкоторыхъ главъ, и онѣ были напечатаны, хотя уже нѣсколько лѣтъ послѣ смерти автора. Поученіе, которое можно извлечь изъ этихъ отрывковъ и вообще изъ всей этой грустной исторіи, казалось бы, не должно быть забыто. Мы попробуемъ изложить его по указаніямъ г. Писемскаго, который, будучи самъ одаренъ художественнымъ дарованіемъ, былъ, такъ сказать, кровно заинтересованъ въ дѣлѣ. Когда вышли отрывки второй части «Мертвыхъ Душъ», онъ написалъ критическую статью (1855), въ которой объяснилъ, въ чемъ состоялъ грѣхъ Гоголя. Грѣхъ былъ въ томъ, что, обладая способностію юмора, Гоголь «не оперся

исключительно на нее въ своихъ созданіяхъ», что онъ «какъ бы испугавшись *будто-бы* бессмысленно-грязнаго и исключительнаго соціально-сатирическаго значенія своихъ прежнихъ твореній, и снѣдаемый желаніемъ непремѣнно сыскать и представить идеалы, обрекъ себя на трудъ упорный, *насильственный*»; что онъ принялся за созданіе лицъ, которыя «въ его средствъ».

Эта измѣна своему таланту была глубоко противна художественному чутью г. Писемскаго. Выписавъ страницу, на которой изображается «чудная славянская дѣва», Улинька, дочь генерала Бетрищева, онъ весьма справедливо говоритъ:

«Описаніе это, по моему мнѣнію, ниже самыхъ напыщенныхъ описаній великосвѣтскихъ героинь Марлинскаго, потому что тамъ, по крайней мѣрѣ, видно болѣе знанія дѣла и, наконецъ, положено много остроумія. Тонъ рѣчи этой восемнадцатилѣтней дѣвушки превосходитъ фальшивостію самое описаніе».

Статья заключается правоученіемъ, которое вполне вытекаетъ изъ басни и которое

Не худо завсегда бы помнить.

«Въ заключеніе, говоритъ г. Писемскій, могу пожелать всѣмъ намъ, писателямъ настоящаго времени, призваннымъ проводить животворное начало Гоголя, или внести въ литературу свое новое, — одного: чтобы, имѣя въ виду ошибки великаго мастера, каждый шелъ по избранному пути, не насилуя себя, а оставаясь къ себѣ строгимъ въ эстетическомъ отношеніи, говорилъ, сообразуясь съ средствами своего таланта, публикѣ *правду*» (Соч. Писемскаго, т. II, стр. 273).

Правда, чистая, строгая правда—вотъ требованіе, которое въ лицѣ г. Писемскаго высказало русское словесное искусство. И кто знаетъ нашу литературу, тотъ не можетъ сомнѣваться, что это же требованіе обращаетъ къ себѣ каждый русскій художникъ. Припомнимъ здѣсь кстати еще словцо того же писателя, которому, по нѣкоторой особенности его таланта, пришлось высказать нѣсколько откровенностей, можетъ быть, грубыхъ, но искреннихъ и значительныхъ. Г. Писемскій вывелъ себя самого на сцену въ романѣ «Взбаламученное Море».

Онъ рассказываетъ, какъ онъ читалъ свою повѣсть «Старческій грѣхъ», и заставляетъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ, нѣ котораго умнаго и многоопытнаго старца, произнести такой приговоръ его таланту, что путь, котораго онъ, г. Писемскій, держится, есть единственный *честный* путь.

Великъ здѣсь порывъ авторскаго самолюбія, но его не только можно извинить, а можно найти достойнымъ всякаго уваженія, если мы поймемъ, на какомъ поприщѣ это самолюбіе состязается съ другими. Въ чемъ наши художественные писатели стремятся превзойти одинъ другого? Въ *честности* отношенія къ дѣлу, въ неподкупной правдивости, въ строгости къ самому себѣ, въ точномъ сообразованіи своихъ усилій со средствами своего таланта.

Такова наша бѣдная литература! Невозможно не замѣтить того тяжкаго и упорнаго труда, который она на себѣ несетъ. Русскіе художники признаютъ для себя требованія непомерно высокія; они работаютъ, исполненные какой-то религіозной боязни отступить отъ правды; они не смѣютъ прибѣгнуть ни къ единому рутинному приему, ни къ малѣйшему облегченію своего труда посредствомъ готовыхъ, привычныхъ формъ. Въ этомъ смыслѣ мы можемъ выставить нѣкоторые произведенія нашей литературы на образецъ всему міру. Можно поравняться съ ними въ правдивости, но превзойти ихъ невозможно.

Если же такъ, то изъ этого мы можемъ понять, что значить для нашего художника выборъ предметовъ, которые онъ возводитъ въ перлъ созданія. Не по произволу совершается такой выборъ; онъ совершается *честно*. Поэтому нужно ставить за славу писателю, если онъ строго держится границъ своего таланта; напротивъ, горе тому, кто ихъ покидаетъ!

А отсюда слѣдуетъ, напримѣръ, что нельзя упрекать г. Островскаго за бытъ, который онъ воспроизвелъ въ своихъ драмахъ: если вы ихъ признаете въ извѣстной мѣрѣ художественными произведеніями, то должны вмѣстѣ признать за заслугу г. Островскаго то, что онъ держался именно этого быта, а не какого другого. Онъ честно служилъ дѣлу и, слѣдовательно, ни въ какомъ случаѣ не можетъ подпасть презрительному отзыву.

Но отчего же, спросить читатель, наши правдивые писатели избираютъ все такіе низменные предметы? Отчего они не подарятъ намъ возвышеннаго, величаваго? «Зачѣмъ же,—какъ уныло говорилъ самъ Гоголь,—изображать бѣдность да бѣдность, да несовершенство нашей жизни?» Когда же, наконецъ, предстанетъ передъ нами «несмѣтное богатство русскаго духа»? Скоро ли?

Предметъ такъ высокъ, что жутко становится говорить о немъ. Надо такъ полагать, что придется намъ еще подождать порядкомъ. Гоголь обѣщалъ скоро, «еще въ сей же поэмѣ», то есть въ «Мертвыхъ Душахъ». Но онъ не сдержалъ обѣщанія, а намъ теперь даже странно, что онъ его сдѣлалъ.

Все это весьма достойно вниманія. Была, значить, въ нашей литературѣ минута такого возбужденія и напряженія, когда поэтъ горячо вѣровалъ въ несмѣтное богатство русскаго духа, когда онъ считалъ себя на столько прозрѣвающимъ въ это богатство, что смѣло обѣщалъ поставить его передъ глазами читателя. Это обѣщаніе какъ-будто сдѣлала намъ сама русская литература въ лицѣ одного изъ своихъ великихъ представителей. По всему этому нужно полагать, что она его сдержитъ.

Но мы ясно теперь видимъ, что Гоголь самъ не могъ сдержать этого обѣщанія. Не таковы были его силы и главное не таковъ былъ неизбежный, неотвратимый поворотъ, который совершался въ нашей литературѣ. Въ самомъ поэтѣ это, очевидно, былъ порывъ назадъ, къ Пушкину. Его Ульяна задумана по Татьянѣ. Но идти назадъ, идти противъ развитія невозможно.

Теперь, послѣ всего того, что сдѣлано въ нашей литературѣ, обѣщаніе Гоголя звучитъ какой-то дерзкой, такъ сказать, героической наивностію. Теперь, когда мы такъ глубоко переболѣли всякими муками анализа и жадной правды, насъ мудрено было бы обмануть такимъ обѣщаніемъ.

Мы вѣримъ въ «несмѣтное богатство русскаго духа», но потому самому считаемъ болѣе приличнымъ не торопиться этимъ дѣломъ и не сокрушаться заранѣе. Ждали долго, пождемъ и еще. Дѣло, какъ видно, не шуточное и не маленькое, коли сразу не дается. Если это—«несмѣтное богатство»,

то пусть оно и будет несмѣтнымъ, неисчерпаемымъ, а не такимъ, которое легко было бы представить «въ сей же поэмѣ». Будемъ вѣрить, а до тѣхъ поръ постараемся только не обманывать себя мнимыми богатствами, постараемся честно и строго смотрѣть на свое дѣло.

Ядовитый процессъ этого неудовлетворенія и стремленія, который переживаетъ наша литература, начался, какъ мы замѣтили, въ Пушкинѣ, въ кульминаціонной точкѣ нашего литературнаго развитія. Онъ первый оставилъ возвышенныя сферы, которыя, повидимому, были ему сроднѣе, чѣмъ кому-либо, первый принялся за жанръ, за пестрый соръ фламандской школы, или, по его выраженію, *подмѣшалъ воды* въ свой поэтический бокалъ. Въ величайшемъ нашемъ писателѣ сказалась вдругъ потребность какого-то отрезвленія, и съ тѣхъ поръ она царитъ въ нашей литературѣ. Изъ нея нужно объяснять явленія этой литературы. Изъ нея объясняется прозаически-ноушій стихъ Некрасова, напряженный анализъ гр. Л. Толстаго, симпатія къ слабымъ натурамъ Ф. Достоевскаго, постоянная несостоятельность героевъ Тургенева, обнаженный реализмъ Писемскаго; изъ нея же слѣдуетъ объяснять поэтическое воспроизведеніе извѣстнаго быта въ драмахъ Островскаго.

Въ своемъ стремленіи къ трезвости и правдивости, наша литература доходитъ иногда до цинизма, до признанія законными и достойными сочувствія явленій, которыя въ сущности незаконны и недостойны никакого сочувствія; доходитъ она и до тупости, до непониманія и отрицанія идеаловъ; но не нужно забывать, что это частности и промахи, и упускать изъ виду существенный источникъ дѣла.

И трудно же было нашимъ поэтамъ, постигавшимъ, какъ далеко они стоятъ отъ несмѣтнаго богатства русскаго духа! Уже Гоголь говорилъ, что «много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія». Въ послѣдовавшихъ за нимъ писателяхъ можно встрѣтить истинныя чудеса добросовѣстности въ работѣ. Стать въ самое правильное, самое простое отношеніе къ жизни, ничѣмъ не затемненное и не искаженное—вотъ цѣль, которую всѣ имѣли въ виду. Поэтому, нельзя не

видѣть, что эти писатели сдѣлали дѣйствительныя поправки того отношенія къ дѣйствительности, которое господствовало у Гоголя. Напримѣръ, отношеніе г. Островскаго къ изображенному имъ быту несравненно *вѣрнѣе*, чѣмъ отношеніе Гоголя.

И вотъ почему бытовыя драмы г. Островскаго принадлежатъ къ настоящимъ богатствамъ нашей литературы; онѣ составляютъ произведеніе той глубокой и трезвой струи, которая ведетъ начало своего теченія отъ Пушкина; въ этомъ смыслѣ онѣ суть яркое свидѣтельство живучести нашей литературы.

Бѣдная литература! Она похожа на человѣка, который принялся за свой трудъ весело и бодро, который усердно работалъ и уже льстился надеждой, что онъ что-то сдѣлалъ, что близокъ конецъ задачи; помните:

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный...

Вдругъ въ работѣ встрѣчается затрудненіе, которое сначала кажется незначительнымъ и легко побѣдимымъ; но чѣмъ дальше идетъ работа, тѣмъ больше становится и затрудненіе; задача начинаетъ расти и развертываться все шире и шире; и чѣмъ упорнѣе работаетъ нашъ труженикъ, тѣмъ яснѣе только для него становится огромное разстояніе, отдѣляющее его отъ желанной цѣли.

Наша новая литература началась съ первой оды Ломоносова, съ этого великолѣпнаго стиха:

Восторгъ внезапный умъ плѣнилъ,

а кончается она пока, кажется, выраженіемъ Тургенева: *все русское — дымъ*. Мы начали съ восторга и приходимъ все къ большому и большому унынію.

Ясно одно: все это признаки жизни, жизни неутомимой, неостанавливающейся. Не будетъ ли современемъ намъ ясно и то, что это признаки *великой* жизни?

3. Современная бѣдность.

Быстро развивается наша бѣдная литература, и это, можетъ быть, никогда не было такъ замѣтно, какъ въ настоящую минуту *).

Какъ? скажутъ намъ, теперь-то? У насъ настало какое-то затишье, какой-то сонъ царитъ повсюду; холодъ, скука, тоска—а вы говорите, литература развивается!

Развивается, повторимъ мы, и въ томъ, что вы называете затишьемъ, мы именно и видимъ признакъ развитія. Разберемъ сперва хорошенько дѣло. Что это за затишье, на которое всѣ жалуются? Если взглянуть на дѣло со стороны, то, повидимому, окажется, что мы не имѣемъ никакого права жаловаться. Газетное дѣло у насъ стоитъ такъ высоко, какъ никогда не стояло; журналовъ у насъ стало больше прежняго; книги оригинальныя и переводныя продолжаютъ выходить во множествѣ, одна другой важнѣе, одна другой серьезнѣе. Изъ своихъ назовемъ для примѣра книгу г. Б. Чичерина «О народномъ представительствѣ»; какого вы хотите предмета важнѣе и любопытнѣе? Изъ переводовъ уважемъ, на примѣръ, на недавно явившуюся «Критику Чистаго Разума» Канта; чего еще серьезнѣе и глубже? Этого еще никогда и не бывало въ русской литературѣ. Навѣрное лѣтъ 60, а вѣроятно и болѣе, эта критика считается у насъ величайшимъ произведеніемъ ума человѣческаго; но въ теченіе всего этого времени ни разу наша литература не была въ такомъ серьезномъ настроеніи, никогда переводчики или издатели не считали нашихъ читателей такъ глубоко заинтересованными философіею, чтобы рѣшиться усвоить отечественной словесности это знаменитое твореніе, основной камень всей германской мудрости.

А журналы? Съ прошлаго года выходятъ: «Вѣстникъ Европы», «Дѣло», «Женскій Вѣстникъ», «Записки для Чтенія»; съ начала нынѣшняго стали выходить: «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія» (по новой программѣ, весьма расширенной), «Всемирный Трудъ», «Литературная Библіотека». Неужели мало?

*) Писано въ 1867 г.

Сообразно съ этимъ, увеличивается и число пишущихъ; вѣдь, не одинъ только г. *В. П. Авенаріусъ* составляетъ новость въ нашей литературѣ; появились также г-да: *Данкевичъ, Н. Куртеевъ, Е. Бутковский, Н. Смирновъ, Демидовъ, Н. Хохловъ, А. Боровиковскій, Н. Ѳ. Бажинъ, Н. Свѣденцовъ, Г. Вилламовъ*, и проч. и проч., не говоря уже о тѣхъ, которые, какъ г-да А. М., Н. П., М. М-нъ, Г-й, П. К. и т. д. изъ скромности не подписали своего полного имени. Мы ограничиваемся при этомъ одною изящною словесностью, не упоминая о новыхъ критикахъ, публицистахъ, фельетонистахъ и проч.

Прежніе писатели тоже продолжаютъ дѣйствовать, иные даже усерднѣе и удачнѣе прежняго; давно ли мы читали новыя произведенія гг. Тургенева, Островскаго, гр. Л. Н. Толстаго, Писемскаго? *).

Словомъ, съ каждымъ днемъ литература расширяется и обогащается. На слѣдующій годъ у насъ будетъ, по крайней мѣрѣ, еще одинъ новый ежемѣсячный журналъ. «Вѣстникъ Европы», журналъ историко-политическихъ наукъ, объявляетъ (см. сентябрь 1867), что онъ будетъ выходить двѣнадцатью книжками. «Начавъ, говорить онъ, съ опасенія за недостатокъ въ матеріалахъ, мы *весьма скоро* начали *затрудняться ихъ обиліемъ*, и вслѣдствіе того явилась само собою возможность и *даже необходимость*» — увеличить объемъ журнала. Въмѣсто прежнихъ 150 печатныхъ листовъ въ годъ, «Вѣстникъ Европы» обѣщаетъ давать 300 или 350. Онъ будетъ помѣщать произведенія изящной словесности и критическія статьи.

Итакъ, гдѣ же оскудѣніе? гдѣ же затишье? Вообще намъ кажется, что люди, жалующіеся на современное положеніе литературы, едва-ли вполнѣ ясно понимаютъ, на что они собственно жалуются. Очень часто эти жалобы, которыя такъ постоянно раздаются въ *большинствѣ* нашихъ повременныхъ изданій, производили на насъ даже весьма комическое впе-

*) А что сказать теперь, когда литература приобрѣла такое произведеніе, какъ „Война и Миръ“, произведеніе, вдругъ заслонившее и отодвинувшее на задній планъ всѣ другія наши новости и затѣи? Это ли оскудѣніе?

Позднѣйш. примѣч. авт.

чатлѣніе. А именно—литераторы какъ-будто жалуются читателямъ на *самыхъ же себя*. Нѣсколько смѣшно читать, на примѣръ, фельетониста, который жалуется на отсутствіе хорошихъ фельетоновъ, критика, который плачетъ объ упадкѣ критики, публициста, который сокрушается о жалкомъ состояніи нашей публицистики. Толстый журналъ вдругъ даетъ понять, что хорошихъ журналовъ у насъ теперь не существуетъ; газета ядовито намекаетъ, что всѣ газеты нынче изъ рукъ вонъ плохи.

Такъ и хотѣлось бы обратиться ко всѣмъ этимъ печальнымъ и сердитымъ людямъ съ слѣдующею рѣчью: вспомните, пожалуйста, что вы сами писатели, критики, редакторы; въ вашихъ рукахъ есть и газеты, и журналы, и сборники; притомъ всѣхъ васъ множество неисчислимо. Что же мѣшаетъ вамъ? Блистайте, гремите, изумляйте насъ глубиною мыслей и теплотою чувствованій! Вы на примѣръ, г. фельетонистъ, столь гнѣвно и презрительно обозрѣвающій явленія нашей текущей литературы,—что вамъ мѣшаетъ обогатить эту бѣдную литературу рядомъ блестящихъ фельетоновъ, въ которыхъ было бы еще что-нибудь, кромѣ гнѣва и презрѣнія? Вы, г. публицистъ, что вамъ мѣшаетъ обновить нашу публицистику? и т. д. Ваши жалобы или ничего не значатъ, или доказываютъ только одно—ваше собственное безсиліе.

А если такъ, то чѣмъ хуже вы будете себя чувствовать, тѣмъ лучше. Великій прогрессъ, когда люди, воображавшіе себя сильными, начинаютъ наконецъ сознавать, что они обольщали самихъ себя, что сила ихъ была мнимая. Правда всегда плодотворнѣе лжи.

Уже по одному этому можно судить о томъ времени, когда г-да жалующіеся были довольны, когда, по ихъ мнѣнію, литература процвѣтала и мы быстро шли впередъ. Послушать иныхъ—такъ недавно у насъ былъ золотой вѣкъ журналистики, было сильнѣйшее умственное движеніе, блистательное развитіе. Справедливо ли это? Дѣйствительно ли за нами славное прошедшее, обильное знаменитыми дѣлами? Если мы теперь бѣдны, то не были ли мы еще недавно очень богаты? Увы! мы думаемъ, что едва-ли возможно питать такіе розовые взгляды на нашу литературу.

Будущій историкъ... удивительно пріятно иногда предполагать, что у насъ будутъ историки — да еще какіе! внимательные, добросовѣстные, проникательные; но читатель долженъ твердо помнить, что это одно предположеніе, которое можетъ и не исполниться; не нужно обольщать себя надеждами; весьма можетъ быть, что мы останемся и безъ историковъ, и что всѣ дѣла наши такъ и останутся нераспутанными и покрытыми мракомъ... Итакъ, будущій историкъ нашей литературы, сравнивая книжки золотого вѣка нашей журналистики съ иными изъ тѣхъ журнальныхъ книжекъ, которыя выходятъ теперь, едва-ли въ силахъ будетъ найти какую-нибудь разницу между ними. Въ томъ и въ другомъ періодѣ онъ найдетъ одинаковую степень учености, одинаковые взгляды, одинаковые художественные приемы; во многихъ случаяхъ даже пишутъ одни и тѣ же лица. Для него, для будущаго историка, весьма трудно будетъ рѣшить, почему же книжка временъ процвѣтанія была встрѣчаема съ восторгомъ и читалась съ жадностію, а совершенно подобная книжка временъ упадка не вызывала ни малѣйшаго вниманія? Судя по внутреннему достоинству этихъ писаній, онъ, пожалуй, найдетъ, что послѣднее отношеніе, то есть холодность и невниманіе — гораздо правильнѣе, чѣмъ странный восторгъ, съ которымъ мы бросались когда-то на эти пустяки. Это такъ вѣрно, что для подтвержденія не нужно ссылаться и на будущаго историка, какъ это мы сдѣлали для выпуклости дѣла. У насъ есть не одни предположенія, а и факты, подтверждающіе нашъ взглядъ. Именно среди самаго разгара *процвѣтанія* журналистики у насъ были люди, до того хладнокровные и скептическіе, что они не видѣли въ этомъ процвѣтаніи никакихъ дѣйствительныхъ успѣховъ, и столь же мало находили хорошаго въ тогдашнихъ книжкахъ, какъ и въ нынѣшнихъ. Такіе люди не находятъ, чтобы журналистика наша упала; напротивъ, въ настоящее время чуть ли они не встрѣчаютъ больше пищи для своего ума, чѣмъ прежде.

Итакъ, подлежитъ весьма большому сомнѣнію то, что наша литература прошла нѣкоторый блестящій періодъ, что мы недавно были богаты движеніемъ и развитіемъ. Если бы было такъ, то у насъ, казалось бы, должны быть въ рукахъ

ясные цвѣты и плоды этого развитія, а ихъ-то мы и не находимъ.

Презагадочное дѣло — эта русская литература; иногда весьма трудно сказать, что такое въ ней дѣлается. Въмѣсто дѣйствительныхъ явленій, передъ нами возникаютъ какіе-то миражи. Совершается какая-то странная, воздушная исторія, напоминающая рассказы о томъ, какъ передъ дѣйствительнымъ сраженіемъ являются въ воздухѣ воины и сражаются между собою. Помните ли вы, какъ происходило это горячее движеніе, непрерывно разраставшееся и усиливавшееся? Выступали люди, до тѣхъ поръ неизвѣстные; одни смѣняли другихъ; возгарались какія-то распри и торжествовались какія-то побѣды; была увлекательная радость съ одной стороны и страхъ съ другой; совершались какіе-то перевороты, переломы; раздавались крики восторга и злобныя ругательства; словомъ, все движеніе имѣло видъ самой живой и яркой дѣйствительности. Казалось, что передъ нами совершается не воздушная, а настоящая исторія.

И что же? Всѣ помнить, какъ все это вдругъ рухнуло, осыло и исчезло. Дунулъ вѣтеръ, и фата-моргана, въ которой намъ видѣлись города, башни, битвы и кораблекрушенія, — пропала. Собственно говоря, къ этимъ явленіямъ должны быть отнесены горестныя слова г. Тургенева: «все русское — дымъ!»

До сихъ поръ, однакоже, многіе остаются обманутыми, и считаютъ это прошлое чѣмъ-то дѣйствительнымъ. По неизбежному закону, всякая литературная эпоха, имѣвшая жаркихъ поклонниковъ, оставляетъ послѣ себя много людей, которые нелегко расстаются съ своими милыми преданіями, и потому становятся часто ожесточенными старовѣрами, живущими прошлымъ и слѣпыми для настоящаго. Еще и до сихъ поръ встрѣчаются старички, которые вздыхаютъ о временахъ Булгарина. Что же мудренаго, что недавнее время процвѣтанія имѣетъ тоже своихъ вздыхателей. Какое, говорятъ они, было тогда движеніе въ литературѣ! Какія появлялись статьи, возбуждавшія всеобщее вниманіе! Какія критики! Какія повѣсти!

Между тѣмъ, если мы потребуемъ болѣе подробнаго отчета у этихъ поклонниковъ прошлаго, если сами попробуемъ хо-

рошенъко вглядѣться въ это движеніе, то окажется, что очень трудно уловить его хорошія и плодотворныя стороны. Напротивъ, прежде всего намъ бросятся въ глаза черты комическія и дикія. Собственно говоря, это было время скандаловъ, время, когда русская литература обнаружила всѣ свои слабыя стороны.

Помните ли вы, читатель, напримѣръ литовскую теорію происхожденія Руси, придуманную г. Костомаровымъ? Какой шумъ и гамъ былъ изъ-за нея поднятъ! Былъ публичный диспутъ съ г. Погодинымъ, написано множество статей, а между тѣмъ въ сущности, то есть въ отношеніи къ наукѣ, вѣдь это было не что иное, какъ скандалъ на поприщѣ русской исторіи. Помните ли вы исторію дамы, читавшей публично «Египетскія ночи» и послѣдовавшій затѣмъ «Безобразный поступокъ Вѣка»? Смѣшно вспомнить эту невѣроятную кутерьму, на которую было потрачено столько чернилъ и бумаги и такъ мало здраваго смысла. Помните ли вы Никиту Безрылова и грязные воротнички? Странно, если забыли, ибо шуму и грому было не мало. А вопросъ о *тупоумныхъ глупцахъ и дрянныхъ пошлякахъ*? Но вы навѣрное помните вопросъ о классическомъ образованіи и исторію ученаго комитета при министерствѣ народнаго просвѣщенія, который въ ожесточенной полемикѣ былъ разбитъ «Московскими Вѣдомостями». Это былъ великій скандалъ, обнаружившій бѣдность нашихъ умственныхъ силъ и отсутствіе всякихъ твердыхъ педагогическихъ понятій, несмотря на то, что со временъ «Вопросовъ жизни» Пирогова у насъ писались по педагогикѣ цѣлые коробки статей. А помните ли вы эти «Вопросы»? Помните ли?..

Но мы никогда не кончили бы. Довольно и этого... Пересматривая это недавнее прошлое, это время оживленія и процвѣтанія, къ величайшему прискорбію убѣждаешься, что весь этотъ шумъ и гамъ остались безплодны, что ничего изъ него не выработалось, не получилось никакихъ прочныхъ и ясныхъ результатовъ. Шумъ, обыкновенно, возбуждался скандалами, которые совершала въ это время русская литература на поприщѣ наукъ, критики, художества, общественной жизни. Скандалы возбуждали противодѣйствіе; но вся эта странная борьба и дѣятельность, какъ-будто въ самомъ корнѣ лишен-

ная живыхъ соковъ, ни къ чему не приводила и ничего не порождала. Какіе вопросы мы рѣшили? Какія прочныя основы положили? Никакихъ.

А между тѣмъ прожито много, и много потрачено силъ. Несерьезное дѣло мы принимали въ сурьезъ и тратили на него свою душу. Такая ужъ увлекающаяся у насъ натура, что мы ничего не умѣемъ дѣлать въ половину, съ осмотрительностію и хладнокровіемъ.

Одинъ изъ остроумнѣйшихъ и глубокомысленнѣйшихъ нашихъ писателей (такіе есть, читатель) сравниваетъ эти явленія не съ дымомъ, какъ г. Тургеневъ, а съ прививною оспою. Онъ утверждаетъ, что мы издавна страдаемъ различными болѣзнями, но болѣзнями, составляющими лишь подобіе настоящихъ, глубокихъ потрясеній организма. Эти прививныя страданія переносятся легко и проходятъ быстро; и будто бы (таково мнѣніе нашего автора) они избавляютъ насъ отъ опасности настоящаго, глубокаго зараженія.

Какъ бы то ни было, мы пережили эпоху какого-то сильнаго и, очевидно, болѣзненнаго возбужденія. Мы и теперь хотимъ жить, но уже не хотѣли бы жить этою лихорадочною, миражною, призрачною жизнію; вотъ источникъ того общаго разочарованія и недовольства, которое чувствуется теперь. Многое намъ опротивѣло навсегда; многое мы испробовали и навсегда отъ него отказались. Мы чувствуемъ, что вернуться назадъ невозможно, и что насъ можетъ удовлетворить теперь только серьезная, трезвая, здравая дѣятельность.

Итакъ, чѣмъ хуже мы себя чувствуемъ, тѣмъ лучше. Чѣмъ меньше мы собою довольны, чѣмъ меньше у насъ задора, чѣмъ меньше мы надмѣваемся надеждой быть руководителями и просвѣтителями, тѣмъ лучше. Вотъ почему мы сказали, что нынѣшнее затишье и тоска въ литературѣ—признаки ея быстраго развитія. Мы идемъ на встрѣчу чему-то новому.

Русская литература есть весьма серьезная литература; это видно въ самыхъ ея безобразіяхъ, явныхъ слѣдствіяхъ слишкомъ серьезнаго отношенія къ дѣлу. Нынѣшнее суровое затишье, полное раздумья и недовѣрія къ себѣ, есть также состояніе серьезное, есть дѣйствительный шагъ впередъ.

4. Общій ходъ нашей литературы*).

Сознаніе вообще возрастаетъ медленно.

Такъ точно и сознаніе нашей бѣдности возросло медленно и выяснилось постепенно. Были времена, когда мы считали себя очень богатыми и хвалились своею литературой; были времена, когда мы кричали: у насъ нѣтъ литературы! Только понемногу мы начинаемъ уразумѣвать, въ чемъ дѣло и каково наше дѣйствительное положеніе.

Мы начали, какъ мы уже замѣтили, съ восторговъ. Наше вступленіе въ среду европейскихъ народовъ, наше присоединеніе къ потоку всемірной исторіи было блистательно и торжественно. Перенесемъ, на примѣръ, въ ту минуту, когда Петромъ была одержана полтавская побѣда; не въ правъ ли онъ былъ радоваться? И вотъ

Въ патрѣ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Этотъ тостъ выражаетъ гордое, радостное самодовольство. Давно ли Петръ сталъ самъ учиться у европейцевъ и заставлять учиться своихъ подданныхъ, и вотъ онъ уже дождался плодовъ своихъ стараній—*ученики побѣдили своихъ учителей!*

Съ тѣхъ поръ, съ этой радостной минуты прошло много времени. Окно, прорубленное въ Европу, въ время стояло настежь; Петербургъ росъ не по днямъ, а по часамъ, и переросъ своимъ многолюдствомъ древнюю, многовѣковую Москву. Прошло сто лѣтъ, и полтораста лѣтъ, и болѣе; все болѣе мы учились усердно, перенимали у европейцевъ все, начиная съ ихъ костюма и кончая ихъ философіей. И до чего же дошли мы? Кто скажетъ въ настоящую минуту, что мы поравнялись съ своими учителями? Кто съ радостнымъ сердцемъ предложить тостъ за нихъ, какъ за себѣ равныхъ?

*) Рядъ статей подъ заглавіемъ—„Ходъ нашей литературы“ см. также во второй книгѣ „Ворьбы съ Западомъ“.

Послѣ столькихъ усилій, больше чѣмъ когда-нибудь мы сознаемъ, какъ мы далеки отъ Европы; болѣе чѣмъ когда-нибудь мы чувствуемъ свое безсиліе сравнительно съ нею, безсиліе и матеріальное, и нравственное, и умственное. Севастопольскій погромъ открылъ намъ глаза въ отношеніи къ нашей внѣшней силѣ; но еще болѣе грустныя открытія сдѣланы нами потомъ въ нашемъ умственномъ и нравственномъ настроеніи.

Гдѣ между нами европейцы? Гдѣ та масса русскихъ людей, которая, издавна находясь въ обученіи у Европы, представила бы намъ дѣятелей, равныхъ своимъ учителямъ и готовыхъ потягаться съ ними? Оказалось, что подобныхъ людей у насъ вовсе не успѣло образоваться. Европейское просвѣщеніе приносить на нашей почвѣ скудные или уродливые плоды, и если мы хранимъ въ себѣ запасъ какой-то таинственной силы, то вовсе не потому, что успѣли стать европейцами.

Что же за причина? Одно изъ двухъ: или мы народъ неспособный, скудно одаренный природою и потому навсегда обреченный на роль учениковъ; или же есть нѣкоторое препятствіе къ нашему обращенію въ европейцевъ, есть внутренняя, глубокая причина, мѣшающая намъ идти по этой дорогѣ, сбивающая насъ съ этого, повидимому, гладкаго и протореннаго пути.

Но мы ли неспособны къ чему-нибудь? Извѣстны мы лѣнностію, извѣстны неустойчивостію и распущенностію; но въ то же время цѣлому свѣту извѣстны мы своими бойкими способностями. Итакъ, есть что-то другое, въ чемъ нужно искать разгадки нашихъ малыхъ успѣховъ. Если въ самой натурѣ, въ задаткахъ нашего нравственнаго бытія есть препятствіе, не дающее намъ покорно и слѣпо подчиняться чуждому вліянію, если мы одарены нѣкоторою нравственною самостоятельностью, крѣпкою, но не ясно сознаваемою, то понятно, что должна возникнуть борьба между стремленіями нашихъ душевныхъ силъ и тѣмъ умственнымъ строемъ, который на нихъ налагается, который ставится для нихъ авторитетомъ и правиломъ. Такимъ образомъ, вмѣсто простой исторіи, по которой намъ слѣдовало послушно принимать европейское про-

свѣщеніе и съ каждымъ годомъ преуспѣвать въ немъ все болѣе и болѣе — получается исторія весьма сложная и темная. Обнаруживается реакція противъ европейскаго просвѣщенія, не въ смыслѣ его отрицанія, а въ томъ смыслѣ, что мы не хотимъ подчиниться ему бездѣтельно, слѣпо, а во что бы то ни стало желаемъ *усвоить* его себѣ, претворить въ свою дѣйствительную духовную собственность. Мы не хотимъ, да и не въ томъ дѣло, что не хотимъ — мы *не можемъ*, просто, слѣдовать по извѣстнымъ путямъ и указаніямъ; это невозможно для народа, который дѣйствительно составляетъ *существо нравственное*. И по чужимъ путямъ мы хотимъ идти, какъ по своимъ собственнымъ, и чужимъ указаніямъ слѣдовать, какъ своимъ собственнымъ мыслямъ.

Такъ это необходимо должно было быть, такъ это и было. У насъ совершалась и совершается темная и таинственная исторія борьбы неясныхъ началъ съ ясными, зачатковъ съ развитыми формами. Смыслъ этой борьбы будетъ намъ вполне ясенъ только тогда, когда она кончится, когда наступитъ примиреніе и въ немъ обнаружится, чего искали, къ чему стремились борющіяся силы.

Но только въ этой борьбѣ нужно искать главнаго нерва нашей умственной и литературной жизни; она придаетъ собою многозначительность явленіямъ нашей литературы и различные ея фазисы опредѣляютъ ея періоды.

Наша литература — новая, разумѣется, начинается самымъ страннымъ образомъ: она начинается торжественною пѣснью — одою, да какою! — ломоносовскою одою.

Всѣмъ намъ извѣстенъ удивительный литературный типъ этихъ произведеній. Тутъ напрасно говорить о подражаніи. Тонъ ломоносовской оды, ея величавый и могучій стихъ, ея величавый и въ то же время ясный, спокойный восторгъ, все это типично въ высшей степени, ибо все это искренно, задушевно. Эта ода звучитъ, какъ торжественный колоколъ, и послушавши этого звона, никто его не забудетъ.

Въ своей извѣстной диссертации, К. Аксаковъ весьма справедливо настаивалъ, вопреки Пушкину, на томъ, что Ломоносовъ былъ дѣйствительный поэтъ. Не будучи поэтомъ,

невозможно было создать поэтическій языкъ и творенія, столь полныя поэтическихъ порывовъ.

Чтобы понять всю естественность, всю неодолимую силу, внушившую эти оды, нужно вспомнить, что болѣе полувѣка наша литература находилась подъ ихъ влїяніемъ. Весь періодъ до Карамзина можно назвать періодомъ оды. Пушкинъ, дѣятель совершенно иной эпохи, былъ изумленъ такимъ долгимъ влїяніемъ, и написалъ о Ломоносовѣ слѣдующій сердитый и потому несправедливый отзывъ: «Его влїяніе на словесность было вредное и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности—вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ» (Соч. Пушкина. Т. V, стр. 403).

Такъ говорилъ человѣкъ, который, вмѣсто неопредѣленнаго восторга, долженъ былъ принести намъ поэтическую правду, настоящую *миру* всякаго восторга и всякаго чувства русской жизни. Какъ завершитель періода, онъ съ изумленіемъ оглянувшись на начинателя періода и записалъ громадную разницу, которую нашелъ между имъ и собою.

Восторгъ Ломоносова былъ восторгъ неопредѣленный, но искренній; это было отраженіе радости Петра послѣ полтавской битвы, чувство своей силы и твердая надежда на блестящую будущность. Петръ былъ любимымъ героемъ Ломоносова, какъ вообще онъ былъ путеводною звѣздою, краеугольнымъ камнемъ, на которомъ опиралась сила петербургской имперіи. Ломоносовъ поминаетъ Петра въ каждой своей одѣ, и точно также въ каждой одѣ онъ поминаетъ науки: то увѣряетъ, что для нихъ настало счастливое время, то указываетъ на широкое поприще для нихъ въ Россіи, то предается надеждамъ:

Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать.

И почему ему было не надѣяться? Онъ самъ сознавалъ въ себѣ полную силу, самъ стоялъ наряду съ величайшими учеными того времени, съ Вольфами и Эйлерами; онъ чув-

ствовавъ себя столь большимъ, что считалъ себя выше цѣлой академіи нѣмецкихъ ученыхъ, учрежденной въ Петербургѣ, и полагалъ, что можно не его отставить отъ академіи, а развѣ академію отъ него...

Счастливыя времена! Не было и мысли о какомъ-нибудь разладѣ, не было и тѣни сомнѣнія въ томъ, что мы уже навсегда слились съ Европою, что скоро во всемъ совершится предсказаніе, данное полтавскою битвою, то есть, что *ученики побѣдятъ учителей.*

За Ломоносовымъ слѣдуетъ Державинъ. И что же? Въ новомъ поэтѣ восторгъ не только не умалется, а дѣлается жовѣе, опредѣленнѣе, ярче. Попрежнему по Руси несется звукъ оды, звукъ торжественной пѣсни, но въ этой пѣснѣ проступаютъ уже краски и образы; передъ нами уже обозначаются въ ней живыя лица: Екатерина, Потемкинъ. Это уже не простой хвалебный гулъ, это уже живая, теплая поэзія.

Для характеристики этого времени мы воспользуемся словами Хомякова, по нашему мнѣнію, всего яснѣе обозначающими глубину дѣла. Вотъ эта глубокая страница:

«Наступила другая эпоха. Жизнь общественная взяла свои права. Лучшій и высшій представитель поэзіи въ екатерининское время, Державинъ есть въ то же время общественный дѣятель въ полномъ смыслѣ слова. Правда, онъ не можетъ безъ восторга называть Фелицу; но Фелица была предметомъ любви и восторга *во всѣхъ краяхъ Россіи.* Онъ сопровождаетъ побѣды нашего войска и наши завоеванія торжественными одами; но эти побѣды и завоеванія были истинною радостію *для всѣхъ русскихъ.* Измаильскій штурмъ, Очаковская зима, пожаръ Чесмы казались происшествіями не только политической жизни народа, но и частной жизни каждаго русскаго: Румянцевы и Суворовы дѣлались именами нарицательными. И всѣмъ нашимъ славамъ былъ отзывъ въ полудикихъ, но могучихъ стихахъ Державина (я называю ихъ полудикими, потому что онъ гораздо менѣе служить художеству, чѣмъ Ломоносовъ). Но Державинъ не льстецъ: его рѣзкое и смѣлое слово бьетъ и клеймитъ общественный порокъ, бьетъ и клеймитъ временщиковъ и болѣе всѣхъ полудержавнаго временщика, котораго, съ великодушіемъ и

правдивостью поэта, онъ потомъ простилъ и увѣнчалъ, назвавъ его «великолѣпный князь Тавриды». Фонвизинъ въ своихъ комедіяхъ борется съ общественными слабостями и пороками; слово гражданина постоянно слышится у Болтина. Наконецъ, вся литература отъ Державина до Княжнина и Николаева, несмотря на свои формы, или вовсе необработанныя, или не-лѣпо-академическія, носитъ на себѣ характеръ дѣятельности общественной. *Въ ранней молодости, выросши подъ вліяніемъ другого направленія, я часто слушалъ съ удивленіемъ рѣчи стариковъ, совершенно чуждыхъ литературнымъ интересамъ, о словесности прежнихъ юдовъ. Я удивлялся ихъ почтенію къ именамъ, повидимому, вовсе недостойнымъ славы.* Загадка разгадалась для меня позднѣе, когда я понялъ, что они жили во времена словесности дѣйствительно серьезной, дѣйствительно русской—во сколько тѣсное общество высшаго сословія можетъ считаться представителемъ всей русской жизни. Эту сторону екатерининской словесности мало опѣнили. Самодовольная, самонадѣянная критика 30-хъ и 40-хъ годовъ, вооружась противъ художественной отвлеченности нашей словесности, обвинила ее цѣликомъ въ академизмъ и не замѣтила преобладающей стороны екатерининской эпохи. «Слона-то она и не замѣтила!» Впрочемъ, другого ждать нельзя было отъ этой односторонней и близорукой критики, которая, однако же, въ свое время была не бесполезна» (Соч. Хомяк. Т. I, 682).

Таковы черты духовной жизни Екатерининскаго времени. Литература отличалась тогда *художественною отвлеченностію и академизмомъ*, а между тѣмъ находила отзывъ во всѣхъ краяхъ Россіи; писатели, повидимому, *вовсе недостойные славы*, были для всѣхъ русскихъ предметомъ почтенія и восторга. Было, слѣдовательно, какое-то очарованіе, которымъ жилъ тогда русскій народъ; было восторженное настроеніе, безмѣрно далеко отстоящее отъ нѣнѣшняго унынія и, очевидно, слишкомъ высокое и напряженное, чтобы удержаться на этой высотѣ. Разочарованіе было неминуемо; но оно наступило не вдругъ, ибо этотъ восторгъ не былъ мгновенною фальшивою вспышкой, а былъ органическимъ явленіемъ, тѣсно связаннымъ съ жизнію всего государства, всего народа.

Прошли поколѣнія и пережиты были цѣлые литературные періоды, прежде чѣмъ мы дошли до всяческаго рода нигилизма, и русская слава обратилась для насъ въ дымъ.

Интересно, что первый, кому довелось въ этомъ случаѣ отвѣдать разочарованія, былъ самъ Державинъ. Въ его «Запискахъ» есть необыкновенно добродушное мѣсто, въ которомъ онъ объясняетъ, какъ въ послѣдніе годы царствованія Екатерины (1795—1796) исчезъ у него его бывалый восторгъ. Вотъ это мѣсто:

«По желанію императрицы, чтобы Державинъ продолжалъ писать въ честь ея болѣе *въ родѣ Фелицы*, хотя далъ онъ ей въ томъ свое слово; но не могъ онаго сдержать, по причинѣ разныхъ каверзъ, коими его безпрестанно раздражали; не могъ онъ воспламенить такъ своего духа, чтобы *поддерживать свой высокій прежній идеалъ*, когда вблизи увидѣлъ *подлинникъ человеческій съ великими слабостями*; сколько разъ ни принимался, сидя по недѣлѣ для того запершись въ своемъ кабинетѣ, но ничего не въ состояніи былъ такого сдѣлать, чѣмъ бы онъ былъ доволенъ. Все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, какъ у прочихъ цеховыхъ стихотворцевъ, у коихъ только слышны слова, а не мысли и чувства» (Записки Держав., стр. 379).

Какъ видно, прекрасно сознавалъ Державинъ, что произведенія его произведенія были не *цеховыя*, а внушенныя искреннимъ вдохновеніемъ, и живо чувствовалъ, что это вдохновеніе разсѣялось отъ столкновенія съ дѣйствительностію.

Но до полного сознанія дѣла было еще далеко. Къ этому времени, къ концу Державинскаго поприща, относится и мнимое богатство нашей литературы, то время, когда она представила образцы *во всѣхъ родахъ*. У насъ появились эпическія поэмы, трагедіи, басни, идилліи и проч. и проч., и мы вдругъ оказались обладающими литературою въ полномъ составѣ.

Повидимому, все это совершалось подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ Европы, все исходило изъ Петровскаго преобразованія, все слѣдовало примѣру и образцамъ иностранныхъ писателей; а между тѣмъ, въ дѣйствительности, тутъ была своеобразная жизнь, для которой европейскія формы были лишь внѣшнею, несущественною оболочкою. Настоящее вліяніе Европы

началось лишь со временъ Карамзина. Карамзинъ былъ первый русскій европеецъ. Что же онъ сдѣлалъ? Его выступленіе на литературное поприще Ап. Григорьевъ рассказываетъ слѣдующимъ образомъ:

«Посреди общества, упорно отстаивавшаго свою исключительность и особенность—является юноша съ живымъ сочувствіемъ ко всему доброму, прекрасному и великому, что выработалось въ общечеловѣческой жизни. Этотъ юноша стоитъ въ уровнѣ со всѣми высокообразованными людьми тогдашней Европы, хотя и не понимаетъ еще уединенныхъ мыслителей Германіи, не смѣетъ еще вполне отдаться ея начинающимъ великимъ поэтамъ. Человѣкъ своей эпохи, человѣкъ французскаго образованія, онъ однако уже достаточно смѣлъ для того, чтобы съ весьма малымъ количествомъ тогдашнихъ образованныхъ людей поклоняться пьяному дикарю Шекспиру, достаточно проникателенъ, чтобы зайти поклониться творцу «Критики чистаго разума» и хоть о пустякахъ, да поговорить съ нимъ... На все, что носилось тогда въ воздухѣ его эпохи, отзывался онъ съ сочувствіемъ, и главное-то дѣло, что сочувствіе это было сочувствіе живое, а не книжное... Въ Европу изъ далекой гиперборейской страны впервые пріѣхалъ европеецъ, и впервые же русскій европеецъ передалъ своей странѣ свои русско-европейскія ощущенія, передалъ не поучительнымъ, докторальнымъ тономъ, а языкомъ легкимъ, общепонятнымъ... Точка, съ которой передаетъ онъ ощущенія, дѣйствительно очень невысока; но зато она вѣрна, она общепонятна, какъ самый его языкъ».

«*Письма русскаго путешественника*, а затѣмъ сентиментальныя повѣсти и сентиментальныя же разсужденія Карамзина—перевернули нравственные воззрѣнія общества, конечно той части его, которая была способна къ развитію. Понятно, что его дѣятельность возбудила сильный антагонизмъ во всемъ, что держалось крѣпко за старыя понятія, антагонизмъ отчасти правый, но вообще слѣпой».

Сентиментальность Карамзина и его требованія отъ русской жизни были совершенно тѣ же, какъ, на примѣръ, у Радищева. Какъ публицистъ и журналистъ, Карамзинъ проповѣдывалъ крайніе идеалы, до которыхъ достигла тогда

европейская цивилизація. Но если такъ, то какъ же онъ могъ стать русскимъ историкомъ? Какъ онъ могъ слить такія непримиримыя вещи, какъ русская жизнь и крайнія требованія европейской цивилизаціи? Какимъ образомъ вмѣсто того, чтобы въ сравненіи съ этимъ идеаломъ отчаяться въ своемъ народѣ и прійти къ совершенному разрыву съ нимъ, онъ сталъ его бытописателемъ, отыскалъ въ себѣ сочувствіе къ его жизни? Тотъ же критикъ отвѣчаетъ на это такъ:

«Карамзинъ, *какъ великій писатель, былъ вполне русскій человекъ*, человекъ своей почвы, своей страны. Сначала онъ приступилъ къ жизни, его окружавшей, съ требованіями высшаго идеала, идеала, выработаннаго жизнью остальнаго человѣчества. Идеаль этотъ, конечно, оказался не-состоятеленъ передъ дѣйствительностію, которая окружала великаго писателя. Въ этой дѣйствительности можно было или только погибнуть, какъ Радищевъ, какъ болѣе практическій, чѣмъ Радищевъ, человекъ—Новиковъ, либо... не то чтобы ей подчиниться, но *обмануть ее*.

«Да... обмануть! Это настоящее слово.

«И Карамзинъ это сдѣлалъ. Онъ обманулъ современную ему дѣйствительность.

«Онъ сталъ «историкомъ Государства Россійскаго»; онъ можетъ быть сознательно, можетъ быть, нѣтъ—вопросъ трудный для разрѣшенія, ибо талантливый человекъ самъ себя способенъ обманывать—онъ подложилъ требованія западнаго человѣческаго идеала подъ данныя нашей исторіи, онъ *первымъ* взглянулъ на эту странную исторію подъ европейскимъ угломъ зрѣнія.

«Карамзинъ смотритъ на событія нашей исторіи точно такъ же, какъ современные ему западные писатели смотрятъ на событія исторіи западнаго міра, иногда даже глубже ихъ; это можно сказать безъ всякаго народнаго пристрастія, потому что современные ему западные историки весьма неглубоко смотрѣли на прошедшее... Въ этомъ его слабость и въ этомъ, если хотите, его сила, даже передъ современниками. *Въ немъ еще нѣтъ той мысли, что мы племя особенное, предназначенное къ иному, нежели другія племена чело-вѣчества*. Общія его эпохъ идеи приносятъ онъ съ собою

въ русскую исторію, и это самое дѣлаетъ его исторію, помимо ея недостатковъ, однимъ изъ вѣчныхъ памятниковъ нашего народнаго развитія...

«Можетъ быть, всѣ изысканія Карамзина неправильны или должны быть дополнены; но всѣ его сочувствія въ высшей степени правильны, потому что они общечеловѣческія».

Итакъ, вотъ какъ совершился *обманъ*, котораго непремѣнно требовала жизнь, такъ какъ она не можетъ развиваться среди полного разрыва, полной дисгармоніи. Обманъ состоялъ въ томъ, что просвѣтленные общечеловѣческими идеями русскіе люди находили въ своей жизни отраженіе этихъ идей, закрывая глаза на противорѣчія и диссонансы. Этотъ періодъ обмана продолжался не долго, былъ обилень талантами и выражалъ свое настроеніе разнообразнѣйшими формами. Нѣмецкая Ленора безъ малѣйшей трудности обращалась въ русскую Людмилу или Свѣтлану; мы воспѣвали нашихъ чухонковъ такъ, что онѣ намъ казались

Гречанокъ Байрона милѣй.

Въ это время не могло существовать ни славянофиловъ, ни западниковъ; мы спокойно причисляли себя къ семьѣ западно-европейскихъ народовъ, и въ самой этой семьѣ не дѣлали никакихъ значительныхъ различій. Мы писали свою исторію точно такъ, какъ ее пишутъ европейскіе народы; мы искренно отзывались на всѣ звуки европейской поэзіи, сочувствовали Шиллеру, Байрону, и облакали нашу собственную дѣйствительность въ формы сочувственныхъ намъ явленій.

И вотъ наступилъ, наконецъ, выходъ изъ этого обмана, выходъ, который, рано или поздно, долженъ же былъ наступить. Выходъ получился мудреный и многозначительный, такъ какъ это была развязка глубокаго жизненнаго развитія, а не простой логической ошибки. Въ одно и то же время выпало двоякое рѣшеніе, положительное и отрицательное—въ одно и то же время явились Пушкинъ и Чаадаевъ.

Явился, наконецъ, поэтъ, который завершилъ все предъидущее трудное и странное развитіе, который вышелъ изъ неопредѣленнаго и призрачнаго восторга, нашедши въ своей

душѣ ясный и существенный восторгъ, который вышелъ изъ обманчиваго взгляда на нашу жизнь, нашедши истинно русскую поэзію и умѣя глядѣть поэтическими глазами на настоящую русскую дѣйствительность. Этотъ человѣкъ, столь сильно любившій истину и отвращавшійся отъ всякой фальши, столь зорко видѣвшій вещи и въ то же время всегда и до конца оставшійся поэтомъ—былъ Пушкинъ. Его воспитаніе и развитіе, совершившееся въ періодъ обмана, подъ вліяніемъ всяческихъ европейскихъ образцовъ, отъ Вольтера до Байрона, способствовало только развитію въ немъ его поэтического дара, его зоркости и любви къ правдѣ, а истинно-русская зоркость и правдивость сдѣлали изъ него несравненнаго поэта, равнаго всему, что есть великаго въ поэтическомъ мірѣ. Онъ принесъ намъ чистѣйшую правду въ поэзіи, т. е. настоящую поэзію.

Но въ то же время получился другой выходъ, другое рѣшеніе. Умы болѣе холодные, болѣе теоретическіе шли своимъ, повидимому, весьма правильнымъ путемъ, и въ то самое время, когда Пушкинъ узаконивалъ поэзію на русской землѣ, эти умы пришли къ полному отрицанію русской жизни и несмотря на то, что уже существовала обманчивая исторія Карамзина, не усумнились вычеркнуть жизнь русскаго народа изъ исторіи всемірнаго развитія. Представителемъ такихъ умовъ былъ Чаадаевъ, пріятель Пушкина, хотя человѣкъ болѣе зрѣлыхъ лѣтъ. Въ сравненіи съ Европой Чаадаевъ призналъ ничтожною всю русскую жизнь, всѣ задатки и плоды нашего умственного развитія, и нашелъ, что для насъ единственное спасеніе — *перевоспитать* себя, принять все отъ Европы, до глубочайшихъ основъ духовной жизни. Это былъ первый послѣдовательный западникъ.

Чаадаевъ былъ то же въ отношеніи къ Пушкину, что Радищевъ въ отношеніи къ Державину. Какъ Радищевъ отнесся съ величайшимъ отрицаніемъ и уныніемъ къ дѣйствительности, вызвавшей столь громкій восторгъ Державина, такъ Чаадаевъ отнесся съ сомнѣніемъ и невѣріемъ къ той духовной жизни, которая уже породила поэзію Пушкина. Эти люди, какъ легко убѣдиться, не были *великими русскими писателями*, а потому, по замѣчанію критика, объѣднихъ

нельзя съ несомнѣнностію сказать, что они были *воплни русскіе* люди, какими были Ломоносовъ, Державинъ, Карамзинъ, Пушкинъ. Но это нимало не мѣшаетъ признавать за ними общечеловѣческія достоинства и даже видѣть въ нихъ людей *на столько русскихъ*, что они, съ большей или меньшей болью и горечью, чувствовали свое положеніе передъ Европою, какъ русскихъ, и старались понять его правильно, на сколько бываетъ правильно отвлеченное пониманіе.

Радищевъ, впрочемъ, былъ явленіе слишкомъ слабое и неглубокое; онъ не былъ зрѣлымъ плодомъ своего времени и исчезъ безъ вліянія и послѣдствій. Но ко времени Чаадаева та же мысль развилась и окрѣпла, и Чаадаевъ былъ уже отголоскомъ значительной и лучшей части нашего общества. Съ этого времени у насъ постепенно развивались двѣ партіи, западническая и славянофильская; одна, требовавшая всецѣлаго подчиненія Европѣ, другая—стоявшая за нашу духовную самостоятельность.

Вотъ фундаментъ, на которомъ развивается наша литература, та почва, на которой она растетъ. Пушкинъ составляетъ звѣно, заключающее эту золотую цѣпь, вѣнецъ этого основнаго развитія; въ его стихахъ, какъ справедливо замѣтилъ К. Аксаковъ, повторились звуки Ломоносовскихъ стиховъ, а въ элементахъ его поэзіи заключаются всѣ зачатки, которые съ тѣхъ поръ развиваются нашими художественными талантами.

Истинная поэзія чужда теоріи, чужда отвлеченныхъ опредѣленій, такъ какъ источникъ ея жизнь, которая шире всякихъ теорій. Поэтому, напримѣръ, нашу художественную словесность со временъ Пушкина нельзя назвать ни славянофильскою, ни западническою, ни даже выраженіемъ борьбы этихъ направленій. Западники имѣли у насъ большой перевѣсъ; они весьма настойчиво подводили наше развитіе подъ свою точку зрѣнія и проповѣдывали, что наши художники служатъ ихъ идеѣ и потолику и хороши, поколику ей служатъ. Одинъ изъ такихъ проповѣдниковъ весьма немудрено опредѣлилъ всю суть нашей новой литературы, сказавши, что Тургеневъ изобличилъ помѣщиковъ, Островскій—купцовъ, а Некрасовъ—чиновниковъ. Славянофилы съ своей стороны


подтверждали эти притязанія тѣмъ самымъ, что отрекались отъ новой литературы и признавали ея дѣятелей лишь въ видѣ исключенія, иногда дѣлавшагося очень неудачно. Это неясное, но во всякомъ случаѣ враждебное отношеніе необходимо должно было усиливать притязанія западниковъ на господство ихъ идей въ нашей изящной словесности.

Но и тѣ и другіе были одинаково неправы, и легко было бы показать множество промаховъ съ той и съ другой стороны, доказывающихъ, что художественная дѣятельность, какъ болѣе широкая въ основахъ, ускользаетъ отъ узкихъ рамокъ этихъ теорій.

Идея западничества не могла вполнѣ завладѣть художественною сферою, но она свободно развивалась въ другихъ сферахъ литературы, въ критикѣ, публицистикѣ, и наконецъ выродилась въ интереснѣйшее явленіе—въ нигилизмъ. Если хотите, нигилизмъ имѣетъ и свои художественныя отраженія, но по сущности дѣла въ нихъ мы находимъ одну чистую видимость, скрывающую отсутствіе всякаго искусства; ибо гдѣ нѣтъ жизни, тамъ не можетъ быть искусства.

Какъ бы то ни было, но наши современные западники суть нигилисты; это — наши европейцы, искренно, добросовѣстно дошедшіе до конца пути, имъ указаннаго и ими избраннаго, логически доведшіе свою идею до крайнихъ ея послѣдствій.

Результатъ получился странный и неожиданный, но въ сущности совершенно правильный. Западники начали съ поклоненія передъ Европой и кончили тѣмъ, что стали отрицать формы европейской жизни, ибо стали отрицать вообще всякія сложившіяся формы, всякую исторію. Это совершенно естественно. Они такъ наторѣли въ отрицаніи формъ русской жизни, довели свои пріемы въ этомъ дѣлѣ до такой остроты и тонкости, что потомъ и западная жизнь не могла устоять передъ этимъ изощреннымъ оружіемъ. Можно, впрочемъ, сказать иначе и въ извѣстномъ отношеніи правильнѣе: они довели свой взглядъ на русскую жизнь до такого непониманія, до такой тупости, что потомъ естественно перестали понимать и европейскую жизнь.



Чаадаевъ съ презрѣніемъ смотрѣлъ на православіе и преклонялся передъ величіемъ католицизма. Какая нелѣпость! Человѣкъ, благоговѣющій передъ католичествомъ, не впадаетъ ли въ явную нелѣпость, отрицая силу и жизненность православія? Не въ тысячу ли разъ послѣдовательнѣе тотъ, кто, отрицая православіе, въ то же время отрицаетъ католицизмъ?

Итакъ, тутъ есть своя логика, своя послѣдовательность, и нигилизмъ есть одна изъ неизбѣжныхъ степеней въ развитіи извѣстныхъ сторонъ русской литературы.

Такимъ образомъ, мы достигли современнаго положенія дѣлъ. Болѣе чѣмъ когда-нибудь выяснились нынѣ элементы нашего развитія, болѣе чѣмъ когда-нибудь мы чувствуемъ его странную шаткость и противорѣчивую многосложность. Сознаніе того, что нами еще мало сдѣлано и что предложить намъ какая-то трудная и огромная задача, становится яснѣе и яснѣе. Мы видѣли степени, черезъ которыя проходило это сознаніе, и по этимъ степенямъ можемъ различать въ исторіи нашей литературы слѣдующіе періоды:

1) *Періодъ восторга*. Инстинктивное, неопредѣленное ощущение своей силы. Поверхностное или фальшивое знакомство съ Европою.

2) *Періодъ обмана*. Дѣйствительное знакомство съ Европою и обманчивое примиреніе нашей жизни съ ея идеями.

3) *Пушкинъ*. Эпоха, завершающая два предъидущіе періода. Въ одно время: поэтическое признаніе русской жизни и ея теоретическое отрицаніе.

4) *Западники и славянофилы*. Борьба между отрицаніемъ русской жизни и признаніемъ ея самостоятельности. Въ художествѣ: развитіе задатковъ, положенныхъ Пушкинымъ.

5) *Нигилисты*. Отрицаніе русской жизни вмѣстѣ съ отрицаніемъ европейской.

5. Вредный характеръ нашей литературы.

Статья наша по необходимости вышла слишкомъ отрывочна и несоразмѣрна въ своихъ частяхъ: причина этого въ самомъ предметѣ, чрезвычайно трудномъ и вмѣстѣ очень бо-

гатовъ. Мы не имѣли возможности ссылаться на общепринятые истины, на ходячіе результаты; приходилось или пускаться въ подробныя объясненія, или дѣлать слишкомъ общіе и отрывочные очерки.

Въ заключеніе, мы хотѣли поговорить о *вредѣ русской литературы*—тема необыкновенно интересная и поучительная, на которую уже мы намекали. Странное явленіе! Эта бѣдная литература имѣетъ честь возбуждать къ себѣ сильное враждебное чувство съ самыхъ противоположныхъ точекъ зрѣнія. Трудно даже сказать, есть ли люди, любящіе и уважающіе нашу литературу; люди же, питающіе къ ней вражду и считающіе ее злокачественнымъ элементомъ русской жизни,—на лицо, и сужденія ихъ раздаются громко и часто.

Извѣстна всѣмъ непріязнь, исповѣдываемая въ этомъ отношеніи нашими ретроградами, людьми отсталыми и мало просвѣщенными. Для нихъ литература есть источникъ великаго зла; для нихъ Гоголь и Бѣлинскій—развратители юности, новѣйшіе же писатели и того хуже. Естественно, что чѣмъ ретрограднѣе человѣкъ, тѣмъ дальше назадъ онъ простираетъ свое осужденіе, такъ что для иного Лермонтовъ и Пушкинъ суть тоже легкомысленные и безнравственные писатели, и т. д.

Совершенно въ обратномъ порядкѣ налагаютъ тѣнь осужденія на нашу литературу люди просвѣщенные и либеральные. Всего зловреднѣе для нихъ кажутся самые старые писатели: Ломоносовъ, Державинъ; затѣмъ, оцѣнка ихъ смягчается по мѣрѣ приближенія къ нашему времени. Но законъ и здѣсь тотъ же: чѣмъ просвѣщеннѣе и прогрессивнѣе человѣкъ, тѣмъ дальше впередъ, тѣмъ ближе къ настоящей минутѣ онъ подвигаетъ роковую грань осужденія; есть такіе, для которыхъ эта грань уже захватываетъ Гоголя и Бѣлинскаго, а многіе подвинули ее и еще дальше.

Для нашихъ отсталыхъ людей, наша литература давно уже сбилась съ надлежащаго пути и колесить Богъ-знаетъ по какимъ трущобамъ; для нашихъ просвѣщенныхъ людей—она принялась за дѣло только со вчерашняго дня, а до тѣхъ поръ стремилась къ нелѣпымъ цѣлямъ и только сбивала людей съ толку. Такимъ образомъ, результатъ одинъ: литература

наша признается никуда негодною, въ ней отрицается всякій прогрессъ, всякое живое начало, и каждый ея дѣятель подвергается одинаковому осужденію съ противоположныхъ сторонъ.

Какъ мы сказали, это дѣлаетъ великую честь литературѣ, ибо явно обнаруживаетъ ея силу, глубину и самостоятельность ея движенія. Ничего нѣтъ мудренаго, что ни наши ретрограды, ни наши прогрессисты одинаково не понимаютъ дѣла, совершаемаго литературою; понятно также, почему они всячески преслѣдуютъ ее и унижаютъ: она имъ *мѣшаетъ*, заслоняетъ имъ свѣтъ.

Весьма интересно углубиться въ различныя проявленія этой вражды; ибо въ нихъ мы нашли бы указанія именно на тѣ черты нашей литературы, которыя не подчиняются узкимъ и одностороннимъ взглядамъ и особенно беспокоятъ враждующихъ. Мы думали здѣсь, въ видѣ примѣра, остановиться на краткомъ очеркѣ исторіи нашей литературы, который мы нашли въ книгѣ: «Обзоръ исторіи славянскихъ литературъ» *), и который показался намъ весьма назидательнымъ.

Густою тѣнью покрыта въ этомъ обзорѣ дѣятельность всѣхъ нашихъ писателей, не исключая и Бѣлинскаго, и того послѣдняго періода нашей беллетристики, къ которому относятся *«Тургеневъ, Гончаровъ и прочіе писатели этой школы»*. Вотъ какъ характеризуется этотъ періодъ и эта школа: «Въ лучшихъ людяхъ уже созрѣла мысль о необходимости уничтоженія крѣпостнаго права. Но затѣмъ это была едва-ли не единственная ясно сознанная общественная идея этого времени; всѣ другія общественныя потребности вызывали въ «лучшихъ людяхъ» только темныя предчувствія, въ которыхъ они не могли дать себѣ отчета».

Если таковъ приговоръ надъ направленіемъ Бѣлинскаго и школою, имъ воспитанной, то читатель легко представитъ, въ какомъ видѣ изображена дѣятельность предшествовавшихъ писателей. Она является въ высшей степени безплодною и ничтожною. Тѣнь положена такъ густо, что вовсе невозможно различить одного времени отъ другого. «Новый періодъ рус-

*) Спб. 1865.

ской новой литературы, говорить «Обзоръ», начинаютъ съ Карамзина и Жуковского». Но это, конечно, несправедливо, такъ какъ—что же можно признать, дѣйствительно, новымъ въ этой постоянной игрѣ въ бирюльки? И въ самомъ дѣлѣ борьба, возбужденная «нововведеніями Карамзина и Жуковского», состояла вотъ въ чемъ: «сентиментальная изнѣженность одного и романтическій туманъ другого показали ересь приверженцамъ старой торжественной оды», т. е., какъ говорится въ другомъ мѣстѣ, «наиболѣе ничтожной литературной формы». Одни пустяки смѣнились другими—вотъ весь смыслъ мнимаго наступленія новаго періода.

Но оставимъ отдѣльныя отрицательныя черты, такъ щедро разсыпанныя въ небольшомъ очеркѣ по всему поприщу нашей словесной исторіи, что много нужно бы времени, чтобы перебрать ихъ всѣ и взвѣсить надлежащимъ образомъ. Картина выходитъ туманная, безсвязная, въ которой ничего разобрать нельзя вслѣдствіе избытка темныхъ красокъ. Есть, однако же, упрекъ, который повторяется очень часто въ этомъ очеркѣ, прилагается къ писателямъ различныхъ временъ и потому, какъ намъ кажется, бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на всю картину, нѣсколько связываетъ ея разрозненныя части. Именно, почти всѣхъ нашихъ главныхъ писателей «Обзоръ» завиняетъ—въ чемъ бы вы думали?—въ нѣкоторомъ *славянофильствѣ*. Такъ, о *Фонвизинѣ* сказано, что онъ «изъ чисто-славянофильскихъ тенденцій бранить Западную Европу». Весьма рѣзкій приговоръ надъ Карамзинымъ завершается словами: «Въ немъ были уже задатки настоящаго славянофильства». О Пушкинѣ, неоправдавшемъ надеждъ, поданныхъ имъ въ молодости, говорится: «Въ позднѣйшую эпоху дѣятельности у Пушкина начинаютъ выказываться вещи, которыя потомъ назывались славянофильствомъ». Съ Гоголемъ случилось то же самое; онъ тоже подчинился «вліянію извѣстныхъ тенденцій» и «вздумалъ *поставлять* читателю мнимые русскіе идеалы».

Преинтересныя замѣчанія! Авторъ, къ сожалѣнію, бросилъ ихъ вскользь и не замѣтилъ, что они сливаются въ нѣчто цѣлое. Открывъ столь важное явленіе, можно было бы прослѣдить его дальше; не отзывается ли славянофильство и

у другихъ нашихъ писателей? Намъ кажется, слѣды его есть и у Лермонтова, и у Грибоѣдова, и у многихъ другихъ. Такимъ образомъ, славянофильство составляетъ, можетъ быть, общій характеръ нашей литературы—выводъ необыкновенно важный, если бы онъ подтвердился основательными изслѣдованіями. Если наша бѣдная литература имѣетъ какое-нибудь значеніе, то славянофилы, конечно, были бы въ правѣ гордиться подобнымъ открытіемъ; для нихъ было бы лестно убѣдиться, что каждый замѣчательный русскій писатель былъ болѣе или менѣе славянофиломъ, что если иные изъ нихъ вначалѣ шли по другому направленію, то подъ конецъ все-таки приходили къ тому же славянофильству.

Съ другой стороны, если бы это было справедливо, то стало бы совершенно понятно, почему люди иныхъ убѣжденій смотрять такъ неблагоклонно на исторію русской литературы, не признають въ ней никакой жизненности и отрицають значеніе нашихъ писателей. Если каждый изъ дѣятелей, создавшихъ нашъ языкъ и нашу литературу, былъ болѣе или менѣе славянофиломъ, то люди, для которыхъ славянофильство—соблазнъ и безуміе, не могутъ признавать за этой литературой живого содержанія и живого развитія.

Итакъ, вотъ еще черта глубины и самостоятельности нашей литературы. Ея содержаніе, ея стремленія и задачи гораздо обширнѣе и важнѣе, чѣмъ думаютъ многіе цѣнители; западники находятъ ее славянофильской, славянофилы западнической; но она ни то, ни другое.

На прощанье мы желаемъ поздравить читателя съ тѣмъ оживленіемъ литературной дѣятельности, которое предстоитъ въ наступающемъ году. Появляются новые журналы, старые обновляются. Пусть гг. фельетонисты, упрекавшіе насъ за твердую увѣренность въ безостановочномъ развитіи нашей литературы, сознаются теперь, какъ они были неправы. Блистательное превращеніе, совершающееся въ настоящую минуту, не показываетъ ли, что мы обильны силами, стремленіями, дѣятельностію? Какъ только явился случай, представилась возможность, цѣлые ряды умственныхъ дѣятелей выступили на общественное поприще и, нѣтъ сомнѣнія, новыя, свѣжія, живыя мысли полются непрерывнымъ потокомъ. Фельетонисты

должны съ слѣдующаго года прекратить свои рыданія и жалобы на пустоту и безплодіе журналистики; эти строгіе судьи не будутъ уже смотрѣть на журнальныя книжки съ своимъ обычнымъ высокомеріемъ; напротивъ, будутъ приступать къ нимъ съ почтеніемъ и жаждою просвѣщенія; каждый фельетонъ ихъ теперь можетъ начинаться словами: «при томъ блестящемъ положеніи, въ которомъ находится наша журналистика, при обиліи оригинальныхъ и полныхъ интереса явленій въ этой области, мы затрудняемся» и пр.

Такъ идутъ дѣла въ нашей литературѣ. Пусть теперь читатель самъ рѣшаетъ: признакъ ли это дѣйствительнаго богатства, или признакъ нѣкоторой бѣдности нашей литературы? Наступаетъ ли то *новое*, что мы пророчили въ нашихъ замѣткахъ, или это будетъ только повтореніе стараго?

1867 г. 22 дек.

II.

Замѣтки о текущей литературѣ.

(«Гражданинъ» 1873, №№ 15—16, 18—22).

1.

Скучно нынче въ литературѣ! Такую *первую замѣтку* мы дѣлаемъ почти невольно, почти со страхомъ. Но чувство скуки овладѣло нами съ такою силою при видѣ груды современныхъ журналовъ и книгъ, это чувство было такъ неотвязно и мучительно, что мы принуждены были серьезно задать себѣ вопросъ: что же это значить? Не обманываютъ-ли насъ какія-нибудь личныя пристрастія и антипатіи? Не *кажется* ли намъ?

Нѣтъ, не кажется. Одна мысль о томъ, что для журнальнаго отчета слѣдовало бы читать всѣ эти современные произведенія, наводитъ тоску, въ основательности которой невозможно сомнѣваться. Во первыхъ, все у насъ длинно и пространно до невозможности, до уродства. Какая-нибудь корре-

спонденція изъ Клина или Кинешмы тянется въ газетѣ на трехъ-четырехъ столбцахъ мелкой печати. Передовая статья напечатана крупнѣе, но занимаетъ десять или двѣнадцать столбцовъ. Зато наши газеты безпрестанно даютъ полтора, два листа вмѣсто одного, чего не дѣлаетъ ни одна французская или англійская газета. Раскройте книжку нашего толстаго журнала и вы встрѣтите, болышею частію, однѣ середины произведеній, которыя давно начались и неизвѣстно, когда кончатся. Иной романъ появляется въ каждой книжкѣ и все-таки тянется два года и захватываетъ даже часть третьяго. Конечно, романы по самой сущности—произведенія объемистыя; но скажите, отчего ихъ такая гибель? Отчего исчезли повѣсти—родъ, который когда-то такъ любили и такъ справедливо любили? Всякій, кто чувствуетъ себя сколько-нибудь беллетристомъ, теперь только и мечтаетъ о романѣ,—и притомъ о большомъ романѣ, листовъ въ шестьдесятъ печатныхъ. Даже люди, талантъ которыхъ совершенно ясенъ, которые, на примѣръ, имѣютъ специальную способность писать очерки или сцены (таковы В. Слѣпцовъ, А. Левитовъ, Н. Успенскій, Гл. Успенскій, Рѣшетниковъ и пр.), даже они пытались, пытаются и навѣрное будутъ пытаться писать романы. Изъ этихъ усилій, разумѣется, выходитъ мало хорошаго.

Ученыя и критическія статьи нашихъ журналовъ имѣютъ длинноту совершенно соотвѣтствующую нашей беллетристикѣ. Отдѣльныхъ статей у насъ не пишутъ; а пишется непремѣнно *рядъ статей*, и подъ заглавною строчкою вы повсюду съ тоскою увидите: *статья первая, статья четвертая* и т. д. Для сравненія загляните въ «Revue des Deux Mondes», или въ любой англійскій журналъ: тамъ статья, переходящая изъ одного нумера въ другой, составляетъ исключеніе; у насъ она общее правило.

Этому странному внѣшнему виду нашей литературы вполне соотвѣтствуютъ ея внутреннія качества, какъ оно и должно быть по общему закону природы. Подобнаго многословія еще не представлялъ міръ. По неряшливости, по болтливости и распущенности ни одна литература ни въ какую эпоху не сравнится съ нашею,—точно такъ, какъ нигдѣ и никогда еще не было примѣра такого преобладанія періодической печати

надѣ не-переодическою, какое существуетъ у насъ. Каждый какъ-будто хлопочетъ о томъ, чтобы написать побольше, и потому тянетъ, размазываетъ, жуеетъ, приплетаетъ все, что только можно приплести. Романы наполнены совершенно ненужными подробностями и часто вовсе не представляютъ ничего цѣлаго; статьи имѣютъ фельетонный тонъ и такое же безсвязное содержаніе; даже нѣкоторыя свѣтила нашей учености заразились этимъ порядкомъ дѣла и, сами того не подозревая, пишутъ лишь то, что называется *журнальными статьями* — слово почти бранное.

Разумѣется, такой порядокъ не могъ бы существовать, если бы не поддерживался нѣкоторою дѣйствительною надобностью. Публика требуетъ чтенія, и именно чтенія періодическаго; она вѣчно жаждетъ чего-нибудь новаго, только-что написаннаго. Отсюда у пишущихъ является надобность какъ-нибудь наполнять газеты и журналы, производить новое въ такомъ количествѣ, которое имъ вовсе не по силамъ, тянуть и переливать изъ пустаго въ порожнее. Кто давно уже видитъ эту механику, тотъ, право, беретъ за журналъ безъ особенной охоты.

Но что касается современной литературы, то еще не въ этомъ ея главное зло; ея бѣда, корень ея скуки гораздо глубже и существеннѣе. Порядокъ многописанія и усиленнаго наполненія журналовъ существуетъ уже очень давно; мы давно привыкли къ нему, такъ что никто почти и не упоминаетъ о немъ, даже говоря о недостаткахъ нашей литературы. Всякій знаетъ, что отъ журнала *въ этомъ отношеніи* нельзя много требовать, и искать въ немъ лишь того, что въ немъ можно было найти. Растянутость, неряшливость — все прошло, потому что среди нихъ мелькала иногда искра живой, оригинальной мысли, встрѣчалось талантливое художественное произведеніе (на которое въ тѣ времена никакъ не распространялась индულгенція растянутости и неряшливости), попадалось, наконецъ, стихотвореніе, какія-нибудь восемь строчекъ, изъ-за которыхъ читатель забывалъ безобразіе всей остальной книги и носился съ нею, какъ съ какимъ-нибудь чудомъ и сокровищемъ. Эта жизнь, пробивавшаяся въ прежнихъ журналахъ, показывавшаяся въ нихъ вспышками, мелкими струй-

ками, иногда очень слабо, иногда сильнѣе, но никогда вполне не изсякавшая, эта жизнь почти совершенно изсякла во многихъ нашихъ журналахъ, и вотъ въ чемъ ихъ главная бѣда. Они повторяютъ все одно и тоже, они вертятся на одномъ и томъ же мѣстѣ, они не смѣютъ, да и не могутъ сказать ничего новаго. Ихъ статьи составляютъ сотое и тысячное изложене давно затверженныхъ ученій; ихъ романы всѣ на одну колодку, съ однимъ и тѣмъ же пошибомъ; ихъ статьи такъ же однообразны, какъ романы, и не только не способны возбудить восторгъ, но вовсе не читаются самими поклонниками журнала и печатаются только по старой памяти о когда-то бывшей на свѣтѣ поэзіи.

И вотъ почему нынѣшніе журналы такъ скучны, какъ никогда еще не бывали русскіе журналы. Застой, жестокой и небывалый застой водворился въ прогрессивномъ мірѣ нашей журналистики.

2.

Прежде чѣмъ изслѣдовать причины, констатируемъ, сколько возможно, самый фактъ. Точно ли такъ скучно, какъ мы говоримъ? Не доказываетъ ли прямо противнаго тотъ успѣхъ, который имѣютъ журналы въ настоящую минуту? «Вѣстникъ Европы» насчиталъ въ прошломъ году 8003 подписчика; «Отечественныя Записки» недавно объявили, что будутъ печатать первыя двѣ книжки вторымъ изданіемъ, слѣдовательно, подписка у нихъ превзошла, и значительно превзошла ожиданія редакціи. Гдѣ-жъ тутъ признаки застоя и скуки?

Успѣхъ! Распространеніе чтенія! О, какія это старыя слова! Когда-то, въ тѣ радостныя времена, когда еще жива была вѣра въ таинственное и всесильное господство разума надъ человѣчествомъ, они имѣли огромное значеніе, огромную силу. Но эти времена давно миновали; давно уже мы отучились отъ оптимизма, видѣвшаго чуть не въ каждой книжкѣ пользу и прогрессъ для человѣчества; эти груды испачканной бумаги скорѣе наводятъ насъ на печальныя, чѣмъ на радостныя мысли. Восемь тысячъ подписчиковъ! Цифра еще небы-

вала у насъ для толстаго журнала; но что-же она значить? Можетъ быть, она составляетъ и хорошій признакъ, а можетъ быть и то, что она есть фактъ такой комическій, такой уродливый, такой грустный, какого тоже еще не бывало въ нашей литературѣ. Успѣхъ измѣряетъ только величину факта, но еще ничего не говорить о его качествѣ и значеніи.

Относительно скуки мы встрѣтили одно доказательство, по нашему мнѣнію очень убѣдительное и очень много раскрывающее. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» за прошлый годъ, *) въ статьѣ *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*, мы нашли слѣдующую характеристику современной литературы:

«Литература уныло бредетъ по какой-то заглохшей колесѣ и безсвязно лепечетъ о томъ, что первое попадетъ подъ руку. Творчество замѣнено словосочиненіемъ; *потребность страстной руководящей мысли замѣнена холоднымъ пережевываніемъ азбучныхъ истинъ*. Какимъ горькимъ процессомъ дошла литература до современнаго несноснаго пѣнокоснимательнаго бормотанья? Было ли тутъ насильство, или же измѣлчаніе произошло вслѣдствіе непростительнаго самопроизвольнаго неряшества?»

Сказавъ нѣсколько не особенно ясныхъ словъ въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, авторъ продолжаетъ:

«Но какъ бы то ни было, а въ результатъ оказывается какое-то безнадежное утомленіе. *Писателю не хочется писать, читателю противно читать*. Взялъ бы, бросилъ все и ушелъ—только, куда бы ушелъ? Необходимость *что-нибудь высказать* является результатомъ не внутренней гнетущей потребности духа, а извѣстнымъ образомъ сложившихся внѣшнихъ обстоятельствъ. *Нужно къ извѣстному сроку дать извѣстное количество печатнаго матеріала — и ничего больше*. Это — бремя, неимѣющее въ себѣ ничего привлекательнаго, а въ большинствѣ случаевъ даже небезопасное. Понятно, что выходитъ безсвязный дѣтскій лепетъ, съ тою разницею, что послѣдній естественъ и свободенъ, тогда какъ, *такъ называемыя, капиталныя произведенія литературы имѣютъ характеръ жалкой вымученности*. Понятно

*) 1872 г. Изд.

также, что и читатель пропускаетъ мимо всѣ эти, такъ называемыя, капитальныя произведенія русской журналистики и обрушивается на мелкія извѣстія и стенографическіе отчеты» («Отечественныя Записки» 1872 г., августъ, стр. 341 и 342).

Чтобы кто-нибудь не подумалъ, что авторъ говорить здѣсь не о литературѣ вообще, что онъ разумѣетъ здѣсь не себя и свой журналъ, а только кружки плохихъ литераторовъ, которыхъ онъ на своемъ глумящемся языкѣ называетъ *пѣнокоснимателями*, и что только имъ и именно имъ онъ приписываетъ безнадежное утомленіе и желаніе *бросить все и убѣжать*,—замѣтимъ, что тотчасъ за приведенными словами авторъ прибавляетъ:

«Но для пѣнокоснимателей это время все-таки *самое льготное*. Повторяю: въ литературѣ, сколько-нибудь одаренной жизнью, они не могли бы существовать совсѣмъ, тогда какъ *теперь* они имѣютъ возможность *дать полный ходъ невнятной болтовнѣ, которымъ преисполнены сердца ихъ*» (стр. 342).

Итакъ, пѣнокосниматели благоденствуютъ, а хорошіе писатели, напротивъ, поражены скукой и безсиліемъ. Они пережевываютъ азбучныя истины и пишутъ только потому, что по *внѣшнимъ обстоятельствамъ* вынуждены готовить *матеріалъ* для журнальных книжекъ; этотъ матеріалъ, прославляемый иногда, какъ капитальныя произведенія русской журналистики, въ сущности имѣетъ характеръ *жалкой вымученности*.

Вотъ драгоценныя признанія, открывающія намъ то, чего въ такой полнотѣ не открыла бы намъ наша наблюдательность и чего мы, пожалуй, не посмѣли бы такъ рѣзко высказать, если бы она намъ и открыла такое плачевное положеніе дѣлъ. Теперь намъ становится понятно, почему *жалкая вымученность* сквозитъ въ большей или меньшей степени въ современныхъ произведеніяхъ гг. Некрасова, Щедрина, Боборыкина, Скабичевскаго и другихъ постоянныхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ»: это не свободныя созданія мысли и вдохновенія, а *матеріалъ*, поставляемый ими къ извѣстному сроку. Для внимательнаго взгляда давно уже была замѣтна эта вымученность, но теперь она засви-

дѣлательствована и объяснена въ своемъ источникѣ. Но хуже всего то, что при этомъ, какъ свидѣтельствуесть г. Щедринъ, нѣтъ никакой *страстной руководящей идеи*, что приходится только *пережевывать азбучныя истины* (т. е. положенія, ставшія азбучными для писателей *этого* журнала). Дѣйствительно, давно уже никакихъ *свѣжихъ, живыхъ* идей не появляется; «Отечественныя Записки», конечно, благоразумно скрываютъ это отъ читателей, и если проговорились въ приведенныхъ нами строкахъ, то только благодаря тому, что авторъ этихъ строкъ, въ силу своей талантивости, не можетъ иногда удержать въ себѣ порыва искренности. Но есть у насъ очень прямодушная газета «Недѣля»; та откровенно сокрушается о недостаткѣ новыхъ идей и вопросовъ; она съ великимъ усердіемъ постоянно ищетъ ихъ, ловить малѣйшіе признаки чего-нибудь новаго,—и вотъ до сихъ поръ, кажется, еще ничего не поймала.

Если сообразимъ теперь факты, которые мы констатировали, то мы принуждены будемъ вывести заключеніе, которое на первый взглядъ необыкновенно поразительно. «Отечественныя Записки» имѣютъ въ нынѣшнемъ году большой успѣхъ, какъ можно съ вѣроятностію заключать изъ ихъ второго изданія. Этимъ успѣхомъ они, конечно, обязаны не нынѣшнему, а прошлому году. Если предположить, что здѣсь участвовала необыкновенная сухость, которою отличался въ прошломъ году «Вѣстникъ Европы», то все-таки должны были играть нѣкоторую роль и достоинства журнала, успѣвшаго привлечь къ себѣ читателей, наскучившихъ другимъ журналомъ. И мы знаемъ, что «Отечественныя Записки» въ прошломъ году были, дѣйствительно, особенно занимательны для своихъ читателей. Именно знаемъ, что публика очень потѣшалась очерками и фельетонами, или, какъ ихъ нынче принято называть, *сатирами* г. Щедрина. Такъ что успѣхъ «Отечественныхъ Записокъ» долженъ быть всего больше приписанъ г. Щедрину.

Но вотъ у г. Щедрина вырвалось нѣсколько унылыхъ словъ, изъ которыхъ видно, что его веселыя розсказни достаются ему не легко, что ему вовсе не хочется писать, и нѣтъ у него для писанія никакой *внутренней духовной*

потребности, что поэтому онъ замѣчаетъ въ своихъ произведеніяхъ *жалкую вымученность*, которая должна оттолкнуть отъ нихъ читателей.

Спрашивается теперь: какимъ же чудомъ, эти самыя произведенія могли имѣть такой блестящій успѣхъ? Какъ могло понравиться читателямъ то, что не нравится даже самому автору? Здѣсь, очевидно, есть загадка, которая многимъ покажется неразрѣшимой. Между тѣмъ, не разгадавъ ея, трудно правильно судить о движеніи литературы.

Спѣшимъ сдѣлать оговорку. Нашъ выводъ, можетъ быть, нельзя такъ строго и прямо прилагать къ г. Щедрину. Можетъ быть, именно г. Щедринъ, такъ сильно почувствовавшій и выразившій скуку нѣнѣшней литературной дѣятельности, счумѣлъ лучше другихъ страхнуть и побороть эту скуку и развернулся въ прошломъ году особенно блистательно. Но если даже предположить, что такимъ образомъ г. Щедринъ составляетъ исключеніе, все-таки останется общимъ фактомъ, что скука душитъ нашихъ журналистовъ, что сказать имъ нечего, а подписка, несмотря на то, увеличивается.

Очевидно, у насъ существуетъ такой разрядъ читателей, котораго не поражаетъ никакая вымученность, который не замѣчаетъ отсутствія вдохновенія и свѣжей мысли, который готовъ съ удовольствіемъ читать книги, безъ конца повторяющія и пережевывающія одни и тѣже взгляды. Эти читатели почти слѣпы ко всему, что можно назвать настоящими достоинствами литературныхъ произведеній: къ строгой связи мыслей, къ порядку, къ точности и ясности выраженія, къ истинному воодушевленію, къ вдохновенію, къ музыкѣ стиха, къ силѣ творчества и т. п. Имъ вовсе не того нужно; имъ только нужно, чтобы были затронуты ихъ знакомыя, любимыя идеи, чтобы авторъ попалъ въ ихъ привычное настроеніе, подогрѣлъ ихъ давнишнія мысли и вкусы, и тогда они готовы приходить въ восторгъ отъ такого автора и не замѣтятъ въ немъ никакихъ недостатковъ. Имъ вовсе не нужно ничего свѣжаго и новаго; они слишкомъ полны разъ затверженными и принятыми мыслями и ничего новаго принять въ себя не могутъ. Понятно, что такіе люди никогда не устанутъ читать журналъ, толкующій обо всемъ въ ихъ направ-

леніи, и что скорѣе писатели должны почувствовать тоску и угрызение совѣсти, чѣмъ эти читатели перестанутъ ими восхищаться.

3.

Вотъ до чего у насъ дошелъ прогрессъ. Въ обществѣ и въ кругу самихъ писателей образовались отдѣлы, которые другъ друга не понимаютъ, пытаются непрерывнымъ повтореніемъ мыслей своего особаго направленія и обыкновенно другъ друга терпѣть не могутъ. Есть поразительные факты, доказывающіе, что наше общество расслоилось или раскучилось, и вотъ эти-то факты объясняютъ ходъ подписки на разные журналы и дѣйствительное значеніе ихъ распространенія. Большая подписка еще не ручается за *общее* вниманіе къ журналу, не показываетъ, что авторитетъ журнала возрастаетъ; напротивъ, подписка журнала можетъ возрастать и въ то же время его авторитетъ падать. Есть, напримѣръ, у насъ журналъ «Дѣло» съ весьма значительнымъ числомъ подписчиковъ; между тѣмъ его никто не читаетъ, кромѣ его ревностныхъ приверженцевъ. Постороннему читателю, если онъ развернетъ случайно книжку «Дѣла», кажется иногда даже страннымъ, какъ можно читать то, что въ ней напечатано; но тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ читаютъ этотъ журналъ его сотрудники и поклонники. Такимъ образомъ, кромѣ газетныхъ рецензентовъ, никто изъ не-сотрудниковъ и не-поклонниковъ и не знаетъ, что такое тамъ творится; вотъ уже много лѣтъ, какъ мы не слыхали, чтобы какое-нибудь произведеніе «Дѣла» возбудило *общее* вниманіе.

Нѣчто подобное нужно сказать и о другихъ журналахъ. Почти у всѣхъ главная масса подписчиковъ, ядро читателей состоитъ изъ приверженцевъ. Для нихъ-то и работаетъ журналъ, имъ угождаетъ, имъ онъ и нравится; люди же свободные отъ пристрастія къ журналу обыкновенно не находятъ въ немъ ничего хорошаго. Для своихъ журналъ имѣетъ авторитетъ, блистаетъ *капитальными произведеніями*, талантами и знаменитостями; для чужихъ его мнѣнія лишены всякой тѣни авторитета, и имена сотрудниковъ почти не различаются одно отъ другаго.

Если теперь вообразимъ всѣ такія кучки, группирующіяся около журналовъ, то мы по самому свойству кучекъ должны будемъ предположить, что, несмотря на быстрое и постоянно возрастающее распространеніе чтенія, несмотря на увеличеніе числа подписчиковъ, достигающаго еще небывалыхъ цифръ, отъ кучекъ все-таки остается огромная масса образованныхъ людей, которые любятъ чтеніе не менѣе журнальных приверженцевъ, но ни къ какому журналу не принадлежатъ. Эта масса *вовсе не читаетъ журналовъ* и не обращаетъ на нихъ вниманія. Вотъ явленіе, еще не бывалое въ нашемъ прогрессѣ и, очевидно, прямо зависящее отъ того развитія журналистики, которое мы старались описать. Число этихъ не-читающихъ возрастаетъ съ каждымъ годомъ вмѣстѣ съ возрастаніемъ подписки на журналы. Велико-ли это число—трудно сказать: наша интеллигенція, питающаяся журналами, такъ обширна, что, пожалуй, въ численности за нею останется перевѣсъ, но едва-ли въ качествѣ.

Въ былыя времена подобнаго позора не было. Уваженіе къ литературѣ было такъ велико, что хотя читали и писали несравненно меньше, но ни единый читатель имѣвшій притязаніе на образованность, не шталъ или, по крайней мѣрѣ, не смѣлъ высказывать пренебреженія ко всей журналистикѣ огуломъ. Нелюбящихъ читать было больше, но любящихъ чтеніе и отворачивающихся отъ журналовъ *вовсе не было*.

Существованіе той массы людей, отвернувшихся отъ журналовъ, которая образовалась въ новѣйшее время, обнаруживается множествомъ признаковъ. Напримѣръ случается, что въ журналѣ на кого-нибудь жестоко нападаютъ, рассказываютъ о немъ и его рѣчахъ и поступкахъ что-нибудь дикое, смѣшное, наконецъ, прямо обвиняютъ въ подлости, въ подкупности, въ измѣнѣ убѣжденіямъ. Что же дѣлаетъ обвиняемый? Онъ молчитъ, какъ-будто не объ немъ говорятъ; онъ не дѣлаетъ ни малѣйшей попытки—возстановить свою репутацію. Въ подобныхъ случаяхъ нельзя не покраснѣть за русскую литературу; они могутъ быть объяснены только существованіемъ большой массы людей, для которыхъ авторитетъ журналовъ равенъ не только нулю, а даже, пожалуй, отрицательной величинѣ. Обвиняемый (все равно, писатель онъ,

или нѣтъ), очевидно, разсуждаетъ такъ: «люди, мнѣніемъ которыхъ я дорожу, не обратятъ никакого вниманія на брань журнала, а иные, пожалуй, и поздравятъ меня съ нею; что же касается до поклонниковъ журнала, то если бы я и не желалъ пренебрегать ихъ добрымъ мнѣніемъ, едва-ли я что-нибудь успѣю сдѣлать: при величайшихъ усиліяхъ съ моей стороны вѣра ихъ въ слова журнала не поколеблется. Между тѣмъ, эти люди мало уважаемы и всѣмъ извѣстно, какъ они слѣпы; слѣдовательно, изъ-за мнѣнія ихъ не стоитъ и хлопотать».

Почти тоже нужно сказать о чисто-литературной и ученой полемикѣ. Подобная полемика составляетъ нынѣ радостный случай, и обыкновенно на литературныя и ученыя сужденія журналовъ никто не отвѣчаетъ. Полемизируютъ въ настоящее время только въ своемъ кружкѣ или въ кружкахъ очень близкихъ, т. е. люди, чувствующие, что у нихъ приблизительно одна и та же публика. Люди же хорошо знающіе, что ихъ публика не читаетъ журналовъ, понятнымъ образомъ не отвѣчаютъ на журнальныя возраженія.

Намъ приходитъ на память одинъ случай такого рода — очень поучительный. Журнальный писатель написалъ обширный критическій разборъ какого-то ученаго сочиненія. Выходитъ второй томъ сочиненія, и авторъ въ предисловіи толкуетъ объ отзывахъ и о замѣчаніяхъ, сдѣланныхъ на его первый томъ, но о разборѣ журнала не говоритъ ни слова, какъ будто его и не было. Тогда критикъ журнала въ новой статьѣ сталъ очень наивно упрекать ученаго автора. «Мы», говорилъ онъ, «имѣемъ пять тысячъ подписчиковъ; значить, наши мнѣнія очень распространены. Мы говорили серьезно и могли вполне убѣдить нашихъ читателей, отчего же вы намъ не отвѣчаете, а разбираете сужденія, о существованіи которыхъ почти и не знаетъ публика?» На это, кажется, слѣдовало бы отвѣчать такъ: «вы ошибаетесь, думая, что ваши сужденія *очень распространены*; несмотря на пять тысячъ подписчиковъ, вы все-таки вертитесь въ заколдованномъ, со всѣхъ сторонъ отрѣзанномъ отъ остальнаго общества кружкѣ; вы могли убѣдить читателей вашего журнала, но мнѣ до нихъ нѣтъ дѣла; у меня свои читатели, и только ихъ мнѣнія для меня важны».

Итакъ несомнѣнно, что кучки читателей нашихъ журналовъ очень обособлены, и что существуетъ у насъ публика, которая журналовъ не читаетъ. Скажемъ прямо—на сторонѣ этой не читающей публики всѣ наши симпатіи. Конечно, это еще хаосъ, безформенный и чуждый ясной организаціи; но въ немъ одномъ таятся задатки для будущаго. Публика журнальная есть, собственно говоря, та публика, которая уже сказала и опредѣлилась и отъ которой ждать больше нечего. Она составила изъ наиболѣе подвижной и, такъ сказать, легкой, всплывшей на поверхность части нашего общества, и обнаруживаетъ всѣ тѣ недостатки, которые мы уже нѣсколько привыкли соединять съ представленіемъ о публикѣ. Она легко возбуждается, много шумитъ и мечется, много говоритъ и пишетъ; она легко сгущается около выставленныхъ знаменъ, жадно ищетъ авторитетовъ и фанатически имъ поклоняется, обо всемъ судить и вѣчно повторяетъ чужія слова. Такъ это происходитъ не только у насъ, но и вездѣ въ Европѣ, вообще вездѣ, гдѣ есть, такъ называемая, *интеллигенція*. Люди съ большою энергіею слова и дѣла всегда составляютъ исключеніе, рѣдкость; но есть множество людей, которые не обладаютъ ни силою, ни мыслью, а только легки на подъемъ, легки на рѣчь и на дѣло, и они-то всегда играютъ самую видную роль въ интеллигенціи. Точно такъ людей съ собственнымъ сужденіемъ о вещахъ очень мало; но людей, готовыхъ съ величайшимъ азартомъ твердить чужія мнѣнія, очень много. Такъ бываетъ вездѣ, но у насъ дѣло выходитъ несравненно хуже, вслѣдствіе того несчастнаго положенія, въ которомъ мы находимся по отношенію къ европейской цивилизаціи. У насъ публика, какъ бы хорошо она образована ни была, находится вѣчно въ положеніи *полуобразованнаго человека*, то есть подъ вѣчнымъ страхомъ провиниться противъ образованія и съ мучительнымъ желаніемъ показаться вполне образованнымъ. Европа отъ насъ далека; мы никогда не можемъ вполне освоиться съ нею; ея авторитетъ, сіяющій намъ издали и въ туманѣ, заставляетъ даже зрѣлыхъ умомъ людей чувствовать себя школьниками, отнимаетъ у насъ смѣлость *свое сужденіе имѣть*. Понятно поэтому, что твердости мыслей, самостоятельности и свободы сужденій у нашей публики еще въ сто

разъ меньше, чѣмъ у всякой другой. Прибавьте же еще ко всему этому, что публика у насъ принимаетъ вліяніе Европы не прямо, а черезъ журналы, слѣдовательно, изъ вторыхъ рукъ, когда оно уже потерпѣло искаженіе, вытекающее изъ нашего ненормальнаго умственнаго положенія, и тогда вы поймете, можно ли составить себѣ выгодное понятіе о наиболѣе легкой и подвижной части нашего общества, которая увлеклась журнальнымъ движеніемъ и скучилась вокругъ журнальных знаменъ.

Что же касается до публики, не читающей журналовъ, то конечно и въ ней не мало недостатковъ, и главный—недѣятельность. Но во всякомъ случаѣ это часть того балласта, которымъ держится въ равновѣсіи корабль нашей земли. Эти люди не легки на слово и на дѣло, разрознены, не шумятъ, мало говорятъ, мало пишутъ, но читаютъ и думаютъ иногда очень много. И если мы ждемъ новыхъ талантовъ, самостоятельной мысли, истинной свободы и твердости убѣжденій, то какъ это видно изъ всего предъидущаго, намъ не откуда ихъ ждать, кромѣ этой, пока еще косной, массы. Журналы не замѣчаютъ, какъ много они проигрываютъ своею нетерпимостію. тою усиленною дрессировкою, которой они такъ усердно подвергали публику, набирая себѣ не простыхъ почитателей, а приверженцевъ. Но таково было неизбежное развитіе журнальной проповѣди. И вотъ теперь выдрессированные поклонники все еще читаютъ и восхищаются, а между тѣмъ въ самые журналы уже закрадывается тоска, и число людей, которые отъ нихъ отворачиваются, растетъ съ каждымъ днемъ.

4.

Лѣтъ пятнадцать, или даже двѣнадцать назадъ, было очень хорошее время въ литературѣ, особенно если сравнить съ нынѣшнимъ. Въ сущности, конечно, литература страдала своими всегдашними язвами — легкомысленнымъ западническимъ и оторванностію отъ русской жизни; за исключеніемъ художественной области, это былъ такой же пустоцвѣтъ, какъ и нынѣшняя литература. Но оживленіе было необыкновенное. Публика тогда смотрѣла на литературу съ большимъ благого-

вѣнїемъ, какъ на свою руководительницу и просвѣтительницу: даже правительственныя сферы были увлечены общимъ потокомъ и видѣли въ печати силу, съ которою нужно сообразоваться. Сама печать питала къ себѣ великое уваженіе и представляла такое единодушїе, которому трудно повѣрить въ настоящее время; казалось, что въ существенныхъ вопросахъ всѣ согласны, и что никто не дастъ другого въ обиду.

Но мало по малу это счастливое настроеніе разрушилось — исторія печальная, которую стоило бы подробнѣе изслѣдовать, какъ и счастливый періодъ, ей предшествовавшій. Понемногу начались дѣйствія, которыя, намъ кажется, всего лучше назвать *литературными казнями*. Эти казни сначала были рѣдки и совершались сперва съ удивительнымъ единодушїемъ. Если какой-нибудь писатель оказывался виновнымъ, то, бывало, вся литература набрасывалась на эту жертву; по всѣмъ журналамъ сыпались безчисленныя насмѣшки и несчастному приходилось плохо. Такое времяпровожденіе очень понравилось и нашлось до него много охотниковъ. Одна партія, имѣвшая сильный вѣсъ въ публикѣ, воспылала особенною яростію и образовала изъ себя нѣкотораго рода *комитетъ общественнаго спасенія*, дѣйствовавшій съ большою жестокостію и долгое время сохранявшій однако же полнѣйшій авторитетъ. Литературныя имена одно за другимъ были уничтожаемы; каждая книжка журнала совершала нѣсколько казней и угрожала тѣмъ, кто еще не подвергся гибели. Память объ этихъ страшныхъ временахъ не исчезла и до нынѣ; кто не помнить, напримѣръ, какъ былъ казненъ Тургеневъ?

Но, какъ очень хорошій образчикъ тогдашняго состоянія литературы, намъ приходится на память маленькій случай, бывшій не задолго до казни Тургенева. Случилось, что вдругъ подвергся опалѣ г. Писемскій. Первый звукъ грозы, направленной противъ такого извѣстнаго писателя, сейчасъ же обратилъ общее вниманіе; дѣло казалось важнымъ и неслыханно-дерзкимъ. Громъ выходилъ хотя не изъ центральнаго комитета, но изъ небольшого журнала съ карриатурами, который могъ считаться отдѣломъ комитета. Въ этомъ журналѣ вдругъ заговорили о г. Писемскомъ такъ, какъ прежде никто не смѣлъ

говорить; сказали, что онъ пишетъ *гнусную дичь*. Не знаемъ, разсердился-ли и испугался-ли г. Писемскій; но намъ достовѣрно извѣстно, что за него многіе разсердились. Достовѣрно извѣстно, что въ то время хотѣли составить *протестъ* за г. Писемскаго. какъ это было тогда въ обычаѣ, и стали уже собирать подписи для этого протеста. Протестъ—это значило заявить всею массою, отъ лица *всей литературы*, что такой-то поступокъ считается низкимъ, неблагороднымъ, возбуждающимъ негодованіе. На этотъ разъ число протестующихъ и ихъ негодованіе не достигли однако же нужной величины; протестъ не состоялся, и скоро это происшествіе было заглушено шумомъ новыхъ событій.

Вотъ каковы были литературные нравы еще въ началѣ 1862 года; если сравнить ихъ съ теперешними, разница выйдетъ поразительная. Теперь никого не удивишь никакою бранью; нѣтъ ни единой и нераздѣльной публики, ни единой и нераздѣльной литературы, а слѣдовательно, и литературныя казни стали невозможны. Между тѣмъ, представьте себѣ, что еще живутъ и пишутъ люди, которые нѣкогда занимались совершеніемъ этихъ казней и которые не въ силахъ забыть счастливаго времени этихъ занятій. Какое для нихъ разочарованіе! По старой привычкѣ они до сихъ поръ пытаются казнить, но съ крайнимъ изумленіемъ видятъ, что ихъ никто не боится и никто не читаетъ. Они изъ всѣхъ силъ точатъ свою гильотину, называютъ своихъ противниковъ лунатиками, юродивыми, сумасшедшими, разсыпаютъ обвиненія въ подлости и продажности; но увь! гильотина не беретъ, и никто нейдетъ смотрѣть на страшное зрѣлище.

Что же за причина такой перемѣны? Причина весьма простая: новое сдѣлалось понемногу старымъ; необыкновенное обратилось въ ежедневное и привычное; то, что имѣло силу, когда употреблялось осмотрительно, въ мѣру, съ чувствомъ справедливости и отвѣтственности,—потеряло силу, когда стало употребляться безъ мѣры и осмотрительности, когда сдѣлалось орудіемъ всевозможныхъ цѣлей. Конечно, у насъ до сихъ поръ водятся литераторы, вѣрящіе въ силу брани, пытающіеся дѣйствовать ею на довѣрчивую публику; но положительно можно сказать, что тотъ почти идеальный авторитетъ, кото-

рымъ когда-то владѣла литература и который дѣлалъ столь страшнымъ печатное осужденіе,—исчезъ навсегда.

Нѣчто подобное случилось и съ идеями, которыми въ то хорошее время была воодушевлена наша литература. Пока онѣ были новы, пока сохраняли видъ широты и способности къ далекому развитію, когда шли подъ кровомъ тайны и возбуждали надежды на будущія откровенія,—онѣ были очень интересны и имѣли безумный успѣхъ. Но когда онѣ стали всѣмъ извѣстны, когда развитіе ихъ быстро дошло до конца, когда бѣдность ихъ содержанія разрушила всякія надежды на что-нибудь важное и новое, когда ярые новаторы превратились въ отчаянныхъ старовѣровъ и стали, наконецъ, сами тосковать отъ своихъ проповѣдей, повторяющихъ одно и то же,—тогда вся занимательность ихъ литературы пропала.

Истинную силу имѣетъ только истинно живое и развивающееся; идеи, не имѣющія глубины и широты, очень быстро распространяются, но также быстро и отживаютъ свой вѣкъ.

5 и 6 *).

.....

7.

Русская художественная литература есть одна изъ величайшихъ драгоценностей, какими только обладаетъ русскій народъ. Наука у насъ очень слаба; до сихъ поръ мы не успѣли доказать,

Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать;

*) Главы 5 и 6 вошли во 2-ю книгу „Борьбы съ Западомъ“ (см. статью: „Движеніе литературы въ прошлое царствованіе“. Изд. 3-е, стр. 36) и потому здѣсь опускаются. Въ нихъ говорится о вредномъ вліяніи Запада на ходъ просвѣщенія въ Россіи, которая восприняла отъ него идеи, совершенно противныя коренному духу русской жизни,—идеи о томъ, что *просвѣщеніе* состоитъ преимущественно въ порицаніи всякихъ духовныхъ требованій, *свобода* въ освобожденіи отъ давящей силы капитала, *справедливость* въ равномѣрномъ распредѣленіи матеріальныхъ удобствъ жизни.

у насъ нѣтъ своихъ философовъ и филологовъ; есть отличные математики и натуралисты, но нѣтъ великихъ ученыхъ и въ этой области; русская исторія только подаетъ надежды на оригинальность и растетъ среди такихъ умственныхъ волненій и опасностей, что возбуждаетъ и страхъ за себя. Одно только ясно и несомнѣнно: у насъ есть своя поэзія, есть великіе и самобытные художественные писатели. Нашъ литературный языкъ уже обладаетъ полною свободою и зрѣлостію; онъ уже есть достойное орудіе для выраженія высочайшихъ и зѣирнѣйшихъ движеній духа. И на этомъ языкѣ есть произведенія всемірной красоты и неумирающаго значенія; если бы завтра исчезло русское царство, мы все-таки оставили бы міру свое наслѣдіе и новые народы обязаны были бы свято беречь для себя поученіе, содержащееся въ нашихъ художественныхъ произведеніяхъ.

Какъ это случилось, почему именно въ художествѣ слова всего ярче и успѣшнѣе проявился русскій духъ, — вопросъ трудный. Можетъ быть, разгадка заключается въ свойствѣ самого художества, въ томъ, что оно не требуетъ строгой сознательности, а между тѣмъ выражаетъ свое содержаніе полнѣе и глубже, чѣмъ всѣ сознательныя формы. Такъ, *Летопись села Горохина* есть лучшая критика на Карамзина; такъ, начало вѣрнаго пониманія нашей исторіи нужно считать съ *Капитанской дочки*.

Русскій духъ какъ-будто *постышился* высказаться въ художествѣ, прежде чѣмъ успѣетъ высказаться въ другихъ формахъ русской жизни.

Къ несчастію, хорошее пониманіе такого высокаго и драгоценнаго явленія, какъ наша литература, очень трудно, почти невозможно для большинства нашей публики. Это происходитъ и отъ высоты самого явленія, недоступной для понятій мало развитыхъ, и еще болѣе оттого, что понятія нашей интеллигенціи безпрестанно направляются въ сторону впечатлѣніями другого рода, или возбуждаются къ дѣятельности совершенно ненормальной. Вотъ почему наша изящная словесность, какъ и многое другое въ русской жизни, принадлежитъ къ явленіямъ загадочнымъ, таинственнымъ.

Недавно намъ встрѣтился очень рѣзкій образчикъ той великой смутности понятій, которая господствуетъ въ этомъ отношеніи въ публикѣ и въ ея наставницѣ—журналистикѣ. Въ прошломъ году гр. Л. Н. Толстой издалъ свою «Азбуку». Эта «Азбука»—собственно не азбука, хотя въ ней есть и алфавитъ и склады и пр.; это скорѣе дѣтская хрестоматія, величиною въ пятьдесятъ печатныхъ листовъ. Половина этой хрестоматіи состоитъ изъ произведеній самого составителя, или совершенно оригинальныхъ, или заимствованныхъ, но передѣланныхъ такъ, что часто они имѣютъ весьма мало общаго съ оригиналомъ. По намѣреніямъ автора, это—маленькія художественныя произведенія, которыя назначаются для дѣтей только потому, что, по своей простотѣ, должны быть доступны всѣмъ возрастамъ.

На эту книгу очень вооружился «Вѣстникъ Европы». Одинъ изъ главнѣйшихъ упрековъ состоитъ—въ чемъ бы вы думали? Въ томъ, какъ могъ Л. Н. Толстой возымѣть претензію *самъ сочинять!* «Вѣстникъ Европы» говоритъ объ этомъ съ негодованіемъ, съ горечью. Послушайте, въ самомъ дѣлѣ:

«Авторы (такого рода, какъ Л. Н. Толстой) всего болѣе хлопочутъ объ оригинальничаньи: имъ во что бы то ни стало хочется провести собственное міровоззрѣніе, нерѣдко изъ рукъ вонъ какое узенькое и щедушное. Для достиженія этой завѣтной мысли они неустанно *фабрикуютъ* безчисленныя статьи *собственного, домашняго, нетребовательнаго (?) издѣлія*. Утомившись такою *отчаянною самопроизводительностію*, они охотно прибѣгаютъ къ хорошимъ иностраннымъ книжечкамъ, безъ устали черпаютъ изъ нихъ, передѣлываютъ, *коверкаютъ, окуцываютъ, разжижаютъ*, т. е. неузнаваемо перерабатываютъ. А не проще ли, не естественнѣе ли, не полезнѣе ли и уже гораздо цѣлесообразнѣе, на общую пользу составлять просто сборникъ или хрестоматію изъ русскихъ пѣсней и былинъ (*но былины вѣдь есть у Л. Н. Толстаго?*), изъ лѣтописей (*и изъ лѣтописей есть!*), изъ нашихъ *образцовыхъ писателей*—Гоголя, Тургенева, Аксакова, *Рѣшетникова, Успенскихъ, Марко-Вовчка* и многихъ другихъ...» («Вѣстн. Европы». 1873, январь, стр. 456).

Можетъ ли быть что-нибудь забавнѣе? Такого писателя какъ Л. Н. Толстой упрекають въ томъ, зачѣмъ онъ *фабрикуетъ статьи собственнаго издѣлія!* Ему ставятъ въ вину, зачѣмъ онъ предается *самопроизводительности* и думаетъ обойтись своими жалкими *домашними* средствами! Такому писателю какъ Л. Н. Толстой совѣтуютъ наконецъ, чтобы онъ лучше обратился къ *образцовымъ писателямъ*, именно—къ *Рѣшетникову*, къ *Успенскимъ*, къ *Марко-Вовчку!*

Но это не только забавно, а и грустно. Каковы же должны быть понятія у тѣхъ, которые это печатають, и у тѣхъ, которые это преспокойно читають! Неужели же возможно такое мнѣніе, что, напримѣръ, Рѣшетниковъ или Глѣбъ Успенскій — образцовые писатели, а Л. Н. Толстой не только не образцовый, но не долженъ смѣть и думать соваться къ образцовымъ съ разсказами *собственнаго издѣлія?* Намъ кажется, подобныя мнѣнія свидѣтельствуютъ о густой тьмѣ, въ которой бродятъ наши просвѣтители; если они что-нибудь и понимаютъ въ литературѣ, то понимаютъ совершенно превратно: они видятъ нашу литературу вверхъ ногами.

8 *).

Откуда же такое извращеніе понятій? Ходячія ученія о поэзіи, унизившія смыслъ искусства и много повредившія ему и въ общемъ мнѣніи и въ развитіи самихъ художниковъ, извѣстны. Идеи политической борьбы, насущной пользы, общаго благосостоянія и т. п. фанатически требовали себѣ главнаго мѣста, устраненія или подчиненія другихъ идей. Когда создаются новые боги, то старые должны быть низвержены, или даже обращаются въ демоновъ-соблазнительей, считаются врагами новаго божества. Кто не съ нами, тотъ противъ насъ. Книги, въ которыхъ писано не то, что въ нашемъ коранѣ,—вредныя книги и должны быть истреблены. Вотъ давнишнія правила нетерпимости и фанатизма, въ силу

*) Эта глава, съ немного измѣненнымъ началомъ, также вошла во 2-ю кн. „Борьбы съ Западомъ“ (см. стр. 42). Но такъ какъ она органически связана съ предыдущей, то для цѣльности и полноты содержанія мы не опускаемъ ее и здѣсь, тѣмъ болѣе что она незначительна и по своимъ размѣрамъ.

которыхъ въ нашъ просвѣщенный вѣкъ поэзія подверглась такому гоненію и утѣшенію, какого еще не бывало. Мудренаго тутъ ничего нѣтъ: нашъ вѣкъ такое же поприще страстей и узкихъ мыслей, какъ и другіе вѣка; минуты, когда человѣчество устремляется къ идеямъ широкимъ и истинночистымъ, рѣдки и скоро проходятъ.

Всякая вещь только тогда бываетъ предметомъ искреннихъ желаній и усилій, когда цѣнится сама по себѣ, а не рассматривается только, какъ средство для другой вещи. Къ вещамъ, которыя нужны намъ только какъ средства, мы бываемъ совершенно равнодушны, мы ихъ бросаемъ, какъ скоро употребили ихъ въ дѣло, мы готовы замѣнить ихъ другими вещами, мы часто питаемъ къ нимъ даже отвращеніе. Мы не любимъ и не имѣемъ никакой надобности любить тѣ лекарства, которыя возвращаютъ намъ здоровье, или тотъ костыль, который замѣняетъ намъ хромую ногу. Вотъ почему признавать какой-нибудь предметъ *средствомъ*, значитъ безмѣрно умалить его значеніе; и вотъ гдѣ основаніе для знаменитой формулы—*искусство для искусства*. Она имѣетъ тотъ простой смыслъ, что искусство есть предметъ хорошій самъ по себѣ, всегда достойный любви и желанія и, слѣдовательно, не можетъ быть рассматриваемо какъ средство. Противники этой формулы должны доказать, что искусство само по себѣ безразлично, что оно ни хорошо, ни дурно, а получаетъ различную цѣну, смотря по своимъ результатамъ. Они должны поэтому доказывать, что есть случаи, когда искусство дурно, когда оно бываетъ бесполезно, или безнравственно, или вредно въ какомъ-нибудь отношеніи.

Такъ они и доказываютъ.

Искусство, говорятъ они, не всегда ведетъ къ *нашимъ* цѣлямъ, а иногда и противодѣйствуетъ имъ; слѣдовательно, оно бываетъ вредно. Вотъ положеніе, которое, по нашему мнѣнію, такъ же трудно доказать, какъ и то, что пищевареніе или дыханіе мѣшаютъ и противодѣйствуютъ чему-нибудь и потому биваютъ вредны.

Возьмемъ частный примѣръ. Лозунгъ къ отрицанію истиннаго достоинства искусства далъ одинъ изъ нашихъ

поэтовъ, г. Некрасовъ. Еще въ 1856 году онъ написалъ стихотвореніе *Поэтъ и Гражданинъ*, въ которомъ гражданинъ говоритъ поэту:

Съ твоимъ талантомъ стыдно спать;
 Еще стыднѣе въ годину горя
 Красу долинъ, небесъ и моря
 И ласки милой воспѣвать...

Итакъ, два предмета самымъ прямымъ и настоящимъ образомъ запрещаются поэзіи: *краса долинъ, небесъ и моря*, т. е. природа, и *ласки милой*, то есть любовь. Спрашивается, почему же эти предметы вредны? Некрасовскій гражданинъ увѣряетъ, что непомѣрно *стыдно* думать о нихъ *въ годину горя*. Но развѣ можно куда-нибудь убѣжать отъ природы и любви? Развѣ это зависить отъ человѣческаго произвола?

И чему же могутъ мѣшать природа и любовь? Не составляютъ ли онѣ нашей лучшей радости, не укрѣпляютъ ли онѣ насъ въ минуты величайшаго горя? Насъ увѣряютъ, что взглянуть на небо и подумать о любимомъ существѣ бываетъ иногда стыдно; да это не стыдно не только въ годину горя, а и въ минуту самой смерти.

Посмотрите, что дѣлаетъ народъ, тотъ самый народъ, въ сочувствіи къ которому такъ усердно увѣряютъ насъ наши поэты. Пѣсня для него ежедневная, насущная потребность; въ горѣ и трудѣ онъ поетъ про *синее море* и про *милаго друга*.

Но, какъ видно, есть разница между настоящею пѣснью, настоящею поэзіею, наполняющею душу и вырывающеюся изъ души, и стихами, которые продолжительно и упорно сочиняются въ петербургскихъ комнатахъ и предназначаются для украшенія журнальных книжекъ. Никогда истинный поэтъ не усумнится взять предметомъ своего пѣснопѣнія природу или любовь; но стихотворецъ, сочинитель стиховъ, вынужденный подогрѣвать и растягивать свои маленькія чувства, для того чтобы изъ нихъ что-нибудь вышло, конечно можетъ потерять вѣру въ достоинство такихъ предметовъ.

Какой смысл имѣютъ для Некрасовскаго гражданина природа и любовь, если онъ отзывается объ нихъ съ такимъ презрѣніемъ? Краса долинъ, небесъ и моря есть для него предметъ празднаго созерцанія, зрѣлище почему-то пріятное для глазъ, но ничего не говорящее уму и сердцу. А между тѣмъ природа въ своей вѣчной красотѣ есть великая тайна. Точно такъ любовь ему является только какъ наслажденіе, какъ *ласки милой*, которыя, дѣйствительно, *стыдно воспитывать*, если съ ними не связано ничего, кромѣ мысли объ удовольствіи. Между тѣмъ любовь, вѣдь, не состоитъ изъ одной клубнички и имѣетъ духовную сторону, которая безмѣрно глубока и которой, кажется, ни на минуту не долженъ бы забывать ни одинъ поэтъ.

Мы вовсе не думаемъ исказить серьезнаго значенія, въ которомъ сдѣланы эти выходки; это, изволите видѣть, нѣкоторый суровый аскетизмъ, гражданское монашество. Отреченіе отъ любви есть знакъ отреченія отъ радостей жизни; отреченіе отъ природы есть фанатическое отрицаніе всѣхъ отвлеченныхъ, непрактическихъ интересовъ; созерцаніе природы, какъ извѣстно, есть дѣло вполне безкорыстное и вполне свободное отъ чувственности. Вотъ та суровая, гражданская мысль, въ силу которой г. Некрасовъ такъ рѣшительно подсмѣялся надъ «красою долинъ, небесъ и моря» и надъ «ласками милой».

Но посмотрите, что вышло изъ такого противоестественнаго и анти-поэтическаго настроенія, изъ такой неосмысленной дерзости противъ существенныхъ законовъ природы и человѣка. Настроеніе, овладѣвшее г. Некрасовымъ еще въ 1856 году, въ послѣдствіи нашло себѣ весьма пригодную почву въ нашемъ подвижномъ обществѣ, разрослось и стало господствовать. Только немногіе поэты, преимущественно тѣ три, которые заключаются въ стихѣ Добролюбова —

Майковъ, Полонскій и Фетъ

не поддались общему теченію (одинъ изъ нихъ однако устоялъ не вполне); всѣ остальные стихописатели захотѣли непременно быть «гражданскими» поэтами, стали выбирать предметомъ пѣнія «гражданскіе мотивы» и стали проливать «граж-

данскія слезы». Что же вышло? Расплодилась невыносимая реторика, которая имѣетъ себѣ равную только въ реторикѣ нашихъ одъ конца прошлаго столѣтія; настоящая же поэзія, истинное вдохновеніе—почти вовсе исчезли. Новыхъ поэтовъ не является; молодые люди съ поэтической струйкою сейчасъ же попадаютъ подъ вредное вліяніе господствующей школы, и—прощай поэзія!

Но вышло нѣчто и гораздо худшее. Такъ какъ стыдно стало воспѣвать красу долинъ, небесъ и моря, то наши стихотворцы и читатели журналовъ перестали глядѣть на небо и обратились спиною къ морю. Бѣда была, конечно, еще не большая. Небо и море отъ этого не измѣнились; небо по прежнему одинаково сіяло

Надъ безпорочнымъ и виновнымъ;

море по прежнему было могуче и величественно, по прежнему синѣло и хмурилось, билось въ свои берега и безъ конца мѣняло видъ на своемъ просторѣ. По счастью, скажемъ кстати, природа недоступна никакой власти даже сильнѣйшаго прогресса, а безъ того, нѣтъ сомнѣнія, ей пришлось бы плохо. Подъ вліяніемъ своихъ идей люди давно бы ее исковеркали; какая-нибудь новая коммуна, перебивши всѣ статуи и сожегши всѣ картины, пожалуй, обратила бы вниманіе и на соблазнъ, вносимый въ общество красотою долинъ, небесъ и моря, и—будь только это въ ея власти—не задумавшись, стерла бы эту сіяющую красоту съ лица природы.

Итакъ, природа намъ осталась такою же, какъ была. Но не то вышло съ любовью. Любви устыдились и перестали ее воспѣвать. Но спрашивается, перестали ли влюбляться и жениться? О, нѣтъ! влюблялись и женились по прежнему, только втихомолку, не дѣлая изъ этого серьезнаго дѣла и не поднимая большого шума изъ-за такихъ пустяковъ. Перестали думать и говорить о любви, но на дѣлѣ отъ нея нисколько не отказывались. И вотъ, такъ какъ понятія о любви понизились, упростились и огрубѣли, то стали происходить явленія смѣшныя и безсмысленныя, или даже отвратительныя и ужасныя. Смѣшно было, когда влюбленные скрывали свои постыдныя чувства и сохраняли видъ гражданской суровости

и равнодушія; отвратительно было, когда никакого чувства, дѣйствительно, не было, и любовь принималась за *естественную потребность*, въ родѣ ѣды и питья.

Наибольшее зло понесли въ этомъ случаѣ женщины. Инстинктъ, побуждающій женщину стать женою и матерью, такъ силенъ въ ея натурѣ, что можетъ все заглушить и вмѣшивается во всѣ женскія дѣла и отношенія. Когда мужчины стали проповѣдывать, что любовь не дѣло серьезныхъ людей, что умные люди не должны вполнѣ отдаваться поэзіи этого чувства, что даже вся эта поэзія вздоръ, а главное—трудъ, наука, политическіе разговоры,—женщины ничего не сумѣли возразить на это отрицаніе своего значенія; онѣ, повидимому, покорились, остригли волосы, перестали наряжаться, стали возиться съ книгами, размахивать руками и толковать тоже о трудѣ, наукѣ, политическихъ вопросахъ. Но своего онѣ достигли—любовь процвѣтала по прежнему, несмотря на простоту и суровость новыхъ формъ. Тайнственное влеченіе и сродство душъ было осмѣяно и отвергнуто, зато явилось новое начало, дѣйствующее даже гораздо сильнѣе—*сходство убѣжденій*.

Мы слегка касаемся здѣсь предмета очень обширнаго, представляющаго безчисленныя варіаціи. Странное и печальное зрѣлище представляетъ это извращеніе душъ подъ вліяніемъ противоестественныхъ идей. Вотъ намъ наглядное доказательство, какъ права, естественна и полезна поэзія, воспѣвающая любовь. Она одухотворяетъ это чувство, возвышаетъ и истолковываетъ лучшее его значеніе и, такимъ образомъ, противодѣйствуетъ всякаго рода разврату, который неизбежно является, какъ скоро отношенія между полами опредѣляются какими-нибудь другими началами, все равно деньгами или гражданскими убѣжденіями. Даже чувственную страсть можно считать въ этомъ случаѣ лучшимъ правиломъ, чѣмъ низведеніе любви на степень простой физической потребности, чѣмъ холодное сластолюбіе, неоправдываемое никакою страстью, не дѣлающее никакого выбора.

Каковъ бы ни былъ смыслъ, въ которомъ прежніе поэты выставляли любовь, онъ, по самому свойству поэзіи, никогда не заключалъ въ себѣ ничего грязнаго. Пушкинъ

напримѣръ, котораго Добролюбовъ называлъ съ насмѣшкою *эротическимъ* поэтомъ, есть истинный образецъ цѣломудрія. Онъ возвелъ въ нашей литературѣ чувство любви до его совершенной чистоты; онъ умѣлъ смотрѣть на женщину,

Благоговѣя богомольно
Передъ святыней красоты.

Между тѣмъ теперь мы дошли до того, что не понимаемъ этой святыни и этого цѣломудрія. Любовь стала синонимомъ клубнички. Съ какимъ азартомъ журналистика набрасывалась и набрасывается на всякаго поэта или романиста, который вздумаетъ изображать любовь! Можно подумать, что здѣсь дѣйствуетъ достойный почтенія ригоризмъ, гражданское пуританство. Между тѣмъ, въ дѣйствительности, тутъ иногда обнаруживается только развратное понятіе о любви; любовь считается вещью совершенно дозволительною, простою, ежедневною, но говорить о ней нельзя, такъ какъ въ сущности она все-таки только клубничка и на большее значеніе претендовать не должна, чтобы какъ-нибудь—сохрани Боже!—не отвлечь насъ отъ тѣхъ серьезныхъ дѣлъ, которыя мы постоянно дѣлаемъ.

Естественно, что когда стихотворцы имѣютъ такія пакостныя понятія, то у насъ не будетъ и пѣсенъ о любви. И вообще понятно, почему при такомъ настроеніи у насъ упала поэзія, и никто не хочетъ читать стиховъ даже съ наилучшими гражданскими чувствами. Мы наказаны за то, что измѣнили завѣту Шиллера:

Пѣвецъ о любви благодатной поетъ,
О всемъ, что святаго есть въ мірѣ,
Что душу волнуетъ, что сердце манить.

Мы вздумали обратить поэзію въ средство, и поэзія исчезла; мы забыли, что говорить поэту императоръ:

Не мнѣ управлять пѣснопѣвца душой!
Онъ высшую силу призналъ надъ собой:
Минута—ему повелитель.

Въ этихъ словахъ выражена истинная, неизмѣнная природа поэзіи. Поэтъ, который пересталъ имъ вѣрить и ихъ соблюдать, перестаетъ быть поэтомъ.

9.

Проповѣдь европейскаго просвѣщенія—вотъ главная и общая задача нашей журналистики. Казалось бы—какая ясная, прямая цѣль, какой благодарный, общающій всякіе успѣхи трудъ! Намъ говорятъ, что Европа богата умомъ, опытомъ, дѣятельностію, что въ ней живутъ и зрѣютъ великія мысли; значитъ, стоитъ только черпать изъ этого источника, стоитъ только разъ обратиться къ нему всею душою, и мы должны быть вѣчно богаты идеями, и наши журналы должны быть полны живѣйшаго интереса. А между тѣмъ они ужасно скучны, и наши проповѣдники Европы сами тоскуютъ, сами ничѣмъ не воодушевлены.

Причина въ томъ, что такъ просто это дѣло не дѣлается. Бѣда въ томъ, что у насъ уже кое-что сложилось, уже образовались въ литературѣ свои теченія, и слѣдовательно, европейская умственная жизнь у насъ отражается по своему и ея интересы никакъ не дѣлаются *прямо* нашими интересами. Въ Парижѣ, напримѣръ, выходитъ брошюрка Александра Дюма-сына—«L'homme-femme»; подымается величайшій шумъ и пишутся безчисленныя статьи, а мы молчимъ и едва пожинаемъ плечами. За то мы откопаемъ иногда книжку, имѣвшую въ Европѣ незначительный успѣхъ, и усердно возимся съ нею. Точно такъ иныя знаменитости, напримѣръ Гейне, Бокль и т. п., у насъ пользуются гораздо большею славой, чѣмъ въ своемъ отечествѣ.

Вопросъ о томъ, какъ Европа отражается у насъ—вопросъ очень любопытный. Нелѣпо думать, что всякое ея отраженіе хорошо, что чѣмъ сильнѣе это вліяніе, тѣмъ для насъ лучше. Нѣтъ, самая благотворная идеи могутъ на дурной почвѣ приносить плоды уродливые и даже ядовитые. И точно также нелѣпо воображать, что уродливыя отраженія сами собою сгладятся, что чѣмъ дальше идетъ время, тѣмъ больше мы сближаемся съ настоящею жизнью Европы, тѣмъ яснѣе и правильнѣе будемъ ее понимать и ей сочувствовать. Нѣтъ, мы по неволѣ будемъ всегда смотрѣть со стороны, какъ чужіе, и чѣмъ больше будетъ развиваться наша собственная

литература со своими преданіями, предразсудками, спорными вопросами, тѣмъ больше мы будемъ отстраняться отъ Европы. Такъ школьникъ по мѣрѣ возраста оказывается или тупымъ и буйнымъ, или даровитымъ и своеобразнымъ, но въ томъ и въ другомъ случаѣ одинаково уходитъ изъ-подъ вліянія учителя.

Итакъ, пусть не обманываются наши западники: волею или неволею они сами портятъ то дѣло, которому такъ усердно служатъ; чѣмъ горячѣе они дѣйствуютъ, чѣмъ упорнѣе проповѣдуютъ то или другое начало, *выхваченное* изъ европейской жизни, тѣмъ сильнѣе они распатываютъ у насъ страшный колосъ европейскаго авторитета. Переживши кое-что изъ этихъ началъ на самихъ себѣ, на своей кожѣ, мы уже не смотримъ на нихъ съ прежнимъ благоговѣніемъ, мы уже осмѣливаемся судить учителя, становимся разборчивыми и дерзкими, хотимъ имѣть свое мнѣніе, словомъ, съ каждымъ годомъ выходимъ изъ роли ученика.

Но большею частію мы, конечно, оказываемся непонятливыми и тупыми. Массу публики нельзя считать за толпу проникательныхъ и даровитыхъ учениковъ, да точно также и массу пишущихъ. Поэтому получается самый плачевный результатъ: мы учимся, не понимая хорошенько того, чему насъ учатъ, и благоговѣемъ по привычкѣ, по рутинѣ, не зная, за чтó и передъ кѣмъ. Известно, что если въ школѣ силенъ авторитетъ учителя, то масса учениковъ смотритъ съ презрѣніемъ не только на лѣнливцевъ, но и на тѣхъ, кто рѣшается беспокоить учителя вопросами и не соглашаться съ нимъ. По мѣрѣ расширенія европейской проповѣди, масса посредственностей, которыя ее принимаютъ, растетъ все быстрѣе и быстрѣе, и эта-то масса господствуетъ и въ журналисткѣ и въ публикѣ. Крайніе выводы, трудные вопросы, послѣдовательное развитіе началъ—для этихъ людей невозможны, и потому авторитетъ Европы для нихъ имѣетъ неизмѣнную, ненарушимую силу. Отъ этого выходитъ, наконецъ, что мы перестаемъ понимать нашего учителя. Учитель измѣнился въ лицѣ, учитель спутался, учитель испытываетъ волненіе и страхъ, а мы по прежнему слушаемъ, раскрывши ротъ, ничего

не замѣчаемъ отъ избытка благоговѣнія, и готовы сердито прихлопнуть товарища, который замѣтилъ, что дѣлается съ нашимъ авторитетомъ.

Серьезно говоря, вовсе нельзя сказать, чтобы пониманіе европейской жизни у насъ углублялось и уяснялось съ теченіемъ времени. Внутреннія волненія Европы для большинства публики недоступны въ ихъ истинномъ смыслѣ. Жестокіе уроки, переживаемые просвѣщеннымъ міромъ, остаются для насъ безплодными. Мы закоренѣли въ нашемъ давнишнемъ ученичествѣ, и насъ удерживаетъ въ немъ наша лѣнь и неспособность. Журналы могли бы быть очень интересны, если бы представляли намъ живую картину Европы, написанную съ пониманіемъ, съ глубокимъ взглядомъ на дѣйствительный смыслъ современной исторіи. Но они этого не дѣлаютъ; они твердятъ зады, либеральничаютъ на стариннѣйшій ладъ, и проповѣдываютъ намъ тѣ начала, которыхъ сущность давно обнаружилась и исчерпалась въ дальнѣйшемъ развитіи. И вотъ почему журналы скучны.

Большое неудобство оставаться ученикомъ въ то время, когда пора уже дѣйствовать своимъ умомъ. Чѣмъ тверже мы заучимъ наставленія учителя и чѣмъ тщательнѣе будемъ оберегать ихъ, тѣмъ вѣрнѣе мы отстанемъ отъ него, если онъ живетъ и мыслить, а мы только повторяемъ его прежнія слова. *Старовѣрство*, которое отсюда происходитъ, очень развито въ нашей литературѣ, но еще больше, разумѣется, въ публикѣ; оно составляетъ самое сильное препятствіе для нашего пониманія Европы; оно дѣйствуетъ сильнѣе, чѣмъ всѣ одностороннія увлеченія, которыя, будучи живыми явленіями, излѣчиваются сами собою, или уясняютъ намъ дѣло своимъ развитіемъ. Но застарѣлое идолопоклонство, неопредѣленное, боязливое, сохраняющее видъ важности и крѣпкое не самимъ собою, а вѣрою въ свой авторитетъ, неизлѣчимо и безплодно. А между тѣмъ оно всего легче распространяется въ публикѣ, всегда любящей хвататься за авторитеты, и подъ его покровомъ обыкновенно приходятъ въ массу читателей и другія, часто самыя противоположныя ученія.

10.

«Вѣстникъ Европы» и «С.-Петербургскія Вѣдомости» могутъ быть названы истинными *хранителями преданій* русской журналистики. Они чужды крайностей, но, какъ много замѣчали, не отличаются и послѣдовательностью; они поклоняются Европѣ, но неизвѣстно съ точностію, чему именно; преимущественно они, какъ выразился П. В. Анненковъ, «продолжаютъ лучшія преданія сороковыхъ годовъ», но, конечно, не безъ уклоненій и противорѣчій.

Мы остановимся на нѣкоторыхъ мнѣніяхъ о Европѣ, которыя нашли въ послѣдней книжкѣ «Вѣстника Европы». Въ статьѣ о Бѣлинскомъ г. Пыпинъ доказываетъ, какъ нелѣпа была мысль о *гніеніи Запада*, которую пустили въ ходъ славянофилы и противъ которой писалъ Бѣлинскій, и разсуждаетъ слѣдующимъ образомъ:

„Если даже вѣрить западнымъ пессимистамъ, то гибель грозила въ Европѣ только извѣстнымъ общественнымъ формамъ, въ которыхъ, дѣйствительно, было *и есть* много гнилаго, но вовсе не самой цивилизаціи, не собраннымъ ею богатствамъ науки и искусства. Самъ западный пессимизмъ у социалистовъ происходилъ изъ чувства общественной справедливости, которое было плодомъ той же цивилизаціи *и становится все болѣе и болѣе общимъ*. У насъ проповѣдники гніенія Запада даже не поняли, или не захотѣли понять настоящаго значенія этихъ западныхъ отрицаній *современной европейской жизни*, и они напрасно ссылались на западныхъ отрицателей,—*какъ и теперь вздумали ссылаться на Гартмана**),—потому что западные отрицатели, конечно, не удовлетворились бы *тѣми* разрѣшеніями этого вопроса, какое предлагали наши философы. Западное недовольство европейской жизнью было недовольство взрослого челоуѣка результатомъ, который былъ бы еще очень и очень хорошъ для мальчика или юноши, и наша проповѣдь европейскаго гніенія производила тѣмъ болѣе тяжелое впечатлѣніе, что

*) Это намекъ на статью М. П. Попогодина; см. „Гражданинъ“, 1873, № 11, стр. 350.

наша собственная образованность была по истинѣ нищенская» («Вѣстн. Евр.» 1873, май, стр. 255).

Эти слова, очевидно, относятся въ мысли автора къ нынѣшней Европѣ столько же, какъ и къ Европѣ времени первыхъ славянофиловъ. Авторъ признаетъ, что и теперь есть много гнилого въ Европѣ, онъ радуется однако, что чувство справедливости становится все болѣе и болѣе общимъ, и онъ думаетъ, что вообще отрицатели современной европейской жизни, напр. Гартманъ, изображаютъ собою «недовольство зрѣлаго человѣка результатомъ, который» и пр. Однимъ словомъ, авторъ и нынче глядитъ на Европу такъ, какъ глядѣлъ въ свое время Бѣлинскій, и потому тотчасъ же съ торжествомъ приводитъ его слова: «Европа больна,—это правда, но не бойтесь, чтобы она умерла; ея болѣзнь отъ избытка здоровья, отъ избытка жизненныхъ силъ; это болѣзнь временная, это кризисъ внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ: это—усиліе отрѣшиться отъ общественныхъ основаній среднихъ вѣковъ и замѣнить ихъ основаніями на разумѣ и натурѣ человѣка основанными» и пр. (стр. 256).

Какое странное смѣшеніе эпохъ! Ужели для насъ годятся эти разсужденія? Ужели ничего не сдѣлалось и не разъяснилось съ 1846 года, когда это писать и думать Бѣлинскій? *Тогда* еще можно было такъ думать, теперь уже нельзя; тогда было время самыхъ розовыхъ надеждъ для Европы, теперь время отчаянія; тогда нужна была гениальная чуткость и смѣлость славянофиловъ, чтобы говорить о порчѣ Запада, теперь—эта порча стала общимъ избитымъ мѣстомъ; тогда читались золотыя мечтанія Фурье, теперь читается пошлый, холодно-печальный Гартманъ, жалующійся, что на землѣ только два истинныхъ удовольствія—женщины и хорошій столъ, да и тѣ слишкомъ быстро удовлетворяются.

Различіе между двумя эпохами величайшее. Европа отъ 1815 и особенно отъ 1830 до 1848 года жила такою блестящею, полною жизнью, которая могла увлечь и ослѣпить всякаго. Въ философіи, въ наукахъ, въ искусствахъ, въ планахъ политиковъ и социалистовъ господствовало удивительное воодушевленіе. Все казалось возможнымъ и достижимымъ; казалось, что человѣчество можетъ сохранить за собою всѣ

блага, какихъ когда-нибудь успѣвало достигнуть въ исторіи, и что впереди ему предстоитъ безконечная будущность еще небывалаго счастья. Эти вѣрованія и надежды были обмануты на нашихъ глазахъ и самымъ жестокимъ образомъ. Съ 1848 г. разочарованіе идетъ за разочарованіемъ. Планы социалистовъ оказались неосуществимыми, порождающими смуты и бѣдствія, и мало по малу ученіе мира и счастья стало вырождаться въ проповѣдь ненависти и разрушенія. И все наслѣдіе прежнихъ вѣковъ, философія, религія, соглашенная съ разумомъ, воскрешенная романтическая поэзія—исчезли и замѣнились голымъ матеріализмомъ, безвыходнымъ сомнѣніемъ, отсутствіемъ всякой поэзіи. Наступило время дѣйствительнаго пессимизма, въ сравненіи съ которымъ отрицаніе временъ Бѣлинскаго было временемъ счастливыхъ надеждъ, истиннымъ временемъ оптимизма. Тогда говорили: Европа больна, но эта болѣзнь поведетъ лишь къ лучшему здоровью и блеску; теперь говорятъ: Европа больна, и нѣтъ надежды на выздоровленіе, и впереди предстоятъ бѣды, изъ которыхъ не видно выхода.

Вотъ огромная перемена, которая случилась съ Европой, но которая была почти вовсе незамѣчена нашими журналами. Не вся русская литература, однако же, оказалась слѣпою. Былъ очень крупный писатель, именно Герценъ, который особенно ясно понялъ и выразилъ страшный переломъ въ жизни Европы. Онъ сердечно и проникательно слѣдилъ за этой жизнью и наравнѣ съ сынами Европы почувствовалъ ея отчаяніе, ея безнадежность. Онъ настоятельно, краснорѣчиво, остроумно объяснилъ намъ, что Европѣ угрожаетъ гибель, отъ которой она не имѣетъ силъ спастись, онъ проповѣдывалъ намъ «невѣріе въ слова и знамена, въ канонизированное челоуѣчество и единую спасающую церковь западной цивилизаціи» («Былое и Думы», т. IV, стр. 53).

Вотъ это былъ дѣйствительный западникъ, не старо-вѣръ, повторяющій разъ затверженные уроки, а челоуѣкъ, который въ самомъ дѣлѣ понималъ и любилъ принятое отъ Запада ученіе; поэтому онъ понималъ и его несостоятельность, когда она обнаружилась, поэтому и горевалъ о разрушеніи надеждъ Европы. Наши журналы далеки отъ подобнаго пониманія; они смѣло держатся разъ принятаго символа вѣры и

закрываютъ глаза на послѣдствія, которыя изъ него вытекаютъ, на факты исторической жизни, обнаруживающіе, куда ведутъ его начала. Вотъ почему справедливо сказать, что наши журналы, въ силу своихъ предубѣжденій, очень дурно знакомятъ насъ съ жизнью Европы, что мы знаемъ изъ этой жизни только отрывочные факты, а общей, осмысленной картины нигдѣ не находимъ, такъ какъ каждый журналъ имѣетъ свои причины держать въ туманѣ тѣ или другія черты этой картины.

Всего интереснѣе то убѣжденіе просвѣщенныхъ журналистовъ, что намъ будто бы вовсе и не нужно знать въ точности жизнь современной Европы. Ея опасенія, отчаяніе, ужасъ — все это вредно сообщать русскимъ читателямъ, чтобы какъ-нибудь не зародить въ нихъ вольнодумства и невѣрія. Если Европа дурно себя чувствуетъ, то это, говоритъ г. Пыпинъ, есть недовольство вырослаго человѣка результатомъ, который *еще очень и очень хорошъ для мальчика или юноши*; зачѣмъ же, слѣдовательно, разочаровывать мальчика напередъ? Пожалуй, мальчикъ перестанетъ учиться и перенимать, когда увидитъ, что это ученье и перениманье должны привести къ одному «недовольству». *Авторитетъ Европы нужно охранять во что бы то ни стало*, — таково правило нашихъ журналовъ. Бѣдные мальчики! — васъ вѣчно обманываютъ — и папеньки, и гувернеры, и журналисты. То-то умницы изъ васъ выйдутъ! То-то наплодятся изъ васъ и талантовъ, и ученыхъ, и политическихъ мужей! Только не смотрите на то, что дѣлается въ Европѣ, воздержитесь отъ вольнодумной критики надъ вашимъ учителемъ, и благо вамъ будетъ.

Понятно теперь, отчего такъ ненавистна нашимъ журналамъ всякая мысль о дурныхъ признакахъ въ жизни Запада. Въ той же книжкѣ «Вѣстника Европы», въ статьѣ г. Евг. Маркова, есть слѣдующая горячая выходка:

«Люди болгаринскаго патриотизма, забрасывающіе всѣхъ шапками, конечно могли приписать паденіе Франціи (*тутъ разумѣется пораженіе, нанесенное нѣмцами*) обычному «гніенію запада», безнравственности «новаго Вавилона», «гидру внутреннихъ раздоровъ», бушеванію социалистическихъ

партій и т. п. Всего этого я не буду отрицать и *не буду разбирать*. Все это я *даже допускаю*. Но эти крикуны-шовинисты не хотятъ признать, что если *ту же строгость анализа* приложить къ нашему обществу, то оно, пожалуй, тоже обрисуетъ въ глазахъ посторонняго наблюдателя, какъ общество неучей, бѣдняковъ и лѣнтяевъ всѣхъ видовъ» («Вѣстн. Евр.» 1873 г. Май, стр. 349).

Это значитъ: какъ мы смѣемъ, точно какіе равноправные, судить и рядить о Франціи и вообще о Европѣ! Пусть даже Западъ гнѣтъ, не намъ это разбирать и анализировать; мы сами такъ невѣжественны, бѣдны и лѣнны, что если бы онъ гнилъ, то мы и гнилушекъ его не стоили бы.

Отдадимъ справедливость чувствамъ автора; какъ видно изъ статьи, онъ горячій патріотъ; онъ бранитъ наше общество потому, что жалеетъ его перерожденія; а перерожденіе это необходимо потому, что оно «есть для насъ вопросъ *государственной безопасности, государственнаго могущества и славы*» (стр. 349).

Но при всемъ этомъ, или, лучше сказать, именно поэтому онъ готовъ наложить нѣкоторыя путы на русскую мысль. Подобное попеченіе о русской умственной жизни, подобные приказы, рѣшающіе о чемъ намъ можно писать и думать и о чемъ слѣдуетъ строжайше молчать—у насъ очень обыкновенны. Пусть не предполагаетъ цензурное вѣдомство, что оно одно заботится о правильномъ теченіи нашихъ мыслей; есть много ревнителей, которые предаются совершенно подобной дѣятельности. Такое наше несчастное положеніе, что у насъ нѣтъ житья свободной мысли, свободному искусству, свободной наукѣ. По мнѣнію г. Евг. Маркова, толки о гнѣніи Запада вредны потому, что могутъ прійтись по вкусу *крикунамъ-шовинистамъ*, людямъ *булгаринскаго* направленія, кваснымъ патріотамъ, думающимъ, что мы *всѣхъ шапками закидаемъ*. Но вслѣдствіе подобныхъ соображеній считаются вредными толки и о многихъ другихъ предметахъ. Напишешь объ одномъ—угодишь нигилистамъ; напишешь о другомъ—угодишь ретроградомъ; похвалишь что-нибудь—обрадуются туземные суевѣры и притѣснители; выразишь негодованіе—подхватятъ злорадные европейцы. И вѣчно приходится, такимъ

образомъ, лавировать между Сциллою и Харибдою—положеніе бѣдственное, не дающее намъ умственного простора, подавляющее дѣятельность мысли.

Каждый журналъ имѣетъ свою политику; заранее определено, о чемъ молчать, о чемъ говорить, кого бранить, кого хвалить, кого совершенно игнорировать. Есть журнальные писатели, которые считаютъ эту политику почти за высшую мудрость своего дѣла, съ удовольствіемъ ходятъ изъ этихъ кандалахъ и даже придумываютъ къ нимъ разныя тонкія добавленія. Между тѣмъ въ сущности эта внутренняя цензура, это непрестанное лукавство—убиваютъ литературу и должны быть тягостны для каждаго, у кого есть своя мысль, свое чувство. Все, вѣдь, это дѣлается ради *постороннихъ соображеній*, не въ интересахъ истины и искусства, а ради цѣлей чуждыхъ литературѣ. Слѣдовательно, все это вредно, гораздо вреднѣе всякаго внѣшняго гнета. Для того, чтобы наши мальчики насъ слушались и почитали то, что намъ хочется, мы недоговариваемъ, преувеличиваемъ, умалчиваемъ, словомъ, кормимъ ихъ всякою фальшью. Хороша будетъ литература и хорошо общество, воспитанное при помощи такихъ мудрыхъ педагогическихъ приемовъ!

Нѣтъ, полная искренность и серьезность, совершенная свобода отъ всякихъ предвзятыхъ цѣлей и постороннихъ дѣлу предосторожностей,—вотъ единственныя условія, при которыхъ могутъ писаться вещи дѣйствительно хорошія, дѣйствительно полезныя и занимательныя. Наша журналистика забыла это правило; мало того—она считаетъ вреднымъ все, что выходитъ за предѣлы ея *учебной* программы. И вотъ ее постигло неизбежное наказаніе: мальчики перестаютъ вѣрить журналамъ, и журнальныя статьи наскучили и надоѣли не только читателямъ, но и самимъ авторамъ.

11.

Въ той же статьѣ о Бѣлинскомъ упоминается объ одномъ фактѣ, который, намъ кажется, не вполне вѣрно изложенъ статьею и вызываетъ насъ на небольшое объясненіе. Авторъ говоритъ:

«Понятно, что старыя школы, давно потерявшія всякую нравственную связь съ новымъ движеніемъ, не могли и послѣ увидѣть историческаго значенія Бѣлинскаго, и въ ихъ сужденіяхъ еще видны старыя досады на него. Но вражда переходитъ и къ новымъ школамъ, напримѣръ къ той школѣ, выродившейся изъ славянофильства, выраженіемъ которой служили и служатъ журналы «Время», «Эпоха», «Заря», «Гражданинъ» («Вѣстн. Евр.» 1873. Май, стр. 226).

Мы утверждаемъ, что никакой *вражды* къ Бѣлинскому въ смыслѣ тупого умаленія его историческаго значенія, или осмѣянія его лица и дѣятельности, не было въ названныхъ журналахъ. Было простое *сужденіе*, искреннее и свободное, и только потому кажущееся враждебнымъ для тѣхъ, кто хочетъ не сужденія, а безусловнаго поклоненія. Доказательство мы находимъ въ самой статьѣ г. Пыпина; онъ заключилъ ее прекрасными словами, которыя взяты имъ у неназваннаго имъ писателя и приведены въ защиту и похвалу Бѣлинскому: «горячаго сочувствія стоилъ при жизни и стоитъ по смерти тотъ, кто» и пр. (стр. 174).

Кому же принадлежать эти слова? Ихъ сказалъ Аполлонъ Григорьевъ, постоянный сотрудникъ «Времени» и «Эпохи»; мало того—эти самыя слова были имъ буквально повторены во «Времени» (1861 г. Апрѣль, стр. 217). И много другихъ, не менѣе восторженныхъ отзывовъ о Бѣлинскомъ сдѣлалъ въ томъ же журналѣ Аполлонъ Григорьевъ, хотя онъ и боролся съ мнѣніями Бѣлинскаго, хотя и указывалъ на то, что они отжили свой вѣкъ. Вообще скажемъ, что изъ всего писаннаго въ нашей литературѣ о Бѣлинскомъ, сужденія Аполлона Григорьева заслуживаютъ наибольшаго вниманія—по любви къ предмету, по тонкости пониманія, по величавому безпристрастію. Такимъ образомъ, когда «Заря» заговорила о Бѣлинскомъ по поводу явленія «Литературныхъ Воспоминаній» Тургенева, то она сочла нужнымъ привести большую выдержку изъ статьи покойнаго Аполлона Григорьева, выдержку не менѣе сочувственную, чѣмъ и тотъ отзывъ, который приведенъ г. Пыпинымъ («Заря» 1869 г. Сентябрь, стр. 216—219).

Спрашивается, гдѣ же тутъ вражда? Какіе же это враждебные органы, когда въ нихъ сказано наилучшее, что можно

сказать въ защиту и похвалу Бѣлинскому, и когда вы сами подтверждаете вашу апологію ихъ словами? Точно такъ и въ «Гражданинѣ» мы не находимъ духа вражды, а видимъ лишь факты и сужденія, которые враждебны только развѣ потому, что истина всегда враждебна преувеличенію и умышленному умалчиванію.

Бѣлинскій есть одно изъ самыхъ привлекательныхъ и вмѣстѣ одно изъ самыхъ печальныхъ явленій нашей литературы. Между тѣмъ статья о немъ г. Пыпина, какъ всякій можетъ убѣдиться, необыкновенно скучна; и несомнѣнно—одна изъ причинъ скуки заключается въ томъ, что авторъ имѣлъ въ виду интересъ какихъ-нибудь мальчиковъ, а не взрослыхъ читателей.

12.

Недостатки нашей литературы вообще и журналистики въ частности зависятъ, конечно, отъ положенія, въ которомъ мы находимся, отъ обстоятельствъ, среди которыхъ развивается наша умственная жизнь. Но на то и данъ человѣку умъ, чтобы не покоряться слѣпо своему положенію, а выходить изъ него, чтобы бороться съ обстоятельствами и становиться выше ихъ. Литература же есть именно такая дѣятельность, которая имѣетъ притязаніе на сознательность и свободу, въ которой эти качества, дѣйствительно, могутъ проявляться; слѣдовательно, нельзя считать дѣломъ нормальнымъ и извинительнымъ, когда литература, какъ слѣпая и несвободная масса, движется по пути опредѣляемому внѣшними вліяніями. Нужно выбиться изъ этой колеи, а иначе мы не дождемся отъ себя ничего хорошаго.

Два обстоятельства, главнымъ образомъ, опредѣляютъ теченіе нашей литературы: во первыхъ, великій авторитетъ Запада и, во вторыхъ, постоянное недовольство нашими внутренними порядками. И этотъ авторитетъ и это недовольство, конечно, имѣютъ въ основаніи огромныя причины, безпрестанно возобновляющіяся и безпрестанно дѣйствующія. А между тѣмъ они все-таки—постороннее дѣло для литературы, представляють ея случайное положеніе, ея внѣшнія обстоятельства. Чтобы быть дѣйствительнымъ поэтомъ, дѣйстви-

тельнымъ мыслителемъ, нужно быть свободнымъ отъ этихъ вліяній, какъ и отъ всякихъ другихъ, стѣсняющихъ дѣйствіе ума. Журналистъ, чтобы воспитывать свою публику, а еще болѣе—чтобы угодить ей, конечно можетъ избѣгать всего, что противодѣйствуетъ авторитету Европы, или что благопріятно сторонникамъ существующихъ порядковъ; журналистъ разсчитываетъ хладнокровно, и его выгода заключается въ подчиненіи требованіямъ публики. Но писатель не долженъ зависть отъ публики и не долженъ ставить препятствій для своей мысли; онъ не можетъ дѣйствовать по разсчетамъ и только тогда хорошъ и полезенъ, когда повинуется одному себѣ, прямымъ внушеніямъ своего ума и чувства.

Оба обстоятельства, подчиняющія себѣ русскую литературу, обыкновенно у насъ не принимаются за частныя явленія, а возводятся въ общіе принципы. Подъ поклоненіемъ Европѣ разумѣется собственно преданность всякому просвѣщенію и прогрессу, подъ недовольствомъ русскою жизнью и исторіею—вообще негодованіе противъ всякаго варварства и общественнаго зла. Но въ томъ вся и бѣда, что мы невольны и неудержимо смѣшиваемъ эти понятія. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ, какъ трудно смотрѣть на Европу съ точки зрѣнія просвѣщенія, развитія истинныхъ понятій и вкусовъ, и какъ легко просто обезьянничать, просто подчиняться ея авторитету! И вотъ у насъ вмѣсто того, чтобы заключать: «вотъ это хорошо, и слѣдовательно Европа достойна за это уваженія», обыкновенно заключается наоборотъ: «вотъ это по европейски, а потому достойно уваженія». Точно также подумайте, какъ трудно понимать смыслъ и достоинство явленій русской жизни и какъ легко воспитать въ себѣ отчужденіе и даже надменное пренебреженіе ко всѣмъ этимъ явленіямъ безъ разбора. И вотъ самые тупые и скудные духомъ люди оказываются у насъ иногда самыми рѣзкими обличителями всего родного.

Еще недавно у насъ шла борьба за классическое образованіе, которая ясно показала наши жалкія отношенія къ просвѣщенію Европы. Насъ убѣждали, что умственная сила Европы основывается, главнымъ образомъ, на классическомъ образованіи; и правительство устроило, наконецъ, наши гим-

назиі согласно съ этой мыслью. Но если такъ, то что же мы дѣлали со временъ Петра Великаго? Какъ же это мы просвѣщались и преобразовывались на европейскій ладъ, не видя и не понимая, въ чемъ состоитъ дѣло истиннаго, прочнаго образованія? Мы ли не старались все перенимать,—а вотъ оказывается, что пропустили самое главное, самое существенное. Защитники реальной системы, очень горячіе, очень вдохновенные все тою же Европою, въ этомъ же недавнемъ спорѣ показали, что они не обладаютъ ясною, крѣпкою идеею, что сильно желаютъ подражать, но не знаютъ хорошенько, какая ихъ цѣль и что именно ихъ привлекаетъ. И выходитъ, слѣдовательно, что не такъ легко заимствовать просвѣщеніе Европы, что, сколько бы мы ни преклонялись передъ нею, мы все-таки останемся невѣждами, если не станемъ работать собственнымъ умомъ.

Можно видѣть изъ этого, почему реформа Петра такъ слабо удалась, почему ей и невозможно было удался лучше. Легко было завести армію, построить корабли, основать фабрики и академію наукъ; но перенести къ намъ умъ и духъ Европы, возбудить у насъ развитіе, подобное европейскому, было невозможно. Это вещи самобытныя, которыя не заимствуются, не дѣлаются по приказу и не зависятъ отъ воли самаго неограниченнаго властителя. И вотъ мы вышли только подражателями, мы схватываемъ все только внѣшнимъ образомъ, забывая, что единая искра самостоятельной мысли сдѣлала бы насъ болѣе подобными Европѣ, чѣмъ всевозможныя заимствованія чужихъ модъ, чужихъ идей, телеграфовъ, желѣзныхъ дорогъ и т. д. Обыкновенно думаютъ, что это постоянное вліяніе Европы должно однако возбуждать и оплодотворять наши силы, и что со временемъ, какъ любили когда-то повторять, мы *догонимъ* Европу. Но это было бы возможно развѣ только тогда, если бы Европа стояла на одномъ мѣстѣ, если бы она была законченнымъ міромъ. Тогда, перерабатывая въ себѣ вліяніе этого міра, мы могли бы со временемъ отвѣчать на него своимъ развитіемъ, отвѣчать на столько, на сколько способна наша натура. Но Европа сама движется. Не успѣютъ у насъ взойти и укорениться одни сѣмена ея идей и нравовъ, какъ являются новыя и заглу-

шають прежнія. Мы не только не успѣваемъ сдѣлать что-нибудь самостоятельное,—мы не успѣваемъ перенимать. Мы вѣчно впопыхахъ, вѣчно въ жалкой роли подражателей; мы подавлены громаднымъ авторитетомъ, мы все больше и больше привыкаемъ къ тому, чтобы кое-какъ, пополамъ съ грѣхомъ, брать все у другихъ, а отъ себя ничего не ждать. При такихъ условіяхъ, какъ же и когда же мы можемъ догнать Европу?

Очевидно, авторитетъ Европы нельзя принимать за авторитетъ какихъ-нибудь общихъ началъ, отвлеченныхъ принциповъ; нѣтъ, это авторитетъ воплощенный, олицетворенный, живой. Европа дѣйствуетъ на насъ не истинами, которыя она открываетъ и изслѣдуетъ, не стремленіями, лежащими въ основѣ ея дѣятельности, а всею своею жизнію, своимъ языкомъ, привычками, прихотями, пороками, заблужденіями. Мы не въ силахъ отдѣлать въ ней случайное и индивидуальное отъ существеннаго и главнаго; мы равно подчиняемся тому и другому. Мы заражаемся ея страстями, ея временными, *личными* увлеченіями, и не имѣемъ досуга одуматься и взглянуть на нее со стороны, потому что она всегда передъ нашими глазами и непрерывно ослѣпляетъ и увлекаетъ насъ своею жизнью.

Вся бѣда наша въ нашемъ случайномъ положеніи въ исторіи, въ томъ, что, будучи молоды и неразвиты, мы очутились лицомъ къ лицу съ міромъ зрѣлой и уже дряхлѣющей жизни. Этотъ міръ будетъ вѣчно давить насъ своимъ превосходствомъ, а мы будемъ вѣчно ему завидовать, вѣчно досадовать на свою молодость, невѣрить въ самихъ себя, и этой досадой и невѣріемъ подрывать свои собственныя силы. Наше недовольство русскою жизнью и ея порядками имѣетъ здѣсь свой главный источникъ; это не отчетливое сужденіе, не разумный анализъ, а неопредѣленное, хотя и сильное чувство юноши, глядящаго на жизнь взрослыхъ людей. Мы сами часто не знаемъ, чѣмъ мы недовольны, но успокоиться никакъ не можемъ; мы все твердимъ, какъ у Грибоѣдова въ комедіи:

Какъ иностранное сравнить
Съ національнымъ—*странно что-то...*

Все чужое, неизвѣданное, являющееся издали, легко облекается въ нашихъ глазахъ въ идеальныя краски; а когда душа полна такимъ неопредѣленнымъ идеализмомъ, все окружающее насъ кажется тусклымъ и достойнымъ презрѣнія. Такимъ образомъ, нашъ молодой идеализмъ, постоянно поддерживаемый зрѣлищемъ Европы, мѣшаетъ намъ видѣть вещи въ ихъ настоящемъ свѣтѣ. Для пониманія нужно спокойствіе, нужно даже больше—любовь къ предмету. А мы глядимъ на нашу бѣдную Русь съ раздраженнымъ чувствомъ недовольства, съ величайшимъ предубѣжденіемъ противъ нея.

Итакъ, ни авторитетъ Европы, ни наше недовольство своими порядками не представляютъ нормальныхъ явленій, истекающихъ изъ сущности предметовъ, а суть болѣею частію слѣдствія нашего временнаго, случайнаго положенія. Европѣ мы подчиняемся слѣпо, не будучи въ силахъ ее судить и разбирать; и недовольство собою у насъ не разумное и сознательное, а огульное, неопредѣленное, безотчетное. И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ у насъ умы, которые способны анализировать жизнь Европы съ самыхъ высокихъ точекъ зрѣнія? И съ другой стороны, развѣ послѣдніе глупцы не умѣютъ у насъ такъ же куражиться надъ русскою жизнью и исторіею, какъ и наши большіе умники?

Вотъ почему мы признали и этотъ авторитетъ и это недовольство—*внѣшними вліяніями*, не элементами внутренняго нашего развитія, а посторонними обстоятельствами, съ которыми этому развитію приходится бороться, изъ-подъ которыхъ долженъ выбиваться всякій, стремящійся къ правильной умственной жизни. Они—тяжелое и досадное препятствіе, встрѣчающееся на пути русскаго ума и чувства; они не даютъ мысли спокойствія и заранѣе наклоняютъ ее въ извѣстныя стороны. Люди, понимающіе духовную свободу, знающіе ея несравненную цѣну и стремящіеся къ ней, больно чувствуютъ этотъ гнетъ; тяжесть его незамѣтна только тѣмъ, для кого подчиненіе дѣло естественное, кто умственный рабъ по самой своей природѣ.

13.

Свобода отъ вліяній не значить ихъ невѣдѣніе, или пренебреженіе. Свободное отношеніе къ предмету значить только, что не онъ насъ подавляетъ, а напротивъ, мы умѣемъ возвышаться надъ нимъ, умѣемъ судить о немъ вполне самостоятельно. Запираться отъ Европы, или отворачиваться отъ нея—было бы величайшею нелѣпостію и только увеличило бы зло; нѣтъ, чтобы сбросить иго нравственнаго порабощенія, намъ нужно пойти прямо ей на встрѣчу, претворить въ себѣ всѣ ея вліянія и отвѣчать на нихъ развитіемъ своихъ силъ, которое поравнялось бы ея развитію и побѣдило бы его. Задача огромная, и нѣтъ ничего нелѣпаго въ предположеніи, что мы, можетъ быть, сломимся подъ ея тяжестью. Если вліяніе Европы будетъ приниматься нами пассивно, если мы не будемъ отвѣчать на него своимъ развитіемъ, то литература наша заглохнетъ, несмотря на размноженіе газетъ и журналовъ, и мы, какъ испанцы въ настоящее время, будемъ жить только чужими мыслями, будемъ вѣчно преобразовываться, вѣчно волноваться и метаться, не успѣвая создать ничего прочнаго и порождая только безпорядокъ въ умахъ и дѣлахъ. Зачатки для такой печальной будущности уже есть и теперь; но по счастію есть также явные зачатки и нашей умственной самобытности, не позволяющіе намъ предаваться отчаянію. Исторія русской литературы представляетъ въ этомъ отношеніи наиболѣе отрадное зрѣлище и если мы способны чему-нибудь учиться у нашихъ великихъ писателей, то мы можемъ найти у нихъ величайшій урокъ: они показываютъ и доказываютъ намъ, что значать и какую имѣютъ силу вѣра въ русскую жизнь и свободное отношеніе къ Европѣ.

Ломоносовъ былъ первымъ нашимъ богатыремъ въ умственной жизни послѣ эпохи преобразованія. Онъ поравнялся съ лучшими тогдашними европейскими учеными и, кажется, имѣлъ бы полное право смотрѣть съ пренебреженіемъ на свое дикое отечество. Но въ немъ и мысли подобной не зарождалось; онъ вѣрилъ въ Россію такъ же, какъ и въ себя; какъ самъ онъ не чувствовалъ себя рабомъ передъ европей-

скою наукой, такъ онъ не могъ себѣ представить и Россіи въ роли рабскаго умственнаго подчиненія. Нашъ языкъ, который даже еще не проявился, который существовалъ только въ устахъ народа, да въ душѣ самого Ломоносова, онъ считалъ равнымъ по красотѣ и величію всякимъ другимъ языкамъ. Онъ видѣлъ берега Рейна, но не ихъ воспѣлъ, а свое ледяное море, свои морозныя ночи и ихъ сѣверное сіяніе. Онъ ссорится съ нѣмцами, своими товарищами по академіи, потому что ему и въ мысль не приходитъ смотрѣть на нихъ, какъ на какую-нибудь высшую породу, и дѣлать имъ снисхожденія и уступки. Словомъ, въ лицѣ Ломоносова мы какъ-будто стали на одну доску съ Европою, и его примѣръ, казалось, пророчилъ намъ, что мы никогда не будемъ простыми подражателями, что съ развитіемъ просвѣщенія наше отношеніе къ ней, какъ равнаго къ равному, будетъ только укрѣпляться. Не сбылось это пророчество! Только художественная литература развилась свободно и самостоятельно среди всякихъ вліяній; русская же ученость уже никогда не имѣла той самоувѣренности и независимости, какъ въ лицѣ Ломоносова.

Державинъ былъ необразованъ и его явленіе только доказываетъ, сколько силы и плодотворности имѣло дѣло, совершенное Ломоносовымъ. Но Карамзинъ есть истинное чудо русской словесности. Карамзинъ былъ изъ числа образованнѣйшихъ людей тогдашней Европы, но, создавши въ Россіи новый слогъ, подобный европейскому, и новую литературу, похожую на европейскую, онъ кончилъ тѣмъ, что весь отдался русской исторіи, предмету, который, повидимому, всего менѣе могъ интересовать европейца, да и до сихъ поръ настоящихъ европейцевъ не интересуесть. Карамзинъ любилъ Россію удивительно, со всею наивностію, нѣжностію и высокопарностію, которыя ему свойственны. Ему и въ голову не приходило ставить ее ниже Европы, и онъ писалъ русскую исторію съ такою же гордостію, съ какою писалъ бы свою исторію французъ или древній римлянинъ. Вышла безсмертная книга, нѣсколько фальшивая по тону, но такая, въ которой авторъ не только не брезгаетъ своимъ предметомъ, а даже пламенно его любить. Эта любовь изощрила и пони-

маніе Карамзина, дала ему проникательность въ отношеніи къ лицамъ и событіямъ. Можно было подумать, что дѣло русской исторіи, которому было положено такое твердое основаніе, будетъ только развиваться и упрочиваться съ теченіемъ времени. Но надежды и тутъ насъ обманули: по любви и уваженію къ предмету, книга Карамзина остается единственною въ своемъ родѣ, и наше просвѣщеніе, кажется, все больше и больше чуждается нашей исторіи.

Пушкинъ былъ опять чудесный человѣкъ, исполненный вѣры и любви. Его самоувѣренность и свобода духа, безъ которой невозможна была бы его дѣятельность, объясняются великимъ событіемъ, пережитымъ имъ въ отрочествѣ—войною 1812 года. Мы боролись съ Европою и показали себя равными ей; естественно, что и духъ нашъ поднялся до этой высоты.

За стаю орловъ двѣнадцатаго года
Съ небесъ спустилася къ намъ стая лебедей,
И пѣсни чудныя невиданныхъ гостей
Доселѣ памяты у русскаго народа.

Русская литература была, наконецъ, вполне основана: русская поэзія поднялась до высоты истинной, неувядающей красоты. Но Пушкинъ еще не успѣлъ кончить свою волнующую жизнь, какъ уже оказалось, что наше просвѣщеніе охладѣло къ этой поэзіи; вся послѣдующая исторія литературы, составляя неразрывное продолженіе Пушкина, показываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ духъ этого генія долженъ былъ бороться съ нашимъ невѣріемъ въ себя и тѣми вліяніями, которыя подавляютъ насъ.

Явился несравненный комикъ, Гоголь, конечно вѣрующій и любящій, какъ и всякій нашъ великій писатель. Онъ не смутилъ, какъ мы знаемъ, ни Пушкина, ни императора Николая; но въ остальной массѣ произошла суматоха, зависѣвшая отъ существовавшихъ въ ней теченій. Поклонники Европы схватились за Гоголя для подтвержденія своего невѣрія въ Россію: литература пошла по этому направленію, пока не достигла, наконецъ, до чисто обличительной литературы; самъ Гоголь испугался и былъ осыпанъ оскорбленіями, когда

неумѣло и странно, но искренно обнаружилъ свои дѣйствительныя мнѣнія. Вотъ примѣръ, какъ у насъ нельзя предаваться свободному искусству; скажите что-нибудь печальное, освѣтите наши темныя стороны—патріоты назовутъ васъ измѣнникомъ, а западники подумаютъ, что вы на ихъ сторонѣ.

Исторія продолжается и повторяется въ томъ же родѣ. Островскій, вздумавшій выставить на сцену коренные русскіе типы, сохранившіеся въ отсталой, но крѣпкой жизни средѣ купечества,—былъ записанъ въ обличители, и самъ невольно склонился въ эту сторону. Тургеневъ, позволившій себѣ *свободно* нарисовать типъ Базарова, безъ вины подвергся жестокому литературному остракизму. Некрасовъ, бывшій нѣкогда почти свободнымъ, смѣявшійся надъ тѣмъ «современнымъ героемъ», который

Книги читаетъ, да по свѣту рыщетъ,
Дѣла себѣ исполинскаго ищетъ...
Чтожъ подъ руками, того онъ не любитъ,
То мимоходомъ безъ умыслу губитъ,

и т. д.,—Некрасовъ подчинился вполнѣ мыслямъ героевъ такого рода, вычеркнулъ изъ прежнихъ стихотвореній несогласные съ этими мыслями стихи и пишетъ теперь безукоризненно, хотя и нѣсколько слабо. Остальные писатели, болѣе или менѣе непокорные духу нашего просвѣщенія, слышать со всѣхъ сторонъ упреки, что они обскуранты, враги свободы и вредны такъ, что для пользы Россіи слѣдовало бы, кажется, всѣхъ ихъ, вмѣстѣ съ ихъ книгами, сжечь на одномъ кострѣ.

Огромное явленіе послѣднихъ годовъ, «Война и миръ» Л. Н. Толстаго, свидѣтельствуетъ намъ все о томъ же законѣ: оно создано и внушено глубочайшею вѣрою въ Россію, и авторъ стоитъ въ совершенно свободномъ отношеніи къ Европѣ. Вотъ единственныя условія, при которыхъ у насъ всегда дѣлался и при которыхъ только и можетъ дѣлаться дѣйствительный успѣхъ въ литературѣ. Свобода, основанная на вѣрѣ въ себя—вотъ правило для плодотворной дѣятельности, и другого правила быть не можетъ.

Если бы наша литература имѣла ясное сознаніе этихъ началъ, то это принесло бы ей, безъ сомнѣнія, великую пользу. Но рабы, какъ извѣстно, при продолжительномъ рабствѣ теряютъ понятіе о свободѣ и начинаютъ гордиться своимъ подчиненіемъ. Такъ и у насъ въ литературѣ свобода мысли и слова не понимается и пренебрегается, а подчиненіе господствующимъ вліяніямъ восхваляется почти, какъ заслуга и подвигъ. Мы обмануты нашимъ фальшивымъ положеніемъ, мы закабалили себя на извѣстную службу, имѣя при этомъ, конечно, добрыя цѣли, но забывая, что высшее достоинство литературы—быть свободною отъ всякой кабалы, быть самостоятельною въ своихъ движеніяхъ. Ученіе у Европы и приложеніе строгихъ требованій къ Россіи составляютъ, вѣдь, только средства, а не цѣль; но мы слѣдали изъ этихъ средствъ цѣли, мы потеряли настоящій смыслъ своихъ стремленій. Мы учимся какъ-будто съ тѣмъ, чтобы вѣчно учиться, а не съ тѣмъ, чтобы стать, наконецъ, просвѣщенными, независимыми въ своихъ сужденіяхъ. Мы обличаемъ русскую жизнь и исторію такъ, какъ-будто намъ и не желательно и не нужно найти въ нихъ что-нибудь хорошее; мы недовольны, но сердимся на все, что можетъ смягчить наше недовольство; мы сомнѣваемся, но съ негодованіемъ принимаемъ всякое разрѣшеніе нашихъ сомнѣній, какъ-будто вся наша цѣль—только недовольство и сомнѣніе, а не вѣра и любовь, къ которой они должны быть средствомъ.

Такимъ образомъ, мы потеряли чувство свободного, искренняго, прямого отношенія къ предметамъ. Тяжелая историческая задача налегла на насъ своимъ гнетомъ и исказила наши умы. Работать противъ этого искаженія есть одна изъ высокихъ задачъ, подлежащихъ литературѣ, а между тѣмъ литература, разъ сбившись съ дороги, сама усиливаетъ зло, сама развиваетъ и укрѣпляетъ направленіе, ее же убивающее. Ученіе, никогда не достигающее своей цѣли—зрѣлой мысли, и невѣріе, никогда не могущее перейти въ вѣру,—вотъ наша доля, вотъ настроеніе, вслѣдствіе котораго мы такъ бесплодны, такъ безсильны въ мысленіи и творествѣ. Повторяемъ: нужно выбиться изъ этой колеи; нужно постараться возвыситься надъ обстоятельствами, которыя насъ въ нее толкаютъ; нужно

сознать свое положеніе и постепенно воспитать въ себѣ духъ независимости, духъ умственной свободы.

14.

Все у насъ идетъ во вредъ; подражаніе Европѣ и вѣра въ себя, мысли прогрессивныя и консервативныя, преобразованія и старые порядки, либеральность цензуры и ея жестокость, западничество и славянофильство—все, если и приноситъ пользу, то вмѣстѣ съ тѣмъ приноситъ и вредъ, часто далеко превышающій полезное дѣйствіе, составляющій неизбежный и ясный результатъ, тогда какъ польза и неясна и не всегда существуетъ. Дѣло въ томъ, что какую бы мѣру ни принимала власть, и какую бы идею ни вносила къ намъ Европа или наша литература, эта мѣра и эта идея должны осуществляться и развиваться въ нашемъ обществѣ, и слѣдовательно, результатъ будетъ зависѣть отъ того, каково это общество. Если бы оно росло на крѣпкомъ корнѣ, если бы это былъ здоровый организмъ, обладающій сильною жизнью, то ему все пошло бы въ прокъ; извѣстно, что разнообразіе обстоятельствъ и борьба съ вліяніемъ, не превышающая силъ организма, способствуютъ его развитію. Но если организмъ хилъ и болѣзненъ, то самыя здоровыя вліянія порождаютъ въ немъ дурныя соки и ведутъ къ уродливымъ уклоненіямъ. Наша интеллигенція не имѣетъ въ себѣ твердости; въ ея нравахъ и идеяхъ нѣтъ ничего крѣпкаго, прочно сложившагося; въ ней нѣтъ того органическаго ядра, которое могло бы правильно реагировать въ отвѣтъ на всякое вліяніе и могло бы всѣ вліянія претворять въ свою пользу, обращать ихъ въ возбужденія своего роста и своей силы. Что же мудренаго, что каждый толчекъ, данный нашему обществу, порождаетъ въ немъ ненормальныя явленія, мутитъ его и бросаетъ въ стороны? Подъ вліяніемъ свѣта, воздуха и тепла живое дерево растетъ и цвѣтетъ, а мертвое дерево отъ того же свѣта, воздуха и тепла только разлагается.

Западники очень любятъ повторять, что славянофильскія идеи вредно дѣйствуютъ на наше общество, что, напримѣръ, вѣра въ существованіе въ Россіи живыхъ самобытныхъ силъ

ведетъ къ оправданію существующихъ порядковъ, а попытки судить Европу и смотрѣть на нее, какъ на міръ чужой и уже дряхлѣющій, идутъ въ прокъ нашему невѣжеству, нашей позорной лѣни и тупости. Что же? это очень справедливо. Когда кто-нибудь разъясняетъ намъ, что Россія не есть какая-то вопіющая безсмыслица въ исторіи народовъ, что ея прошлое имѣетъ глубокій смыслъ, а настоящее держится нѣкоторыми доблестными идеями, живущими крѣпко въ народѣ, то такимъ разъясненіямъ чуть ли не прежде всего обрадуются у насъ люди, нетерпящіе никакого движенія и вполне мирящіеся съ настоящимъ. Всѣ, кто никогда не думалъ ни о нашихъ идеяхъ и началахъ, а только спокойно обдѣлывалъ свои житейскія дѣла, обрадуются, что беспокоиться нѣтъ надобности, что Россія, слава Богу, не нуждается въ ихъ помощи и заботахъ. Они станутъ прославлять Россію и восхищаться ея исторіею и ея силами, лишь бы только имъ самимъ остаться въ покоѣ. Точно такъ, вздумайте вы съ самыхъ высокихъ точекъ зрѣнія осуждать Европу, вамъ найдется множество поддакивателей, стоящихъ на самой низшей точкѣ,—всѣ тѣ, кому тяжело ученье, кто боится высокихъ требованій европейской науки, всѣ, въ комъ сильна лѣнь, невѣжество и тупость.

Но развѣ могутъ западники думать, что ихъ проповѣдь не сопровождается вредомъ, хотя, конечно, въ другомъ родѣ? Такъ какъ послѣдователи западничества набираются въ томъ же обществѣ, то невозможно думать, что ихъ толпа будетъ отличаться какими-нибудь необыкновенными качествами. Недовольство нашими внутренними порядками не будетъ только разумное и безкорыстное; оно придется по вкусу и всѣмъ тѣмъ, кто безъ всякаго на то права вполне доволенъ собою, но другихъ любить и уважать мало способенъ; кто такъ глупъ и холоденъ, что не понимаетъ окружающей его жизни; кто не умѣетъ ни въ чемъ винить себя, а всегда обвиняетъ другихъ; кто самъ никуда не годенъ, ни къ чему не способенъ, а недоволенъ цѣлымъ міромъ и думаетъ, что предназначенъ преобразовать его. Глупое и своекорыстное недовольство развѣ рѣже, развѣ лучше глупаго и своекорыстнаго довольства?

Съ какою радостію мы встрѣтили бы проявленіе недовольства, если бы это было недовольство живое, т. е. осно-

ванное на дѣйствительныхъ нуждахъ и желаніяхъ, на ясномъ, созрѣвшемъ чувствѣ неудовлетворенія! Но то ли мы видимъ въ нашемъ обществѣ? Самая обыкновенная форма нашего недовольства есть недовольство книжное, отвлеченное, головное, совершенно невѣжественное относительно нуждъ и желаній народа и питающее, наконецъ, такое презрѣніе къ жизни этого народа, что не считаетъ нужнымъ и знать ее, что готово гнуть и ломать ее, не задумываясь.

Точно такъ невозможно сказать, что поклоненіе Европѣ привлекаетъ къ себѣ только умы, дѣйствительно, жаждущіе свѣта, способные стремиться къ истинному образованію. Это поклоненіе легко заражаетъ самыя пустыя головы, всю ту массу, которая неспособна сама мыслить, а руководится однимъ тщеславіемъ и можетъ держаться какихъ-нибудь мнѣній только въ силу чужого авторитета. Для такихъ людей—какое удобство встрѣтить блестящій авторитетъ Европы и считать себя образованными только потому, что они отказались отъ жизни и взглядовъ обыкновенныхъ русскихъ людей. Тутъ легко и вполне удовлетворяется потребность тщеславія и авторитета; а затѣмъ всякое дальнѣйшее развитіе, всякое дальнѣйшее образованіе почти совершенно прекращается, такъ какъ для него нѣтъ никакихъ живыхъ побужденій. Масса европействующей публики есть собственно глубоко - невѣжественная масса; ибо образованіе есть дѣло трудное, требующее многихъ важныхъ условій, тогда какъ одѣваться въ нѣмецкое платье и клясться великимъ именемъ Европы есть дѣло очень легкое. Наше общество самою силою вещей, самымъ своимъ положеніемъ осуждено на состояніе *полуобразованности*: оно и не европейское и не русское; оно ничего хорошенько не знаетъ и ни въ чемъ хорошенько не увѣрено; оно боится отдаваться внушеніямъ собственнаго ума и чувства и жадно хватается за каждаго руководителя; оно, какъ мѣщанинъ въ дворянствѣ, вѣчно колеблется между страхомъ и гордостію; словомъ, оно не образовано, а только сбито съ толку.

Вотъ та публика, которую собираютъ вокругъ себя западники, вотъ положеніе умовъ, которое они распространяютъ своею проповѣдью. Слѣдовательно, эта проповѣдь, какой бы

пользы отъ нея ни надѣялись, несомнѣнно сопровождается вмѣстѣ и огромнымъ вредомъ. Если славянофилы имѣютъ право горько жаловаться на свою публику, то и западникамъ нельзя похвалиться своими читателями и почитателями; напротивъ, чѣмъ легче собирается толпа этихъ почитателей, чѣмъ она гуще, тѣмъ больше въ ней будетъ негодныхъ элементовъ.

Умнѣйшіе изъ западниковъ, конечно, сами хорошо это чувствуютъ и понимаютъ; если же они этого не говорятъ, то потому, что, къ величайшему сожалѣнію, имъ до этого мало горя и они вовсе не о томъ думаютъ. Вотъ очень существенный пунктъ, усиливающий развитіе зла и объясняющій намъ его наростаніе. Западники задались особыми мыслями и потому, съ яростію упрекая славянофиловъ всѣми безобразіями ихъ послѣдователей, своихъ послѣдователей всячески покрываютъ, придумываютъ для нихъ всевозможныя оправданія и облегченія, и всѣми средствами печати стараются сохранить и выставить ихъ въ наилучшемъ свѣтѣ. Какое бы вопіющее мнѣніе или дѣло ни обнаружилось среди поклонниковъ Европы, хотя бы оно противно было всѣмъ началамъ истиннаго добра и истиннаго просвѣщенія, западники дѣлаютъ все, что можно, чтобы смягчить приговоръ общественнаго мнѣнія, чтобы заглушить невольный крикъ негодованія и презрѣнія, вырывающійся иногда у самыхъ предубѣжденныхъ людей.

Дѣло въ томъ, что западники вѣрятъ въ особенную теорію прогресса, въ теорію движенія, которое будто-бы полезно и необходимо при всѣхъ условіяхъ. Недовольство своими порядками можетъ быть источникомъ движенія впередъ, и стремленіе къ уподобленію Европѣ есть также принципъ постояннаго измѣненія, постояннаго преобразованія умовъ и нравовъ. И вотъ западники думаютъ, что такъ какъ добро уже непременно произойдетъ изъ движенія, то нужно всячески усиливать и охранять и движеніе и его источники. Они распинаются за Европу, хотя бы видѣли въ ней много золъ и болѣзней, и точно также горячо хлопочутъ о своихъ послѣдователяхъ, хотя бы хорошо знали ихъ недостатки. Пусть, думаютъ они, эта масса необразована, пуста, дика и безтолкова

въ своихъ правахъ и понятіяхъ; но эти люди тронулись съ мѣста, они отказались отъ неподвижности и покоя, пришли въ броженіе, слѣдовательно, они наши, они—та плодотворная почва, на которой что-нибудь вырастетъ со временемъ. Пусть даже ихъ умы и души искажены, пусть будетъ испорчена ихъ жизнь, намъ не слѣдуетъ надъ этимъ останавливаться и задумываться; главное—лишь бы прогрессъ усиливался и развивался.

Такимъ образомъ, западническая литература начинаетъ лукавить, т. е. ради своихъ высшихъ цѣлей она измѣняетъ истинѣ, безпристрастію, строгому нравственному суду. Стремленіе къ просвѣщенію и желаніе добра сознательно обращаются въ одну вывѣску, въ покровъ для всякой глупости и всякаго безобразія. Ибо дѣло идетъ уже не объ истинѣ и нравственности, а о томъ, чтобы собрать побольше партію, имѣть возможно большее число сторонниковъ. Литература поэтому усвоиваетъ всѣ приемы и получаетъ всѣ признаки политической агитаціи: ея лукавство, неразборчивость средствъ, разжиганіе фанатизма, рабство передъ толпою, наконецъ обманъ и клевету.

15.

Бѣдная литература! Ея ненормальное положеніе приходится не по мѣркѣ ея силъ и искажаетъ въ ней здравые инстинкты. Она забыла свое высокое назначеніе: служить истинѣ, добру и красотѣ безусловно, беззавѣтно, безъ всякихъ заднихъ мыслей и цѣлей. Она забыла, что нравственное сознание, умственное и художественное движеніе есть дѣло рѣдкое и драгоцѣнное, ничѣмъ не покупаемое и не замѣнимое, дѣло, которое нельзя предоставлять толпѣ, а напротивъ—за которое всегда приходится бороться съ толпою. Толпа, масса все искажаетъ, все понижаетъ до своего уровня; самая чистая и высокая идея неизбѣжно теряетъ среди людей свою чистоту и высоту, дѣлается орудіемъ ихъ страстей и можетъ приводить зло вмѣсто добра. Это мы видимъ изъ безчисленныхъ примѣровъ исторіи; это знаетъ по опыту каждый человѣкъ, обладающій мыслию или талантомъ; каждый такой человѣкъ

видѣть, какъ извращается его мысль и какъ его талантъ не достигаетъ своей цѣли.

Но Европа научила насъ другимъ взглядамъ, другому пониманію нашихъ обязанностей, можно сказать, новой нравственности. Она научила насъ выше всего ставить прогрессъ, движеніе, борьбу; она внушила намъ мысль, что умственные успѣхи, художественные таланты, нравственные начала—во-все не нуждаются въ нашей заботливости, въ поклоненіи и обереганіи, что они явятся сами собою, было бы только возбужденіе въ умахъ. Высшимъ нашимъ догматомъ стало само-бытное развитіе человѣчества; поэтому истинное зло для насъ только одно—сонъ и застой, а источникъ и мѣрило всякаго добра—движеніе возбужденной толпы. Мы уже не различаемъ хорошихъ и дурныхъ движеній, мы думаемъ, что всякія грубыя искаженія, которымъ подвергаются въ толпѣ чистыя идеи и высокія начала, имѣютъ глубокий смыслъ и приведутъ къ хорошему концу.

И вотъ мы устроили у себя прогрессъ, сообразный съ нашими обстоятельствами. Дѣло было очень легкое, которое не потребовало отъ насъ ни ума, ни нравственныхъ подвиговъ, ни таланта, а только небольшой сноровки. Замѣтивъ, куда идетъ наше движеніе, мы принялись не судить его, не подводить его подъ высшія начала истины и добра, а только ускорять его, только способствовать ему всѣми мѣрами. Въ рукахъ нашихъ оказались страшныя орудія: во первыхъ, далекій сіяющій авторитетъ Европы, во вторыхъ, недовольство русской жизнью, общее стремленіе къ преобразованію, во главѣ котораго стояло само правительство съ своими широкими и благотѣльными реформами. Положеніе литературы было необыкновенно выгодное, и она слѣпо и радостно принялась пользоваться этими выгодами, стала работать доставшимися ей орудіями. Она обратила ихъ на все, что могло ей противиться, что осмѣливалось быть самостоятельнымъ рядомъ съ нею. Искусство, наука, философія, критика, пониманіе русской исторіи—все это было объявлено *отвлеченностями*, дѣломъ бесполезнымъ, пока остается въ своемъ *чистомъ* видѣ, и все пострадало и погнулось подъ ударами. Такимъ образомъ, литература работала противъ себя, противъ того, въ чемъ за-

ключается ея настоящая сила. Умственный уровень ея страшно понизился. Стали писать болтливо и безтолково, заботясь только о томъ, чтобы было *горячо подано*, безпрестанно обращаясь къ страстямъ и предразсудкамъ читателей и не дѣлая почти никакихъ требованій отъ ихъ ума. Число читателей увеличилось въ огромной мѣрѣ, но литература не дѣлала никакихъ усилій возвысить ихъ, а напротивъ, сама рабски понижалась передъ ними и становилась на ихъ низкій уровень.

Нравственный характеръ литературы точно также пострадалъ и приобрѣлъ многія черты поистинѣ отвратительныя. Литература не выдержала, да и не думала выдерживать соблазна той власти, которая ей досталась. Слишкомъ искуссительна была возможность казнить и миловать; слишкомъ легко было дѣйствовать страшными орудіями, которыя очутились въ рукахъ литературы. Чтобы увлечь читателей, чтобы бороться съ противниками, не нужно было ума и таланта; простой намекъ, простое подозрѣніе, высказанное безъ всякаго основанія, дѣйствовали гораздо сильнѣе. Фанатизмъ читателей возбуждался такъ легко, что его можно было на править въ какую-угодно сторону. И вотъ мнѣнія и убѣжденія были раздѣлены на честныя и безчестныя; возраженіе называлось доносомъ; возражатели признавались крѣпостниками, угодниками властей, искателями денегъ, продающими свою совѣсть.

Но сила возлагаетъ большія обязанности на того, кто ею дѣйствуетъ; литература объ этомъ забыла. Она радовалась, что побѣды ей даются такъ легко, что величайшіе пошляки могутъ, становясь на ея сторону, брать верхъ надъ людьми самыми талантливыми и благородными. Она освятила, такимъ образомъ, то начало, что къ дѣлу позволительно стремиться всякими средствами. Задачею литературныхъ органовъ сдѣлалось—достиженіе власти надъ публикою, и борьба ихъ обратилась въ борьбу изъ-за публики, изъ-за того, кто больше привлечетъ и удержитъ читателей. Обманъ, лукавство, всѣ хитрости политическихъ партій перенесены нами въ чисто литературную область. Стихи и повѣсти раздѣляются не на талантливыя и бездарныя, а на *полезныя* и *вредныя*;

всякая мысль и всякій человѣкъ цѣнятся не по внутреннему своему достоинству, а по тому—годятся ли они для нашей цѣли, или нѣтъ.

Понятно, что съ подобными началами далеко уйти нельзя. Литература понемногу утратила свое внутреннее содержаніе, а публика начинает скучать, замѣчая, что ей не даютъ настоящей умственной пищи, что ее безпрестанно водятъ за носъ.

Общій итогъ, намъ кажется, можно выразить слѣдующими положеніями:

Недавнее литературное движеніе было возбуждено не силою самой литературы, а обстоятельствами, въ которыя было поставлено наше общество.

Литература только устремилась по тому пути, на который ее толкали эти обстоятельства; она ничего не сдѣлала, чтобы ихъ осмыслить, подняться выше ихъ и сохранить свою независимость.

Отъ этого она не могла сдѣлать ничего хорошаго, никакихъ умственныхъ и художественныхъ успѣховъ; она только подверглась извращеніямъ — неизбежному слѣдствію своего подчиненія.

Если что сдѣлано въ литературѣ въ послѣднія пятнадцать лѣтъ, то сдѣлано помимо господствовавшаго литературнаго движенія и даже вопреки ему.

III.

Нѣчто о характерѣ нашего времени.

Нѣсколько словъ по поводу одной журнальной статьи.

(«Гражданинъ». 1873, № 36).

«Вѣкъ безъ идеаловъ — таковъ приговоръ нашему времени».

«Вѣкъ безъ идеаловъ, вѣкъ безъ будущности, безъ имени, какое-то тусклое пятно въ исторіи».

Эти печальные слова взяты нами изъ *Русскаго Вѣстника* нынѣшняго года (см. *юль*, стр. 427). И сужденіе это произнесено не мимоходомъ, а составляетъ едва-ли не главную тему нѣсколькихъ статей, въ которыхъ оно поясняется разборомъ современныхъ произведеній русской литературы и повторяется въ различныхъ формахъ и развитіяхъ. «Недугъ безъидеальности, безпринципности, страшный упадокъ умственного и нравственного уровня»,—вотъ выраженія, которыя тутъ встрѣчаются на каждой страницѣ, какъ характеристика нашего времени. Приведемъ еще одно особенно настойчивое мѣсто изъ послѣдней книжки:

«Отсутствіе идеаловъ, ненависть къ идеаламъ, протестъ противъ духовнаго неравенства, протестъ ординарныхъ умовъ противъ болѣе развитыхъ организацій—вотъ исходный пунктъ броженія, грозящаго обществу общимъ пониженіемъ интеллектуальнаго и нравственного уровня. Дѣйствительно, подъ видимыми успѣхами того матеріальнаго прогресса, которымъ такъ кичатся ординарные, средніе умы, наше время таитъ въ себѣ симптомы внутренняго упадка» (*Русск. Вѣстн.* 1873, августъ, стр. 829).

Такія мнѣнія стоятъ того, чтобы на нихъ остановиться; они, безъ сомнѣнія, составляютъ выраженіе того чувства, которое давно знакомо многимъ и не разъ было выражаемо, но которому суждено все больше и больше распространяться,—чувства, что люди потеряли руководящую нить своего прогресса, что въ наше время происходитъ крушеніе старыхъ началъ жизни и не видно нарожденія новыхъ. Сознаніе того, что въ такомъ именно положеніи находится дѣло человѣческаго развитія, понемногу пробивается вездѣ, и нѣкоторыя черты этого положенія уже очень ясны.

Во первыхъ ясно, что прежнія начала утрачены не въ какомъ-нибудь отдѣльномъ обществѣ, не въ отдѣльной странѣ или литературѣ, а во всемъ просвѣщенномъ мірѣ. Внутреннее разложеніе той цивилизаціи, которая одну себя считаетъ за цивилизацію, то есть западной или европейской цивилизаціи, — вотъ явленіе, о которомъ первая мысль принадлежитъ нашимъ славянофиламъ, но которое потомъ, послѣ 1848 года, все чаще и яснѣе сознается самою Европою. Объ

этомъ много и вѣско сказано у Герцена, Прудона, Ренана, Карлейля.

Что же касается до насъ, русскихъ, то въ нашей литературѣ и въ нашемъ умственномъ настроеніи только отразилось состояніе духовной жизни Европы. Вліяніе Европы на насъ всеильно, въ особенности на тѣхъ изъ насъ, кто неспособенъ къ большой самостоятельности, слѣдовательно на массу, на большинство, почти на всѣхъ. За немногими исключеніями, которыя за то тѣмъ блистательнѣе, чѣмъ рѣже, мы слѣпо движемся по тому направленію, куда гонить насъ примѣръ Европы. Итакъ, разложеніе старыхъ началъ въ Европѣ должно было отразиться у насъ какъ бы съ физическою неизбѣжностію. Если это не такъ замѣтно съ перваго взгляда, то причина въ особенныхъ обстоятельствахъ, маскирующихъ явленіе. Наша литература и наше общество почти сплошь состоятъ изъ западниковъ, но, разумѣется, большая часть ихъ не представляетъ ничего яснаго и опредѣленнаго; безтолковая путаница идей, самыя пестрыя сочетанія разнородныхъ понятій—вотъ обыкновенное состояніе нашихъ умовъ. Но если взять людей болѣе послѣдовательныхъ и нѣсколько серьезно вдумывающихся въ свои убѣжденія, то и тутъ нужно различать два разряда. Одни—западники послѣдовательные, съ жаромъ и смѣлостію принимающіе идеи Европы; такіе умы непосредственно приходятъ къ большому или меньшему нигилизму, то есть повторяютъ въ себѣ духовное оостояніе Европы, давая ему только рѣзкія и даже своеобразныя черты въ силу того возбужденія, которое свойственно неофитамъ. Другіе—западники непослѣдовательные, старовѣры, медлители, западники на манеръ сороковыхъ годовъ. Эти люди, не имѣя жара и смѣлости нигилистовъ, стараются зато опереться на обширныя и основательныя познанія, и сюда принадлежатъ многіе люди, отличающіеся большимъ образованіемъ. Они упорно отвергаютъ нигилизмъ, упорно преклоняются передъ Западомъ и, несмотря на то, ихъ мысли и убѣжденія остаются на степени очень смутныхъ надеждъ и стремленій. Они любятъ, какъ говорится, *все прекрасное и высокое*, но поражены бываютъ страннымъ безсиліемъ, непреодолимымъ раздумьемъ въ самыхъ существенныхъ вопросахъ. Голоса этихъ людей иногда

раздаются очень громко, но ничего цѣлаго и связнаго не выходитъ изъ этихъ отдѣльныхъ умныхъ рѣчей.

Очень часто эти разумные и просвѣщенные люди стыдятъ нашу литературу ея глупостями и настойчиво указываютъ на Западъ, въ которомъ, имъ кажется, есть какія-то твердыя начала. Между тѣмъ — что мы видимъ на опытѣ, на фактѣ? Люди съ оттѣнкомъ нигилизма не только указываютъ на Западъ, но и подражаютъ ему въ своихъ писаніяхъ, усердно переводятъ его книги, горячо проповѣдуютъ его ученія. Напротивъ, западники умѣренные, несмотря на свою ученость и тонкое развитіе мыслительной способности, не знаютъ, что имъ дѣлать, не умѣютъ держать долгой проповѣди, даже не знаютъ, какія бы книги перевести для просвѣщенія русской публики. Такимъ образомъ, въ то время какъ литература нигилистическаго оттѣнка непрерывно нарастаетъ, всѣ другія направленія, существующія въ нашемъ умственномъ мірѣ, работаютъ разрозненно, изрѣдка и съ большими перерывами. У нихъ, очевидно, нѣтъ настоящаго воодушевленія и они не видятъ передъ собою прямого, яснаго пути.

Выходитъ такъ, что защитники того, что обыкновенно называется идеалами, не имѣютъ достаточно энтузіазма, тогда какъ противники идеаловъ оказываются величайшими энтузіастами. Въ этомъ случаѣ нужно ясно различать между цѣлью человѣческаго стремленія и самымъ стремленіемъ. Цѣль можетъ быть очень ничтожна и безсодержательна, а стремленіе, несмотря на то, можетъ отличаться большимъ благородствомъ, чистымъ сердечнымъ увлеченіемъ. Человѣкъ есть существо религіозное, то есть такое, которое расположено жить идеями и ради ихъ жертвовать всѣмъ остальнымъ. Этотъ идеализмъ, можетъ быть, никогда еще не былъ такъ силенъ въ людяхъ, какъ въ настоящее время, хотя именно теперь идеалы утрачиваютъ свое содержаніе и исчезаютъ. У очень многихъ религіи нѣтъ, а религіозная потребность жива. Люди обезпеченные матеріально, огражденные отъ всѣхъ опасностей, тонко развитые, но не видящіе передъ собою ничего святаго, чему бы можно принести въ жертву свои силы и свою жизнь, начинаютъ мучиться страшнымъ душевнымъ голодомъ, который до тѣхъ поръ не даетъ имъ покоя, пока они не возведутъ

чего-нибудь въ идеаль, не дадутъ исхода своей потребности энтузіазма и самопожертвованія. Такимъ образомъ, въ нашъ вѣкъ происходятъ огромныя и постоянныя волненія, страстныя, пламенныя, кровавыя, а между тѣмъ дѣйствительныя идеалы все тускнѣютъ и тускнѣютъ.

Если возьмемъ самаго ординарнаго образованнаго чело-вѣка нашего времени, то мы найдемъ въ немъ стремленія, которыя иногда очень воодушевляють его и замѣняютъ ему цѣль жизни, заступаютъ мѣсто всякихъ идеаловъ. Таковы: 1) разрушеніе предразсудковъ, 2) распространеніе грамотности, чтенія и вообще просвѣщенія, 3) возможно-большая свобода, 4) устраненіе болѣзней и другихъ физическихъ бѣдствій, 5) нарушеніе матеріальнаго благосостоянія, 6) болѣе равномѣрное его распредѣленіе, и т. д. Всѣ эти идеи относятся къ *заботѣ объ общемъ блазѣ*, и потому каждая можетъ стать предметомъ безкорыстнаго увлеченія, можетъ внушать почти религіозный фанатизмъ, которымъ и питаются души чело-вѣческія. Между тѣмъ обманъ, посредствомъ котораго въ этихъ случаяхъ заглушается голосъ сердца, часто очень ясно видѣнъ. Тотъ, кто разрушаетъ предразсудки, обыкновенно не понимаетъ ихъ смысла и не знаетъ, что поставить на ихъ мѣсто. Кто хлопочетъ о школахъ и просвѣщеніи, большею частію не знаетъ, чему учить въ этихъ школахъ и что должно составлять основу просвѣщенія. Заботящіеся о свободѣ даже не думаютъ, для чего имъ нужна свобода, куда и на что ее слѣдуетъ употреблять. Люди, ревностно спасающіе другихъ отъ болѣзней и смерти, не умѣютъ ничего сказать на вопросъ, какая же цѣль жизни и здоровья, о которыхъ они такъ хлопочутъ. И тѣ, которые заботятся о матеріальномъ благосостояніи и его равномѣрномъ распредѣленіи, часто собственнымъ поведеніемъ доказываютъ, что они презирають матеріальное благосостояніе, что ограничиться заботами о немъ для себя они считали бы величайшимъ стыдомъ; для нихъ непремѣнно нужна прекрасная роль жертвы, и они никакъ не догадываются, что и каждый изъ тѣхъ, кого они стремятся облагодѣтельствовать, тоже пожелаетъ чего-нибудь лучшаго, что не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ чело-вѣкъ.

Такимъ образомъ, въ наше время цѣль, дѣйствительное

блага, смѣшивается со средствами, и люди, не видя цѣли, къ которой могли бы стремиться съ религіознымъ энтузіазмомъ, переносятъ этотъ энтузіазмъ на средства, которые почему-нибудь имъ кажутся непремѣнно способствующими цѣли, преимущественно на средства отрицательныя, на устраненія помѣхъ къ неизвѣстному и все больше исчезающему въ туманѣ благу.

Понятно, что изъ такого смѣшенія понятій и стремленій должно выйти много дурного, что дурное въ концѣ концовъ даже непремѣнно должно перевѣсить хорошее. Если неясна общая и главная цѣль, то частныя стремленія непремѣнно войдутъ въ противорѣчіе съ нею, да не могутъ примириться и между собою, такъ такъ примиреніе ихъ возможно только въ болѣе высокомъ и господствующемъ началѣ. Просвѣщеніе нарушаетъ равенство, равенство не согласуется съ свободою, свобода противорѣчитъ равномѣрному распредѣленію благосостоянія, на мѣсто старыхъ предразсудковъ являются новыя, вмѣсто суевѣрія преданій является суевѣріе науки, и обыкновенно противники фанатизма сами суть ярые, слѣпые фанатики.

Если мы скажемъ, какъ признаетъ, хотя и непоследовательно, Джонъ Стюартъ Милль, что *душевное благородство* есть высшая цѣль человѣка, то ясно увидимъ, что современные идеалы ведутъ къ безпрестанному нарушенію этого благородства. Нѣтъ преступленія или обмана, для которыхъ нынѣшняя Европа не находила бы извиненія, когда они совершаются не ради личной цѣли. Общественная совѣсть, чувствуя свою собственную слабость, оправдываетъ самыя крайнія злодѣйства, если они совершены подъ вліяніемъ политическаго или соціальнаго фанатизма. Общая норма осталась та же: фанатизмъ до самопожертвованія, до мученичества—признается благороднымъ дѣломъ; но такъ какъ нѣтъ ясныхъ цѣлей для такого религіознаго настроенія души, то и извиняются всевозможныя его блужданія и искаженія.

У насъ эта болѣзнь духовнаго развитія отражается, можетъ быть, яснѣе, чѣмъ она видна въ самой Европѣ, ея источникъ. Нашъ нигилизмъ имѣетъ явнымъ образомъ религіозное, пуританское, даже прямо аскетическое настроеніе. У

насъ не существуетъ развратной литературы, воспѣвающей роскошь и распутныя наслажденія. Наши нигилистки обрѣзываютъ себѣ волосы, надѣваютъ черное платье и кожаный поясъ, точно онѣ поступаютъ въ монахини. И если при слабости нашихъ умовъ, при нашемъ маломъ просвѣщеніи исповѣдуются и дѣлаются величайшія дикости, то покорность идеѣ во всякомъ случаѣ должна быть признана чистою, благородною чертою. Эти малыя и темныя души, очевидно, любятъ свѣтъ и готовы ему слѣдовать. Но понятно, какой просторъ въ этихъ потемкахъ можетъ явиться и для дурныхъ влеченій, и сколько извращенія можетъ быть порождено правиломъ, что *цѣль освящаетъ средства*, — истиннымъ правиломъ всякаго фанатизма.

IV.

Текущая минута.

(«Гражданинъ». 1874, № 1).

Миръ и тишина въ русской литературѣ! О мирномъ настроеніи свидѣлствуютъ хотя бы нашъ сборникъ «*Складчина*». Въ немъ соединилась значительная доля литературы, и безъ сомнѣнія это соединеніе не совершилось бы такъ легко, если бы фанатизмъ, раздѣляющій наши партіи, господствовалъ въ прежней своей силѣ. Даже и теперь двѣ газеты сдѣлали хотя очень сдержанные, но неблагоклонные отзывы о сборникѣ; но читатели должны видѣть въ этомъ только слабые остатки погасающаго жара, только воспоминаніе о кипѣвшей когда-то враждѣ.

Намъ представляется, кромѣ того, что теперь на два на три мѣсяца значительная доля литературы, участвующая въ сборникѣ, въ силу этого самаго участія должна оставаться въ мирныхъ отношеніяхъ, что какъ-будто на два на три мѣсяца заключено у насъ перемиріе. Нельзя же быть товарищами и сотрудниками въ одномъ изданіи и въ то же время преслѣдовать и избивать другъ друга.

Итакъ, на два на три мѣсяца мы обезпечены отъ ярой полемики. Но вкусъ къ полемикѣ вообще уже давно ослабѣваетъ и въ настоящую минуту почти погасъ. Бывало, въ каждой книжкѣ журнала совершалось избіеніе какого-нибудь литературнаго старца или литературнаго младенца, и безъ такого избіенія книжка не считалась занимательною. Бывало, въ каждой критической статьѣ не добромъ поминались всѣ враги того журнала, въ которомъ писалась статья, и даже всѣ равнодушные къ нему, такъ какъ правиломъ было: *кто не съ нами, тотъ противъ насъ*. Нынче не то. Нынче даже фельтонисты отреклись отъ веселой манеры пересыпать свои статейки всякими именами, перестали заниматься тѣмъ, что имѣло техническое названіе *журнальнаго мая*, и приняли видъ болѣе степенный и глубокомысленный.

Въ послѣднее время старые полемическіе приемы (мы не хотимъ повторить неприличнаго слово *лай*) были въ ходу только, кажется, относительно одного журнала, именно *Гражданинъ*. На *Гражданинъ* сыпалась брань, напоминавшая своею рѣзкостію и обиліемъ самыя оживленныя времена нашей литературы. Фельетонисты, уже привыкшіе держать себя съ приличіемъ и серьезностію относительно другихъ изданій, какъ только заходила рѣчь о *Гражданинѣ*, впадали въ тонъ *Петербургской Газеты*, *Дѣла* и другихъ подобныхъ изданій, великодушно хранящихъ преданія своей лучшей поры и потому продолжающихъ ругаться такъ же, какъ ругались литераторы въ 1864 году—вѣчной памяти. Очевидно, *Гражданинъ* былъ только предметомъ, дававшимъ поводъ для изліянія послѣднихъ остатковъ той полемической ярости, которая такъ долго господствовала и высшее развитіе которой нужно полагать въ 1864 году. Но вотъ мы видимъ не безъ изумленія, что *Гражданинъ*, наконецъ, перестаетъ возбуждать полемическую жилку. Послѣдніе мѣсяцы прошлаго года прошли для него очень спокойно, если сравнить ихъ съ первыми. Миръ, рѣшительный миръ!

Но не только миръ, а и всяческая тишина. Направленіе различныхъ журналовъ осталось различное и никакихъ переменъ, или измѣнъ, въ этомъ отношеніи мы указать не можемъ. Но каждый журналъ, какъ говорится, очень *слабо*

проводитъ свое направленіе. Мы не помнимъ, чтобы въ прошломъ году гдѣ-нибудь явились статьи, достойныя въ этомъ отношеніи вниманія, или даже хотъ только возбудившія вниманіе. Исключеніе составляютъ, можетъ быть, двѣ статьи *Н. Константинова* объ Аeonѣ, явившіяся въ №№ 2 и 4 *Русскаго Вѣстника* и содержащія нѣсколько очень свѣжихъ и живыхъ мыслей. Но статьи эти вовсе не подходятъ къ направленію того журнала, въ которомъ печатались, да и писаны отчасти слишкомъ легко, а отчасти слишкомъ хорошо, чтобы броситься въ глаза. Обыкновенное же содержаніе журналовъ составляли статьи, въ которыхъ не высказывалась мысль сосредоточенная и опредѣленная, а разсматривался предметъ болѣе или менѣе отдаленный отъ общихъ вопросовъ, и только кое-гдѣ проглядывали начала, исповѣдуемыя авторомъ.

Такому спокойному состоянію журналистики вполне соответствуетъ (мы не говоримъ, что оно есть источникъ и первая причина) и то обстоятельство, что уже давно не слышно о предостереженіяхъ, по крайней мѣрѣ о такихъ, которыя бы интересовали литературу и публику. Правительство, очевидно, находитъ, что литература держитъ себя тихо, что она не можетъ возбуждать опасеній относительно спокойствія общественной мысли. Положеніе установилось, отношенія опредѣлились, и если мы будемъ осторожны, то мы можемъ долго двигаться по наѣзженной колесѣ, не подвергаясь большиму потрясеніямъ.

На тишину въ литературѣ указываетъ еще одинъ очень явственный признакъ. Съ приближеніемъ новаго года обыкновенно предпринималось изданіе новыхъ журналовъ. Но нынѣшній годъ, несмотря на кой-какіе носившіеся слухи, не принесъ намъ никакой новинки этого рода, то есть не появилось никакого изданія, которымъ бы интересовалась литература или публика. Все остается по прежнему, и журналы перестали даже писать объявленія, которыми, бывало, извѣщали публику о своемъ внутреннемъ развитіи, объ измѣнившемся настроеніи умовъ общества и о новомъ пониманіи задачъ литературы. Время быстрого прогресса и всякихъ пере-

мѣнѣ прошло. Теперь, просто, пишутъ: «будемъ-де издавать на прежнихъ основаніяхъ, съ прежними сотрудниками».

И книгъ въ настоящую минуту выходитъ меньше прежняго. Особенно замѣтно уменьшеніе числа переводовъ; только романы переводятся все въ большемъ и большемъ количествѣ, и въ прошломъ году нѣмецкій романистъ г. *Самаровъ* читался, можно сказать, цѣлою Россією.

При такомъ положеніи дѣлъ, если мы вообще зададимъ себѣ вопросъ, чѣмъ же питаются нынче умы публики, то отвѣчать будетъ не легко. «Въ головѣ средняго русскаго образованнаго человѣка долженъ существовать порядочный сумбуръ» («Отѣч. Зап.» 1873, № 12, стр. 248). Такъ говоритъ г. Михайловскій въ своей интересной, но мудреной статьѣ о Штраусѣ. *Средній* человѣкъ, у котораго г. Михайловскій признаетъ «сумбуръ» въ головѣ, означаетъ здѣсь большинство нашихъ образованныхъ людей, всю ихъ главную массу. Мы совершенно согласны съ этимъ сужденіемъ. Публика нынче нѣсколько потерялась и не чувствуетъ въ себѣ опредѣленныхъ и живыхъ умственныхъ интересовъ. Она занимается всего больше своимъ обыкновеннымъ чтеніемъ, т. е. газетами и романами. Газеты, какъ извѣстно, есть самый легкій родъ чтенія; газеты читаются и тѣми, кто никогда не думаетъ ни о какой наукѣ или литературѣ, даже тѣми, для которыхъ романъ, требующій все-таки того, чтобы вы помнили предыдущую страницу и не путали имена дѣйствующихъ лицъ, — кажется чтеніемъ несвоснымъ по своей трудности.

Но и романы очень усердно читаются, очень усердно пишутся и возбуждаютъ довольно живые толки. Какъ-будто воскресаетъ художественный интересъ. На нынѣшнихъ романахъ лежитъ однакоже явный слѣдъ вліянія недавно господствовавшей школы. Они пишутся съ большою небрежностію и поспѣшностію и всегда занимаютъ больше мѣста, чѣмъ имъ слѣдовало бы. Если читать книги внимательно, то, вѣдь, можно точно опредѣлить — медленно или быстро писалась книга, много или мало авторъ думалъ надъ каждою страницей. Если очень мало, то читателю обыкновенно бываетъ обидно. Г-жа *Смирнова* въ своемъ «Попечителѣ учебнаго округа»

такъ торопится, что не можетъ даже разсказывать въ порядкѣ и на десяти страницахъ безъ всякой нужды пять разъ забываетъ впередъ и возвращается назадъ. Признаемся, мы въ этомъ не нашли ничего остроумнаго.

Да и куда намъ торопиться? Время теперь тихое, порывы прогресса приостановились, волненіе идей улеглось. Теперь самое время писать «съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой». По нѣмецкой теоріи прогресса, какъ извѣстно, все идетъ къ лучшему; всякія задержки, неудачи, паденія ведутъ къ новому, болѣе глубокому движенію впередъ. Это, конечно, справедливо, но не безусловно; это справедливо только для людей умныхъ, которые помнятъ, что съ ними сдѣлалось, и продолжаютъ работать умомъ. Если же мы будемъ спать, то потомъ опять примемся за старую исторію, за которую уже принимались десять разъ, и выйдетъ у насъ, какъ и прежде, толченіе на одномъ мѣстѣ, а не прогрессъ.

V.

Матеріалы для характеристики современной русской литературы.

I. Литературное объясненіе съ Н. А. Некрасовымъ. М. А. Антоновича.—II. Post-scriptum.—Содержаніе и программа «Отечественныхъ Записокъ» за прошлый годъ. Ю. Г. Жуковского. Петербургъ. 1869 г.

Литературное паденіе гг. Антоновича и Жуковского.—Дополненіе къ матеріаламъ для характеристики современной русской литературы. Ив. Рождественскаго. С.-Петербургъ. 1869 г.

(«Заря». 1869 г., № 5).

Свобода, свобода!... какъ всѣ любятъ это слово, какъ воспѣваютъ и превозносятъ его на всѣ лады, а между тѣмъ, какъ мало людей, которые понимаютъ истинный смыслъ свободы, любятъ ее искренно и дѣйствительно къ ней стремятся. Большею частію, рѣчи и мысли о свободѣ оказываются величайшею фальшью; оказывается, что люди, на словахъ пламенно жаждущіе свободы, въ дѣйствительности съ упрямствомъ

и терпѣніемъ вола несутъ на себѣ какое-нибудь добровольное ярмо и даже вмѣняютъ себѣ въ честь это рабское служеніе, гордятся и превозносятся своимъ ярмомъ. Таково общее правило: люди рабствуютъ, идолопоклонствуютъ, пресмыкаются; таковъ удѣлъ обыкновенныхъ душъ, и потому да не хвалится никто, что онъ вполнѣ свободенъ, а каждый пусть бережется, пусть трудится надъ собою, чтобы завоевать хоть малую долю свободы. Только избранныя души имѣютъ и силу для дѣйствительной свободы, и живую, неподдѣльную ея потребность. У нихъ намъ нужно учиться въ этомъ трудномъ дѣлѣ. Послушаемъ Пушкина; вотъ одно изъ самыхъ послѣднихъ его стихотвореній:

Не дорого цѣню я громкія права,
Отъ коихъ не одна кружится голова.
И не рошщу о томъ, что отказали боги
Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги,
Или мѣшать царямъ другъ съ другомъ воевать;
И мало горя мнѣ—свободно ли печать
Морочить олуховъ, или чуткая цензура
Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура.
Все это видите ль—*слова, слова, слова!*
Иныя, лучшія мнѣ дороги права,
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...
Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа
Не все-ли намъ равно? Богъ съ ними!... Никому
Отчета не давать, себѣ лишь самому
Служить и угождать; *не надѣзаетъ ливреи,*
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
.....
Вотъ счастье! вотъ права!

Итакъ, самая дорогія права, самая лучшая свобода состоятъ въ томъ, чтобы не только не гнуть шеи, но не гнуть также своей *совѣсти* и своихъ *помысловъ*. Свою мысль, свою совѣсть—вотъ что человѣкъ долженъ всего больше беречь отъ порабощенія.

То ли мы видимъ обыкновенно? То ли мы видимъ въ области, гдѣ эти начала, повидимому, всего больше должны встрѣчать приложенія, гдѣ самое дѣло состоитъ въ выраженіи того, что человѣку внушаетъ его мысль и совѣсть, т. е. въ литературѣ?

Литературу нашу нужно признать глубоко-развращенною, если взглянуть на нее съ этой точки зрѣнія. Ибо наиболѣе значительная часть ея живетъ одною фальшью, сознательно и постоянно кривить душою. Пишущіе—самымъ позорнымъ образомъ отказываются отъ руководства собственной совѣсти и собственнаго ума и жертвуютъ ими нѣкоторымъ идоламъ—направленію, общепринятому мнѣнію, журналу, какому-нибудь литературному дѣятелю. Въ этой части литературы не раздается ни одного искренняго, прямаго голоса; все лукавитъ, іезуитствуетъ, прислуживается, все покорно гнетъ передъ чѣмъ-нибудь или передъ кѣмъ-нибудь свою совѣсть и свои помыслы.

Вотъ печальное явленіе, о которомъ мы хотимъ побесѣдовать съ читателями. Никогда оно еще не достигало такой степени своего безобразнаго развитія, какъ въ настоящую минуту. и книжка гг. Антоновича и Жуковскаго представляетъ, очевидно, реакцію, вызванную этимъ крайнимъ развитіемъ. Лжи накопилось столько, что наконецъ сознаніе ея начинаетъ прорываться наружу.

Исторія возникновенія и разрастанія этой лжи чрезвычайно проста и не потребуетъ для своего пониманія большого труда отъ историка нашей литературы. Главная причина, развращавшая нашу литературу, искажавшая ея явленія, заключалась въ гнетѣ цензуры; дѣйствія этой причины обнаружили у насъ въ огромныхъ размѣрахъ и въ очень ясныхъ чертахъ.

Первое и прямое дѣйствіе цензуры было — возбужденіе въ пишущихъ борьбы противъ себя, возбужденіе непрерывныхъ попытокъ провести въ печати то, что противорѣчило цензурнымъ правиламъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ развитіи у насъ различныхъ крайнихъ мнѣній не мало участвовала та простая игра человѣческихъ чувствъ, по которой насъ тянетъ ко всему запрещенному.

Каковы бы впрочемъ ни были источники нашего противуцензурнаго или либеральнаго настроенія, цензура, сама того не вѣдая, служила ему покровительствомъ. Ибо за угнетаемыхъ стало общество. Сочувствіе общества было прямо пропорціо-нально нецензурности писателя. Чѣмъ яснѣе было, что пишу-

пцій безпрестанно борется съ цензурою, что онъ стѣсненъ въ своихъ выраженіяхъ, тѣмъ ревностиѣ общество принимало его подъ свою защиту. Тѣсня и обрѣзывая писателя, цензура тѣмъ самымъ рекомендовала его обществу; бороться противъ цензуры стало выгодно, потому что этимъ возбуждалось вниманіе и привлекались читатели.

Это не прямое покровительство, оказываемое цензурою извѣстному направленію, имѣло чрезвычайно большую силу. Нѣкоторыя явленія его конечно всѣмъ памяты. Такъ, напримеръ, въ обществѣ пользовались особеннымъ успѣхомъ тѣ писанія, которыя наполнены были намеками, мыслями недосказываемыми, а только подразумеваемыми. Темное, инсказательное предпочиталось ясному. Читатель постоянно читалъ между строками и часто придавалъ глубокой и таинственный смыслъ самымъ невиннымъ вещамъ.

Что же вышло изъ этого? Явились люди, которые постоянно давали понять читателю, что они обладаютъ глубочайшей мудростію, рѣшеніемъ труднѣйшихъ и важнѣйшихъ вопросовъ, но что цензура не даетъ имъ всего этого высказать. Мало свѣдущіе и склонные къ благоговѣнію читатели простодушно вѣрили въ эту мудрость, показываемую имъ издали, въ урывкахъ и намекахъ. Такимъ образомъ, возникали и поддерживались въ общественномъ мнѣніи авторитеты, которыхъ безъ цензуры, можетъ быть, вовсе не существовало бы. Цензура придавала многозначительный и важный видъ тому, что само по себѣ не имѣло никакого значенія. Какъ бы позорно провалились многіе, драпировавшіеся въ глубоко-мысленное молчаніе, если бы имъ позволено было высказаться прямо, показать лицомъ свою скрываемую мудрость!

Невольное покровительство цензуры обнаруживалось и въ томъ случаѣ, если противъ мнѣній, которымъ она давала, такимъ образомъ, ходъ въ обществѣ, возставали и принимались бороться писатели другихъ направленій. «Вы противъ насъ?» восклицали мнимо-угнетаемые, но дѣйствительно-покровительствуемые писатели, «значить, вы за одно съ цензурою, значить, вы хотите донести на насъ!» И что бы ни говорилось, какіе бы разумные доводы ни приводились, они продолжали

твердить своимъ противникамъ: «вы доносчики, вы сторонники цензуры!»

Таковъ естественный ходъ вещей, такъ это неизбежно должно было быть по свойству души человѣческой. И все это было до извѣстной степени похвально и одобчительно, пока люди дѣйствовали въ простотѣ души, въ жару искренняго увлеченія. Но всякая сила даетъ возможность злоупотреблять этою силою, и эти злоупотребленія вскорѣ появились.

Подъ непрямымъ покровительствомъ цензуры у насъ разрослась огромная литература, которая была преисполнена самыхъ либеральныхъ и передовыхъ идей, въ которой каждый писатель дѣлалъ передъ публикою видъ, что онъ исповѣдуетъ гуманнѣйшія и чистѣйшія начала, что онъ до тонкости чувствуетъ всѣ бѣдствія человѣчества и готовъ всѣ силы употребить на борьбу съ ними. Подъ покровомъ цензуры эти люди внушали читателямъ о себѣ самое высокое мнѣніе, рисовались передъ публикой въ самомъ выгодномъ свѣтѣ, какой только могли придумать. Это были такіе гонители всякаго зла, обличители всякой неправды, проповѣдники тончайшей нравственности, какихъ еще свѣтъ не производилъ.

Понятно, что подобное самообольщеніе и обольщеніе публики долго продолжаться не могло. Эта гуманнѣйшая и либеральнѣйшая литература скоро оказалась не какимъ-либо прочнымъ результатомъ умственной жизни, не плодомъ дѣйствительнаго развитія, а фальшивымъ явленіемъ, миражемъ, дымомъ. Обнаружилось это такъ, что проповѣдники нравственности вдругъ оказались сами безнравственными, ревнители гуманности не гуманными, поборники просвѣщенія—невѣждами. Въмѣсто прекрасной литературы, преисполненной возвышенныхъ стремленій, у насъ оказалась литература, только прикидывавшаяся гуманною и либеральною.

Дѣло это прекрасно объясняетъ г. Жуковский.

«Литературное сословіе», говоритъ онъ, «въ массѣ не имѣло никакого повода признавать себя нравственнымъ, цивилизованнымъ другихъ, словомъ, выдѣлять себя изъ остальныхъ. Какъ въ обществѣ вообще русскій человѣкъ былъ поглощенъ своими личными спекуляціями, какъ здѣсь онъ не отличался ни особеннымъ образованіемъ, ни доблестію, такъ и въ лите-

ратурномъ сословіи онъ не долженъ былъ превосходить другихъ нравственными свойствами и развитіемъ».

«Нужно прибавить, что даже литературная карьера не особенно привлекала людей съ познаніями. Поэтому, за исключеніемъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ личностей, *литература должна была*, хотя и въ новой для нея роли, *отразить общій градусъ невѣжества, доблести, пороковъ*, и проч.»

«Поэтому и тутъ прежде всего, рядомъ съ людьми, искренно преданными дѣлу улучшенія, долженъ былъ явиться, съ одной стороны, *либерализмъ незнающій*, и съ другой—*либерализмъ спекулирующій*,—либераль какъ невѣжество, и либераль какъ спекуляція. Тотъ и другой стали, дѣйствительно, замѣчаться въ нашей литературѣ очень рано, почти такъ же рано, какъ началось либеральное движеніе вообще, и съ тѣхъ поръ число ихъ возрастало замѣтнымъ образомъ».

«Въ свое время, кажется, одинъ г. Краевскій, да букинисты съ толкучки догадывались, что *либерализмъ можетъ давать доходъ въ литературѣ*. Теперь явились подражатели, которые вступили въ дѣло съ полнымъ сознаниемъ своего успѣха; этотъ успѣхъ первыхъ поощрялъ другихъ, и издательская спекуляція охватила цѣлый сонмъ людей своею модой. Начавшись съ журналовъ, она перешла въ переводныя изданія, и сюда-то направились всѣ гроши, которые не успѣли найти себѣ помѣщенія въ оригинальной литературѣ».

«Прежніе издатели дубочныхъ или соблазнительныхъ книгъ могли, по ихъ мнѣнію, теперь издавать только книжки естественнаго содержанія, или радикальнаго политическаго».

«Не къ чести этихъ людей нужно, конечно, сказать, что они *перепортили въ русскомъ переводѣ много превосходныхъ иностранныхъ книгъ* и, такимъ образомъ, перепорченными изданіями загородили путь неиспорченнымъ».

«То же почти приходится сказать о подражателяхъ другого рода, о подражателяхъ не литературнаго гроша, а литературной мысли. Тутъ точно также успѣхъ знающихъ лицъ, которыя получили возможность заговорить о болѣе живыхъ предметахъ, соблазнилъ многихъ».

«Но такъ какъ публицистика въ тѣсномъ смыслѣ трактуетъ о предметахъ, требующихъ извѣстной умственной под-

готовки, то еще болѣе набѣжало *моралистовъ философовъ и литературныхъ критиковъ*, которые находили возможнымъ довольствоваться болѣе *скудными познаніями*.

«Каждый изъ нихъ, какъ истый снигирь, подхватилъ какую-нибудь нотку и пошелъ на всю жизнь развивать ее по своему на всѣ литературные лады. Пока *въ модѣ было только обличать и нести наружу всякій соръ*, всякій несь соръ. Когда дѣло дошло до болѣе философскихъ вещей, каждый считалъ нужнымъ выдумать какую-нибудь сверхъестественную собственную философію. Но такъ какъ все, желавшее говорить, не могло умѣститься въ литературѣ, то явился сонмъ литераторовъ, разносившихъ свои и чужія мысли по своимъ знакомымъ, комментируя ихъ при этомъ конечно, какъ слѣдуетъ».

«Благодаря всему этому, стали всходить неожиданные ростки, слагаться философскія сентенціи, *переступавшія предѣлы всякой строгости и даже всякаго смысла*».

«Пошли въ ходъ сентенціи въ родѣ того, что *заниматься искусствомъ подло*, кончившія чуть-ли не тѣмъ, что подло трудиться».

«Весь этотъ *возмутительный и капитальный вздоръ, безнравственный вздоръ*, могъ приводить только въ озлобленіе людей со смысломъ. Хуже всего было то, что эти самыя измыслители подобныхъ нравственныхъ пошлостей *при первомъ допросѣ* о томъ, откуда они занялись такимъ вздоромъ, *трусили, отрекались*, валили все съ своей больной головы на здоровую».

«Спрашивается, какое чувство было здѣсь торжествующимъ, какое чувство *руководило всѣмъ процессомъ* и мѣшало либерализмъ съ возмущающею пошлостью? Что, кромѣ *лицемія и рабства передъ модой минуты*, могло объяснить такое явленіе?»

«Только не зная, какъ и куда идти, боясь постоянно оступиться, показаться нелиберальнымъ, нашъ либераль могъ попадать въ тѣ непроходимыя дебри, въ которыхъ мы могли его наблюдать. Общество очень хорошо понимало, что оно

можетъ и что нѣтъ, какія добродѣтели ему подъ силу; но *оно конфузилося*, отвѣчало утвердительнымъ покачиваніемъ головы и, наконецъ, доходило чуть-ли не до того, что начинало стыдиться и отпираться отъ того, что оно любитъ искусство, носить въ себѣ еще долгу семейныхъ добродѣтелей и прочее,—словомъ, *на вздорныя и невѣжественныя выходки лицемѣрнаго празднословія оно отвѣчало такимъ же лицемѣріемъ*» (Матеріалы, стр. 145—149).

Такова картина, нарисованная г. Жуковскимъ и, какъ согласится читатель, совершенно вѣрная. Лицемѣріе въ литературѣ и лицемѣріе въ обществѣ—вотъ главная черта картины. Невѣжественная литература и общество, лишенное твердыхъ началъ и ясныхъ понятій, прикидываются либеральными и просвѣщенными. Либерализмъ сдѣлался идоломъ, какимъ-то фантастическимъ божествомъ, во имя котораго люди, успѣвшіе попасть къ нему въ жрецы, получали большую силу. Роль жрецовъ досталась литераторамъ, и мы видѣли, какъ обстоятельства способствовали имъ утвердиться въ этой роли, окружить себя ореоломъ жречества. Но такъ какъ, по замѣчанію г. Жуковскаго, литераторы не были нисколько нравственнѣе и цивилизованнѣе другихъ членовъ общества, то и начались всякія безобразія, всякія злоупотребленія своею силою.

Съ этой точки зрѣнія, нынѣшняя литература представляетъ самое плачевное зрѣлище. Не мало у насъ пишущихъ людей, которые, принимаясь за перо, вовсе не думаютъ выражать то, что имъ внушаетъ умъ и совѣсть. Каждый изъ нихъ, прежде всего, исполненъ страха передъ своимъ невѣдомымъ божествомъ, каждый пуще всего на свѣтъ боится, по замѣчанію г. Жуковскаго, какъ-бы *не оступиться, не показаться нелиберальнымъ*. И потому отъ первой строчки до послѣдней онъ только и дѣлаетъ, что либеральничаетъ, да либеральничаетъ. вмѣсто своихъ мыслей, если даже у него такія и имѣются, онъ повторяетъ и пережевываетъ чужія мнѣнія; вмѣсто своихъ чувствъ, онъ выражаетъ чувства, какихъ никогда не питалъ, но какія слѣдуетъ питать жрецу извѣстнаго божества. Онъ не пишетъ, а въ полномъ смыслѣ сочиняетъ, и часто никакая реторика, никакія высокопарныя

оды и приторная идиллія не могут по фальшивости равняться съ этими неестественными писаніями.

Прибавьте къ этому, наконецъ, прямую ложь, т. е. сознательное утаиваніе и искаженіе истины. Правила этой лжи извѣстны: своихъ нужно хвалить, нужно умалчивать или замазывать все, что можетъ поколебать ихъ авторитетъ; чужихъ нужно бранить, употребляя для этого всяческія средства и приемы. Что касается до умалчиванія грѣховъ своей братіи и расточенія преувеличенныхъ похвалъ, то съ этимъ еще можно бы было помириться; но поистинѣ отвратительное зрѣлище представляла брань на противниковъ: они тотчасъ же объявлялись врагами прогресса, свободы, просвѣщенія, донощиками, искателями денегъ и выгодныхъ мѣстъ. Будущій историкъ литературы конечно замѣтитъ, какъ много самой щекотливой деликатности было, напротивъ, обнаружено людьми, пытавшимися возстать противъ *возмутительнаго и безнравственнаго вздора*, о которомъ говоритъ г. Жуковскій. Никто не рѣшался назвать этотъ вздоръ безнравственнымъ или вреднымъ; цензура была общою бѣдою литературы, и потому ни одинъ пишущій не осмѣливался накликать ее на другого. Вопросы сводились обыкновенно на почву логики, эстетики, научныхъ свѣдѣній, и проповѣдникамъ вздора доказывалось только то, что онъ говоритъ нелѣпости. Но какъ бы ни были тонки и осторожны эти выраженія, на нихъ былъ одинъ отвѣтъ: *вы на насъ доносите!* Такимъ образомъ цензура, это общее зло для всѣхъ литературныхъ партій, была обращена одною изъ партій въ орудіе противъ другихъ, и въ употребленіи этого орудія партія дошла до величайшихъ крайностей. Нѣкоторое время существовалъ положительно литературный *терроръ*, передъ властію котораго отступали не одни пошлые люди. Либеральная печать имѣла огромную силу въ обществѣ и могла, повидимому, заклеить навсегда челоуѣка, имѣвшаго неосторожность ей не понравиться. Но когда масса лжи превзошла всякую мѣру, когда непрерывныя обвиненія въ измѣнѣ либерализму, непрерывныя доносы обществу посыпались безъ конца, безъ толку, безъ всякой совѣсти, тогда терроръ самъ собою утратилъ силу; люди, составлявшіе по случайному положенію, въ кото-

рое они попали, нѣкотораго рода *комитетъ общественной безопасности*, оказались, какъ замѣчаетъ г. Жуковскій, ничѣмъ не лучше другихъ по своимъ нравственнымъ свойствамъ, и обнаружили свои недостатки тѣмъ яснѣе, чѣмъ большую имѣли власть и чѣмъ большія питали притязанія.

Вотъ нѣкоторыя указанія на то, какъ у насъ образовалась фальшивая, испорченная литература, въ которой люди безпрестанно прикидываются не тѣмъ, что они есть, гдѣ лицемерно совершается игра въ какія-то высокія начала, гдѣ лукавство и неискренность сдѣлались общимъ правиломъ. Очевидно, дѣятели этой литературы попали въ фальшивое положеніе, соблазнились возможностью захватить власть не по силамъ, и теперь всѣми неправдами отстаиваютъ свое значеніе, оказавшееся несостоятельнымъ.

Чтобы яснѣе было дѣло, замѣтимъ, что въ противоположность этой литературѣ у насъ существуетъ другая литература, болѣе нормальная и естественная, служащая выраженіемъ не напускныхъ, а дѣйствительныхъ чувствъ и мыслей. Эту литературу, которую нужно назвать настоящей, г. Жуковскій называетъ *нелиберальной* и центромъ ея считаетъ Москву точно такъ, какъ центръ либеральной или фальшивой литературы есть Петербургъ.

«Съ 1861 года, говоритъ г. Жуковскій, съ возвышеніемъ московской журналистики, начинается разростаніе другого рода литературы—*нелиберальной*. Эта литература груба и безцеремонна, но она на столько же смѣла передъ либерализмомъ и откровенна, на сколько труслива въ своемъ смыслѣ предыдущая. За ней остается поэтому во всякомъ случаѣ то несомнѣнное преимущество, что *она служила болѣе вѣрнымъ отраженіемъ того общества, съ которымъ имѣла дѣло*. Въ ней это общество является за-просто, *безъ прикрасъ, со своимъ настоящимъ нравственнымъ уровнемъ*, съ своими ничѣмъ не украшенными желаніями, стремленіями и взглядами; оно не хвалится никакими особенными добродѣтелями, ни доблестями, а прямо объясняетъ себя».

«Я лучше люблю это, хотя бы мнѣ эта литература могла казаться циничной. Но я предпочитаю цинизмъ *либе-*

ральному ханжеству, потому что онъ никого не обманываетъ» (Матеріалы, стр. 130).

Итакъ, съ одной стороны, либеральное ханжество, похвальба разными добродѣтелями и доблестями, всякаго рода прикрасы, румяна и бѣлила при появленіи передъ публикою; съ другой стороны, выраженіе дѣйствительныхъ искреннопитаемыхъ *желаній, стремленій и взглядовъ*. Мы не станемъ спорить съ г. Жуковскимъ на счетъ того—либеральна или не либеральна московская литература; для насъ достаточно того признанія, что это литература *живая*, настоящая, въ противоположность фальшивой петербургской.

Разница между той и другой литературой указана еще г. Жуковскимъ въ одной особенной и весьма яркой чертѣ.

«Петербургскій издатель-редакторъ, говоритъ онъ, представлялъ изъ себя нѣчто особенное. Чуждый вовсе литературы, онъ былъ въ ней хозяиномъ; онъ нанималъ, прогонялъ, выбиралъ литературныя силы, сортировалъ по категоріямъ, имѣя всегда въ рукахъ надлежащее орудіе противъ зазнающихся сотрудниковъ въ своей монопольи издателя».

«Пользуясь аудиторіею нѣсколькихъ тысячъ подписчиковъ, доставляемыхъ ему исключительно его сотрудниками, пользуясь правиломъ *divide et impera*, онъ создавалъ и убивалъ литературныя репутаціи, бралъ себѣ, сколько хотѣлъ, и удѣлялъ, сколько хотѣлъ, своимъ работникамъ, *выставляя, елико возможно, впередъ имена послѣднихъ въ свою защиту отъ всякой ответственности передъ публикой*, не только за вещи болѣе серьезныя, но за всякую литературную ошибку, пошлость и глупость, которая могла проявиться въ журналѣ, благодаря присутствію въ немъ этого исключительно-коммерческаго дѣятеля, этого избранника, рожденнаго на свѣтъ для благъ и наслажденія» (Матеріалы, стр. 116 п 117).

Иначе дѣло идетъ въ той литературѣ, за которою г. Жуковскій не признаетъ никакого либерализма.

«Посмотрите,—взываетъ онъ къ петербургскимъ редакторамъ-либераламъ,—на г. Каткова, Скарятину (*не имѣемъ права исключитъ отсюда г. Скарятину, но прибавимъ*

гг. Аксакова, Погодина, Гилярова-Платонова и пр.) и убедитесь, на сколько они стояли въ этомъ случаѣ выше васъ. Что бы они ни печатали, но они никогда не прятались за другихъ и не работали чужими руками; они первые несли отвѣтственность за свои изданія и были въ нихъ первыми тружениками, а потому все, что приносится ихъ журналами хорошаго или дурнаго, принадлежитъ имъ. Поэтому никто не будетъ оспаривать у нихъ права на тотъ доходъ, который могутъ приносить ихъ журналы».

«Я хочу только, чтобы всѣ дѣлали то же, что они, не разводили въ литературѣ *непрстойнаго барышничества чужими мыслями и за чужой отвѣтственностью*» (Материалы, стр. 123).

Таковъ взглядъ на слабыя стороны нашей литературы, высказанный въ разбираемой нами книжкѣ. Это обличеніе давно накопившихся золъ мы считаемъ и исполнѣ справедливымъ и полезнымъ. Пусть исчезнутъ послѣдніе слѣды того очарованія, въ которомъ многіе находятся, воображая, что у насъ есть какая-то прогрессивная словесность, вѣчно кипящая новыми, свѣжими мыслями, душевно-преданная возвышеннымъ цѣлямъ и стремленіямъ; пусть всякій убѣдится, что на дѣлѣ всего больше господствуетъ невѣжество, либеральное ханжество и литературное барышничество.

Книжка, о которой мы говоримъ, содержитъ много фактовъ, доказывающихъ эту общую мысль. Главный фактъ, бывшій причиною появленія на свѣтъ самой книжки, заключается въ томъ, будто бы г. Некрасовъ обнаружилъ непрочность своего либерализма. Книжка стремится доказать, что г. Некрасовъ столь же мало искренно либераленъ, какъ г. Краевскій, что въ этомъ отношеніи между ними нѣтъ никакой разницы. Мы не станемъ пускаться въ разборъ этого дѣла и предоставляемъ любопытнымъ читателямъ самимъ прочесть обвинительный актъ гг. Антоновича и Жуковскаго. Причины, по которымъ мы считаемъ нужнымъ воздержаться отъ изложенія этого дѣла, весьма уважительныя. Во первыхъ, нѣкоторые пункты обвиненія до такой степени щекотливы, что самъ г. Антоновичъ излагаетъ ихъ не въ прямыхъ и ясныхъ выраженіяхъ, а только въ намекахъ и подразумѣва-

нѣхъ; мы не желали бы какимъ бы то ни было образомъ переступить предѣлы той тѣни, въ которой оставляютъ дѣло обвинители. Во вторыхъ, все это дѣло не есть дѣло вполне публичное, такъ что, напримѣръ, мы съ своей стороны не можемъ ничего прибавить къ тому, что сказано въ книжкѣ, не можемъ и ничего въ ней поправить и разъяснить; тутъ рѣчь идетъ уже не объ общемъ положеніи литературы, которое доступно обсужденію всякаго и о которомъ можно судить по безчисленнымъ ежедневнымъ фактамъ. Въ третьихъ, наконецъ, мы вовсе не придаемъ дѣлу той важности, какую находятъ въ немъ составители книжки. Конечно, весьма печально, если г. Некрасовъ не исповѣдуетъ искренно тѣхъ идей, которыя выражаетъ въ своихъ стихахъ и которымъ даетъ ходъ въ своихъ журналахъ. Но не говоря уже о томъ, что эту истину многіе прозрѣли гораздо раньше гг. Антоновича и Жуковского, неискренность одного стихотворца едва ли много значила бы безъ развращенія цѣлой массы пишущихъ. Однимъ примѣромъ больше—и только. Обличеніе г. Некрасова важно только для тѣхъ, кто видѣлъ въ немъ нѣкоторое свѣтило либерализма; но многіе, и давно уже, смотрѣли иначе. Самые стихи г. Некрасова, въ которыхъ такъ много говорится о народныхъ страданіяхъ, давно уже, несмотря на ихъ несомнѣнные и замѣчательныя достоинства, признаны не выражающими полного сочувствія народу, не проникнутыми его дѣйствительнымъ пониманіемъ. Это—сатиры, карикатуры, изліянія хандры и жолчи, и лишь изрѣдка правдивыя, непреувеличенныя и неискаженныя картины. Еще недавно мы были изумлены страннымъ взглядомъ г. Некрасова на народъ. Въ поэмѣ «Кому на Руси жить хорошо» поэтъ выражаетъ свое сердечное желаніе, чтобы народъ просвѣтился и полюбилъ читать книги. Но какія же книги г. Некрасовъ желалъ бы видѣть въ рукахъ у народа? *Вѣликого и Гоголя!* Такое несбыточное желаніе всего лучше показываетъ, какъ мало г. Некрасовъ сходится съ народомъ въ своихъ сочувствіяхъ и воззрѣніяхъ. При строгомъ анализѣ такое же противорѣчіе между духомъ народа и духомъ г. Некрасова оказалось бы и въ другихъ его произведеніяхъ.

Итакъ, оставимъ г. Некрасова и перейдемъ къ другимъ примѣрамъ лицемѣрія въ нашей литературѣ.

Въ прошломъ году г. Краевскій сошелся съ г. Некрасовымъ и передалъ ему и его сотрудникамъ въ полное распоряженіе «Отечественныя Записки». Такимъ образомъ, журналъ г. Краевскаго вдругъ измѣнилъ свое направленіе, сталъ въ лагерь прямо противоположный тому, въ которомъ стоялъ до тѣхъ поръ. Зрѣлище вышло тѣмъ болѣе изумительное, что «Голоса» г. Краевскій до сихъ поръ еще никому не передалъ и, такимъ образомъ, очутился редакторомъ двухъ изданій, имѣющихъ совершенно противоположныя направленія.

И здѣсь—мы не будемъ пускаться въ разборъ дѣла, не станемъ объяснять, на сколько такой поступокъ доказываетъ неискренность мнѣній г. Краевскаго, на сколько мало у него дѣйствительнаго усердія къ своей партіи, если онъ рѣшился отдать журналъ въ руки враждебной партіи. Если бы бѣда была въ одномъ г. Краевскомъ, то еще можно было бы утѣшиться; но бѣда несравненно большая заключается въ общемъ состояніи литературы. Предоставимъ г. Антоновичу изобразить то общее лицемѣріе нашей литературы, которое обнаружилось при этомъ случаѣ.

«Ни одно изъ крупныхъ и знаменательныхъ событій», говоритъ г. Антоновичъ, «т. е. ни ренегатство г. Некрасова, ни его совокупленіе съ г. Краевскимъ, не только не было оцѣнено, но даже не было и замѣчено нашей литературой, такъ что ихъ нужно причислить къ «явленіямъ, пропущеннымъ нашей критикой», какъ выражалось нѣкогда «Время». А между тѣмъ сколько въ этихъ событіяхъ было пищи для ума, для сердца и воображенія, сколько въ нихъ заключалось гражданскихъ уроковъ, какъ они были богаты политической моралью! И однакоже эти два факта какимъ-то чудомъ ушли даже отъ *инквизиторскихъ глазъ и неумытнаго суда* обличительной, отрицательной литературы и отъ *эпиграммы* хохотуны. Всѣ наши обличители, отрицатели «ложнаго», сатирики и юмористы, *такъ зорко слѣдившіе за литературой и обществомъ, такъ безпощадно каравашіе всякое нелиберальное поползновеніе, всякую радикальную обмолвку, такъ жестоко бичевавшіе всякое*

гражданское поскользновение, такъ горько плакавшіе при видѣ всякаго колебанія гражданской доблести,—при видѣ этихъ фактовъ прикусили языки, повернулись къ нимъ спиною и, какъ-будто ничего не видя и не замѣчая, сохранили свой обычный видъ и старались показать, будто передъ ихъ глазами не случилось ничего особеннаго. А между тѣмъ

Какой бы шумъ вы подняли, друзья,
Когда бы сдѣлать это я!»

«Что же, друзья, въ самомъ дѣлѣ вы такъ опростоволили и не примѣтили слона? А помните, какъ бывало вы отрицали «ложныхъ становыхъ—взяточниковъ, помните, какъ доставалось отъ васъ Воронину всякій разъ, какъ онъ, бывало, приобрѣтетъ себѣ новый домъ; помните, какъ вы, бывало, издѣвались надъ Майковымъ, когда онъ, при какомъ-нибудь торжественномъ случаѣ, произноситъ на обѣдѣ стихотвореніе, *нисколько непротиворѣчащее его убѣжденіямъ*, помните, съ какими презрѣніемъ и заносчивостію вы относились къ поэту Полонскому, когда онъ, бывало, *не желя либерально филиарничать и надувать кого бы то ни было одними словами, пишетъ прямо то, что онъ мыслитъ и чувствуетъ*; помните, какое отрицаніе вы задали г. Писемскому въ образѣ Никиты Тупорылова за одинъ только его несчастный фельетончикъ? Но рядъ вашихъ обличительныхъ и отрицательныхъ подвиговъ безконеченъ; ихъ всѣхъ не перечесть. Замѣтно было, что вы жаждете хоть ничтожнаго нелиберальнаго фактика, что появленіе его—настоящій праздникъ для васъ, и вы набрасываетесь на него, какъ голодные звѣри, и потомъ либерально пережевываете его очень долгое время. Видно, у васъ былъ большой недостатокъ въ сюжетахъ для обличеній, и вы крайне затруднялись ихъ приискиваніемъ. Помните, объ одномъ кукельванѣ вы написали цѣлые томы обличеній, философическихъ и юмористическихъ, въ прозѣ и стихахъ, съ иллюстраціями и карриатурами. А вотъ тутъ совершаются событія болѣе отрицательныя и одуряющія, чѣмъ кукельванъ, и болѣе возмутительныя, чѣмъ дома Воронина и стихи Майкова,—настоящій кладъ для васъ, могшій дать вамъ столько обличительнаго матеріала, что его

хватило бы на цѣлый годъ. И вдругъ вы игнорируете эти событія, молчите объ нихъ!? Да если бы только молчали, а то...».

«Вся эта обличительная клика, всѣ эти специально отрицательные, обличительные сатирическіе журналы, всѣ эти специально обличительные поэты и отрицательные сатирики, всѣ эти Преображенскіе, Знаменскіе, всѣ темные и мрачные человѣки, всѣ Бурбоновы, — не только преклонились благоговѣнно передъ гражданскими не «ложными» подвигами г. Некрасова, что было еще не такъ зазорно, но принесли повинное раскаяніе и положили свои повинныя головы къ ногамъ также не «ложнаго», а настоящаго, подлиннаго г. Краевскаго, *котораго они съ такимъ азартомъ отрицали, обличали и бичевали въ теченіе столькихъ лѣтъ прозою, стихами и карриатурами*, который былъ для нихъ общимъ обличительнымъ мѣстомъ, къ насмѣшкамъ и издѣвательствамъ надъ которымъ они прибѣгали всякій разъ при отсутствіи и истощеніи другихъ обличительныхъ ресурсовъ, и который теперь сталъ для нихъ недостижимымъ и неприкосновеннымъ божествомъ и ихъ судьбою; въ его не «ложномъ» соединеніи съ Некрасовымъ, они увидѣли зарю новаго дня, начало новой счастливѣйшей эры для русской литературы!! Что же значили, господа, всѣ ваши прежнія отрицанія, обличенія, весь вашъ сатирическій и юмористическій азартъ, вся ваша борьба, всѣ ваши знамена, которыя вы держали, какъ-будто настоящіе люди и настоящіе литературные борцы? А, вѣдь, мы и въ правду думали, что у васъ *дѣйствительно водятся въ голову хоть какія-нибудь, но искреннія и самостоятельныя мыслишки*, что вы одушевляетесь убѣжденіями, какія Богъ послалъ, но что все-таки они у васъ есть и служатъ мотивомъ и возбужденіемъ вашихъ обличеній. Но теперь оказывается, увы! что вы были просто, выражаясь фразами одного стихотворенія, «фигляры, паяцы и шуты».

«Просто страшно и стыдно подумать, что *грозное и гордое обличительное зданіе, которымъ такъ тщеславилась наша литература*, было выведено на такомъ выскомъ и некрасивомъ основаніи» (Матеріалы, стр. 56—60).

Въ этихъ словахъ много искренняго и мѣткаго. Совершенно справедливо упреки обращаются къ тѣмъ, кто взялъ

на себя роль инквизиторовъ и карателей общества и литературы. Наши обличители, очевидно, и не догадывались, что роль судьи и проповѣдника нравственности налагаетъ тяжелыя обязанности, что тѣмъ громче они ругаютъ другихъ, тѣмъ строже взыщется съ нихъ самихъ. Пользуясь обстоятельствами, они съ величайшимъ легкомысліемъ принялись воздвигать *гордое и грозное обличительное зданіе*, но такъ какъ они въ сущности были «фигляры, паяцы и шуты», то фальшь скоро обнаружилась и зданіе рухнуло. Оказалось, что вся эта дѣятельность не руководилась никакими искренними и самостоятельными мыслями; поэтому г. Антоновичъ весьма справедливо указываетъ въ укоръ обличителямъ на то, что, напримѣръ, гг. Майковъ и Полонскій писали то, *что думали и чувствовали*. Ничего нѣтъ мудренаго: гг. Майковъ и Полонскій суть настоящіе писатели, а не люди, берущіеся не за свою роль, прикидывающіеся не тѣмъ, что они есть на самомъ дѣлѣ.

Другой примѣръ повальнаго литературнаго лицемерія касается одного стихотворенія г. Некрасова. Это стихотвореніе появилось въ вышедшей въ нынѣшнемъ году 4-й части «стихотвореній Некрасова» и не было напечатано ни въ какомъ журналѣ. Для ясности мы приведемъ его здѣсь вполнѣ.

(*Посвящается неизвѣстному другу, приславшему мнѣ стихотвореніе «Не можетъ быть»*).

Умру я скоро. Жалкое наслѣдство,
О родина! оставляю я тебѣ.
Подъ гнетомъ роковымъ провелъ я дѣтство
И молодость въ мучительной борьбѣ.
Не долгая насъ буря укрѣпляетъ,
Хоть ею мы мгновенно смущены,
Но долгая—на вѣки поселяетъ
Въ душѣ привычки робкой тишины.
На мнѣ года гнетущихъ впечатлѣній
Оставили неизгладимый слѣдъ,
Какъ мало зналъ свободныхъ вдохновеній,
О родина, печальный твой поэтъ!
Какихъ преградъ не встрѣтилъ мимоходомъ
Съ своею угрюмой музою на пути?..

За каплю крови, общую съ народомъ,
И малый трудъ въ заслугу мнѣ сочти!

—
Не торговалъ я лирой, но бывало,
Когда грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука.... Давно я одинокъ;
Въ началѣ шелъ я съ дружною семьей,
Но гдѣ они, друзья мои теперь?
Одни давно разстались со мною,
Передъ другими самъ я заперъ дверь;
Тѣ жребіемъ постигнуты жестокимъ,
А тѣ прешли уже земной предѣлъ...
За то, что я остался одинокимъ,
Что я ни въ комъ опоры не имѣлъ,
Что я, друзей теряя съ каждымъ годомъ,
Встрѣчалъ враговъ все больше на пути,—
За каплю крови, общую съ народомъ,
Прости меня, о родина, прости!...

—
Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хотѣ единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.
Но, *жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ*
Прикованный привычкой и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой.
И пѣснь моя безслѣдно пролетѣла,
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться въ ней успѣла,
Къ тебѣ, моя родная сторона!
За то, что я, черствѣя съ каждымъ годомъ,
Ее умѣлъ въ душѣ своей спасти,
За каплю крови, общую съ народомъ,
Мои вины, о родина, прости!...

1867.

(Стих. Некр. IV ч., стр. 224).

Разбирать подобныя стихотворенія, въ которыхъ поэтъ открываетъ свой личный внутренній міръ, свое раскаяніе и недовольство собою,—дѣло очень щекотливое. Мы не съ тѣмъ и привели здѣсь это стихотвореніе, чтобы разбирать его, а только чтобы были понятны слѣдующія соображенія г. Антоновича о покаяніи г. Некрасова.

«Всякій снисходительный и гуманный человѣкъ признаетъ всю силу и основательность правъ г. Некрасова на снисхожденіе къ нему и прощеніе. Но, когда я подумаю о нашихъ либералахъ и радикалахъ, о томъ, *до какой ужасной степени они строги, неумолимы и неумытны* ко всякимъ прегрѣшеніямъ, какъ безпощадно они карали во сто кратъ слабѣйшія прегрѣшенія, то мнѣ становится страшно за г. Некрасова, который самъ же и содѣйствовалъ развитію такого ригористическаго радикализма» (Матеріалы, стр. 92).

«Воображаю я, что произошло бы, если бы подобное стихотвореніе, съ подобными оправданіями дурнымъ воспитаніемъ, каплей крови и любовью къ благамъ жизни, напечаталъ кто-нибудь изъ обыкновенныхъ стихотворцевъ: г. Майковъ, г. Полонскій, г. Щербина и проч.! Сколько бы на нихъ посыпалось остротъ, насмѣшекъ, издѣваній, оскорбленій, негодованія и презрѣнія! «Искра» сочинила бы на это стихотвореніе сотню пародій и столько же каррикатуръ. Г. Благосвѣтловъ зарыкалъ бы въ «Дѣлѣ», какъ левъ, съ негодованіемъ на такое позорное оскверненіе искусства, предался бы крайнему изумленію по поводу того, что возможны еще въ литературѣ люди, не презирающіе, а любящіе блага жизни, и вообще наказалъ бы такого стихотворца гораздо строже, чѣмъ фельетонистовъ «Петербургскихъ Вѣдомостей» за Лядову. Даже всехвальныи изъ этихъ фельетонистовъ, можетъ быть, не похвалилъ бы такого стихотворенія. Особенно же досталось бы ему отъ «Отечественныхъ Записокъ»; гм! сказали бы они, блага жизни! А мы думали, что поэтическое вдохновеніе не можетъ быть заказано и вызвано благами жизни, что поэтъ безкорыстно приносить жертвы Аполлону; а оказывается, что русскіе поэты, какъ и мы всѣ грѣшныя, любятъ блага жизни и при случаѣ для этихъ благъ готовы тово... изъ лиры ложный звукъ извлечь; значитъ, русскіе поэты блага то жизни возлюбили больше, чѣмъ лиру... и т. д. Повидимому скромно и тихо, а на дѣлѣ ѣдко и колько. Посмотрите, напримѣръ, какъ досталось въ «Отечественныхъ Запискахъ» Фоссу за изданіе «Женскаго Календаря»; рецензентъ *забрался въ душу, въ самый секретный уголокъ души* Фосса и выслѣдилъ весь путь, какимъ сей издатель дошелъ до своей спекуляціи. Во-

образите же, что́ этотъ почтенный журналъ запылъ бы спекулянту не издателю, а поэту, гоняющемуся за благами жизни. Но извинительное стихотвореніе съ благами жизни написали и напечатали не Фоссъ, не гг. Полонскій, Майковъ и Щербина, не г. Ключниковъ или г. Стебницкій, а самъ г. Некрасовъ и — никто не смѣетъ пикнуть!»! (Матеріалы, стр. 99 и 100).

И тутъ дѣло совершенно ясное. Литература оказывается двуличною и лицемерною, такъ какъ въ одномъ случаѣ судить непомѣрно строго, а въ другомъ не подаетъ даже никакого голоса. И слѣдовательно, вся ея строгость, всё высокія нравственныя требованія были не выраженіемъ искреннихъ мыслей и чувствъ, а однимъ притворствомъ. Все дѣлалось нарочно, напоказъ читателямъ, все было фальшью и чистымъ сочиненіемъ.

Теперь намъ слѣдуетъ разсказать то впечатлѣніе, которое произведено было въ литературѣ книжкою гг. Антоновича и Жуковского. Впечатлѣніе было сильное, продолжается до сихъ поръ и не скоро еще прекратится. Сверхъ множества журнальных отзывовъ, появилась брошюра г. Рождественскаго, заглавіе которой выписано нами въ началѣ статьи, и г. Елисѣевъ обѣщаетъ съ своей стороны напечатать брошюру. «Въ особой брошюрѣ, говоритъ онъ, *о движеніи нашей журналистики въ послѣднее время*, я возстановлю разсказъ о началѣ «Отечественныхъ Записокъ» и «Современнаго Обозрѣнія» и послѣдующихъ сношеній г. Некрасова съ г. Жуковскимъ во всей полнотѣ и цѣлостности, съ поименованіемъ всѣхъ событій и лицъ, въ нихъ участвовавшихъ или соприкасавшихся къ нимъ, со всѣми рѣчами послѣднихъ и т. д.» (От. Зап. 1869, № 4, стр. 339).

Какой же смыслъ имѣютъ всё эти отвѣты и возраженія? Каковъ ихъ главный, существенный характеръ? Странное дѣло! Повидимому, гг. Антоновичъ и Жуковскій выразили свою мысль достаточно ясно; они упрекаютъ литературу въ лицемеріи, въ двуличности, въ либеральномъ ханжествѣ. И что же? Чѣмъ отвѣчала литература? Чѣмъ она пыталась отстранить или опровергнуть обвиненіе? Она отвѣчала удвоеннымъ ханжествомъ и, такимъ образомъ, блистательно под-

твердила справедливость упрековъ гг. Антоновича и Жуковского, дала новое доказательство своей глубокой фальшивости. Мало того, литературное лицемѣріе возведено въ принципъ, провозглашено, какъ руководящее правило литературной дѣятельности.

Это возведеніе лицемѣрія въ принципъ совершенно именно въ книжкѣ г. Рождественнаго. Объ этой книжкѣ мы должны предупредить читателей, что они мало найдутъ въ ней любопытнаго; она наполнена неумѣлымъ и безсодержательнымъ многословіемъ, которое не отличается даже наивностию, а имѣетъ тяжелыя напыщенныя формы. Но главная мысль книжки все-таки высказана ясно; вотъ она:

«Предположимъ, что г. Антоновичъ доказалъ неискренность г. Некрасова неопровержимыми фактами, доказалъ, что г. Некрасовъ во всякую тяжелую минуту жизни способенъ извлечь изъ лиры ложный звукъ, доказалъ, что либерализму г. Некрасова довѣрять никакъ нельзя. Прекрасно—не будемъ довѣрять либерализму г. Некрасова. Но къ чему, спрашивается, поведетъ это недовѣріе? Если бы, читатель, мы преслѣдовали съ вами какіе-нибудь планы, требующіе искреннихъ и надежныхъ приверженцевъ, тогда, конечно, намъ нужно бы было знать: искренній-ли либераль г. Некрасовъ или нѣтъ, т. е. можно-ли его пригласить къ соучастію въ нашемъ дѣлѣ, или же нельзя? Но если мы не задумываемъ никакого подобнаго предпріятія, то *для чего же намъ нужны свѣдѣнія объ искренности либерализма того или другого писателя? Умалитъ ли неискренность достоинство его произведеній?* Если достоинства этихъ произведеній умаляются неискренностію, тогда рѣчь пойдетъ уже не о неискренности писателя, но *о неумѣлости его выполнить предпринятую имъ задачу*» (Лит. Пад., стр. 27).

Итакъ, искренность вовсе не требуется отъ писателя; требуется только *умѣнье выполнить свою задачу*. Г. Рождественскій находитъ, что гг. Антоновичъ и Жуковский, требуя искренности отъ писателя, очевидно, «хлопочутъ не о торжествѣ либеральныхъ принциповъ, не о 'распространеніи этихъ принциповъ въ массу, но *о чемъ-то другомъ, совершенно неотносящемся до сущности дѣла*» (Лит. Пад., стр. 29).

Долго толкуя на эту тему, г. Рождественскій приходитъ, наконецъ, къ слѣдующему совершенно опредѣленному выраженію своихъ взглядовъ на литературную дѣятельность:

«Какъ и въ другихъ профессіяхъ, въ литературѣ должна такъ же существовать своя, очень опредѣленная, всѣми контролируемая *профессіональная честность*. Эта честность заключается, по моему мнѣнію, въ неустанномъ, почти фанатическомъ *распространеніи въ массу извѣстныхъ принциповъ, или извѣстныхъ воззрѣній*: всякая статья, *неимѣющая никакого отношенія къ распространенію извѣстныхъ принциповъ*, всякая литературная болтовня, служащая лишь для удовлетворенія празднаго любопытства, всякая водянистая статья, занимающаяся переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, является ни чѣмъ инымъ, какъ *литературною нечестностію*» (Лит. Пад., стр. 52).

Вотъ понятія, очевидно, давно уже господствующія въ литературѣ, давно вкоренившіяся въ ней. Мы не помнимъ, чтобы они гдѣ-нибудь высказывались такъ же ясно, но литературная практика уже давно совершалась по этимъ понятіямъ, давно и постоянно руководилась ими. Подлецомъ признавался всякій, кто не содѣйствовалъ распространенію извѣстныхъ началъ, и честность состояла не въ искреннемъ убѣжденіи, не въ согласіи слова съ мыслью, а только въ ношеніи маски извѣстныхъ идей. Читатель видитъ послѣ этого, какъ глубоко гг. Антоновичъ и Жуковскій разошлись съ общимъ настроеніемъ нашей литературы. Они стоятъ за искренность и добросовѣстность; они въ этомъ случаѣ держатся тѣхъ понятій о честности, которыхъ и мы держимся, распространенію и утвержденію которыхъ мы желали бы всячески содѣйствовать. Этимъ понятіямъ прямо противоположна та мѣрка честности, которую такъ ясно выразилъ г. Рождественскій; понятно, къ какому результату онъ долженъ былъ прійти.

«Подводя подъ эту мѣрку, говоритъ онъ, «Матеріалы» гг. Жуковского и Антоновича, я прямо называю ихъ *литературно-нечестными произведеніями*, такъ какъ, съ одной стороны, я не вижу въ этихъ «Матеріалахъ» *никакой опредѣленной цѣли*, и съ другой — я замѣчаю въ нихъ поку-

шеніе, во имя либерализма*), *ослабить силу либеральной пропаганды*» (Лит. Пад., стр. 53).

Вотъ настоящая разгадка того, почему многіе органы печати вооружились противъ «Матеріаловъ»; эти органы уже не заботятся объ истинѣ, о справедливости фактовъ, о твердости и искренности убѣжденій; существеннымъ и важнымъ они считаютъ только одинъ вопросъ: *не повредитъ-ли это либеральной пропагандѣ?* Если да, то хотя бы книжку писалъ самъ Аристидъ, ее слѣдуетъ *назвать* безчестною; что же касается до болѣе наивныхъ людей, какъ г. Рождественскій, то они думаютъ, что она и *на самомъ дѣлѣ* есть безчестная.

Таково развившееся у насъ чудовищное смѣшеніе понятій и помраченіе нравственнаго смысла. Въ брошюрѣ г. Рождественскаго мы можемъ найти, впрочемъ, еще болѣе курьезныя мысли; извлекаемъ изъ нея для любопытныхъ читателей слѣдующіе афоризмы:

«Какъ можно толковать о добродѣтеляхъ, когда съ научной точки зрѣнія нѣтъ никакихъ добродѣтелей, а существуетъ одна лишь законность, порожденіе тѣхъ или другихъ причинъ, тѣхъ или другихъ условий существованія»? (Лит. Пад., стр. 118).

«Тѣмъ-то и трагична исторія человѣчества, что нѣтъ въ этой исторіи виновныхъ, а существуютъ одни лишь необходимости. Приведенные къ необходимости создать тотъ или другой институтъ, пойти на тотъ или другой компромиссъ, люди принуждены расчитываться за принятіе такого-то института, или такого-то компромисса. Эта трагичность замѣчается не въ одной исторіи человѣчества, но и въ жизни каждаго отдѣльнаго человѣка. Отдѣльные люди точно также, какъ извѣстно, *ни въ чемъ не виноваты*, но, несмотря на то, они раздѣляются на счастливыхъ и несчастныхъ, добродѣтельныхъ и порочныхъ, правыхъ и виноватыхъ и пр., хотя *никто*

*) Слова: *во имя либерализма*, подчеркнуты самимъ авторомъ, очевидно, не идутъ къ дѣлу и составляютъ примѣръ пуганицы, часто у него встрѣчающіяся. Правильнѣе было бы сказать, съ его точки зрѣнія: во имя какихъ-то началъ, постороннихъ для либерализма.

изъ нихъ не виноваты въ томъ, что онъ сдѣлался прекраснымъ или дурнымъ человѣкомъ» (Лит. Пад., стр. 155).

Пусть читатели вникнуть въ настоящій смыслъ этихъ положеній. Г. Рождественскій хочетъ сказать, что нельзя судить объ общественныхъ дѣлахъ съ точки зрѣнія добродѣтелей; поэтому онъ ставитъ гг. Антоновичу и Жуковскому въ великую вину то, что они стали судить о литературѣ съ точки зрѣнія искренности и добросовѣстности. Онъ называетъ это «опаснымъ путемъ *частныхъ* обличеній» (стр. 141).

Не ясно-ли, въ чемъ здѣсь дѣло? Есть партія, которая разрѣшаетъ себѣ все на томъ основаніи, что она есть общественное явленіе; лицъ этой партіи нельзя будто-бы судить какъ *частныхъ* людей и нельзя требовать отъ нихъ *частныхъ* добродѣтелей. Что бы они ни сдѣлали, во всемъ виноваты общественный строй, ходъ обстоятельствъ и т. д. А сами они всегда чисты и невинны.

Посмотримъ теперь, что сказала журналистика. Литература, какъ мы сказали, обнаружила по поводу книжки гг. Антоновича и Жуковского удвоенное лицемеріе.

Во первыхъ, никто *не отвѣчалъ*; никто не сталъ отвергать ни единого факта изъ тѣхъ, которые разсказаны въ книжкѣ. Такимъ образомъ мы, глядя со стороны, имѣемъ право прійти къ убѣжденію, что всѣ эти факты безукоризненно вѣрны, что гг. Антоновичъ и Жуковскій обнаружили совершенную правдивость и добросовѣстность и что показанія ихъ не подлежатъ никакому сомнѣнію.

Во вторыхъ, хотя никто не отвѣчалъ, хотя всѣ прошли молчаніемъ существенный предметъ книжки, но всѣ въ то же время отозвались о ней, сколь возможно хуже, употребляя даже такія слова, какъ «умственное блудодѣйство» и т. п. Тактика извѣстная: молчать о главномъ дѣлѣ, такъ чтобы читатели и неподозрѣвали, въ чемъ оно состоитъ, а все-таки говорить съ азартомъ и высокомеріемъ о тѣхъ, кто поднималъ дѣло.

Изъ всѣхъ замѣчаній, сдѣланныхъ на книжку гг. Антоновича и Жуковского, мы нашли только одно, относящееся прямо къ вопросу и очень интересное и по своему смыслу и

по значенію въ устахъ тѣхъ, кто его произносить. Всего яснѣе его выказываетъ г. Рождественскій.

«Непорочность либерализма г. Некрасова, говоритъ онъ, если таковая существуетъ въ дѣйствительности, *не могла быть неизвѣстною* гг. Антоновичу и Жуковскому еще и въ то время, когда они сотрудничали въ «Современникѣ»: г. Антоновичъ рассказываетъ въ «Матеріалахъ», какъ усиленно слѣдилъ онъ за поведеніемъ г. Некрасова, изъ чего слѣдуетъ, что диссонансы въ характерѣ г. Некрасова были извѣстны ему давно» (Лит. Пад., стр. 135).

Г. Рождественскій говоритъ серьезно; но «Отечественныя Записки», развивая ту же тему, глумятся самымъ усерднымъ образомъ.

«Главнымъ поводомъ», говорятъ они, «для совершенія этого сердито-дешеваго подвига (подъ подвигомъ разумѣются «Матеріалы») послужили гг. Некрасовъ и Елисѣевъ. Способность, которою обладаютъ эти два писателя, очаровывать стоящихъ близко къ нимъ людей такъ велика, что равняется лишь способности очаровываться, которою одержимы гг. Антоновичъ и Жуковскій. Первый изъ нихъ пѣлыхъ три года, послѣдній въ продолженіе пяти мѣсяцевъ находились въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ названными писателями, и въ теченіе всего этого времени ни тотъ, ни другой не догадывались, что Некрасовъ и Елисѣевъ не что иное, какъ боаконстрикторы, подъ отуманивающими взглядами которыхъ они совершенно задаромъ разыгрывали роли очарованныхъ кроликовъ. *Эта недогадливость*, сама по себѣ очень замѣчательная, пріобрѣтаетъ подъ перомъ нашихъ дебютантовъ характеръ на столько трогательный, что читателю, дѣйствительно, остается только сказать: «ну да, это кролики, это подлинныя, несомнѣнные кролики!» (От. Зап. 1869, апр., стр. 273).

Итакъ, гг. Антоновичъ и Жуковскій подвергаются осмѣянію и называются кроликами — за что же? За то, что по своей *недогадливости* вѣрили въ либерализмъ Некрасова и Елисѣева! За то, что поддались «страстнымъ рѣчамъ», слезамъ и т. п. Признаться, намъ трудно представить себѣ такое отсутствіе всякой стыдливости, при которомъ возможны подобныя упрёки.

Не г. Рождественскому и не «Отечественнымъ Запискамъ» слѣдовало бы дѣлать такія замѣчанія. Но фактъ, ими заявляемый, тѣмъ не менѣе замѣчателенъ и требуетъ обсужденія. Скажемъ прямо, что въ глазахъ многихъ гг. Антоновичъ и Жуковский, дѣйствительно, оказались гораздо болѣе простодушными, чѣмъ это предполагалось. Либеральную литературу давно привыкли считать хитрою, ловкою: поэтому предполагалось, напримѣръ, что гг. Антоновичъ, Жуковский и многіе другіе давно знаютъ, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло, что они только пользуются извѣстнымъ положеніемъ лицъ, извѣстными прикрытіями для того, чтобы удобно совершать свое дѣло—распространенія либерализма. И что же оказывается? Они неповинны ни въ какихъ компромиссахъ; они вѣрили въ искренность своихъ сотоварищей. Не знаемъ, въ какой степени это доказываетъ ихъ слабую проницательность, неумѣніе понимать людей; но несомнѣнно доказывается этимъ одно—ихъ дѣйствительное прямодушіе, ихъ неліцемерная искренность.

Всѣ остальные отзывы, вызванные «Матеріалами», ничего въ себѣ не содержатъ, кромѣ голословной брани. На этихъ отзывахъ съ удивительною ясностію подтвердилось замѣчаніе, сдѣланное г. Антоновичемъ о томъ, что теперь, вслѣдствіе соединенія Краевского съ Некрасовымъ, почти всѣ органы нашей петербургской печати находятся отъ нихъ или въ прямой зависимости, или же «связаны съ ними вассальными отношеніями подобострастія и робости» («Матеріалы», стр. 73). Дѣйствительно, съ необыкновеннымъ единодушіемъ обрушились на «Матеріалы» и органы, связанные съ «Отечественными Записками», и органы, связанные съ «Голосомъ»; не раздалось ни одного искренняго, прямого голоса; даже не промолчали тѣ, которымъ всего приличнѣе было бы пребывать въ молчаніи и не было никакой надобности говорить.

Такое состояніе нашей литературы и плачевныя открытія, къ которымъ привела и приводитъ книжка гг. Антоновича и Жуковского. Картина выходитъ самая мрачная. Оказывается, что почти вся петербургская литература заражена лицемеріемъ; что она проповѣдуетъ то или другое, казнить или милуетъ не по прямому внушенію ума или совѣсти, а по разнымъ расчетамъ и соображеніямъ; что она не держится

тѣхъ убѣжденій, которыя безпрестанно провозглашаетъ въ стихахъ и прозѣ; словомъ, что это литература фальшивая, дѣланная, миражная.

Въ этомъ выводѣ трудно сомнѣваться. Въ немъ убѣждаютъ насъ и общія соображенія. Ничего нѣтъ мудренаго, что у насъ возникла призрачная литература, не связанная съ дѣйствительностію, чуждая выраженія истинныхъ интересовъ, одушевляемая не дѣйствительными стремленіями чувства и ума, а цѣлями фантастическими и дѣланными. Чего другого можно было ожидать отъ того постояннаго гнета, который лежалъ на литературѣ и загонялъ ее въ области грѣзъ и отрицанія?

Всѣ явленія этой литературы, очевидно, имѣютъ воздушный характеръ. Самая недобросовѣстность и неискренность не имѣютъ въ ней своего настоящаго гнуснаго свойства. Это не дѣйствительная подлость, а сочиненіе, болтовня; все это дѣлается не серьезно, а какъ-будто шутя, съ смутнымъ сознаниемъ, что дѣло не имѣетъ реальнаго значенія.

И вотъ та точка зрѣнія, которая можетъ насъ нѣсколько утѣшить при этомъ печальномъ зрѣлищѣ. Этихъ людей не слѣдуетъ считать ни глупыми, ни безсовѣстными; бѣда ихъ только въ томъ, что они слишкомъ легко подчиняютъ свой умъ и свою совѣсть извѣстнымъ авторитетамъ и направленіямъ, слишкомъ легко записываются въ слуги и прислужники, слишкомъ боятся установившихся въ литературѣ властей и мнѣній. Поэтому насъ не могло не порадовать появленіе книжки гг. Антоновича и Жуковскаго; авось она сниметъ съ кого-нибудь ярмо авторитета, авось заставитъ кого-нибудь глядѣть своими глазами и судить своимъ умомъ. Содѣйствовать такому нравственному и умственному освобожденію мы считаемъ дѣломъ весьма полезнымъ, и вотъ почему рѣшились указать на обнаружившуюся правду, какъ ни тягостна обязанность подобнаго указыванія.

VI.

Западничество и славянофильство.**I. „Россія и Европа“ Н. Я. Данилевскаго.**

а) «Русскій Вѣстникъ» о статьѣ «Россія и Европа».

(«Заря.» 1869, № 7).

Каждому журналу и каждому писателю пріятно встрѣтить возраженіе, на которое можно отвѣчать; при настоящемъ же положеніи нашей литературы такое возраженіе есть истинное счастье. Обыкновенно новыя литературныя явленія у насъ встрѣчаются или коварнымъ умолчаніемъ, или тѣмъ, что получило техническое названіе «лая», то есть всякаго рода злобными выходками, столь же крикливыми и столь же мало допускающими отвѣтъ, какъ лай собаки.

Поэтому намъ доставило истинную радость появленіе въ № 5 «Русскаго Вѣстника» замѣтки о статьѣ г. Данилевскаго «Россія и Европа».*) Серьезный характеръ этого почтеннаго журнала уже заранѣе, повидимому, ручался и за серьезный характеръ замѣтки,—за то, что она будетъ соотвѣтствовать важности предмета и касаться существенныхъ его пунктовъ. Признаемся, намъ до такой степени хотѣлось бы встрѣтить нѣчто подобное, что мы готовы даже sluкавить передъ собою и передъ читателями—готовы закрыть глаза на всѣ недостатки замѣтки и трактовать ее, какъ самое обдуманное и зрѣлое возраженіе. Бояться намъ нечего, и мы попробуемъ придать замѣчаніямъ г. П. П. самый серьезный смыслъ, какой только они могутъ имѣть.

Прежде всего онъ не находитъ въ статьѣ «Россія и Европа» ничего новаго. Статья будто-бы доказываетъ то, что не требуетъ никакого доказательства, что всѣми принято, всѣмъ извѣстно. Главная мысль статьи будто-бы та самая избитая мысль, которую «еще Вольтеръ сказалъ»:

*) Полемика Н. Н. Страхова съ Вл. Соловьевымъ изъ-за «Россіи и Европы» вошла въ II и III кн. «Борьбы съ Западомъ». Изд.

Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre
Par les arts, par les loix, par la science, par la guerre,
и пр.

И дѣйствительно, статья г. Данилевскаго касается многихъ положеній давно извѣстныхъ, ссылается на факты, тысячекратно указанные и обсужденные. Дѣло идетъ объ исторіи, т. е. о томъ предметѣ, по которому существуетъ *больше книгъ*, чѣмъ по всѣмъ другимъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія. Сколько соображеній и размысленій было сдѣлано по этому предмету! Кто не говорилъ о возрожденіи, процвѣтаніи и паденіи народовъ? Кто не трактовалъ объ особенностяхъ, которыми отличается каждый народъ, о различіи народнаго духа? Въ каждой книжкѣ любаго литературнаго журнала мы навѣрное найдемъ указанія на эти избитыя истины. Если мы затѣмъ обратимся къ частному предмету статьи, къ Россіи, то опять—кому не знакомы славянофильскія мнѣнія о самобытномъ развитіи Россіи? Кто не слыхалъ, что Славяне—особое племя, которое по своимъ духовнымъ задаткамъ, по своей исторіи, по всему складу жизни не похоже на германо-романскія племена? Кому не извѣстно, что на этомъ основаніи для Россіи пророчатъ и другую будущность, не похожую на будущность европейскихъ народовъ?

Итакъ, все это—дѣло знакомое, и если повѣрить первымъ страницамъ г. П. Щ., то онъ не находитъ во всей статьѣ г. Данилевскаго ничего, съ чѣмъ не могъ бы согласиться. «Какъ сомнѣваться, говоритъ онъ, чтобы славянское племя не имѣло своей очереди на сценѣ міра? Къ сожалѣнію этотъ отвѣтъ слишкомъ простъ, чтобы удовлетворить г. Данилевскаго. Онъ отвѣчаетъ *то же самое, только на двадцати по крайней мѣрѣ листахъ*, уже напечатанныхъ «Зарею», да еще готовить, можетъ быть, столько же» (стр. 358).

Итакъ, на двадцати печатныхъ листахъ, потративъ при томъ (какъ замѣчаетъ г. П. Щ.) «много эрудиціи, остроумія, умственнаго капитала», г. Данилевскій говоритъ то же самое, что сказалъ Вольтеръ,—говоритъ вещи, съ которыми г. П. Щ. совершенно согласенъ. Въ этомъ состоитъ главный упрекъ, дѣлаемый статьѣ «Россія и Европа».

Не станеть опровергать, а подвинемся только немножко далѣе и мы увидимъ, что г. П. Щ. самъ себя опровергнетъ.

Онъ уже не согласенъ съ г. Данилевскимъ по вопросу о гніеніи Запада. Хотя Вольтеръ и говоритъ: «Каждый народъ въ свою очередь блисталъ на землѣ», и хотя г. Данилевскій отнюдь не утверждаетъ, что Западъ гніетъ, а напротивъ признаетъ, что Западъ теперь процвѣтаетъ, но что, согласно съ Вольтеромъ, за этимъ процвѣтаніемъ долженъ наступить *чередъ* увяданія, однако эта мысль, неизвѣстно почему, уже не нравится нашему критику, и онъ дѣлаетъ противъ нея кой-какія, впрочемъ нерѣшительныя, возраженія. Ему не хочется признать въ современной Европѣ никакихъ «признаковъ гніенія и разложенія» (стр. 361); но о гніеніи и разложеніи г. Данилевскій, какъ мы замѣтили, ничего не говоритъ. Онъ говоритъ только, что творческая сила, создавшая европейскую цивилизацію, уже клонится къ упадку, и выводитъ это заключеніе не изъ признаковъ гніенія и разложенія, а именно изъ того, что «Западъ находится въ апогеѣ своего цивилизаціоннаго величія», достигъ высшей точки своего процвѣтанія. Чтобы опровергнуть аргументацію г. Данилевскаго, г. П. Щ. находитъ въ ней противорѣчія, которыхъ въ ней вовсе нѣтъ, и отвергаетъ то простое и ясное положеніе, что моментъ наибольшаго наростанія творческихъ силъ наступаетъ *ранне* того момента, когда обнаруживаются плоды и результаты этого наибольшаго наростанія. Далѣе, г. П. Щ. не хочетъ видѣть относительно творческихъ силъ Европы никакого различія между XVI и XVII вѣками, принимаемыми г. Данилевскимъ за апогей этихъ силъ, и прошлымъ и нынѣшнимъ столѣтіемъ. Всѣ эти вѣка, по мнѣнію г. П. Щ., одинаково велики, въ подтвержденіе чего онъ ссылагается даже на желѣзныя дороги.

Но откуда же всѣ эти хлопоты и старанія? Откуда стремленіе противорѣчить самымъ очевиднымъ истинамъ? Вѣдь, уже Вольтеръ сказалъ:

Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre.

Какъ прошелъ блескъ Греціи, Рима, Аравитянъ, не долженъ ли такъ же въ своей чередъ миновать и блескъ европейскихъ народовъ?

Вотъ это-то заключеніе намъ, очевидно, и не нравится. Мы готовы, сколько угодно, толковать о развитіи народовъ и паденіи царствъ; но, какъ скоро дѣло коснется любезной намъ Европы, мы круто поворачиваемъ назадъ. Тутъ мы и Вольтеру даже не вѣримъ; тутъ мы готовы признать, что три или четыре вѣка сряду Европа идетъ непрерывнымъ, неустаннымъ прогрессомъ, ни мало не ослабѣвая въ своихъ силахъ. Въ сущности мы не можемъ повѣрить, чтобы Европа когда-нибудь пала; мы видимъ въ ней вѣчную носительницу безконечнаго прогресса.

Что такова дѣйствительная мысль г. П. Щ.—это видно изъ дальнѣйшихъ его разсужденій, болѣе опредѣленныхъ и ясныхъ, зато и прямо противорѣчащихъ тому, что сказано имъ вначалѣ. Онъ принимается развивать мысль о передачѣ прогресса отъ одного поколѣнія къ другому.

«Послѣдовательность развитія, ослабленія и наконецъ разложенія, говоритъ онъ, суть явленія замѣчаемыя въ человѣкѣ, это справедливо; *однако* правъ былъ и Пушкинъ, когда восклицалъ:

«Нѣтъ, весь я не умру: душа въ завѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ!»

Мы можемъ порадовать г. П. Щ. Это восклицалъ не Пушкинъ, а поэтъ еще болѣе древній, отчасти даже современный Вольтеру, Державинъ; такъ что истина, которую объясняетъ нашъ критикъ, была, значить, очень давно извѣстна.

«Всѣ люди, пишетъ онъ, не безъ слѣда проходятъ житейское поле, и общая жизнь человечества не прерывается. Преимущество ея еще болѣе осязательно въ цѣлыхъ обществахъ, и мы *отнюдь не согласны* съ г. Данилевскимъ, будто *культурно-историческіе типы сменяются, вытѣсняются поочередно другъ друга* (стр. 361)».

Итакъ, критикъ нашелъ, наконецъ, въ статьѣ «Россія и Европа» мысль, съ которою совершенно не согласенъ. Что

же это за мысль? Какое-нибудь побочное замѣчаніе—вставка, мало связанная съ цѣлымъ? Нѣтъ, эта мысль есть то *ученіе о культурно-историческихъ типахъ*, которое составляетъ сущность статьи—все содержаніе первыхъ семи главъ, о которыхъ только и говорить г. П. Щ. Развитие этой мысли, ея философское и историческое подтвержденіе—вотъ главный и единственный предметъ статьи. Если же такъ, то оказывается, что нашъ критикъ *отнюдь не согласенъ* со всею статьею г. Данилевскаго отъ начала до конца. За чѣмъ же было говорить, что г. Данилевскій только повторяетъ то, въ чемъ всѣ убѣждены и для чего не требуется доказательствъ?

То, что сказалъ г. Данилевскій, никѣмъ и никогда еще не было сказано. Къ несчастію, распознать и ясно отличить новую мысль—часто бываетъ не легко. Какъ испорченная шарманка, какую пьесу на ней ни заведи, все сбивается на одну и ту же пѣсню, такъ и мы, что бы ни читали, все сбиваемся на старыя, привычныя, затверженныя понятія. Въмѣсто того, чтобы слѣдовать за мыслью автора, мы только припоминаемъ давно знакомыя намъ мысли—и самыя свѣжія и оригинальныя соображенія намъ кажутся чѣмъ-то старымъ.

Г. Данилевскій отвергаетъ то, что называется всемірною культурою, общечеловѣческою цивилизаціею. Онъ показываетъ, что такой культуры и цивилизаціи никогда не было въ исторіи, что всякая культура, по самой сущности дѣла, носитъ на себѣ извѣстныя ограниченія, составляетъ частное, обособленное проявленіе человѣческаго развитія, и потому всегда принадлежала и будетъ принадлежать только нѣкоторому племени, достигающему степени культурно-историческаго типа, а никакъ не всему человѣчеству. Такъ какъ всечеловѣческая цивилизація, и по свидѣтельству исторіи и по философскому взгляду, котораго держится г. Данилевскій, есть дѣло недостижимое, невозможное, то и исторія не можетъ состоять изъ ряда шаговъ, постепенно приближающихся къ такой цивилизаціи. Исторія, какъ и все въ мірѣ, есть смѣна *частныхъ* явленій, въ которыхъ общее никогда не выражается во всей своей полнотѣ. Всякая культура есть частная. Общечеловѣческое или правильнѣе *всечеловѣческое* не можетъ существовать въ видѣ нѣкоторой дѣйствительной культуры, а

существуетъ только въ идеѣ, какъ общая задача человѣчества, которую оно осуществляетъ всей своей исторической жизнью, т. е. одновременно и разномѣстно.

Вотъ мысль г. Данилевскаго—мысль совершенно опредѣленная и совершенно оригинальная. Эта мысль—одна можетъ вывести насъ изъ того лабиринта противорѣчій, въ которомъ насъ держать обыкновенныя понятія объ исторіи. Всѣ говорятъ объ особенностяхъ народныхъ характеровъ, о своеобразномъ развитіи народовъ, о различныхъ культурахъ, которыя ими развиваются, и въ то же время всѣ мечтаютъ объ общечеловѣческихъ свойствахъ и достоинствахъ, о непрерывномъ прогрессѣ, о единой всемірной культурѣ. Всѣ знаютъ и помнятъ, какъ ходъ исторіи прерывался, какъ различные племена поочередно достигали первостепенной роли на сценѣ міра; но всѣ воображаютъ при этомъ, что народы только поочередно работали надъ однимъ и тѣмъ же дѣломъ, прокладывая дальше одну и ту же дорогу. За чѣмъ же новыя племена, если дѣло одно и то же, и путь не измѣняетъ своего направленія? Не явная ли предвзятая идея вытягивать исторію человѣчества въ одну линію, подобно тому какъ старые натуралисты старались нѣкогда вытянуть въ одну линію всѣ произведенія природы? Мы привыкли не замѣчать этихъ противорѣчій и предубѣжденій, сжились съ ними,—и точный и ясный взглядъ, который разрѣшаетъ эту путаницу, даже не поражаетъ нашего вниманія.

Нашъ критикъ замѣтилъ однакоже, что есть въ статьѣ «Россія и Европа» нѣчто новое, прямо противорѣчащее его старымъ понятіямъ. Но такъ какъ ему сперва все въ этой статьѣ казалось знакомымъ, такъ какъ онъ не замѣтилъ тѣсной связи всѣхъ фактовъ и разсужденій съ главною мыслью статьи, то всѣ доказательства г. Данилевскаго—на счетъ того, что ни одна культура не была и не могла быть продолженіемъ культуры другого типа, совершенно ускользнули отъ вниманія критика. Въ концѣ своей замѣтки г. П. Щ. сбился на старую пѣсню *о преимущественности культуры*, и поетъ ее такъ, какъ-будто онъ никогда и въ глаза не видалъ статьи г. Данилевскаго. Онъ вовсе не пытается опровергнуть статьи, не разрушаетъ ни единого ея довода, не разбираетъ ни единой ея мысли;

статья остается цѣлехонька, и мы имѣемъ удовольствіе читать не возраженіе, а нѣкоторыя мысли, неизвѣстно противъ кого направленные. Напримѣръ:

«Римъ замѣнилъ Грецію, говорите вы? Да, но онъ принялъ въ себя плоды греческой культуры. (*Какъ и что принялъ—это разобрано въ статью «Россія и Европа»*). Западная Европа стала на мѣсто Рима? Правда; но она его не истребила, а напротивъ, претворила въ себѣ римскую культуру (*но и это разобрано въ статью*) и повела далѣе дѣло всемирной цивилизаціи (*которой, какъ доказывается въ статьѣ, вовсе не существуетъ*). Очень можетъ быть, и даже внѣ сомнѣній, что наступитъ время, когда Россія и славянскій міръ явятся во главѣ умственнаго движенія, но это случится лишь тогда, когда мы овладѣемъ современною культурою».

Итакъ, г. П. Щ. соглашается съ обыкновеннымъ мнѣніемъ славянофиловъ о великой будущности славянскаго племени, признаетъ даже, что оно будетъ *во главѣ*, слѣдовательно, соглашается и съ пророчествомъ о паденіи Европы; но въ то же время твердо стоитъ и за *единую* культуру, безъ которой нѣтъ спасенія. Очевидно, здѣсь весь узелъ вопроса—и очень жаль, что критикъ остался глухъ ко всѣмъ разсужденіямъ г. Данилевскаго о невозможности такой культуры.

Повидимому, критикъ сверхъ того вообразилъ, что г. Данилевскій отвергаетъ всякое вліяніе и заимствованіе, всякое значеніе плодовъ одной культуры для другой. «Мы увѣрены, продолжаетъ г. П. Щ., что славянскія племена, занявъ первенствующее мѣсто въ исторической жизни человѣчества, внесутъ въ нее не мало оригинальнаго и самобытнаго; но для этого мы не видимъ надобности, чтобы они *выработывали свою культуру въ четырехъ стѣнахъ*—съ тѣмъ, чтобы, подобно Минервѣ, выскочить въ одно прекрасное утро на удивленіе и поученіе всему свѣту».

Но кто же выражалъ подобную дикую мысль? Какъ жаль, что г. П. Щ. вовсе не читалъ статьи «Россія и Европа». Тамъ онъ увидѣлъ бы, что частнымъ культурамъ приписывается огромное значеніе въ общей жизни человѣчества. Каждая культура, сказано тамъ, оставляетъ по себѣ драго-

цѣнное наслѣдство, нѣкоторый вкладъ въ общую сокровищницу, которою потомъ пользуются всѣ народы. Наслѣдство это, по мнѣнію г. Данилевскаго, тѣмъ драгоцѣннѣе, что мы можемъ его только *имѣть*, но сами добыть его были бы не въ силахъ. Если бы мы теперь могли превзойти Грековъ въ ваяніи и съ каждымъ поколѣніемъ—производить статуи все болѣе и болѣе совершенныя, то спрашивается: какое бы значеніе имѣли для насъ древнія статуи? Это были бы уже не образцы красоты, не предметы глубочайшаго эстетическаго наслажденія, а простые остатки древности, годные лишь для археологическихъ изслѣдованій. То же самое должно сказать и о всемъ другомъ. Если мы повѣримъ плачевной теоріи прогресса и единой цивилизаціи, то должны будемъ думать, что со временемъ вся исторія человѣчества, всѣ плоды его трудовъ обратятся для насъ въ пустаки, нестоющіе вниманія. Итакъ, только слѣдуя теоріи культурно-историческихъ типовъ, мы не отрицаемъ, а напротивъ, признаемъ въ надлежащей степени важность результатовъ, добытыхъ исторіею человѣчества. Именно потому, что человѣчество осуществляетъ свою идею разновременно и разномѣстно, что ни одна изъ частныхъ культуръ не составляетъ полного выраженія этой идеи,—историческія явленія получаютъ характеръ *незамѣнимыхъ образцовъ*, и исторія сохраняетъ для насъ свой великій интересъ, какой бы прогрессъ у насъ ни совершался.

Вообще, взаимныя отношенія культуръ тщательно разобраны г. Данилевскимъ. Г. П. Щ., не обративъ на это вниманія, заключаетъ такъ:

«Могъ Египетъ развиваться независимо отъ Индіи (*въ чемъ, замѣтимъ, ничего нѣтъ мудренаго, такъ какъ Египетъ развивался раньше Индіи*), но уже Римъ заимствовалъ у Греціи, какъ говоритъ и самъ г. Данилевскій (г. Данилевскій вообще ни въ чемъ не отступаетъ отъ исторіи; онъ только различаетъ между заимствованіемъ и тѣмъ продолженіемъ, по которому одна культура составляетъ продолженіе другой). Нынѣ культура одна для всѣхъ: эта та, которая съ Востока пришла въ Грецію и оттуда разлилась по всей почти Европѣ и Африкѣ, общая проникнуть во всѣ концы міра, видоизмѣняясь, конечно, въ различныхъ мѣстно-

ствѣхъ и въ разныя эпохи, но въ основаніяхъ своихъ единая и всѣмъ общая».

Изъ этихъ словъ всего яснѣе можно видѣть всю призрачность этой общей культуры, столь твердо исповѣдуемой нашимъ критикомъ. Что это за культура? Гдѣ именно *на Востоке* она началась? Неужели можно сказать, что есть нынче культура, составляющая продолженіе египетской или финикійской? *Нынѣ*, говоритъ г. П. Щ., культура одна для всѣхъ; съ которыхъ же поръ различіе въ культурахъ прекратилось и наступила эта единая культура? Наконецъ, откуда такое рѣшительное пророчество, что нѣкогда эта единая культура проникнетъ во всѣ концы міра?

Не ясно ли, что все это только предвзятая идея, что это не выводъ изъ историческихъ фактовъ, а нѣкоторая мечта о будущемъ — фантастическое предположеніе нѣкоторой общей цивилизаціи, до сихъ поръ не существовавшей въ исторіи, но со временемъ долженствующей обнять все человѣчество и повести *его по общему пути прогресса, по общимъ разумнымъ законамъ?*

Предвзятая идеи, затверженные мнѣнія, предразсудки, принимающіе себя за неопровержимыя истины, не только ведутъ къ отрицанію всякой новой мысли, но не даютъ даже уразумѣть ее надлежащимъ образомъ.

Еще разъ обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на глубокую оригинальность мысли г. Данилевскаго. Считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ, чтобы выяснитъ эту оригинальность и съ другой стороны. Очень легко подумать, что статья «Россія и Европа» составляетъ не что иное, какъ изложеніе и развитіе давно извѣстныхъ славянофильскихъ мнѣній. Для тѣхъ, которые имѣютъ въ виду одно практическое значеніе дѣла, одни выводы, такъ или иначе могущіе найти себѣ приложеніе, — главное значеніе этой статьи, конечно, только въ томъ и будетъ заключаться, что она славянофильская, что она примыкаетъ къ извѣстнаго рода мнѣніямъ. Но для тѣхъ, кто въ произведеніяхъ мысли видитъ и цѣнитъ и теоретическую сторону, будетъ совершенно ясно, что эта статья, сходясь съ выводами славянофиловъ, существеннымъ обра-

зомъ отличается отъ ихъ писаній. Въ ней другіе приемы и другія основанія—и въ этомъ заключается главная суть дѣла. Въ основаніи ея положенъ *новый взглядъ на всемірную исторію*, и статья повсюду держится того метода, которымъ добытъ этотъ взглядъ. Какъ мы уже замѣчали, этотъ методъ состоитъ въ уразумѣніи *частнаго характера* cadaго явленія. Общія понятія, какъ, на примѣръ, *прогрессъ, цивилизація, человечество, просвѣщеніе* и т. п., очень обыкновенно спутываютъ наши мысли: именно — заслоняютъ отъ насъ *настоящій, дѣйствительный видъ*, который имѣетъ то или другое дѣло. Ничего не можетъ быть драгоценнѣе, какъ умѣнье видѣть специальное отличіе cadaго предмета, умѣнье различать вещи, а не смѣшивать ихъ. Только вслѣдствіе такого разграниченія и обособленія явленій мы можемъ составить себѣ правильный взглядъ какъ на исторію, такъ и на всякій другой предметъ.

Итакъ, дѣло не въ томъ, что выводы статьи «Россія и Европа» болѣе или менѣе совпадаютъ съ взглядами славянофиловъ; важно то, что эти выводы опираются на новыя общія начала, слѣдовательно, озаряются новымъ свѣтомъ, выдерживаютъ новую повѣрку, связываются во едино новою связью. Вотъ почему, не говоря о новизнѣ и оригинальности частныхъ замѣчаній и выводовъ, мы имѣемъ право смотрѣть на эту статью, взятую въ цѣломъ, какъ на важный шагъ впередъ въ той области предметовъ, которой она посвящена. Она касается вопросовъ, уже давно и глубоко интересующихъ cadaго истинно-русскаго человѣка, и содержитъ новую, болѣе точную формулировку этихъ вопросовъ и ихъ рѣшенія.

Таково наше мнѣніе. Высказываемъ его смѣло потому, что для насъ всякое развитіе русской мысли дорого несравненно и что, къ несчастію, не мало препятствій должно побѣждать это развитіе, не мало явленій, которыя стремятся или подавить его, или по крайней мѣрѣ заслонить его отъ глазъ людей, отодвинуть на задній планъ, затмить и заглушить его какимъ-нибудь инымъ блескомъ и шумомъ.

б) Хотячя понятія о славянофильствѣ. — Почему «гнѣніе запада» извѣстнѣе всѣхъ другихъ мнѣній славянофиловъ. — Готовые ярлыки. — «Богатство эрудиціи» въ статьѣ «Россія и Европа». — Фальшивая ссылка. — Упадокъ нашей литературы, доказываемый несомнѣнными фактами.

(«Заря». 1869, № 11).

Что такое славянофилы? Это люди, стоящіе за самобытное развитіе русскаго народа, признающіе въ этомъ народѣ своеобразныя духовныя силы, видящіе въ его исторіи постепенное проявленіе этихъ силъ и желающіе впредь наилучшаго ихъ раскрытія. Таково голое, отвлеченное опредѣленіе славянофильства, опредѣленіе, содержащее только общую логическую формулу славянофильскихъ мнѣній. Для большинства читателей такое опредѣленіе однакоже очень трудно, очень мало понятно, и потому они хватаются за признакъ болѣе ясный, рѣзче бросающійся въ глаза. Славянофилы, говорятъ обыкновенно, суть люди, возстающіе противъ рабскаго подражанія Западу, противъ тѣхъ заимствованій отъ европейской цивилизаціи, которыя мы постоянно дѣлаемъ. Отсюда выводится такая противоположность: мы желаемъ просвѣтитесь, хотимъ улучшить наше устройство, уничтожить наши злоупотребленія и недостатки и потому обращаемся къ Западу за примѣромъ и поученіемъ; славянофилы же хотятъ чего-то другого и, слѣдовательно, стоятъ за невѣжество и застой, за всѣ темныя и больныя стороны старой и новой Россіи. Хотя такое заключеніе нелѣпо, но оно очень понятно, очень ясно и потому долгое время имѣло ходъ; нѣкогда славянофилы единогласно признавались ретроgrадами и обскурантами.

Существенная сила этого заключенія, очевидно, заключается въ томъ благоговѣніи, которое мы питаемъ къ европейской цивилизаціи, въ томъ высокомъ понятіи, которое мы объ ней составили. Всякій, непочтительно касающійся этого предмета нашего глубокаго уваженія, тотчасъ признается нами врагомъ свѣта и жизни, человѣкомъ, ищущимъ не нашей пользы, а нашего вреда. Поэтому же самому изъ всѣхъ мнѣній славянофиловъ наибольшую извѣстность получило то мнѣніе, которое касается нашего идола, предмета нашего благо-

говѣйнаго поклоненія—западной цивилизаціи. Все, что говорили славянофилы о духовномъ своеобразіи русскаго народа, о самобытности его развитія, все это для большинства читающей публики не могло быть ни особенно понятно, ни особенно интересно,—все это касается предметовъ, которые никому не были близки къ сердцу. Но какъ скоро дерзкіе умы рѣшились простирать свою мысль на самое святая святыхъ, на то солнце, къ которому постоянно обращаются наши взоры, то эти посягательства тотчасъ обращали на себя всеобщее вниманіе, были замѣчаемы даже людьми беззаботными и равнодушными на счетъ литературы и всякихъ другихъ трудныхъ предметовъ. Вотъ почему изъ всѣхъ толкованій славянофиловъ въ памяти обыкновенныхъ читателей всего крѣпче сидитъ то мнѣніе, что Западъ не есть единый спасительный источникъ свѣта, что въ немъ уже не мало замѣтныхъ намъ темныхъ пятенъ, что односторонность его развитія должна привести его къ неминуемому концу—къ разрушенію. *Западъ гніетъ*—сказалъ одинъ изъ славянофиловъ, желая какъ можно больше усилить свое выраженіе, какъ можно больше поразить слѣпыхъ поклонниковъ Запада. И вотъ это выраженіе сдѣлалось въ глазахъ читателей девизомъ славянофильства. *Гниющей Западъ*—вотъ все, что знаетъ о славянофильствѣ толпа его безчисленныхъ порицателей, вотъ то единственное положительное мнѣніе, которое она вынесла изъ многолѣтней литературной дѣятельности славянофиловъ, та единственная опредѣленная черта, которая впечатлѣлась въ умахъ самыхъ равнодушныхъ и лѣнивыхъ. Славянофилы—это люди, думающіе, что Западъ гніетъ,—вотъ наконецъ та ясная, общедоступная, легко удерживаемая въ памяти и не сильно обременяющая умъ формула, подъ которую масса читателей подводитъ все ученіе славянофильства. Вы славянофилъ, это значитъ—вы признаете, что Западъ гніетъ. Коротко и ясно, хотя въ концѣ концовъ часто совершенно невѣрно и не къ дѣлу.

Когда въ нашемъ журналѣ стала появляться статья г. Данилевскаго «Россія и Европа», мы съ нетерпѣніемъ слѣдили за впечатлѣніемъ, которое должно было произвести это глубокое, оригинальное и многосодержательное произведеніе. Что же оказалось? Мы до сихъ поръ не можемъ указать ни

на одинъ отзывъ, вполне достойный самаго дѣла. Между тѣмъ отзывы было не мало, но они сложились по тому закону, по которому обыкновенно складываются мнѣнія равнодушнаго и лѣниваго большинства. Масса пишущихъ часто очень вѣрно изображаетъ собою массу читающихъ; она руководится тѣми же инстинктами и привычками, такъ же любитъ готовые ярлыки для всѣхъ вещей, требующихъ обсуждения, такъ же легко забываетъ прошлое и такъ же упорно держится однажды вкоренившихся мнѣній. У насъ въ особенности невѣжество относительно собственной литературы, самыя превратныя и дѣтскія мнѣнія относительно ея партій и дѣятелей имѣютъ больше хода, чѣмъ въ какой-нибудь другой литературѣ. Мы мало себя уважаемъ и относимся съ высокомеріемъ и презрѣніемъ къ явленіямъ нашей скудной умственной жизни. Мы съ жадностію бросаемся на пустяковины въ родѣ журнала Рошфора, а напримѣръ о Хомяковѣ имѣемъ развѣ какое-нибудь смѣхотворное понятіе. Мы знаемъ только послѣднія книжки нашихъ журналовъ и то преимущественно тѣхъ, въ которыхъ помѣщаются наши мудрыя статьи.

Итакъ, дѣло пошло самымъ обыкновеннымъ порядкомъ. Первое впечатлѣніе отъ статьи г. Данилевскаго было то, что она имѣетъ славянофильское направленіе. «А, мы это знаемъ!» воскликнули рецензенты; «мы понимаемъ, къ чему онъ клонить; зачѣмъ только онъ такъ подробно доказываетъ то, что уже давно было сказано?» Такимъ образомъ, на статью былъ наклеенъ первый ярлыкъ — ярлыкъ славянофильства, и вся оригинальность основной мысли г. Данилевскаго, всѣ его усилія точно формулировать и развить эту мысль остались незамѣченными. Никто не подумалъ сравнивать, сличать; никто не зналъ славянофильства на столько, чтобы различить его приемы отъ приемовъ г. Данилевскаго. Прибавимъ еще одну черту — наши рецензенты невольно обнаружили при этомъ свое глубокое невѣжество. Именно — они не замѣтили главной идеи, но были поражены массою подробностей, множествомъ фактовъ, которыми эта идея подкрѣплялась. И вотъ рецензенты стали толковать о *богатствѣ эрудиціи*, объ учености, потраченной даромъ и т. д. Между тѣмъ статья г. Данилевскаго ни мало не замѣчательна въ этомъ отношеніи; только

для людей мало свѣдущихъ могли показаться чѣмъ-то неслыханнымъ и новымъ тѣмъ большею частію обще-извѣстные факты, на которые статья ссылается. Для подбора этихъ фактовъ не требовалось ни изысканій, ни даже особыхъ справокъ; эти факты въ большинствѣ случаевъ должны быть знакомы каждому образованному человѣку, и вся сила, все достоинство статьи заключается только въ томъ неожиданномъ и яркомъ свѣтѣ, которымъ въ ней озаряются факты самые простые, самые знакомые. Но этого яркаго свѣта никто не замѣтилъ и г. Данилевскаго стали выхвалять за эрудицію, стали удивляться обширности его знаній!

Но величайшею находкою для нашихъ рецензентовъ было появленіе 7-й главы статьи г. Данилевскаго въ апрѣльской книжкѣ «Зари». Эта глава называется: *гнѣтъ ли Западъ?* Знакомый звукъ, а главное—знакомая дерзость вопроса, который не долженъ и въ голову приходить правовѣрному западнику, соблазнили рецензентовъ, и они по одному вопросу уже рѣшили, что г. Данилевскій держится ненавистной имъ ереси. Тотчасъ была найдена готовая и легкая формула для сужденія о многосодержательномъ и важномъ литературномъ произведеніи, и эта формула, повторяемая въ одинъ голосъ, была слѣдующая: *г. Данилевскій написалъ статью въ славянофильскомъ духѣ; именно — онъ утверждаетъ, что Западъ гнѣтъ.*

При этомъ никто не обратилъ вниманія, что на вопросъ, поставленный въ началѣ главы, г. Данилевскій въ самой главѣ отвѣчаетъ отрицательно, что онъ отнюдь не признаетъ гнѣнія Запада. Такъ-то составляются сужденія нашей печати. такъ остроумны и проницательны ея приговоры!

Такому плачевному ходу дѣла всего больше способствовалъ г. П. Щ., замѣтки котораго помѣщаются въ «Русскомъ Вѣстникѣ», журналъ весьма уважаемомъ и распространенномъ. Г. П. Щ., не задумываясь, прошелъ до конца ту торную дорогу, по которой масса людей «нѣсколько беззаботныхъ на счетъ литературы» доходитъ до своихъ заключеній.

Въ нашихъ замѣткахъ мы начали съ г. П. Щ. состояніе, на пріемы котораго онъ, кажется, не имѣетъ права

жаловаться. Мы придавали вѣсъ каждому его слову, разбирали его аргументы, слѣдили за ходомъ его мыслей, предлагали ему возраженія и вопросы. Мы открыли ему обширное поприще для всякаго рода разсужденій, которыми онъ могъ бы защитить себя, опровергнуть насъ и развить свои мысли въ полномъ ихъ блескѣ. Мы строго держались предмета и не дѣлали никакихъ намековъ на чинъ или прежнія занятія г. П. Щ., подобно тому, какъ самъ г. П. Щ. намекалъ на ботаническія занятія г. Данилевскаго, или какъ недавно въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», не сказавшихъ ни единого разумнаго слова о «Россіи и Европѣ», были зато опубликованы чинъ и мѣсто служенія г. Данилевскаго. Мы говорили только о дѣлѣ, отвѣчали на вопросы, къ намъ обращенные, спрашивали отчета въ сужденіяхъ, относившихся къ тому, что было напечатано на страницахъ нашего журнала.

Что же вышло? Всѣ наши усилія пропали даромъ, и если бы мы думали, что трудимся только для г. П. Щ., если бы насъ не утѣшала сладкая надежда, что не онъ одинъ насъ читаетъ и цѣнитъ, то мы впали бы въ совершенное отчаяніе. Г. П. Щ. насъ покидаетъ, не принимаетъ нашего вызова, не отвѣчаетъ намъ.

Что за несчастіе! Послѣ этого намъ придется, пожалуй, трактовать, какъ нѣчто серьезное, замѣчанія г. Z, фельетониста «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Съ этою цѣлью мы уже пересмотрѣли его фельетоны. Нельзя ли хоть съ нимъ *преломить копье*? Нельзя ли какъ-нибудь обратить его въ писателя, могущаго отвѣчать за свои слова и мысли? Нельзя ли отыскать въ его словахъ хоть крупицу дѣла и предложить ему хотя на одну минуту подумать о чемъ-нибудь серьезно? Нельзя ли такъ возвысить и облагородить тонъ и смыслъ его сужденій, чтобы изъ нихъ вышло нѣчто дѣйствительно литературное? Нельзя ли вообразить, что если мы ему сдѣлаемъ возраженіе, онъ намъ отвѣтитъ, если уличимъ его во лжи или въ ошибкѣ, онъ устыдится, если докажемъ что нибудь ясно, какъ бѣлый день, онъ согласится?

Мы объ этомъ подумаемъ. Не одинъ г. Z., не мало есть и другихъ литературныхъ бойцовъ, которыхъ нужно сперва

посвятить въ рыцари для того, чтобы можно было биться съ ними, не унижая самого себя. Но обратимся къ г. П. Щ.

Въ *Замѣткѣ*, помѣщенной въ августовской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», онъ уклоняется отъ всякаго отвѣта, не опровергаетъ никакихъ нашихъ возраженій и даже готовъ, повидимому, смиренно согласиться, что онъ, какъ мы ему доказывали, «не понялъ статьи г. Данилевскаго». Но есть одинъ пунктъ, на которомъ онъ усердно настаиваетъ. Онъ готовъ отказаться отъ своихъ собственныхъ воззрѣній и сужденій, но считаетъ долгомъ защищать вѣрность одной ссылки, одного указанія, именно—на счетъ мнѣнія г. Данилевскаго о гнѣніи Запада. Мы замѣтили г-ну П. Щ., что г. Данилевскій «отнюдь не утверждаетъ, что Западъ гнѣетъ». Г. П. Щ. настаиваетъ, что въ этомъ отношеніи онъ не сдѣлалъ ошибки и, какъ слѣдуетъ, понялъ статью «Россія и Европа».

Для доказательства г. П. Щ. цитируетъ спорную VII главу и выписываетъ изъ нея слѣдующее мѣсто («Р. Вѣстникъ», августъ, стр. 769):

«Сама мысль, высказанная славянофилами о гнѣніи Запада, кажется мнѣ совершенно вѣрною, только выразилась она въ жару борьбы и спора слишкомъ рѣзко и потому съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ... Но, оставивъ это преувеличеніе, вопросъ заключается въ томъ, въ какомъ періодѣ своего развитія находятся европейскія общества, на какой точкѣ своего пути?» и проч.

Это мѣсто, какъ думаетъ г. П. Щ., должно каждому доказать, что г. Данилевскій, дѣйствительно, признаетъ гнѣніе Запада. Но что скажутъ читатели, если мы имъ откроемъ теперь, что г. П. Щ. искажилъ текстъ автора, о которомъ пишеть, что онъ опустилъ изъ него существенное мѣсто и, такимъ образомъ, напечаталъ на страницахъ «Русскаго Вѣстника» заведомо фальшивую ссылку? Раскройте 96 страницу апрѣльской книжки «Зари». Тамъ стоитъ:

«Сама мысль, высказанная славянофилами о гнѣніи Запада, кажется мнѣ совершенно вѣрною, только высказалась она въ жару борьбы и спора слишкомъ рѣзко и потому съ нѣкоторымъ преувеличеніемъ. *Гнѣніе есть полное разложене*

состава органическихъ тѣлз. Этого явленія мы, конечно, не замѣчаемъ въ явленіяхъ европейской жизни. Но, оставивъ это преувеличеніе, вопросъ заключается въ томъ, въ какомъ періодѣ своего развитія находятся европейскія общества», и проч.

Теперь спрашиваемъ всѣхъ и каждого, не явно-ли сфальшивилъ нашъ рецензентъ? Не ясно-ли, что не по небрежности или слабопамятности, а совершенно умышленно онъ выпустилъ зловерное для него мѣсто? Дѣлая выписку изъ статьи г. Данилевскаго, онъ конечно не потерялъ же способности видѣть, когда дошелъ до роковыхъ строчекъ. Нѣтъ, онъ ихъ ясно видѣлъ и выпустилъ затѣмъ, чтобы другіе ихъ не видѣли, чтобы, положась на него, повѣрили, что ихъ нѣтъ.

Мы говорили прежде г-ну П. Щ., что г. Данилевскій «отнюдь не утверждаетъ, что Западъ гніетъ». Г. П. Щ. самъ наткнулся на строчки, въ которыхъ г. Данилевскій *прямо утверждаетъ, что Западъ не гніетъ*; но что же сдѣлалъ нашъ рецензентъ? Онъ выпустилъ эти строчки, искажилъ выписку и все-таки напечаталъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» замѣтку, что Западъ гніетъ по мнѣнію г. Данилевскаго.

Спрашивается, изъ-за чего же все это дѣлается? По какимъ побужденіямъ люди рѣшаются на подобныя продѣлки? А вотъ спросите ихъ.

Статья г. Данилевскаго есть трудъ, къ которому невозможно отнести безъ уваженія. Литераторамъ, людямъ мысли и слова, казалось бы, можно было если не тотчасъ опѣнить ее, то почувствовать хоть то, что это произведеніе не дюжинное, не эфемерное и, слѣдовательно, отнести къ нему, не говоримъ уважительно, а по крайней мѣрѣ не легкомысленно. Мы знаемъ, что не всякое лыко въ строку; весьма простиительно ошибиться и не признать ума и таланта въ какомъ-нибудь мелкомъ явленіи, сливающимся съ массою другихъ ему однородныхъ; презрительный взглядъ на нашу любезную литературу такъ крѣпко утвердился, что не мудрено, если онъ захватить иногда и то, что достойно дѣйствительнаго уваженія. Но если наша литературная братія посягаетъ въ своемъ легкомысліи и на явленія самыхъ крупныхъ размѣровъ, на

такія явленія, которыя волей-неволей должны всѣмъ бросаться въ глаза, если, напримѣръ, раздаются вдругъ высокомѣрные, поверхностные, наивно-дерзкіе отзывы о такихъ произведеніяхъ какъ «Война и Миръ» или «Россія и Европа», то творцы этихъ отзывовъ напоминаютъ намъ того прапорщика въ отставкѣ, о которомъ Давыдовъ говоритъ:

Для него Наполеонъ
Въ родѣ бородавки.

Ничѣмъ нельзя такъ ясно обнаружить свою малость и свое легкомысліе, какъ подойти вплотъ — къ чему бы?—ну, хоть къ Исаіевскому Собору и, задравши носъ, утверждать, что этотъ соборъ вовсе не великъ и что мы видимъ—поверхъ его... Стойте, господа, лучше подальше; можетъ быть и найдутся близорукіе люди, которые подумаютъ, что вашъ ростъ не уступаетъ вышины колоссовъ и пирамидъ.

Въ настоящемъ случаѣ мы видимъ еще другое, весьма характерное явленіе. Г. П. Щ., очевидно, глазамъ своимъ не вѣрить, что онъ ошибся. Въ его головѣ такъ крѣпко засѣли извѣстные взгляды на дѣло, извѣстные предразсудки, что онъ не покоряется даже очевидности! Какіе же это взгляды? Очевидно, нашъ рецензентъ думалъ: не можетъ быть, чтобы славянофилъ, какъ г. Данилевскій, не признавалъ гніенія Запада. Какой же онъ поствъ этого славянофила? Хоть онъ и говоритъ: *подобнаго явленія мы не замѣчаемъ въ явленіяхъ европейской жизни*, но я лучше выпущу эти слова. Данилевскій, очевидно, самъ себя противорѣчитъ; будто я не знаю, что славянофилы непременно признаютъ Западъ гніющимъ!

Такъ и попалъ г. П. Щ. въ число тѣхъ людей, о которыхъ говорится: у нихъ есть глаза, но они не видятъ, есть уши, но они не слышатъ. Напрасно увѣщеваетъ ихъ г. Данилевскій: *«оставимъ, гороритъ онъ, это преувеличеніе; конечно Западъ не гніетъ; это выраженіе родилось въ жару спора и борьбы; оно слишкомъ рѣзко; оставимъ его, прошу васъ, и возьмемъ самую мысль»*. И затѣмъ слѣдуетъ совершенно точная, совершенно ясная постановка вопроса. «Вопросъ заключается въ томъ, говорить г. Данилевскій, *въ какомъ пе-*

підот своего развитія находятся европейскія общества, *на какой точкѣ* своего пути: восходятъ ли онѣ еще по кривой, выражающей ходъ общественнаго движенія, достигли ли кульминаціонной точки, или уже перешли ее и склоняются къ западу своей жизни?

На этотъ ясный и опредѣленный вопросъ слѣдуетъ ясный и опредѣленный отвѣтъ. Г. Данилевскій различаетъ...

Но что же мы дѣлаемъ? Мы въ третій разъ хотимъ на страницахъ «Зари» формулировать это рѣшеніе, въ третій разъ хотимъ повторять одно и то же. Не лучше ли оставить этотъ напрасный трудъ? Для людей, которые имѣютъ глаза и не видятъ, имѣютъ уши и не слышатъ, всѣ наши труды пропадутъ даромъ; урезонить г. П. Щ. и ему подобныхъ читателей мы отказываемся. Для читателей же добросовѣстныхъ и внимательныхъ, для тѣхъ почитателей статьи г. Данилевскаго, которые хотя отчасти сумѣли оцѣнить ея достоинства, наши толкованія будутъ лишніи.

А, вѣдь, если мы пишемъ, то пишемъ именно для такихъ читателей. *Odi profanum vulgus!* Наши литературные собраты иногда имѣютъ дурную привычку обращаться къ другимъ съ такими возгласами: «мы васъ не читаемъ, мы васъ не понимаемъ, мы не хотимъ знать, что и какъ вы пишете.» Да кто такіе вы, думающіе, что ваше чтеніе и пониманіе имѣетъ такую великую важность? Можетъ быть, авторъ нисколько не имѣетъ претензій, чтобы его читали и понимали люди скудоумные; можетъ быть, онъ вовсе не желаетъ угодить разнымъ умственнымъ недорослямъ и литературнымъ межеумкамъ и нисколько не гонится за ихъ похвалами. Какая радость въ одобреніи людей тупыхъ и криво понимающихъ вещи? Такое одобреніе можетъ иногда сильно огорчить человѣка, дорожащаго своими мыслями и желающаго, чтобы онѣ были правильно поняты. Иная похвала хуже брани, и люди, приписывающіе своему чтенію и пониманію высокую цѣну и рѣшительный вѣсъ, должны бы помнить, что имъ могутъ отвѣтить слѣдующимъ образомъ: для какого праха мнѣ ваше чтеніе и пониманіе? Я не дамъ за нихъ и мѣднаго гроша.

Итакъ, обращаемся къ нашимъ любезнымъ читателямъ, къ тѣмъ читателямъ, въ благосклонности которыхъ «Заря» не имѣетъ причины сомнѣваться и судъ которыхъ для нея существенно важенъ и нуженъ. Посмотрите, дорогіе читатели, какія безобразія совершаются въ нашей литературѣ. Явилось великое произведеніе гр. Л. Н. Толстаго «Война и Миръ». Въмѣсто хора похвалъ и восторговъ, литература встрѣтила его сперва угрюмымъ молчаніемъ, а потомъ раздалися недоброжелательныя, презрительныя, злобныя, но главное—бестолковыя и легкомысленныя выходки. Появилось вѣское и многосодержательное произведеніе другого рода, «Россія и Европа»,—результатъ весьма подобный: то же молчаніе, то же недоброжелательство и легкомысліе.

Справедливо замѣчаютъ, что до такого низкаго уровня въ извѣстномъ отношеніи никогда еще не падала русская литература. Такъ искажилось и опошнилось эстетическое чутье, такъ загрубѣли и понизились умственные вкусы, такъ засорились и отупѣли головы, что самыя свѣтлыя и животрепещущія явленія не могутъ возбудить надлежащаго вниманія, не могутъ расшевелить умы, сдавленные рутиной. Причина такого грустнаго положенія дѣлъ, конечно, заключается въ предшествовавшемъ развитіи русской литературы, въ образованіи, если можно такъ выразиться, извѣстныхъ наростовъ на мозгахъ, въ тѣхъ пробитыхъ и протертыхъ дорожкахъ и колеяхъ, на которыя теперь безпрестанно сбиваются умы нашихъ пишущихъ и читающихъ людей.

Знаете ли, напримѣръ, любезные читатели, какое окончательное мнѣніе составилось въ петербургской литературѣ о «Войнѣ и Мирѣ», объ этомъ произведеніи, которое вы такъ хорошо знаете и такъ высоко цѣните? Это мнѣніе, которое можно встрѣтить во многихъ журналахъ и которое всего яснѣе было высказано въ «Отечественныхъ Запискахъ» состоитъ въ томъ, что «Война и Миръ» есть произведеніе *патріотическое*, что авторъ льститъ въ немъ русскому патріотизму и тѣмъ единственно привлекъ своихъ читателей и стяжалъ успѣхъ.

Такимъ образомъ, наши критики припили къ самому грубому пониманію, какое только возможно. Они подвели уди-

вительное произведеніе гр. Л. Н. Толстаго подъ разрядъ явлений, съ которыми оно не имѣетъ ничего общаго; они причислили его къ тѣмъ произведеніямъ, которыя заимствуютъ свою силу не отъ художественности, не отъ глубокаго проникновенія въ природу людей и событій, а отъ грубой лести могучимъ, а потому часто ослѣпляющимъ и увлекающимъ чувствамъ любви къ отечеству и народной гордости. Они хотѣли сказать и внушить другимъ, что «Война и Миръ» есть произведеніе фальшивое, хотѣли заподозрить и отрицать то высокое служеніе правдѣ, ту неподкупную искренность и добросовѣстность, съ которыми работалъ художникъ, которыя такъ ясно свѣтятся въ каждой его строкѣ, даютъ такую непобѣдимую прелесть каждой его страницѣ!

Нѣчто подобное произошло и съ «Россіей и Европой», хотя, разумѣется, въ меньшихъ размѣрахъ, такъ какъ дѣло шло не о художественномъ произведеніи, говорящемъ живыми образами, а о статьѣ, требовавшей отъ читателей нѣкотораго усилія мысли. Точно также статья была встрѣчена упорнымъ молчаніемъ; точно также раздалися потомъ отрывочные неблагосклонные отзывы и въ нихъ обнаружилось такое же легкомысліе, такое же неумѣнье уважать и предметъ, о которомъ идетъ рѣчь, и достоинства умственнаго труда, глубину и изящество работы автора. Смыслъ же отзывовъ былъ точно также самый пошлый и самый грубый, какой только можно придумать. Сказали, будто авторъ повторяетъ старое, давно извѣстное; воспользовавшись вопросительнымъ заглавіемъ одной главы, свели все содержаніе статьи на то, что авторъ признаетъ гніеніе Запада и пророчить ему гибель.

Такимъ образомъ, были упущены изъ виду всѣ тѣ качества, которыя такъ высоко ставятъ это произведеніе. Упущена изъ виду совершенная оригинальность и новость основной мысли; упущена изъ виду та совершенная точность и опредѣленность, съ которою въ статьѣ развивается эта мысль, и въ силу которой авторъ даетъ правильную и отчетливую формулировку многимъ идеямъ, до него высказывавшимся смутно и неправильно; упущена изъ виду, наконецъ, та многосодержательность и всесторонность, съ которою онъ трактуетъ свой предметъ.

Увы! любезные читатели, какъ ни ярки эти достоинства въ статьѣ, о которой мы говоримъ, мы обнаружили бы самую наивную неопытность, если бы думали, что ихъ тотчасъ же надлежащимъ образомъ оцѣнять и поймуть. Это дѣло трудное и мало кому доступное. Но насъ удивляетъ, что наши рецензенты какъ-будто и не подозреваютъ, что подобныя качества вообще могутъ существовать и что ихъ слѣдуетъ цѣнить. Посмотрите на г. П. Щ. Если бы онъ вообще цѣнилъ точность выраженій, опредѣленность мысли, развѣ онъ сталъ бы такъ наивно настаивать, что все равно сказать: *Западъ мнѣтъ*, или *Западъ находится на такой-то опредѣленной точкѣ развитія?* Собственныя мысли нашихъ рецензентовъ такъ смутны, такъ мало имѣютъ опредѣленности, что они ничего подобнаго не могутъ представить и у другихъ и упорно держатся за истертыя фразы, за готовые формулы и ярлыки. Имъ дороги и милы эти ярлыки, потому что безъ нихъ они пропали бы въ путаницѣ собственныхъ понятій.

Рутина въ мышленіи, закоренѣлость въ извѣстныхъ формахъ и оборотахъ мысли, въ самыхъ выраженіяхъ и буквахъ затверженныхъ фразъ,—вотъ конечно самое большое препятствіе для распространенія новой мысли, для ея надлежащей оцѣнки. Статьѣ г. Данилевскаго, конечно, нельзя было не встрѣтить этого препятствія, и безъ сомнѣнія она еще долго будетъ съ нимъ бороться.

Кто задумывался надъ нашими отношеніями къ Западу, кто понимаетъ важность этого существеннаго вопроса русской мысли и жизни, тотъ конечно не можетъ пропустить безъ вниманія усилій г. Данилевскаго дать новое, болѣе ясное и точное опредѣленіе этихъ отношеній. Предметъ вѣличайшей важности. Мы ученики Запада, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но люди, стоящіе за прогрессъ и всяческое развитіе, страннымъ образомъ не хотятъ и не признаютъ только одного прогресса, одного, самаго важнаго шага въ развитіи: они не хотятъ, чтобы мы когда-нибудь перестали быть учениками; они считаютъ дерзостію самую мысль о томъ, 'чтобы возрастающая сила духа и сознанія поставила насъ въ возможность выйти, наконецъ, изъ, подъ ферулы учителя, отнестись къ его сло-

вамъ свободно и сознательно и зажить собственною, незаимствованною умственною жизнью. Такъ въ школѣ преслѣдуется обидами и насмѣшками ученикъ. рѣшившійся имѣть свое мнѣніе, независимое отъ того, чему учить любимый и уважаемый наставникъ. Отсюда взаимное раздраженіе съ обѣихъ сторонъ, преувеличеніе мысли и слова. Несмотря на то, этотъ споръ все-таки составляетъ существеннѣйшій и важнѣйшій вопросъ самой школы; ибо все ученіе напрасно, вся школа не имѣетъ смысла, если ученикамъ суждено вѣчно оставаться учениками, если они никогда не дорастутъ до самостоятельности и зрѣлости.

Собственно говоря, вопросъ о нашей самобытной духовной жизни, о томъ отношеніи, въ которое мы должны поставить себя къ громадному и блистательному авторитету Европы, есть самый существенный изъ всѣхъ нашихъ вопросовъ. Онъ давно былъ поднимаемъ, принималъ различныя формы, постепенно зрѣлъ и раскрывался, и умереть и заглохнуть ему такъ же невозможно, какъ невозможно ребенку перестать расти, хотя этого иногда и желали бы нѣкоторые черезчуръ усердные педагоги. Поэтому для всякаго мыслящаго человѣка должно быть дорого и важно все, что касается вопроса такой огромной важности и очевидной неотлагаемости.

Что же мы дѣлаемъ? Вотъ является человѣкъ, дающій новую, ясную и точную формулировку нашихъ отношеній къ Европѣ, формулировку, чуждую всякой лабкомысленной дерзости, воздающую подобающую честь Европѣ, строго и всесторонне указывающую на коренныя различія міра славянскаго отъ міра романо-германскаго, подводящаго, наконецъ, весь вопросъ подъ его нышнія начала, подъ новый общій взглядъ на всемірную исторію, подъ новое ученіе о культурно-историческихъ типахъ. Чѣмъ же встрѣчаетъ этотъ трудъ литература? «А, вы говорите, что Западъ гніетъ; мы знаемъ, все это старое, напрасная эрудиція.....»

Изъ чего и слѣдуетъ, что литература наша легкомысленна, невѣжественна, исполнена предразсудковъ и весьма дурно понимаетъ свою собственную исторію и свои существенныя задачи.

А впрочемъ, любезные читатели, чего же другого можно было ожидать? Для разумѣющихъ истинное положеніе дѣлъ мы не сказали ничего новаго. Наша литература, вообще говоря, самодовольная и гордящаяся своею прогрессивностію, въ сущности весьма мало соотвѣтствуетъ своему назначенію, далеко отстала отъ дѣйствительнаго развитія нашего самосознанія.

в) *Россія и Европа*. Взглядъ на культурныя и политическія отношенія славянскаго міра къ германо-романскому. Н. Я. Данилевскаго. Изданіе исправленное и дополненное. Спб. 1871. *)

(«Заря». 1871, № 3).

Память Н. Я. Данилевскаго драгоценна для Славянскаго Общества не только, какъ память полезнаго дѣятеля по государственному хозяйству, отличнаго русскаго натуралиста, пламеннаго патріота, человѣка явно и тайно дѣлавшаго приношенія на славянское дѣло изъ своего трудового имущества, но главное, и больше всего, какъ *учителя* тѣхъ идей, которыя лежатъ въ самой основѣ Общества, составляютъ его душу. Въ этомъ отношеніи заслуга Н. Я. Данилевскаго такъ велика, что размѣровъ ея мы теперь еще и опредѣлить не можемъ. Онъ написалъ книгу *Россія и Европа*, которую можно назвать катихизисомъ или кодексомъ славянофильства: такъ полно, точно и ясно въ ней изложено ученіе о славянскомъ мірѣ и его отношеніи къ остальному человѣчеству. Скажемъ здѣсь нѣсколько словъ объ этой книгѣ, постараемся указать ея особенности и высокія достоинства. **)

Книга эта состоитъ изъ ряда статей, явившихся въ «Зарѣ» 1869 года. Въ новомъ изданіи тщательно исправ-

*) Статья эта, напечатанная первоначально въ «Зарѣ» (1871, 3), была потомъ, съ нѣкоторыми сокращеніями и небольшимъ предисловіемъ, читана въ засѣданіи «С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества» въ ноябрѣ 1886 г., въ первую годовщину смерти (+ 7 ноября 1885 г.) Н. Я. Данилевскаго. Статья вошла, съ измѣненіями также, и въ предисловіе къ 5 изд. «Россія и Европы». Помѣщаемъ ее здѣсь въ полномъ видѣ, т. е. по тексту «Зари» и съ названнымъ предисловіемъ. Изд.

**) Это—предисловіе.

лены опечатки и всякіе случайныя недосмотры перваго печатанія, прибавлено подробное оглавленіе и, кромѣ того, сдѣланы авторомъ нѣкоторыя, впрочемъ не очень значительныя, измѣненія и дополненія.

Произнести надъ нимъ сужденіе—мы здѣсь не хотимъ, такъ какъ это задача очень трудная, и дѣло еще полождетъ. Но мы желаемъ сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія, не безполезныя для тѣхъ, кто вздумаетъ судить о «Россіи Европѣ», для всякаго рода охотниковъ до произнесенія сужденій и объявленія приговоровъ.

Есть книги, которыя совмѣщаютъ въ себѣ и завершаютъ собою цѣлые періоды въ развитіи науки, литературы, изображаютъ собою смыслъ цѣлаго направленія духовной дѣятельности. Такъ, положимъ, стихи Пушкина представляютъ намъ всю ту поэзію, которая развилась у насъ послѣ Карамзинскаго переворота; множество поэтовъ, существовавшихъ передъ Пушкинымъ и въ одно время съ нимъ, такъ сказать, поглощены и сосредоточены въ произведеніяхъ нашего величайшаго поэта. Точно также, на примѣръ, Гегель совмѣщаетъ въ себѣ всю нѣмецкую философію послѣ Канта; онъ есть настоящий представитель всего этого періода, мыслитель, въ которомъ съ наибольшею силою и ясностію выразилось все тогдашнее направленіе философіи. Точно также книга Дарвина «О происхожденіи видовъ» завершила собою цѣлое направленіе, существовавшее въ наукѣ объ организмахъ, возвела на степень научной теоріи предположенія и соображенія многихъ ученыхъ.

Подобное отношеніе существуетъ, очевидно, между книгою Н. Я. Данилевскаго и тѣмъ направленіемъ нашей литературы, которое извѣстно подъ именемъ славянофильства. Мы не возьмемся сейчасъ сказать, въ какой мѣрѣ эта книга завершаетъ и совмѣщаетъ въ себѣ славянофильскія ученія—это другой вопросъ; но что она имѣетъ такое завершающее и представительное значеніе—въ томъ невозможно сомнѣваться. Быть можетъ, со временемъ Н. Я. Данилевскій будетъ считаться славянофиломъ *по преимуществу*, кульминаціонной точкой въ развитіи этого направленія, писателемъ, сосре-

доточившимъ въ себѣ всю силу славянофильской идеи. Если имя Хомякова никогда не забудется въ исторіи русской мысли, то можетъ быть *то, что сказалъ Данилевскій*, будетъ болѣе памятно, сильнѣе и яснѣе отразится въ умахъ.

Но, положимъ, даже не такъ; положимъ, Данилевскому не суждено стоять не то что выше, а лишь впереди предшествовавшихъ славянофиловъ; во всякомъ случаѣ «Россія и Европа» есть книга, по которой можно изучать славянофильство всякому, кто его желаетъ изучать. Съ появленіемъ этой книги уже нельзя говорить, что мысли о своеобразіи славянскаго племени, о Европѣ, какъ о мірѣ намъ чуждомъ, о задачахъ и будущности Россіи и т. д., что эти мысли существуютъ въ видѣ журнальныхъ толковъ, намековъ, мечтаній, фразъ, аллегорій; нѣтъ, славянофильство теперь существуетъ въ формѣ строгой, ясной, опредѣленной, въ такой точной и связанной формѣ, въ какой никакое другое ученіе у насъ не существуетъ. Силою вещей и логическимъ ходомъ развитія разрушены у насъ разныя западническія попытки построить опредѣленные взгляды на наше политическое и умственное развитіе, на тѣ цѣли, къ которымъ намъ нужно стремиться въ просвѣщеніи и гражданской жизни. Мы не разъ высказывали въ «Зарѣ», что, несмотря на храбрый тонъ иныхъ журналовъ, почти вся груда печатной бумаги, ежедневно появляющейся на нашемъ литературномъ рынкѣ, не имѣетъ твердой подкладки, не содержитъ ясной и опредѣленной мысли, не только правильной, но и ложной. Времена гегелизма, социализма, нигилизма миновали, а новаго взгляда никакого нѣтъ. При такомъ положеніи дѣлъ большой контрастъ представляетъ славянофильское ученіе, которое выступаетъ съ книгою Данилевскаго, какъ съ нѣкотораго рода полнымъ катехизисомъ.

Тутъ намъ слѣдуетъ рассмотретьъ возраженіе, обыкновенно дѣлаемое противъ книгъ такого рода, какъ «Россія и Европа». Говорятъ, и уже успѣли сказать нѣсколько разъ, что въ этой книгѣ нѣтъ *ничего новаго*. Этотъ вопросъ о *новости* чрезвычайно труденъ, и этою трудностію всегда пользовались люди, недоброжелательствующіе самому дѣлу. Чтò новаго въ Пушкинѣ? Повидимому, у него все то же, чтò у

Жуковского, Батюшкова, Козлова и пр. Тотъ же языкъ, тѣ же формы произведеній, одинаковые литературные привычки и приемы. Между тѣмъ, въ сущности, новостъ огромная: созданіе русской поэзіи, основаніе русской литературы. Что новаго у Гегеля? Не даромъ же Фихте и Шеллингъ жаловались, что онъ все хорошее, и основную мысль и методу, взялъ у нихъ, а самъ только испортилъ свои заимствованія. Наконецъ, что новаго у Дарвина? Какую часть его теоріи вы не возьмете, все было уже сказано и даже не разъ, и многое очень давно. Итакъ, уловить новое вовсе не легко. Иной скептикъ готовъ будетъ, пожалуй, сказать, что и великолѣпный домъ, который онъ видитъ въ первый разъ, не представляетъ ему ничего новаго, такъ какъ онъ уже давно видѣлъ кучи кирпичей, изъ которыхъ этотъ домъ построенъ.

Но въ настоящемъ случаѣ для читателя, сколько-нибудь внимательнаго и серьезнаго, не можетъ быть, намъ кажется, никакого вопроса и сомнѣнія. Въ книгѣ Данилевскаго все новое, отъ начала до конца; она не есть сводъ и повтореніе чужихъ мнѣній, она содержитъ только одни собственные мнѣнія автора, мысли, никѣмъ и никогда еще не сказанныя, почему онъ и почелъ за нужное ихъ высказать. «Россія и Европа» есть книга совершенно самобытная, отнюдь не порожденная славянофильствомъ въ тѣсномъ, литературно-историческомъ смыслѣ этого слова, не составляющая дальнѣйшаго развитія уже высказанныхъ началъ, а напротивъ, полагающая новыя начала, употребляющая новыя приемы и достигающая новыхъ, *болѣе общихъ* результатовъ, въ которыхъ славянофильскія положенія содержатся *какъ частный случай*. Когда мы, несмотря на то, называемъ ученіе «Россіи и Европы» славянофильствомъ, то мы разумѣемъ здѣсь славянство въ отвлеченномъ, общемъ, идеальномъ смыслѣ; собственно говоря, это вовсе не славянофильство, а особое ученіе Данилевскаго, такъ сказать «данилевщина». Данилевщина включаетъ въ себя славянофильство, но не наоборотъ. Такъ точно гегелевщина была, дѣйствительно, новымъ явленіемъ и завершила собою шеллингизмъ и фихтеизмъ.

Новыя явленія въ умственномъ мірѣ мы часто принимаемъ за старыя, давно намъ знакомыя: ошибка самая есте-

ственная. Новые явления часто заставляют насъ расширять и обобщать смыслъ прежнихъ понятій: такъ, съ появленіемъ «Россіи и Европы» мы должны расширить и обобщить смыслъ давно употребляемаго термина *славянофильство*. Оказалось, что это есть ученіе, вовсе не похожее на то, что мы привыкли называть славянофильствомъ.

Въ чемъ же сходство и въ чемъ различіе? Сходство, очевидно, заключается въ *ея практическихъ выводахъ*. Понятно, что Н. Я. Данилевскій, говоря о потребностяхъ Россіи, о тѣхъ стремленіяхъ, которыхъ ей слѣдуетъ держаться, въ значительной мѣрѣ долженъ былъ совпадать съ прежними славянофилами. Люди, живо и глубоко чувствующие интересы своей родины, любовно вникающіе въ ея историческую судьбу, конечно никогда не разойдутся далеко по вопросамъ, что слѣдуетъ любить, чего слѣдуетъ желать. Въ этомъ отношеніи, какъ мы видѣли на множествѣ примѣровъ, сердечная проникаемость заставляетъ многихъ говорить и дѣйствовать даже вопреки своему образу мыслей, вопреки самымъ яснымъ началамъ, ими исповѣдуемымъ. Есть случаи, когда вся Россія, можно сказать, обращается въ славянофиловъ.

Но иное дѣло стремиться, повинуваясь какому-то инстинкту, и иное дѣло—возвести эти стремленія въ сознательные взгляды и согласовать ихъ съ нашими общими и высшими началами. И вотъ гдѣ существенное отличіе Н. Я. Данилевскаго. Если всякій мужикъ есть въ сущности славянофилъ, если самые ярые западники иногда говорятъ за одно съ мужиками, если, наконецъ, прежніе славянофилы вѣрно поняли не только интересы, но и самый духъ своего народа, то Данилевскій есть именно тотъ писатель, который представилъ наиболѣе строгую теорію для этихъ стремленій, который нашелъ для нихъ общія и высшія начала, начала новые, до него нигдѣ не указанныя. Вотъ гдѣ главная оригинальность «Россіи и Европы».

Эта книга названа слишкомъ скромно. Она вовсе не ограничивается Россією и Европою, или даже болѣе широкими предметами, міромъ славянскимъ и міромъ германо-романскимъ. Она содержитъ въ себѣ новый взглядъ на всю исторію человечества, новую теорію *всеобщей исторіи*. Это не

публицистическое сочиненіе, котораго вся занимательность заимствуется отъ извѣстныхъ практическихъ интересовъ; это сочиненіе строго-научное, имѣющее цѣлью добыть истину относительно основныхъ началъ, на которыхъ должна строиться наука *исторіи*. Славянство и отношенія между Россією и Европою суть не болѣе, какъ частный случай,—примѣръ, поясняющій общую теорію.

Главная мысль Данилевскаго чрезвычайно оригинальна, чрезвычайно интересна. Онъ далъ новую формулу для построения исторіи, формулу *гораздо болѣе широкую*, чѣмъ прежнія, и потому, безъ всякаго сомнѣнія, болѣе справедливую, болѣе научную, болѣе способную уловить дѣйствительность предмета, чѣмъ прежнія формулы. Именно, онъ отвергъ *единую нить* въ развитіи человѣчества, ту мысль, что исторія есть прогрессъ нѣкотораго общаго разума, нѣкоторой общей цивилизаціи. Такой цивилизаціи нѣтъ, говоритъ Данилевскій, а существуютъ только частныя цивилизаціи, существуетъ развитіе отдѣльныхъ *культурно-историческихъ типовъ*.

Очевидно, прежній взглядъ на исторію былъ *искусственный*, насильственно подгоняющій явленія подъ формулу, взятую извнѣ, подчиняющій ихъ произвольно придуманному порядку. Новый взглядъ Данилевскаго есть взглядъ *естественный*, не задающійся заранѣе принятою мыслью, а опредѣляющій формы и отношенія предметовъ на основаніи опыта, наблюденія, внимательнаго всматриванія въ ихъ природу. Переворотъ, который «Россія и Европа» стремится внести въ науку исторіи, подобенъ *внесенію естественной системы* въ науки, гдѣ господствовала система искусственная. Подобные перевороты совершили—въ ботаникѣ Жюссье, въ зоологіи Кювье, въ астрономіи Коперникъ, въ химіи Лавуазье и проч.

Философская идея, которая руководить подобныхъ ученыхъ, имѣетъ чрезвычайную простоту и широту. Ее можно назвать *смирненіемъ* передъ предметами. Между тѣмъ какъ другіе, особенно нѣмцы, ломаютъ по своему природу, заставляють ее подчиняться извѣстнымъ идеямъ, готовы видѣть неправильность и уродство во всемъ, что несогласно съ ихъ разумомъ, истинный натуралистъ отказывается отъ такой слѣпой вѣры въ разумъ, ищетъ откровеній и указаній не въ

собственныхъ мысляхъ, а въ предметахъ. Тутъ есть вѣра въ то, что міръ и его явленія гораздо глубже, богаче содержаніемъ, обильнѣе смысломъ, чѣмъ бѣдныя и сухія построенія нашего ума.

Для обыкновеннаго историка такое явленіе, какъ напри- мѣръ Китай, есть нѣчто неправильное и пустое, какая-то ненужная бессмыслица. Поэтому о Китай и не говорятъ, его выкидываютъ за предѣлы исторіи. По системѣ Данилевскаго, Китай есть столь же законное и поучительное явленіе, какъ греко-римскій міръ, или гордая Европа.

Итакъ, вотъ какую важность, какой высокій предметъ и какую силу имѣетъ та новая, собственно Данилевскому принадлежащая исходная точка зрѣнія, которая развита въ «Россіи и Европѣ». Столь же оригинальна и та мастерская разработка, которой подвергнута исторія съ этой точки зрѣнія. Если многіе выводы получились славянофильскіе, то они, такимъ образомъ, приобрѣли совершенно новый видъ, получили новую доказательность, которой, очевидно, не могли имѣть, пока не существовали начала, въ первый разъ указанныя въ этой книгѣ.

Авторъ «Россіи и Европы» нигдѣ не опирается на славянофильскія ученія, какъ на что-нибудь уже добытое и известное. Напротивъ, онъ исключительно развиваетъ свои собственные мысли и основываетъ ихъ на своихъ собственныхъ началахъ. Свое отношеніе къ славянофильству онъ отчасти указалъ въ слѣдующемъ мѣстѣ:

«Ученіе славянофиловъ было не чуждо оттѣнка гумани- тарности, что впрочемъ иначе и не могло быть, потому что оно имѣло двоякій источникъ: германскую философію, къ которой оно относилось только съ большимъ пониманіемъ и большею свободою, чѣмъ его противники, и изученіе началъ русской и вообще славянской жизни—въ религіонѣ, историческомъ, поэтическомъ и бытовомъ отношеніяхъ. Если оно напирало на необходимость самобытнаго національнаго развитія, то отчасти потому, что, сознавая высокое достоинство славянскихъ началъ, а также видя успѣвшую уже выказаться, въ теченіе долговременнаго развитія, односторонность и непримиримое противорѣчіе началъ европейскихъ, считало, будто-

бы славянамъ суждено разрѣшить общечеловѣческую задачу, чего не могли сдѣлать ихъ предшественники. Такой задачи, однакоже, вовсе не существуетъ.» («Россія и Европа», стр. 120).

Итакъ, у Н. Я. Данилевскаго и источникъ другой, и главный выводъ не похожъ на славянофильскій. Н. Я. Данилевскій не держится германской философіи, не стоитъ къ ней даже и въ тѣхъ очень свободныхъ отношеніяхъ, въ которыхъ стоятъ славянофилы. Слѣдовательно, въ извѣстномъ смыслѣ, онъ самостоятеленъ. Его философію можно бы сблизить съ духомъ естественныхъ наукъ, напримѣръ съ взглядами и пріемами Кюве; но едва-ли бы это не было совершенною натяжкой, такъ какъ общій научный духъ не можетъ быть считаемъ какимъ-то особымъ ученіемъ.

Главный выводъ «Россіи и Европы» столь же самостоятеленъ и столь же поразителенъ своею простотою и трезвостію, какъ и вся эта теорія: славяне не предназначены обновить весь міръ, найти для всего человѣчества рѣшеніе исторической задачи; они суть только особый культурно-историческій типъ, рядомъ съ которымъ можетъ имѣть мѣсто существованіе и развитіе другихъ типовъ. Вотъ рѣшеніе, разомъ устраняющее многія затрудненія, полагающее предѣлъ инымъ несбыточнымъ мечтаніямъ и сводящее насъ на твердую почву дѣйствительности. Сверхъ того очевидно, что это рѣшеніе чисто славянское, представляющее тотъ характеръ терпимости, котораго вообще мы не находимъ во взглядахъ Европы, насильственной и властолюбивой не только на практикѣ, но и въ своихъ умственныхъ построеніяхъ. Да и вся теорія Н. Я. Данилевскаго можетъ быть рассматриваема, какъ нѣкоторая попытка объяснить *положеніе славянскаго міра въ исторіи*,—эту загадку, аномалію, эпициклъ для всякаго европейскаго историка. Въ силу того исключительнаго положеніе среди другихъ народовъ, которому въ исторіи нѣтъ вполне равнаго примѣра, славянамъ суждено измѣнить укоренившіеся въ Европѣ взгляды на науку исторіи, взгляды, подъ которые никакъ не можетъ подойти славянскій міръ.

Читатели чувствуютъ, что мы говорили о предметахъ важныхъ, сложныхъ, о которыхъ можно говорить много и долго. Но задача наша въ этой статейкѣ состояла въ томъ,

чтобы указать на главные черты книги Н. Я. Данилевского. Изъ нихъ виденъ *многообразный* характеръ этой книги; но спѣшимъ прибавить, что понятіе о ней будетъ еще далеко не полное. Богатство мыслей, обиліе дѣйствительнаго содержанія такъ велико, что новыя стороны дѣла открываются на каждой страницѣ. Это сочиненіе удивительнымъ образомъ сочетало въ себѣ жаръ глубокаго чувства и холодную строгость науки; оно есть пламенное воззваніе и вмѣстѣ точная, глубокомысленно-соображенная теорія.

Повторяемъ, мы не судимъ о трудѣ Н. Я. Данилевскаго, а только указываемъ на тѣ его черты, о которыхъ слѣдуетъ судить, которыя никакъ не должны быть оставлены безъ вниманія. Что же касается до насъ лично, то мы слишкомъ полны удивленія и признательности къ этимъ новымъ открытіямъ, чтобы поставить себя въ положеніе ихъ судьи.

1871, 20 марта.

2. Взглядъ на нынѣшнюю литературу.

(«Заря». 1871, отд. II, кн. I).

«Будущее—за нами!» говоритъ въ своемъ письмѣ одинъ изъ сотрудниковъ «Зари», ревностно слѣдящій за литературой и чрезвычайно живо и глубоко сочувствующій направленію нашего журнала. И мы готовы съ полною вѣрою повторить вслѣдъ за нимъ: будущее за нами!

Мы вѣримъ въ будущность нашего литературнаго направленія не просто потому, что всякому человѣку свойственно питать вѣру въ свои мысли, если таковыя у него имѣются, но и потому, что нашу вѣру подкрѣпляетъ всестороннее разсмотрѣніе предмета. Это не слѣпая вѣра, которая вся погружена въ созерцаніе вѣруемыхъ вещей и считаетъ чуть ли не грѣхомъ обращать вниманіе на что-либо постороннее и враждебное. Нѣтъ, мы принимаемъ во вниманіе всѣ направленія нашей литературы, мы вникаемъ въ мнѣнія людей съ нами несогласныхъ, взвѣшиваемъ возраженія, которыя они намъ дѣлаютъ, или могутъ сдѣлать. Мы стараемся, сколько

возможно, слѣдить за ходомъ нашей журналистики, за появляющимися отдѣльно книгами и брошюрами, за постоянными измѣненіями взглядовъ людей пишущихъ и читающихъ. И вотъ изъ этихъ-то наблюдений мы выводимъ заключеніе, что будущность принадлежитъ той идеѣ, которой мы служимъ.

Вслѣдствіе нѣкотораго презрѣнія, возбуждаемаго русскою литературою, явленія ея рѣдко подвергаются серьезному вниманію и кажутся обыкновенно чѣмъ-то блѣднымъ и вялымъ. Но мы, будучи волею и неволею погружены въ самый потокъ этихъ явленій, находимъ въ нихъ занимательность самой живой и непрерывной драмы. Попробуемъ передать людямъ постороннимъ тотъ интересъ, который сами питаемъ, тѣ мысли и надежды, которыми сопровождается наша работа.

1.

Идея, которой служить «Заря» и которой мы предвѣщаемъ широкую будущность, есть идея *славянофильская*. Такъ слѣдуетъ ее назвать по терминологіи, давно установившейся въ нашей литературѣ. Но, говоря о будущности этой идеи, мы должны ставить строгое и ясное различіе между славянофильствомъ, какъ историческимъ явленіемъ, и между самою идеею, которою порождено это явленіе. Идея шире, богаче, плодотворнѣе своего проявленія. Не въ томъ наше дѣло, чтобы твердить и распространять уже высказанныя мнѣнія прежнихъ писателей, преимущественно передъ другими называемыхъ славянофилами, а въ томъ, чтобы воодушевиться тою же мыслью, какая ихъ воодушевляла, и развивать эту мысль сколь возможно шире, дальше, полнѣе. Пусть наши взгляды приходятъ даже въ прямое противорѣчіе съ заведомо-славянофильскими мнѣніями: это значитъ, можетъ быть, что наши взгляды вѣрнѣе, что они ближе къ истинному духу славянофильства.

Для того, чтобы войти въ духъ славянофильства, нужны условія—не похожія на стѣсненіе и подчиненіе; нужно не просто питать въ себѣ русскіе инстинкты, но еще имѣть живое чувство нравственной свободы, живое отвращеніе отъ умственного рабства. Славянофильство не можетъ и не должно

быть узкою школою, авторитетнымъ ученіемъ, уже потому, что оно само есть не что иное, какъ протестъ противъ авторитета Европы, есть проповѣдь свободного развитія.

Тяжесть вещественнаго ига всѣмъ понятна; но не всѣ чувствуютъ тяжесть нравственнаго ига. Если бы Россія была подъ властью чужой народности, если бы насъ покорили нѣмцы или турки, то всякому понятно было бы наше стремленіе освободиться и зажить своею жизнью. Но то, что мы нравственно завоеваны и умственно покорены,—этого многіе вовсе не чувствуютъ и не замѣчаютъ. Оттого такъ рѣдко случается, что славянофильство понимается въ его истинномъ направленіи. Люди, неспособные стать на его точку зрѣнія, обыкновенно воображаютъ, что славянофильство есть какое-то самохвалство, самодовольство. Такъ, напримѣръ, если послушать «Отечественныя Записки» или «Вѣстникъ Европы», то можно подумать, что «Заря» будто-бы проповѣдуетъ, что у насъ все прекрасно, что въ просвѣщеніи и всякомъ развитіи мы стоимъ наравнѣ съ Европою, или даже выше ея, и что *поэтому* намъ не слѣдуетъ брать съ нея примѣръ, а скорѣе мы должны быть для нея образцомъ. Точно также, если кто вздумаетъ опровергать славянофиловъ, то сейчасъ принимается доказывать, что у насъ дурно то или другое, что мало школъ, вездѣ безпорядки, стѣсненіе печати и проч.

Всѣ такія рѣчи крайне легкомысленны, а теперь, когда такъ возрасла славянофильская литература, можно сказать и недобросовѣстны. Славянофилы не только не думаютъ восхвалять просвѣщеніе, благосостояніе и развитіе Россіи, но въ сущности смотрятъ на свое отечество гораздо мрачнѣе западниковъ. Они, какъ и западники, признаютъ, что Россія очень молода, очень неразвита, очень груба и бѣдна въ сравненіи съ блестящимъ состояніемъ Запада; но сверхъ того думаютъ, что и то развитіе и просвѣщеніе, которымъ въ нѣкоторой степени обладаетъ Россія, поражено неправильностію, имѣетъ болѣзненный, почти угрожающій смертію характеръ. Ни «Заря», ни другой какой органъ славянофильскаго направленія никогда не скрывали отъ себя и отъ читателей темныхъ сторонъ нашего быта и нашей исторіи.

Славянофилы ищутъ средствъ не только противъ тѣхъ золъ, противъ которыхъ борются западники, но и противъ зла гораздо большаго, котораго западники не замѣчаютъ. Обыкновенно западники суть люди самодовольные, гордые своимъ просвѣщеніемъ, считающіе себя солью русской земли, тогда какъ славянофилы нерѣдко признавали и признаютъ себя страдающими той же болѣзнью, которою поражено все общество, и только дошедшими до сознанія этой болѣзни.

Славянофилы суть собственно самые крайніе вольнодумцы, которые возстали противъ существующаго порядка въ литературѣ, пошли противъ общаго потока, противъ мнѣній установившихся и ставшихъ закоренѣлыми предразсудками. Смѣлость западниковъ есть ничто передъ смѣлостію славянофиловъ. Западники плывутъ по вѣтру, идутъ, куда идетъ толпа; славянофилы борются противъ теченія.

Свобода мысли, независимость отъ авторитетовъ есть одна изъ основныхъ чертъ славянофильства. Если западники плѣняются политическою внѣшнею свободою, то славянофилы, сверхъ того и болѣе того, плѣнились свободою внутреннею, духовною независимостію. Разумѣется, для этого стремленія къ внутренней свободѣ требуется больше мужества, больше *тѣры, любви и надежды*, чѣмъ для обыкновенныхъ стремленій западниковъ, и вотъ гдѣ главное разногласіе, вотъ источникъ нескончаемыхъ пререканій между двумя партіями.

Чѣмъ мрачнѣе славянофилы смотрятъ на настоящее, чѣмъ больше зла видятъ во внѣшнихъ и современныхъ явленіяхъ русской жизни, тѣмъ живѣе надѣются они на будущее, тѣмъ крѣпче вѣрятъ въ внутренній духъ Россіи, не оставлявшій ее и въ самыя печальныя годы, способный вынести всѣ тяжкія болѣзни, которыми она страдаетъ. Западники, наоборотъ, отвергаютъ эту вѣру, осмѣиваютъ эти надежды потому, что, несмотря на свои непрерывныя жалобы, они въ сущности довольны собою, довольны настоящимъ, желали бы только укрѣпленія и развитія того состоянія, въ которомъ находится русская литература и русское общество. Чѣмъ сильнѣе недовольство славянофиловъ, тѣмъ выше ихъ вѣра и надежда, безъ которой недовольство перешло бы въ отчаяніе. И вотъ западники упрекаютъ славянофиловъ за

обиліе вѣры и надежды, какъ-будто это обиліе непремѣнно предполагаетъ розовыя мечты, примиреніе съ окружающимъ, и такъ далѣе. Въ сущности же западники гораздо болѣе расположены къ такому примиренію, ибо менѣе смѣлы мысля, менѣе требовательны, имѣютъ идеалъ, стоящій гораздо ниже славянофильскаго идеала.

Западники исповѣдуютъ свободу, а въ сущности они рабы европейскіхъ понятій; они поклонники всякаго протеста и прогресса, а на самомъ дѣлѣ болѣе другихъ расположены къ довольству и консерватизму; они друзья смѣлыхъ и новыхъ мыслей, за исключеніемъ самой смѣлой и самой новой—славянофильства.

2.

Чтобы подтвердить эти замѣтки о славянофильствѣ, сошлемся на писателя, которымъ мы занимались въ послѣднее время, на Герцена. Для него славянофильство есть самое сильное движеніе русской мысли и представляетъ тотъ характеръ освобожденія отъ авторитета, о которомъ мы говорили. Въ статьѣ *Америка и Сибирь* Герценъ пишетъ:

«Будь мы какое-нибудь несчастное племя безъ будущности, кельты, финны, если бы мы и пережили татарское иго, то сломились бы... подъ игомъ крѣпостнаго состоянія, чиновничьяго растлѣнія и не вынесли бы напора непріятельскаго. *Но событія обличаютъ зародыши сильный и мощный.* Не въ Петербургѣ—тамъ умирала старая Россія, маловѣрная, потерявшая голову при первой неудачѣ—нѣтъ, онъ двигался и заявилъ себя въ блиндажахъ Севастополя, на его стѣнахъ. *Развѣ слабые народы дерутся такъ?*—Николай умеръ и наступило утро ожиданій и пробужденія. Россія, уступившая въ неравномъ бою съ четырьмя союзниками, почувствовала себя вдвое здоровѣе, а Турціи тѣ же союзники такъ хорошо помогли, что она на ладонѣ дышетъ».

«*Война застала русскій умъ за критickou думой.* Событія европейскія, несмотря на всѣ уродливыя мѣры съ 1825 года, сильно отражались на черномъ фонѣ русской жизни. Іюльская революція и паденіе Бурбоновъ во Франціи, девятимѣсячная борьба съ возставшей Польшей...., наконецъ,

новое движеніе соціальной и философской литературы во Франціи и Германіи, *эти послѣдніе энергическіе звуки западнаго разумнiя*,—все это очень недаромъ проходило по той закраинѣ Россіи, которая была освѣщена».

«Но какая же самобытная мысль во всей этой подземной работѣ? Какое-то сумасшествіе овладѣваетъ людьми: вмѣсто того, чтобы прійти въ отчаяніе за себя, за Россію, *русская мысль осмѣливается сомнѣваться въ Европѣ*, ищетъ въ грубыхъ началахъ своей жизни элементовъ для будущаго, и когда, наконецъ, событія, слѣдовавшія за 1848 годомъ, такъ ясно доказали, что европейскіе народы несостоятельны осуществить ту мысль экономического и государственнаго устройства, до которой дошла наука,—*русская мысль начала нравственно освобождаться отъ авторитета*».

«Замѣтимъ, что среди этого внутренняго развитія ударила крымская война, которая доказала въ свою очередь всю несостоятельность Россіи бороться противъ Европы. Ничего не могло быть больше на мѣстѣ. *Нравственное освобожденіе отъ Европы* было началомъ освобожденія отъ *петербургской традиціи*, основанной на подчиненіи всего русскаго всему иностранному и на мысли превосходства русскаго войска надъ всѣми въ мірѣ, сокрушенной неудачной войной. *Начать вѣрять въ свою нравственную самобытность* и перестать вѣрить въ грубую силу и превосходство своего кулака,—въ самомъ дѣлѣ *начало премудрости*».

«Пока мы только подражали Западу, мы не знали своей почвы подъ ногами. Такъ еще теперь найдутся помѣщики, съ завистію думающіе о каменистомъ грунтѣ Италіи, стоя на черноземѣ».

«Изъ сказаннаго никакъ не слѣдуетъ, чтобы намъ перестать учиться западной наукѣ, или выдумывать свою: во первыхъ, наука по той мѣрѣ и наука, по которой она не принадлежитъ никакой странѣ; а во вторыхъ, учиться человѣкъ собственно цѣлую жизнь, но въ извѣстный возрастъ людямъ не нужны учителя, уроки. При выходѣ изъ школы человѣкъ вступаетъ въ дѣятельный обмѣнъ, въ рядъ дѣловыхъ отношеній; тутъ онъ прикладываетъ, повѣряетъ

свои теоріи, заимствуетъ новыя и, дѣйствуя, расширяетъ кругъ своего вѣдѣнія. *Выходя изъ-подъ гувернерства Запада, мы вовсе не дальше отъ него становимся, а скорѣе ближе всѣмъ разстояніемъ, которое длитъ позирующій оригиналъ отъ уничтоженнаго подражателя»* (Колок. 1 дек. 1858).

Вотъ общія черты и мотивы того направленія, которое называется славянофильствомъ. Это направленіе есть одно изъ доказательствъ того, что мы не какое-нибудь несчастное племя безъ будущности, что мы хранимъ въ себѣ мощные зародыши; это—мысль смѣлая до сумасшествия; это—возстаніе противъ нравственного авторитета Европы, выходъ изъ-подъ ея гувернерства; это—разрывъ съ петербургской традиціей, протестъ противъ закоренѣлаго старовѣрства, утвердившагося у насъ съ начала петербургскаго періода; это—обрѣтеніе своей почвы, сознаніе не одной вещественной силы, а и нравственной самобытности; это—признакъ окончанія школы, пробужденіе сознанія, что наступаетъ зрѣлый возрастъ, въ которомъ учиться нужно, но уже безъ учителей и уроковъ.

Въ этихъ своихъ обоихъ чертахъ славянофильство представляетъ такую законность, такую строгую сообразность съ тѣми началами, по которымъ мы судимъ о развитіи народовъ, о ходѣ всемірной исторіи, что отрицать важность и будущность этого направленія было бы совершенною нелѣпостію. Если бы славянофиловъ не было, то всякій вѣрующій въ развитіе Россіи сказалъ бы, что они непременно будутъ, что будущность принадлежитъ имъ.

Все дѣло однакоже въ томъ, чтобы разсмотрѣть, насколько идея, вѣрная въ сущности и въ общихъ чертахъ, успѣла воплотиться въ дѣйствительности, успѣла и успѣваетъ осуществлять себя. Вотъ та точка зрѣнія, съ которой мы взглянемъ на нашу литературу. Факты, какъ мы думаемъ, показываютъ, что славянофильская идея—необыкновенно живуча, необыкновенно плодотворна; что она, подобно всякой живой и глубокой идеѣ, растетъ органически, всюду пробиваясь, раскрываясь отъ каждаго внѣшняго толчка, постепенно отвѣчая на всѣ вопросы, которые ей дѣлаются.

3.

Если взглянуть на нашу нынѣшнюю литературу съ западнической точки зрѣнія, то нужно было бы сказать, что она необыкновенно процвѣтаетъ, находится въ благополучнѣйшемъ состояніи. Въ самомъ дѣлѣ, почти вся наша литература принадлежитъ къ западническому лагерю; число книгъ и журналовъ этого лагеря возрастаетъ ежегодно; число читателей возрастаетъ еще болѣе, то есть на каждую книгу, газету, журналъ приходится болѣе прежняго читателей. Недавно «Вѣстникъ Европы» насчиталъ у себя *семь* тысячъ подписчиковъ. Книги въ родѣ *Новой Америки* Диксона, или *Подчиненности Женщины* Милля выдерживаютъ нѣсколько переводовъ и каждый переводъ нѣсколько изданій. И такъ дальше. Множество фактовъ показываетъ, что настроеніе нашего общества сохранило свой прежній характеръ, что уваженіе ко всему европейскому до сихъ поръ господствуетъ надъ умами, что недовольство своимъ русскимъ и желаніе всяческихъ перемѣнъ и улучшеній ищетъ себѣ пищи и поддержки все тамъ же, въ примѣрѣ Запада, въ сравненіи русской жизни съ жизнью болѣе просвѣщенныхъ народовъ. Преобразование, задуманное Петромъ, продолжается до сихъ поръ. Общій потокъ несетъ насъ все въ ту же сторону.

Между тѣмъ всякій внимательный наблюдатель долженъ, по нашему мнѣнію, найти, что все это движеніе есть только обманчивая видимость, что оно уже потеряло свою внутреннюю силу и продолжается только по инерціи, что нѣтъ въ немъ живого, плодотворнаго духа. Дѣйствительную силу, дѣйствительную жизненность мы признаемъ только за однимъ изъ западническихъ направленій, за *нигилизмомъ*, за тѣмъ самымъ нигилизмомъ, отъ котораго теперь такъ усердно отрешивается большинство западниковъ. Нигилизмъ есть нѣчто послѣдовательное, искреннее. Онъ есть явленіе дикое и уродливое, но настоящее, неподдѣльное, нефальшивое; какъ всякая крайность, онъ носитъ на себѣ характеръ строгаго логическаго развитія и представляетъ возможность *выхода, поворота* на правильный путь. Выходъ изъ нигилизма одинъ—вѣра въ Россію, смиреніе передъ родиною. Между

тѣмъ изъ лжи, изъ фальши выхода нѣтъ никакого; люди, не имѣющіе искреннихъ убѣжденій, не способны приближаться къ правдѣ; они могутъ только безъ конца мѣнять маски, только замѣнять одни поддѣльные мысли другими столь же поддѣльными.

Если же насъ увѣряютъ теперь, что нигилизмъ исчезъ или исчезаетъ, если онъ до такой степени упалъ въ общемъ мнѣніи, что всѣ на перерывѣ спѣшатъ отречься отъ него, если дѣйствительно онъ потерялъ прежнюю силу, то значитъ, ослабѣлъ главный нервъ западной литературы, значитъ, эта литература отказывается отъ самой себя, отъ своихъ принциповъ и только прикидывается живою и горячею, тогда какъ въ сущности не знаетъ, какъ ей быть и что ей дѣлать.

И въ самомъ дѣлѣ, западничество нынче лишено всякой внутренней силы. Напрасно оно обращается съ напряженнымъ вниманіемъ къ Европѣ, къ этому своему плодотворному солнцу, къ этому источнику своей умственной жизни. Европа нынче оскудѣла идеалами; ея научныя и общественныя стремленія еще дѣйствуютъ въ большихъ размѣрахъ, но не имѣютъ ни общей цѣли, ни строгой связи. Нѣтъ такихъ ученій, такихъ философскихъ взглядовъ, такихъ общественныхъ идеаловъ, которые бы имѣли общій и обширный авторитетъ, воспламеняли бы умы и внушали бы вѣру въ осуществленіе какихъ-нибудь многообѣщающихъ идей. Развитие Европы свернуло въ сторону; оно какъ-бы съ отчаянія, какъ-бы ища выхода для своей странности, бросилось на вопросы о національностяхъ, а эти вопросы составляютъ прогрессъ для насъ, русскихъ, но для Европы они составляютъ ретроградство, воскрешеніе всякихъ пережитыхъ и похороненныхъ началъ. Последняя война, эта страшная война, которая, кажется, исполнить предсказаніе Герцена и поравняется своими ужасами, своимъ *жестокимъ и кровавымъ* съ тридцатилѣтнею войною—во имя чего она ведется? Для насъ защита и обереганіе нашей, славянской національности имѣетъ смыслъ, какъ стремленіе къ освобожденію и развитію новыхъ началъ, еще не осуществленныхъ, но вѣруемыхъ и исповѣдуемыхъ. Но какой смыслъ можетъ имѣть для Европы борьба

между двумя просвѣщеннѣйшими народами ея материка? Во имя какихъ началъ Французы и Нѣмцы рѣжутъ другъ друга? Во имя племенной вражды, историческихъ воспоминаній, жажды политическаго могущества, то есть во имя всего того, что давно уже осмѣяно и опозорено мыслителями Европы. Не Европа ли проповѣдывала космополитизмъ? Не она ли мечтала о всеобщемъ благоденствіи, объ учрежденіи рая на землѣ, о созданіи общихъ законовъ, даже общаго языка, объ отрѣшеніи человѣка отъ всѣхъ предразсудковъ и желаній, кромѣ единственнаго правильнаго желанія—желанія счастья?

Какъ старики, отжившіе свою жизнь и отмѣтавшіе свои мечты, предаются иногда съ величайшимъ жаромъ *остаткамъ* своихъ страстей, еще сохранившимся низшимъ инстинктамъ, сластолюбію, сладострастію, такъ и Европа со своей обычной страстностью и послѣдовательностью предается старымъ влеченіямъ, еще живымъ въ ея сердцѣ, хотя когда-то, въ благородномъ порывѣ молодости и надеждъ, она позорила эти влеченія и торжественно отрекалась отъ нихъ.

Во всякомъ случаѣ намъ уже нельзя искать въ ней руководства и идеала. Съ 1848 года она утратила права на роль путеводной звѣзды, даже для тѣхъ, кому ея яркій свѣтъ мѣшалъ разсмотрѣть иныя восходящія свѣтила. Съ того времени мы успѣли выработать себѣ свой особый европеизмъ—нигилистическое направленіе, которымъ думали если не перещеголять Европу, то уже навѣрное поравняться съ ней. Если же и это направленіе не выдержало и принуждено сойти со сцены, то значитъ, скоро утратить всякій смыслъ наше европейничанье.

Но если все это такъ, то спрашивается, чѣмъ же держится наше западничество? Во первыхъ, оно держится, какъ мы сказали, рутинною, инерціею, силою привычки и лѣнностію мысли—силы великія, и во многихъ случаяхъ почти непобѣдимыя! При этомъ однакоже обнаруживаются всѣ тѣ неизбежныя слѣдствія, которыя ведетъ за собою внутренняя несостоятельность: обнаруживается вялость, недостатокъ воодушевленія, противорѣчивость, смутность въ понятіяхъ и цѣляхъ. Во вторыхъ, западничество держится *уступками*, компромиссами, въ которые оно вступаетъ съ народнымъ направленіемъ.

Эти уступки имѣютъ различную форму, и смыслъ ихъ бываетъ болѣе или менѣе важенъ; но намъ кажется, что они составляютъ презанимательную и очень характерную черту нынѣшней нашей литературы. Появленіе этихъ уступокъ есть новое доказательство, что западничество не можетъ держаться сомо собою.

На основаніи предъидущихъ замѣчаній попробуемъ бросить бѣглый взглядъ на нашу литературу въ ея совокупности.

4.

Главную роль въ нашей литературѣ играетъ періодическая печать, журналы и газеты; а главную роль въ нашей періодической печати безспорно занимаютъ «Московскія Вѣдомости», самое важное, самое крупное явленіе нашей литературы. И въ то время, когда редакторы этой газеты издавали одинъ «Русскій Вѣстникъ», этотъ журналъ не уступалъ своимъ значеніемъ никакому другому; но со времени вступленія подъ ту же редакцію «Московскихъ Вѣдомостей», у насъ оказалась газета, занявшая безусловно первое мѣсто въ литературѣ.

Мы вовсе не желаемъ дѣлать здѣсь полную оцѣнку дѣятельности этой газеты, а хотимъ только опредѣлить ея общее отношеніе къ литературѣ, взглянуть на нее съ нашей точки зрѣнія.

Совершенно ясно, что «Московскими Вѣдомостями» у насъ открыта и создана новая область литературы, завоевано и укрѣплено новое значеніе для печати, именно — въ первый разъ явилась, такъ называемая, политическая печать. Явленіе не маленькое, и понятно, что въ немъ должны были весьма характерно и выпукло отразиться черты и нашего общественнаго склада и нашей умственной жизни.

Если взять дѣло съ, такъ называемой, внѣшней или чисто литературной стороны, то можно сказать, что «Московскимъ Вѣдомостямъ» принадлежитъ созданіе особаго рода словесныхъ произведеній, именно — *передовыхъ газетныхъ статей*, въ первый разъ появившихся въ Россіи. Найти для этихъ статей надлежащій языкъ, надлежащій тонъ и складъ было вовсе не легко, если мы сообразимъ тѣ наши внутреннія об-

стоятельства, которыя нужно было при этомъ постоянно держать въ виду. Нужно было избѣжать той дерзости, которая такъ легко порождается безгласностью и подавленностью общественнаго мнѣнія; нужно было однакоже говорить съ твердостью, достоинствомъ и силою, то есть говорить тономъ, который конечно существовалъ въ глубинѣ общества, но еще не проявлялся публично, еще въ первый разъ долженъ былъ обнаружиться. Требовался величайшій тактъ, много тонкости и нравственной силы, чтобы вести такую рѣчь. И даже при всемъ этомъ нужна была еще особенная историческая минута, чтобы могла раздаться эта рѣчь. Ей дали свободный ходъ только потому, что въ то время умы были смущены и взволнованы польскимъ дѣломъ. Твердый голосъ, раздавшійся изъ Москвы, показался растерявшимся людямъ не смѣлымъ вмѣшательствомъ въ государственныя дѣла со стороны, а напротивъ, желаннымъ руководствомъ, указаніемъ, спасавшимъ ихъ отъ неурядицы собственныхъ мыслей. Такъ стала у насъ возможною политическая печать.

Своеобразіе слога, принадлежащаго «Московскимъ Вѣдомостямъ», вовсе не пустяки. Это—настоящій политическій слогъ, соединяющій точность и обстоятельность дѣловой бумаги съ важностію и выразительностію рѣчи, произносимой въ многолюдномъ собраніи.

Но затѣмъ, если мы обратимъ вниманіе на внутреннюю сторону дѣла, мы должны будемъ повторить мнѣніе, уже не разъ высказанное въ «Зарѣ», что направленіе «Московскихъ Вѣдомостей» представляетъ внутреннюю послѣдовательность. Онѣ соединяютъ въ себѣ то, что, по нашему убѣжденію, несоединимо въ сущности,—соединяютъ поклоненіе европейцу съ живымъ чувствомъ русскихъ интересовъ, вѣру въ начала Европы съ вѣрою въ Россію.

Это сочетаніе двухъ противорѣчащихъ стремленій можно отнести однакоже къ той *счастливой непослѣдовательности*, которая встрѣчается во многихъ крупныхъ историческихъ явленіяхъ. Исторія въ извѣстномъ смыслѣ есть борьба за существованіе и въ ней преуспѣваютъ тѣ явленія, которыя носятъ въ себѣ условія для наилучшаго выдерживанія такой борьбы, именно соотвѣтствуютъ состоянію и переменамъ среды,

ихъ окружающей. Животное, которое дышетъ однимъ воздухомъ, погибнетъ въ водѣ, какъ бы оно сильно не было, тогда какъ другое, даже гораздо болѣе слабое, но обладающее сверхъ легкихъ жабрами, останется живо, попеременно попадая въ воздухъ и въ воду. Какого свойства та среда, среди которой развиваются наши литературныя явленія? Масса нашей читающей публики представляетъ то самое двойственное настроеніе, которое отличаетъ «Московскія Вѣдомости». Наша образованность вся идетъ съ Запада; но вопреки ей мы сохраняемъ въ себѣ русскіе инстинкты и сочувствіе къ русскимъ интересамъ. Это явленіе очень извѣстно, давно замѣчено. Мы подражаемъ Европѣ, питаемъ свой умъ ея литературой въ подлинникахъ и въ переводахъ, либеральничаемъ на различные лады въ подражаніе европейскимъ либераламъ; но когда дѣло дойдетъ до существенныхъ русскихъ вопросовъ, мы вдругъ пробуждаемся, находимъ въ себѣ иныя чувства и желанія и неожиданно обнаруживаемъ себя не европейцами, а закоренѣлыми русскими. Нашъ европеизмъ процвѣтаетъ всего больше во времена мира и спокойствія; но каждое потрясеніе государства, каждый случай, требующій напряженія народныхъ силъ, непременно вызываетъ и пробужденіе патріотизма, русскихъ мыслей и чувствъ.

Такъ было и въ томъ дѣлѣ, о которомъ мы говоримъ. Оттѣнокъ славянофильства появился у издателей «Московскихъ Вѣдомостей» вслѣдствіе польскаго возстанія и вопросовъ съ нимъ сопряженныхъ. А когда впослѣдствіи государственныя дѣла вообще стали доступнѣе разсужденіямъ печати, «Московскія Вѣдомости» неизбѣжно не только сохранили, но и усилили свое русское направленіе. Естественно, что русская политическая газета возможна только подъ условіемъ вѣры въ Россію и защиты ея интересовъ.

Итакъ, «Московскія Вѣдомости» отражаютъ въ себѣ то состояніе умовъ, которое господствуетъ въ нашемъ обществѣ. Вотъ отчего зависитъ ихъ огромный успѣхъ; ихъ энергическое слово въ одно время удовлетворяло и нашему европеизму и нашему патріотизму.

Но внутреннее противорѣчіе, необходимо существующее между этими направленіями, все-таки обнаружилось, хотя пре-

имущественно съ отрицательной стороны. Именно, для издателей «Московскихъ Вѣдомостей» и «Русскаго Вѣстника» прекратилась возможность какой бы то ни было *проповѣди принциповъ*. Эта проповѣдь, потребность которой весьма сильна и важна въ нашей публикѣ, возможна только подъ условіемъ послѣдовательнаго проведенія какихъ-либо началъ, подчиненія этимъ началамъ всѣхъ явленій и предметовъ сужденія. Такихъ общихъ началъ у «Московскихъ Вѣдомостей» не оказалось; внутреннее противорѣчіе между признаваемыми ими двойственными началами не позволяло развивать ихъ послѣдовательно, такъ какъ при этомъ развитіи противорѣчіе стало бы явнымъ, наружнымъ.

«Русскій Вѣстникъ» нѣкогда былъ силенъ проповѣдью европейской гражданственности; онъ принималъ огромное участіе въ томъ воспитаніи нашего общества, которое началось съ нынѣшняго царствованія *), въ распространеніи у насъ здравыхъ либеральныхъ началъ, правильныхъ понятій о политикѣ, администраціи, самоуправленіи и пр. Когда подыались болѣе важные вопросы, эта проповѣдь почти вовсе замолкла; когда пришлось и волею и неволею выкинуть знамя русскихъ интересовъ, неумѣстно было наравнѣ съ нимъ выставлять другое знамя.

«Русскій Вѣстникъ» поблѣднѣлъ и превратился въ болѣе или менѣе занимательный сборникъ не столько потому, что главные силы ушли въ «Московскія Вѣдомости», сколько именно потому, что ему невозможно было дать никакого очень рѣзкаго направленія. Прибавимъ, что собственно въ *безпринципности* еще нѣтъ ничего дурнаго. Дурное начинается тогда лишь, когда безпринципность возводитъ себя въ принципъ. Отсутствіе проповѣди началъ можетъ породить вражду противъ всякой проповѣди такого рода, признаніе за этой проповѣдью опасныхъ и вредныхъ свойствъ. Иногда, дѣйствительно, слышатся рѣчи такого свойства, что будто-бы о началахъ заботиться нечего, что эта забота мѣшаетъ ясно видѣть вещи и дѣлать дѣло, и т. д. По счастью проявленія этой

*) Александра II. Изд.

вражды противъ проповѣди началъ у насъ попадаютъ лишь изрѣдка.

5.

Насъ могутъ обвинить въ томъ, что мы съ нашей точки зрѣнія видимъ вещи въ фантастическомъ свѣтѣ, именно преувеличиваемъ размѣры явленій и придаемъ имъ важность, которой у нихъ нѣтъ въ дѣйствительности. Однакоже нашъ взглядъ, какъ намъ думается, подтверждается довольно крупными чертами нашей литературы. Возьмемъ, напримѣръ, слѣдующую:

Всѣ наши газеты болѣе и менѣе славянофильствуютъ. За «Московскими Вѣдомостями» идутъ въ этомъ направленіи «Голосъ» и «Биржевыя Вѣдомости», то есть двѣ наиболѣе распространенныя петербургскія газеты, которыя въ совокупности играютъ въ Петербургѣ ту же роль, какъ «Московскія Вѣдомости» въ Москвѣ.

Напротивъ, всѣ наши толстые журналы западничаютъ. Въ различныхъ формахъ западничество господствуетъ въ «Вѣстникѣ Европы», «Отечественныхъ Запискахъ», «Дѣлѣ», то есть въ журналахъ наиболѣе читаемыхъ, или по крайней мѣрѣ наиболѣе занимающихъ и руководящихъ публику.

Вотъ интересное явленіе, которое, какъ намъ кажется, прямо вытекаетъ изъ тѣхъ свойствъ нашей интеллигенціи, на которыя мы указали. Газеты славянофильствуютъ потому, что ихъ главный предметъ—русскіе интересы, наши государственные вопросы. Толстые журналы западничаютъ потому, что ихъ главный предметъ—общіе вопросы, наука, искусство, цивилизація. Такимъ образомъ, газеты естественно становятся на народную, русскую точку зрѣнія, а журналы на космополитическую, европейскую. Такимъ образомъ, газеты удовлетворяютъ одному, а журналы другому стремленію той же самой читающей публики, которая большею частію не замѣчаетъ противорѣчія, существующаго въ ея вкусахъ. Мы хотимъ быть непременно европейцами, но однакоже ни за что не хотимъ перестать быть русскими. И потому одинъ и тотъ же читатель въ качествѣ русскаго человѣка выписываетъ «Голосъ»,

а въ качествѣ любителя просвѣщенія получаетъ «Вѣстникъ Европы», хотя этотъ «Вѣстникъ» не можетъ упомянуть о «Голосѣ» безъ самой ядовитой и презрительной гримасы.

Но воздержимся отъ всякой ироніи, не будемъ соблазняться легкостью, съ которою являются комическія черты при разсмотрѣніи русской литературы; сохранимъ нашу, такъ сказать, возвышенную точку зрѣнія, и тогда мы найдемъ въ этой литературѣ пишу не для одного смѣха, а можетъ быть и для серьезныхъ размышлений.

Есть явленіе, которое многихъ смущало и наводило на самыя разнообразныя, обыкновенно непріятныя чувства. Именно—одинъ и тотъ же редакторъ и издатель, г. Краевскій, заведываетъ газетою чрезвычайно славянофильскою—«Голосомъ» и журналомъ чрезвычайно западническимъ—«Отечественными Записками». Эта двойственность казалась необъяснимымъ уродствомъ; между тѣмъ съ нашей точки зрѣнія она объясняется чрезвычайно легко. Тератологическое явленіе въ печати, очевидно, соответствуетъ тератологическому развитію нашего общества. Издатель, слѣдящій за вкусомъ публики, стремящійся удовлетворить ея требованіямъ (за что всегда и во всякомъ случаѣ его нужно благодарить), нашелъ, что газета будетъ преуспѣвать только въ томъ случаѣ, если приметъ славянофильское направленіе, и что, напротивъ, журналъ всего вѣрнѣе получитъ хорошую подписку, если приметъ западническій цвѣтъ. И такимъ образомъ случилось, что въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ очутились два изданія разнаго направленія. Подобнаго другого примѣра не скоро дождется русская литература и съ нашей стороны было бы непростительно, если бы мы опустили его безъ вниманія и не показали его высшаго значенія. Издатель, повторяемъ, поставилъ себя въ положеніе простого орудія литературы, простого проводника вкусовъ и направленій нашего общества, простого зеркала нашей интеллигенціи. Не онъ виноватъ, что въ этомъ зеркалѣ отразилось двухголовое чудовище.

Славянофильство или правильнѣе руссофильство нашихъ газетъ можно разсматривать и объяснять, какъ прямое подражаніе «Московскимъ Вѣдомостямъ». Такъ какъ «Московскія Вѣдомости» съ необыкновеннымъ тактомъ угадали условія,

при которыхъ у насъ возможна политическая печать, и существеннымъ изъ этихъ условій удовлетворяють въ совершенствѣ, то понятно, что всякій политическій органъ и не могъ иначе дѣйствовать, какъ идя по слѣдамъ московской газеты, долженъ былъ неизбежно впадать въ ея тонъ, подражать ея приемамъ. Многіе читатели конечно хорошо помнятъ то время, когда наши газеты *учились* у «Московскихъ Вѣдомостей». Въ Петербургѣ, гдѣ тонъ рѣчи и литературы совершенно другой, эти первыя попытки говорить чужимъ языкомъ были очень замѣтны, походили на ученическія упражненія, представлявшія то слишкомъ близкое и явное подражаніе словамъ учителя, то неловкіе промахи и ошибки. Даже тѣ публицисты, которые принимались спорить и воевать съ «Московскими Вѣдомостями», спорили и воевали—увы!—языкомъ и приемами, созданными этою газетою. И это нужно сказать не о тѣхъ только, которые, подчинившись направленію «Московскихъ Вѣдомостей», думали однако сохранить видимость самостоятельности, но и о тѣхъ, которые дѣйствительно не имѣли съ этою газетою ничего общаго.

Исключенія, какъ извѣстно, только подтверждаютъ общее правило. «Санктпетербургскія Вѣдомости» составляютъ исключеніе въ нашемъ газетномъ мірѣ. Онѣ однѣ упорно западничаютъ, тогда какъ всѣ другія газеты славянофильствуютъ. Зато — кто же читаетъ «Петербургскія Вѣдомости»? Мнѣнія этой газеты не имѣютъ никакого вѣса, никакой занимательности, да и почти никогда не отличаются ни энергіею, ни послѣдовательностію. Совершенно ясно даже, что въ этой газетѣ чисто литературная сторона перевѣшиваетъ специальную газетную сторону — политическую. «Спб. Вѣдомости» гораздо больше возбуждаютъ вниманія своими статьями по художествамъ, напримѣръ по музыкѣ, чѣмъ своими политическими мнѣніями. Фельетоны г. Суворина своимъ остроуміемъ нерѣдко значительно вознаграждаютъ читателей за недоумѣніе, возбуждаемое остальными частями газеты. Журнальныя замѣтки г. Буренина также интересуютъ нашу публику, хотя онъ почти вовсе не разсуждаетъ и не излагаетъ ни своихъ, ни чужихъ мнѣній, а только коварствуетъ. Онъ все коварствуетъ, все коварствуетъ... и мы увѣрены, что за столь продолжительное

коварствованіе его постигнетъ когда-нибудь справедливая кара небесная и неумолимый гнѣвъ Божій; но до сихъ поръ онъ еще не доковарствовался до большого злополучія и можетъ считаться однимъ изъ писателей, наиболѣе украшающихъ собою «Спб. Вѣдомости».

Изъ толстыхъ журналовъ исключеніе составляетъ «Заря» и, вѣроятно, такое же исключеніе будетъ составлять возникающая въ Москвѣ «Бѣсѣда». Всѣ журналы, не исключая собственно и «Русскаго Вѣстника», западничаютъ, одна «Заря» славянофильствуетъ. Мы не будемъ при этомъ случаѣ хвалить, или даже только защищать журнала, въ которомъ сами участвуемъ; но, кажется, мы имѣемъ право сказать здѣсь, къ чему этотъ журналъ стремится, чего онъ желаетъ и добивается. Двумя годами изданія «Заря» доказала, что она желаетъ заниматься общими вопросами, касающимися нашей умственной и нравственной жизни, нашихъ отношеній къ Западу. «Заря» желала бы постоянно представлять такіе вклады для развитія славянофильской идеи, какъ статьи «Россія и Европа», «Объ изученіи славянскаго міра въ Европѣ», «Гусъ и его отношеніе къ православію» и проч. «Заря» желаетъ сохранять и укрѣплять вѣру въ духовныя силы нашего народа, въ русскую поэзію и литературу. Въ духъ этихъ стремленій, одушевлявшихъ «Зарю» съ самаго начала, она хотѣла бы представлять непрерывное, живое движеніе идей, такъ какъ эти стремленія могутъ имѣть обширное приложеніе, могутъ раскрываться самымъ плодотворнымъ образомъ. Каковы бы ни были достоинства нашего журнала, одного нельзя отнять у него—вѣры въ свою идею, любви къ ней и способности самой этой идеи къ далекому развитію.

6.

Обратимся теперь къ журналистикѣ исключительно западнической и, слѣдовательно, по нашему опредѣленію совершенно безсильной. Несмотря на то, что «Вѣстникъ Европы», Отечественныя Записки и «Дѣло» имѣютъ на своей сторонѣ главную массу нашихъ журнальныхъ читателей, эти органы и другіе имъ подобные, очевидно, вовсе лишены того жара

и увлеченія, которымъ нѣкогда отличались западническіе журналы. Нигдѣ нѣтъ послѣдовательной и ясной проповѣди началъ, нигдѣ, кромѣ можетъ быть «Дѣла», нѣтъ вѣры въ себя. Чувство собственнаго безсилія высказывается въ безпре-
станныхъ жалобахъ, при чемъ жалующіеся, какъ это обыкновенно бываетъ, обвиняютъ все на свѣтѣ, кромѣ самихъ себя. Эта журналистика вотъ уже нѣсколько лѣтъ укоряетъ общество въ равнодушіи и ретроградствѣ, горюетъ о стѣсненіи печати, которое будто-бы гораздо значительнѣе теперь, чѣмъ было прежде, плачется на какіе-то клеветы и доносы и только въ одномъ не хочетъ сознаться — въ паденіи своего авторитета и своихъ силъ. Нынѣшнее время обыкновенно называется у нея временемъ *реакціи*, которая считается съ 1862 г.; времена же отъ начала царствованія до 1862 г. наша журналистика признаетъ своимъ *золотымъ вѣкомъ*, періодомъ прогресса и движенія.

Чтобы обрисовать нынѣшнее положеніе западнической журналистики, воспользуемся ея собственными признаніями, хотя рѣдкими, но все-таки попадающимися. Разумѣется, большинство пишущихъ предпочитаетъ *хранить видъ силы*; но люди недостаточно закаленные въ журнальномъ лукавствѣ иногда проговариваются. Газета «Недѣля» въ началѣ прошлаго года изображала положеніе дѣлъ слѣдующимъ образомъ:

«Журналистика конца прошлаго десятилѣтія пользовалась такимъ громаднымъ вліяніемъ среди общества, о какомъ современные журналисты *не могутъ даже и мечтать*. Это вліяніе проявлялось, во первыхъ, огромнымъ числомъ подписчиковъ на нѣкоторыя изданія, во вторыхъ — нетерпѣніемъ, съ какимъ ожидался каждый номеръ изданія, и толками, сопровождавшими его появленіе, въ третьихъ — тѣмъ всеобщимъ уваженіемъ, какимъ пользовались тогдашніе писатели, особенно принадлежавшіе къ либеральному лагерю; вообще, тогдашняя періодическая литература имѣла въ глазахъ публики громадный нравственный кредитъ. *Ничего подобнаго мы не находимъ въ журналистикѣ нынѣшней*. Правда, число ея читателей не только не уменьшилось, но даже увеличилось;

зато она не пользуется и сотою долей того вліянія, какимъ пользовалась тогдашняя журналистика. Публика относится къ нынѣшнимъ журналамъ и газетамъ довольно равнодушно; ни одна статья въ нихъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ беллетристическихъ произведеній, не обращаетъ на себя общаго вниманія и не заставляетъ о себѣ говорить. Напротивъ, *жалобы на пустоту и безсодержательность современной периодической литературы и на отсутствіе въ ней талантовъ сътлались общимъ мѣстомъ*. На занятіе литературой стали смотрѣть какъ на самое пустое, невыгодное и непроизводительное занятіе, которому предаются люди по привычкѣ или потому, что вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ не могутъ заняться никакимъ другимъ, болѣе полезнымъ и выгоднымъ дѣломъ. *О нравственномъ авторитетѣ въ глазахъ читателей нечего и говорить; о немъ нѣтъ и помину*. («Недѣля». 1870, № 2, стр. 52).

Вотъ правдивое и точное описаніе перемѣны, случившейся въ отношеніяхъ между журналистикой и читателями. Публика читаетъ столько же и даже больше, но не восхищается; подписывается на журналы, но не уважаетъ ихъ мнѣнія; поглощаетъ огромную массу печатной бумаги, но находитъ свою умственную пищу безвкусною и вѣчно жалуется на голодъ. Спрашивается, кто же тутъ правъ и кто виноватъ? Кто измѣнился и испортился — публика или журналистика? Разумѣется, журналы всего чаще и охотнѣе винятъ читателей; но «Недѣля» находитъ, что виноваты и сами журнальные дѣятели. «Недѣля» увѣряетъ, что «составъ современныхъ журналистовъ представляетъ *мало утѣшительнаго*», несмотря на то, что «большинство лицъ, составляющихъ контингентъ современной журналистики, участвовали и въ литературѣ конца пятидесятихъ годовъ».

Если такъ, то что же съ ними случилось? Одни изъ нихъ, говоритъ «Недѣля», вслѣдствіе «невзгодъ, которымъ подвергалась журналистика въ теченіе послѣдняго десятилѣтія», вслѣдствіе «длиннаго ряда неудачъ и разочарованій», «*устали нравственно и устарѣли физически*»; другіе, менѣе талантливые и искренніе, получившіе свое образованіе въ концѣ пятидесятихъ годовъ, но не успѣвшіе воплотить уяс-

нить себя, въ чемъ заключалась сущность и сила тогдашнихъ журнальныхъ руководителей, усвоили *одни ихъ внѣшніе приемы и стали крѣпко за нихъ держаться*, полагая въ нихъ всю сущность либерализма. Дѣйствительно, это помогло имъ сохраниться въ чистотѣ среди того реакціоннаго вихря, который увлекъ за собою многихъ порядочныхъ людей, но это же самое сдѣлало ихъ не только бесполезными, но даже вредными въ литературѣ. *Не имѣя собственнаго убѣжденія* и лишеныя руководителей, при которыхъ имъ было возможно жить безъ собственныхъ мыслей, они представляютъ собою *новый типъ „консервативныхъ либераловъ“*. Изъ боязни утратить свой либерализмъ, они упорно заботятся о сохраненіи его внѣшности, *безучастно или слишкомъ съ плеча относятся ко многимъ современнымъ вопросамъ*, какъ-бы считая ихъ недостаточно важными, а на самомъ дѣлѣ боясь при этомъ *отступить отъ установившагося кодекса либерализма* (тамъ же, стр. 54).

Вотъ драгоцѣнныя откровенія, за которыя нельзя не благодарить прямодушную газету. Изъ нихъ видно, что дѣла у нашихъ западниковъ (которые однихъ себя признаютъ либералами) идутъ самымъ обыкновеннымъ порядкомъ. Мнѣнія, бывшія когда-то новостью и прогрессомъ, обратились въ рутину, въ установившійся кодексъ, внушающій суевѣрный страхъ и рабское поклоненіе. Новаторы обратились въ упорныхъ консерваторовъ; люди прогресса сдѣлались хранителями преданій; любители смѣлыхъ и новыхъ мыслей стали бояться собственнаго убѣжденія, стали безъ конца повторять и пережевывать старое; поклонники жизни и современности потеряли всякую охоту, всякую способность къ живымъ и современнымъ вопросамъ.

«Теперь», продолжаетъ «Недѣля», «интересы литературы и общаго дѣла отошли на задній планъ, и мѣсто ихъ заняли разныя личныя отношенія, отразившіяся на характерѣ современной полемики. Эти отношенія создали различные кружки, связанные не общимъ стремленіемъ къ одной, всѣмъ дорогой цѣли, а узкими, личными интересами, сплетнями и желаніемъ подкопаться подъ всякаго, кто не принадлежитъ къ извѣстному кружку».

«Вотъ главнѣйшія причины, благодаря которымъ, либеральная, т. е. *прогрессивная журналистика, потеряла всякое значеніе въ глазахъ общества*» (тамъ же, стр. 55).

Не ясно ли, что мы присутствуемъ при какомъ-то разложеніи обширной партіи? Не видно ли изъ этихъ признаній, что духъ жизни отлетѣлъ отъ нея, что дѣйствуютъ въ ней уже только низшія силы? Нѣтъ ничего мудренаго, что читатели этихъ журналовъ уже не чувствуютъ прежняго увлеченія, прежняго уваженія.

Въ другомъ мѣстѣ та же газета высказывается еще рѣзче; она возвышается до нѣкоторой поэзіи въ выраженіи своего отчаянія и негодованія.

«Невольно мелькаетъ», говоритъ она, «*проклятый вопросъ*: да полно—стоитъ ли заниматься устроеніемъ какого-нибудь порядка въ хаотическомъ броженіи кружковаго либерализма и есть ли возможность вызвать къ дружной дѣятельности этихъ *облѣнившихся, нравственно усталыхъ и умственно оскудѣвшихъ* людей, остановившихся на *проповѣди разныхъ общихъ началъ безъ всякаго практическаго примѣненія* и насильственно продолжающихъ *мечтать о возвращеніи того времени*, которое давно уже утѣкло и никогда не воротится и которое оставило въ насъ лишь трогательныя воспоминанія о великихъ утратахъ и горькомъ разочарованіи?...» («Недѣля». 1870, № 11, стр. 371).

Вотъ картина очень вѣрная и въ немногихъ чертахъ отлично изображающая положеніе нашихъ западниковъ. За этимъ уныніемъ у автора слѣдуютъ нѣкоторыя утѣшенія, попытка рѣшить *проклятый вопросъ*, поиски за выходомъ изъ столь плачевнаго состоянія, поиски, какъ намъ кажется, еще болѣе обнаруживающіе его безвыходность.

«Само собою разумѣется, говоритъ онъ, что поддерживать и продолжать *славныя преданія русскаго либерализма*—наша святая обязанность; но «поддерживать и продолжать» не значить повторять старые приемы и избитыя мысли. Въ насъ долженъ жить тотъ духъ, то направленіе, та идея, которые воодушевляли *нашихъ знаменитыхъ предшественниковъ* въ ихъ литературной дѣятельности; мы должны развивать и примѣнять къ дѣлу ихъ мысли, совершенствовать

и улучшать ихъ пріемы при помощи всего того, что даетъ современная общественная жизнь и ея требованія; и въ нашихъ воспоминаніяхъ мы можемъ предпочитать жизнь минувшую со всѣми ея розовыми надеждами, но если это сентиментальное предпочтеніе *заставляетъ насъ сидѣть сложа руки и повторять зады*, съ которыми всякій читатель можетъ гораздо основательнѣе познакомиться въ сочиненіяхъ прежнихъ писателей, если, говоримъ мы, *воспоминанія о прошломъ такъ сильно занимаютъ насъ, что мы рѣшительно забываемъ о настоящемъ*, отказываемся прилежно изучать его и не хотимъ ни бороться съ новыми предразсудками, ни *разстаться съ старыми привычками*, если мы полагаемъ, однимъ словомъ, что все, что можно сказать либеральнаго, уже сказано, и что все сказано такъ, какъ только можно и слѣдуетъ говорить, и что всѣ требованія, какія только можетъ заявлять жизнь, уже заявлены,—въ такомъ случаѣ *весь нашъ либерализмъ не имѣетъ никакого смысла для современниковъ*, и мы только напрасно изводимъ бумагу и чернила въ сладкомъ ожиданіи осуществленія Вѣрочкиныхъ сновъ (*Вѣрочка—героиня романа «Что дѣлать»*). А что, если мы не дождемся этого?... *Гдѣ теперь нравственное вліяніе русскаго либерализма? Кто слушаетъ русскіхъ либераловъ? Кто вѣритъ имъ?...*

«Положимъ, что въ ту достопамятную эпоху и люди были другіе,

«Не то что нынѣшнее племя,
Богатыри, не вы!»

«Но развѣ русская земля клиномъ сошлась, что въ ней не могутъ народиться *новые богатыри искреннаго, самоотверженнаго и разумнаго либерализма?* Нужно только приготовить почву для ихъ дѣятельности и создать стройную рать, на которую они могли бы опираться. Но какъ достигнуть этого, какимъ путемъ подкопаться подъ главныя основы кружковаго либерализма, разбить его и распустить въ одну цѣлую, всестороннюю и хорошо дисциплинированную либеральную партію? Только одинъ путь видимъ мы: нужно возбудить въ каждомъ либеральномъ дѣятелѣ *живое чувство*

отвѣтственности за каждый его поступокъ, за каждое слово», и такъ далѣе (тамъ же, стр. 371 и 372).

Авторъ пускается здѣсь въ совѣты и увѣщанія, весьма доброкачественныя, но едва ли могущія принести большую пользу. Да и цѣль его не очень высокая: за неимѣніемъ *новыхъ богатырей*, за отсутствіемъ новыхъ задачъ и новыхъ мыслей, авторъ желаетъ только приготовить почву для будущаго, организовать рать для имѣющихъ явиться предводителей. Онъ ничего не ждетъ отъ нынѣшнихъ либераловъ, какъ отъ людей *нравственно уставшихъ и умственно оскудѣвшихъ*, но требуетъ по крайней мѣрѣ, чтобы они вели себя благопристойно, не ссорились бы между собою, сознавали бы отвѣтственность за свои слова, поступки и проч.

Итакъ, вотъ плачевное состояніе нашихъ западниковъ. Не цензура ихъ притѣсняетъ, не равнодушіе публики подрываетъ ихъ силы; главнымъ образомъ ихъ подавляютъ собственныя *воспоминанія*. Наши западники пережили столь блестящую эпоху, что теперь прикованы къ ней мыслью, не могутъ разстаться съ *славными преданіями*. Они потеряли возможность развитія, ибо объ нихъ нужно сказать то, что говорилось нѣкогда о французскихъ эмигрантахъ: *они не могутъ ничего забыть и не могутъ ничему научиться*. Таковъ жестокій ходъ исторіи; она не повторяется, а между тѣмъ люди, бывшіе ея орудіемъ, продолжаютъ *жить прошлымъ*. Бѣда, если человѣку хоть на полчаса выпадетъ блестящая роль, которая потомъ окажется ненужною; эти полчаса могутъ сдѣлать его никуда негоднымъ на всю остальную жизнь.

Дѣло это очень любопытное, по крайней мѣрѣ для насъ. Чѣмъ отличалась, что представляла *достопамятная эпоха*, золотой вѣкъ нашей журналистики? И почему она прошла? Въ чемъ состоялъ тотъ *переломъ*, который лишилъ ее силы? Тутъ цѣлая исторія, которую мы когда-нибудь подробно расскажемъ читателямъ.

Теперь же сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, что западническій лагерь чувствуетъ себя очень дурно, что въ немъ нѣтъ прогресса, а скорѣе господствуетъ нѣкоторое старовѣрство; онъ живетъ не надеждами, а воспоминаніями.

Вообще, исторія нашего западничества есть исторія весьма сложная, обильная всякими періодами, волненіями и перемѣнами. Славянофильство представляетъ только постепенное развитіе и раскрытіе однихъ и тѣхъ же идей, тогда какъ западничество непрерывно изживаетъ свои идеи, замѣняетъ ихъ новыми, или же переживаетъ кризисы растерянности и, такъ сказать, безъидейности. Эта лихорадка, которою западники иногда даже похваляются, по нашему не заключаетъ въ себѣ ничего хорошаго; только болѣзнь и смерть обыкновенно ходятъ быстро; здоровье же всего чаще нарастаетъ и раскрывается постепенно.

7.

Попробуемъ войти въ частности. Мы найдемъ въ нихъ нѣкоторыя доказательства тому, что сказали.

«Вѣстникъ Европы» отъ начала и до нынѣ былъ журналъ западническій; редакціонный его отдѣлъ всегда соответствовалъ своимъ направленіемъ (если не достоинствомъ) названію журнала.

Никто не скажетъ однакоже, чтобы этотъ журналъ обратилъ на себя вниманіе и поставилъ себя на ноги особенно искусною и горячею проповѣдью европейскихъ началъ. Напротивъ, извѣстно, что эта проповѣдь была здѣсь не очень горячая и не очень искусная; всѣмъ извѣстно, что ходъ и силу этому изданію дали совершенно иные элементны.

Сперва «Вѣстникъ Европы» былъ только журналъ исторіи и, разумѣется, преимущественно занимался *русскою исторіею*. Редакторомъ журнала сверхъ г. Стасюлевича и впереди его былъ объявленъ г. Костомаровъ; его обширныя и интересныя статьи сперва составляли, можно сказать, все существенное содержаніе журнала. Но кромѣ того, «Вѣстникъ Европы» пригласилъ къ себѣ всѣхъ, кто только у насъ занимается русскою исторіею или предметами къ ней близкими, и такимъ образомъ среди прочихъ именъ, украшавшихъ его страницы, появились также имена гг. *Погодина, Ореста Миллера, А. Попова, Гильфердинга* и проч.

Итакъ, вотъ чѣмъ положено было основаніе славы и могущества «Вѣстника Европы»; оно было положено общимъ

интересомъ къ русской исторіи, а также трудами и именами нѣкоторыхъ славянофильскихъ писателей.

Но еще большее распространіе и популярность получилъ этотъ журналъ, благодаря участію двухъ знаменитыхъ романистовъ, Гончарова и Тургенева, сумѣвшихъ до сихъ поръ остаться чрезвычайно интересными для публики. Известно однакоже, что эти романисты отнюдь не считаются нынѣ свѣтилами западничества. Напротивъ, молодое поколѣніе, которое по западнической теоріи прогресса есть истинный представитель идей своего времени, относится враждебно и къ г. Гончарову и къ г. Тургеневу. Дѣло дошло до того, что самъ «Вѣстникъ Европы» помѣстилъ у себя выходки (впрочемъ небольшія и не очень сильныя) противъ того и другого изъ романистовъ, которымъ онъ обязанъ своимъ наибольшимъ успѣхомъ.

Эти замѣчанія мы дѣлаемъ для того, чтобы показать, что успѣхъ «Вѣстника Европы» отнюдь не можетъ быть истолковываемъ, какъ наращеніе западничества, какъ новое усиленіе и распространеніе этого направленія. Напротивъ, скорѣе можно сказать, что успѣхъ журнала пріобрѣтенъ элементами, несогласными съ западничествомъ и даже противоположными ему. «Вѣстникъ Европы» угодилъ на публику; но публика совмѣщаетъ въ себѣ слѣпыя, разнородныя и противоположныя инстинкты; нужно различать, какіе изъ нихъ дѣйствуютъ и въ какой мѣрѣ.

Правда, что и западничество этого журнала должно было прійтись по вкусу публики; но отраднѣе то, что не оно было существенною и главною приманкою. Русская исторія и русская художественная литература всегда были и будутъ областями, наиболѣе непокорными западничеству, наиболѣе внушающими своимъ дѣятелямъ вольнодумство относительно Европы и теплое отношеніе къ русской жизни. «Изученіе русской исторіи совращаетъ людей съ прямого пути», говоритъ нѣкогда ревностный западникъ, профессоръ Ешевскій, и западники должны помнить, что этотъ законъ непреложенъ теперь, какъ и прежде*). Точно также художественная

*) С. В. Ешевскій, біографическій очеркъ К. Бестужева-Рюмина. Москва. 1889, стр. XXV.

дѣятельность непремѣнно ведетъ къ ретроградству и къ сопротивленію російскому прогрессу, какъ это доказалъ Тургеневъ *Отцами и Дѣтьми*, Гончаровъ *Обрывомъ*, Достоевскій *Преступленіемъ и Наказаніемъ*, Толстой *Войною и Миромъ*, Писемскій *Взбаламученнымъ Моремъ*, Лѣсковъ *Некуда*, Ключниковъ *Маревомъ*, Леонтьевъ *Въ Своемъ Краю* и проч. Вотъ восемь очень крупныхъ и очень прямыхъ фактовъ, доказывающихъ, что наше словесное художество не ладитъ съ нашимъ западническимъ прогрессомъ. А сколько доказательствъ менѣе крупныхъ и менѣе прямыхъ, но столь же несомнѣнныхъ! Во всякомъ случаѣ, мы думаемъ, что чисто западническій журналъ не можетъ находить главную поддержку въ русской художественной литературѣ.

Само западничество «Вѣстника Европы», существующее въ немъ помимо его главнаго содержанія, есть нѣчто весьма неопредѣленное. Это скорѣе видимость, тонъ, внѣшнія формы и приемы извѣстнаго направленія, чѣмъ его дѣйствительный смыслъ, дѣйствительное содержаніе. Самое сильное и поистинѣ блистательное западничество этотъ журналъ обнаруживаетъ въ своихъ наружныхъ качествахъ, въ отличной печати и бумагѣ, въ удивительной исправности выхода, въ равномерности и разнообразіи состава и проч. Но если отъ этой внѣшности, которая не оставляетъ желать ничего еще болѣе европейскаго, мы перейдемъ къ внутреннимъ качествамъ, то найдемъ, что наши русскія литературныя требованія выполняются, какъ нельзя хуже: никакой состоятельности и связи въ мнѣніяхъ. Имѣя столь блестящую и, такъ сказать, храбрую наружность, «Вѣстникъ Европы» въ сущности не знаетъ, что ему сказать.

Преинтересно однакоже наблюдать превращенія, которымъ подвергается этотъ журналъ, и вникать въ ихъ смыслъ, въ ихъ источникъ и значеніе. Журналъ начался въ очень серьезномъ, можно сказать, въ истинно европейскомъ духѣ. *Истинно-европейскій духъ* въ Россіи будетъ въ извѣстномъ отношеніи то же, что *истинно-русскій духъ*, ибо онъ между прочимъ значить: самостоятельность, любовь къ своей родинѣ, уваженіе къ ея исторіи, къ ея литературѣ, къ каждому труду науки, къ каждому замѣчательному дѣятелю. Быть подоб-

нымъ Европѣ—это значить быть похожимъ на самого себя и не думать ни о какомъ подражаніи. Такимъ образомъ, «Вѣстникъ Европы» былъ благоговѣнно посвященъ памяти Карамзина, какъ самаго знаменитаго изъ русскихъ историковъ, занимался преимущественно русскою исторіею, открылъ свои страницы для всякаго серьезнаго писателя; и вотъ какъ случилось, что туда попали и многіе славянофилы. Но, по мѣрѣ расширенія журнала и воздѣйствія на него общей нашей литературной атмосферы, оказалось, что журналъ лишенъ способности противодѣйствія, не имѣетъ твердой мысли, которая защищала бы его отъ вторженія постороннихъ элементовъ; и вотъ понемногу самое дюжинное западничество затопило его страницы; славянофилы исчезли, Карамзина постигло жестокое порицаніе, и съ каждымъ часомъ журналъ все больше уступаетъ общему потоку и уносится въ море нашей литературной рутины.

Западники могутъ справедливо видѣть въ этомъ новую и славную побѣду своего направленія; но эта побѣда дѣлала бы имъ честь только тогда, если бы было доказано, что литература отъ нея выиграла.

8.

«Отечественныя Записки» знаютъ, что онѣ дѣлаютъ. Въ послѣдніе три года, то есть съ тѣхъ поръ, какъ этотъ журналъ поступилъ въ завѣдываніе гг. Некрасова, Салтыкова и Елисеева, онъ ясно и твердо шелъ по опредѣленному пути. Но путь этотъ самаго страннаго свойства. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы *отступить назадъ*, сохранить за западничествомъ его широкія и общія основы и отказаться отъ того развитія, которое оно получило впоследствии, въ очень недавнее время. Маневръ очень ловкій и очень благоразумный, но, очевидно, едва ли возможный. Во первыхъ, никакое развитіе не пойдетъ назадъ, а во вторыхъ, приходится скрывать отъ читателей необходимость поворота, приходится убѣждать ихъ, что отступленія никакого не сдѣлано, что шествіе впередъ продолжается непрерывно, что послѣдніе фазисы западничества, которые нѣкогда оно считало драгоцѣннѣйшими завоеваніями своего прогресса и отъ которыхъ теперь оно желаетъ отка-

заться, были случайностью, промахами отдѣльныхъ лицъ, даже вовсе не существовали, даже составляютъ одну клевету и злоумышленный поклепъ на западниковъ. Словомъ, приходится въ такой огромной мѣрѣ прибѣгать къ журнальному лукавству, что при самомъ искреннемъ желаніи стать въ новую, болѣе прочную позицію, дѣло не можетъ идти успѣшно. Три года стараются «Отечественныя Записки» и, какъ намъ кажется, ничего не добились, не успѣли сбросить съ себя безжизненности и вялости, не успѣли воодушевиться, не успѣли сами повѣрить въ свою новую задачу, хотя конечно у многихъ людей спутали взгляды, многихъ убѣдили въ томъ, во что сами не вѣрятъ.

Какъ примѣръ, объясняющій положеніе и тактику «Отечественныхъ Записокъ», приведемъ изъ нихъ небольшую выписку. Вотъ какъ онѣ судятъ о послѣднемъ періодѣ нашей литературы:

«Можетъ быть, многіе будутъ удивляться трудному созрѣванію нашей мысли и ея младенческимъ успѣхамъ; но скорѣе подивимся, что подъ тѣми вліяніями, которыя насъ окружали, мысль окончательно не зачахла. Будущій историкъ конечно скажетъ приблизительно такъ: «Русское общество въ это время еще очень мало было знакомо съ естественными условіями органическаго развитія, даже съ первыми основными законами мышленія; одинъ изъ лучшихъ его представителей назвалъ въ написанной имъ повѣсти *нигилизмъ*, то есть пустотою, стремленіемъ къ пустотѣ и къ уничтоженію, *первыя попытки немногихъ молодыхъ людей къ самостоятельному труду и отыскиванію истины*. Общество пришло въ паническій ужасъ отъ этого нигилизма, хотя молодой человѣкъ, представленный въ повѣсти, на дѣлѣ ничего не уничтожалъ, кромѣ лягушекъ; заботясь о сохраненіи лягушекъ, оно подвергло усиленнымъ преслѣдованіямъ этихъ *нигилистовъ*». Мы увѣрены, что *будущій историкъ больше ничего не пойметъ въ этой исторіи вреднаго нигилизма, какъ и мы ничего не понимаемъ*». («Отеч. Зап.» 1870, № 5, стр. 108).

Читая эти строки, просто протираешь себѣ глаза и спрашиваешь себя: для кого это писано? какой журналъ могъ

принять и выдавать это за правду? Положимъ, подо всёмъ этимъ скрываются самыя высокія гражданскія чувства и самыя благородныя цѣли. Однакоже, кто повѣритъ, что Тургеневъ былъ *незнакомъ даже съ первыми основными законами мышленія?* Кто повѣритъ, что въ силу этого нигилизмомъ онъ назвалъ *стремленіе къ самостоятельному труду и отыскиванію истины?* Кто повѣритъ, что *панмическій страхъ* общества былъ возбужденъ именно однимъ этимъ названіемъ, или однимъ этимъ стремленіемъ къ труду и истинѣ? Какой, наконецъ, олухъ повѣритъ, что будто бы авторъ этихъ строкъ *больше ничего не понимаетъ* во всей исторіи нигилизма?

Нелѣпое обвиненіе общества въ какой-то невообразимой безсмыслицѣ, нелѣпое обвиненіе знаменитаго романиста въ какомъ-то сумазбродствѣ, отнѣкиваніе и запирательство въ вещахъ извѣстныхъ всёмъ и каждому,—все это, какъ видно, для чего-то нужно, для чего-то требуется. Но если бы авторъ предъидущихъ строкъ и достигъ своихъ цѣлей, если бы публика дала ему водить себя за носъ столь безцеремонно, то все-таки мы не можемъ видѣть въ этой игрѣ серьезнаго литературнаго дѣла.

Мы привели одно только мѣсто, но подобныхъ мѣстъ можно бы набрать сколько угодно въ статьяхъ «Отечественныхъ Записокъ». Чтобы дать ясно почувствовать всю фальшивость тона этихъ разсужденій, приведемъ для контраста отрывокъ изъ «Недѣли», съ прямодушіемъ и искренностью которой мы уже познакомились.

«Кому неизвѣстно», говоритъ «Недѣля», «какимъ *дикимъ искаженіямъ* подвергались у насъ на *практикѣ* самыя здоровыя и полезныя мысли оттого только, что люди, *бравшіеся за примѣненіе ихъ къ жизни*, были лишь настроены въ пользу этихъ мыслей, но самая сущность ихъ оставалась для дѣятелей непонятною, недоступною? Кому неизвѣстно также, что противники всего либеральнаго въ Россіи превосходно *воспользовались этими глупыми увлеченіями* для того, чтобы обвинить весь русскій либерализмъ въ самыхъ гнусныхъ преступленіяхъ? *Тяжкій опытъ этого недавняго прошлаго* не долженъ пройти для насъ даромъ,

и намъ никакъ не слѣдуетъ довольствоваться лишь однимъ настраиваніемъ читателей на извѣстный ладъ, подъ вліяніемъ котораго они задумаютъ *примѣнять къ жизни свои собственные нелѣпости*, въ сущности неимѣющія ничего общаго съ либеральными идеями, но *тѣмъ не менѣе истекающія изъ небрежнаго отношенія либеральной журналистики къ текущей общественной жизни* и къ тѣмъ идеямъ, которыя проповѣдуетъ эта журналистика. Само собою разумѣется, что мы не можемъ брать на себя отвѣтственность за *всякій вздоръ*, который прійдетъ въ голову иному читателю подъ вліяніемъ той или другой статьи, но если мы настраиваемъ читателя на тотъ или другой ладъ, то мы принимаемъ на себя и нравственную обязанность *восполнить это настроеніе серьезною мыслію*, которая одна можетъ избавить читателя отъ *напрасныхъ увлеченій*, часто *гибельныхъ для его личной нравственности*. («Недѣля». 1870, № 5, стр. 172 и 173).

Вотъ искренняя рѣчь, изъ которой ясно видно, откуда возникъ паническій страхъ общества и въ чемъ состоитъ исторія вреднаго нигилизма. Подъ вліяніемъ журналистики, настраивавшей читателей на извѣстный ладъ, явились люди, которые вздумали примѣнять ея идеи къ жизни, осуществлять ихъ на практикѣ. Но такъ какъ журналистика *небрежно относилась къ общественной жизни*, именно не *восполняла* своего настраиванія *серьезною мыслію*, то этимъ людямъ приходило въ голову *всякій вздоръ, нелѣпости*, самыя *дикія искаженія* идей; отсюда произошли *глупыя, напрасныя увлеченія*, губельныя для *нравственности* увлекавшихся, и вотъ гдѣ причина тяжкихъ обвиненій, появившихся въ обществѣ противъ нигилизма. Кому это неизвѣстно? спрашиваетъ «Недѣля». Всѣмъ извѣстно, отвѣчаемъ мы, кромѣ «Отечественныхъ Записокъ». Для нихъ, повидимому, не существуетъ этотъ *тяжкій опытъ недавняго прошлаго*.

Мы очень расположены думать, что «Отечественныя Записки» не столько стараются обмануть другихъ, сколько желали бы обмануть самихъ себя Имъ хотѣлось бы конечно вѣрить, что подъ ногами у нихъ твердая почва, что имъ не отъ чего отказываться и нечего поправлять, что есть у нихъ

литературное направленіе, способное развиваться и общающее хорошую будущность, словомъ, что они дѣло дѣлаютъ и могутъ его дѣлать.

Къ несчастію, ихъ непрерывныя уловки доказываютъ противное. Книжки этого журнала представляютъ удивительную смѣсь давнишней журнальной рутины съ какими-то оговорками, недомолвками, поправками, оправданіями. «Отечественныя Записки» избрали себѣ даже особую *нейтральную* область, выдумали *новое дѣло*, которое не продолжаетъ ихъ литературныхъ преданій, но и не противорѣчитъ имъ. Всѣ три года онѣ усерднѣйшимъ образомъ занимались *метафизикой*. Онѣ не проповѣдывали метафизики, а напротивъ, всячески опровергали ее; но результатъ вышелъ тотъ же: журналъ наполнялся преимущественно статьями о прогрессѣ и его общей формулѣ, о дарвиновой теоріи, объ исторіи нравственности, о началѣ цивилизаціи, о томъ, что было до человѣка, о новой геологіи, новой палеонтологіи, о положительной философіи, словомъ, о всевозможныхъ общихъ и отвлеченныхъ предметахъ. Намъ проповѣдывали *позитивизмъ*, какъ послѣдній результатъ европейскаго мышленія; но увы! этотъ послѣдній изъ многихъ послѣднихъ результатовъ уже, кажется, не производитъ другого впечатлѣнія, кромѣ сильнѣйшей скуки. Гдѣ тотъ энтузіазмъ, съ которымъ нѣкогда встрѣчались у насъ европейскія ученія? Его нѣтъ и слѣда конечно потому, что сама европейская наука лишилась всякаго энтузіазма.

Многіе судятъ объ «Отечественныхъ Запискахъ» иначе, гораздо строже, чѣмъ мы; многіе говорятъ, что это не только не серьезное, а положительно дурное дѣло. Этотъ журналъ, говорятъ строгіе судьи, потерялъ всякую руководящую идею, но сохранилъ все дурное, чѣмъ сопровождался у насъ разцвѣтъ западничества: нахальство, наглость, всѣ замашки литературнаго террора и ничѣмъ не стѣсняющагося журнальнаго лукавства, всяческаго пусканія пыли въ глаза и мороченія довѣрчивой публики. Подобный образъ дѣйствій когда-то находилъ себѣ нѣкоторое извиненіе въ увлеченіи идеями, въ желаніи всякими средствами доставить имъ побѣду. Теперь же, когда подъ этимъ нахальствомъ и обманомъ ровно ничего

не скрывается, эти приемы внушают лишь глубокое отвращеніе.

Какъ читатели видѣли, мы такъ строго не судимъ. Мы охотнѣе остаемся на нашей *возвышенной* точкѣ зрѣнія и отыскиваемъ нѣкоторую логику въ превращеніяхъ нашей журналистики. Дурныя привычки конечно дурны, но, вѣдь, ихъ не легко сбросить. И намъ кажется, что «Отечествен. Записки» въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ все-таки исправляются.

9.

«Дѣло» есть органъ, прямо идущій по завѣщанному западническимъ пути, не уклоняющійся въ сторону и не лукавящій. Въ этомъ отношеніи оно было бы очень интересно, если бы могло сказать что-нибудь новое, если бы не переворачивало и не пережевывало все однѣ и тѣ же старыя, давно знакомыя темы, если бы не доказывало каждою книжкою, что идеи, до которыхъ достигло наше западничество, неспособны къ дальнѣйшему развитію, неплодотворны, непроизводительны.

А впрочемъ отрицаніе нѣсколько вырождается. Укоренившись въ нашей литературѣ, сдѣлавшись общимъ, рутиннымъ направленіемъ, оно, какъ намъ кажется, принимаетъ понемногу чисто-русскія черты. Оно переходитъ въ то общее *отреченіе отъ жизни*, которое постоянно отзывается въ русскомъ народѣ вслѣдствіе его высокаго религіознаго настроенія. Мысль о томъ, что въ мірѣ нѣтъ правды, что пользованіе земными благами сопряжено съ грѣхомъ и соблазномъ, что *отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ*, такія и подобныя мысли давно привычны русскому народу и на нихъ-то сбивается то обличеніе, котораго первоначальная цѣль состоитъ въ высококомѣрномъ желаніи устроить міръ гораздо лучше, чѣмъ какъ онъ есть. Безчисленные стихотворенія, написанныя на ту тему, что *бѣдный страдаетъ, а богатый веселится*, очень назидательны для читателей, возбуждаютъ въ нихъ добрыя чувства, напоминаютъ имъ долгъ милосердія, но отнюдь не внушаютъ имъ буйныхъ мыслей. Точно также и всякое раскрытіе общественныхъ ранъ,

всякое указаніе на злоупотребленія и неправды отнюдь не дѣйствуетъ на читателей революціоннымъ образомъ, а только наводитъ ихъ на мысли о собственномъ исправленіи и на благія намѣренія. Мы увѣрены, что подобныя же мысли и намѣренія главнѣйшимъ образомъ вдохновляютъ и самихъ писателей, и потому мы настоятельно рекомендуемъ эту точку зрѣнія цензурному вѣдомству. Русскій народъ — есть народъ благочестивый; онъ не вѣритъ въ возможность рая на землѣ и не мечтаетъ объ этой возможности; онъ знаетъ, что зло на землѣ неизбежно, что міръ нашъ есть юдоль плача, мѣсто испытанія. Вотъ въ какомъ смыслѣ онъ принимаетъ всяческія обличенія, всякія жалостныя и мрачныя картины, а отнюдь не въ томъ, будто бы во всемъ виноваты власти.

Прибавимъ къ этому, что литература послѣдовательнаго отрицанія падаетъ все ниже и ниже въ разсужденіи силы мысли и художественнаго достоинства. Повѣстей «Дѣла» читать невозможно. Ученыя разсужденія, критика и публицистика представляютъ..... они представляютъ именно тѣ «*вялыя, смутныя, безсильно-пространныя разглагольствія*», на которыя жалуется одинъ изъ величайшихъ любителей русской журналистики, г. Тургеневъ *). Очень мѣтко сказано, и мы не сомнѣваемся, что этотъ отзывъ касается всего больше «Дѣла», хотя и другія изданія не должны обольщать себя мыслию, что г. Тургеневъ не имѣлъ ихъ въ виду.

10.

Таково положеніе нашего западническаго лагеря. Мы указали лишь немногія черты, но если читателямъ дорогъ и важенъ вопросъ, о которомъ идетъ рѣчь, то они извинятъ неполноту картины и не посѣтуютъ на эти отрывочныя замѣтки. Ясно, что западничество разлагается и вырождается. Несостоятельность предъ событіями нашей политической исторіи, несостоятельность предъ явленіями нашей литературы (напр. передъ «Войною и Миромъ» гр. Л. Н. Толстого), рядъ уступокъ, сдѣланныхъ народному направленію, чувство внут-

*) См. соч. Тург. Изд. Салаевыхъ, т. I. стр. СII.

ренной непослѣдовательности, желаніе отодвинуть назадъ позицію всего лагеря и лукаво замаскировать это отступленіе, чувство отсутствія прочныхъ и ясныхъ идеаловъ,— всѣ эти черты несомнѣнно принадлежатъ нашему западничеству въ настоящую минуту. Серьезныхъ, значительныхъ западниковъ нѣтъ: они въ настоящее время невозможны.

И при всемъ этомъ западничество не только не близко къ паденію, а напротивъ, нарастаетъ съ каждымъ днемъ и никогда еще не было такъ могущественно, не захватывало собою такого множества умовъ. Оно составляетъ нашу привычку, нашъ предразсудокъ, наше старовѣрство, нашу рутину, нашу умственную и нравственную болѣзнь. Поэтому оно прекратится не скоро и будетъ жить и нарастать даже при совершенномъ отсутствіи внутренней силы. Но какое же плачевнѣйшее зрѣлище представляетъ въ силу этого литература! Грустно подумать, какою безвкусною и никуда негодною трухою питается обыкновенно наша публика, на какомъ жалкомъ чтеніи растутъ наши юноши и дѣвы! Книги въ родѣ *Соціально-педагогическихъ условий умственнаго развитія русскаго народа*, или *Положенія рабочаго класса въ Россіи* имѣютъ величайшій успѣхъ, читаются съ жадностію, признаются плодами великой мудрости и учености. Одно можетъ насъ утѣшить въ этомъ случаѣ: эта публика, составляющая тонкій поверхностный слой русскаго народа, слой вывѣтрившійся и все больше вывѣтривающійся отъ внѣшнихъ вліяній, сама подвергается этимъ вліяніямъ только на поверхности. Большею частію идеи, которыми она питается, сидятъ въ ней не глубоко и при первомъ толчкѣ вылетаютъ изъ нея съ изумительною легкостію. Подобной подвижности и легкости въ мысляхъ еще міръ не видалъ! Да и не можетъ расти глубоко то, что приносится извнѣ, что не имѣетъ крѣпкаго корня въ самыхъ душахъ и сердцахъ людей.

Главное вниманіе въ этой статьѣ было обращено на западничество. По разнымъ причинамъ мы мало сказали о современномъ состояніи славянофильства. Но контрастъ между успѣхами и развитіемъ этихъ двухъ направленій ясенъ и поразителенъ, отчасти уясняется и нашими замѣтками. Въ 1847

году (въ послѣдній годъ своей дѣятельности) Бѣлинскій писалъ: «можетъ быть, мы и дѣйствительно не совсѣмъ вѣрно излагали образъ мыслей славянофиловъ и *приписывали имъ иногда такія мнѣнія, которыя имъ не принадлежатъ*, и умалчивали о такихъ, которыя составляютъ основу ихъ ученія. Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно не мы, а сами гг. славянофилы. До сихъ поръ ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія, показать, чѣмъ оно разнится отъ извѣстныхъ воззрѣній. Въмѣсто этого у нихъ одни

Намеки тонкіе на то,
Чего не вѣдаетъ никто».

(Соч. Бѣлинскаго, т. XI. стр. 258).

Въ этомъ отзывѣ Бѣлинскій былъ *юридически* совершенно правъ: на судѣ никому нельзя поставить въ вину, что онъ *не отгадалъ* чужихъ мыслей. Но критикъ, разумѣется, не долженъ бы оправдываться подобнымъ образомъ: на то онъ и критикъ, чтобы быть проницательнымъ и отгадывать дѣло даже по намекамъ. Во всякомъ случаѣ изъ словъ правдиваго и умнаго Бѣлинскаго ясно то положеніе, въ которомъ было тогда славянофильство: оно существовало для читателей только *въ намекахъ*. Кто рѣшится сказать то же самое теперь? Теперь слѣдовало бы измѣнить слова Бѣлинскаго такимъ образомъ:

«Многіе писатели потрудились изложить намъ основныя начала славянофильскаго ученія, показать, чѣмъ оно разнится отъ извѣстныхъ воззрѣній. Съ 1847 г. явилось столько книгъ и выходило столько періодическихъ изданій этого направленія, что смыслъ славянофильства для всѣхъ разумѣющихъ ясенъ и ясно, что это направленіе—сильное, многосодержательное, спокойно и широко развивающееся, имѣющее богатую будущность. Несмотря на то, противоположный лагерь, т. е. вся масса литературы, до сихъ поръ невѣрно излагаетъ образъ мыслей славянофиловъ, именно приписываетъ имъ такія мнѣнія, которыя имъ не принадлежатъ, и умалчиваетъ о такихъ, которыя составляютъ основу ихъ ученія. Съ юридической стороны подобное поведеніе литературы составляетъ не-

простительную и тяжкую вину, а съ литературной доказываетъ отсутствіе проницательности и великое оскудѣніе критическаго пониманія».

Такъ сказалъ бы Бѣлинскій, какъ человѣкъ умный, честный, чуждавшійся всякаго журнальнаго лукавства и смотрѣвшій на свое литературное дѣло самымъ серьезнымъ образомъ.

1871 г., 18 января.

VII.

Карамзинъ.

1. Вздохъ на гробъ Карамзина.

(Письмо въ редакцію «Зари». 1870, № 10).

Карамзинъ, Карамзинъ! Какое чудесное имя, милостивый государь! Какою невыразимо-сладкою мелодіею звучитъ оно для ушей моихъ! Передъ мысленнымъ взоромъ моимъ при этихъ звукахъ тотчасъ возникаетъ образъ столь свѣтлый, столь чистый, столь привлекательный, что напрасно я бы пытался изобразить его красоту своею неискусною рѣчью. Великій писатель, создатель русской исторіи, зачинатель новаго періода нашей литературы, а главное —человѣкъ несравненный по мягкости и благородству души, другъ царей, но вѣрноподанный Россіи—что же еще нужно для самой чистой славы? Можно быть полезнѣе Карамзина, но усерднѣе быть невозможно; можно превзойти его размѣромъ силъ, но нельзя превзойти красотой подвига; можно быть болѣе великимъ, но нельзя быть болѣе прекраснымъ человѣкомъ и гражданиномъ!

Вы, можетъ быть, удивляетесь, милостивый государь, этому восторженному тону, столь рѣдкому въ наше холодное и скептическое время (мы нынче стали ужасъ какъ разсудительны!); но вы поймете мое душевное настроеніе, если я вамъ открою, что я воспитанъ на Карамзинѣ, что мой умъ

и вкусъ развивался на его сочиненіяхъ. Ему я обязанъ пробужденіемъ своей души, первыми и высокими умственными наслажденіями.

Такъ какъ я человѣкъ еще не очень старій, то вы должны найти страннымъ это обстоятельство, между тѣмъ оно случилось довольно обыкновеннымъ образомъ. Я воспитывался въ мѣстѣ дикомъ и уединенномъ, въ заведеніи глухомъ и невѣжественномъ. Такъ я осмѣлюсь назвать губернской городъ и учебное заведеніе, гдѣ я провелъ отъ двѣнадцати до шестнадцати лѣтъ моего возраста, тѣ начальные годы, когда душа только что раскрывается для разумнѣя и пріемлетъ первыя неизгладимыя впечатлѣнія. Это было въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ. Припомните, какая это была блестящая и многознаменательная эпоха въ литературѣ. Лермонтовъ оканчивалъ свою дѣятельность, Гоголь издалъ «Мертвыя Души», Бѣлинскій гремѣлъ все сильнѣе и сильнѣе и процвѣтала «Отечественныя Записки», переживавшія лучшую и незабвенную пору своего долгаго существованія. И что же? Наша семинарія (кто по моей фамиліи не догадался, что я семинаристъ?) ничего объ этомъ не знала, не имѣла ни малѣйшаго понятія, какъ-будто она стояла не на слияніи Волги и Костромы, а гдѣ-нибудь за семью морями, въ Америкѣ, еще не открытой Колумбомъ (изъ настоящаго времени не приберешь и сравненія). Это заколдованное царство было истинно заколдовано страшной бѣдностью, непробудной лѣнью и непроницаемымъ невѣжествомъ. Вся эта масса народу отъ перваго наставника до послѣдняго изъ шести или семи сотенъ учениковъ—ничего не дѣлала, ни надъ чѣмъ не трудилась и жила столь безпечно и спокойно, какъ-будто никакихъ дѣлъ и не существуетъ на свѣтѣ, тѣмъ безпечнѣе и спокойнѣе, что подъ видомъ высшихъ занятій можно было даже забыть латинскую и греческую грамматику—единственныя свѣдѣнія, которыми въ началѣ ученія украшается каждый семинаристъ.

О моя семинарія! Когда-нибудь я напишу о тебѣ «особую поему», разумѣется въ прозѣ, но—никогда я не помяну тебя лихомъ. Ты запечатлѣлась въ моемъ воображеніи картиною свѣтлою, идиллическою. Простите, милостивый государь, если я невольно отдаюсь этимъ сладкимъ воспоминаніямъ.

Семинарія наша помѣщалась въ огромномъ, но заглохшемъ и обвалившемся монастырѣ, въ которомъ не насчитывалось уже и десятка монаховъ. Монастырь былъ старинный, XV вѣка; въ защиту отъ татаръ и другихъ дикихъ племенъ онъ окруженъ былъ крѣпостною стѣною, на которую можно было всходить; въ верхней части ея были амбразуры для пушекъ и пищалей, по угламъ башни, подъ башнями подземные ходы... Мы жили, такъ сказать, постоянно и со всѣхъ сторонъ окруженные исторіею.

Въ эту обширную и пустынную развалину каждое утро сходилосъ изъ города множество мальчиковъ и юношей; они собирались въ зданіяхъ, лѣпившихся у монастырскихъ стѣнъ и часто болѣе похожихъ на сараи для лошадей, чѣмъ на людскія жилища. Живю помню васъ, мои бѣдные товарищи! Это были большею частію дѣти сельскаго духовенства, слѣдовательно, вполнѣ деревенскіе мальчики, съ деревенскими нравами, въ деревенской одеждѣ — въ лаптяхъ и нагольныхъ тулупахъ зимою, и только лѣтомъ въ болѣе цивилизованномъ платьѣ — въ крашенинныхъ халатахъ, при которыхъ не было нужды въ панталонахъ. Это были однакоже очень недурныя дѣти! Ихъ доброта, честность, мягкіе и чистые нравы приводятъ меня въ умиленіе, когда я переношусь мыслью въ тѣ далекіе годы.

Одно было дурно: ученіе шло изъ рукъ вонъ плохо. Чтеніемъ никто не занимался, такъ какъ книги были величайшею рѣдкостію у учениковъ. Наставники конечно имѣли болѣе возможности слѣдить за наукой и литературой, но предпочитали игру въ карты по маленькой, а затѣмъ выпивку и закуску. Бездѣйствіе было невѣроятное: собравшіеся ученики даже проводили большую часть времени одни, такъ какъ наставники безбожно опаздывали или часто и вовсе не приходили. Зато, какъ мы рѣзвились и веселились! Собравшись огромной толпой, мы, бывало, по цѣлымъ часамъ пѣли хоромъ деревенскія пѣсни; затѣмъ бѣготня, шумъ, рассказы, споры... особенно споры. Удивительно подумать, какимъ образомъ и откуда въ этой массѣ, отрѣзанной отъ всего міра, держался и дѣйствовалъ нравственный духъ и умственный жаръ

весьма значительнаго свойства... Но объ этомъ когда-нибудь послѣ.

Итакъ, литература того времени къ намъ не проникала и не могла проникнуть. Но я однакоже не ограничился тощими тетрадками, изъ которыхъ почерпалась вся наша умственная пища. Уже тогда во мнѣ загорѣлась страсть къ чтенію, которая ясно показывала, что судьба приведетъ меня на несчастное поприще русской словесности. Я добрался до семинарской библіотеки, въ которую никто не заглядывалъ и изъ которой почти вовсе не выдавались книги. Библіотекаремъ былъ одинъ изъ старшихъ наставниковъ, питавшій ко мнѣ особенное расположеніе. Онъ, подсмѣиваясь и называя меня «преученою особой», далъ мнѣ свободный доступъ къ пыльнымъ ворохамъ книгъ, хранившихся въ одной изъ боковыхъ комнатъ стариннаго собора,—и началось мое наслажденіе.

Кто составлялъ эту библіотеку и какіе случаи опредѣлили ея составъ—не знаю. Но оказалось, что въ ней было множество книгъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія и вовсе не было книгъ болѣе новыхъ. И такъ какъ эта библіотека была для меня единственнымъ источникомъ чтенія, то и случилось, что я не только не слыхалъ о Гоголѣ и Бѣлинскомъ, а даже Пушкина и Грибоѣдова читалъ уже послѣ, уже когда перебрался въ Петербургъ. Я весь былъ погруженъ въ книги первыхъ и десятыхъ годовъ нашего столѣтія и, бродя среди березъ и малиновыхъ кустовъ монастырскаго сада, перечиталъ этихъ книгъ великое множество. Моими свѣтилами и образцами были Ломоносовъ, Державинъ и Карамзинъ. Въ стихахъ я подражалъ Державину, но истиннымъ моимъ любимцемъ, моею отрадою и утѣшеніемъ, властителемъ моихъ думъ и чувствъ былъ конечно и разумѣется—Карамзинъ.

Съ какою жадностію я читалъ и перечитывалъ его «Вѣстникъ Европы»! Увѣряю васъ, что ни одна книжка новаго «Вѣстника Европы», издаваемаго подъ редакцію г. Стасюлевича, не возбуждала во мнѣ и тѣни того восторга, съ какимъ я поглощалъ напечатанныя на пухлой синеватой бумагѣ книжки Карамзинскаго журнала. «Письма Русскаго Путешественника» дѣйствовали на меня, какъ самая животрепещущая новость; «Марѳа Посадница» была недостижимымъ об-

разпомъ поэзіи, благозвучія, краснорѣчія; первый томъ «Исторіи Государства Россійскаго» я зналъ почти наизусть. Словомъ, Карамзинъ на меня дѣйствовалъ такъ, какъ-будто я былъ его современникомъ; я могу сказать, что пережилъ, перечувствовалъ на себѣ самомъ переворотъ, совершенный имъ въ русской словесности, то невыразимое обаяніе, которымъ этотъ великій писатель нѣкогда покорилъ себѣ всѣ умы и сердца. Осмѣлюсь ли сослаться на мои литературные труды? Внимательный читатель найдетъ въ нихъ нѣкоторый, хотя слабый отблескъ Карамзинскаго изящества и Карамзинской мягкости; и если силы мои ничтожны, объемъ моихъ писаній микроскопическій и успѣхъ самый незначительный, то все-таки этимъ успѣхомъ я обязанъ стремленію уподобиться Карамзину плавностію слога и нѣжностію чувствованій, а не какому-то моему ехидству, на которомъ столь упорно настаивали иные журналы и особенно одинъ мой покойный пріятель.

Не стану вамъ рассказывать о моей дальнѣйшей судьбѣ, о моихъ ученыхъ занятіяхъ, о долгихъ моихъ размышленіяхъ, объ изумительномъ зрѣлищѣ *воздушной революціи*, которой я былъ очевидцемъ, и о томъ жестокомъ недоумѣніи и неудовольствіи, въ которое я былъ повергнутъ этимъ зрѣлищемъ. Все это отложу до другого времени; но уже изъ сказаннаго вы можете понимать, какую горечь должны были возбудить во мнѣ, такъ называемые, нигилистическіе взгляды на нашу литературу, можете чувствовать, какою горячею кровью обливалось мое сердце при каждой дерзкой выходкѣ, касавшейся Карамзина, этого свѣтила моей юности, этого идола моихъ незабвенныхъ и невинныхъ отроческихъ лѣтъ.

И наконецъ, мѣра переполнилась. Въ сентябрской книжкѣ «Вѣстника Европы» явилась огромная статья г. Пыпина (*Очерки общественнаго движенія при Александрѣ I. IV. Карамзинъ. «Записка о древней и новой Россіи»*. Стр. 170 — 248), въ которой подробно и пространно осуждается дѣятельность Карамзина и доказывается, что она имѣла самое зло-вредное вліяніе на судьбы Россіи.

Карамзинъ—вреденъ! Карамзинъ—зло въ нашемъ развитіи, язва въ нашей литературѣ, тормазъ въ нашемъ общественномъ движеніи! Остановитесь, милостивый государь, на

этой мысли, вдумайтесь въ нее, взгляните, измѣрьте всю чудовищность ея смысла, весь ужасъ, который она въ себѣ заключаетъ. Если Карамзинъ вреденъ, то кто же можетъ быть полезенъ? Если трудъ души и сердца Карамзина былъ зломъ, и бѣдствіемъ, то кто же можетъ льстить себя надеждою, что онъ трудится во благо? Если Карамзинъ дѣйствовалъ противъ интересовъ Россіи, то кто имѣетъ право сказать, что работаетъ для ея пользы? Не господинъ ли Пыпинъ? Вижу, очень хорошо вижу, что онъ такъ о себѣ думаетъ, но послѣ того, что случилось съ Карамзинымъ, не вѣрю, не могу вѣрить, не хочу вѣрить! Что такое г. Пыпинъ? Кому и въ чемъ онъ можетъ служить примѣромъ? Я знать не хочу г. Пыпина! Если человѣкъ столь возвышенной души, такого изумительнаго таланта, какъ Карамзинъ, не сумѣлъ найти надлежащаго пути и всю жизнь съ величайшимъ благодушіемъ и чистою совѣстью наносилъ вредъ своему отечеству, то какихъ мерзостей (разумѣется безсознательныхъ) я не могу ждать отъ г. Пыпина, который можетъ быть и почтенный человѣкъ, но во всякомъ случаѣ далекъ отъ Карамзина, какъ земля отъ неба? Если судъ г. Пыпина надъ Карамзинымъ справедливъ, то во сколько разъ болѣе жестокаго суда долженъ ожидать отъ потомства самъ г. Пыпинъ? Не будетъ ли его статья клеймомъ позора для его имени? Въ невинности души своей г. Пыпинъ не задаетъ себѣ этого страшнаго вопроса; безопасно и самоувѣренно онъ играетъ въ отношеніи къ Карамзину роль безпристрастнаго потомства; онъ забываетъ, что онъ тоже сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ и что съ него взыщется тѣмъ строже, чѣмъ выше сіяетъ та слава, до вѣнца которой онъ тянется своею рукою!

Карамзинъ—вреденъ! Но стоитъ ли послѣ этого жить и писать? Когда подобный приговоръ составляетъ награду писателя столь знаменитаго, то какъ не приходятъ въ отчаяніе всѣ писатели? Начто трудиться мнѣ, г. Пыпину и всѣмъ? Начто писали наши предшественники? Начто будутъ писать наши преемники? Нѣтъ, г. Пыпинъ, тутъ что-нибудь да не такъ; нѣтъ, вы чего-нибудь не сообразили, ибо изъ вашего заключенія слѣдовало бы, что вообще вредна литература, или по крайней мѣрѣ, что русская литература до сихъ поръ была

зломъ для русскаго народа. Такая кощунственная мысль, вѣроятно, нравится г. Пыпину; но берегитесь, смѣлые и дерзкіе люди! Есть граница, за которой смѣлость свидѣтельствуешь только о тупоуміи, и дерзость доказываетъ, что человѣкъ не способенъ цѣнить и понимать того, о чемъ судить.

О, моя бѣдная Россія! О, мое несчастное отечество! Сколько разъ я погружался въ тяжелыя размышленія о судьбѣ твоей; сколько разъ я лилъ горестныя слезы при мысли объ испытаніяхъ, тобою перенесенныхъ, о безмѣрно-трудномъ пути твоего развитія! Но особенно поражалъ меня тотъ страшный гнѣтъ, который тяготѣетъ надъ твоею нравственною и умственною жизнью; особенно чувствительна была для меня та мрачная сила, которая давитъ твои высокіе умы, твои великіе таланты. Часто я спрашивалъ себя: какимъ образомъ возможна у насъ исторія, поэзія, литература? Какъ онѣ могли явиться при столь неблагоприятныхъ условіяхъ? Казалось бы, русская жизнь должна порождать однихъ Пыпиныхъ, а между тѣмъ у насъ есть Карамзинъ! Казалось бы, всѣ наши поэты должны были походить на г. Минаева, а между тѣмъ у насъ есть Пушкинъ! Казалось бы, вся наша литература должна состоять изъ безчисленныхъ Рѣшетниковыхъ и Щедриныхъ, а между тѣмъ у насъ есть Левъ Толстой! О, я понимаю то великое озлобленіе, которое царствуетъ въ извѣстныхъ кружкахъ противъ каждаго свѣтлаго явленія въ нашемъ умственномъ и литературномъ развитіи! Я понимаю, что каждое такое явленіе эти люди должны считать незаконнымъ, неестественнымъ, противорѣчащимъ ихъ завѣтнѣйшему убѣжденію! И когда я подумалъ о томъ, что это убѣжденіе столь разительно опровергается фактами, что мы *имѣемъ литературу при такихъ условіяхъ, при которыхъ, повидимому, никакая литература невозможна*, то я начинаю радоваться, начинаю смѣяться надъ нелѣпыми разсужденіями нашихъ новѣйшихъ историковъ, начинаю думать, что исторія есть дѣло таинственное и трудно-постижимое, укрѣпляюсь все больше и больше въ той утѣшительной мысли, что жизнь немножко глубже, чѣмъ какъ понимаетъ ее г. Пыпинъ.

Тѣнь Карамзина! Тебя призываю на помощь! Подкрѣпи меня тою великою вѣрою, которою я нѣкогда питался въ твоихъ безсмертныхъ произведеніяхъ!

Начинаю сначала. Какимъ образомъ возможно самое появленіе Карамзина? Если мы послушаемъ нашихъ новѣйшихъ историковъ, то должны будемъ сказать, что это былъ какой-то уродъ или сумасшедшій, а отнюдь не произведеніе историческихъ обстоятельствъ того времени. Представьте себѣ картину тогдашней Россіи такъ, какъ ее изображаютъ нынѣшніе наши историки, столь безпристрастные и проникательные. Всюду—зло и мерзость; помѣщики—изверги, крестьяне—стада дикихъ животныхъ; всюду—господство грубой силы, разврата, азіатскаго абсолютизма. И вдругъ является Карамзинъ. «Всѣ условія жизни, говоритъ г. Пыпинъ, условія, создавшіяся цѣлыми десятками и сотнями лѣтъ, дѣлали невозможною добродѣтель» (стр. 234). Кажется ясно? И однакоже—вдругъ является человѣкъ добродѣтельный. Является человѣкъ кроткій, какъ голубъ, нѣжный и чувствительный, стыдливый, какъ дѣвица. Я радуюсь, а г. Пыпинъ негодуетъ и недоумѣваетъ. Я преклоняюсь передъ таинственною глубиною жизни, готовящей обновленіе русской литературы; г. Пыпинъ возмущается и злобно издѣвается. По его мнѣнію законными, умѣстными, правильными явленіями тогдашняго времени были какіе-нибудь злодѣи, разбойники, Пугачевы; Карамзинъ же съ его голубиною нѣжностію ему кажется явнымъ уродомъ, родившимся для того, чтобы задержать историческій ходъ нашего развитія.

Затѣмъ слѣдуетъ рассмотреть воспитаніе Карамзина. Онъ попадаетъ въ масонскій кружокъ, онъ дѣлается ревностнымъ поклонникомъ Руссо и Вольтера. Какая опасность, если возьметъ силу одно или другое явленіе! Если бы Карамзинъ подчинился масонскому мистицизму, изъ него вышелъ бы какой-нибудь Лабзинъ. Г. Пыпинъ увѣряетъ, что масонство имѣло неизгладимое вліяніе на Карамзина. Неправда! Карамзинъ ему не поддался и въ этомъ состоитъ великій, хотя по мнѣнію г. Пыпина совершенно неправильный фактъ. Точно также было бы дурно, если бы Карамзинъ подчинился извѣстнымъ сторонамъ ученій Руссо и Вольтера; изъ него могъ бы выйти второй Радищевъ.... По счастью этого не случилось: изъ своего воспитанія Карамзинъ вышелъ самимъ собою. Я радуюсь, а г. Пыпинъ сердится и удивляется.

Но вотъ Карамзинъ ѣдетъ путешествовать. При тогдашнихъ обстоятельствахъ какая это была огромная опасность! Съ его идеями, съ его увлеченіемъ французскою литературою, съ пламенной любовью къ человѣчеству—что будетъ дѣлать Карамзинъ, попавши во Францію? Онъ забудетъ свою родину, станетъ тѣмъ-нибудь въ родѣ Герцена, будетъ участвовать въ журналѣ какого-нибудь тогдашняго Прудона и предастся всѣмъ волненіямъ революціи. Прощай новый періодъ въ русской литературѣ, прощай «Исторія Государства Россійскаго»! Мы знаемъ, что политическое движеніе Франціи не осталось безъ вліянія на Карамзина. «Робеспьеръ», свидѣтельствуетъ Н. И. Тургеневъ, «внушалъ Карамзину чуть не поклоненіе. Его друзья рассказывали, что при извѣстіи о смерти страшнаго трибуна онъ пролилъ слезы; въ старости онъ еще говорилъ о немъ съ уваженіемъ, удивляясь его безкорыстію, серьезности и твердости его характера, и даже его скромному костюму, который, по словамъ его, былъ контрастомъ костюму людей этого времени» (La Russie est). Что было бы, если бы это увлеченіе было сильнѣе и охватило бы Карамзина тогда, когда онъ былъ во Франціи? Какое счастье, что этого не случилось! Юный Карамзинъ посмотрѣлъ на событія революціи съ такой точки зрѣнія, что они не покорили вполне его души. Карамзинъ, какъ увѣряетъ г. Пыпинъ, вовсе не понималъ этихъ великихъ событій. И Карамзинъ возвращается, Карамзинъ спѣшитъ домой. Какое благополучіе! Я радуюсь всею душою, а г. Пыпинъ негодуетъ. Г. Пыпинъ думаетъ, что въ этомъ случаѣ Карамзинъ былъ глупъ; я могъ-бы однакоже доказать, что смыслъ французской революціи, о которой *теперь* такъ свободно разсуждаетъ г. Пыпинъ, былъ величайшею неожиданностію не только для чужака чужого, а и *для самой Франціи*. «Кто могъ думать, ожидать, предвидѣть?» писалъ впоследствии Карамзинъ,—и это было не реторическою фразою, какъ, вѣроятно, полагаетъ г. Пыпинъ, а чистою правдою. Исторія есть нѣчто таинственное и не совершается столь просто, какъ думаетъ г. Пыпинъ. Во всякомъ случаѣ я радъ, что чреватая бурями тайна не увлекла нашего Карамзина. Г. Пыпинъ въ укоръ Карамзину указываетъ на нѣкотораго И. В. Лопухина, который будто-бы

отлично понималъ смыслъ тогдашнихъ событій. Пусть такъ, честь и слава И. В. Лопухину! Поставьте ему памятникъ! Но, ради Бога, оставьте мнѣ моего Карамзина и позвольте мнѣ радоваться, что изъ него не вышелъ И. В. Лопухинъ!

О, неразумные историки! О, слѣпые толкователи прошедшаго! Какъ же вы не видите, что совершалось въ душѣ Карамзина и что помѣшало ему сочувствовать революціи? Карамзинъ думалъ о своемъ образованіи, Карамзинъ въ ту самую пору, о которой идетъ рѣчь, *преобразовывалъ наши слогъ* своими письмами, Карамзинъ уже мечталъ о своей исторіи! А главное, существенное, непобѣдимое препятствіе состояло въ томъ, что Карамзинъ всею душою былъ въ Россіи, не покидалъ ея мыслю ни на минуту, весь жилъ воспоминаніями своей родины, своего дѣтства, своихъ друзей. Что же дивнаго, что онъ смотрѣлъ на революцію невнимательно, видѣлъ вещи въ розовомъ свѣтѣ и лишь въ послѣдствіи понять истинный смыслъ видѣннаго?

Карамзинъ былъ сынъ Екатерининскаго вѣка—вотъ настоящая разгадка его судьбы и душевнаго склада. Онъ былъ сынъ славнаго, счастливаго времени и потому былъ консерваторъ и не былъ расположенъ къ раздору съ окружающимъ, къ событіямъ кровавымъ и мрачнымъ. Карамзинъ такой же плодъ Екатерининской эпохи, какъ Пушкинъ плодъ эпохи двѣнадцатаго года. Если бы величіе этихъ эпохъ не поразило блескомъ души этихъ отроковъ, то, можетъ быть, у нихъ не было бы той вѣры въ себя, той вѣры въ Россію, при которой только и была возможна ихъ дѣятельность. Если бы для Карамзина не было дѣломъ несомнѣннымъ, что Россія *была счастлива* во время его юности, то онъ иначе смотрѣлъ бы на ея исторію и едва ли бы сдѣлалъ изъ этой исторіи цѣль всей своей жизни. Если бы величіе Россіи было для Пушкина только чаяніемъ и предположеніемъ, если бы оно не было для него самой животрепещущей очевидностію, то онъ едва ли бы могъ вѣрить, что онъ самъ великій поэтъ, и не слышать бы намъ его дивныхъ пѣсень. Не могу подумывать безъ радости объ этихъ причинахъ и объ ихъ результатахъ.

Относительно Пушкина намъ извѣстны, милостивый государь, сомнѣнія и недоумѣнія нашихъ либералистовъ. Съ раздраженіемъ и злобою смотрять они на это великое явленіе русской жизни. Подумайте, говорятъ они, какія были времена, какое общество, какое положеніе дѣлъ? Ну, время ли было воспѣвать любовь и сочинять поэмы? Какихъ онъ женщинъ воспѣвалъ? Какихъ женщинъ могла произвести тогдашняя жизнь? Возможно ли было любить красавицъ, не имѣвшихъ никакого понятія о книжкѣ Милля, такъ какъ она появилась значительно позднѣе? Такими и подобными вопросами безъ конца осаждаютъ память нашего незабвеннаго поэта и безъ конца злобствуютъ и издѣваются надъ нимъ. А я, милостивый государь, чѣмъ больше слышу подобныхъ вопросовъ, тѣмъ больше радуюсь, тѣмъ пламеннѣе благоговѣю передъ таинствами нашей судьбы. О, какъ хорошо, что заяцъ перебѣжалъ дорогу Пушкину, и что нашъ поэтъ не попалъ въ число декабристовъ! О, какъ чудесно, что Пушкинъ не былъ повѣшенъ или сосланъ въ Сибирь! Какое благополучіе, что его великая душа могла упиться восторгомъ въ одну изъ великихъ минутъ Россіи и потомъ навсегда сохранила въ себѣ отблескъ этого восторга! Какое счастье, что его прекрасное сердце не изсохло, не изныло, и разорвалось *такъ поздно*, на тридцать восьмомъ году! Была, значить, въ русской жизни нѣкоторая доля бодрости, силы, вѣры, красоты, гармоніи, любви... И вотъ мы имѣемъ теперь пѣсни—безсмертныя пѣсни! Мы имѣемъ поэзію, имѣемъ литературу! Пусть негодуютъ на это всѣ Пыпины, сколько ихъ ни есть,—я всегда буду этому радоваться.

Но обратимся къ Карамзину. Первое и огромное его дѣло состояло въ преобразованіи русскаго слога. Г. Пыпинъ смотритъ на это дѣло съ величайшимъ высокомѣріемъ. Онъ смѣется надъ слогомъ Карамзина, называя его *медовымъ стилемъ* (стр. 195); онъ признаетъ литературныя заслуги Карамзина, но тщательно оговаривается, что это были заслуги *для того времени*; вообще же онъ полагаетъ, что теперь чисто литературная сторона дѣла уже потеряла свой интересъ (стр. 171). Напрасно! Знаетъ ли г. Пыпинъ, что самъ онъ пишетъ весьма несовершеннымъ слогомъ, такимъ слогомъ, который лишь въ очень слабой степени отражаетъ въ себѣ Карамзинское пре-

образованіе, не содержитъ и сотой доли достоинствъ Карамзинскаго слога? Слогъ у г. Пыпина тощій, неповоротливый, лишенный теченія, чуждый разнообразія и мѣткости, исполненный напыщенности самой прозаической, канцелярской, загроможденный оборотами избитѣйшими и выраженіями казеннѣйшими. А между тѣмъ, вѣдь, слогъ есть зеркало души писателя. Что значить ввести новый слогъ, какъ это сдѣлалъ Карамзинъ? Вѣдь, это значить заговорить *новымъ языкомъ*, то есть открыть, создать новую сферу мыслей и чувствованій. Писатели, кажется, должны бы ясно понимать, въ чемъ тутъ дѣло. Пусть люди грубые и невѣжественные полагаютъ, что можно *сочинять* умныя мысли и прекрасныя чувства; пусть г. Пыпинъ многократно увѣряетъ, что чувствительность и нѣжность, которыми Карамзинъ преобразовалъ русскую литературу, существовали только *въ книжкѣ, на бумагѣ*. Кому случилось въ жизни написать хоть одну страницу, достойную имени литературнаго произведенія, тотъ знаетъ, что, создавая эту страницу, онъ клалъ свою душу на бумагу, изливалъ на бумагу свое сердце; иначе ничего бы не вышло, или вышло бы нѣчто такое, что обличило бы лишь кривляющуюся пустоту и напрягающуюся глупость писавшаго. Повторяю, слогъ есть выраженіе души писателя. Карамзинъ преобразовалъ русскую литературу своею душею.

Когда я представляю себѣ Карамзина, возвратившагося изъ путешествія, когда воображу себѣ этого удивительнаго юношу, въ которомъ тогда воплотилась наша литература, я не нахожу мѣры своему восхищенію. Это было зрѣлище очаровательное, ослѣпляющее; это было чудо едва постижимое. Вотъ человѣкъ, который посѣтилъ чужіе края—и однакоже любить свою родину прежнею пламенною любовью; онъ бесѣдовалъ съ первыми умами Европы—и однакоже умственные интересы Москвы имѣютъ для него ту же кровную драгоцѣнность; онъ украшенъ всею глубиною и тонкостію тогдашняго образованія—и однакоже онъ вполне русскій, русскій до мозга костей. Какова сила, каково притяженіе русской жизни! Какая способность взять у Запада много, очень много—и не отдать ему ничего завѣтнаго! Душа моя наполняется умиленіемъ, несмотря на всѣ вопли негодованія, издаваемые нашими либералистами.

О, какъ бы я желалъ, чтобы эту минуту русской литературы описало перо не столь слабое, какъ мое, чтобы кто-нибудь изобразилъ ее съ краснорѣчіемъ исполнѣ ея достойнымъ! Карамзинъ заговорилъ, Карамзинъ сталъ писать—это значитъ: онъ сталъ изливать свою душу безчисленными волнами, свободными, сильными, неизсякающими. Что за диво, что за восторгъ! О чемъ ни заговоритъ Карамзинъ, все выходитъ прекрасно. А онъ говоритъ обо всемъ, не выбирая, не сочиняя предметовъ; онъ говоритъ о своихъ пріятеляхъ, о своихъ прогулкахъ, о Москвѣ, о Парижѣ, о каждомъ своемъ мимолетномъ чувствѣ, о каждой мысли, шуткѣ, слезѣ, вздохѣ. Онъ весь открытъ, онъ весь наружу, и онъ весь красота, весь изящество. Россія ахнула, Россія изумилась и залюбовалась безъ конца и мѣры. Такъ вотъ что значитъ поэзія? Такъ вотъ что значитъ литература? А мы думали, что поэзія есть *родкій гость* на землѣ; мы и не знали, что есть цѣлый міръ прелести въ томъ, что насъ окружаетъ, что мы видимъ и дѣлаемъ ежедневно. Да послѣ этого и русская исторія, эта дикая и чуждая намъ исторія, пожалуй, можетъ оказаться любопытною, занимательною, даже величественною!

Вотъ, милостивый государь, тотъ смыслъ, который имѣло преобразование русскаго слога, совершенное Карамзинымъ; это было преобразование понятій, безмѣрное расширеніе области и мысли, ясное, блистательное откровеніе *возможности цѣлой литературы* тамъ, гдѣ ея еще не было, гдѣ только изрѣдка, какъ лучи солнца сквозь темныя облака, сіяли восторгомъ гѣснопѣнія Ломоносова, Державина. Совершить такое дѣло можно было только душою невообразимо чуткою ко всему истинно человѣческому и поэтическому; Карамзинъ больше чѣмъ кто-нибудь доказываетъ своею дѣятельностію, что *прекрасный слогъ есть выраженіе прекрасной души*.

Слѣшу оторваться отъ этой восхитительной картины, отъ этихъ отрадныхъ мыслей, съ тѣмъ чтобы перебрать другіе существенные пункты, которыхъ касается г. Пыпинъ. Онъ долго останавливается на «Похвальномъ словѣ Екатерины II» и жестоко негодуетъ на восторженный тонъ какъ этого «Слова», такъ и статей по общественнымъ вопросамъ, писанныхъ Карамзинымъ въ первые годы царствованія Александра I-го.

Г. Пыпинъ называетъ этотъ тонъ *приторно-лестливымъ* (стр. 202); «перечитывая эти *тирады*», говоритъ онъ нѣсколько выше, «наконецъ *утомляешься* этимъ тономъ *лести*, преклоненія и восторга» (стр. 201). Лесть! Приторная лесть! Но отчего же лесть, милостивый государь? Какое право имѣеть г. Пыпинъ поступать здѣсь такъ, какъ онъ и вездѣ поступаетъ въ отношеніи къ Карамзину, а именно—истолковывать всѣ его слова и дѣйствія въ дурную сторону? Развѣ Карамзинъ подалъ къ этому хотя малѣйшій поводъ? Если бы мнѣ сказали, что г. Пыпинъ сдѣлалъ подлость, то и тогда я не считалъ бы себя правымъ, злорадно повѣривши первому слуху. Во сколько же разъ виноватѣе г. Пыпинъ, постоянно подкладывающій подъ слова и дѣйствія Карамзина побужденія подлая и низкія?... Г. Пыпинъ обходится съ Карамзинымъ такъ, какъ я никогда не рѣшусь обойтись съ г. Пыпинымъ.

Царствованіе Екатерины II, взятое въ цѣломъ, и первые годы царствованія Александра I-го были временами, когда по Россіи проносилось вѣяніе радости, когда наше государство жило нѣкоторымъ восторгомъ. Карамзинъ былъ однимъ изъ выразителей этого восторга. Вотъ ясное и простое дѣло. Чѣмъ же виноватъ нашъ великій писатель? Не кривитъ ли умомъ всякій, кто скажетъ, что Карамзинъ кривилъ душу?

Мы знаемъ, что современные либералисты находятъ этотъ восторгъ дикимъ, нелѣпнымъ и вреднымъ; съ неописанной злобою смотрятъ они на всѣхъ, кто его испытывалъ и осыпаютъ ихъ ругательствами, какъ хранителей и поборниковъ зла, застоя и ретроградства; словомъ, либералисты желали бы, чтобы этотъ восторгъ вовсе не существовалъ, чтобы на всемъ протяженіи нашей исторіи не было для русскаго народа ни одной минуты самодовольства, гордости, радости. Ибо гордиться, говорятъ они, могли только дураки и радоваться только подлецы.

Не знаю, на сколько позволительно и полезно желать, чтобы не было того, что уже было; въ этомъ вопросѣ есть глубина, смущающая мою философію. Позволю себѣ однакоже выразить свое сильное мнѣніе. Признаюсь, я нахожу весьма пріятнымъ, что мірозданіе имѣетъ нѣкоторую прочность, нѣкоторую устойчивость, что если люди имѣютъ возможность дѣлать глупости въ настоящемъ, могутъ въ своихъ мечтахъ и

планахъ вертѣть по своему будущимъ, то они по крайней мѣрѣ не могутъ измѣнить прошедшаго. Эта неизмѣнность прошедшаго часто внушаетъ мнѣ пламенную благодарность Провидѣнію, столь мудро устроившему міръ. Среди тревогъ настоящаго, среди опасеній за будущее, что было бы съ нами, если бы и наше прошедшее было дѣломъ сомнительнымъ и ненадежнымъ? Но по счастью, славные подвиги, великіе мужи, счастливыя времена — на вѣки безопасны, какъ скоро они прошли. Представьте себѣ, милостивый государь, что было бы, если бы русская исторія находилась въ нѣкоторой власти г. Пыпина, г. Стасюлевича и имъ подобныхъ историковъ. Сердце сжимается отъ жалости при одной мысли объ этомъ бѣдствіи. Тогда — прощай все то, чѣмъ мы любимъ и гордимся; ибо гордость и любованіе должны быть уничтожены въ нашихъ сердцахъ, какъ вещи вредныя. Тогда Пушкина не было бы, Карамзина не было бы; тогда вмѣсто Державина при Екатеринѣ явился бы г. Некрасовъ и обличалъ бы тогдашнимъ языкомъ тогдашній Невскій проспектъ; тогда французы, приходившіе въ Москву въ 1812 году, погибли бы не такъ, какъ рассказываетъ гр. Левъ Толстой, а только и исключительно отъ мороза, какъ того желаютъ новѣйшіе фельетонисты; тогда самой Москвы не существовало бы; тогда... Но я останавливаюсь; мысль эта, очевидно, способна къ безчисленнымъ варіаціямъ, она чревата множествомъ образовъ; но въ какихъ бы формахъ она ни воплотилась — она ужасна, она невыносима!

Душѣ чувствительной особенно противны тѣ желанія, которыя направляются противъ благополучія людей, которыя видятъ зло въ восторгѣ, одушевлявшемъ цѣлый народъ и цѣлое государство, которыя посягаютъ на самый духъ жизни, столь крѣпкій, столь бодрый, столь могучій въ русскомъ народѣ. Этотъ народъ способенъ къ удивительному энтузіазму — источнику великихъ дѣлъ, главному нерву историческаго развитія, корню всякой поэзіи, всякой жизни. Не мало зла существовало и во времена Екатерины и въ первые годы царствованія Александра; но рядомъ съ этимъ зломъ по жизни народа текла сладостная струя гордости, надеждъ, славы; ужали не безумно и дико смотрѣть съ укоризною и злорад-

ствомъ на это обиліе вѣры, на это чувство силы и счастья, тѣмъ болѣе отрадное, чѣмъ тяжелѣе были условія, при которыхъ оно жило и проявилось въ великихъ дѣяніяхъ, въ великихъ писателяхъ? Слѣдовало бы радостно задумываться надъ этой поистинѣ завидной судьбою, а не порицать тѣхъ, кому она выпала на долю. Господину Пыпину непонятенъ восторгъ Карамзина; но отсюда отнюдь не слѣдуетъ, что Карамзинъ дуракъ и льстецъ, а слѣдуетъ... что понятія г. Пыпина извращены и ограничены.

Перехожу теперь къ главному предмету статьи г. Пыпина, къ «Запискѣ о древней и новой Россіи». Сужденіе, которое мы составили себѣ объ этой «Запискѣ», чрезвычайно просто. Карамзина не возможно назвать *политикомъ* ни въ какомъ смыслѣ этого слова. Онъ не имѣлъ никакой системы политическихъ убѣжденій, никакой теоріи, никакого связнаго и цѣльнаго взгляда. Равнымъ образомъ онъ неспособенъ былъ и къ практической политикѣ, не умѣлъ примѣняться къ обстоятельствамъ и писать и говорить сообразно съ ними для достиженія заранее предположенной цѣли. Все это, какъ нельзя яснѣе, выразилось въ его «Запискѣ», и всему этому я отъ души радуюсь. «Записка» не имѣла и не могла имѣть успѣха, да и нельзя не видѣть, что она не содержала никакихъ положительныхъ и ясныхъ требованій. Какъ это характерично и какъ этому можно порадоваться! При своемъ огромномъ чтеніи и образованіи не поразительно ли, что Карамзинъ не нашелъ во всѣхъ европейскихъ литературахъ такихъ юридическихъ и политическихъ понятій, къ которымъ могъ бы примкнуть всей душою? Какая душевная чуткость обнаруживается въ этомъ отверженіи всего, что не было и не могло быть сродно съ русскою жизнью! Во сколько разъ въ этомъ случаѣ Карамзинъ выше Сперанскаго, который безъ раздумья и колебанія отдался французской системѣ!

Карамзинъ руководится въ своей «Запискѣ» не какими-либо отвлеченными понятіями, опредѣленными цѣлями, а только живымъ инстинктомъ, только сильнымъ, хотя неяснымъ сознаніемъ положенія своего народа, непосредственнымъ чувствомъ, и онъ указываетъ не на то, что слѣдуетъ дѣлать, а только на то, чего дѣлать не слѣдуетъ. Это превосходный

примѣръ того консерватизма, который принадлежитъ къ самой сущности всякой жизни. Живое не даетъ себя рѣзать безнаказанно; живое даетъ подъ ножомъ кровь и испускаетъ крики. Такое явленіе очень досадно многимъ умнымъ людямъ, но я нахожу его прекраснымъ и думаю, что было бы хуже, если бы жизнь не чинила никакого отпора этимъ умникамъ.

Какъ человекъ, котораго жизнь тончайшими нервами связывалась съ жизнью народа, Карамзинъ оказался упорнымъ консерваторомъ и ничѣмъ другимъ онъ и не могъ оказаться. Три пункта указываетъ и подробно разбираетъ г. Пыпинъ, въ которыхъ обнаружился консерватизмъ Карамзина. Карамзинъ былъ защитникомъ правительственнаго абсолютизма, былъ противникомъ освобожденія крестьянъ и въ послѣдствіи точно также—противникомъ освобожденія Польши.

Слава нынѣшнему царствованію! Слава государю Александру II! Теперь мы можемъ говорить объ этихъ вопросахъ и можемъ спокойно разсматривать ихъ не какъ гнетущее насъ самихъ зло, а какъ тяготу историческаго развитія, нѣкогда перенесенную нашими предками. Крѣпостное право уничтожено, Польша въ значительной степени умиротворена, правительственный абсолютизмъ ослабленъ въ своей излишней и напрасной тяжести и ему предназначено все яснѣе и яснѣе ограничивать себя сферою, гдѣ онъ истинно-благодѣтеленъ и неприкосновенно-ненарушимъ.

Если теперь мы спросимъ себя, правъ ли былъ Карамзинъ въ своемъ консерватизмѣ, то должны будемъ подивиться необычайной вѣрности, съ которой русское сердце подсказало ему, что въ планахъ Александра I-го не было ничего прочнаго, ничего истинно живучаго и что, слѣдовательно, они ни къ чему не могли бы привести, кромѣ зла. Относительно Польши мы теперь знаемъ, что планы Александровы были противны нашимъ интересамъ государственнымъ и народнымъ, мы убѣдились исторіею, что Карамзинъ смотрѣлъ на Польшу глубоко-вѣрно. «Сыновья наши», говорилъ онъ, «обагрятъ свою кровью землю Польскую и снова возьмутъ штурмомъ Прагу» *).

*) Неизданныя сочиненія Н. М. Карамзина. Спб. 1862. Часть I, стр. 7.

Такъ это и было. Относительно крѣпостного права и абсолютизма Александръ I не исполнилъ своихъ предначертаній; но нѣтъ сомнѣнія, что если бы онъ ихъ исполнилъ, то навлекъ бы на Россію тѣ дурныя послѣдствія, которыя предсказывалъ ему Карамзинъ. Если бы крестьяне были освобождены не въ нынѣшнее царствованіе, а тогда, при Александрѣ I, то непремѣнно *были бы освобождены безъ земли*. Вотъ было бы зло величайшее! Никто, и *самъ Карамзинъ* не могъ себѣ представить, чтобы дѣло могло произойти иначе, чтобы крестьянъ слѣдовало надѣлать землею; таковы были тогдашнія понятія и нѣтъ никакого сомнѣнія, что конечно такова была и мысль Александра I-го. Понятно, слѣдовательно, упорство, съ которымъ Карамзинъ противился столь для него ясному разстройству народной жизни, столь глубокой ранѣ, которую готовились нанести государству. Точно также, если бы Александръ I ограничилъ правительственный абсолютизмъ (каковыя пробы были отчасти совершаемы и въ прежнія царствованія), то изъ этого, вѣроятно, не произошло бы дѣйствительнаго ограниченія, а произошли бы однѣ смуты. И то и другое дѣло было дѣломъ невозможнымъ, не представляло жизненныхъ, крѣпкихъ условій для своего успѣшнаго совершенія и развитія; Карамзинъ превосходно это чувствовалъ и высказалъ царю со смѣлостію достойною русскаго гражданина.

Но оставимъ эти таинственные и трудныя соображенія. Неохотно и не безъ нѣкотораго смущенія касаюсь я предметовъ этого рода. Далекій отъ дѣлъ государственныхъ, нерѣдко я въ тайнѣ благословляю свою смиренную долю, когда подумаю, въ какое великое затрудненіе привели бы меня задачи, съ коими другіе обращаются легко, отважно, не задумываясь. Итакъ, оставимъ государственныя соображенія и не будемъ на нихъ настаивать. Положимъ, что въ семъ случаѣ и Карамзинъ взялся за дѣло ему несродное и несвойственное. Представимъ, что если бы на мѣстѣ Карамзина былъ г. Пыпинъ, то онъ далъ бы Александру I-му совѣты несравненно основательнѣйшіе, несравненно сообразнѣйшіе съ тогдашними потребностями и пользами нашего отечества. Подобная мысль, какъ ни странно это вамъ покажется, еще не содержитъ въ себѣ ничего для меня убійственнаго и несносно-горькаго.

Но г. Пыпинъ простираетъ свое осужденіе на предметы гораздо болѣе дорогіе для всякаго сердца, любящаго добро. Г. Пыпинъ порицаетъ въ Карамзинѣ не просто государственнаго мужа, но человѣка; онъ порицаетъ личный характеръ бессмертнаго писателя, онъ сомнѣвается въ благородствѣ чувствъ этого чистѣйшаго и прекраснѣйшаго изъ людей. Вотъ, милостивый государь, ужасное обвиненіе, вотъ мысль, способная привести душу чувствительную въ отчаяніе за родъ человѣческій. Г. Пыпинъ увѣряетъ насъ, какъ мы видѣли, что Карамзинъ былъ *мстѣцъ* по отношенію къ верховной власти; что же касается до народа, то, по словамъ г. Пыпина, Карамзинъ смотрѣлъ на него «съ брезгливостію помѣщика, считавшаго, что крестьяне принадлежатъ къ другой породѣ» (стр. 228); Карамзинъ будто-бы любилъ и одобрялъ «торговлю людьми, какъ собаками» (стр. 229); у Карамзина «парни женились и дѣвки выходили замужъ по барскому приказанію» (стр. 229); словомъ, онъ былъ зараженъ «самымъ дужиннымъ крѣпостничествомъ» (стр. 225) и его чувства въ этомъ отношеніи «граничили съ *совершеннымъ безсердечіемъ*» (стр. 227).

Безсердечіе Карамзина! Вотъ одно изъ блистательныхъ открытій, совершаемыхъ новою историческою наукою, при помощи новыхъ методъ и усовершенствованныхъ приѣмовъ. И суровая душа г. Пыпина не содрогается! И намъ не страшно за себя, за нашихъ потомковъ, за лучшіе помыслы души человѣческой, за святѣйшія упованія нашего сердца! И никто не проливаетъ слезъ, никто не оплакиваетъ ничтожества человѣческой натуры, ея безмѣрно жалкаго жребія! *Карамзинъ былъ человекъ безсердечный!* Слыхали ли вы что-нибудь ужаснѣе этихъ словъ? Да пребудутъ они вѣчнымъ памятникомъ безсердечія того, кто ихъ произнесъ!

Но сдержимъ свое волненіе, укротимъ невольные порывы чувствъ и разберемъ дѣло, если возможно, съ хладнокровнымъ разсужденіемъ. На чемъ основываетъ свои выводы г. Пыпинъ? Единственно и исключительно на томъ, что Карамзинъ не желалъ отиѣны крѣпостного права. Какое нелогическое заключеніе! Какое явное невѣжество въ механизмѣ пружинъ человѣческихъ дѣйствій и въ свойствахъ души чело-

вѣческой! Изъ того, что Карамзинъ защищалъ крѣпостное право, не только не слѣдуетъ, что онъ былъ дурной помѣщикъ, а напротивъ, должно быть выведено, какъ несомнѣнное слѣдствіе, что онъ былъ помѣщикъ прекраснѣйшій и человѣколюбивѣйшій, *почему и не видѣлъ зла въ крѣпостномъ правѣ.*

Сія мысль достойна разсмотрѣнія болѣе внимательнаго. Крѣпостное право есть вздоръ въ сравненіи съ вѣчностію—таково мое мнѣніе, утвержденное во мнѣ долгими размышленіями. И всякая мудрость человѣческая есть вздоръ въ сравненіи съ тайнами міра и человѣка; даже мудрость г. Пыпина, гордящагося тѣмъ, что онъ усматриваетъ зло въ крѣпостномъ правѣ, мнѣ кажется, составляетъ слабое возраженіе противъ ничтожности человѣческаго разумѣнія. Но благородство души человѣческой не есть вздоръ ни въ какомъ случаѣ, ни въ какомъ сравненіи. И потому — вотъ гдѣ истинное мѣрило жизни и руководящая нить нашихъ сужденій. Что Карамзинъ былъ помѣщикъ и заблуждался — это еще не большое горе; но истинное было бы горе, если бы мы узнали, что онъ былъ, дѣйствительно, человѣкъ безсердечный. По счастью, его нравственный характеръ есть незыблемая истина, и свѣтъ этой истины намъ озаряетъ дѣло гораздо яснѣе, чѣмъ вся ученость г. Пыпина.

Если Карамзинъ былъ помѣщикъ, то значить, были хорошіе помѣщики: вотъ выводъ столь же строгій, какъ Эвелидовы заключенія. Если были хорошіе помѣщики, то значить, крѣпостное право не было тяжело вездѣ и всегда: вотъ несомнѣнное разсужденіе. Если Карамзинъ стоялъ за крѣпостное право, то это свидѣтельствуетъ не противъ Карамзина, а только и единственно *въ пользу крѣпостнаго права.*

Какое отрадное соображеніе! Какъ пріятно себѣ представить, что столь великое и страшное зло, какъ крѣпостное право, было смягчаемо людскою добротою, было облегчаемо, доводимо до нуля усиліями людскихъ сердецъ! Человѣческая природа не только мирилась съ этимъ зломъ, — она брала верхъ надъ нимъ! Я вижу, что это очень досадно г. Пыпину, но не могу понять, что непріятнаго можетъ въ этомъ найти истинно-добрый человѣкъ. О, бѣдная Россія! Твои добро-

желатели не хотятъ простить тебѣ ни единой минуты облегченія, негодуютъ на каждый свѣтлый часъ, который умѣла добывать себѣ твоя широкая душа среди тяжелой работы твоего развитія. Можно подумать, что для этихъ нѣжныхъ челоуѣколюбцевъ каждый мужикъ, который вздумаетъ запѣть и пошутить, составляетъ предметъ непритворнаго отвращенія!

Мнѣ пріятно думать, что антагонизмъ между помѣщиками и крестьянами не доходилъ до крайностей, а по мѣстамъ и вовсе не существовалъ, что онъ не выродился въ вѣковую, непримиримую, неизгладимую вражду, что крѣпостное право есть зло, не испортившее до конца внутренняго склада нашего государства, что при уничтоженіи крѣпостничества помѣщики оказались, дѣйствительно, великодушными, и крестьяне, дѣйствительно, незлопамятными, что въ силу всего этого слияніе сословій у насъ не одна мечта, а дѣло возможное и оказывающее успѣхи, — все это мнѣ пріятно думать и соображать, и для всего этого я нахожу одно изъ блистательнѣйшихъ доказательствъ въ томъ фактѣ, что благодушнѣйшій и гуманнѣйшій Карамзинъ столь легко мирился съ крѣпостнымъ правомъ. Мысль Н. Я. Данилевскаго, что это право было зломъ ничтожнымъ сравнительно съ феодальнымъ рабствомъ и что, слѣдовательно, Россія развивалась въ условіяхъ менѣе тяжелыхъ, чѣмъ Западная Европа, а потому можетъ и впередъ ждать болѣе здороваго развитія, — эта мысль мнѣ кажется и справедливою, и утѣшительною. А когда я подумаю о томъ, какъ умѣютъ иногда русскія сердца нести возложенныя на нихъ тягости, какъ легко они поднимаются *выше* временныхъ обстоятельствъ, то мысль о Карамзинѣ и его крестьянахъ не только теряетъ для меня всякую тѣнь непріятности, но даже приводитъ меня въ совершенное умиленіе.

Но что мы слышимъ? Г. Пыпинъ старается фактами доказать, что Карамзинъ былъ помѣщикъ недобрый; г. Пыпинъ такъ увѣренъ въ этомъ заранѣе, что не находитъ ни малѣйшаго затрудненія подтвердить свою мысль печатными свидѣтельствами. Посмотримъ на эту новую историческую мудрость, ниспровергающую наши заветнѣйшія убѣжденія. Г. Пыпинъ вообще касается дѣла легко и небрежно, какъ будто оно само собою разумѣется; есть однакоже у него фактъ

и притомъ единственный, который, повидимому, прямо и ясно свидѣтельствуетъ противъ Карамзина. Г. Пыпинъ утверждаетъ, что у поселянъ, подвластныхъ нашему знаменитому писателю, не могло быть *нѣжныхъ подругъ*, коихъ Карамзинъ иногда приписывалъ имъ въ своихъ сочиненіяхъ, ибо-де у Карамзина «парни женились по барскому приказанію,—хотя бывали примѣры, что противъ этихъ мѣропріятій крестьяне возставали «міромъ»—вѣроятно не безъ причины» (стр. 229).

Скажу не хвалясь: ни на одну минуту я не усумнился въ Карамзинѣ, не повѣрилъ поступку, столь противному всякой чувствительности и нѣжности. Пусть извинить меня г. Пыпинъ, но я тотчасъ, судя по свойствамъ его души, столь ясно выражающимся въ его слогѣ, предположилъ, что онъ попалъ въ жестокую безтолковщину, что онъ съ легкомысліемъ, не дѣлающимъ чести его сердцу, взвалъ на Карамзина небылицу. Я сталъ разыскивать и что же оказалось? Г. Пыпинъ, по невѣроятной сухости своей натуры, по неистовому ослѣпленію, порожденному сею сухостію, принялъ за жестокость Карамзина то, что было дѣйствіемъ нѣжнѣйшей попечительности этого добраго помѣщика. Судите сами.

Въ селѣ Макателемѣ жилъ нѣкогда молодой крестьянинъ Романъ Осиповъ. Русые кудри вились на головѣ его, и сѣрые глаза его блитали лукавствомъ и смышленностію. Онъ воспылялъ страстію къ дочери бывшаго повѣреннаго Архипа Игнатьева и собирался на ней жениться. Но крестьяне того села, озлобленные на юнаго любовника по причинамъ, о которыхъ за отдаленностію времени мы, къ сожалѣнію, ничего не знаемъ, не только не хотѣли допустить сего брака, но и вознамѣрились отдать злополучнаго Романа въ солдаты. Счастію любящихся сердецъ никогда бы не совершиться, если бы не довѣдалъ о томъ благодѣтельный помѣщикъ Макателема. И вотъ онъ пишетъ своему бурмистру Николаю Иванову и всему міру повелѣніе: «приказываю вамъ непременно женить Романа на дочери Архиповой и *не отдавать его въ рекруты*. 28 ноября 1820».

Такъ я понимаю эту исторію; такъ она несомнѣнно слѣдуетъ изъ документовъ, напечатанныхъ у Погодина: *Н. М.*

Карамзинъ по его сочиненіямъ, письмамъ и пр. Часть II, страницы 437 и 438. Приказъ Карамзина, очевидно, имѣеть въ виду благо Романа Осипова и кромѣ сей великодушной цѣли никакой иной имѣть не можетъ. Въ томъ же приказѣ за повелѣніемъ объ Романѣ Осиповѣ слѣдуетъ повелѣніе *оставить въ покое* крестьянъ Миная Иванова, Акима Ѳедорова и Ѳедора Михайлова, коихъ невѣжественные обитатели Макателема обвиняли въ портѣ, въ томъ, что они будто бы дѣлали женщинъ кликушами. «Это бабы сказки и совершенный вздоръ», пишетъ просвѣщенный Карамзинъ. Въ слѣдующемъ приказѣ любвеобильный помѣщикъ приказываетъ *не отдавать въ рекруты* Алексѣя Ефимова, который подрался съ тестемъ и откусилъ ему палецъ, и котораго бурмистръ крѣпко наказалъ, а міръ сверхъ того приговорилъ отдать въ солдаты. «Не приказываю», пишетъ Карамзинъ, «ибо онъ уже былъ наказанъ». И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Спрашивается, до какой степени должно доходить помраченіе разума и оскудѣніе сердца, чтобы безъ всякой причины истолковать въ дурную сторону одинъ изъ многихъ приказовъ, которые всѣ сплошь показываютъ, что Карамзинъ своею властію боролся съ жестокимъ міромъ села Макателема и защищалъ гонимыхъ крестьянъ отъ тяжкихъ приговоровъ мірскаго общества?

Вотъ она—новѣйшая историческая критика! Вотъ она—новая, болѣе высокая точка зрѣнія, которою похвывается г. Пыпинъ въ началѣ своей статьи! Эти новыя воззрѣнія ведутъ лишь къ тому, что прогрессивный историкъ перестаетъ понимать нѣжныя движенія сердца, прекраснѣйшія стороны человѣческой души, что онъ... умолкаетъ отъ негодованія и горести.

Приступимъ теперь къ предмету наиболѣе важному, наиболѣе щекотливому. Приверженность Карамзина къ правительственному абсолютизму истолковывается г. Пыпинымъ въ самую дурную сторону. Карамзинъ является у него писателемъ *лестнымъ*, носившимъ лишь маску гражданской доблести, а въ тайнѣ благопріятствовавшимъ вождѣлннѣямъ самовласти. Скажемъ опять—какое непониманіе чистыхъ инстинктовъ души человѣческой! Скажемъ опять—привер-

женность къ извѣстному началу такой души, такого сердца, какія были у Карамзина, свидѣтельствуется только въ пользу этого начала. Исторія должна записать на своихъ вѣковѣчныхъ скрижаляхъ: правительственный абсолютизмъ не былъ зломъ для Россіи, не заключалъ въ себѣ ничего неблагороднаго, ибо Карамзинъ жилъ при этомъ абсолютизмѣ, Карамзинъ признавалъ его за благо. Россія, которая произвела Карамзина, дала тѣмъ самымъ непрерываемое свидѣтельство, что въ ней были всѣ условія для существованія чистѣйшей гражданской доблести. Отношенія между Карамзинымъ и Александромъ I—суть типическія отношенія, въ которыхъ могутъ и въ которыхъ всегда должны стоять русскій царь и русскій подданный.

Дѣло здѣсь столь громкое, столь рѣшительное, столь краснорѣчивое, что самъ г. Пыпинъ остановился въ нѣкоторомъ минутномъ недоумѣніи надъ рѣчами и дѣйствіями Карамзина. По своимъ понятіямъ (превратно, но упорно заключаетъ г. Пыпинъ) Карамзинъ не могъ имѣть гражданской доблести; но злорадный критикъ вынужденъ тотчасъ признать, что Карамзинъ словомъ и дѣломъ противорѣчилъ этимъ своимъ мнимымъ понятіямъ, то есть имѣлъ гражданскую доблесть! А мы прибавимъ, что противорѣчіе существуетъ только въ понятіяхъ самого г. Пыпина!

«Въ «Запискѣ о древней и новой Россіи», рассказываетъ г. Пыпинъ, не разъ Карамзинъ обращался къ императору Александру со словами: «требуемъ», «хотимъ». Но что же дало вамъ право «требовать» чего-нибудь?—можно было бы спросить его. *Эта претензія* есть еще одно изъ тѣхъ противорѣчій, которыхъ мы уже не мало видѣли въ «Запискѣ»: по его же собственной теоріи добрымъ «россиянамъ» надо было только повиноваться» (стр. 245).

Претензія! Какое презрительное слово! Такъ называется г. Пыпинъ то, что Карамзинъ считалъ своимъ святымъ правомъ и долгомъ, что онъ исполнялъ столь просто и столь твердо. Понятія Карамзина имѣли высоту, до которой не могутъ подняться многіе ослѣпленные взоры. Лицомъ къ лицу Карамзинъ такъ говорилъ Императору Александру: «Мы всѣ

равны передъ Богомъ; есть свобода, которой не можетъ отнять у меня никакой тиранъ» *). Вотъ тайна русскаго самодержавія, въ силу которой его незыблемо хранить народъ, которую одинаково чувствуютъ и самодержцы и подданные. Власть принадлежитъ царю, но честь и совѣсть, но мысль и нравственный судъ не составляютъ предметовъ для власти и суть блага, на которыя русскіе граждане никому и никогда не уступали правъ сознательно. Случалось конечно, что государи ошибались въ значеніи своей силы; случалось также, что и подданные искажали понятія о своихъ отношеніяхъ къ власти; но истинный смыслъ союза между царемъ и народомъ иногда обнаруживался во всей своей чистотѣ, и Карамзинъ принадлежитъ къ числу блистательнѣйшихъ примѣровъ этого обнаруженія. Если бы это былъ даже примѣръ единственный, то и тогда онъ остался бы вѣчнымъ свидѣтельствомъ для грядущихъ вѣковъ и народовъ о чистотѣ и высотѣ идеи, стремившейся воплотиться въ русскихъ государственныхъ формахъ. Не знаемъ, что будетъ, но то, что было, внушаетъ русскому сердцу не одну горестъ, а нерѣдко и гордость радостную и справедливую!

Что скажемъ въ заключеніе? Заговоримъ ли объ «Исторіи Государства Россійскаго»? Но величіе предмета изумляетъ меня и внушаетъ мнѣ дерзость безмолвія. Уже ли и это дѣло, эта пирамида, воздвигнутая египетскимъ трудомъ несравненнаго таланта, нуждается въ какой-либо защитѣ? Уже ли нельзя отвѣчать однимъ презрѣніемъ на всѣ выходки, нельзя просто сказать, что ничто такъ разительно не обнаруживаетъ скудости умственной и сердечной, какъ сомнѣніе въ пользѣ и величій «Исторіи Государства Россійскаго»?

Безсмертное, непостижимое дѣло! Нужна была геніальная прозорливость, чтобы угадать важность и силу государственнаго характера нашей исторіи; нуженъ былъ умъ безконечно ясный и чуткій, чтобы понять, что точка зрѣнія нравственная и художественная, т. е. *откровенная* точка зрѣнія одна могла быть твердою опорою для созданія нашей

*) Неизд. соч. Ч. I, стр. 9.

исторіи, что всякая иная точка зрѣнія неминуемо увлекла бы историка во взгляды ложные и поверхностные. Но что я говорю? Столь высокихъ даровъ не нужно было, или правильнѣе—нужно было сверхъ этихъ даровъ нѣчто большее,—нужна была простота и чистота младенца, посрамляющая, какъ мы знаемъ, мудрость мудрыхъ и разумъ разумныхъ!

Что было бы съ нами, если бы нашу исторію до сихъ поръ писали только наши мудрецы, мудрецы нынѣшніе или мудрецы тогдашняго времени? Не могу помыслить безъ ужаса. Что было бы, если бы русскую исторію написалъ Сперанскій, который думалъ, какъ о томъ упоминаетъ г. Пыпинъ, что на наше прошедшее можно взглянуть *совѣсть иначе* (стр. 172)? Сперанскій не изъяснилъ своей мысли подробнѣе, но мы можемъ хорошо ее угадывать. Отъ Сперанскаго до г. Пыпина не мало было людей, которые смотрѣли на русскую исторію *совѣсть иначе* и пытались *совѣсть иначе* писать ее. Мы знаемъ, какимъ отвратительнымъ слогомъ эти люди писали и пишутъ; для насъ не тайна, отчего у нихъ дѣйствительно все выходило *совѣсть иначе*, чѣмъ у Карамзина, а правильнѣе сказать—до сихъ поръ ровно ничего не выходитъ.

Когда я помыслию обо всемъ этомъ и все это соображу, то не знаю, дать ли мнѣ свободный токъ слезамъ умиленія и восторга, или же предаться пламенному негодованію на наше забывчивое и вѣтреное племя. Можно ли представить себѣ подвигъ прекраснѣе подвига Карамзина? Если мы пишемъ теперь сколько-нибудь почеловѣчески, то обязаны этимъ Карамзину; если имѣемъ исторію, то обязаны этимъ Карамзину; если еще жива въ насъ вѣра въ землю русскую, то въ какой значительной, въ какой огромной мѣрѣ мы обязаны этимъ Карамзину! О, тайна славянскихъ народовъ — кто тебя постигнетъ? Какимъ образомъ въ славянскомъ духѣ—алая ѣдкость и твердая сила сочетаются съ голубиною нѣжностію? Какимъ образомъ наша исторія, эта, повидимому, мрачная и страшная исторія была всего лучше постигнута человѣкомъ, сердца безпредѣльно мягкаго и чистаго, души славянски-кроткой? Какимъ образомъ среди столькихъ жизненныхъ противорѣчій—этотъ чудесный человѣкъ могъ стать образцомъ своего народа, совершить дѣла великія, незабвенныя?

Онъ самъ иногда задумывался, дивился самому себѣ. Найти прямой путь было столь же трудно, говорить онъ, какъ найти философскій камень; но его несравненное сердце указало ему этотъ путь безошибочно! *)

Тынь любезнѣйшая! Съ благоговѣніемъ преклоняюсь предъ тобою. Говоря о тебѣ, я во всемъ слѣдовалъ тебѣ, великій учитель. Я судилъ Карамзина такъ, какъ его слѣдуетъ судить—по началамъ Карамзинскимъ! Всегда и во всемъ онъ былъ вѣренъ самому себѣ—какая прекрасная похвала для души столь прекрасной!

И неужели ты будешь забыть? Сердце сжимается при мысли столь горестной и однакоже столь вѣроятной. Вижу, какъ со всѣхъ сторонъ на тебя поднимаются Пыпины безчисленные. Сѣдовласые старцы и юные студенты одинаково встаютъ на тебя—и душа моя содрогается.

Но—прочь малодушіе! Никогда не повѣрю я, чтобы могла совершиться столь великая несправедливость, чтобы мірозданіе имѣло шаткость столь неразумную и нелѣпую, чтобы Россія, произведшая Карамзина, могла потомъ отступитъ до непониманія и забвенія его. Нѣтъ, все это шутки, вздоръ, дымъ. Дунетъ могучій вѣтеръ и унесетъ всю эту шелуху съ лица земли русской. Не тебѣ, о мой великій учитель, но врагамъ твоимъ предстоитъ участь плачевная и жалкая. Ибо для людей, желающихъ быть умными, что можетъ быть плачевнѣе доказательства, что они не умѣютъ понимать великаго? Для людей, желающихъ быть славными, что можетъ быть позорнѣе того, что они хулятъ вещи, достойныя похвалъ и восторговъ?

Участь г. Пыпина уже давно меня трогаетъ. Давно уже я слѣжу за нимъ, такъ какъ онъ съ чрезвычайнымъ усердіемъ и большою ученостію занимается литературой и ея исторіей—предметами отъ юности для меня любезными. Странная и поистинѣ горькая судьба! За какой бы предметъ ни ваялся г. Пыпинъ, какую бы книжку, самую рѣдкую и многозначительную, даже наистрожайше запрещенную, онъ ни сталъ раз-

*) „La religion de mon coeur m'a fait presque trouver la pierre philosophale“. Изъ письма къ женѣ. См. Нешад. соч. Ч. I, стр. 166.

смазывать (желая сдѣлать изъ нея журнальную статью), всегда повторяется одна и та же исторія. Всегда сущность дѣла, истинный интересъ и главный смыслъ книжки ускользаютъ изъ рукъ, проходятъ сквозь пальцы г. Пыпина и оставляютъ ему одну пустую шелуху, соръ и грязь историческихъ случайностей, пыль и паутину вѣковъ. Съ презрѣніемъ отряхаетъ г. Пыпинъ эту дрянь со своихъ либеральныхъ пальцевъ и хватается за новый предметъ, за новую книжку; но увы! съ ними повторяется то же, что было съ прежними. Вотъ уже многіе годы продолжается эта работа; весь въ пыли и грязи сидитъ г. Пыпинъ и все еще не отчаявается, все еще думаетъ, что дѣло дѣлаетъ. И будетъ онъ такъ думать и дѣйствовать до конца дней своихъ..... Обругать Карамзина! Какая слава! Какая судьба! Какая участь! Поистинѣ могу сказать, что не завидую этому жребію!

Вотъ и теперь—живо представляю я себѣ впечатлѣніе, которое должно произвести мое настоящее письмо на г. Пыпина. Онъ, конечно, не обратитъ ни малѣйшаго вниманія на мои разсужденія и останется глухъ къ ихъ смыслу. Я почувствую, что онъ, его редакторъ и всѣ сотрудники «Вѣстника Европы» будутъ думать прежде всего объ одномъ—нѣтъ ли въ письмѣ моемъ *доноса*? Нельзя ли такъ истолковать какую-нибудь фразу, чтобы вышелъ доносъ? Это они сдѣлаютъ не потому, чтобы они боялись доносовъ, а потому, что для ихъ гуманнаго сердца всегда чрезвычайно пріятно обозвать своего противника доносчикомъ. Итакъ, досадуйте же и злобствуйте, мои любезные противники! Доносовъ у меня не найдете, да и вообще замѣчу, что вамъ нечего плакаться на судьбу, нечего предаваться этому занятію, слаще котораго для васъ ничего нѣтъ на свѣтѣ. Съ вашей точки зрѣнія вы должны быть довольны, должны гордиться и радоваться.

Ну, что значить мое письмо? Г. Пыпинъ можетъ считать его за шутку отъ первой строчки до послѣдней. Мы всѣ шутимъ, у насъ все шутки! Статьи г. Пыпина на мой взглядъ тоже чистѣйшія шутки. Даже цѣлый «Вѣстникъ Европы» есть не что иное, какъ огромная шутка, ежегодно издаваемая въ двѣнадцати толстыхъ томахъ,—шутка надъ русскою литера-

турою, надъ русскою исторіею, надъ памятью Карамзина, имени котораго посвященъ сей журналъ. Мы рѣзвимся и играемъ—кто какъ умѣетъ, кто во что гораздъ, кто въ европейскую цивилизацію, кто въ русскую народность! А жизнь и исторія между тѣмъ идутъ своимъ чередомъ, и ни цивилизація, ни народность насъ знать не хотятъ.

Ну, что выйдетъ изъ моего письма? Статью г. Пыпина будутъ защищать и превозносить безъ мѣры; г. Буренинъ похвалитъ ее въ «Спб. Вѣдомостяхъ», г. Тургеневъ съ удовольствіемъ прочитаетъ ее въ Баденъ-Баденѣ. Я же буду осыпанъ насмѣшками и бранью; даже «Сынъ Отечества», и тотъ меня навѣрное обругаетъ. Пусть же г. Пыпинъ сочтетъ своихъ необозримыхъ читателей и поклонниковъ и пусть не предается унынію; пусть онъ сравнитъ свою блестящую судьбу съ моею жалкою участью, и пусть перестанетъ испускать жалобы, коихъ я не могу слышать равнодушно!

Одинокій, печальный, всѣми журналами гонимый, никѣмъ не понятый, возьму я свой зонтикъ, пойду въ Александро-Невскую Лавру, сяду на могильную плиту Карамзина и буду вздыхать и плакать. Вы, мрачныя души, вы не можете уразумѣть меня! Но въ моихъ вздохахъ будетъ для меня отрада и въ моихъ слезахъ счастье, о которомъ ничего не вѣдаетъ г. Пыпинъ.

Простите, милостивый государь, если волненіе моихъ чувствъ и обиліе моихъ мыслей не позволило мнѣ соблюсти въ этомъ письмѣ совершенно строгій порядокъ и дать каждому выраженію надлежащую силу. Я не имѣлъ времени съ достаточной тщательностію обдумать и взвѣсить свои слова и, можетъ быть, погрѣшилъ гдѣ-либо противъ здраваго вкуса и изящнаго слога. Но пусть сіе слабое твореніе будетъ несовершеннѣйшимъ изъ моихъ произведеній; могу васъ увѣрить, что зато въ цѣлой нынѣшней литературѣ вы не найдете произведенія болѣе искренняго, болѣе прямо вылившагося изъ души.

7 окт. 1870 г.

2. Новый вздохъ на гробѣ Карамзина.

(Письмо въ редакцію «Зари») *).

Тяжкіе вздохи колеблѹтъ грудь мою. Но позвольте, милостивый государь! Прежде всего я долженъ сказать вамъ, что никто не вѣритъ моимъ вздохамъ и слезамъ, что всѣ ихъ считаютъ за шутку, за фразу, за бездушное притворство. Напрасно изливаль я передъ вами нѣжнѣйшія чувства моей души, напрасно предавался восторгу и умеленной растроганности. Никто не думаетъ, что я, дѣйствительно, способенъ вздыхать и плакать; даже напротивъ: меня упорно подозрѣваютъ въ расположеніи хохотать, въ злорадствѣ и насмѣшливости.

Жестокіе люди!... Мое прошлое письмо, гдѣ такъ пылко излились мои чувства, гдѣ такъ ясно выразились мои мысли, — это письмо было встрѣчено недоумѣніемъ, изумленіемъ, невѣріемъ. «Скажите, пожалуйста», говорилъ мнѣ одинъ ученый мужъ, «что вы хотѣли сказать вашею статьею? Какая была ваша цѣль?» И при этомъ онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза съ такимъ любопытствомъ, какъ-будто я вдругъ заговорилъ по китайски, или какъ-будто мой «Вздохъ» былъ напечатанъ у васъ гвоздеобразными письменами.

Я онѣмѣлъ отъ изумленія. Какъ? Въ моемъ письмѣ, я полагалъ, слышится Карамзинъ: я указалъ на его натуру, на его вѣкъ, на его развитіе, на складъ его мысли и рѣчи, на связь и смыслъ его убѣжденій; я отгнѣнилъ эту картину всѣми живыми тѣнями, его наивностію, сентиментальностію, высокопарностію, дѣтскимъ простодушіемъ, даже извѣстнаго рода ограниченностію и невѣжествомъ; словомъ, въ моемъ личномъ очеркѣ, мнѣ казалось, выступаютъ со всею чистотою и выпуклостію незабвенныя, плѣнительныя черты одного изъ лучшихъ людей, какіе только бываютъ на свѣтѣ. И что же? Они меня спрашиваютъ: зачѣмъ это писано? съ какою цѣлью? Великій

*) Статья эта не могла быть въ „Зарѣ“ уже напечатана, такъ какъ вторымъ номеромъ 1872 г. прекратилось изданіе журнала; потому, вѣроятно, статья и не закончена. *Изд.*

Боже! До чего мы дожили! Карамзинымъ, какъ видно, не стоитъ заниматься! Писать о немъ и думать — потерянное время!

Но другой вопрошатель удивилъ меня еще болѣе. Старикъ, знаменитый своимъ умомъ и несмѣтными познаніями, онъ потихоньку обратился ко мнѣ съ такимъ вопросомъ: «Скажите, пожалуйста, какъ слѣдуетъ понимать вашу статью? Дѣйствительно ли вы думаете то, что вы сказали, или же все это нужно понимать въ смыслѣ прямо противоположномъ?»

— Но помиловать, громко воскликнулъ я, вы судите, какъ Буренинъ!

«Да», тихо отвѣтилъ онъ мнѣ, — «я случайно, увѣряю васъ совершенно случайно (я получаю «Спб. Вѣдомости», но никогда ихъ не читаю), прочиталъ этотъ фельетонъ... Когда я получилъ «Зарю», то, разумѣется, тотчасъ принялся за вашу статью; я понялъ ее въ прямомъ смыслѣ и былъ очень доволенъ. Но потомъ попадаетъ мнѣ этотъ фельетонъ; вижу, что рѣчь идетъ объ васъ, знаю, что васъ будутъ ругать и хочу уже бросить газету. Однакоже нѣсколько прочитанныхъ строкъ заинтересовали меня. Читаю, не могу оторваться... и вдругъ мною овладѣло сомнѣніе... А что, подумалъ я, какъ мы всѣ ошиблись, и Косица *), дѣйствительно, хотѣлъ осмѣять Карамзина?»

— Ха, ха, ха! Въ отвѣтъ на тихій рассказъ ученаго старика я разхохотался столь громкимъ и неудержимымъ образомъ, что до сихъ-поръ краснѣю при одномъ воспоминаніи объ этомъ неприличномъ хохотѣ.

И таковы они всѣ, милостивый государь! Припомните ясность моихъ выраженій, опредѣленность и простоту моихъ принциповъ, теченіе рѣчи строгое, но плавное и непринужденное... Каразинъ, не Карамзинъ, а его современникъ Каразинъ говорить въ одномъ мѣстѣ: «Непринужденное теченіе мыслей можетъ дать только чистая совѣсть». **) Итакъ, припомните чистоту совѣсти и искренность воодушевленія, отражающуюся въ моемъ письмѣ, и подивитесь времени, когда

*) Статья была подписана этимъ псевдонимомъ. Изд.

**) «Русская Старина». 1870, № 12, стр. 555.

мы живемъ, пожалѣйте о томъ невообразимомъ хаосѣ и помраченіи понятій, когда самыя ясныя и простыя вещи возбуждаютъ недоразумѣнія столь сложныя и почти неисходныя. Гдѣ же у нихъ сердце, или они не умѣютъ отличать искренность рѣчи отъ насмѣшки? Гдѣ у нихъ убѣжденія, гдѣ правила для различенія добра отъ зла, если въ такой яркой картинѣ они не могутъ разобрать, какая черта хорошая, какая дурная! Бѣдный Карамзинъ! Чудесный, свѣтлый человѣкъ! Мы дошли до того, что никакъ не умѣемъ рѣшить, стоишь ли ты похвалъ, или же ты былъ подлецъ и дуракъ, достойный лишь позора и посмѣянія!

Фельетонъ Буренинскій составляетъ новое и едва-ли не разительнѣйшее доказательство плачевнаго состоянія нашего вѣка. Г. Буренинъ... О, не ждите того, о чемъ вы думаете, милостивый государь! Сколь ни многочисленны относящіяся ко мнѣ насмѣшки и обидные отзывы этого писателя, я чуждъ, повѣрьте мнѣ, малѣйшихъ побужденій низкой мести. Я получилъ урокъ, тяжкій урокъ отъ одного изъ моихъ школьныхъ товарищей. «Любезный Косица!» сказалъ онъ мнѣ. «Твой *Вздохъ*—твореніе милое; имѣешь всѣ права причислить себя къ школѣ Карамзинской. Одно замѣчу: никогда Карамзинъ не позволилъ бы себѣ и сотой доли того немилосердія, съ которымъ ты обходишься съ твоими литературными противниками».

При сихъ словахъ какъ-бы нѣкоторая завѣса упала съ глазъ моихъ. Я вспомнилъ несравненное благодушіе Карамзина, вспомнилъ, что ни единой строки, похожей на полемику, не вышло изъ-подъ его пера, что любимымъ правиломъ его было знаменитое изрѣченіе: «гдѣ нѣтъ предмета для хвалы, тамъ скажемъ все молчаніемъ». Живо представилась мнѣ эта величавая доброта, стоящая выше всякаго оскорбленія, недоступная никакому желанію произнести слово осужденія и укоризны. Напрасно я для своего оправданія припоминалъ Теофилакта Косичкина, Хомякова, Гоголя... Образъ Карамзина сіялъ предо мною въ красотѣ невыразимой, и я, готовый залиться слезами, обѣщалъ моему другу приложить всѣ мѣры къ своему исправленію, подавлять въ себѣ эти волненія гнѣва, эти порывы насмѣшливости, которые невольно

проглядываютъ въ моихъ писаніяхъ... Карамзинское благодушіе, Карамзинская кротость будутъ отнынѣ моимъ неизмѣннымъ правиломъ.

Возьмемъ же г. Буренина. Онъ отзывается обо мнѣ рѣзко и неуважительно. Онъ пишетъ, что и прежде, въ болѣе молодые годы, я будто-бы «не отличался большимъ умомъ и замѣнялъ его чувствительностію»; что теперь, въ настоящую минуту, я «утратилъ умъ совершенно»; что поэтому въ своемъ «Вадохѣ» я «расточаю *идіотичныя* аргументы», и т. д. («Спб. Вѣд.» 1870, № 314). Что отвѣчать на это? Уже ли и мнѣ пуститься въ увѣренія, что г. Буренинъ глупецъ? Никогда я этого не сдѣлаю, и притомъ замѣтьте, милостивый государь, не по напускному благодушію, не изъ одного внѣшняго подражанія Карамзину, а въ силу того, что я, дѣйствительно, чуждъ всякаго желанія лукавить и браниться. По совѣсти, я не считаю г. Буренина глупцомъ и прошу васъ не удивляться этому и не подозрѣвать меня ни въ какомъ коварствѣ. Свидѣтель Богъ! я вовсе не считаю глупыми людьми ни г. Буренина, ни г. Авдѣева, ни г. Салтыкова, ни иныхъ, какихъ-либо свѣтилъ нашей словесности, о которыхъ мнѣ случилось отзываться въ своихъ письмахъ. Если какой-нибудь читатель подумалъ, что я приписываю имъ глупость, то спѣшу торжественно увѣрить его, что онъ ошибся, и что у меня вовсе не было столь жестокой мысли. Нѣтъ, я вовсе не такого мнѣнія.

Умъ, по опредѣленію нѣкоторыхъ философовъ, состоитъ въ томъ, чтобы ясно видѣть свои дѣла и избирать для ихъ достиженія самыя пригодныя средства. Если такъ, то несомнѣнно, что, напримѣръ, г. Буренинъ очень уменъ; онъ никогда не упускаетъ изъ виду своихъ ролей и, мнѣ кажется, ни одной строчки не пишетъ безъ задняго намѣренія. Для меня этотъ умъ особенно поразителенъ, и я готовъ себя назвать совершеннымъ глупцомъ, когда созерцаю дѣятельность такого рода. Смирненно долженъ я признаться, что не только не умѣю заботиться о своихъ цѣляхъ, но и цѣлей-то, кажется, у меня никакихъ нѣтъ. Не цѣли меня занимаютъ, а мысли, чувства и слова, то есть то, что не имѣетъ въ себѣ никакой реальности, никакой существенности. Я люблю, милостивый государь, преимущественно хорошій слогъ, логику и добродѣ-

тель, и притомъ люблю ихъ ради ихъ самихъ, безъ всякихъ расчетовъ, безъ всякихъ дальнѣйшихъ соображеній.

Какая разница съ г. Буренинымъ! Онъ ничего не скажетъ просто и откровенно, какъ я всегда говорю; онъ смотритъ на слова, мысли и чувства, какъ на орудія, имѣющія цѣну лишь по результатамъ, которые они приносятъ. Когда же другія орудія окажутся лучше и надежнѣе, онъ тотчасъ бросаетъ логику, пренебрегаетъ слогъ, откидываетъ, какъ помѣху, добродѣтельныя чувства и дѣйствуетъ уже, не стѣсняясь ими. Какая ловкость и вѣрность расчета! Два главныхъ средства у г. Буренина: искаженіе и умолчаніе. При помощи этихъ средствъ онъ можетъ выйти сухимъ изъ воды и устоять противъ какого угодно противника, чего конечно не могъ бы сдѣлать при помощи своей логики, своего слога и своей добродѣтели.

Это ли не умъ? Въ томъ фельетонѣ, о которомъ мы говорили, мой «Вдохъ» подвергнуть г. Буренинымъ искаженіямъ чрезвычайно искуснымъ, какъ и вообще искусны всѣ искаженія, которыя постоянно дѣлаетъ г. Буренинъ, когда говоритъ о писателяхъ враждебнаго лагеря. Мастерство неподражаемое! Выхватить, оборвать фразу, поставить рядомъ то, что у автора стоитъ въ разныхъ мѣстахъ, выпустить запятую, замѣнить, какъ-бы по ошибкѣ, одно слово другимъ къ нему близкимъ, измѣнить какую-нибудь мелкую частицу, на примѣръ вмѣсто *но* поставить *и*,—вотъ легкія, незамѣтныя для публики средства, которыми г. Буренинъ пользуется уже многіе годы съ непрерывнымъ и возрастающимъ успѣхомъ. Помощію этихъ мелочей словамъ враждебнаго автора придается совершенно иной, часто дикій, смѣшной смыслъ, и публика чувствуетъ къ нему вражду и презрѣніе, и ретроградныя мнѣнія падаютъ, и чистѣйшій либерализмъ распространяется!

Не еще восхитительнѣе та метода умолчаній, которую постоянно употребляетъ г. Буренинъ. Будучи поставленъ въ жестокую необходимость еженедѣльно говорить публикѣ о мысляхъ и чувствахъ другихъ писателей, слѣдовательно, распространять въ публикѣ эти мысли и выставлать противъ нихъ свои собственныя мысли и чувства, г. Буренинъ употребилъ всѣ силы, чтобы по возможности избѣгать столь

непріятной и опасной обязанности и потому въ теченіе своей литературной карьеры чрезвычайно изощрился въ искусствѣ умолчанія. Выругать и однакоже не сказать за что, писать такъ, чтобы публика и недогадывалась, что и какъ говорить противникъ,—вотъ высшее мастерство г. Буренина.

Въ этомъ отношеніи никто, кажется, не имѣетъ права столько торжествовать, какъ я. Ни чьихъ мыслей г. Буренинъ не скрываетъ отъ публики такъ тщательно, какъ мои, ни чьихъ мнѣній не боится въ такой степени выставлять на показъ. Вы видѣли, милостивый государь, что аргументы моего «Вздоха» онъ называетъ *идіотичными* и увѣряетъ, что я ихъ *расточаю* (то есть, что ихъ очень много, какъ это и справедливо). Но если такъ, то что же можетъ быть благополучіе для фельетониста? Выставляй читателямъ на показъ эти идіотичные аргументы, смѣйся и торжествуй! Не тутъ-то было! Г. Буренинъ не рѣшился привести ни одного, буквально ни одного моего аргумента; онъ обругалъ ихъ «идіотичными», онъ сказалъ, что они свидѣтельствуютъ о *совершенной* потерѣ ума, но разбирать ихъ онъ такъ же боялся, какъ дотронуться до каленаго желѣза. Изъ моего длиннаго письма онъ выхватилъ двѣ-три коротенькія и самыя общія фразы, да и тѣ принужденъ былъ переставить и исказить, весьма старательно вычеркнулъ въ одной изъ нихъ *но* и поставилъ *и*, и т. д.

Идіотичные аргументы! Но изъ такого осторожнаго обхожденія съ ними скорѣе можно заключить, что это чудесные аргументы, блестящіе, разительные, несокрушимые. Г. Буренинъ, очевидно, находилъ, что, вздумай онъ опровергать эти аргументы, онъ непремѣнно попадетъ въ нелѣпость, покажетъ свое непониманіе высокихъ мыслей и добродѣтельныхъ чувствованій.... Но чѣмъ сильнѣе ихъ боялся г. Буренинъ, тѣмъ сильнѣе онъ ихъ выругалъ, тѣмъ больше показавъ относительно ихъ храбрости и развязности. Это-ли не умъ? Это-ли не умѣнье достигать своихъ цѣлей?

«Но что же вы дѣлаете!» скажете Вы мнѣ. «Такъ-то вы слѣдуете Карамзину? Вы выставляете г. Буренина недобросовѣстнымъ литераторомъ, который, пользуясь извѣстною добротою и излишнимъ довѣріемъ г. Корша, вотъ уже мно-

гіе годы фальшивить въ его газетѣ, искажаетъ, прибавляетъ, умалчиваетъ, даетъ дѣламъ превратный видъ.... Вы хвалите ловкость г. Буренина, но въ ущербъ его честности; вы восклицаетесь его умомъ, но на счетъ его сердца!»

О, милостивый государь! прошу Васъ удержаться отъ подобныхъ мыслей. Я вовсе не желаю обвинить г. Буренина въ предумышленной и послѣдовательной недобросовѣстности. Призываю небеса въ свидѣтели, что вообще писателей, о коихъ мнѣ случается говорить, я не считаю умышленными эксплуататорами публики, сознательными лгунами, расчетливыми пускателями пыли и тумана, прямыми измѣнниками истины и правоты. Никого! Ни г. Салтыкова, ни г. Авдѣева, ни даже г. Буренина. Мой взглядъ гораздо мягче и даже совершенно снисходителенъ. Всѣ они, и эти и другіе, повѣрьте, дѣйствуютъ гораздо искреннѣе и прямодушнѣе, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Для ясности возьмемъ г. Буренина. Для меня не можетъ быть сомнѣнія, что умъ его отъ самой природы наклоненъ къ нѣкоторому извращенію вещей и понятій. Иначе, повѣрьте, и быть не можетъ. Сообразите только эти безчисленныя фальши, эти непрерывныя и многолѣтнія обезображенія всякихъ чужихъ мыслей и словъ, и подумайте, возможно-ли это дѣлать нарочно, умышленно, сознательно? Нѣтъ, я не вѣрю въ такую испорченность человѣческой природы; ради чести г. Буренина я не думаю даже, чтобы онъ обладалъ такою силою воли, такою страшною способностію насиловать самого себя. Заставьте человѣка правдиваго лгать, человѣка ясно понимающаго вещи — путать и напускать туманъ, человѣка откровеннаго и прямодушнаго — притворяться, и вы увидите, какъ трудно и почти невозможно это сдѣлать. Цѣлые годы идти противъ внушеній своей природы — да, вѣдь, это героизмъ, вѣдь, это мука и каторга. Повѣрьте, милостивый государь, что дѣла легче дѣлаются на свѣтѣ. Ложь, глупость, ябеда, всякаго рода фальшь и обманъ зарождаются просто и естественно, безъ усилій и дальнихъ расчетовъ. Случалось ли вамъ слышать хорошаго лгуна? Для него ложь не только не трудъ, а пріятнѣйшее дѣло, наслажденіе, поэзія; ложью онъ живетъ и только когда лжетъ, чувствуетъ себя въ своей стихіи.

Вотъ та точка зрѣнія, съ которой я смотрю на г. Буренина. Для меня ясно, что онъ производитъ свои искаженія и умолчанія съ любовью, со вкусомъ, слѣдуя внутреннѣйшему влеченію своей природы; слѣдовательно, онъ дѣйствуетъ не безъ прямодушія, не безъ искренности. Одаренный большими способностями къ искаженію, онъ увлекается ими, и я увѣренъ, онъ никогда самъ хорошенько не можетъ сказать, на сколько онъ сфальшивилъ и на сколько остался вѣренъ правдѣ.

Итакъ, вполне извиняю г. Буренина и остаюсь при прежнихъ своихъ похвалахъ его уму. Не будемъ строги и нетерпимы; будемъ отдавать каждому должное. Зачѣмъ осуждать того, кто лишь достоинъ сожалѣнія? Зачѣмъ обвинять человѣка въ томъ, въ чемъ виновата его школа, цѣлое литературное направленіе? Г. Буренинъ есть одинъ изъ блистательныхъ учениковъ нашего литературнаго либерализма; не онъ выдумалъ тѣ *полемическіе приемы*, которые употребляетъ съ такою смѣлостію и ловкостію. Ему вся честь за эту смѣлость и ловкость; весь же позоръ и все негодованіе да падутъ на его школу!

Люди не знаютъ сами, что они дѣлаютъ: вотъ мое любимое правило. Они не могутъ взглянуть на свои дѣла съ чистой точки зрѣнія разума и совѣсти, и вотъ почему они дѣлаютъ эти дѣла, вотъ въ чемъ ихъ главное оправданіе. Поэтому литературная школа, которая своимъ авторитетомъ потворствуетъ всякимъ дурнымъ поползновеніямъ человѣческой природы, есть великій соблазнъ. Я нахожу, что господствующіе у насъ литературные взгляды даютъ полную свободу проявленію самыхъ презрѣнныхъ страстей, и часто меня ужасаетъ не лукавство и притворство писателей, а напротивъ, та отвратительная искренность, съ которою они выставляютъ на показъ свою натуру. Повторяю — не столько они виноваты, какъ виновато печальное состояніе нашего вѣка.

Въ наше время писатели потеряли то нравственное чутье, безъ котораго писатель обращается въ пустого или даже вреднаго дѣятеля. Писаніе считается нынѣ дѣломъ обыкновеннымъ и притомъ чрезвычайно похвальнымъ, какъ будто есть что-нибудь хорошее въ публичномъ выраженіи

своей глупости или нравственнаго растлѣнія! Писатель лишенный ума—умничаешь, писатель неимѣющій вкуса—судить, писатель съ сердцемъ тупымъ и прокаженнымъ—нелѣпо благородствуетъ и превратно толкуетъ о высокой честности. Скажите, можетъ ли быть зрѣлище болѣе печальное для человѣка проницательнаго?

Мы позабыли великіе уроки, которые представляетъ намъ исторія русской словесности. Когда безсмертный напѣ Гоголь явился со своимъ безпощаднымъ смѣхомъ и залилась хохотомъ вся Россія, вспомните, что онъ не удовлетворился этимъ впечатлѣніемъ; онъ считъ нужнымъ припести нѣкоторое оправданіе своей дѣятельности и сказалъ, что за виднымъ міру смѣхомъ онъ проливаетъ *незримыя, невѣдомыя міру слезы*. Слово это много значитъ, и конечно это было искреннее слово, сказанное по глубокой сердечной потребности.

Попробуйте же приложить мѣрку, данную этимъ словомъ къ нашимъ современнымъ сатирикамъ и обличителямъ. Предомноу лежитъ книга, наводящая меня въ этомъ отношеніи на самыя горестныя размышленія: это—*Исторія одного города* г. Салтыкова. Ели судить по количеству того смѣха, которое г. Салтыковъ если не возбуждаетъ въ другихъ, то во всякомъ случаѣ испускаетъ изъ себя, то онъ далеко превосходитъ Гоголя смѣшливостію и, слѣдовательно, долженъ превосходить и обиліемъ, если не качествомъ, слезъ. Какъ должна болѣть душа у этого человѣка! Онъ долженъ надорваться отъ рыданій, изойти вздохами, утонуть въ своихъ собственныхъ слезахъ. Но справедлива-ли эта гипотеза, милостивый государь? Есть ли возможность найти малѣйшій признакъ горести въ этомъ нагломъ, самодовольномъ смѣхѣ? Слышна ли малѣйшая нота любви въ этомъ безпардонномъ балагурствѣ, доходящемъ до нѣкоторой ярости замиранья, до бреда, до бессмыслицы? Не ясно ли каждому проницательному человѣку, что здѣсь смѣхъ совершается ради единого смѣха, что авторъ съ жадностію бросается на всякую мерзость и всякое безобразіе, что онъ ихъ смакуетъ, разжевываетъ и развиваетъ, что его мысли вращаются преимущественно около... словомъ, что предметы писанія избираются

имѣ, по ихъ сродству своею душою, а вовсе не по контрасту?

Смѣхъ—вещь таинственная; онъ можетъ имѣть разное значеніе и разное происхожденіе; онъ можетъ исходить изъ души нѣжной и высокой, и тогда весь проникнуть игромъ ослѣпительнаго идеала; онъ можетъ быть порождаетъ злородствомъ и душевную низость, и тогда въ немъ отзывается холодъ, завистливость, жадность къ соблазну.

Вотъ почему не мало дивлюсь я иногда тому легкомыслию, съ которымъ люди рѣшаются писать, рѣшаются публично обнаруживать свои мысли и желанія, свой смѣхъ и свои слезы. Кто ихъ проситъ выставять на позоръ свои недостатки? Смысль «Исторіи одного города» очень ясенъ: это, очевидно, пародія на нѣкоторые черты и періоды русской исторіи. Спрашивается: какъ могъ г. Салтыковъ рѣшиться взяться за предметъ этого рода? Не ясно ли, что онъ былъ увлеченъ дурнымъ примѣромъ, что его сатира есть несомнѣнное порожденіе школы Семевскихъ и иныхъ, надъ коими онъ самъ столь злобно издѣвается?

Я отнюдь ничего не имѣю противъ насмѣшекъ и пародій на какой угодно предметъ, даже на русскую исторію. Я думаю только, что этотъ родъ словесности города болѣе труденъ, чѣмъ самыя дробныя и основательныя ученныя изысканія. Ученый, погружившійся въ подробности, можетъ не имѣть общаго взгляда на предметъ; но пародистъ непременно долженъ обладать очень опредѣленнымъ, очень чуткимъ взглядомъ. Какой же взглядъ у г. Салтыкова?

Читая и перечитывая «Исторію одного города», я пришелъ къ тому весьма грустному убѣжденію, что г. Салтыковъ понимаетъ русскую исторію совершенно такъ, какъ онъ ее написалъ. Изъ-за этой пародіи не сквозитъ никакого иного смысла; она есть прямое изложеніе мыслей автора. Русский народъ онъ воображалъ себѣ въ видѣ головотяповъ и глуповцевъ, русскихъ государственныхъ мужей и высшихъ историческихъ дѣятелей въ видѣ градоначальниковъ города Глухова. Объясню дѣло краткимъ примѣромъ. Возьмемъ, на примѣръ, слѣдующее мѣсто:

«И Дунька и Матренна безчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками спшибали проходящимъ головы; ходили въ одиночку на кабаки и разбивали ихъ, ловили молодыхъ парней и прятали ихъ въ подполье, ѣли младенцевъ, а у женщинъ вырѣзали груди и тоже ѣли. Распустивши волосы по вѣтру, въ одномъ утреннемъ неглиже онѣ бѣгали по городскимъ улицамъ, словно изступленные плевались, кушались и произносили неподобныя слова».

«Глуповцы, просто, обезумѣли отъ ужаса. Опять всѣ побѣжали къ колокольнѣ, и сколько тутъ было перебито и перетоплено тѣлъ народныхъ—того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судьбище; всякій припоминалъ про своего ближняго всякое, даже такое, что тому и во снѣ не снилось, а такъ какъ судоговореніе было краткословное, то въ городѣ только и слышалось: шлепъ-шлепъ-шлепъ! Къ четыремъ часамъ пополудни загорѣлась съѣзжая изба; глуповцы кинулись туда и оцѣпенѣли, увидавъ, что пріѣзжій изъ губерніи чиновникъ сгорѣлъ весь безъ остатка. Опять началось судьбище» и т. д. («Ист. одн. города», стр. 54, 55).

Скажите, милостивый государь, надъ кѣмъ здѣсь насмѣшка? Кого язвить здѣсь нашъ неукротимый сатирикъ? На кого, на что это похоже? Конечно вы скажете, что это ровно ни на что не похоже, что подобная бессмысленная картина ровно ни чего не напоминаетъ, что это вздоръ, неимѣющій смысла. Между тѣмъ, по мнѣнію и намѣренію сатирика, эта картина должна напоминать какія-то событія русской исторіи; умственное око г. Салтыкова, очевидно, находило нѣкоторое сходство между сими созданіями его фантазіи и историческими фактами, о коихъ онъ слышалъ или читалъ. Бессмысленнымъ и грязнымъ вздоромъ казались ему эти факты, и онъ придавъ своей картинѣ столько бессмысленности и грязи, сколько могъ.

Итакъ, пародія и насмѣшка, подъ которыми такъ удобно прятать скудость своей мысли, по моему мнѣнію, измѣнили г. Салтыкову. Никакъ не вижу я, чтобы за этою тучею образовъ иногда смѣшныхъ, но большею частію отвратительныхъ, скрывалось какое-нибудь иное пониманіе народа и его

историческихъ судебъ; тутъ ничего не сквозить и для меня нѣтъ сомнѣнія, что если бы серьезно спросить г. Салтыкова, какъ же *на самомъ дѣлѣ* происходили событія, *которыхъ* онъ коснулся, то онъ сталъ бы рассказывать ихъ совершенно такъ, какъ рассказалъ въ «Исторіи одного города».

Вотъ какъ опасно шутить, какъ опасно писать пародіи! Сейчасъ человѣкъ покажетъ, куда его тянетъ, въ какомъ свѣтѣ ему являются предметы, какіе образы и понятія ему всего любезнѣе. И не подумайте, милостивый государь, что я главнымъ образомъ стремлюсь обвинить г. Салтыкова; нѣтъ, тутъ не столько онъ виноватъ, сколько виновато все состояніе нашего умственного развитія. Должно быть преподаватель, у котораго онъ учился исторіи, былъ слабъ. Учебникъ, навѣрное былъ плохъ, такъ какъ до сихъ поръ у насъ нѣтъ порядочнаго учебника, а Карамзинъ устарѣлъ. Когда же г. Салтыковъ вступилъ въ другую школу, литературную, то тутъ наши обличительные историки, вѣроятно, вполне овладѣли его воображеніемъ. Самое сильное вліяніе, очевидно, имѣлъ на него г. Семевскій...

VIII.

Отчетъ о четвертомъ присужденіи наградъ графа Уварова. Спб. 1860.

(«Время». 1861, № 2).

Мы намѣрены говорить здѣсь только о той части этого отчета, которая касается премій по драматической словесности. Всѣмъ извѣстно, по крайней мѣрѣ всѣмъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что академія присудила большія уваровскія преміи г. Островскому за *Грозу* и г. Писемскому за *Горькую Судьбину*. Объ этихъ драмахъ, и именно о *Грози*, много говорилось и, безъ сомнѣнія, много еще будетъ говорить; мы не будемъ здѣсь судить объ нихъ, а возьмемъ прямою вопросъ, который возбуждается книжкой съ вышеозначен-

нымъ заглавіемъ. *Отчетъ* даетъ публикѣ отчетъ о томъ, *какимъ образомъ академія поступала, присуждая преміи.* Дѣло любопытное.

Г. академикъ К. С. Веселовскій въ рѣчи, торжественно читанной 25 сентября 1860 г., прямодушно излагаетъ весь ходъ этого дѣла. Мы знакомимся съ нѣкоторыми подробностями, съ нѣкоторыми выводами, для насъ не совсѣмъ понятными.

И дѣйствительно, раскрываются тайны необыкновенныя, поразительныя. Г. Веселовскій отъ лица академіи, во первыхъ, объявляетъ, что *судить объ изящныхъ произведеніяхъ невозможно.* Въ самомъ дѣлѣ, если онъ не говоритъ этого прямо, то, кажется, только по требованіямъ красоты слога; но вотъ его собственные слова:

«Искать въ этой сферѣ непреложнаго мѣрила и положительныхъ законовъ было бы такъ же напрасно, какъ стараться согласить всѣ вкусы. Затрудненіе это, въ наше время, самые даровитые литературные критики сознали уже довольно ясно и преемники тѣхъ самыхъ людей, которые прежде твердили о непреложныхъ законахъ поэзіи или поэтическаго вкуса, теперь скромно отказываются отъ старыхъ притязаній. Въ наше время уже многіе держатся того мнѣнія, что если высказать свое сужденіе о литературномъ трудѣ легко, то доказать его въ такой мѣрѣ, чтобы оно не могло уже служить источникомъ дальнѣйшаго спора, нѣтъ никакой возможности.»

Вотъ глубокомысленныя положенія, которыя рѣдко можно встрѣтить въ такомъ ясномъ и откровенномъ изложеніи. Вкусъ, значить, есть только *личное впечатлѣніе* (такъ изъясняется далѣе и самъ г. академикъ), нѣкоторая прихоть, не управляемая никакими законами, въ родѣ тѣхъ странныхъ прихотей, которыя бываютъ у беременныхъ женщинъ и иногда сопровождаются даже припадками сумасшествія. Законовъ для вкуса нѣтъ.... Осмѣлимся замѣтить однакоже, что такія убѣжденія г. академикъ напрасно приписываетъ всей нашей критикѣ. Есть у насъ разныя критики; но вообще сказать о нашихъ критикахъ этого нельзя и заслуга мыслей, выраженныхъ г. Веселовскимъ, должна, хотя отчасти, основаться къ нему.

Вотъ и мы не согласны съ г. академикомъ. Намъ весьма удивительно, что онъ стоитъ на такой ложной точкѣ зрѣнія

и имѣть въ виду такую фантастическую цѣль. Какимъ образомъ онъ могъ имѣть въ виду странное желаніе *согласить всѣ вкусы?* Какимъ образомъ онъ могъ подумать, что *можно что-нибудь доказать такъ, чтобы оно не могло уже служить источникомъ дальнѣйшаго сора?* Кто же предается подобнымъ мечтамъ? И можно ли хоть что-нибудь вывести изъ того, что эти мечты несбыточны?

Если астрономы до сихъ поръ не успѣли убѣдить каждаго жителя сей юдилы, что *земля вокругъ солнца обращается*. то что же дивнаго въ томъ, что мы, напримѣръ, не можемъ убѣдить какого-нибудь господина NN, господина очень ученаго и почтеннаго, въ достоинствахъ *Грозы?* Между тѣмъ эти достоинства для человѣка понимающаго могутъ быть такъ же несомнѣнны, какъ обращеніе земли около солнца.

Отъ проницательности г. академика не могло ускользнуть то обстоятельство, что искусство должно находиться въ нѣкоторомъ правильномъ отношеніи къ природѣ человѣка и къ человѣческой жизни, что жизнь по мнѣнію многихъ управляется глубокими и разумными законами и что, слѣдовательно, само искусство необходимо получаетъ опредѣленное законоположеніе, непреложныя правила. Въ отвѣтъ на это г. Веселовскій подробно излагаетъ, что *жизнь* по его мнѣнію *не имѣетъ законовъ*. Вотъ его собственныя слова:

«Драматическая сторона жизни есть нѣчто едва-ли доступное для систематическаго изученія и для вывода постоянныхъ и непреложныхъ законовъ. Въ ней и вокругъ нея группируются самыя разнообразныя, самыя неуловимыя и таинственныя элементы въ мірѣ психологической и исторической дѣятельности человѣка: прихоти вкуса, противорѣчія воли, порывы страстей, борьба личныхъ особенностей характера между собою и съ приговоромъ судьбы, словомъ все, чѣмъ наука еще не овладѣла и, можетъ быть, никогда не овладѣетъ.»

Поразительная истина! Ясно, что жизнь есть хаосъ, въ которомъ ничего разобрать нельзя. Все неопредѣленно и неуловимо; вездѣ прихоти, порывы и противорѣчія, а надъ всѣмъ царитъ неумолимая судьба. Очень сожалѣемъ, вмѣстѣ съ г. академикомъ, что наука до сихъ поръ еще не овладѣла тайною *приговоровъ судьбы*.

Тогда бы, можетъ быть, хотъ парижская и лондонская академіи сообщили бы намъ что-нибудь объ этихъ приговорахъ.

Чтобы яснѣе выставить всю невозможность суда надъ литературными произведеніями, г. Веселовскій противопоставляетъ этому суду оцѣнку ученыхъ произведеній. Такую оцѣнку, по его словамъ, могутъ сдѣлать только немногіе, люди глубоко свѣдущіе, но зато путь передъ ними открытый, прямой и заключенія ихъ безошибочны. И въ этомъ случаѣ, въ сожалѣнію, мы не можемъ согласиться съ почтеннымъ академикомъ. Конечно, онъ не станетъ отрицать того факта, что, напримѣръ, въ академіяхъ засѣдаютъ люди глубоко свѣдущіе, а между тѣмъ стоитъ заглянуть въ исторіи академій, чтобы убѣдиться, что очень часто новыя открытія, безсмертные подвиги въ наукѣ встрѣчались этими учеными собраніями съ презрѣніемъ и подвергались жестокому гоненію. Извѣстно (приведемъ хотъ одинъ примѣръ), что парижская академія долго отвергала теорію всеобщаго тяготѣнія Ньютона, отвергала простѣйшую и важнѣйшую теорію, образецъ теоріи, славу знаменитѣйшаго изъ ученыхъ.

Какъ видно и ученымъ трудамъ, если они выходятъ изъ ряду вонъ, достается та же судьба, какъ нерѣдко и лучшимъ литературнымъ произведеніямъ; и ихъ также не всѣ умѣютъ цѣнить, и имъ приходится собственною силою пробиваться сквозь равнодушіе и грубое непониманіе.

Очень жаль конечно, что міръ ужъ такъ устроенъ; но только въ немъ нѣтъ готовыхъ масштабовъ для очень многихъ вещей. Мѣрять достоинство и величіе приходится не аршиномъ, не вѣсами или какимъ-нибудь термометромъ, что всякій могъ бы сдѣлать, а какимъ-то мудренымъ процессомъ въ головѣ, такъ что многіе люди, даже очень почтенные и очень ученые, оказываются совершенно неспособными быть судіями дѣлъ человѣческихъ. Что же дѣлать! Такая ужъ видно наша судьба; авось проживемъ и такъ.

Но обратимся къ нашимъ драмамъ. Читатель, вѣроятно, уже задавалъ себѣ вопросъ: какимъ же образомъ академія, принимая, что вѣрная оцѣнка ихъ невозможна, однакоже оцѣнила ихъ? Да, дѣло мудреное. Вотъ что говоритъ г. Веселовскій послѣ выписаннаго нами объясненія всей трудности этой оцѣнки:

«Слѣдуетъ ли изъ этого заключить, что всякая оцѣнка въ сферѣ изящной словѣсности невозможна? Нѣтъ. Отсутствие теоретическаго ея основанія не заключаетъ въ себѣ еще достаточной причины отвергать ея чисто практическую возможность.»

Не правда ли хитро? Теоретически—выходить совершенно невозможно, а практически—очень легко. Между тѣмъ мы можемъ убѣдиться въ этомъ на дѣлѣ, самымъ фактомъ; вѣдь, оцѣнила же академія представленныя ей драмы, не имѣя для этого *никакихъ теоретическихъ основаній*. Да, если хорошенько подумать, такъ оно выйдетъ именно такъ; гораздо легче и удобнѣе, не вдаваясь ни въ какія теоріи, поступить прямо практически.

Поэтому намъ кажется крайнею ошибкою со стороны г. академика, что онъ вслѣдъ затѣмъ принимается излагать *основанія* практической оцѣнки; этого вовсе не нужно, это *теорія!* Вотъ что говоритъ г. Веселовскій:

«Вещь хороша, если она лучше другой; дурна—если хуже; хороша, если всѣ или большая часть считаютъ ее хорошею, а если нѣтъ—то дурна. Далѣе этихъ простыхъ, осязательныхъ умозаключеній практическая оцѣнка не идетъ.»

Шаткая, очень шаткая теорія! Мы не можемъ назвать ее хорошею, даже если бы прибѣгли къ тому практическому замѣчанію, что *бываетъ и хуже*. Нѣтъ! хуже этого ничего быть не можетъ. Г. Веселовскій находитъ здѣсь какія-то *умозаключенія*; положительно увѣряемъ, что въ его словахъ нѣтъ и тѣни какого-нибудь умозаключенія. Вещь хороша, если многимъ нравится,—это вовсе не умозаключеніе; умозаключеніе выйдетъ, если скажемъ такъ: вещь многимъ нравится, слѣдовательно, есть же въ ней *что-нибудь* хорошее. И затѣмъ, если ужъ пойти путемъ умозаключеній, то, отыскивая въ вещи хорошее, но не упуская изъ вида и дурного, можно дойти до того, что вещь окажется въ сущности дурною.

Нѣтъ, ужъ лучше не пускаться въ умозаключенія, а идти прямо практическимъ путемъ.

«Въ практической оцѣнкѣ произведеній изящной словесности (пишетъ онъ) главнымъ и почти единственнымъ основаніемъ окончательнаго сужденія является общее мнѣніе обра-

зованнѣйшей части общества, или по крайней мѣрѣ мнѣніе большинства.»

Вотъ это ясно; метода какъ нельзя болѣе практическая! Ненужно имѣть своего мнѣнія, а должно подчиняться общему мнѣнію—конечно это легко и удобно. Г. Веселовскій весьма справедливо старается выставить все достоинство этой методы

«Такое основаніе и такую мѣрку академическая коммиссія должна была принять въ настоящемъ случаѣ, чтобы добросовѣстно исполнить свой долгъ.»

И далѣ:

«Всякій шагъ за эту черту поставилъ бы ее въ ложное положеніе повѣреннаго, превышающаго точный смыслъ своихъ полномочій, вывелъ бы ее на арену литературно-критическихъ споровъ, чуждыхъ характеру и назначенію академіи.»

Превышеніе полномочій, дѣйствительно, есть дѣло легко-мысленное. Намъ это напоминаетъ рѣчь того префекта, который благоразумно *отшился* не привѣтствовать короля пушечными выстрѣлами. Какъ извѣстно, у него на это было множество причинъ; только по одной неловкости онъ выставилъ на первомъ мѣстѣ ту, что у него не было пушекъ.

Что же касается до *арены споровъ*, то замѣчаніе г. Веселовскаго такъ же, какъ нельзя болѣе, практическое. Академія весьма благоразумно не вступаетъ на эту пыльную и бойкую арену; чуждаясь споровъ, академія весьма справедливо предпочитаетъ давать публикѣ одни свои рѣшенія и приговоры. Такъ въ прошломъ году три академика — гг. Бэръ, Брандтъ и Миддендорфъ обнародовали въ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ» свой приговоръ противъ нашего натуралиста Сѣверцова. Хорошо, что г. Сѣверцовъ человекъ не робкій; какъ извѣстно, онъ успѣлъ спастись отъ Коканцовъ; понятно, что ему были ни почемъ трое нѣмецкихъ ученыхъ.

Что же сдѣлала въ настоящемъ случаѣ академія? Какъ она успѣла поймать *общее мнѣніе*?

«Коммиссія подвергнула каждую изъ двухъ упомянутыхъ драмъ сужденію избранныхъ ею писателей, занимающихъ по своимъ талантамъ почетное мѣсто въ современной литературѣ.» Затѣмъ г. П. А. Плетневъ подвел *общій итогъ* сужденій.

Что же касается до выбора критиковъ, то, намъ кажется, комиссія отступила отъ своихъ мудрыхъ началъ; драмъ она не умѣетъ судить, а критиковъ, какъ оказывается, сейчасъ оцѣнила, сейчасъ взвѣсила и ихъ таланты. Очевидно, выборъ критиковъ основанъ на *личномъ вкусѣ* комиссія, а слѣдовательно, настоятъ полное сомнѣнiе, дѣйствительно ли *итогъ* ихъ мнѣнiй совпадаетъ съ общимъ мнѣнiемъ.

Мы можемъ сказать положительно, что выборъ критиковъ былъ какъ-то очень неудачей и докажемъ это изъ самаго *Отчета*.

Доставлено было *восемь* пьесъ. Для нихъ было избрано восемь критиковъ.

Пять пьесъ—оказались негодными; мы вполне увѣрены, что это сужденiе было сдѣлано съ полнѣйшею основательностью. Но насъ смущаетъ слѣдующее: *объ шестой пьесѣ не было доставлено никакого отзыва*, а потому она была отложена до конкурса будущаго года. Комиссія состояла изъ семи академиковъ; она нашла восемь, а потомъ еще двухъ, *итого* десять достойныхъ критиковъ; какъ же это случилось, что она успѣла оцѣнить только двѣ драмы, а третью (*Псковитянку* г. Мея) не успѣла? А что если это произведенiе вполне прекрасное? Если ея автору, дѣйствительно, нужны поддержка и поощренiе? Если онъ трудился, имѣя ихъ въ виду? Годъ—время большое; конечно, если бы академiя отложила на годъ только свое сужденiе—съ этимъ можно бы было помириться; но ждать еще годъ премii—отсрочка весьма печальная.

Затѣмъ изъ остальныхъ двухъ пьесъ—*Гроза* досталась для разбора *И. А. Гончарову*, а *Горькая Судьбина* *А. С. Хомякову*. Что же вышло? Отзывъ перваго составляетъ только двѣ страницы, а втораго только три. При этомъ г. Гончаровъ извиняется, что онъ боленъ.

Понятно, что академiя желала нѣсколько болѣе отчетливыхъ отзывовъ; и вотъ она снова даетъ разбирать *Грозу* г. Галахову, а *Горькую Судьбину* г. Н. Д. Ахшарумову. Послѣднiй представилъ довольно полный, но все еще не со-

вершенно полный разборъ, но г. Галаховъ—опять неудача! просить извиненія въ краткости—по случаю своего отъѣзда въ Москву. Такимъ образомъ, семь академиковъ и десять критиковъ одну драму совсѣмъ упустили изъ вида и произвели четыре разбора, изъ которыхъ три тощи такъ, какъ только это допускало самое снисходительное приличіе.

Но и тутъ еще не кончились бѣды. Отзывы о драмахъ имѣютъ очень опредѣленную фizioномію. Оба критика *Грозы* находятъ только достоинства и крoсoты въ драмѣ; оба критика *Горькой Судьбины* сильно упираютъ на важные недостатки драмы. Что же дѣлаетъ академія? Какъ она выводитъ *итогъ*? Послушаемъ г. Веселовскаго:

«Съ перваго взгляда можетъ казаться, что отзывы гг. Хомякова и Ахшарумова о *Горькой Судьбинѣ* въ общемъ ихъ выводѣ неблагопріятны для драмы г. Писемскаго; но тотъ самый фактъ, что у нихъ *обращено особенное вниманіе на недостатки разобранной драмы, можетъ съ другой стороны служить доказательствомъ, что недостатки эти не такъ замѣтны, чтобы о нихъ можно было упомянуть въ короткихъ словахъ*, какъ они дѣлали это, указывая на явные, неоспоримыя достоинства драмы.»

Какъ вамъ нравится подобная ариметика? Изъ этихъ словъ можно вывести, что достоинства *Грозы* слишкомъ слабы, потому что критики много говорятъ о нихъ и такъ сильно хвалятъ драму. Намъ кажется, что тутъ опять замѣшалось *личное* мнѣніе. Дѣло ужасно трудное. Представлены отзывы критиковъ; но, вѣдь, и объ отзывахъ нужно *судить*, нужно какъ-нибудь дойти собственнымъ умомъ до результата. Нечего дѣлать, г. Веселовскій рѣшился идти сколькимъ путемъ *собственныхъ умозаключеній* и, видите, поскользнулся очень неловко.

IX.

Нѣчто о Шиллерѣ.

(«Время». 1861, № 2).

Поговоримъ о бурныхъ дняхъ Кавказа,
О Шиллерѣ, о славѣ, о любви.

Пушкинъ.

Въ первомъ номерѣ газеты «Вѣкъ», изданія, заслуживающаго во многихъ отношеніяхъ полного уваженія, которому мы сочувствуемъ, какъ новому голосу въ нашей литературѣ и котсрому потому жалаемъ всякихъ успѣховъ,—встрѣчается коротенькая, ничѣмъ не поясненная фраза такого рода: «мы не очень высоко ставимъ Шиллера, какъ поэта» и проч.

Если бы такія слова попались намъ въ «Современникъ», мы нисколько не удивились бы. Но «Вѣкъ»? Ужели и онъ туда же?

Что за странная манера писать! Скажите на милость, кому же какое дѣло до того, что «Вѣкъ» не уважаетъ Шиллера? Чему и кого научить «Вѣкъ» этими словами? Они показываютъ только одно притязаніе на авторитетъ, на роль учителя передъ учениками.

«Вѣкъ» заговорилъ о Шиллерѣ по поводу изданія г. Гербеля. Это изданіе должно было привести ему на память, что Шиллеръ принадлежитъ къ главнымъ любимцамъ нашей молодой литературы и нашей читающей публики, что безъ этого и изданіе Гербеля было бы невозможно. Но, очевидно, на эту любовь нашихъ читающихъ и пишущихъ людей къ Шиллеру, любовь, идущую отъ Жуковского и продолжающуюся до нашихъ дней, «Вѣкъ» смотритъ неблагосклонно. Ему кажется, изволите видѣть, что любовь пала на человѣка, мало ея достойнаго. Поэтому «Вѣкъ» принимается толковать о томъ, что не дурно бы перевести Гёте, Байрона и проч. Совѣтъ очень хорошій, да только не лишній ли? Такія вещи по совѣтамъ, да по указамъ не дѣлаются. Между тѣмъ «Вѣкъ», кажется, серьезно думаетъ, что все это передѣлать очень легко,

что можно сейчасъ уничтожить любовь къ Шиллеру и заставить читателей полюбить какого угодно другого поэта. Этотъ взглядъ на литературу свысока, это желаніе учить ее и распоряжаться ею — представляютъ и смѣшную и вмѣстѣ несносную черту, которая часто является въ нашей журналистикѣ.

Между тѣмъ, если на литературу смотрѣть съ уваженіемъ, то дѣло явится совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ. Мы должны особенно цѣнить Шиллера, потому что ему было дано не только быть великимъ всемірнымъ поэтомъ, но сверхъ того быть нашимъ поэтомъ. Поэзія Шиллера доступна сердцу, чѣмъ поэзія Гёте и Байрона, и въ этомъ его заслуга; отъ этого ему многимъ обязана и русская литература.

Вообще же, если какой бы то ни было гений находить у насъ сильный отголосокъ, то тутъ остается одно: должно радоваться его вліянію, а не выступать впередъ съ фразами: мы-де его не очень цѣнимъ. Если и впередъ какой-нибудь *властитель думъ* овладѣетъ нашими думами, то конечно это будетъ зависѣть не отъ «Вѣка», или какого-нибудь другого скорого цѣнителя; такія явленія опредѣляются внутреннею жизнью литературы и всего общества.

Вообще, многіе поэты и романисты Запада являются передъ судомъ нашей критики въ какомъ-то двусмысленномъ свѣтѣ. Не говоря уже о Шиллерѣ, вспомнимъ, напримѣръ, Бальзака, Виктора Гюго, Фредерика Сюзэ, Сю и многихъ другихъ, о которыхъ наша критика, начиная съ сороковыхъ годовъ, отзывалась чрезвычайно свысока. Передъ ними была виновата отчасти Бѣлинскій. Они не приходились подъ мѣрку нашей слишкомъ уже реальной критики того времени. Если самъ Байронъ избѣжалъ жестокаго приговора, то этимъ онъ обязанъ, во первыхъ, Пушкину, а во вторыхъ, протесту, который вырывался изъ каждаго стиха его. А то и его бы мы развѣнчали. Онъ-то ужъ никакъ не подходилъ подъ мѣрку. *)

*) Это—приписка Ф. М. Достоевскаго. Изд.

X.

„Египетскія ночи“ Пушкина.

1. Поступокъ и мнѣнія г. Камня Виногорова *) въ № 8 газеты «Вѣкъ».

(«Время». 1861, № 3).

Извѣстно, что многіе издавна считали Пушкина безнравственнымъ поэтомъ. Уже поэма *Русланъ и Людмила* возбудила негодованіе почтенныхъ мужей, и одинъ изъ *успѣшнѣйшихъ первоклассныхъ отечественныхъ писателей* привѣтствовалъ ее стихомъ:

«Мать дочери велитъ на эту сказку плюнуть».

Негодованіе на безнравственность Пушкина съ тѣхъ поръ не прекращалось. Въ свое время органомъ его былъ знаменитый журналъ «Маякъ». Казалось бы, что вопросъ столь давнишній въ настоящее время уже достаточно проясненъ, что рѣшеніе его теперь уже ясно всякому, хотя мало свѣдущему человѣку. Но

«Ничто не старо подъ луною!»

Нынѣ вопросъ о Пушкинѣ возникъ съ болѣею силою, чѣмъ когда бы то ни было. Одинъ наиболѣе читаемый и любимый публикою журналъ—«Современникъ» и нѣчто, Богъ знаетъ что такое, называющееся *Домашнею Бесѣдою* г. Асоченскаго, постоянно стараются внушить публикѣ, что Пушкинъ есть писатель *безнравственный*. Въ этомъ и «журналъ» и «нѣчто» вполне согласны и разнятся между собою только въ томъ, что г. Асоченскій считаетъ Пушкина *противонрав-*

*) Псевдонимъ Вейнберга (см. „Историческій Вѣстникъ“, 1900, май, стр. 479).

Полное заглавіе настоящей статьи во „Времени“: „Одинъ поступокъ и нѣсколько мнѣній Камня Виногорова“. Измѣнено заглавіе самимъ авторомъ. Изд.

ственнымъ, то есть принимаетъ его за гибельное проявленіе темныхъ, злыхъ силъ; «Современникъ» же признаетъ его только *нравственнымъ*, то есть пустымъ празднословомъ, не производящимъ благого нравственнаго вліянія на читателей. Такъ что «Современникъ», очевидно, ставитъ Пушкина еще несравненно ниже, чѣмъ г. Аскоченскій.

Новый органъ нашей литературы, еженедѣльная газета «Вѣкъ», начавшая выходить съ нынѣшняго года, недавно обнаружила, что и она раздѣляетъ мнѣніе о безнравственности Пушкина. До свѣдѣнія нѣкотораго участвующаго въ «Вѣкѣ», г. Виногорова, дошло, что 27 ноября въ Перьми, на музыкально-литературномъ вечерѣ, г-жа Толмачева читала стихотвореніе Пушкина: *Египетскія ночи*. И вотъ «Вѣкъ» въ лицѣ г. Виногорова объявляетъ, что чтеніемъ такого произведенія попирается *всякое чувство стыдливости* и обнаруживается *безнравственный взглядъ* на вещи.

Повидимому, нельзя не прійти въ умиленіе при видѣ такихъ заботъ о нравственности, такого ревностнаго старанія устранить все, что могло бы повредить ей. Какъ не порадоваться, видя, что люди безкорыстно служатъ столь высокой и чистой идеѣ! Какъ не восхититься голубиною чистотою этихъ добрыхъ душъ, съ такимъ омерзѣніемъ встрѣчающихъ всякое оскорбленіе идеала, носимаго ими въ сердцахъ!

Мы сами очень любимъ нравственность; мы преданы ей всею душою и готовы содѣйствовать ея процвѣтанію всѣми силами. А между тѣмъ, признаемся откровенно, мы никогда не могли удержаться отъ нѣкотораго подозрѣнія и даже ужаса, когда встрѣчали жаркое ратованіе за нравственность. Намъ становилось страшно, когда мы замѣчали, съ какимъ презрѣніемъ поборники нравственности смотрятъ на людей; какъ легко они вѣрятъ всякой гадости, всякому разврату человеческой души; съ какою жестокостью они торопятся оскорбить другихъ въ томъ, что для каждого составляетъ высочайшую святыню—въ нравственномъ достоинствѣ человѣка. Намъ поражала непоколебимая увѣренность поборниковъ въ чистотѣ и глубинѣ ихъ убѣжденій, тогда какъ оскорбленія, ими наносимыя, часто вытекали изъ одной узкости нравственныхъ понятій или изъ грубаго непониманія, изъ нелѣпаго пере-

толковыванія чужихъ поступковъ или, какъ мы видимъ у г. Аскоченскаго, изъ угожденія ханжеству и мракѣобѣсїю.

Но кромѣ всего этого—есть еще важная причина, которая, какъ намъ кажется, должна бы воздерживать каждаго отъ упрековъ въ безнравственности. Нравственность есть идея, способная возбуждать фанатизмъ, то есть слѣпое, неразумное увлеченіе; можно различаться въ пониманіи нравственности, но каждый питаетъ отвращеніе и презрѣніе къ тому, что считаетъ безнравственнымъ. Поэтому тѣ, которые бросаютъ въ лицо человѣку упрекъ въ безнравственности, должны помнить, на какую силу они опираются, какую струну они задѣваютъ въ сердцахъ людей. Они должны помнить, какимъ страшнымъ орудіемъ они дѣйствуютъ, къ какому сильному, хотя часто слѣпому инстинкту они обращаются. Прибѣгать къ этому орудію, вызывать противъ кого-нибудь эту силу, которая всегда дѣйствуетъ несоразмѣрно и чаще всего сильнѣе, чѣмъ слѣдуетъ, намъ всегда казалось дѣломъ несправедливымъ, нечестнымъ.

То, что г. Камень Виногоровъ сдѣлалъ въ отношеніи къ г-жѣ Толмачевой, какъ нельзя лучше показываетъ, до какой степени могутъ быть *нравственны* обвиненія въ безнравственности.

Въ самомъ дѣлѣ, выступивъ проповѣдникомъ нравственности, г. Камень Виногоровъ въ отношеніи къ г. Толмачевой сдѣлалъ поступокъ неизвинительный, оскорбляющій всякую нравственность. Не имѣя ни малѣйшаго основанія, кромѣ собственнаго неправильнаго перетолковыванія словъ корреспондента «Спб. Вѣдомостей» (извѣстіе о литературномъ вечерѣ въ Перьми напечатано было въ этой газетѣ), онъ рѣшился публично, въ газетѣ, предполагать въ г. Толмачевой какія-то *кавалерскія убѣжденія*, намекать на какія-то *отношенія слушателей госпожи Толмачевой къ поклонникамъ Клеопатры*, толковать о томъ, что г. Толмачева *принимала вызывающее выраженіе*, и т. п.

Наносить подобныя оскорбленія, марать другихъ грязью, почерпаемою въ собственной головѣ, не позволить себѣ никто, уважающій нравственность.

Само собою разумѣется, мы не видимъ никакой нужды заступаться за г-жу Толмачеву. Защищать ее рѣшительно не отъ чего. Думать, что слова г. Камень Виногорова могутъ набросить на нее хотя малѣйшую недобрую тѣнь, значило бы оскорблять г-жу Толмачеву. Смотрѣть серьезно на обвиненіе, значить допускать возможность вины. Кто и почему имѣетъ на это какое-нибудь право въ настоящемъ случаѣ?

Мы убѣждены, что г-жа Толмачева встрѣтитъ слова г. Виногорова съ тѣмъ презрѣніемъ, котораго они заслуживаютъ.

Съ нашей стороны, повидимому, гораздо приличнѣе—сильно вознегодовать на г. Виногорова. Но если у насъ и вспыхнуло сперва негодованіе на его поступокъ, то скоро и погасло. Возможно ли сильно разсердиться на поступокъ до такой степени уродливый? На дѣло, которое, очевидно, сдѣлано не только безъ всякаго *злумышленія*, но и вообще безъ всякаго *мышленія*, которое прямо вытекло изъ дикихъ, безсознательно процвѣтающихъ инстинктовъ г. Виногорова и, какъ мы надѣемся, никому вреда причинить не можетъ?

Поэтому, вмѣсто негодованія, у насъ скоро родилось болѣе мирное чувство. Намъ захотѣлось — желаніе чисто литературное—порыться немножко въ этой статейкѣ, которая украшаетъ собою 8 № «Вѣка», анализировать сердечныя чувства и внутреннія убѣжденія этого удивительнаго г. Виногорова. Намъ это показалось очень любопытно.

Нравственныя разсужденія г. Виногорова начинаются вотъ гдѣ. «Г-жа Толмачева прочла публикѣ *Египетскія ночи*. Какъ? это стихотвореніе, въ которомъ Клеопатра громогласно предлагаетъ *купить цѣною жизни одну изъ ночей ея?* И дама рѣшилась публично произнести этотъ стихъ?»

Г. Виногоровъ дальше ничего не говоритъ. Что же такое совершалось въ его головѣ? Вы видите, что онъ находитъ неприличнымъ не столько цѣлое стихотвореніе, сколько стихи

Скажите, кто межъ вами купить
Цѣною жизни ночь мою?

Но что же особенно соблазнительнаго нашель г. Виногоровъ въ этихъ стихахъ? Развѣ онъ не помнитъ, какое впечатлѣніе они произвели и должны производить?

Рекла—и ужасъ всѣхъ объемлетъ.

Г. Виногоровъ, очевидно, къ ужасу не расположенъ; у него рождаются при этомъ другія ощущенія. Предложеніе Клеопатры онъ принимаетъ за одно изъ тѣхъ предложеній, которыя дѣлаются не громогласно, а потихоньку; продажа ея ночей ему напоминаетъ извѣстную продажу...

Ну, виновать ли Пушкинъ, что его стихи производятъ на г. Виногорова такое превратное впечатлѣніе? Что они не очищаютъ его мыслей, а только приводятъ въ броженіе всю мерзость, накопляющуюся въ воображеніи?

И въ самомъ дѣлѣ, нужно особенное настроеніе для того, чтобы найти хоть тѣнь соблазнительнаго, или раздражающаго чувственность въ *Египетскихъ ночахъ*. Ужасъ въ нихъ покрываетъ развратъ; вы чувствуете жестокую нравственную борьбу, которую переносятъ пирующие; вы видите, что душа человѣка возмущается противъ одного услажденія чувствъ, что она требуетъ еще чего-то и съ странною радостью хватается за ужасъ и смерть, чтобы заглушить свою тоску, помирить себя съ пустотою жизни. А г. Виногоровъ при этомъ думаетъ о клубничкѣ поручика Пирогова.

На слова г-жи Толмачевой: «что воспитаніе, безъ знакомства съ наукою и жизнью, положительно губитъ нашихъ дѣвушекъ», г. Виногоровъ восклицаетъ: «какой удивительный нравственный взглядъ — знакомить дѣвушекъ съ наукою и жизнью посредствомъ чтенія «Египетскихъ ночей!»

Понятно, отчего г. Виногоровъ такъ сильно опасается за дѣвушекъ; онъ воображаетъ, что имъ непременно прійдутъ въ голову тѣ же мысли, какъ и ему. Удивительныя понятія о дѣвушкахъ! Что же безнравственнаго могутъ онѣ вынести изъ «Египетскихъ ночей»?

Научатся, что ли, *продавать свои ночи цѣною жизни?* На это очень мало вѣроятія. Бываетъ, вѣдь, еще хуже, потому что, какъ справедливо замѣтила г-жа Толмачева, дѣвушки продаютъ себя за болѣе дешевую цѣну, выходя замужъ

по разсчету и т. п... Но г. Виногорову все мерещится свое; все это дѣйствуетъ на него совершенно особеннымъ образомъ. Ему показываютъ Египетъ, а онъ все думаетъ о Мѣщанской, да о Вознесенскомъ проспектѣ.

«Русская дама, пишетъ онъ, статская совѣтница, явилась передъ публикою въ видѣ Клеопатры, произнесла предложеніе *купить цѣною жизни ночь ея*, и какъ произнесла!»

Что же это-то такое? *Русская дама, статская совѣтница*... вѣдь, это прямо значить: до чего унизилась столь высокая особа! Понимаете, если бы это была коллежская регистраторша или мѣщанка, если бы это была француженка или итальянка, то дѣло бы было совсѣмъ другое. До чего вы доходите, г. Виногоровъ, въ вашей ревности о нравственности! Такъ по вашему, что годится для какой-нибудь мѣщанки, то безнравственно для статской совѣтницы? Такъ по вашему актриса, являющаяся не то что въ видѣ Клеопатры, а даже въ видѣ Лукреціи Борджіи, непременно *попираетъ всякое чувство стыдливости*? Вотъ не ожидалъ, я думаю, г. Аскоченскій, что найдетъ себѣ такого ревностнаго сподвижника въ «Вѣкѣ».

Произнесла предложеніе «купить цѣною жизни ночь ея». Мы уже знаемъ, какъ мило понимаетъ г. Виногоровъ это чудовищно-страшное предложеніе. Въ такомъ смыслѣ онъ приписываетъ это и г-жѣ Толмачевой; разумѣется, это не болѣе, какъ милая шутка, которую г. Виногоровъ позволить себѣ, увлекшись своимъ игривымъ остроуміемъ. Далѣе г. Виногоровъ дѣлаетъ выписку изъ письма корреспондента «Спб. Вѣдомостей» и снабжаетъ ее замѣчаніями въ скобкахъ. Вотъ она:

«Большіе глаза ея (т. е. глаза г-жи Толмачевой) то загорались, то меркали и погасали... (ахъ! какъ это должно было быть хорошо!); все лицо ея измѣнялось безпрестанно, принимая то нѣжно-страстное, то жгучее, то неуловимо-суровое, то горделиво-вызывающее (ого!!) выраженіе.»

Положимъ, что корреспондентъ «Спб. Вѣдомостей» чрезвычайно похожъ на тѣхъ *литераторовъ-обывателей*, о которыхъ говоритъ Щедринъ, что онъ смѣшонъ и дѣлаетъ смѣшнымъ то, что описываетъ, но чувствуете ли вы совершенно ясно, что выраженія въ скобкахъ изображаютъ чувств

какого-то сатира при взглядѣ на женщину? Г. Виногоровъ въ полномъ волненіи. Замѣчаете, какъ онъ понимаетъ взгляды? *Горделиво-вызывающее* выраженіе онъ, очевидно, понять совершенно по своему. Да, передъ такими господами читать стихи дамамъ не слѣдуетъ; для нихъ всякая дама и всякіе стихи являются только съ одной стороны. Но только напрасно г. Виногоровъ тревожится; мы увѣрены, что въ Перьми не мало найдется мушинъ совершенно иныхъ понятій, и что едва ли даже найдутся способные прийти въ такой сильный соблазнъ, до какого дошелъ г. Виногоровъ.

Вы видите, какъ много личного, субъективнаго въ сужденіяхъ г. Виногорова? другими словами, онъ судить о другихъ по самому себѣ и обвиняетъ г-жу Толмачеву въ нечистотѣ своихъ собственныхъ помысловъ.

Продолжаемъ выписку изъ корреспондента:

«Стихъ, слѣдующій за предложеніемъ Клеопатры—купить ночь цѣною ея жизни—извѣстный стихъ: «И взоръ презрительный обводитъ кругомъ поклонниковъ своихъ» прочитавъ былъ, дѣйствительно, съ такимъ выраженіемъ презрѣнія и злой насмѣшки, молодая женщина такимъ взоромъ обвела при этомъ безмолвную толпу, что будь это въ театрѣ—зала навѣрно потряслась бы отъ аплодисментовъ.»

Читатель легко сообразить, какъ этотъ рассказъ долженъ былъ подѣйствовать на г. Виногорова. Г. Виногорову довольно было одного слова *поклонникъ*, находящагося въ стихѣ, для того чтобы воображеніе его разыгралось и разгорѣлось. И вотъ онъ пишетъ:

«Я не театральная зала, но и я потрясся отъ аплодисментовъ, прочитавъ эти удивительныя строки. Не совсѣмъ я понять только, какое отношеніе имѣли посѣтителѣ пермскаго литературнаго собранія, слушавшіе г-жу Толмачеву, къ поклонникамъ Клеопатры, *а отношеніе въроятно было, потому что иначе, зачѣмъ бы г-жа Толмачевой обводила толпу взоромъ «презрѣнія и злой насмѣшки».* Но мнѣ неизвѣстны пермскія тайны и оттого понятно, что я тутъ ничего не понималъ...»

Г. Виногоровъ здѣсь прикидывается, какъ-будто онъ разсуждаетъ; но читатель видитъ, что этого нѣтъ, что въ сло-

вахъ Виногорова нѣтъ и слѣдовъ логики. Такъ что все это есть явная игра болѣзненно-настроеннаго воображенія. Г. Виногоровъ не знаетъ пермскихъ тайнъ, но онѣ такъ легко ему представляются; его мысли такъ мутны, что онъ не можетъ вообразить себѣ чистыхъ словъ и дѣйствій; самымъ естественнымъ образомъ онъ не могъ удержаться отъ намека на то, что

Судя по совѣсти своей

считаетъ вѣроятнѣйшимъ и возможнѣйшимъ.

Таковъ, какъ намъ кажется, психологическій процессъ, который довелъ поборника женственности и стыдливости до безстыдныхъ предположеній и до публичнаго оскорбленія женщины.

А между тѣмъ, будь у г. Виногорова хоть сколько-нибудь чистоты помысловъ и вѣры въ хорошее, онъ могъ бы убѣдиться, что г-жа Толмачева дѣйствовала сознательно, разумно и была далека отъ всего, что такъ легко приходитъ въ голову г. Виногорову. Въ самомъ дѣлѣ, корреспондентъ приводитъ намъ ея мнѣнія, высказанныя ею послѣ чтенія, именно по случаю упрека за выборъ *Египетскихъ ночей*. Вотъ что говорила г-жа Толмачева:

«Это немножко странно; если мы всѣ, и мушчины, и дамы, и дѣвицы, читаемъ, не конфузясь, грязные и безнравственные французскіе романы, смотримъ, не краснѣя, сальные и пошлые французскіе водевили, то было бы въ высшей степени смѣшно и дико не прочесть публично прекрасное, художественное произведеніе великаго поэта. «Египетскія ночи» — фактъ историческій, подражательницъ Клеопатрѣ между нами навѣрно не явится, а особенной нескромности въ стихахъ я не вижу. Не кажется ли ужъ особенно нескромнымъ выраженіе: «Скажите, кто межъ вами купитъ цѣною жизни ночь мою?» Но, вѣдь, если это не говорится, то за то дѣлается на каждомъ шагѣ: мы чуть не каждый день видимъ, какъ молодыя женщины продаютъ себя — и не на одну ночь, а на всю жизнь, противнымъ, дряхлымъ, но богатымъ старикамъ... Воспитаніе, безъ знакомства съ наукою и жизнью, положительно губитъ нашихъ дѣвушекъ. Ихъ замкнутость, вѣчная

помочи, на которыхъ ихъ водятъ, развиваютъ не умъ, требующій знанія, а воображеніе, только раскаляющееся отъ вѣчныхъ тайнъ и загадокъ. Рашель играла, по большей части, очень страстныхъ женщинъ. Всѣ были восхищены ея игрою, увлечены ею, но никто не былъ на столько пошлъ, чтобы назвать ея роли нескромными. Неужели же это одна грустная привиллегія актрисъ, на которыхъ до сихъ поръ еще смотреть дико; и я не могу взять на себя никакой полной роли, потому что я—жена статскаго сожѣтника? Какой нелѣпый взглядъ! Въ Англіи, напримѣръ, молодая дѣвушка взойдетъ смѣло въ вертепъ разврата, узнаетъ всѣ его грязныя и печальныя стороны и отъ этого ничуть не сдѣлается безнравственной. Наоборотъ: она только узнаетъ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, пойметъ ее и будетъ женщиной серьезной.»

Вотъ, что говорила г-жа Толмачева тому офицеру, который напомнилъ ей о дурномъ впечатлѣніи ея чтенія на многихъ маменекъ и дѣвицъ. Вчитайтесь въ слова г-жи Толмачевой; пересмотрите ихъ нѣсколько разъ, потому что мы собираемся представить вамъ самый разительный примѣръ нѣжной стыдливости г. Виногорова. Повѣрите ли? онъ находитъ, что женщина попираетъ стыдъ и обнаруживаетъ *кавалерскія* понятія, если произноситъ слова, которыя вы сейчасъ прочитали. Дѣло доходитъ до того, что, перечитывая слова г-жи Толмачевой, г. Виногоровъ начинаетъ язвительно стучать ногами и иронически кричать: *браво! бисъ!* (не вѣрите — взгляните сами въ 8 № «Вѣка»).

Глубина цѣломудрія поистинѣ непостижимая! Не поможетъ ли намъ понять ее хоть г. Аскоченскій? Что касается до насъ, то, по слабому своему разумѣнію, мы не находимъ другого объясненія, кромѣ глубокаго развращенія мыслей самого г. Виногорова. Онъ не можетъ себѣ представить, чтобы женщина говорила серьезно, спокойно, разумно о предметахъ, касающихся отношеній мужчины и женщины. Говорить о развратѣ, о нарушеніи семейнаго счастья, о несчастной судьбѣ дѣвушекъ, выходящихъ замужъ по расчетамъ или по принужденію, словомъ, о всей страшной безсмыслицѣ, часто господствующей въ отношеніяхъ двухъ половъ, о тѣхъ жестокихъ страданіяхъ, которыя происходятъ, съ одной стороны, изъ

преобладанія чувственности, съ другой стороны, изъ власти предразсудковъ,—говорить обо всемъ этомъ г. Виногоровъ не считаетъ приличнымъ для женщины. Какъ видно, онъ думаетъ, что говорить объ этомъ серьезно, цѣломудренно, строго — могутъ только мужчины; женщина же, заговоривъ объ этихъ предметахъ, по его мнѣнію, непремѣнно увлечется въ нечистыя мысли и не можетъ ихъ избѣжать никакимъ образомъ. Женщина—есть существо слабое: таково поистинѣ *кавалерское* убѣжденіе г. Виногорова. Дьяволъ силенъ—сказалъ бы г. Асоченскій.

По нашему мнѣнію, и для мужчинъ и для женщинъ одинаково возможна серьезная, цѣломудренная рѣчь обо всемъ, что необходимо входить въ сферу понятій зрѣлаго человека. Если на слушателей рѣчь производитъ различное впечатлѣніе, то виновать не тотъ, кто произноситъ рѣчь. Это впечатлѣніе, намъ кажется, можно правильно подраздѣлить на три рода:

1) Одни — или поймутъ сказанное въ настоящемъ его смыслѣ, или вовсе ничего не поймутъ,—тутъ не можетъ быть и рѣчи о вредѣ.

2) Другіе обидятся, что имъ сказали о томъ, о чемъ они будто-бы и понятія не имѣли—обидчивость несправедливая и совершенно безвредная.

3) Третьи, наконецъ (и въ числѣ ихъ г. Виногоровъ), поймутъ въ сказанномъ только то, что вызываетъ чувственность, найдутъ въ немъ только поводъ къ игрѣ своей фантазіи. Для такихъ сказанное будетъ вредно, очень вредно. Но сдѣлайте милость, найдите мнѣ, что же не вредно для такихъ господъ? Что можетъ исцѣлить ихъ? Очевидно, только одно—повтореніе серьезныхъ рѣчей о тѣхъ же предметахъ, внушеніе имъ серьезнаго взгляда на нихъ.

То же самое мы должны сказать о содержаніи и о впечатлѣніи поэтическихъ произведеній.

Пушкинъ, какъ поэтъ и какъ великій поэтъ, необходимо обнимаетъ всѣ сферы жизни. Какъ поэтъ вполне, безусловно (для русскихъ Пушкинъ есть мѣра всякой поэзіи), онъ понимаетъ жизнь глубоко, серьезно.

Онъ вдохновенъ былъ свыше

И съ высоты взираетъ на жизнь.

Поэтому Пушкинъ,—мы приводимъ это, какъ одно изъ сильнѣйшихъ доказательствъ его неизмѣримой великости,—былъ цѣломудренъ и чистъ въ высочайшей степени. Его стихотворенія могутъ быть прекраснѣйшею школою для истиннаго пониманія любви, для проясненія грубыхъ понятій, для возведенія животнаго чувства, иногда возникающаго въ человѣкѣ, въ истинно-человѣческій идеалъ. При этомъ мы конечно предполагаемъ правильное, глубокое пониманіе произведеній Пушкина, а не такое, къ какому, напримѣръ, способенъ г. Виногоровъ.

Г. Виногоровъ, разумѣется, очень хорошо чувствовалъ, противъ кого онъ говоритъ. Онъ понималъ, что имя Пушкина опасный врагъ для такого рыцаря, который выступаетъ на поприще во имя нравственности и стыдливости. Вотъ почему онъ съ особенною радостью ссылается на стихотвореніе того же Пушкина:

Нѣтъ я не дорожу мятежнымъ наслажденьемъ.

Напрасныя усилія! Смѣшно ссылаться на шутку, на мимолетное слово, которое было произнесено вовсе не съ тѣмъ, чтобы раздаваться публично. Но всего замѣчательнѣе то, что и здѣсь, и въ этомъ мимолетномъ словѣ, высокая натура поэта не измѣнила себя. Г. Виногоровъ не замѣчаетъ, что весь смыслъ, все значеніе стихотворенія уже содержатся въ этомъ первомъ стихѣ:

Нѣтъ я не дорожу мятежнымъ наслажденьемъ.

Можетъ ли быть что-нибудь чище, какъ полная свобода отъ власти *наслаждений*? Только г. Виногорову могло вообразиться, что описаніе этихъ наслажденій, сдѣланное *въ шутку*, составляетъ главное содержаніе стихотворенія, что поэтъ, только шути, не дорожить наслажденіями, а на самомъ дѣлѣ только и дорожить, что ими. Вообще, о двѣдушкахъ, о женщинахъ и о поэтахъ г. Виногоровъ самаго страннаго мнѣнія. Онъ очень подозрителенъ, Богъ знаетъ по какой причинѣ.

Таковы внутреннія убѣжденія и сердечныя чувства г. Виногорова. Читатель видитъ, что они вполне объясняютъ его поступокъ. Одно другого стоитъ.

Въ 9 № «Вѣка» явилась замѣтка отъ редакціи. Редакція объявляетъ, что она получила письмо отъ г. Михайлова, касающееся статьи г. Виногорова, что это письмо и свои *объясненія* она напечатаетъ въ слѣдующемъ № «Вѣка». Но, что еще раньше этого письма, она *приняла вст мѣры, чтобы извиниться передъ г-жею Толмачевою*. Сердечно радуемся деликатности, которую такимъ образомъ обнаружила редакція. Мы вполне увѣрены, что она тутъ не виновата, а только одинъ г. Виногоровъ способенъ не только подумать то, что онъ думалъ, но изложить это письменно, пересмотрѣть, отправить въ типографію, продержатъ корректуру и, наконецъ, спокойно выпустить въ свѣтъ свою чудовищную статью.

2. Безобразный поступокъ «Вѣка» *).

Изъ объясненій редакціи и самого г. Виногорова, явившихся въ 10 № «Вѣка», видно, что дѣло о поступкѣ «Вѣка» сопровождается великою путаницею понятій. Поэтому, можетъ быть, не будетъ лишнимъ сказать еще нѣсколько словъ объ этомъ интересномъ случаѣ.

Объ статейки въ 10 № «Вѣка» представляютъ высокий интересъ. Дѣло въ нихъ уясняется, получаетъ опредѣленность и круглоту.

Читатели, напримѣръ, могли думать, что статейка Камня Виногорова о г-жѣ Толмачевой попала въ «Вѣкъ» по недосмотру, что редакція не раздѣляла его чувствъ и мыслей, и что послѣ подобнаго дебюта Камень Виногоровъ если не совсѣмъ сойдетъ со сцены, то долженъ будетъ явиться въ новой маскѣ. А между тѣмъ дѣло не такъ. Редакція «Вѣка»

*) Подъ этимъ же заглавіемъ въ 51 № „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1861 г. была напечатана статья Г. Михайловскаго, выразившаго также свое негодованіе противъ Виногорова. *Изд.*

вступаетъ за г. Виногорова, какъ за нѣчто очень дорогое и близкое. Притомъ ея *Объясненіе* и *Отвѣтъ* Виногорова совершенно совпадаютъ и по приѣмамъ и по сущности мыслей. Совершенно ясно, что редакція принимаетъ на себя вину г. Виногорова; она его защищаетъ, она даже хвалить его статью и находить только *неосмотрительными нѣкоторыя выраженія, въ нее вкравшіяся*.

Потомъ и редакція и г. Виногоровъ вполне признають свою вину и приносятъ публичное покаяніе. Редакція говорить, что она должна *чистосердечно извиниться* за выше-помянутыя *вкравшіяся* выраженія, а г. Виногоровъ кается, что *употребилъ нѣсколько такихъ выраженій, которыя справедливо могутъ показаться глубоко оскорбительными для женщины*, то есть. говоря не столь кудряво, просто *употребилъ глубокооскорбительныя выраженія*.

Покаяніе — дѣло хорошее, особенно когда оно дѣлается чистосердечно. Только въ настоящемъ случаѣ трудно этому повѣрить. Въ самомъ дѣлѣ, покаявшись, редакція и г. Виногоровъ остались очень довольны собою; онѣ возгордились этимъ, какъ подвигомъ, и требуютъ себѣ заслуженныхъ похвалъ. «Я, пишетъ г. Виногоровъ, такъ высоко ставлю достоинство женщины, такъ свято чту ея права, что эти нѣсколько выраженій моихъ, вырвавшихся совершенно неволью, безъ всякаго злого умысла, непріятно подѣйствовали на меня, можетъ быть, *больше, чѣмъ на кого-нибудь другого*. Только откровенное сознаніе предъ лицомъ всего общества, надѣюсь, сниметъ съ меня поворный укоръ—въ умышленномъ оскорбленіи женщины».

А редакція подымаетъ еще тономъ выше. «Высоко ставя нравственное самовоздержаніе литературы, пишетъ она, и признавая нравственный отпоръ ея лучшимъ оружіемъ противъ всякихъ нарушеній нравственныхъ приличій, мы полагаемъ, что *въ настоящемъ случаѣ нѣсколько строкъ замѣтки редакціи «Вѣка» послужили этому важному дѣлу больше, чѣмъ могутъ послужить всякіе протесты на страницахъ другихъ журналовъ*».

Вотъ подите, попробуйте справиться съ писателями, владеющимъ такимъ ловкимъ перомъ! Ихъ учили въ безо-

бразномъ поступкѣ; но что же выходитъ? Оказывается, что на г. Виногорова его собственные выраженія подѣйствовали сильнѣе, чѣмъ на г. Михайлова и *на кого бы то ни было другого*, и что редакція «Вѣка» совершила такой благородный подвигъ, до котораго другимъ редакціямъ никогда и не дойти. Оказывается, что Камень Виногоровъ благоговѣетъ передъ женщинами, а редакція благоговѣетъ передъ литературою; словомъ, въ виновникахъ *безобразнаго поступка* обнаруживается образъ мыслей, изумляющій и подавляющій своимъ благородствомъ. Удивительно ловко!

Какъ видно, нѣкоторые сочинители до того втянулись въ литературу, что, сочиняя себѣ, по мѣрѣ надобности, возвышенный образъ мыслей, воображаютъ, что они его, дѣйствительно, имѣютъ и что нѣсколько печатныхъ фразъ, кудряво заявляющихъ благородныя чувства, могутъ доказать и замѣнить эти чувства.

Въ статейкахъ, о которыхъ мы говоримъ, есть еще много любопытнаго. За исключеніемъ немногихъ фразъ, которыя мы привели и въ которыхъ признается вина «Вѣка», онѣ наполнены всевозможными оправданіями, судя по которымъ, можно подумать, что «Вѣкъ» правъ кругомъ. Напримѣръ, вмѣсто того чтобы говорить о своемъ поступкѣ, «Вѣкъ» дѣлаетъ ловкую диверсію и нападаетъ на Михайлова. Онъ коварно замѣчаетъ, что статья г. Михайлова напечатана въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», которыя всегда рады отыскивать *безобразія* въ другихъ редакціяхъ, что она написана слишкомъ рѣзко, *не литературно*. Г. Виногоровъ говоритъ даже, что она написана *въ припадкѣ умственнаго разстройства* (таковы, какъ видно, литературныя *приличія* «Вѣка»). Затѣмъ «Вѣкъ» объявляетъ, что онъ и не думалъ нападать на г-жу Толмачеву, что *предметомъ шутки была только г-жа Толмачева, какою ее изобразилъ фельетонъ С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*. Дѣло доходить до того, что Камень Виногоровъ начинаетъ выставять себя не только не какъ порицателя, а даже прямо какъ *защитника* г-жи Толмачевой. Корреспондентъ, по его мнѣнію, изобразилъ ее *цинически*. Да, повторяетъ г. Виногоровъ, *цинически!* Камень Виногоровъ возсталъ противъ такого поступка, напи-

салъ свою статью и теперь самодовольно спрашиваетъ: «пусть рѣшатъ, кто изъ насъ выводить на посмѣяніе г-жу Толмачеву,—я или неизвѣстный аналогистъ *) ея?...»

Вотъ они куда пошли! Вотъ каково *чистосердечное покаяніе «Вѣка»!*

Но что всего хуже, что невѣроятно и чудовищно до послѣдней степени, это то, что «Вѣкъ» *повторяетъ свои обвиненія* противъ г-жи Толмачевой. Камень Виногоровъ увѣряетъ, будто онъ умѣетъ отличать чопорную pruderie отъ *совершенной беззащитности*, при чемъ эта послѣдняя относится прямо къ г-жѣ Толмачевой. Онъ увѣряетъ, что чтеніе «Египетскихъ ночей» принадлежитъ къ *окончательному сбрасыванію съ себя этихъ условий, налагаемыхъ на женщину обществомъ и въ врожденною натурою.*

Какъ вамъ это нравится, читатель?

Вотъ вамъ, господа моралисты, фактъ, который самымъ дѣломъ разрѣшаетъ вопросъ. На чьей сторонѣ ваше нравственное чувство—на сторонѣ ли г. Виногорова, или г-жи Толмачевой? Не ясно ли, что мы не имѣемъ никакого права запрещать дамамъ читать «Египетскія Ночи», потому что, запрещая имъ это чтеніе, мы ихъ оскорбимъ нравственно, мы предположимъ въ нихъ нѣчто дурное, а на это мы не имѣемъ никакого права. Такъ точно и во всемъ другомъ. Тотъ, кто идетъ противъ свободы поступковъ, грѣшитъ неизбежно, а тотъ, кто пользуется этою свободою, всегда можетъ быть чистъ и безпороченъ. Даже полная, твердая, сознательная чистота возможна только при полной свободѣ. Вѣра въ чистоту и силу человѣческой души, въ достоинство ея свободного, самостоятельнаго развитія—есть одно изъ лучшихъ достояній нашего времени; оскорблять эту вѣру—грѣшно.**)

1861 г. 4 Марта.

*) Н. Н. Страховъ подъ первой статьей не подписался. *Изд.*

**) Настоящая статья, какъ и первая, предназначалась также для «Времени», но не была однако напечатана. Разъясненіемъ этого можетъ служить слѣдующая выдержка изъ статьи «Отвѣтъ Русскому Вѣстнику» («Время». 1861, 5 №., стр. 19—20. Статья эта не подписана, но она принадлежитъ самому О. Достоевскому): «Этотъ вопросъ („безобразный поступокъ „Вѣка“) до того наконецъ надоѣлъ....., что журналы готовы стыдиться другъ друга за участіе въ немъ. Сознаемся откровенно: мы тоже увлеклись этимъ вопросомъ и даже напечатали о немъ двѣ статьи—одну отъ редакціи, а другую, доставленную намъ со стороны». *Изд.*

3. Отрывокъ изъ письма въ редакцію „Времени“.*)

(«Время». 1861, № 5).

Если бы *Египетскія ночи* были и отрывкомъ,**) то и тогда о такомъ поэтѣ, какъ Пушкинъ, нельзя бы было сказать, что его отрывокъ не вполне *одухотворенъ*. Но *Египетскія ночи* вовсе не отрывокъ. Гдѣ же вы нашли въ нихъ признаки неоконченности, фрагментарности? Напротивъ—какая полная картина! Какая дивная соразмѣрность частей, опредѣленность и законченность! Читатели знаютъ, въ какой драгоценной оправѣ представилъ намъ Пушкинъ этотъ особенно дорогой и для него самого перлъ своей поэзіи. «Египетскія ночи»—импровизація, но это полная, dokonченная импровизація. Вообще, великій поэтъ самъ сдѣлалъ все, что можно, чтобы растолковать намъ свое произведеніе. Онъ заставилъ читать его итальянца, человѣка, выросшаго на богатѣйшей почвѣ искусства, художника до мозга костей, человѣка простодушнаго и чуждаго всякой щепетильности. Спокойно произноситъ онъ въ аристократической залѣ: *у великой царицы было много любовниковъ*, и съ изумленіемъ видитъ, какъ сѣверные варвары начинаютъ ухмыляться и хохотать.

Такая исторія идетъ, какъ видите, и до нашихъ дней. Въ «Египетскихъ ночахъ» Пушкинъ самъ художественно выразилъ дорогой для души его вопросъ о *нѣкоторыхъ отношеніяхъ искусства къ обществу*. Вопросъ остался до сихъ поръ. И теперь импровизаторъ «Ночей» могъ бы слышать новый смѣхъ надъ нимъ сѣверныхъ варваровъ. Стран-

*) Это—другая статья Н. Н. Страхова по поводу „Египетскихъ ночей“, которая не была напечатана во „Времени“, и только отрывокъ ея приведенъ въ концѣ названной выше статьи О. М. Достоевскаго—„Отвѣтъ Русскому Вѣстнику“. Ограничиваемся приводимымъ отрывкомъ и не печатаемъ всей статьи и на этотъ разъ—потому, что рукопись ея, къ сожалѣнію, не сохранилась въ цѣлости. *Изд.*

**) Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, въ статьѣ по поводу „безобразнаго поступка „Вѣка“ (1861, 2), стихотвореніе „Египетскія ночи“ названо „фрагментомъ“, представляющимъ „только намекъ, мотивъ, нѣсколько чудныхъ аккордовъ, въ которыхъ... ничто еще не раскрывается для полного и яснаго созерцанія“... („Время“. 1861, 5, стр. 31). *Изд.*

ный мы народъ, въ самомъ дѣлѣ! Очень справедливо, кажется, Пушкинъ примѣнилъ къ намъ стихи Петрарки:

La sotto giorni nubilosi e brevi
Nasce una gente a cui l'morir non dole *)

Когда намъ говорить о смерти, когда клянутся богами ада и указываютъ намъ на *смертную кожу* и *падающія головы*, мы слушаемъ съ сѣвѣрною холодною; насъ это не трогаетъ, не ужасаетъ. Но чуть заговорили о мощной киприадѣ и о золотомъ ложѣ, у насъ ужъ вострепнулись уши, насъ это волнуетъ и подмываетъ... Мы пуритане по крови; мы мало любимъ жизнь, и потому искусство кажется намъ соблазномъ.

Да, дурно мы понимаемъ искусство. Не научилъ насъ этому и Пушкинъ, самъ пострадавшій и погибшій въ нашемъ обществѣ, кажется, преимущественно за то, что былъ по-этомъ исполнѣн до конца. Только это дурное пониманіе можетъ объяснить намъ всѣ толкованія «Русскаго Вѣстника» о страстности и о ея различныхъ выраженіяхъ.

Вотъ какія черныя сомнѣнія пришли мнѣ на мысль, когда я старался вникнуть въ статью «Русскаго Вѣстника». Какъ понять странное его упорство? Чѣмъ объяснить, съ одной стороны, его робкія умолчанія, съ другой—его дерзко-смѣлыя увѣренія? Съ невольнымъ ужасомъ спрашиваю я себя: что же будетъ съ нами, что мы несчастные будемъ дѣлать, если онъ, если самъ «Русскій Вѣстникъ» станетъ учить насъ такъ дурно въ такихъ важныхъ вопросахъ?

«Русскій Вѣстникъ» смотритъ на наше общество и на нашу литературу съ большимъ высокомеріемъ. Скажу вамъ прямо, этотъ взглядъ мнѣ нравится; я радъ бы быть всякому высокомерію, лишь бы только высокомерные люди имѣли дѣйствительное право смотрѣть свысока. «Русскій Вѣстникъ» упрекаетъ нашу литературу въ *полумысляхъ* и *получувствахъ*; онъ называетъ наше общество «порожнимъ, ли-

*) Тамъ подъ туманными и короткими днями
Родится племя, которому не больно умирать.

шеннымъ собственнымъ интересомъ, не имѣющимъ собственной мысли, не жившимъ умственно, безхарактернымъ и слабымъ».

По моему убѣжденію все это сказано мѣтко и, говоря вообще, справедливо въ величайшей степени.

Но какъ же вздумалъ «Русскій Вѣстникъ» помочь такому печальному состоянію дѣлъ? Что *самъ онъ* дѣлаетъ въ этомъ обществѣ и въ этой литературѣ?

Какая странность! Чувствуя подъ ногами эту же самую колеблющуюся почву, находясь среди общества хаотическаго и подверженнаго броженію, онъ вдругъ вздумалъ заговорить языкомъ общества съ твердыми правилами и съ крѣпкимъ общественнымъ мнѣніемъ. Чтобы доказать нашу *незрѣлость*, онъ вздумалъ заговорить *зрѣлымъ* языкомъ и, не имѣя его у себя въ наличности, взялъ его на прокатъ въ Англіи или въ какой-нибудь другой зрѣлой странѣ.

Фальшивость такого приѣма всего яснѣе, кажется, обнаруживается въ настоящемъ случаѣ. Маска падаетъ и комедія прекращается, какъ скоро дѣло дойдетъ до дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, напрасно «Русскій Вѣстникъ» говорить, что все ясно и просто, что стоитъ только не отступать отъ здраваго смысла, чтобы отчетливо разрѣшить цѣль; напрасно замазываетъ и заглушаетъ вопросы; они живы и выступаютъ съ прежнею силою, несмотря на громкія фразы и тучи витіеватыхъ словъ.

Не ловко русскому принимать на себя видъ англичанина или француза. Тамъ, въ обществахъ окрѣпшихъ и опредѣлившихся, дѣйствительно, дѣло рѣшилось бы быстро и опредѣленно. Но пусть приметъ это во вниманіе «Русскій Вѣстникъ»: тамъ вовсе бы не стали разсуждать, тамъ даже и не вздумали бы сравнивать актрисъ съ благородными дамами. «Русскій Вѣстникъ», какъ русскій, принужденъ былъ пуститься въ разсужденія и дошелъ до полныхъ промаховъ.

«Русскій Вѣстникъ» говоритъ, что дѣло просто и ясно; но въ его громкихъ фразахъ невозможно отыскать *никакого опредѣленнаго мнѣнія*. Да мнѣ кажется, что такого мнѣнія нѣтъ, да и *не можетъ быть* у «Русскаго Вѣстника».

Если разглядѣть это, то какою неотразимою фальшью отзовется этотъ громкій тонъ, этотъ самоувѣренный языкъ статьи. Къ чему же служить эта страшная шумиха? Кого и зачѣмъ нужно обманывать съ такимъ великимъ усердіемъ?

Дурной примѣръ даетъ «Русскій Вѣстникъ» русской литературѣ!

XI.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О г. Писемскомъ по поводу его сочиненій.

Томъ I. Изд. Стелловскаго. Спб. 1861 г.

(«Время». 1861, № 7).

Въ нашей литературѣ были, есть и конечно будутъ впредь явленія фальшивыя, ненормальныя. На литературу нельзя смотрѣть такъ, какъ, напримѣръ, ботаникъ смотритъ на растенія. Для ботаника каждое растеніе одинаково правильно, одинаково заслуживаетъ мѣсто въ системѣ; все въ своемъ родѣ совершенно, говорятъ иногда натуралисты. Подобный взглядъ непримѣнимъ къ художественной или какой-нибудь другой духовной дѣятельности. Общее правило здѣсь то, что чѣмъ выше сфера такой дѣятельности, тѣмъ обильнѣе она ненормальными явленіями. Такъ напримѣръ, плохихъ стиховъ, которые собственно не должны бы считаться стихами, написано и пишется гораздо больше, чѣмъ настоящихъ стиховъ, т. е. стиховъ поэтическихъ.

Какъ ни горестна мысль, которую я теперь излагаю, доскажу ее до конца. Ненормальныя явленія въ исторіи литературы не оставляютъ никакого слѣда; для нихъ собственно придумано поэтами выраженіе, что они *падаютъ въ Лету*. Но пока они существуютъ, такъ какъ они составляютъ настоящее, а не прошедшее, они имѣютъ всѣ видимые признаки жизненности. Писатели получаютъ громадную извѣстность, сочиненія ихъ жадно раскупаются и читаются, воз-

буждаютъ толки, критики, даже переводятся на иностранные языки. Точно такъ газета или журналъ быстро приобрѣтають множество подписчиковъ, долгіе годы съ великимъ успѣхомъ увеселяють и занимають публику; и потомъ, какъ я сказалъ, все это—бухъ въ Лету.

Если мы оглянемся на прошлое и даже очень недавнее прошлое нашей литературы, то конечно признаемъ, что наша картина вѣрна. По сторонамъ главнаго русла нашей литературы, возникало множество ненормальныхъ явленій, получавшихъ часто огромные размѣры, сіявшихъ очень ярко и шумѣвшихъ очень громко. Теперь все это исчезло; помнятъ конечно громкія имена, но никто ихъ не читаетъ и не вздумаетъ читать. Въ то же время нормальныя явленія отличаются, какъ мы знаемъ, поразительною живучестью. Много ли было написано коротенькихъ стихотвореній *подъ литературой оута?* Но и теперь читатель, равнодушно пропускающій стихотворенія послѣдней книжки журнала, съ радостью перечесть и нарочно отыщеть въ старыхъ книгахъ стихи Ключникова.

Тотъ же взглядъ, разумѣется, справедливъ и въ отношеніи къ современной литературѣ. И теперь есть любимые и весьма извѣстные писатели, любимые и весьма успѣвающіе журналы, которые со временемъ бухнутъ въ Лету. Но, благосклонный читатель, не жди отъ меня, чтобы я сейчасъ же началъ разсматривать нашу литературу съ такой опасной точки зрѣнія. Сколько бы ты ни былъ любопытенъ, я не могу удовлетворить твоего любопытства. Въ самомъ дѣлѣ, если бы я сталъ пересчитывать по пальцамъ наши фальшивыя знаменитости, если бы я назвалъ какой-нибудь блестящій журналъ явленіемъ совершенно *ненормальнымъ*,—

Какой бы шумъ вы подняли друзья,
Когда бы сдѣлалъ это я!

Со временемъ, конечно, мало по малу ты узнаешь все это, читатель; узнаешь съ полными и ясными доказательствами. Вдругъ же слѣдять этого нельзя. Я потому только и заговорилъ о грозныхъ приговорахъ, возлагаемыхъ на меня обязанностью критика, что предо мною лежитъ книга, оче-

видно не подвергающаяся никакой опасности грознаго приговора. Г. Писемскій принадлежитъ, безъ сомнѣнія, къ главному руслу нашей литературы: его извѣстность заслужена истиннымъ талантомъ.

Извѣстно, что г. Писемскій принадлежитъ къ тому *отрицательному* направленію нашей литературы, родоначальникомъ котораго былъ Гоголь. Эту школу называли нѣкогда у насъ *натуральною* школою, и къ дальнѣйшему ея развитію нужно отнести и мимолетныя явленія обличительной литературы, и болѣе прочныя и правильныя явленія современнаго реализма.

Но сказать, что г. Писемскій—реалистъ, значило-бы сказать очень мало; потому что, какъ кажется, реализмъ его отличается чрезвычайною индивидуальностью, рѣзкими особенностями, въ которыхъ, какъ это всегда бываетъ, заключается и его сила и его слабость.

Первое и главное впечатлѣніе, поражающее читателя при чтеніи его разсказовъ, есть какая-то нагота, въ которой они представляютъ жизнь. Васъ охватываетъ холодомъ и неволью приковывается къ себѣ голая правда, ничѣмъ не смягченное, суровое разоблаченіе дѣйствительности. Ощущеніе это можно сравнить съ тѣмъ, о которомъ упоминаетъ Гоголь, говоря, что есть явленія, «которыя вдругъ обдадутъ, какъ варомъ, какого-нибудь замечтавашагося двадцатилѣтняго юношу, когда, возвращаясь изъ театра, несетъ онъ въ головѣ испанскую улицу, ночь, чудный женскій образъ съ гитарой и кудрями. Чего нѣтъ и что не грезится въ головѣ его? Онъ въ небесахъ и къ Шиллеру заѣхалъ въ гости,—и вдругъ раздаются надъ нимъ, какъ громъ, роковыя слова и видитъ онъ, что вновь очутился на землѣ, и даже на Сѣнной площади, и даже близъ кабака, и вновь пошла по будничному щеголять передъ нимъ жизнь».

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ такое отношеніе къ жизни выступаетъ и у г. Писемскаго очень замѣтно. Напримѣръ, его несчастный Ферапонтовъ въ «Старческомъ грѣхѣ» иногда очень явственно *запѣсжавтъ къ Шиллеру въ гости*.

Оскорбленный идеализмъ—вотъ, повидимому, главная нота, звучащая въ произведеніяхъ г. Писемскаго или, говоря

старымъ слогомъ, муза, его вдохновляющая. Въ самомъ дѣлѣ критикъ, столь невѣрно назвавшій *темнымъ царствомъ* міръ, изображаемый въ произведеніяхъ Островскаго, имѣлъ бы полное право примѣнить свое названіе къ міру произведеній г. Писемскаго. Вотъ, дѣйствительно, темное царство, въ которое не проникаетъ никакихъ свѣтлыхъ лучей, гдѣ все мертво, душно и гнило. Очень часто у г. Писемскаго встрѣчаются лица, которыя какъ-будто должны возбуждать симпатію читателей и которыя обыкновенно погибаютъ жертвою окружающихъ вліяній. Таковъ Ферапонтовъ въ «Старческомъ грѣхѣ», Анна Павловна въ «Боярщинѣ», Павелъ въ «Тюфякѣ», Рымовъ въ «Комикѣ», Ананій въ «Горькой судьбинѣ» и пр. Но и эти лица всегда болѣе или менѣе отталкиваютъ отъ себя читателей какими-нибудь уродствами, безпощадно выставленными на свѣтъ. Не такъ ли и въ самомъ дѣлѣ бываетъ въ жизни? Люди добрые—глупы, люди умные—слабы, люди крѣпкіе—плуты и т. д.

Какъ бы темны, грязны и уродливы ни были однакоже явленія жизни, искусство всегда имѣетъ на нихъ право; но имѣетъ право только потому, что имѣетъ силу *возводить ихъ въ перлы созданія*. Жизнь и искусство суть двѣ вещи различныя. Жизнь можетъ быть темна и ничтожна; искусство всегда свѣтло и высоко. Явленія жизни могутъ быть уродливы и дики; произведенія искусства всегда должны быть стройны и прекрасны. Жизнь—иногда грязь, искусство—всегда перлы. И слѣдовательно, когда передъ нами перлы искусства, то отношеніе къ нимъ всегда должно быть одно: мы можемъ только любить ихъ и наслаждаться ими.

Между тѣмъ, какъ я уже замѣтилъ, въ чувствѣ, возбуждаемомъ произведеніями г. Писемскаго, есть что-то тяжелое. Въ холодѣ дѣйствительности, которымъ отъ нихъ вѣетъ, есть что-то рѣзкое. Весьма замѣчательно, что это неопредѣленное, непріятное чувство выразилось даже какимъ-то негодованіемъ на г. Писемскаго. На него сердилась Москва за его Калиновича и за Ананія. Разумѣется, такимъ негодованіемъ г. Писемскій можетъ только справедливо гордиться.

Должно быть, онъ кололъ мѣтко, или его правда, какъ говорится, глаза колетъ.

Но, можетъ быть, это негодованіе имѣло другой источникъ, болѣе справедливый. Нельзя отрицать глубокой правдивости, составляющей неотъемлемое достоинство произведеній г. Писемскаго. Но можно приступить къ нимъ съ другими требованіями; можно потребовать отъ нихъ болѣе *полной* правдивости, не одной неуклонной вѣрности, но вмѣстѣ и глубины. Отъ простого, *точного* разсказа о происшествіи, которое намъ случилось видѣть, до художественнаго его воспроизведенія есть тысячи степеней, и художникъ стремится къ высшей изъ нихъ.

Если источникъ произведеній г. Писемскаго есть оскорбленный идеализмъ, то эти произведенія должны заглаживать оскорбленіе, должны по-своему, художественно примирять насъ съ жизнью. Какъ совершается это примиреніе—извѣстно. Если предметы озарены свѣтомъ искусства, такъ что читателемъ неудержимо овладѣваютъ

Негодованье, сожалѣнье

или глубокій смѣхъ, то идеализмъ отомщенъ. Потому что читатель негодующій, скорбящій или смѣющійся уже этимъ самымъ становится *выше* жизни; онъ судитъ жизнь; онъ увлеченъ искусствомъ въ ту сферу, въ которой явленія жизни являются въ настоящемъ ихъ свѣтѣ; силамъ души дано ихъ правильное обнаруженіе; найдены тѣ струны, которыя должны отвѣчать на извѣстныя явленія.

У г. Писемскаго такое примиреніе не совершается вполнѣ. Если бы мы захотѣли дать преувеличенную рѣзкость нашему приговору, мы могли бы сказать, что произведенія г. Писемскаго не пробуждаютъ ни негодованія, ни смѣха, ни сожалѣнія, но что они производятъ въ читателяхъ только *недоумѣніе*. Въ этомъ можно видѣть величайшую реальность этихъ произведеній. Они возбуждаютъ въ насъ недоумѣніе точно такъ, какъ нерѣдко возбуждаютъ его разные случаи и событія, встрѣчающіяся намъ въ жизни, когда мы не въ силахъ вполнѣ понять ихъ, вполнѣ проникнуть въ ихъ смыслъ и зна-

ченіе. Г. Писемскій, если можно такъ сказать, рисуетъ намъ *темноту* жизни.

Лица и событія г. Писемскаго не довольно смѣшать, мало трогаютъ, слабо возбуждаютъ негодованіе. Его рассказы не увлекаютъ: они только *занимательны*, то есть опять-таки они представляютъ своего рода реальный интересъ, почти такой же, какой возбуждаютъ въ насъ дѣйствительныя происшествія, или встрѣча съ новыми, незнакомыми лицами. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, несмотря на все наше вниманіе, мы чувствуемъ недостатокъ того глубокаго свѣта, которымъ искусство проницаетъ дѣйствительность и озаряетъ сущность дѣла.

Пустота, мракъ, житейская грязь во всей ея сѣрой безличности и блѣдномъ безобразіи... Подобный характеръ искусства свидѣтельствуетъ, можетъ быть, что недостаточно силенъ, крѣпокъ и свѣтелъ идеалъ, который здѣсь судитъ жизнь. Писатель какъ-будто не довѣряетъ себѣ или, просто, не умѣетъ смѣло подняться въ область идеала, чтобы ярко и выпукло выступили передъ нимъ явленія. Онъ смотритъ на жизнь скептически, даже цинически, и подозрительно толкуетъ каждое ея явленіе; онъ не приближается къ жизни, не озаряетъ ее, а скорѣе отталкиваетъ отъ себя и покрываетъ тѣнью. У Гоголя, напримѣръ, жизнь, какъ онъ самъ выражается, дѣйствительно *щеголяетъ* по-будничному; она тѣмъ смѣшнѣе и жалче, чѣмъ сильнѣе щеголяетъ собою; у г. Писемскаго отъ жизни вѣетъ чѣмъ-то мертвымъ и холоднымъ.

Намъ кажется, что этотъ недостатокъ примиренія съ идеаломъ во взглядѣ самого писателя составляетъ главную причину тяжелаго впечатлѣнія, возбуждаемаго произведеніями г. Писемскаго. Если взять его произведенія въ ихъ цѣломъ, то нельзя не совнаться, что это впечатлѣніе доходитъ до чего-то трагическаго, хотя и не достигаетъ полной силы трагизма. Названіе одного изъ послѣднихъ его произведеній— *Горькая судьбина*, повидимому, могло бы быть надписано надъ полнымъ собраніемъ всѣхъ его произведеній. Вездѣ одинаково горькая, одинаково неотвратимая судьба, роковая гибель или оскорбленіе всего, хоть сколько-нибудь заслуживающаго сочувствія. Въ чемъ состоятъ рассказы г. Писемскаго?

Все это рассказы о преступленіяхъ или несчастіяхъ, въ которыхъ страдаютъ люди, повидимому, нисколько невинноватыя. Этихъ людей губятъ какія-то темныя силы, враждебные элементы, господствующіе въ той средѣ, куда они попадаютъ. Для того, чтобы привести эти силы къ обнаруженію, г. Писемскій употребляетъ даже довольно механическій приѣмъ. Часто дѣло у него начинается тѣмъ, что дѣйствующія лица *приѣзжаютъ* въ то мѣсто, гдѣ они или сами погибаютъ, или другихъ губятъ. Такъ, Ананій является къ женѣ. Тыфякъ возвращается изъ университета въ родной городъ, князь и Эльчаниновъ въ Боярщину и проч. Затѣмъ, когда лица сопоставлены, начинается ихъ взаимодействіе, которое совершается такъ же механически, такъ же неизбежно, какъ совершаются процессы въ безжизненной природѣ. Такъ, камень тонетъ въ водѣ, или пухъ несется по воздуху. Дѣйствія, развитія, драмы, борьбы у г. Писемскаго почти нѣтъ. Ни одно изъ лицъ не сознаетъ своего положенія, не дѣлаетъ попытки сбросить съ себя иго обстоятельствъ и уйти отъ своей *горькой судьбины*. Ходъ происшествій обыкновенно очень медленъ; событія зрѣютъ сами собою. Эти люди, тонущіе въ непроходимомъ болотѣ, очень рѣдко дѣлаютъ даже безсознательныя движенія, чтобы вырваться изъ него, и тотчасъ опускаютъ руки, чувствуя свою слабость и бесполезность усилій.

Отъ этого всѣ происшествія получаютъ какой-то нечеловѣческій характеръ стихійности, мертвенности, которая по временамъ возбуждаетъ ужасъ. Духовныя силы, выводимыя на сцену г. Писемскимъ, дѣйствуютъ какъ слѣпыя стихіи, какъ огонь и воля. Весьма замѣчательно то обстоятельство, что въ большей части случаевъ дѣйствующія лица г. Писемскаго совершенно *не понимаютъ* другъ друга; между ними, собственно говоря, нѣтъ никакого духовнаго *общенія*, при которомъ только и возможно сколько-нибудь разумное, просвѣщенное взаимодействіе. Возьмите «Боярщину», «Тыфяка», «Бракъ по страсти»; кто въ этой толпѣ лицъ понимаетъ одинъ другого? Понятно, что при такомъ непониманіи драмы быть не можетъ; каждый дѣйствуетъ *слѣпо* на другихъ и отъ столкновенія слѣпыхъ страстей и желаній происходитъ какое-то пустое, *вниманіе* бѣдствіе.

Хомяковъ въ своемъ неблагоклонномъ отзывѣ о драмѣ «Горькая судьбина» сердито замѣчаетъ, что жена Ананія, просто, дура. Казалось бы, за что тутъ сердиться? Мало ли дуръ на свѣтѣ? И отчего ихъ не выводить на сцену? Нужно только, чтобы онѣ были вѣрны дѣйствительности. Но посмотрите, какое мѣсто занимаетъ жена Ананія въ драмѣ. Она — узелъ, связывающій всѣ лица между собою. Слѣдовательно, если она исполнѣ дура, т. е. пуста умомъ и сердцемъ, то она играетъ роль простой подставки. Драма безконечно выиграла бы, если бы это связующее лицо было достойно своей роли: какая полнота человѣческихъ чувствъ могла бы здѣсь раскрыться! Но г. Писемскій какъ-будто имѣлъ совершенно противоположное намѣреніе. Онъ хотѣлъ поразить насъ пустотою чувствъ, завязавшихъ трагедію; тѣмъ ужаснѣе всѣ страданія дѣйствующихъ лицъ и гибель ребенка и Ананія, что они происходятъ отъ глупой женщины, едва понимающей, что она дѣлаетъ. Это можетъ показаться страннымъ, какъ тѣ старинныя драмы, которыя всѣ основывались на недоразумѣніяхъ; но это становится страшнымъ, когда недоразумѣніе является какъ фактъ не случайный, но естественный, неизбежный.

Во всякомъ случаѣ, струя истинно-художественнаго реализма всегда спасаетъ произведенія г. Писемскаго отъ одно-сторонности его міросозерцанія. Мы старались только указать на особенности этого реализма и пояснить, а не отвергнуть ихъ значеніе.

ХП.

Н. А. Добролюбовъ.

По поводу перваго тома его сочиненій.

(«Время». 1862, № 3).

. Добролюбовъ умеръ. Могила, какъ говорили въ былое время, напоминаетъ о вѣчности; но въ сущности она напоминаетъ о вѣчности и теперь. Мысль невольно расширяется

и углубляется, а слѣдовательно и дѣлается спокойнѣе. Частныя, случайныя, временныя обстоятельства теряютъ ту важность, которую они, можетъ быть, имѣли для насъ; жизнь переходитъ въ исторію, человѣкъ становится законченнымъ фактомъ, требующимъ отъ насъ пониманія своего полного смысла.

Такъ мы желали бы говорить о Добролюбовѣ, хотя такой голосъ, можетъ быть, не попадетъ въ тонъ другихъ голосовъ. Надъ могилою Добролюбова въ настоящее время происходятъ такіа странныя вспышки страстей, какъ это рѣдко случается. Его поклонники и друзья до того страстны и скоры въ своихъ превознесеніяхъ, что невольно вызвали отпоръ, — вызвали насмѣшки и глумленія, которыхъ безъ этого, безъ сомнѣнія, не заслужилъ бы покойникъ. Поэтому наше желаніе говорить о Добролюбовѣ спокойно и прямо можетъ показаться страннымъ. Да и вообще, во время увлеченій разсужденія кажутся лишними и ненужными. Зачѣмъ разсуждать, когда достаточно чувствовать? Зачѣмъ цѣнить и взвѣшивать, когда нужна только симпатія? Да и что вы хотите дѣлать? скажутъ намъ. Вы хотите писать критику на сочиненія критика, хотите анализъ подвергать анализу, сажать мысль на мысль? Къ чему намъ эти тонкости и ухищренія? Мы хотимъ чего-нибудь болѣе простаго, прямѣе идущаго къ дѣлу.

По счастью мысль имѣетъ свои неотъемлемыя права. Какъ бы ни велика была сумятица мнѣній, какъ бы ни были сильны порывы увлеченій, никто не рѣшится идти противъ мысли до конца. Много людей слѣпыхъ и ослѣпленныхъ, но нѣтъ такихъ, которые бы сознательно проповѣдывали слѣпоту, которые находили бы, что лучшее средство не сбиться съ пути состоитъ въ томъ, чтобы закрыть глаза. Наконецъ, истина непобѣдима. Кто разъ открылъ глаза и увидѣлъ ее, тотъ уже напрасно будетъ потомъ закрывать ихъ, чтобы не помнить того, что они видѣли.

Если же такъ, если мысль имѣетъ такую всемогущую и неизбѣжно покоряющую силу, то вмѣсто того, чтобы избѣгать ее, мы скорѣе должны на нее надѣяться. Если мы дорожимъ нашими чувствами, если даемъ имъ глубокое значеніе, то мы скорѣе должны быть увѣрены, что они не противорѣчатъ истинѣ, что истина рано или поздно оправдываетъ

ихъ. Кто крѣпко вѣритъ сердцу, тотъ не можетъ малодушествовать и, слѣдовательно, долженъ вѣрить заранѣе, что умъ подтвердитъ его сердце. Мысль и чувство не отрицаютъ другъ друга, а напротивъ, взаимно и тѣсно связаны между собою. Только пустыя мысли безсердечны, только пустыя чувства безсмысленны.

Нельзя хорошо говорить о литературѣ, не питая любви къ литературѣ; а слѣдовательно наоборотъ, всякое вѣрное сужденіе о литературѣ свидѣтельствуетъ объ извѣстной симпатіи къ ней. Страхъ передъ истиною во всякомъ случаѣ есть чувство ложное.

Итакъ, начнемъ же. Какъ скоро дѣло идетъ о литературномъ произведеніи или литературномъ дѣятелѣ, невольно припоминается общій взглядъ на нашу литературу, который давно уже утвердился и отъ котораго отказаться едва-ли еще возможно. Этотъ взглядъ состоитъ въ томъ, что наша литература, какъ и всѣ другія стороны нашей жизни, представляетъ болѣе печальныхъ, чѣмъ отрадныхъ явленій. Извѣстно, что наша жизнь умственная, поэтическая и всякая другая есть бѣдная и жалкая жизнь. Наше развитіе совершается до сихъ поръ поразительно болѣзненно. Въ самомъ дѣлѣ, перебирая одно за другимъ всѣ его явленія, мы не можемъ не видѣть, что всѣ они какъ-будто поражены недугомъ, раскрываются слабо и уродливо. Всѣмъ знакомо замѣчаніе, что наши дѣятели обыкновенно рано умираютъ. Какъ сломано ихъ физическое здоровье, такъ же точно ихъ таланты бываютъ болѣзненно искажены. Величайшія дарованія часто не избѣгаютъ уродливости. Вообще же, наши таланты быстро гаснутъ, наши умы часто блестящи и глубоки, но обыкновенно бесплодны.

Мы высоко цѣнимъ все прекрасное въ нашихъ дѣтеляхъ. Насъ соблазняютъ иногда радостныя мечты. Въ смутныхъ явленіяхъ мы любимъ замѣчать признаки богатырской силы. Намъ иногда ясно слышится неслышанная свѣжесть и мощь русской души. Но такъ смотримъ только мы, русскіе; да притомъ тутъ же еще и подсмѣемся надъ собою за подобные взгляды. Другіе же народы смотрятъ на насъ съ величайшимъ высокоуміемъ, и мы чувствуемъ всю справедливость этого высокоумія. Наша почва какъ-будто неспособна

производить лирокія и крѣпкія деревья; она рождаетъ только недорастающія и скоро гибнущія растенія. Въ нашей жизни недостаетъ простора для дѣятельности, нѣтъ возможности счастливаго развитія, правильнаго, широкаго раскрытія силъ. Отсюда понятно, почему мы такъ страстно любимъ, на примѣръ, Пушкина, явленіе почти совершенно исключительное. Пушкинъ—это дерево, которое выросло среди палицей и безводной пустыни, цвѣтокъ, который распустился въ трещинѣ бесплодной и безжизненной скалы. Чувствуя эту пустыню, ясно сознавая бѣдность окружающей насъ жизни, мы любимъ его, какъ почти единственное зрѣлое явленіе, какъ челоуѣка столь богатаго и крѣпкаго своими особенными силами, что наша атмосфера не могла задержать его развитія. Безобразіе нашей жизни его сгубило; онъ погибъ; какъ многое у насъ погибаетъ; но это былъ единственный цвѣтокъ, который прежде гибели распустился въ полномъ своемъ великолѣпіи.

Итакъ, не будетъ ничего страннаго, особеннаго или необыкновеннаго, если мы и Добролюбова отнесемъ къ недорастающимъ и болѣзненнымъ явленіямъ нашей жизни. Таково, вѣдь, громадное большинство нашихъ литературныхъ явленій. Мы не скажемъ ничего исключительнаго, если найдемъ, что Добролюбовъ есть также сила, развившаяся ненормально, въ сторону, безобразно.

Мы скажемъ это о Добролюбовѣ даже прямо и опредѣленно, чѣмъ о какомъ-нибудь другомъ явленіи, потому что признаки ненормальности здѣсь бросаются въ глаза болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь. Въ самомъ дѣлѣ, *мы легко можемъ смотреть на Добролюбова свысока*. Побужденіе къ такому взгляду, безъ сомнѣнія, у многихъ очень сильно и даже непобѣдимо. Дѣло не въ томъ, что Добролюбовъ писалъ только журнальныя статьи, легкія рецензіи, шуточные стихи «Свистка» и т. п. Мы сумѣли бы понять достоинства его дѣятельности, несмотря на ея форму; мы знаемъ, какую важность и какую цѣну могутъ имѣть легкія шуточки и всякаго рода свистопляска. Но въ настоящемъ случаѣ насъ отталкиваетъ не форма, а содержаніе дѣла. Мы чувствуемъ желаніе взглянуть свысока на Добролюбова потому, что находимъ у него очевидныя недостатки, промахи всякаго рода, мысли неточныя, недоду-

манныя, мелкія, фальшивыя, вопіющія противорѣчія и плоскости; концы, вовсе неидущіе къ началу, начала, недоведенныя до конца и т. д. Этихъ ошибокъ, этихъ примѣровъ всякаго рода путаницы и безсвязицы можно было бы набрать въ сочиненіяхъ Добролюбова столько, сколько угодно.

На это должны обратить вниманіе защитники и приверженцы Добролюбова. Они должны принять въ соображеніе, что мы люди образованные, а пожалуй и ученые. Мы просвѣщены Западомъ; остроуміе, глубокомысліе, ученость и всякаго рода умственные достоинства знакомы намъ не по слухамъ или именамъ, а на самомъ дѣлѣ, по лучшимъ образцамъ Запада, этой «страны святыхъ чудесъ», какъ сказалъ поэтъ. Мы вкусили отъ великолѣпныхъ плодовъ западной жизни и вполне умѣемъ наслаждаться ими. И потому, если бы намъ предложили вопросъ: принадлежимъ ли мы къ поклонникамъ Добролюбова? — мы могли бы обидѣться, какъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда, и отвѣчать: «помилуйте! за кого вы меня принимаете? Я Гегели изучалъ, милостивый государь, я Гёте знаю наизусть. Какъ же я могу быть поклонникомъ Добролюбова!»

Такое отношеніе не только къ Добролюбову, но и къ явленіямъ несравненно болѣе сильнымъ и блестящимъ, есть не выдумка и не предположеніе, а дѣйствительный, очень распространенный фактъ. На него стоитъ обратить вниманіе. Это не простая ошибка, не неумѣнье цѣнить, проистекающее отъ воображаемаго, мечтательнаго величія масштабовъ. Случается, что наши доморощенные нѣмцы презрительно отзываются о русской литературѣ. «Зачѣмъ я стану читать, говорить иной, Пушкина или Гоголя? Если я захочу почитать, я возьму Гёте, Шиллера.» И между тѣмъ на самомъ дѣлѣ онъ и не читаетъ и не понимаетъ ни Гёте, ни Шиллера. Не о подобныхъ сужденіяхъ мы говоримъ. Нѣтъ, мы дѣйствительно такъ развиты, такъ изощрили свои способности, такъ привыкли къ глубинѣ взглядовъ, къ мастерству изложенія, что имѣемъ право цѣнить явленія по этимъ масштабамъ, находящимся въ нашемъ полномъ обладаніи.

Въ этомъ случаѣ взглядъ нашъ часто бываетъ шире и свѣтлѣе, чѣмъ у любого европейца. Это замѣчаніе также давно

сдѣлано и представляетъ дѣйствительный фактъ. Европейцу, даже глубоко образованному, можетъ многое нравиться, что намъ справедливо кажется мелкимъ и плоскимъ. Французское остроуміе намъ кажется дѣтскимъ, нѣмецкія глубокомысленности — слишкомъ наивными; англійскій юморъ — чересчуръ сентиментальнымъ и узкимъ. Мы способны стать выше всего этого съ нашею шириною и глубиною взгляда; мы часто подшучиваемъ надъ узкими и закрѣпшими понятіями Европы...

Тѣмъ легче мы возвышаемся надъ нашею собственною литературой. Ея бѣдность, слабость, молодость стали у насъ избитымъ, общимъ мѣстомъ. На наши журналы, на наши стихи, повѣсти, критики мы смотримъ часто свысока и имѣемъ на это, повидимому, всѣ права, какія нужно: мы легко находимъ ихъ недостатки и знакомы съ явленіями несравненно лучшими.

Все это фактъ, все это живыя черты нашего развитія. «Мы Гегеля изучали, мы Гёте знаемъ наизусть!» Спрашивается однакоже, дѣйствительно ли это явленія вполнѣ отрадныя? Нетрудно увидѣть и обратную сторону медали. Въ самомъ дѣлѣ, какой плодъ всего этого умничанья и высокомерія? Повидимому, оно представляетъ прекрасный знакъ и подаетъ блестящія надежды. Если у насъ такъ много умныхъ людей съ широкимъ и свѣтлымъ взглядомъ, если мы такъ тонко и вѣрно умѣемъ *цѣнить* наши литературныя произведенія и находить ихъ недостатки, то должно думать, что печальное состояніе литературы скоро прекратится и замѣнится самымъ блистательнымъ. Если люди такого всесторонняго и трезваго ума возьмутся за дѣло, то оно должно оказать необыкновенные успѣхи. Но что же бываетъ на самомъ дѣлѣ? Увы! эти простые и естественные расчеты никогда не исполняются, какъ слѣдуетъ. Эти люди, столь вѣрно умѣющие цѣнить дѣйствія и произведенія другихъ, сами никогда не берутся за дѣло, не умѣютъ за него взяться, а если берутся, не умѣютъ его дѣлать. Они — отличные умники на то, чтобы замѣчать недѣлности и промахи, они страшно сильны отрицательною стороною; но вполнѣ цѣнить положительное, а еще болѣе — производить его они оказываются совершенно неспособными.

Вотъ въ чемъ наша бѣда, вотъ горе, которое мы терпимъ. Будучи необыкновенно умными людьми, мы поражены недугомъ безплодія, лишены всякой производительности. Мы лишены способности производить и дѣйствовать именно потому, что такъ хорошо понимаемъ всѣ односторонности и не-правильности, въ которыя можетъ впасть человѣкъ, производящій и дѣйствующій. Слишкомъ широкое сознаніе убиваетъ въ насъ дѣятельную силу. У насъ недостаетъ того простодушія, той увѣренности въ себѣ, того сосредоточенія мыслей на немногихъ предметахъ и задачахъ, при которомъ только и возможны дѣятели.

Итакъ, осуждая нашихъ дѣятелей, какіе у насъ есть, мы не должны забывать распространять наше осужденіе, такъ сказать, и на зрителей и судей ихъ дѣятельности. Добролюбовъ былъ однимъ изъ такихъ дѣятелей. Признаніе того, что онъ представляетъ явленіе слабое и искаженное, вовсе не есть униженіе Добролюбова, а наше собственное униженіе, наше собственное горе, которое нѣтъ нужды скрывать, а скорѣе нужно громко высказать. Если бы наше развитіе было правильно и богато, то мы могли бы конечно съ гордостью и чувствомъ собственного достоинства отказать Добролюбову отъ важнаго мѣста въ этомъ развитіи. Но теперь, осуждая Добролюбова, мы вмѣстѣ осуждаемъ и все наше развитіе вообще. Слѣдовательно, тутъ нѣтъ мѣста никакой заносчивости и гордости. Отъ такого осужденія намъ ничуть не легче; дѣло не проясняется и не улаживается, а только больше и больше запутывается. Человѣку богатому ничуть не тяжело замѣтить, что на его платьѣ явились пятна, или — что оно разорвалось; ему нетрудно и прихотничать въ этомъ случаѣ, быть очень взыскательнымъ къ своей одеждѣ, потому что онъ всегда можетъ замѣнить ее чистою и лучшею. Но каково *ясно видѣть* и пересчитывать пятна и дыры на своемъ армякѣ тому, кто твердо знаетъ, что этотъ армякъ у него единственный и что на новую одежду денегъ нѣтъ, а есть только надежды?

Наше сознаніе есть вмѣстѣ и наше наказаніе; оно ясно, но безплодно и потому мучительно.

Намъ нужно однакоже еще доказать, что Добролюбовъ былъ, дѣйствительно, нашимъ дѣтелемъ. Потому что, безъ сомнѣнія, у насъ найдется множество людей, которые будутъ смотрѣть на него съ тѣмъ высокомѣріемъ, о которомъ мы говорили. Многіе конечно увидятъ въ немъ только главнаго рыцаря, полководца свистопляски; многіе почтутъ его явленіемъ эфемернымъ, побочнымъ, несущественнымъ и всю его дѣятельность сравнятъ съ шумомъ пустой бочки, которую везутъ по тряской мостовой. Попробуемъ доказать всю несправедливость такихъ мнѣній.

«Современникъ» тотчасъ послѣ смерти Добролюбова объявилъ, что послѣдніе четыре года своей жизни, слѣдовательно отъ 1858 до 1861 года включительно, Добролюбовъ стоялъ *во главѣ русской литературы*. Если признать это вѣрнымъ въ буквальномъ смыслѣ, то въ важномъ значеніи Добролюбова нельзя будетъ и усомниться. Если же изъ словъ «Современника» выводить самое аккуратное и точное слѣдствіе, то изъ нихъ слѣдуетъ по крайней мѣрѣ, что Добролюбовъ послѣдніе четыре года *стоялъ во главѣ* «Современника». И это очень много. Если, наконецъ, вовсе не вѣрить «Современнику» и уменьшить значеніе Добролюбова на половину, то все-таки будетъ очень достаточно.

Въ самомъ дѣлѣ, что бы ни говорили, съ «Современникомъ» шутить невозможно. Впродолженіи этихъ четырехъ лѣтъ, когда въ немъ участвовалъ Добролюбовъ, онъ былъ самымъ любимымъ русскимъ журналомъ. Успѣхъ и успѣхъ постоянный есть во всякомъ случаѣ важное явленіе, котораго причины стоятъ полнаго вниманія. Конечно не правы тѣ, кто видятъ въ успѣхѣ прямое и несомнѣнное доказательство превосходства; но неправъ будетъ и тотъ, кто не обратитъ на успѣхъ никакого вниманія. *Значеніе успѣха* въ особенности важно, если мы станемъ разсматривать дѣло не отвлеченно, а именно съ его жизненной стороны, въ отношеніи къ дѣйствительности. Мы имѣемъ въ нашей литературѣ нѣсколько примѣровъ большого успѣха. Попробуемъ сравнить ихъ съ «Современникомъ». «Сынъ Отечества» въ настоящую минуту есть самая распространенная изъ нашихъ газетъ. Причины его успѣха очень ясны. Онъ общедоступенъ, онъ стоитъ въ

уровень съ понятіями массы. Онъ съ замѣчательною ловкостью умѣетъ служить вкусамъ этой массы; онъ не брезгуетъ ничѣмъ, что можетъ привлекать ея любопытство. Его популярность произошла не случайно, а вытекаетъ естественно изъ самого его характера. Немало было и есть газетъ, которыя принимались соперничать съ «Сыномъ Отечества»; ни одна не имѣла большого успѣха и причина этому ясна: всѣ онѣ брали *слишкомъ высоко*, всѣ были брезгливы и односторонни. Мало того, вслѣдствіе своей исключительности и желанія держать высокій тонъ, онѣ становились сухи, скучны, вялы, теряли жизнь и разнообразіе. Съ другой стороны, чѣмъ значительнѣе недостатки «Сына Отечества», тѣмъ хуже для насъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на многочисленныя попытки, очевидно, *никто не сумѣлъ* повести дѣло лучше,

Нельзя не замѣтить, что у «Современника» есть общая черта съ «Сыномъ Отечества»; кстати—тотъ же «Сынъ Отечества» постоянно указываетъ на эту черту. Она состоитъ въ общедоступности, въ общезанимательности всѣхъ статей журнала. Легкость, съ которою онѣ читаются, свидѣтельствуетъ о легкости, съ которою онѣ пишутся, о томъ живомъ желаніи *бесѣдовать* съ читателями, которое конечно никакъ не можетъ быть поставлено въ упрекъ журналу. Но «Современникъ», разумѣется, имѣетъ еще другія, болѣе важныя достоинства.

Довольно часто сравниваютъ «Современникъ» съ «Библиотекою для чтенія» временъ О. И. Сенковского, которая также имѣла успѣхъ до тѣхъ поръ неслыханный на Руси. Сравненіе это очень вѣрно, но при немъ необходимо принимать въ расчетъ огромное различіе, зависящее отъ характера времени. Это различіе все въ пользу «Современника» и представляетъ отрадное явленіе нашего прогресса. На чемъ основывался успѣхъ Сенковского? На томъ же *отрицаніи*, которымъ такъ силенъ «Современникъ». Неистощимыя шутки Барона Брамбеуса нравились массѣ именно потому, что рушили всякаго рода авторитеты и, слѣдовательно, хоть на минуту давали вдохнуть свободно людямъ, до тѣхъ поръ безмолвно гнувшимися подъ ихъ тяжестью. Весело было засмѣяться отъ души среди всеобщей, большею частью безсмысленной серьезности. Но на чемъ опиралось отрицаніе Сенковского?

лѣтъ о развитіи своего ума и сердца, стоитъ только приобрести ту мудрость, которой недоставало Бѣлинскому и Добролюбову,—и дѣло уже окажется невозможнымъ. Охота къ литературѣ, къ бесѣдѣ съ читателями погаснетъ и не можетъ быть подогрѣта никакими искусственными средствами. Въ отношеніи къ литературѣ является *взглядъ свысока*, а въ самомъ взираетелѣ свысока является упорное *безплодіе*. Пронсходятъ люди высокоумнѣйшіе и всепонимающіе; но въ то же время совершенно неспособные что-нибудь сдѣлать. Эти явленія у насъ очень обыкновенны и представляютъ, часто весьма различныя формы. Одни стараются всячески преодолѣть свое бездѣйствіе и вымучиваютъ изъ себя разбитыя фразы, отрывочныя произведенія, на каждой строкѣ которыхъ отзывается величайшее усиліе. Другіе довольствуются какою-нибудь единственною статейкою и затѣмъ всю свою дѣятельность сосредоточиваютъ въ саркастической улыбкѣ, которую носятъ лѣтъ двадцать или тридцать сряду. Третьи впадаютъ въ самое пошлое озлобленіе на литературу, въ которой не могутъ принять участія и отводятъ себѣ душу непрерывною и весьма плодотворною бранью. Есть такіе, которые готовы писать о чемъ угодно, но никакъ не о литературѣ; къ ней они равнодушны и заняться ею серьезно они совершенно не въ силахъ. Есть наконецъ и такіе, которые, зорко слѣдя за литературою и принимая въ ней живое участіе, дѣлаютъ безпрестанныя, но безпрестанно неудачныя попытки вмѣшаться въ ея движеніе.

Вотъ къ чему приводитъ насъ глубина образованности. Для литературы остаются поэтому только молодые и недоученые люди. Они занимаются этими пустяками, которые мы почитаемъ ниже себя. Они обладаютъ тою странною охотою писать, тѣмъ желаніемъ излить и объяснять свои мысли, которое у насъ уже укротилось или вовсе пропало. Они становятся дѣятелями, а мы созерцателями. И вотъ почему всѣ мы, то есть Гамлеты всякаго рода и вида, мы, которые «Гегеля изучали и Гёте знаемъ наизусть», должны имѣть нѣкоторое смиреніе передъ жизнью; слышавъ свѣжій и крѣпкій голосъ этихъ недоучившихся юношей, мы должны, подобно Гамлету Щигровскаго уѣзда, умолкнуть и сказать: «те! тише!

эти люди имѣютъ право говорить: они люди оригинальные, и мы не въ правѣ мѣшать имъ жить!»

Что касается до Добролюбова, то здѣсь не можетъ быть никакого сомнѣнія. Стоитъ только вслушаться въ его рѣчь, чтобы признать за нимъ право говорить. Это не жеванныя фразы, не искусственно составленныя и подготовленныя рѣчи: нѣтъ, ихъ широкое, обильное, живое теченіе сразу даетъ чувствовать ихъ естественность, ихъ правильное происхожденіе. Много ли времени писалъ Добролюбовъ, а сколько онъ написалъ! Онъ плодитъ необыкновенно; онъ свободно принимаетъ всевозможныя формы, отъ серьезной критической статьи до шуточныхъ стихотвореній, до шаловливой болтовни, которая тянется на нѣсколько листовъ. Такая кипучая и свободная дѣятельность должна же имѣть какой-нибудь источникъ. Что-нибудь одно изъ двухъ: или въ Добролюбовѣ билась, дѣйствительно, живая струя, и тогда нельзя не признать за нимъ важнаго значенія; или же все, что онъ писалъ, было однимъ пустословіемъ, и тогда его дѣятельность, тѣмъ она была шире, тѣмъ большее представляетъ безобразіе. Тѣ, которые пишутъ мало и неохотно, но зато тѣмъ больше и охотнѣе пересуживаютъ и осуждаютъ многопишущихъ, должны скорѣе сознаться въ своемъ собственномъ безсиліи, тѣмъ стараться какъ-нибудь понизить значеніе Добролюбова. Его дѣятельность должна быть для насъ поученіемъ, насколько она правильно и естественно вытекала изъ состоянія общества и литературы. Этого не должно забывать, какъ бы неправильны ни были другія стороны этой дѣятельности.

Многіе называютъ Добролюбова публицистомъ и въ этомъ полагаютъ его существенную заслугу. На этомъ основаніи ему даже не ставятъ въ вину разныхъ промаховъ и недосмотровъ, которыми такъ обильны его статьи. Говорятъ, не въ этомъ дѣло: сущность заключается въ тѣхъ общихъ взглядахъ, на основаніи которыхъ онъ судитъ, въ тѣхъ страницахъ, гдѣ критикъ отступаетъ на задній планъ и гдѣ остается на сценѣ одинъ публицистъ. И однакоже весьма замѣчательное и ха-

ракетристическое обстоятельство заключается въ томъ, что публицистъ-Добролюбовъ являлся въ видѣ критика-Добролюбова. Для чего ему было почти постоянно носить эту маску, постоянно являться какъ бы въ чужой формѣ? Въ то самое время, когда онъ писалъ свои критики, публицизмъ въ прямой своей формѣ уже давно господствовалъ, напримѣръ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», гдѣ зато почти вовсе не было критики. Слѣдовательно, со стороны Добролюбова не была ли это чистая ошибка, неправильное и ненужное искаженіе дѣла?

Намъ кажется, что нѣтъ, что критики Добролюбова были въ отношеніи къ нему самому дѣломъ совершенно естественнымъ и соответствовали правильнымъ потребностямъ читателей. Публицизмъ въ формѣ критики уже сильно дѣйствовалъ у насъ въ статьяхъ Бѣлинскаго. Въ этомъ случаѣ Добролюбовъ былъ его прямымъ и непосредственнымъ продолжателемъ. Почему эта форма публицизма получила у насъ такое развитіе—это зависитъ отъ значенія литературы вообще и отъ значенія для общества нашей литературы въ особенности. Какова бы ни была наша литература, но если она есть,—она, какъ и вездѣ, представляетъ самое широкое, наиболѣе всѣмъ доступное, такъ сказать, самое явственное явленіе духовной жизни народа. Никакое другое явленіе не имѣетъ такой силы для развитія массы, для вызова наружу и полного раскрытія ея симпатій и стремленій. Слѣдовательно, кто говоритъ о литературѣ, тотъ говоритъ о предметѣ живомъ и глубоко занимательномъ и потому можетъ надѣяться, что его будутъ слушать. Въ особенности у насъ, гдѣ другія сферы умственной дѣятельности развиваются слабо, гдѣ на литературу можно смотрѣть, какъ на единственное явно живое и органическое явленіе, рѣчи о литературѣ до сихъ поръ суть рѣчи о предметѣ дѣйствительно-существующемъ, болѣе или менѣе для всѣхъ любезномъ, тогда какъ самая хитрая публицистская статья часто похожа на мечтанія, на отвлеченныя соображенія о предметахъ, никому незнакомыхъ въ дѣйствительности. Книги мы читаемъ и пишемъ въ дѣйствительности, настоящимъ образомъ, точно такъ, какъ ихъ пишутъ и читаютъ европейскіе народы. Если же рѣчь идетъ объ англійскомъ парламентѣ, о судѣ присяжныхъ, объ аристократіи или

демократіи, то мы сейчас чувствуемъ, что перенесены въ какой-то чуждый, отвлеченный міръ, съ которымъ у насъ въ жизни нѣтъ ничего общаго.

Отсюда видно, что публицизмъ въ формѣ критики до сихъ поръ былъ у насъ правильное, естественное, а не уродливое и фальшивое явленіе. Въ сущности комедія Львова или стихи Розентейма составляли для публики болѣе живой, болѣе широкій и интересный фактъ, чѣмъ, напримѣръ, извѣстная форма суда, никогда не бывавшая и неслыханная на Руси. Стихи у насъ есть, тогда какъ проявленій жизни другого рода почти нѣтъ. Поэтому тѣ, которые, глядя свысока на литературу, вовсе не занимаются ею, дѣлаютъ жестокій промахъ въ отношеніи къ своей публикѣ. Напротивъ, «Современникъ», имѣвшій богатый критическій отдѣлъ, конечно немало былъ обязанъ ему своимъ успѣхомъ и поступалъ въ этомъ случаѣ съ большимъ тактомъ. Такъ или иначе, только во времена Добролюбова «Современникъ» былъ единственнымъ журналомъ, котораго критическія статьи имѣли вѣсъ и который вмѣстѣ постоянно и ревностно слѣдилъ за литературными явленіями.

Что касается до самого Добролюбова, то критическія статьи, судя по самымъ этимъ статьямъ, были для него прямымъ и естественнымъ дѣломъ, а не простою маскою для прикрытія другой дѣятельности. Какъ видно изъ всего, Добролюбовъ усердно изучалъ произведенія нашей литературы, постоянно читалъ все, что у насъ пишется, не разъ, какъ онъ самъ говоритъ, перечитывалъ то, что ему нравилось; однимъ словомъ, онъ дѣлалъ все, что требуется отъ настоящаго критика, съ любовью занимающагося своимъ дѣломъ. Онъ зналъ нашу литературу такъ, какъ ее немногіе знаютъ между нашими пишущими людьми, очень обыкновенно зараженными ходячимъ презрѣніемъ къ родимой словесности. Если же такъ, то какое право мы имѣемъ сказать, что Добролюбовъ былъ собственно не критикомъ, а публицистомъ? Что до него самого, то онъ хотя былъ и публицистомъ, но хотѣлъ быть также настоящимъ критикомъ. Онъ писалъ большія, серьезныя статьи о многихъ замѣчательныхъ явленіяхъ изящной словесности, явившихся въ его время. Скорѣе нужно отдать ему справедли-

вость и сказать, что онъ имѣлъ силу какъ публицистъ особенно потому, что былъ критикъ.

Конечно, критическая дѣятельность Добролюбова имѣла многіе характеристическіе недостатки, но они происходили все не отъ того, что онъ былъ публицистомъ. Онъ не могъ, какъ слѣдуетъ, цѣнить главнѣйшій ходъ литературныхъ явленій, не умѣлъ точно опредѣлять мѣсто cadaго изъ нихъ и видѣть ихъ настоящую связь и отношеніе; но все это задачи трудныя и изъ того, что онъ ихъ не выполнялъ, не слѣдуетъ, что онъ пренебрегалъ ими, или не стремился разрѣшить. Особенно замѣтный недостатокъ Добролюбова состоитъ въ томъ, что онъ *пропускалъ* явленія, которыя по силѣ таланта непременно должны были остановить на себѣ вниманіе критика, вполне способнаго цѣнить важность литературныхъ произведеній. Къ числу ихъ относятся, напримѣръ, тѣ явленія, которыя, какъ извѣстно нашимъ читателямъ, были разбираемы во «Времени» подъ особымъ заглавіемъ «Явленій, пропущенныхъ нашею критикою». Такимъ образомъ, общаго взгляда на литературу, который бы обнималъ всѣ ея произведенія, у Добролюбова не было.

Другая характеристическая черта его критики состояла въ томъ, что, пропуская важныя явленія, онъ часто пускался въ многословнѣйшія толкованія о самыхъ неважныхъ, даже о вполне ничтожныхъ. Въ этомъ отношеніи можно бы составить любопытный списокъ подъ заглавіемъ: «Явленія, пропущенныя читателями, но замѣченныя Добролюбовымъ.» Въ самомъ дѣлѣ, множество книгъ, неимѣющихъ никакихъ достоинствъ или отличающихся только своимъ безобразіемъ, книгъ, о которыхъ, что-называется, *собственно* говорить, были разобраны Добролюбовымъ или, по крайней мѣрѣ, пространно осыпаны его шутками. Этотъ порядокъ, какъ извѣстно, ведется у насъ и до сихъ поръ. Чѣмъ нелѣпѣе и безобразнѣе книга, тѣмъ вѣрнѣе можно разсчитывать на появленіе рецензій на нее. Дѣльная же вещь всего болѣе рискуетъ быть пропущенною; «Современникъ» даже нашелъ, что статья о драмѣ Мея во «Времени» есть дурной признакъ для журнала.

То, что критика такъ усердно занимается безобразными явленіями, на первый взглядъ можетъ показаться также безо-

бразіемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что есть писатели и журналы, которые сочли бы даже *ниже собственнаго достоинства* заниматься пустыми книгами. Добролюбову была незнакома подобная щепетильность. Можно замѣтить, пожалуй, что писать рецензіи на безобразныя явленія очень легко; но что же это доказываетъ? Чтѣ дѣлается легко, то дѣлается естественно; хранителямъ же собственнаго достоинства можно замѣтить, что если они не унижаются до разбора ничтожныхъ книгъ, то они вмѣстѣ нисколько не вознаграждаютъ этой воздержности разборомъ книгъ замѣчательныхъ. Что касается до насъ, то въ томъ вниманіи, которое обращалъ Добролюбовъ на книги посредственныя или положительно безобразныя, мы видимъ черту живой дѣятельности, замѣчательной именно со стороны публицизма. Книга нерѣдко есть дѣло обманчивое. Человѣкъ не высказывается въ ней на распылку; онъ является передъ публикой и, слѣдовательно, постарается напередъ умыться, причесаться и застегнуться. Въ большей или меньшей степени, но въ своей книгѣ всякій остороженъ, боится проговориться, а иногда даже надѣваетъ маску несравненно красивѣе, чѣмъ его собственное лицо. Поэтому для того, кто изучаетъ нравы и дѣйствительныя мнѣнія толпы, гораздо интереснѣе бываютъ не *приличные* книги, а тѣ, въ которыхъ случайно и просто душно авторъ является во всемъ безобразіи своихъ помысловъ. На этихъ образчикахъ, впрочемъ очень обильныхъ въ русской литературѣ, духъ массы, образъ ея понятій изучается несравненно лучше, чѣмъ на сочиненіяхъ, выполнѣ искусно обработанныхъ по иностраннымъ образцамъ. Не забудемъ здѣсь еще важной черты въ Добролюбовѣ: онъ особенно распространялся о тѣхъ сочиненіяхъ, которыя *фальшивили* въ проповѣдываніи гуманныхъ началъ; въ такихъ случаяхъ нельзя не отдать ему справедливости. Для чуткаго уха диссонансъ нестерпимъ и хуже всякой пошлой гармоніи, если эта гармонія вѣрно исполняется.

Итакъ, дѣятельность Добролюбова имѣетъ важное значеніе и стоитъ полнаго вниманія. Онъ не *авторъ нѣсколькихъ рецензій*, какъ говорятъ одни, а критикъ, котораго голосъ

былъ всего сильнѣе въ продолженіи четырехъ лѣтъ исторіи нашей литературы; онъ не *микроскопическое явленіе*, какъ говорятъ другіе, а одинъ изъ главныхъ руководителей журнала, который имѣлъ огромный кругъ читателей и пользовался сочувствіемъ публики до того, что имѣлъ право воображать себя самымъ лучшимъ и главнымъ журналомъ въ нашей литературѣ, состоящей почти изъ однихъ журналовъ. Вообще, Добролюбовъ не *юноша, подававшій надежды*, а литераторъ, имѣвшій вліяніе, какое достается не всякому талантливому человѣку, а еще менѣе всякому человѣку, только плодовитому на писанье.

Тѣ, которые признаютъ Добролюбова ничтожнымъ явленіемъ, очевидно, вмѣсто нашего дѣйствительнаго литературнаго міра создаютъ своимъ воображеніемъ какой-то особый міръ, который одинъ у нихъ и считается дѣйствительнымъ. При взглядѣ на литературу они невольно проводятъ рѣзкую черту между явленіями, по ихъ мнѣнію, совершенно пустыми и несостоящими вниманія и тѣми, которыя дѣйствительно заслуживаютъ имени литературы. Какъ бы произвольно они ни проводили эту широкую черту, мы готовы бы были согласиться съ ними, если бы не видѣли вполне ясно, что явленія, стоящія у нихъ *выше* черты, болѣею частью такъ блѣдны, вялы и безжизненны, что сами по себѣ не заслуживаютъ особенныхъ хлопотъ. Нужно быть послѣдовательнымъ и, слѣдовательно, смотря свысока на Добролюбова, нужно смотрѣть свысока уже и на всю литературу.

Мы увидимъ яснѣе значеніе Добролюбова, если намъ удастся опредѣлить ту *живую струю*, которая пробивалась въ его произведеніяхъ, давала имъ смыслъ и воодушевленіе и привлекала къ нимъ читателей. Эта главная черта, исходная точка всей дѣятельности, состоитъ по нашему мнѣнію въ *отвлеченной мысли*, въ стремленіи теоретически разсматривать предметы. Извѣстно, что Добролюбовъ и другіе люди того же направленія уже давно были поэтому у насъ названы *теоретиками*. «Современникъ» служить главнымъ проявленіемъ ихъ дѣятельности, но они очень многочисленны и внѣ «Современника» и составляютъ одно изъ громадныхъ явленій современной умственной жизни. Умеръ Добролюбовъ, но это

направленіе мыслей съ нимъ не умерло, и оно не умретъ, хотя бы нынѣшніе жрецы его потеряли свой авторитетъ или подверглись какому-нибудь другимъ бѣдамъ. Другой вопросъ—сохранить ли оно то же значеніе и будетъ ли въ такой степени возбуждать сочувствіе публики?

Что же такое *теорія*? Что такое *отвлеченная мысль*? Теорія противопоставляется *жизни*, отвлеченная мысль—мысли конкретной. Характеризовать эти два рода мысли совершенно точно, наглядно отличить одну мысль отъ другой—очень трудно, по той простой причинѣ, что почти никому не приходится въ голову находить какое-нибудь различіе между мыслями. Обыкновенно мы не замѣчаемъ того, какъ мы мыслимъ; каждый думаетъ, что онъ вполне обладаетъ искусствомъ мыслить, и что всѣ мысли по сущности одинаковы, что онъ разнится только по предмету, но не сами по себѣ.

Между тѣмъ мысли могутъ быть различны, такъ сказать, по направленію своего движенія: одна можетъ идти *къ* предмету, другая *отъ* предмета. Мысль отвлеченная есть именно та, которая идетъ отъ предмета, которая удаляется отъ него, разрываетъ съ нимъ связь и доврѣяется себѣ самой. Это будетъ мысль, лишенная живой опоры и потому блѣдная и сухая, движущаяся одною голою логическою связью. Можетъ быть впоследствии, при разборѣ частныхъ случаевъ, намъ удастся вполне ясно представить это понятіе. Теперь ограничимся общими замѣчаніями, по сущности дѣла менѣе ясными.

Отвлеченная мысль узка, односторонняя, но зато ясна. Ея сила заключается въ томъ самомъ, что она не нуждается ни въ какой опорѣ и не ищетъ ея ни въ чемъ постороннемъ. Ея слабость въ томъ, что она не имѣетъ регулятора, не имѣетъ повѣрки и поддержки и потому непрерывно заблуждается.

Отвлеченіе состоитъ въ томъ, что оно образуетъ *Общую формулу* и вѣритъ въ нее, какъ въ дѣйствительность. Поэтому оно приписываетъ полное равенство всѣмъ предметамъ, подходящимъ подъ эту формулу. Поэтому отвлеченная мысль есть всегда мысль равняющая, сглаживающая различія и обезпѣчивающая явленія.

Возьмите, на примѣръ, понятіе *человѣкъ*. Въ сущности этой общей формулѣ нельзя приписать никакой дѣйствительности. Новорожденный и взрослый, идиотъ и гений, древній римлянинъ и современный парижанинъ, — все это будетъ *человѣкъ*. Слѣдовательно, въ дѣйствительныхъ людяхъ общаго отыскать нельзя. Общее существуетъ какъ *возможность*, а не какъ дѣйствительность. Отвлеченное мышленіе этого не знаетъ и разсуждаетъ о людяхъ такъ, какъ-будто бы всѣ они подходятъ подъ общую формулу—*человѣкъ*. Понятно, какія слѣдствія могутъ отсюда произойти. Читатели, можетъ быть, помнятъ, что еще недавно г. Чернышевскій на этомъ основаніи усомнился въ упадкѣ нравственныхъ силъ въ эпоху паденія Рима. «Перестаньте говорить вздоръ, говорилъ онъ: — вѣдь и тогда люди рождались съ желудкомъ, съ головой, съ мозгами; слѣдовательно, какой же въ нихъ могъ быть упадокъ? Чѣмъ они были хуже другихъ людей?»

Отвлеченная мысль — это та мысль, которая всюду гонится за результатами, подо всѣмъ любитъ подводить итоги; какъ бы ни былъ широкъ и глубокъ предметъ, она, вмѣсто того чтобы углубляться въ него и, слѣдовательно, самой становится шире и шире, стремится, напротивъ, сузиться, старается стянуть самый предметъ въ тѣсный кружокъ какой-нибудь голыи формулы. Передъ художественнымъ произведеніемъ теоретикъ вмѣсто того, чтобы вникать въ творческое созданіе, задаетъ вопросъ: что изъ этого слѣдуетъ? что это доказываетъ? Ему нужна *одна* теорема, и онъ непонимаетъ, что творчество, какъ и жизнь, неисчерпаемы и могутъ дать нескончаемый рядъ теоремъ. Увидѣвъ замѣчательную книгу, теоретикъ простодушно говоритъ: скажите мнѣ ея содержаніе въ нѣсколькихъ словахъ! И онъ никакъ не можетъ повѣрить, что могутъ быть книги, которыхъ содержаніе требуетъ почти столько же словъ, сколько ихъ есть въ книгѣ. Теоретикъ для ясности перелагаетъ стихотвореніе въ прозу, никакъ не воображая, что содержаніе поэтическаго стихотворенія всего яснѣе и точнѣе выражается именно стихомъ. Однимъ словомъ, мысль теоретика не тяготеетъ къ предмету, а напротивъ, отвращается отъ него и уходитъ въ голую отвлеченность.

Принимать неполную мысль за полную действительность—вотъ корень всѣхъ заблужденій человѣка; поэтому до тѣхъ поръ, пока человѣкъ признаетъ свою мысль за неполную, то есть пока мысль еще идетъ къ предмету, а не *отъ* предмета, заблужденіе не можетъ имѣть большой крѣпости. Но какъ скоро мысль признаетъ себя полною, законченною, она представляетъ непоколебимое заблужденіе, которое, разумѣется, тѣмъ больше, чѣмъ меньше полноты и законченности имѣетъ она на самомъ дѣлѣ. Мысль отвлеченная стремится къ завершенію, къ законченности и, слѣдовательно, представляетъ заблужденіе на всѣхъ своихъ ступеняхъ кромѣ послѣдней, то есть когда она дѣйствительно завершена и закончена.

Читатель извинитъ насъ за темноту этихъ немногихъ фразъ; сейчасъ мы будемъ яснѣе, потому что подойдемъ ближе къ предмету.

Стремленіе мыслить отвлеченно есть не что иное, какъ стремленіе мыслить *самостоятельно*, стремленіе къ мысли, которая бы опиралась сама на себя и не требовала бы никакой посторонней подставки. Отвлеченная мысль во всякомъ случаѣ есть мысль *независимая*, довольствующаяся сама собою. Такимъ образомъ, время Добролюбова есть время независимой мысли—мысли, отвергающей всякіе авторитеты и признающей полную автономію. Глубоки ли причины этой самостоятельности, далеко ли она шла и какіе плоды принесла,—это другой вопросъ; но что главная привлекательность и главное побужденіе статей Добролюбова состояло въ чувствѣ этой независимости и самостоятельности,—это намъ кажется несомнѣннымъ.

Господство отвлеченной мысли у насъ явилось не вдругъ. Безъ сомнѣнія, оно развилось исторически и явилось послѣдовательно. Бѣлинскій можетъ быть названъ нашимъ главнымъ освободителемъ отъ предрасудковъ и авторитетовъ. Онъ первый твердымъ, горячимъ голосомъ проповѣдывалъ свободу мысли и успѣлъ возбудить движеніе въ дремлющихъ и покорныхъ умахъ. Прилежно работая надъ нашею литературою, онъ научилъ насъ отдавать самимъ себѣ отчетъ въ ея явленіяхъ и ничему не вѣрить на слово. Но подъ конецъ своей

дѣятельности, утомленный и озлобленный, онъ уже началъ впадать въ рѣзкости отвлеченія. Непрочно ничто, что растетъ на русской землѣ! Нашъ великій критикъ, столь цѣпо державшійся за проявленія жизни въ нашей литературѣ, кончилъ тѣмъ, что оторвался отъ жизни; подъ конецъ своей отравленной жизни онъ уже былъ недоволенъ своимъ призваніемъ критика!

Всѣмъ памятно, что было потомъ, какой мракъ и какая тишина воцарилась въ литературѣ. Неслышно было даже самого имени Бѣлинскаго. Тѣмъ сильнѣе была реакція, когда настало ея время. Признанію какихъ бы то ни было авторитетовъ въ литературѣ уже не было никакого мѣста. Да и вообще, никакой ясной путеводящей нити, никакой твердой дороги впередъ не было видно. Тѣ, которые явились въ это время, могли начинать съ чего хотѣли, были вполне предоставлены самимъ себѣ. Одинъ изъ такихъ людей былъ Добролюбовъ.

Въ «Современникѣ» было положительно высказано, что Добролюбовъ былъ лучше приготовленъ къ своему поприщу, чѣмъ Бѣлинскій, что онъ былъ образованнѣе Бѣлинскаго. Такимъ образомъ, послѣ многихъ лѣтъ въ томъ журналѣ, которому основаніе и первое сильное движеніе далъ самъ Бѣлинскій, было поставлено знаменитому критику въ упрекъ то самое, что такъ долго и съ такимъ озлобленіемъ повторяли его враги. Бѣлинскій — недоучившійся студентъ. Если взять этотъ отзывъ въ совершенно точномъ смыслѣ, то онъ сводится на то, что Бѣлинскій не зналъ иностранныхъ языковъ, а Добролюбовъ зналъ и по французски, и по нѣмецки. Какое великое преимущество! Но если мы рассмотримъ дѣло пошире, если взглянемъ на сферу, изъ которой вышли тотъ и другой, на почву, на которой развились ихъ умы, то совершенно ясно будетъ, что преимущество вовсе не на сторонѣ Добролюбова. *Обучался* онъ больше, чѣмъ Бѣлинскій, но *воспитывался* меньше, потому что вокругъ него не было источниковъ воспитательнаго вліянія.

Мы знаемъ, откуда вышелъ Бѣлинскій; мы знаемъ имена его друзей, которые потомъ стояли и до сихъ поръ, дѣйствительно, *стоятъ во главѣ* нашей литературы и нашего ум-

ственного движенія. Кружокъ Станкевича и другіе кружки, съ которыми онъ соприкасался, были лучшими всходами, какіе явились на почвѣ, воздѣлываемой московскимъ университетомъ. Эти люди составляли ту чистую, здоровую и плодотворную атмосферу, въ которой духовная жизнь Бѣлинскаго получила свое первое развитіе. Отсюда онъ вынесъ несравненно больше, чѣмъ можно вынести изъ любого, самаго обширнаго и ученаго курса.

У Добролюбова никакой подобной почвы не было. Онъ учился въ Нижегородской семинаріи, которая, какъ видно изъ «матеріаловъ для его біографіи», похожа на всѣ другія семинаріи, и потомъ въ покойномъ педагогическомъ институтѣ, который сильно отличался отъ другихъ свѣтскихъ высшихъ заведеній, потому что былъ хуже всѣхъ другихъ. На сколько Бѣлинскій крѣпко былъ связанъ со всѣмъ лучшимъ, что расло на русской землѣ въ его эпоху, на столько Добролюбовъ былъ оторванъ отъ всякихъ живыхъ вліяній.

Мы придаемъ важность тому, что Добролюбовъ былъ семинаристъ. По этому поводу необходимо войти въ нѣкоторыя объясненія. Названіе семинариста въ настоящее время уже не можетъ быть дурнымъ признакомъ для литературнаго дѣятеля. Скорѣе же, напротивъ, оно составляетъ хорошій знакъ. Семинаристы проявили въ литературѣ такую энергію дѣятельности, приобрѣли такой вѣсъ и значеніе, что все это даетъ благотворное понятіе о богатствѣ духовныхъ силъ, скрывающемся въ семинаріяхъ.

Тѣмъ не менѣе нельзя закрывать глаза на особенности, съ которыми обнаруживаются эти силы. Ихъ глухое и подавленное развитіе лишаетъ ихъ возможности принять вполнѣ правильныя формы. Если есть существо, оторванное отъ всякой почвы, какую только можно назвать почвою, то это существо именно семинаристъ. Изъ родительскихъ домовъ, въ которыхъ обыкновенно все изломано и обезображено тяжелою рукою жизни, восьмилѣтніе мальчики собираются въ губернскомъ городѣ. Здѣсь ихъ встрѣчаетъ, съ одной стороны, бѣдная, едва переносимая жизнь, съ другой стороны—семинарія, святилище наукъ и всякой мудрости. Семинарія поглощаетъ собою всю жизнь семинаристовъ, потому что только тутъ есть

что-то свѣтлое—товарищество, наука, движеніе. Для нихъ не существуетъ никакихъ другихъ интересовъ, имъ нечего любить, кромѣ того мерцающаго свѣта, который является имъ въ училищѣ. А этотъ свѣтъ есть нѣчто далекое и чуждое; онъ переноситъ ихъ въ какія-то невѣдомыя страны, къ невѣдомой жизни, которая называется всемірною исторіею; онъ озаряетъ передъ ними входъ ко всей роскоши человѣческой мудрости. И вотъ начинается дѣятельность на томъ поприщѣ, которое одно доступно, одно имѣетъ въ себѣ привлекательность. Тутъ одна награда, одна цѣль въ жизни—быть умнѣе другихъ; одна мѣрка для измѣренія человѣческаго достоинства—умъ; одна главная страсть—самолюбіе.

Интереса, болѣе исключительно господствующаго, какъ интересъ науки, въ семинаріи и представить себѣ невозможно. Извѣстно однако, чѣмъ оканчивается это усиленное возбужденіе: болѣею частію оно гаснетъ, подчиняясь формамъ гнѣивой, неразвитой, невѣжественной жизни. Умнѣйшіе и способнѣйшіе люди обыкновенно ровно ничего не дѣлаютъ. Гораздо счастливѣе бываютъ тѣ, въ комъ является реакція противъ всѣхъ началъ, власть которыхъ они признавали прежде безъ собственнаго изслѣдованія. Тогда все зданіе, уродливо построенное на этихъ началахъ, рушится до самыхъ основаній и истребляется тѣмъ безпощаднѣе, чѣмъ тяжелѣе оно прежде давило молодыя плечи.

Все разматывается прахомъ. Но что же остается? Остаются крѣпкія силы и такая пустота, такая оторванность отъ жизненныхъ корней, какая рѣдко встрѣчается въ другихъ случаяхъ, при другомъ порядкѣ дѣлъ.

Мы знаемъ, что обстоятельства воспитанія Добролюбова были не совсѣмъ такія, въ коихъ находится большинство семинаристовъ. Но тѣмъ не менѣе онъ былъ окруженъ этою атмосферою и дышалъ ею до пріѣзда въ Петербургъ. Какова была новая среда, въ которую онъ попалъ въ Петербургѣ, мы почти не знаемъ. Можно навѣрное сказать только, что педагогическій институтъ самъ по себѣ скорѣе могъ способствовать отрицательному взгляду на жизнь, чѣмъ положительному. Во всякомъ случаѣ то обстоятельство, что Добролюбовъ кончилъ *полный курсъ наукъ* въ педагогическомъ

институтъ, само по себѣ еще ничего не доказываетъ и не даетъ никакого права ставить кого бы то ни было ниже Добролюбова.

Говоря о томъ, что Добролюбовъ и другіе дѣятели современной литературы вышли изъ семинаріи и что на ихъ дѣятельности отражается ихъ воспитаніе, мы вовсе не хотѣли сказать, что этотъ элементъ какъ-нибудь насильственно вторгся въ литературу, что онъ составляетъ чуждую для нея примѣсь. Нисколько; мы вполне увѣрены, что онъ получилъ особенную силу вслѣдствіе того, что требовался, что удовлетворялъ потребности другихъ слоевъ общества. Пришла нужда въ такомъ элементѣ, и вотъ онъ всплылъ на поверхность, развернулся тамъ, гдѣ было для него мѣсто. Въ нашемъ умственномъ развитіи явилось требованіе отрицанія: понятно, что этому требованію никто не могъ удовлетворить лучше семинаристовъ.

Для того чтобы видѣть, какъ рѣзко отразились на дѣятельности Бѣлинскаго и Добролюбова обстоятельства, среди которыхъ они развились, стоитъ припомнить хотя немногія черты, которыми различается дѣятельность того и другого. Бѣлинскій, этотъ недоучившійся студентъ, былъ постоянно устремленъ душою къ *святѣмъ чудесамъ Запада*. Сознаваясь печатно, что онъ не знаетъ по нѣмецки, онъ однакоже непрерывно твердилъ о Гёте, Шиллерѣ, Гегелѣ и пр. Онъ настаивалъ на необходимости образованія, жолчно упрекалъ нашихъ писателей въ невѣжествѣ и въ концѣ концовъ всегда ссылался на философію, на науку. Его противники и соперники, Булгаринъ, Сенковский, постоянно смѣялись надъ нимъ за то, что онъ пишетъ непонятно, употребляетъ такія слова какъ *павосъ*, *объективность*, что онъ зараженъ нѣмецкою философіею, которую при этомъ случаѣ выставляли, какъ бредъ разстроеннаго мозга и совершенную нелѣпость.

Понятно, откуда происходило подобное настроеніе Бѣлинскаго. Надъ нимъ тяготѣла атмосфера западнаго образованія, онъ вышелъ изъ среды, напитанной лучшими вліяніями европейской умственной жизни. Этому духу онъ оставался всегда вѣренъ.

Совершенно не то было у Добролюбова. Онъ шелъ не въ ту сторону; его статьи имѣли другой характеръ и заслужили не тѣ упреки.

Добролюбовъ зналъ и по французски, и по нѣмецки, но ни въ чемъ не было видно, чтобы кто-нибудь изъ *сластителей думъ* человечества властвовалъ и надъ его думами. Онъ писалъ яснѣе, легче, понятнѣе, чѣмъ всѣ его противники и соперники, и не употреблялъ никакихъ хитрыхъ словъ. Онъ рѣдко ссылаясь на высшіе авторитеты науки, философіи и т. п., да и въ этихъ ссылкахъ не было ничего важнаго. Главное же дѣло Добролюбова состояло въ такихъ разсужденіяхъ, при которыхъ всѣ авторитеты оказывались лишними и ненужными. Онъ соблазнилъ читателей тою легкостью и ясностью, съ которою разрѣшалъ вопросы, и они переставали вѣрить, что нужно чему-нибудь учиться или долго вдумываться, чтобы понимать важные предметы.

Поэтому Добролюбову дѣлали упрекъ не въ туманности или преданности философскимъ бреднямъ; ему не разъ замѣчали, что онъ *отучаетъ мыслить*.

Странно было бы обвинять въ этомъ случаѣ Добролюбова. Соблазняемые имъ были, вѣдь, не дѣти и, слѣдовательно, должны отвѣчать сами за себя. Не велика должна быть сила мышленія, если она такъ легко отучается дѣйствовать! Какъ бы то ни было, фактъ неподверженъ сомнѣнію. Какъ Вѣлиинскій постоянно поднималъ наше образованіе и вызывалъ наши мыслящія силы, такъ Добролюбовъ постоянно, хотя невольно, давалъ чувствовать ненужность образованія и, давая мысли большую крѣпость, не давалъ толчка ея движенію.

Такъ это впрочемъ и должно было быть. Освобожденіе мысли необходимо влечетъ за собою хотя частный упадокъ образованія. Образованіе, вѣдь, нужно и важно тому, кто ищетъ въ немъ себѣ опоры, кто на себя не полагается, а старается воспользоваться тѣмъ, что сдѣлано другими. Но кто признаетъ себя самостоятельнымъ, кто не нуждается въ опорѣ для своей мысли, потому что считаетъ достаточнымъ опираться на самого себя, тотъ не можетъ находить той же важности въ образованіи. Образованіе есть въ извѣстномъ смыслѣ авторитетъ; ищутъ авторитетовъ и подчиняются имъ только люди

еще слабые, ненадѣющіеся на свои силы; тотъ же, кто почувствовалъ себя самостоятельнымъ, свергаетъ съ себя этотъ авторитетъ, какъ тяжелую цѣпь. Если же кто-нибудь въ одно прекрасное утро оказался совершенно довольнымъ своимъ умѣньемъ думать и судить о вещахъ, то какъ бы дурно онъ въ самомъ дѣлѣ ни умѣлъ мыслить, разумѣется, онъ уже не сдѣлаетъ ни одного шагу впередъ въ этомъ умѣнии.

Тѣмъ не менѣе, какъ скоро мысль освободилась, какъ скоро она стала довѣряться самой себѣ, она должна необходимо стать, во первыхъ, твердою, неподвижно крѣпкою; во вторыхъ, должна отрицать все, что подъ нее не подходитъ; въ третьихъ, должна явиться своеобразною, то есть представлять прямо и открыто свои частныя особенности.

Всѣ эти свойства мы находимъ у нашихъ теоретиковъ. Твердость ихъ убѣжденій необыкновенна и сопровождается вполне соответствующею слѣпотою. Отрицаніе ихъ смѣло и не пугается никакихъ границъ. Наконецъ, трудно сомнѣваться, что есть своеобразность, то есть черты народнаго духа въ ихъ дѣятельности.

Мысль теоретиковъ была сама по себѣ прекрасная мысль; они говорили объ общемъ благѣ и твердили о перемѣнахъ къ лучшему. Въ одно время съ ними у всѣхъ другихъ на языкѣ было общее благо; перемѣны къ лучшему не только служили предметомъ желаній и ожиданій, но и дѣйствительно совершались. Но между тѣмъ какъ одни обращались къ частнымъ интересамъ, другіе же мирились и вступали въ сдѣлки съ дѣйствительностью, теоретиковъ безостановочно руководила отвлеченная мысль о всеобщемъ благоденствіи; эта мысль дала ихъ дѣятельности незыблемую опору и, несмотря ни на что, спасла ихъ и до сихъ поръ удержала на поверхности потока. Кто хочетъ изучить силу отвлеченной мысли, тотъ можетъ полюбоваться ею на этомъ примѣрѣ. Онъ увидитъ, какъ легко можетъ быть отбрасываемо все самое тяжелое, что не подходитъ подъ мысль вполне отвлеченную и, слѣдовательно, необыкновенно узко понимаемую.

Добролюбовъ, напримѣръ, принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ отрицателей. Онъ такъ легко отрѣшается отъ всякой живой связи съ предметомъ, такъ свободно становится къ предмету въ скептическое отношеніе, какъ это рѣдко случается. Нужды нѣтъ, что *отвлеченно* онъ признаетъ множество истинъ, которыхъ самъ не провѣрялъ, не связывалъ и не подвергалъ своему сомнѣнію; тѣмъ неменѣе, въ отношеніи къ *дѣйствительнымъ* явленіямъ онъ никогда не затруднится взглянуть на нихъ, какъ человекъ совершенно чужой этимъ явленіямъ и ничѣмъ нестѣсненный въ своемъ строгомъ анализѣ. Онъ не мирится ни съ чѣмъ, онъ не признаетъ ничего *частнаго*, потому что сейчасъ же видитъ, что оно не подходитъ подъ формулу, составленную имъ для *общаго*.

Успѣхъ отрицанія, конечно, зависѣлъ отъ потребности отрицанія. Онъ, очевидно, удовлетворялъ той потребности самоотрезвленія, тому нежеланію *отдаваться чему-нибудь до конца*, которое такъ глубоко входитъ въ нашъ народный характеръ. Мы, какъ это давно уже проповѣдано просвѣщенными путешественниками просвѣщенной Европы, мы—народъ скептическій и насмѣшливый. Мы ничего преснаго не любимъ, надъ всѣмъ трунимъ и надъ собою самими больше всего. Всякій энтузіазмъ, хотя нерѣдко вспыхиваетъ очень быстро, еще быстрее и легче принимается въ нашихъ глазахъ видъ смѣшного и приторнаго. Мы легче переносимъ всякаго рода цинизмъ и тривіальность, чѣмъ высокій слогъ и восторженные возгласы.

Все это, можетъ быть, вовсе недурной признакъ; все это, можетъ быть, только даетъ задатки такого простого и глубокаго энтузіазма, который недоступенъ никакой ироніи и котораго не вѣдаютъ другіе народы земного шара. Какъ бы то ни было, только потребность самоосужденія у насъ очень сильна, и Добролюбовъ былъ однимъ изъ выразителей этой потребности.

Отрицаніе, совершаемое имъ и другими теоретиками, было широко и смѣло; мы можемъ назвать его чисто русскимъ, хотя бы уже потому, что, какъ неразъ замѣчали

наши Гамлеты всякаго рода и вида (шекспировскій Гамлетъ тоже учился въ нѣмецкомъ университетѣ), подобнаго размаха не было видано за границею. Никакія обольщенія идеализма, никакія красоты поэзіи, никакія глубины науки не могли соблазнить Добролюбова, не могли заслонить передъ нимъ цѣль, къ которой была устремлена его мысль. Философія, поэзія, наука казались ему чѣмъ-то все-таки аристократическимъ, барскимъ, слишкомъ роскошнымъ и сладкимъ для того, чтобы ставить ихъ главнымъ дѣломъ. Такой суровый, трезвый взглядъ, по своей силѣ и сосредоточенности и даже по своему характеру, напоминаетъ взглядъ отшельниковъ и аскетовъ. Въ самомъ дѣлѣ, такой взглядъ развѣ не подобенъ тому настроенію духа, при которомъ все мірское величіе есть прахъ и суета, и для каждаго человѣка только *едино есть на потребу?*..

Въ чемъ полагались эти требованія, что оставалось послѣ горькаго отреченія отъ міра и его благъ,—это не такъ важно, какъ можно бы думать съ перваго разу. Сила Добролюбова, какъ и другихъ теоретиковъ, состоитъ не столько въ томъ, что они признавали, сколько въ самомъ отрицаніи. Вотъ почему въ этомъ общемъ очеркѣ читатели не встрѣтили какого-нибудь опредѣленія философскихъ, эстетическихъ или политическихъ мнѣній Добролюбова. Мы рассмотримъ и ихъ впослѣдствіи, теперь же не говорили объ нихъ потому, что главная сущность дѣла никакъ не въ нихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, взглядъ теоретиковъ не имѣлъ и не могъ имѣть *положительнаго* вліянія на литературу. Еще недавно «Современникъ» называлъ литературу *праздною болтовнею*. Такъ можетъ говорить «Современникъ», но само собою понятно, что сама литература не можетъ питать такой саморазрушительной и самоснѣдающей мысли. Литература не можетъ признавать себя бездѣльемъ, не можетъ опираться на мысли о своемъ ничтожествѣ. Какъ всякая сила, литература есть прежде всего сила положительная, и потому отрицаніе не можетъ служить ей главнымъ руководящимъ началомъ. Такъ это и было. Статьи Добролюбова имѣли очень большое значеніе для читателей, но весьма малое для писа-

телей. Литература развивалась помимо этой критики и не находила въ ней отзыва и поддержки своимъ симпатіямъ, своимъ думамъ и стремленіямъ. Помимо этой критики являлись таланты, безъ ея вѣдома и участія развивались и приобрѣтали значеніе. Какими-то странными загадками являлись иногда ихъ произведенія на страницахъ «Современника»; они намекали на какой-то другой міръ, на какіе-то вопросы, давно уже низвергнутые и сглаженные въ критическомъ отдѣлѣ журнала. Въ нихъ были слышны зачатки положительныхъ стремленій, откликалась какая-то жизнь невѣдомая и непонятная теоретикамъ.

Творческая дѣятельность въ то время, когда писать Добролюбовъ, была не только не меньше, но даже гораздо значительнѣе прежняго. Но авторы этой *праздной болтовни* охотнѣе искали себѣ отзыва и поясненія не въ статьяхъ Добролюбова, а въ другихъ голосахъ, хотя менѣе слышныхъ, но болѣе симпатичныхъ, хотя менѣе ясныхъ и отчетливыхъ, но зато владѣвшихъ тайною словъ, которыхъ

значеніе

Темно иль ничтожно,
Но имъ безъ волненія
Внимать невозможно.

Такимъ образомъ, рядомъ съ громкимъ и всѣмъ замѣтнымъ потокомъ критики Добролюбова существовало другое русло, положимъ заглухшее и занесенное тиной, но все-таки не безъ живыхъ ключей, бившихъ изъ таинственной глубины. Тамъ совершался глухой и неясный, но все-таки правильный прогрессъ идей, и результаты его рано или поздно должны выясниться и войти въ полную силу.

Со времени Бѣлинскаго нашъ взглядъ на вещи измѣнился, и эти перемѣны болѣе или менѣе явственно высказаны нашею литературою и критикою. Мы иначе смотримъ на Западъ и на реформу Петра; мы иначе смотримъ на народъ и на произведенія народнаго творчества. Значеніе Пушкина въ нашихъ глазахъ поднялось въ ущербъ Гоголю и Лермонтову. Идеи, которыя нѣкогда были такъ узки и исключительны, такъ называемыя славянофильскія идеи, рас-

ширились, развернулись и, потерявъ свою рѣзкость, тѣмъ неменѣе замѣтно вошли въ общее сознаніе. Однимъ словомъ, вмѣсто отвращенія отъ всякихъ идей и идеаловъ, съ которыми такъ усердно сражались теоретики, мы чувствуемъ жажду идеаловъ сильнѣе чѣмъ когда-нибудь; мы болѣе чѣмъ когда-нибудь приготовлены встрѣтить новыя проявленія народнаго духа...

Добролюбовъ умеръ рано. Онъ былъ человѣкъ очень даровитый и, очевидно, способный къ далекому развитію. Его послѣдняя статья указываетъ на какое-то колебаніе, на какой-то поворотъ въ убѣжденіяхъ. Мы разберемъ это впоследствии. Если бы онъ остался живъ, мы многое бы отъ него слышали.

И къ нему примѣняется то же печальное замѣчаніе: непрочно ничто, что растетъ на русской землѣ...

XIII.

Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ.

Сочиненіе Михаила Погодина. Москва, 1873 г.

(«Гражданинъ». 1873, № 43).

Почтенный нашъ ученый испытывалъ большія тревоги и колебанія — и тогда, когда рѣшился печатать эту книгу, и тогда, когда уже держалъ ее корректуру, и наконецъ даже въ то время, когда книга была вполне напечатана. Поэтому вслѣдъ за текстомъ книги онъ напечаталъ *Дополненія и замѣчанія* (стр. 337), за этими дополненіями *Послѣловіе*, за послѣсловіемъ еще 90 страницъ и тогда только выпустилъ книгу въ свѣтъ.

Такія необыкновенныя обстоятельства, конечно, зависѣли отъ содержанія и характера самой книги; мы расскажемъ все дѣло словами автора.

«Давно», говоритъ онъ, «началъ я записывать въ особой тетради мысли и выраженія о духовныхъ предметахъ, приходившія мнѣ на умъ,—особенные случаи, встрѣчавшіеся со мною самимъ въ продолженіе жизни и слышанные отъ другихъ, на кои имѣются строго-критическія доказательства. *Лѣтъ тридцать слишкомъ назадъ* зародилась во мнѣ желаніе огласить ихъ простою рѣчью, внѣ всякихъ школьныхъ правилъ, справокъ и предубѣжденій, какъ представлялись мнѣ эти вопросы среди чтеній, размышленій, наблюденій, опытовъ, или созрѣли внутренно, безъ непосредственнаго моего въ томъ участія» (стр. 3).

Нѣсколько разъ въ теченіе этихъ тридцати лѣтъ авторъ принимался за исполненіе своей мысли, но, по его выраженію, «не находилъ силы справиться съ задачей». Наконецъ, года три тому назадъ онъ остановился на слѣдующемъ намѣреніи:

«Пересматривая ее (*тетрадь*) тогда», говоритъ онъ, «я подумалъ, не лучше ли передать ее, *какъ она есть*, собрать написанные начала или приступы и всѣ разбѣянные замѣтки и отрывки, указать нѣкоторые вопросы и недоумѣнія, коими для мыслящихъ могутъ быть замѣнены иныя положенія, привести все только въ нѣкоторый наружный порядокъ по предметамъ, не заботясь ни о какой системѣ, ни о какой полнотѣ» (стр. 4).

Такъ и сдѣлано было; въ этомъ видѣ и является теперь передъ нами главная часть книги, именно первая 337 страницъ. Но въ то время, когда въ типографіи набирались эти страницы, авторъ счелъ нужнымъ поступить слѣдующимъ образомъ:

«Предложенные мысли и случаи», рассказываетъ онъ, «я посылалъ въ корректурныхъ листахъ *ко многимъ своимъ знакомымъ*, ученымъ и неученымъ, духовнымъ и свѣтскимъ, *богословамъ, философамъ, естествоиспытателямъ...* Нѣкоторыми ихъ замѣчаніями я успѣлъ воспользоваться. Прочія, начиная съ частныхъ, передаю здѣсь со своими по мѣстамъ отвѣтами» (стр. 351).

За этими словами, дѣйствительно, слѣдуетъ рядъ поправокъ и возраженій на то, что напечатано на предъидущихъ страницахъ. Но затѣмъ авторъ почувствовалъ, что общій ха-

рактёръ его книги гораздо болѣе, чѣмъ отдѣльныя ея мѣста, возбуждаетъ возраженій и требуетъ поясненій, и потому написалъ пространное *Послѣсловіе* (стр. 364 — 382), въ которомъ старается опровергнуть замѣчанія, направленные его знаковыми противъ его книги, взятой въ цѣломъ.

Но этимъ еще не кончилось.

«Въ приложеніяхъ», пишетъ авторъ, «я намѣренъ былъ сначала помѣстить разборъ, написанный мною, системы Дарвиновой, которая сводитъ съ ума часть нашей интеллигентной (?—*знакъ поставленъ авторомъ*) толпы, но получилъ отъ одного почтеннаго естествоиспытателя, которому отдавалъ его на разсмотрѣніе, возраженія, *требующія отъ меня отвѣта*. Не имѣя ни времени, ни расположенія написать его теперь, я отлагаю печатаніе моего разбора вмѣстѣ съ возраженіями и объясненіями до другого изданія» (стр. 382).

Такъ говорилъ авторъ въ концѣ *послѣловія*; но потомъ онъ измѣнилъ рѣшеніе и вотъ какъ объясняетъ эту перемѣну, обращая свою рѣчь къ естествоиспытателю:

«Изъ уваженія къ вашему мнѣнію я хотѣлъ было отложить печатаніе своего разбора до второго изданія книги, чтобы, печатая его безъ возраженій, *не присвоивать себѣ лишняго довѣрія отъ читателей*; но печальная задержка въ типографіи доставила мнѣ досугъ и, слѣдовательно, возможность соблюсти безпристрастіе и вмѣстѣ оборонить свое воззрѣніе, то есть напечатать вмѣстѣ — разборъ, ваше опроверженіе и свою оборону» (стр. 448).

Эти три вещи, т. е. разборъ Дарвиновой теоріи, письмо естествоиспытателя и отвѣтное письмо автора, и напечатаны вѣдѣ за послѣсловіемъ. Авторъ однакоже прибавилъ еще пять небольшихъ замѣтокъ различнаго содержанія, которыми и оканчивается книга.

Вся эта исторія, по нашему мнѣнію, очень поучительна. Она свидѣтельствуетъ, во первыхъ, о явномъ недовѣріи автора къ своему произведенію, о томъ, что его тревожило сомнѣніе въ пользѣ и состоятельности книги. Во вторыхъ, она несомнѣнно свидѣтельствуетъ и о совершенной его добросовѣстности, о простосердечномъ желаніи принести пользу и послужить истинѣ. Знакомые автору богословы, философы и естествоис-

пытатели исполнили свой долгъ, очевидно, съ такимъ же добрымъ усердіемъ. Видно, что они внимательно читали книгу и не покривили душой. Отзывы ихъ не рѣдко очень рѣзки и горячи, и большею частію совершенно дѣльны. Печатавъ ихъ, авторъ, можно сказать, напечаталъ полную критику на свою книгу; отъ нѣкоторыхъ онъ пытается оборониться, но другіе самъ находитъ справедливыми, или же опровергаетъ очень слабо.

Въ числѣ совѣтовъ, поданныхъ автору знакомыми учеными, иные прямо совпали съ сомнѣніемъ, которое его мучило; они содержатъ въ себѣ предложеніе отказаться отъ печатанія книги. Естествоиспытатель въ своемъ письмѣ заявляетъ, что ему «прискорбно видѣть рѣшеніе (автора) напечатать замѣтки о Дарвинѣ» (стр. 436) и распространяется на эту тему съ большимъ жаромъ; въ его доводахъ впрочемъ мало справедливаго. Другой знакомый сдѣлалъ болѣе основательное замѣчаніе:

«Выписки», говоритъ онъ, «относящіяся до случаевъ въ въ какомъ-нибудь отношеніи замѣчательныхъ, *не будучи оцѣнены руководителемъ объясненіемъ, направленны къ опрелѣленнымъ положительнымъ цѣлямъ*, могутъ давать пищу суевѣрію» (стр. 379).

Всего важнѣе мы находимъ замѣчаніе того, кого авторъ называетъ *однимъ изъ своихъ благопріятелей*.

«Особенно мнѣ кажется», пишетъ онъ, «внимательно нужно просмотрѣть все, что вы рассказываете о собственной жизни. Лучше здѣсь опустить все не такъ значительное и все, что можетъ подавать поводъ къ какому-нибудь соблазну или глумленію. Къ откровенной общественной исповѣди у насъ мало привыкли, и исповѣдь въ автобіографіи живаго человѣка принимается совсѣмъ иначе, чѣмъ исповѣдь, напримѣръ, въ посмертныхъ запискахъ. На людей серьезныхъ и искреннихъ ваши признанія конечно подѣйствуютъ назидательно, но на большинство читателей какъ бы онѣ не произвели другого впечатлѣнія! Нельзя не принять во вниманіе того, что у васъ есть не мало литературныхъ и общественныхъ неблагопріятелей, а еще болѣе у насъ есть людей, готовыхъ поглумиться при всякомъ удобномъ случаѣ, хотя бы

надѣ самымъ искреннимъ и глубокимъ убѣжденіемъ и самымъ добрымъ движеніемъ сердца. *Не нужно конечно смущаться людскими толками и глумленіями, но нужно и съ своей стороны предотвращать все, что можетъ подать поводъ къ соблазну, особенно тамъ, гдѣ дѣло идетъ о самыхъ любимыхъ основахъ и самыхъ высокихъ чашійхъ жизни».*

«Случай и наблюденія надѣ собою», пишетъ другой рецензентъ, «могутъ подать поводъ къ великимъ глумленіямъ со стороны фельетонныхъ борзописцевъ и тому подобной братіи, а это было бы крайне прискорбно и больно для всѣхъ друзей вашихъ и для всѣхъ людей, уважающихъ вашу личность, для всѣхъ друзей всякаго честнаго дѣла, для каждого, кто дорожитъ интересами религіозными, общественными, народными» (стр. 379, 380).

Въ отвѣтъ на эти предостереженія авторъ говоритъ, что онъ «сдѣлалъ нѣсколько исключеній въ этомъ отдѣленіи книжки» и что «будущія глумленія его нисколько не смущаютъ, какъ не смущали прошедшія» (стр. 381). Но мы не нашли отвѣта на другую сторону предостереженій, именно на возможность соблазна.

Главный предметъ книги—вопросы религіозные; между тѣмъ одно изъ духовныхъ лицъ, читавшихъ книгу въ корректурѣ, говоритъ: «Что касается размышленій и замѣчаній о религіозныхъ предметахъ, то въ нихъ еще много есть неточнаго, сбивчиваго, непоследовательнаго, даже невѣрнаго» (стр. 366). Другое духовное лицо замѣчаетъ: «Вообще вся рѣчь о папѣ и католичествѣ мало вяжется съ общимъ содержаніемъ и сама по себѣ неудовлетворительна» (стр. 372).

Авторъ книги не рѣшается противорѣчить этимъ строгимъ приговорамъ; онъ защищается только слѣдующими соображеніями: «Такъ», говоритъ онъ, «можетъ быть, имѣетъ право сказать наука богословія, но въ моей книжкѣ излагаются мысли свѣтскаго человѣка, которыя представляются уму въ естественномъ его положеніи. Наукѣ богословской онъ могутъ служить примѣромъ возникновенія мыслей у мірянъ,—даже полезнымъ указаніемъ, что она должна имѣть въ виду для вразумленія *несведущихъ*» и пр. (стр. 368).

Итакъ, почтенный авторъ вполне могъ видѣть и конечно видѣлъ всѣ недостатки своей книги. Понятно однакоже, что ему трудно было отказаться отъ исполненія мысли, такъ долго его занимавшей. Сознавая всѣ несовершенства своего произведенія, онъ однакоже не потерялъ всякой надежды и думалъ, что въ его книгѣ есть и достоинства, и что она можетъ быть полезна.

«Нужды нѣтъ», пишетъ онъ, «что собраніе мое представить *какую-то смѣсь* съ недостатками всякаго рода, повтореніями, уклоненіями, вставками, отступленіями, съ одной стороны съ пробѣлами, съ другой съ представленіями одной и той же мысли въ разныхъ только видахъ и оборотахъ; нужды нѣтъ, что собраніе мое будетъ состоять изъ *разноцветныхъ и разношерстныхъ, такъ сказать, лоскутковъ, сшитыхъ на живую нитку*. Дѣло не въ искусствѣ, не въ авторствѣ, не въ формѣ, а въ содержаніи: цѣль моя — не строить, не предлагать системы, а произвести извѣстное впечатлѣніе, привлечь вниманіе, содѣйствовать душевному настроенію, возбудить большое уваженіе къ жизни, благоговѣніе передъ ея высокими задачами, *удержать сколько-нибудь отъ дерзкаго умничанья и легкомысленнаго отрицанія нашу несчастную молодежь*» (стр. 5).

Все это очень откровенно и имѣетъ свою долю привлекательности. Мы видимъ, какъ просто и естественно зародилась эта книга; мы находимъ въ ней обыкновенную для М. П. Погодина, такъ сказать погодинскую живость и искренность; мало того — духъ книги возбуждаетъ въ насъ уваженіе. Это старинный и общій русскій духъ, существующій у насъ многіе вѣка. Предписанія его всѣмъ извѣстны: не заносись умомъ, — все кругомъ насъ непостижимо; и помни, что нашею жизнью таинственно руководитъ Провидѣніе. На эти темы и до сихъ поръ часто ведутся у насъ простодушные разговоры, часто рассказываются разные случаи въ жизни своей и чужой. Книга М. Н. Погодина есть не что иное, какъ собраніе такихъ разговоровъ и рассказовъ, напечатанныхъ въ томъ самомъ видѣ, какъ они ведутся въ тѣсномъ кругу, и составившихъ цѣлый томъ in quarto.

Но не даромъ же авторъ самъ чувствовалъ, что въ его книгѣ что-то не ладно, не даромъ онъ посылалъ корректурные листы къ знакомымъ, не даромъ знакомые огорчались и совѣтовали ему выпустить одинъ одно, другой другое. Дѣло въ томъ, что и авторъ и знакомые, къ которымъ онъ обращался,—люди ученые. А ученымъ людямъ бываетъ свойственна, такъ называемая, ученая добросовѣстность; они не любятъ говорить о томъ, чего не знаютъ, и не проповѣдываютъ того, чего хорошенько не понимаютъ. Автору очень хотѣлось поговорить о высокихъ предметахъ его книги, но онъ понималъ, что къ нему будутъ приложены читателями весьма строгія требованія, да и самъ не могъ не прилагать къ себѣ этихъ требованій. Вотъ откуда его колебанія.

Мы находимъ, что они особенно справедливы, если онъ имѣлъ въ виду нашу молодежь. Трудно думать, чтобы «*Простая рѣчь*» нашла себѣ въ молодежи много читателей, и едва-ли сбудется надежда автора удержать этой книгой кого-бы то ни было отъ умничанья и отрицанія. Можетъ ли сильно подѣйствовать книга, не имѣющая никакой связи, никакой руководящей мысли, не содержащая ничего опредѣленнаго и въ добавокъ представляющая постоянную неточность и неясность въ понятіяхъ богословскихъ, философскихъ, естественно-научныхъ? Въ такой книгѣ могутъ найти себѣ пріятное или даже назидательное чтеніе только люди, которые заранѣе стоятъ на сторонѣ автора, которые отказались отъ большихъ умствованій и любятъ отъ времени до времени твердить: «какъ все премудро! какъ все непостежимо!»

Но молодежь не можетъ питать такого настроенія. Она умствуетъ и, слѣдовательно, требуетъ строгихъ и ясныхъ умствованій. И едва-ли правъ почтенный авторъ, когда онъ считаетъ чѣмъ-то несущественнымъ въ своемъ дѣлѣ—систему, искусство, форму. Не слишкомъ ли мы вообще пренебрегаемъ этими вещами и не довольно ли уже намъ пренебрегать ими? Не отъ этого ли пренебреженія зависитъ жалкое состояніе русской науки? Даровитыхъ людей у насъ много, и русскіе юноши, какъ свидѣтельствуемъ Тургеневъ въ «Дымѣ», обыкновенно удивляютъ нѣмецкихъ профессоровъ своими бойкими способностями. Но точно также удивляетъ потомъ профессо-

ровъ и то, что изъ этой бойкости ничего не выходитъ. Въ числѣ нашихъ способныхъ людей встрѣчаются такіе, которые обильны идеями, и иногда даже идеями оригинальными и плодотворными, но обыкновенно эти идеи остаются у нихъ только въ зачаткахъ, никогда не бываютъ развиты, разработаны. Если кто изъ нашихъ способныхъ людей пишетъ, то къ этимъ писаніямъ вполне прилагается злая замѣтка Грибоѣдова:

Въ журналахъ можешь ты однако отыскать
Его *отрывокъ, взглядъ и нѣчто*;
Объ чемъ бишь *нѣчто*? Обо *всемъ*!
Все знаетъ! и пр.

Эта странная зыбкость русскихъ умовъ, ихъ нерасположеніе къ серьезной и долгой остановкѣ на одной мысли, на одной работѣ, есть очень печальное явленіе нашей умственной жизни. Наши труженики бездарны, наши умники лѣнны — таково общее правило. Поэтому, намъ кажется, у насъ слѣдуетъ всячески проповѣдывать строгій трудъ, систематичность въ мысляхъ, отчетливость въ формѣ изложенія.

XIV.

Францъ фонъ-Зикингенъ

Историческая трагедія въ пяти дѣйствіяхъ. Сочиненіе Фердинанда Лассаля. Переводъ А. и С. Криль. Спб. 1873.

(«Гражданинъ». 1873, № 50).

Трагедія эта не дурно написана, переведена недурными стихами и отлично напечатана. Но цѣли, которыя постоянно имѣлъ въ виду авторъ, не могли не помѣшать истинной занимательности его сочиненія. Интересы, на которыхъ Лассаль завязалъ свою трагедію, суть стремленія къ свободѣ, возникшія во времена реформаціи, возстаніе противъ тогдашняго феодальнаго и католическаго угнетенія. Конечно, художникъ

можетъ брать всякіе интересы, какіе ему вздумается; но такъ какъ прежде всего онъ обязанъ давать *полный образъ* жизни, то всякій *спеціальный* интересъ неизбежно долженъ сливаться съ другими, и на первый планъ все-таки выступить душа человѣческая, а не временныя и случайныя стремленія людей. Тенденціозный писатель почти никогда не можетъ соблюсти этого правила. Такъ случилось и съ Лассалемъ. Въ своей трагедіи онъ упустилъ изъ виду самую существенную черту того времени, когда она происходитъ, — именно интересъ религіозный. Всѣ дѣйствующія лица трагедіи толкуютъ о Лютерѣ, половина ихъ заявляетъ себя приверженцами новаго ученія и клянется положить за него свою голову, а между тѣмъ самаго ученія не видать, ни въ чьихъ рѣчахъ не слышно воодушевленія, которымъ оно наполняло души, нигдѣ не отзывается его содержаніе и смыслъ. Такимъ образомъ, въ трагедіи нѣтъ существеннаго нерва, не достаетъ самой главной пружины. Не знаемъ, какъ объяснилъ бы и оправдалъ это обстоятельство Лассаль, но для переводчиковъ, какъ видно, оно вполне понятно.

«Духъ реформации», говорятъ они въ предисловіи, «который Лассаль всегда строго отличалъ отъ самаго факта реформации, существовалъ и до Лютера; онъ выражался въ чисто человѣческихъ стремленіяхъ возрождавшихся наукъ и былъ проникнутъ влеченіемъ къ свободѣ во всѣхъ сферахъ жизни націи; Лютеръ сдвинулъ эти стремленія догматически-теологическимъ направленіемъ, которое далъ реформации. Реформаціонный духъ былъ шире, выше, свободнѣе и гуманнѣе своего собственнаго осадка—реформации» (стр. 1).

Это обвиненіе противъ Лютера намъ кажется очень неосновательнымъ, и если оно взято изъ Лассала, то показываетъ, что знаменитый агитаторъ дурно понималъ исторію своего народа и порочилъ то, что составляетъ истинную славу нѣмцевъ. Реформация только потому и имѣла силу и плодотворность, что была *религіознымъ* обновленіемъ. Она была протестомъ противъ католичества во имя-де «высшаго, лучшаго пониманія религіи», и потому на долго возвысила и укрѣпила нравственныя силы германскихъ народовъ. Если бы она была простымъ бунтомъ, возникшимъ изъ матеріаль-

ныхъ страданій и изъ желанія свергнуть тяжкій гнетъ властей, она погибла бы безъ слѣда и не имѣла бы никакого значенія въ духовномъ развитіи германскаго племени. Свобода есть идеаль отрицательный, а Лютеръ далъ своему народу положительный идеаль, то есть то, *ради чего* нужна и хороша свобода.

По всему видно, что Лассаль иначе смотрѣлъ на это. Приведемъ разсужденіе, которое онъ влагасть въ уста папскому легату, ревностному католику, но видящему всю глубину вещей. Вотъ какъ этотъ легатъ объясняетъ одному изъ архіепископовъ, въ чемъ истинная опасность:

Взгляните, гдѣ опору встрѣтилъ Лютеръ?
 Нашло-ль себѣ ученіе его
 Сочувствіе, поддержку въ духовенствѣ?
 Нѣтъ,—Гуттены, Эразмы, Рейклины,
 Вотъ кто привѣтствовалъ его съ восторгомъ,
 Зовутся «гуманистами» они
 И это имя выдаетъ ихъ тайну.
Евангеліе человечества—
 Вотъ что несетъ съ собой Протей, идущій
 На насъ войною. Лютеръ для него
Лишь временною оболочкою служитъ.
 Подъ нашими ударами смѣнять
 Одну онъ кожу за другую станетъ,
 Рости, разоблачаяся, и вдругъ
 Въ сіяньи огненномъ предстанетъ міру,
 Провозгласить: «я есмь!» сердца людей
 Себѣ всевластно покорить, напишетъ
 На знамени своемъ: «земная жизнь
 «И наслажденіе», низвергнетъ небо!
 Исторію временъ давнопрошедшихъ,
 Разгаданный людьми законъ природы,—
 Онъ все себѣ въ оружье обратитъ,
 Чтобъ имъ громить святыню нашей вѣры;
 Евангеліе человечества
 Евангелію сына человѣческаго
 Онъ дерзновенно противопоставитъ.
 Народы отвернутся отъ насъ,
 Въ объятія страстныхъ невѣсты новой—
Дѣйствительности—бросятся они.
 Предъ яркимъ, жгучимъ блескомъ наслажденій
 Померкнетъ блѣдный свѣтъ загробной жизни,
 На небѣ воцарится мракъ.

Этотъ легать, очевидно, пророчествуетъ о томъ, что должно будто бы исполниться въ будущія времена по мнѣнію самого Лассаля, и потому говорить языкомъ и понятіями чистаго гегельянца лѣвой стороны. Нельзя сказать, чтобы это было очень вѣрно исторически. Понятно при этомъ, что если Лютера принять лишь за *временную оболочку* лѣваго гегельянства, то нечего на немъ долго останавливаться и можно подвести его реформацію подъ простыя либеральныя идеи, даже сдѣлать его предтечею тѣхъ, кто проповѣдуетъ «страстные объятія дѣйствительности» и «жгучій блескъ наслажденій».

Одна бѣда: драма не вышла. Ея дѣйствующія лица и не лютеране и не гегельянцы, и отношенія между ними неясны и фальшивы.

XV.

„Наслѣдники“. Д. И. Стахѣва.

Повѣсть въ двухъ частяхъ, заключающая въ себѣ описаніе жизни, дѣятельности, страданій, радостей, увлеченій и доблестныхъ поступковъ одного весьма почтеннаго и весьма ученаго, но отчасти легкомысленнаго статскаго совѣтника и нѣкоторыхъ другихъ лицъ, достойныхъ вниманія читателя. 2 тома. Спб. 1875 *).

(«Русскій Вѣстникъ». 1875, 6 кн.)

Колебанія въ разныя стороны, до сихъ поръ продолжающіяся послѣ Гоголя, послѣ того какъ онъ своею ироніей какъ-бы нарушилъ равновѣсіе художественныхъ силъ, пока-

*) Разборъ настоящей повѣсти г. Стахѣва предваренъ длиннымъ предисловіемъ общаго литературнаго характера, которое, въ видѣ самостоятельной статьи, вошло въ книгу „Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ“ подъ заглавіемъ—„Объ ироніи въ русской литературѣ“ (см. изд. 2-е, стр. 180). „Все это длинное вступленіе, говоритъ авторъ, мы почли нужнымъ сдѣлать по поводу явленія само по себѣ весьма скромнаго, но, по крайнему нашему убѣжденію, заслуживающаго того, чтобы не пройти совсѣмъ незамѣченнымъ. Мы говоримъ о повѣсти г. Стахѣва“ („Рус. Вѣст.“, стр. 807). Предисловіе это мы поэтому опускаемъ. Изд.

зываютъ, какъ трудно нашимъ писателямъ найти твердую точку опоры и правильную, не колеблющуюся подъ ногами дорогу. И вотъ почему такія явленія, какъ повѣсть г. Стахѣва, хотя бы и не отличались яркими достоинствами, производятъ на насъ необыкновенно пріятное впечатлѣніе. Вы вдругъ видите, что писатель съ талантомъ хотя и попадаетъ въ нѣкоторыя изъ обыкновенныхъ уклоненій, но чувствуетъ истинныя требованія искусства и, наконецъ, выбирается на прямой путь, указываемый ими. Дарованіе г. Стахѣва имѣетъ такой складъ, который дѣлаетъ изъ него подражателя Гоголю, но не копировщика, а, такъ сказать, оригинальнаго подражателя, который впадаетъ въ тонъ образца невольно, по требованію своей собственной натуры. Чистый Гоголевскій тонъ, который такъ сильно подѣйствовалъ, когда послышался въ первый разъ, однакоже къ величайшему удивленію не повторялся, не появлялся у другихъ писателей. Очевидно, этотъ тонъ вовсе не легко брать и выдерживать. У г. Стахѣва онъ появляется въ большей чистотѣ. Но изъ этого тона требуется выходъ, и г. Стахѣвъ пошелъ по дорогѣ, которая всего прямѣе ведетъ къ выходу. Эта прямая дорога—*юморъ*.

Юморъ, какъ извѣстно, есть насмѣшливое, шутовское изложеніе важныхъ предметовъ, пріемъ почти обратный пріему ироніи. Писатель, повидимому, смѣется надъ описываемыми предметами, говоритъ о нихъ легкимъ, часто ироническимъ тономъ, но въ сущности онъ ихъ любитъ и вообще считаетъ то, что рассказываетъ, дѣломъ серьезнымъ. У Гоголя серьезнѣе не предметъ, къ которому иронія относится, а сама иронія; у юмористическаго писателя серьезна не иронія, а самый предметъ.

Отсюда видно, какъ свободна и широка эта форма. Она какъ-будто способна изобразить жизнь во всей ея двойственности, взять ее и съ комической и съ трагической стороны. Шутливая рѣчь, заключающая серьезный смыслъ, не составляетъ никакого противорѣчія съ рѣчью совершенно прямою и серьезною. Поэтому писателю дается полная свобода употреблять и ту и другую рѣчь, и онъ пользуется ими по мѣрѣ силы и надобности. Гдѣ предметъ труденъ и глубокъ, авторъ прибѣгаетъ къ особенному пріему, начинаетъ подсмѣиваться,

дѣлаетъ намеки, боковые штрихи и, такимъ образомъ, заставляетъ самого читателя создать образъ того чувства, которое хочетъ описать. Давъ читателю понять свое сочувствіе, серьезность и глубину дѣла, авторъ умышленно пускается въ мелочныя подробности, въ описаніе будничныхъ и пошлыхъ чертъ: контрастъ, который при этомъ получается, усиливаетъ впечатлѣніе. Предметъ не исчерпывается, не получаетъ опредѣленности, но тѣмъ лучше—чувству и воображенію читателя дается полный просторъ.

Такъ пишутся большинство англійскихъ романовъ; ихъ непрерывный юморъ скрываетъ подъ собою нѣкоторое серьезное значеніе, признаваемое за описываемыми явленіями; нельзя говорить о предметѣ съ юморомъ, не питая къ нему никакой любви. Конечно, эта форма все-таки половинчатая, не вполне художественная, но она и не анти-художественная, она законная, переходная форма. Читая Диккенса, вы никогда не упрекнете его ни въ скукѣ, ни въ невѣрности тона.

Авторъ «Наслѣдниковъ» представляетъ намъ, какъ мы сказали, и тонъ, по мѣстамъ напоминающій Гоголя, и кромѣ того юморъ, иногда замѣчательно правильный. Изъ лицъ, выведенныхъ имъ на сцену, онъ къ нѣкоторымъ питаетъ глубочайшее сочувствіе и описалъ ихъ юмористически.

Недостатки «Наслѣдниковъ», можно сказать—рутинные, наслѣдованные, тогда какъ достоинства самобытныя. Главный недостатокъ—привычка къ обыкновенному въ нашей литературѣ реализму, по которой авторъ считаетъ законнымъ тщательное описаніе сценъ и явленій, имѣющихъ иногда очень слабый интересъ. Тѣмъ не менѣе повѣсть представляетъ большую стройность, ясность и законченность. Можно упрекнуть ее въ растянутыхъ или слабыхъ мѣстахъ, но въ сочиненіи, въ фальши—невозможно. Взяты люди истинно-русскіе—люди, которые больше или меньше равнодушны къ богатству, къ имуществу (наслѣдство—внѣшняя тема разсказа) и не умѣютъ съ нимъ справиться; взяты также русскія семейныя отношенія, то отсутствіе связи и теплоты между отцами и дѣтьми, которое у насъ такъ нерѣдко. Это—повѣсть о русскихъ людяхъ, которыхъ слѣдуетъ назвать хорошими, но которые вѣчно носятся съ какими-то порывами и никакъ не умѣютъ устроиться въ жизни.

Вмѣсто подробнаго разбора приведемъ лучше два, три мѣста, которыя будутъ для читателей образчикомъ таланта автора и вмѣстѣ подтверждать наши слова о смыслѣ, который имѣють его художественные приемы, и о чистотѣ, до которой они иногда достигаютъ.

Вотъ описаніе, напомнившее намъ манеру Гоголя, хотя смягченную. Сцена происходитъ въ вагонѣ третьяго класса, въ которомъ ѣдутъ два героя разсказа: деревенскій священникъ, отецъ Вареоламей, и бѣдный молодой учитель Чухлымовъ.

«Поездъ приближался къ Петербургу. Шелъ дождь, небо заволокло тучами, и скука путешествія еще болѣе увеличилась; по временамъ, во время остановокъ на станціяхъ, слышалось однообразное стучанье дождя въ желѣзныя крыши вагоновъ.

— А ректоръ семинаріи, продолжалъ разсказывать отецъ Вареоламей, — этотъ вѣчно-памятный мнѣ ректоръ, по свойствамъ своего нрава уподоблялся Ироду...

Но раздался продолжительный свистокъ, и Чухлымовъ вздохнулъ во всю грудь, уже не слыша, что такое сдѣлалъ семинарскій Иродъ.

— Это, поистинѣ говоря, было избіеніе младенцевъ...

Продолжать далѣе уже не представлялось никакой возможности. Публика стала подниматься съ своихъ мѣстъ; нѣкоторые торопливо вскакивали, испуганно осматривались со сна; другіе сладко потягивались и зѣвали во весь ротъ.

Какая-то толстая купчиха, закутанная шалью и шарфомъ, точно на дворъ были трескучіе морозы, охватила въ испугъ обѣими руками кучу подушекъ, на которыхъ, сидя, спала и испуганно зашептала: «ахъ, батюшки, не горимъ ли.» Вылѣзали изъ-подъ скамей и показывались на свѣтъ Божій неизвѣстно откуда взявшіяся лица: проворно вылезъ, точно изъ-подъ пола, какой-то бѣлобрысый мальчонко и видя, что появленіе его возбудило хохотъ товарищей, самъ захихикалъ себѣ подъ носъ оттого, что, не просыпаясь, доѣхалъ отъ Волочка до Петербурга; черная борода медленно, точно крадучись, высовывалась изъ-подъ скамьи и вылезъ оттуда

цѣлый татаринъ, да такой толстый, что изъ него легко можно было выкроить троихъ; вскочилъ на ноги, какъ встрепаннѣй солдатъ, и сталъ поспѣшно отправлять свою аммуницію; появились саквояжи, чемоданы, ящики и пр. и пр. Татаринъ, выбравшись изъ своей засады, сѣлъ тутъ же на полу и, предварительно погладивъ ладонью голову, сталъ напяливать на засаленную тюбетейку высокую баранью шапку; но, выбитый изъ своей позиціи общимъ движеніемъ пассажировъ, онъ въ свою очередь поднялся на коротенькія ноги, сильно крикнулъ и началъ икать. *Высокій, сухощавый, съ длинною стѣбою бородой купецъ вздыхалъ на весь вагонъ и, смотря въ темную даль неба, молился Богу.*

— Иванъ Сидоришъ, ты? крикнулъ онъ купцу.

Купецъ молча молился, не поворачивая головы.

— Иванъ Сидоришъ, ты? опять повторилъ Татаринъ, пробираясь поближе къ купцу.

— Ну я, видишь чай, сердито отвѣтилъ купецъ, окончивъ молитву.

Татаринъ такъ быстро заговорилъ, что кромѣ купца разговоръ этотъ для всѣхъ остальныхъ сливался въ одну общую трескотню; только и можно было понять между интервалами икоты: «я, судырь мой, поплъ, судырь мой, и заснулъ, судырь мой, подъ эта самая сидѣнья, судырь мой,» потомъ опять шла трескотня до новой икоты.

Поѣздъ шелъ уже между строеніями, и по причинѣ темнаго ненастнаго вечера можно было по временамъ видѣть, какъ вблизи рельсовъ двигались человѣческія фигуры съ фонарями, точно мрачные заговорщики въ какомъ-нибудь таинственномъ романѣ. Вѣтеръ сердито вылъ и шумѣлъ: кондукторъ растворилъ дверь вагона и сталъ въ проходѣ, оставаясь безучастнымъ къ нетерпѣнію публики и, можетъ быть, занятый своими соображеніями о стеариновыхъ огаркахъ, которые, при позднемъ зажиганіи и раннемъ тушеніи вагонныхъ фонарей, составляли нѣкоторую статью его доходовъ. Публика тѣснилась къ выходу. Отецъ Вареоломей расчесывалъ широкимъ бѣлымъ гребнемъ волосы и, окончивъ такимъ образомъ приготовленія къ пріѣзду въ столичный городъ, обратился къ Чухлымову:

— До повиданія, почтеннѣйшій Иванъ Петровичъ, до повиданія. Если Господь благословить, можетъ быть и паки встрѣтимся на пути жизни.

Публика безпокоила отца Вареолеоя, начиная выходить, такъ какъ поѣздъ уже остановился. Кто-то, наконецъ, сильно двинулъ его въ спину и увлекъ отъ Чухлымова, который напослѣдокъ услышалъ только фразу отца Вареолеоя, обращенную уже къ публикѣ:

— Почтенные господа, недовольнымъ голосомъ произнесъ онъ, стараясь запахнуть рясу,—почтенные господа, нужно по-благодарить, я такъ предполагаю...

Мужики вздѣвали на спины мѣшки и совершенно исчезали за ними, такъ что въ одномъ концѣ вагона вмѣсто людей оказалась цѣлая куча громадныхъ мѣшковъ, которые какъ-будто сами собою двигались и расталкивали публику. Недовольные этимъ волшебнымъ превращеніемъ отталкивали отъ себя мѣшки, и тогда точно изъ глубины ихъ слышалось сердитое ворчанье:

— Не налягай больно-то, ей!

— Ослобони маненько, почтенный!

Далѣе послышался громкій крикъ, покрывшій весь шумъ движенія и говоръ толпы:

— *Робята, держись плотнѣе, оно ловчѣй будетъ, не свалять...*

Но надъ этимъ окрикомъ старался взять верхъ другой.

— *Не валясь, Микитка, эка обрадовался, дьяволъ!*

И затѣмъ всѣ мѣшки высыпали на платформу.»)*

Приведемъ еще сцену, которая непосредственно слѣдуетъ:

«Чухлымовъ былъ еще въ вагонѣ. Наклонившись, чтобы поднять стоявшій на полу сакъ-вояжъ, онъ почувствовалъ подъ ногой что-то мягкое, взялъ въ руку, посмотрѣлъ и вздрогнулъ: поднятая вещь оказалась бумажникъ, повидимому, туго набитый деньгами. Въ памяти Чухлымова быстро возобновились впечатлѣнія вечера: онъ вспомнилъ, что сѣдой купецъ въ сумерки этого дня «отъ нечего дѣлать» укладывался на полу вагона вблизи его мѣста; ему какъ-будто снова послы-

*) „Наслѣдники“, ч. II, стр. 64—68.

пался шопотъ купца, когда онъ, повертываясь на голомъ полу съ боку на бокъ, шепталъ, тяжело вздыхая: «Господи, прости мои великія согрѣшенія!» и затѣмъ считалъ: «семь полтинъ—три съ полтиною.»

Чухлымовъ началъ торопливо, нервически хватать свои вещи и такъ сильно дышалъ, какъ-будто бы только-что вбѣжалъ на вершину крутой горы. Захвативъ подушки и сакъ-вояжъ, онъ бросился впередъ, расталкивая публику, не замѣчая и не слыша, какъ сыплются на него со всѣхъ сторонъ толчки и ругательства. Въ это время онъ думалъ только объ одномъ, какъ бы догнать купца, который вышелъ уже изъ вагона и, идя рядомъ съ татаринѣмъ, что-то рассказывалъ ему, сильно размахивая длинными руками суконной чуйки. Отецъ Вареоломей тоже подвернулся подъ руку Чухлымова и тоже проворчалъ что-то относительно благородства; но догадавшись, что толчокъ получилъ ни отъ кого другого, какъ отъ его недавняго собесѣдника и видя, что этотъ милый собесѣдникъ чѣмъ-то встревоженъ до крайности и ничего не замѣчаетъ вокругъ себя, отецъ Вареоломей самъ ускорилъ шаги, слѣдуя за нимъ.

Чухлымовъ, наконецъ, догналъ купца и остановилъ его.

Отецъ Вареоломей видя, что Чухлымовъ что-то заговорилъ съ купцомъ, посоветился близко подойти и остался въ нѣкоторомъ отдаленіи, какъ говорится «на сторожѣ», чтобы въ случаѣ надобности подать помощь своему недавнему собесѣднику.

— Послушайте, остановитесь на одну минуту, задыхаясь сказалъ Чухлымовъ купцу.

— Ась! Чтò тебѣ, голубчикъ? удивленно спросилъ купецъ.

— Осмотритесь, не потеряли ли вы что-нибудь?

— Ни талкуй, чѣво напрасна, торопилъ татаринъ, дергая купца за руку,—ни талкуй, иди знай...

— Послушайте...

Но купецъ уже вдрогнулъ и выраженіе испуга охватило его старческое лицо. Онъ быстро распахнулъ свою чуйку, откинулъ полу длиннаго кафтана и сунулъ руку въ одинъ карманъ, другой, вдругъ точно остолебѣлъ.

— Владычица! Смерть моя! прошепталь онъ потомъ и затрясся весь, точно вдругъ охватилъ его сильнѣйшій припадокъ лихорадки.

— Успокойтесь, успокойтесь! зашепталь въ свою очередь Чухлымовъ.

— Голубчикъ! Нашелъ что ли? Говори, не томи... Умру! со слезами бросился къ нему купецъ.

— Шту такая, шту такая? затораторилъ татаринъ и засуетился, торопливо обращаясь то къ одному, то къ другому, но на него не обращали никакого вниманія.

— Иванъ Сидоришъ, шту такая? приставаль онъ къ купцу.

— Уйди ты, ради Христа! Уйди! ахъ, ахъ Господи! сто-
налъ купецъ.—Да говори же, голубчикъ... ахъ!..

— Вы что, собственно, потеряли? едва могъ спросить Чухлымовъ, самъ до крайности встревоженный испугомъ купца.

— Батюшка! Кормилецъ!.. Бумажникъ обронилъ, бумажникъ съ деньгами... Голубчикъ! отдай... Давай!.. Давай!..

— Какого прѣта?.. силился еще спросить Чухлымовъ, давно готовый возвратить находку.

— Зеленый, родимый мой... Не мучь... Умру!.. Зеленый, краснымъ гайтанчикомъ перевязанъ, этакъ крестъ на крестъ... Царица Небесная! Владычица!.. А старуха-то еще сколько на-
казывала беречь....

Отецъ Вареоломей стоялъ въ сторонѣ... Да нѣтъ, это не отецъ Вареоломей стоялъ около стѣны: это былъ совсѣмъ другой чело-
вѣкъ, блѣдный и испуганный, страдающій: на лицѣ его, точно въ зеркалѣ, отражались всѣ тѣ болѣзненные ощущенія, которыя испытывалъ купецъ, тревога, испугъ и страшное томительное ожиданіе того, чѣмъ все это, наконецъ, окончится. Отецъ Вареоломей, казалось, болѣе купца боялся за развязку и ждалъ, ждалъ нетерпѣливо, съ замираніемъ сердца...

Черезъ нѣсколько мгновеній купецъ плакалъ, обнималъ отъ радости Чухлымова и предлагалъ денегъ.

— На, возьми тысячу, голубчикъ, не брезгуй, пригодятся... Не жаль, ей-ей не жаль...

— Чтѣ вы, помилуйте! За чтѣ же я буду брать... Я радъ, чтѣ все такъ благополучно кончилось, отвѣтилъ Чухлымовъ и пошелъ дальше.

— Святой человѣкъ! Да скажи хотѣ имя-то, хотѣ такъ обвинякомъ... Гдѣ живешь-то, хотѣ скажи.

Но Чухлымовъ шагаль уже далеко и не оглядывался.

Отецъ Вареоомей оставался еще нѣсколько времени въ полнѣйшемъ изумленіи, потомъ, точно опомнившись, вдругъ бѣгомъ пустился впередъ, слѣдомъ за Чухлымовымъ.

Татаринъ и купецъ все еще стояли на томъ же мѣстѣ, гдѣ послѣдній получилъ обратно бумажникъ. Татаринъ сначала подозрѣвалъ въ Чухлымовѣ какого-нибудь хитраго мазурика (Петербургъ, вѣдь, думалъ онъ), но, догадавшись въ чемъ дѣло, всплеснулъ руками и почти вслухъ сказалъ: «шайтанъ (дьяволъ) Хайбулка!» видимо въ укоръ самому себѣ за то, что не тамъ спалъ, гдѣ слѣдовало, какъ оказалось по обстоятельствамъ. Купецъ, между тѣмъ, перекрестившись разъ пятнадцать, сталъ размышлять: «дурачокъ, надо-быть, этотъ паренекъ-то», и черезъ нѣсколько времени думалъ: «а можетъ стать, это вовсе и не человѣкъ, а ангелъ Божій явился во образѣ человѣческомъ»; но еще черезъ нѣсколько секундъ размышлялъ уже совершенно иначе: куда ужъ намъ, думалъ онъ, до ангельскихъ услугъ, — наше мѣсто въ аду, можетъ только по милосердію Божію, да за молитвы святыхъ угодниковъ сподобимся принять кончину съ покаяніемъ и избавимся мукъ преисподнихъ... Гдѣ ужъ намъ до ангельскихъ услугъ.»

Такъ думалъ онъ, все еще тяжело дыша.

— Ужъ, батюшки мои, угодники Божіи! Николай Чудотворецъ! Пресвятая Богородица!...

И опять принялся часто-часто креститься; потомъ вздохнулъ во всю грудь и окончательно порѣшилъ о Чухлымовѣ.

— Нѣтъ, надо-быть такъ, какой-нибудь простенькій дурачокъ, сказалъ онъ и тронулся въ путь.

— Ты шайтанъ, Хайбулка! мысленно ругалъ себя татаринъ, идя рядомъ съ купцомъ и искоса взглядывая на его сѣдую бороду.» *)

*) Стр. 69—72.

Страницы столь же характерныя нерѣдки въ книгѣ г. Стахѣва. Но лучшія достоинства его повѣсти не могутъ быть показаны выписками; они состоятъ въ созданіи лицъ, изъ которыхъ самымъ замѣчательнымъ, конечно, слѣдуетъ признать *отца Вареоломея*, являющагося во 2-й части повѣсти. Лицо это — положительная заслуга г. Стахѣва; оно представляетъ вполне дорисованную и вполне живую фигуру; его жизнь и приключенія, его недостатки и смѣшныя стороны находятся въ удивительной гармоніи съ его душевною красотой, а красота эта поразительна. Это одинъ изъ тѣхъ священниковъ, преимущественно попадающихся въ деревенской глуши, которые представляютъ собою живое воплощеніе евангельскаго духа и о которыхъ съ такимъ изумленіемъ разсказываютъ иногда просвѣщенные люди, привыкшіе вообще негодовать на грубость и дикость русской жизни.

Приведемъ небольшую картинку.

«Приходитъ, напрімѣръ, мужикъ съ просьбой о помощи и валится въ ноги отцу Вареоломею, начиная во все горло выть. Отецъ Вареоломей строгимъ шепотомъ начинаетъ усовѣщевать просителя.

— Молчи! Молчи! въ ужасѣ шепталъ онъ, — молчи!

— Батюшка ты нашъ, кормилецъ, вопилъ мужикъ, стучаясь лбомъ о полъ.

— Вставай! Вставай! Грѣхондникъ ты этакой! Кому ты кланяешься? Кому? ты долженъ Господу Богу кланяться и Ему Единому служить... Вставай!

Мужикъ лѣниво поднимается и начинаетъ громко разсказывать свое горе, что давно хлѣба нѣтъ, что семья третій день сидитъ голодная, что ходилъ и туда и туда...

Отецъ Вареоломей только руками машетъ и проситъ говорить тише, а самъ оглядывается, не слышитъ ли Анна Аеанасьевна. Удостоверившись, что ея нѣтъ дома, «онъ тихими стопами» *) отправляется въ свою амбарушку для того, чтобъ исполнить просьбу бѣдняка.

— Ты, главное, много не говори, замѣчаетъ при этомъ отецъ Вареоломей; — помни, что въ многоглаголаніи нѣсть спа-

*) Слова въ кавычкахъ принадлежать тому языку, которымъ говорилъ отецъ Вареоломей.

сенія, а потому касательно снабженія тебя хлѣбомъ ты лучше умолчи. Я съ великою готовностью радъ тебѣ услужить и помочь. Но ты помни слова Господа нашего, Который глаголетъ: «ищите прежде царствія Божія и правды его, и вся временная благая приложатся вамъ». Вотъ, напримѣръ, я тебѣ, братецъ мой, скажу, было однажды достопамятное событіе въ царствованіе въ Бозѣ почившаго благовѣрнаго государя нашего Александра Благословеннаго. Во время одного изъ своихъ путешествій по государству онъ долѣе обыкновеннаго оставался на почтовой станціи...

Мужикъ стоялъ передъ отцомъ Вареоломъ съ открытою головою и внимательно слушалъ рассказъ; а разскащикъ, уже не обращая вниманія на то, что амбарушка еще не заперта и мужицкая телѣга съ мѣшкомъ хлѣба стоитъ посреди его двора, обстоятельно, со всѣми подробностями, разсказывалъ про достопамятное событіе.

Подъ вліяніемъ представившагося случая сдѣлать добро ближнему и даже еще имѣть возможность побесѣдовать съ нимъ, отецъ Вареоломъ совершенно забывалъ про то, что матушка въ это время можетъ возвратиться домой и уличить его на мѣстѣ преступленія въ томъ, что онъ «расточаетъ» свое имѣніе! Несмотря на то, что уже бывали такіе случаи и вели за собою весьма продолжительныя «пререканія», отецъ Вареоломъ былъ неисправимъ. Въ первое премя онъ пугался, когда Анна Аеанасьевна нападала на него врасплохъ и даже не зналъ, что говорить, тѣмъ болѣе что улика была на лицо: тутъ стоялъ и мужикъ съ открытою головою, тутъ же стояла и тощая кляченка съ мѣшкомъ муки на телѣгѣ; но отъ частаго повторенія подобныхъ сценъ отецъ Вареоломъ обтерпѣлся и на упреки жены «за расточительство» указывалъ ей на ея малодушіе.

— Попадья, попадья! говорилъ онъ, —отчего ты не памятуешь о житіи святаго Филарета Милостиваго? Ужели въ твоемъ воспоминаніи не осталось никакихъ слѣдовъ изъ моихъ разсказовъ о дѣяніяхъ сего замѣчательнаго угодника Божія.

Но указывать на малодушіе ему приходилось не долго, потому что черезъ двѣ, три минуты Анна Аеанасьевна уже

визжала на весь дворъ, и изъ ея устъ лились одно за другимъ, въ безконечномъ количествѣ, различныя опредѣленія касательно нравственныхъ свойствъ отца Вареоломея: тутъ слышались и «аспидъ», и «василискъ», и такія непонятныя слова, которыя могла придумать только разсерженная супруга отца Вареоломея, строгая блюстительница его хозяйственныхъ интересовъ.

Крестьянинъ, послужившій новою причиною «междуусобій», спѣшилъ поскорѣе ретироваться и если успѣвалъ, то увозилъ мѣшокъ съ хлѣбомъ, а если нѣтъ, то оставлялъ его на полѣ битвы до слѣдующаго благопріятнаго случая, когда Анны Аеанасьевны не будетъ дома. Отецъ Вареоломей, замѣчая, что авторитетъ Филарета Милостиваго сильно страдаетъ въ этомъ междуусобіи, благоразумно отступалъ и оставлялъ поле битвы. Онъ удалялся внутрь домика, плотно затворивъ за собою дверь для того, чтобы не слышать, какъ раздается на дворѣ звонкій голосъ Анны Аеанасьевны, не видѣть, какъ испуганныя этимъ крикомъ куры вмѣстѣ съ солидно ходившимъ до того времени пѣтуховъ, торопливо улепетываютъ въ отдаленную часть поповскаго двора, въ болѣе безопасное по ихъ понятіямъ мѣсто.

Отецъ Вареоломей, вслѣдствіе неудавшагося случая сдѣлать добро и вообще вслѣдствіе «возникшихъ» вновь непріятностей, печально склонялся головой на преддиванный столъ и нѣкоторое время оставался въ такомъ положеніи.

Если кому изъ читателей случалось видѣть въ Эрмитажѣ картину Бруни *Христосъ въ Геосиманскомъ саду*, то онъ отчасти вѣрно можетъ представить себѣ выраженіе лица отца Вареоломея въ то время, когда онъ, поднявъ главу отъ стола, смотрѣлъ въ передній уголъ на икону, слабо освѣщенную свѣтомъ лампы.

Какъ ни далеко заходили иногда домашнія непріятности, какъ ни было трудно и, главное, обидно переживать ихъ, въ особенности въ такихъ случаяхъ, когда замѣшивался и страдалъ при этомъ интересъ третьяго лица, но отецъ Вареоломей умѣлъ переживать: судя по его же собственнымъ словамъ, всѣ страданія сердца и боль, иногда «мгновенно» охватывавшая душу, разсѣивались при одномъ только взглядѣ на икону

Долготерпѣливаго, при одной мысли о неисповѣдимомъ Его Промыслѣ, разсѣивались такъ же, какъ во храмѣ «еиміамъ куренія».

Успокоивъ, такимъ образомъ, свои взволнованныя чувства, отецъ Вареоломей уже начиналъ обдумывать, какъ бы поскорѣй устроить, чтобы мѣшокъ съ мукой передать по принадлежности. А во дворѣ между тѣмъ все еще гремѣть голосъ Анны Аеанасьевны. Она, какъ говорится, расходилась и сама не можетъ собою владѣть. Сосѣди прильнувъ къ щелямъ забора, наблюдаютъ за теченіемъ событій во дворѣ отца Вареоломея; Анна Аеанасьевна, замѣтивъ это, начинаетъ ихъ распекать и въ досадѣ швыряетъ въ нихъ первое попавшееся подъ руки, не разбирая, полѣно ли попало, камень или чтò другое. Однажды въ азартѣ она кинула въ сосѣдній дворъ даже посохъ отца Вареоломея, который онъ только-что было выкрасилъ въ голубой цвѣтъ, сильно имъ, между прочимъ сказать, любимый.

Черезъ нѣсколько времени послѣ того, какъ оканчивались соображенія о передачѣ мужику мѣшка съ хлѣбомъ, отецъ Вареоломей острожно подходилъ къ двери, прикладывалъ ухо къ ея скважинѣ и начиналъ вслушиваться въ неумолкающій визгъ Анны Аеанасьевны, печально повторяя про себя: «соблазнъ! соблазнъ!...» Дождавшись, наконецъ, того времени, когда во дворѣ возстановилась тишина, онъ глубоко, глубоко вздыхалъ, точно по окончаніи тяжелой работы и садился за книгу, чтобы забыться окончательно и успокоиться, для чего и надвигалъ на носъ старинныя серебряныя очки солидныхъ размѣровъ. Иногда междуусобіе этимъ и оканчивалось; супруга, сознавъ свое превосходство и восторжествовавъ надъ мужемъ, сурово принималась за свои дамашнія дѣла, не обращая вниманія на отца Вареоломея.

Вслѣдствіе этого, онъ уже совершенно успокоивался и углублялся въ чтеніе духовной книги; но читая, напримѣръ, о битвѣ Филистимлянъ съ Израилътянами во время Саула и Ионаана, онъ какъ-то невольно задумывался надъ вопросомъ о томъ, къ которому собственно изъ ихъ лагерей могла быть сопричислена его воинственная супруга.

Такъ дешево отдѣлаться за посягательство «расточать» свое имѣніе отцу Вареоломею приходилось не часто, потому что Анна Аванасьевна не всегда ограничивалась тѣмъ, что срывала большую часть гнѣва на сосѣдяхъ; его оставалось и на долю отца Вареоломея достаточное количество. Въ такомъ случаѣ, онъ считалъ необходимымъ на нѣкоторое время «удалиться» изъ своего дома, чтобы дать возможность скорѣе утихнуть домашнимъ волненіямъ. Онъ уходилъ въ поле, бродилъ по лѣсамъ, забирался на горы и совершенно забывалъ о томъ, какія причины вызвали его изъ дома. Иногда въ такое время домашнихъ баталій его можно было встрѣтить сидящимъ на крутомъ обрывѣ горы и наблюдающимъ закатъ солнца. Сидитъ онъ и смотреть, какъ уходитъ за дальнія горы великое свѣтило, какъ постепенно скрывается отъ глазъ его послѣдняя блестящая точка, и во всѣ стороны неба изъ яркаго пламени вечерней зари разстилаются полукругомъ его блѣднѣющіе лучи; вотъ оно уже совершенно скрылось отъ глазъ, а лучи все еще видны на небѣ и прорѣзываются сквозь легкія облака, озолоченныя и окрашенныя необъяснимыми чудными цвѣтами. Сидитъ отецъ Вареоломей и все смотритъ, и только порывистѣе и порывистѣе дѣлается его дыханіе; видно, что въ глубинѣ души его что-то творится и просится наружу; онъ, наконецъ, не выдерживаетъ, всталъ на ноги, снимаетъ шляпу и начинаетъ пѣть со слезами на глазахъ: «Величитъ душа моя Господа!...» *)

Намъ тѣмъ пріятнѣе отдать справедливость повѣсти г. Стахѣва, что онъ пишетъ уже давно, но до «Наслѣдниковъ» не успѣлъ обратить на себя вниманія. По той добросовѣстности, которою отличается этотъ его послѣдній трудъ, видно, что онъ усердно работаетъ надъ своимъ талантомъ; если же такъ, то по результатамъ, которые уже теперь у насъ предъ глазами, мы можемъ еще многого ожидать отъ него въ будущемъ.

*) „Наслѣдники“, т. II, стр. 25—30.

XVI.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ.**1. Изъ воспоминаній объ Аполлонѣ Александровичѣ Григорьевѣ.**

(«Эпоха». 1874, № 9).

Гораціо! ты все ему расскажешь!

Гамлетъ.

Смерть А. А. Григорьева *) была печальною неожиданностію для всѣхъ, кто зналъ и любилъ его. Онъ обладалъ могучимъ здоровьемъ, которое неподвергалось никакимъ вліяніямъ климата и, казалось, безъ ущерба выносило всѣ излишества, которымъ ему случалось предаваться. Еще наканунѣ его смерти мы по обыковенію шутили надъ его положеніемъ и никому не приходила на умъ мысль объ опасности.

Теперь, когда его нѣтъ съ нами, когда вдругъ мы почувствовали пустоту, оставленную по себѣ этимъ глубокимъ человѣкомъ, этимъ *вѣяніемъ*, какъ онъ самъ любилъ называть себя, на насъ невольно нападаетъ тяжелое раздумье. Что сломило эту жизнь, которая казалась такою крѣпкою? Что подорвало эти силы, которыя казались неистощимыми? Вѣроятно, былъ внутренній червь, незамѣтно подтачивавшій этого человѣка, имѣвшій нѣкоторую связь и со всѣми превратностями его жизни, и съ тѣми излишествами, въ которыхъ очевидно была для него какая-то болѣзненная и тяжкая потребность.

И вообще, чѣмъ жилъ этотъ человѣкъ? Что составляло главный нервъ, главную струю этой неожиданно-угасшей жизни? Чѣмъ онъ дорожилъ, въ чемъ полагалъ свой долгъ и свою гордость, чему радовался, о чемъ печалился? Теперь, когда его нѣтъ съ нами, мы невольно отдаемся печальной отрадѣ воспоминаній, невольно вдумываемся въ урокъ, завѣщанный намъ его совершившеюся жизнью.

*) 25 сент. 1864 г. Изд.

Каждый, кто зналъ покойнаго, не колеблясь ни минуты, скажетъ, что это не былъ человѣкъ личныхъ интересовъ, что никогда личные интересы не стояли у него на первомъ планѣ, не занимали главнаго мѣста въ душѣ. Часто случалось, правда, что онъ дѣтски-наивно жаловался на скудость и шаткость своего личнаго положенія; но эти жалобы только доказываютъ, что онъ никогда не умѣлъ соблюдать свои интересы. Если бы это было не такъ, если бы онъ, дѣйствительно, умѣлъ дорожить ими и соблюдать ихъ, то онъ конечно не терпѣлъ бы и десятой доли тѣхъ неудобствъ и неустройствъ, среди которыхъ почти постоянно жилъ. Та же самая неумѣлость отзывается даже въ его литературныхъ трудахъ. У него недоставало той гибкости, которая даетъ возможность приспособляться къ условіямъ и требованіямъ повременнаго изданія или даже, просто, къ пониманію читателей. Онъ писалъ свои статьи такъ, какъ они приходили ему въ голову, ни мало не заботясь о чемъ-либо постороннемъ. Вотъ почему онъ писалъ языкомъ для него яснымъ и выразительнымъ, но для другихъ часто темнымъ и непонятнымъ; вотъ почему его статьи не имѣли блестящаго и скорого успѣха. Зато, разумѣется, тѣмъ выше цѣнилъ его всякій, кто понималъ его; а медленный успѣхъ его взглядовъ былъ вполнѣ проченъ, и никто не сумѣлъ бы теперь сказать, когда онъ прекратится.

Неумѣлый человѣкъ одно только умѣлъ—слѣдить за умственнымъ и эстетическимъ движеніемъ нашимъ, чувствовать и понимать всѣ явленія въ нашемъ мірѣ искусства и мысли. Сюда были устремлены всѣ силы его души; здѣсь была его радость и печаль, долгъ и гордость. Быть *сознаніемъ* этого движенія, этой жизни,—вотъ что составляло его природу, въ чемъ заключались его желанія, его существенная жизненная потребность.

Опять скажу—это подтвердить всякій, кто только зналъ Григорьева. Ничто его столько не занимало, не увлекало, не наполняло, какъ явленія въ мірѣ искусства вообще и въ мірѣ словеснаго художества въ особенности. Это былъ урожденный критикъ, для котораго критика была естественною потребностію и прямымъ назначеніемъ жизни.

Такой-то человекъ среди насъ жилъ и умеръ. Я не имѣю нисколько притязанія очертить здѣсь вполнѣ характеръ его или раскрыть тайну его жизни; я хочу только съ своей стороны сообщить то, что объ немъ знаю. Я былъ знакомъ съ Григорьевымъ только въ послѣдніе годы его жизни; но его отношеніе къ литературѣ, т. е. къ той сферѣ, въ которой одной онъ могъ жить полною жизнью, для меня вполнѣ ясны, и я могу здѣсь сообщить нѣкоторыя терты, можетъ быть никому неизвѣстныя.

Мы познакомились съ нимъ въ концѣ 1859 г., въ Петербургѣ. Въ этомъ году было начато изданіе одной новой еженедѣльной газеты, и я началъ въ ней свое литературное поприще тремя маленькими статьями, напечатанными въ теченіе года, подъ заглавіемъ *Физиологическія письма*. Послѣ появленія первой же изъ этихъ статей издатель газеты вдругъ какъ-то объявляетъ мнѣ, что статья моя заслужила большое одобреніе отъ Григорьева, и что Григорьевъ непременно желаетъ со мною познакомиться. Привожу этотъ фактъ, какъ доказательство необыкновенно живого и теплаго вниманія, которое Григорьевъ обращалъ на литературныя явленія. Кромѣ его, никто этихъ физиологическихъ писемъ и не замѣтилъ. А для него они послужили основаніемъ весьма тѣснаго сближенія со мною.

Въ то время я былъ совершенно незнакомъ съ литературнымъ міромъ. Я не имѣлъ понятія о силѣ, съ которою въ немъ господствуютъ извѣстныя мнѣнія и предразсудки. Въ нашемъ кружкѣ, состоявшемъ кромѣ меня изъ нѣсколькихъ болѣе молодыхъ людей, мы цѣнили литературныя явленія по своему, ни мало не справляясь съ ихъ рыночною цѣною и даже не подозрѣвая, какъ мы смѣлы въ своихъ сужденіяхъ. Григорьевъ стоялъ въ нашихъ глазахъ чрезвычайно высоко, тогда какъ другіе дѣятели, и именно многіе изъ тѣхъ, которые тогда наиболѣе гремѣли и сіяли, цѣнились нами весьма низко. Такимъ образомъ похвала, заслуженная моею статьею отъ Григорьева, была для меня самымъ лестнымъ успѣхомъ, какого только я могъ пожелать, и обрадовала меня невыразимо.

По разнымъ обстоятельствамъ мы встрѣтились только осенью, на вечерѣ у одного изъ литераторовъ и потомъ стали бывать другъ у друга. И вотъ что меня поразило съ первыхъ же свиданій. Григорьевъ, отъ времени до времени, писалъ небольшія полемическія и критическія статьи, подъ которыми подписывался: *одинъ изъ ненужныхъ людей*. Я любовался спокойнымъ и глубокомысленнымъ юморомъ этихъ статей, и самую подпись понималъ только, какъ средство усилить сарказмъ. Каково же было мое удивленіе, когда въ первыхъ же разговорахъ съ Григорьевымъ я услышалъ отъ него прямые намеки на то, что онъ, дѣйствительно, человѣкъ *ненужный* въ настоящее время, что ему нѣтъ мѣста для дѣятельности, что духъ времени слишкомъ враждебенъ къ людямъ такого рода, какъ онъ. Сначала я приступилъ было къ нему съ горячими разувѣреніями. «Помилуйте, говорилъ я ему, какой же вы ненужный человѣкъ, когда вы составляете единственную нашу надежду, когда отъ васъ только и можно ждать настоящаго критическаго суда литературныхъ явленій? Между вами и вашими соперниками и порицателями лежитъ неизмѣримое разстояніе». На эти увѣренія онъ отвѣчалъ мнѣ, что я еще мало знаю положеніе дѣлъ, что настоящей критики никому теперь не нужно; а въ доказательство приводилъ то, что ему негдѣ писать.

Очень меня это удивляло. Я простодушно воображалъ тогда, что каждый издатель долженъ съ такою же радостію принимать статьи Григорьева, съ какою я ихъ читалъ. Дѣйствительно, было далеко не такъ. Григорьевъ былъ въ совершенномъ загонѣ. Статьи его до того выходили изъ обыкновеннаго, такъ сказать, всѣми тогда принятаго тона, что ихъ встрѣчали съ недовѣріемъ, и если его сужденія, какъ это безпрестанно случалось, противорѣчили ходячимъ тогда мнѣніямъ, то каждый считалъ себя въ правѣ стать на сторону ходячихъ мнѣній и обвинить Григорьева въ смѣшной эксцентричности. На него подымались хоромъ:

Что вы?

Да какъ вы? Можно-ль противъ всѣхъ?

Это было время самаго сильнаго господства тѣхъ, кого Григорьевъ называлъ теоретиками. Вся петербургская литература вторила имъ самымъ усерднымъ и искреннимъ образомъ. Противъ нихъ не раздавалось ни одного сколько-нибудь замѣтнаго голоса. Московская журналистика хотя имѣла другое направленіе, но была подъ явнымъ страхомъ и помалчивала. Были извѣстные предметы, объ которыхъ, подъ страхомъ позора, нельзя было сказать ни одного сочувственнаго слова; были другіе, которыхъ не смѣло коснуться ни единое слово осужденія.

Чтобы показать вмѣстѣ и мою собственную неопытность и тогдашнее положеніе дѣлъ, разскажу маленькій случай, бывший со мною. Когда началось изданіе газеты, о которой я говорилъ, я предложилъ редакціи небольшую статью, содержащую въ себѣ опроверженіе нѣкоторыхъ quasi-философскихъ ученій теоретиковъ. Редакторъ отказался напечатать и прямо сказалъ мнѣ, что никакихъ подобныхъ статей онъ не возьметъ отъ меня.

На другой годъ затѣялось въ Петербургѣ изданіе новаго толстаго журнала. Я участвовалъ въ немъ съ первой книжки, и опять мнѣ случилось написать статью противъ теоретиковъ. Статья не была принята, и опять мнѣ заранѣе сказано, что статей такого рода журналъ принимать не будетъ.

На слѣдующій годъ опять основался новый толстый журналъ и съ перваго же номера печатали мои статьи. Когда въ половинѣ года у меня сложилась статейка противъ теоретиковъ, то наконецъ она была принята.

Итакъ, я очень дурно понималъ положеніе и настроеніе литературы въ то время, когда познакомился съ Григорьевымъ. Мнѣ казалось невѣроятнымъ, чтобы его удивительный талантъ не находилъ себѣ мѣста. Я задумалъ помочь ему. Тогда я находился въ довольно частыхъ сношеніяхъ съ «Русскимъ Вѣстникомъ», гдѣ печаталась одна изъ моихъ статей. Я зналъ, что этотъ журналъ недоволенъ своимъ критическимъ отдѣломъ, для котораго никакъ не могъ найти вполне пригодныхъ сотрудниковъ. И вотъ весною 1860 г. я написалъ въ редакцію «Русскаго Вѣстника», что если она желаетъ

имѣть у себя критику, то единственный человѣкъ для этого дѣла—Аполлонъ Григорьевъ, что такъ я его понимаю и такъ судить о немъ лучше изъ здѣшнихъ литераторовъ. Вслѣдствіе ли одного этого письма, или можетъ быть также и по другимъ причинамъ,—только Григорьевъ очень скоро былъ вызванъ въ Москву. Онъ поѣхалъ для переговоровъ и черезъ нѣсколько дней вернулся съ полнымъ торжествомъ. Ему поручали исполнѣ критическій и беллетристическій отдѣлъ журнала. Помню, какъ я зашелъ къ нему на дачу, въ крошечный домикъ, стоящій на концѣ Палюстрова, посреди ровнаго зеленого болотца. Онъ привезъ съ собою книжку «Русскаго Вѣстника», въ которой только что была напечатана моя статья, и говорилъ мнѣ съ большою радостію: «ну вотъ, мы съ вами будемъ проповѣдывать съ кафедръ, у которой шесть или семь тысячъ слушателей».

Переѣхалъ онъ въ Москву, кажется, въ концѣ іюня. Въ началѣ августа, когда мнѣ случилось на пути въ Петербургъ быть проездомъ въ Москвѣ, я видѣлъ Григорьева въ редакціи «Русскаго Вѣстника», и казалось, дѣло шло исполнѣ ладно. Въ слѣдующемъ номерѣ должна была явиться первая его статья. Но напрасно потомъ въ Петербургѣ я искалъ этой статьи въ каждой новой книжкѣ журнала; номера выходили за номерами, но ни одной статьи Григорьева въ нихъ не было.

Что произошло, я не знаю, но только оказалось, что дѣло не пошло на ладъ съ самаго начала. При такихъ, повидимому, исполнѣ благоприятныхъ обстоятельствахъ, Григорьевъ не успѣлъ завоевать себѣ никакого мѣста въ журналѣ. Не было напечатано ни одной его статьи; не было напечатано ни одного изъ тѣхъ беллетристическихъ произведеній, которыя онъ одобрилъ.

Никто не зналъ, что онъ дѣлаетъ. Поздно осенью или даже въ началѣ зимы онъ вернулся въ Петербургъ, вернулся, разумѣется, по прежнему безъ всякаго опредѣленнаго положенія, не зная, гдѣ писать и что писать. Ничего нѣтъ мудренаго, что онъ запутался въ долгахъ и къ концу года попалъ въ долговое отдѣленіе.

Въ 1861 г. началось изданіе «Времени». Только по чистой случайности первая книжка этого журнала вышла безъ статьи Григорьева. Здѣсь его очень уважали и цѣнили. Со второй книжки начался рядъ его статей: *Народность и литература; Западничество въ русской литературѣ, причины происхожденія его и силы; Вѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ* и т. д.; кромѣ того, шли мелкія рецензіи и замѣтки.

Такимъ образомъ, положеніе Григорьева, казалось, упрочивалось и подавало хорошія надежды на будущее. Онъ довольно порядочно устроился и обзавелся. Журналъ имѣлъ очень быстрый и многообъщающій успѣхъ. Григорьевъ работалъ охотно и писалъ много.

Но это продолжалось только нѣсколько мѣсяцевъ. Что побудило его ѣхать въ Оренбургъ?—вопросъ, который разрѣшить очень трудно. Самъ онъ любилъ ссылаться на разногласія съ редакціею. Были конечно эти разногласія, но они были такъ ничтожны, и полное согласіе такъ легко могло бы восстановиться съ обѣихъ сторонъ, что придавать имъ важность никакъ нельзя. Помню, какъ мы цѣлымъ хоромъ угоразивали его остаться; онъ хватался за всевозможные предлоги, чтобы оправдать свое желаніе и, несмотря на самыя ясныя опроверженія, оставался на своемъ. Мы дивились его капризу и никакъ не могли понять его. Мнѣ кажется, что причины его отъѣзда нужно искать въ его внутренней жизни, съ которою я тогда былъ вовсе незнакомъ. Мнѣ кажется, онъ бросилъ журналъ и Петербургъ по такой же причинѣ, по которой черезъ годъ бросилъ Оренбургъ и вернулся къ журналу. И то и другое независимо отъ журнала, постоянно сохранявшаго къ нему одинаковыя отношенія и самое полное уваженіе.

Какъ бы то ни было, лѣтомъ 1861 года Григорьевъ уѣхалъ въ Оренбургъ на мѣсто учителя русскаго языка и словесности въ тамошнемъ корпусѣ.

Какъ читатель видитъ, отношенія между мною и Григорьевымъ до этого отъѣзда были чисто литературныя; насъ связывалъ только этотъ одинъ интересъ. Григорьевъ видѣлъ во мнѣ своего ревностнаго почитателя; я смотрѣлъ на него,

какъ на великаго и единственнаго мастера въ дѣлѣ критики. Этимъ объясняется то, что, когда онъ уѣхалъ въ Оренбургъ, то завелъ со мною весьма дѣятельную переписку, и что переписка эта имѣла чисто литературное содержаніе. Ему было пріятно излагать свои сужденія передъ внимательнымъ и сочувствующимъ слушателемъ. Такимъ образомъ, у меня оказался цѣлый рядъ писемъ Григорьева, въ которыхъ онъ излагаетъ свой взглядъ на современную литературу и на свое положеніе въ ней. Письма эти насъ очень интересовали. Каждый разъ почти я, бывало, приносилъ письмо Григорьева въ редакцію «Времени» и читалъ его вслухъ для всеобщаго назиданія. И мнѣнія, высказанныя Григорьевымъ въ письмѣ, всегда имѣли большой вѣсъ въ журналѣ.

Изъ писемъ читатель увидитъ гораздо яснѣе, чѣмъ изъ всякихъ моихъ объясненій, какой глубокий интересъ составляла для Григорьева литература, какъ неразрывно сливалась она со всею его жизнью. Съ другой стороны, читатель видитъ тѣ опасенія и страхи, тѣ припадки неизлечимаго унынія, которымъ постоянно подвергался Григорьевъ, которые сопровождали его до могилы и, безъ сомнѣнія, ускорили его смерть. *)

И вообще **) болѣе всякаго другого Григорьевъ испытывалъ всѣ тѣ невзгоды, всѣ тѣ неудобства, бѣдствія и превратности, какія могутъ встрѣтиться въ литературной жизни.

Литераторъ онъ былъ настоящій, т. е. не взявшійся за перо случайно, хотя бы при нѣкоторой охотѣ и способности къ писанію, а напротивъ полный идей, захватывавшихъ все его существо и требовавшихъ себѣ исхода и выраженія. Сочиненія его, полнаго изданія которыхъ нельзя не ждать съ нетерпѣніемъ, представлять цѣлыя громады мыслей, въ которыя всматриваться будетъ долго поучительно. Въ нихъ найдешь себѣ неистощимую пищу всякій, кто дѣйствительно любить и уважаетъ литературу и искусство. Удивительная глубина и ширина взгляда, даже теряющагося и расплывающагося только по причинѣ своей глубины и ширины, давала

*) Далѣе идутъ письма—числомъ одиннадцать. Письма снабжены обстоятельными комментаріями Н. Н. Страхова. Изд.

**) Заключение къ письмамъ. Изд.

Григорьеву возможность дѣлать намеки и указывать черты, которыя уловлены съ поразительною вѣрностію, хотя и остаются чертами и намеками. Тутъ обширное поприще для изученія и пониманія. Нѣтъ писателя, у котораго бы въ писаніяхъ такъ мало было *сочиненія* и такъ много *жизни*, какъ у Григорьева. Оттого-то они такъ любопытны, такъ обильны содержаніемъ.

Григорьевъ писалъ, увлекаемый своими вѣяніями; онъ сливался съ предметомъ, наполнявшимъ его мысли. Что-же вышло? Его встрѣтили недоразумѣніемъ, насмѣшками, глумленіемъ. Онъ не хотѣлъ, да и не могъ какъ-нибудь примѣниться къ тону; языку, приемамъ, господствовавшимъ въ литературѣ. Поэтому такъ часто онъ вовсе не находилъ журнала, гдѣ-бы могъ писать, чтò хотѣлъ. Григорьевъ не былъ-бы Григорьевымъ, если бы изъ него могъ выйти журнальный работникъ, который, подчиняясь случаямъ и надобности, пишетъ о томъ или о другомъ.

Отсюда понятно, что для него менѣе, чѣмъ для кого-нибудь другого, было возможно устроить себѣ правильный и ровный доходъ. Кромѣ того, и въ случаѣ дѣятельной работы, зависимость отъ минуты, отъ расположенія духа, кажущаяся легкость труда, утомленіе, тѣмъ болѣе опасное, что подходит незамѣтно, отсутствіе всякой нити, которая-бы механически регулировала работу и распредѣляла время,—все это вело къ житейскому безпорядку и со всѣмъ этимъ менѣе всякой другой могла справиться непрактическая натура Григорьева.

Все это однакоже еще ничего не значитъ; даже то, что въ литературѣ не было признано за нимъ настоящаго мѣста и значенія, еще не составляло самаго большого зла. Главное, отъ чего страдалъ Григорьевъ, было его постоянное стремленіе къ энтузіазму, къ тому самому энтузіазму, въ которомъ заключалась вся его сила, какъ критика и писателя. Минуты, когда онъ постигалъ самыя тайныя біенія жизни, воплощенные искусствомъ, были настоящими живыми минутами Григорьева. Но за ними слѣдовалъ упадокъ силъ, при которомъ весь личный міръ человека тускнѣетъ и обезцвѣчивается; неизбежно слѣдовало смутное и тревожное исканіе идеала въ

своей собственной жизни. Вотъ почему Григорьевъ быть человѣкъ въ высшей степени *напряженный*, какъ онъ самъ выражается о своихъ первыхъ стихотвореніяхъ, хотя въ то же время совершенно искренній. Онъ ни въ чемъ не могъ помириться на серединѣ. Онъ старался возводить свои мысли и чувства до идеальной глубины и чистоты; если же обрывался въ этихъ усиліяхъ, то прямо переходилъ въ противоположную крайность и погружался въ безпорядокъ жизни съ какимъ-то сладострастіемъ цинизма. Эти безпрестанныя противоположности поражали всякаго, кто въ первый разъ узнавалъ Григорьева; они сломали его жизнь и подорвали его крѣпкую натуру.

Увы! Очевидно, Григорьевъ не былъ властителемъ тѣхъ силъ, которыя въ немъ жили: не онъ управлялъ ими, а они имъ. Недаромъ, какъ лучшую похвалу, онъ хвалится своею искренностію, своимъ нелицемернымъ служеніемъ духу, въ немъ вѣявшему. Какъ-то въ одинъ изъ послѣднихъ разговоровъ съ нимъ, я сказалъ ему объ одномъ вопросѣ: «ты знаешь, что я не согласенъ съ тобою въ этомъ случаѣ; можетъ быть, ты однакоже болѣе правъ...» «Правъ я или не правъ, перебилъ онъ меня, этого я не знаю; я—вѣяніе!»

И вотъ силы, которыя онъ носилъ въ себѣ, изнашивали его самого; онъ умеръ, сжигаемый огнемъ своего вѣянія.

Григорьевъ былъ средняго роста и имѣлъ прекрасную наружность, поражающую соединеніемъ силы и граціи; въ немъ, дѣйствительно, была грандіозность, такъ шедшая къ его напряженной натурѣ. Сѣрые глаза, небольшіе, но замѣчательно далеко разставленные одинъ отъ другого, имѣли необыкновенный блескъ, поразившій меня, когда я его увидѣлъ въ первый разъ. Носъ орлиный. Руки, съ которыми онъ обращался крайне небрежно, были малы, нѣжны и красивы, какъ у женщины.

14-го ноября 1864 г.

2. По поводу писемъ Ал. Григорьева къ Н. Н. Страхову.

(«Новыя письма Ал. Григорьева». «Эпоха.» 1865, № 2).

Позволю себѣ сказать нѣсколько словъ *) о тѣхъ отзывахъ, которыми были встрѣчены въ литературѣ письма Григорьева, помѣщенные въ сентябрьской книжкѣ прошлагодней «Эпохи». Надѣюсь, читатели тѣмъ охотнѣе извинять мнѣ въ этомъ случаѣ, что дѣло идетъ не обо мнѣ лично, а о покойномъ собратѣ.

Прежде всего я нисколько не былъ удивленъ и раздосадованъ тѣмъ низкимъ мнѣніемъ о Григорьевѣ, которое было высказано въ этихъ отзывахъ, хотя, повидимому, здѣсь много поводовъ къ удивленію и досадѣ. Пріятно слышать сужденіе, которое говоритъ само за себя; нельзя упрекать и за голословный приговоръ, если его произноситъ человѣкъ, имѣющій на то право. Но кто въ настоящемъ случаѣ подаетъ свое голословное мнѣніе о Григорьевѣ? Люди, которымъ доступна и возможна только самая избитая казенщина, изъподъ пера которыхъ никогда ничего не можетъ выйти кромѣ того, что не только жовано и пережовано, а даже переварено, какъ выразился однажды Фейербахъ; такіе люди заявляютъ намъ свое невѣріе въ глубокую оригинальность Григорьева и въ его необыкновенное богатство пониманія. Удивляться и досадовать здѣсь однакоже не слѣдуетъ. Ибо все это въ порядкѣ вещей. Отъ такихъ людей и нельзя было ожидать никакого другого отзыва; они непремѣнно должны быть именно такого мнѣнія. Кто ни въ какомъ случаѣ и ни съ какой стороны не можетъ стать наравнѣ съ Григорьевымъ, только тотъ и можетъ, и по необходимости принужденъ, смотрѣть на Григорьева, какъ на писателя ничтожнаго и ненужнаго.

Вообще, въ царствѣ мнѣній—борьба и разногласіе дѣло неизбѣжное и законное. Каждый можетъ судить, какъ ему угодно; въ этомъ случаѣ дается всѣмъ полное право и пол-

*) Заключение къ „Новымъ письмамъ,“ которыя писаны къ Катеринѣ Сергѣевнѣ Ворониной, урожденной Протопоповой. Изд.

ная свобода въ той увѣренности, что дѣло будетъ, какъ слѣдуетъ, порѣшено безпристрастнымъ потомствомъ. Это безпристрастное потомство, можетъ быть, наступитъ не слишкомъ поспѣшно, почему оно часто именуется въ такихъ обстоятельствахъ «позднимъ» или «отдаленнымъ» потомствомъ; но рано или поздно оно, мы вѣруемъ, наступитъ.

Но есть вещи, для которыхъ нѣтъ возможности найти оправданія ни въ какомъ потомствѣ, ни въ ближнемъ, ни въ дальнемъ. Именно—почти ни одинъ отзывъ о письмахъ покойнаго Григорьева не обходится безъ явнаго и, очевидно, умышеннаго искаженія дѣла.

«Сколько могли мы уразумѣть (пишетъ одинъ журналецъ) изъ всего хаоса понятій, выложеннаго на показъ публикѣ въ этихъ странныхъ письмахъ, Григорьевъ цѣнилъ выше всего труды и направленіе М. П. Погодина, Шевырева и о. Ѳеодора. Бѣлинскаго онъ уважалъ *только* за его московскую дѣятельность, то есть за его статьи о бородинской годовщинѣ, о Жоржъ-Зандѣ, и т. п.»

Какъ не подумалъ авторъ этихъ словъ, нѣкто *Н. Алт.* (См. «Кн. Вѣстникъ», № 1), о томъ, что, говоря печатно подобныя вещи, онъ самымъ *страннымъ образомъ выкладываетъ себя на показъ публикѣ?*

«*Цѣнилъ выше всего*» — откуда взято это столь опредѣленное — *выше всего?* Мнѣ кажется, совершенно ясно—откуда. Между многими именами, о которыхъ съ уваженіемъ упоминаетъ Григорьевъ, авторъ встрѣтилъ также имена Погодина, Шевырева и о. Ѳеодора. Это показалось ему забавнымъ—не потому, чтобы онъ имѣлъ объ этихъ именахъ какое-нибудь собственное мнѣніе, а потому, что по самому избитому ходячему мнѣнію нѣкоторыхъ изъ нашихъ прогрессивныхъ людей къ этимъ именамъ положено относиться непремѣнно съ высокомѣріемъ. И вотъ, обрадовавшись находкѣ этихъ трехъ именъ, авторъ вздумалъ хорошенько приправить ее, погуще посолить и написать: *Григорьевъ выше всего цѣнилъ труды и направленіе М. П. Погодина, Шевырева и о. Ѳеодора.*

Съ Бѣлинскимъ совершенно тотъ же процессъ пониманія и та же точность въ изложеніи. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Григорьевъ говоритъ:

«Въ настоящую минуту—великая и честная заслуга была бы умѣть въ оцѣнкѣ литературныхъ произведеній *остановиться* на ученіи Бѣлинскаго до 1844 года, потому что оно (съ нѣкоторыми видоизмѣненіями) единственно правое.»

Какъ же понялъ это г. Н. Алп.? Если бы онъ имѣлъ правильное понятіе о Бѣлинскомъ и о перемѣнахъ въ его ученіи, то конечно онъ понялъ бы слова Григорьева въ ихъ настоящемъ смыслѣ.

Но, очевидно, г. Н. Алп. не имѣетъ никакого понятія о Бѣлинскомъ и объ исторіи его развитія. Онъ только знаетъ, что когда-то, въ ранній свой періодъ, Бѣлинскій написалъ статьи, которыя, опять-таки не по собственному мнѣнію г. Н. Алп., а по самому избитому ходячему мнѣнію нѣкоторыхъ изъ нашихъ прогрессивныхъ людей, подлежатъ строгому осужденію. Вспомнивши это, г. Н. Алп. уже ни мало не сомнѣвается, что именно за эти-то статьи и стоялъ Григорьевъ, а потому и пишетъ:

Сколько мы могли уразумѣть изъ всего хаоса понятій и проч., Григорьевъ уважалъ Бѣлинскаго только за его московскую дѣятельность, т. е. за его статьи о бородинской годовщинѣ, о Жоржъ-Зандѣ, и т. д. ()*

Вотъ вамъ и толкованіе! Вотъ вамъ и *сколько мы могли уразумѣть!* Очевидно, подобные толкователи не могутъ ничего и нисколько уразумѣть; очевидно, они пишутъ только то, что имъ вадумается, а думается имъ такъ, что у нихъ, какъ въ калейдоскопѣ, являются только новыя комбинаціи все однихъ и тѣхъ же избитыхъ, казенныхъ, рутинныхъ, жованнанныхъ мнѣній.

Въ другомъ журналѣ («Современникъ») меня упрекали въ томъ, что будто-бы въ письмахъ Григорьева я злоумышленно скрылъ одни имена, чтобы не обидѣть ихъ отзывами

*) Обѣ упомянутыя статьи писаны въ 1839 г. и писаны уже въ Петербургѣ, а не въ Москвѣ. *Примѣчаніе для Книжнаго Вѣстника.*

Григорьева, и нарочно выставилъ полными буквами другія имена, которыя не хотѣлъ щадить. Это обвиненіе сдѣлано безъ малѣйшаго доказательства, да, судя по духу всей статьи, доказательство едва ли и считалось чѣмъ-нибудь нужнымъ. Между тѣмъ если взять *все* имена, которыя мною приведены, то окажется несомнѣнно, что мною не руководило пристрастіе. Я не скрылъ отзывовъ и часто весьма тяжелыхъ, которые выпали на долю Тургеневу, Островскому, Достоевскому, Полонскому и т. д. Почему же мнѣ было скрывать отзывы о гг. Курочкинѣ и Минаевѣ? Стоило только немножко сообразить мнѣнія и положеніе Григорьева, для того чтобы понять, что въ наслѣдствѣ покойнаго критика самый жесткій судъ долженъ былъ, конечно, достаться извѣстной сторонѣ. Что касается до меня, то я напечаталъ *все, что можно было напечатать*,—все, что имѣло характеръ чисто-литературный, а не частный. Я думалъ, что отзывы покойника, если они и рѣзки, могутъ быть все-же выслушаны безъ всякаго раздраженія.

Я не стану говорить объ остальномъ содержаніи статьи «Современника». Какъ примѣръ приведу только, что статья въ одномъ мѣстѣ представляетъ меня прямо лжецомъ. Именно, въ «Воспоминаніяхъ объ А. А. Григорьевѣ» я рассказываю объ одномъ *своёмъ* частномъ разговорѣ и о содержаніи *своего* письма, писаннаго по поводу разговора. «Современникъ» не вѣритъ. Онъ дѣлаетъ даже игривое положеніе, что если бы Аполлонъ Григорьевъ всталъ изъ гроба, то онъ уличилъ бы меня во лжи.

Что прикажете отвѣчать на это? За исключеніемъ утѣшительной мысли о безпристрастномъ потомствѣ, приходится только удивляться и разводить руками. Господи! какъ это у нихъ все *легко* дѣлается! Какая, такъ сказать, подвижность мысли и развязность дѣйствій! Нѣтъ, спорить съ ними мудрено! За такими притками и развязными людьми никакъ не угоняешься!

3. Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ.

(«Кругозоръ». 1876, 12).

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ, нашъ извѣстный критикъ, былъ москвитчъ по рожденію и воспитанію. Учился сперва дома, а потомъ въ Московскомъ университетѣ, изъ котораго вышелъ въ 1842 году первымъ кандидатомъ юридическаго факультета. Въ это время Московскій университетъ стоялъ очень высоко; молодые профессора, Грановскій, Крюковъ, Крыловъ и другіе, возбуждали энтузіазмъ въ слушателяхъ, и ни прежде, ни потомъ напряженіе умственной жизни не достигало такой высоты.

Ап. Григорьевъ по окончаніи курса поступилъ на службу и до 1857 года занималъ разныя небольшія мѣста, то въ Москвѣ, то въ Петербургѣ; большею частью онъ былъ учителемъ. Но его служебное поприще не имѣетъ въ себѣ интереса; главное было для него и для насъ — его литературная дѣятельность. Ее можно раздѣлить на три періода: а) первый петербургскій, б) московскій, и в) второй петербургскій.

Въ концѣ 1843 года Григорьевъ переселился въ Петербургъ. Рассказываютъ, что причиною этого была несчастная любовь, слѣды которой остались во многихъ его произведеніяхъ и память о которой не оставляла его до конца жизни. Литературное поприще онъ началъ стихотвореніями, которыя въ 1846 году вышли особою маленькою книжкой. Кромѣ того, въ журналѣ «Репертуаръ и Пантеонъ» появлялись за эти годы его повѣсти, драмы, театральныя рецензіи и т. д. Всѣ эти произведенія онъ самъ впоследствии называлъ *напряженными*; онъ былъ въ это время подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ *романтизма*, «тревожнаго начала», которому вообще заплатилъ дань въ своей жизни. Кромѣ лирическихъ стихотвореній, эта полоса дѣятельности Ап. Григорьева носитъ на себѣ печать незрѣлости и представляетъ интересъ (впрочемъ не малый) только для изслѣдованія его развитія.

Въ 1847 году онъ вернулся въ Москву; весь 1848 г. работалъ въ «Московскомъ Городскомъ Листкѣ», еженедѣль-

ной литературной газетѣ, издававшейся только одинъ годъ; съ 1851 года сталъ работать въ «Москвитянинѣ». Вообще же, въ Москвѣ въ это время онъ сблизился съ кружкомъ людей, девизомъ которыхъ была *народность* и которые съ такимъ жаромъ исповѣдывали вѣру въ самобытность русскаго духа и его развитія, что увлекли за собою и Ап. Григорьева. Онъ, говоря его собственными словами, очнулся отъ обаятельныхъ сновъ, которыми грезилъ столько лѣтъ, и въ немъ живо воскресло все его чисто-русское, замоскворѣцкое воспитаніе, съ преданіями, пѣснями, сказками, со всѣми чертами народной жизни. Замѣтимъ кстати, что онъ съ дѣтства зналъ множество пѣсенъ; потомъ, когда онъ понялъ имъ цѣну, онъ собиралъ ихъ, писалъ объ нихъ, и самъ прекрасно пѣлъ ихъ, сопровождая себя на гитарѣ.

Съ 1851 по 1855 г. онъ постоянно писалъ критическія статьи въ «Москвитянинѣ» и здѣсь-то обнаружилъ свои критическія способности, пониманіе искусства въ его связи съ жизнью народа. Центромъ кружка и предметомъ нѣкотораго поклоненія былъ А. Н. Островскій, тогда только что выступившій со своими комедіями и драмами и составлявшій, дѣйствительно, «новое слово» въ уразумѣніи нами нашей народности.

Въ 1856 году явилась только одна большая статья Ап. Григорьева *О правдѣ и искренности въ искусствѣ*, напечатанная въ «Русской Бесѣдѣ», органѣ славянофиловъ.

Въ 1857 году онъ уѣхалъ за границу, долго жилъ во Флоренціи, потомъ былъ въ Римѣ, въ Парижѣ и въ концѣ 1858 года вернулся въ Петербургъ. Здѣсь начинается второй петербургскій періодъ его дѣятельности, самый плодотворный и зрѣлый. Съ 1859 года началъ выходить новый ежемѣсячный журналъ «Русское Слово», основанный графомъ А. К. Кушелевымъ-Безбородко и выходившій подъ совокупною редакціею самого графа, Я. П. Полонскаго и Ап. Григорьева. Тутъ явилось множество статей Ап. Григорьева, изъ которыхъ особенно важны двѣ статьи подъ заглавіемъ—*Русская литература со смерти Пушкина* и четыре подъ заглавіемъ—*И. С. Тургеневъ и его дѣятельность, по поводу «Дворянскаго Гнѣзда»*. Въ этихъ статьяхъ въ первый разъ выска-

занъ былъ тотъ особенный взглядъ на развитіе русской литературы и на центральное значеніе въ ней Пушкина, который составляетъ самую важную заслугу Григорьева; это единственный у насъ общій критическій взглядъ, одною широкою мыслью обнимающій и связывающій всѣ художественныя явленія нашей словесности; въ частности, истолкованіе Пушкина, образующее главный узелъ этой мысли, есть конечно лучшее, что у насъ было писано о Пушкинѣ.

Уже въ концѣ 1859 года «Русское Слово» попало въ другія руки, и Ап. Григорьевъ пересталъ въ немъ писать. Въ 1860 году онъ помѣщалъ статьи въ «Русскомъ Мірѣ», «Отечественныхъ Запискахъ», «Сынѣ Отечества», «Драматическомъ Сборникѣ». Съ 1861 года сталъ выходить журналъ «Время», подъ редакцію М. Достоевскаго, брата знаменитаго романиста. Здѣсь постоянно писалъ Ап. Григорьевъ. Но еще въ первый годъ журнала онъ вѣдумалъ по своимъ личнымъ обстоятельствамъ уѣхать изъ Петербурга и поступилъ на службу въ Оренбургъ, учителемъ словесности въ тамошній корпусъ. Не прошло года, однакоже, какъ онъ вернулся. Въ 1863 году стала выходить подъ его редакцію новая еженедѣльная газета «Якорь» и при ней, въ видѣ приложенія, юмористическій листокъ съ карриатурами «Оса». Тутъ Ап. Григорьевъ писалъ очень много о театрѣ. Въ томъ же 1863 году «Время» было запрещено, но въ слѣдующемъ М. Достоевскому былъ разрѣшенъ журналъ «Эпоха», и въ немъ опять Ап. Григорьевъ принималъ постоянное участіе.

Всѣ знавшіе нашего критика, конечно, помнятъ и признаютъ, что это былъ человѣкъ съ возвышеннымъ душевнымъ настроеніемъ, весь преданный идеямъ, которыми онъ жилъ, младенчески-добродушный и незлобивый, впадавшій въ увлеченія и дѣлавшій иногда глупости, но неспособный ни покривить душой, ни дѣйствовать по расчету. Жизнь для него была очень трудна по его дѣтской небрежности и неумѣлости во всякихъ дѣлахъ. Его истинную радость и его истинное дѣло составляли произведенія словеснаго художества. Искусство онъ считалъ лучшимъ изъ всѣхъ «земныхъ дѣлъ человѣка», видѣлъ въ немъ самаго зоркаго судью и пророка жизни, связывалъ съ нимъ всѣ свои понятія о красотѣ души, о правдѣ

и добрѣ. А такъ какъ искусство, по самому существу своему, національно, то онъ былъ ревностный поклонникъ народности въ литературѣ. Онъ доказалъ горячимъ и глубокимъ истолкованіемъ, что Пушкинъ, дѣйствительно, нашъ народный поэтъ, что въ немъ выразились въ широкомъ очеркѣ всѣ черты нашей народной фizioноміи, сказался нашъ душевный складъ, обозначились мѣра и свойство нашихъ сочувствій и ко всему, что мы нашли въ Европѣ, и ко всему своему, къ нашей исторіи и къ нашему быту. Съ этой точки зрѣнія разомъ освѣтилась и получила смыслъ и связь вся наша литература: она явилась, какъ подготовленіе или дальнѣйшее развитіе элементовъ, обнаружившихся въ Пушкинѣ; каждое ея явленіе нашло себѣ, такъ сказать, мѣрку, посредствомъ которой можно было опредѣлить его значеніе въ общемъ идеалѣ, лежащемъ въ глубинѣ нашего народнаго характера.

4. Изъ предисловія къ сочиненіямъ Аполлона Григорьева.

(Томъ I. Изд. Н. Н. Страхова. 1876 г.)

Имя Аполлона Григорьева очень извѣстно; но значеніе его для многихъ, даже для огромнаго большинства, совершенно темно. Одна изъ прямыхъ и простыхъ причинъ этого заключается въ малой доступности для читающихъ самаго рода его писаній. Критика, по существу дѣла, есть нѣкоторое философское разсужденіе и, слѣдовательно, требуетъ особаго упражненія и усилія мысли.

Были, конечно, и есть и другія причины, и внѣшнія и внутреннія. Къ внутреннимъ принадлежитъ, напримѣръ, широта и многосторонность мысли, затрудняющая пониманіе и мѣшающая самому писателю выражать свой взглядъ рѣзкими формулами и итогами.

Книга эта, говоря любимымъ словомъ ея автора, есть явленіе *органическое*. Въ продолженіе долгихъ лѣтъ, когда она писалась, однѣ и тѣ же мысли занимали писавшаго, и онѣ раскрывались все яснѣе и опредѣленнѣе, не измѣняясь въ своей сущности. Но этого мало; чтобы писать настоящія

книги, такія, которыя не были бы лишь болѣе или менѣе удачнымъ подобіемъ, болѣе или менѣе грубымъ извращеніемъ другихъ книгъ, нужно еще выполнить большое условіе: нужно, чтобы предметы нашихъ мыслей составляли часть нашей жизни, сокровище нашего сердца. Такимъ предметомъ, дѣйствительно, была для Ап. Григорьева наша литература (т. е. художественная). Отсюда, то глубочайшее воодушевленіе, тотъ тонъ горячаго убѣжденія, которымъ поражаетъ эта книга; отсюда и тѣ истины, которыя она намъ открываетъ.

Ибо одинъ голый умъ есть сила формальная, холодная, и во многихъ областяхъ истина ему недоступна; самое важное въ мірѣ—красота и внутренняя сила вещей открываются не уму, а только сердцу. Въ мірѣ нравственномъ, великія и высокія явленія бывають непонятны для человѣка съ мелкою и низкою душою; такъ и вообще, чтобы сущность предмета была намъ постижима, должно быть нѣкоторое соотвѣтствіе между нашею *натурою* и природою предмета. Смотри по тому, что такое мы сами, мы одно любимъ, другого не любимъ; а проникательность, постиженіе дается только любовью, и скорѣе ненависть угадаетъ глубокую сердцевину своего предмета, чѣмъ сухое, холодное изученіе. Вотъ почему Ап. Григорьевъ совершенно правъ и, какъ нельзя лучше, характеризуетъ свое отношеніе къ дѣлу, когда говоритъ:

«Наши мысли вообще (если онѣ точно мысли, а не ба-ловство одно) суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, *вымучившіяся* до формулъ и опредѣленій. Немногіе въ этомъ сознаются, ибо и немногіе имѣють счастье или несчастье *раждать* изъ себя собственныя, а не чужія мысли» («Эпоха». 1865, № 2).

Извѣстно, что литературныя явленія—мало сказать: возбуждаютъ нашу любовь,—они имѣють силу подчинять себѣ душу, овладѣвать ею. На эту силу часто указываетъ Ап. Григорьевъ и трудно представить себѣ человѣка, который испытывалъ бы ея дѣйствіе въ большей степени, чѣмъ онъ самъ. Художественныя произведенія были живыми и всесильными образцами, по образу которыхъ складывались его собственныя чувства и взгляды; искусство было для него средствомъ са-

мага яснаго и убѣдительнаго созерцанія идеаловъ красоты, добра и правды.

Понятно, что для него значеніе искусства было необыкновенно высоко. Онъ называлъ его «лучшимъ изъ земныхъ дѣлъ», давалъ ему руководящую роль въ движеніи человечества, признавалъ за нимъ однимъ право и способность сказать «новое слово». Этотъ взглядъ на искусство составляетъ характеристическую черту Ап. Григорьева. И въ мышленіи, и въ дѣйствительной жизни искусство было для нашего критика исходною точкою и окончальною повѣркою.

Высшія, руководящія начала для насъ обыкновенно составляютъ, съ одной стороны, религіозныя и нравственныя понятія, съ другой, практическія нужды, требованія пользы, справедливости. Часто говорятъ поэтому, что и искусство должно быть подчинено этимъ самымъ началамъ, что оно не имѣетъ правъ на самостоятельность и если выходитъ изъ служебной роли, то бываетъ бесполезно и даже вредно. Ап. Григорьевъ, конечно, хорошо чувствовалъ эти вопросы, и мы находимъ у него двѣ статьи, особо имъ посвященныя. Онъ называлъ всѣхъ, не признававшихъ высшаго значенія искусства, *теоретиками*, понимая подъ словомъ *теорія* все, что противоположно *жизни*, а слѣдовательно и искусству, какъ прямому «органу жизни». Статья «О правдѣ и искренности въ искусствѣ» направлена противъ одного рода теоретиковъ и излагаетъ вопросъ объ отношеніи искусства къ нравственности; статья «Критическій взглядъ на основы, значеніе и приемы современной критики искусства» направлена противъ другихъ теоретиковъ и говоритъ о томъ, въ какихъ отношеніяхъ искусство и его критика должны находиться къ требованіямъ времени. Въ этихъ двухъ статьяхъ вообще объясняются и смыслъ искусства, и обязанности критики.

Искусство не есть простое изображеніе жизни; оно есть непременно и судъ надъ нею, судъ во имя самыхъ высшихъ началъ, только не существующихъ въ отвлеченіи, а тѣхъ, которыя живутъ и стремятся воплотиться въ изображаемой жизни. Идеалъ души человѣческой, по убѣжденію Ап. Григорьева, всегда и вездѣ остается неизмѣннымъ; но въ своемъ чистомъ и общемъ видѣ онъ не можетъ ни воплотиться, ни

быть познаваемъ. Въ этомъ отношеніи намъ доступна, какъ выражался Ап. Григорьевъ, только *цѣтная* истина; ея выраженіе есть художество. Отвлеченная, голологическая мысль всегда понимаетъ и судить жизнь уже, одностороннѣе. Только художествомъ могутъ быть вѣрно изображены, только созерцаніемъ и чувствомъ могутъ быть вполнѣ поняты проявленія одного и того же идеала въ различныхъ частныхъ формахъ, смотря по народамъ и историческимъ эпохамъ.

Такимъ образомъ, искусство по самой своей сущности *національно*. Самое творчество заключается, главнымъ образомъ, въ созданіи *типовъ*, то есть образовъ, представляющихъ намъ опредѣленный, органически цѣльный и, слѣдовательно, носящій на себѣ печать извѣстной народности складъ душевной жизни. *Типическое* въ этомъ смыслѣ не значить общее, отвлеченное, одностороннее, а напротивъ частное, конкретное, многосложное, какъ явленія дѣйствительной жизни. Искусство должно стремиться скорѣе къ *типовому*, то есть къ уловленію чертъ опредѣленнаго типа, чѣмъ къ *типическому*, если подъ типическимъ разумѣть общія черты душевныхъ явленій.

Критику, которая разсматриваетъ искусство въ такой тѣсной связи съ жизнью и видитъ въ немъ не какое-то простое отраженіе жизни, а ея руководящій органъ, Ап. Григорьевъ называлъ *органическою*, онъ противопоставлялъ ее и *эстетической* критикѣ, какъ совершенно отвлеченной, и *исторической*, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе того стремленія къ идеалу, которымъ управляется самая жизнь. Представителя исторической критики Ап. Григорьевъ видѣлъ у насъ въ Бѣлинскомъ, и потому часто говорилъ о немъ, съ большою силою и проникательностію указывая его достоинства и недостатки. Въ концѣ своей жизни Ап. Григорьевъ съ величайшимъ энтузіазмомъ привѣтствовалъ книгу Виктора Гюго о Шекспирѣ, въ которой встрѣтилъ ту же вѣру въ искусство и тотъ же взглядъ на безграничную глубину жизни, неуловимую для отвлеченной мысли (см. *Парадоксы органической критики*).

Явленія русской литературы, о которыхъ писалъ Ап. Григорьевъ, относятся, главнымъ образомъ, только къ періоду времени отъ Карамзина до конца жизни критика. За это

время читатель найдетъ здѣсь полный и проникнутый однимъ взглядомъ очеркъ нашего литературнаго движенія.

До-карамзинская литература, можно сказать, не существовала для Ап. Григорьева; изрѣдка встрѣчающіеся отзывы о ней небрежны и высокомерны; видно по всему, что критикъ *не жилъ* ея произведеніями, и они остались для него чуждыми.

Но Карамзинымъ онъ уже жилъ, и значеніе этого великаго писателя въ нашемъ развитіи указано имъ съ величайшею мѣткостію.

Наша новая литература возникла подъ влияніемъ чужихъ литературъ и развилась подъ ихъ непрерывнымъ воздѣйствіемъ. Самостоятельно и, слѣдовательно, народною она стала только въ Пушкинѣ, который поэтому и составляетъ величайшую задачу для русской критики. Объясненіе значенія Пушкина есть та центральная точка, съ которой Ап. Григорьевъ смотрѣлъ на развитіе нашей литературы. Онъ показалъ, какъ пробудилось въ поэтѣ *наше типовое, народное*.

Дѣятельность Пушкина, по Ап. Григорьеву, представляетъ нѣкотораго рода борьбу съ различными идеалами, съ различными исторически-сложившимися типами душевной жизни, тревожившими натуру поэта и пережитыми ею. Идеалы эти или типы принадлежали чужой жизни; это были: мутно-чувственная струя псевдоклассицизма, туманный романтизмъ, но всего больше байроновскіе типы Чайльдъ-Гарольда, Донъ-Жуана и т. д. Эти формы чужой жизни, чужихъ народныхъ организмовъ, вызывали сочувствіе въ душѣ Пушкина, находили въ ней стихіи и силы для созданія соответствующихъ идеаловъ. Это не было подражаніе, вѣтшнее передразниваніе извѣстныхъ типовъ,—это было ихъ дѣйствительное *усвоеніе*, ихъ переживаніе. Но вполнѣ и до конца природа поэта покориться имъ не могла. Обнаружилось то, что Ап. Григорьевъ называетъ *борьбою* съ типами, то есть, съ одной стороны, стремленіе отозваться на извѣстный типъ, дорости до него своими душевными силами и, такимъ образомъ, *попытаться* съ нимъ; съ другой стороны — неспособность живой и самобытной души вполнѣ отдаться типу, неудержимая потребность отнестись къ нему критически и даже питать въ себѣ и признать законными сочувствія, вовсе не согласныя съ типомъ.

Изъ этого процесса, изъ этой борьбы съ чужими типами Пушкинъ всегда выходилъ *самимъ собою, особеннымъ типомъ, совершенно новымъ*. Въ немъ «въ первый разъ обособилась и ясно обозначилась наша русская физиогномія, истинная мѣра всѣхъ нашихъ общественныхъ, нравственныхъ и художественныхъ сочувствій, полный очеркъ типа русской души». Пушкинъ, дѣйствительно, *жилъ* другими типами, но имѣлъ силу поставить наравнѣ съ ними свой собственный типъ, смѣло узаконить желанія и требованія того самобытнаго склада душевной жизни, который въ себѣ чувствовалъ, и онъ сталъ творцомъ русской поэзіи и литературы, потому что въ немъ «наше типовое не только сказалось, но и выразилось, то есть облеклось въ высочайшую поэзію, поравнялось со всѣмъ великимъ, что онъ зналъ и на что отзывался своею великою душою».

Это глубокое истолкованіе Пушкина, очевидно, сдѣлано съ точки зрѣнія самой близкой къ сущности искусства. Оно возможно было только для такого человѣка, какъ Ап. Григорьевъ, который самъ жилъ художественными типами и образами почти въ той же мѣрѣ, какъ ими живутъ художники, который на себѣ зналъ, что такое—«стремленіе создать въ себѣ и утвердить въ душѣ обаятельные призраки и идеалы чужой жизни», и какъ пробуждаются въ душѣ «кровныя, племенные, жизненные симпатіи», стремленіе «къ своей почвѣ».

Пробужденіе въ Пушкинѣ «нашего типоваго» выразилось всего яснѣе въ созданіи лица *Бѣлкина*, отъ имени котораго поэтъ велъ многіе рассказы (къ нимъ нужно причислить и *Капитанскую дочку* и *Дубровскаго*). Важное значеніе этого цикла произведеній вполне показано нашимъ критикомъ, какъ по отношенію къ Пушкину, такъ и по отношенію къ послѣдующему развитію литературы.

Бѣлкинъ выражаетъ собою нѣкоторый протестъ, именно—онъ воплощаетъ тѣ стороны нашего типа, которыя «вопиютъ противъ злоупотребленія нами нашей широкой способности понимать и чувствовать». Бѣлкинъ есть «голосъ за *простое доброе*, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ *ложнаго и хитраго*».

Между тѣмъ какъ у Гоголя слышится лишь глубокая тоска о *прекрасномъ человѣкѣ*, между тѣмъ какъ онъ только срываетъ съ нашей дѣйствительности всѣ формы героизма, добродѣтели, чувства изящества и показываетъ намъ, что всѣ онѣ лишь взяты на прокатъ и что подъ ними скрывается одна пошлость и пошлость,—Пушкинъ еще ранѣе выразилъ тотъ же протестъ, но не въ чисто-отрицательной формѣ ироніи и негодованія, а въ положительномъ образѣ своего Бѣлкина, въ типѣ *смирнаго человѣка*, въ которомъ нѣтъ ничего блестящаго и героическаго, но который вмѣстѣ съ тѣмъ своею простотою, добротою и правдивостію протестуетъ противъ всего ложнаго, злого и преувеличеннаго въ какихъ бы то ни было героическихъ типахъ. Смирный типъ есть какъ бы элементарная, простѣйшая форма нашего народнаго типа.

«Романтическое вѣяніе», «тревожное начало» — такъ называлъ Ап. Григорьевъ общій источникъ чужихъ намъ героическихъ типовъ, главный элементъ тѣхъ вліяній, съ которыми боролся Пушкинъ, которымъ подчинился Лермонтовъ, и т. д. Это вѣяніе, хотя и пришедшее извнѣ, находило однакоже въ нашей натурѣ готовую почву, его воспринимавшую, готовые стихіи для созданія соотвѣствующихъ типовъ. Простѣйшую форму такихъ типовъ критикъ называлъ *хищнымъ типомъ*, образующимъ какъ бы примую противоположность смирному типу. Душевный процессъ, породившій Бѣлкина, повторяется въ послѣ-пушкинской литературѣ, и происходитъ какъ-бы борьба между двумя типами, хищнымъ и смирнымъ.

Нельзя не изумляться чуткости, съ которою Ап. Григорьевъ установилъ понятіе объ этой борьбѣ и слѣдилъ за ея развитіемъ. Онъ правильно чувствовалъ, что «романтическое вѣяніе» находитъ у насъ постоянный отпоръ, хотя глухой и неясный; уже тогда (въ 1859 году) сильнѣйшимъ врагомъ этого вѣянія онъ считалъ Л. Н. Толстаго, котораго одного ставилъ, по художественной силѣ, на ряду со своимъ любимымъ Островскимъ. Онъ какъ-будто предвидѣлъ, что вѣянію будутъ наносимы удары все сильнѣе и сильнѣе, и бралъ его подъ свою защиту. Эта чуткость объясняется лишь тѣмъ, что самъ онъ былъ *романтикомъ*; «тревожное начало» нашло

въ немъ себѣ почву; на самой его жизни неблагопріятно отозвалось то *вѣніе*, которому заплатили дань Мочаловъ, Пележаевъ и многіе другіе, и которое въ иной только формѣ унесло отъ насъ Лермонтова и Пушкина.

Но въ мысли, въ пониманіи Ап. Григорьевъ не превеличивалъ значенія своего романтизма; напротивъ, онъ, кажется, тѣмъ съ болшею ясностію цѣнилъ иныя начала, тѣмъ выше ихъ ставилъ. Всего больше онъ благоговѣлъ передъ Пушкинымъ, именно—какъ передъ «могучимъ заклинателемъ душевныхъ стихій», какъ передъ художникомъ, обладавшимъ самою широкою способностію сочувствій и вмѣстѣ удивительною мѣрою въ своихъ сочувствіяхъ. Пушкинъ въ своей поэзіи есть образецъ гармоніи душевныхъ силъ, несмотря на то, что умѣлъ сочувствовать самымъ бурнымъ движеніямъ душевной бездны. Онъ имѣлъ власть надъ этими движеніями и если погибъ отъ «слѣпой стихіи», которую нѣкогда воплотилъ въ Алеко, то потому лишь, что на ту одну минуту далъ ей волю.

Имя Ап. Григорьева останется навсегда связаннымъ съ тремя именами: Пушкина, Островскаго и Тургенева. Въ Островскомъ онъ первый указалъ *новое слово* нашей литературы и постоянно съ величайшимъ жаромъ истолковывалъ это слово читателямъ, доказывая, что Островскій не простой продолжатель Гоголя, не чисто - отрицательный поэтъ, а напротивъ поэтъ, который совершенно просто подходитъ къ изображаемому имъ быту и выводитъ изъ него цѣлый рядъ новыхъ образовъ, и положительныхъ и отрицательныхъ, новыхъ вполне-драматическихъ отношеній, новыхъ явленій русской души, не однихъ только смѣшныхъ и пошлыхъ, но и глубокихъ, и трогательныхъ, и нѣжныхъ. Притомъ всѣ эти образы—чисто-народные и изображены съ небывалою вѣрностію языка и быта.

Дѣятельность Тургенева точно также никѣмъ не характеризована съ такой глубиною и тонкостію, какъ Ап. Григорьевымъ. Разборъ сосредоточенъ около «Дворянскаго Гнѣзда», лучшаго произведенія Тургенева, согрѣтаго той душевной теплотою, которая одна лишь способна дать художеству его высшую силу. Для поясненія дѣла критикъ перебираетъ другія произ-

веденія Тургенева и показываетъ намъ развитіе художника, главные пункты, около которыхъ колебались его настроенія.

Вообще же, у Ап. Григорьева мы встрѣтимъ отзывы о множествѣ писателей, такъ какъ онъ старался всегда показать *связь и внутреннія отношенія* между различными литературными явленіями. Эти указанія всѣ соединяются въ одинъ взглядъ, или лучше—всѣ вытекаютъ изъ *одного взгляда*, принадлежащаго Ап. Григорьеву, и единственнаго у насъ *общаго* взгляда на развитіе нашей литературы. Въ крупныхъ чертахъ взглядъ этотъ будетъ такой: въ Пушкинѣ обозначились и объемъ и мѣра нашихъ симпатій. Всѣ послѣдующія явленія представляютъ развитіе тѣхъ элементовъ, которые сказались въ Пушкинѣ. Происходятъ различныя колебанія въ борьбѣ между своимъ и чужимъ, между смирнымъ и хитрымъ типомъ, между отрицательнымъ и прямымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, и всѣ эти колебанія совершаются около точекъ уже опредѣлившихся въ Пушкинѣ. Онъ одинъ есть полный образъ русской души, но лишь въ очеркѣ, безъ красокъ, которыя лишь потомъ являются въ предѣлахъ его очертаній; въ немъ проявилось наше типовое, народное, и съ тѣхъ поръ растетъ и выясняется.

Въ такомъ общемъ видѣ этотъ взглядъ не кажется яркимъ; но главная его сила обнаруживается въ приложеніи къ подробностямъ, въ тѣхъ различныхъ психологическихъ краскахъ, которыми нашъ критикъ покрываетъ всю картину нашей литературы. Отвлеченное требованіе народности отъ литературы есть мысль очень простая; наши славянофилы, выходя послѣдовательно изъ своихъ началъ, давно и твердо ее заявили и пытались съ этой точки зрѣнія анализировать нашу литературу. Но они обыкновенно приходили къ тому, что, за немногими исключеніями, отрицали самостоятельность и, слѣдовательно, народность нашихъ художественныхъ писателей. Такимъ образомъ, отъ глазъ этихъ мыслителей ускользнуло именно то, что должно бы ихъ всего болѣе радовать: они не видѣли, что борьба своего съ чужимъ уже давно началась, что искусство, въ силу своей всегдашней чуткости и прозорливости, предупредило отвлеченную мысль.

Наша литература есть драгоценное и высокое явленіе нашей жизни; поэтому разгадать внутреннюю силу ея развитія, смыслъ ея движенія есть глубокая и важная задача. Рѣшеніе ея, единственное заслуживающее имени рѣшенія предложено Ап. Григорьевымъ.

Скажемъ нѣсколько словъ объ ошибкахъ, въ которыя онъ впадалъ. Онъ имѣютъ, по нашему мнѣнію, несущественный характеръ. Какъ человѣкъ страстно преданный дѣлу, онъ легко вѣрилъ въ то, чего желалъ и потому иногда приписывалъ нашему развитію слишкомъ большую быстроту, считалъ иногда отжившимъ то, что еще продолжало жить, заявлялъ о побѣдѣ силъ и явленій, которымъ предстояла и до сихъ поръ предстоитъ долгая борьба. Но это не значитъ ошибаться въ принципахъ, въ смыслѣ фактовъ, въ направленіи движенія. Онъ самъ превосходно указывалъ и объяснялъ, что это движеніе имѣетъ органическій характеръ, что у насъ въ различныхъ формахъ, все болѣе и болѣе ясныхъ, проявляются все тѣ же жизненные элементы. Медленно проясняется нравственный и умственный хаосъ нашей жизни, и сторонники первыхъ очертаній новаго организма обыкновенно находятся въ фальшивомъ положеніи, такъ какъ стоятъ за то, что имѣетъ лишь зачаточную форму. *)

16 марта 1876 г.

*) Рукописная замѣтка Н. Н. Страхова: „Оцѣнка нѣкоторыхъ писателей (Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевскаго, А. А. Фета и др.), очевидно, невольна и даже неправильна у Ап. Григорьева. Но нужно имѣть въ виду, что въ то время, когда онъ писалъ, болѣею частію, эти писатели еще не совершили того круга своей дѣятельности, который у насъ теперь передъ глазами.“

XVII.

Изъ воспоминаній о Ѳ. М. Достоевскомъ.*)

Читано въ С.-Петербургѣ въ торжественномъ засѣданіи Славянскаго Благотворительнаго Общества 14-го февраля.

(«Семейные Вечера». Отд. для юношества. 1881, 2).

Мнѣ досталось счастье быть очень близкимъ къ покойному Ѳеодору Михайловичу въ послѣднія двадцать лѣтъ, особенно же въ началѣ этого времени. Я былъ постояннымъ и ревностнымъ сотрудникомъ журналовъ «Время» и «Эпоха»; мы вмѣстѣ ѣздили за границу въ 1862, вмѣстѣ хоронили въ 1864 редактора этихъ журналовъ Михаила Михайловича Достоевскаго и ихъ главнаго критика Аполлона Григорьева; потомъ во время изданія «Зари», когда Ѳеодоръ Михайловичъ жилъ за границею, онъ былъ сотрудникомъ «Зари», съ живѣйшимъ участіемъ слѣдилъ за этимъ журналомъ, и мы съ нимъ вели дѣятельную переписку; а когда онъ вернулся и былъ одинъ годъ редакторомъ «Гражданина», я былъ усерднымъ вкладчикомъ этого журнала.

Въ началѣ этихъ годовъ, когда мы жили въ нѣсколькихъ шагахъ другъ отъ друга и занимались исключительно журнальною работою, мы видались каждый день и даже не разъ въ день; мы разговаривали безъ конца и такъ сговорились, что и до послѣдняго времени ни съ кѣмъ другимъ я не могъ вести такихъ живыхъ и разнообразныхъ разговоровъ, какіе у насъ неудержимо начинались при каждой встрѣчѣ.

*) Кромѣ этой статьи, Н. Н. Страховымъ напечатаны подробные «матеріалы для жизнеописанія» подъ заглавіемъ—«Воспоминанія о Ѳеодорѣ Михайловичѣ Достоевскомъ» и въ «Семейныхъ Вечерахъ» (Отд. для юношества. 1881, 2) напечатанъ некрологъ, въ которомъ сдѣлано немало также указаній и на литературныя заслуги Ѳеодора Михайловича.

Мнѣ нельзя не гордиться былымъ расположеніемъ такого человѣка, и я постоянно чувствовалъ къ нему и не перестану чувствовать глубокую благодарность за одобреніе, которымъ онъ меня встрѣтилъ; оно было безконечно дорого для начинающаго и оно постоянно внушало мнѣ радость и бодрость. Но я вовсе не хочу о себѣ говорить; я хотѣлъ только оправдать передъ вами свою смѣлость и объяснить, почему могли пожелать отъ меня какихъ-нибудь воспоминаній о дорогомъ покойникѣ.

Я познакомился съ Федоромъ Михайловичемъ въ концѣ 1859 года. Настроеніе кружка, въ который я тогда вступилъ, во многомъ было для меня ново и неожиданно. Это было одно изъ знаменитыхъ направленій *сороковыхъ годовъ*—направленіе, очевидно, сложившееся подъ вліяніемъ французской литературы. Теперь, издали, совершенно понятно могущество, съ которымъ отразилась на насъ вѣкогда духовная жизнь Европы. Между 1830 и 1848 годомъ, между іюльской и февральской революціей, Европа пережила едва-ли не самую счастливую эпоху своей исторіи. Это было время надеждъ и вѣрованій, предшествующее жестокимъ разочарованіямъ. Въ настоящее время Европа потеряла свои идеалы; ея политическая жизнь, и именно съ 1848 года, все больше и больше проникается матеріализмомъ; а въ нравственномъ и въ умственномъ отношеніи она несомнѣнно дичаетъ, несмотря на всякіе успѣхи. Но не то было въ счастливую эпоху до 1848 г.: Европа крѣпко вѣрила въ себя; ея политическія мечтанія были свѣтлы и радостны, къ нимъ не примѣшивалось никакой мысли о крови и огнѣ; литература, поэзія, философія были исполнены жизни и стремились подняться къ какимъ-то недостижимымъ высотамъ. Франція, какъ всегда, занимала первое мѣсто по жизненности и опредѣленности своихъ стремленій. Понятно, почему подобный разцвѣтъ европейской жизни долженъ былъ сильно подѣйствовать на насъ, вѣчныхъ учениковъ Европы. Впослѣдствіи я часто однакоже удивлялся, что въ 1859 году, когда Европа давно уже вступила въ свой нынѣшній безрадостный періодъ, у насъ продолжало жить и дѣйствовать, и долго увлекало меня самого, одно изъ минувшихъ европейскихъ

настроеній. Очевидно, мы всегда отстаемъ отъ Европы, отстаемъ потому, что не живемъ ея жизнью, а беремъ отъ нея только мысли, которыя часто сохраняемъ навсегда, оставаясь глухи и нѣмы къ новымъ урокамъ нашей учительницы.

Въ томъ настроеніи 1859 года, о которомъ я говорю, я могу указать на двѣ черты, отразившія очень ясно на дѣятельности Достоевскаго. Во первыхъ, проповѣдывалась совершенная гуманность къ человѣческимъ слабостямъ и даже преступленіямъ. Сожалѣніе къ людямъ, объясненіе ихъ дурныхъ поступковъ изъ обстоятельствъ и строя общества, прощеніе всего того, что не составляло прямо злого нарушенія чужой безопасности, словомъ, безграничная мягкость отношеній считалась неизмѣннымъ правиломъ. Во вторыхъ, литературѣ, художеству давалась опредѣленная задача. Художникъ долженъ быть въ сущности политикомъ и публицистомъ; онъ обязанъ слѣдить за развитіемъ общества, схватывать образы новыхъ и новыхъ типовъ, которые въ немъ зараждаются, и показывать ихъ корни, объяснять источники того зла и добра, которыя они въ себѣ представляютъ. Проповѣдь извѣстныхъ общественныхъ идеаловъ, вмѣшательство въ вопросы минуты—вотъ что ставилось главнымъ правиломъ.

Скажу прямо, что оба правила были вредны, и мнѣ довелось потомъ видѣть жестокий вредъ, испытанный отъ нихъ нѣкоторыми членами литературныхъ кружковъ. Это—одинъ изъ самыхъ яркихъ уроковъ моей литературной жизни. Правила эти вредны не потому, что они не вѣрны, а потому, что они не полны, не достаточны, что ихъ слѣдуетъ дополнить такими прибавками, которыя важнѣе самихъ правилъ. Казалось бы, что можетъ быть лучше гуманности? Или, что можетъ быть интереснѣе такого художественнаго произведенія, въ которомъ ясно и глубоко отразилась современная минута? Между тѣмъ гуманность безъ руководящихъ началъ ведетъ часто къ распушенности нравовъ, какъ это было во времена цезарей и въ XVIII вѣкѣ. Одного снисхожденія къ людямъ, одного сажалѣнія къ ихъ страданіямъ мало; нужно еще знать, за что любить людей, нужно понимать, въ чемъ красота и достоинство души человѣческой. Точно такъ художникъ только тогда можетъ, дѣйствительно, служить минутѣ,

когда у него крѣпки въ душѣ начала, годныя на вѣки-вѣчныя. А иначе, какъ это часто и бывало, онъ будетъ не учителемъ, а рабомъ минуты.

Что касается Достоевскаго, то при своей удивительной широтѣ ума и сердца онъ никогда вполнѣ не подчинялся односторонности своего направленія. И чѣмъ дольше онъ дѣйствовалъ, т. е. писалъ, тѣмъ яснѣе у него выступали другія, истинныя начала. При концѣ своей жизни онъ прямо высказывался за формулу *искусство для искусства*, т. е. за самостоятельность, за свободу художества, и точно также уже давно всѣ общественные идеалы онъ подчинилъ одному вѣковѣчному идеалу *Христа*. Съ Достоевскимъ случилось то же, что совершается вотъ уже болѣе столѣтія со всѣми нашими крупными писателями; всѣ они начинали съ того, что увлеклись *чужимъ*, и всѣ потомъ возвратились къ *своему*. Такъ было отчасти съ Фонвизинимъ и очень ясно съ Карамзинымъ, Грибоѣдовымъ, Пушкинымъ, Гоголемъ. Достоевскій въ этомъ отношеніи—новый соблазнъ нашимъ западникамъ, новый и огромный поводъ къ раздраженію противъ русской литературы.

Эти внутренніе перевороты, совершающіеся у насъ съ лучшими думами, часто называютъ измѣной, отступничествомъ; но едва-ли на комъ такъ ясно можно видѣть, какъ на Достоевскомъ, что часто все дѣло тутъ только въ развитіи, въ раскрытіи задатковъ, лежавшихъ въ натурѣ человека, а не въ перемѣнѣ однѣхъ чужихъ мыслей на другія—чужія же. Съ первой своей повѣсти и до конца Достоевскій остался однимъ и тѣмъ же; ему нельзя было измѣниться, потому что уже въ этомъ первомъ произведеніи вылилась его душа, сказался весь складъ его пониманія жизни. Отъ природы этой души зависѣло то, какія именно вліянія на нее дѣйствовали. И онъ нашелъ вокругъ себя тѣ вліянія, которыя поставили его на его прекрасный путь, на тотъ русскій христіанскій путь, который возбудилъ такое широкое и глубокое сочувствіе. Двѣ главныя силы спасли его отъ всякихъ односторонностей и дали высокое и чистое направленіе его таланту: одна сила была—русская литература, другая—русскій народъ, т. е. простой народъ. Когда я узналъ Достоевскаго,

онъ былъ горячимъ поклонникомъ Пушкина и Гоголя. Онъ и тогда любилъ читать тѣ самыя стихотворенія Пушкина, которыя потомъ читалъ на Пушкинскомъ праздникѣ. Но тогда, въ тѣ молодые годы, онъ читалъ хуже, читалъ нѣсколько подавленнымъ голосомъ; въ этотъ же послѣдній годъ онъ достигъ такой твердости тона и мастерства выраженія, что я изумлялся: часто это было совершенство въ своемъ родѣ. Послѣ торжества, которое онъ одержалъ на Пушкинскомъ праздникѣ, я часто думалъ: это торжество досталось ему по всѣмъ правамъ, потому что, безъ сомнѣнія, во всей этой толпѣ писателей и слушателей онъ *больше всѣхъ* любилъ Пушкина. На Гоголѣ же онъ былъ воспитанъ, какъ все поколѣніе, къ которому принадлежалъ, поколѣніе, для котораго литература имѣла въ тысячу разъ больше значенія, чѣмъ для нынѣшнихъ поколѣній.

Пушкинъ и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замѣчательнымъ образомъ отразились уже въ первой повѣсти Достоевскаго, въ *Бѣдныхъ Людяхъ*. Именно, тутъ прямо и ясно выражено, что авторъ не вполне доволенъ Гоголемъ и что прямымъ своимъ руководителемъ онъ признаетъ только Пушкина. Тутъ выведенъ на сцену чиновникъ, очень похожій на героя *Шинели* и *Записокъ Сумасшедшаго*. Знакомая этого чиновника даетъ ему прочесть *Станціоннаго Смотрителя*; тотъ очень хвалитъ повѣсть и очень жалѣетъ о бѣдномъ смотрителѣ. Потомъ та же знакомая посылаетъ Макару Дѣвушкину (такъ зовутъ героя *Бѣдныхъ Людей*) *Шинель* Гоголя; Дѣвушкинъ обижается, узнавъ себя въ такомъ безжалостномъ изображеніи, упрекаетъ свою добрейшую знакомую, горюетъ, напивается пьянъ и подвергается всякимъ бѣдамъ и оскорбленіямъ.

Такимъ образомъ, безпощадная иронія Гоголя осуждена, какъ слишкомъ жестокое, сухое отношеніе къ людямъ. Еще болѣе она осуждается тѣмъ, какъ выставлена только одна ужасающая пустота и пошлость; Макаръ Дѣвушкинъ, этотъ новый Поприщинъ, обладаетъ сокровищами нѣжности, самоотверженія, лучшихъ сердечныхъ чувствъ, о красотѣ которыхъ онъ самъ и не догадывается. Между тѣмъ, какъ никто въ мірѣ не пожалалъ бы быть Акакіемъ Акакіевичемъ или

Поприцинымъ, всякій читатель долженъ съ завистью смотрѣть на несчастнаго Макара Дѣвушкина, всякій долженъ сознаться, что ему далеко до такой душевной красоты.

Таковъ былъ первый шагъ Достоевскаго, сдѣланный еще 1846 году. Это была смѣлая и рѣшительная *поправка* Гоголя, существенный, глубокий поворотъ въ нашей литературѣ. Дѣло въ томъ, что поправка Гоголя была необходима, что ее неминуемо должна была сдѣлать наша литература, и дѣлаетъ ее до сихъ поръ, что въ извѣстномъ смыслѣ и всѣхъ другихъ нашихъ крупныхъ писателей, Островскаго, Л. Н. Толстаго, можно считать поправкою Гоголя, можно въ этомъ видѣть главную ихъ оригинальность. Достоевскій началъ первый. Да, недаромъ тосковалъ Гоголь, не даромъ усиливался создать что-то новое. То напряженно-чуткое настроеніе, въ которомъ Гоголю такъ ясно открывалась пошлость существующаго, было слишкомъ напряжено. Непобѣдимое отвращеніе поднималось въ немъ при видѣ безобразія и бессмыслія русской жизни, этой жизни, въ которой все хорошее стыдливо и упорно прячется въ глубину, тогда какъ пошлое и грязное щеголяетъ на виду и всѣмъ мечется въ глаза. Конечно, Гоголь лилъ тѣ *тайныя слезы*, о которыхъ онъ говоритъ; но это были слезы сожалѣнія восторженнаго идеалиста, а не слезы любви. И чѣмъ больше мы станемъ вникать въ смыслъ всей послѣ-гоголевской литературы, которую начинаетъ собою Достоевскій, тѣмъ намъ яснѣе будетъ и коренной недостатокъ Гоголя, и вся настоящая потребность, которую чувствовали наши художественные писатели—избѣжать односторонности и пойти по новому пути.

Пусть простятъ мнѣ эти указанія на развитіе нашей литературы. Художественная дѣятельность была для покойнаго главнымъ, первымъ дѣломъ въ жизни, и если мы хотимъ почитать его память, соблюсти его завѣтъ, то прежде всего, больше всего намъ слѣдуетъ вникать въ глубину и духъ его художественной дѣятельности и беречься, какъ бы не истолковать этой дѣятельности въ неправильномъ смыслѣ. Примѣръ того, что случилось съ Гоголемъ, на вѣки поучителенъ. Настроенія, господствующія въ нашемъ обществѣ, предубѣжденія, которыми оно постоянно заражено, отсутствіе твердыхъ началъ,

которыя сдерживали бы шатаніе мыслей и думъ, все это производить то, что самое чистое и простое явленіе у насъ подвергается самымъ страннымъ перетолкованіямъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и Достоевскій будетъ перетолкованъ; на немъ станутъ строить такіе выводы и его произведеніями будутъ питать такіа чувства, которыя глубоко противорѣчаютъ его истиннымъ мыслямъ и чувствамъ. Умы нашей интеллигенціи слишкомъ привыкли ходить по извѣстнымъ колеямъ и будутъ на нихъ сбиваться, несмотря на сильнѣйшія потрясенія. Есть два чувства, привычныя для нашихъ образованныхъ людей и обыкновенно питающія ихъ душевную жизнь сверхъ житейскихъ интересовъ: одно—чувство негодованія, такъ называемаго благороднаго негодованія, на всякое зло и безобразіе, и другое—чувство сожалѣнія къ Россіи, сострадательное созерцаніе ея скудности и жалкой участи. Оба чувства—очень хорошія, но къ несчастію отдѣленные слишкомъ тонкою чертою отъ дурныхъ чувствъ: негодованіе граничитъ съ озлобленіемъ, а сожалѣніе съ высокомеріемъ, такъ что часто люди, повидимому, предающіеся самому благородному настроенію, въ сущности, даже сами того не замѣчая, питаютъ лишь свои дурныя свойства и только изъ нихъ почерпаютъ все свое видимое благородство. О Достоевскомъ могу твердо свидѣтельствовать, что онъ былъ безупреченъ въ этомъ отношеніи, что никогда онъ не измѣнялъ уваженію къ великой родинѣ и никогда негодованіе у него не могло перейти въ озлобленіе. Въ этомъ онъ истинный образецъ для насъ. Онъ-ли не потерпѣлъ отъ существовавшихъ порядковъ? Но изъ страданій, которыя онъ перенесъ, онъ не вынесъ ни малѣйшаго озлобленія и не выводилъ даже права на тотъ особый авторитетъ, который у насъ общество приписываетъ пострадавшимъ и который часто присвоиваютъ себѣ пострадавшіе. Онъ вовсе не хотѣлъ быть въ чьихъ-нибудь глазахъ страдальцемъ и, бывало, сердился, когда съ нимъ начинали рѣчь въ такомъ смыслѣ. Обыкновенный тонъ его былъ веселый и добрый, тотъ неподражаемо-прекрасный тонъ, который онъ часто бралъ потомъ въ своемъ *Дневникѣ*, когда разсуждалъ о самыхъ тяжелыхъ и больныхъ вопросахъ. Въ то время, около 1860 года, были въ ходу, какъ и теперь, литературныя чтенія, и Федоръ

Михайловичъ иногда читалъ на нихъ отрывки изъ *Мертваго Дома*, только что написаннаго. Однажды послѣ такого чтенія онъ сказалъ мнѣ: «знаете-ли, мнѣ всегда немножко непріятно читать изъ *Мертваго Дома*; выходитъ такъ, какъ-будто я все жалуюсь публикѣ, все жалуюсь—это не хорошо».

Вообще, въ немъ было поразительно развитіе личности, необыкновенная душевная энергія. Мнѣ довелось видѣть его въ тяжелыя минуты, послѣ запрещенія журнала, послѣ смерти брата, въ жестокихъ затрудненіяхъ отъ долговъ, — онъ никогда не падалъ духомъ до конца и, мнѣ кажется, нельзя представить себѣ обстоятельствъ, которыя могли бы подавить его. Это было особенно изумительно при его страшной впечатлительности, при чемъ онъ обыкновенно не сдерживался, а предавался вполне своимъ волненіямъ. Какъ-будто одно другому не только не мѣшало, а даже способствовало. Прямо изъ его собственной души говорить одинъ изъ его героевъ, Дмитрій Карамазовъ: «столько во мнѣ силы, что я все поборю, всѣ страданія, только чтобы сказать и говорить себѣ поминутно: я есмь! Въ тысячѣ мукъ—я есмь, въ пыткѣ корчусь,—но есмь!» («Братья Карамазовы», т. 2, стр. 411).

Въ своей литературной дѣятельности онъ такъ же проявилъ живучесть и энергію, какъ никто другой. У него были періоды озлобленія дѣятельности, какъ-будто упадка; но потомъ онъ вдругъ подымался выше прежняго и показывался съ новой стороны. Такихъ подъемовъ можно насчитать четыре: первый—*Бѣдные Люди*, второй—*Мертвый Домъ*, третій—*Преступленіе и Наказаніе*, четвертый—*Дневникъ Писателя*. Подъемы эти были поразительны для самыхъ близкихъ къ нему людей; въ немъ былъ неисчерпимый запасъ силъ, что-то загадочное, неподчинявшееся обыкновенной постепенности развитія.

Новые образы, новые планы романовъ, новыя задачи являлись у него безпрестанно, осаждали его. Это даже мѣшало ему работать, и иные изъ его романовъ составляютъ цѣлые клубки переплетшихся между собою темъ. Конечно, онъ написалъ только десятую долю тѣхъ романовъ, которые онъ уже обдумалъ, уже носилъ въ себѣ иногда многіе годы; нѣкоторые онъ рассказывалъ подробно и съ большимъ увлече-

ніемъ, а такимъ темамъ, которыхъ онъ не успѣвалъ разработать, у него конца не было.

И вотъ онъ неумоимо изображаетъ тѣ лица и картины, которыя составили его славу. Онъ рисуетъ чудесныя идилии среди величайшей грязи, благородство, нѣжность, великодушіе въ пошлѣйшей обстановкѣ; онъ не дѣлаетъ своихъ лицъ, какъ Викторъ Гюго, театральными героями, не заставляетъ ихъ совершать чудесъ и подвиговъ: онъ твердо держится строгаго реализма, завѣщаннаго Гоголемъ, но въ величайшемъ безобразіи умѣетъ видѣть человѣческія черты. Онъ идетъ далѣе: онъ выводитъ предъ нами вереницу преступниковъ, полупомѣшанныхъ, идиотовъ, самоубійцъ, больныхъ физически и еще болѣе нравственно, изображаетъ ихъ душевную жизнь съ удивительною точностію и объективностію, но онъ, какъ Диккенсъ, признаетъ за всѣми ими человѣческія права; онъ не ставитъ ихъ въ положеніе не-людей, такихъ существъ, которыя должны быть чужды нормальному человѣческому обществу: у него идиотъ выходитъ лучше самыхъ здравомыслящихъ людей. На этомъ пути Достоевскій шелъ очень далеко: страшно было видѣть (по крайней мѣрѣ, я иногда не могъ воздержаться отъ страха), какъ онъ все глубже и глубже спускается въ душевныя бездны, въ ужасныя бездны нравственнаго и физическаго растлѣнія (это его собственное слово). Но онъ выходитъ изъ нихъ невредимо, то есть не утрачивая мѣрила добра и зла, красоты и безобразія.

О достоинствѣ этихъ изображеній не можетъ быть спора. Несмотря на неправильную и неясную постройку иныхъ романовъ (не въ цѣломъ, которое всегда было стройно и ясно, а въ частяхъ), несмотря на полуфантастическую постановку сценъ и отношеній между дѣйствующими лицами, изъ каждой картины Достоевскаго била такая правда душевная, такая глубина душевной правды, что невозможно было не испытывать живѣйшаго впечатлѣнія.

Бредъ идиота и сумасшедшаго, муки преступника и самоубійцы, лихорадочные сны, галлюцинаціи—все было понятно и ясно. Читатель съ жадностію слѣдилъ за мыслями и чувствами лицъ, о которыхъ никогда не имѣлъ понятія, и съ

изумленіемъ видѣлъ, какъ эти мысли и чувства отражаются въ его собственной душѣ.

Итакъ, страданіе, отчаяніе, преступленіе, болѣзнь — вотъ постоянныя темы Достоевскаго. А въ чемъ же главное поученіе, какой общій выводъ? Неужели опять — уныніе и злоба? О, нѣтъ, это ясно всѣмъ до очевидности. Надъ гробомъ покойнаго, на этомъ великомъ торжествѣ его похоронъ, — великомъ по своей искренности, — непрерывно раздавались слова, сами собой приходившія на умъ при воспоминаніи о его дѣятельности. Эти слова: *прощеніе, любовь*. Думаю, что это высшая честь изъ всѣхъ возданныхъ покойному.

Идеаль христіянина — вотъ та господствующая мысль, которую онъ такъ смѣло и горячо проповѣдывалъ въ своемъ Дневникѣ, которую прямо выразилъ въ своемъ послѣднемъ романѣ и которая особенно ясно установилась въ его душѣ, кажется, во время его трехлѣтняго житія за границей (1868—1871 г.). Въ 1869 году онъ мнѣ писалъ изъ Флоренціи: «Сущность русскаго призванія состоитъ въ разоблаченіи предъ міромъ Русскаго Христа, міру невѣдомаго и котораго начало заключается въ нашемъ родномъ православіи. По моему, въ этомъ вся сущность нашего будущаго цивилизаторства и воскрешенія хотя бы всей Европы и вся сущность нашего могучаго будущаго бытія. Но въ одномъ словѣ не выскажешься, и я напрасно даже заговорилъ» (Письмо 1869, ⁸⁰ 18 марта).

Въ идеаль Христа онъ нашелъ, такимъ образомъ, оправданіе своей всегдашней любви къ простому русскому народу и нашелъ высшій смыслъ своего горячаго патріотизма. Любовь къ простому народу, къ *почетъ*, какъ говорилъ Достоевскій, есть знаменательное явленіе въ нашей литературѣ вообще; сознаніе духовной красоты и духовнаго здоровья, которыя народъ сохранилъ, а мы утратили, давно у насъ зародилось и возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Достоевскій по своему складу души, по своей способности симпатизировать внутренней красотѣ, былъ всегда, какъ Пушкинъ, поклонникомъ простого народа. Записки изъ Мертваго Дома, въ которыхъ съ такимъ сочувствіемъ нарисованы народные типы, написаны раньше, чѣмъ онъ могъ назвать себя славянофиломъ, какъ называлъ

въ послѣдніе годы. А еще раньше, до ссылки, написана повѣсть *Хозяйка*, такъ разсердившая нашихъ западниковъ.

Такому человѣку, конечно, долженъ былъ открыться и главный нервъ народной жизни, высокій идеаль святости, подчиняющій себѣ весь нравственный складъ народа, дающій этому народу такую несокрушимую жизненность и крѣпость. Вотъ тотъ послѣдній и высшій авторитетъ, которому подчинился Достоевскій, вотъ самое важное изъ влияній, имѣвшихъ на него дѣйствіе, вотъ окончательная дорога, къ которой пришло это развитіе. Когда онъ вернулся изъ-за границы, гдѣ онъ жилъ почти уединенно со своею семьею, безъ развлеченій и дѣлъ (хотя въ большихъ затрудненіяхъ и трудахъ), онъ принесъ съ собою то настроеніе глубокаго умиленія, въ которое привело его долгое погруженіе въ этотъ строй мыслей. Были минуты, когда онъ и выраженіемъ лица и рѣчью походилъ на кроткаго и яснаго отшельника. Да, онъ былъ христіаниномъ, онъ ясно зналъ этотъ идеаль, къ которому нужно стремиться прежде всего другого.

Это тотъ путь, по которому идутъ простыя души и къ которому, какъ мы видимъ, приходятъ и самыя одаренныя души, иногда долго блуждавшія по другимъ путямъ. Всѣ знаютъ уже, что идеаль Христа сталъ высшимъ идеаломъ и для другого нашего художника, гр. Л. Н. Толстого. Переходы были тѣ же, какъ у Достоевскаго. Л. Н. Толстой всею своею натурою, всею симпатіею своего великаго художественнаго чувства былъ направленъ и устремленъ къ народу, и долгое и любовное созерцаніе народа открыло ему идеаль, которымъ живетъ народъ. Это совпаденіе съ Достоевскимъ было поразительно. Они не были знакомы другъ съ другомъ, но въ послѣднее время оба все собирались познакомиться. Позволю себѣ привести нѣсколько строкъ изъ письма Л. Н. Толстого, писаннаго ко мнѣ въ концѣ сентября прошлаго года: «Я не понимаю, писалъ онъ, жизни въ Москвѣ тѣхъ людей, которые сами не понимаютъ ее. Но жизнь большинства — мужиковъ странниковъ и еще кое-кого, понимающихъ свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю. Я продолжаю работать надъ тѣмъ же и, кажется, не бесполезно. На дняхъ нездоровился, и я читалъ *Мертвый Домъ*. Я много забылъ, перечитать,

и не знаю лучше книги изъ всей новой литературы, включая Пушкина. Не тонъ, а точка зрѣнія удивительна—искренняя, естественная и христіанская. Хорошая, назидательная книга. Я наслаждался вчера цѣлый день, какъ давно не наслаждался. Если увидите Достоевскаго, скажите ему, что я его люблю» (Письмо 1880 года, 26 сентября).

Я принесъ это письмо Федору Михайловичу, и это была одна изъ прекрасныхъ минутъ и для него и для меня, какъ свидѣтеля.

Итакъ, въ любви къ народу, переходящей въ преданность высшему народному идеалу, идеалу Христа, завершается дѣятельность двухъ нашихъ лучшихъ художниковъ слова.

Отсюда намъ всего яснѣе открывается и смыслъ произведеній Достоевскаго. Кромѣ общей симпатіи ко всѣмъ «униженнымъ и оскорбленнымъ», у него, особенно во второй половинѣ дѣятельности, является опредѣленная задача—изобразить большыя стороны нашего общества, оторваннаго отъ народа. Онъ выводитъ намъ два рода типовъ: *нигилистовъ*, явившихся въ послѣдніе десятки лѣтъ, и предшествовавшихъ имъ *людей сороковыхъ годовъ*. Такъ и въ послѣднемъ романѣ, драма идетъ между отцомъ Карамазовымъ, принадлежащимъ къ сороковымъ годамъ, и между его дѣтьми-нигилистами, Иваномъ и Смердяковымъ. И вотъ съ неподобной глубиною и тонкостію Достоевскій рисуетъ намъ извращеніе этихъ душъ, искаженіе ихъ нашимъ, такъ называемымъ, просвѣщеніемъ. И здѣсь, какъ и въ другихъ романахъ, наибольшая доля сочувствія принадлежитъ молодому поколѣнію, именно Ивану, въ которомъ изображена серьезная, искренняя преданность своимъ убѣжденіямъ, хотя и превратнымъ, увлеченіе, доходящее до поэзіи и грандіозности. Нельзя не замѣтить, что меньше всего Достоевскій щадилъ людей сороковыхъ годовъ; ихъ онъ какъ-будто уже не прощалъ и выставлялъ или рѣзко-комическими, какъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій въ *Бесахъ*, или рѣзко-отвратительными, какъ живьемъ схваченная фигура Федора Павловича Карамазова. Къ нигилистамъ же онъ отнесся, можно сказать, съ отеческою скорбью, съ отеческимъ состраданіемъ. Молодое поколѣніе моло по малу

поняло, съ какимъ сердцемъ онъ къ нему обращался, и отвѣчало заявленіями своей любви.

Но тутъ яснѣе, чѣмъ въ другихъ романахъ, Достоевскій поставилъ и положительную сторону дѣла. Не вся же Россія состоитъ изъ прогнившихъ западниковъ, какъ Федоръ Павловичъ, и изъ безмѣрно-дерзкихъ умомъ нигилистовъ, какъ его сынъ Иванъ. Отцеубійство совершено несчастнымъ Смердяковымъ, грѣхъ котораго долженъ равно пасть и на его отца и на брата Ивана, сбившаго съ пути жалкое созданіе. Но кромѣ ихъ есть еще Дмитрій Карамазовъ, ординарный русскій человѣкъ, грубый богатырь, въ которомъ много зла, но много и добра, и который отвѣчаетъ собою за чужія вины. Есть еще и задатки будущаго—благочестивый и чистый сердцемъ Алеша. Да и Иванъ, любимецъ автора, Иванъ, который въ душѣ, въ мысли, убилъ отца, какъ нигилисты въ мысли совершаютъ покушеніе на убійство нашего царства, Иванъ пораженъ своею совѣстію, какъ громомъ, и если онъ выздоровѣетъ, онъ опомнится и станетъ другимъ человѣкомъ. Вотъ гдѣ намъ слѣдуетъ искать поученія. Будемъ сильны и добры, и несокрушимы никакой бѣдой, какъ Дмитрій Карамазовъ. При всѣхъ нашихъ безобразіяхъ, при всѣхъ претерпѣваемыхъ несправедливостяхъ будемъ чисты отъ ненависти и преступленія. Научимся, если придется, терпѣть за чужія вины и прощать, потому что онъ правду говорить: «всѣ за всѣхъ виноваты».

Это черты—настоящаго русскаго духа, того духа, которымъ жить и расти и на вѣки могуча Русская земля. Будемъ любить Россію тою любовью, которая дышетъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», научимся смотрѣть на нее съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ сыновья смотрятъ на мать. Постараемся *возродиться*, какъ замышляетъ Дмитрій Карамазовъ, воспитать въ себѣ новаго человѣка, чтобы имѣть право на такія сыновнія отношенія, чтобы сталъ и для насъ идеаломъ идеаль Христа, наполняющій собою душу нашей великой родины. Такъ, мнѣ думается, завѣщалъ намъ Федоръ Михайловичъ Достоевскій.

XVIII.

Повѣсти и рассказы И. Н. Потапенко.

Томъ второй.

(«Зап. Имп. Академіи Наукъ.» Т. 67, 1892 г.) *)

Авторъ этой книги недавно появился въ литературѣ, и произведенія его съ самаго же начала имѣли значительный успѣхъ между читателями. А такъ какъ онъ пишетъ много и непрерывно появляется съ новыми произведеніями, то имя г. Потапенко уже принадлежитъ къ очень извѣстнымъ именамъ.

Какими же качествами пріобрѣтена эта извѣстность? Больше всего, намъ кажется, на читателей подѣйствовали два несомнѣнныхъ достоинства г. Потапенко: во первыхъ, необыкновенная живость разсказа и во вторыхъ, совершенная ясность темы въ каждомъ произведеніи. Г. Потапенко читается съ величайшею легкостью; повѣствованіе идетъ быстро и ровно, прямо открывается какою-нибудь сценою и потомъ непрерывно развивается, не уклоняясь въ сторону, не задерживаясь какими-нибудь размышленіями, описаніями природы, характеристиками, эпизодами и т. п. Мысль, на которую написанъ разсказъ, всегда ясна читателю съ первыхъ же страницъ, и послѣдующія страницы только обставляютъ ее подробностями и проводятъ ее до самыхъ крайнихъ послѣдствій. Вопреки обычаю, любовь, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, не составляетъ главной темы разсказовъ г. Потапенко. Такъ, въ первой повѣсти «На дѣйствительной службѣ» выведенъ самоотверженный и безкорыстный молодой священникъ, желающій скоро осуществлять евангельскія начала на своей службѣ среди крестьянъ большого села, и тема повѣсти заключается въ описаніи препятствій и противодѣйствія, которое онъ встрѣчаетъ со всѣхъ сторонъ. Во второй повѣсти «Секретарь Его Превосходительства» разсказывается, какъ добрый молодой человѣкъ губитъ свое время и свои силы, отчасти желая выслу-

*) Изъ отчета о седьмомъ присужденіи Пушкинскихъ премій въ 1891 г. Изд.

житься передъ своимъ начальникомъ, важнымъ сановникомъ, отчасти по какой-то неодолимой привычкѣ подчиняться этому своему патрону. «Рѣдкій праздникъ» есть небольшой рассказъ о томъ, какъ въ случаѣ хорошаго урожая хлѣбонъ рабочіе набиваютъ цѣну на свой трудъ, какъ ховяева тѣснятъ рабочихъ, когда нѣтъ работы, и ухаживаютъ за ними, когда работы много. «Проклятая слава» изображаетъ мальчика необыкновенно способнаго къ музыкѣ, къ игрѣ на скрипкѣ. Отецъ, ожидая впереди славы и денегъ, такъ его замучилъ упражненіями, что мальчикъ удавился.

Нужно прибавить, что всѣ эти темы развиты у автора съ извѣстною долею реализма; лица, выводимыя на сцену, имѣютъ извѣстное своеобразіе въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ; сцены рисуются съ нѣкоторыми характерными подробностями и ходъ происшествій довольно натураленъ.

Все это вмѣстѣ свидѣтельствуетъ о талантливости разбираемыхъ произведеній и можно ожидать, что авторъ со временемъ напишетъ что-нибудь достойное серьезнаго вниманія и похвалы. Теперь же, несмотря на указанныя привлекательныя свойства, мы рѣшаемся сказать, что его рассказы еще не имѣютъ высшихъ качествъ, какія требуются отъ этого рода писаній.

Во первыхъ, его реализмъ не довольно глубокъ и ярокъ. У него нѣтъ ни одной страницы, которая могла бы поравняться въ реализмъ съ отдельными мѣстами Чехова, Гаршина, Эрделя, Альбова, Ясинскаго, Бѣжецкаго, Гнѣдича и другихъ авторовъ современной литературы. Произведенія этихъ писателей не имѣютъ большой значительности, взятая въ цѣломъ, но въ нихъ нерѣдко попадаются картины и сцены, схваченныя съ удивительною живостію и точностію и поражающія насъ своею вѣрностію дѣйствительности. Русский художественный реализмъ, основанный Пушкинымъ, разработанный Гоголемъ и потомъ Л. Н. Толстымъ, поднялся до такой степени, какой еще не достигалъ ни въ одной литературѣ, и талантливые люди, руководимые этими образцами, можно сказать, равняются съ ними въ отдельныхъ чертахъ, въ удачныхъ мѣстахъ своихъ произведеній. Если они не могутъ

создать большого цѣлаго, проникнутаго важною творческою идеею, то все же иногда видно, что имъ знакомъ и дорогъ пріемъ вѣрнаго и тонкаго реализма, требующагося, при нынѣшнемъ развитіи нашей литературы, для художественнаго изображенія какихъ бы то ни было предметовъ.

У г. Потапенко между тѣмъ реализмъ никогда не доходить до полной своей силы; рассказъ идетъ слишкомъ бѣгло и поверхностно, такъ что все обозначается лишь легкими очерками и нигдѣ не встрѣчается глубокой черты. Иногда странно читать, когда передъ нами быстро мелькаютъ самыя крупныя событія въ жизни героевъ—бракъ, смерть, рожденіе дѣтей и тому подобное, и рассказъ ничуть не останавливается на томъ впечатлѣніи, которое неминуемо должны производить эти событія.

Точно такъ авторъ скользитъ и по характерамъ своихъ дѣйствующихъ лицъ; каждое изъ нихъ опредѣляется лишь одной или двумя чертами, и хотя остается себѣ вѣрнымъ, но далеко не представляетъ полного образа.

Напримѣръ, настроеніе юнаго священника изображено очень ясно, да и не видно, какъ оно сложилось.

Наконецъ, всего слабѣе, по нашему мнѣнію, у г. Потапенко развитіе событій: оно черезчуръ правильно и направляется къ своему исходу черезчуръ прямо. Отсюда же и умышленныя преувеличенія, которыя, въ сущности, только вредятъ дѣлу. Читатель очень скоро начинаетъ видѣть, куда клонитъ авторъ, и какъ онъ сочиняетъ свои сцены и происшествія, а потому теряется вѣра въ правдоподобіе рассказываемаго, и вообще дальнѣйшее чтеніе рассказа становится скучнымъ.

Въ настоящее время мы имѣемъ въ писаніяхъ Л. Н. Толстого высокій образецъ, которому должны бы подражать молодые повѣствователи. Они должны понять, что величайшее достоинство рассказа есть его глубокая добросовѣстность, искреннее желаніе вникнуть въ тайны человѣческой души, уловить природу того предмета, на которомъ остановилось вниманіе художника-писателя. Читатели иногда могутъ удовлетвориться и тѣмъ-нибудь легкимъ и поверхностнымъ; и дѣло, вѣдь, не въ томъ, чтобы обманывать читателей, а въ томъ, чтобы

дѣйствительно выразить въ живыхъ образахъ тотъ интересъ, который наполняетъ нашу душу. Если такой наполняющій душу интересъ у насъ есть, то нашъ талантъ станетъ дѣйствовать съ полною своею силою, и наши образы будутъ не сочиняться, не очерчиваться бѣгло и вскользь, а получать живопись и опредѣленность настоящаго художественнаго созданія. И тогда всякій читатель, самый взыскательный, непременно на столько же заинтересуется предметомъ, на сколько имъ заинтересованъ авторъ.

XIX.

Посмертные отрывки.

1. Письмо къ гр. С. А. Толстой. *)

(«Русскій Вѣстникъ». 1901, 6).

Только три дня тому назадъ получилъ я отъ Черткова корректурный оттискъ: «Такъ что жъ намъ дѣлать»? Читалъ я его съ жадностью, какъ книгу, имѣющую животрепещущій интересъ, и съ умиленіемъ, которое всегда чувствую въ себѣ въ отношеніи ко Льву Николаевичу. И теперь готовъ рассказать вамъ все, что случилось на душѣ послѣ чтенія, разговора и размышленій. Прежде всего, чему я научился? Очень живо подѣйствовали на меня двѣ черты: одна—та потребность въ нравственной жизни, которую такъ сильно чувствуетъ Левъ Николаевичъ; другая—раздѣленіе между людьми, на которое онъ негодуетъ. Совершенно ясно и даже живописно онъ показываетъ, что обыкновенная *благодѣтельность* не удовлетворяетъ нравственнаго чувства, не содержитъ въ себѣ настоящаго добра, настоящаго подвига. Совѣсть у насъ голодна, но мы не даемъ ей пищи, которая бы ее насытила, а только обманываемъ ее, заглушаемъ ее голодъ всякою фальшью. Полная нравственная жизнь была бы у насъ только тогда, если бы мы каждый день и часть чув-

*) Письмо не закончено.

ствовали, что мы исполняемъ нѣкоторый долгъ, что мы жертвуемъ собою, живемъ не для себя, а для другихъ. Жить для одного себя становится иногда такъ мучительно-противно, что люди нарочно отдають себя во власть другихъ людей, нарочно придумываютъ себѣ лишенія и всякія ограниченія. Левъ Николаевичъ разсказалъ, какъ онъ перешелъ черезъ разныя ступени разочарованія въ обыкновенныхъ формахъ благотворительности. Онъ желалъ бы настоящихъ добрыхъ дѣлъ, гдѣ нужны были бы любовь и трудъ. Подача милостыни, говоритъ онъ, есть не болѣе, какъ вѣжливость. Какъ это вѣрно и точно! И всѣ другія отношенія между бѣдными и благотворителями у него указаны съ удивительною правдой. Да, все это далеко отъ братской, христіанской, истинной любви! Чувство страданія и исканія, которымъ дышетъ разсказъ Льва Николаевича, должно тронуть всякаго, въ комъ проснулось то же стремленіе.

И онъ вѣрно указываетъ на одну изъ главныхъ трудностей для удовлетворенія жажды нравственныхъ дѣлъ. Сближеніе между людьми невозможно вслѣдствіе раздѣленія между людьми, разбивающаго ихъ на слои и кучки. Левъ Николаевичъ подробно останавливается на томъ раздѣленіи, которое основано на имуществѣ и которое, конечно, становится все болѣе и болѣе господствующимъ. Но есть и другія причины раздѣленія; вѣрнѣе сказать, что люди хватаются за всевозможные поводы, чтобы отдѣлаться отъ другихъ, чтобы хотя на волосокъ подняться надъ другими и держаться на этой высотѣ. Тщеславіе есть глупѣйшая изъ страстей, хотя Саллюстій думаетъ, что человѣкъ ею-то и превосходитъ другихъ животныхъ. Градаціи между людьми возникаютъ непрерывно и составляютъ главное занятіе, горе и утѣшеніе почти всей массы обитателей нашей планеты.

Такимъ образомъ, мы постоянно и старательно отталкиваемъ отъ себя другихъ людей, и всякія добрыя отношенія между нами очень трудны. Какъ хорошо разсказываетъ Левъ Николаевичъ, что между бѣдными и равными обыкновенно одни помогаютъ другимъ въ нуждѣ! Это дѣло такое естественное, что оно не дѣлается только отъ особаго устрой-

ства нашей жизни, отъ перегородокъ, которыми каждый обставляетъ себя.

Потомъ чудесно указано, что дѣлать добро не можетъ тотъ, кто самъ испорченъ, да и получить добро, принять помощь испорченный не можетъ. Большинству несчастныхъ нельзя помочь иначе, какъ исправивъ ихъ; требуется примѣръ, любовь, перемѣна мыслей и чувствъ. Какъ же это сдѣлать, не имѣя нравственной силы, не ведя нравственной жизни? Деньгами нельзя благотворить, нужно благотворить душой. По моему, тутъ главный пунктъ дѣла, тутъ и есть исполненіе слова: *Ищите прежде всего царствія Божія и все остальное прибавится вамъ*. Благотворители, которые этого не чувствуютъ, пожалуй, хуже тѣхъ людей, которые прямо отказываются отъ этихъ мнимыхъ добрыхъ дѣлъ, инстинктивно понимая, какъ далеки такіа дѣла отъ истиннаго добра, и открыто слѣдуя другимъ началамъ жизни. А кто не отказывается отъ этой благотворительности, тотъ лицемеритъ, такъ точно, какъ мы безпрестанно лицемеримъ изъ вѣжливости, не изъ уваженія къ принципу, а изъ угожденія лицамъ, изъ желанія избѣжать неприятныхъ столкновений.

Трудно стать добрымъ. Человѣку богатому, знатному, свободному всего труднѣе, потому что ему не приходится ни жертвовать, ни покоряться, ни терпѣть. Левъ Николаевичъ позавидовалъ проституткѣ, кормившей чужаго ребенка, и справедливо позавидовалъ. Очевидно, у бѣдныхъ поприще для добродѣтели несравненно шире, чѣмъ у богатыхъ. Трудъ, заботливость, взаимная помощь, равенство, смиреніе, прощеніе, умѣнье ничѣмъ не дорожить кромѣ хлѣба насущнаго, во всему этому *принуждаютъ* бѣдность, но душа человѣческая, поднимаясь надъ принужденіемъ, дѣлаетъ изъ всего этого добродѣтели. Страдающіе понимаютъ другъ друга и не обвиняютъ понапрасну ни другихъ, ни самихъ себя.

Перечитывая опять и опять статью Льва Николаевича, я нахожу все новыя черты, удивительно поясняющія весь вопросъ. Но особенно поразителенъ рассказъ, какъ на масле-ниці онъ *не нашелъ бѣдныхъ*. Это показываетъ, что главный принципъ, по которому устроена теперешняя жизнь, дѣйствуетъ очень энергически и приноситъ хорошіе резуль-

таты. Этотъ принципъ—эгоизмъ. Мы обязаны не о другихъ заботиться, а только *каждый о самомъ себѣ*, и на основаніи этого считаемъ обыкновенно бѣдняковъ неисполнившими своей обязанности. Цѣль государства—охранять эгоизмъ каждаго, оберегать его личность, имущество и свободу дѣйствій.

Полное человѣческое развитіе раздѣляется на два главные періода. Сперва человекъ *живетъ*, потомъ онъ *понимаетъ* свою жизнь. Сперва бессознательное или полусознательное дѣйствіе и проявленіе, потомъ сознаніе болѣе и болѣе ясное. Этотъ ходъ нашей судьбы имѣетъ въ себѣ нѣчто жестокое, но онъ необходимъ и онъ, несомнѣнно, ведетъ насъ отъ хорошаго или дурнаго къ лучшему и даже къ наилучшему. Только тотъ вполне несчастливъ, кто до конца не выходитъ изъ перваго періода. И если во многихъ случаяхъ можно сказать о людяхъ, что въ первую половину своей жизни они грѣшатъ, а во вторую каются въ своихъ грѣхахъ, то и тутъ раскаяніе часто приноситъ плоды, которыхъ не всегда достигаютъ безгрѣшные люди...

2. Описаніе Днѣпра у Гоголя.

(«Историческій Вѣстникъ». 1902, 3).

Въ сочиненіяхъ Гоголя часто встрѣчаются мѣста, поразительныя яркостью и вѣрностью красокъ, мѣста, при чтеніи которыхъ живописецъ невольно беретъ за кисть и тотчасъ, можетъ быть, бросаетъ ее, чувствуя свое безсиліе въ соперничествѣ съ великимъ художникомъ слова. Таково, на примѣръ, чудное описаніе Днѣпра. Эта великолѣпная картина представляетъ какой-то восторженный гимнъ красотѣ пышной рѣки. Кажется, по одному тону описанія, по благоговѣнію и восторгу, съ какимъ Гоголь любитъ Днѣпромъ, можно угадать, что эта рѣка, которой, по словамъ его, нѣтъ равной въ мірѣ,—не чужая ему, но течетъ черезъ его родину.

Картина состоитъ изъ трехъ частей: Днѣпръ во время дня, ночью и въ бурю. Въ каждой части нѣтъ ни одного лишняго слова, ни одного сколько-нибудь общаго мѣста;

здѣсь каждое слово звучить и блещетъ, какъ червонецъ, каждое выраженіе полно значенія и живописной выразительности. Поэтому нѣтъ возможности разбирать все прекрасное въ этомъ отрывкѣ; для этого нужно бы разобрать каждую фразу, каждое слово.

Трудно лучше выразить пышную плавность и тишину теченія Днѣпра, когда ярко свѣтитъ солнце,—блескъ и свѣжесть водъ его. Кажется, чувствуешь дыханіе прохлады, кажется, видишь опрокинутые въ водѣ *зеленокудрые* прибрежные лѣса и эту голубую, зеркальную дорогу, безъ мѣры въ ширину, вьющуюся по *зеленому* міру. За этимъ слѣдуетъ еще болѣе живописная, болѣе роскошная картина Днѣпра въ лѣтнюю ночь,—лучшее мѣсто отрывка. Отъ *сотрясенія Божіей ризы сыплются звезды*, и ни одна не убѣгаетъ отъ темнаго лона Днѣпра, *развѣ погаснетъ* на небѣ. Его сонная плавность, его безконечная темная синева, по которой иногда пробѣжитъ серебряная струя,—изображены съ искусствомъ выше всякихъ похвалъ и сравненій. Въ третьей части художникъ рисуетъ бурю, когда горы ходятъ по небу, и водяные холмы, отбѣгая отъ горъ, *плачутъ и заливаются* вдали. Последнее выраженіе навело воображеніе Гоголя на другую картину, и она вылилась изъ-подъ пера его въ полномъ богатствѣ красокъ. Сравненіе плача съ плескомъ волнъ довольно обыкновенно, но нигдѣ оно не высказано такъ оригинально, нигдѣ такъ прекрасно не соглашается съ мѣстностью. Кажется, видишь разгульнаго казака, ѣдущаго въ бурю по берегу Днѣпра. Старая мать *убивается* надъ нимъ, *заливается* горячими слезами, и плачь ея сливается съ плескомъ волнъ Днѣпровскихъ.

Въ этомъ небольшомъ отрывкѣ живость слога и блескъ выраженій—изумительны. Мы замѣтимъ болѣе яркія.

«Глядишь и не знаешь, *идетъ*, или не идетъ его величавая ширина». Метонимія смѣлая и чрезвычайно выразительная.

«Будто голубая, зеркальная дорога, онъ вьется по *зеленому* міру». Эпитетъ необыкновенный, но чрезвычайно живописный, если вспомнимъ зеленые степи, по которымъ течетъ Днѣпръ.

«Любо жаркому солнцу *погрузить лучи въ холодъ* стекляныхъ водъ». Выраженіе живописное; кажется, можно видѣть, какъ жаркіе лучи играютъ, преломляясь въ холодной водѣ.

«*Синій, синій* ходитъ онъ плавнымъ разливомъ». Это повтореніе, очень выразительное, даетъ слышать плавное волненіе рѣки.

Замѣчательны также восклицанія: *зеленокудрые! пышные!* Множество другихъ неуловимыхъ оттѣнковъ въ оборотахъ придаютъ слогу чисто поэтическую восторженность, свойственную одному Гоголю въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его сочиненій.

«Молнія, *изламываясь* между тучъ, разомъ освѣтитъ цѣлый міръ».

Вообще, если замѣчать выраженія новыя, смѣлыя, поразительно живописныя, то нужно бы подчеркнуть почти каждое слово, потому что каждое слово этого прелестнаго отрывка дышитъ неподдѣльною свѣжестью и живымъ поэтическимъ увлеченіемъ.

XX.

Научная критика.

1. Дурные признаки.

(«Время». 1862, № 11).

O quam contempta res est
Homo, nisi supra humana
se erexerit! *Линней.*

On the origin of species by Ch. Darwin. 1859.

Charles Darwin, über die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtigung. Uebers. und. mit Anmerk. v. Dr. H. G. *Bronn*. Stutt. 1860.

De l'origine des espèces, ou des lois du progrès chez les êtres organisés par Ch. Darwin. Trad. par Clémence-Aug. Royer, avec préf. et notes du traducteur. Paris. 1862.

Настоящее время, во всякомъ случаѣ загадочное и, можетъ быть, болѣе загадочное, чѣмъ всякое другое, нерѣдко сравниваютъ съ эпохою упадка древняго міра; говорятъ, что мы переживаемъ періодъ такого же всеобщаго одряхленія, такого же постепеннаго и безвыходнаго разрушенія всѣхъ формъ, въ которыхъ жизнь до сихъ поръ выражалась. Гдѣ и какъ возникаетъ новая жизнь, какія формы она приметъ, неизвѣстно.

Судить основательно и точно о вопросахъ такого широкаго объема, конечно, очень трудно. Духъ исторіи, совершающейся вокругъ насъ, та глубокая жизнь, которая движетъ развитіемъ человѣчества, есть безъ сомнѣнія величайшая тайна для ума. Мы сами погружены въ потокъ этой жизни, сами увлечены ходомъ этого развитія, слѣдовательно, не можемъ глядѣть на это движеніе со стороны, какъ наблюдатель, имѣющій твердую точку опоры. Болѣе или менѣе ясно, но мы чувствуемъ, что въ насъ дѣйствуетъ эта сила, для которой мы сами не составляемъ полного и совершеннаго проявленія; слѣдовательно, мы не можемъ признать себя вполне точнымъ ея мѣриломъ.

Но мысль, какъ извѣстно, старается отрѣшиться отъ временныхъ и частныхъ условій. Она, по самой своей природѣ, считаетъ возможнымъ найти въ себѣ самой ту неподвижную точку, то начало координатъ, отъ котораго измѣряются всѣ явленія, всѣ разстоянія и направленія. Поэтому мысль не можетъ отказаться отъ права измѣрять даже ходъ современнаго ей историческаго развитія.

Итакъ, положимъ, что мы будемъ стараться вникнуть въ ходъ этого развитія. Для этой цѣли замѣтимъ, что изъ всѣхъ областей человѣческой дѣятельности самая ясная, наиболѣе доступная для пониманія и оцѣнки, есть область умственной дѣятельности. Такъ что изъ всѣхъ сферъ развитія въ этой сферѣ всего прямѣе и отчетливѣе могутъ для насъ обнаружиться и черты, зависящія отъ духа эпохи; по этимъ

чертамъ, можетъ быть, возможно составить понятіе и о состояніи цѣлой жизни человѣчества.

Что же мы находимъ въ современной умственной дѣятельности? Повидимому, едва ли кто рѣшится сказать, чтобы въ этой дѣятельности замѣтенъ былъ упадокъ или дряхлость. Безъ сомнѣнія, никогда еще на земномъ шарѣ науки не процвѣтали такъ, какъ процвѣтаютъ нынѣ: ученая дѣятельность кипитъ все въ большихъ и большихъ размѣрахъ. Притомъ успѣхи, дѣлаемые науками, не ограничиваютъ самыхъ наукъ, не указываютъ имъ предѣловъ, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше расширяютъ ихъ горизонтъ и открываютъ поприще для новыхъ успѣховъ.

Таково, по крайней мѣрѣ, обыкновенное наше понятіе о ходѣ и движеніи наукъ. Но умы скептическіе и тоскующіе, какъ извѣстно, смотрятъ на это иначе. Въ этомъ движеніи, столь быстромъ и разительномъ, они находятъ коренную фальшь. Они думаютъ, что наука во многихъ и именно въ важнѣйшихъ случаяхъ дошла до внутренняго противорѣчія съ самой собою, до отрицанія самой себя. Они утверждаютъ поэтому, что наука въ этихъ случаяхъ держится и движется только рутинною, но что въ ней нѣтъ уже живой вѣры въ себя, и что, слѣдовательно, раньше или позже ей неминуемо грозить катастрофа.

Мы говоримъ здѣсь о глубокомъ скептицизмѣ и глубокой тоскѣ. Сюда однакоже примыкаетъ и тотъ дешевый и легкій скептицизмъ, который въ большомъ ходу, кажется, во всѣ времена. По мнѣнію многихъ, обыкновенно незнакомыхъ близко съ науками, умъ человѣческій повторяетъ одно и то же, только въ различныхъ формахъ; каждый вопросъ имъ кажется спорнымъ, и въ умноженіи изысканій и книгъ они видятъ только умноженіе разнорѣчій. Въ исторіи они находятъ одну путаницу лицъ и событій, въ философіи—одинъ туманъ, въ занятіяхъ древними языками—пустую забаву, пустую трату времени, вездѣ—безплодное круженіе ума, обманчивый, ни къ чему неведущій трудъ.

Есть однакоже науки, передъ которыми умолкаетъ всякій скептицизмъ, какъ поверхностный, такъ и глубокій, которыхъ успѣхи никто не рѣшится отвергать, которыхъ польза

и плодотворность ясны до несомнѣнной очевидности. Это—науки естественныя, а въ особенности тѣ изъ нихъ, которыя уже издавна пользуются почетнымъ названіемъ *точныхъ наукъ*. Если въ настоящее время эти науки пріобрѣтаютъ все больше и больше приверженцевъ и сотрудниковъ, то это зависитъ, главнымъ образомъ, отъ этой ихъ *несомнѣнности*, ставящей ихъ выше всякаго подозрѣнія и отъ болѣе или менѣе ясно чувствуемаго скептическаго отношенія къ другимъ наукамъ. Умъ необходимо требуетъ дѣятельности и ищетъ спасенія тамъ, гдѣ онъ чувствуетъ себя вполне самодовѣреннымъ, гдѣ у него твердая почва подъ ногами.

Въ этомъ отношеніи естественныя науки, дѣйствительно, имѣютъ явное преимущество передъ всѣми другими. Предметъ ихъ такъ, очевидно, ясенъ, методы такъ просты и элементарны, что твердость пріобрѣтаемыхъ познаній не можетъ, кажется, подлежать никакому сомнѣнію. Нужно быть, повидимому, или крайне тупымъ, или крайне легкомысленнымъ для того, чтобы значительно отступить отъ истины въ изслѣдованіи по предмету естественныхъ наукъ. Поэтому натуралисты всѣ составляютъ одну школу, безъ раздѣленій, безъ сектъ; по крайней мѣрѣ, у нихъ такъ много общаго, что небольшія разногласія ничего не значатъ въ сравненіи съ общепринятыми познаніями. Философія вѣчно дѣлится на разногласныя школы; историческіе взгляды могутъ быть весьма различны; между тѣмъ точно такъ, какъ существуетъ только *одна* математика, такъ существуетъ только *одна* физика, одна химія, одна физиологія и проч. Служить другимъ наукамъ, невходящимъ въ кругъ естественныхъ, трудно: въ нихъ значительная часть дѣятельности пропадаетъ даромъ, то есть оказывается трудами, не приносящими самой наукѣ никакой пользы. Извѣстно, что книга съ историческимъ содержаніемъ можетъ не имѣть никакого значенія для исторіи; большая часть книгъ, по заглавію философскихъ, представляютъ мертворожденныхъ уродовъ и ничего не значатъ для философіи. Между тѣмъ, если кто станетъ самостоятельно изучать природу, то передъ нимъ прямо открывается твердый путь; каждое наблюденіе, ничтожный фактъ—все это годится, все быстро и правильно примыкаетъ къ цѣлому

науки; ошибки, недосмотры исчезают и исправляются съ величайшею легкостію и очевидностію, такъ что не представляютъ никакой задержки общему теченію науки впередъ.

Эта твердость пути, эта несомнѣнная правильность приемовъ доказывается и самими результатами, до которыхъ достигаютъ естественныя науки. Нельзя вообразить себѣ успѣховъ болѣе блистательныхъ, болѣе многообъемлющихъ и многообъщающихъ. Эти успѣхи всѣми признаны, но настоящую ихъ важность и цѣну знаютъ только одни натуралисты. Тотъ, кто незнакомъ съ естественными науками, никогда не представитъ себѣ, какъ ярки, какъ широки бываютъ эти новые потоки свѣта, вдругъ озаряющіе цѣлыя области мірозданія, которыя до тѣхъ поръ были, какъ хаосъ, покрыты мракомъ и недоступны для ума. Въ два-три десятка лѣтъ возникаютъ цѣлыя науки поразительной стройности и глубины: таковы, напримѣръ, палеонтологія, органическая химія.

Послѣ этого понятно, что естественныя науки вѣрятъ въ себя, что они полны жизни, радости, и что умы, расположенные къ тоскѣ и сомнѣнію, ищутъ себѣ отрады въ этой свѣтлой области знанія. Вотъ одна изъ чертъ современнаго умственнаго настроенія. Какъ бы мы ни смотрѣли на ходъ другихъ проявленій ума, въ наукахъ о природѣ невозможно видѣть признаковъ упадка, а необходимо признать полную живучесть, свѣжую и здоровую силу.

Естествознаніе вообще есть нѣчто новое. Въ немъ можно видѣть одну изъ живыхъ струй, отличающихъ нашъ новый міръ отъ древняго міра. Въ этомъ нельзя не убѣдиться, если мы вспомнимъ, что древніе были люди высоко-развитые, обладавшіе глубокою умственною дѣятельностію. Ихъ философія, ихъ поэзія—вѣчные образцы для насъ. Между тѣмъ ихъ познанія о природѣ были въ полномъ смыслѣ слова ничтожны въ сравненіи съ нашими. Объяснить это можно только однимъ, именно—особеннымъ, *древнимъ* отношеніемъ ихъ ума къ природѣ. Для насъ удивительно, какъ они не замѣчали самыхъ простыхъ, ежедневно повторяющихся законовъ и явленій. Очевидно, въ новое время духъ человѣческій сталъ въ особенное, *новое* положеніе въ отно-

шеніи къ природѣ, и вотъ почему быстро и успѣшно пошла эта новая умственная дѣятельность.

Такимъ образомъ, нынѣшніе успѣхи естественныхъ наукъ необходимо предполагаютъ нѣкоторый великій переворотъ въ умственномъ настроеніи человѣчества. Обыкновенно этого не замѣчаютъ и не признаютъ. Въ приѣмахъ изученія природы не умѣютъ видѣть никакой особенной глубины, никакого особеннаго достоинства. Даже наоборотъ извѣстно, что ученые нерѣдко смотрятъ свысока на дѣятельность натуралистовъ: она кажется имъ слишкомъ мелкою, слишкомъ простою и грубою. Насмѣшки, дѣлаемыя въ этомъ смыслѣ надъ натуралистами, очень обыкновенны. Какъ интересный примѣръ, доказывающій между прочимъ ихъ давность, приведу здѣсь слова Малекбранша, который, какъ извѣстно, занимаетъ почетное мѣсто въ исторіи философіи. Эти слова сказаны были двѣсти лѣтъ назадъ, но уже въ то время, когда естественныя науки заявили себя первыми блистательными успѣхами, такъ называемою, *эпохою великихъ открытій*. «Люди», говоритъ онъ въ своей книгѣ *объ изысканіи истины*, «не созданы для того, чтобы всю свою жизнь изслѣдовать мошекъ и насѣкомыхъ; нельзя вполнѣ одобрить трудовъ, подъятыхъ нѣкоторыми господами для того, чтобы изучить, какъ устроены вши у каждаго рода животныхъ и какъ различные черви превращаются въ мухъ и мотыльковъ. Такими вещами позволительно развѣ забавляться для развлечения, когда нечего дѣлать».

Философъ обнаруживаетъ здѣсь очевидное непониманіе. Изученіе природы все еще кажется ему въ извѣстной степени загадкою. Для него странно, какъ можно серьезно заниматься такими пустяками, какъ черви и букашки; онъ находитъ, что гораздо лучше разсуждать о Богѣ. Но натуралистъ имѣетъ полное право смѣяться надъ философомъ, какъ скоро свое занятіе букашками онъ успѣлъ превратить въ научный, полный мысли трудъ. Въ такомъ случаѣ онъ совершаетъ извѣстную умственную дѣятельность, которой философъ не понимаетъ и потому не умѣетъ цѣнить. Еще болѣе натуралистъ имѣетъ право смѣяться, если эта дѣятельность даетъ ему точные, строгіе результаты и ведетъ его шагъ за шагомъ

впередъ, между тѣмъ какъ философъ, разсуждая о Богѣ, легко можетъ остаться при одной заслугѣ *добраго намѣренія*.

Слова Малевбранша нерѣдко повторяются и нынѣ. Очевидно, есть нѣкоторая трудность въ томъ, чтобы, какъ слѣдуетъ, понимать и цѣнить изученіе природы. Конечно въ настоящее время, когда дѣятельность этого изученія очень развита, она передается и поддерживается однимъ поколѣніемъ въ другомъ. Но Малевбраншу, или какому-нибудь ученому среднихъ вѣковъ, или древнему греку, дѣйствительно, могло бы показаться чѣмъ-то *нечеловѣческимъ*, неразумнымъ то вниманіе и усердіе, съ какимъ натуралистъ цѣлые годы занимается анатоміею ничтожнаго животнаго или предается мельчайшему и простѣйшему анализу какихъ-нибудь явленій, и съ неистощимымъ терпѣніемъ повторяетъ и повѣряетъ извѣстные опыты. Натуралисты усердно работаютъ, потому что ясно видятъ или твердо убѣждены, что дѣлаютъ дѣло. Пока это *дѣло* не было яснымъ, понятнымъ, до тѣхъ поръ за него и не думали приниматься и не придавали ему никакого важнаго значенія.

Итакъ, въ современной умственной дѣятельности, повидимому, существуетъ элементъ дѣйствительно крѣпкій, дѣйствительно новый, дѣйствительно плодотворный, именно—изученіе природы. Оно составляетъ лучший и несомнѣнный признакъ жизненности современнаго развитія. И вотъ почему изученіе природы въ настоящее время окружено такимъ свѣтлымъ ореоломъ надеждъ и вѣрованій. Отъ него многіе всего ожидаютъ, въ него вѣрятъ, какъ въ разрѣшеніе всѣхъ задачъ, какъ въ источникъ всякой мудрости. На естественныя науки безпрестанно ссылаются, какъ на непреложный авторитетъ; ихъ метода, ихъ приемы переносятся въ другія науки, дѣлаются правиломъ для тѣхъ областей знанія, которыя, повидимому, всего дальше отстоятъ отъ нихъ по своему предмету, напримѣръ для исторіи, для философіи.

Безъ сомнѣнія, все это составляетъ очень хорошіе признаки настоящаго времени; все это свидѣтельствуетъ о живомъ, сильномъ развитіи, о глубокомъ прогрессѣ. Такъ что, кто будетъ судить о состояніи челоувѣческаго духа по той жизни, какую обнаруживаютъ естественныя науки, тотъ ни-

какъ не согласится съ мыслью о паденіи этого духа, о разрушеніи современной цивилизаціи.

Сомнѣніе однакоже все-таки возможно; въ самомъ дѣлѣ, дѣйствительно ли можно судить о современной жизни человѣческаго духа по естественнымъ наукамъ? Эти науки во всякомъ случаѣ есть частный фактъ, частная область умственной дѣятельности. Дѣйствительно ли можно искать въ нихъ *спасенія*, найти въ нихъ ту твердую точку опоры, на которой можно крѣпко держаться среди окружающаго разрушенія?

Нужно многое для того, чтобы рѣшиться отвѣчать утвердительно на этотъ вопросъ. Вообще говоря, мы знаемъ, что главный центръ тяжести историческаго движенія не совпадаетъ съ областью естествознанія. Жизнь человѣческая руководится и направляется другими, болѣе глубокими основаніями. Если мы обратимся къ исторіи естественныхъ наукъ, то легко убѣдимся, что онѣ сами никогда не были совершенно самостоятельны. Легко было бы доказать многочисленными примѣрами, что въ своихъ взглядахъ и стремленіяхъ онѣ обыкновенно подчинялись другимъ, болѣе сильнымъ вліяніямъ, что не отъ нихъ зависѣлъ духъ времени, а скорѣе, наоборотъ, онѣ отъ духа времени. Имѣя въ себѣ задатки самобытнаго развитія, онѣ постепенно освобождались отъ постороннихъ вліяній, постепенно сбрасывали съ себя слѣды чуждаго имъ духа, но однакоже никогда не были во главѣ движенія, никогда не руководили общимъ настроеніемъ умовъ. Тѣ, которые надѣются, что это будетъ со временемъ, во всякомъ случаѣ должны признать, что этого до сихъ поръ не было.

Если мы, такимъ образомъ, предположимъ, что изученіе природы не составляетъ главнаго русла человѣческаго ума, то должны будемъ признать, что оно не спасетъ насъ, когда обмелѣетъ главное русло, когда изсякнутъ главные источники. Въ настоящее время естественныя науки часто заявляютъ притязаніе на господство, на руководящее значеніе. Въ этихъ случаяхъ всего легче судить о томъ, справедливы ли ихъ притязанія и надежды. Кто беретъ за дѣло, превышающее его силы, тотъ сейчасъ же обнаружитъ слабость своихъ силъ.

Въ недавнее время намъ встрѣтился любопытный случай именно такого рода. Мы изложимъ его читателямъ, такъ какъ,

намъ кажется, въ немъ можно найти ясныя черты и современнаго состоянія европейской жизни, и отношенія къ нему естественныхъ наукъ.

Въ послѣдніе годы въ ученіи объ организмахъ, то есть о животныхъ и растеніяхъ, совершился великій переворотъ. Этотъ переворотъ произвела книга *Дарвина о происхожденіи видовъ*, которой заглавіе, также какъ и заглавіе ея переводовъ, стоитъ въ началѣ нашей статьи. Она кореннымъ образомъ измѣнила самыя главные, самыя существенныя понятія, которыхъ до сихъ поръ держались относительно организмовъ. Чтобы получить нѣкоторое понятіе о важности этого переворота, припомнимъ тотъ взглядъ на вещи, то міросозерцаніе, которое крѣпко стояло въ прежнее время и отъ котораго мы конечно не вполне освободились и до сихъ поръ. Предполагалось, что всѣ вещи имѣютъ опредѣленные, неизмѣнныя свойства, что эти свойства нераздѣльны съ ихъ сущностью и принадлежатъ имъ отъ вѣка. На міръ смотрѣли, какъ на совокупность такихъ вещей, на жизнь и на исторію, какъ на случайное столкновеніе этихъ вѣчныхъ свойствъ и неизмѣнныхъ вещей, такъ что въ сущности жизнь не была нарастаніемъ новаго и въ исторіи не происходило никакихъ существенныхъ перемѣнъ. Этотъ взглядъ, очевидно, метафизическій и имѣющій глубокіе источники въ духѣ человѣка, былъ цѣликомъ перенесенъ и на организмы. Каждая форма растеній и животныхъ, ясно отличающаяся отъ другихъ формъ, была признаваема за особый *видъ*, которому отъ созданія принадлежатъ всѣ его свойства и особенности. Виды почитались неизмѣнными, т. е. неизмѣнно обладающими извѣстными свойствами, какъ принадлежащими къ ихъ сущности. Натуралисты заботились о томъ, чтобы различить, наименовать и перечислить всѣ виды; *а видовъ*, говорилъ Линней, *столько, сколько ихъ сначала создалъ Богъ*.

Къ такому взгляду неподвижныхъ, неизмѣнныхъ сущностей такъ или иначе постоянно возвращается человѣческій умъ. Но прежде онъ былъ строго и послѣдовательно примѣненъ ко всему, о чемъ мыслить человѣкъ. Самое познаніе считалось ничѣмъ инымъ, какъ постепеннымъ открытіемъ неизмѣнныхъ, вѣковѣчныхъ сокровищъ истины. Новыя откры-

тѣ только численно умножали умственные познанія, но ни въ чемъ существенно не измѣняли дѣла. Мало по малу одна-коже въ незыблемой почвѣ, на которую люди такъ крѣпко опирались, стало замѣтно колебаніе. Велико должно было быть удивленіе тѣхъ, кто первый это замѣтилъ. Все, что считалось неподвижнымъ и несомнѣннымъ, поколебалось и двинулось; земля стала обращаться около солнца; величайшіе авторитеты были разбиты въ прахъ, вѣковыя отношенія и связи нарушились; наконецъ, самая мысль измѣнила свои приемы и стала дѣйствовать иначе: человѣчество живо почувствовало, что въ немъ совершается исторія, что въ мірѣ происходятъ не однѣ случайныя и видимыя, а существенныя перемѣны.

Съ тѣхъ поръ постепенно все больше и больше распространяется новое міросозерцаніе. Неизмѣнныя сущности и ихъ необходимыя свойства все дальше и дальше отодвигаются на задній планъ. Постепенно проникаетъ всюду убѣжденіе, что все измѣняется и что постоянны не сущности, а *законы ихъ измѣненія*. Вѣра въ прогрессъ, въ развитіе, въ усовершенствованіе заступила мѣсто вѣры въ неизмѣнныя сущности и вѣчныя истины. Послѣдній успѣхъ этого взгляда, послѣднюю его побѣду мы видимъ въ книгѣ Дарвина. Эта книга опровергаетъ, такъ называемое, *постоянство видовъ*, догматъ, который упорно защищали до сихъ поръ всѣ *признанные* натуралисты. Они думали, что каждый видъ животныхъ и растеній явился первоначально со всѣми своими нынѣшними свойствами; что при размноженіи происходитъ только повтореніе тѣхъ формъ, которыя размножаются и, слѣдовательно, самыя формы остаются неизмѣнными. Каждое растеніе, каждое животное производитъ *себѣ подобныхъ* и, слѣдовательно, виды не происходятъ, но существуютъ искони.

Весьма замѣчательно, что такой метафизическій взглядъ на постоянство вещей всего дольше и крѣпче держался въ естественныхъ наукахъ. Были, правда, попытки поколебать его, но натуралисты смотрѣли на нихъ съ большимъ презрѣніемъ. Большею частью эти попытки принадлежали, такъ называемымъ, *натур-философамъ*, то есть людямъ, въ мнѣніяхъ которыхъ натуралисты ничего не видѣли, кромѣ бредней.

Если же постоянство видовъ отвергалось и нѣкоторыми настоящими натуралистами, напримѣръ Ламаркомъ, Стефаномъ Жоффруа Сентъ-Илеромъ, то это было въ глазахъ ученыхъ пятномъ на памяти этихъ людей, какъ гипотеза слишкомъ смѣлая, какъ игра воображенія, недостойная науки. Самъ Дарвинъ, хотя давно знаменитъ превосходными работами, хотя выступилъ съ полною твердостью и увѣренностью, однакоже прежде, чѣмъ заявить свое мнѣніе, двадцать лѣтъ накоплялъ матеріалы и размышленія.

Нельзя оправдывать въ этомъ случаѣ натуралистовъ тѣмъ, что они близко держались фактовъ; — фактовъ, доказывающихъ постоянство вещей, нѣтъ и быть не можетъ. Сколько бы времени мы ни наблюдали вещи, мы не можемъ ручаться, что онѣ не измѣнялись до нашихъ наблюдений, и что онѣ не измѣнятся послѣ нихъ. Неизмѣнности открыть нельзя, открыть измѣненіе возможно.

Въ своей книгѣ Дарвинъ скопилъ множество фактовъ, доказывающихъ измѣнчивость видовъ. Со временемъ мы надѣемся больше поговорить объ этомъ предметѣ*), теперь же ограничимся одними результатами. Дарвинъ нашелъ, что виды переходятъ одинъ въ другой, что они постепенно *вырождаются* изъ одной формы въ другую. Такимъ образомъ, изъ сѣмянъ одного и того же растенія, въ различныхъ мѣстностяхъ и при различныхъ обстоятельствахъ, можетъ въ длинной смѣнѣ поколѣній произойти нѣсколько различныхъ растеній. Различные виды животныхъ и растеній происходили постепенно вслѣдствіе такого распада одной формы на нѣсколько новыхъ. Организмы никогда не производятъ *себѣ подобныхъ* въ точномъ смыслѣ слова: дѣти всегда отличаются отъ родителей и также не вполне сходны между собою. Отъ постепеннаго накопленія этихъ различій въ длинныхъ родахъ поколѣній и произошло все разнообразіе животнаго и растительнаго царствъ.

Вотъ великій переворотъ, который заключаетъ въ себѣ книга Дарвина. Но открытіе его состоитъ собственно не въ этомъ. Мнѣніе о перерожденіи видовъ было не разъ выска-

*) См. „Ворьба съ Западомъ“, изд. 3-е, кн. вторая, стр. 250. Изд.

зывается и подкрѣпляемо фактами и до него. Оно получаетъ полный вѣсъ у Дарвина только потому, что ему удалось найти черты одного изъ тѣхъ *законовъ*, по которымъ совершается измѣненіе видовъ. Законъ, который имъ найденъ, названъ имъ *закономъ естественнаго избранія* или *жизненной конкуренціи*. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ:

«Между всѣми органическими существами, разбѣянными на поверхности земного шара, существуетъ конкуренція, неизбежно проистекающая изъ ихъ размноженія въ геометрической прогрессіи: это законъ Мальтуса въ приложеніи ко всему животному и растительному царству. Такъ какъ рождается гораздо больше недѣлимыхъ, чѣмъ сколько можетъ жить, и такъ какъ вслѣдствіе этого между ними постоянно возобновляется борьба за средства существованія, то отсюда слѣдуетъ, что если какое-нибудь существо отличается отъ другихъ хотя бы весьма незначительно, но такъ, что это отличіе выгодно для него лично, то при сложныхъ и часто измѣнчивыхъ условіяхъ жизни такое существо имѣетъ больше возможности пережить другія и, такимъ образомъ, будетъ *естественнымъ образомъ избрано* или предпочтено другимъ. Затѣмъ, по все-сильнымъ законамъ наслѣдства, всякая *избранная разновидность* получаетъ стремленіе передавать размноженіемъ свою новую видоизмѣненную форму.»

Вотъ законъ Дарвина, который мы передали его собственными словами. Въ этомъ естественномъ избраніи, по его изслѣдованіямъ, заключается главный, если и не исключительный способъ послѣдовательныхъ измѣненій организмовъ. Смысль и важность этого прекраснаго закона требовали бы многихъ поясненій. Замѣтимъ только вообще, что въ силу этого закона измѣненіе организмовъ, перерожденіе и распадѣніе видовъ зависятъ не отъ чего-либо посторонняго, а *отъ самихъ же организмовъ*. Организмы сильно размножаются, они получаютъ иногда болѣе выгодное устройство; они борются между собою за средства существованія; вотъ три условія, отъ которыхъ зависитъ постепенное перерожденіе видовъ путемъ естественнаго избранія. Совершенно ясно, что законы развитія организмовъ далеко этимъ не исчерпаны, хотя Дарвинъ, кажется, не замѣчаетъ недостаточности своего закона; тѣмъ не

менѣе ему принадлежитъ великая заслуга перваго указанія на *внутренній* законъ развитія организмовъ. Всѣ органическія существа составляютъ у него единую область и развиваются внутреннимъ взаимодействіемъ, вслѣдствіе *размноженія, усовершенствованія и борьбы*. Процессъ этого внутреннего развитія конечно очень сложенъ и не такъ еще скоро намъ будетъ ясенъ; но тѣ черты, которыя указать въ немъ Дарвинъ, безъ сомнѣнія, совершенно точны и вѣрны.

Изъ всего этого читатель видитъ, что книга Дарвина представляетъ великій прогрессъ, огромный шагъ въ движеніи естественныхъ наукъ. Разумѣется, она тотчасъ же возбудила общее вниманіе. Въ Англіи каждый годъ является новое ея изданіе. Тотчасъ же послѣ ея выхода она была переведена на нѣмецкій языкъ и недавно, слѣдовательно по обыкновенію немножко позже, на французскій. По обыкновенію она возбудила сильную оппозицію, въ особенности въ Англіи, въ особенности у тамошнихъ духовныхъ, чего конечно и надобно было ожидать. Но среди всего шума и движенія, возбужденнаго книгою Дарвина, нельзя найти ничего страннѣе и неожиданныѣ, какъ тотъ отзывъ, который сдѣланъ французскою переводчицею книги и на который мы рѣшаемся указать читателямъ. На французскій языкъ книга была переведена дѣвицею *Клеменцією Августою Ройе* (Royer), снабдившею переводъ длиннымъ предисловіемъ и примѣчаніями. Эта дѣвица, какъ видно изъ предисловія, читала въ Швейцаріи публичныя лекціи *философіи природы и исторіи*. Но это не все. Недавно ею написано сочиненіе *о налогѣ*, которое было удостоено преміи, наравнѣ съ сочиненіемъ Прудона о томъ же предметѣ. Слѣдовательно, мы имѣемъ дѣло не съ дюжиннымъ человѣкомъ, а съ писательницею, имѣвшею успѣхъ; судя по всему, она — передовой человѣкъ, представительница современнаго образованія Европы. Идеи Дарвина глубоко ее заинтересовали: по ея словамъ онѣ вполне сошлись съ тѣмъ взглядомъ, который она сама еще раньше излагала на лекціяхъ. И вотъ она поспѣшила вывести изъ великаго переворота естественныхъ наукъ самыя далекія и самыя общія слѣдствія, она готова, какъ она говоритъ, написать объ нихъ даже цѣлую книгу.

«Теорія г. Дарвина, говоритъ г-жа Ройе, въ особенности богата гуманитарными, нравственными слѣдствіями. Здѣсь я могу только указать на эти слѣдствія; они одни наполнили бы цѣлую книгу, которую я желала бы имѣть возможность написать когда-нибудь. Эта теорія заключаетъ въ себѣ цѣлую философію природы и цѣлую философію человѣчества. Никогда взглядъ болѣе широкій не былъ проводимъ въ естественной исторіи: можно сказать, что это—всеобщій синтезъ экономическихъ законовъ, естественная социальная наука, кодексъ живыхъ существъ всякаго рода и времени. Здѣсь мы находимъ объясненіе нашихъ инстинктовъ, столь долго искомое основаніе нашихъ нравовъ, таинственный источникъ понятія о долгѣ и капитальную важность его для сохраненія вида. Съ этихъ поръ мы будемъ обладать абсолютнымъ критеріемъ того, что хорошо и что дурно въ нравственномъ отношеніи, такъ какъ нравственный законъ всякаго вида есть тотъ законъ, который стремится къ его сохраненію и размноженію, къ его прогрессу сообразно съ мѣстомъ и временемъ».

Это восторженное изліяніе, мы надѣемся, не произведетъ особенно пріятнаго впечатлѣнія на читателя. Сказать, что въ 1859 году, когда появилась книга Дарвина, найдено, наконецъ, *абсолютное различіе между добромъ и зломъ*,—значить сдѣлать предположеніе весьма странное, и не менѣе странно то мнѣніе, что понятіе долга до этого года оставалось *таинственнымъ* для человѣчества. Но какихъ чудесъ не бываетъ на свѣтѣ! Посмотримъ, что-то намъ скажетъ новое откровеніе.

«Обобщеніе закона Мальтуса, сдѣланнаго Дарвиномъ, доказываетъ очевиднѣйшимъ образомъ, какъ ошибочны заключенія, выведенныя изъ этого закона для человѣческой породы самимъ Мальтусомъ; такъ какъ усовершенствость всякаго вида зависитъ отъ его обильнаго распложенія, то останавливать это распложеніе, значитъ ставить препятствіе его прогрессу. Изъ книги г. Дарвина оказывается, наконецъ, что этотъ законъ, повидимому столь грубый, скупой и роковой, повидимому уличавшій и природу въ скарѣдности, злости или безсиліи, есть, напротивъ, премудрый законъ провидѣнія, законъ экономіи и изобилія, необходимая гарантія благосостоянія и прогресса всей органической твари.»

Въ самомъ дѣлѣ, какія удивительныя открытія! Что значить наука! Когда въ семействѣ много дѣтей, а ѣсть нечего, Мальтусъ простодушно принималъ это за несчастіе. Теперь же мы видимъ, что чѣмъ больше дѣтей, тѣмъ лучше, тѣмъ сильнѣе можетъ дѣйствовать благотворительный законъ конкуренціи. Слабые погибнуть и выдержать борьбу только *естественно избранныя*, лучшіе привилегированные члены, такъ что въ результатѣ получится прогрессъ—улучшеніе всего племени.

Подобныя мнѣнія чудовищны, невѣроятны, но какъ видятъ читатель, они существуютъ. Дѣвица Ройе безтрепетно проводитъ свою мысль до конца и не останавливается ни передъ какими слѣдствіями. Послушайте дальше:

«Какъ скоро мы приложимъ законъ естественнаго избранія къ человѣчеству, мы увидимъ съ удивленіемъ, съ горестію, какъ были ложны до сихъ поръ наши законы политическіе и гражданскіе, а также наша религіозная мораль. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно указать здѣсь на одинъ изъ самыхъ еще незначительныхъ ея недостатковъ, именно на преувеличеніе того состраданія, того милосердія, того братства, въ которомъ наша христіанская эра постоянно полагала идеаль соціальной добродѣтели; на преувеличеніе даже самопожертвованія, состоящее въ томъ, что вездѣ и во всемъ сильныя приносятся въ жертву слабымъ, добрые злымъ, существа обладающія богатыми дарами духа и тѣла—существамъ порочнымъ и хилымъ. Что выходитъ изъ этого исключительнаго и неразумнаго покровительства, оказываемаго слабымъ, больнымъ, неизлечимымъ, даже самымъ злодѣямъ, словомъ всѣмъ обиженнымъ природою? То, что бѣдствія, которыми они поражены, укореняются и размножаются безъ конца, что зло не уменьшается, а увеличивается и возрастаетъ на счетъ добра. Мало ли на свѣтѣ этихъ существъ, которыя неспособны жить собственными силами, которыя всю свою тяжесть висятъ на здоровыхъ рукахъ и, будучи втягость себѣ самимъ и другимъ членамъ общества, гдѣ проходитъ ихъ чуждое существованіе, занимаютъ на солнцѣ больше мѣста, чѣмъ три индивидуума хорошей комплексіи! Тогда какъ эти послѣдніе не только жили бы съ полною силою для удовлетворенія

своихъ собственныхъ потребностей, но могли бы произвести сумму наслажденія, превышающую то, чтобы они сами потребовали. Думали ли когда-нибудь объ этомъ серьезно?»

Кому бы ни принадлежали подобныя рѣчи, хотя бы и не такой ученой и передовой дѣвицѣ, читатель согласится, что онѣ весьма замѣчательны. Въ настоящемъ же случаѣ сверхъ того ясно, что это не простая болтовня, а послѣдовательный, строгій выводъ изъ началъ, взятыхъ за основаніе. Г-жа Ройе только смѣлѣе другихъ и справедливо укоряетъ нашъ вѣкъ въ недостаточной послѣдовательности, говоря, что со временемъ его назовутъ *выкомъ боязливыхъ*.

Весьма основательно она выводила, что мы въ нашемъ развитіи поступаемъ, такъ сказать, *противоестественно*, что мы не слушаемся природы. Только напрасно она полагаетъ, что человечество *никогда серьезно объ этомъ не думало*. Нѣтъ, эта идея была понята довольно ясно и сознательно. Мы сознательно поставили для себя иной законъ, иную норму, иной идеаль, чѣмъ тѣ законы и идеалы, которымъ слѣдуетъ природа. Мы знали, что идемъ въ разрѣзъ съ природою и нерѣдко жаловались на ея противоудѣйствіе, потому что побѣждать ее не легко. Но, хотя мы довольно ясно сознавали эту идею, дѣвица Ройе напрасно жалуется на то, что будто бы мы дали ей слишкомъ широкое примѣненіе, слишкомъ большое господство въ жизни. Мы, кажется, не слишкомъ преувеличивали состраданіе, милосердіе и самопожертвованіе. Для нашего прогресса и развитія мы дѣйствовали, конечно, ни чѣмъ не хуже растеній и животныхъ. Мы плодились въ достаточномъ количествѣ и постоянно вели горячую борьбу не только за средства существованія, но и за другія блага. Если посмотрѣть на дѣло немножко внимательнѣе, то легко убѣдиться, что эта борьба была у насъ даже такъ сильна, разнообразна и сложна, какъ она и не можетъ быть у животныхъ и растеній. У насъ всегда шла великолѣпнѣйшая *жизненная конкуренція* и законъ *естественнаго избранія* постоянно находилъ полнѣйшее примѣненіе. Сильный давилъ слабого, богатый бѣднаго, и вообще изъ малѣйшаго преимущества была извлекаема въ этой борьбѣ наибольшая выгода, какую только оно могло доставить. Жертвы погибали во мно-

жествъ. Люди, которымъ не было мѣста на пиру жизни, тѣмъ или инымъ способомъ должны были покидать поле битвы. Такимъ образомъ, владыками жизни и обладателями благъ всегда оставались *естественные избранники* и прогрессъ усовершенія челоуѣческой породы шелъ впередъ быстро и безостановочно.

Въ заключеніе приведемъ послѣдній выводъ, который переводчица Дарвина дѣлаетъ изъ его теоріи. Она находитъ въ ней сильныя основанія противъ ученія о политическомъ равенствѣ людей, которое она считаетъ «невозможнымъ, вреднымъ и противоестественнымъ».

«Нѣтъ ничего очевиднѣе, пишетъ она, какъ неравенство различныхъ челоуѣческихъ расъ; нѣтъ ничего яснѣе, какъ это же неравенство между различными недѣлимыми одной и той же расы. Факты теоріи естественнаго избранія не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что высшія расы произошли постепенно и что, слѣдовательно, въ силу закона прогресса онѣ предназначены въ дальнѣйшемъ ходѣ замѣнить собою низшія расы, а не смѣшаться и слиться съ ними, при чемъ онѣ подверглись бы опасности быть поглощенными этими расами посредствомъ скрещиваній, которыя понизили бы средній уровень всей породы. Однимъ словомъ, челоуѣческія расы не суть отдѣльные виды, но суть рѣзко отличающіяся и весьма неравныя разновидности; нужно не разъ подумать объ этомъ, прежде чѣмъ провозгласить политическую и гражданскую свободу въ народѣ, состоящемъ изъ меньшинства индогерманцевъ и изъ большинства монголовъ или негровъ. Теорія г. Дарвина требуетъ поэтому, чтобы множество вопросовъ, слишкомъ поспѣшно рѣшенныхъ, были снова подвергнуты серьезному изслѣдованію. Люди не равны по природѣ: вотъ изъ какой точки должно исходить. Они не равны индивидуально, даже въ самыхъ чистыхъ расахъ; а между различными расами эти неравенства получаютъ столь большіе размѣры въ умственномъ отношеніи, что законодатель никогда не долженъ упускать этого изъ виду.»

Замѣтимъ, что въ настоящемъ случаѣ дѣвица Ройе приписываетъ теоріи Дарвина гораздо больше важности и значенія, чѣмъ она имѣетъ на самомъ дѣлѣ. Уже и прежде, и

до появленія книги Дарвина, было замѣчено, что если смотрѣть на людей какъ на животныхъ, то между ними существуетъ большое неравенство. Достоверно замѣчено было, что люди различаются между собою по вѣсу, по росту, по полнотѣ или худобѣ, по силѣ мускуловъ, по цвѣту кожи, по большей или меньшей остротѣ чувствъ и даже по большей или меньшей смысленности. Если же, несмотря на эти и другія, даже болѣе важныя различія, существовала идея о равенствѣ людей между собою, то это равенство признавалось никакъ не въ смыслѣ зоологическомъ, а съ точки зрѣнія совершенно особенной, странной, загадочной, таинственной: люди считаютъ, что они равны между собою *именно какъ люди*, а не какъ животныя. Этотъ одинаково всѣмъ принадлежащій признакъ *человѣческаго достоинства*, признакъ, повидимому, неуловимый, неизмѣримый и неопредѣлимый никакими ясными чертами, былъ однакоже въ глазахъ людей такъ важенъ, такъ великъ и существенъ, что покрылъ собою всѣ очевидныя различія, которыя отдѣляютъ невѣжественнѣйшаго изъ негровъ отъ образованнѣйшаго изъ европейцевъ.

Мы здѣсь не думаемъ впрочемъ рѣшать или изслѣдовать какой бы то нибыло вопросъ. Мы постарались только ясно представить читателямъ любопытный фактъ западно-европейскаго образованія и надѣемся, что они сами отдадутъ себѣ отчетъ въ впечатлѣніи, которое онъ производитъ.

Совершенно очевидно одно: мы перестаемъ понимать чело-вѣческую жизнь, мы теряемъ ея смыслъ, какъ скоро не отдѣляемъ чело-вѣка отъ природы, какъ скоро ставимъ его на ряду съ ея произведеніями и начинаемъ судить о немъ съ той же точки зрѣнія, какъ о животныхъ и растеніяхъ. Тайна чело-вѣческой жизни заключается въ ней самой.

Изученіе природы еще *не все, что нужно*. Если кто смотритъ на это изученіе, какъ на живую струю, которая можетъ спасти жизнь дряхлѣющей цивилизаціи, то ему можно указать на выгоды, сдѣланные изъ великаго открытія въ природѣ г-жею Ройе: эти выводы совершенно приличны эпохѣ паденія.

Заключимъ нашу замѣтку словами величайшаго изъ натуралистовъ, поставленными нами въ эпиграфъ: *какая жал-*

кая вещь былъ бы человекъ, если бы онъ не стремился къ сверхчеловѣческому! Это парадоксальное восклицаніе принадлежитъ Линнею, натуралисту, который, вмѣстѣ съ безпримѣрнымъ даромъ понимать природу, обладалъ, вѣроятно какъ слѣдствіемъ этого дара, глубокимъ поэтическимъ прозрѣніемъ. Разсматривая человѣка на ряду съ животными и другими произведеніями природы, онъ живо убѣдился, что человѣкъ есть *жалкая вещь*. Спасеніе отъ этого ничтожества онъ находитъ въ стремленіи къ сверхчеловѣческому; но мы твердо увѣрены, что то, что Линней называетъ сверхчеловѣческимъ, въ сущности есть *истинно-человѣческое*.

2. Новая школа.

Ясная Поляна, школа, журналъ педагогическій, издаваемый гр. Л. Н. Толстымъ. 1862. Январь—сентябрь. Девять номеровъ.

(«Время». 1863, № 1).

Вмѣсто всякихъ вступленій и оговорокъ, которыхъ, замѣтимъ кстати, набралось бы великое множество по поводу такого новаго, чрезвычайно важнаго и во многихъ отношеніяхъ страннаго явленія, какъ журналъ «Ясная Поляна», приступимъ прямо къ дѣлу. Мы думаемъ, что въ состояніи будемъ представить здѣсь нѣкоторыя соображенія и выводы, которые помогутъ читателямъ глубже понять смыслъ и значеніе ясно-полянской педагогики. А въ такихъ поясненіяхъ она, намъ кажется, имѣетъ нѣкоторую нужду, какъ явленіе слишкомъ сложное, можно бы сказать слишкомъ живое, слишкомъ полное, и потому далеко не вполне высказывающееся и еще не уложившееся въ ясныя и отчетливыя формы мысли.

Чтобы понять всѣ особенности этой новой школы, нужно искать той главной идеи, которая ее одушевляетъ, той точки зрѣнія, съ которой она смотритъ на дѣло. Намъ кажется, что «Ясная Поляна» съ каждой книжкой все яснѣе и яснѣе высказываетъ свою главную идею, свое руководящее начало. Мы

предложили бы назвать его *началомъ живой души* и формулировать слѣдующимъ образомъ: *при воспитаніи должно постоянно имѣть въ виду живую душу воспитываемаго.*

Мы говоримъ: *живую душу* въ противоположность душѣ, понимаемой мертво или механически; въ смыслѣ «Ясной Поляны» мы называемъ живою — душу самостоятельно, самобытно развивающуюся, своеобразно отличающуюся отъ другихъ душъ, заключающую въ себѣ извѣстные задатки, извѣстные дары и возможности, или, говоря тѣмъ выразительнымъ языкомъ, который смѣло употребляетъ г. Толстой, — *душу, созданную и одаренную Богомъ.*

Изъ этого начала прямо и просто объясняются различныя особенности ясно-полянскаго воспитанія и обученія, объясняется то, что имъ признается и сохраняется въ практикѣ, и то, что имъ отвергается. Положительная сторона «Ясной Поляны» состоитъ въ необыкновенномъ, поэтическомъ чутьѣ всѣхъ явленій живой души, т. е. въ настоящемъ случаѣ — всѣхъ явленій души русскихъ дѣтей извѣстной мѣстности. Тѣ мѣста, въ которыхъ авторъ со всею тонкостью анализа и со всею поэзіею сочувствія изображаетъ намъ явленія душевной жизни дѣтей, безъ сомнѣнія, самыя дорогія и самыя лучшія въ его журналѣ. На эти явленія онъ смотритъ съ величайшимъ уваженіемъ, какъ на дѣйствительныя и глубокія тайны, какъ на процессы, не только правильные и законные, но сверхъ того прекрасные, святыя. Духъ дѣтской невинности, свѣжести и чистоты, котораго обыкновенно вовсе не слышно въ педагогическихъ журналахъ, въ «Ясной Полянѣ» схваченъ весьма глубоко.

Отсюда понятно будетъ, противъ чего вооружается эта школа. Она отвергаетъ всякое насиліе надъ дѣтскою душою, всякое нарушеніе ея самобытнаго, свободнаго развитія, всякое принужденіе и умничанье надъ дѣтьми со стороны воспитателей. Главный грѣхъ принудительной педагогики въ глазахъ основателя школы тотъ, что она слишкомъ тупа сравнительно съ живою душою дѣтей. Она ломаетъ въ дѣтяхъ хорошее, потому что не понимаетъ его, или же думаетъ руководить развитіемъ, тогда какъ постоянно отстаётъ отъ него и далеко не угадываетъ его направленія и глубины. Замѣчанія автора

въ этомъ отношеніи, большею частью, весьма справедливы. Съ безпощаднымъ остроуміемъ и проникательностью казнить онъ педагогическіе приемы, которые насилуютъ природу или поддѣлываются подъ нее, но никакъ не хотятъ предоставить ее себѣ самой.

Вотъ двѣ стороны, положительная и отрицательная, въ которыхъ много хорошаго и новаго сдѣлала «Ясная Поляна». Не мало впрочемъ она сдѣлала и ошибокъ; въ ней встрѣчаются чрезвычайныя странности, объясняемыя только увлеченіемъ, съ которымъ она предана дѣлу. Въ самомъ дѣлѣ, она постоянно впадаетъ въ двѣ главныя ошибки, и эти ошибки состоятъ въ томъ, что она доводитъ до крайности свое положеніе и отрицаніе.

Во первыхъ, свое уваженіе къ живой дѣтской душѣ она доводитъ до пристрастія, до восторженнаго поклоненія; этому поклоненію она готова принести все въ жертву и, дѣйствительно, приносить весьма дорогія вещи, напримѣръ Пушкина, наши университеты и т. п. Вкусъ и творчество яснополянскихъ воспитанниковъ, по ея мнѣнію, стоятъ выше Пушкина, а университеты производятъ только людей, оторванныхъ отъ народа и викада не годныхъ.

Во вторыхъ, свое отвращеніе отъ регламентированной, насилующей педагогики «Ясная Поляна» доводитъ до ненависти и до боязни. Она видитъ въ ней что-то гибельное и невосвратно-уродующее и, такимъ образомъ, преувеличиваетъ ея значеніе, приписываетъ ей больше силы, чѣмъ сколько въ ней есть на самомъ дѣлѣ.

И та и другая ошибка, намъ кажется, представляетъ отступленіе отъ главныхъ основаній, которыхъ держится «Ясная Поляна»; пока она строго и вѣрно держится этихъ основаній, до тѣхъ поръ, по нашему мнѣнію, она совершенно справедлива. Но здѣсь она, очевидно, теряетъ въ нихъ вѣру, теряетъ вѣру въ живую душу. Въ самомъ дѣлѣ—живая душа ребенка, притомъ ребенка народнаго, т. е. правильно возросшаго на почвѣ народной жизни, конечно прекрасна; но развѣ отсюда слѣдуетъ, что Пушкинъ не былъ живою душею? Развѣ можно укорить его въ какой-нибудь сдѣланности, въ сочиненности? Кого другого, но только не его. То же самое можно

сказать и объ университетахъ. Среди скудости нашей духовной жизни можно ли не замѣчать и отрицать тѣ ея проблески, которые такъ несомнѣнно заявлены нашими университетами? И тамъ были живыя души и болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь успѣвали раскрывать свою жизнь. Съ университетами тѣсно связана наша литература, нашъ литературный языкъ. Отвергать живыя струи, которыя здѣсь пробиваются, возможно менѣе, чѣмъ въ какой бы то ни было другой области.

Точно также послѣдовательна та чрезвычайная боязнь, съ которою «Ясная Поляна» смотритъ на искусственную педагогику. Для живой души многое можетъ быть вредно, но смертельныхъ ядовъ не существуетъ. Педагогика, какая бы она ни была, никогда не въ силахъ покорить себѣ до конца живую душу. Тысячами путей жизнь успѣваетъ освобождаться отъ оковъ, на нее налагаемыхъ, и остается своеобразною и самобытною. И потому отъ любви къ живой душѣ не должно впадать въ отчаяніе и страхъ за живую душу. Черезчуръ большія опасенія въ особенности несправедливы у насъ, когда мы постоянно окружены самыми удивительными примѣрами живучести человѣческой души. У насъ офицеры часто дѣлаются философами и поэтами, графы — педагогами, семинаристы — реформаторами государства, рыбаки — академиками и т. п.

Мы высказали, такимъ образомъ, тѣ общія положенія, которыя считаемъ справедливыми относительно «Ясной Поляны». Ихъ мы будемъ держаться и постараемся развить ихъ и подтвердить подробными указаніями. Для начала мы возьмемъ критическую сторону новой школы, то есть укажемъ, что она отвергаетъ на основаніи своихъ началъ. Такъ какъ она вооружается противъ ходячей, всѣмъ извѣстной педагогики, то читателю легко будетъ видѣть, до какой степени новы и свѣжи начала яснополянской школы.

На какихъ основаніяхъ устроены наши обыкновенныя училища, на примѣръ, хотя бы гимназіи? Съ перваго взгляда видно, что начало живой души здѣсь не играло никакой роли и скорѣе, напротивъ, все устройство основано на его отрицаніи и на вѣрѣ въ другія начала, которыя можно назвать *механическими*, такъ какъ механизмъ противоположенъ жизни. Большинство современныхъ училищъ можно безъ вся-

каго преувеличенія сравнить съ машиною, въ которой заранее все опредѣлено и рассчитано. Опредѣлены: предметы ученія, методы преподаванія, время для каждаго предмета, часы для повторенія уроковъ, для молитвы, для отдыха, и такъ далѣе до мельчайшей подробности. Все предусмотрѣно, все назначено для вѣрнѣйшаго достиженія извѣстной цѣли. Въ эту машину, заводимую посредствомъ жалованья и другихъ подобныхъ средствъ, въ опредѣленные сроки вводится непревосходящее извѣстной мѣры количество матеріала опредѣленнаго свойства, то есть вводятся ученики, выполняющіе извѣстные условія и неподвергнушіеся браку. Затѣмъ машина пускается въ ходъ. По истеченіи извѣстнаго времени, положимъ семи лѣтъ, изъ другого конца машины, изъ ея высшаго класса тѣ же ученики должны по предположенію выйти уже получивши извѣстные, заранее опредѣленные и преднамѣренные свойства. Развѣ все это не похоже на тотъ процессъ, когда съ одного конца машины вкладывается ленъ и хлопчатая бумага, а съ другого конца выходитъ уже готовая ткань?

Очевидно, здѣсь предполагаютъ механически обрабатывать душу человѣческую, то есть живыя души рассматриваются какъ однородный сырой матеріалъ; отъ педагогическихъ приѣмовъ, какъ отъ извѣстныхъ дѣйствій машины, ожидаются совершенно опредѣленные слѣдствія и вліянія, и потому заранее поставляются цѣлью извѣстные качества предмета, которыхъ можно достигнуть, подвергая его въ извѣстномъ порядкѣ извѣстнымъ дѣйствіямъ.

Намъ возразятъ, что, собственно говоря, дѣло идетъ вовсе не такъ, что въ дѣйствительности преподаватели и воспитатели всегда стараются примѣниться къ свойствамъ воспитываемыхъ и ведутъ дѣло не машинально, а участвуя въ немъ собственною живою душою и обращая вниманіе на живую душу дѣтей. Но мы не говоримъ здѣсь о дѣйствительности, которая всегда и всюду противорѣчитъ узкимъ теоріямъ и потому успѣваетъ выбиваться изъ всѣхъ заранее выбранныхъ формъ и рамокъ, какъ бы онѣ тѣсны ни были; мы говоримъ исключительно о тѣхъ принципахъ, которые обыкновенно кладутся въ основу устройства учебныхъ заведеній. Если на дѣлѣ эти принципы невыполнимы, то однакоже никакихъ

другихъ не полагается и не имѣется. Хуже того—ни въ какихъ другихъ принципахъ не чувствуется надобности.

Въ извѣстный день недѣли, въ извѣстный часъ ученикъ долженъ заниматься извѣстнымъ предметомъ положенное количество времени. Предположите, что, по одной изъ множества возможныхъ причинъ, ученикъ нерасположенъ и даже вовсе неспособенъ къ такому занятію. Повидимому, бѣды никакой нѣтъ; но въ училищной машинѣ этотъ безпорядокъ считается рѣшительно нетерпимымъ. Если учитель вздумаетъ строго держаться *идеи* машины, въ которой онъ служить колесомъ, ученику придется плохо.

Возьмемъ случай болѣе важный. Ученикъ неспособенъ къ извѣстному предмету; тѣмъ не менѣе его учатъ этому предмету или, лучше сказать, его мучатъ этимъ предметомъ, хотя бы безъ всякой для него пользы. А почему? Потому что предметъ положенъ въ программѣ.

Наоборотъ, положимъ ученикъ готовъ съ величайшею охотою заниматься другимъ предметомъ, которому въ этотъ день, въ этотъ годъ, въ этомъ училищѣ не учатъ; тѣмъ не менѣе, его не только не станутъ учить этому предмету, но, пожалуй, еще станутъ преслѣдовать его любимыя занятія.

Возьмемъ еще проще. Ученикъ прилежно учится всѣмъ предметамъ и успѣваетъ быстрѣе другихъ; это ни мало не ускоряетъ его хода въ училищной машинѣ. Напротивъ, у него отнимаютъ время, заставляя его подчиняться бесполезному для него училищному порядку. Наоборотъ, ученикъ учится медленно и трудно; его все-таки стараются тянуть впередъ наравнѣ съ другими.

Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы обращать вниманіе на своеобразныя настроенія воспитываемыхъ и способствовать ихъ самостоятельному развитію сообразно ихъ особенностямъ, ихъ всѣхъ подводятъ подъ какой-то фантастическій общій уровень и перегоняютъ всѣхъ черезъ одни и тѣ же сита, зубцы и плющильни, надѣясь выработать изъ нихъ требуемой доброты товаръ.

Чтобы убѣдиться до какой степени это справедливо, стоитъ только вспомнить, въ какихъ случаяхъ училищная ма-

шина допускаетъ разнообразіе въ обработкѣ своего матеріала. Собственно говоря, допускается только три случая:

1) Воспитываемый можетъ вторично подвергнуться той выдѣлкѣ, которой онъ уже подвергался одинъ разъ безуспѣшно, т. е. онъ можетъ быть еще оставленъ на годъ или на два въ томъ же классѣ.

2) Болѣзнь и смерть составляютъ уважительныя причины, по которымъ выдѣлка воспитываемаго или приостанавливается на время, или совершенно прекращается.

3) Наконецъ, воспитанникъ можетъ быть исключенъ по неуспѣшности или дурному поведенію, т. е. можетъ быть выкинутъ изъ машины какъ матеріалъ, оказавшійся негоднымъ.

Вотъ тѣ единственные случаи, когда воспитанникъ законнымъ образомъ бываетъ устраненъ отъ общей обработки его наравнѣ съ другими. Все другое считается противозаконнымъ. Неуспѣваетъ ученикъ — наказывается. Не ходитъ въ классъ — наказывается. Въ классѣ одного предмета занимается другимъ — наказывается. Однимъ словомъ, онъ признается виноватымъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда уклоняется отъ ровнаго и общаго хода машины. Многія изъ этихъ вещей терпятъ и даже, въ силу необходимости, терпятъ въ большихъ размѣрахъ, но, несмотря ни на что, считаются исключеніями и никакъ не признаются за правила, хотя бы для самихъ учениковъ они были иногда въ высшей степени полезны.

Отсутствіе живыхъ началъ и коренное господство началъ механическихъ обнаруживается очень ясно въ тѣхъ слѣдствіяхъ, которые изъ него вытекаютъ. Всѣмъ извѣстно или по собственному опыту, или по рассказамъ другихъ, какое невыносимо тяжелое впечатлѣніе производитъ училищная машина на живую душу, попавшуюся въ ея зубцы и колеса. Всѣ движенія воспитанника связаны, всѣ дѣйствія распределены; насиліе и принужденіе, подъ которымъ онъ живетъ, чувствуется имъ на каждомъ шагѣ. Эта тяжесть училищной жизни ни для кого не тайна и наивно признается самими воспитателями; одно изъ наиболѣе употребляемыхъ наказаній состоитъ въ томъ, что дѣтей оставляютъ въ училищѣ долѣе положеннаго срока, слѣдовательно, вообще признають, что быть

въ училищѣ—сущее наказаніе. Слѣдствія этого училищнаго гнета точно также не безъизвѣстны: они представляютъ цѣлый рядъ правильно развивающихся явленій; придавленные силы живой души противодействуютъ давленію и получаютъ извращенныя, иногда и уродливыя формы. На казенныхъ воспитанникахъ, т. е. на такихъ, которые почти безвыходно заключены въ училищѣ, всегда лежитъ извѣстнаго рода отпечатокъ, хорошо знакомый воспитателямъ.

Наконецъ, общій итогъ результатовъ, къ которымъ приходитъ школа, рѣзко указываетъ на ея механичность. Положимъ, что ученики, выходящіе изъ верхняго конца машины, выработаны вполне сообразно съ идеею школы. Спрашивается, много ли ихъ? Большею частію число ихъ поразительно несоразмѣрно съ количествомъ обрабатываемыхъ матеріаловъ. Въ школу поступаетъ двѣсти мальчиковъ, а оканчиваетъ курсъ иногда только двадцать.

Гдѣ же причина этому? Причина та, что школа безпрестанно выбрасываетъ изъ себя матеріалъ, оказывающійся негоднымъ; она не примѣняется къ дѣтямъ, а напротивъ, прикидываетъ ихъ на свои мѣрки и бракуетъ тѣхъ, которые подъ нихъ не подходятъ.

Между тѣмъ, если, такимъ образомъ, большинство дѣтей не годится для полного прохожденія школы, то не ясно ли, что и наоборотъ школа *негодится* для дѣтей?

Со всѣмъ этимъ можно бы было однакоже помириться, какъ мирились на дѣлѣ до сихъ поръ всѣ мы и какъ будутъ мириться, безъ сомнѣнія, еще многія поколѣнія. Все это не болѣе, какъ *внѣшній механизмъ*, имѣющій свои основанія и терпимый, потому что подъ его формами внутри можетъ еще сохраниться жизнь. Несмотря на строгое распредѣленіе времени, мѣста, предмета, несмотря на весь наружный механическій порядокъ, жизнь беретъ свое: между воспитателями и воспитанниками могутъ возникнуть живыя отношенія, т. е. учитель будетъ вызывать и щадить своеобразное, самостоятельное развитіе ученика, а ученикъ будетъ не пассивно покоряться вліяніямъ школы, а самостоятельно пользоваться ея средствами для своего развитія. Такимъ образомъ, вмѣсто из-

ипинной выдѣлки одного посредствомъ другого можетъ возникнуть взаимное расположеніе и мирное вспомоцествованіе. Въ этомъ случаѣ все зависитъ отъ людей, а не отъ формъ, въ которыя они поставлены. Хотя начальники школы имѣютъ право и обязанность постоянно исполнять заранѣе опредѣленные правила, но все спасеніе школы состоитъ въ томъ, что въ ней дѣйствуютъ люди, а не машины и, слѣдовательно, каждое правило можетъ быть обойдено и отмѣнено.

Къ несчастію, зло не останавливается только на этомъ, только на одномъ внѣшнемъ механизмѣ. Механизмъ, разъ принятый за начало, развивается все дальше и дальше и стремится поглотить собою все въ школѣ. Мало-по-малу въ нее проникаетъ то, что можно назвать *внутреннимъ механизмомъ*. Не только внѣшнее устройство школы есть чисто механическое, но и внутренняя ея жизнь, самое воспитаніе и обученіе, самое взаимодействіе ученика и учителя все больше и больше сводятся на механическіе приемы. Въ настоящее время тысячи педагоговъ работаютъ въ этомъ направленіи и уже успѣли довести придуманный ими механизмъ до значительной полноты. Именно, изобрѣтены хитрыя методы и правила съ явною цѣлью навѣрняка формовать душу дѣтей, навѣрняка вызывать въ ней тѣ или другіе результаты.

Такимъ образомъ, къ числу многихъ кощунствъ и богохульствъ, въ которыя впалъ нашъ отважный и беспокойный вѣкъ, онъ присоединилъ и самое страшное изъ всѣхъ, именно — дерзкій замыселъ составить, сочинить, слѣпить живую человѣческую душу. Если хорошенько вникнуть въ этотъ замыселъ, то мы легко убѣдимся, что онъ тысячекратно богохульнѣе и кощунственнѣе тѣхъ подобныхъ ему попытокъ, которыя дѣлались средневѣковыми алхимиками, именно попытокъ приготовить въ химической ретортѣ живого человѣка, гомункула.

Всеу виноваты конечно нѣмцы, полные хозяева въ области педагогіи. Кощунственное дѣло, на которое по слабости человѣческой часто соблазняются всякаго рода воспитатели, нѣмцы возвели въ принципъ и обработали научнымъ образомъ. Всего болѣе здѣсь принимала участіе, кажется, та новая зловредная ересь, которая лѣтъ тридцать назадъ появилась между ихъ философами и теперь распространяется все

больше и больше: она называется *новой психологією*, и родоначальникомъ ея быть нѣкто Бенекъ. Приверженцы этого раскола, *новые психологи* стали хвалиться тѣмъ, что будто бы имѣютъ новые, очень хорошіе способы изслѣдовать чело-вѣческую душу. Употребляя въ дѣло эти способы, они слѣдили видимые успѣхи и подумали, что достигли удивительныхъ познаній въ этомъ дѣлѣ, что они вполне знаютъ матеріалъ, изъ котораго состоитъ душа и знаютъ вѣрно, какое впечатлѣніе производитъ на этотъ матеріалъ каждое вліяніе. А отсюда уже легко было дойти до притязанія дѣйствовать на душу извѣстнымъ образомъ съ цѣлью навѣрное достигнуть извѣстныхъ результатовъ.

Въ этой ереси все содержаніе души считается не болѣе, какъ скопленіемъ всѣхъ произведенныхъ на душу вліяній. Не предполагается, чтобы въ ней могла существовать такая твердая точка или твердая ось, которая была бы неподвижна, несмотря ни на какія вліянія и, напротивъ, сама опредѣляла бы вѣсь и движеніе всѣхъ вліяній. Понятно, что, не признавая этой глубокой и таинственной основы душевной жизни, можно подумать, что душа ребенка находится вполне во власти воспитателя.

Ошибка здѣсь заключается въ узкости тѣхъ понятій, подъ которыя подводятся душевные явленія. Душа—есть высочайшій и благороднѣйшій изъ всѣхъ предметовъ природы. Она должна служить мѣриломъ всѣхъ остальныхъ явленій, а никакъ не наоборотъ. Поэтому если мы сравниваемъ душу съ гладкою доскою, *tabula rasa*, на которой мы можемъ написать, что вадумается,—мы ошибаемся. Если мы сравниваемъ ее съ музыкальнымъ инструментомъ, въ которомъ качество звуковъ и ихъ разнообразіе зависятъ отъ него самого, но на которомъ мы можемъ сыграть все, что можно сыграть этими звуками,—мы ошибаемся. Но чѣмъ выше мы будемъ выбирать предметъ для сравненія съ нимъ души, тѣмъ меньше будетъ у насъ ошибки. Если мы сравнимъ душу, напримѣръ, съ живымъ растеніемъ, то мы тотчасъ увидимъ, какъ нелѣпо и невозможно то, что казалось намъ весьма простымъ, когда мы сравнивали ее съ гладкою доскою или съ музыкальнымъ инструментомъ. Можно производить извѣстныя вліянія на ростъ

и развитіе растенія, но этимъ вліяніямъ положены границы и притомъ такія, что самое существенное оказывается независимымъ отъ всякихъ вліяній. Мы считали бы безумцемъ того, кто вадумалъ бы выростить груши на березѣ и вообще какую-нибудь форму одного растенія перевести на другое. Между тѣмъ относительно души человѣческой мы часто дѣлаемъ совершенно подобныя попытки. Мы покушаемся на существенныя измѣненія въ ея строѣ; мы соблазняемся ея удивительною воспріимчивостію и забываемъ, что эта воспріимчивость не лишаетъ ее однакоже самостоятельности, хотя бы въ такой степени, въ какой самостоятельность свойственна растенію.

Душа по крайней мѣрѣ не ниже растенія. Слѣдовательно, очень странно, когда мы думаемъ, что безъ нашей постоянной помощи и безъ нашего усиленнаго вниманія она не способна возрасти; и еще хуже, когда мы воображаемъ, что проникли тайну ея роста и можемъ выростить въ ней то, чего она или еще не развила или, можетъ быть, и никогда не разовьется въ себѣ. Какія слѣдствія должны произвести попытки такого рода, можно легко вывести изъ выбраннаго нами сравненія. Въ отношеніи къ растенію каждый ясно видитъ, что если мы вадумаемъ не предоставлять его развитія самому себѣ, а управлять имъ, то мы или ничего не сдѣлаемъ, или при излишнемъ усердіи можемъ только повредить ему.

То же самое обнаружилось и въ отношеніи къ человѣческой душѣ, хотя по большой сложности дѣла обманъ былъ на нѣкоторое время возможенъ. Оказалось, что понятія новыхъ психологовъ, думавшихъ уловить самую суть душевнаго развитія, очень тупы сравнительно съ живою душою человѣка. И такъ какъ педагоги старались усиленно дѣйствовать на душу, сообразно съ этими понятіями, то обнаружился самый рѣзкій разладъ между ихъ приѣмами и жизнью. «Ясная Поляна» во многихъ случаяхъ прекрасно рисуетъ этотъ разладъ, какъ онъ явился и у насъ и въ особенности за границею у нѣмцевъ.

Съ одной стороны, ученѣйшіе и хитрѣйшіе приемы новыхъ педагоговъ оказываются *излишними*, т. е. здоровыя души учениковъ перерастаютъ ихъ, и ученики выходятъ умнѣе того обученія, которое имъ предлагаютъ. Ихъ учать

извѣстнымъ образомъ мыслить и говорить, тогда какъ они уже умѣютъ мыслить несравненно глубже и говорить несравненно лучше.

Съ другой стороны, въ случаѣ очень большихъ усилій новая педагогика оказывается *вредною*, т. е. если она слишкомъ рано и слишкомъ усердно захватываетъ душу въ свою власть, если душа не успѣетъ выбиться изъ-подъ ея принужденія, то ея питомцы понижаются и уродуются въ своемъ развитіи, какъ-будто бы послѣ педагогическаго дрессированія вмѣсто души, созданной Богомъ, у нихъ, дѣйствительно, является душа, сочиненная по рецепту Бенека. «Ясная Поляна» наглядно изображаетъ, какъ совершается такое вредное дѣйствіе школы и послѣ этихъ мастерскихъ картинъ становится понятнымъ сдѣланное въ Германіи общее замѣчаніе, что школа *отупляетъ* дѣтей, *verdummt*.

Весь вопросъ здѣсь, очевидно, сводится на тѣ понятія, какія мы имѣемъ о душѣ; его можно поставить въ слѣдующей формѣ: составляютъ ли высшія силы души только слѣдствіе ея низшихъ силъ, или, наоборотъ, низшія силы живутъ только жизнью, заимствуемою отъ высшихъ? Другими словами: для того, чтобы возбудить въ душѣ высшій процессъ, должны ли мы извѣстнымъ образомъ группировать низшіе процессы или же, наоборотъ, низшіе процессы возможны только въслѣдствіе присутствія высшаго процесса и только отъ его пробужденія получаютъ свой смыслъ и значеніе? Напримѣръ: потому ли я понимаю вещи, что я обладаю зрѣніемъ, что я ихъ вижу, или я потому и могу ихъ разсматривать, что обладаю нѣкоторымъ разумѣніемъ? Смотря по рѣшенію этого вопроса, мы и будемъ дѣйствовать. Если все дѣло въ зрѣніи, то мы будемъ заботиться, чтобы ему подвергались извѣстныя вещи въ извѣстномъ порядкѣ и будемъ надѣяться, что отсюда само-собою произойдетъ разумѣніе. Если же главное въ разумѣніи, то мы будемъ стараться сперва пробудить его и будемъ думать, что какъ скоро оно пробуждено, то зрѣніе уже навѣрное станетъ дѣйствовать правильно, со смысломъ.

Итакъ, все дѣло въ томъ, на что мы должны надѣяться въ душѣ: на ея высшія, коренныя, центральныя силы, или же на низшія, подчиненныя, периферическія. Безчисленные

опыты съ тѣхъ самыхъ поръ, когда люди стали себя помнить, убѣждаютъ насъ въ необыкновенной, такъ сказать, центральности, сосредоточенности души. Пока этотъ центръ неподвиженъ, никакія усилія побочныхъ частей не могутъ привести цѣлаго въ движеніе. Поэтому главное правило педагогики должно быть такое: нужно *пробуждать высшія способности души для того, чтобы онѣ оживляли и поддерживали въ дѣятельности низшія*. Не нужно заботиться напередъ о томъ, чтобы питомцы хорошо видѣли, слышали, помнили и т. п. Нужно постараться дать имъ цѣль, придать смыслъ ихъ созерцанію, слушанію, запоминанію, и тогда вся эта дѣятельность оживится и усилится сама собою.

Между тѣмъ нѣмецкіе педагоги слѣдуютъ обратной методѣ: они восходятъ отъ низшаго къ высшему и дошли въ этомъ искусствѣ до нелѣпости, именно не только *не пользуются* неизбѣжнымъ пробужденіемъ высшихъ способностей у своихъ питомцевъ, но даже *останавливаютъ* это пробужденіе и умышленно удерживаютъ дѣтей на низшихъ степеняхъ душевной дѣятельности. Они полагаютъ, что такъ нужно для большей прочности и основательности дѣла! Понятно однакоже, что такой противоестественный процессъ приводитъ дѣтей въ недоумѣніе и только мучить ихъ, заставляя терять время и силы.

Для большей ясности приведемъ здѣсь нѣкоторые образчики этихъ любопытныхъ пріемовъ. Вотъ одинъ отрывокъ изъ тѣхъ, которые разбираются въ «Ясной Полянѣ». Онъ взятъ изъ книги. г. *Перевлесскаго: Предметные уроки по методу Песталоцци*.

Учителю желательно, чтобы ученики перечислили свойства стекла; между прочимъ онъ желаетъ внушить имъ, что стекло *прозрачно*. Но онъ не говоритъ имъ этого прямо, а начинаетъ съ другого конца и ведетъ съ ними такую бесѣду:

Преподаватель. Кромѣ этого куска (*Учитель, изволите видѣть, принесъ въ классъ кусокъ стекла и держитъ его передъ учениками съ тою цѣлью, чтобы они смотрѣли и шутили этотъ кусокъ. Полезное упражненіе!*), гдѣ вы еще видите стекло въ классѣ?

Ученики. Въ окнахъ (въ дверяхъ — если они со стеклами).

Преподаватель. Посмотрите въ окно и скажите, что вы тамъ видите?

Ученики. Садъ.

Преподаватель (затворяетъ ставни). Ну, теперь что вы видите?

Ученики. Теперь ничего не видимъ.

Преподаватель. Отчего же вы ничего не видите?

Ученики. Оттого, что мѣшаютъ ставни.

Преподаватель. Какую разницу вы замѣчаете между ставнями и стекломъ?

Ученики. Сквозь стекло можно видѣть, а сквозъ ставни нѣтъ.

Послѣ такихъ удивительныхъ приготовленій учитель, наконецъ, объявляетъ, что это свойство стекла называется *прозрачностью* и торжественно пишетъ это слово на доскѣ.

Намъ кажется, что невольно должны призадуматься всякій свѣжій человѣкъ, прочитавши подобныя вещи. Развѣ это похоже на человѣческій разговоръ? Развѣ есть тутъ дѣйствительный человѣческій смыслъ?

Если принять этотъ разговоръ буквально, если не предполагать, что у преподавателя при этомъ есть задняя мысль, и что сами ученики догадываются объ этой мысли, то можно положительно сказать, что никогда человѣческое мышленіе не ходитъ такими путями, да едва ли ходитъ и какое-нибудь низшее, напримѣръ собачье мышленіе. Въ самомъ дѣлѣ, очевидно, въ приведенномъ разговорѣ *цѣли* для мышленія не полагается и *направленія* для него не указывается. Между тѣмъ никогда мышленіе не дѣлаетъ ни шагу, не опредѣляетъ себѣ цѣли и направленія. Не знаемъ, какъ у собакъ, но у людей это составляетъ существенную принадлежность того, что называется мыслью.

Въ разговорѣ совершенно явно предполагается, что ученики не знаютъ, чего хочетъ учитель. Каждый вопросъ его есть новый шагъ неизвѣстно куда. Ибо если бы только ученики догадались, къ чему идетъ дѣло, то для чего бы было заставлять ихъ смотрѣть въ окна, затворять ставни и т. п.?

Если бы они догадались, чего хочется учителю, они сейчас бы рѣшили вопросъ.

Но предположимъ, что ученики нисколько не догадываются, что они настолько тупы, какъ этого *желаетъ* учитель. Ужели можно подумать, что его разговоръ выведетъ ихъ изъ тупости и дастъ движеніе ихъ мысли? Невозможное дѣло. Собственно говоря, если бы у нихъ не было задней мысли объ умѣ учителя, о трудности ученія и т. п., то они должны бы прийти отъ дѣйствій учителя въ совершенное изумленіе и счесть его помѣшаннымъ. Зачѣмъ онъ принесъ кусокъ стекла, будто мы никогда стекла не видали? Зачѣмъ онъ спрашиваетъ, гдѣ еще стекло, точно мы не умѣемъ узнать стекла? Зачѣмъ заставляетъ глядѣть въ окно? Зачѣмъ затворяетъ ставни и т. п. Если бы, говоримъ, дѣти не знали, что это ученье, а не простое дѣло, то при этомъ необычайномъ закрытіи ставень они должны бы были прийти въ ужасъ, раскричаться и расплакаться со страху.

Любопытства ради приведемъ еще одинъ примѣръ. Въ декабрьской книжкѣ «Журнала мин. нар. просв.» (1862) есть слѣдующій образецъ разговора учителя съ дѣтьми:

Учитель. Знаете, что такое вода? Видали воду?

Ученики. Видали, знаемъ.

Учитель. Что же такое вода?

Нѣкоторые говорятъ—вода, другіе—лужа.

Учитель. Вода похожа на камень, на дерево?

Ученики. Нѣтъ.

Учитель. Чѣмъ же вода не камень?

Ученики. Она льется.

Учитель. Какіе еще предметы могутъ, какъ и вода, литься.

Ученики. Вино, масло.

Учитель. Молоко можно лить?

Ученики. Можно.

Учитель. А кашу на примѣръ, хлѣбъ также можно?

Ученики. Нѣтъ.

Учитель. Отчего же?

Ученики. Каша густая.

Учитель. А молоко?

Ученики. Жидко.

Послѣ подобныхъ плодотворныхъ упражненій учитель, наконецъ, объявляетъ, что есть предметы *твердые* и есть предметы *жидкіе*, и что *вода есть жидкость*.

Читатель видитъ, что здѣсь тотъ же духъ, та же метода, какъ въ предыдущемъ отрывкѣ. Точно также не видно, къ чему идетъ дѣло и точно также предлагаются мальчикамъ вопросы, которые, если бы принимались *за правду*, серьезно, должны бы были повергать учениковъ въ неминуемое изумленіе, напримѣръ: выдали ли они воду? Можно ли лить молоко? Можно ли лить хлѣбъ? Недостаётъ только одного: какъ тотъ учитель принесъ съ собою кусокъ стекла, такъ и этому нужно бы принести въ классъ стаканъ воды и давать ученикамъ шупать, смотрѣть и, пожалуй, пить эту воду. А если бы онъ потрудился еще захватить и хлѣбъ и камень, то ужъ куда было бы хорошо и для дѣтей полезно.

Въ приведенномъ разговорѣ бросается въ глаза еще одно обстоятельство. Учитель задаетъ ученикамъ вопросы, представляющіе самую высокую степень отвлеченія, напримѣръ: *что такое вода? чѣмъ вода не камень?* Слѣдовательно, онъ предполагаетъ въ дѣтяхъ уже готовую способность къ подобной отвлеченности. И однакоже, какъ видно, онъ только шутитъ и собственно думаетъ остановиться на очень низкой степени отвлеченія. На вопросъ: что такое вода? онъ добивается отвѣта: вода есть жидкость; на вопросъ — чѣмъ вода не камень? удовлетворяется отвѣтомъ, что вода льется, а камень не льется. Развѣ это отвѣты? Развѣ то, что вода принадлежитъ къ жидкимъ тѣламъ, разрѣшаетъ вопросъ: что такое вода? Развѣ между камнемъ и водою только и есть различія, что вода льется, а камень не льется?

Конечно, дѣти едва ли найдутъ болѣе глубокіе отвѣты; но зачѣмъ же притворяться, что эти отвѣты вызваны у нихъ созерцаніемъ хлѣба, молока и т. п., тогда какъ они собственно возбуждены уже существующими у нихъ нормами отвлеченія? Кто понимаетъ вопросъ: что такое вода? тотъ, очевидно, обла-

даетъ такими формами мысли, такими объемами отвѣта, которыхъ не пополнить собою положеніе: вода есть жидкость. Но учитель считаетъ нужнымъ прикидываться, что дѣти не ищутъ и неспособны искать *понятія* о водѣ, а что будто бы они идутъ небывалымъ и невозможнымъ путемъ *постепенною* отвлеченія, будто, сравнивая воду, камень, молоко, они будутъ весьма счастливы, достигши свѣдѣнія, что вода жидка какъ молоко, а не тверда какъ камень.

Такова и вся эта педагогика; она руководитъ и развиваетъ только повидимому, а въ сущности пользуется готовыми нормами и уже развившимися приемами дѣтской мысли; она играетъ уже на натянутыхъ и настроенныхъ струнахъ, тогда какъ воображаетъ, что сама ихъ натягиваетъ и настраиваетъ.

Читатель видитъ, что мы касаемся здѣсь весьма важныхъ вопросовъ, полное развитіе которыхъ повело бы насъ очень далеко. Чтобы еще нѣсколько познакомить читателей съ этимъ *низменнымъ* пониманіемъ души и мысли, до котораго дошли нѣмцы въ своей премудрости, которое обнаруживается и во многихъ другихъ случаяхъ и направленіяхъ и имѣетъ рѣшительное господство въ теоретической педагогикѣ, мы приведемъ здѣсь еще одинъ отрывокъ, случайно намъ попавшійся и по нашему мнѣнію весьма многозначительный.

Есть у насъ педагогическій журналъ «Учитель», по наружности русскій, по внутренности — нѣмецкій; онъ издается гг. Паульсономъ и Весселемъ. Въ прошломъ году въ немъ начата (съ № 10) «Практическая логика», излагаемая по книгѣ: «*Практическая наука мышленія, разработанная Дреслеромъ по Бенке*». Изъ этой-то логики, какъ изъ логики, принадлежащей прямо школѣ «Новыхъ Психологовъ», мы выпишемъ одинъ параграфъ.

Сужденія неполнѣ правильныя (несовершенныя).

«Въ разсмотрѣнныхъ нами до сихъ поръ сужденіяхъ сказуемыми были такія понятія, которыя или вполне и совершенно принадлежали подлежащимъ, или же вовсе имъ не принадлежали (*такія сужденія, очевидно, признаются этою логикою правильными: пусть такъ*).

Но кромѣ этихъ отношеній между подлежащимъ и сказуемымъ бываютъ еще и другія (*бываютъ, т. е. определяются по законамъ мысленія, что-ли?*). Часто случается, что сказуемое не принадлежитъ вполнѣ подлежащему, но имѣетъ съ нимъ только нѣчто общее и на этомъ основаніи приписывается ему, замѣняя собою другое, имѣющее къ подлежащему болѣе близкое отношеніе.»

Удивительно! Неужели это бываетъ? На *томъ основаніи*, что одно сказуемое имѣетъ только нѣчто общее съ подлежащимъ, это сказуемое замѣняетъ собою другое сказуемое, имѣющее къ подлежащему болѣе близкое отношеніе. Да кто же такъ глупо мыслить? Вѣдь, по всѣмъ основаніямъ, второе сказуемое должно замѣнять собою первое. Въ самомъ дѣлѣ, это должны быть *неправильныя* сужденія! Читатель сейчасъ увидитъ въ чемъ загадка.

«Возьмемъ для примѣра слѣдующія фразы: мѣсяцъ свѣтитъ, мѣсяцъ улыбается; день начинается, день просыпается; пѣніе птицъ прекращается, пѣніе птицъ замираетъ; юность богата радостями, юность есть весна жизни; утѣшеніе успокоиваетъ, утѣшеніе есть цѣлебный бальзамъ?» и пр.

Читатель догадывается, что эти сужденія не даромъ поставлены попарно; но едва ли онъ догадается, что въ каждой парѣ первое считается правильнымъ, а второе неправильнымъ. Между тѣмъ, это такъ. Въ самомъ дѣлѣ, слушайте дальше:

«Но можетъ ли мѣсяцъ улыбаться, есть ли на самомъ дѣлѣ юность весна, утѣшеніе бальзамъ?» и т. д.

Намъ кажется, недоумѣвающий читатель на подобные вопросы г. Дреслера, излагающаго логику по Бенеке, былъ бы весьма склоненъ отвѣчать слѣдующимъ образомъ: или вы сами совершенно глупы, или меня считаете глупцомъ, какого еще свѣтъ не производилъ. Кто же думаетъ увѣрять васъ или кого бы то ни было, что мѣсяцъ, дѣйствительно, улыбается, а утѣшеніе есть не что иное какъ бальзамъ? Вы, какъ видно, не понимаете самой простой человѣческой рѣчи. Когда говорятъ подобныя вещи, то само собою разумѣется, что дѣло не въ буквальномъ смыслѣ. Только тотъ, кто изъ-

за словъ не видитъ мысли, можетъ вообразить здѣсь какую-нибудь неточность.

«Съ другой стороны, пишетъ Дреслеръ, улыбка не имѣетъ ли чего общаго съ мѣсяцемъ, весна съ молодостью? Ужели цѣлебный бальзамъ рѣшительно противоположенъ утѣшенію?»

Опять какіе-то дикіе вопросы. Развѣ тотъ, кто скажетъ: *мѣсяцъ улыбается*, думаетъ сколько-нибудь утверждать, что между мѣсяцемъ и улыбкою есть что-то общее? Развѣ тотъ, кто назоветъ утѣшеніе бальзамомъ, имѣетъ въ мысли отрицать между ними всякое различіе? По той логикѣ, которую мы разбираемъ, это выходитъ такъ.

«Веселость, — говоритъ она — которая проявляется въ улыбкѣ, дѣйствительно, идетъ мѣсяцу (*т. е. небесному тѣлу, спутнику земли? Нимало не идетъ!*); ему нельзя только приписать измѣненій въ лицѣ, которыми необходимо сопровождается улыбка (*удивительно! Ужъ скорѣе же, наоборотъ, я повѣрю, что у мѣсяца вышли эти «измѣненія въ лицѣ», чѣмъ тому, что онъ развеселился*). Радость, творчество и возрастаніе, которыя замѣтны въ веснѣ, обнаруживаются и въ юности (*неужели тѣ самыя?*); ей нельзя приписать только того признака весны, что она есть трехмѣсячное время года, слѣдующее за зимою (*напротивъ: какъ весна есть время года, такъ и юность есть время жизни*). Уменьшеніе боли, доставляемое бальзамомъ, свойственно также и утѣшенію (*дѣло идетъ совсѣмъ не о «боли»*); ему (*утѣшенію*) нельзя приписать только дѣйствія на тѣло и вещественности, *замѣчаемыхъ въ бальзамѣ (напротивъ: успокоеніе души хорошо дѣйствуетъ и на тѣло)*».

Всѣ эти до изумительности нелѣпыя разсужденія, какъ нельзя лучше, показываютъ, что логика, о которой идетъ рѣчь, вовсе не понимаетъ переносныхъ или образныхъ выраженій; не мудрено поэтому, что она считаетъ ихъ неправильными, несовершенными. Между тѣмъ, каждому перемудрившему человѣку совершенно понятно, что эти выраженія могутъ быть такъ правильны, точны и вѣрны, могутъ такъ ясно и отчетливо изображать мысль, какъ только можно этого пожелать. Они законны и правильны, потому что для человѣ-

ческой души слова всегда служат не прямымъ выраженіемъ, а только оболочкою мысли; не мудрено, что нѣмецъ, принявшій эту оболочку за самую суть, за самую душу, перепуталъ дѣло и ничего въ немъ не понимаетъ. Посмотрите, къ ка-кимъ заключеніямъ онъ приходитъ!

«Очевидно, что въ приведенныхъ нами сужденіяхъ ска-зуемыми служатъ такіа понятія, которыя не вполнѣ идутъ къ подлежащимъ, потому что только часть ихъ признаювъ, а отнюдь не всё заключаются въ подлежащихъ (*например, веселость заключается въ тысячу, а измѣненія лица не заключаются*). Съ эстетической точки зрѣнія подобныя суж-денія цѣнятся по большей части гораздо выше всѣхъ дру-гихъ сужденій, потому что они возбуждаютъ болѣе мыслей (*странно! неправильныя сужденія возбуждаютъ болѣе мыслей, чѣмъ правильныя!*) и нерѣдко могутъ приводить въ пріятное расположеніе духа. Но нельзя сказать о нихъ того же, если разсматривать ихъ съ логической точки зрѣнія (*а можно ихъ такъ разсматривать? Можно ихъ раз-сматривать съ такой будто бы логической точки зрѣ-нія, какъ ваша?*). Логика стремится вовсе не къ тому, чтобы доставлять пріятное настроеніе духа, но къ тому, чтобы вести его къ истинѣ; а въ этомъ отношеніи разсматриваемыя нами сужденія приносятъ такъ мало пользы, что должны быть по-ставлены ниже всѣхъ другихъ».

До чего, подумаешь, доводитъ любовь къ истинѣ! О ка-кихъ *сужденіяхъ* говорить авторъ? Онъ смѣшиваетъ выра-женіе съ самою мыслью и, очевидно, говоритъ объ образныхъ *выраженіяхъ*, какъ объ особаго рода сужденіяхъ. Но развѣ есть здѣсь смыслъ? Развѣ можно сказать: сужденія, выра-женныя образно, не такъ вѣрны, какъ сужденія, выражен-ныя, по возможности, безъ образовъ? Вѣрны они или не вѣрны—вѣдь это зависитъ отъ самыхъ сужденій, а не от-того, какъ они выражены. Настоящая же мысль, содержа-щаяся во всѣхъ приведенныхъ толкованіяхъ, будетъ такая: *образныя выраженія, если принять ихъ не за образныя, а за настоящія, невѣрны*. Глубокое логическое правило!

Предметъ любопытный. Нужно имѣть очень странное понятіе о мышленіи для того, чтобы видѣть въ образныхъ выраженіяхъ не подобіе мысли, а напротивъ опасность и вредъ. Кто боится, что мышленіе смѣшаетъ себя съ своею формою, что образное выраженіе можетъ быть принято буквально, тотъ, очевидно, ставитъ мышленіе очень низко, тотъ не видитъ еще въ мышленіи той существенной его силы, при которой оно далеко отъ подобныхъ опасностей. Какое понятіе имѣетъ о мышленіи логика новыхъ психологовъ, мы всего лучше можемъ узнать изъ тѣхъ *положительныхъ* требованій, которыя она дѣлаетъ относительно правильности сужденій. Вотъ эти требованія:

«Сказуемая въ сужденіяхъ должны принадлежать къ тому же классу представленій, къ которому принадлежатъ и подлежащія, т. е. для подлежащаго, заимствуемаго изъ чувственнаго міра, и сказуемое нужно заимствовать изъ того же міра; для подлежащаго, взятаго изъ духовнаго міра, и сказуемое нужно брать изъ духовнаго же міра.»

«Поэтому улыбку строго нельзя приписать мѣсяцу, такъ какъ она составляетъ собою явленіе, истекающее изъ души, а мѣсяцъ есть предметъ вещественный; точно также не гармонируютъ другъ съ другомъ «бальзамъ» и «утѣшеніе», потому что бальзамъ есть нѣчто матеріальное, а утѣшеніе нѣчто духовное.

«Далѣе, въ области предметовъ чувственныхъ видимое, т. е. воспринимаемое чувствомъ зрѣнія, должно быть и опредѣляемо сказуемымъ изъ круга предметовъ, воспринимаемыхъ чувствомъ зрѣнія, слышимое—слышимымъ и т. д.; въ области предметовъ духовныхъ подлежащее, заимствуемое изъ круга представленій, должно и опредѣляться сказуемымъ изъ круга представленій, желаніе—сказуемымъ изъ міра желаній и т. д.

«Соблюденіе всего этого необходимо, если только имѣть цѣлью истинныя познанія въ собственномъ смыслѣ этого слова».

Итакъ, вотъ каковы должны быть правильныя сужденія. Существуютъ, какъ видите, различные міры: прежде всего міръ вещественный и міръ духовный, потомъ міръ вещественный подраздѣляется на міръ видимый, міръ слышимый и т. д.; міръ духовный состоитъ изъ міра представленій, міра жела-

ній и т. д. Такъ какъ это уже рѣшено и покончено (судя по всему прежде, чѣмъ начинается мышленіе), то правильное мышленіе ни въ какомъ случаѣ не должно перескакивать изъ одного міра въ другой; между этими мірами (любопытно бы знать, сколько ихъ всѣхъ-то?) существуютъ непроницаемыя перегородки, и слѣдовательно—показать видъ, что есть нѣчто, въ чемъ одинъ изъ нихъ сливается съ другимъ, значитъ произвести самую страшную ложь.

Такъ выходитъ по логикѣ г. Дреслера, разработавшаго Бенеке; но не такъ это бываетъ въ дѣйствительности. Въ дѣйствительности мышленіе есть не что иное, какъ то, что г. Дреслеръ считаетъ совершенною ложью; въ дѣйствительности оно соединяетъ всѣ міры въ одинъ міръ, составляетъ связь и центръ всего своего содержанія. Тотъ не мыслить, кто слышимое только слышитъ, видимое только видитъ, представляемое только представляетъ, желаемое только желаетъ и проч. Въ такой формѣ едва-ли мы можемъ вообразять себѣ даже душевную жизнь животныхъ. Мыслить же—значитъ соединять, связывать, значитъ становится на неподвижную центральную точку и озарять съ этой точки однимъ и тѣмъ же свѣтомъ весь горизонтъ душевной области. По Дреслеру и Бенеке мысль есть какое-то пустое мѣсто, наполняемое разнообразными предметами—одними изъ области слуха, другими изъ области зрѣнія, третьими изъ міра желаній и проч. Между тѣмъ мысль никогда такъ не образуется, никогда не составляется механически: она имѣетъ въ самой себѣ источникъ, изъ котораго развивается. Повторимъ наше прежнее выраженіе: мысль движется не снизу вверхъ, а сверху внизъ, не отъ окружности къ центру, а отъ центра къ окружности.

Это доказывается и образными выраженіями. Положимъ, поэтъ говоритъ: *звѣзды улыбаются*. Думаетъ ли онъ при этомъ смѣшать міръ мертвыхъ предметовъ съ міромъ живыхъ? Думаетъ ли онъ приписать звѣздамъ улыбку, или въ улыбкѣ видѣть объясненіе сіянія звѣздъ? Подобныя предположенія уничтожаются самою своею нелѣпостью. Очевидно, дѣло идетъ не объ отношеніи между звѣздами и улыбками и даже вовсе не о звѣздахъ и улыбкахъ; очевидно, мысль поэта содержитъ и родилась совершенно въ другой сферѣ. Изъ этой сферы

она выходитъ и соединяетъ въ одинъ образъ сіяніе звѣздъ и улыбку. Такимъ образомъ, мысль не составляется, не складывается, не происходитъ изъ соединенія звѣздъ и улыбки, а напротивъ уже существующая, уже готовая, она, зная, что она дѣлаетъ, соединяетъ въ одно выраженіе звѣзды и улыбку.

Итакъ, существуетъ внутренній процессъ мысли, совершающійся по своимъ самобытнымъ законамъ. Отъ этого процесса, которому свойственна полнѣйшая сосредоточенность, зависитъ то *единство*, безъ котораго невозможно никакое познаніе. Поэтому мысли не складываются изъ частей (онѣ не имѣли бы единства) и не вносятся въ душу извнѣ (онѣ были бы тѣмъ-то ей чуждымъ), а рождаются и развиваются собственными силами души.

На какіе бы различныя міры мы ни раздѣляли существующее, міръ мысли, очевидно, будетъ стоять внѣ этихъ міровъ, будетъ служить имъ средоточіемъ или, какъ обыкновенно говорятъ, будетъ обнимать собою всѣ эти міры.

На этихъ немногихъ замѣчаніяхъ мы пока остановимся. О *низменномъ* пониманіи души и мысли, противъ котораго мы говорили, можно сказать еще многое; оно обнаруживается очень обыкновенно и часто тамъ, гдѣ его трудно было бы ожидать.

3. Человѣкъ какъ предметъ воспитанія.

Опытъ педагогической антропологіи *Константина Ушинскаго*. Изданіе 8-е, сокращенное, подъ редакціею *К. К. Сентъ-Илера* и *Л. Н. Модзалевскаго*. Съ портретомъ автора. Цѣна 2 р. 50 к. С.-Пб. 1894.

(«Журналъ М. Н. Просвѣщенія»).

Настоятельная надобность этой книги покойнаго К. Д. Ушинскаго доказывается уже тѣмъ, что передъ нами *восьмое* ея изданіе. Первое ея изданіе вышло въ 1867—1869 годахъ. Наши извѣстные педагоги К. К. Сентъ-Илеръ и Л. Н. Модзалевскій справедливо говорятъ въ предисловіи къ своему изданію, «что сочиненіе К. Д. Ушинскаго надо признать

основною и самую замѣчательною русскою педагогическою книгою» (стр. II).

Въ отношеніи чисто научномъ и философскомъ, она также имѣетъ большія достоинства и чрезвычайно замѣчательна. Ушинскій—эклектикъ, но его эклектизмъ основанъ на обширномъ и основательномъ изученіи литературы предмета и на строгомъ обсужденіи того, что даетъ эта литература. Такимъ образомъ, читатель не только получаетъ ясное понятіе о вопросѣ, а и учится самъ вникать въ него. Ушинскій не увлеченъ никакимъ авторитетомъ и старательно ищетъ въ наукѣ подтвержденія своихъ мыслей, которыя постоянно имѣли твердое и чистое нравственное и религіозное направленіе. Безъ сомнѣнія, «Человѣкъ какъ предметъ воспитанія» есть одна изъ поучительнѣйшихъ и содержательнѣйшихъ русскихъ книгъ.

Понятно, что соглашаться со всѣми безъ исключенія ученіями этой книги почти никто не можетъ, и потому всякій можетъ быть ею недоволенъ въ тѣхъ или другихъ пунктахъ. Если бы мы надумали подвергнуть критикѣ всѣ ея психологическіе и гносеологическіе взгляды, то это завело бы насъ слишкомъ далеко. Намъ лучше вспомнить, какъ самъ авторъ смотрѣлъ на свое дѣло. Въ предисловіи ко второму тому онъ говоритъ: «прошу читателя, не навязывая мнѣ никакихъ предвзятыхъ міросозерцаній, критиковать меня единственно съ фактической стороны: вѣрны ли тѣ факты, изъ которыхъ я дѣлаю выводъ, и соответствуетъ ли выводъ факту. Если при анализѣ фактовъ я наталкиваюсь на противорѣчія, которыхъ нельзя объяснить, то стараюсь самъ указать на нихъ читателю. Я считаю это лучшимъ, чѣмъ прикрывать ихъ какою-нибудь туманною гипотезою» (стр. XLV).

Вотъ какой правильный выходъ придумалъ авторъ на случай затрудненій и разногласій. Вообще, главный упрекъ, который можно сдѣлать этой книгѣ, тотъ, что въ ней эмпиризму отводится слишкомъ много мѣста и приписывается слишкомъ много силы. Но такъ какъ самый принципъ эмпиризма не признается абсолютнымъ, и вездѣ, гдѣ авторъ чувствовалъ себя не на твердой почвѣ, онъ отдается раціонализму, то эмпиризмъ у него играетъ свою законную роль.

Если бы мы не умѣли найти доказательства для какой-нибудь геометрической теоремы, мы всегда имѣли бы право смотрѣть на нее, какъ на законъ, найденный опытомъ, ничуть не отрицая того, что со временемъ онъ можетъ быть выведенъ умозрѣніемъ.

Что касается до сокращеній, сдѣланныхъ издателями, то, конечно, мы можемъ положиться на цѣлесообразность этихъ сокращеній, когда за нее ручаются такіе знатоки дѣла и опытные преподаватели. Собственно, ни одна глава не пропущена, а только изложена вкратцѣ и напечатана болѣе мелкимъ шрифтомъ. Нужно замѣтить, что Ушинскій писалъ очень хорошо, съ большою живостью и точностію. Поэтому иногда жаль, что его превосходныя страницы являются въ сжатомъ и сухомъ пересказѣ. Встрѣчаются мѣста, не вполне сохранившія ясность. Напримѣръ: «Душа сознаетъ только *отношенія* между нервными движеніями, а не самыя нервныя движенія, которыя по существу своему непостижимы (Аристотель)» (стр. 78). Почему же они могутъ быть *непостижимы*? При чемъ тутъ Аристотель? На эти вопросы трудно отвѣчать. Еще примѣръ: «Это входитъ уже въ область *трансцендентальной* философіи, то есть переступающей грань между матеріей и душой» (стр. 204). Не имѣя подлиннаго текста Ушинскаго, можно усумниться, точно-ли онъ такъ опредѣлялъ трансцендентальную философію.

Такъ какъ книга Ушинскаго вообще представляетъ привлекательное и поучительное чтеніе, то мы увѣрены, что учащіеся, которые найдутъ время прочесть ее въ несокращенномъ видѣ, получать и пользу и удовольствіе. Сокращенія новаго изданія, конечно, лишь укажутъ имъ, что для нихъ менѣе важно, или менѣе требуется. Есть однако отдѣлы, гдѣ мы пожалѣли о сокращеніяхъ. Таковъ, напримѣръ, разборъ теоріи Дарвина, чрезвычайно правильный и ясный. Ушинскій опровергаетъ эту теорію съ той именно стороны, съ какой слѣдуетъ. Подобныхъ страницъ, достойныхъ изученія, не мало въ этой книгѣ.

4. Отвѣтъ на рецензію.

(«Гражданинъ». 1873, № 26).

Рецензія на мою книгу «Міръ какъ цѣлое», появившаяся въ журналѣ «Знаніе» (1873, № 1, страницы 27—36), хотя враждебна книгѣ по направленію, но написана такъ ясно и отчетливо и имѣетъ въ такой степени серьезный тонъ, что если бы я не сталъ отвѣчать на нее, можно бы было, пожалуй, обвинить меня въ маломъ интересѣ къ дѣлу, къ тому предмету, которому посвящена моя книга.

Но я нахожусь въ большомъ затрудненіи. Имѣю ли я право требовать, чтобы мой рецензентъ былъ заинтересованъ мышленіемъ, былъ дѣйствительнымъ искателемъ истины? Какія тажкія требованія для журнальнаго рецензента! Вполнѣ чувствую ихъ несоразмѣрность и несправедливость, а между тѣмъ нельзя мнѣ отъ нихъ отступить; такова моя книга, такова ея точка зрѣнія, что разсуждать о ней иначе, значило бы упустить изъ виду самую сущность дѣла. «Вся моя цѣль», сказано у меня въ предисловіи, «какъ-будто состояла только въ томъ, чтобы во что бы то ни стало разбудить читателя, возбудить въ немъ философскую дѣятельность мысли» (стр. IV). Слѣдовательно, мнѣ нужно теперь разобрать, достигъ ли я своей цѣли, разбудилъ ли я рецензента, или нѣтъ? Я отъ него хотѣлъ мышленія, значить, съ этой стороны и долженъ судить о томъ, что онъ написалъ.

Въ самомъ началѣ рецензентъ пишетъ: «Существенная часть книги, по словамъ автора,—первая» (стр. 27). Вотъ сразу большая и важная ошибка; я этого и не думалъ и не говорилъ; я не называлъ первой части существенною; я сказалъ только, что она *излагаетъ главный взглядъ книги* (стр. XIII). Но, хотя вторая часть трактуетъ о болѣе частныхъ вопросахъ, я считалъ ее по строгости метода, по тщательности обработки, наконецъ, по болѣе опредѣленности разбираемыхъ ученій, не только не менѣе, а даже болѣе существенною, чѣмъ первая часть. Между тѣмъ рецензентъ ничѣмъ этимъ не заинтересовался и разсудилъ такъ: «Вторая часть составляетъ только критику существующихъ взглядовъ,

а не изложеніе опредѣленнаго ученія. Слѣдовательно, на первую часть мы и должны обратить главное вниманіе» (стр. 27).

Это *слѣдовательно* и нелогично, и очень для меня обидно: самая сильная часть книги не удостоилась вниманія рецензента.

Другія слова моего предисловія, безъ моей вины, были причиной другой ошибки рецензента. Я сказалъ, что признаю гегелевскую методу полнымъ выраженіемъ научнаго духа. Отсюда рецензентъ выводилъ, что у меня въ методѣ *двойственность*, что я смотрю на міръ *какъ натуралистъ и какъ метафизикъ*. Прежде чѣмъ вывести такое заключеніе рецензенту слѣдовало бы доказать, что метода натуралистовъ и философская метода Гегеля—двѣ вещи дѣйствительно различныя, несовмѣстныя. Но онъ и не задумался надъ этимъ; когда ему попалось великое имя Гегеля, то онъ заранѣе рѣшилъ, что все, идущее отъ него, не можетъ быть ничѣмъ, кромѣ ереси и заблужденія. Такова слава философіи въ наше время; таковы закоренѣлые предразсудки относительно этой науки,—и мой рецензентъ сталъ судить мою книгу не по самой книгѣ, а по этимъ предразсудкамъ. Какъ трудно заставить людей думать! Они читаютъ, но не вѣрятъ не только автору, а и самимъ себѣ: они шагу не ступятъ безъ авторитета и думаютъ, что и всѣ другіе въ этомъ на нихъ похожи.

Я назвалъ человѣка *центромъ міра*. Рецензентъ рѣшительно отвергаетъ эту мысль и вотъ на какомъ основаніи: «*человѣкъ какъ центръ міра*», говоритъ онъ,—«выраженіе, неимѣющее въ глазахъ натуралиста никакого смысла» (стр. 28). Да почему же я долженъ ограничиться тѣмъ, какъ выражаются и чему учатъ натуралисты? Развѣ я не могу самъ выбирать свои выраженія, самъ опредѣлять ихъ точный смыслъ, самъ доказывать справедливость этого смысла? Почему вы не хотите слѣдовать за моею мыслью и ставите мнѣ въ стыдъ, что этой мысли нѣтъ у другихъ? Почему, наконецъ, вы не въ силахъ повѣрить, что это—моя мысль, а думаете, что я только твержу слова Гегеля, какъ вы сами только твердите слова натуралистовъ?

Въ разбираемой мною рецензійѣ есть черта очень для меня лестная: рецензентъ ни разу не укоряетъ меня ни въ

какой ошибкѣ противъ естественныхъ наукъ; онъ не нашелъ ни единого промаха, который бы показалъ, что я недостаточно свѣдущъ въ этихъ наукахъ, или смутно понимаю то, чему онъ учать. Вотъ доказательство, что я не отвергаю натуралистовъ и не противорѣчу имъ, а только стараюсь расшарить ихъ методъ, взять дѣло глубже и пойти въ немъ дальше, чѣмъ они. Къ несчастію, этого-то рецензентъ мой и не замѣчаетъ. Поэтому, хотя я глубоко и искренно благодаренъ ему за похвалы (такая для меня рѣдкость!), но не могу принять ихъ безъ ограниченія. «Первыя (четыре) главы», пишетъ онъ, «представляютъ *чрезвычайно ясное и послѣдовательное* изложеніе унитарнаго взгляда на природу». Дѣйствительно, взглядъ мой есть взглядъ унитарный, но не въ томъ смыслѣ, какъ его понимаетъ и толкуетъ рецензентъ. Рецензенту не приходится и на мысль, чтобы я самъ могъ думать; ему все кажется, что я, просто, твержу обыкновенное ученіе натуралистовъ, и сколько я ни старался, онъ не замѣтилъ моей собственной мысли, отъ которой однакоже зависитъ самая ясность и послѣдовательность, заслужившая его похвалу. Не мудрено поэтому, что онъ потомъ находитъ у меня противорѣчія.

«Зачѣмъ», спрашиваетъ онъ, «г. Страховъ ищетъ *существеннаго признака организмовъ*, котораго, какъ видно по его же изложенію, и быть не можетъ?» Вотъ упрекъ чрезвычайно странный, если принять дѣло въ прямомъ и строгомъ смыслѣ и не предполагать, что я заранѣе отказался отъ возможности найти то, чего желаю. Что можетъ быть естественнѣе и правильнѣе, какъ искать различія между вещами? Какое бы единство мы ни предполагали въ природѣ, между произведеніями ея существуютъ различія, которыя изслѣдовать не только позволительно, а вполне необходимо. Признаки, которыми различаются вещи, имѣютъ различную важность; одни изъ нихъ болѣе существенны, другіе менѣе. Задача изслѣдователя, конечно, должна состоять въ томъ, чтобы найти, если возможно, самые существенные признаки. Вотъ простой смыслъ моихъ разсужденій и моихъ приемовъ. Если же они не понравились рецензенту, то только потому, что онъ закоренѣлый метафизикъ, что онъ подозрительно смотритъ на всякое слово и разсужденіе, несогласное съ его собственной метафизикой.

Въ словѣ *существенный признакъ* онъ видитъ не тотъ смыслъ, какой оно имѣетъ прямо и просто; онъ видитъ здѣсь посягательство на единство природы. Онъ заранѣе положилъ, что съ нѣкоторой весьма отвлеченной точки зрѣнія всѣ предметы однородны, что всякія различія суть видимость, исчезающая передъ взоромъ науки. И вотъ онъ съ упрекомъ спрашиваетъ: зачѣмъ г. Страховъ ищетъ существеннаго признака организмовъ?

Дѣло, однакоже, идетъ такимъ образомъ не сплошь во всей рецензії; не все меня только укоряютъ, что я держусь однихъ авторитетовъ и уклоняюсь отъ другихъ. Я успѣлъ-таки разбудить своего рецензента, и онъ, хотя съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, рѣшается разсуждать со мною и опровергать мои мысли, слѣдя за самымъ ихъ развитіемъ, за тѣми основаніями, изъ которыхъ я ихъ вывожу. Эту снисходительность онъ оказалъ мнѣ, къ сожалѣнію, только въ двухъ пунктахъ: относительно той мысли, что *совершенствованіе* есть существенный признакъ организмовъ, и еще относительно положенія, что *человѣкъ есть предѣлъ* Дарвиновской борьбы за существованіе.

Въ первомъ случаѣ весь вопросъ въ томъ, различаются ли въ природѣ вещи и явленія *по своему совершенству*? Я полагаю, что да, а рецензентъ, что нѣтъ.

Хотя рецензентъ и соглашается здѣсь разсуждать вмѣстѣ со мною, но и тутъ онъ, конечно, не упустилъ изъ виду своего главнаго аргумента, который для него заранѣе рѣшаетъ дѣло: онъ поражаетъ меня авторитетомъ натуралистовъ. «Въ научномъ смыслѣ, говоритъ онъ, *совершенный* (терминъ, который такъ часто ведетъ къ недоразумѣніямъ, что его лучше было бы совсѣмъ оставить) имѣетъ два значенія: или *лучше приспособленный*, или *болѣе сложный, дифференцированный*» (стр. 29). «Другихъ научныхъ значеній слова *совершенный* мы не знаемъ» (стр. 30).

Это значить, что натуралисты не признаютъ никакого совершенства въ простомъ и прямомъ смыслѣ этого слова; для нихъ всѣ вещи равны, и рецензентъ справедливо думаетъ, что при такомъ взглядѣ лучше бы выбросить вовсе слово *совершенный*.

Но дѣло въ дѣлѣ, а не въ томъ, какъ думаютъ и говорятъ натуралисты. Я осмѣлился думать собственною головою и употреблять тѣ слова, какія напелъ приличными для своихъ мыслей. Чтобы доказать, что въ мірѣ существуютъ различныя степени совершенства, я употребилъ въ своей книгѣ совершенно неотразимый аргументъ; я рассуждалъ такъ: *какъ бы мы ни смотрѣли на вещи, мы все-таки должны признать, что истина выше заблужденія, познание выше невѣжества, умный человѣкъ совершеннѣе идіота, правильное и ясное понятіе лучше неправильнаго и темнаго. Натуралисты, или какіе-нибудь другіе метафизики могутъ отрицать все, что имъ угодно—различіе красоты и безобразія, здоровья и болѣзни, даже, пожалуй, добра и зла; но различія истины и заблужденія и они отрицать не могутъ, потому что они сами искатели истины, сами борцы противъ заблужденій, и въ этомъ исканіи и бореніи полагаютъ свою честь и достоинство. Такимъ образомъ, этотъ аргументъ похожъ на декартовское cogito ergo sum; если я и во всемъ сомнѣваюсь, все отрицаю, то не могу, однакоже, усомниться въ своемъ сомнѣніи, отрицать и свое отрицаніе.*

Изъ моего аргумента легко сдѣлать выводъ относительно организмовъ. Если мышленіе зависитъ отъ организаціи, то, очевидно, организмъ болѣе способный находить истину, болѣе способный къ познанію и мышленію, долженъ быть признанъ и по самой своей организаціи болѣе совершеннымъ.

Рецензентъ выписываетъ все это мое доказательство, и что же возражаетъ? «Г. Страховъ», говоритъ онъ, «употребляетъ терминъ *совершенный* относительно умственнаго развитія, очевидно, въ совершенно другомъ смыслѣ, въ какомъ къ тѣлесному развитію онъ неприложимъ. Для г. Страхова совершеннымъ въ томъ смутномъ значеніи, въ какомъ онъ употребляетъ этотъ терминъ, является то, что для другого нисколько не *совершеннѣе*, не лучше; все тутъ дѣло во вкусѣ» (стр. 29).

Какъ? неужели отъ вкуса зависитъ предпочитать истину заблужденію, правильное понятіе ложному? Неужели познаніе и мышленіе являются совершенствомъ только для г. Страхова, а для другого эти вещи *нисколько не совершеннѣе, не лучше,*

чѣмъ невѣжество и безсмысліе? До чего мы дошли! И еще рецензентъ увѣряетъ, что я даю слову *совершенный* «смутное значеніе»! Нѣтъ, это значеніе такъ ясно, что яснѣе его и быть не можетъ; кто не дѣлаетъ различія между правильнымъ понятіемъ и неправильнымъ, между знаніемъ и незнаніемъ, тотъ уже вовсе не мыслить.

Рецензентъ, можетъ быть самъ хорошенько того не видя, стоитъ, очевидно, на такой точкѣ зрѣнія, съ которой умъ и глупость, истина и фантазія—все одинъ и тотъ же вздоръ, все одинъ какой-нибудь *задержанный рефлексъ*, все разные виды атомическихъ движеній, изъ которыхъ ни одинъ ни лучше, ни хуже другого. Но если такъ, то не о чемъ и не зачѣмъ разсуждать и спорить.

Далѣе рецензентъ дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній, имѣющихъ цѣлью опровергнуть вообще «мысль о совершенствованіи какъ индивидуальныхъ организмовъ, такъ и ихъ совокупности, или о *стремленіи организмовъ переходить въ высшія формы*». Но эти замѣчанія, къ несчастію, вовсе до меня не касаются, относятся не къ моимъ доказательствамъ и соображеніямъ. Рецензентъ утверждаетъ, что, такъ называемый, законъ совершенствованія вовсе не есть *законъ*, а только *описаніе* явленія, и что невозможно признавать для его объясненія какую-нибудь *совершенствующую силу*. Но я ни о чемъ подобномъ и не думалъ, я хотѣлъ именно сдѣлать только описаніе или опредѣленіе явленія, а вовсе не объяснить его какую-нибудь силою и законами ея дѣйствій. Самъ же рецензентъ приводитъ на стр. 31 мое выраженіе, что въ организмахъ происходитъ «*таинственный*, самъ себя производящій процессъ совершенствованія». Вотъ моя настоящая мысль. Для натуралистовъ въ природѣ нѣтъ ничего ни хорошаго, ни дурнаго и всѣ вещи одинаково понятны, то есть одинаково бессмысленны; для меня въ природѣ есть красота и совершенствованіе, есть глубокая тайна, хотя и совершающаяся открыто и ежедневно передъ нашими глазами.

Но всего страннѣе рецензенту показались мои мнѣнія о *человѣкѣ*. По его мнѣнію человѣкъ «не имѣетъ никакого существеннаго, кореннаго отличія отъ всякаго другого животнаго, растенія и минерала, однимъ словомъ *отъ всякой*

другой вещи» (стр. 28); поэтому его очень удивляет, что «г. Страховъ никакъ не можетъ смотрѣть на человѣка такъ же безхитростно, какъ и на всякій другой естественный предметъ, постоянно видя въ немъ какую-то загадку *par excellence*» (стр. 36).

Вотъ до какихъ временъ мы дожили; намъ говорить, что даже человѣка не надобно считать выше, чѣмъ какую бы то нибыло другую вещь, что и на него слѣдуетъ смотрѣть точно такъ же, какъ и на всякій другой естественный предметъ. Это—новѣйшій взглядъ, *безхитростный* взглядъ химиковъ и физиковъ, которые, какъ ни разлагали и не изслѣдовали человѣка, не нашли въ немъ ничего особеннаго.

О моихъ разсужденіяхъ по этому вопросу рецензентъ отзывается, собственно говоря, съ большою похвалою. Онъ говоритъ: «на первомъ положеніи (*то есть на томъ, что произведенія природы различны по своему совершенству*) г. Страховъ строить цѣлую систему, цѣлый рядъ выводовъ, въ концѣ котораго оказывается, что человѣкъ есть центръ міра» (стр. 30). «Заключенія строго логичныя...» Но рецензентъ отвергаетъ ихъ, самъ употребляя для этого строго логическій пріемъ: «заключенія строго логичныя», говоритъ онъ, «но которымъ мы не придаемъ никакого значенія, какъ основаннымъ на совершенно ложномъ основаніи (*то есть на мысли о различіи предметовъ по ихъ совершенству*)» (стр. 32).

Выходитъ, слѣдовательно, что если кто-нибудь рѣшится признать, что въ мірѣ одна вещь бываетъ лучше или выше другой, то онъ долженъ будетъ признать цѣлый рядъ моихъ выводовъ и, наконецъ, тотъ выводъ, что человѣкъ есть центръ міра. За такое заявленіе о силѣ и связности моихъ выводовъ я искренно благодаренъ рецензенту.

Но мысль о центральности человѣка изложена мною не въ видѣ одного общаго и отвлеченнаго вывода; я пояснялъ ее со многихъ и различныхъ сторонъ, съ какихъ можно разсматривать предметы природы. Собственно разсужденіямъ о человѣкѣ посвящена статья *Жители планетъ*, чего, къ великому моему прискорбію и удивленію, никакъ не могутъ сообразить не только тѣ читатели, которые ее не читали, и тѣ

писатели, которые, не читавши ее, бранять, но даже мой рецензентъ, который ее читалъ.

Изъ всѣхъ моихъ разсужденій о человѣкѣ рецензентъ остановился только на одномъ,—и по несчастію какъ разъ на томъ, которому я не придавалъ особой важности, которое сдѣлано мною мимоходомъ, безъ тѣсной связи съ другими и безъ развитія. Я сказалъ, что «человѣкъ есть *предѣлъ Дарвиновской борьбы*, потому что тутъ борьба прекращается, является владыка, которому нѣтъ соперниковъ». Полагаю, что это справедливо, если смотрѣть на дѣло не съ одной точки зрѣнія, а и съ другихъ, требуемыхъ и допускаемыхъ дѣломъ. Но рецензентъ возражаетъ:

«Точно такимъ же *предѣломъ* могли считать себя даже и какіе-нибудь силурійскіе трилобиты, если бы только умѣли разсуждать. Мы,—могли бы они сказать,—такъ распространились по всей землѣ, составляемъ такую преобладающую породу животныхъ и такъ хорошо приспособлены къ своей средѣ, что, очевидно, развитіе органическаго міра съ нами останавливается; мы повсемѣстно вытѣснили множество другихъ животныхъ, теперь борьба прекращается, потому что явился владыка, которому нѣтъ соперниковъ, которому одинаково все покорно».

Совершенно справедливо; не думаю, да и никогда не думалъ отрицать, что на точномъ основаніи Дарвиновской теоріи можно ожидать вымиранія человѣка и замѣны его какимъ-нибудь другимъ животнымъ, худшимъ или лучшимъ—неизвѣстно. Дарвиновская борьба за существованіе не имѣетъ ни границы, ни направленія, ни закона. Въ ней все возможно, и послѣ царства человѣка легко можетъ снова наступить царство трилобитовъ. Но я хотѣлъ только сказать, что въ настоящую минуту Дарвиновская борьба, очевидно, остановилась на человѣкѣ; хотъ онъ по вашему и равенъ всякому трилобиту, но побѣда пока остается за нимъ и, какъ кажется, онъ не собирается уступить кому-нибудь свое владычество надъ землею. Слѣдовательно, въ дѣйствительности, въ области фактовъ человѣкъ есть предѣлъ Дарвиновской борьбы; что же касается до теоріи, въ которой ему приходится такъ плохо, то, вѣдь, эта теорія собственно только говорить, что она ни-

чего не знаетъ, ни за что не ручается. И слѣдовательно, человѣку нечего бояться за свое владычество, если у него есть какія-нибудь другія ручательства, и онъ не принужденъ довольствоваться въ пониманіи міра и своего положенія одною теоріею Дарвина.

Замѣтимъ въ скобкахъ, что теорія, невыяснившая спеціальнаго положенія человѣка, есть уже поэтому очень не-совершенная и отвлеченная теорія.

До сихъ поръ, хотя рецензентъ ни разу не бралъ вопроса вполне и обходилъ существенные пункты, я не могъ не радоваться, что хоть нѣкоторые мои разсужденія удостоились его вниманія. Но дальше я долженъ горько жаловаться на несправедливость, на явное уклоненіе отъ вопросовъ. «Жители планетъ» вызвали, напримѣръ, у рецензента такой отзывъ: «Разсуждать въ настоящее время о жителяхъ планетъ такъ же бесплодно, какъ нѣсколько десятковъ тѣтъ тому назадъ разсуждать о химическомъ составѣ міровыхъ тѣлъ. До открытія новаго метода химическихъ изслѣдованій — спектральнаго анализа — о составѣ міровыхъ тѣлъ можно было высказать *только самыя общія положенія, выходящія изъ нашихъ самыхъ общихъ понятій о строеніи вселенной*: наши научныя свѣдѣнія не увеличились бы при этомъ, очевидно, ни на волосъ. Въ такомъ же положеніи находится въ настоящее время, для человѣка науки, и вопросъ о жителяхъ планетъ. Но, вѣдь, г. Страховъ, рядомъ съ научнымъ методомъ, обладаетъ еще другимъ» и пр. (стр. 33, 34.).

Я спрашиваю теперь рецензента: имѣлъ ли онъ хоть малѣйшее право дѣлать мнѣ подобные упреки въ двойномъ методѣ, въ отступленіи отъ науки и тому подобное? Говоря о жителяхъ планетъ, развѣ я не ограничился строго тѣмъ, что онъ самъ допускаетъ, то есть *только самыми общими положеніями, выходящими изъ нашихъ самыхъ общихъ понятій о строеніи вселенной*? Гдѣ онъ нашелъ у меня что-нибудь другое? Почему онъ не хочетъ разсуждать со мною? И въ чемъ, наконецъ, онъ меня упрекаетъ?

Признаюсь, я удивленъ выше мѣры. На первой страницѣ «Жителей планетъ», къ несчастію, у меня опять стоитъ имя Гегеля; и вотъ, какъ только увидалъ это имя рецензентъ,

такъ у него и помутилось все въ глазахъ; онъ не понимаетъ самыхъ ясныхъ выводовъ, подозрительно глядитъ на самыя строгія, почти математическія доказательства и, наконецъ, начинаетъ кричать, что наука въ опасности, что ее продаютъ и измѣняютъ ей. Что значить предразсудокъ! Какъ сильна бываетъ вѣра въ старыя преданія!

Въ концѣ рецензіи есть отзывъ о второй части моей книги, который по его краткости и важности предмета мы приведемъ вполнѣ. Вотъ онъ:

«О второй части книги г. Страхова («Неорганическая природа. Критика механическаго взгляда») мы сдѣлаемъ только коротенькую замѣтку, такъ какъ въ ней авторъ не излагаетъ *опредѣленнаго ученія*. Г. Страховъ, на примѣрѣ химіи, показываетъ, сколько еще въ каждой наукѣ и именно въ самыхъ общихъ положеніяхъ заключается *метафизики*. «Натуралисты не просто наблюдаютъ природу», говоритъ онъ, «или списываютъ ее, но они вмѣшиваютъ въ нее построенія своего ума» (стр. 422). Мы съ этимъ *вполнѣ согласны* и считаемъ это неизбѣжнымъ, но все-таки не послѣдуемъ совѣту г. Страхова «учиться мыслить» (т. е. «мыслить независимо отъ представленій») до тѣхъ поръ, пока не убѣдимся, что сами учителя этого невозможнаго искусства *достигнутъ болѣе достойныхъ вниманія результатовъ*, чѣмъ какихъ они достигали до сихъ поръ.» («Знаніе», № 1, стр. 35).

Вотъ отзывъ, который, съ одной стороны, лестенъ для меня въ высокой степени, чего, можетъ быть, не думалъ рецензентъ, но зато, съ другой стороны, тѣмъ болѣе меня огорчаетъ. Дѣло идетъ о методѣ наукъ, о самыхъ главныхъ ихъ приѣмахъ и основаніяхъ. И оказывается, что я успѣлъ вполнѣ убѣдить рецензента; примѣромъ химіи (а также, нужно бы прибавить, физики и отчасти механики) я убѣдилъ его, что въ ученіяхъ натуралистовъ много *метафизики*, много *построеній ихъ собственнаго ума*, которыя они по заблужденію принимаютъ за чистые факты, за правильный выводъ изъ опытовъ и наблюденій. Казалось бы—что можетъ быть важнѣе? Между тѣмъ рецензентъ не приписываетъ дѣлу никакого интереса и насмѣшливо замѣчаетъ, что онъ не послѣдуетъ моему совѣту «учиться мыслить». Но почему же? Да

только потому, что вопросъ идетъ о методѣ, а не объ *опредѣленномъ ученіи*, о приѣмахъ наукъ, а не о какихъ-нибудь *результатахъ*.

Вотъ ясный примѣръ того, какую безмѣрную силу имѣетъ метафизика. Заговорите объ истинѣ, о строгомъ научномъ изслѣдованіи, о точности въ приѣмахъ мышленія—никто васъ слушать не станетъ; всѣ требуютъ одного—давайте намъ поскорѣе *опредѣленное ученіе*, говорите намъ о сущности вещей, постройте намъ цѣлую систему, словомъ, какъ можно больше метафизики, какъ можно больше *результатовъ* и какъ можно меньше *методы*, и вы будете интересны, мы будемъ васъ читать и разсуждать съ вами.

Я могъ думать однакоже, что по крайней мѣрѣ люди ученые, находящіеся въ постоянномъ знакомствѣ съ научными изслѣдованіями и гордящіеся этимъ знакомствомъ, будутъ заинтересованы разсужденіями о методѣ; но примѣръ рецензента еще разъ убѣждаетъ меня, что естественныя науки въ нынѣшнемъ ихъ видѣ не только не искореняютъ склонности къ метафизикѣ, а даже усиливаютъ ее; рецензентъ пренебрегаетъ всякими изслѣдованіями о методѣ.

Между тѣмъ, становясь на точку зрѣнія истинной науки, истиннаго мышленія, можно изъ его собственныхъ словъ видѣть, какъ важны и существенны предметы, которымъ посвящена вторая часть моей книги. Я показалъ, какъ онъ говорить, что въ естественныхъ наукахъ много метафизики: не есть ли это весьма *опредѣленное ученіе*, только не о природѣ, Богѣ, душѣ и т. д., а о томъ состояніи, въ которомъ находится метода разсматриваемыхъ наукъ? Я полагалъ, какъ утверждаетъ рецензентъ, что натуралисты вмѣшиваютъ въ наблюденіе природы свои *построенія*; не есть ли это весьма важный *результатъ*, только не относительно судебъ міра и человѣка, а относительно судебъ физики, химіи и пр.? Казалось бы, ученаго человѣка это должно нѣсколько заинтересовать. Если рецензентъ правъ, то не слѣдуетъ ли, что я показалъ основанія, по которымъ въ этихъ наукахъ должно быть произведено *существенное преобразованіе*?

И напрасно рецензентъ отказывается *учиться мыслить*. Онъ очень ошибается, говоря, что «мыслить независимо отъ представлений» есть *невозможное* искусство. Во первыхъ, могу его увѣрить, что онъ самъ обладаетъ такимъ мышленіемъ, и даже ежедневно хоть немножко въ немъ упражняется; а во вторыхъ, развѣ я могъ бы составить и предложить свою критику естественныхъ наукъ, если бы не умѣлъ стать на точку мышленія, независимаго отъ представлений? Съ критикой моей рецензентъ *вполнѣ согласенъ*; вотъ ему и доказательство, что это искусство и вполнѣ возможно, и приноситъ опредѣленные результаты.

Но намъ хотѣлось бы, конечно, не такихъ результатовъ; намъ хотѣлось бы отвѣта на тѣ вопросы, которые мы постоянно разрѣшаемъ нашими метафизическими мечтаніями. Погодите; если такіе результаты должны быть, то они и будутъ; лишь бы только путь нашъ былъ вѣренъ, лишь бы мы строго держались истины. Мнѣ странно, что моя *критика механическаго взгляда* не доказала рецензенту никакихъ выводовъ, не заставила его, какъ человѣка извѣстныхъ мнѣній, вооружиться на защиту этого взгляда. Механическое построеніе всѣхъ явленій тѣсно связано съ опредѣленными убѣжденіями; если такъ, то рецензентъ можетъ предчувствовать, какіе *результаты* должны получиться отъ критики, опровергающей механическій взглядъ въ самой основѣ. Сказать такъ, какъ сказалъ рецензентъ: «мы подождемъ, посмотримъ; а теперь хоть мы и видимъ, что думаемъ неправильно, но иначе думать не умѣемъ и не можемъ»,—сказать такъ, не значить что-нибудь опровергнуть. Это уловка и отговорка, а не возраженіе.

Мнѣ остается еще разъ поблагодарить рецензента за его очевидную добросовѣстность и серьезность. Нельзя ставить ему въ вину его страсть къ метафизикѣ и его предразсудки относительно философій; это не личные его недостатки, а такъ называемый *духъ вѣка*. Одна только строчка въ рецензій огорчила меня за ея автора; это строка, гдѣ онъ утверждаетъ, что будто-бы у меня «много эрудиціи. много философскаго туману, много *бразъ*» (стр. 35). Обвиненіе въ туманѣ и

фразахъ совершенно голословно и совершенно несправедливо; оно взято цѣликомъ изъ «Дѣла» или «Искры» и прямо противорѣчить отзывамъ самого рецензента, который, слава Богу, прочелъ меня и потому нашелъ у меня въ тѣхъ мѣстахъ, которыя сталъ разбирать, *и строгую логичность, и чрезвычайную ясность, и последовательность изложенія.* И въ самомъ дѣлѣ, я терпѣть не могу ни туману, ни фразъ.

Надѣюсь, что и мною рецензентъ останется доволенъ: я отвѣчалъ на всѣ его главные пункты, принимая ихъ въ самомъ серьезномъ смыслѣ, и я далъ дѣйствительный отвѣтъ, а не писалъ такъ, чтобы имѣть только видъ побѣдителя.



